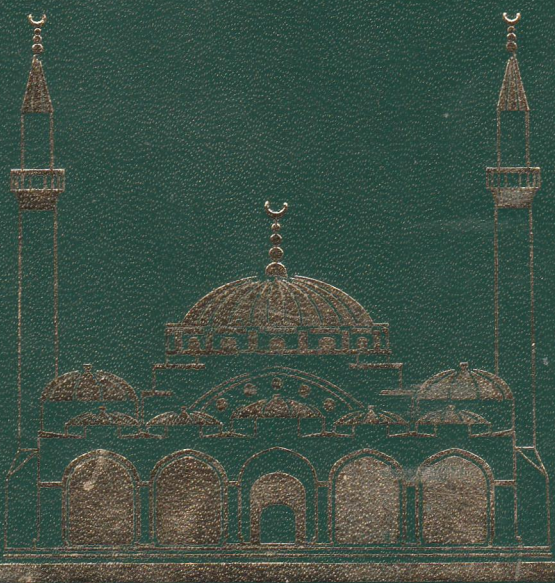
В. Е. ВОЗГРИН

ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР

ТОМ I



УДК94(477.75=342.724)
ББК63.3(4Укр-6Крм)
В64

Возгрин В.Е.
В64 **История крымских татар:** *очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах.* Том I. — *3-е издание, стереотипное.* — Симферополь: Издательский дом «Тезис», 2013. — 872 с. — На русском языке.

ISBN 978-5-90598-658-1 (Т. 1) **УДК94(477.75=342.724)**
ISBN 978-966-470-048-8 **ББК63.3(4Укр-6Крм)**

В четырёхтомнике представлена этническая история коренного населения Крыма с древнейших времён до 1940-х гг., когда в результате депортации крымских татар полуостров впервые был лишён носителей сложившейся здесь уникальной культуры. Исследование опирается на опубликованные источники и материалы ряда отечественных и зарубежных архивов, а также на труды, посвящённые истории Крыма и отчасти стран, входивших с ним в отношения различного характера. Сочинение разделено на четыре тома по хронологическому принципу. При этом основная часть первого тома посвящена периоду, когда крымское население жило по законам ханства, второй — когда оно подчинялось законам Российской империи, третий — советским законам, и четвёртый — когда крымскотатарский народ был фактически объявлен вне закона — сначала немецкими оккупантами (октябрь 1941 г.), а затем советскими освободителями (18 мая 1944 г.).

Возгрін В.Є.
В64 **Історія кримських татар:** *нариси етничної історії корінного народу Криму в чотирьох томах.* Том I. — *3-е видання, стереотипне.* — Сімферополь: Видавничний дім «Тезис», 2013. — 872 с. — Російською мовою.

ISBN 978-5-90598-658-1 (Т. 1) **УДК94(477.75=342.724)**
ISBN 978-966-470-048-8 **ББК63.3(4Укр-6Крм)**

Книга издана при финансовой поддержке
Ислямова Ленура Эдемовича

ISBN 978-5-90598-658-1 (Т. 1)
ISBN 978-966-470-048-8

© Возгрін В.Є., 2013
© Видавництво «Нестор-Історія», 2013

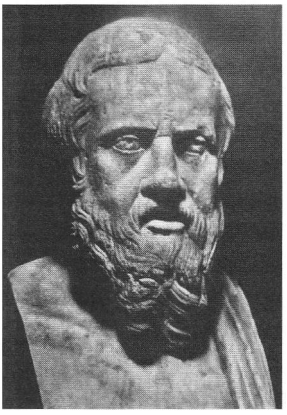
ВВЕДЕНИЕ

Relata refero
Геродот

Слова эти, прозвучавшие в V в. до н. э., перевести на современный русский язык довольно трудно. Буквальный перевод прост: «Рассказываю рассказанное». То есть «передаю услышанное», не отвечая за содержание и смысл моего пересказа. Но произнёс простую эту фразу Геродот, человек сложной судьбы и великого дарования. И уж он-то никак не вписывается в нарисованный им скромный образ некоего писца, бесстрастно и бездарно, буквально переносящего на пергамент звучащее слово. Так что имеет смысл разобраться с приведённой выше мыслью признанного Отца Истории поподробнее. А когда ставишь перед собой такую задачу, то открываются вещи совсем неожиданные. Во-первых, relata — это информация точная и *объективная*, недаром от неё идёт старое воинское понятие «реляция». Во-вторых, refero — это не просто «пересказываю». Ведь и реферат — не пересказ, а *изложение* информации, неизбежно прошедшее сквозь мозг референта, а уж во что она при этом превращается — зависит скорее от автора, чем от исторического факта.

Поэтому смысл обвинения одной из предыдущих моих работ на заданную тему[1] теряется, превращаясь если не в комплимент, то, во всяком случае, в одобрение методики, которой я по мере сил старался придерживаться и в новой, ныне предлагаемой читателю работе. А суть её была вполне понятна и современникам Геродота в V в. до рождества Христова: отбирай *точную* информацию и излагай

[1] Имеется в виду монография «Исторические судьбы крымских татар», первоначально вышедшая в Самиздате в 1980-х гг. тиражом в 30 экземпляров. Тогда, в советское время, приходилось размножать её на ксероксе (точнее — на громоздком аппарате, носившем имя *Эра*), поскольку изучение истории коренного крымского народа всё ещё считалось преступлением. Причина этих издательских сложностей проста, — ведь и сам народ был объявлен несуществующим, небывалым, чуть ли не плодом фантазии. В 1992 г. книга была издана уже *легально*, и на неё обрушилась повальная критика специалистов по крымскотатарской проблеме — российских и крымских. Не хотелось бы об этом вспоминать, но не столь давно эта моя книжка, и без того достаточно скромного объёма (менее 500 страниц), была обозвана в одном из ведущих органов российской историографии вообще «рефератом» (Отечественная история, 1999, № 2, с. 48). Думаю, понятно, отчего тут же и всплыла параллель с приведённой выше фразой Геродота...



Геродот. *Мрамор.*
Неаполитанская Глиптотека

её по возможности *нелживо* и совестливо, а иначе какой смысл вообще браться за перо? Через много столетий эту же мысль, но несколько по-иному высказал крупный немецкий историк XIX в. Леопольд фон Ранке (чьё наследие, между прочим, неоднократно подвергалось нападкам советской историографии именно за стремление учёного к объективности). В своей *Истории романских и германских народов с 1494 до 1514 гг.* Л. фон Ранке так объяснил свою позицию, свой метод: «История возложила на себя задачу судить о прошлом и давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели моя работа не претендует. Её задача — лишь показать, как всё происходило на самом деле». Вот такую простую, но трудновыполнимую задачу поставил перед собой и автор настоящего четырёхтомника.

Кстати, о смысле или цели, с которыми была написана эта работа, с которыми я вообще взялся за громоздкую её постройку. Они просты и прозрачны: вложить в руки народа его историю. Это определение не так самонадеянно и нескромно, как может показаться. Дело в том, что *записанной истории* с древнейших времён до XX в. у крымских татар попросту нет. Думаю, не стоит доказывать эту истину, известную не только в Крыму, но и далеко за его пределами. А то, что имеется, — это лишь подходы, отдельные *фрагменты* (в том числе крупные по объёму, а по содержанию просто великолепные) истории народа. Но это — в лучшем случае.

В худшем же — это просто не история. Я имею в виду работы, справедливо отрицаемые самим народом как негодные, то есть недобросовестные. Обычно такие книги и статьи называют фальсификацией истории крымских татар. Я не совсем с этим определением согласен. Крымским людям не нужно объяснять, что такое фальсификация, скажем, нашего южнобережного вина. Это изготовление некоего напитка с использованием дешёвых суррогатов, фальшивого продукта. То есть похожего на подлинный, на истинный, и, по возможности, от него не отличающегося. В нашем же случае «продукт» не просто отличается от истинного, но вообще не имеет с ним ничего общего. И задача его изготовления прямо противоположна: он фабрикуется осознанно *иным*, чем был (или мог быть) оригинал.

Причины этого психического отклонения от задач созидательного труда касаться не стоит, тем более, что они были опознаны ещё полтора столетия тому

назад. Причем не крымскотатарским и не русским мыслителем, которых можно было бы заподозрить в предвзятости, а человеком совершенно посторонним, приехавшим в Крым из-за трёх морей, из Англии.

И вряд ли можно отказать в рассудительности этому иностранцу, предупреждавшему, что, знакомясь с существующей литературой об истории крымских татар, «нельзя забывать, что её авторами являлись враги этого (и турецкого) народа. Они, неизменно клевеща (with persistent malignity) в сугубо политических целях, распространяли всевозможные извращённые, искажённые свидетельства для того, чтобы охладить сочувствие, симпатию, которую питает к татарам весь цивилизованный мир. А немногие их друзья (в России), принимавшие близко к сердцу их судьбу, уже подавлены; кроме того враждебные эмоции гораздо более активны, чем дружеские; они гораздо более беспринципны и в выборе оружия. Кинжалы нравственных ассасинов («assassin» *фр.* «наёмный убийца». — *В.В.*), отравленная злоба высокопоставленных подлецов и смертоносные дубины убийц — всё это было использовано по мере надобности. Низкий обман и коварство, гнусные инсинуации или искажение основных понятий, молниеносно сменяющие друг друга, почти убедили общество Европы в том, что этот глубоко оскорблённый, задавленный насилием народ является тем, за кого его выдают. Но драпировка постепенно сползает. Острая, обнажённая правда, пусть она пока и скрыта, в конечном счёте победит» (*Scott*, 1854. P. 307–308).

Остаётся сказать, что в начале 1980-х гг., когда я принимался за работу о судьбах многих поколений крымских татар, сама постановка цели создать книгу об истории целого народа на протяжении многих веков выглядела затеей вполне утопической. Работы такого хронологического и тематического охвата обычно пишутся крупным авторским коллективом, где каждый — специалист по «своему» периоду или теме. Помощников не было, какого-то иного выхода — тоже, приходилось начинать в одиночку. С тех пор прошла треть века, но ситуация не изменилась; по-прежнему этот неподъёмный воз приходится тащить самолично. Я не жалуюсь на свою творческую судьбу и хочу здесь сказать о другом. Исходя из всего изложенного, вряд ли я удивлю читателя, предположив, что, как и в *Исторических судьбах крымских татар*, так и в четырёхтомнике просто-таки неизбежны отдельные неточности, непростительные для большой группы соавторов.

Скажу больше: мне с самого начала было понятно, что этот проект, сам замысел такой работы был слишком высок для моих слабых сил. Я решился осуществить его, догадываясь о грядущем неуспехе. Лишь гораздо позже, когда труд был близок к завершению, прозвучали некие слова, отчасти оправдавшие это решение. Это была мысль современного русского автора-эмигранта, оказавшегося в той же ситуации, но подошедшего к проблеме такого выбора (обратиться к грандиозной, сомнительной в выполнении теме или же ограничить себя чем-то менее масштабным, но стопроцентно выигрышным) с иной стороны: «Чем замысел ничтожнее, тем легче достичь совершенства. Соответственно — наоборот» (*Соловьев*, 2006. С. 301). То есть он заранее обрекал себя на неудачу. Важнее был сам замысел.

После этого признания самого Владимира Соловьёва не так уж стыдно объяснить мой окончательный и безнадёжный выбор словами великого американского

романиста Уильяма Фолкнера, который назвал свою великую эпопею *Шум и ярость* «самым прекрасным, самым блистательным моим поражением» именно потому, что он попытался поднять непосильную для него ношу. Но ведь попытался же! Он просто не мог не попытаться.

Излишне говорить, что я буду глубоко благодарен каждому читателю, который удостоит меня письменного послания с указанием на погрешности моей работы, — это и так понятно. Тогда они не повторятся в последующих изданиях, если в них возникнет необходимость.

Содержание

Предлагаемое исследование посвящено этнической истории крымских татар. Тем не менее список сюжетов, включённых в ткань работы, темой «чистой» этноистории не ограничивается. И в этом нет никакой непоследовательности, поскольку сам предмет этнической истории нуждается в чрезвычайно широком, специфически многоплановом фактографическом фундаменте, в доказательной базе. Так, если, к примеру, ограничиться изложением основных и второстепенных *событий и фактов* истории этноса, игнорировав при этом особенности как его народной, так и высокой культуры, проблемы традиционной философии или магистральных направлений внешней политики, то неполной станет именно *этническая* история.

В виду сказанного становится очевидной необходимость освещения в подобной работе не просто многих сюжетов, имеющих отношение к крымскотатарскому народу. Речь идёт о максимально полном их «наборе». Как говорил один неплохой французский историк, *все* знают, что одного из Людовиков гильотинировали, поэтому гораздо интересней прочесть, сколько в тот день стоил пучок лука! Так что о луке (причём не только в переносном смысле) будет рассказано также.

Очевидно, читатель обратит внимание на то, что в изложении материала сделан определённый акцент на истории культуры этноса, хотя работа эта ни в коем случае культурологической не является. Объяснить такое предпочтение довольно просто, ведь причин ему имеется не одна и не две. Итак, первая из них: крымскотатарская культура не только в советский, но и имперский период подвергалась гонениям и дискриминации; это, в общем, известно. Но — что ещё пагубней для исторической истины — не будучи в силах эту культуру искоренить даже в условиях депортации и ссылки народа, московские руководители национальной политики отдали команду подвергнуть её фальсификации и принижению в глазах всего цивилизованного мира. Поэтому разговор об этнической истории коренного народа Крыма невозможен без нового, более объективного и по возможности полного освещения культурных его достижений.

Вторая причина заключена в особенностях самой этой культуры, не поняв которых, невозможно постичь и этнопсихологию крымских татар. Дело в том, что ей был несвойствен поэтичный, но мрачный «древний ужас» (как, например, не менее великолепной финской или уникальной гренландской культурам). Он, скорее всего, и не мог возникнуть в окружении светлой при-

роды Крыма. Можно тщательно исследовать полуостров вдоль и поперёк, обнаружив при этом десятки совершенно несхожих ландшафтов, но среди них не будет ни одного «ужасного», внушающего страх и трепет. А если мы вспомним о тех, кто на протяжении Средневековья (да и ранее) заселял ниши, свободные от аборигенных племён, то перестанем удивляться поразительному сходству крымскотатарской культуры со столь же богатыми, солнечными, человечными эллинской, южноиталийской или классической арабской культурами. Без освещения этой пока мало изученной культурной особенности просто невозможно было исследовать историю народа.

Во внимании к традиционной культуре Крыма имеется и ещё одно, скорее практическое, чем узконаучное соображение. Когда-то царь Пётр, задыхаясь в действительно спёртой атмосфере закупоренной Московии, пытался прорубить окно в Европу — намерение логичное. В Крыму иная ситуация. Во-первых, он никогда не был отсечён от внешнего мира, и его культура не страдала от самогерметизации, как великорусская. Во-вторых, в настоящее время такого «окна» также не требуется: разнообразных феноменов евро-американской, великорусской и даже отчасти среднеазиатской культур (точнее, реалий современных псевдо- или субкультур) в Крыму, пожалуй, даже слишком много. Поэтому крымскотатарскому народу *не нужно* рубить никаких «окон» на запад, север или восток. Поясню это еретическое заключение сторонним примером. Гренландский материковый лёд состоит из дождевой воды, замёрзшей 4 000 лет тому назад, когда Земля была чиста, и не было ни кислотных, ни радиоактивных дождей. Тамошние эскимосы и сегодня с удовольствием потребляют этот дар глубокой древности и великолепно себя ощущают.

Так вот, крымским татарам нужно рубить окно не в Европу, а в *собственную старину*, в те эпохи, когда его культура была так же чиста и глубока, как гренландские фьордовые воды. Полузадушенным лёгким крымской культуры, всему татарскому народу, уставшему от бед и лишений, необходимо омовение в хрустально-чистом, живительном духе собственной древности. Только она в состоянии возродить духовность этноса во всей её красоте и неповторимости. И тогда крымскотатарская культура достигнет былых высот, вновь займёт своё место в «мировом оркестре», и в цивилизационной симфонии Человечества уверенно зазвучит её собственная партия.

Остаётся добавить, что данная работа не претендует на статус исследовательской, поскольку заново *исследовать* двухтысячелетнюю историю народа под силу только нескольким поколениям историков. Эти четыре тома — лишь собрание материалов, попытка восстановить уничтоженный рассказ о людях Крыма, не более того. Хотя, конечно, за некоторые заново разработанные сюжеты (например, участие Крыма в Проторенессансе, история Девлет-Гирея II, результаты культурного развития ханства, голод в Крыму 1921–1922 гг., история депортации и пр.) я несу полную ответственность как исследователь. Что же касается многих сотен и тысяч фактов, упомянутых в этом труде, то, не имея физической возможности проверить все, я ограничил свою ответственность за достоверность этого материала ссылками на работы моих предшественников. То есть это в целом — не столько исследование, сколько реставрация уже имевшейся, но сознательно уничтоженной истории крымских

татар[1]. И если задача восстановления истории целого народа будет хоть отчасти исполнена, то я сочту цель этого труда достигнутой.

Отдельно стоит сказать о не вполне обычном (возможно, многим кажущемся странным) методе освещения истории *всего народа* как более или менее цельной массы, через личные, *индивидуальные* судьбы. Здесь можно привести три объяснения. Первое из них: автор, работающий по большей части в одиночку, часто просто физически не в состоянии объять своим вниманием крупные человеческие массы (население района, города, даже крупного села). Такая работа, безусловно, более объективная в статистическом аспекте, под силу лишь исследовательским коллективам, и её час придёт в свой черёд. Второе: привлекая к анализу жизненные пути отдельных людей, историк неизбежно стремится выбирать типичные судьбы, то есть такие, которые отражают с большей или меньшей полнотой общие явления, тенденции и т. д. Третье: такой недостаток, как неполный охват этнического населения, удаётся отчасти сгладить, указывая с максимальной точностью и полнотой имена конкретных людей, хотя бы просто упоминаемых в тексте.

Этим решаются сразу две задачи: во-первых, спасаются от небытия имена наших предков, то есть разрушается дьявольский большевистский план стереть из человеческой истории память о целом народе или хотя бы о числе его представителей. Во-вторых же, решая такую проблему, как жизнь и смерть человека, мы сталкиваемся с объективным противоречием между универсальным и уникальным. Смерть каждого человека, с точки зрения истории, — явление уникальное. В то же время оценка крупных, массовых процессов и явлений возможна только усреднённо-статистическим методом, позволяющим вывести универсальные этноисторические и иные закономерности. В ходе этого исследовательского процесса возникают ошибки, число которых можно свести к минимуму, увеличивая по мере сил массу конкретных упоминаний об отдельных лицах (пусть даже с «незаметной» судьбой) в их связи с событиями общенародного масштаба.

Именно по указанным причинам четырёхтомник «населяют» не сотни, а многие тысячи людей, живых на момент каждого описываемого периода, а значит, и остающихся таковыми в вечно живой памяти народа.

Довольно значительную часть объёма этого труда занимает Пролог, призванный сыграть не совсем обычную для этноисторического жанра роль. Дело в том, что десятилетия большевистской пропаганды и агитации, а также идеологизации (в том числе «научной») не оставались бесплодными. Они не только уводили сознание масс в нужном Кремлю направлении, но и сбивали с верного курса науку, прежде всего историческую. Именно поэтому значительная часть современных исследователей, в том числе вполне добросовестных, находится не то чтобы в плену старых представлений, но они зачастую и не подозревают о том,

[1] Причём уничтожавшейся не только большевиками, но и их российскими предшественниками ещё в XVIII в. По словам старого английского путешественника и бытописателя Кларка, посетившего Крым в 1800 г., «Разрушения, погромы (the havoc), совершённые русскими во всех крымских городах в ходе различных вторжений и постоянных депортаций жителей, поддерживавших Крым в его бытии, исказили или уничтожили все ценные документы, способные осветить его былую историю» (*Clarke*, 1810. P. 433).

что существует *и иная* историческая правда, кроме преподанной отечественной наукой последних десятилетий.

Таким образом, создаётся ситуация, когда на конференциях и других научных встречах с коллегами-историками иногда приходится прерывать плодотворный диспут, отвлекаться на разъяснение или доказательство таких простых истин, как чисто русский характер большевизма, как манихейская природа великорусского менталитета, как факт этнопсихиатрических отклонений в массе, составлявшей сельские общины России, и так далее. Казалось бы, эти частные проблемы не имеют отношения к основной теме четырёхтомника, но это далеко не так. Только достаточно глубоко ознакомившись с историей и этнопсихологией великороссов, читатель способен понять глубинные, реальные *истоки* важнейших негативных событий в истории крымскотатарского народа на протяжении последних столетий.

Русские оказали на судьбы крымских татар влияние, сравнимое, может быть, лишь с историей двух других этнических «пар»: белых янки и североамериканских индейцев; немцев и восточноевропейских евреев. Историю одного члена такого тандема невозможно изучать в отрыве от другого или даже при недостаточном внимании к этому другому. Так же обстоит дело и с историей крымских татар, — повторяю, её невозможно понять, не поняв историю русских. Поэтому каждый исследователь, избравший специальностью процесс развития и упадка культуры, особенности этнологии или политическую историю крымских татар, попросту обречён на анализ более или менее длинного ряда сюжетов из истории северного соседа Крыма[1]. Это как у М. Булгакова в *Мастере и Маргарите*, когда великий Распятый приходит в сон обрекшего его, по сути, на смерть, Понтия Пилата: «Мы теперь всегда будем вместе... Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня, — сейчас же помянут и тебя!»

Есть и ещё одна причина такой парности, лежащая в чисто научной, исследовательской плоскости. В нашем мире существуют антиподы, обитатели диаметрально противоположных областей на поверхности планеты. Или, в переносном смысле, — личности с противоположными взглядами, вкусами, чертами характера. Впрочем, наряду с антиподами-личностями должны существовать и группы такого рода, то есть антиподы-этносы. Они и существуют, при этом отличаясь не столько расовыми, сколько этнопсихологическими чертами. Об этом речь пойдёт ниже, а здесь отмечу одно привлекательное свойство такой парности. Чтобы познать себя, по крайней мере, внешне, принято прибегать к сравнению, сопоставлению несхожестей. В быту человек берёт в руки зеркало, где внимательно рассматривает своего антипода, сущность, у которой «перепутаны» левая и правая стороны. Мало того, этот виртуальный образ ведёт своё псевдосуществование в столь же перевёрнутом мире. И тем не менее нет более совершенного, объектив-

[1] В такой же ситуации оказался крымскотатарский учёный Агатангел Крымский, который, закончив в 1924 г. свою «Историю Турции», писал академику Д. Багалию: «Моя „История Турции“ — это же наполовину история Украины» (цит. по: *Губарь*, 2003. С. 138). А российский историк, профессор-медиевист М.М. Стасюлевич, вернувшись из Германии, где он длительное время преподавал, доказывал «немыслимость познания истории собственной страны без уразумения её у других» (*Сажин В.Н.* Книги горькой правды. М., 1989. С. 29).

ного инструмента физического самопознания, чем зеркало. Точно так же в самопознании нравственном, этнопсихологическом два упомянутых этноса великолепно подходят друг другу. Это пара уникальных, зеркально противоположных антиподов! Зеркально схожих (даже внешне), но живущих в мирах с обратными знаками и совершающих поступки, порождённые соответствующей психологией. Именно поэтому изучение друг друга для великороссов и крымских татар обладает особой ценностью для обеих наций; именно так, а не иначе мы способны познать друг друга, но прежде всего — сами себя. И это также говорит об оптимальности именно такого, компаративного метода в изучении *этнической* истории, а речь идёт только о ней.

Очевидно, здесь же следует сказать об одной распространённой ошибке в восприятии материала, относительно которого существуют несхожие и даже противоположные мнения. Я имею в виду этническую историю великороссов и крымских татар. По этому поводу имеет смысл привести рассуждение, сделанное несколько лет тому назад учёным, в своё время оказавшим большое влияние на автора этих строк (хотя наши споры при редких встречах не всегда приводили к выработке единого мнения). Я имею в виду мысли философа и социолога Александра Зиновьева о сути *понимания* и внешне схожего с ним *разоблачения*.

Говоря о русском народе и, соответственно, российском обществе, А. Зиновьев заметил (предваряя будущую критику), что «понимание общества не есть его разоблачение. Разоблачение негативно, понимание же позитивно. Разоблачение действует на эмоции, понимание предназначено для разума. Разоблачение имеет своим антиподом понимание, понимание же — заблуждение. Разоблачение может стать врагом понимания не в меньшей мере, чем апологетика. В этой книге поэтому не будет разоблачительных материалов. А если что-то встретится, похожее на разоблачение, прошу читателя отнести это к числу примеров, поясняющих общие рассуждения. Но отсутствие рассуждения не всегда есть апологетика. Стремление к пониманию коммунистического социального строя страшнее для него, чем любые сенсационные разоблачения его язв» (*Зиновьев*, 1994 (второе издание). С. 9). В моей книге такого рода материалы, которые легко принять за разоблачающие отдельные качества русского народа, и содержатся преимущественно в Прологе[1].

Я вполне отдаю себе отчёт в том, что Пролог написан не для массового читателя, а скорее в расчёте на более или менее подготовленную аудиторию. Возможно, следовало бы исключить из текста этой части четырёхтомника чисто теоретические доводы, упростить язык, подогнать его под какой-то средний уровень. Но это было невозможно, так как сугубо теоретичное содержание текста Пролога диктовало и форму его изложения.

---

[1] Приведу пример такого непонимания. В эпоху сталинской историографии в свет вышла книга Б.А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» (Л., 1947). Материалы этого замечательного труда были раскритикованы в ведущих профессиональных журналах как «антипатриотичные» и «оскорбительные для чести великого русского народа», а автора подвергли идеологической проработке с соответствующими выводами и последствиями. И лишь в конце 1990-х гг., в свете пришедшей в Россию из США новой науки — исторической антропологии — эта книга и открытия её автора наконец-то были оценены в полной мере (впрочем, её достоинства признавались в СССР и ранее, но выборочно).

Единственное, что можно привести в качестве самооправдания, так это то, что Пролог можно до поры до времени отложить в сторону. То есть попросту *не читать его:* основная информация, содержащаяся в исследовании, написанном более удобоваримым языком, от этого ущерба не понесёт, она и составлена в расчёте на возможный пропуск Пролога. Зато, с другой стороны, изложив в Прологе своё мнение о ряде затронутых в нём проблем единожды, автор получает в дальнейшем возможность не отвлекать на них внимания читателя и отстаивать различные положения и выводы книги на более квалифицированном уровне, не повторяясь бесчисленное количество раз на темы Пролога и не занимаясь решением ликбезовских задач.

Композиция и стиль

Содержание глав, представленное их названиями, лучше всего демонстрирует действительно *очерковый,* то есть прерывистый характер четырёхтомника. Более полное и систематизированное изложение этноистории крымских татар — дело будущего. Именно такая композиционная особенность отчасти оправдывает несколько вольное обращение с хронологической последовательностью изложения: иногда приходится уходить далеко вперёд, иногда — возвращаться к уже отражённым в книге эпохам. Некоторые периоды истории народа настолько важны, что их приходится освещать с разных сторон, излагать в различных *планах* (сказанное касается в основном второго тома). То есть я был вынужден иногда обращаться к какому-то *одному*, хронологически конкретному периоду *в нескольких*, расположенных последовательно, но сюжетно несхожих очерках.

В целом же сочинение разделено на четыре тома как по хронологическому принципу, так и согласно канонам так называемой государственной школы российской историографии. Основная часть первого тома посвящена периоду, когда крымское население жило по законам ханства, второй — когда оно подчинялось законам Российской империи, третий — советским законам, и четвёртый — когда крымскотатарский народ был фактически объявлен вне закона — сначала немецкими оккупантами (октябрь 1941 г.), а затем советскими освободителями (18 мая 1944 г.).

Очень важна проблема стиля и слога. Эти тома будут, наверное, читать и специалисты-историки, мои коллеги. Для их взыскующего взгляда я постарался сформулировать и обосновать мои чисто теоретические принципы и этические установки. Но большинство моих будущих читателей — наверняка простые крымские люди, не все из которых получили образование, о котором они мечтали, в том числе и историческое (и в этом не их вина, так сложилась судьба их народа). Именно для них я уходил от сухих доказательств той или иной теории к по возможности живому и наглядному описанию народной жизни в тот или иной период.

Так что текст получился стилистически довольно пёстрым и неоднообразным. Уже по этой причине мои учёные коллеги наверняка назовут его эклектичным и даже не всегда научным. Действительно, предлагаемые читателю очерки выглядят какой-то мешаниной, состоящей, с одной стороны, из размышлений, претендующих на теоретичность, а с другой — из незатейливых наблюдений, простых описаний, сделанных в Крыму в самые разные периоды его истории.

Причём людьми, не всегда обременёнными высоким образованием. Таким образом, лежащий перед вами текст — смесь простого со сложным, так уж получилось. Найду себе оправдание в словах нашего великого современника, нобелевского лауреата Орхана Памука. Этот турецкий писатель и мыслитель составил список рекомендаций для всех пишущих, в том числе и на исторические темы. Все они пронумерованы, и из этой цепи советов выхвачу два, с моей точки зрения, просто гениальных, а именно:

34. Пиши просто — легче поймут.

35. Пиши сложно — легче поймут[1].

Так я и писал, именно в таком мозаичном стиле, начав лет за 30 до того, как эта двуединая истина была наконец-то столь кратко и точно сформулирована.

Особенности использования материала

Что касается источникового корпуса исследования, то он лишь в небольшой своей части (сравнительно с общим объёмом текста) состоит из неопубликованных архивных материалов. Основная же масса изложенного опирается на труды главным образом дореволюционных историков, в меньшей мере — современных. Таким образом, большинство приведённых в книге исторических фактов уже содержались в работах летописцев, хронистов, старых историков и т. д. Поэтому передо мной встала (помимо основной, информационной) и дополнительная задача: объединив упомянутые факты в систему, последовательно разбить доводы сознательных или невольных фальсификаторов истории народа.

В разделах, посвящённых культуре ханского периода, широко использованы старые, ныне забытые иностранные авторы. Объясняется это тем, что многие из них, посещая Крым в XVIII в. и ранее, обращали внимание на те стороны народной жизни, что были привычны как самим крымским татарам, так и их ближайшим соседям и поэтому в крымской, российской или украинской мемуаристике почти не отразились. Кроме того, иностранным путешественникам и учёным была присуща куда большая объективность, непредвзятость, чем, к примеру, великорусским, почти неизбежно политизированным их знанием всей истории непростых русско-крымских отношений. И, наконец, иностранцы были свободны от гнёта знаменитой имперской цензуры, оставившей неизгладимый след в отечественной историографии последних трёхсот лет.

Конечно, было бы заманчивым построить текст данного исследования главным образом на впервые вводимых в научный оборот архивных материалах. Но, учитывая широкие хронологические рамки четырёхтомника и его вынужденно крупный общий объём, решение такой задачи могло стать реальным лишь при многолетней работе крупного научного коллектива. Она — не для историка-одиночки. Впрочем, с другой стороны, в этом есть и свой плюс: многочисленные ссылки на уже опубликованные результаты изысканий авторитетных учёных (в том числе и тех, чьи произведения стали классикой) дополнительно обеспечивают достаточно высокий уровень не только объективности, непредвзятости такой работы, но и её *проверяемости*.

---

[1] *Памук О.* Другие цвета. СПб., 2007. С.220.

Это вообще особая проблема. Общеизвестное снижение культуры научных исследований и публикаторской этики последних лет вынуждает не только меня, но и других авторов прибегать к некоторым мерам предупреждения выпадов субъективной критики. Точнее, не всей критики такого рода (это зло привычно и неистребимо), но особо грубых, искажающих научную истину и, главное, *даже формально* ничем не обоснованных её заключений. Поясню сказанное на примере. Критический шквал, вызванный публикацией двух моих первых монографических работ об истории крымских татар, был вполне ожидаем. Но, кроме понятного огорчения уровнем страстей, иногда превышавшем способность критиков к квалифицированному разбору текстов, он вызвал удовлетворение, будучи полезным, когда конкретные упрёки основывались на конкретных разделах или фразах монографий. Между тем параллельно появлялись (и появляются) критические статьи и упоминания в более общих работах, где такие упрёки *абсолютно голословны*. Обещанный пример: в своей работе об аннексии Крыма Россией некто М. Масаев, впервые упоминая одну из указанных монографий, называет её (то есть всю книгу) не более и не менее, как «фальсификацией В.Е. Возгрина» (*Масаев*, 1997. С. 23), ни здесь, ни в дальнейшем абсолютно ничем не обосновывая такой суровый свой приговор[1].

Именно поэтому для достижения истинной, а не «национально-патриотической» достоверности приходится прибегать не только к, возможно, излишне многочисленным ссылкам на своих предшественников даже при изложении вроде бы известных исторических фактов или явлений (здесь речь не об архивных публикациях или фондах, где ссылки просто обязательны). Я вынужден, в частности, при изложении сведений, почерпнутых из старинных, в том числе иностранных описаний Крыма и его народа, приводить, кроме русского перевода, и важнейшие фрагменты из текста на языке оригинала. Иначе при крайней редкости таких изданий (некоторые из них имеются на территории СНГ в единственном экземпляре) проверка цитат из них будет затруднена не менее, чем цитат из архивных фондов, что может стать формальным оправданием инсинуаций, подобных приведённому обвинению М. Масаева.

Система сносок, особенности справочного аппарата и орфографии

Поскольку в разработке темы нельзя было ограничиться только архивными материалами, а главным образом пришлось опираться на печатные труды, то и сноски на них пришлось делать не самым удобным для читателя образом, давая ссылки на список литературы, помещённый в конце четвертого тома — за исключением тех произведений, которые упоминаются не более одного раза. В противном случае многократное повторение выходных данных каждой книги

[1] Впрочем, теоретические оправдания сомнительной этики подобного подхода при желании можно отыскать в более крупных трудах, авторы которых публично признавались вообще в полном отказе от принципа объективности научного исследования: «Критерием положительной или отрицательной оценки [исследования] могут быть только национальные интересы России... Взвешивание на весах национальных интересов коренной России создаёт абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда» (*Платонов*, 1997, Т. I. С. 7). Умри, — лучше не скажешь!

или статьи заняло бы огромное пространство и ещё более увеличило бы объём и без того разросшегося труда. Должен, кстати, заметить, что, ссылаясь на ту или иную работу или печатный источник, я не всегда имел в виду лишь подтверждение излагаемого факта, интересной мысли и так далее. Иногда (правда, в весьма редких случаях) такая ссылка — просто предложение продолжить знакомство с периферийным для основной темы сюжетом, обратившись к специальной его разработке.

Ещё два замечания — об орфографии текста. Во-первых, автор, не вдаваясь в правомерность ликвидации из русского алфавита буквы «ё», восстанавливает её в правах, исключительно исходя из стремления облегчить понимание русскоязычного произведения читателями, для которых этот язык не является родным. Полагаю, что таких будет большинство как в Крыму, так и за его пределами.

Второе. Прилагательное, производное от этнонима «крымские татары», то есть *крымскотатарский*, в советской России приобрёло форму *крымско-татарский*. Это явное искажение упомянутого адъектива с точки зрения как российской традиции, так и современного восприятия термина самими крымскими татарами, носителями этнонима, которые единственно и имеют право на решение этой проблемы. Как ранее относились к этому производному наши предшественники[1], так же воспринимают это написание современные учёные и публицисты. Собственно, это общеизвестное правило, распространяющееся и на носителей личных имён (фамилий), самостоятельно определяющих, к примеру, место ударения в них, наличия или отсутствия дефиса и т. д.

И ещё одно замечание из области орфографии. В советской, да нередко и современной научной и художественной литературе Красную гвардию и Красную армию принято именовать уважительно, с прописной буквы, а её противников — уничижительно, со строчной, (напр., белая гвардия). В данной работе, я пытался следовать не политическим или идеологическим канонам, а логике орфографии, согласно которой все три перечисленных термина — одного смыслового ряда, значит, и писаться должны единообразно. Поэтому, надеюсь, читателя не слишком покоробит написание с прописной буквы таких исторически уникальных реалий одного ряда, как Белая гвардия, Вермахт и т. д.

Наконец, о написании тюркских, арабских и прочих слов, не имеющих аналогов в русском языке и им заимствованных. Если слово общетюркское, то оно приводится в современном крымскотатарском написании, как обозначающее именно крымскую, а не какую-нибудь иную реальность. Поясню на примере: деревенская или городская община в Крыму имеет некоторые отличия от, скажем, киргизской, отчего она и обозначается в тексте как *маалле* (См.: *Усеинов С.М.* Къырымтатарджа-русча лугъат. Симферополь, 2005. С. 140). В то же время общемусульманские понятия и термины, заимствованные из арабского языка, приво-

[1] См., например, орфографию относящихся к 1903–1904 гг. «Крымских писем» члена II Государственной Думы, «отца крымскотатарской журналистики» *Абдрешита Медиева* (ПО, 2–4 февраля 2007. С. 12). Второй пример — из современности. Это двухтомник «Крымскотатарской энциклопедии», созданной в последней четверти XX в. профессором Рефиком Музафаровым и А.М. Короткой. Впрочем, можно сослаться и на такие вошедшие в свод этнонимов термины, как *каракалпакский, белорусский* и т. д., своим слитным написанием нисколько не нарушающие каноны русской орфографии.

дятся в максимальном приближении к последнему, как это принято в научных изданиях. Пример: *хаджж* (Ислам, 1991. С. 261).

Остаётся произнести слова признательности тем, без кого этот труд не увидел бы свет. Я благодарен за свою творческую судьбу, за судьбу этой книги, многим людям, не только крымским татарам. Перечислить всех их я не в силах — это займёт слишком много книжной площади. Но у меня есть возможность назвать самый мощный источник сведений по истории XX в., самого трагического для Крыма. Это неиссякаемое чешме человеческой памяти, мудрости и всепрощения, каким стало для меня многолетнее общение с моими соотечественниками. Сотни и тысячи коренных крымчан не только уделяли внимание моим скромным выступлениям в крымской прессе, но и бесстрашно, пренебрегая опасностью вполне возможных репрессий советского периода, делились со мной самыми сокровенными и трагическими тайнами своей жизни, своих личных судеб. Низкий поклон вам, мои дорогие, за вашу искренность, сердечность и истинно крымскую храбрость.

Полагаю также своим непременным долгом принести глубокую благодарность всем людям, а также некоторым организациям и фондам, без моральной и материальной поддержки которых лежащий перед вами труд вряд ли мог быть завершён. Ниже я попытаюсь перечислить и этих моих бескорыстных помощников. При этом они будут упомянуты, естественно, не в алфавитном порядке и даже не по уровню оказанной ими поддержки (сравнивать такие вещи всегда сложно), а согласно хронологическому принципу, то есть в приблизительном порядке оказания такой помощи.

Первым, кто подал вообще идею написания книги о комплексной истории крымскотатарского народа, был ташкентский, а ныне севастопольский житель Руслан Эминов. Случайно встретив ещё в 1970-х гг. мою работу о шведско-крымских связях ханского периода, Р. Эминов разыскал меня и буквально поставил перед насущной необходимостью такого труда для народа, в те годы находившегося практически стопроцентно в местах сталинских поселений, вне своей родины, и к тому же лишённого большевиками собственной истории. Этот вклад Руслана Эминова в написание четырёхтомника поистине неоценим.

После начала работы по собиранию материалов (они тогда находились по большей части в спецхранах) значительную помощь оказывала администрация Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР (ныне Санкт-Петербургский Институт истории Российской академии наук), где я работал в качестве старшего, затем ведущего научного сотрудника. Здесь имеются в виду как необходимые для доступа в спецхраны официальные бумаги («отношения»), так и возможность пользоваться прекрасной научно-технической базой этого научного центра на протяжении почти трёх десятилетий.

Весьма ценными были консультации моих добрых коллег по работе в этом институте, таких видных исследователей, как доктора наук А.И. Доватур, Е.Ч. Скржинская, И.А. Шишова, А.А. Нейхарт, И.В. Куклина, Л. Климанов и другие специалисты по истории и культуре Причерноморья. Большую помощь в разработке методологической базы четырёхтомника оказали автору профессора А.Д. Люблинская и И.П. Шаскольский.

Отдельно нужно упомянуть старшего научного сотрудника того же института Лидию Георгиевну Катушкину. Её консультации (1970-е гг.) были чрезвычайно ценны не только в процессе подготовки этой работы, но и в целом для автора, тогда начинающего учёного, нуждавшегося в квалифицированной поддержке старших коллег и добрых товарищей, блестящих теоретиков и практиков исторической науки. Кроме того, Л.Г. Катушкина оказала огромную бескорыстную помощь автору, переведя на русский язык ряд старых французских источников, а также современных трудов по крымскотатарской теме, принадлежащих исследователям Франции.

В 1980-х гг., когда мной уже были начаты полевые исследования среди возвращавшихся на родину крымских татар, весьма важными оказались встречи с Куртсеитом Аметом (пос. Воинка), педагогом и поэтом, известным в Крыму ещё с довоенных лет. Беседы с этим бывшим узником сталинских лагерей, великолепно эрудированным в истории Крыма, оказались чрезвычайно полезными в выборе концепции настоящей работы.

Во второй половине 1980-х гг. в Ленинграде стараниями Шевкета Ибадуллаева были отысканы и собраны воедино крымские татары города. Эта заслуга нашего земляка никогда не будет забыта: без такого фундамента многие научные и этнокультурные проекты не могли бы появиться даже в виде перспективных планов. После чего им же, Шевкетом, было организовано крымскотатарское землячество (Культурное общество «Крым»). Члены этого общества стали незамедлительно и активно оказывать самую разнообразную помощь в работе над книгой. Это были консультации по проблемам исламистики, довоенной истории Крыма и старинной крымскотатарской эпиграфики (соответственно ленинградцы Хаджи Кадыр Алиев и профессор Али-агъа Бекиров), обсуждения отдельных проблем или периодов истории Крыма на еженедельных собраниях Общества. Наконец, большую роль в оперативной подготовке первого варианта книги сыграла техническая и организационная помощь членов Общества. Её главным инициатором всегда оказывался Асан Мумджи, причём на протяжении многих лет.

Примерно в те же годы начала ощущаться действенная помощь из Крыма. Ильвер Аметов (Судак), тогдашний председатель организации крымскотатарского национального движения (ныне председатель Милли Меджлиса) Мустафа Джемилев, Мамеди Чобанов (Симферополь) стали, пожалуй, первыми, но далеко не единственными из моих земляков, на чью поддержку и содействие я мог надеяться, работая в Крыму. А вскоре такие поездки стали более частыми и регулярными: крымские татары Ленинграда оказали мне великую честь и доверие, поручив представлять их на Курултае, собравшемся в Симферополе впервые за прошедшие полвека. Позднее, когда начал свою деятельность Меджлис крымскотатарского народа, работа в его составе давала мне неоценимые возможности поездок по всей территории республики, встреч с сотнями интересных и обладавших превосходной памятью людей. Сбор необходимой информации шёл особенно удачно, когда такие поездки совершались не в одиночку, а с другими членами Меджлиса, то есть с людьми, великолепно знавшими местные проблемы, людей, их трудности и заботы. Такие поездки (в степной Крым с Джульверном Аблямитовым, в Бахчисарайский и Старокрымский районы с Ильми Умеровым,

в Алуштинский с Шевкетом Кайбуллаевым и т. д.) стали бы истинным подарком судьбы для любого исследователя.

Ещё одним таким подарком стало переросшее в многолетнюю дружбу знакомство с симферопольским предпринимателем Али Озенбашем. Работа в архивах, сбор фактов истории Крыма XX в. могли вестись на территории всего полуострова, но к концу каждого из таких скитаний я знал, что смогу приклонить голову в его скромном домике в Марьино (Симферополь), уверен я в этом и ныне.

Особую, высокопрофессиональную помощь оказывала член Меджлиса и редактор газеты *Авдет* Лиля Буджурова — не случайно первые результаты исследований были опубликованы именно в этом издании. В дальнейшем такую же помощь и дружескую поддержку оказывал мне новый редактор *Авдета* (и основатель прекрасного культурно-краеведческого журнала *Къасевет*) Шевкет Кайбуллаев. Много дали и беседы с историком, также членом Меджлиса, Рефатом-агъа Куртиевым, великолепно знающим не только Симферополь с его довоенными реалиями, но и народные крымскотатарские предания, традиции, обычаи. Не менее ценными оказались и воспоминания (тогда ещё неопубликованные) другого старого симферопольца, доктора физико-математических наук Рефата-агъа Аппазова, проживавшего в Москве.

Уникальную информацию о жизни и культуре крупных крымскотатарских вероучителей начала XX в. дала переписка с давно эмигрировавшим в США племянником одного из муфтиев Крыма Фатином-агой Тарпи. Совершенно иной, но не менее ценный информационный блок удалось составить благодаря личным беседам с сыном Председателя ЦИКа довоенной Крымской АССР Вели Ибраимова, ныне покойным Тимуром-агъа Марьяновичем, а также его внуком, доктором медицинских наук И.Т. Марьяновичем (Петербург).

Такая помощь стала ещё более значительной после выхода в свет первого варианта исследования (*Исторические судьбы крымских татар*. Симферополь, 1988 (нецензурированное ксероксное издание); затем изд. «Мысль», М., 1992). Эта работа оказалась довольно несовершенной, но иного трудно было ожидать, так как писалась она не то что в спешке, а в пожарном порядке. Народ начал своё историческое Возвращение, и ему нужно было вернуть и свою историю — он в ней нуждался, как в воздухе... Как бы то ни было, но критика этой книги была чрезвычайно полезной и в смысле содержания, композиции, и её основных выводов, не говоря уже о фактографической стороне дела. И здесь главная заслуга принадлежит проф. Рефику-агъа Музафарову, редактору журнала *Ватан*. Критика этого историка широчайшей эрудиции и редкого знания предмета отличалась не только конструктивностью, но и безграничной доброжелательностью.

Последнее хотелось бы подчеркнуть особенно, так как со стороны научных кругов Крыма (и не только Крыма) основной реакцией на упомянутую книгу было раздражение по поводу отдельных выводов, например, о роли великороссов в колонизации и русификации Крыма, в дискриминации и геноциде крымскотатарского народа и т. д. В то же время необходимо подчеркнуть, что отдельные учёные, а также научные и музейные работники Крыма сохранили прежнее доброе отношение и всегдашнюю готовность к помощи; назову хотя бы историка

В.К. Гарагулю, доктора филологии Адиле Эмирову, публицистов Ю. Кандымова, Ю. Горбунова, В. Полякова, Н. Ибадуллаева и многих других.

На протяжении завершающих лет работы над четырёхтомником совершенно незаменимой стала всегдашняя помощь члена Меджлиса Надира Бекирова. Не менее важной была редкая возможность использования такой открытой и широкой трибуны, какой может быть только всекрымская газета. Это позволило обращаться к соотечественникам с отдельными, наиболее проблемными темами и сюжетами, за которыми следовала не только ожесточённая критика бывших партийных рупоров вроде *Крымской правды*, но и поистине бесценные письма читателей со смысловыми дополнениями, предложениями, уточнениями. Такая возможность была бы немыслимой без доброго отношения редакторов газеты *Голос Крыма* Эльдара Сеитбекирова и бывшего соредактора той же газеты (затем редактора газеты *Полуостров*) Айдера Эмирова. Кроме того, Э. Сеитбекиров организовал и блестяще провёл ряд научных конференций, где предварительные выводы по отдельным сюжетам книги получили всестороннее и объективное освещение, прошли профессиональную проверку — бесценная возможность, о которой трудно было и мечтать в 1970-х и начале 1980-х, когда крымскотатарский народ и связанные с его историей темы находились ещё «под запретом»...

Отдельной благодарности заслуживают международные институты и фонды, в разное время оказывавшие мне неоценимую материальную помощь в разработке отдельных сюжетов четырёхтомника. Это давало возможность работать в отдельные, хоть и краткие периоды исключительно над книгой, причём с полной отдачей, а не только во время, свободное от добывания хлеба насущного. Такими фондами были: Соросовское «Открытое общество», «Фонд Дж. и К. Макартуров» и «Международный научный фонд» (Нью-Йорк).

Международная трибуна, столь необходимая в процессе проверки чисто теоретических положений почти любого современного научного исследования, в течение последнего десятилетия широко предоставлялась мне прежде всего Институтом антропологии и этнографии Копенгагенского университета, Славянским институтом того же университета, Шведской академией наук, Свободным университетом г. Берлина. И, конечно, особой благодарности заслуживает Королевская Датская академия наук, не только с готовностью предоставлявшая своему члену материальную возможность для командировок в датские архивы и книгохранилища, но и посвящавшая проблемам истории крымских татар общие заседания в своей Главной аудитории на бульваре Х.К. Андерсена. Столь же ценной была возможность обмена мнениями и научных дебатов, которая неоднократно предоставлялась мне украинскими научными, общественными и политическими организациями и институтами. Хочу прежде всего выразить благодарность Институту национальных отношений и политологии Национальной Академии наук Украины, Институту востоковедения им. А. Крымского той же академии, Институту демократии им. П. Орлика, Министерству Украины по делам национальностей, миграции и культов, фонду «Відродження», Государственному комитету по делам национальностей Республики Крым, редакции украинского информационно-аналитического журнала «Проблемы миграции».

На последнем этапе подготовки рукописи к печати встал вопрос об оформлении четырёхтомника иллюстрациями и картами. Здесь незаменимыми оказа-

лись карты, составленные крупнейшим исследователем истории ханского Крыма Олексой Гайворонским, который по-дружески предоставил три из них для нашего издания. Не менее ценны материалы Крымского исторического музея «Ларишес» (Бахчисарай). Его основатель, фондообразователь и директор Гулливер Альтин безвозмездно передал издательству многочисленные копии старинных гравюр, рисунков, картин из фондов музея. Не менее тёплой благодарности заслуживают редактор издательства «Тезис» (Симферополь) Эдие Муслимова, передавшая автору копии из издательской коллекции старых крымских фотографий, а также Диляра Якубова, организатор евпаторийского комплекса «Одун-Базар Къапусы», которой я обязан прекрасной подборкой старинных фотографий и возможностью сделать снимки экспонатов комплекса, имеющих большое этнографическое и историческое значение.

Что же касается стиля этих томов, то он неровен и, догадываюсь, этой неровностью (и нервностью) должен раздражать многих сегодняшних читателей. Трудно найти лучшее объяснение его особенностям, чем приведённое по схожему поводу замечательным мыслителем и поэтичным философом: «Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно расставленными потрохами, — мы должны непрестанно рождать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им всё, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, весёлость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок» (*Ницше,* 1990. Т. 1. С. 14). Надеюсь, эти слова извинят многие недостатки моего труда, у которых один исток — давнее и искреннее сочувствие автора к историческим судьбам коренного народа Крыма.

Здесь авторская позиция вполне уязвима — в науке нельзя руководствоваться личными страстями. Что верно (хотя не стоит забывать и слова Гёте: «Быть искренним я обещаю, быть безучастным — не могу»). Но в случае Крыма ситуация почти несовместима с мирно и безболезненно устоявшейся исторической традицией, предлагающей и позволяющей судить былые события и факты отстранённо, целиком извне. Признаюсь, я не всегда её придерживался, чему есть причина. Как можно было «стоять над схваткой», когда материалы исследований на глазах превращались в живокипящие картины высокого драматизма и мучительного трагизма, из которых и состоит вся долгая история коренного народа Крыма? Полностью отстраниться от этих картин, целиком уйти в бесстрастный научный поиск не всегда удавалось, что, конечно, непохвально. Но все мы живём не в безвоздушном пространстве, а в земной, далеко не идеальной атмосфере. И на работу не может не накладывать отпечаток сознание того, что, несмотря на все жертвы, историческая трагедия нации не изжита, она всё ещё длится, а Крым и поныне весь — сплошная кровоточащая рана, так и не зажившая со времен Шагин-Гирея и Екатерины II.

ПРОЛОГ

Да, скифы мы...
А. Блок

1. Проблемы манихейства в исповедании великих религий (исторические корни геноцида)

Геноцид ныне справедливо считается «тягчайшим преступлением против человечества» (Энц. словарь. С. 291). Но так было не всегда. На заре человечества, когда человек едва начал отличать себя от зверя, геноцид являлся скорее общепринятой практикой, чем каким-то жутким нарушением межчеловеческих норм. Как утверждают специалисты, он вообще был «исходной точкой отношений между человеческими сообществами» (*Назаретян*, 1991. С. 112–113). Это была «потенциальная и реальная угроза взаимного истребления», которую можно рассматривать «как слабую способность взаимопроникновения смысловых полей групп, возможно, этносов, как взаимоотталкивание...» (*Ахиезер*, 1994. С. 79). Родоплеменные группы раннего, первобытнообщинного этапа истории видели в окружающем животном и человеческом мирах исключительно враждебное кольцо. И это было понятным, естественным и не вызывало удивления, поскольку тогда ещё не существовало понятия *человечество*.

Иных отношений племена не знали, так как естественная логика подсказывала, что сам себе человек не враг, значит, в острых психологических проблемах (состояние тревожности, ощущение опасности, угрозы и пр.) остается винить не себя, а «ненаших», чужаков, которые по уровню угрозы ничем не отличались от крупных хищников-зверей. Собственно, человек и был всеядным хищником. Конечно, постоянной войны всех против всех не было. Но за случайными столкновениями, за отсутствием взаимопонимания, за пароксизмами страха следовала «нормальная» реакция: попытка ликвидировать источник этой опасности, то есть её реальных или мнимых носителей.

Такая первобытная логика и основанная на ней модель поведения постепенно теряли свой тотальный характер. Этому медленному процессу содействовали начатки нового отношения к человеку как к необычной ценности, способной принести при мирных контактах не только вполне утилитарные, практические выгоды (союза, взаимопомощи, защиты), но и, не исключено, радость общения. Другими словами, общество очеловечивалось.

Однако наряду с этими новыми, становившимися всё более характерными для общества принципами, носителем которых было *сознание,* параллельно и независимо от них продолжали существовать старые, ещё человекозвериные, архетипические модели поведения. Эти передававшиеся по наследству сокровенные стереотипы гнездились в *подсознании,* которое, как известно, отличается чрезвычайными консервативностью, устойчивостью, прочностью[1]. Мир комплиментарных, комфортных сущностей всё более расширялся. Но при этом отнюдь не исчезал противоположный, непознаваемый, враждебный мир зла и всяческих опасностей. Такое бинарное (двоякое), антиномичное, «плюс/минусовое» или дуально-оппозиционное восприятие объективной реальности стало важнейшей частью примитивных верований, а позже — всё более развивавшихся религиозных систем.

Многие из древних конфессий, несших в себе это тяжёлое (сейчас мы бы сказали «антигуманное») наследие доисторических эпох, исчезли. Другие получили довольно высокое развитие в древности и Средневековье; такой была религия древнего Ирана, едва ли не единственная из такого рода конфессий, принявшая форму стройной системы. Имя этому культурному реликту — маздеизм[2], а его модернизированному в III в. н. э. варианту — манихейство.

Религиозная философия манихейства сложилась на основе одной из древнейших мировых религий, зороастризма, с последующим влиянием буддизма и христианства. Её основатель, вавилонский философ Мани (216–276 гг.), учил, что во Вселенной извечно существуют два взаимоисключающих принципа: добра и, соответственно, зла, света и тьмы, друг с другом не соединимых и непрерывно противоборствующих. В соответствии с этой вселенской антиномией и люди делятся на «добрых, праведных, просветлённых» и «злых, порочных, исчадий ада». Третьего не дано. Столь же просто учение Мани объясняло сколь угодно сложные проблемы бытия и духа, в частности, происхождение социального зла (или несправедливости), от которых страдали и страдают любые общества. Иногда он привлекал для этого мифологические и домифологические сюжеты. Ещё в III в. манихейство быстро распространилось в культурных регионах Северной Африки, Испании, через Малую Азию проникло в Грецию, Иллирию, Италию и Галлию (*Виденгрен*, 2001. С. 174).

Благодаря своей системной простоте и ясности манихейство оказало мощное и длительное влияние на часть человечества, то есть на культуры ряда цивилизаций, в том числе и на другие религии. С чисто гуманистической и некоторых иных точек зрения такое влияние было безусловно пагубным, этически тупиковым, так как подвергало человека соблазну предельного упрощения действительности, замыкало в себе и, значит, чрезвычайно обедняло его духовный

---

[1] Согласно квалифицированному утверждению психолога и философа С. Ковалёва, даже в XX в. «более 90 % информации человеческий мозг получает и обрабатывает помимо коры головного мозга на уровне подсознания» (ОГ. 09–15. 09. 1999. С. 4). Соответствующим образом идёт и процесс выработки решений, формирования поведенческих и культурных стереотипов и т. д.

[2] Суть маздеизма изложена в *Авесте*, своде священных текстов зороастрийской религии середины I тысячелетия до н. э. Наиболее сжатое изложение дуально-оппозиционных идей Авесты в русском переводе см.: Хрест. Востока. Т. II. С. 63–64.

мир. Из всего многоцветия Земли и Неба этот духовный дальтонизм оставлял лишь две краски — черную и белую. Но это не самое страшное. Убежденные манихеи, воспринимавшие себя, естественно, в белом цвете, цвете добра и жизни, логично относили всех неманихеев, *всех* остальных (то есть «ненаших») однозначно к приверженцам всяческой скверны, порождению тьмы, изначального зла — с соответствующими выводами.

Поэтому в мире Мани и его последователей не было понятия «нейтральность». А известный принцип «кто не с нами — тот против нас» уже тогда получал значение абсолюта, и с ним — далеко идущие последствия и результаты. Можно не принимать во внимание его принципиальную неверность[1], важнее тут другое: он обрекал на небытие, отрицание или насильственную ликвидацию все «иные», то есть смешанные или срединные культуры и мировоззрения. А отсюда уже рукой подать до восприятия всех инакомыслящих как животноподобных врагов, нелюдей, как неких зловредных тварей, подлежащих беспощадному истреблению во имя торжества «белого цвета». Ну а как именно распознавать, определять, называть этих тварей в ходе великого противоборства («язычники», «варвары», «еретики», «неверные», «бусурмане», «классовые враги» и так далее до бесконечности) — подскажет эпоха и её лексика.

Как бывало и в эру первобытного геноцида, манихейство не всегда предполагало непрерывную войну праведников с грешниками. Тем не менее из всех философских лабиринтов и практических проблем оставался лишь один выход, оставался главный ответ на все вопросы: передавалась эстафета необходимости любой ценой уничтожить «ненаших», изначально виновных во всех бедах «нашего» мира. А предлоги к обострениям и вспышкам этого тлевшего, но никогда полностью не затухавшего побоища история предоставляла чаще, чем того хотелось бы не только жертвам: иногда устает рука и самых безжалостных фанатиков *идеи*.

Именно *идеи*, — к сожалению, к геноциду человека толкали не экономические обстоятельства, а идеологические (вариант — конфессиональные, этатистские и т. д.) убеждения. Поэтому для раскрытия темы целесообразен небольшой исторический экскурс в эволюции радикального антагонизма в великих религиях.

а) Иудаизм

Когда на Ближнем Востоке окончательно угас длительный закат политеизма, и иудеи одними из первых восславили единого Бога, несоединимого, казалось бы, с какой бы то ни было дуальностью (Исх. 7:14–10:29; 34:14), идеи дуальной оппозиции не только выжили, но и проникли в книги израильских пророков. Об этом говорят тексты иудейской Торы — она же Ветхий Завет (Мал. 3:1–4:6; Ис.65:2–12; 66:1–4; Иер. 2:20–37; 4:8; 4:23–34; 49:8–22; Иезек. 9:5–10; Дан. 8:19–25; Ос. 8:10–10:15 и мн. др.). Эти идеи расцвели особенно пышно именно

[1] Не только борьба, но и *единство противоположностей* как условие сохранения жизни и её развития (изменений), их взаимообусловленность, были открыты не только до разработки Гегелем его метода, но и до Мани, которого эта плодотворная альтернатива, судя по всему, оставила равнодушным.

в книгах израильских пророков. В качестве чёрного антагониста «белому» Богу здесь фигурирует Сатана (I Пар. 21:1–8). Позднее идея этого Антибога переходит в Талмуд (V век н. э.).

Ортодоксальный иудаизм, системно оформившийся в среде фарисеев и саддукеев, сохранил древнее жёсткое разделение на «своих» и «чужих» до наших дней (мы говорим об учении и о его суровых подвижниках, но отнюдь не об абсолютном большинстве верующих евреев — люди они разные). Однако следовало бы подчеркнуть, что восприятие иудаистами всех остальных как нечистых язычников (см. I Ездр. 9:12; 10:2–3; Неем. 9:2; 13:23–25), способствовавшее самоизоляции, сыграло уникальную роль в судьбах еврейского народа. Эта стерильная герметизация сохранила этнос на протяжении многовекового рассеяния как нацию (само собой, без воистину манихейского ригоризма это вряд ли было бы осуществимо).

Заметим, кстати, что иудейская религиозная нетерпимость — эта чуть ли не крайняя разновидность манихейской жёсткости по отношению к «чужим» — в условиях Европы раннего Средневековья полностью утратила свои насильственно-агрессивные черты.

б) Христианство (православное и западное)[1]

> Алтарь состоял из трёх растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви.
>
> *Я. Гашек. Приключения бравого солдата Швейка*

> Сочетание религиозного жара и поисков подручных икон с желанием нагадить, наплевать, затоптать и уничтожить предметы материальные, похоже, является специфически русской чертой. Во всяком случае, я другой такой страны не знаю.
>
> *Т.Н. Толстая. Главный труп*

Влияние манихейской идеологии было заметно уже в первых отростках христианства от векового ствола иудаизма[2]; скорее всего, терпкие соки нетерпимости влились в обе эти религии из общих корней. Манихеи, даже критикуя Евангелие, не забывали объявить истиной те новозаветные идеи, которые совпадали с их принципами дуализма. Например, они приводили в диспутах слова апостола Павла об известной противоположности духа и плоти и многое другое. К чести

[1] В этой главе, а также везде, где не сделано специальных оговорок, речь идёт не о болгарском, румынском, сербском или украинском православии, но исключительно о великорусском его варианте.

[2] О дуализме, чёткой дихотомии «Свет/Тень» и других манихейских реликтах уже в первохристианской Кумранской общине см.: НиЖ, 1978. № 6. С. 91.

наиболее последовательных приверженцев человеколюбивых идей Христа следует заметить, что они в дальнейшем упорно стремились очистить его наследие от наиболее грубых пережитков древней системы Мани, явно чужеродных в мягком свете евангельского учения, но столь привычных для политики Церкви воинствующей. Масса усилий и огромные жертвы в борьбе с христианской нетерпимостью и церковным тоталитаризмом, конечно, приносили свои плоды, но результаты нынешнего дня иначе как промежуточными назвать трудно.

Как известно, победитель часто всю свою жизнь носит шрамы от ран, нанесенных ему павшим противником. Христианство, успешно и, главное, своевременно покончив со сторонниками инквизиции и религиозных войн, приобрело вполне благообразный вид. И лишь зарево югославской и чеченской боен высветили на его лице застарелые, страшные отметины нетерпимости. Небесследно прошли для него и былые схватки с внутренним врагом, с сектами и ересями, где глубоко укоренилось догматическое манихейство (прежде всего в павликанской, вальденской, молоканской, богомильской, катарской, альбигойской и беспоповской). Несоизмеримо сильнее, чем у западных церквей, заметны эти рубцы на теле православия. Примеров тому немало, они будут приведены ниже.

Почему же от язв нетерпимости к окружающим, от духовного дальтонизма, в общем излеченных в католическом и протестантском мире, до сих пор страдает именно православие? Исторических причин (основных) здесь две, хотя они настолько фундаментальны, что достаточно было бы и одной.

Итак, первая. Это — *скифы*.

Пришедшие в VII в. до н. э. на территорию будущего расселения восточных славян в Северном Причерноморье (Киевская Русь), они принесли с собой от иранских пределов маздеизм в его чистом, не смешанном с позднейшими влияниями виде. В дальнейшем произошло неизбежное: восточные славяне стали смешиваться со скифами, причём основательно (*Тереножкин*, 1977. С. 5; *Рыбаков*, 1984. С. 226). Начались и культурные заимствования у более высокоразвитых кочевников. В том числе — религиозных представлений, начиная от самого определения «Бог» (древнеиранское *Baga*) и кончая верой в мощь и вездесущность Антибога («Чёрт» у русских, «Дабог» у сербов), от дуальной эсхатологии до образов мелких нечистых из области низшей мифологии. Не исключено, что имели место какие-то влияния и в области коллективистской психологии — это отмечали русские мыслители старой школы, в том числе Н. Бердяев (*Пискунов*, 1994. С. 47).

Распространение этих маздеистских идей среди восточных славян было широким, и проникали они глубоко, так как проводниками им служили многочисленные властители душ той эпохи, интеллектуалы-волхвы (*Рыбаков*, 1984. С. 533, 548–550). Кроме того, семена эти пали на подготовленную почву — и в доскифской древнеславянской мифологической системе локалистского типа видное место занимали именно «двоичные противопоставления» (Славянская мифология. С. 451).

Второй раз после долгого перерыва манихейские идеи, уже вошедшие в великую культуру ветхозаветного Израиля, пришли на Русь вместе с Библией (*Lotman*, 1995. С. 68). А вскоре появилась и успешно продолжила начатое своя, оригинальная русская литература: прежде всего это «Беседа трех святителей» (XI в.) и «Палея толковая» (XIII в.), популярное изложение библейской истории.

Впервые к христианам «не нашего толка» стали относиться как к нелюдям, к порождениям Сатаны, вполне православные иноки (лишь гораздо позже их примеру последуют раскольники). Так, игумен Киево-Печерского монастыря XI в. Феодосий считал западных католиков и армян настолько нечистыми, что не допускал даже супружеских отношений с ними, относясь к ним как к животным: «...веры латиньскиа бегати лепо есть ни обычая их держати и камкания (причастия. — *В.В.*) их не принимати, и не послушати реченное ими, зане не право веруют и нечисто живут... Христианом же своих дщерий не достоит даати за них, ни поимати у них за себе... ни целования с ними имети, ни ясть из единого сосуда. Тем же просящим у вас дайте им Бога ради ясти, но в их сосудах, аще ли не будет у них сосуда, в своём дати, и потом, измывши сосуд, молитву дати... Несть бо жизни вечныя живущим в вере Латинстей или в Срачинстей (мусульманской. — *В.В.*), или в Арменстей» (Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб, 1911. С. 132)

Отчетливо антиевангельские принципы непримиримости и фобий позже проводились не только литературой, апробированной церковью или государственной властью, но и ходившими по рукам в копиях многочисленными и крайне популярными сочинениями, как официально рекомендованными, так и неофициальными, написанными в беллетристическом и эпистолярном жанрах[1]. Что естественно, ведь принципы эти стали «достоянием масс» ещё до водружения креста на киевских холмах.

А после этого важного события, начала Крещения, столь же постоянным стало влияние на русский духовный мир Византии, её церкви, которая сама была сильно заражена манихейскими ересями и до и после крещения Руси. Этому факту в истории православия можно найти подтверждение в академических трудах (см., например, История Византии. Т. I. С. 271, 273–276; Т. II. С. 42, 43, 55, 77, 306; Т. III. С. 317). Но гораздо лучше сказал об этом крупный русский писатель, немало сделавший в области философско-исторического осмысления сущности России и её народа:

«Разлагаясь, умирая, Византия нашептала России все свои предсмертные ярости и стоны и завещала крепко хранить их России. Россия у постели умирающего очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к сердцу и дала клятву умирающему — смертельной ненависти к племенам западным, более счастливым в исторической своей судьбе, и к самому корню их особого существования... Как „уподобиться“ Византии — в этом состояло существо исторических забот России в течение более чем полутысячелетия» (*Розанов*, 1991. С. 330).

Впрочем, как основательно замечают некоторые исследователи, это влияние не могло быть решающим для национальной психологии этноса, для которого

---

[1] Приведём вирши из «Нравоучения» некоего Савватия, справщика кремлёвского Печатного двора (сер. XVIII в.):

И выну (т. е. вину. — *В.В.*) свою неверные содевают
Божественные же писания отревают (отметают. — *В.В.*).
Того ради несть нам с ними никакого общения,
Разьве всегдашняго о православной нашей вере прения.
(РГАДА. Ф. 181. Ед. хр. 250/455. Л. 164 об.)

нетерпимость стала характерной чертой *до, а не после* первых контактов с Византией (*Яковенко*, 1996. С. 4). Поэтому нет ничего странного в том, что именно эти идеи позднее оказались общими для официальной церкви и для раскольников: «Именно в этом проявилась чётче всего некая внутренняя аналогичность между византийской сущностью и славянской психикой — родство достаточно близкое для того, чтобы притянуть вторую к первой... Русские были обращены в греческую веру, причём здесь не потребовалась поддержка мощью византийского государства, как это обычно происходило на Балкано-Иллирийском полуострове» (*Rueckert*, 1875. T. I. S. 502). Протопоп Аввакум высказывался, например, в том смысле, что русский народ, в отличие от всех иных, чуть ли не святой, а если православные и грешат, то это как бы и не они: «Не их то дело, а Сатаны лукавого». Другое дело — западные христиане и восточные мусульмане: первые для протопопа — лишь «недоверки», а вторые — вообще «песьи головы». Великих, но *до*христианских мыслителей — Аристотеля, Пифагора, Демосфена — протопоп Аввакум без сомнений ввергал в ад («Письмо двум девам») и т. д.

Заметим для сравнения, что гораздо более ранний, но западный, неправославный христианин Данте помещал тех же гениев отнюдь не в Ад, но в Чистилище. Иной в этом вопросе была и позиция мусульман. Известно, что в эпоху войн с Византией приверженцы ислама отпустили большую группу пленных византийцев, причем в обмен не за золото, а за античные, то есть языческие, неисламские книги. Православные греки тем легче пошли на предложение обмена такой фантастической выгоды, что древнегреческие эти тома все равно подлежали уничтожению, по той же причине — как «языческие» (ИЛ, 1985. № 5. С. 230). Далее, манихейство встретило на Западе такого подкованного в логической аргументации и тонкого мастера дискуссии, как Блаженный Августин. Этот талантливый отец западной церкви сыграл выдающуюся роль в конечной победе над учением Мани — по крайней мере в Европе (подр. см. *Виденгрен*, 2001. С. 186).

Ещё одно замечание. Россия не прожила, не прочувствовала Возрождения. При всех культурно-нравственных минусах этой исторической эпохи она принесла с собой не только античную науку, но и античный культурный гуманизм. Россия осталась лишённой и того, и другого[1]. Поэтому свирепость Средневековья, не испытав здесь ренессансного смягчения, перешла прямиком в Новое время, хотя полностью раскрыться она смогла только после 1917 г.

Православие Нового времени восприяло манихейские идеи во всей их полноте. Радикальность дуального антагонизма русской церковной мысли отмечалась виднейшими православными богословами: «Русский апокалипсис имеет двоякий характер... — мрачный и светлый» (*Булгаков,* 1966. С. 373), то есть не имеет полутонов, срединной части, чистилища и т.п. Не менее известный философ обращал внимание на то, что «не случайно предчувствие Антихриста — русское предчувствие по преимуществу. Чувство Антихриста и ужас Антихриста

[1] «Здесь-то и заключены корни всей нашей абсолютной нищеты — научной и философской. Русь не знала даже осознанного богословия. Общедоступность Священного Писания нивелировала все сословия. Сами монахи, носители книжности, мало чем отличались от остальной массы. Им было неведомо то напряжение ума, которое образуется на стыке несхожих культур и стимулируется страстью к познанию» (*Замалеев*, 1994. С. 7).

были в русском народе, в низах, и у русских писателей, на вершинах духовной жизни... И Антихристов дух соблазнял русских так, как никогда не соблазнял он людей западных» (*Бердяев*, 1990. С. 86). И восточных тоже, добавим мы, имея в виду мусульманский мир.

К середине XIX в. православие из народной, по преимуществу этической системы выродилось в государственную идеологию, политизировалось, приняв всеобщий, тотальный для русского мира характер. Здесь стоит коснуться и проблемы выбора религии *народом*.

Древняя легенда о Святителе Владимире не так уж беспочвенна. Пространственные границы религий довольно точно совпадают с этническими, что естественно, ибо религия приемлема лишь в случае, если она отвечает устойчивому мироощущению этноса, его этнопсихологии и т. д. Бывают, конечно, отклонения (например, в случае насильственного крещения народа), но со временем конфессиональные границы все равно смещаются, корректируя это выпадение из правил. Отсюда и русский комплекс величия, и самоизоляционизм (см. ниже) — плоды полного удовлетворения «выбором веры» в X в., и столь же полное, чуть ли не биологическое неприятие католических или протестантских братьев по вере, мусульман, кришнаитов и др., отрицание даже возможности диалога с ними и прочее[1].

За тысячелетие христианства на Руси такая идея церковно-политической герметичности, наложившаяся на аналогичную, но подсознательную тягу к самоизоляции народа, не могла не стать характерным внешним признаком этнической психологии и национальной культуры великороссов. Более того, доказано, что она стала уже «системообразующей характеристикой» нации (*Яковенко*, 1996. С. 6). Поскольку же самоизоляция — лишь синоним разобщения (в том числе и внутреннего), то закономерным выглядит вполне современный вывод о том, что «православие может только разобщить народы России, но никак не сплотить» (*Алаев*, 1996. С. 157).

Второй источник рассматриваемого явления — *русская сельская община*. Термин этот довольно размыт, так как им обозначают менявшиеся со временем, то есть различные, сообщества. Возникнув в Древней Руси, сельский *мир* уже тогда характеризовался тремя фундаментальными характеристиками: 1) обязательной уравнительностью наделов; 2) строго сословным значением общины и 3) круговой порукой её членов (*Ключевский*, 1993. Т. I. С. 35). Хотя свое законодательное подтверждение эти общинные установления получили только в XVIII в. (воздействие поземельного закрепления крестьян и подушной подати), но они «работали» с большей или меньшей эффективностью на всём протяжении российской истории.

---

[1] Религия как компонент этнокультуры располагает своеобразными и мощными средствами утверждения статуса тех знаний, ориентаций и ценностных норм, которые «связаны с важнейшими функциями социокультурной регуляции, осуществляемой в рамках цивилизации» (*Ерасов*, 1998. С. 352). Эти средства — способность религии освящать уже сложившиеся культурную, духовную, экономическую, идеологическую практику этноса. Конечно, она выступает «как составная часть механизма цивилизационной детерминации, но в свою очередь, она *сама обусловлена* (курсив мой. — *В.В.*) этим механизмом, которому и принадлежит детерминирующая роль в определении зрелого облика религии и путей её эволюции» (указ. соч. С. 353).

Поскольку же племенной строй сохранялся здесь довольно долго — его распад относят к X в. (указ. соч. С. 145) — то становится понятным и высокий уровень консервации на Руси, внутри её общины, родоплеменных, бытовых, идеологических и культурных традиций. Эти факторы также содействовали сохранению и упомянутых манихейских принципов, прежде всего, двоичного противопоставления «наших» — «ненашим». В неординарной истории России Нового времени нередко роль духовного и социального мира общины недооценивается. Мы забываем о том, что сельские миряне не просто составляли абсолютное большинство среди сословий царства, но что и на рубеже XX в. их доля далеко превышала 70% (учитывая и вчерашних крестьян, хлынувших в конце позапрошлого века в город, чьи слободские окраины и без того с давних пор являлись общинами со всеми признаками сельских). Что же касается экономической основы «мира», то и в 1927 г. общинные земли составляли в Европейской части России 91,1% от сельскохозяйственных площадей (Итоги. С. 120–121).

Заметим, что на *Украине* их было резко меньше: около 33% на Левобережье и всего 14% на правобережной её части. А в Крыму закрытой общины русского типа не наблюдалось вообще; исключение — так называемые «русские» (то есть целиком переселенческие) деревни при поместьях, население которых не имело ни корней, ни связей с местными социально-экономическими традициями и практически на жизнь крымского народа не влияло.

Столь широкому распространению общины закрытого типа есть два объяснения. Во-первых, только сообща и можно было заниматься зерновым хозяйством в условиях Московии, где урожай традиционно равнялся в среднем 1:3 (то есть с вычетом семян выходило 1:2). Повысить урожайность применением органических удобрений было также невозможно. Стойловое содержание скота затягивалось на необычно большой срок (180–121 день). «Заготовить на такой срок корм для однотяглового крестьянина было делом совершенно нереальным. Тех примерно 300 пудов сена заготовленных за очень короткий период сенокоса, хватало лишь для эпизодического кормления скота». Поэтому «скот был едва жив, часто болел и погибал»; от этого «навозное скотоводство практически не справлялось со своей ролью ни в Средневековье, ни в XIX–XX веке» (*Милов*, 1996. С. 41).

Но не это главное. Урожайность можно было увеличить другими способами (в неласковом климате соседней Скандинавии в те же века зерна снимали в несколько раз больше). Не менее важный минус географического положения большинства губерний и уездов страны — их удалённость от крупных, постоянных рынков сбыта. Сложился порочный круг. Дороговизна вывоза на тогдашнем обозном транспорте не позволяла добиться нормальной чистой выручки, а без неё была невозможна интенсификация производства путём закупки и применения минеральных удобрений.

Как бы то ни было, мастерство «русского пахаря» сильно преувеличено, и его превозношение является лишь ярким образцом этнического самовозвеличения. Микула Селянинович был никуда не годным землепашцем, — таков обоснованный вывод о неповторимом умении русского крестьянина истощать, портить почву (*Ключевский*, 1919. С. 307). При этом община выполняла важнейшую функцию, являясь основой системы социального выживания. Ведь при таком «умении» обходиться с землёй без коллективной (общинной) многоплановой взаимопомо-

щи была бы невозможной даже простая репродукция населения. Поскольку сама по себе такая ситуация измениться не могла (а мужик дико консервативен), то она и замораживала общинный уклад вплоть до самой кампании сталинской коллективизации, — а там пошёл новый общинный виток.

Будучи самым значительным институтом русского общества и в социальном, и в народо-хозяйственном отношениях, сельский «мир» стал некоей универсальной точкой отсчёта развития нации, матрицей для формирования её психологии и нравственного идеала. В отличие от общин Востока и Запада, русская община прочно занимала «центральное место в самоидентификации подавляющего числа русского общества»; отсюда понятна «та значимая роль, которую она играла в общественой жизни в целом» (*Лурье*, 1995. С. 140). Общины были, по понятным причинам, жёстко замкнуты, герметично самоизолированы. Более того, они не только не стремились к естественному для нормальных сообществ контакту между собой, но, напротив, ориентировались на сохранение как своей обособленности, так и патриархальных отношений внутри отдельных семей. Это было редкое явление — добровольное гетто.

Организационной формой самоуправления общины была сходка хозяев, так сказать, патриархов, членов сельского мира, за каждым из которых стояла его семья (бобыли на мирские сходки не допускались). Другими словами, когда мир принимал решение, и оно становилось обязательным для всех селян (в том числе — и для не входивших в мир хуторян, и для тех же бобылей), торжествовало господство *коллектива* над отдельной личностью, то есть исконно *русское соборное начало*.

Соборность, или коллективизм, основательно считается одним из фундаментальных качеств русской национальной психологии, менталитета и культуры. Идея соборности ведет начало с дохристианских времен, когда эта внеисторическая традиция объединяла ещё «не нацию, а отчаявшуюся толпу» (*Романовский*, 1996. С. 233). Позже, освященная православием, она стала доминирующей — благодаря церемониям и обрядам, задачей которых было внедрять в общественное сознание чувство литургической общности. Эта традиция проявила обычную для русского этнического пространства консервативную стойкость, обретя далее, в годы большевизма, идеологическую и процедурную поддержку власти, и, наконец, достигла своего апогея в идее борьбы за максимальное сближение народов и культур империи СССР (то есть за их нивелирование в соответствии с ценностными и иными великорусскими этническими стандартами). Более того, будучи духовно-религиозной идеей, соборность стала отождествляться с гражданской совестью, отчего и начала оказывать влияние на другие стороны всеимперской действительности и идеологии.

Так, например, отечественное самосознание определяется, в первую очередь, социальными *общностями* (этнические, сословные и пр.), тогда как на Западе понятие identity связано с отдельными индивидами. Ведь именно личности являются носителями этничности, а не соборные группы, объединенные общностью территории, языка, родственных связей и пр., как в России. Ещё один результат влияния фактора соборности на русскую историю — *державность* национальной идеи. Это какой-то уникум: национальная идея в американском пространстве выражает стремление к свободе, в Китае — к порядку, в исламском мире — к этической оптимизации, в Индии — к духовному очищению и т. д., но только

не к этатизму ради торжества государственной структуры как *самоцели*. Кстати, и эта этническая черта пришлась «в масть» большевикам, так как «сверхзадача русского коммунизма как раз и заключалась в объединении гражданского общества и государства под знаком общей идеи» (*Тульчинский*, 1997. С. 18).

В истории России соборность сыграла (и продолжает играть) роль цивилизационного тормоза[1]. Отношения человека с окружающим обществом, с «миром», сводилось к монологу последнего и безропотному подчинению индивидуума стае.

Когда же возникал диалог (например, между общинниками, чьи интересы были взаимно противоположны), то такая неестественная для соборности ситуация разрешалась если не подавлением воли менее ценных для «мира» его членов, то сельским побоищем («стенка на стенку»). Впрочем, результаты были одинаковы: побеждала сильнейшая, то есть самая многочисленная партия, оставлявшая за собой роль законченно авторитарного носителя высшей истины или справедливости.

Это была та самая, идеализируемая нынешними патриотами России вечевая практика, целиком сохранившая свои качества в глубине общины позапрошлого столетия и в первых сельских советах XX века. В таких условиях древний дуальный антагонизм принимал естественную форму мирского эгоизма. Это было манихейство в его абсолютном, незамутнённом виде по причине локальности и замкнутости общины, создававших идеальные условия для чистоты этого спонтанного социально-психологического эксперимента.

Для сельского мира уже соседняя община была «ненашей», чужой. У неё было не грех урвать кусок пастбища, отхватить угол пашни, участок леса. Интересно, что акции или качества, считавшиеся порочными *внутри* замкнутого мирка общины, теряли негативную свою окраску за околицей. Запахивание чужой земли, порубка в соседнем лесу, наглый обсчёт пришлых батраков считались не бесчестным, а лихим, молодецким поступком. Если же такое действие шло на пользу не одному, а всей общине, то тут получала всеобщее одобрение даже прямая кража соседского имущества, а вор долго ходил в героях. В свою очередь, от соседских общин ожидалось аналогичное поведение. С ними нужно было держать ухо востро в ожидании подобных же подвигов, которые, в случае поимки такого «сельского активиста», карались жестоко и беспощадно. Это — простой пример использования на практике *двойного стандарта*, когда оценка поступка менялась на прямо противоположную, в зависимости от того, кто его совершал, «наш» или же «не наш»[2].

Поскольку Россия была страной крестьян, то такой вот нравственный принцип властвовал над всем государством. Разница была лишь в том, что, если в се-

---

[1] Цивилизация — это усилие, тогда как и национальная и оппозиционная соборность, коммунальность проявляются прежде всего в поиске комфортности, то есть в минимизации усилий, в отказе от напряжения индивидуальной энергетики и, напротив, в выборе линии наименьшего сопротивления, неизбежно ведущей к духовной анемии и экономическому застою, а то и к физической деградации. В цивилизованном будущем соборность, конечно, обречена уже потому, что цивилизация вырастает именно из стремления выйти из коммунальности, ограничить ее буйство жёсткими рамками.

[2] Более подробно о роли дуальных моделей в динамике великорусской этнокультуры и этики см.: *Успенский Б.А.* Избранные труды. М., 1994. Т. I. С. 220–221.

мье роль патриархального тотема играл «батюшка», а в общине — старейшина или барин, то в масштабах державы таким тотемом был царь[1]. Отношение же к соседям-народам складывалось не просто такое же, как к соседям-сёлам (то есть настороженно-эгоистичное), а прямо неприязненное (в отношении «чужих» людей Востока) или вдобавок ещё и завистливое (к странам Запада), в потенции же одинаково враждебное. Причем если вспышки вражды между общинами выражались междоусобицами, где в ход шли колья, то в державном масштабе это были вооружённые конфликты или обычная война. И она так же не рассматривалась абсолютным большинством русских (то есть членами сельских миров) как слишком уж зверская манера общения с окружающим миром. Иного типа межчеловеческих контактов 70 % русских не знало и себя частью открытого, большого мира (неважно, Европы или Азии) не представляло.

Это так же нормально для закрытого общества, как и его исконная *агрессивность*. Известно, что Московское княжество разрослось до размеров империи почти исключительно благодаря этому этнопсихологическому качеству. Соседи Москвы, такие же русские княжества, имели сходные перспективы, но оказались поглощёнными Москвой одно за другим по упомянутой причине. Они не обладали, во-первых, столь целеустремлённой и последовательной агрессивностью, а во-вторых, чисто московской беспринципностью, позволявшей московитам приглашать для кровавого подавления своих русских братьев-единоверцев кого угодно со стороны[2]. Но в основном — наследственных соперников всех восточных славян, кочевников Великой Степи.

Самым значительным из зодчих такого рода политики был новгородский, а затем владимирский князь Александр Невский, предпочёвший налаживанию европейских цивилизованных контактов и западному типу развития родины нечто иное — ордынский тип абсолютного властвования. Русских князей, несогласных подчиняться язычникам-ордынцам, он давил вооружённой рукой, беспрекословно выполняя карательные функции, возложенные на него восточными пришельцами. Число сожжённых им русских городов измеряется десятками, количество жертв — тысячами. Он был истинным сыном своего народа, оставившим в веках благоговейную память среди широких великорусских масс и став *дважды* святым: после смерти он был канонизирован в местные, владимирские святые, а при Иване Грозном вторично — в общерусские. То есть никакой случайности здесь не было.

---

[1] Правительство, в свою очередь, понимало, что община — хранитель идеала и верная поддержка царской власти, основа веры народа в царя-батюшку. Отсюда и стремление верхов сохранить эти сельские коллективы как можно дольше, одинаковое у царских и советских властей (см. также: *Ионов*, 1994. С. 282).

[2] Ещё в первой половине XVIII в. барон Гакстгаузен, член правительства весьма далёкого от России Ганновера, заметил, что если монголы, испанцы или португальцы некогда завоёвывали огромные территории, то при этом их *вели* монархи или полководцы. Московиты же — едва ли не единственный агрессор, который никогда не нуждался ни в понукании, ни в гениальных предводителях, и захватывал чужие края, не испытывая в этом видимой нужды. И Гакстгаузен заключил: «История не донесла до нас вестей ни об одном народе, который бы с самого начала своего становления, и на протяжении всех времён испытывал бы столь явную, упорную, неутолимую жажду (beharrlicher, unverwüstlicher Trieb) к колонизации, как русский народ» (*Haxthausen*, 1847. S. 203).

Говоря языком историка и дипломата XVIII в. Л.-Ф. Сегюра, борьба князей за московский престол, а Москвы — за возвышение «была подлой борьбой, борьбой рабов, главным оружием которых была клевета и которые всегда готовы были доносить друг на друга своим жестоким повелителям; они ссорились из-за пришедшего в упадок престола и могли его достичь только как грабители и отцеубийцы, с руками, полными золота и запятнанными кровью; они осмеливались вступить на престол, лишь пресмыкаясь, и могли удержать его, только стоя на коленях, распростёршись и трепеща под угрозой кривой сабли хана» (ВИ, 1989. № 4. С. 6).

А после князя Александра процесс экспансии во всех мыслимых направлениях пошёл как по маслу. Народная колонизация инородческих земель сменялась государственной, общество живо её одобряло, церковь — тоже. Расползание великороссов по двум материкам из первоначального пятна обитания стало практикой, *обыденной* на протяжении веков. Аборигенам новых колоний приходилось несладко как при Александре, так и при его наследниках уже иного, московского престола. Только сибирских племён и народов вымерло несколько десятков (последние уже при советской власти). Так великороссы побеждали свой ужас перед многообразием жизни, часто сами себе не отдавая отчёт в том, что они творили.

Тем не менее доныне простое упоминание об агрессивности великороссов вызывает яростный протест многих миллионов апологетов Святой Руси, не признающих самого словосочетания «народ-агрессор». По отношению к себе, конечно, не к американцам же!

Доказывать здесь что-либо сложно и, главное, бесполезно. Ограничусь поэтому словами, сказанными К. Чапеком в 1924 г.: «Если один народ верит в то, что люди должны как-то притерпеться друг к другу, а другой — что им следует друг друга пожирать, то это, конечно, очень существенное различие...» («Почему я не коммунист»// ИЛ, 1989. № 9. С. 243). Суть этого отличия великороссов от их соседей отмечает более современный специалист, объясняя экспансивность этноса в XV–XX вв. особенностью прежде всего мировоззренческой, связанной с его менталитетом. Иначе говоря, некоторым комплексом, заданным собственным подсознанием и определяющим путь и функции пространства: «Специфика российского пространства особенно заметна при взаимодействии с окружающими странами, народами и культурами, которые Россия на протяжении всей своей истории активно поглощала или стремилась поглотить» (*Корнев*, 1995. С. 4).

Вообще русская колонизация была конкретным воплощением агрессивности. Конечно, народная экспансия выглядела как чисто экономическая (переселенческие уходы). Но суть в том, что империя подозрительно быстро прощала этих «беглых», неизменно оказывая им на местах, изымаемых русскими мужиками у аборигенов, необходимую помощь. То, что эта колонизация не приносила доходов казне, скорее убытки, также не беспокоило современников. Как на вещь общепонятную, они вскользь ссылались на то, что многовековая экспансия велась «сплошь и рядом без всякого экономического расчёта, иногда даже не для самосохранения и независимости, но для военного могущества и величия» (*Игнатьев*, 1906. С. 71). А вот о чём редко кто себя спрашивал, так это: а *зачем* это величие, к чему оно ведёт, это бесконечное расширение пространства, это устремление к мессианским целям? Но оно было нужно как воздух, имея чёткий сакральный, магический смысл. Ибо, лишённая сакральности, любая империя

моментально рассыпается, как СССР, к примеру. Вот что давала агрессия в государственных масштабах, на макроуровне.

А кто больше заботился о сакральном, чем церковь? Весьма авторитетный и заслуженно популярный в своё время русский историк М.Г. Худяков сделал на основе многолетних исследований фундаментальный вывод о роли церкви в походах Ивана Грозного на восток: «Первая завоевательная империалистическая война, ведённая русским правительством на территории, не заселённой русским народом, была освящена благословением церкви и *фанатической* (курсив мой. — *В.В.*) целью обратить мусульман в христианство» (*Худяков*, 1923. С. 623).

На микроуровне же вспышки агрессии и насилия порождаются экономической и моральной фрустрацией (неудовлетворённостью), в которой недостатка нет и никогда не было. Её истоки в том, что агрессия, губя свои жертвы, не давала повода почувствовать себя «на коне» ни сибирскому казаку, ни мужику-переселенцу, ни участникам «русских войн» конца XX в. По этому поводу полезно бы вспомнить о таком ныне забытом способе выпускания агрессивного пара перегретого этноса (по Л. Гумилёву), как массовые драки стенка на стенку. В этой традиции участвовало мужское население страны от мала до велика, причём не только в деревнях, но и в слободках немногочисленных промышленных городов. Это были организованные манифестации немотивированного насилия во всероссийском масштабе, — так велики были потенции тёмной (возможно, с ритуальными корнями) агрессии, что власти были вынуждены их нейтрализовать хотя бы разрешением этих регулярных побоищ.

Город, как упоминалось, был ей подвержен не менее села. Не говоря уже об элите агрессии — народовольцах или черносотенцах, которым иного не было суждено. Но и даже обычные интеллигенты-либералы вроде П.Б. Струве в этом смысле стояли на одной с ними платформе. Последний за 23 года до прихода к власти Гитлера вещал: «Великому народу, создавшему могущественное государство, не только нравственно приличествует, но и интересам его здоровья отвечает лишь открытый, мужественный, завоевательный национализм, провозглашающий и осуществляющий свободное состязание национальностей» (Русская мысль, 1910. Кн. VI. С. 177). Да и позже агрессивная психология сохраняла свои качества и вполне национальный уровень[1].

Христианство Западной Европы, Америки и других частей света можно весьма упрощённо разделить на две основные разновидности: католическую и протестантскую. Если рассматривать эти две конфессиональные ветви в аспекте их нетерпимости к иноверцам, вообще «чужим», то католики в отдельные периоды истории были способны подняться до вполне «православного уровня» манихейской агрессивности по отношению к последним. А в отдельных странах, например, в Испании периода всесилия инквизиции (XIII в. и позже), инакомыслящих «еретиков» даже уничтожали тем же способом, что в России староверов, то

[1] «Перестроечный» взрыв фрустрации также не прошёл впустую, «вылившись в привычное русло агрессивных умозаключений. Распад империи вызвал прилив низовой яростной ксенофобии: образ врага переместился из-за рубежа в бывшие братские республики, то есть „чужие“ уже не на Западе, а под боком! Уровень агрессивного неприятия „ближних“ соседей вырос с 1991 по 1992 гг. втрое» (*Кон*, 1994. С. 153–154).

есть сжигали. Роднит католиков с православными и их взгляд на труд как на кару Господню.

Напротив, протестанты почитают честный труд едва ли не святым занятием. И такое отношение к созидательной деятельности приносит протестантам плоды уже в земной жизни, чего не скажешь о православных, причём не только российских. Как заметил современный философ-религиовед Григорий Померанц, «самые богатые страны Европы — протестантские, а среди самых бедных — православная Греция, где не было ни февральской, ни Октябрьской революции, ни раскулачивания, ни Большого террора, и нельзя всё свалить на большевиков» (НГ, 13.03–16.03.2008). Что же касается терпимости, то в этом отношении протестанты весьма схожи с мусульманами, ценя человека прежде всего за его нравственность и деловые качества.

в) Ислам

Остро характерная для христианства черта последовательной нетерпимости к «неверным, чужим», исламу несвойственна. Конечно, во времена и Мухаммада, и первых халифов последователи Пророка относились к язычникам достаточно жёстко, но это было вызвано иной побудительной причиной. Широко распространённое в ту пору многобожие представляло собой куда более мощную и агрессивную силу, чем в Новое время. Это делало необходимыми для мусульман и ответные, и предупредительные удары. Что же касается конфессионально родственных мусульманам сторонников единобожия — или монотеистов, то есть иудеев и христиан («людей Писания»), — то в Коране им посвящено немало добрых слов (см., напр., 2:59; 3:107, 109, 198–9; 4:62–88 и мн. др.). Эти слова не расходились с делом уже при жизни Мухаммада. Тем из монотеистов, что проживали на территории его общины, были предоставлены широкие права; действовал и великий принцип свободы вероисповедания, сжатый до одной чеканной строки Корана: «Нет принуждения в религии» (2:257).

Да и в дальнейшем «индивидуальность людей Писания, прежде всего иудеев и христиан, а затем и зороастрийцев, уважалась» (*Грюнбаум*, 1986. С. 72–73); их даже освобождали от воинской службы. Правда, они платили особый налог *джизью*, но взамен им гарантировалась *зимма*, то есть обязательство «защищать их жизнь и собственность, свободное отправление религии и автономию религиозной общины» (там же), — а плата за освобождение от воинского набора, за обеспеченную безопасность никогда не может быть слишком высокой.

Такая терпимость, прямо и недвусмысленно предписываемая Кораном (29:45), также имеет глубокие морально-философские корни. В Коране логически обосновывается и неустанно повторяется принцип *ат-таухид,* то есть утверждение единства и единственности Бога, призывы не примысливать Ему никого «в сотоварищи» (см., напр., 4:51). Но единство Бога логически требовало и единства человечества, Им созданного (10:20). Столь же логична невозможность для Бога, для Его высшей справедливости и милосердия, открыть истину одним народам и скрыть её от других. Поэтому истинная вера тоже едина, и Коран не отрицает библейских и евангельских откровений. Более того, и сам он дан «только в подтверждение истинности того, что было ниспослано до него»

и в изъяснение Писания (10: 38: также см. 7:156; 9:112 и мн. др.). Притом и Мухаммад — вестник той же истины, что была открыта его предшественникам, великим пророкам Адаму, Ною, Аврааму, Моисею и Иисусу (3:78; 42:11).

Другое дело, что чистая религия Ибрахима (Авраама) со временем оказалась частично искажённой или полузабытой иудеями и христианами (3:58). Эти последние развили отдельные догмы, явно противоречащие монотеистической основе Писания (идеи Троицы, искупления, боговоплощения и др.). И Коран выступает в защиту древней истины, творчески развивая монотеизм до его логического совершенства, придавая ему абсолютный и безусловный характер (5:10, 21–22). Важно заметить, что при этом Пророк вёл борьбу с искажением дорогих для него истин, но не с христианством или иудаизмом, в ауре которых сложилась его личность. Более того, сам Аллах устами Мухаммада гневно обличает тех мусульман, которые противопоставляют друг другу эти две великие религии и ислам: «Они — неверующие по истине. И уготовали Мы неверным унизительное наказание!» (4 : 149–150).

Упомянутое кораническое учение об изначальном единстве человечества объясняет причину полного и глубоко обоснованного в исламе неприятия дискриминации людей по расовым, национальным, социальным, культурным и отчасти даже религиозным (2:59) признакам. То, что эти идеи успешно претворялись в жизнь, подтверждали примеры не только средневековых конфессионально пёстрых обществ Крыма или, скажем, арабской Сицилии, но и более древней мединской общины Пророка (*уммат ан-наби*), и в те жестокие времена являвшей собой высокий образец человеческого равенства (подр. см.: Ислам. С. 242).

Не менее остро была осознана мусульманами опасность дуализма, бинарности. Конечно, и в повседневности пёстрой мединской общины, и в длительных странствиях ученики Пророка не могли не сталкиваться со своими же единоверцами сторонниками двойной морали, самоизоляции и других непременных атрибутов дуализма и бинарной непримиримости. Не смея нарушить толерантные максимы Мухаммада, они тем не менее отмечали этих нестойких особым, уничижающим термином *ас-санавий*, исключая их тем самым из числа истинно правоверных.

Итак, манихейство, способное превратить любые различия, в том числе и внутренние (т. е. между богатыми и бедными единоверцами, народом и властью, религиозными, владельческими общинами и т. д.), в бескомпромиссный смертоносный конфликт, для последовательных мусульман неприемлемо уже в идеологическом плане[1]. Показательно, что ощущение опасности манихейства, борьба с этой действительно заразительной (как и большинство других первобытно-биологических архетипов) идеологией поддерживали высокое духовное напряжение ислама в течение всей его истории. Уже в Средние века с манихеями, считавшимися

[1] К сожалению, в XX веке общая культура населения России упала настолько, что к концу этого столетия даже специалисты-религиоведы часто не знают простых истин, веком ранее известных обычному государственному чиновнику, а вовсе не учёному. Поэтому приходится снова и снова повторять общие места относительно того, что нетерпимость, фанатизм и истинный (классический) ислам просто несовместимы как разноплановые, непересекающиеся понятия. «Конечно, между татарами есть также ревностные последователи Корана... но религиозных фанатиков в тесном значении этого слова, ***по существу уже самого исламизма*** (выделено мной. — *В.В.*) нет и быть не может» (*Лапицкий*, 1882. С. 621).

нарушителями этноконфессионального согласия, яростно боролись аббасидские эмиры аль-Махди (775–785) и аль-Муктадир (908–932); не уступал им в этом смысле и халиф аль-Мамуна (813–833) — эти выводы вполне обоснованы (*Виденгрен*, 2001. С. 191). И даже в XX в., когда массами в очередной раз овладела необоримая страсть к утверждению именно «своей правды», причём любой ценой, мусульманская национальная партия крымских татар Милли Фирка, верно определив истоки этой нетерпимости, особо подчеркивала в своих программных документах вредоносность межчеловеческого «...раскола на пути достижения социального счастья мусульманского народа» (Ени Дунья. 12. 02. 1922).

В политическом же аспекте сама идея исламской государственности, предполагающая эгалитарное (уравнительное) светское правление[1], отторгала последовательно сегрегационные иудео-христианские обычаи и законы об иноверцах-подданных, гетто, о преимуществах в важнейших вопросах только женской родственной линии, об отлучении большинства истинно верующих от права читать проповедь (если нет специального образования) и многое иное. В частности, для мусульман до сих пор остаётся тёмным смысл крестовых походов — как средневековых, так и современных (то есть войн по причине идеологических противоречий).

Мусульмане могли сражаться с людьми Писания (как, впрочем, и друг с другом), но убийство любого человека рассматривалось при этом как вынужденное отступление от принципов исламского гуманизма. А гуманизм этот, возникший задолго до возрожденческого, был (и остаётся) плодом неизменно высокой убеждённости. «Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались понести его; понёс его один человек» (33:72), — эти коранические строки утверждают роль человека вне рас и конфессий, роль человечества как вместилища божественного. Потому-то мусульманам их вера не позволяла по-манихейски видеть в противнике недочеловека, «унтерменша» (Гитлер) или «насекомое» (Ленин).

Конечно, идеального социального равенства в мусульманском мире достичь не удалось (как, впрочем, и в других мирах-цивилизациях). Но ислам *принципиально* не мог породить такие реальности, как упоминавшиеся крестовые походы, конкисту, инквизицию, народную охоту на ведьм или более современный антисемитизм — чтобы подтвердить это, вряд ли достаточно одного лишь кросскультурного объяснения[2].

---

[1] «Эгалитарное», поскольку все правоверные, независимо от социального статуса и расовой принадлежности, равны перед законом человеческим и Божьим. «Светское», поскольку в исламе, во-первых, нет такого института, как Церковь, с ее мощными иерархическими структурами, а, во-вторых, из пяти основных ценностей шариата лишь одна (религия) выражает его богооткровенную природу. Четыре же остальные (поддержание и защита жизни, разума, продолжения рода и собственности) имеют чёткую светскую направленность и характер (*Сюкияйнен*, 1997. С. 10–11).

[2] Отдавая должное сильному влиянию на конфессиональную мораль коранических и иных древних исламских текстов, многие авторы все же основной упор делают на исторической практике мусульманских народов, «походы мусульман (арабов, позже турок) сопровождались сильнейшими процессами этнического и расового смешения», в то время как «этнорасовые предрассудки получили сильнейшее распространение именно среди христианских народов Европы» (*Козлов*, 1993. С. 118). С последним утверждением трудно не согласиться.

Причина этого исторического феномена — полное отсутствие возможности для мусульман (если бы даже возникла такая нужда) обосновать перечисленные позорные для человечества действия какими-то каноническими текстами или хотя бы идеологическими разработками, освященными временем или традицией. Как это было, например, в христианском мире, где одни вполне гуманные отцы церкви утверждали, что повесить мусульманина — это не человека сгубить, но уничтожить зло (св. Бернар), а другие, задолго до Ницше или Гитлера, ещё в Средние века, разработали имевшую известное продолжение идею христианского «сверхчеловека», обладающего особыми правами (*Benz*, 1958. S. 193–239).

Напротив, терпимость, эгалитарность ислама принесла там, где соблюдались его дух и буква, столь же добрые плоды, сколь манихейская нетерпимость иных религий — злые. Отсутствие непреодолимых сословных и социальных перегородок, полная свобода вертикальных и горизонтальных социальных перемещений, ничем не скованный динамизм экономических отношений, культ радостного труда — короче, весь унаследованный от первых мусульманских общин (и сохранённый в веках благодаря шариату) образ жизни полностью соответствует требованиям и нормам не только традиционных, но и постиндустриальных культур. Разгадка этого внешне парадоксального утверждения — в немыслимой для манихейства гибкости ислама.

Оттого-то ислам так расцвел в последние десятилетия, переживая буквально второе рождение, едва ли не впервые столь полно самовыражаясь «в удовлетворении растущей потребности цивилизации в налаживании и использовании интеграционных механизмов» (вместо свойственного христианской Европе «жесткого политико-правового выравнивания различных цивилизационных элементов»), объявляя «основной политической ценностью стабильность, базирующуюся на этносоциальной однородности всего общества» (*Катанджян*, 1992. С. 60–61). Поэтому ислам органично и практически беспроблемно входит в современность, становится религией нового образа жизни, достойно отвечает на самые актуальные запросы, в том числе и на порождённые вступлением человеческой цивилизации в эпоху постмодернизма.

Эти факты позволяют говорить о «мусульманском ренессансе» последних десятилетий, когда даже чисто количественный рост мусульманства многократно обогнал другие религии. Известно, что если в начале XX в. мусульманином был каждый десятый, то ныне — каждый пятый житель планеты (*Геллнер*, 1991. С. 56, 177; *Белокреницкий*, 1996. С. 161).

2. Россия как государство общин

Итак, община (и общество) России представляли собой замкнутую систему, единый организм, каждая клеточка которого знала своё место. Соперничество-конкуренция, социальная и духовная динамика практически исключались: «...ноги обычно не проявляют желания стать животом» (*Поппер*, 1992. Т. I. С. 218). И даже пространственное перемещение для большинства русских было ещё в XIX в. невозможным, ограничивалось рамками волости. Нивелируя основное

население этой истинной «страны Муравии» (А. Твардовский), регламентируя жизнедеятельность миллионов «муравьёв» системой табу, исключая честную, то есть законную, конкуренцию как путь к социальному подъёму, всероссийская «община» консервировала безумно архаичные экономический и социальный уклады нации. Прорваться из рядовых членов общины даже в мещане, в мастеровые можно было, только прибегнув к взятке (вёдра водки) сельскому миру, или в обход его решений, общинных законов, в жертву которым ежечасно приносились естественные права индивида.

Ни Востоку, ни Западу неведомо такое бесправие личности, такое тотальное подавление её свободы, когда ощущается гнёт самовластья не одного, а миллионов мелких деспотов, вездесущих и охочих решать любые проблемы «миром», сообща. Вплоть до самых интимных: «Ты мне Лазаря не пой, я учёная! Ты людя́м всё расскажи, на собрании...» (*А. Галич*). Даже Закон, который был и остается превыше всего в цивилизованных государствах, где он защищает права индивида от любых посягательств (неважно, кто покушается на них, государство или община), в русской деревне, а значит, и в России не действовал. Его как бы и не было. «Мир» как был сам себе государством в древности, так и остался самодовлеющим целым, единым верховным авторитетом и для народа Нового времени. Он сохранил за собой роль источника культуры и администрации. Он был и судом, и исполнителем приговоров (карательные его функции включали ссылку по приговору сходки), и хранителем морали, и высшей идеологической инстанцией и так далее. Он был институтом капризным и непостоянным в своих решениях, но требовавшим неукоснительного их исполнения.

Естественно, в таких условиях уродовались, становились тлетворными химерами даже, казалось бы, положительные ценности и традиции. Сплочённость общины (общества, нации) оборачивалась безграничным эгоизмом по отношению к окружающему микро- или макромиру, нетерпимостью и ксенофобией (подр.: *Седов*, 1989. С. 182). В качестве Правды устанавливалась (не без помощи церкви) нравственная система безмерной, реально недосягаемой высоты, то есть такого же уровня абстракции, что и математическая бесконечность. Такой утопический максимализм оборачивался произволом по отношению к «не доросшим» до него. То есть практически ко всем; жертвой соборного насилия мог стать любой. Стремление к вечным идеалам Добра обращалось в собственную противоположность: в беспощадное искоренение Зла (точнее, его носителей, как правило, мнимых, то есть невинных). И даже Справедливость принимала форму уравниловки любой ценой. В том числе — во вред себе и окружающим, в том числе — ценой крови. Одно из самых роковых проявлений принципа уравнительности — земельные внутриселенные переделы.

Переделы земли осуществлялись в России каждые 3, 6 или 9 лет (троичность — от господства архаичного трёхполья). Их влияние на общинную психологию было огромным. Во-первых, переделы становились источником всеобщего нигилистического отношения к частной собственности (любой, не только земельной), сыгравшего, в частности, ключевую роль в массовой поддержке большевиков с их программой «экспроприации экспроприаторов». То есть великого грабежа 1917 г., но не только. Во-вторых, масса испокон веку жила, ожидая некоего кровавого Великого (или Чёрного) передела как торжества всеконечного

уравнительного идеала. В Гражданскую войну его дождались и, наконец-то, осуществили всем миром. В-третьих, переделы, по понятной причине, делали бессмысленными улучшение земли, её мелиорацию и т. п., не давая крестьянину забыть о нищете, поддерживая в нем неприязнь к зажиточным соседям и завистливое недоверие к горожанам.

Конечно, никто этот порочный круг не выстраивал сознательно и злоумышленно. Но объективно ситуация, сложившаяся вокруг русской общины, могла играть на руку любой политической группировке, способной на профессиональный социально-психологический анализ села. Большевики первыми по достоинству оценили возможности политической отдачи общины и таких её реалий, как переделы. На исходе 1920 г. переделы впервые в истории стали *ежегодными*. А 15 декабря 1928 г. были утверждены Общие начала землепользования и землеустройства, которые поощряли досрочные (менее года) переделы в случае «необходимости борьбы с кулачеством», то есть с грамотными крестьянами, пытавшимися разорвать вышеупомянутый порочный круг посредством интенсификации производства (*Стариков,* 1994. С. 70).

Вторая реалия общины, которую не могли не оценить большевики, — общественная запашка, широко распространённая в старой деревне. Это была готовая модель коллективного землепользования, которое только и позволяет превратить большинство населения в «винтики». На основе опыта общественной запашки после революции *самопроизвольно* возникали прообразы колхозов: ТОЗы, производственные кооперативы, артели и пр. Поэтому, когда пришла пора коллективизации, русским крестьянам не нужно было, по крайней мере, объяснять, что это такое, колхозы. Это было просто увеличение общественной запашки до полных 100%.

Конечно, нельзя сбрасывать со счёта великую кровь и муки, в которые обошлась коллективизация. Но не стоит забывать и о том, что благодаря упомянутой чисто русской соборной традиции она вообще оказалась возможной (представьте себе, к примеру, попытку коллективизации в США 1930-х!). Да и завершилась она даже быстрее, чем предполагали Сталин и его окружение.

И третье свойство общины, всем знакомое, но по-настоящему использованное также только большевиками, — её закрытость. Выше говорилось, что общинник постоянно ощущал себя даже не в жестких рамках, а в «коробке», в камере, ограничивавшей его свободу как по вертикали, так и по горизонтали. Результатом этой несвободы было блокирование внутренних стимулов к развитию, невозможность индивидуальных самосознания и самореализации, что вело к скапливанию социальной энергии, не находившей цивилизованного выхода. Рано или поздно эта энергия набирала критическую массу и прорывалась, выбрасывалась вовне в неконструктивном, с виду бесцельном и бессмысленном бунте. Или, что случалось чаще, она привычно направлялась властью в русло внешней экспансии.

Накануне бунта образ врага возникал самопроизвольно в коллективном подсознании масс. Этот враг был здесь же, рядом (соседи-хуторяне, татарские или еврейские прослойки и пр.), или над общиной (бояре, позже — чиновники, стоявшие между сельским миром и тотемом-царем). Но для войны большой образ такого врага нужно было *строить*. Этим с петровских времен занималась имперская

идеологическая служба, называвшаяся в разные эпохи по-разному[1]. Кто же мог стать врагом в надобщинном, национальном масштабе? Все, кто прежде всего не вписывался в общинно-государственную манихейскую схему, в эту безнадёжно провинциальную космологию. Или те, кого было не жалко. Короче, опять-таки все «не наши», «иные», отчего, как правило, врагом народа делали *ино*-родца.

Инородец как образ был универсален, годился на роль как внешнего, так и внутреннего врага, тогда как русские (по крови) «враги» могли быть только внутренними. Это бывало, когда индивидуалисты-одиночки выделялись слишком уж вызывающе на общемуравьином фоне. Или не выделялись — здесь дело решала ещё одна, типично русская черта. Она выражается в традиции объяснять любые позитивные или негативные перемены, политические сдвиги, социальные процессы и пр. не историческими и иными закономерностями, а проявлением воли *конкретного* лица или группы лиц. На Руси испокон веку искали и находили «крайних».

Механизм развития таких действий блестяще показан М.Е.Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». Общественность города дружно ликвидирует одного за другим семерых сограждан, якобы виновных во всех народных бедах и мучительных сомнениях. А через столетие после издания этой великой сатиры упомянутых семерых могли репрессировать как единую группу заговорщиков, масонов, инженеров-вредителей, клерикалов, врачей и так далее до бесконечности. Кем бы они ни были, но при известном обороте дел народ столь же дружно, как и за век до того, приветствовал, а то и осуществлял бы дикую расправу. Живучесть этой черты следует искать всё в том же архаичном наследии.

Лёгкость, с которой выносились кровавые приговоры в уже советский период российской истории, не менее поразительные вера и спокойствие, с которыми народ воспринимал этот немыслимый кошмар (а иногда и охотно участвовал в действе), объясняются всё той же чисто манихейской чертой, неведомой остальному, цивилизованному миру, а именно традицией сводить сколь угодно сложные проблемы политических или идейных расхождений целиком и полностью *к личности* иначе мыслящего[2]. Такой метод борьбы мнений прост и заманчив: зачем думать над теоретическим опровержением идей или трудиться над снятием причин, порождающих проблемы, когда проще и быстрее физиче-

---

[1] Образ врага — основа не только идеологии или политики любой авторитарной власти, но и самого её *существования*. Его создание не требует большой находчивости. Необязательно даже придавать избранному объекту одиозные черты. Для носителя общинно-эгоистичного сознания достаточно показать выгодность поражения этого объекта для «наших», для страны-общины, — и образ готов. Пример: массовое добровольное (!) ополчение крестьян Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской и др. губерний для участия в Крымской войне. Причиной этой готовности убивать абсолютно неведомых им людей был слух (всего лишь слух!) о том, что победа даст ратникам какие-то земельные выгоды (*Ключевский*, 1993. Т. III. С. 454).

[2] Там, где большинство аналитиков задается вопросами: «В чем глубинная причина, первооснова негативного явления?» и «Как изменить эту основу-источник?», у нас привыкли задавать совсем иные вопросы: «Кто виноват?» и «Что [с ним] делать?» Эти два вопроса во всём мире считаются «чисто русскими», хотя по сути, а не по происхождению они — «чисто параноидальные». Между прочим, в этнопсихиатрии подобные поиски в русле, жёстко ограниченном интерпретативной направленностью анализа, относят к устойчивым массовым парафренным психозам (*Wulff*, 1978. S. 33).

ски уничтожить носителей чуждой идеологии или неудобной проблематики, то есть явно всё тех же «не наших»? Так оно и шло: за ортодоксальность сжигали еретиков-нестяжателей и мирных староверов, за инакомыслие публично казнили Александра II Освободителя, а также второго признанного освободителя крестьян от власти общины — П.А. Столыпина. Для снятия социального напряжения затевались кровопролитные войны, а в промежутках между ними — не менее кровавые внутренние кампании, вылившиеся в немыслимое число жертв.

Общеизвестно, что сталинские казни поддерживались многомиллионной массой, зачастую требовавшей ужесточения и без того немилосердных наказаний. Сейчас этот феномен называют циклическим, то есть не постоянным, временным, «массовым психозом». В реальности дело обстоит гораздо хуже. Психозы не передаются по наследству на протяжении десятков поколений. В великорусском массовом варианте ставится иной диагноз, уже из области этнопсихиатрии, так как у манихейской подлости корни не только широко разветвлённые, но и глубокие.

Вернемся к 1917 г. В период дооктябрьского двоевластия главная и объективная проблема неравенства (имущественного; *духовное* неравенство народ не беспокоит) «превратилось у нас в проблему розыска тех подлецов и мерзавцев, тех буржуев, от которых идет всё зло. Исключительный морализм приводит к морально некрасивым результатам» (*Бердяев*,1917. С. 5). В. Дибич, современный исследователь морально-политической физиономии русского народа, тщательно отсеявший всё наносное, случайное, все партийные «пропагандистские приемы», приходит к выводу: «Люди на самом деле с восторгом принимают идею концлагерей для инакомыслящих и тех, кто „не с нами“. И это после сталинизма, немецкого „нового порядка“, гетто и прочих зверств, которыми так изобилует наша история. Непостижимо!» (ЧП. 24. 05. 1995).

Непостижимого-то как раз тут ничего и нет, ведь не датчан и не исландцев опрашивал внимательный В. Дибич. О концлагерном идеале ему говорили вчерашние общинники с нетронутым Новым временем манихейским подсознанием, нынешние петербуржцы, то есть земляки и поклонники депутата нынешней, XXI века Государственной думы А. Невзорова, духовного отца «нашизма», лично помогавшего единоверным сербам убивать мусульман-боснийцев только за различие в вере.

Повторяю, это не психоз, вызываемый внешней ситуацией, какой-то индукцией. То есть это не благоприобретённое психическое отклонение, а глубокий, стойкий и массовый стереотип мышления, постоянно самообновляющийся без адекватных внешних раздражителей. Другими словами, это результат воздействия на психику подсознательных (коллективно-бессознательных) импульсов. Только так можно объяснить и массовый страх перед любой личностью (группой), авторитетно объявленной агентом Зла. Здесь исток не только высокой массовой агрессивности, но и возможности для государства, для тотемического его лидера (неважно, Пётр это или Иван Грозный, Разин или Пугачёв, Сталин или Ельцин) не стеснять себя Законом при массовых казнях, повальных арестах, карательных войнах, дискриминации целых страт по признакам социальному (торговцы, кулаки), конфессиональному (административные решения о разрушении крымских мечетей выносились и в 1990-х, когда повсюду шло восстановление церквей), национальному (погромы, геноцид малых народов, изгнание кавказцев из Москвы), политическому (здесь примеры излишни). И это далеко не всё. Попробуем вглядеться в проблему пристальней.

3. Выбросы общинного подсознания

> Инерция является исторической силой исключительного значения. Менталитеты изменяются более медленно, чем что-либо иное, и их изучение учит, как медленно шествует история.
>
> *Ж. ле Гофф, французский историк*

а) Террор государственный и общинный

История России — это история многовекового террора. Причем массового не только по числу жертв, но и по массе его исполнителей и просто сторонников. Виновником террора периода культа личности были объявлены Сталин и десяток его пособников, с казнью которых грандиозную проблему вины, несостоявшихся покаяния и искупления чисто по-манихейски закрыли. Забыты и такие интересные для науки, но неудобные для нации сюжеты, как традиционная всенародная любовь к палачам, не ржавеющая и после их смерти[1], как тоска масс по деспотичному лидеру-тотему, как возобновление в наши дни фактического внутреннего террора (на сей раз не всегда государственного, но с попустительства государства, что не легче).

Внешне террор и прочие проявления дуально-антагонистической агрессивности принимают формы, которые сторонним наблюдателям кажутся средневековыми, даже первобытными. Такими они в своей сути и являются, не имея ничего общего с современной гуманистической литературой и искусством, наукой и духовными памятниками, творцы которых — отнюдь не массы, а индивиды. Они — личности, не замечающие ни государственных, ни национальных границ, чьё поле деятельности — весь мир, хоть и не все они таланты мирового класса. Поразительно, что масса далеко не всегда стремится приблизиться к духовному уровню этих созидателей. Более того, она уходит, как правило, в полярно противоположном направлении, стремясь привести действительность, её реалии в соответствие не с духовными вершинами эпохи, а со своими внутренними, подсознательными, часто неосмысленными позывами и инстинктами. Ибо это проще: ведь «тыкать грязным пальцем в татарина или „иностранного неприятеля“ легче, чем читать книги» (*Огнев*, 1990. С. 205).

Чутко прислушиваясь к зовам общинной морали, они сознательно стремятся возродить «исконно русский дух», имея в виду возврат к провинциально-архаичным ценностям московского Средневековья[2], в то время как древний дуализм манихейства, владеющий массовым подсознанием, влечёт их в ещё более ранние эпохи, в племенное общество, к варварству.

---

[1] Фольклорные (то есть народные, а не искусственные, написанные в период соцреализма) былины с симпатией рисуют образы Ивана Грозного, Петра I. Ныне в устном народном творчестве гораздо более упомянутых царей популярен Сталин.

[2] Предельно чётко эту идею в свое время выразил писатель В. Солоухин: поскольку страна в тупике, а выехать из тупика движением вперед невозможно, то остается единственно давать задний ход (ЛГ. 30. 05. 1990).

Исследователи этого феномена убедительно доказывают, что «архаически-варварское начало, пронизывающее отечественные быт, культуру и сознание», выражается не только в слабой укорененности элементарных культурных рефлексов, не только в варваризации, фатальной загаженности среды, захламлении жилищ, но и в немотивированных агрессии и вандализме (*Яковенко*, 1995. С. 30). И, что важно: перед всесилием явления национального варварства исчезают различия между «верхами» и «низами», между носителями высокой и народной культуры. Варварские среда и быт везде схожи, поскольку при откате назад вандализм — единая, фундаментальная «культурная» норма. «Столкновение с другой нормой упорядоченности мгновенно порождает в нормальном россиянине органическое отторжение. Так, обязательно в глубинке бьют, колют новые киоски, памятники, которые „высовываются" из средней нормы хаоса. Надбив, надломав, слегка загадив чуждое, пришедшее из мира цивилизации, архаический субъект тем самым осваивает новый предмет, лишает его опасных, вредоносных потенций» (Указ. соч. С. 30–31).

Этого мнения придерживались и дореволюционые историки: «Болезнь русского общества заключалась в варварском начале косности, в стремлении как можно меньше делать и жить за чужой счёт» (*Соловьёв*, 1989. С. 621); Г.В. Плеханов называл ленинскую революцию «варварской реакцией против реформ Петра Великого» (*Плеханов*, 1918. С. 125). А современные философы отмечают, что давно открытая истина о «варварской борьбе против варварства», по сути, означала смену одного варварства другим по форме, тогда как российское содержание старой и новой систем оставалось прежним. Оттого и из марксизма Россией была взята в первую очередь его «варваризующая» сторона («кто был никем, тот станет всем»), от чего Европа, естественно, отказалась. Другое дело, что отказ этот во всемирной истории ничего уже изменить не мог.

Слова о варварстве, которые Россия, в общем-то зная свое место, никак не осмеливалась произнести, вдруг прозвучали и из уст вполне культурного европейца — К. Маркса. Это была редкая удача.

Вот тут-то русские манихеи и поймали Европу на слове!

И сотворили большевизм.

б) Расизм

Другой формой возврата к архаике является расизм. Прежде чем его идеология овладеет массами, народу необходимо проникнуться простой истиной — фактом своей этнической исключительности. Естественно, это удаётся далеко не всем, так как после великих и малых переселений народов и бесчисленных войн говорить о биологической «племенной» чистоте просто смешно — это раз. А во-вторых, вряд ли вообще какой-либо народ или этническая группа может похвастаться тем, что сохранила в незапятнанной чистоте и целости интеллектуальные и духовные ценности своих биологических предков. Вопрос, казалось бы, ясен. Тем не менее к нему приходится возвращаться в периоды, когда актуальность подобных проблем возрастает.

В принципе, расистские настроения для широких масс нехарактерны. Но при этом необходимым условием является нормальный ход исторического

процесса[1], когда на каждом шагу народа подтверждаются его достоинство и полноценность в качестве цивилизационного субъекта. Но как только у него начинают возникать сомнения в этом, тут же рождаются мифы, прямо утверждающие его превосходство как такого субъекта над окружающими. Так преодолевается ощущение дискомфорта, а объективная истинность (или хотя бы правдоподобие мифа) отступает на задний план. Строго говоря, они вообще здесь необязательны. Расистские мифы оцениваются заинтересованными лицами, группами или структурами только с точки зрения правдоподобности теории для своего (то есть супер-) этноса. А уж требования к истинности, научности канонизированного мифа или освящённого временем апокрифа никогда высокими не бывают.

Суть этого бега вспять ещё отчётливее проступает в борьбе с «классовым врагом», которую некоторые теоретики относят к разновидности расизма. Сама теория классовой борьбы — миф, измышленный мрачнейшей из неоманихейских философий, марксизмом-ленинизмом[2]. Здесь идеологи общинной тяги к самоизоляции, локализации уходят в свою группу, партию избранных, в герметичный «орден меченосцев» и т. д., не удовлетворяясь разграничением народов с помощью искусственно воздвигаемых высоких межэтнических стен (деление по вертикали). Они рассекают социум на ряд прослоек горизонтально направленными ударами. Но и это деление, как ни странно, — тоже вид *расистской* сегрегации.

Источник классового феномена — «качество» происхождения, то есть всё той же *крови*. В обоих случаях жертва сегрегации осуждена на репрессии с момента своего рождения, даже до рождения, человек не в силах здесь ничего изменить. Как бы он ни стремился «исправиться», ему это не удастся до самой смерти. Его вина хуже первородного греха: он вообще родился «не у тех» родителей. Приведу пример из практики такого рода — выдержку из протокола заседания КрымЦИКа от 15.07.1937 г.: «Ввиду того, что Мемет Асан, хотя и был усыновлён кулаком, но является сыном бедняка, умершего от голода в 21 г., и в данный момент он является несовершеннолетним, ходатайство Ялтинского РИК об освобождении его из концентрационного

---

[1] «Нормальный исторический процесс» — понятие весьма широко трактуемое. Но в данном случае достаточно одного-единственного из массы толкований, того, что выработан конкретным народом с целью самоидентификации, то есть в применении к себе самому. Ведь для национальной психологии, точнее, для психического состояния любого этнического субъекта, наиболее важен результат самооценки, и уже во вторую очередь — мнение окружающих. А внутренне, то есть не на публике, великороссы ценят себя куда как невысоко, тем самым подтверждая ненормальность исторической судьбы своей страны.

[2] Не отказываясь от использования этого устоявшегося термина, отметим, что он имеет к учению Маркса такое же отношение, как фашизм — к произведениям Ницше, то есть весьма опосредованное. Никакой термин, никакая теория русского происхождения, связанные с назревавшим русским же бунтом, не годились для его оправдания в глазах цивилизованной Европы, давно переболевшей крестьянскими войнами. Это выглядело бы самооправданием тогдашнего «третьего мира» в собственной дикости, попыткой подвести *свою* же теоретическую базу под всю грязь и реки крови, которые обычно сопровождают русский бунт. С тем большей уверенностью Ленин взялся за перекраивание марксизма под российскую реальность. О результате такого противоестественного соития — разговор особый. Как и о том, что марксова революционная логика никак не вытекала из его же научно-экономического анализа капитализма западного образца.

лагеря удовлетворить» (ГААРК. Ф. Р–663. Оп. 3. Д. 33. Л. 158). То есть выяснилась *чистота крови* этого мальчика. И то, что он приёмный сын и, возможно, наследник кулака, сразу утратило всякое значение. В те же годы в Ялтинском районе под ликвидацию кулачества попали бедняки, чьи отцы и деды тоже были бедняками. Но в их родословной, прослеженной вглубь времён, иногда встречались зажиточные люди. Для этого пришлось поднимать архивные фонды — но зато торжествовал принцип *чистоты крови* советского крестьянина (КК. 12.01.1930).

Наиболее зримо теория «класс-расистского» расчленения человечества («классизма») подана в одном из трудов бывшего Коммунистического университета им. Свердлова. Это официальное издание ценно для нас тем, что рассматривает не отдельные стороны взаимоотношений между «нашими» и «не нашими» гражданами Страны Советов, а берёт эти отношения в комплексе и даёт по ним указания в форме единой концепции, основанной на наследии классиков.

Здесь принцип неполноценности классово чуждых сограждан обозначен чётко и недвусмысленно. Гораздо ранее, чем в работах А. Гитлера и А. Розенберга, но не менее последовательно члены чуждых прослоек выводятся из человеческого мира в мир животных. Причём не в переносном, не в метафорическом, а в самом прямом и зримом смысле. Так, утверждается, что даже аполитичный сексуальный интерес к подобному «объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, орангутангу»[1]. Этим недочеловекам оставляется их жалкая жизнь — но лишь до того, как выяснится их полная бесполезность для класса-гегемона. А они сами фатально, по определению безнадежны: ни бывший офицер, ни чиновник, ни коммерсант или их сыновья или внуки никогда не станут «своими», то есть чистокровными, признанными пролетариями.

Такой отброс человечества лишается права на жизнь, «ты имеешь право его убить, конечно, не по собственному решению, а по постановлению... классового органа». Если же возникает угроза классовым интересам, то отстрел разрешён и без такой охотничьей лицензии, хотя после самосуда «ты всегда обязан потом немедленно отчитаться перед классовым органом в этом действии». Показательно, что участие в охоте на людей — не просто привилегия для гегемона, а ещё и долг, в процессе выполнения которого необходимо помнить о неуместности «псевдофилософского ханжества, так как метафизической самодовлеющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует» (*Залкинд*, 1924. С. 64).

Расизм расцвёл в терроре 30-х. Как и раньше, он не ограничивался геноцидом нерусских этносов. В ментальности Сталина и его подручных прорвалось из подсознания самоощущение племенной элиты, для которой уничтожение соперников, даже потенциальных, — это усиление самого себя («ты — *выжившая* часть единого общества»). Это архаичная основа идеологии большевизма. С другой стороны, это исполнение прямых функций власти в деле сохранения расы/нации путём её очищения, селекции слабых или вненациональных индивидов

[1] *Залкинд,* 1924. С. 65. Этот профессор не был оригинален: он просто сформулировал традиционное отношение великороссов к сексу с «чужими». Так, издавна, ещё в XVII в., русские были убеждены в том, «что разделять ложе с иностранками весьма отягчает грех» (*Стрюйс*, 1880. С. 49). А в княжеском своде законов вполне официально указывалось, что тот, кто «с бесерменкою или жидовкою блуд створить», тут же отлучается от церкви (Уставы, 1976. С. 90).

в совокупности с более примитивными «зачистками» по расовым признакам. Кроме более или менее массовых ликвидаций, уделялось внимание и полезной для расы господ дисциплине, практиковалось биологическое регулирование (пропаганда здорового брака, физкультурное движение, бесплатная медицина, поощрение спортивных и трудовых рекордов и др.).

Средством консервации общества такого типа, его стабилизирующим фактором являлась непрерывная демонстрация силы в её смертоносной, убивающей форме. Причём не только в её государственно-карательной разновидности. Постоянно делались намёки на существование незримой сети доносчиков, по сути, частных лиц, получивших право власти над жизнью масс. Так, путём расширения до предела круга потенциальных жертв доноса и неизбежного наказания, осуществлялся расистский идеал государства как единого тела, пронизанного единой же системой нервов и нервных окончаний.

Коммунистов не смущал (и не смущает) тот факт, что теория классов, мягко говоря, спорна хотя бы потому, что «классы» не представляют собой интегрированно организованные культурные общности, что классовый разруб проходит по живому. Наконец, игнорировалось простое соображение, что ампутация крупных частей нации — не единственный способ лечения больного народа. Но вот что крайне показательно: придя в себя от идеологического наркоза после очередной такой мясницкой операции, народ был неспособен хотя бы охнуть от ощущения утрат (не говоря уже о жалости к погибшим, к их семьям). В этом — суть чёрно-белого мировосприятия нации, не менявшегося веками. Поэтому сказать, что завтра можно ждать повторения вчерашних кровавых ошибок, — ничего не сказать. Эти ошибки повторяются уже сегодня, на наших глазах, на виду у всего света.

Правда, иногда и приходит кое-кому в голову успокоительная мысль о том, что «нас, слава Богу, ещё много». Хотя думать стоило бы не о проценте жертв от общего количества россиян, и даже не об абсолютном их количестве. Чистки (они шли и в послевоенный период, но негласно) подсознательно воспринимались также как вид этнического самоочищения. Они проводились партией (нацией) среди прочего и ради того, чтобы мир содрогнулся от её решимости жертвовать миллионами сограждан. Подобная этнофобия как стихийный продукт подсознания способна подавить не только разум, но и инстинкт сохранения вида. В отдельные периоды она принимает форму явного этносуицида. «Это есть не убийство, а самоубийство великого народа, что тлетворный дух разложения... был добровольно, в диком и слепом восторге самоуничтожения... всосан народным организмом» (*Франк*, 1991. С. 145). О проблеме «видовой суицидности» великорусского народа говорят и более современные авторы (*Булдаков*, 1994. С. 12).

Здесь лишь та неточность, что упомянутый дух был не извне всосан, а изначально довлел этому «народному организму», являлся продуктом его экспансивности, превращающейся в моменты отсутствия внешнего врага в аутоагрессию, иногда принимавшую форму разнообразной прямой селекции[1]. Наиболее после-

[1] Задолго до чисток второй половины 1930-х, а именно в 1919 г., в обеих столицах прошли мощные демонстрации под лозунгом «Требуем *массового* (курсив мой. — *В.В.*) террора!» (цит. по: *Артамонов*, 1990. С. 74). Большевики в Крыму практиковали внутреннюю селекцию согласно принятому в апреле 1919 г. положению «О фильтрации служащих

довательные из современных аналитиков, умеющие заглянуть в глубинную суть исторических процессов, обоснованно утверждают, что сталинский (и не только сталинский, добавил бы я. — *В.В.*) террор «был всем выгоден. По крайней мере большинству. Для этого большинства мир (в 1937 г. — *В.В.*) сделался простым, упорядоченным, плоским. На всё существовал заранее готовый ответ» (*Яковлев,* 1997. С. 5). Этот вывод подтверждается сухой статистикой. В годы расцвета КПСС, когда она уже выступила перед лицом всего цивилизованного мира как партия палачей, несравнимая даже с гитлеровской, её популярность в империи поднялась до высшего уровня: почти *каждый 13-й* советский гражданин, учитывая и детей, был коммунистом (около 20 млн человек на 250 млн населения). В годы такого же расцвета своей партии Гитлер едва насчитывал в ней одного нациста на *70 подданных* рейха — это, учитывая и бывших немецких коммунистов, которых в НСДАП принимали особенно охотно (*Синцов*, 1992. С. 13).

Что же касается упомянутой возможности грядущих насильственных смертей, то они, конечно, неизбежны, пока в России не будет *массово* осознан простой и непреложный факт: в великорусской среде сохранилось по ряду совсем не мистических причин огромное число людей Средневековья, живых окаменелостей, выпавших из истории. Это — не метафора, не преувеличение, есть факты и документы, прямо подводящие к такому выводу.

В своё время честного русского писателя поразил своей жестокостью Указ ВЦИК и СНК от 07.08.1935 г., предусматривавший судебные санкции (вплоть до расстрела) по отношению к 12-летним детям (*Солженицын*, 1991. Т.VI. С. 278). Гнев и скорбь А. Солженицына нельзя не разделить. Но трудно и устоять перед искушением взглянуть на проблему менее эмоционально, глазами профессионального историка, а не публициста.

Как известно, акты следует рассматривать в связи с их временем и местом. Время Указа — XX в. — настолько не вяжется с его диким содержанием, что действительно впору ужаснуться. Но вот *место* его издания всё ставит на свои места. Как уже упоминалось, мораль в СССР была, может быть, и не готтентотская, а скорее европейская, но Европы средневековой. А обратившись к Средневековью, мы видим, что тогда действительно «не существовало представления о детстве как особом состоянии человека и что детей принимали как маленьких взрослых» (*Гуревич*, 1984. С. 22). То есть несколько авторов вышеназванного Указа и тысячи его исполнителей в судах, конечно же, не были садистами, то есть индивидами с извращённой психикой (как, естественно, и миллионы не особенно удивившихся дикому содержанию этого акта граждан СССР). Это были по-своему нормальные, но на века отставшие от европейской цивилизации люди, а именно цельные и последовательные манихеи.

Имя им — поистине легион. Поэтому и миф о Павлике Морозове жив доныне, после того как в своё время уверовали в святую правоту пионера-героя. Прочтём этот миф заново. Для отца Павлика, вышедшего из безупречного (с точки зрения пионера), «белого» состояния, в сознании маленького манихея

советских учреждений». В чистке 1934 г. было выброшено на обочину жизни, а частично и в места заключения около четверти большевиков Крыма. Причём не за какую-нибудь «контру», а единственно по пункту происхождения (Очерки Крым ОПО. С. 78. С. 156).

не нашлось нейтральной, «серой» позиции. Близкий человек сразу в его глазах скатился к противоположному чёрному полюсу, став из кормильца семьи Врагом, подлежащим уничтожению. Но не менее последовательными манихеями были и убийцы Павлика. Он грубо нарушил один из законов общины и ответил за это по столь же архаичным канонам, не делавшим различия между ребёнком и взрослым.

Эти два примера — из московского Центра и тёмной сибирской деревни — дополнит третий из самого «европейского» города страны, но также сохранившего архаичность ментального типа. Уже через несколько месяцев после снятия блокады Ленинградский исполком посылал детей, причём не совершивших никакого преступления (т. е. *не в наказание*), на смертельно опасное *разминирование* пригородных территорий, относясь к ним по вполне средневековым нормам, не делавшим скидок на нежный возраст (подр. см.: ЧП. 12.04.1995).

Время, естественно, не властно над этим типом национальной ментальности. Вот пример, приведённый прессой уже 2000 г. Главный генерал российских карательных войск в Чечне Виктор Казанцев заявил: «Теперь мы будем считать мирными жителями только женщин, детей до десяти лет и стариков старше шестидесяти. Со всеми остальными мы будем разбираться самым жестоким образом». Автор, предавший этот факт гласности, совершенно убито заключает: «Всё, господа-богоносцы, приехали. Со всей нашей исключительной духовностью, соборностью, всемирной отзывчивостью, причитаниями о слезинке ребёнка. Товарищ Сталин сажал крестьянских детей за колоски с двенадцати. Товарищ генерал будет пытать чеченских детей в фильтрационных лагерях с одиннадцати (*с десяти*, выходит. — *В.В.*). И не за колоски. А поголовно ВСЕХ». Статья называется предельно чётко: «10 лет? Шаг вперёд!» (*Пионтковский*, 2000. С. 16).

Исторический факт существования в XX в. средневекового (т. е. закрытого, цикличного типа) российского псевдоразвития, мировосприятия и мировоззрения — не моё открытие. В начале XX столетия русские дворянские мыслители отмечали «отвратительную скуку русских реакций, неземную скуку вечных возвратов, повторяющихся снов» (*Ходасевич*, 1910. С. 182). Прошёл век. И в конце его буквально о том же пишет великий философ и социолог М. Мамардашвили: «...тягомотина дурных повторений и бесконечных адовых мучений, когда... нужно жевать один и тот же кусок, — это и есть Россия XX века. Гений повторений буквально разыгрался на российских просторах как в дурном сне» (цит. по: ЛГ. 06.04.1994). Что же изменилось? В то самое время, когда, согласно обоснованным научным выводам, насущно «необходима трансформация русского национального характера» (*Бороноев, Смирнов*, 1992. С. 142), всё не только остаётся на своих местах, но из этого характера, из главного (если не единственного) источника народных бед и немыслимых страданий, делается фетиш. Более того, его навязывают как предмет для подражания и другим народам бывшей империи!

Отчего это происходит, теперь ясно не только историкам, философам и социологам. Беллетрист В. Пьецух считает, что средневековый соборно-общинный менталитет уцелел, укрывшись «в закромах души» (т. е. в подсознании) русского народа в качестве «основы национального самосознания» (ЛГ. 09.02.1994). Этот вывод подтверждают публицисты-аналитики А. Быстрицкий и Д. Шушарин:

кризис русского самосознания постоянен потому, что, «не усвоив уроков прошлого, мы из него не вышли» и, пути к его преодолению пока не видно, ибо «такое национальное сознание *неисторично*» (ЛГ. 30.02.1994).

Похоже, что сам факт наличия порочного круга, в который попали великорусские национальный характер, сознание, психология и т. д., всё больше становится общим местом. Ясно, что и «выскочить» из этого круга можно лишь в той плоскости, в которой он расположен, то есть сознательно пойдя на глубокие перемены, реформы в духовной, идейной сферах.

Но что предлагает русскому народу его древний и современный духовный центр, Москва, после провала её коммунистической идеологии? Как это ни поразительно — средневековую же православную догму.

в) Церковь

Выше говорилось о том, что в Средние века церковь сыграла важнейшую роль в консервации на Руси древнего маздеизма, обогащении его библейским манихейством. Токи этой архаичной человеконенавистнической идеологии, пронизавшие историю России, придали особенно мрачный и кровавый характер социальным бурям XX века. Естественным было бы после этого ожидать изменений в идеологии и структуре русской православной церкви, которые сделали бы её более способной к евангельскому несению не только креста, но и оливковой ветви всеобщего примирения. Этого не случилось.

Но чтобы выяснить источник столь поразительной неспособности церкви к элементарному *со*-чувствию с многомиллионной паствой, нужен очередной исторический экскурс.

Дело в том, что в пору перехода отеческого окормления от Киева к более перспективной Москве церковью были утрачены весьма многообещающие начатки учёности; да и позже украинская Киево-Могилянская академия оставалась для русского православия недостижимой в научном смысле высотой, не говоря уже о западных католических научно-богословских центрах. В Новое же время монастыри и теологические университеты Европы не менее активно, чем в Средневековье, участвовали не только в научном развитии общества, но и в его повседневной жизни. Католические монахи и северные протестантские пасторы знали толк в агрономии, технике, астрономии, медицине, создавали новые научные направления и школы в области этнографии, фольклористики, биологии, химии и т. п., и, конечно же, в теологии, в том числе — в творческом и глубоком изучении не только Библии, но и Корана.

Вся эта разносторонняя и живая деятельность миновала русскую церковь, как не затронули её и великие европейские духовные взлёты Возрождения, Реформации и Просвещения. Она так и осталась на провинциальном, фактически удельно-княжеском уровне. То есть обращённой в старину, в самоё себя. Крупный историк церкви замечает: «...не материализм, не корыстное скопидомство и эгоизм чревоугодия делали русскую иерархию глухой и не способной сдвинуть дело... просвещения, но честный консерватизм и почти фанатизм бесшкольности — ни уму, ни сердцу русского монаха и епископа ничего не говорил призыв к науке и школе» (*Карташев*, 1959. С. 543–544).

Не скопив за прошедшие столетия иного, кроме канонически-молитвенного опыта, не воспитав в пастве уважения к личности и человеческим свободам, к закону и частной собственности, одряхлевшая РПЦ оказалась в 1917 г. неспособной противопоставить *ничего* большевистской идеологической агитации, скороспелой, но достаточно грамотной, вполне современной и гораздо более национальной и понятной массам, чем христианское учение. Случилось неизбежное: церковь растеряла за несколько октябрьских дней абсолютное большинство своей паствы, ударившейся в безбожие, массовое ограбление храмов, убийства священников и тому подобные, немыслимые ни на Западе, ни тем более на Востоке эскапады. Что было вполне естественно, по крайней мере, с точки зрения революционной. В самом деле, настал какой-то предел. Ведь испокон века православие с его греческими корнями «увлекало их (русских. — *В.В.*) к византинизму, и они в самом деле стремительно приближались к этому бездонному стоячему болоту, в котором исчезли следы древнего мира» (*Герцен*, 1956. С. 232). Доколе же это можно было терпеть?

Так выглядит история Октября и с точки зрения марксистской историографии, опирающейся на известную аксиому «бытие определяет сознание». Кстати, в эту сомнительную истину на склоне своих дней не верил, кажется, и сам Маркс (так, он не мог объяснить, почему «буржуазная» протестантская конфессия появилась почти на триста лет раньше самой буржуазии как «класса»). Если же мы взглянем на истоки ленинского учения под абсолютно объективным углом зрения, то увидим, что большевизм — не просто порождение русского православия. Он — органичная часть православия, в котором всегда были сильны первобытно-коммунистические идеалы. По сути, большевизм — одна из православных сект, которая сумела победить свою мать-РПЦ. И, как любая победившая секта, она немедленно растоптала свою колыбель, ведь вполне ожидаемая конкуренция побеждённого противника (т. е. достойного жалости, ностальгического *сочувствия*) — вещь небезопасная.

Как ни парадоксально это звучит, но большевизм стал возможен благодаря, среди прочих радетелей земли Русской, патриарху Никону (1605–1681). Наглухо закрыв найденный было староверами путь исторического, по сути протестантского развития РПЦ, Никон заклинил некий духовный предохранительный клапан, после чего гумилёвский этнический «перегрев» стал неизбежным. А уж он-то и привёл ровно через три века после рождения патриарха к отсроченному во времени, но тем более разрушительному взрыву начала XX века. Поэтому простая истина о том, что *большевизм вырос из православных пелёнок* — имеет двоякий смысл. Во-первых, именно в православии стоит искать самые глубокие корни этого политического течения. Во-вторых, по своим экспансивным, агрессивным потенциям ленинизм перерос православные пелёнки, ему стало в них тесно, и он разорвал их соединённой мощью абсолютного этнического большинства, тут же предавшегося осатанелому массовому безбожию со всеми вытекающими из этого акта последствиями.

А что же вековечный российский Духовный Град? Ему предстояло будущее, куда более позорное, чем прошлое. Глубоко поражённая собственным внутренним (живоцерковным, обновленческим) предательством православных идеалов, а впоследствии не устояв перед соблазнами большевистского рая, церковь отринула от себя сотни тысяч безвестных, канувших в систему ГУЛАГа, самых верных

своих детей, а именно: мучеников-священников, дьяконов, общинных старост и простых мирян. И, наконец, запятнала святительские ризы сотрудничеством с палачами своего народа — с большевистской партией и ОГПУ–НКВД–КГБ, не говоря уже о привычном, рутинном нарушении священством тайны исповеди и других смертных грехах[1].

После падения коммунистического режима становится заметным явление, которое трудно определить иначе, чем ностальгией по ушедшей поре. Оно выражается в отказе РПЦ канонизировать таких поистине святых своих мучеников, каким был патриарх Тихон (1865–1925), а также в привычной инерции подчинения светским властям (патриархат официально заявил не столь давно, что иереи, смертью заплатившие за свою верность церкви, будут канонизированы в качестве святых мучеников, — но лишь «по мере реабилитации их» госадминистрацией). Впрочем, есть и более полные выражения этой странной для христиан тенденции. Так, покойный митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн (Снычёв), чьи труды РПЦ и поныне издаёт массовыми тиражами, именовал постсоветскую либерализацию не иначе как Смутой, причину которой он видел в «отсутствии общепринятых авторитетов и силовых механизмов контроля над общественным сознанием» (*Снычёв*, 1993. С. 28).

Другими словами, контроля над бессмертной душой.

В этих же писаниях верующие могут обнаружить чисто большевистские тезисы о неизменном окружении русского народа враждебными племенами и державами, где «из века в век плелись заговоры против нашей страны» (там же). Естественно, такие мракобесы всегда боялись и сейчас как от огня бегут от истинно глубокой богословской учёности, от экклезиастического и экуменического познания. Я имею в виду прежде всего наследие о. А. Меня, а также таких философов и просветителей, как о. Иоанн Шмеман или о. Иоанн Мейендорф. В День печати 5 мая 1998 г. труды всех трёх светочей русского богословия были сожжены по распоряжению епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона (Миронова). Причём костёр из книг новые инквизиторы разложили не где-нибудь на городских задворках, а во дворе Екатеринбургского духовного училища, в присутствии студентов и приглашённых гостей (подр. см.: ЛГ. 24. 06. 1998). Но манихейская проповедь неполна, если анафема «не нашим» не сопровождается славословием своим. Поэтому вновь (пятый век уже!) звучит как шаманское заклинание ритуальный тезис: «Третий же Рим — Москва, государство народа русского», то есть избранного племени, которому «Господь вверил жертвенное,

---

[1] Такое резкое разделение на мучеников и пособников палачей обусловлено прежде всего «церковной политикой» карательных органов: священника или оставляли на приходе, либо, при отказе сотрудничать, ссылали как *бывшего*. Середины практически не было. Впрочем, возможно, здесь применимо и иное, более духовное объяснение, вроде тех, что мы находим у старых авторов: «Русская душа, как и всякая, трёхсоставна и имеет лишь своеобразное сочетание трёх основных частей. В составе же всякой души есть начало святое, специфически человеческое и звериное. Быть может, наибольшее своеобразие русской души заключается в том, что среднее, специфически человеческое начало является в ней несоразмерно слабым по сравнению с национальной психологией других народов. В русском человеке, как типе, наиболее сильными являются начала святые и звериные» (*Аскольдов*, 1991. С. 225).

исповедническое служение народа-богоносца, народа-хранителя и защитника святынь веры» (*Снычёв,* 1993. С. 8, 22).

Слыша убеждённые эти речи об анафеме «не нашим», можно подумать, что они обращены к слишком уж пацифичным (страдающим от собственной беззащитности, морально неспособным не то что убить, но и ранить подобного себе) гренландцам или бушменам с целью убедить их в естественности самозащиты при актах агрессии, а не к народу, которому хватило трёх столетий, чтобы завладеть шестой частью суши. Да ещё и одарившему оставшуюся часть планеты идеями перманентной революции (читай: неутихающей братоубийственной войны), двойной (советской) морали, теорией и практикой концлагерей, геноцида в ранге государственной политики, массовых репрессий, книжных костров (в XX веке!), рабского труда невиданной в истории массовости, тотального правового нигилизма и т. д. и т. п.

Подобные теории, да ещё гремящие с амвонов, крайне опасны именно тем, что они ввергают массы в соблазн исключительности, (читай) безнаказанности. Это и есть «богоизбранность». Но если они опасны в применении к политически, социально и религиозно-этически устойчивым нациям (фашизм духовно сломал не только итальянцев и немцев), то они стократ опаснее для бедного российского сознания, не избалованного демократической практикой самостоятельного принятия важных решений, небогатого на опыт цивилизованного общения внутри и вне страны, лишённого спасительного иммунитета против расизма, которым давно уже обзавелись и Германия, и Италия, и Америка.

И добро бы всё сказанное было неизвестно автору-митрополиту, но ведь этот пожилой уже человек был свидетелем того, как легко россиянин впадает в состояние массовой (точнее, тотальной) невменяемости — то классовой, то расовой, то обеих вместе. Ещё раз напомним: эта пропаганда выражает позицию и покойного митрополита, и (учитывая нынешнее массовое её распространение церковной книготорговой сетью) патриархата РПЦ.

На почве таких вот невесёлых рассуждений закономерен предварительный и оттого крайне осторожный вывод: *такая* церковь способна, возможно, на многое, но вывести русское общество из многовекового замкнутого круга повторяющихся, внеисторических циклов ей явно не под силу.

Более того, не нужно быть пророком, чтобы выразить уверенность в том, что если процесс выхода России из архаики, из манихейства в целом когда-нибудь и начнётся изнутри, то именно от РПЦ следует ожидать наиболее ожесточённого, изуверски-слепого сопротивления таким переменам.

г) Русская интеллигенция

После крестьянских реформ XIX в. в России всё более влиятельной становится пёстрая прослойка интеллигенции, чья сила была отнюдь не в массовости, а в активном использовании средств массовой информации. Роль этой группы населения в подготовке катастроф 1917 г. совершенно исключительна, касается ли сказанное публицистики последнего полувека царской России или хотя бы реакции интеллигентов на реформы П.А. Столыпина.

Нынешние «прогрессивные интеллектуалы» в массе своей полагают, что доведи Столыпин свои реформы до конца — и крепкий мужик-фермер сделал бы

невозможным приход к власти большевиков-коллективизаторов. Насколько это верно, можно понять, лишь взглянув на историю деревни периода 1861–1917 гг., но с несколько необычной, «городской» точки зрения.

Реформы 1860-х положили, как известно, начало дифференциации в российском селе. Не сразу, но всё же появились в обычной мужицкой среде зажиточные крестьяне — из наиболее способных, трудолюбивых, оборотистых, трезвых. И, что немаловажно, сумевших подавить могучие подсознательные, коллективистские зовы к общинной архаике и всему, что с ней было связано. Они сделали эпохальный шаг в направлении к индивидуализму, к труду ради нескрываемой цели — вырваться из вековой нищеты. Но, надо признать, рост материального достатка такого мужика редко сопровождался соответствующим ростом положительных моральных качеств — они оставались в лучшем случае прежними. А тогда стали возникать некие этические несоответствия, моральные ножницы, которые в общинном русском сознании оправдать было невозможно: если уж ты вышел в богачи, то будь белее золота, это единственное оправдание твоего «богачества», твоей измены дедовским идеалам.

Поэтому, естественно, на этих малообразованных и нередко лукавых «крепких» мужиков стал обрушиваться праведный гнев не только односельчан, но и критика со стороны признанных мозгов нации, то есть интеллигентов, что не удивительно: у большинства тех же разночинцев если не отцы, то деды уж точно были общинниками. Впрочем, в общей струе шли и писатели чистой дворянской крови: картина новой деревни, вообще новых людей России в их изображении страдала крайней необъективностью. Положительные герои из числа «новых» вроде Штольца или Костанжогло (соответственно у Гончарова и Гоголя) — образы искусственные, редкие и читателю малознакомые. Гораздо более талантливыми и чаще встречающимися стали карикатуры на бережливых и рачительных хозяев: Иудушка Головлёв, Плюшкин, «кулаки» Г. Успенского и А. Чехова, потом И. Бунина.

Конечно, сказанное отнюдь не означает, что «мироеда» вообще на селе не было. Напротив, он был закономерен в условиях отсталой точнее, незрелой экономики (вполне цивилизованно мог обращаться лишь крупный капитал). Деловая же инициатива крестьян шла не только на невольное созидание модернизованной экономики, но и на широкое использование новых обстоятельств, позволявших с большей уверенностью «тянуть одеяло на себя», наживаться на соседях хотя бы отдачей в рост денег, зерна, испольщиной и т. д.

Казалось бы, публицистам — чего проще — надо было бы бороться в меру своего таланта с такими вот этическими искривлениями, в которых тем более и не «кулак» был виноват, а вся великорусская история. Но великая русская литература выступила в лучших национальных, то есть манихейских традициях, открыв дружный огонь не по истокам этих искривлений, а по всему непривычному, «ненашему», «нерусскому», по его носителям, вытаскивая на свет Божий худших из них уже в качестве *типического* образа.

Так были выставлены на всемирное позорище едва ли не первые современные стихийные русские индивидуалисты из народа, посмевшие выйти из цепенящего круга соборной общинности. И наоборот, народопоклонники предлагали посочувствовать тупому и послушному рабу вроде героя гоголевской «Шинели», из которой, как известно, все и вышли. Хотя уже тогда было видно, что «Акакий

Акакиевич имел множество недостатков, при которых ему следовало жить и умереть так, как он жил и умер. Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный» (*Чернышевский*, 1990. Т. VII. С. 858).

Другими словами, главное зло тогдашней российской действительности вся интеллигенция (как славянофилы, так и западники) видела не в одеревеневших средневековых или первобытных принципах национального сознания, а в чуждом русскому народу либерализме, в ростках экономической и иных свобод на деревенской почве. Мыслящая часть нации была не менее социально активной, чем западная общественность, но ставила перед собой прямо противоположные, обскурантские цели, считаясь при этом либеральной. О каком развитии личности, повышении роли внутренних ценностей могла идти речь в условиях, когда повсюду — от студенческих сходок до аристократических гостиных — звучали шаблонные призывы «идти на выучку к мужику», «опрощаться», когда при одном упоминании об исконных ценностях «народного характера» заходились в пиитическом восторге и такие всемирно признанные гении, как Достоевский или Толстой?

А что же влияние Запада, исправно посещавшегося в 1860–1890-х духовными поводырями нации? Оно и в XIX в. (как и в XVIII, и в XX вв.) могло меняться, сужаясь или расширяясь в смысле охвата материала, но оставалось неизменно *поверхностным*. С пиршественного стола философии, теологии, экономической мысли Запада (и Востока, естественно) они привозили в Россию крохи. А своих Гегеля, Канта, Мирабо, Смита, Кьеркегора не то что воспитать не удалось — это было невозможно в стране, где «нет культурной Среды, культурной середины и почти нет культурной традиции», поскольку «в отношении к культуре почти все русские люди нигилисты» (*Бердяев*, 1991. С. 31).

Может быть, именно поэтому из всего баснословного богатства старых и новых мировоззренческих, социальных и экономических систем Запада и Востока русской интеллигенцией был заимствован материализм. И не случайно в виде именно марксизма, превозносившего вековое проклятие Руси — *коллективные* формы труда, быта и низовой культуры, клеймившего частно-предпринимательскую деятельность. Вместо раскрепощения на всех уровнях материализм (в его российском толковании) вёл к ещё большему диктату соборного общества, к монологичности настолько тотальной, что вряд ли могла присниться самому Марксу.

Тем не менее, несмотря на высокопарно-враждебное к нему отношение упомянутых кругов, развитие капиталистически-либеральных начал в деревне и городе шло своим путём. И на рубеже веков уже стало ясно, что назревает раскол, которого Россия не знала со времён Петра. Интеллигенции пора было определяться, чью сторону она примет в грядущих битвах, выберет ли она национальные ценности вечевого идеала с общинной экономикой или же поддастся соблазну западного либерализма с его свободой экономики и духовным раскрепощением.

Традиционное свободолюбие в откровениях интеллигентской публицистики и беллетристики позволяло надеяться на второе. Но она предпочла первое, по её словам, — из любви к мужику (патриархального, естественно, типа). Аналогичный выбор сделала и правящая элита, хоть и не из любви к народу, а из страха перед ним. В результате голоса чиновников и пиитов — редкий случай — зазвучали в унисон.

Правда, постепенно либерализм пробил себе дорогу. Но в российских условиях он принял вид российской же дороги, многократно воспетой и проклятой в прозе и стихах. То есть он получился не прямолинейно-логичным, как европейское шоссе, а принял какие-то разухабистые, путаные, бунтарски-верноподданные очертания. Такой была и внутренняя суть его.

Обратимся к примерам. Блоковскую музу вдохновляла, по признанию самого поэта, кровавая революция. С другой стороны, Блок веровал в Христа, принципиально не принимавшего ни насилия, ни убийства. Поэту нужно было делать какой-то выбор, и великий поэт его сделал. Не в силах отказаться от столь мощного возбудителя, как вид кровавого насилия, он воспел революционные банды (поэма «Двенадцать»), но во главе их поставил Христа! Худшего оскорбления христианству не наносил ни один русский поэт[1]. Кстати, все значительные (из оставшихся в России после 1917 г.) поэты Центральной и Северо-Западной России, даже рафинированный эрудит А. Белый, стали большевиками, но не южанин В. Маяковский и, конечно же, не коктебельский поэт-философ:

Когда из пламени народных мятежей
Взвивается кровавый стяг с девизом:
— «Свобода, братство, равенство иль смерть!» —
Его древко зажато в кулаке
Твоём, первоубийца Каин!

М. Волошин. Путями Каина

Что же касается интеллигентов более прозаических призваний, то перед ними, очевидно, вообще не стояло никакого выбора. В дилемме: идти за народом (то есть к бунту) или вести тот же народ к цивилизации, они бессомнительно «ушли в народ», ибо таким они его себе представляли и такой психологии поклонялись. Ну а неудобство в признании себя разбойником преодолевалось просто, об этом помалкивали. Честнее большинства оказался, кажется, один М.А. Бакунин, задолго до начала волнений чётко заявивший: «Мы должны народ не учить, а бунтовать», приведя при этом и оправдание революционному террору: «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймёт и в русской народной истории... Разбой — одна из почтеннейших форм русской народной жизни» (Прокламация «Постановка революционного вопроса», апрель 1869 г.).

Большинство интеллигентов всё же прямо к бунту не звало. Они «всего лишь» убирали, по мере сил, препоны, испокон веку стоявшие на пути мощной разрушительной великорусской агрессивности, — религию и государственность, всячески их дискредитируя и взывая при этом к самым низменным инстинктам массы. Это не мой вывод, он был сделан задолго до 1917 г. (*Булгаков*, 1909. С. 64).

Здесь опускается обильный материал о чисто бандитской деятельности «интеллигентов», народовольцев и им подобных. Это сделано сознательно,

[1] Впрочем, у Блока мы видим уже не милосердного Сына Божия, а какого-то мелкого сектанта-подстрекателя: неспроста его имя звучит в поэме так же, как в скитах еретиков-раскольников, а именно «Исус». Конечно же, он — не вселенский Христос Пантократор, а известный «русский бог», явно локальное, а значит языческое, дохристианское божество. Эту «русскость» революции подчёркивал и Н. Клюев: «Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах» и т. д.

из желания ограничить демонстрацию национальной этнопсихопатии примерами приличных людей. Хотя появление С.Г. Нечаева (его «Катехизис революционера» — настоящая инструкция для террористов-диверсантов) или П.Н. Ткачёва (готового ликвидировать половину нации ради торжества своей идеи) глубоко логично. В России XIX в. «интеллектуальная свобода вдруг оказалась явно впереди ещё скукоженной прежним давлением нравственности, а потому идея оказывалась выше морали» (*Романовский*, 1992. С. 226). Отсюда и появление упомянутых здесь страшноватых мутантов, законченных душегубов, сложившихся в питательном бульоне, сваренном из разночинского безбожия и манихейского бытового зверства русского села.

д) Утопия и реальность русского села

В предреволюционной России бытовали одновременно и независимо друг от друга две утопии: крестьянская (будущее без помещиков и чиновников, но с батюшкой-царём) и либерально-интеллигентская (Россия как страна свободных граждан, хоть и подданных того же императора). Как было видно, обе утопии имели два объединяющих момента — это царская власть и сельская община. Остававшиеся таким образом не при деле помещики должны были исчезнуть. При этом как-то забывалась крайне важная помещичья функция — быть смягчающим буфером между крестьянином и совершенно непонятной мужику бездушной чиновничьей машиной. Точнее, суррогатом буфера, каким на Западе органично и естественно стало третье сословие, в России и поныне отсутствующее или незначительное. Кроме того, барское сословие служило гарантом выживания сёл в кризисные годы: помещики, не заинтересованные в утрате своего основного капитала (поместных крестьян), как правило, выручали мужиков, широко распахивая двери своих хлебных амбаров при неурожае и голоде, распределяя тягло не равномерно, а учитывая состояние хозяйства, многодетность и пр. Кроме того, баре строго следили, чтобы крестьяне не бражничали, не ленились. Помещик помогал и в случае пожара, смерти кормильца, стихийного бедствия. Короче, не позволял мужику дойти до разорения (подр. см.: *Милов*, 1998. С. 555–569).

Поэтому, когда эту старинную социальную прокладку в XIX в. убрали, то конфликт верхов и низов стал неизбежным, вопрос был только во времени. Ожидалось столкновение не классов, как нас уверяли в советской школе, а двух культур, двух миров, то есть на пороге был конфликт не исключительно социальный, а всеобщий, многоплановый, тотальный. Можно ли было всё-таки предотвратить этот взрыв, грозивший поднять на воздух и мир города, и мир села? Вероятно, да — целенаправленными мерами постепенно превращая сельский «мир» из диктатора в обычное экономическое сообщество ни от кого не зависящих, самостоятельных соседей или же хуторян. То есть всячески содействуя, прямо с 1860-х, подъёму общинников до уровня западных просвещённых хозяев. Но за последние перед катастрофой 1917 г. полвека никто (кроме, пожалуй, политэмигранта А. Герцена) не то что не ставил перед собой такой задачи, но и не понимал её сути. Крестьянство же, как и ранее предоставленное самому себе, менялось не качественно, а лишь количественно: с 1858 до 1897 гг. население страны возросло с 68 до 125 млн человек, отчего размер среднего крестьянского надела упал с 4,8 до 2,6 десятин (*Качоров-*

ский, 1906. С. 20). В условиях неуклонного падения цен на хлеб это вело к массовому недоеданию, даже к голодным периодам, например в 1891 г. Да и в обычные года до 60% рекрутов из крестьянских парней отправлялись назад по причине негодности к службе из-за истощения (*Хоскинг*, 1994. С. 27).

Факты (а не современные патриотические певцы старого порядка) говорят о том, что до 1917 г. неурожаи были *постоянным* явлением не только на глинозёмном Севере, но и на богатейших чернозёмных почвах, использовавшихся по вышеуказанным причинам хищнически. Борьба с хроническим истощением почвы велась не переходом с трёхполья на нормальные агрометоды[1] и не интенсификацией всей крестьянской экономики, включая её капиталистическое, то есть свободное кооперирование, что для Запада было уже не вчерашним, а позавчерашним днём (XVIII в. для соседней Скандинавии, XVII в. для Англии и Нидерландов). Вместо этого мужики просили «дожжа» у Господа, а то и молились языческому Даждь-богу и какой-то неведомой «аллилуевой жене», тоже явно языческой персоне: это был «...славянский Олимп, такой же грубый, непосредственный и неправильный, как среда, в которой он образовался», — писал воспитатель Николая, будущего последнего российского императора[2]. И даже если у свободного теперь крестьянина откуда-то появлялась некая сумма денег, то он был не в силах отказаться от вековых стереотипов и тратил её не на интенсификацию хозяйства, а на увеличение площади земельного участка. Конечно, это ничего не меняло в его положении, так как, обрабатывая увеличившуюся площадь по необходимости ещё более экстенсивно, он нередко жил хуже прежнего.

В целом же такой жалкий результат Великой реформы объясняется не тем, что мужик получил мало прав, а тем, что он этих прав *не понял*. И не мог понять, оставаясь не то что на дореформенном, а на каком-то допетровском уровне. Реформа же принесла волю не общиннику, а общине. Всё оставалось по-старому, но вовсе не оттого, что не было средств на модернизацию хозяйства. Веком раньше датские и голландские мужики после освобождения их от личной крепостной зависимости тоже не были богачами, и государство не помогало им улучшать хозяйство. Но они стихийно, «скинувшись» по мелочи, организовали массу обществ взаимного кредита, потребительских и сбытовых, а потом и производственных кооперативов. Результаты были ошеломительными. Всего через несколько десятилетий аграрная

[1] «Мужик отчаянно сопротивлялся попыткам заставить его отказаться от трёхполья, которое господствовало в русском земледелии и добрую часть двадцатого века» (*Пайпс*, 1993. С. 189). То есть, как доказывает ещё один, уже российский историк, дело было не в крепостном праве, после отмены которого урожайность если и повысилась, то незначительно (*Милов*, 1998. С. 384–390). Корень зла был в общинной психологии, в архаичности мышления мужика, а крепостничество было скорее следствием, чем причиной именно так, а не иначе сложившегося великорусского самосознания.

[2] *Кавелин К.Д.* Собр. соч. Т. 4. СПб., 1904. С. 61. Мракобесие в крестьянской среде вообще увеличилось в последние 20 лет XIX в., когда число язычников, хлыстов и др. изуверов достигло 1/5 всех православных России. Но и во вполне православной среде элементы *чисто языческих* верований во второй половине XIX в. численно значительно превосходили христианские: на 46,7% первых приходилось всего 35% вторых, тогда как оставшиеся 18,3% принадлежали к смешанному христиано-языческому, то есть тоже, строго говоря, неправославному типу (*Миронов*, 1991. С. 19)

экономика этих стран сменила на европейском рынке последнее место на первое по продаже своих основных продуктов: бекона, мясной свинины, сыра и масла (подр. см.: *Возгрин*, 1986 «а». С. 114–117, 120–125; *Возгрин*, 1986 «б». С. 301–306).

И в России этот путь вполне годился, тем более что на помощь пришло государство. Именно с этой целью, то есть для модернизации через кооперирование, были созданы: 1) кооперативные кредитные и ссудо-сберегательные товарищества; 2) сельские, волостные, станичные банки и кассы; 3) крестьянские сословно-общественные кредитные заведения и 4) отделения Государственного банка, также предоставлявшие крестьянам ссуды. Нельзя сказать, что все эти кредитные институты бездействовали — только в 1915 г. ими было выдано в кредит крестьянам 550 млн руб (Круглый стол, № 4. С. 57–58).

И всё — впустую. Лишь малая часть этих миллионов рублей пошла по назначению. Реформы же увязли в болоте сонного царства, где сельский мир активно противодействовал внедрению многополья, селекционного семенного фонда, удобрений и сельхомашин, бонификации почвы и т.п. не только из-за практики переделов, а потому что попытки хоть что-то изменить упирались в тупую догму: «как отцы наши пахали, так и нам след».

Впрочем, современники того горького полувека писали, не в пример нам, острее, и уж, конечно, точнее. Вот строки из статей известного журналиста, расстрелянного большевиками в 1918 г. М. Меньшикова: «С отменой рабства [в 1864 г.]... вновь поднимается анархия, и общая свобода печально никнет... Иной раз слушаешь парламентского болтуна, в узком черепе которого играет шарманка: „гнёт правительства, раздавленная свобода“ и т. д. Хочется спросить: ради истины, скажите, препятствовало правительство, например, обрабатывать хорошо поля? Однако они прескверно обработаны, и не только у крестьян, а и у помещиков, катающихся на автомобиле... Те, что кричат, будто русский народ „задавлен“ трудом, или сами лентяи, или никогда не видывали настоящей крестьянской работы. Взгляните, как работают французы, немцы, англичане. Взгляните даже, как работают латыши, чтобы не ходить далеко. Смешно даже сравнивать их труд с обыкновенной, через пень в колоду, возмутительно-небрежной крестьянской работой с прохладцей, лишь бы отделаться. С трети десятины китаец больше соберёт, чем наш с 10-ти... Тысячелетний народ отвык считать землю и свои руки своими кормильцами. Он начинает просить хлеба у чужих рук, свои опуская в праздности. Праздный же народ, как известно, тотчас превращается в чернь, в анархический класс, развязанный от железной дисциплины труда...» (цит. по *Д. Коцюбинскому* // ЧП. 09.08.1995).

Несамостоятельность, экономический инфантилизм русского крестьянства сказывался не только в том, что оно постоянно ждало реформ сверху (прирезки десятин пашни, помощи семенами, облегчения налогов, отмены рекрутской повинности и пр.), но и опасалось их. Когда помещиков не стало, страх перед неведомым грядущим без бывшего отца-барина толкал мужика ещё более настойчиво к общине. Этот страх, кроме того, и привёл к необычайному росту упомянутой идеологии древнего локализма, полуязыческого мракобесия и суеверий в период между двумя «волями», царской и большевистской.

Явное нарастание острой тревоги за завтрашний день было опасным симптомом разочарования в существовавшем порядке, его стихийного отторжения,

в чём была своя логика. Дворяне и прочие «верхи» отнюдь не показывали деревне доброго примера. Вот что говорит о них уже цитированный М. Меньшиков: «Предоставили дворянам на колоссальные выкупные платежи поднять агрикультуру, которую они не удосужились поднять за триста лет. Правительство ахнуть не успело, как миллиард выкупных перекочевал в сундуки заграничных кокоток и магазинов роскоши». Дедовские огромные латифундии дворяне «только сумели что растратить, распродать, прокутить, не успев за несколько столетий завести ни саксонской, ни китайской культуры. В школах почти ничему не научаются, выносят жалкое знание как повинность, которую сбрасывают с плеч тотчас же по окончанию курса». Дело в том, продолжает автор, что дворяне — великороссы, как и их мужики: «Народ это усиленно доказывает проявлением тех же (т. е. дворянских. — *В.В.*) черт в зародыше. Едва освободили крестьян, как по деревням пошёл тот же, совершенно дворянский кутёж, те же по натуре барские, лёгкие нравы насчёт женщин, то же отлынивание от труда, то же безверие, та же беспечность к образованию — поразительное равнодушие к дельным книгам и пристрастие к печатной дряни, тот же анархический нигилизм, то же в общем печальное легкомыслие нашей расы...» (там же).

И даже медленно менявшиеся отношения между социальными слоями, урбанизация, кое-какая либерализация всего общественного механизма стали считаться в деревне Злом. Соответственно облик Добра приняли полуисчезнувшие реалии старины — общинной, естественно. Локальный сельский социум острее, чем обычно, ощущал себя антиподом «большому обществу», то есть государству. Насильственное втягивание натурального (по сути — самообеспечивающегося) крестьянского хозяйства в товарно-денежные отношения (аренда!), также связывавшиеся с государством, вызывало невыносимый ужас перед явно близившейся всеконечной, духовной погибелью. Набирал силу протест — стихийный, бунтарский, слепой из-за отсутствия идейной основы, иных, кроме утопических, целей, и массовый.

Вообще-то он имел два крыла — народовольческое и крестьянское, но его растущая мощь не оставляла равнодушными и тех, кто находился между этими крылами. «Так, например, безупречная либеральная партия кадетов в 1906 г. отказалась публично заклеймить терроризм, опасаясь дискредитировать себя в глазах общественного мнения» (*Хоскинг*, 1994. С. 19). Уже начался процесс «нормализации террора» — убийство Александра II Освободителя поразило, но *не потрясло* общество. А насилие уже втягивало в свою гибельную орбиту немногочисленный (к 1917 г. — 2,5 % населения) мирок рабочих. И вскоре Ленин заметил, что рабочие стали самым взрывчатым элементом общества, хотя и не умел объяснить истоки этого явления, которые следовало искать не в капиталистическом городе, а опять же в архаичной деревне. Ведь если капитализм в России и победил (что несколько сомнительно), то буржуазного *строя* уж точно не было!

Сказать, что рабочие были «вчерашними крестьянами» — ничего не сказать. В отрыве от села они становились бóльшими крестьянами, чем сами мужики. Живя в заводских общежитиях, они группировались не по цехам, а по уездам. По праздникам тот же локальный принцип соблюдался и в уже упоминавшихся драках стенка на стенку, и здесь сохранивших свой общинно-ритуальный характер. Общинные реалии вообще воспроизводились в городе с чрезвычайной

дотошностью и серьёзностью. Мастера набирали «своих», заводчик также проявлял понимание нужд заводской общины (она совпадала с церковной, во главе которой он сам, как правило, и стоял). Ритм производства приспосабливался им к циклу полевых работ: наём рабочих длился от Покрова до Пасхи.

Да и у самих рабочих забота об оставшемся в деревне хозяйстве пересиливала личные (карьерные) интересы. В этом и состояла глубокая, но не замеченная ни Марксом, ни Лениным принципиальная разница между западным и российским рабочим. У первого идеалом было превращение (или хотя бы внешнее подражание) в буржуа, у второго — в «кулака». Первый чувствовал себя в городе как рыба в воде, имея общие культурные корни, общую систему ценностей с окружающими его горожанами. Второй тосковал по селу, страдал по оборванным связям, что вело его к быстрой духовной, а то и физической деградации и гибели[1].

Как верно замечают современные исследователи, в конце XIX — начале XX в. при слабости средних слоёв, вообще срединной культуры (ремёсел, кустарного производства, мелкого предпринимательства), под сильным влиянием манихейской церковной системы уродливо разрослись две крайние формы социальной идеологии — авторитарная и общинная (*Ахиезер*, 1991. Т. I. С. 260; *Ионов*, 1994. С. 319–329).

Что же мог изменить П.А. Столыпин в *таком* сознании за недолгие, отпущенные ему роком годы реформы? Не больше, чем «перестройщики» наших дней, так же пренебрегшие психосоциальным анализом, как будто и не было трагического опыта реформ начала XX в., когда председатель Совета министров бросился очертя голову в *экономическую* переделку страны и людей. Причём людей, как и в наши дни, более нуждавшихся в *этической* метаморфозе. Как и наши современники, премьер П.А. Столыпин хотел модернизировать Россию, проигнорировав волю народа русского, которому эта модернизация была столь же мало потребна, как ныне — общечеловеческие свободы печати, совести, торговли, беспрепятственного выезда за рубеж и т. д.

Детальная разработка проблемы внутриобщинного конфликта в эпоху П.А. Столыпина ещё не осуществлена наукой. Но уже сейчас можно назвать главные причины неудач его реформы. Все они объясняются российскими традициями и вполне человеческими чувствами: идеей бытового равенства, круговой порукой. А также завистливостью, как наиболее частым её проявлением. Отсюда нелюбовь мира к кулаку, посреднику, любому, кто более обеспечен и свободен (*Гребенниченко*, 1996. С. 409).

---

[1] Подр. см.: *Ионов*, 1994. С. 282–320. Как и крестьяне, рабочие полагали, что, работая за *деньги,* они живут по Кривде. По-своему логично они возлагали вину за своё «падение» (то есть отпадение от святого труда земледельца) на начальство, чиновников, город (государство). С другой стороны, падшим грешникам терять нечего. Отсюда та лёгкость, с которой они впадали в грехи, из которых пьянство было самым распространённым, но не самым страшным. Это был не пролетариат, так умилявший Маркса (то есть крепкие профессионалы, обладавшие квалификацией, профсоюзной спайкой, гордившиеся званием индустриального рабочего). В России это были маргиналы, завтрашние люмпены, отзывчивые на подстрекательство к любому насилию, к грабежу, бунту, цареубийству и пр., чем и приглянулись Ленину. А он — им, ведь толпе всегда нужен символ её абсурного смысла жизни. Потом таким символом станет Сталин.

Далее, «кулаки» открыто нарушали тысячелетние общинные принципы соборности, закрытости, самоизоляции от «ненаших» — короче, все без исключения принципы манихейства. Они становились для бывших односельчан людьми непостижимыми и недостижимыми. Причём их никак нельзя было вернуть на некий среднемужицкий уровень. Всё это до того раздражало общинников, что они шли на явную уголовщину, которая не сулила им никакой пользы — лишь суровое наказание. В начале XX в. в стране разгорался стихийный антикулацкий террор. И в нём участвовали не только молодые деревенские парни-хулиганы, но и степенные мужики, и седые старики. Ведь усидеть дома, когда соседи и близкие восстанавливают попранные законы предков, не то чтобы не позволяла их честь (честь в великорусской традиционной общине — вообще понятие сомнительное), но этого требовало их понятие о спасении духовном и даже физическом или материальном (Об этом см.: *Гребенниченко*, 1996. С 410).

Самым распространённым видом такого террора были поджоги. Жгли хутора, стога сена, отдельные избы, дворовые постройки вместе со скотиной. Для выделившегося из общины удачливого мужика единственным способом уцелеть было остаться в деревне — тогда поджог становился опасен для всех. Но принужденные к этому общежитию фермеры попадали в настоящий ад всеобщей ненависти, распространявшейся и на малых детей и принимавшей самые дикие формы. Антикулацкая эта активность была отмечена, таким образом, задолго до «военного коммунизма», а именно в 1905 г., когда она стала массовой (*Котляревский*, 1990. С. 177).

Поэтому в общем-то понятно, почему столыпинская «перестройка» задела лишь 1/5 часть крестьян, да и те выделились из общины в большинстве случаев (67%) вопреки воле «мира» — ненавидимые, часто избитые, презираемые односельчанами как предавшиеся Злу, как заединщики тёмных сил (то есть чиновников, спустивших реформу на село). Такие отщепенцы и пахать-то нередко могли, лишь дождавшись полиции или солдат, охранявших их от священного гнева общины.

4. «Революция» 1917 г. и её перспективы

а) Сущность бунта и крестьянской войны

Советская историография в своё время безоговорочно приняла ленинское определение катастрофы 1917 г. как Великой Октябрьской социалистической революции. И придерживалась смысла этого термина на всём протяжении своего бытия в качестве науки, ища и находя всё новые подтверждения «научности» ленинского постулата. Между тем сомнительность последнего становится явной уже при постановке естественного вопроса: а правомерно ли называть разнообразные события рокового 1917-го именно «революцией»? Революцией принято обозначать (по крайней мере, в цивилизованном мире) насильственную ломку негодных экономических и социальных структур, одряхлевших отношений и культурных традиций, отмену переживших себя идеологических установок с целью замены их совершенно *новыми* социальными, политическими и экономическими системами,

отвечающими более целесообразным, рациональным, совершенным, *новым* же социальным отношениям, производительным силам и экономическим моделям.

Год 1917-й отбросил страну в противоположном направлении.

Россия покатилась назад, в догосударственное, варварское, архаичное прошлое. С социальной точки зрения это был бунт черни, люмпенов. И его типичная для любого бунта неконструктивность, бесперспективность была явной уже в самом начале переворота — стоило только вспомнить опыт 1905 г. Тогда бунты по всей России выдохлись не только по причине полицейских репрессий. Им некуда было развиваться, они не были нацелены на созидание, они уходили сами в себя. Но окончательно не гасли — топливо не иссякло. Они тлели до поры до времени, почти незаметные для российского политического бомонда, жившего собственными представлениями об окружающем мире.

И единственным, что просвечивало из-под пепла внешнего этого покоя, были чёрные сотни[1], феномен городской. Их появление вполне объяснимо. В менявшемся социальном климате они не могли не взойти, эти ростки яростной реакции архаичного типа, антилиберального протеста средних и низших слоёв города, опасавшихся конкуренции интеллектуализировавшегося крупного производства. В городе созрел плод сопротивления слишком европейскому, слишком нерусскому по духу аппарату (но в защиту своего старого тотема, царя-батюшки). Жертвами этой реакции пали опять-таки «ненаши» — евреи или мусульмане. А также русские — но оторвавшиеся от народа: студенты, интеллигенты, иногда торговцы и пр. Тогда, в 1905 г., число только погибших (то есть не считая покалеченных, изнасилованных, избитых и пр.) за полмесяца достигло 4000 человек.

После 1905–1907 гг., казалось бы, всё стихло. Однако современные исследования показывают, что до тишины было далеко. Сами волнения начались до 1905 г. и не угасли после 1907 г., а продлились вплоть до нового их подъёма в 1917-м и позже. Другое дело, в какой форме они протекали в межреволюционный период. И вот здесь обнаруживается, что отдельные «беспорядки» 1902–1917 гг. протекали хоть и изолированно друг от друга, но они не были *разнородными*. То есть не позволяющими вывести какие-то закономерности, общие как для всего этого времени, так и для всего российского пространства (точнее, для ареала преобладания русской закрытой сельской общины, захватывавшего и часть Белоруссии, и север украинского Левобережья).

Для решения поставленной проблемы важно выяснить истоки этих волнений. Этот вопрос — сложнейший. Марксисты-ленинцы отвечали на него в плане общего «ухудшения жизни» крестьянина, притягивая таким образом за волосы исторический факт к сомнительной теории: известно немало бунтов, вспыхивавших тем ярче, чем радикальнее были улучшения в материальном положении массы. Указания на подстрекательскую роль то ли беспартийной интеллигенции, то ли большевиков ещё более нелепы, как и все попытки детерминировать (опричинить) народные движения волей отдельных лиц или группировок. Ведь

[1] Чёрные сотни — понятие собирательное. Под этим термином принято понимать несколько крайне правых организаций в России 1905–1917 гг., которые выступали под знаменем великодержавного шовинизма. По сути, они боролись за реставрацию «инородческой» политики феодального периода истории России (подр. см. ниже).

когда историки объясняют резню Варфоломеевской ночи подстрекательством короля, то лишь обнаруживают такое же незнание психологии толпы, как и психологии королей[1]. Или, по словам одного довоенного венгерского теоретика, «Революция — естественное явление. Самое заинтересованное подстрекательство не может поднять людей на борьбу, если этого не сделала природа, и свобода не замаячила перед судьбами людей» (*Немет*, 1989. С. 239).

Итак, серия волнений началась в России, впервые после долгого перерыва, в 1902 г. Цепь их протянулась вплоть до 1917-го, но на нём не оборвалась. Её окончание совпало лишь с полным завершением Гражданской войны. Сам процесс этот протекал неровно, подъёмы социальной активности сменялись периодами затухания, но главное — они не прекращались. Как именовать такого рода аграрные беспорядки — не столь важно; специалисты по конкретным губерниям определяли их совокупность как процесс единый, но «мерцающий», «тлеющий», «пульсирующий» или даже «эстафетный» (западные волости). К 1920 г. неимоверно усилившаяся эта социальная буря охватила регионы, далёкие от её зарождения, от Центрально-европейской части России. Но несли её до конца всё те же действующие лица — русские крестьяне и рабочие в будённовках или бескозырках. Именно поэтому пора назвать это крупное историческое событие более адекватным термином. Империя пережила двадцатилетнюю (1902–1922 гг.) *крестьянскую войну*. Причём *великорусскую* крестьянскую войну. Последнее определение несколько режет ухо, привыкшее к комфортной «интернациональной» (без)ответственности за весь отечественный террор; очевидно, к смыслу термина придётся долго привыкать, как привыкали когда-то к словосочетанию «Великая французская революция». Впрочем, именно русской называли эту войну уже очень давно, ещё до её окончания, причём люди, знавшие о ней не из книг[2]. Понятно, здесь не может не прийти на память длинный ряд лиц, игравших в этой войне не последнюю роль, но явно нерусских. На этом парадоксе, хоть и кажущемся, придётся остановиться подробнее — он имеет важное значение для основной темы книги.

---

[1] Недавние исследования показали, что в 1905–1914 гг. волнения вспыхивали с некоторой очередностью; причём главным образом (98,8% от общего числа сельских беспорядков) в деревнях, где ни разу не бывали агитаторы РСДРП или других революционных партий. И, напротив, сёла, где агитация велась, сохраняли спокойствие в 92,4 случаях из ста (*Буховец*, 1996. С. 316). Что объясняется социальной психологией общинников: «ненаш» агитатор подозрителен, для него бунт чем-то выгоден, а уж доброму он точно ничему не научит.

[2] Ленин, выступая 1 января 1918 г. перед добровольцами, дважды сказал об этом в одной фразе: «Я приветствую в Вашем лице решимость русского пролетариата бороться за торжество русской революции» (ПСС. Т. XXXVI. С. 216). Это же качество «революции» подчёркивает политический противник Ильича и профессиональный историк: «Большевистская победа лишь продлила общий процесс русской революции. Она только открыла новый период её. Существенна в этой победе не поверхностная смена лиц и правительств... а непрерывность великого основного потока... преобразования России» (*Милюков*, 1927 «а». С. 40–41). К схожему выводу приходят современные исследователи: «Красные сумели обезоружить белых в силу того, что взяли на своё вооружение насилие и мессианизм — то, чем изначально была пропитана русская история, и от чего ни у кого, даже просвещённых людей, не находилось иммунитета» (*Булдаков*, 1997. С. 240).

б) Нерусское лицо русской революции

Вернёмся к вопросу, почему в 1917 г. был совершён рывок назад и в чём он конкретно выразился? Понятие «архаизация» глубоко содержательно, оно помогает прояснить многие явления и события из истории России. Попытки некоторых авторов объяснить все беды русского народа и его «меньших братьев» традиционалистским типом российского общества в данном случае недостаточны. Даже крайне консервативный национальный менталитет позволяет многим народам развиваться в направлении демократизации и открытости, всё большей интеграции в круге цивилизованных наций. Очевидно, гораздо большее значение, чем традиционализм, имел иной феномен: русское общество с петровских времён, строго говоря, единым обществом не было. То есть оно не обладало той культурной цельностью, что является необходимой в процессе складывания нации. Раскол между культурой «высших» (цивилизованных) и «низших» (простонародных) слоёв, между интеллигенцией и народной массой за прошедшие века преодолён не был. Население империи существовало совместно не из внутреннего единства, а благодаря административным усилиям мощной державы. В конце XIX — начале XX в. упомянутый культурный раскол трансформировался в открытый разрыв антагонистического типа, приведший к известным результатам.

Тот бесспорный факт, что упомянутый разрыв был инициирован снизу, объяснялся в советской науке прежде всего экономическими причинами (ухудшение качества жизни народа и т. п.). Между тем на этот вопрос давно уже существовал более верный, хотя и слабо, на наш взгляд, обоснованный ответ, а именно: что не в экономике, а в «области культуры, в области духа лежат корни и истоки русской революции...» (*Флоровский*, 1922. С. 123). Вывод этот заслуживает внимания прежде всего потому, что обращение его автора к области психологии (этнической, естественно), как к максимально устойчивому и самообновляющемуся с уникальной правильностью и постоянством фактору, предоставляет гораздо более прочную исследовательскую основу, чем опора на переменчивые показатели из сфер экономики, социологии, политики и пр. В то же время анализ психологии масс (в частности, подсознательного и коллективного бессознательного) раскрывает новые возможности для раскрытия темы: бесспорно, что революция 1917 г. всего лишь «проявила наружу всё, что таилось во глубине России и было скрыто в недрах национального характера» (*Пискунов*, 1994. С. 26).

О сути подсознания и мощи его влияния на человеческую деятельность уже говорилось выше. Здесь подчеркнём лишь две сущности.

Первая: как заметил классик мировой социологии Эмиль Дюркгейм, чувства, мнения, управляющие обществом, определяющие качества этнопсихологии, а нередко и направляющие национальную политику, не являются простой суммой чувств и мнений индивидуумов, составляющих общество. Они имеют качественно иную природу, складываясь из достояния народной (этно-)культуры, то есть из совокупности национальных предрассудков, мифов, поверий, песен, сказок, вымышленных или исторических идеальных для народного сознания фигур, общеизвестных (чаще всего препарированных до неузнаваемости) событий и анекдотов. На этом классик остановился, и вовремя, — это добро можно перечислять бесконечно, страница за страницей.

Вторая: подсознательное и коллективное бессознательное начала необычно полно выражаются именно в великорусском этнопсихологическом типе. Причина всё та же — закрытая община, её герметичный мир, сковывающий личность, самодостаточный мыслительный процесс общинников. А, как указывали этнопсихологи ещё прошлого века, «такой субъект вследствие парализованности своей сознательной мозговой жизни становится рабом» и собственных подсознательных, и коллективных бессознательных интенций (*Лебон*, 1995. С. 163).

То есть это было знание, враждебное воспитанию и пониманию не только свободно и самостоятельно мыслящего человека. Это было вообще «знание вне и помимо понимания» (*Кантор*, 1997. С. 37). И вот к нему-то, к *такому* «знанию», приложился ещё один усиливающий момент — привычная, столь же подсознательная, по крайней мере, на данном историческом этапе, неискоренимая агрессивность русских мирян-общинников[1].

В упомянутом культурном противостоянии правовой традиции византийского происхождения и мифологической подпочвы великорусской этнокультуры победила последняя. Причин здесь две: во-первых, общинников было численно больше, чем людей с более цивилизованным миропониманием и правовым сознанием, а, во-вторых, российская культурная среда не выработала средств ограничения экспансивному натиску архаики. Напротив, ею романтически любовались (до поры до времени). Как, впрочем, и в 1960-х гг., и позже (имеются в виду писатели-деревенщики и их многомиллионная аудитория).

Между тем возможности преодолеть архаику и даже победить её имелись. Их дала, к примеру, реформа 1861 г. Впрочем, выгоды, которые крестьянин мог извлечь из Великих реформ, требовали повышения активности, социально-экономического развития, то есть тех самых действий, что не входили в систему ценностей абсолютного большинства общинников. Правительство было очевидно заинтересовано и в аграрной реформации, и в распространении товарно-денежных отношений. Но оно столкнулось с мощной волной крестьянской реакции: община противилась либерализации, инстинктивно чуя в ней свою гибель, она яростно цеплялась за натуральную экономику, буквально изводя тех немногих, кто так или иначе выходил из круга локальных, дотоварных отношений.

Тогда же стала отмечаться стихийная актуализация древних ценностей (*Яковенко*, 1993. С. 38), как это и случается в ситуации социальных обострений. Такая обвальная архаизация общества вызвала к жизни среди прочего уникальные для того времени государственный централизм, аппарат подавления инакомыслия, коллективное управление, очередную реанимацию мечтаний о миссии России как освободительницы и спасительницы мира, воплощении Добра

[1] Доказательства этому тезису были приведены в своем месте; здесь снова напомним о такой этнологической реалии, как известные лишь в России и неоднократно описанные в литературе «вспышки бессмысленной агрессии в российской деревне, находившие выход в организованных массовых драках» (Менталитет, 1996. С. 386). Не по этой ли причине «революция» 1917 г. приняла уникальные по степени самоуничтожительности и жестокости формы? Ведь некоторые авторы не решаются отнести их вообще к человеческим: «...взрыв социальной энтропии развязал такие силы разрушения, которые в принципе противоречили цивилизации (в любой конкретной её разновидности) как способу организации человеческого общежития» (*Шемякин*, 1996. С. 193).

в царстве тотального Зла и т. д., что было замечено и европейцами (*Jensen*, 1992. S. 39). Это был какой-то исторический спазм, массовая и добровольная духовная асфиксия народа, боявшегося «заразиться» в атмосфере ширящейся либерализации и гуманизма.

К разочарованию теоретиков «гениального провидения» В.И. Ленина, он и современную-то ему ситуацию осознавал довольно смутно. Так, в 1906 г., в условиях крестьянской войны, он и его сподвижники в упор её не видели, очевидно полагая, что она подавлена. А годом раньше — всерьёз рассчитывая, что в грядущей революции можно будет обойтись без крестьянина, или что мужик пойдёт за подозрительной городской партией, не обещающей ему ничего, кроме невиданного насилия над самым дорогим — общиной и передельным землепользованием[1].

Однако крестьянская масса с течением времени неоднократно и весьма недвусмысленно давала понять о совершенно иных и гораздо более мощных своих потенциях, чем это виделось вождю. И тогда он начал менять программу партии, приспосабливая её к реальной обстановке в деревне, подгоняя её под мужика. В конце концов она стала в результате этих вынужденных редакций собственной *противоположностью* (имеется в виду аграрная её часть). Эта ломка теории, очевидно, не составила большого труда, так как, во-первых, происходила замена чисто марксистских её пунктов на более органичные и естественные для России. А, во-вторых, «на ментальном уровне большевики из всех политических партий были наиболее близки к крестьянам», а не к обожествлявшемуся ими пролетариату. И, с другой стороны, ленинцы «были в непримиримой оппозиции ко всей остальной политической палитре города», как и все русские крестьяне (*Бабашкин*, 1996. С. 278).

Ленин не мог «забыть» ни о выгоде крупного аграрного производства, ни о привлекательности для партии коллективного труда и коллективного же управления им. Но он пошёл на ревизию собственного учения, зная, что такая смена кожи могла привлечь многомиллионное крестьянство не только потаканием мужицкому эгоизму. Утративший за годы подпольного существования и общения с себе подобными остатки человечности и принципиальности, он не мог не превратиться отчасти в типичного русского общинника, лукавого и себе на уме манихея с двойной моралью. В чём мало удивительного: «...силы, ведущие политическую борьбу, часто хватаются за любые средства, включая использование архаичных представлений, весьма удобных для превращения

[1] После Объединительного съезда РСДРП в апреле 1906 г. его результаты были изложены для общественности Ю. Лариным, верным ленинцем, и, в отличие от вождя, образованным экономистом (между прочим, организовавшим пятью годами ранее ячейку Союза РСДРП в Крыму). Так вот, Ю. Ларин писал, что конфискация частновладельческих земель будет проведена партией «отнюдь не для раздела их между мелкими хозяйствами», поскольку «если бы даже опять всех лошадей, орудия производства и прочее забрать у богатых крестьян и разделить поровну между всеми, то... снова возникло бы то же неравенство». Поэтому «уничтожить разделение крестьянства на классы может только уничтожение товарного производства, то есть торжество социализма», когда будет создано хозяйство, «управляемое не отдельными частными собственниками, но волей всего народа» (*Ларин*, 1906. С. 49, 64).

противников в глазах своей этнической группы в абсолютное воплощение зла» (*Ахиезер*, 1994 «а», 33).

И Ильичу хватило ума не противиться этому двойному соблазну. Именно так объясняли ленинскую крестьянскую политику его современники, то есть люди, в отличие от нас, говорившие с ним на одном языке, следовательно, лучше его знавшие: «Его сила заключалась в том, что... он был не из тех вождей, которые стараются поднять стихию на уровень сознательности, а из тех, которые становятся во главе стихии именно потому, что ей подчиняются» (СВ. 25. 01. 1924. С. 1). Другими словами, революцию нельзя было спровоцировать, это всё равно что пытаться «плясками в подвале вызвать землетрясение» (*Булдаков*, 1994. С. 13).

Впрочем, возможно правы некоторые украинские историки, которые считают, что упомянутая метаморфоза мышления Ленина имела более искусственную природу, и вождь пошёл на неё по собственной инициативе, изначально будучи прекрасно осведомлённым в уникальных особенностях психики великороссов, в традиционной механике московской истории, корнях московской культуры и природе власти в целом (*Маланюк*, 1991. №6. С. 116).

И всё же, по нашему мнению, в этом вопросе ближе всего к истине точка зрения Ф.А. Степуна. Этот русский философ и политэмигрант 1920-х гг. объяснил секрет победы Ленина тем, что вождь, видя, что народ русский идёт прямо в бездну коллективизма, толкал его туда же. А также тем, что Ильич «творил своё дело не столько в интересах народа, сколько в духе народа, не столько для и ради народа, сколько вместе с народом». И далее: «Как прирождённый вождь он инстинктивно понимал, что... может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шёл на поводу у массы, на поводу у её самых тёмных инстинктов» (*Степун*, 1924. С. 289–290). Примерно о том же, но в ином освещении, говорили о Ленине «свои», называя его «несравненным мастером по части собирания под своё знамя разнузданной чернорабочей черни», который «все свои псевдореволюционные планы строит на неразвитости дикого голодного пролетариата» (*Плеханов*, 1918. Т. II. С. 202).

Собственно, история становления ленинской догмы (или программы, изначально не предназначенной к выполнению) удручающе банальна. Как и любое крупное политическое жульничество в процессе его подготовки, эта программа просто должна была впитать наиболее расхожие суеверия и утопические представления — неважно, что в результате все они становятся мало похожими «на исходную теорию политической деятельности», а, возможно, оказываются «её прямой противоположностью» (*Пернацкий*, 1997. С. 54).

Конечно, не следует понимать сказанное в том смысле, что Ленин буквально шёл на поводу масс и никакой вины за Великую Октябрьскую революцию не несёт. Напротив, он, и только он, своей адской идеологией *освободил* народ от остатков нравственных сдерживающих начал. Именно он выпустил, как джинна из бутылки, рафинированно манихейские, то есть загодя оправданные насилие и самозванство, только и позволявшие впоследствии отрицать императивы совести и топтать бывшего Бога. Но, предъявляя вождю террора счёт, нельзя забывать о следующем: Ленин и его большевики, расползшиеся с его идеями по телу империи, а потом и других стран и материков как тифозные вши, были всё же не «тифом», а именно вшами.

Тиф манихейства не они придумали. В Московии он испокон веку был у себя дома. Только вот таких шустрых и вездесущих разносчиков не находилось едва ли не со времён Великой Смуты конца XVI — начала XVII в.

Большевики создали аграрную программу, вдохновлённую общинными идеалами. Они широко пропагандировали её до 1917 г., не отказываясь от неё и позже (на Всероссийском съезде советов она была облечена в форму декрета высшей власти). Так ленинцы продолжили свою авантюру с заведомо невыполнимой и, главное, бессмысленной, даже в случае выполнения, догмой земельного передела (даже по тотальному всероссийскому разделу средний крестьянский участок увеличился бы всего-то на полдесятины). Они совершили подлог, которого ждала деревня, но на который по причине моральных «предрассудков» не смогла пойти ни одна из тогдашних партий России.

Победа Октябрьской революции, как известно, была почти бескровной — из-за слишком уж неравного соотношения сил. Немногочисленные «оборванные толпы рабочих и горсть матросов выросли неожиданно в огромные армии, вобрали в себя партизанскую силу разгулявшейся крестьянской стихии, оформились в дисциплине старого царского офицерства» (*Федотов*, 1991. Т. II. С. 15). Правда, эти офицеры, число которых достигало 50 000 (*Верт*, 1992. С. 122), были в большинстве не дворянами (тех, кадровых командиров, перемолола Первая мировая), а окопниками, бывшими унтерами. То есть вышедшими из тех же мужиков, хотя и заработавшими кровью золотые погоны.

Далее, всему этому мужицкому воинству противостояла власть, которую не нужно было свергать — монархия пала в совершенно буквальном смысле слова. Царя не свергали, он не был захвачен «революционерами» в плен, его не заставляли подписывать отречение под угрозой расстрела или пыток, вся акция свершилась добровольно: Николая даже под замок не пришлось сажать. Другое дело, что его предали все: не только «публика» и общевойсковые части, но и элита армии, гвардейцы, да и «особо преданные» казачьи сотни столицы.

А добровольность отречения имеет простое объяснение. Царь, как и Ленин, проник, наконец, в суть, а не в форму крестьянской войны в России и понял всю бессмысленность дальнейшей борьбы с ней. После чего умыл руки — так ему, по крайней мере, казалось.

Что же касается упомянутой сути войны, то если и допустить, что она содержала не только разрушительные, но и конструктивные начала, то последние соответствовали цели почти любого русского бунта. А именно — архаизации социальных отношений. Российский человек с ружьём проливал кровь за воплощение в жизнь мечты не о свободной стране свободных людей, а о возврате к старым добрым временам. А именно об уничтожении разнообразных либеральных нововведений, заметно разросшихся с эпохи Александра II Освободителя, и о реставрации типично российской деспотической, закрытой социально-правовой системы.

Этот вывод имеет множество подтверждений, но самое наглядное из них — география Гражданской войны. Пахари Центральной России задолго до Октябрьской революции были готовыми большевиками, правда, ещё не зная этого. Лишь Ленин смог доходчиво объяснить им, что тёмные их бунтарски-грабительские позывы оправданны и святы. После этого деревня и город с восторгом бросились

экспроприировать усадьбы, квартиры, породистый скот, граммофоны и гимназисток. «Марксизм» наступил полный, так как в этой части империи общинники составляли, напомню, чуть ли не 80 % населения. В художественной литературе этот процесс лучше иных историков отобразил А. Платонов (роман «Чевенгур»).

А на севере России и в Сибири, где почти не было ни крепостного права, ни закрытой сельской общины, проповедь большевизма дала сбой. На Украине, где такая община доминировала лишь на 1/3 (Левобережье) и даже 1/6 (Правобережье) части территории, большевизм наступал с переменным успехом. Против местных экспроприаторов (голоты) выступили односельчане с менее архаичными представлениями о частной собственности, религиозной этике, просто о совести. Поэтому там «политический», а на самом деле нравственно-психологический раскол нередко проходил и через отдельные семьи. То есть брат шёл на брата, как это описано в талантливых и правдивых, но ныне позабытых рассказах Ю. Яновского.

Ещё далее к югу, среди крымских татар, вообще не знавших закрытой общины и воспитанных на этике ислама, большевизм вообще не нашёл никакого отклика. Его приходилось поэтому вводить целиком насильственно, отчего здесь Гражданская война полыхала ярче и дольше всего, а ожесточённость большевиков успела разрастись до гомерических размеров. Впрочем, в последние военные месяцы это наблюдалось не только в Крыму.

Но именно в Крыму наиболее ярко высветилась этносуицидная сущность крестьянской войны: «классовый враг» добит и изгнан, а остановиться невозможно, кровь по-прежнему льётся рекой, идёт уже тотальный социальный распад. Бунта больше нет — против кого бунтовать? Однако огромное скопление пришельцев с Севера, эту пёструю, но преобладающе великорусскую массу ещё долго колотят судороги садомазохистского гибельного восторга самоуничтожения[1].

Для того чтобы прервать эту реакцию, сильно напоминавшую цепную, было необходимо ввести тотальный социальный контроль. Впрочем, для гарантированной эффективности этой меры было бы желательно предварить её социальным упрощением подконтрольной массы. Или, иными словами, репрессивными методами отсечь всё ненужное для укрепления и перспективного развития нового режима, — так облегчалось наведение «революционного порядка» как радикального тормоза для слишком далеко зашедшего процесса этносуицида.

Конечно, решить эту задачу можно было бы и менее кровавыми методами, обойдясь без многих десятков тысяч жертв Красного террора в Крыму. Но большевики не были бы большевиками, если бы ставили во главу угла своей политики «такую химеру, как совесть» или хотя бы человечность. Им не терпелось вывести русскую революцию на мировой простор — и в Крыму произошли события, от которых ко всему привычный цивилизованный мир содрогнулся. Зато

---

[1] В результате неоправданно быстрого освобождения подавленных сил неизбежен разгул безнравственности всех представимых форм и психопатологических изменений в коллективной и индивидуальной ментальности — это правило, научный факт (Подр. см.: Вестник АН СССР, 1989, №10. С. 22). «Народная толща, поднятая революцией, сначала сбрасывает с себя все оковы, и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом» (*Бердяев*, 1990. С. 109).

в считаные месяцы был наведён порядок — это отметили и авторы из русских эмигрантов. Они даже ставили закономерный вопрос, не большевистская ли это заслуга, что «...не произошло поголовного истребления культурных слоёв русского общества; может быть, они скорее ослабили, чем усилили порыв стихии» (*Карсавин,* 1923. С. 327).

Продолжив метафору, признаем, что на пути такого рода «стихии» действительно было необходимо ставить какие-то плотины, дамбы и шлюзы. Но, конечно, из *иного*, не подверженного коррозии (великорусской стихийности) материала. И вот тогда-то на место русского мужика, чьими силами крестьянская война велась два десятка лет и наконец завершилась победой, на авансцену истории выступают совсем иные актёры. Партия избрала (и набрала) их среди никогда не знавших соблазна общины, непоротых племён, среди людей с совсем *иным*, чем у бунтующих великороссов, сознанием, а главное — с иным подсознанием.

О том, где их взять, задумываться не стоило: крестьянская война на заключительной, самой бурной и открытой своей стадии захватила и непреодолимо увлекла за собой массу *ино*родцев: местечковых ремесленников Белоруссии и Украины, безземельных латышских и армянских батраков, бакинских рабочих, бедняков грузинского села, а также множество заброшенных в Россию мировой войной венгров, чехов, поляков, австрийцев, немцев, китайцев и так далее.

К этим людям у ленинского руководства было больше доверия, чем к россиянам, не потому, что все они были коммунистами (это далеко не так, многие вступали в партию уже «в деле»), а по чисто деловым качествам — работоспособности, инициативности, своеобразной честности, трезвости и исполнительности (китайцев, например, ценили за «высокую организованность и хорошую управляемость» (*Саран*, 1994. С. 134). Короче, по качествам, которыми не отличался основной контингент ленинских сподвижников, сохранивших под бушлатами, шинелями и кожанками общинное своё нутро. Они были «чужими». Но это как раз и требовалось, так как со «своими» у разбушевавшейся армейской массы могло возникнуть порочное взаимопонимание.

Такое вот отношение к нерусским большевикам сохранилось и после смерти Ленина. Доверие к ним было особым. Примеров снова масса, причём по представителям практически всех соседних и не столь соседних стран. Взять хотя бы небольшую Венгрию: мадьяр Паукер стал личным парикмахером Сталина (до того опасливый вождь, никому не доверяя, брился сам); ему же было доверено пробовать сталинскую пищу, затем он организовал систему охраны генерального секретаря и руководил ею лет 15 (подр. см.: *Орлов*, 1989. С. 12). Истории ещё одного венгра, Белы Куна, и его роли в Красном терроре я коснусь ниже, а здесь выскажу сугубо личное мнение: если бы этот палач не ввел железной рукой собственную монополию на казни, не ввёл эту резню в жёсткий регламент (отнюдь не сократив её объём), то неизвестно ещё, остановились бы многочисленные анархистствующие садисты-морведовцы и особотдельцы до того, как Крым был бы полностью вырезан. Другими словами, Бела Кун никогда не делал крымцам так плохо, чтобы нельзя было сделать ещё хуже, и *это* народ должен был осознать. И, возможно, осознавал.

То есть большевики, взяв власть в свои руки, развязали неслыханный террор, одной из целей которого было, как парадоксально это ни звучит, обуздание

террора, но — террора анархичного, неконтролируемого. И Кун, и Ленин были нечеловечески жестоки[1], и это своё качество никак не скрывали. Но они не позволяли демонстрировать его людям посторонним, не из их круга, которые, нарушив исключительное право партии на смертные приговоры, не только лишали её какой-то доли устрашающего ореола, но могли стать попросту опасными для руководства. Никто не должен был, не имел права нарушать партийную монополию на убийство[2].

Конечной целью и Ленина, и Сталина было установление тоталитарного режима диктаторского типа: говоря о Сталине, не следует забывать, что Ленин не уступал последнему, а может быть и превосходил его (как любой первопроходчик) в антигуманизме и ненависти к демократии. «Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделённого диктаторской властью. Этому будут *подражать* (выделено мной. — *В.В.*) Муссолини и Гитлер» (*Бердяев*, 1990. С. 103). Давно было отмечено, что «оставленную Марксом бессодержательную формулу диктатуры пролетариата» именно Ленин заполнил «определённым содержанием: полицейским абсолютизмом рабочего государства» (*Федотов*, 1992. Т. I. С. 296), но было бы заманчиво разобраться в том, кто или что ему позволило добиться такой беспредельной, по сути, власти.

Повторяю: он сумел оседлать могучую стихийную волну на самом решающем, подъёмном моменте двадцатилетней русской крестьянской войны. Затем, разгромив вполне гангстерскими методами политических противников, он проявил известную гибкость, сумев при помощи нерусского элемента утвердиться во главе русского народа, только что одержавшего в Гражданской войне кровавую, но славную победу над самим собой.

Впрочем, этот нерусский, довольно многочисленный элемент был *инструментом*, а не мотором бунта, он не был душегубом, но лишь ножом в руках истинного убийцы, вот что принципиально важно[3]. Чужаки были «сторожевыми псами», которых хозяева использовали во все исторические эпохи. Но никому не приходило в голову называть псов «хозяевами стада». Они сами были в подчинении у истинных господ положения, в нашем случае — у Ленина. Впрочем, ещё Платон опасался того же. То есть что при известных условиях псы смогут «по дурной привычке причинять овцам зло и будут похожи не на собак, а на волков» (*Платон*, 1968. Т. III. Ч. 1. С. 416 «а». См. также: *Поппер*, 1992. Т. I. С. 281, 300, 315). И ещё одно соображение: «Не инородцы-революционеры правят русской

---

[1] Ильич понуждал солдат к бессудным казням первых встречных, не вполне соответствовавших расистским понятиям вождя о чистоте крови (по классовому признаку), в том числе совершенно ни в чём не провинившихся людей, гарантируя «премию в 100 000 руб за каждого повешенного» (цит. по: *Литвин*, 1993. С. 47).

[2] В Феодосии председатель городского совета, садист и убийца из портовых рабочих («зверь зверем» — по определению М. Волошина), изложил этот закон предельно кратко: «Здесь буржуи мои, и никому чужим резать их не позволю» (*Волошин*, 1920. С. 28).

[3] Впрочем, некоторые авторы не исключают иных (напр., психологических, то есть более глубоких) причин этого явления. В особенности часто они высказываются в отношении большевиков-евреев. «Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень характерно для России и для русского народа. Русский мессианизм родствен еврейскому мессианизму» (*Бердяев*, 1990. С. 94).

революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренно приобщившимися к „русскому духу“ в его нынешнем состоянии...», — писал лидер сменовеховцев Н.С. Устрялов, свидетель тех кровавых событий (цит. по: Политическая история, 1999. С. 182).

Народ попал в кабалу к большевикам, это так, но не из-за Троцкого, Свердлова, Енукидзе, Дзержинского, Микояна или других инородцев в Кремле. «Вина и беда народа в том, что основанное на его собственных предрассудках общественное жизнеустройство *неизбежно* (выделено мной. — *В.В.*) принимает антинародный характер» (*Пернацкий*, 1997. С. 53). А в кремлёвских коридорах мы «найдём скорее исполнителей, чем заказчиков. Заказчиков же надо искать в той крестьянской по своему происхождению, с вкраплениями рабочих, массе „большевиков“, что, плотно обступив институты власти, постепенно оттесняла от них большевиков без кавычек, и в конечном счёте почти всех их выпихнула в небытие» (*Каграманов*, 1995. С. 178).

Но это было уже в 30-х. А до того инородческие эти, ленинские «сваи», направлявшие железный поток, отнюдь не забывали, благодаря какому именно из племён человеческих стала возможной их карьера. И, нужно отдать им должное, все они без исключения верой и правдой служили русскому народу. И если можно упрекнуть эту разноязыкую когорту, то лишь в чрезмерном усердии, с каким они участвовали в кампаниях преследования «национальной буржуазии» окраин, в русификаторской политике Москвы, в гонениях на «безродных космополитов», в выявлении мифических сепаратистов («национал-предателей») и так далее[1].

Все вышеприведённые рассуждения относительно участия инородцев в Великой Октябрьской революции и Гражданской войне необходимы для воссоздания тогдашней картины в глазах современного читателя, у которого по вполне объективной причине временно́й аберрации смещены оценочные акценты. То есть эти выводы были бы излишними для людей 1920-х гг., прекрасно понимавших, чьих рук дело и революция, и прочие бесчинства на территории империи.

Вот мнение по этому поводу одного из свидетелей тех давних событий, русского публициста и идеолога сменовеховцев, очутившегося в 1920 г. в Харбине: «Какое глубочайшее недоразумение — считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли» (цит. по: Политическая история, 1999. С. 181). Он же в другом месте: «И если даже окажется математически доказанным, что 90 % русских революционеров — инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, — душа его, нутро его, худо ли, хорошо ли, всё же чисто русские».(*Устрялов*, 1920. С. 48). Да и не так уж много было этих инородцев в органах ВЧК; об этом имеются

[1] Особенно характерна их деятельность в Народном комиссариате по делам национальностей — главном ведомстве многонациональной державы, призванном защищать интересы самых слабых, в прошлом обездоленных культур. Наркомнац состоял из «обрусевших лиц нерусской национальности, которые противопоставляли свой абстрактный интернационализм действительным нуждам развития угнетённых национальностей. На деле эта политика поддерживала старую традиционную русификацию и была особенно опасна...» (*Троцкий*, 1946. С. 257).

соответствующие цифры: русские там составляли около 80%, латыши — 7,5 %, евреи — 5,6 %, украинцы — менее 1 %, поляки — 1,8 %, немцы — 1,2 % (*Литвин*, 1995. С. 91). Сюда не входят китайские добровольцы, общее число которых в Красной армии достигало 40 000. Некоторые из них охраняли Ленина, Троцкого и др., то есть являлись если и не чекистами, то особотдельцами (*Саран*, 1994. С. 134).

в) Проблема свободы и воли

В 1917 г. мятежная толпа стала несравненно более опасной, чем в начале крестьянской войны. Не только тем, что была обильно снабжена самым современным оружием и боевым опытом, что привыкла к крови за годы войны, но и тем, что обладала каким-то подобием программы. А это могло затянуть бунт на неопределённое время — до её выполнения. Требовались же ей какие-то мифические «земля и воля».

Другое дело, что воля нужна была для того, чтобы «свободно» замкнуться в несвободе, беспрепятственно возродив на Руси её исконную деспотическую общину, уйдя в уютно-герметическую соборную идеологию. Но это в лучшем варианте, при наличии желания что-то создать. В худшем же «воля означала необузданность, право на буйство, гулянку, поджог. Она была абсолютно разрушительным понятием, актом мести по отношению к силам, которые извека терзают крестьянина» (*Пайпс*, 1994. С. 206). Как показало время, осуществился именно худший вариант, причём в число «терзателей» попали все: не только всё несельское население, чужаки, но и свои же, деревенские соседи. Тут речь шла о воле, а не об осознанной свободе, предполагающей, как известно, не только права индивида, но и некоторые его обязанности по отношению к окружающему миру. В отличие от воли, от ничем и никем не сдерживаемого личного (в худшем случае — коллективного) произвола. Свидетельница самого чистого, нестеснённого, незамутнённого посторонним вмешательством проявления этой воли записывала возникавшие при этом мысли: «Немилосердна эта тяжесть свободы, навалившаяся на вчерашних рабов. Совесть их ещё не просыпалась, ни проблеска сознания нет, одни инстинкты: есть, пить, гулять... да ещё шевелится тёмный инстинкт широкой русской вольницы» (*Гиппиус*, 1917. С. 84).

А вот гораздо более раннее замечание, скорее даже пророчество: «В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент пошёл бы освобождённый русский народ, а в кабак побежал бы он пить вино, бить стёкла и вешать дворян, которые бреют бороды и ходят в сюртуках, а не в зипунах...» (*Белинский*, Т. I. С. 92). Значит, опять же истреблять ненаших. Это пророчество неплохого знатока русского народа, сделанное за 80 лет до Октябрьской революции, начало сбываться весной 1917-го.

В предшествовавшие 1917 г. десятилетия был худо-бедно достигнут определённый уровень и товаро-денежных отношений в провинции, и всероссийского рынка. Драма заключалась не в абсолютной высоте этого уровня (не очень впечатляющей, кстати), а в том, что он был искусственным, подогнанным под Европу. Ведь он не сопровождался параллельным развитием соответствующей системы ценностных приоритетов во всей толще населения страны, в его психологии. Такое системное несовпадение выражалось в массовом неприятии новых

явлений, идеализации народной массой старых, близких к натуральным экономических и социальных отношений, что вызывало спорадические вспышки открытого сопротивления новизне. Но совокупность этих мужицких волнений в форме пульсирующей или эстафетной крестьянской войны не могла снять ощущения постоянного психологического дискомфорта, внутреннего раздражения села. И внешняя, то есть мировая война, безусловно его усугубила.

Таким образом, это раздражение со временем становилось лишь острее, превращаясь в открытую ненависть к источнику психологического дискомфорта: чиновникам, правительству, царю, городу (то есть не-селу) как к совокупному воплощению Зла. Не находя достаточно свободного выхода, эта ненависть копилась до критического момента, за которым может следовать лишь взрыв.

г) Февраль

Таким взрывом Февраль 1917-го не стал. Причина — в изначальной неагрессивности акции, задуманной отнюдь не общинниками, но представителями слоёв, от сельского мира максимально удалённых. Её суть была не столько в насильственных действиях, сколько в отказе подданных подчиняться царской «неправде», воспроизводящей дискомфортные отношения — и только. Февраль стал саморазвалом великой монархии, хотя начался по случайному поводу (перебои в продовольственном снабжении нескольких городов) и закончился столь же малозначительным для истории народных движений актом отречения Николая II. Так Февральская «революция» угасла, иссякла как любой бунт, сама по себе, не создав ничего нового. Она лишь усовершенствовала походя те, уже имевшие место либеральные нововведения царского правительства, *против* которых, собственно, и шла столько лет крестьянская война.

Спору нет, Февральская революция, конечно же, отвечала интересам народа России, в том числе и крестьян, но лишь в *перспективе*, которую простым людям нелегко было разглядеть. На текущий же момент (1917 г.) — ни в коем случае уже потому, что она стала причиной не облегчения, а усугубления дискомфортного состояния большинства, ещё более жёсткого нарушения стереотипов народной жизни. Отчего и затрещала идеологическая «крыша» народного дома, выводя сельский мир из зыбкого, неустойчивого, но равновесия. Страх и ненависть масс возросли до степени, сравнимой лишь с ужасом крестьян, загоняемых Петром I в новые, нерусские социальные и идеологические системные рамки.

К этому добавились такие невиданные явления, как всеобщий беспорядок, предшествовавший тотальной разрухе: начались сбои в оплате труда, на транспорте, в снабжении города и села и пр. А Временное правительство, не сумевшее организовать эти прозаические «мелочи жизни», отложив раздел земли до созыва Учредительного собрания (то есть проигнорировав основные требования народа), оказалось настолько недальновидным и бестактным, что стало без меры превозносить либеральные блага и свободы. Естественно, видя, что из городской «революции» не вышло ничего путного, мужики доходили до белого каления, когда приезжие уполномоченные заводили речи о конце уравниловки, введении каких-то буржуазных начатков, короче, опять о чём-то *новом*, от которого и так-то уже тошно было.

Итак, Февраль принёс результаты, прямо противоположные той соборной, общинной идее, что была движущей силой масс не то чтобы «пробудившихся» (так было принято выражаться в СССР), а, напротив, донельзя разозлённых на то, что им уже полвека спать мешают, с того самого злополучного 1861-го. А после Февраля масса уяснила себе, что если не принять собственных мер, то в России не то что общинная соборная правда не воротится, но и весь русский мир окончательно обрушится в мерзость незамолимого греха.

Поэтому уже в марте 1917 г. возобновляются и практически более не затихают открытые волнения и насилие в деревне. Но не только там. И в столичном Петрограде солдаты и матросы с красными розетками в петлицах развлекались тем, что топили в Мойке таких же, как они сами, недавних фронтовиков, правда, офицерского звания. Топили просто так, из чувства социальной справедливости. В Кронштадте, перебив флотских штурманов и механиков (в офицерских, естественно, погонах), революционные матросы насиловали их вдов и детей.

И в этом смысле был прав Ф. Степун, утверждая, что «противопоставить Февраль Октябрю как два периода революции... как это всё ещё делают апологеты русского жирондизма, конечно, нельзя. Октябрь родился не после Февраля, а вместе с ним, может быть, даже и раньше его. Ленину потому только и удалось победить Керенского, что в русской революции порыв к свободе с самого начала таил в себе волю к разрушению» (*Степун*, 1990. Т. I. С. 211–212).

д) Октябрь

Уже летом 1917-го рабочие были глубоко возмущены упорными попытками Временного правительства восстановить на производстве дисциплину. Те же настроения охватили деревню, когда селяне уяснили себе, что министры не собираются отдавать им ни помещиков на растерзание, ни воли «озорничать». Вот тогда мужики-богоносцы и принялись довершать недоделанное Февралём. Показательно, что пашня их теперь интересовала меньше всего, «...на сей раз они взялись рубить казённые и частные леса, собирать чужой урожай, захватывать хранящиеся на продажу сельскохозяйственные продукты, разумеется, снова разорять и жечь барские дома», причём направлены эти действия были неслучайно «прежде всего против высокопроизводительных поместий и хуторов, созданных столыпинской реформой. Именно на гребне *этой* революции... и вознёсся к власти Ленин со своей партией» (*Пайпс*, 1994. С. 223–224).

Общеизвестны страшные факты грабежей, поджогов и расправ (в основном над беззащитными жителями Центральной России, но ещё более — её инородческих окраин) как до, так и после Октября. Такой уровень насилия объяснялся уже не только старыми причинами, неоднократно упомянутыми выше, но и новой — внезапным снятием старых сдерживающих моментов, особенно мощных в условиях общинного бытия.

У любого народа, у любого человека существуют внутренние этические нормы, какие-то границы дозволенного. Чем свободнее индивид, тем этих внутренних границ больше, тем они многосторонней. Понятно, почему: свободный человек *самостоятельно* определяет тот барьер, за который он не может ступить. У предельно несвободных членов общины такой барьер практически отсутствовал.

В этом не было их вины. Столетиями российская действительность складывалась так, что он отмер, атрофировался за ненадобностью, ведь его постоянно заменяли иные, внешние, общинные законы-традиции и державные регламентации. Поэтому, когда старые связи лопнули, для крестьянской массы порог между нормальной и криминальной жизнью оказался незаметным. Мужики продолжали, как и раньше, совершать самые разнообразные поступки из числа тех, за которые не грозит порицание или наказание. Революционная практика дополнительно внесла в их число убийства, пытки, изнасилования, грабежи и тому подобное — вот и всё объяснение якобы новой, а на самом деле старой, как сама община, морали российского крестьянина «Эпохи Революционных Преобразований».

Ленин инициировал октябрьский взрыв, располагая ничтожными в масштабе империи силами: все его идеологические заединщики умещались когда-то на одном диване. Их могло быть ещё меньше (в капсюле не нужна большая масса гремучей ртути). Ленин мог вообще самоустраниться — тогда его роль сыграл бы кто-нибудь другой. И этого «другого» масса заставила бы провести в жизнь декреты, именуемые в истории «ленинскими», это объективное выражение именно её неподдельных чувств и чаяний. Ведь эти положения, как и весь октябрьский переворот, стали неизбежностью задолго до Февраля и помимо Февраля. Народ должен был восстановить оба подточенных либералами столпа своего бытия и веры: монарха и общину. И он вернул их себе в конечном счёте, вовремя выйдя из февральского тупика на свой магистральный исторический путь. И единственной неувязкой, которой он не мог предвидеть (а кто мог?), оказался тоталитаризм новой, советской монархии вместо старого авторитаризма...

Поэтому Ленина называют «вождём Октябрьской революции» скорее по недоразумению. Готовя кадры для разжигания малого её очага в Питере, технически руководя ею (на пару с Троцким) в дальнейшем, Ильич сам был инструментом великого русского Бунта. И стал одним из первых *винтиков*, в совокупность которых на новом цикле своей истории должен был снова превратиться великорусский этнос. Ведь большевики никогда не могли бы победить, если бы у русских чувство национального единства было сильнее классовых инстинктов, если бы они поднялись над узкими интересами классового (а также общинного, личного, семейного, областного и пр.) эгоизма. В пору великого испытания народ не объединился ради общей победы, ради общего, а не личного *выживания*, а массово ударился в мародёрство, как только оно стало ненаказуемым («грабь награбленное»). И тут уж его не могла остановить никакая кровь. Этот раскол, это предельное разобщение — не временное помешательство, а проявление этнической психологии: «не может быть у русских братских чувств друг к другу, ибо нет у них на самом деле крепкого национального сознания, общей привязанности к общей родине» (*Ципко*, 2011. С. 36). Этот вывод не нов — задолго до современного философа, ещё в годы Первой мировой, к нему пришёл генерал А.А. Брусилов (см. ниже).

Ленин как политический лидер звёзд с неба не хватал. Конечно же, он не был мыслителем, способным убедить людей в правоте *своей* идеи и тем самым повести большинство за собой. Напротив, он «лишь» фокусировал и персонифицировал массовые эмоции русского народа, который, едва победив в войне, был идеологически терроризирован своим вождём. А именно, подвергнут воздействию соб-

ственных, но как в вогнутом зеркале усиленных, отражённо-концентрированных идей. Повторяю: Лениным были использованы эмоциональные, а не интеллектуальные политические средства. Другое дело, какую личную окраску придал Ильич событиям 1917 и последующих годов — отрицать её своеобразие невозможно.

е) Последствия и перспективы «революций» 1917-го

Не ставя себе задачу полного анализа этой подтемы, коснусь лишь самых примечательных её аспектов. Один из них — физический самораспад системы. Как только в феврале были упразднены военно-полицейская и иные, менее значительные, но столь же искусственные структуры страны, то есть когда она лишилась формообразующего скелета, то замену ему ни одна партия создать даже и не пыталась. Тут же выяснилось, что Россия в создавшемся положении — не единое государственное тело, а ворох разрозненных, разобщённых частей, не имеющих ничего фундаментально общего. Поражал даже не поголовный сепаратизм окраин, разбегавшихся от Москвы, как от чумы. Начался процесс, немыслимый для цельного, нормального государственного организма: не будучи подвержен ни массированной оккупации, ни столь же массовой эмиграции аборигенов, ни банальной эпидемии, он стал на глазах разлагаться.

Структурная дезорганизация, цепная реакция социального и национального взаимоотторжения, экономического разлада и политической самостийности поразили не только окраины, но и Центр. Мгновенно лопнули все традиционные торговые и хозяйственные связи, «демократизация» исполнительного аппарата вывела из строя средства связи, систему снабжения и муниципальных служб, производства в целом, парализовала взаимодействие города и деревни. Над страной навис призрак голода.

Теперь «пружина люмпенской ненависти», некогда до предела сжатая твёрдой рукой П.А. Столыпина, стала неудержимо распрямляться, и также «до отказа и за считаные месяцы похерила все результаты его реформ, но на этом не остановилась, и продолжала распрямляться дальше» (*Стариков*, 1994. С. 70). Были экспроприированы помещичьи земли и поделены (с куда большим удовольствием!) участки столыпинских хуторян. После этого все наделы были слиты воедино и торжественно разрезаны на средневековые *полосы!* В это трудно поверить, но, в самом деле, возобновились регулярные переделы. Что было несовместимо ни с агротехникой эпохи, ни с требованиями рынка, ни с просто материальными потребностями крестьянской семьи. Зато восторжествовала высокодуховная уравнительная «справедливость», а также общинная деспотия.

Беспристрастные исследователи замечают: общинный мир «достиг в российской сельской жизни такого влияния, какого прежде у него никогда не было» (*Хоскинг*, 1994. С. 130). Другой зарубежный историк, явно недооценивающий значение «уравнительного» блока в русском этническом подсознании, донельзя удивляется этому бессмысленному и для всех вредному принципу: «При подведении итогов революции нельзя не поразиться тому обстоятельству, что уравнительная тенденция в конечном счёте одержала верх... Результат — всеобщее и ярко выраженное уравнение земельной собственности в деревне. К концу войны стало гораздо меньше бедняков и гораздо меньше кулаков, которые к тому же

заметно обеднели. Крестьянство стало преимущественно „середняцким". Но произошло это в обстановке общего обнищания села» (*Боффа,* 1994. Т. I. С. 127). Как говорят в Крыму, а*зга къанаат этмеген копны тапмаз* (не довольствующийся малым не найдёт многого).

Дальнейшее более или менее известно. Лишь одно хотелось бы подчеркнуть: тройное величие русского народа (творец социального царства Божия на земле; хранитель Третьего Рима; строитель и оберегатель великой Империи) до Октябрьской революции полностью осознавалось лишь дворянской и церковной элитами. Остальным 80–90% этноса для этого не хватало элементарного образования, и они пробавлялись народной мифологией да тёмными подсознательными инстинктами. Но в 1920–1950-е гг. впервые в истории России представление о собственном особом назначении распространилось не просто широко, а стало тотальным (прежде всего через радио, затем через фильмы, газеты и пр.). Чаще любой молитвы, по много раз в день из чёрных радиотарелок звучали под торжественные ритуальные марши слова о величии, даже о превосходстве России над всеми иными нациями и державами. Поэтому никого не должно удивлять, что именно в эти годы народ оказался способен на ещё более дикие преступления, чем раньше, когда он не знал иной идеологии, кроме самодельной.

Но нужно отдать народу должное: каким-то особым, мистическим чутьём он уже в 1917–1918 гг. почувствовал, что надвигается новая чёрная полоса в его жизни, несравнимая даже с ужасом революции. И люди стали ожидать чего-то вроде конца света. Именно поэтому они стали придавать невиданное до той поры значение культу смерти, как это всегда бывает на переломных этапах[1].

Поэтому в заключение Пролога стоит сказать несколько слов именно о ритуальной стороне советской идеологии.

ё) Смертная пелена над Россией и Крымом

Среди более или менее известных результатов 1917 г. особняком стоит уникальное возрождение культа смерти. Явление это малоизученное, хоть и ярко показательное, а главное — бросающее дополнительный свет на проблему этнического подсознания, одну из основных в данной работе.

Истоки культа смерти давно выявлены в языческих, дохристианских религиозных системах, отчего и причины его актуализации в послереволюционный период логично связать с процессом утраты народом христианства. Впрочем, внезапной эта духовная потеря не была, всё началось гораздо раньше 1917 г.: общеизвестны слова В. Белинского, с огорчением отметившего, что «русский мужик говорит о Боге, почёсывая задницу». Ну а в 1917–1918 гг. блистающая броня

[1] Это любование смертью, преданность ей — твёрдая великорусская традиция. Она жива и поныне. Каждый обращал внимание на множество памятных знаков по обочинам российских дорог, отмечающих места гибели в автокатастрофах, где ещё, кроме России, *такое* можно увидеть? «И всюду — венки, цветы, свечи. Никто не мешает нам любить своих усопших, хранить им верность, но почему же обязательно — грубо, зримо, прилюдно? Мы что — настолько обезумели, что хотим жить только в постоянном окружении траурных знаков и надгробий?» — недоумевает автор статьи под примечательным названием «Мы — некрофилы?» (ОГ. 05–11. 10. 2000).

христианства, тысячу лет украшавшая великороссов и защищавшая их от идеологических недругов, слетела с живого народного тела в несколько месяцев. Как луковая шелуха — легко и безболезненно.

Но полного религиозно-нравственного вакуума, как известно, не бывает. Значительная масса русских, выпав из одного вероисповедного пространства, мигом очутилась в другом. Но не в атеистическом, как утверждалось советской пропагандой — атеизм предполагает не только высокую образованность, но и изощрённый ум скептического склада. А эти сомнительного вкуса плоды европейского Просвещения на крестьянских огородах не растут. И всё, что не слишком учёный мужик мог мобилизовать как суррогат потерянного русского Бога, он черпал из собственного мира суеверий (языческого происхождения), да из вечного кладезя подсознания, где в язычески-манихейских реликтах также недостатка не было. Для язычества же самых разных толков одинаково остро характерен специфический, свой собственный культ мёртвых.

Осязаемые черты он обрёл уже в первые «безбожные» месяцы, когда весной 1917 г. жертвы Февраля были захоронены не в освящённой земле христианского кладбища, а в центре тогдашней столицы, среди прогулочных дорожек Марсова поля. Через две недели над свежими могилами выступал Ленин, и в дальнейшем уделявший большое внимание этому ритуальному центру России. Время показало, что такого рода новшество — не случайный каприз победителя. Через несколько лет его собственный Мавзолей был выстроен в Москве, древней столице империи, также на центральной её площади.

Это событие нужно осмыслить: в центре величайшего государства, на скрещении разнообразных силовых линий этноса были помещены непогребённые и нетленные мощи человекобога. Более того, московскому капищу придали государственное, политическое, идеологическое значение. Здесь позднее будут проводиться главные, национального масштаба мистерии с огромными хоругвями и портретами, заменявшими парсуны, с идолами живых богов, которых будут проносить мимо мощей на специальных носилках или провозить на торжественных повозках.

Языческие корни ансамбля Красной площади очевидны. Мавзолей (как и его прототип ступенчатая пирамида) являет собой Образ мира, место прохождения axis mundi (Мировой Оси), чьё пересечение с земной поверхностью считалось в древности «пупом Земли» (Мифы, 1980. Т. I. С. 311). На эту точку и был помещён труп Ленина. Чего стоит один только транспарант 1924 г.: «Могила Ленина — колыбель человечества!» (ЛГ. 19–25. 04. 2000. С. 1). Да и ели у Мавзолея далеко не случайны. Это вечнозелёное дерево, также пирамидальной формы, способно напоить посвящённых «напитком жизни, небесным эликсиром, который поднимается по дереву из подземного царства» (Мифы, 1980. Т. 1. С. 391). Этот скорее духовный, чем материальный продукт предназначен лишь для московской элиты, — не оттого ли Сталин приказал вырубить не менее сакральные, но для его христианского сознания малодоступные (малопонятные?) кипарисы в далёком Крыму, где он бывал, хоть и недолго?

Сталин обычно лишь начинал свой отдых на южном берегу Крыма. Вскоре (чаще — в октябре) он отправлялся на одном из крейсеров Черноморского флота на Кавказ. Что же касается кипариса, то в упомянутой символике это дерево превосходит по значимости даже ель. Благодаря своей вечнозелёной игольчатой

листве и химически инертной смоле он в глубочайшей древности стал на Востоке символом воскресения, возрождения, жизни за порогом смерти. Считалось, что достаточно несколько раз поесть зёрен кипариса, чтобы обрести неслыханное долголетие, поскольку они богаты субстанцией ян (мужское начало). В этом же символическом смысле истолковывались фаллическая форма кроны кипариса и её необычная плотность. Впрочем, не исключено, что откровенное неприятие физически хилым вождём именно этого дерева было подсознательным[1].

Само непогребение вождя вполне отвечало языческим представлениям о лишь внешне почившем, но бессмертном боге (чего стоит один лозунг «Ленин жив!»), о постоянной перекачке его жизненной эманации в бога-сына («Сталин — это Ленин сегодня!»), о необходимости регулярных жертв, приносимых всесильному божеству. Для непосвящённых самыми безобидными из этих приношений были цветы. На самом же деле сорванные, то есть мёртвые цветы являются одним из важнейших элементов сакральной (точнее, инфернальной, адской) символики. Уж не потому ли цветы у Мавзолея неиссякаемы и обильны? Столь же глубокий сакральный смысл имеет обычай поклонения священной могиле. Оно всегда являлось частью двух важнейших ритуалов в земной жизни язычника: инициации (у нас — приёма в пионеры) и брачной церемонии (многолюдные свадьбы до сих пор заезжают к Мавзолею или, в Петербурге, к могилам Марсова поля).

Естественно, языческий комплекс Красной площади, его идеологическая радиация не предназначались исключительно хозяевам Кремля. В стране хронических очередей главной стала очередь у Мавзолея. Да и своими истоками комплекс этот имел совсем иные сферы, а именно, мощные, хотя и неявные импульсы всенародного языческого *подсознания.* Если бы оно отсутствовало, то политическое значение этого величественного комплекса было бы равно нулю. По этой же причине Мавзолей был не единственным объектом такого рода. Соответствующие комплексы росли как грибы на территории всей страны. Показательно здесь то, что по большей части они поразительно напоминали друг друга. Причём даже те, что возникли в первые недели и месяцы советской власти, когда единого образца священного захоронения по большевистскому обряду ещё просто не было. И повсюду — от столицы до глухой провинции — народ воспринимал их *без удивления:* если не как должное, то как хорошо забытое старое. Довольно быстро возникло даже какое-то соревнование за лучший мемориальный комплекс между соседними городами или губерниями — явление не более дикое, чем сам предмет такого соперничества.

---

[1] Ещё при жизни Сталина параллельно с вырубкой кипарисов шла посадка иных, северных деревьев. Дошло до того, что знаменитой «русской берёзкой» засадили большие участки ай-петринской яйлы. Очень похоже на израильскую действительность тех же лет, когда после 1948 г. прибывшие из Европы евреи стали не только выселять коренное население, палестинцев, но и вырубать их маслиновые рощи, засаживая освободившиеся площади более привычной европейской сосной (*Шамир*, 2010. С. 310–311). Правда, сосны на израильских нагорьях прижились. А в Крыму такому экологическому и эстетическому насилию воспротивился не коренной народ (он тогда уже был далеко на востоке), а сама крымская природа. Дикий верховой ветер уже через пару лет смял, скрутил в немыслимые узлы, вырвал с корнями и сгубил эти рощи чуждых полуострову берёз. Яйла же обрела свой древний, первозданный вид.

Здесь возникает естественный вопрос. Ведь абсолютное большинство кремлёвских жильцов, в отличие от великорусской массы, получило правильное христианское воспитание, а некоторые из них (Сталин, Микоян и др.) — даже духовное образование. Неужели у них не появлялось соблазна возродить в религии большевизма более близкие и знакомые, то есть христианские символы и знаки? История свидетельствует, что имело место и это явление — оно стало неизбежным уже в первые месяцы прихода верных ленинцев к власти. Нужна была новая знаковая система этой власти, а иной символики, кроме христианской, они, не будучи людьми шибко грамотными, просто не знали. Создать же оригинальную, собственную (как, к примеру, это сделали фашисты) — не умели. Для этого нужен художественный талант, который в Кремле был в ещё большем дефиците, чем культура. Поэтому не оставалось ничего, кроме плагиата, — и у христианства стали красть его символику.

Перечислю лишь самые основные из христианских символов такого рода: пятиконечная звезда (символ Света Преображения Господня, на иконах решается в красном цвете), серп (символ Второго пришествия как знак великой Жатвы), молот (реминисценция революции Иуды Маккавея, чьё имя в переводе с арамейского и означает «молот»), красный цвет стягов и гробов (денотация Пасхи) и так далее. Бальзамирование трупов имело, кроме языческого, и христианский подтекст. В будущем нетленные мощи вождя подлежали оживлению с помощью науки (об этом постоянно твердил в своих популярных лекциях-проповедях нарком Л.Б. Красин). Здесь речь шла о великом апофеозе — втором пришествии, воскресении богочеловека из мертвых. А поэты вообще считали вождя вполне ещё живым:

А Ленин жив! Душа и ум народа,
Он, как народ, вовеки не умрёт:
Как раз в апреле нынешнего года
Ему пошёл уже сто первый год!

М. Исаковский. 101-й год

Так был стёрт более или менее чёткий водораздел между языческим и христианским образными строями, утилизированными большевизмом. Первый стал основой для второго, будучи куда более органичным, «своим» для широких масс. Второй был подан народу в форме государственной символики, регламентированной Основным законом, Конституцией советской империи, то есть будучи спущенным сверху в виде категорического императива. Правда, хотя и навязанный, он почему-то тут же ставшего привычным (попробуйте навязать эту дикость тем же датчанам или швейцарцам!)

Благоговейное и искреннее почтение к мёртвым было невозможно внушить таким методом жёсткого диктата. Тут ведь требовалось иное: должны были зазвучать самые тонкие струны народной души, нужное чувство должно было зародиться в сокровенной глубине народной психики. И коммунисты блестяще решили эту задачу, воззвав к самым исконным и мощным архетипическим блокам этнопсихологии — к подсознательному язычеству великороссов. В столь ритуализированном обществе, как русское, большевикам было достаточно заменить одни ритуалы другими. Это был именно тот язык, который понимала масса. Тактика оказалась безошибочной, созидательный огонь творчества масс вспыхнул

жарко и повсеместно. Новый культ рождался буквально на глазах. Приведу в заключение затянувшегося Пролога рядовой пример такого ритуального созидания.

В 1923 г., когда ещё не было ни Мавзолея, ни связанного с ним мемориала, в «Красном Крыму» (тогда так называлась сегодняшняя «Крымская правда») выступил один из самых толковых репортёров автономии, П. Новицкий. Его статья носила примечательное название: «О культе мёртвых». Вчитаемся в её строки: «Нельзя думать, что мы признаём только культ живых..., что мы не имеем своих мертвецов. Нет, мы должны чувствовать живую связь с погибшими. Мы не отвергаем древнего культа мёртвых, который стремится подольше сохранить в сердцах и сознании живущих память об умерших». Далее автор мечтает о новом обществе, которое найдёт средства для того, чтобы «строить дома-музеи, памятники, мавзолеи, гигантские пантеоны во славу и память умерших...» (КК, 13.09.1923).

В эти несколько строк вместились как актуальные для советского человека тех лет поучения, так и откровения, ценные для историка. Они (редкий случай!) не требуют источниковедческой обработки, расшифровки, открытым текстом освещая как уже сформировавшийся культ вождей, так и подсознательную связь живых с миром мёртвых, а также обыденное смакование дохристианских некрофильских культов[1]. Столь же примечательны перспективы, предлагаемые такому вот обществу: будущее, в котором и творческое вдохновение, и духовное развитие потребителей культуры будут направлены в одно русло — в русло языческого поклонения мертвецам. Как известно, такое поклонение находит зеркальное своё отражение в языческом же обожествлении живых вождей. А также в манихейском чувстве превосходства над всеми теми, кто не имеет «гигантских пантеонов», кто не посвящён в некромантию и мистику советской идеологии.

Конечно, статья провинциального журналиста в рядовой газете не стала событием в общественной жизни страны. Но в том-то и её значимость для науки, что она озвучила идеи, которые не навязывались обывателю (для этого существовали директивные передовицы центральной прессы), а уже являлись мыслями массы: именно они были первичны, а не идея статьи. И это доказывают события, произошедшие там же, но несколько ранее.

В апреле 1921 г. в Симферополе было устроено торжественное погребение «жертв белого террора». Вначале имелись в виду 10 террористов-подпольщиков, осуждённых полевым судом ген. Слащова, чьи трупы были той весной обнаружены. Но десятка гробов было мало не то что для мемориального пантеона, но и для средней руки «красного кладбища». Стали искать других мучеников, но не нашли. Тогда Ревком мобилизовал для такого святого дела «...первых попавшихся покойников из госпиталей (то есть отдавших Богу душу через полгода после ухода Врангеля. — *В.В.*), и, таким образом, набралось вместе с повешенными 52 гроба, которые на пышных погребальных дрогах, сопровождаемые оркестром

[1] Трудно удержаться от ещё одной, уже современной цитаты: «Русский народ обожает покойников, рассматривая их, вероятно, как проводников, провожатых, в тот чистый и пустой, вакуумный, высокоэнергетический мир, куда мы все рано или поздно попадём, где материя „разрушена до основания, а затем", где все равны, свободны и лишены обременяющего нас имущества, искажающего и замутняющего прозрачную картину беспредельной, чистой пустоты. С этой точки зрения революция есть, конечно, органический, естественный для нашего народа акт...» (*Толстая Т.Н.* Главный труп).

музыки, полком пехоты, кавалерией и двумя батареями, между расставленными по улицам шпалерами войск, были торжественно перевезены в сквер около здания духовной семинарии и здесь, после торжественных речей и проклятий „палачам-белым", были погребены в общей могиле» (Данилов, 1993. С. 169).

Комментарий к этому эпизоду предельно прост: чтобы воздвигать упомянутые Новицким «мавзолеи и гигантские пантеоны» (на которые у молодой советской власти пока не было денег), нужно было иметь какой-то запас погребений простых мертвецов, из которых время вылепит богов и титанов. Вот одним из таких мест и стал скромный Семинарский сквер на углу улиц Пушкинской и Торговой (ныне Самокиша), зелёная территория за старой трансформаторной будкой, где заготовленная впрок братская могила грозила превратиться в грядущем в грандиозное капище.

Здесь всё логично и понятно, кроме одного: как могли симферопольцы предугадать в 1921-м (то есть повторяю, до Мавзолея и даже до статьи П. Новицкого) направление дальнейшего развития культа мёртвых в Стране Советов, если он, этот культ, не сидел глубоко в массовом подсознании великороссов?

А вообще эта, оставшаяся незаметной, банальная в общем-то история так же несравнима с историей СССР, как капля воды несоизмерима с океаном. Если забыть, что капля как раз и представляет океан лучше тысяч томов искусственных описаний морской стихии. Чем-то вроде этой капли и является упомянутый эпизод (и сотни последующих в нашем четырёхтомнике), малый сколок фундамента советской власти, повсюду, от Кремля до Крыма, отлитого из лживой утопии, замешанной на нечеловечески мрачной архаике.

Прошу прощения у читателя за приведённые выше длинные и многочисленные цитаты из произведений российских политиков, историков, писателей и мыслителей. Их не меньше меня беспокоили исторические судьбы русского народа, они видели его недуги и пытались если не излечить их (они — не врачи), то хотя бы поставить диагноз — для будущих целителей.

Выводы из Пролога (и не только из него)

1. После переселения части населения Киевской Руси на север началось формирование будущего великорусского ядра России. По причине оседлости этих земледельцев процесс этногенеза шёл в условиях жёсткой зависимости складывавшейся этнической психологии русских от длительного (практически не прерывавшегося до XX в.), стабильного и неизменно активного функционирования сельской земельной общины закрытого типа. В свою очередь, уникальные особенности этой общины во многом (хоть и не во всём) сложились под воздействием крайне своеобразной, отличной и от европейской, и от азиатской вмещающей среды.

2. Культурный ареал такой общины представлял собой высокопитательную среду для активации и возрождения древних скифо-славянских традиций маздеизма в его сравнительно чистом виде. Своё дальнейшее развитие это мировоззрение получило после его слияния на русской почве с генетически аналогичными

реликтовыми манихейскими идеями, распространявшимися на Руси через библейские тексты и влияние византийского сектантства.

3. Сельская община как консервативно-архаичный, герметично самоизолированный и устойчиво статичный социокультурный организм с ранней истории своего существования вплоть до её распада характеризовалась высоким уровнем группового эгоизма, истинно манихейскими нетерпимостью и двойными этическими стандартами (то есть внутри- и внеобщинными). Сельский «мир» стал источником и первичной ячейкой дуального антагонизма в мировоззрении, мировосприятии, практике бытовых и духовных контактов с «чужими».

4. Система двойных стандартов, подхода к любым явлениям и фактам объективной реальности с исключительно и жёстко бинарной оценочной меркой (наше — ненаше, Добро — Зло, Божье — Сатанинское и т. д.) со временем стала наиболее характерной чертой великорусской этнической психологии и менталитета, неотъемлемой частью православия.

5. Обладая комплементарными для самосознания общинного типа качествами, эта двойная система представлений и идей надёжно законсервировала ряд архаичных подсознательных и сознательных психологических реликтов. Объективно являющиеся пережитками первобытнообщинного строя, они донесли до Нового и Новейшего времени такие рудименты древних поведенческих и культурных стереотипов, как дуальная этика, национальный эгоизм, ксенофобия, отторжение объективных, но инокультурных ценностей, неприятие плюрализма мнений (культурная монологичность), дискомфорт при отсутствии тотемического лидера (идола), стойкая уверенность в своей монополии на высшую правду (мессианизм), общая мифологизированность сознания. Столь же древними являются источники веками не менявшихся хозяйственных и общественных моделей сельского микросоциума, в которых имеет место идеализация коллективистских и уравнительных принципов в качестве универсальной доминанты в масштабах сельского мира и т. п.

6. Нетрадиционалистская (европеизированная) часть этноса количественно была ничтожна, но, обладая монополией на политическую власть, средства массовой информации, на манипуляции в области культурной, экономической и социальной жизни, она могла осуществлять попытки либерализации России, направления её развития по европейской модели. Однако эта инициатива, не успев полностью осуществиться, привела к конденсации в основной этнической массе (чей менталитет был несовместим с либерализацией) заряда социальной энергии огромной разрушительной силы. Русская крестьянская война 1902–1922 гг., не поднявшаяся даже в 1905–1907 гг. до уровня общенациональной, носила до 1917 г. пульсирующий, локально-эстафетный характер и не могла поэтому ни снять, ни хотя бы уменьшить социальное напряжение.

7. Февральская «революция» не только не разрядила этот взрывной потенциал, но и увеличила его до критического уровня своими дальнейшими либерально-демократическими акциями. На этот вызов основная масса этноса реагировала вакханалией насилия в предоктябрьский и особенно «революционный» период. Это явление можно характеризовать как «социальный протест» лишь со значительными оговорками уже потому, что насилие было обращено в первую очередь против наименее защищённых социальных меньшинств в Центральной части России. При этом в абсолютном большинстве случаев личная вина жертв роли

не играла. То есть и тогда, и впоследствии, после 1922 г., народно-большевистская политика сохраняла форму дискриминации, а практически — физического уничтожения целых групп населения по признаку происхождения (принцип «чистоты пролетарской крови»). Это был расизм, ставший в России государственной идеологией раньше, чем в нацистской Германии, что особенно ярко проявилось на окраинах советской империи, где геноциду подвергались не только социальные, но и национально-конфессиональные меньшинства.

8. Переворот 1917 г. был разрывом с прошлым лишь в одном смысле — политическом, да и то, по сути, временным. Он разрушил создававшуюся с эпохи Александра II структуру духовных и социальных ценностей европейского цивилизационного типа, отбросив Россию назад, в нормальную для великорусской духовной, ментальной и культурной традиции ситуацию. А именно — в глубокую архаику. Страна и люди вернулись на старый виток той же объективно деформированной (сплющенной) спирали, начавшийся с уже пройденных реалий: авторитаризма (в форме тоталитарной власти деспотов), возрождения в расширенном объёме общинных ценностей (коллективизм) и самих общин (колхозы), принципов монологичности и уравнительности. Началась замена либеральных начал доминантой большинства, всё пошло к окончательной самоизоляции и закрытости общества (железный занавес), к торжеству мессианизма (Коммунистический интернационал) и прочих преемственных элементов.

9. В области национальной политики этот катаклизм также означал возврат к средневековым (иногда и первобытным) методам решения межэтнических проблем. Как следствие средневекового отождествления идеи и её проводников, отмечено стремление не столько к цивилизованным поискам истины или компромисса путём переговоров или открытых дискуссий, сколько к физической ликвидации идеологических противников. Из практики первобытного общества всплыл принцип биологической неполноценности и потенциальной враждебности всех «ненаших» по ряду признаков: классовому, племенному, идеологическому, культурному, социальному и пр.

10. Таким образом, политику дискриминации и сегрегации некоторых этносов, вынужденно контактировавших с великороссами или колонизованных ими, следует рассматривать не как извращение коммунистическими лидерами России принципов её традиционной национальной политики, но как рабское подчинение диктату идеологического, социального, этического комплекса манихейских идей, характерного для великоросских масс, для их коллективного подсознания.

11. Таким образом, и советский геноцид коренных народов ряда областей, некогда колонизованных Россией, следует расценивать как всего лишь очередной всплеск на протяжении многовекового этносоциального конфликта великорусской культуры (в расширительном понимании термина) с инокультурными соседями и порабощёнными иноплеменниками. Такие взрывы античеловеческой, губительной, преступной активности сотрясали нашу часть света и до, и после депортации народов в 1940-х. Они закономерно отражали моменты обострения экономических, социальных, политических и иных противоречий в самой России. Национальная психология масс (и, значит, царей, вождей и др. национальных лидеров) никогда не допускала решения подобных проблем иным, более человечным, с точки зрения Запада или Востока, способом.

12. Поскольку речь в *Прологе* шла главным образом о России, то надо бы коснуться перспектив, дальнейших путей её исторической судьбы. Но автор — не пророк и не решается на даже приблизительные гипотезы футурологического плана. Наиболее вероятной из уже существующих гипотез (им нет числа) представляется одна из довольно известных. Забыв Бога, святотатственно поименовав *саму себя* «Святой» и, главное, придерживаясь этого заблуждения многие века (и не отрекшись от него сегодня), страна «богоносцев» добровольно и сознательно вошла в некую роковую спираль, витки которой, похоже, сужаются. Что в конце её, что может выпасть на долю несчастной страны в награду за столь длительное и массовое святотатство? Не стоит бояться высшего проклятия — Господь не проклинает свои создания. Но он может наказать племя, лишив его божественного разума и смысла. После чего страна и люди обречены служить постоянным напоминанием о неизбежности духовной гибели вследствие упорного и нераскаянного кощунства. К этой гипотезе ещё в мае 1920 г. (до начала Красного террора с его дымящимися реками крымской крови) склонился великий мудрец и провидец Максимилиан Волошин. Свидетель запредельных мук своих крымских соседей в Феодосии и Судаке, он сначала дал определение великорусскому недугу: «Русская Революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание» (*Волошин,* 1920. С. 29), прямо указав перед этим на многовековое массовое помрачение разума, явно паранойяльного типа. А затем пророчески изрек, обратившись к родине этих маньяков: «Темны и неисповедимы / Твои последние пути. / И не позволят с них сойти / Сторожевые серафимы». Тут остаётся добавить единственное: России и серафимов-то никаких не нужно. Она и так никуда со своего исторического пути пока сворачивать не собирается — чем Чечня 1990–2000-х гг. отличается от Крыма 1920-х?

13. Этническая история, любая национальная история не могут существовать изолированно. История отдельно взятого народа — часть общей истории человечества. Она складывается и под внешним влиянием. Но под влиянием отнюдь не всего человечества. Лишь немногие (соседние) племена, народы, страны в силах оказать — и оказывали — такое влияние. А бывает и так, что роль базового внешнеполитического фактора такого рода играют всего-то 1–2 ближайших соседа. Для крымскотатарского народа таким фактором поначалу стали турки-османы. Потом, века через два, их место заняли русские, и уже надолго. Что мог принести такой вот сосед — зло или благо? По ряду этнопсихологических особенностей великороссов, скорее — первое. Подчёркиваю — дело было не в количественном превосходстве русских над крымскими татарами. Оно ни о чём здесь не говорит, как и экономический или военный перевес империи над ханством. Крошечная Дания, старейшее королевство в Европе, просуществовала в окружении могучих Англии, Швеции и Германии доброе тысячелетие, сохранив историческое своё ядро — землю древних данов (Ютландия с Зеландией). Поэтому имеет смысл вглядеться не столько в количественные, сколько в *качественные* особенности северных соседей Крыма, в их этнопсихологические черты, что автор и попытался сделать в Прологе. И лишь после этого можно прийти к куда более обоснованному выводу. А именно: волей истории получив в качестве соседа великорусский этнос, крымские татары, в отличие от датчан, практически утратили шанс на выживание в качестве независимого народа.

И дело не в особом «хищничестве», которым крымцы якобы превосходили или раздражали русичей, отчего и стали жертвой последних. И не в стратегическом положении полуострова: абсолютно мирные и безответные зыряне или меря, безвестно существовавшие век за веком вдали от великих морей или торговых путей, были поглощены великороссами с неменьшим аппетитом. Крымское ханство было обречено на аннексию и колонизацию самим фактом роковой близости к ярко экспансионистским, патологически агрессивным наследникам мародёра и храмового грабителя Владимира Святого (см. очерк III первого тома). Поэтому захват ими Крыма, как и последующее ограбление, свирепая дискриминация и даже геноцид коренного населения полуострова стали неизбежными. Уже в XVI в. было ясно, что процессы такого рода для Крыма — вопрос времени. Это не гипотеза автора *Пролога*. Не о кавказской, не о валашской или польской, не о турецкой, а именно о русской угрозе как самой гибельной неустанно говорили и писали ***все*** более или менее толковые крымские ханы и улемы.

К сожалению, они оказались правы, хотя полностью их правота подтвердилась лишь через полтора века после того, как Россия растерзала независимое ханство.

Для этого мир должен был дождаться 18 мая 1944 г. — дня депортации крымских татар.

I. ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

1. Средневековое заблуждение

Традиционная европейская наука Нового времени долго практически не включала Крым в круг своих тем и интересов (как принято выражаться, в «научную ойкумену»). Основная причина этой примечательной ситуации в том, что древний полуостров поочередно входил в состав не двух, не трёх, а *многих* великих государств: Скифии, Понтийского царства, Римской империи, Византийской империи, Хазарского каганата, Золотой Орды, Османской, Российской и советской империй. Исследователи истории этих великих держав и этнографии их населения рассматривали Крым как некую провинцию, не имевшую самостоятельного значения. И хотя на территории полуострова жили киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, синды, хазары, протоболгары и многие другие древние народы, в средневековой Европе стало общепринятым именовать их потомков, то есть всё кочевое и оседлое население причерноморских степей и Крыма, общим именем — татары (*Фрэзер*, 1983. С. 103).

Об этимологии этого этнонима имеется столько различных мнений, как вряд ли о какой-либо иной. Прежде чем приняться за её освещение, вспомним старый ирландский анекдот. Джентльмен спрашивает у местного жителя дорогу в некую весьма отдалённую деревню. В ответ он слышит: — На вашем месте, сэр, я вообще не тронулся бы в путь.

Поэтому, пускаясь всё же в этот путь — без чего не обойтись — я сознательно подставляю себя под стрелы критики как со стороны моих идейных противников, так и соотечественников, которые имеют смелость мыслить неординарно — честь им за это и хвала. Отнюдь не являясь ни этнологом, ни лингвистом-этимологом, я вынужден остановиться на предпринятых другими учёными попытках исследования этой проблемы. Причём на тех результатах их работ, которые лично мне кажутся наиболее доказательными.

Итак, этноним «татары»

Он давно уже общепринят как в России, так и Европе, но, конечно, ни славяне, ни европейцы сами его не изобрели. Он был заимствован ими где-то на Востоке — это бесспорно. Указывают, что «татарами» (букв. перевод с *древнетюркс.*:

«нетюрками») называли монголов Чингис-хана современные ему тюрки Передней Азии (*Крымский*, 1930. С. 1). Но есть и иная точка зрения.

Задолго до нашей эры китайцы восприняли самоназвание своих северных соседей как «та-та» (*кит.* «варвары»). Конечно, это восприятие могло иметь погрешности, но именно так оно вошло в китайский язык той эпохи. Впрочем, на древнетюркском отмечено схожее по звучанию слово, которое имело два значения, весьма отличающихся друг от друга: *тат* означало или «чужой», или «прекрасный». Но обычно к его конечной согласной примыкала вторая лексема: *ар/ир* — мужчины, люди. Другими словами, этот этноним (*татар* или *татир*) мог обозначать два понятия: то ли «чужаки», то ли «прекрасные люди» (*Каримуллин А.* Татары: этнос и этноним. Казань, 1998. С. 18; *Закиев,* 2008. С. 7).

Скорее всего, верно первое толкование, так как древние тюрки позднее стали обозначать вполне сложившимся этнонимом «татар» соседние племена, жившие в Северном Китае (*Фасмер*, 1964. Т. IV. С. 27). Возможно, его заимствовали и китайцы, которые присваивали упомянутый этноним «та-та» (или «да-да») всем племенам, без различия в их языках — тюркам, маньчжурам, нивхам и т. д. Менее вероятно, что в китайский язык это заимствование пришло из монгольского в форме «татари», что означало «заика», или человек, плохо говорящий на монгольском языке *(Фасмер*, 1964. Там же).

Позднее уже полностью сформировавшийся этноним *татар* встречается и в письменных (сибирских) источниках. Например, в словосочетании *отуз татар*, то есть 30 татар (рунический памятник Кюль-Тегина, VIII в. до н. э.) или *тохуз татар*, то есть 9 татар (также рунический памятник Могон-чуру, то же время). Неизвестно, был ли этот этноним самоназванием, или его использовали какие-то племена для обозначения своих соседей. Но вот согласно истории Кимакского царства, чьи земли распространялись в VIII–XI вв. на огромной территории Западной Сибири, между Иртышом и современным Казахстаном, некие древние татары заняли господствующее положение среди монголоязычных и маньчжуроязычных народов и передали своё самоназвание как общее имя для этих пёстрых по составу народностей и племён.

Такой союз племён действительно существовал, сохранившись до начала XIII в. С иными, родственными по культуре и происхождению монгольскими племенами у тогдашних татар были скорее враждебные, чем дружественные отношения, их вооружённые столкновения длились с переменным успехом весь XII в. Наконец в начале XIII в. монгольский вождь Темучин (более известный под именем Чингис-хан, род. 1155/1162 г.) наголову разбил татарское войско и подверг этот племенной союз форменному геноциду. Были умерщвлены все мужчины-татары по известному критерию: рост оставшихся в живых не должен был превышать высоты тележной оси. Но и после этого все кочевые тюркские племена, встречавшиеся на пути великого хана, назывались монголами «татар». Так, навсегда уходя со сцены мировой истории, обречённое племя оставило потомкам своё бессмертное и грозное имя (*Кычанов Е.И.* Жизнь Темучина, думавшего покорить мир. М., 1973. С. 62).

Отчего это произошло — мы можем только догадываться. Здесь наиболее уместна, очевидно, старая истина: «победитель всю жизнь носит отметины побеждённого», нестираемые шрамы, полученные в бою. Чингизидам, влившимся в многомиллионную тюркскую степь (о происхождении древних тюрков

Чингис-хан на соколиной охоте.
Средневековый китайский портрет

речь пойдёт ниже), выпала судьба ассимиляции. Они приняли язык, а затем и религию количественно преобладающих тюрков, а также этноним «татары». Но теперь он означал не побеждённых чужаков, а свой, новый суперэтнос Золотой Орды, позднее распавшийся на ряд народностей, в том числе и на крымских татар.

Итак, Чингис-хан (или, возможно, его преемники-Чингизиды) назвал всех своих подданных, новых и старых, татарами. А когда великая Монгольская империя распалась, стали усиливаться и расширяться самостоятельные монгольские государства Батыя (Улус Джучи), Хулагу (завоевавшего, кроме ближних земель, ещё и Двуречье, Арабский халифат, Восточную Анатолию и Сирию), Чагатая и Хубилая (покоривших Северный Китай). Теперь стал неизбежным странный этноним *монголо-татар*. Некоторые историки, несмотря на неоднократно высказанные сомнения в научности этого определения, по-прежнему считают его обоснованным, хотя их позиция не выдерживает современной критики.

Впрочем, единого народа пока, конечно, не образовалось. Согласно монгольскому трактату «Сокровенное сказание» (1240), в том ареале существовало несколько племён, называвшихся татарскими: «В суровую зиму года Собаки повелел Чингис-хан воевать с татарами: чаан-татарами, дутау-татарами, алухай-татарами» (Цит. по: *Бардамова Е.А.* Концепт времени и пространства в языковой картине мира «Монгой нюуса тобшо» // Актуальные проблемы монголоведения. Санжеевские чтения. Вып. 6. Улан-Уде, 2006. С. 59). Вполне вероятно, что это были диалектально различавшиеся или даже разноязычные племена, имевшие между собой не слишком много общего.

Позже этноним *татары* стал распространяться на протяжении некоторого времени вместе с экспансией его носителей на просторах Центральной Азии. Рукописи отзываются о татарах как о самом могущественном и влиятельном из множества соседних среднеазиатских племён, большую часть из которых они покорили. Именно поэтому термин, и без того неточный, приобретает постепенно нарицательно-обобщающее значение. Из этнонима он превращается в символ статуса, в знак высокого достоинства его носителей. Этот смысловой сдвиг вполне объясняет, отчего почётное имя татар, после того как погибшие племена наградили им своих палачей-монголов (кстати, *монголы* — тоже имя собирательное и весьма приблизительное), постепенно распространяется на всё большее число разноязычных племён Азии.

Согласимся с тем, что любой этноним должен отражать действительность, то есть в данном случае — языковую, культурную и антропологическую общность племён и народов. Но так называемый монголо-татарский этнический конгломерат, повторяю, такой общностью никогда не являлся. Подданные властителей этого государства не стали предками ни булгаро-татар, ни афганцев, ни узбеков, ни персов, ни китайцев, когда-то формально входивших в его состав в качестве частично или полностью покорённых народов. У них была собственная этническая, культурная, языковая история.

Остаётся упомянуть ещё об одном известном и бесспорном факте: весьма долгое время термин *татары* не был племенным или этнолингвистическим *са-мо*названием. Но он стал им, а затем перешёл к ряду народов, часть которых, судя по всему, расставаться с древним именем предков не собирается. К слову, падение Золотой Орды в начале 1430–1440-х гг. положило конец этногенезу татарской народности именно в её лоне. Этот процесс пошёл уже в отдельных ханствах, на которые она разделилась в указанный период. И вот тогда-то, а не раньше, этноним «татар» превратился кое-где из прозвища, которым складывавшиеся этносы наградили соседи, в самоназвание.

Но гораздо ранее свой вклад в эту древнюю путаницу внесли сначала западноевропейские, а затем и российские учёные-востоковеды. Первые, услышав, что где-то за пределами цивилизованного мира живут люди, которых соседи обозначают как «татар», приняли этот термин за «Тартар», то есть Преисподнюю (*греч.* «тартарос»). После чего всех выходцев из монгольских чингизидских государств, а также территорий, подчинённых Чингизидам, эти авторы стали называть «тартарами», а их место обитания — «Тартарией». Если учесть, что древняя Монгольская империя занимала огромную площадь[1], станет понятной естественная гордость

[1] Напомню, что в период максимального расширения Монгольской империи (правление императора Мункэ, 1251–1259 гг.) в неё, кроме собственно Монголии, входили тангутское царство Си Ся, Центральная и Средняя Азия, Закавказье, Иран, Афганистан и т. д. — и это не считая покорённых, но не заселённых азиатами земель, в том числе и Руси. Самый западный ареал распространения как их самих, так и этнонима «татар» — Венгрия (*Куфтин*, 1925. С. 35). Здесь его, как и на Алтае, и в Монголии, применяли по отношению к нетюркам (словакам, словенцам и другим славянам). Но и в Крыму кроме кочевников-тюрков с древности жили нетюрки — киммерийцы, тавры, готы и т. д. Причём жили не в тюркской степи, а в предгорьях, горах, на побережье юга и востока полуострова. Поэтому их, естественно, и стали называть *татами*. Это наименование сохранилось

более поздних татарских учёных за родину их предков, к которым они относили без разбора всех подданных чингизидских властителей, хотя, как известно, потомками населения империи и четырёх улусов являются отнюдь не одни лишь татары и другие тюрки, а прежде всего монголы, маньчжуры, китайцы, иранцы, арабы, кавказцы, угро-финны, палеоазиаты и многие другие, отчасти и русичи (*Закиев*, 2008. С.9). Отсюда становится понятным, отчего и среди славянских, и европейских авторов по-прежнему сохранялся этноним «татары» для обозначения всего населения Золотой Орды и её потомков.

Отмечу, кстати, что такой убеждённости не было у восточнославянских летописцев. Не пускаясь в этимологические рассуждения и проявляя разумную осторожность, они записывали в своих хрониках: «Того же лета явишася языци, их же никто же добре ясно не весть, кто суть, и отколе изидеша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. И зовуть я Татари, а инии глаголют — Таурмены, а друзии — Печенези... Бог же един весть их, кто суть и отколе изидеша, премудрии мужи ведять я добре, кто книгы разумно умееть. Мы же их не вемы...» (Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. С. 1).

А средневековые историки, более осведомлённые в этнографии восточной Сибири и Северного Китая, делили кочевые народы тех регионов на белых, чёрных и диких татар. Вот как об этом пишет известный историк Л.Н. Гумилёв:

«„Белыми“ татарами назывались кочевники, жившие южнее пустыни Гоби и несшие в империи Кинь (чжурджэнской) пограничную службу. Большую часть их составляли тюркоязычные онгуты и монголоязычные кидани. Они одевались в шёлковые одежды, ели из фарфоровой и серебряной посуды, имели наследственных вождей, обучавшихся китайской грамоте и конфуцианской философии.

„Чёрные“ татары, в том числе кераиты и найманы, жили в Степи, вдали от культурных центров. Кочевое скотоводство обеспечивало им достаток, но не роскошь, а подчинение «природным ханам» (то есть соотечественникам. — *В.В.*) — независимость, но не безопасность. Постоянная война в Степи вынуждала „чёрных“ татар жить кучно: огораживаясь на ночь кольцом из телег (курень), вокруг которых выставлялась стража. Однако „чёрные“ татары презирали и жалели „белых“, потому что те за шёлковые тряпки продали свою свободу чужеземцам и покупали плоды цивилизации унизительным, на их взгляд, рабством.

„Дикие“ татары Южной Сибири промышляли охотой и ловлей рыбы: они не знали даже ханской власти и управлялись старейшинами — бики, власть которых была основана на личном авторитете. Их постоянно подстерегали голод и нужда, но они соболезновали „чёрным“ татарам, вынужденным ухаживать за своими стадами, слушаться ханов и считаться с многочисленными родственниками. Монголы жили на границе между „чёрными“ и „дикими“ татарами как переходное звено между ними» (*Гумилёв,* 1989 «а». С. 390).

Поскольку известно, что в многоплеменных тьмах Чингизовых орд, докатившихся до Европы, основную массу составляли все же тюрки, то поневоле напрашивается парадоксальный вывод: европейцы назвали всю эту тюркоязычную массу именем «нетюрки», во всяком случае, именем их пришлых, монгольских

на поздних стадиях этнической истории Крыма, когда и степняки-ногайцы, и таты уже стали единоверцами, да и говорили уже по-тюркски, хоть и на различных диалектах.

предводителей-татар. И в своих ретроспективных хрониках как русские, так и западноевропейские авторы стали задним числом именовать татарами и половцев-кыпчаков, и печенегов, и всех иных пришельцев из Азии. Так этнографический термин стал геополитическим.

Средневековое это заблуждение было лишь отчасти снято этнографами в конце XVIII — начале XIX в. Пришло понимание того неоспоримого факта, что старое деление народов Азии на «белых», «чёрных» и «диких» татар слишком общо и неточно, так как золотоордынцы принадлежали к гораздо более многочисленным племенам и народам, каждый из которых имел собственное самоназвание. Однако к тому времени уже сложилась определённая традиция, согласно которой все нерусские люди российского Востока назывались татарами. Поэтому для различения этих больших и малых этносов общий этноним «татары» стали снабжать дальнейшими определениями, которые могли как-то уточнить, какой именно этнос имеется в виду.

И появились многочисленные парные этнонимы: азербайджанские татары, абаканские татары (хакасы), татары барабинские, болгарские, буджукские, касимовские, крымские, вогульские (манси), сибирские (юкагиры, нивхи, тунгусы и др.) и т. д. Понятно, что никакого уточнения этим добиться не удалось, так как уже из приведённых примеров видно, что в некую искусственно созданную группу татар вошли как тюрки, так и угро-финны (манси), и носители палеоазиатских (юкагиры, нивхи), и тунгусо-манчжурских языков. А в XIX — начале XX в. общий этноним «татары» сузился, его стали относить лишь к народам тюркской языковой семьи, которых теперь называли «тюрко-татары». Наконец, в 1923 г. понятие «тюрки» приобрело своё современное значение.

Почти одновременно вернулись самоназвания к крупным народам Азии. Но по отношению к Крыму и некоторым другим областям термин сохранился поныне и, видимо, никогда не исчезнет, если такое решение не примет сам народ, его носитель (с 1990-х гг. до настоящего времени всё чаще появляется идея именовать крымских татар *крымцами* или *къырымлар*. См., например, БК, 2006). Собственно, ничего нового в этом нет, так как именно крымские тюрки и их предки весьма долго себя татарами не называли. Имела место совсем иная традиция: в степном Крыму часть населения называла себя ещё до образования Крымского ханства ногъай (*мн. ч.* ногъайлар), а часть — кыпчаками (этноним древнего, чагатайского происхождения), тогда как жители предгорий, гор и южного берега именовались татами, о чём уже говорилось выше.

Как утверждают, в Крыму термин «татар» стал искусственно вводиться в XV–XVI вв. с надеждой на восстановление распавшегося улуса Джучи (Золотой Орды), при этом он буквально «навязывался» крымцам сверху (*Закиев*, 2008. С. 15). Понятно, что, как всегда бывает в подобных случаях, он долго отвергался. Например, крымские поэты и в XVII в. упорно называли себя и свой народ кыпчаками (*Изидинова С.Р.* Крымскотататарский язык // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997. С. 299). А затем, уже в конце XIX в., этноним «татары» в ряде своих сочинений демонстративно игнорирует великий крымский просветитель Исмаил Гаспралы (1851–1914), заменяя его в качестве самоназвания термином «крымские тюрки» («къырым тюрклери»). О состоянии этой проблемы в настоящее время выше лишь упоминалось, так как её более глубокое исследование не входит

в мои задачи. Надеюсь, что в будущем проблема с этнонимом «татары» рано или поздно будет окончательно решена и снята. Столь оптимистический взгляд на эту перспективу основывается на простом факте: крымскотатарские исследователи вопроса не успокаиваются на достигнутом — из печати выходят всё новые труды, трактующие эту тему (см., например: *Демирджи*, 2011).

Обратимся к ещё одному старому парадоксу крымской истории, также коренящемуся в средневековых заблуждениях. Он заключается в выборе хронологических рамок для исследования истории коренного, титульного населения Крыма. Абсолютное большинство учёных полагало достаточным датировать «начало» складывания крымскотатарского народа первой третью XIII в. — периодом переселения в Крым из Азии кочевников Батыя. Подобная жёсткая «нижняя планка» тех рамок, в которых, как правило, рассматривается история народа, предполагает и единственный вывод: нынешние крымские татары и есть прямые *потомки орд Батыя* (крымские степняки) или османских турок (жители предгорий и гор Крыма) (СИЭ. Т. 14. С. 144).

Казалось бы, этот вывод, в силу своей «очевидности» бесспорный, подтверждённый событиями, которые как общеизвестные в доказательствах не нуждаются. Ведь, в самом деле, Крым заполонили вначале азиатские кочевники, а затем турецкие завоеватели. И для того чтобы окончательно принять данную точку зрения, необходима малость: доказать, что в момент появления в Крыму и «татаро-монгольских», и турецких пришельцев полуостров был необитаем или же население покинуло его, переселившись подальше от страшных узкоглазых чужеземцев[1].

Однако известно, что в исторически обозримый период, в том числе в интересующие нас эпохи, Крым полностью, то есть целиком *не покинула ни одна* значительная этническая группа или народ (здесь не рассматриваются, естественно, кампании по выселению части местного населения, т. е. крымских татар, болгар, греков, немцев, армян и т. д., предпринятые царской и советской администрацией уже в Новое время). А ведь такие события мимо народного внимания не проходили никогда, и обычно фиксировались. Так, мы знаем о переселении киммерийцев в Переднюю Азию, хотя это происходило ещё в X–IX вв. до н. э. Нам известны основные события вторжения кимвров и тевтонов в Южную Европу в 110-х гг. до н. э. (вплоть до точных дат сражений их с римлянами) и так далее.

Но ни один античный или средневековый историк или географ, пристально интересовавшийся Крымом, ни словом не упоминает о том, что территория полуострова когда-либо лишалась своего коренного населения. Другими словами, оба вышеупомянутых пришествия (кстати, далеко не самые крупные в истории Крыма) являются не более чем частными её эпизодами. Оба они на-

[1] Замечу, что большинство сторонников «татаро-ордынской» гипотезы такими научными поисками себя не утруждает. Взамен они прибегают к так называемой циркульной аргументации, то есть заранее провозглашают то, что требуется доказать. В обобщённом виде ход их мысли примерно таков: «Предки современного крымскотатарского народа, татаро-монголы, заняли крымскую демографическую нишу; а то, что она до них была свободна, пустовала, доказывается тем, что они её заняли, что было бы невозможным, будь она полна». В этой связи достаточно вспомнить о том, что даже один произвольный постулат в подобных рассуждениях вполне и безоговорочно исключает все другие.

ложили, безусловно, яркий внешний отпечаток на дальнейшую этническую историю Крыма — точнее, на антропологические особенности степной, предгорной и западной береговой групп его коренного населения. Но они не смогли изменить пути развития коренного народа как целостного этноса, *магистральные* пути, часто скрытые от наблюдателя, как подводные течения, но такие же мощные и непреодолимые.

В этой связи задача современного исследователя этнической истории Крыма должна быть расширена. Для того чтобы проследить процесс формирования крымскотатарской нации, необходимо углубить хронологический фон исследования, охватив и периоды, предшествующие историческим временам. В частности, лишь такой подход может показать истинный масштаб «татаро-монгольского» и турецкого завоеваний, а также отвести этим частным эпизодам крымскотатарской истории подобающее место в длинной цепи самых разноплановых событий и метаморфоз, на которые она так богата.

2. Древние насельники Крыма

Et saxa loquuntur[1].

Открытие и изучение культуры древнейших насельников Крыма — от палеолита до эпохи раннего железа — имеет скорее общечеловеческое познавательное значение, нежели помогает ответить на вопрос о последующих этнических структурах региона. Раскопки стоянок первобытного человека неопровержимо доказывают, что благодатная земля Крыма является одной из древнейших колыбелей человечества и современной цивилизации.

Считается, что первыми обитателями Крыма были выходцы из Центральной Европы, с Балкан и, возможно, отчасти с Кавказа. Первобытных людей привлекли сюда мягкий климат, богатый животный и растительный мир, обильные запасы прекрасного инструментального кремня. Охоте и собирательству здесь способствовало и сочетание различных видов ландшафта — берегового, горного, степного. Относительно времени этого первичного переселения есть немало взаимоисключающих мнений. Самый ранний из называемых сроков — 300 000 лет тому назад; это стоянки Шары I–III, Бодрак I–III, Каракуш и некоторые другие (См.: *Когонашвили*, 1995. С. 123). Наиболее «высокий» порог миграции, о которой идёт речь, — на 200 000 лет позднее, так что разброс во временах и мнениях весьма значителен. Вообще об этом переселении можно говорить крайне предположительно, опираясь лишь на такие доказательства, как техника обработки орудий палеолита (*Формозов,* 1959. С. 40).

Одна из хорошо изученных такого рода стоянок древних насельников Крыма располагалась в пещере Киик-Коба (долина р. Зуи, 25 км к северу от Симферополя). Здесь в 1923–1924 гг. антопологом и археологом Г.А. Бонч-Осмоловским были обнаружены следы обитания первобытного человека (конец ашельской

[1] И камни говорят (*лат.*).

Неандертальский мальчик из Тешик-Таша. *Объёмная реконструкция М.М. Герасимова*

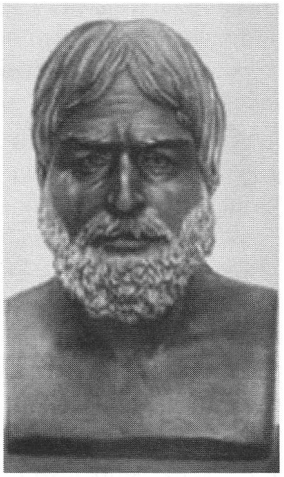
или начало мустьерской эпохи, т. е. около 100 тыс. лет назад). Это были скелеты двух неандертальцев — взрослого и ребёнка, а также орудия той эпохи. Эти двое долго оставались самыми восточными из европейских неандертальцев — до появления новых находок такого рода уже вне Крыма.

Гораздо позже, в 1970-х гг., выводы Г.А. Бонч-Осмоловского относительно древнейших стоянок на крымской земле, в целом, подтвердили исследования А.А. Щепинского. Неандертальские становища были открыты близ нынешнего Бахчисарая, у с. Салачик (ныне Староселье). Ашельские материалы были обнаружены и в долинах рек Бельбек, Бурульча, Альма, Бодрак. То есть в хорошо защищённых от северных зимних ветров местах, вблизи от водных источников и к тому же на склонах, прогреваемых солнцем.

Мы говорим об эпохе мустье[1]. Тогдашние крымчане уже пользовались искусно поддерживаемым огнём, умели изготавливать ручные двусторонние рубила длиной до 20 см. На охоте использовалась тактика загона, хотя сами технические средства были крайне примитивными (камни, дубины, копья). Поэтому самые слабосильные из добытчиков были обречены на голод и вымирание — так шёл естественный отбор. Но большинство семей, очевидно, выживало. В эту эпоху крымские охотники уверенно добывали стабильно водившихся тогда на полуострове мелких и обычных лис, кабанов, гигантского и благородного оленей, лошадей, сайгаков. Основное скопление стоянок мустье обнаружено в районе Ак-кая (близ Карасубазара).

Если воспользоваться образом Д.Д. Фрэзера, который сравнивает путь человеческой мысли с пряжей, сотканной из трех нитей (черная — магия, красная — религия и белая — наука), то придёшь к выводу, что черно-красная пряжа успешно ткалась уже неандертальцами. То было время зарождения религиозных представ-

[1] Мустье — позднейшая культура раннего палеолита в Южной Европе и некоторых других областях. Для нее характерны пещерными и открытыми стоянками, грубыми каменными орудиями. Носители этой культуры — неандертальцы, занимавшиеся охотой и собирательством.



Кроманьонец.
Объёмная реконструкция М.М. Герасимова

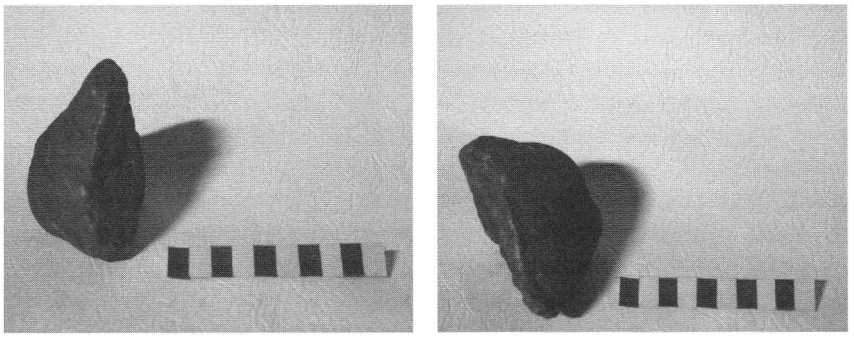
лений, так как салачикские жители начали *погребать своих мёртвых*, чего ранее никогда не было. Найденный здесь в 1953 г. мальчик относится уже к переходному от неандертальского к кроманьонскому периоду развития человечества.

А в пещере Чокурча (левый берег р. Малый Салгир) были найдены груды костей мамонта. И что примечательно — черепа лежали *отдельно,* как и бивни, нижние челюсти, кости таза или конечностей. По всей вероятности, это — свидетельство примитивных магических обрядов. Скорее всего, люди Чокурчи пытались повлиять посредством магии на рост поголовья промысловых животных.

Само расположение мустьерских стоянок говорит и о некоторых «научных» достижениях их обитателей, если под этим понимать осознание более или менее очевидных истин, почерпнутых из ежедневного опыта и наблюдений. Все эти обиталища находятся у оврагов, обрывов, а также мест, удобных для облав на крупного зверя, в том числе и на носорога волосатого, водившегося в ту пору в Крыму (*Буров,* 2006. С. 180). В охоте облавным способом принимало участие все население пещеры, или так называемая «кровнородственная орда». Крупнейшим из таких поселений была группа стоянок близ уже упоминавшейся скалы Ак-Кая, где кремневых орудий найдено больше, чем во всех остальных мустьерских стоянках Крыма (*Колосов,* 1977. С. 47).

В конце эпохи мустье обитатели Крыма стали носить одежду, а беспорядочные до этого половые отношения сменились более или менее устойчивыми, почти брачными. К этому же времени некоторые исследователи относят начало длинной и славной истории крымской архитектуры — именно тогда появляются первые строители, примитивными способами возводившие каменные стены с дверными проемами в устьях пещер. Очевидно, бродячая жизнь охотников и собирателей, ранее находивших приют в более или менее случайных местах, сменилась оседлой.

Древний палеолит сменился верхним палеолитом около 40 000 лет назад. Верхний палеолит в Крыму — это стоянка Сюрень–1 в долине Бельбека, грот Буран-Кая (ныне дер. Овражка на краю долины Бурульчи), Алимов навес в долине Качи, пещера Аджи-Коба. Все эти стоянки по культурному типу можно отнести к обширной группе памятников, встречающихся в Северном Причерноморье



Каменное ударное орудие. Низовье р. Бельбека.
Из коллекции автора

и на Черноморском побережье Кавказа, которую называют средиземноморской или средиземноморско-африканской (*Бадер,* 1957. С. 23). Что же было характерно для этой культуры?

По найденным на стоянках предметам видно, что жители Крыма уже умели сверлить кость: на роге и кости появляется первая гравировка. Охотники делали ножи, гарпуны, дротики, вставляя каменные острия или резцы в деревянную или костяную оправу. Человек из Сюрени–1 умел ловить крупную речную рыбу, охотился на мамонта, пещерную гиену, медведя. Меняется и вся общественная жизнь: первобытные общины, ранее жившие изолированно друг от друга, объединяются в рода. Люди чаще общаются, у них появляется обширный круг родственников и друзей. А значит, обобщается коллективный опыт в обработке материалов, совершенствуются приемы охоты, идет процесс аккультурации (взаимообогащения контактных культур). И, что очень важно, во главе рода становится женщина.

Это начальный период матриархата. И первым важным новшеством его было запрет на кровосмешение. Возможно в эту эпоху зародилось и изобразительное искусство в виде рисунков на стенах пещер или отвесных, гладких поверхностях скал. Успешно развивалось и строительное мастерство, умение возводить жилище собственными руками, а не подыскивать его в природных укрытиях.

Так люди отказались от извечной привязанности к пещере или каменному навесу, где обитали их родители и предки, и это стало колоссальным рывком к современности — что человек избавился от уз привязанности к месту рождения. Человек более не был прикован к месту рождения и раннего жительства — не в этой ли метаморфозе следует искать первые корни злосчастного «космополитизма»? Теперь глава семьи по своей воле, исходя из собственных эстетических, охотничьих и иных интересов, выбирает место обитания и там строит *свое первое жилище.*

Пусть оно было полуземлянкой, пусть в ней было сыро и холодно, но сама мысль о жилище, его целенаправленное сооружение было великим открытием человека, его великим рывком к свободе. Ведь теперь можно было жить где угодно, совершенно не завися от наличия или отсутствия пещер, выбирать себе землю обетованную по собственному, индивидуальному вкусу. И неважно, что жилища этих вольных людей не совсем соответствовали на первых порах старым, благоустроен-

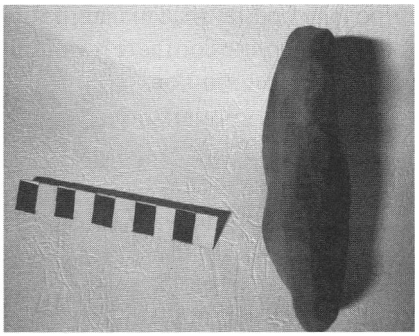
ным пещерам, — эти полуземлянки поначалу копировали временные шалаши мигрантов. Впоследствии землянки превратятся в жилища, вполне соответствующие той эпохе, а отчасти и архитектурным вкусам соседей-современников.

Несколько более поздние жители Крыма — типичные кроманьонцы, люди эпохи позднего неолита, ничем от нас уже не отличающиеся. Раскопки позволили воссоздать облик крымчан той эпохи: это были люди весьма рослые, с удлинённой, сильной шеей, длинными, стройными ногами. Реконструированный М.М. Герасимовым облик женщины из пещеры Мурзак-Коба поражает своим изяществом и красотой. У нее большие глаза, крупный подбородок, а в целом черты лица — безусловно европейского типа. Это были люди каменного века — древнейшего и самого продолжительного периода в истории человечества. Человеку каменного века не был известен металл, и орудия изготовлялись из камня, дерева, рога и кости. Кроманьонцы рассматривали неандертальцев как конкурентов в борьбе за выживание и постепенно вытеснили их, возможно, посредством физической ликвидации.

Средний каменный век (мезолит) длился с XIV до VII тысячелетия до н. э. Мезолитические памятники Крыма — Сюрень-II; Шан-Коба, Фатьма-Коба, Мурзак-Коба в долине р. Черной, верхний горизонт пещеры Буран-Коба. Главное достижение человека мезолита — изобретение лука. Теперь, по понятной причине, охотничья добыча становится более разнообразной. Промысел мелких животных и птиц делает охоту стабильным источником пищи, чего не было в эпоху загонного лова более крупного зверя. Охота становится делом *индивидуальным*. И именно этот отход от традиций, именно это нововведение имело колоссальные последствия. Почти одновременно возникают *личные* хозяйства, где, среди прочего, поначалу содержатся для откорма детеныши диких зверей, затем домашний скот (в Крыму это собака, затем свинья).

К мезолиту относят появление первых наземных (не пещерных) жилищ, то есть выстроенных руками человека. Усложняется духовная жизнь, а, следовательно, и погребальный обряд: теперь крымских людей хоронят в скорченном положении, связанными. Сами могилы ориентированы на восход солнца. В захоронениях обнаружены костяки с пальцами, отрезанными ещё при жизни. Это могло быть связано с обрядами инициации либо подростков, вводимых при достижении брачного

Женщина из пещеры Мурзак-Коба.
Объёмная реконструкция М.М. Герасимова



Каменное рубило. Устье каньона Аузун-Узень, Куйбышевский район.
Из коллекции автора

возраста в число взрослых, либо мужчин вступавших в члены мистического союза потомков животного-тотема; наконец, такого отличия иногда удостаивались и мальчики, особо проявившие себя в каких-то важных для общины событиях.

Примерно за 5 000 лет до н. э. начинается эпоха неолита. Неолитические памятники, числом более 150, разбросаны буквально по всему Крыму, и это лучше всего объясняется резко возросшей общей численностью и динамичностью человека, его сезонными кочёвками, связанными со скотоводством. В загонах, стойлах и хлевах было тесно от коз, овец, лошадей, коров, не говоря уже о давно одомашненных свиньях. А по вечерам в крымских селениях пахло не только парным молоком, но и свежеиспеченным хлебом: крымчане собирали на своих полях злаки и мололи из них по мере надобности муку — пшеничную! — на ручных зернотерках (*Янушевич,* 1986. С. 48). Охота, очевидно, навсегда уступает место экономически более надежному сельскому хозяйству, впрочем, оставаясь важным подспорьем в семейном быту.

В хижинах появляется глиняная посуда, обожжённая на огне костров (стоянки Замиль-Коба и Таш-Аир в предгорье Главной гряды, Кая-Арасы у Бахчисарая, Ат-Баш и Балин-Кош у Симферополя). Богаче становится не только материальная, но и духовная жизнь крымчан — это видно из все более усложняющегося погребального обряда. У села Долинки (Красноперекопский район) было найдено крупное захоронение — около 50 костяков. Перед погребением все покойники были осыпаны красной охрой, их одежды из шкур были украшены просверленными зубами оленя, бусами из кости. И это — обычное, рядовое кладбище, использовавшееся год за годом. Положение скелетов, инвентарь могил говорят о начавшемся социальном, имущественном расслоении (*Щепинский,* 1966. С. 92). Это — закат каменного века.

На смену ему приходят медный и бронзовый. В Крыму к первому из них относят три первых столетия 2-го тысячелетия до н. э., ко второму — XVII–VIII вв. до н. э.[1] Металл приходит на смену камню уже в конце каменного века, хотя каменные

[1] Известно, что первым металлом, который научились выплавлять люди, была медь. Это произошло в Юго-Восточной Анатолии (медные изделия были обнаружены близ современного селения Чайоню Тепеси) приблизительно 10 000 лет тому назад. Затем, уже около 4000 лет до н. э. металлургия стала культурным достоянием Балкан (*Черных Е.Н.* Древнейший металл в Старом и Новом Свете // Вестник истории, литературы и искусства; Российская Академия наук. Отделение историко-филологических наук. М., 2007.

изделия достигают в эту эпоху невиданного совершенства. И современный человек не может скрыть восхищения, рассматривая изготовленные из крепчайшего, отлично полирующегося крымского диорита функционально (да и чисто эстетически) безупречные, элегантные каменные топоры и ножи энеолита. Неудивительно, что на первых порах медные подвески, браслеты, шилья, топоры, ножи буквально рабски повторяют формы древней каменной и костяной мелкой пластики.

Многие из предметов, сопровождавших человека как в будни, так и в нечастые праздники, покрываются орнаментом. Но если ранее назначение орнаментальных узоров было магическим, то теперь некоторые детали позволяют предположить и чисто эстетическую ценность таких предметов. Искусство Крыма смело шагнуло на качественно новую ступень: широко распространяется стенная живопись (напр., навес Таш-Аир в долине реки Качи), антропоморфные скульптуры; на стенах деревянных или каменных погребальных ящиков, до недавнего времени скрытых курганами, обнаружена геометрическая роспись, исполненная тремя цветами — красным, белым, черным (курган Кеми-Оба). Это — древнейшая в Европе многоцветная роспись!

Кромлехи, эти сложные мегалитические сооружения[1], известны читателям всего мира более всего по комплексу Стоунхедж в Англии. Но схожие, хоть и не столь огромные памятники культа Солнца есть и в Крыму. Крупнейший кромлех находится в районе бывшей Воронцовской рощи (ныне — Университетский парк) в Симферополе. По кругу диаметром 12 м торжественно высятся здесь вертикальные столпы-менгиры, ориентированные на определённые точки положения Солнца, имевшие не только магическое, но и, возможно, хозяйственное значение. Учёные до сих пор не в состоянии даже приблизительно определить смысл этих сооружений. Одно можно утверждать с уверенностью: задолго до расцвета духовно-культовой культуры Востока (в том числе и китайской) в Европе существовала некая цивилизация, которая уже в 3–2 тысячелетиях до н. э. достигла высокого развития, а впоследствии угасла, не оставив по себе никаких следов, кроме этих величественных каменных монолитов.

Сравнительно мелкие кромлехи насчитываются в Крыму десятками, иногда они расположены группами, как, например, случайно обнаруженные в 5 км

Т. 5. С. 60, 62). Откуда медь пришла в Крым — с территории будущей Турции или Балкан — пока сказать трудно.

[1] Кромлехи — древние памятники в основном кельтского происхождения, состоят из грубо отёсанных (или естественных столбообразной формы) камней, поставленных вертикально (*менгиров*) таким образом, что они образуют один или несколько кругов, в центре которых иногда помещён менгир более крупного размера. Специальных работ о кельтах в Северном Причерноморье и, в частности, Крыму до последнего времени не было, имелись лишь беглые замечания по теме (См., например: *Загоровский*, 1922. С. 10). Но не столь давно была опубликована весьма ценная работа, где учёный, исследовавший массу раннеэллинистических источников, привёл список древних авторов, писавших о кельтах Северного Причерноморья, а именно — Иеронима Кардийского (323–272 гг. до н. э.), Тимея из Тавромены, а также Павсания, в десятитомном труде которого упоминаются кельты не только западного побережья Чёрного моря (*Tomaschitz*, 2007. S. 559). Наконец, в крымских захоронениях (Неаполь Скифский) обнаружено оружие кельтского (среднелатенского) типа (*Сулимирский*, 2008. С. 116).

к юго-западу от д. Юхары-Керменчик (ныне село Высокое) автором этих строк. Расположенные в горно-лесной зоне полуострова, они пока никем не изучены и даже не описаны. Отдельно стоящий менгир до сих пор высится неподалеку от Бахчисарая, у Богаз-Салы. В пик летнего солнцестояния в полдень с вершиной этого менгира совпадает кончик остроконечной тени расположенной неподалеку скалы. Интересно, что культ Солнца сочетался у строителей кромлехов с анималистическими культами: среди менгиров находят отпиленные рога или целые скелеты оленей. Очевидно, это благородное животное было родовым (племенным) тотемом древних крымчан.

К мегалитическим сооружениям относят и *дольмены,* связанные с древнекельтским культом памятники каменного века обычно в виде 3–4 плоских каменных глыб, поставленных в виде ящика, который покрывается самой большой плитой (иногда в одной из боковых плит устраивается круглое отверстие). Ещё в конце XVIII в. в Крыму было отмечено большое количество дольменов, в основном в Байдарской долине (*Сосногорова*, 1875. С. 286); многие из них сохранились до наших дней. На Каче, в 7 км от Бахчисарая, близ деревни Элиз-оба находились самые величественные из этих сооружений. Их было около 9. Переводчица академика Палласа, скрывшаяся за инициалами М.С., писала, что «...они гораздо выше и больше, чем те, что в Гаспре, и сооружение этих дольменов произведено гораздо тщательнее, камни немного оттёсаны». Местные жители издавна называли это место *Эски-месарлык* («Старое кладбище»). Около десятка дольменов насчитывалось и в Судакском районе, между морем и Токлуком, в долине у Параламкая. В плане они имели форму квадрата со стороной от 2 до 4 аршин (*Паллас*, 1793. С. 83, 151, 197; См. также: *Сосногорова*, 1880. С. 117, 211–212).

Упомянутые переводчицей Палласа дольмены близ Гаспры, у тропы, ведущей в Ялту, и ныне совершенно не повреждены — редкая судьба для древних памятников. Этого нельзя сказать о дольменах на мысу Ай-Тодор. Их там около сорока, но время не пощадило ни один из них (*Фадеева*, 2002. С. 93). К сожалению, хотя имеется довольно исчерпывающий список мегалитических памятников Крыма, до настоящего времени весь упомянутый весьма представительный археологический материал не обратил на себя внимания учёных и не подвергся археологическому исследованию и научному осмыслению (см.: *Крис*, 1981. С. 57–60).

Погребальные обряды менялись со временем — это естественно, как естественно и взаимообогащающее влияние соседних культур. К слову, в захоронениях той эпохи находят черепа с трепанационными отверстиями, и судя по их состоянию, человек после подобной (и ныне относящейся к сложным) хирургической операции ещё долго жил. А в курганах близ Евпатории и Красноперекопска найдены едва ли не первые крымские музыкальные инструменты — костяные флейты.

К особенностям культуры крымского региона следует отнести и высеченные из камня изображения фаллоса (хранятся по большей части в Херсонесском музее). Известно, что фаллический культ был вообще широко распространен в Причерноморье и на Кавказе с 3-го тысячелетия до н. э. почти вплоть до наших дней. При этом размеры фаллоса сильно варьируются, доходя до 4 м (Северная Осетия). В Крыму эти любопытные предметы культа по размерам скромнее, но распространены довольно широко — только у Симферополя их находили у сёл

Зольное и Константиновка, у дер. Дружное, близ верховьев Малого Салгира и в других местах.

Эпоху раннего железа относят в Крыму к концу VIII–VII вв. до н. э. Собственно, культура этой эпохи не является однородной и единой для всего полуострова. Специалисты выделяют в ней три основных блока — киммерийскую, кизил-кобинскую и таврскую культуры, отдавая себе отчет в известной условности как самого этого деления, так и соответствующих наименований.

В эту пору основной тягловой силой становится лошадь, мясо которой попрежнему оставалось одним из самых распространённых продуктов. Причём, заметим, местные, коренные жители сохранили любовь к конине и в эллинский период крымской истории. Коровы были уже двух хозяйственных видов, в городах — молочного, в сельской местности — мясного. Распространение получила домашняя птица — куры и гуси (*Соловьёв С.Л.* Археологические памятники сельской округи и некрополя Нимфея. Итоги работ Керченской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа: 1992–1996 гг. СПб., 2003. С. 181–183).

Памятники первых двух упомянутых выше культур встречаются по всей территории Крыма, третьей — лишь южнее линии Евпатория–Зуя-Арабат. Расплывчаты и хронологические рамки существования этих культур. Наиболее ранний из найденных памятников относится к эпохе бронзы (*Стржелецкий*, 1954. С. 11–12), верхняя граница периода доходит до скифской страницы в истории Крыма — это VI в. до н. э. (*Шульц*, 1957. С. 64). Но сказанное относится к так называемым киммерийцам; тавры же сохраняли относительную этническую чистоту и своеобразие своей культуры и в середине I в. н. э. (см. ниже).

3. Киммерийцы

Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль
Он покидает, всходя на звездами обильное небо,
С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;
Ночь безотрадная там искони окружает живущих.

Гомер. Одиссея. Песнь 2, 14–15

Эти слова великого поэта древней Греции, конечно, не совсем верно отображают природу Крыма. Но его можно понять. Греческие путешественники и купцы, бывавшие в Северном Причерноморье, особенно осенью и зимой, не могли не поразиться отличием Кафы, леденевшей в зимнюю пору, от Афин или Пирея, благостных в любое время года. Наверняка Гомер слышал их рассказы, — отсюда и его представление о Киммерии. Именно так назвал певец Крыма, поэт и художник Максимилиан Волошин, северную часть Восточного Крыма с её обнажёнными, пологими, коричневатыми холмами, лишь кое-где покрытыми, как и в древности, тощими стеблями полыни и сочными кустами колючего каперса.

И если даже этот топоним — *Киммерия* — скорее поэтическая находка, чем научное определение, мы должны отдать должное прекрасному поэту и художнику, сумевшему привлечь к этому клочку крымской земли внимание не только поклонников его таланта.

М. Волошин был первым, кто воспел землю, на которой появилось древнейшее этническое общество из проживавших некогда на территории Крыма. То есть правильнее, первое известное нам по имени (в основном из трудов древних авторов) исконно крымское общество, имя которому было — *киммерийцы.*

Вообще киммерийцы, наряду со скифами и сарматами, относятся к числу первых исторических народов Восточной Европы. Именно с них (точнее, с письменных указаний на их существование) и начинается история древнего населения региона[1].

Сам этот этноним возник задолго до переселения киммерийцев в Крым. Ещё в ту пору, когда они соседствовали с Урарту, древним царством, располагавшемся на Армянском нагорье (IX–VI вв. до н. э.), именно так называли их ассирийцы: «гимирри». Там же деяния киммерийцев были занесены в хроники. Это не единственное оставленное современниками изложение древнейшей истории народа, споры о днях и делах которого не утихают среди учёных уже не первое столетие. Позже о них писал древнегреческий поэт-драматург Эсхил (около 525–456 до н. э.), явно имея какую-то информацию о населении этого края.

Столь же неясна проблема языка киммерийцев. Утверждают, что он принадлежал к северной ветви восточно-иранских языков. Однако, если по отношению к скифам этот вывод доказан, то для киммерийцев он «строится больше на остроумных догадках и предположениях» (*Гуляев*, 2005. С. 122). Несколько лучше обстоит дело в отношении сведений о быте киммерийцев. Архиепископ Евстафий из Фессалоник (XII в.), живший гораздо позже растворения этого народа среди других племён человеческих, но явно располагавший записями более ранних авторов одного из них он именует Географом, сообщает, что киммерийцы «живут на повозках и питаются мясом домашних животных, молоком и сыром, преимущественно кобыльим, не имея понятия о запасах и мелочной торговле, за исключением обмена товара на товар; справедливейшими же, говорит он (то есть Географ. — *В.В.*) они являются потому, что не занимаются торговыми делами и сбережением денег, но всем владеют сообща, за исключением меча и чаши...» (там же). Кстати, «справедливейшими» киммерийцев называл и Гомер.

Поскольку некоторое время этот народ заселял территории от Крымского полуострова до Фракии (Балканы), часть старых авторов доказывает северное, европейское происхождение киммерийцев. При этом они явно путают их с кимврами. Этот родоплеменной союз, датский по происхождению, действительно расселился в 112–110 до н. э. далеко к югу от полуострова Ютландии, захватив Галлию и другие римские провинции в Западной Европе, но до Крыма кимвры не

---

[1] Нельзя не упомянуть об авторе, вообще отрицающем в предскифское или раннескифское (вторая половина VII — первая половина VI вв.) время пребывание киммерийцев в Северном Причерноморье, то есть в эпоху колонизации региона греками (*Иванчик*, 2007. С. 85). Думается, его гипотеза опровергается многочисленным и подробным указаниям древних авторов, свидетельства которых приводятся ниже.

дошли. Далее, историкам до сих пор не известно, как причерноморские киммерийцы называли себя сами. Другое дело, что благодаря их соседям до нас дошли имена трёх киммерийских вождей, звучание которых и позволяет предположить ираноязычное их происхождение: Теушпа, Тугдамме и Сандаксатра (*Когонашвили*, 1995. С. 112). Впрочем, достоверность этих имён несколько сомнительна. Как, кстати, и подлинность гипотезы о том, что «киммерийцы» и «тавры» — это вообще два названия одного и того же народа[1]. Мы не будем вдаваться в суть этой далеко не завершенной полемики; обратимся лучше к древнейшим источникам о киммерийцах.

С глиняных клинописных табличек ассирийцев этноним перекочевал в почти неизменном виде (корень «го-мер») на страницы трех книг Ветхого Завета (Быт. 10, 2–3; I Пар. 1–5; Иез. 38, 6). Но здесь «гомерты» или киммерийцы лишь поименованы.

Гораздо больше сведений о народе мы можем почерпнуть у Гомера в его «Одиссее». Некоторые авторы даже допускают, что гениальный грек мог быть современником киммерийцев, лично присутствовать при том, как они вторглись в Ионию и Элиду. Подробно об этих кровавых событиях затем напишет знаменитый древнегреческий историк (*Страбон,* 1947. С. 178). Отражены они и в стихах греческого поэта Каллина, а также в сочинениях его земляка, писателя Каллисфена. К сожалению, произведения эти дошли до нас лишь фрагментарно. Но основываясь на них, писали о киммерийцах более поздние авторы, в том числе и такие авторитетные, как Геродот и Плиний.

Длительное время после того, как киммерийцы уже растворились в массе других этносов, память о них жила и в географических названиях: пролив Киммерийский Боспор[2] (ныне Керченский пролив), страна Боспор Киммерийский (самое крупное античное государство Северного Причерноморья, история которого насчитывает более тысячи лет), страна Киммерия, Киммерийские стены и т. д. Город же Киммерик (Керченский полуостров) просуществовал с V в. до н. э. вплоть до византийского периода истории Крыма[3]. Расцвет его пришелся на рубеж нашей эры: это был довольно крупный торговый и ремесленный центр в 60 км от нынешней Керчи, окруженный толстыми (до 2,5 м) стенами.

---

[1] Современный историк, признавая, что пути тавров и киммерийцев могли пересекаться, провёл между ними четкую и не однажды в прошлом подтверждённую археологами (и не только ими) разделительную линию. А именно: первые были людьми моря, вторые — привязанными лишь к земле кочевниками (*Крис,* 1981. С. 54). Более поздние историки вообще оспаривают ираноязычную принадлежность киммерийцев, утверждая, что вышеупомянутые имена не привносят ничего нового в попытки решить эту проблему. Само их появление в упомянутых регионах было сравнительно новым для Передней Азии. Но что бесспорно — это то, что они принесли с собой в Месопотамию и к грекам новый тип вооружения — боевые луки и стрелы, а также новый вид конской упряжи. Причём это произошло *до* появления в Причерноморском регионе скифов, которым приписывают эти эпохальные изобретения (*Иванчик*, 2001. С. 16).

[2] Топоним Боспор, название, которое греки перенесли с пролива Боспор Фракийский (совр. Босфор), означал, в буквальном переводе с греческого, «коровий брод».

[3] Подробнее о киммерийской топонимике Крыма, как исчезнувшей ещё в Средние века, так и сохранившейся до Нового времени см.: *Тохтасьев*, 1984; *Скржинская*, 1988; *Иванчик*, 2007. С. 85).

Археологические исследования нашего времени во многом прояснили вопросы, которые древними авторами освещались произвольно и часто противоречиво. Но «загадочность» происхождения и исторической судьбы этого народа доныне не развеяна. На основании аккадских источников VII в. до н. э. можно утверждать, что при всей исторической схожести киммерийцев со скифами это были два разных народа, занимавших к тому же различные территории (*Иванчик*, 1995. С. 22). Далее установлено, что как единый этнос киммерийцы сложились к середине 2-го тысячелетия до н. э., скорее всего в Нижнем Поволжье. Эти странники, сохранявшие язык и культуру старой, как утверждают, ещё протоиранской родины (*Абаев*, 1965. С. 125–126), продвигались оттуда на запад, пока не расселились на огромной территории — от Белоградца (Болгария) на западе до Северного Кавказа на востоке и от южной оконечности Крыма до посёлка Навки (Пензенская обл.) на севере.

Заметим, как бы в скобках, что при известном научном согласии относительно пятна расселения этого этноса, некоторые авторы предлагают «фракийскую», а не «иранскую» гипотезу происхождения киммерийцев (*Артамонов*, 1971. С. 50). Но определить этот ареал расселения этноса удалось лишь после того, как советские ученые отождествили их с давно известными археологам представителями так называемой срубной[1] культуры (*Тереножкин*, 1976. С. 19). В других, более современных трудах утверждается, что киммерийцы — не «чистые» потомки населения срубной культуры, а смешавшиеся с родственными им племенами из восточных районов Евразии, продвинувшимися в причерноморские степи в самом начале I тысячелетия до н. э. (*Гуляев*, 2005. С. 119). Впрочем, некоторые авторы считают, что киммерийцев нельзя с точностью соотнести ни с одной археологической культурой (См.: *Айбабин* и др., 1992. С. 212), но это, как видно из предыдущего текста, лишь одно из мнений.

В своём передвижении на запад киммерийцы миновали Дон. Затем, распространившись на территории Северного Причерноморья, они проникают в Крым. Это случилось в XII–IX вв. до н. э., в так называемый белозерский период (*Чередниченко*, 1973. С. 36). На полуостров они принесли с собой массу особенностей быта и мировоззрения, характерных для прежних мест обитания. Захоронения и другие памятники на месте бывшего Киммерика, в Инкермане, Марьине, Фронтовом, Луговом, в Зеленом Яру и Зольном Джанкойского района, а также на месте стоянок у современных Отуз и Коктебеля дают нам некоторые отрывочные представления о духовном мире, типе хозяйственной деятельности, искусстве этого древнего народа, о развитии предскифской культуры в целом.

Эти памятники позволяют сделать вывод о высоком развитии родоплеменного строя киммерийцев, а также о сравнительно слабой общественной разделённости их отношений в начале — середине эпохи их расселения в Причерноморье. Погребения их скромны, обряды просты. Так, находки одиночных погребальных

[1] Термин ведёт своё происхождение от особого типа захоронений второй половины 2-го — начала 1-го тысячелетия до н. э. в степных и лесостепных районах современных Украины и европейской части России. Представители этой культуры занимались скотоводством и земледелием. При захоронениях над неглубокой погребальной траншеей возводились наземные бревенчатые срубы, которые засыпались землёй, в результате чего образовывался курган (подробнее см.: *Щепинский*, 1966. С. 70–72, 78).

сосудов весьма редки. Богатые захоронения встречаются гораздо позднее, но вне Крыма (например у г. Энгельса), да и то весьма нечасто.

Лишь в XII–X вв. до н. э. в могилах киммерийцев начинают попадаться золотые предметы, вначале в богатых, а попозже и во вполне рядовых захоронениях. Такой факт имеет свое объяснение: к этому времени основные традиционные занятия киммерийцев, а частично и новые (земледелие, отгонное скотоводство и пр.), сменились кочевым скотоводством, что сопровождалось переходом от большой семье к малой и возникновением частной собственности на стада.

Вторая причина крупных социальных перемен эпохи — становление и укрепление связей этноса с передовыми цивилизациями Восточного Средиземноморья. Кочевники научились у них искусству изготовления железных (точнее, стальных) предметов быта, прежде всего оружия. С этой поры самыми богатыми становятся могилы воинов, хотя в киммерийском обществе были и весьма зажиточные люди более мирных профессий — это видно, в частности, из анализа раскопок близ упоминавшегося с. Зольного. Известная из наследия античных авторов воинственность киммерийцев подтверждается не засвидетельствованным ранее погребальным обычаем помещать в руку павшего воина оружие, служившее ему при жизни.

Из всего комплекса данных (древних письменных и современных археологических) данных можно сделать вывод о том, что киммерийцы сражались в спаянных железной дисциплиной конных отрядах — подвижных, мало зависевших от тылового обеспечения, удивительно маневренных. Во главе всего общества, бесспорно, стояла военная аристократия. Но единого государства в сложившихся условиях ещё возникнуть не могло. Тем не менее, вооружённые лучшей по тем временам военной техникой (особенно характерны были длинные узкие стальные мечи со змеевидным узором на рукоятке), эти прирожденные конники могли успешно меряться силами с армиями таких великих держав древнего мира, как Ассирия, Урарту, Лидия. Более того, на закате своей истории они дважды вторгались в Малую Азию и некоторое время даже владычествовали над большей частью её территории.

Это — особая история, собственно говоря, упоминаемая лишь для того, чтобы привести пример, как даже *столь древняя* эмиграция, притом лишь *части населения* Крыма, не смогла ускользнуть от внимания историков, причём на далеко ещё не последнем этапе развития и совершенствования исторической науки. Другими словами, гипотеза о «завоевании татарами» (и заселении ими же) Крыма в начале II тысячелетия н. э., предполагающая некое безлюдье, «всосавшее» пришлых кочевников, совершенно безосновательна уже потому, что даже частичная эмиграция, случившаяся за 2 000 лет до того — и та попала в поле зрения осведомленного человека. Что же произошло в VIII–VII вв. до н. э. в Крыму?

Судя по всему, это было «изменение климатических условий в степях Восточной Европы, сделавшее невозможным проживание в них значительного населения со специализированным кочевым скотоводческим хозяйством». Это изменение климата выразилось в увеличении годового периода засухи, отчего «первыми его влияние должны были почувствовать киммерийцы, занимавшие и без того самую засушливую часть восточноевропейской степи,... в степях Восточного Причерноморья климатические условия стали такими, что прокормление значительной части скота сделалось невозможным» (*Артамонов*, 1971. С. 52).

Впрочем, покинув степи, киммерийцы долин, влажных низин и, возможно, гор Крыма остались на месте.

Да и те, что ушли на азиатский материк, поселившись главным образом в долине реки Галиса (Каппадокия), долго на чужбине засиживаться явно не собирались. Климатически неблагоприятный для их основного занятия период ещё далеко не завершился, но уже в первой половине VI в., когда едва-едва появилась возможность как-то просуществовать на старой родине, народ потянулся назад. Что, между прочим, также было отмечено древними историками (*Геродот*, IV, 12), впрочем, и современными тоже (*Артамонов*, 1971. С. 59). Но вернёмся к многовековому крымскому бытию.

Историческая роль, которую здесь сыграли киммерийцы, безусловно, принадлежит к выдающимся, если даже сравнивать их с длинным рядом народов, живших после них в Крыму. Прежде всего они содействовали скачкообразному развитию экономики древнего населения юга нашей страны. Ведь именно через них на огромных территориях распространились орудия, инструменты, оружие из чёрного металла[1]. Они не изобрели технологии ковки стали, этого металла будущего, а лишь заимствовали её у передовых культур эпохи. Но через их посредство чёрные металлы начали свое победоносное шествие, вытесняя бронзу, на Северный Кавказ, Среднее Поднепровье, Волгу и, что особенно интересно, в Центральную Европу.

В области искусства киммерийцы, как утверждают некоторые авторы (*Ростовцев,* 1918. С. 44–45), также сказали свое слово, передав скифам наследие, полученное от своих иранских предков. Речь идет об отдельных элементах, вошедших составными частями в знаменитый скифский звериный стиль. Впрочем, эта старая гипотеза ныне оспаривается, хотя по-прежнему подчёркивается близость, почти идентичность археологической культуры киммерийцев и скифов, о которой говорят материалы всё новых раскопок (*Иванчик*, 1995. С. 22).

В первой половине VII в. до н. э. часть киммерийцев покинула Северное Причерноморье и Крым. Это был массовый исход, вызванный, по свидетельству античных авторов, приближением несметных скифских орд. Во всяком случае, когда в VI в. до н. э. в Северном Причерноморье появились греки, киммерийцев как отдельного народа они там не застали.

Впрочем, ушли далеко не все. Оставшиеся на полуострове потомки древнего народа успели к тому времени стать составной частью таврской или скифской массы, частью генофонда Крыма и близлежащих областей — об этом сделаны достаточно обоснованные выводы (*Масленников*, 1981. С. 27).

---

[1] Известна схожая для европейской культуры роль кельтов, которые также несли с собой на огромные пространства европейского материка передовую технологию, новые инструменты и материалы, среди которых была и сталь. Более чем возможно, что киммерийская и кельтская культуры (наследия этих культур) глубоко проникли друг в друга. Причём это могло случиться где-то в Причерноморье, то есть в частности и в Крыму, где найдены явно кельтские металлические изделия (*Кухаренко*, 1959). В литературе вопроса весьма давно существует мнение и о прямом, этногенетически кельтском происхождении если не киммерийцев, то тавров (*Zerr*, 1912. S. 3). Об этом говорит и наличие упомянутых выше многочисленных мегалитов; «полагают, что все мегалитические памятники принадлежат кельтам» (см.: *Фадеева*, 2002. С. 93).

Остаётся сказать несколько слов о том духовном наследии, что оставили или — будем осторожны — могли оставить киммерийцы в наследие своим татарским потомкам. «Постоянная готовность к защите своего главного богатства — скота — от хищных зверей и не менее хищных соседей, формировали уже с детства из каждого мужчины стойкого воина и не менее прекрасного наездника. Не удивительно, что эти выросшие в буквальном смысле на коне и как бы слившиеся с ним люди легко превращались из мирных пастухов в дисциплинированное, мобильное и грозное войско» (*Гуляев*, 2005. С. 119).

4. Тавры

а) Происхождение тавров

Вопрос о происхождении древнейших этносов сложен уже в своей постановке. Прежде всего неясно, где та хронологическая точка отсчёта, начиная с которой племенные сообщества начинают осознавать себя как (или представлять собой) *отдельную* культурную или антропологическую группу (*Бромлей*, 1983. С. 245). Опасность заключается здесь уже в выборе метода (или критерия) выделения такой группы.

С одной стороны, можно впасть в заблуждение, основываясь на схожести бытия, обычаев и даже антропологических особенностей совершенно различных этнических групп. Ведь эта схожесть может быть вызвана внешними обстоятельствами, в частности, необходимостью совместного проживания в непосредственной близости друг от друга. В этом случае, особенно если этносы находятся в параллельной фазе исторического развития, возможно и взаимовлияние. Для историка важно учитывать, *кто* является наблюдателем, оставившим потомкам своё описание той или иной этнической группы. Тем более, если этот наблюдатель — представитель этноса, находящегося на превосходящей стадии развития. Естественно предположить, что грек, рассказывающий, к примеру, о так называемых тавроскифах, склонен видеть прежде всего общие варварские черты, не замечая особенных свойств той или иной местной, то есть *не-его-народности*.

С другой стороны, самовыделение людей в особые группы, особенно на стадии формирования этноса, может происходить по причинам, часто не связанным с его культурными чертами или антропологическими свойствами, однако от этого не менее существенным для современников. Примером может служить уже упоминавшаяся в Прологе традиционная вражда соседних общин или поселений в России. Иными словами, опасно принимать за искомую точку отсчёта и тот момент, когда народ (группа) начинает осознавать, что он — общность, обладающая признаками, которые отделяют его от соседних племён.

Нельзя не согласиться с тем, что поиск этой точки отсчёта — задача в некотором роде схоластическая. Становление любого народа — это сложный исторический процесс, а не конкретное событие, до которого шло накопление неких этнических признаков, а после — уже развитие сложившейся этнической группы, племени, народа.

Главным из признаков такого рода традиционно считается язык. Но и в этом подходе есть сложности. Основная из них — это то, что географические границы распространения языка, материальной и духовной культуры различных племен и народов нередко накладываются друг на друга, уже начиная со стадии неолита. Начинается никогда более не прекращающийся процесс этнической интеграции и дифференциации. Отмечу в скобках, что становление языка и материальной культуры имеет решающее форморазличительное значение на ранней ступени складывания этноса, тогда как формирование культуры духовной отражает процесс этнической консолидации и развития этнической (национальной) культуры на ее более развитой стадии в более поздние периоды.

Таким образом, мы видим, что решение вопроса о происхождении древних этносов выходит далеко за рамки чисто археологических наблюдений и исследований, что оно должно быть дополнено этнолингвистическими штудиями. В исследовании немецкого ученого первой трети XVIII в. была сделана одна из первых попыток вывести этноним «тавры» из малоазиатского «тавр», что означает «горец»: халдейское *tiru*, сирийское *ture* и древнеассирийское *torra* имеют одно значение — «гора» (*Famin*, 1835. S. 4).

Далее, кельты называли высокогорья *taurini*. Что это, совпадение или древнее заимствование? А Полибий именовал одно племя в Альпах «тавриски», и в походах на Рим в 225 г. до н. э. также участвовали некие тавриски, то есть жители гор (*Paulys* Real-Encyclopädie der Classisches Altertumswissenschaft. II R. Vierter Band. Stuttgart, 1934. S. 2544–2545).

Однако в нашу задачу не входит этимологическое исследование этих корней, явно имеющих схожее или даже совпадающее значение. Тем более, что если обратиться к конкретному, крымскому случаю, то задача эта приобретает немыслимую сложность, ведь мы не знаем (кроме редчайших, скудных, спорных лингвистических фрагментов)[1] о языке тавров почти ничего. И именно поэтому в разделе об этногенезе тавров нам придется по необходимости обращаться почти исключительно к археологическому материалу.

Такой подход к поставленной задаче, при всей его внешней ограниченности, не стоит заранее считать недостаточно глубоким и плодотворным. Ведь уже в каменном веке, как известно, закрепляются характерные для каждого культурного региона особенности в обработке камня, начальные формообразующие традиции, которые переходят затем на медь, бронзу, а иногда и на произведения из ещё более совершенных материалов.

И здесь сделаны весьма важные выводы, а именно о том, что многочисленные, в том числе и функционально различные памятники свидетельствуют о генетической связи культуры тавров с культурой автохтонных жителей Крыма II тысячелетия до н. э. или эпохи поздней бронзы (*Колотухин*, 1990; *Стржелецкий*, 1954. С. 10–11). Об этом же говорят некоторые антропологи, основываясь

[1] К примеру, к ним относятся такие наименования жителей таврских «царств», как *арихи, напеи, синхи* (*Аммиан Марцеллин*, СПб., 1908. Кн. XXII. Гл. 8. С. 33). Как указывали учёные ещё XIX в., весьма важно было бы выделить в топонимике Крыма названия, не соответствующие языкам иных насельников, явно не тавров. Таким образом и можно было бы вычленить таврские лексические единицы (*Щепинский*, 1966. С. 263). Пока этот перспективный аналитический метод сторонников, кажется, всё ещё не приобрёл — а жаль.

на краниологическом и ином материале таврских захоронений (*Жиров*, 1949. С. 277–278). При этом, чем ближе подходит комплекс к «историческим» временам, тем точнее и обоснованнее становятся подобные выводы.

Так, совершенно бесспорны результаты исследований Кизил-Кобинской культуры I тысячелетия до н. э., которая унаследовала особенности более ранней культуры III–II тысячелетий до н. э. (каменные ящики, специфическая орнаментация керамики). При этом довольно скромный вклад в таврскую поздней срубной культуры позволяет сделать ещё один весьма важный вывод. Судя по всему, тавры до ухода киммерийцев с исторической сцены Крыма с ними, не соприкасались, не смешивались (*Лесков*, 1965. С. 164). Впрочем, существует ещё одно мнение. А именно, что тавры — это потомки киммерийцев, отступивших в горы (*Щепинский*, 1977 «а». С. 39).

Иногда кизилкобинцев и тавров разделяют на две самостоятельные культуры, причём тавров относят к кемиобинцам (по имени кургана Кеми-Оба близ Карасубазара). Раннетаврские кемиобинские племена обитали в предгорном и горном Крыму во второй половине 3-го — первой половине 2-го тыс. до н. э. Это были носители чрезвычайно своеобразной культуры: они создали первые в Крыму человеческие скульптуры, монументальные произведения искусства, среди которых иногда встречаются подлинные шедевры (напр., диоритовая полутораметровая стела из Казанков, близ Бахчисарая). Фигуры эти водружались на вершинах курганов, обнесенных по основанию каменными оградами.

Выводам этим нисколько не противоречат факты заимствований таврами элементов кавказских культур (*Бобин*, 1957. С. 54–55; *Щепинский,* 1966., и др.), так как они относятся уже к 1-му тысячелетию н. э., то есть к весьма позднему периоду истории.

Большинство российских и зарубежных ученых считают тавров аборигенами Крыма, причем индоарийского происхождения. И этот вывод подтверждается не только антропометрическими, весьма точными данными[1], но и свидетельствами античных учёных — случай весьма редкий (*Доватур, Каллистов, Шишова*, 1982. С. 344). С другой стороны, попытка проследить начало этногенеза тавров от неких индоарийцев, осевших в Крыму, была подвергнута обоснованной критике (*Откупщиков,* 1988 и др.).

б) Тавры глазами их современников

Если не считать киммерийцев, тавры — древнейший из крымских этносов, имеющий собственное имя. Скорее всего, и этот этноним не является самоназванием, но именно так именовали крымчан той поры ближние и дальние соседи.

Первые известия об этом народе мы встречаем у античных авторов. Возможно, именно тавры скрываются за лестригонами Гомера. Во всяком случае весьма вероятно, что за страной лестригонов у Гомера стоит именно Крым. Описывая путешествия Одиссея, поэт говорит, что хитроумный царь Итаки и его спутники

[1] Краниологи говорят о преобладании в таврских захоронениях черепов понтийского типа. Наряду с ними имеется некоторая примесь черепов смешанного типа, то есть с примесью севернопричерноморского и средиземноморского антропологических типов (*Соколова,* 1958).

достигли «неприступного города, лестригонского Телепила... Тут, когда мы вступили в славную бухту, вокруг которой с обеих сторон высится сплошная скала, а нависшие берега выдаются друг против друга в устье и узок вход, тут все направили внутрь округленные суда. Они были привязаны близко одно к другому внутри глубокой бухты, ибо никогда в ней не поднимается волнение, ни большое, ни малое, а было кругом светлое затишье» (цит. по: *Плутарх*, 1947. С. 281).

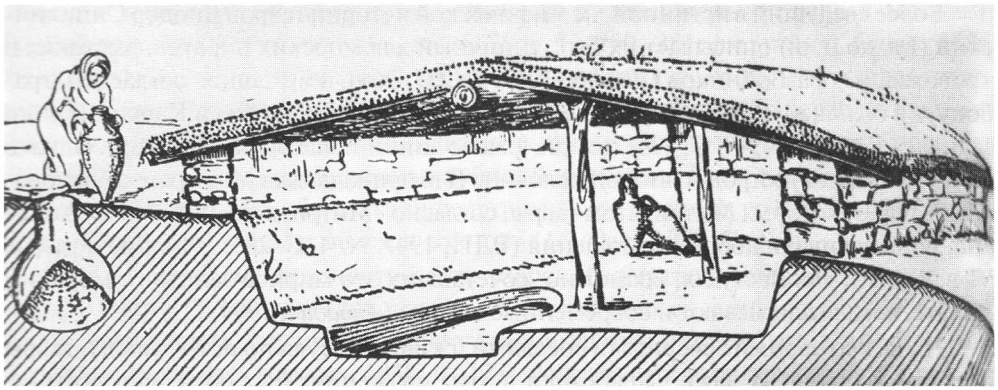
В этом весьма подробном описании нетрудно признать Балаклавскую бухту, уникальное творение природы, равного которому нет не только на Чёрном море, но и в Мраморном, и в Эгейском, и в Средиземном (отдалённо её напоминает лишь Гибралтарский залив, но он огромных размеров, так что там нередко подымается собственное волнение). Возможно, в мире и имеется некое подобие описанному Гомером природному образованию, но сам автор, в свое время много лет отдавший морским плаваниям, видел лишь одну бухту, подобную Балаклавской — это была защищенная от волнения узким и извилистым входом бухта в глубине острова Сан-Себастьян (точнее, Сао Себастьяо).

Впрочем, вряд ли именно её имел в виду Гомер: путешествия Одиссея к берегам Бразилии гениальный грек, конечно, измыслить не мог. Более определённо выразился один немецкий профессор XIX в.: «...с гомеровской Одиссеей в руках в Балаклаве не заблудишься; здесь всё как в книге» (*Koch*, 1854. S. 84). Совпадает и дополнительная примета — упомянутый Гомером родник в оконечности бухты, названный им «источником Артакии» (*Ханацкий*, 1867. С. 275). Он, кстати существует и доныне, и на его чистоту и многоводность обращали внимание весьма сведущие составители навигационных предписаний (см., например: Лоция Чёрного моря, 1976. С. 158–159. Об этом говорят и более поздние «Извещения мореплавателям», вклеенные в развороты соответствующих страниц Лоции).

Позднее о таврах сообщается в перипле Черного моря («Описании моря, прилегающего к населенной Европе, Азии»), сочинении автора IV в., приписанном Скилаку Кариандскому: «За скифской землей народ тавры заселяют мыс материка, а мыс этот вдается в море. В таврической земле живут эллины, у которых город следующий: торговый город Херсонес, мыс таврической земли Бараний Лоб (очевидно, имеется в виду Аю-Даг. — *В.В.*). Затем опять живут скифы» ([*Скилак*], 1947. С. 154–155). К этому времени уже около двух веков существовала Ардавда, или *Город семи богов* на месте будущего Кефе, который и был в своё время построен с использованием каменных блоков из этого старого таврского торгового города (*Ханацкий,* 1867. С. 285–286).

Этноним «тавры», встречающийся здесь впервые, позволяет дать иное, чем приведенное выше, толкование его происхождения. Оно, очевидно, было дано этим крымцам греками, предположительно в связи с жертвоприношениями Деве — верховной богине древнего крымского населения. Впрочем, подножие главного алтаря Девы, расположенного где-то на мысе Фиолент, обагряла кровь не только быков (*тавров* по-гречески), но и людей. Об этом согласно пишут античные авторы IV–III вв. до н. э., например, Каллимах в «Гимне Артемиде»[1] и бо-

[1] «...Ты, богиня, пришла из Скифии, чтобы поселиться в Алах Афинских, и отвергла устав тавров» (*Каллимах,* 1947. С. 262). Известно, что туры и зубры водились в степном Крыму в изобилии. Вначале эти крупные млекопитающие были предметом охоты, а затем их одомашнили (*Буров*, 2006. С. 70, 86).



Полуземлянка III в. до н. э., поселение Тарпанчи.
Реконструкция из: Щеглов, 1976

лее молодые (II–I вв. до н. э.) Никандр[1], а также безымянный автор (возможно, Скимн Хиосский) сочинения «Землеописание».

Последний текст более подробен: «Тавры — народ многочисленный и любят кочевую жизнь в горах; по своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют своих богов нечестными деяниями» (ВДИ, 1947. № 3. С. 311). О «святилище Девы, какой-то богини» в Херсонесе упоминает знаменитый Страбон, добавляя, что «имя её носит и находящийся перед городом на расстоянии ста стадиев мыс Парфений (то есть «Девичий». — *В.В.*). В святилище же находятся храм богини и её статуя. Между городом и мысом есть три гавани, затем следует древний Херсонес, лежащий в развалинах (это, скорее всего, развалины пригородных селений на Гераклейском полуострове. — *В.В.*), а затем бухта с узким входом, возле которой преимущественно устраивали свои разбойничьи притоны тавры, скифское племя, нападавшее на тех, которые спасались в эту бухту, а называлась она бухтой Символов» (*Страбон*, 1947. С. 203).

Миф о том, что царём тавров некогда был сын Гелиоса Персей (известный Персей — сын Зевса и Данаи, а связанный с Таврами, малоизвестный, — сын Гелиоса), излагают Дионисий Митиленский в «Аргонавтах» (*Дионисий*, 1947. С. 309) и анонимный составитель Схолий к Аполлониевой «Аргонавтике»[2]. Ещё один царь тавров, известный нам от древних, Тоант, согласно Схолиям к Овидию Назону являлся сыном Вакха (ВДИ, 1949. № 1. С. 245). Этот Тоант преследовал спутников Ореста и Пилада, как пишет в своем «Объезде Эвксинского Понта» Арриан, автор II в. н. э. (*Арриан*, 1948. С. 265).

---

[1] «Но Артемида вместо Ифигении представила к алтарю телёнка, а её унесла весьма далеко от Эллады, на так называемый Эвксинский Понт, к Фоанту, сыну Борисфена (т. е. Днепра. — *В.В.*), и туземный кочевой народ назвала таврами, потому что вместо Ифигении представила к алтарю бычка, а её [назвала] именем Тавруполы (т. е. «пасущей волов» или Волопаски. — *В.В.*)» (ВДИ, 1947. № 3. С. 216–217).

[2] «Персей сделался царём тавров и, соединившись с какой-то нимфой, произвёл дочь Гекату, которая, живя постоянно в пустынях, приобрела величайшую опытность в составлении ядовитых и лекарственных средств» (ВДИ, 1947. №3. С. 291–292).

Более сведущий в истинной, не мифической истории тавров Диодор Сицилийский (I в. до н. э.) описывает их быт, типичный для морских пиратов, жестоких и кровожадных разбойников (*Диодор*, 1947. С. 257, 266), обитавших, согласно Страбону, на большей части побережья Крыма, вплоть «до перешейка и Каркинитского залива» (*Страбон*, 1947. С. 205), то есть южнее линии Евпатория—Перекоп. Однако Керченский полуостров во второй половине II в. принадлежал не таврам, а боспорянам, с царём которых Митридатом тавры, согласно «Митридатовым войнам» Аппиана, поддерживали добрые отношения (ВДИ, 1947. № 4. С. 283). Мнение о таврах VI в. до н. э. как пастухах, возможно, сочетавших это мирное занятие с морским пиратством, высказывают и современные авторы (*Айбабин*, 1991. С. 212).

Но вот со своими северными соседями, скифами, судя по источникам, тавры нередко воевали. И даже выработали в этих сражениях своеобразную тактику: «предпринимая войну, [тавры] всегда перекапывают дороги в тылу и, сделав их непроходимыми, вступают в бой; делают они это для того, чтобы, не имея возможности бежать, необходимо было или победить, или умереть» (*Полиен*, 1948. С. 218). Впрочем, возможно, это искажённое свидетельство о существовании древнего оборонительного вала и глубокого рва на Перекопе, которые существовали и в более древние времена, но упоминаются только у более поздних авторов[1]. Доказанно, что сооружения эти существовали уже в III–II вв. до н. э., и ныне они весьма точно локализованы на местности, описанной старыми авторами (*Вдовиченко, Колтухов*, 1986. С. 155)

Границы расселения тавров первым намечает Геродот: «Скифия... простирается до города, называемого Каркинитидой. Отсюда идет гористая страна, лежащая вдоль того же моря. Она вдается в Понт и населена племенами тавров вплоть до Херсонеса Скалистого (Керченский полуостров. — *В.В.*). Херсонес этот на востоке выступает в море» (*Геродот,* 1972. С. 212). То есть древний историк проводит северную границу расселения их от Евпатории до Феодосии, отсюда следует, что тавры занимали часть степи, все предгорье, горные и южнобережные территории. Площадь эта со временем сильно сократилась, но ещё в V в н. э. тавры владели горами и берегом, включая Судак на севере. «От Феодосии до пустынной гавани Афинеона, или гавани скифо-тавров, 200 стадиев», — указывает автор, известный под именем Псевдо-Арриан (*Псевдо-Арриан*, 1948. С. 235).

Здесь, кстати, стоит заметить, что, согласно давним и современным археологическим исследованиям, таврский район обитания простирался вдоль южного берега Крыма, от Балаклавы до Судака. Далее к востоку, в том числе и на Керченском полуострове, таврских погребений (каменных ящиков) не обнаружено вовсе (*Крис*, 1981. С. 55).

Как о своих современниках пишут о таврах и более поздние авторы, жившие во II в. н. э. Упоминая о сохранившемся в Крыму обычае человеческих жертвоприношений Деве, они называют её Артемидой, добавляя, что иногда богиня лично умерщвляет пленников (*Афинагор*, 1948. С. 263; *Теофил*, там же). Другие более реалистично полагают, что этим всё же занимаются люди. «Тавры... кого ни захватят у себя из иностранцев, потерпевших кораблекрушение на море, тотчас приносят

[1] «Тафры... страна у Меотийского озера (то есть Азовского моря. — *В.В.*), которую отделили рвом рабы» («Описание племён» // *Стефан Византийский*, 1948. С. 327).

в жертву Таврической Артемиде», — говорит в «Увещательной речи к эллинам» Климент Александрийский (*Климент*, 1948. С. 280–281; см. также: *Famin*, 1835. S. 4). Более детально раскрывает эту интересную тему и Геродот: «У тавров существует такой обычай: они приносят в жертву Деве потерпевших кораблекрушение мореходов и всех эллинов, кого захватят в открытом море, следующим образом. Сначала они поражают обреченных дубиной по голове. Затем тело жертвы... сбрасывают с утеса в море, ибо святилище стоит на крутом утесе, голову же прибивают к столбу... Живут тавры разбоем и войной» (*Геродот*, 1972. С. 213).

Таким образом, опасность стать таврской жертвой была отнюдь не мифом, а суровой действительностью той эпохи; Ориген призывал в 249 г. н. э. даже «уничтожить... существующие у тавров законы о принесении иностранцев в жертву Артемиде» (*Ориген,* 1948. С. 299). Актуальный этот призыв остался явно безрезультатным — о продолжавшейся практике кровавых оргий мы встречаем упоминания у авторов и IV[1], и даже V в. н. э.[2] Единственное свидетельство об употреблении таврами жертв в пищу[3], по-видимому, ошибочно. Если бы этот архаичный и почтивсеобщий обычай, в нашу эру, однако, в Европе почти не отмечавшийся, сохранился в Крыму, неплохо известном древним авторам, упоминаний о нем было бы больше.

Существует римское предание, согласно которому культ Дианы был учрежден Орестом, убившим Фаоса, царя Херсонеса, и бежавшим с сестрой в Италию. При этом он привез в пучке веток изображение Дианы Таврической. Однако на римской почве жестокий ритуал жертвоприношения вылился в более мягкую форму. Беглый раб, которому удалось сломать ветку на священном дереве, приобретал право сразиться со жрецом немийского святилища за титул царя Леса. Д.Д. Фрэзер считает, что этот смертельный поединок является отголоском человеческих жертвоприношенийявляется отголоском древних чел. жертвоприношений (*Фрэзер,* 1983. С. 11).

в) Тавры в свете археологии

В последние десятилетия историки пришли к весьма важному выводу о том, что тавры представляли собой значительную часть складывавшегося в древности и Средневековье коренного крымского населения, отчего и изучение их приобрело «первостепенное значение для выяснения роли местных племен в истории... Крыма» (*Лесков,* 1961. С. 1).

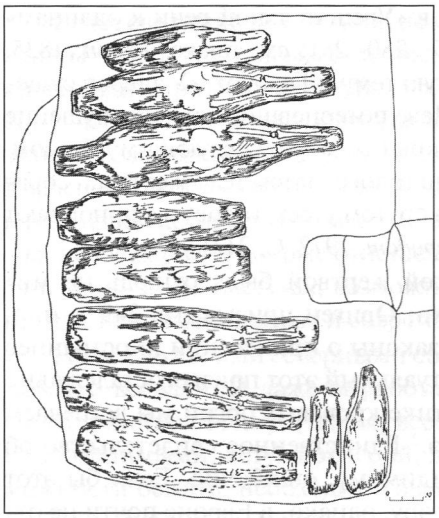
Впервые учёные столкнулись с материальными памятниками тавров ещё в конце XVIII в., когда Паллас обнаружил таврский дольмен (повидимому, каменный ящик) у деревни Токлук близ Судака. Но до того как было найдено

---

[1] «Тавры приносят так называемой у них Деве в жертву потерпевших кораблекерушение»; «они живут наподобие зверей, незнакомы с человеческими установлениями и не единодушны по своей природе, но живут совместно диким и насильственным образом» (*Афанасий*, 1948. С. 237; 239).

[2] «Тавры — народ многочисленный, ведут они жизнь горцев или кочевников, по свирепости — варвары и убийцы, умилостивляющие своих богов злодеяниями» (*Псевдо-Арриан*, 1948. С. 235).

[3] *Псевдо-Орфей,* 1948. С. 270.



Находки из таврского каменного ящика.
По Н.И. Репникову

первое таврское селение (у Кизил-Кобы), прошло ещё больше столетия. А потом последовали многочисленные находки самых разнообразных памятников и начались целенаправленные поиски, раскопки, исследования горного Крыма.

Исследования эти неопровержимо показали, что о единой таврской культуре можно говорить лишь в общем антропологическом плане. Она имела ряд основных черт, общих для всех тавров (например, способ захоронений, изготовление инструмента и посуды, сам физический облик). Однако некоторые местные отличия и особенности позволяют чётко выделить ряд субэтнических групп, проживавших в пяти районах:

I. Гераклейский полуостров, Инкерманская долина, побережье Балаклава — мыс Айя.

II. Предгорная часть долин рек Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Зуя, Карасу и др.

III. Северные склоны юго-запада Главной гряды и горные долины — Ашлама-Дере, Байдарская, верховий Бельбека, Качи, Альмы, Салгира и др.

IV. Северные склоны Главной гряды в ее центральной и юго-восточной частях — верхняя часть долин рек Бештерек, Карасу, Бурульча и др.

V. Алуштинская, Судакская, Капсельская, Козская, Отузская и другие долины южного и юго-восточного побережий (*Шульц*, 1959. С. 236). Это лишь один из взглядов на данную проблему; имеются и другие точки зрения[1].

Наиболее заметны следующие культурные различия таврских племен в этих местах обитания: ранние тавры Керченского полуострова испытали влияние прикубанских культур; там, где горные тавры сталкивались со степняками, они воспри-

[1] В последние десятилетия всё более строгий подход к культурной типологии археологических памятников склоняет исследователей к некоторому «сужению» ареала обитания тавров. Так, некоторые авторы полагают, что по всему Южному берегу Крыма доказанно (да и то не до конца) таврским может считаться лишь одно селение, располагавшееся в окрестностях Симеиза. Здесь сохранились как жилые постройки, так и мощные оборонительные стены (*Фирсов*, 1990. С. 317–331).

няли некоторые элементы срубной культуры (например, Белогорская стоянка); наиболее быстро развитие шло в удобных для земледелия и рыбного промысла районах — в Инкерманской долине, на Гераклейском полуострове.

На сегодняшний день накопились весьма заметные результаты полевых исследований. Это позволяет выделить следующие разновидности памятников таврской культуры, относящиеся ко всем трём периодам, на которые можно разбить историю этноса — раннему (X–VI вв. до н. э.), среднему (V–I вв. до н. э.) и позднему (I в. — III–V вв. н. э. и позднее):

Стоянки в пещерах и под нависающими скалами (Кизил-Коба, Кош-Коба, Эни-Сала, Замиль-Коба, Алимов навес у Баштановки).

Открытые стоянки (Альма, Балаклавская, Евпаторийская, Белогорская, Заветнинская, Симферопольская, Кизил-Кобинская, Инкерманская и др.).

Укрепленные поселения (мыс Ай-Тодор, горы Кастель, Агармыш, Аю-Даг, Базман, Ай-Иори и др.).

Неукрепленные убежища на скалах (Кызыл-Кулак-Оба, Караул-Оба и др.).

Каменные завалы и укрепления-клиссуры, закрывавшие перевалы (у Байдарских ворот, на Чучельском перевале, на Бабугане, на Караби-Яйле, между Демерджи и Тырке и др.).

Менгиры и кромлехи (долины Байдарская, Алуштинская, урочище у с. Высокое).

Дольмены и каменные руины (Байдарская долина, окрестности Ялты, Мангуп и др.).

Жертвенники (г. Кошка), святилища (у Ялты).

Четырехстенные дома с очагами (Евпатория).

г) Ранние тавры (X–VI вв. до н. э.)

В ранний период своей истории тавры вполне ещё «шли в ногу со временем», если сравнивать их с соседями. Они умели строить мощные оборонительные стены с напольной стороны горных мысов или полуостровов побережья (Таш-Джаргал в предгорье Уч-Баш на Гераклейском полуострове). Как правило, эти укрепления господствовали над местностью, с них открывался широкий обзор подходов к стенам — особенно характерно в этом смысле укрепление на вершине Аю-Дага (*Кропоткин,* 1953. С. 11).

Судя по таким находкам, как зернотёрки, мотыги, гарпуны, сетевые грузила, они жили осёдло, занимаясь земледелием и рыболовством, собирая у берега съедобных моллюсков. Среди таврских зерновых культур уже в X–VIII вв. до н. э. встречаются твердые и мягкие карликовые пшеницы, перешедшие сюда, очевидно, с родины земледелия — Ближнего Востока — в весьма отдаленные эпохи, во всяком случае задолго до греческих колонистов. Семена пшеницы найдены в раскопках таврского поселения Уч-Баш; ближайшие по времени и месту находки такого рода, сделанные на Украине и в Молдавии, относятся лишь к Средневековью *(Янушевич*, 1986. С. 48). Кроме того, таврами возделывались ячмень, горох и фасоль (*Граков*, 1971. С. 78).

Кое-где, например в районе Инкермана, намечается переход от примитивного мотыжного к плужному земледелию на тягловой силе домашних животных;

в основном для этого использовалась лошадь, хоть держали и быков (обнаружены также кости свиньи и овцы). К IV в. до н. э. относятся первые винодельни. Из того, что их находят не только на местах бывших греческих колоний, а и в «таврских» районах, можно заключить, что тавры выращивали и виноград. Скорее всего, это были местные мелкоягодные высокоурожайные сорта. Тавры носили одежды, ткань для которых изготовляли сами; они искусно обрабатывали бронзу (волочение, штамповка), но ещё не избавились от наследия неолита — в ходу были каменные и костяные ножи, топоры, скребки. Посуду делали как из камня, так и из обожженной глины без помощи гончарного круга (*Репников,* 1910. С. 19), ленточным способом с последующим лощением. Огромные кувшины типа пифосов обжигались в гончарных печах (Ашлама-Дере). Орнамента на керамике не было.

Своих покойников ранние тавры хоронили в каменных ящиках, напоминающих дольмены, но часто без классического круглого входного отверстия в одной из стен. Иногда ящики достигали огромных размеров — так, отдельные плиты весили до 20 т (*Лесков*, 1965. С. 172). Эти монолиты откалывались от скалы клиньями, затем их доставляли к местам захоронений за километр и более. В один ящик тавры могли помещать всё новых умерших, нередко встречаются парные (мужчина и женщина) захоронения. К концу раннего периода в погребениях всё чаще встречаются вложения в виде железных изделий.

Греческой керамики (амфор) относительно немного (Таш-Джаргал, Кошка, Инкерман); но и эти единичные находки свидетельствуют о торговых связях тавров с греческими колонистами. Другая, более древняя, относящаяся к доэллинскому (т. е. до VI в. до н. э.) периоду разновидность греческой керамической посуды (о ней см.: *Каллистов,* 1949. С. 8), очевидно, привозилась заморскими купцами. Что же могли предложить тогдашние крымчане высоко поднявшимся над их уровнем, культурно более развитым грекам? Об этом мы ничего не знаем, но можем догадаться — наверное хлеб, шкуры, сыр, возможно, солёную рыбу. Или всего один из этих простых товаров.

д) «Средние» тавры

В своей «Истории» (IV, 102) Геродот указывает, что таврские племена V в. до н. э. возглавлялись «царями» (*басилевсами*). Однако подобная централизация — слияние племен в более крупные государственные объединения — сопровождается, как правило, и укрупнением поселений, строительством крепостей и т. п. Что же касается тавров, то наука подобными фактами пока не располагает. Поскольку, такого рода объекты обычно не ускользают от внимания исследователя, возможно, их в Крыму, изучение которого ведется не одно десятилетие, просто не было. А это заставляет усомниться в свидетельстве Геродота. Очевидно, он имел в виду старейшин родов или вождей племен.

Между тем быт тавров средней поры изучен гораздо лучше по сравнению с предыдущим, ранним периодом. Мы знаем, что к этому времени их связи с греческими колонистами окрепли: обильны находки из бронзы, всё чаще встречается греческая посуда, гривны, браслеты, кольца, цепочки, много бронзовых наплечников, бронзовых и железных частей конской упряжи, железных мечей типа акинаков.

Преобладавшие в раннюю пору дома столбовой конструкции, оплетенные лозой и обмазанные глиной (Уч-Баш), полуземлянки с аналогичной наземной частью (Ашлама-Дере) и обычные землянки (Кизил-Коба) сменяются одно- и двухкамерными домами (г. Кошка). В селениях нередки гончарные печи, системы водоотводных каналов (Айвазовское). К концу средней поры из погребений исчезает массивная бронза, сменяясь железом, появляется удивительно изящная, гладкая неорнаментированная керамика — ещё одно свидетельство греческого влияния.

Изменяется и ареал расселения. С V в. до н. э. скифы, опередившие тавров в развитии государственности, усиливаются. Возможно, кое-где они теснят аборигенов и заселяют предгорья. Постепенно тавры оставляют степь: так, в селении на месте будущей Керкинитиды они еще жили не позднее V в. до н. э. (*Драчук, Кутайсов*, 1985. С. 83), но в более позднюю эпоху, около III в. до н. э., тавры уже строят неприступные для кочевников укрепления на Аю-Даге, Кошке, на некоторых других возвышенностях и скалах (*Граков*, 1971. С. 77). Самое крупное из ныне известных сооружений такого типа — Харакс на Ай-Тодоре. Крепостные стены клали без раствора из точно подогнанных огромных блоков местного камня. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что Харакса до прихода римлян не существовало, и они построили свою крепость на пустом месте (*Орлов*, 1988).

Расширяется и тавро-скифо-греческая аккультурация. Так, мы встречаем чисто таврские захоронения в античном Херсонесе. А румынский историк Д. Пиппиди, исследуя одну из херсонесских надписей II в. до н. э., пришел к выводу, что в городе и окрестностях постоянно проживали несвободные тавры, по греческой терминологии «парэки». С другой стороны, на Боспоре была найдена любопытная надгробная стела с надписью «Памятник Тихона. Под этим памятником лежит муж, для многих желанный, родом тавр. Имя же его Тихон» (Цит по: Корпус, 1965. С. 113). Этот весьма неоднозначный текст наталкивает на разные интерпретации.

С одной стороны, можно думать, что тавры в глазах культурных греков стояли уже достаточно высоко, чтобы быть «желанными» для боспорянок — или босопорян.

С другой стороны — имя Тихон наводит на мысль, что не все памятники, носящие греческие имена были воздвигнуты грекам. Нельзя исключать, что по крайней мере некоторая их часть принадлежала огречившимся таврам.

Впрочем, относительно Херсонеса сомнений в наличии там большого числа горожан-тавров нет. В эллинистических слоях города найдено огромное количество керамики, где на ручках стоят имена мастеров с этнонимом «тавр». И это при том, что в процентном отношении, как полагает П.Н. Шульц, больше их жило в боспорских городах (*Шульц,* 1957. С. 249; см. также: *Щеглов*, 1976. С. 11).

Там же, в херсонесской округе (урочище Уч-Баш), обнаружены доказательства культурно развитого и производственно мощного виноделия, а также ремесла на следующем его этапе. Причём ряд признаков указывает на то, что эта отрасль была не заимствована у греческих колонистов, но имела оригинальное крымское происхождение. Самое важное из имеющихся доказательств — ее существование здесь до высадки первых греков на Гераклейском полуострове. Кстати, считается, что именно из-за плотной заселённости этого выступа суши таврами греки основали первые южнокрымские свои колонии не здесь, а на расстоянии 8–10 км.

на полуострове Маячном — месте безводном и ветреном, но незанятом таврами (*Даниленко*, 1993. С. 236–237). Да и позже, когда Гераклейский полуостров был отвоёван колонистами у аборигенов, греки ощутили себя защищёнными от постоянной таврской угрозы только отгородившись от последних рвом длиной в 8 с лишним км, выкопанном по линии Балаклава–Кадыкой–устье р. Узень.

Раскопки подтверждают и отмеченные античными авторами факты выступлений тавров совместно со скифами против войск Митридата, что дополнительно подтверждает возможность тавро-скифского смешения. Отмечена она в захоронениях этой поры, где отчетливо видна взаимосвязь погребальных культов (*Троицкая*, 1954). Некоторые исследователи считают, что этот процесс бесспорно протекал уже в III в. до н. э., когда полным ходом шли не только культурное смешение и общая эллинизация, но стирались и этнические различия (*Зинько*, 1993. С. 241).

О культурных заимствованиях у тавров другими народами уже говорилось. Это прежде всего культ Девы (Артемиды), нашедший благодатную почву и развившийся у греков и римлян. Менее известны факты перехода таврских божеств к близкососедним народам; между тем их не могло не быть. Так, например, по некоторым данным, скифы заимствовали у тавров культ верховной богини в виде полуженщины-полузмеи и т. д. (*Ростовцев*, 1918. С. 74).

е) Поздние тавры

Наивысшего уровня таврская культура достигла в поздний период истории народа, когда полностью завершилась хозяйственная и социальная дифференциация. Горцы стали преимущественно скотоводами (отгонный тип отрасли с преобладанием мелкого скота). Жители долин между Главной и Второй грядами, этих наиболее густозаселённых (и тем не менее ускользнувших от внимания античных ученых) областей, стали земледельцами. Они выращивали пшеницу, ячмень, горох, фасоль, а хранили урожай в зерновых ямах глубиной до 2 м, а также, как и раньше, в огромных, типа пифосов, кувшинах. Эти хранилища, сопоставленные с количеством жителей селений, свидетельствуют о производстве и товарного зерна, безусловно шедшего прежде всего в греческие города-колонии. Упомянутый переход от мотыжного к плужному земледелию в III в. до н. э. в основном завершился, хотя особенности горных пашен сохранили роль мотыги во многих таврских селениях. В качестве чисто подсобного промысла сохранила свое значение охота — это касается и гор, и долин.

В приморских селениях, например, на Гераклейском полуострове, жители по-прежнему оставались искусными рыбаками, охотились и на дельфина. Здесь. как ни странно, торговля была развита слабее: недаром Херсонес был основан на век-полтора позже городов-колоний в земледельческих районах, отличавшихся обилием товарной продукции.

И снова поставим вопрос: какое влияние могло испытывать таврское население со стороны ближайших соседей — скифов и греков, и могло ли оно в свою очередь оказывать влияние на них?

Взаимовлияние началось, очевидно, с VII в. до н. э., когда на периферии таврской территории появились скифы. Погребения их стали отражать таврские обычаи

курганы между Альмой и Качей содержат много таврского инвентаря, заметно отличаясь от одновременных скифских же погребений за Перекопом. Но в начальную эпоху пребывания скифов в Крыму их здесь было немного. Таврская же культура, горная по преимуществу, слишком многим отличалась от степной кочевнической (степные тавры были осёдлыми, занимаясь отгонно-пастбищным скотоводством), и это также повышало её невосприимчивость к скифским влияниям.

О каких-либо крупных военных столкновениях между таврами и скифами той поры античные авторы не говорят ничего. Но у них отражен факт неприятия таврами позиции скифов по отношению к походу Дарию и их отказа помочь соседям в начавшейся войне с персами (*Геродот*, 1947. С. 281). Это говорит, во-первых, о независимости тавров по отношению к скифам, а во-вторых, о мирных тавро-скифских отношениях. О том же свидетельствует открытость, незащищенность таврских поселений на скифской границе и в IV–III вв. до н. э. (Айвазовское, Альма-Кермен).

Но позже, в III–II вв. до н. э., когда скифы утратили былое могущество, а центр скифского государства переместился в Крым, начинается процесс тавро-скифской аккультурации. Она была неравномерной — если у скифов влияние тавров почти незаметно, то тавры предгорья воспринимают постепенно погребальные обряды скифов — это видно из захоронений I в. н. э. в Неаполе[1]. Исходя из этой и иных аналогичных перемен, можно сделать вывод о том, что и межэтнические тавро-скифские браки распространялись все шире. Этот процесс давно отмечен наукой, и население предгорий последних веков до нашей эры принято называть уже тавроскифами.

Однако скифы постепенно продвигались к Херсонесу и в конце IV в. до н. э. уже вовсю торговали здесь, очевидно оттесняя тавров, конкуренция которых была слабой как по количеству, так и по выбору товаров. А ещё через некоторое время, в III в. до н. э., греки вступают с таврами в вооруженные конфликты — очевидно, из-за земель, необходимых для ширящихся виноградников херсонеситов (*Лесков,* 1965. С. 183). Конфликты эти учащались, греки стали окружать свои селения стенами с башнями, но со II в. до н. э. тавров стали поддерживать скифы, для греков противник куда более опасный.

---

[1] Город, который современники-греки называли Неаполем (скифское название до нас не дошло), являлся столицей скифского государства в Крыму с III до н. э. до III в. н. э. Был расположен в центральной части Крыма, позднее на этом месте возникло селение Керменчик (его больше не существует, ныне это юго-восточная часть Симферополя, район Петровской балки). Площадь города достигала 20 га. Он был защищён с северо-востока 50-метровым скальным уступом, обращённым к Салгирской долине, с запада — обрывом Петровской балки, а с южной, напольной стороны — 500-метровой дугообразной стеной высотой до 10 м. То есть это была мысовая крепость (*Буров*, 2006. С. 172). Раскопки Неаполя начались в XIX в., но уже тогда едва ли не большая часть материала была безвозвратно утрачена. Несмотря на то, что памятник мирового значения стал известен российской науке (были обнаружены жилые и хозяйственные постройки, мавзолей, каменные склепы с росписями и др.), он стал разрушаться местными жителями и предпринимателями: «городские власти не только не поставили заслон самовывозу ценностей с Керменчика, но даже сдали его в аренду для добычи камня, то есть для разборки крепостных стен» (*Поляков*, 1998. С. 19).

В ходе этих столкновений и войн не обходилось, естественно, без захватов противника в плен, откуда путь был один — в рабство. И греки сохранили в различных памятниках имена своих рабов, добытых в битвах. Но вот что поразительно — среди них нет ни одного таврского! Как не было тавров и среди рабов, отправляемых в Грецию (*Лесков*, 1965. С. 184), хотя встречаются во множестве имена скифские, сарматские, даже боспорские и меотийские — здесь есть пища для размышлений. С другой стороны, среди херсонеситов первых веков н. э. немало постоянно живущих в городе тавров; очевидно, и здесь войны не помешали начавшемуся процессу ассимиляции тавров соседями с более высокой культурой.

Впрочем, имело место и обратное влияние — уже говорилось о том, что греки поклонялись таврской Деве и даже чеканили ее изображение на монетах. Добавим лишь, что культ богини-матери (Орхилохи), владычицы неба, земли, всей жизни местных племён, далеко не сразу сузился у греков до культа куда менее масштабного — Артемиды, вечно юной охотницы и покровительницы стад и очагов, богини не из малозаметных, но всё же одной из многих. Длительное время греки поклонялись именно таврской верховной богине, и это не могло не наложить на их духовный мир своеобразный отпечаток.

К этому выводу мы приходим, сравнив культ херсонеситов с таврскими верованиями, хотя о последних известно меньше, чем о первых. У тавров был ряд божеств, связанных с культом плодородия. Так, в лесу над Ялтой, в урочище Селим-Бек, открыто святилище женского божества, где тавры приносили свои жертвы, а также оставляли денежные пожертвования — здесь найдено множество монет: римских, херсонесских, боспорских, датируемых I в. до н. э. — IV в. н. э. Обнаружены и две терракотовые статуэтки божества — это небольшие, около 15 см в высоту женские фигурки; очевидно, при отправлении культа они использовались в большом числе. В дисковом орнаменте керамики и круговой её конфигурации отразился культ Солнца, также, как известно, связанный с культом плодородия (как и обычай тавров хоронить детей не в обычных могилах, а в зерновых ямах).

Особую роль в культовой системе тавра играла собака. В целом пока костей собаки найдено немного, даже в горах, где было развито пастушеское ремесло. Тем не менее этому животному явно придавалось скорее магическое, чем хозяйственное значение. Кости собаки также находят в зерновых ямах Инкермана, Нейзаца, Карасубазара — псы должны были охранять урожай и благополучие народа, отсюда и такое внимание к ним (*Богаевский*, 1937. С. 190–191).

Космогонические представления поздних тавров хорошо освещаются изображениями на ритуальных сосудах. Так, в одном из главных святилищ, находящихся в специально приспособленном нежилом, священном месте (одна из пещер Кизил-Кобы), был найден сосуд с изображением солнца и менее реалистичными — дождя и молний (*Домбровский, Щепинский*, 1962. С. 40). И этот предмет явно имел отношение к культу плодородия.

На исходе своей истории таврские племена испытывали, судя по всему, давление практически со всех сторон: с севера, северо-запада и северо-востока — со стороны скифов, а также боспорян; с юга, юго-запада и юго-востока — со стороны греков, а затем гораздо более неотступно их теснили римляне.

В борьбе против пришельцев тавры в соответствии с вышеприведенным свидетельством Аппиана нередко меняли союзников. Так, они объединялись с занявшими Керченский полуостров скифами для борьбы с римлянами, ставшими их основным противником с I в. до н. э. Сражались с римлянами они не только на суше, но и в открытом море, где скифы им помочь не могли. Флавий сообщает, что для уничтожения таврской флотилии маломерных судов римляне направили к берегам Крыма 40 кораблей и 3 тыс. солдат на борту (Иудейская война. Т. II. Гл. 16, 4).

На суше же тавры успешно перенимали фортификационную технику врага. Они стали применять мелкоблочную кладку в оборонительных стенах, как римляне (г. Кошка), наращивали крепостные пояса, как это делали скифы: в Неаполе при небольшой толщине каждой из параллельных стен-панцирей общая толщина вместе с забутованным межстенным пространством достигала 2,5 м.

Над крепостными стенами нередко высились башни, выступавшие за лицевую сторону для обстрела с флангов идущего на приступ противника.

ж) Закат народа-аборигена

Когда же тавры исчезли с лица земли как самостоятельный народ с собственной культурой? Археологи утверждают, что остатки этноса сохранялись в горах до зрелого Средневековья, т. е. и в VII, и в VIII в. (*Шульц*, 1959. С. 257). Есть мнение, что вначале тавры под напором гуннов (IV в. н. э.) были оттеснены на Мангуп; это подтверждается и археологическими данными, но речь здесь идет лишь о жителях близлежащих речных долин. Обитатели же неприступных горных твердынь, очевидно, смешались с менявшимся окружением — народами, приходившими и остававшимися на полуострове, прежде всего со скифами (*Соломоник*, 1967. С. 155). Но и этот процесс начался в горных районах не ранее чем в Средневековье, когда в горы, к селениям тавров, поднялись остатки скифов, уцелевшие после разгрома их державы.

Автор «Жития Иоанна Готского» свидетельствует о том, что «тавроскифы» населяли Партенит и в VIII в. (с. 396). Не исключено, впрочем, что речь здесь идет не о смешанном населении — как известно, античные авторы называли тавроскифами и чистокровных тавров, а автор «Жития» мог следовать этой традиции.

Последнее в истории упоминание о таврах (тавроскифах) относится к X в. — в эту пору к ним направляются христианские миссионеры (Жития херсонесских мучеников, С. 406). Возможно, конечно, что это уже не этнический, а этногеографический термин (жители «Страны тавров»). Но с другой стороны, локализация их памятников в районе Херсонеса противоречит такому предположению — не к христианскому же населению этого северного оплота византийской церкви могли плыть корабли миссионеров. А об иных (кроме тавров) язычниках, обитавших в близких окрестностях Херсонеса, источники X и более ранних веков ни разу не упоминают...

Каким же был закат тавров, одного из первых исторических этносов крымской земли? То, что само имя их с конца 1-го тысячелетия и далее начинает изглаживаться из памяти современников, ещё ни о чем не говорит. Есть много примеров, когда этнос менял и имя, и язык, и веру, однако культурно и тем более антропологически оставался самим собой (вспомним хотя бы о современных урбанизированных евреях

США, евреями себя давно не считающих, они — типичное порождение американской культуры). Древние народы так просто не «исчезают». Их нужно с территории выселить или истребить — лишь в этих случаях может быть «гарантия» бесследного их исчезновения. Да и то как сказать...

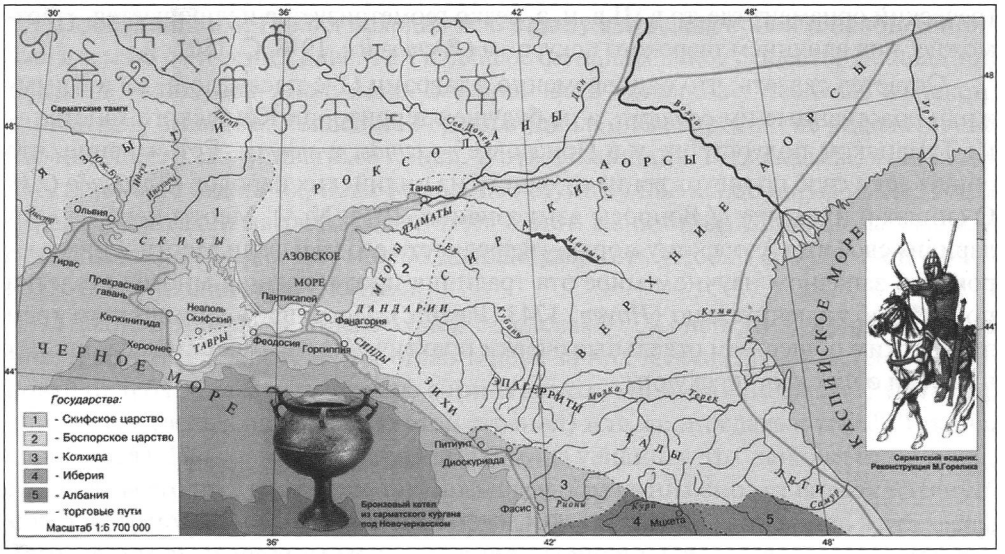
Встречающееся ещё иногда утверждение о том, что тавры были где-то в IV–V вв. полностью истреблены римлянами, малообоснованно. Легионеров для подавления таврского сопротивления было недостаточно и в эпоху расцвета римского могущества в Крыму; как же могли они прочесать все горные массивы в период, когда деятельность Рима здесь начала понемногу сворачиваться? И главное — с какой целью? Неудивительно, что подобные предположения были в свое время подвергнуты убедительной критике (*Шульц*, 1959. С. 270).

Более обоснованными выглядят между тем совсем иные гипотезы. Ещё в XIX в. талантливый исследователь Крыма Петр Кеппен заметил: «Мне кажется очень вероятным, что в жилах обитателей почти всех богатых находками дольменов областей ещё и теперь течет кровь древних строителей дольменов» (Russische Revue. Bd. V. 1874. S. 551). Другими словами, он высказал не такую уж невероятную гипотезу о том, что тавры, будучи в Средние века сильно татаризованы, остались жить на старых местах, но уже под иным именем и перейдя постепенно на крымскотатарский язык, а также заимствовав мусульманскую веру.

И прозрение этого учёного было спустя многие десятилетия подтверждено новыми точными науками, в частности антропологией: «Скудные данные о европеоидных брахиокранных и гипербрахиокранных черепах из пещерного города Эски-Кермена наводят на вопрос о том, не было ли средневековое население горного Крыма в основном потомками его древних аборигенов — таврос?.. В самом деле, куда же исчезли тавры? История не говорит о каких-либо переселенцах...» и т. д. (*Жиров*, 1949. С. 283–284). Более убедительных гипотез о судьбе тавров, признаться, встречать пока не приходилось ни в отечественной, ни в зарубежной науке.

Зато встречались весьма точные наблюдения антропологов, которые ещё в конце XIX в. пришли к выводу о том, что крымские татары гор и Южного берега «ничего не имеют общего с татарами в том смысле, как мы привыкли понимать это слово. Многие говорят, что южнобережные татары имеют греческий тип, но и это несправедливо — татары Крыма имеют свой тип, действительно сильно колеблющийся по отдельным местностям, тем не менее тип своеобразный. Первенствующий элемент был, бесспорно, не тюркский... Первое, что мне бросалось в глаза... это их так называемый „благородный“ облик и отсутствие монгольских черт» (*Харузин*, 1890 «б». С. 60). Далее автор приходит к выводу о бросающейся в глаза антропологической схожести татар бывшей Готии с цыганами и иранцами, т. е. индоевропейцами, минимально смешавшимися с иными расами. «Такое сходство, — заключает ученый, — может быть объяснено общеарийским происхождением тех и других» (*Харузин*, 1890. С. 321).

Академик П.С. Паллас также писал о том, что «горские татары Кикинеиза, Лимены и Симеиза имеют совершенно особый тип лица, отличающий их от всех других горских татар. Очень продолговатые лица, непропорционально длинный и загнутый нос и сжатые с боков, высокие головы... Все эти татары имеют рыжий или светлый цвет волос, что редко встречается между татарами» (*Паллас*, 1793. С. 150).



Тавры, скифы и соседние народы

Такой физический тип не встречается среди населения ни Чёрного, ни Средиземного морей, ни Кавказа или Балкан, отчего мысль о таврском происхождении некоторых групп этих татар напрашивалась у обоих авторов как бы сама собой.

Но вернёмся к истории народа. Более конкретным выглядит сравнительно недавно сделанное предположение о том, что «тавры вливались в число жителей многочисленных позднескифских поселений» (*Айбабин*, 1992. С. 213; см. также: *Ольховский*, 1990. С. 34–36). Естественно, это позволяет сделать более широкий вывод о том, что поскольку тавры ассимилировались в Крыму, они стали частью, одним из компонентов складывавшегося коренного народа полуострова.

Тавры оставили свой след в культуре народов Крыма, в том числе материальной. Нередко скифские, римские, греческие, а затем и крымскотатарские селения поднимались буквально на фундаменте таврских городищ и крепостей. При этом скифы заимствовали таврскую каменную кладку (так называемую циклопическую), метод сужения крепостных стен кверху, ленточную керамику. Отчасти перешёл к некоторым из кочевых племён, оставшихся в Крыму, и таврский погребальный культ. Римляне не только были знакомы (таинственной) мифологией тавров, но не пренебрегали и их специфическим строительным искусством и архитектурными достижениями, так же как и греки. Ведь, судя по всему, именно у аборигенов херсонеситы заимствовали идею весьма необычных построек — усеченных пирамид — нигде, кроме этой колонии, не встречающихся — ни в Элладе, ни в других периферийных греческих городах.

В некоторых исследованиях встречаются предположения, что уже готовые, выстроенные стены боспорских склепов расписывались на таврский образец. Но самое поразительное здесь в другом: чем позже строилось сооружение, тем сильнее был заметен в нем таврский колорит. Так, от фигуративной схожести боспорские живописцы перешли к таврскому, более условному, стилю. И даже обычный

греческий орнамент где-то в III в. н. э. резко геометризуется и упрощается — возможно, под влиянием таврского искусства (*Ростовцев*, 1918. С. 180).

Остаётся сказать, что одновременно с таврами (1-е тысяч. до н. э.) в Крыму жили родственные им *сатархи,* а на будущей территории Крымского ханства — на Таманском полуострове и в Приазовье — *синды* и *меоты.* Есть мнение, что синды вели своё происхождение от одного из индийских народов (*Трубачёв О.Н.* О синдах и их языке // Вопросы языкознания, 1974. № 4). Меоты некогда «подарили» своё имя Азовскому морю — в древности его называли Меотийским озером, а в западном научном мире эта традиция продлилась на многие столетия по XVIII в. включительно (*Haven*, 1743. Passim.). Посвящать упомянутым трём этническим обществам отдельные очерки практически не имеет смысла, так как известия о них крайне скудны.

5. Скифы

а) Скифы у древних авторов и современных ученых

«По рассказам скифов, народ их моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой ещё не обитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена... Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и самый младший Колаксай. В их царствование упали на землю с неба золотые предметы: плуг, ярмо и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем, но, когда подошел третий, младший брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему.

Так вот, от Липоксая, как говорят, произошло скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата — племя катиаров и траспиев, а от младшего из братьев — царя — племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, т. е. царскими. Эллины же зовут их скифами.

Так рассказывают скифы о происхождении своего народа. Они думают, впрочем, что со времен первого царя, Таргитая, до вторжения в их землю Дария прошло как раз только 1000 лет» (*Геродот.* Т. IV. 5–7).

Сохранивший для потомков эту легенду Геродот (484–425 до н. э.), как известно, совершил путешествие и в Северное Причерноморье, где, возможно записал её от самих скифов, так что на достоверность его рассказа, судя по всему, можно положиться.

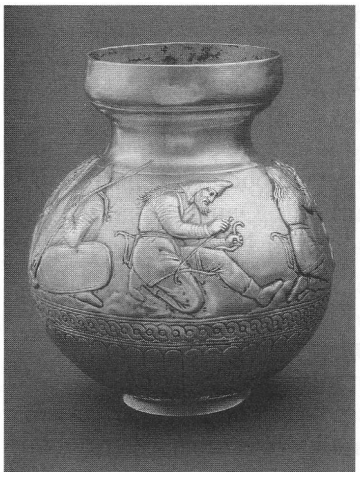
Источник второй легенды о происхождении народа — эллины, «живущие на Понте», то есть впитавшие в себя местные предания. Они сообщили отцу истории следующее: «Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда ещё необитаемую страну (теперь ее занимают скифы)... Там его застали непогода и холод. Закутавшись в львиную шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони (он пустил их пастись) чудесным образом исчезли.

Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и наконец прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы — полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища у нее была женской, а нижняя — змеиной. Увидев её, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у неё, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь. Тогда Геракл ради такой награды соединился с этой женщиной. Однако она медлила отдавать коней, желая как можно дольше удержать у себя Геракла, а он с удовольствием удалился бы с конями.

Наконец женщина отдала коней со словами: „Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя; ты отдал теперь за них выкуп. Ведь у меня трое сыновей от тебя. Скажи же, что мне с ними делать, когда они подрастут? Оставить ли их здесь (ведь я одна владею этой страной) или же отослать к тебе?" Так она спрашивала. Геракл же ответил на это: „Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего поступить тебе так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна, и выполнишь мое желание".

С этими словами Геракл натянул один из своих луков... Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс (на конце застежки пояса висела золотая чаша) и уехал. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого — Гелоном, а младшего — Скифом. Затем, помня совет Геракла, она поступила как велел Геракл. Двое сыновей — Агафирс и Гелон — не смогли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось выполнить задачу, и он остался в стране. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. И в память о той золотой чаше ещё и до сего дня скифы носят чаши на поясе (это только и сделала мать на благо Скифу)» (*Геродот*. Т. IV. 8–10).

Геродот не скрывает, что относится к первой и второй легенде как к малодостоверным источникам, явно предпочитая третью версию этногенеза скифов: «Существует ещё и третье сказание (ему я сам больше всего доверяю). Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю (страна, ныне населенная скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам). С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что делать перед лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своём, но победило предложение царей. Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков. Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя; цари же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе с народом... приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали между собой борьбу... после этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной» (*Геродот*. Т. IV. 11).



Золотой скифский сосуд
с изображением сидящих воинов.
Эрмитаж

Таковы первые версии о происхождении скифов, дошедшие до древних историков. Вероятно, и современному читателю наиболее достоверной покажется третья из них. Однако при внимательном анализе обнаруживается, что во всех них обильно рассыпаны зерна истины, хотя и неодинаково очевидные, как, впрочем, в большинстве мифов и преданий.

Итак, одна из версий Геродота основана на небесных дарах. Миф такого рода есть у нескольких народов, и все они издавна расселялись вне пределов Европейской части бывшего СССР — это весьма показательно при выяснении происхождения скифов. Но повествование Геродота целиком укладывается в устную традицию этноса, явно занесённую в Северное Причерноморье самими же скифами в период их переселения сюда из глубин Азии. В частности, на схожесть Геродотова рассказа с некоторыми персидскими древними мифами обратили внимание иранисты. Причем речь идет о весьма близкой аналогии. Так, Александру Македонскому в годы его пребывания в Средней Азии саки говорили с гордостью, что они — не простое племя, ибо получили с небес дары — упряжку быков, плуг, копье, стрелу и чашу. Но царские скифы — потомки сына Зевса Таргитая — получили в точности такие же дары! (*Тереножкин*, 1987. С. 6–7.) То, что язык скифов принадлежал к североиранской группе, вообще факт общеизвестный. Остается уточнить лишь время их великого переселения.

Нижняя граница культуры скифов как сложившегося этноса датируется VII в. до н. э. (*Клочко, Мурзин*, 1987. С. 13; *Тереножкин*, 1977. С. 88)[1]. Более ранние культуры Северного Причерноморья и Крыма — явно не скифские, хотя они и вошли в культуру этноса в качестве составной её части. Основ-

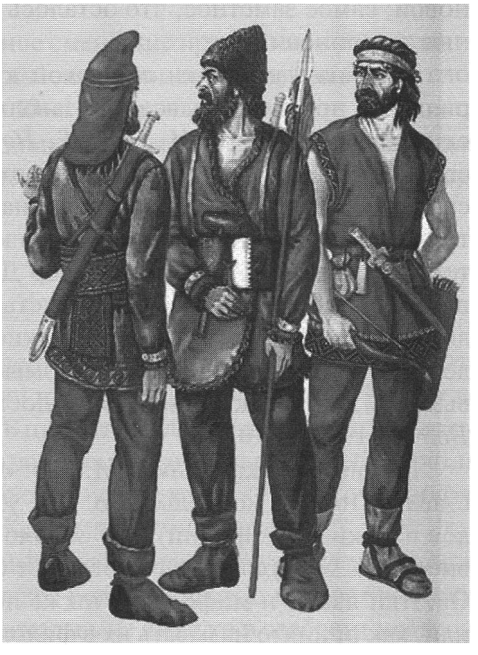
[1] О местоположении прародины скифов существует несколько мнений, отличающихся друг от друга. И даже самые современные авторы, хорошо знающие предшествующую литературу этого вопроса, определяют регион, откуда пошло начало этого великого народа, весьма приблизительно: «Скорее всего, прародина скифов находилась где-то в пределах довольно обширной азиатской территории: между Тувой, Северной Монголией, Алтаем, Средней Азией и Казахстаном» (*Гуляев*, 2005. С. 117).

ная из этих позднейших предскифских типов культуры — так называемая черногоровско-новочеркасская. Второй главный компонент — протоскифская культура, носители которой пришли из глубин азиатских просторов. И наконец, нужно назвать вклад в общий скифский культурный фонд переднеазиатских элементов, привнесенных в результате походов скифов на юг (см.: *Смирнов,* 1966. С. 16–17).

Удельный вес каждого из трёх культурных компонентов точно установить едва ли возможно; единственное, что можно сказать, — это то, что если не самым весомым, то самым наглядным из них является последний, переднеазиатский, так как он буквально преобразовал скифское вооружение, а также художественные приемы и методы обработки камня и металла. Это привело к заметному прогрессу в скифском скульптурном и кузнечном искусстве: появились знаменитые скифские стрелы, а также статуи, изображающие человека.

Скифы шли с востока двумя последовательными волнами. Сам факт такого значительного переселения в начале раннего железного века неоднократно, впрочем, оспаривался. Утверждалось даже, что «в настоящее время советские ученые с полной неопровержимостью доказали, что скифы являлись не пришельцами-завоевателями, а коренными, автохтонными жителями Восточной Европы» (*Надинский,* 1952. Т. I. С. 21). Причём резкие перемены в культуре доскифского населения объяснялись торговыми связями тавров с соседями.

Но это, как утверждают сторонники «миграционной» гипотезы, никак не согласуется с ещё недавно возвышавшимися в крымских и заперекопских степях массивными каменными изваяниями («скифскими бабами»), вес которых измерялся многими центнерами. Их невозможно было бы доставить на небольших судах начала I тысячелетия до н. э., и к тому же в столь массовом количестве.



Внешний вид и одежды скифов (реставрация)

Золотое налучье из Чертомлыкского кургана, IV в. до н. э.
Эрмитаж

Да и места, где добывался камень для их изготовления, ныне известны — они совпадают с ареалом расселения именно мигрантов «первой волны» и хронологией, датирующей её X в. до н. э. Вторая, гораздо более мощная волна переселенцев затопила Северное Причерноморье в VIII–VII вв. до н. э.; она вновь пришла с востока и снова обогатила местное население предметами иной материальной культуры. Более того, старая культура оказалась как бы заглушённой новой; самое заметное, что осталось и при новом населении, — это катакомбные захоронения.

Издавна памятники скифской культуры находили на огромных территориях, что привело к выводам о заволжском, даже монгольском происхождении скифов (*Ростовцев М.И., Коте Г., Потратц И., Артамонов М.И.* и др.). Однако ещё в прошлом веке, до того как сложился современный богатейший комплекс скифского археологического материала, некоторые учёные, опиравшиеся почти исключительно на антропометрические данные, пришли к весьма примечательным выводам. Так, профессор Д.Я. Самоквасов указывал, что найденные в скифских могилах «сосуды, монеты, бляхи, перстни и другие предметы с художественными изображениями скифов, передающими черты их наружности до малейших подробностей, показывают, что у скифов были волосы густые, лоб высокий, глаза открытые, прямо поставленные, нос узкий и прямой» (Цит. по: *Иванов*, 1912. С. 10).

Ему вторил академик К.М. Бэр: «Скифская форма лицевых костей не представляет ничего монгольского. Нос у скифских черепов высок и узок (у монголов плоский и широкий); нет сильно выдающихся скул, и места прикрепления височных мускулов далее отстоят от средней теменной линии, чем у монголов. Остатки языка и мифология также показывают, что скифы — чистые арийцы, или, как принято называть их в филологии, индоевропейцы» (там же).

Наконец, уже во второй половине XX в. известный специалист Б.Н. Граков, обобщив накопившиеся к этому времени источники, выдвинул уже на новом уровне старую гипотезу об этногенезе скифов именно в Северном Причерноморье (*Граков*, 1971). С тех пор прошло около сорока лет, но и «на сегодняшний день можно со всей уверенностью говорить о том, что палеоантропологические данные... не опровергают гипотезу Б.Н. Гракова об автохтонном происхождении носителей скифской культуры в Северном Причерноморье» (*Яблонский*, 2000. С. 77).

Можно было бы назвать десятки иных гипотез о происхождении скифов. Только характеристике «скифских» теорий и проблем посвящена целая книга (*Семенов-Зусер С.А.*, 1947), причем «попытаться примирить имеющиеся в них противоречия — дело невозможное и бесполезное» (*Куклина*, 1985. С. 187). Мы настроены более оптимистично, тем более что на основании находок и открытий последних лет количественное богатство накопленных данных может перейти в качественный скачок и привести к новым результативным обобщениям в скифоведении. И первый шаг, кажется, уже сделан: киевский ученый В.Ю. Мурзин своей теорией примиряет сторонников ряда гипотез, заимствуя у них самые ценные, конструктивные достоинства.

Согласно его датировке, генезис скифского этноса можно разделить на четыре основных этапа:

1) начало VII в. до н. э. — приход в Северное Причерноморье протоскифских ираноязычных племен, начало их смешения с автохтонным киммерийским населением;

2) VII — начало VI в. до н. э. — период совместных скифско-киммерийских походов в Переднюю Азию, складывание в их ходе новой этносоциальной структуры;

3) VI в. до н. э. — возникновение северопричерноморской Скифии в пределах степи и лесостепи;

4) конец VI–V в. до н. э. — окончательное смешение ираноязычных кочевников и киммерийцев, ускорение этногенетических процессов внутри Орды, сложение скифского этноса (*Мурзин*, 1989. С. 13–14).

Примем эту гипотезу за рабочую и попытаемся очертить более важный для нашей темы вклад скифов в этническую историю одной из территорий бесспорного их обитания — Таврии.

б) Скифы в Крыму

На полуостров скифы проникли по меньшей мере в VII в. до н. э. Этнически это были ещё не слившиеся в народ группы или племена (Плиний насчитывает их до 30), говорившие на семи несхожих языках. В период заселения, длившийся довольно долго, уже можно было различить по хозяйственно-социальным особенностям два конгломерата, которые издавна условно обозначают как «скифов-кочевников» и «царских скифов»; последние обитали в Крыму особенно массово.

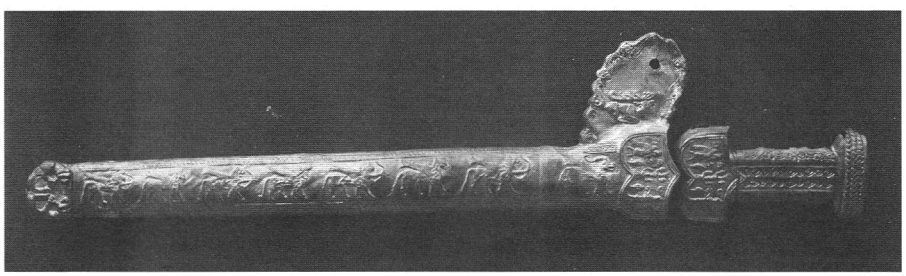
В III в. до н. э. крымские скифы занимают уже главенствующее положение в Скифии, а через век их царь Скилур овладел большей частью побережий полуострова. Причина этого продвижения заключалась не столько в слабости местного

Горельефное изображение скифского царя Скилура. *Эрмитаж*

населения, воинской мощи или многочисленности скифов, сколько в военно-политическом упадке материковой части этноса, теснимой сарматами и частично ими ассимилированной. Была и ещё одна причина возвышения крымской части народа — отмеченный многими авторами подъём её культуры. Коренное население было к тому времени оттеснено в горы, а на освободившейся территории пришельцы развили как скотоводческую, так и земледельческую экономику.

Ранее столицей Скифии был некий город на Днепре (Каменское городище близ Никополя), теперь им становится быстро развивающееся поселение в сердце Крыма, на месте нынешнего Симферополя. Новая столица не случайно была основана в Салгирской долине. Уступы белокаменных плато делали крепостные сооружения почти неприступными, рядом были обильные источники чистой воды, и, главное, город стоял на перекрестке основных торговых путей Крыма: от Перекопа — к Херсонесу и от Феодосии и Пантикапея — к Керкинитиде и Калос-Лимену близ более поздней Ак-Мечети (ныне Черноморское).

Как указывалось, горы Крыма остались за автохтонным его населением, но и на оставшейся части скифы расселились неравномерно. Границы их обитания очерчены на востоке керченским побережьем, на западе — также прибрежной полосой (почти сплошная цепь селений от устья Бельбека до Калос-Лимена), на юге — Главной грядой. В степной части этого ареала, заселённой весьма слабо, вольно кочевали пастушеские племена; очевидно, жилищем кочевников, как



Скифское оружие — меч-акинак IV в. до н. э. *Эрмитаж*

и прежде, служили переносные кожаные или войлочные сооружения, и поэтому никаких следов от их поселений не сохранилось.

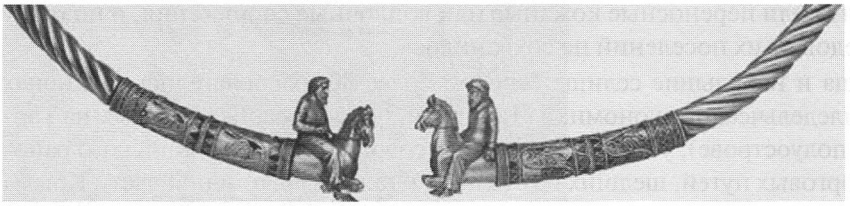
Городища и небольшие селища (числом более 80) располагались в районах осёдлой, земледельческой экономики (Тарпанчи, Джан-баба, Беляус — все на Тарханкутском полуострове), у торговых гаваней (совр. Чайка Евпаторийского района), вдоль торговых путей, шедших из столицы к гаваням восточной части Крыма (Мамут-Султан), юго-восточной (Альма-Кермен) или на материк (Кермен-Кыр). Крупных городов было четыре: уже упоминавшийся Неаполь (площадь 20 га) и безымянные, то есть с недошедшими до нас именами, от которых остались городища Усть-Альминское (6 га), Кермен-Кыр (4 га) и Булганакское (2,5 га), между сёлами Пожарским и Демьяновкой (Симферопольский район).

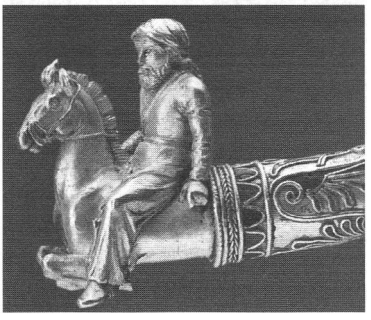
в) Общество и экономика

В период заселения Крыма во главе скифских племен или родов стояли вожди (античные авторы именовали их царями), основную массу составляли рядовые кочевники, имелись и рабы. Однако ни во времена Геродота, ни позже рабство не было развито, оно играло в экономике второстепенную роль, как и вообще в кочевых обществах. Сама же кочевая экономика во многом определялась географической средой обитания. Степь, лесостепь и предгорья Восточной Европы были слабо заселены и покрыты богатой растительностью, которая могла прокормить огромные табуны и стада, но для земледелия эти местности годились далеко не везде, тем более если учитывать тогдашний его примитивный уровень.

Крымские же переселенцы-скифы довольно скоро оценили благодатный климат и плодородную почву полуострова. И здесь уже в IV в. до н. э. везде, за исключением безводной степи, развились земледелие и пастушеское скотоводство (*Граков*, 1971. С. 72). Скифы разводят овец, свиней, занимаются пчеловодством, сохраняя и традиционную привязанность к коневодству. Земледелие же скоро перерастает из самопотребляющего в товарное. Торговые контакты с античным миром (точнее, с причерноморскими его аванпостами-колониями) становятся постоянными и прочными. Скифы вывозили в основном своё зерно, шерсть, мед, воск, лён. Купцы Неаполя Скифского вели и транзитную торговлю между Северным Причерноморьем и Грецией, они вывозили крымский хлеб даже в порты Мраморного и Средиземного морей. Как ни странно, но бывшие кочевники стали настолько искусными мореплавателями, что иногда составляли конкуренцию грекам; недаром в этот период Чёрное море называли Скифским. И нередко в столицу Крыма доставлялись заморские вина, ткани, ювелирные изделия и другие предметы искусства без какого-либо чуждого торгового посредничества.

Столь развитые торговля и экономика требовали профессиональной дифференциации, и мы наблюдаем чёткое разделение населения скифского Крыма на землепашцев, воинов, купцов, моряков и ремесленников. Кстати, последние, естественно, также делились на множество узких специальностей: гончаров, каменотесов, строителей, кожевенников, литейщиков, кузнецов (*Высотская,* 1975. С. 20–23). При этом уровень ремесленного мастерства не уступал даже греческому,





Скифское золотое оплечье с фигурками всадников. *Эрмитаж*

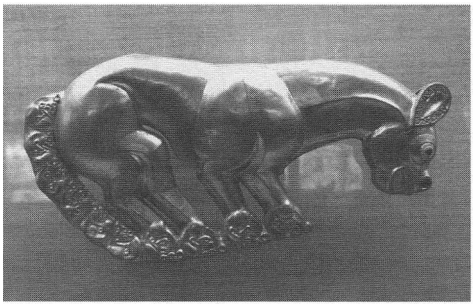
имевшему более давние традиции. Геродот с восхищением описывал, например, скифский котел из бронзы, толщина стенок которого была в 6 пальцев, а вместимость равнялась 600 амфорам (около 24 000 л), правда, изготовлен он был не для бытового использования, а как своеобразный памятник (*Геродот*, 1947. С. 274).

В Крыму социальные различия ещё более углубились по сравнению с кочевым периодом истории народа. Здесь появляются сказочно богатые купцы и земельные магнаты, бок о бок с многочисленными крестьянами-собственниками живут степные нищие и рабы. На вершине общественной пирамиды по-прежнему стоят цари; их быт хорошо отражён археологическими материалами, но он был бы известен гораздо лучше, если бы мы обнаружили упоминавшееся многими древними авторами кладбище крымских владык Геррос...

Вытеснившие скифов с материка племена (в частности сарматы), оставшиеся за Перекопом, сохранили там прежний свой уровень развития. В частности, у них сохранились многие черты матриархата, тогда как у скифов семья давно уже стала патриархальной. Более того, это была не «большая», характерная для кочевого общества ячейка, а малая семья, владевшая частными средствами производства. Но наиболее заметно опережающее соседей развитие скифского общества в области культуры.

г) Культура скифского Крыма

Большое влияние на культурное развитие и экономику скифов оказала их встреча с греческой цивилизацией. Век за веком вели эти кочевники довольно однообразный образ жизни скотоводов, в условиях, не способствовавших созданию ценностей материальной культуры. Но когда они осели, появился ряд городов, что стало необходимой предпосылкой для превращения их в культурные центры этноса; правда, лишь предпосылкой, ведь городища у них имелись и ранее, хотя не столь значительные. Теперь становится неизбежной встреча бывших кочев-



Золотая нащитная бляха в форме пантеры. Конец VII — начало VI века до н. э. *Эрмитаж*

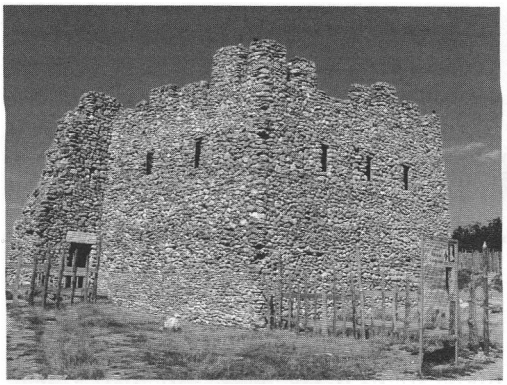
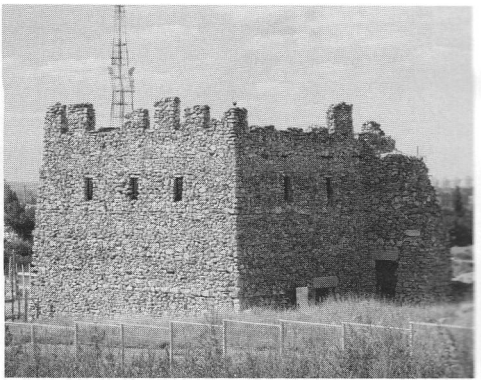
ников с античным миром, и в их среде происходит буквально духовный взрыв, культурная революция VI в. до н. э. Погребения их вождей отныне превращаются в богатейшие собрания греческих и иранских произведений искусства, драгоценного малоазиатского оружия, предметов античного культа и обихода. Конечно, это был результат греко-скифской встречи, обогащавшей кочевников не столько материально, сколько духовно[1].

Даже если речь идет о речь идёт о предметах искусства, не созданных самими скифами, а привозных (а также местных, скифских ремесленных памятниках), все они «показывают, какое значение у скифов имел культ красоты: это изысканные произведения, редкостные вещи. Они увлекают нас чарующей игрой света и ярким блеском» (*Мансуэлли, Блок,* 2007. С. 184).

Отныне Скифское царство не только входит в тесное общение со всем культурным миром эпохи, но и как мощная сила заявляет о себе в политической истории. Да, оно уступало иным державам (весьма немногим) в части государственности — таких традиций, как, скажем у Персии, унаследовавшей свою политическую культуру от Ассиро-Вавилонии, Лидии, Фригии, Египта и Финикии, у молодой страны быть не могло. Скифия сложилась как кочевое государство под управлением неограниченного владыки-царя, окружённого конными дружинниками, чем напоминала скоре более позднее Хазарское царство или Золотую Орду.

Впрочем, внутригосударственная структура была достаточно устойчивой. Поэтому военная мощь достигла здесь высокого уровня. Так, известно, что именно царские, т. е. по преимуществу крымские скифы изгнали из Причерноморья полчища Дария I Ахеменида и, опасно поколебав престиж персидской династии, приобрели широкую известность как «непобедимые». Они совершали успешные наступательные походы в Переднюю Азию и Фракию, где также вступали в контакт с древними восточными цивилизациями и с античным миром, что не могло не обогащать культуру бывших кочевников. А в некоторых областях материальной культуры, ранее слабо развитых (или вообще отсутствовавших) у скифов, это влияние становится особенно мощным. Сказанное относится прежде всего к городской архитектуре.

[1] Известны целые селения смешанного, греко-скифского типа, как, например, Кара-Тобе (совр. Прибрежное), существовавшее около полутысячелетия, с IV в. до н. э. до I в. н. э. Это селение было расположено на берегу Каламитского залива, между солёными озёрами Сасыком и Сакским (*Буров*, 2006. С. 98).

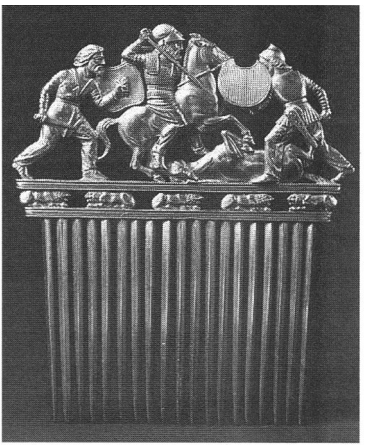



Неаполь Скифский. Центральная цитадель.
Фото автора

Неаполь Скифский, основанный скифами во второй половине III в. до н. э. (об истории этого древнего крымского города см. ниже), стал столицей скифского государства, в которое входили, кроме большей части крымских земель, обширный регион низовий Днепра, включая округу Ольвии. Население столицы составляли в основном скифы, но она обладала характерными чертами крупного эллинистического города. Об этом, кроме сохранившихся греческих надписей, свидетельствуют каменные здания и величественный мавзолей того же, эллинистического типа, который был воздвигнут здесь для скифской знати (*Мансуэлли, Блок*, 2007. С. 474–475).

Постепенно складывалась не заимствованная, а собственно скифская культура. И этому факту не противоречит практика заказов предметов искусства в соседних странах, где ремесленничество имело более древние традиции. Античные художники и ювелиры, прекрасно знакомые со скифской культурой, поставляли в Крым изделия, которые с полным правом считаются шедеврами «скифского» стиля. Именно это культурное наследие, а также общественное развитие и политическая сплоченность выделяют скифов среди «варварских», т. е. неантичных народов. И уже в I в. н. э. римский автор Квинт Курций Руф признаёт: «Сии Скифы гораздо образованнее других варваров, между ими встречаются люди весьма умные и просвещённые, коих только можно найти в таком народе, который никогда не выпускает из своих рук оружие» (*Квинт Курций Руф.* История о Александре Македонском. СПб., 1819. С. 119).

Огромна роль, которую скифы сыграли в распространении, передаче великих античных культур населению остальной Европы. Утверждается даже, что в культурном отношении они сформировали всю Европейскую лесостепь (*Тереножкин*, 1977. С. 14–15). Что же касается собственной культуры, то влияние её распространилось ещё шире: на Восточную Европу, Западную и Центральную Азию. В целом скифы стали связующим звеном между Азией и Европой: даже на далеком Севере со скифской поры встречаются предметы искусства, созданные по античным образцам, — речь идет о местах обитания мари, коми, удмуртов, пермяков (*Смирнов*, 1966. С. 5).

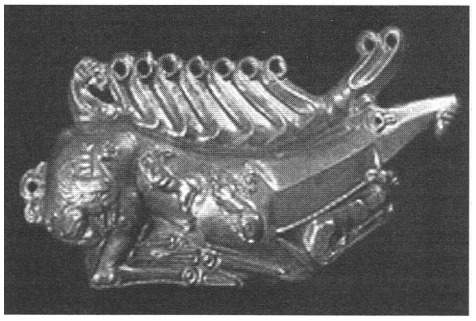


Золотой гребень с изображением сражающихся воинов. IV в. до н. э. *Эрмитаж*

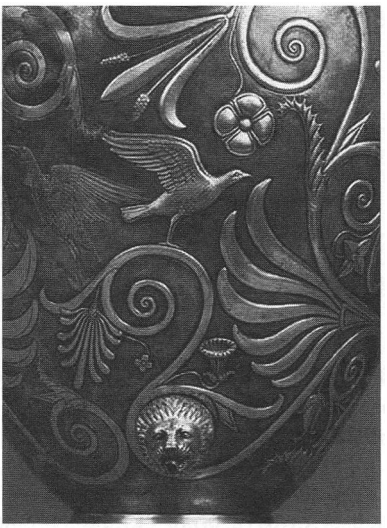
Поэтому если рассматривать роль скифов в масштабе мировой культуры, то они занимают в истории цивилизаций Европы одно из важнейших мест, вслед за греками и римлянами. И к тому времени, когда Античность, над которой навис последний, роковой кризис, подошла к своему закату, в первую очередь скифский и кельтский народы, «варвары», сохранившие и развившие свою культуру, поднялись уже на такой уровень, стали такой культурной силой, что смогли «омолодить мир, страдающий оттого, что старая цивилизация умирает» (МЭ. Т. 16, Ч. 1. С. 133).

В чем же своеобразие скифской культуры? Ее достижения видны прежде всего в архитектуре. Возьмем, например, так называемое здание с портиками в Неаполе Скифском. Эта постройка длиной 30 м, с двумя классическими шестиколонными портиками по краям фасада была воздвигнута явно в стиле греческого храма, хотя и не являлась святилищем (Скифия не знала жрецов, лишь гадателей, обходившихся без храмов). Таким образом, отличия от греческого прототипа видны уже в изменении функции сооружения; ещё значительнее отклонения в архитектурном стиле, весьма заметно отличавшемся от греческого (подробнее см.: *Карасев*, 1951. С. 161, 168).

В Крыму, например, в Боспоре, работало немало ювелиров, греков по происхождению, но изделия их имели иные, чисто скифские стилистические особенности, не встречающиеся в античной торевтике.



Золотой олень. Скифское украшение прибл. XVII в. до н. э. *Эрмитаж*



Детали нижней части Чертомлыцкой вазы
Серебряная Чертомлыцкая ваза. *Эрмитаж*

Здесь, как ни странно, более тонкой, чем в Греции, была техника, проработка деталей, заметная даже в монетах. Кроме того, иная религия принесла с собой новые сюжеты, иной пантеон и целые сюжетные жанры (*Ростовцев*, 1918. С. 53–54) и, главное, новую символику. Из других культур, от которых скифы заимствовали отдельные обряды и художественно-стилевые особенности, могут быть названы сарматы, иммигрировавшие в Крым в позднескифский период (*Зубарь, Савеля*, 1989), а также фракийцы, судя по керамическим находкам на позднескифских сельбищах, пустившие корни и в Крыму (*Высотская*, 1979. С. 117–119).

Всемирно известная Чертомлыцкая ваза лишь сравнительно недавно раскрыла сложный мир скифских символов. Первые её исследователи обращали внимание только на бытовую сторону изображённого; очарованию этих сцен не могли противостоять и более современные учёные, видевшие на вазе лишь картинки из «самой обыкновенной жизни степняков»: «пасутся в степи вольные кони, потом бородатые скифы ловят их арканами, тянут на верёвках и взнуздывают — так по кругу развивается действие» (*Штамбок*, 1968. С. 31).

Между тем скифам была абсолютно чужда сюжетика сиюминутной реальности. Они устремлялись скорее к овеществлённому отражению своих познаний и веры в обобщённом виде. Мышление их было по необходимости мифологическим (эту ступень эстетического мышления прошли все народы мира), а конкретно — зооморфно-символическим. Это характерно не для греческой, а именно для индоиранской традиции. Российский ученый Е.Е. Кузьмина обоснованно доказала, что сцены вазы отражают в бытовой форме космогонические представления скифов.

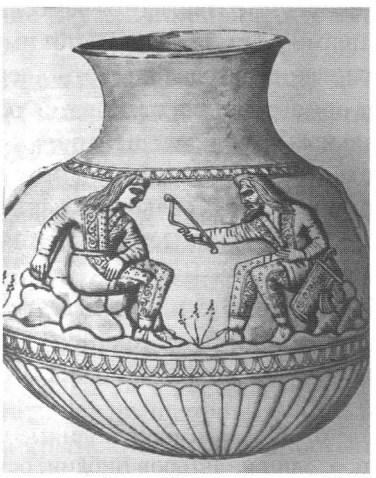
Так, сцена терзания (верхний фриз) символизирует небесную сферу, где разыгрывается катаклизм в космосе. Нижний фриз (растительный орнамент с птицами) — символ земной тверди, переданный известным образом Мирового Дерева, а крылатый конь у его подножия — посредник между двумя сферами.

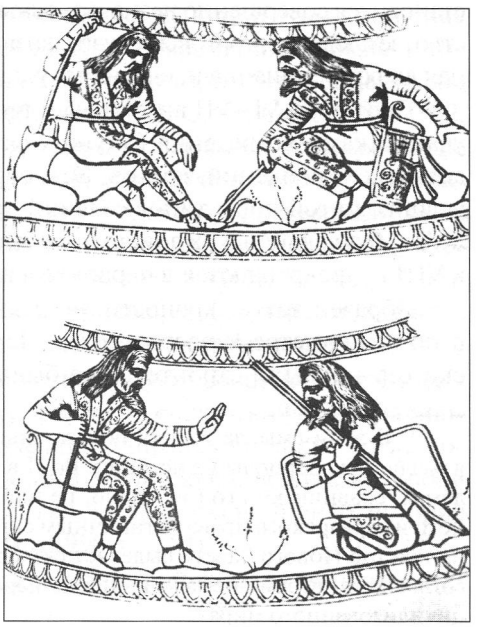
Средний же фриз (ловля коней) — сфера обитания людей, запечатлённых в момент высшего духовного взлета — жертвоприношения. Ну а сюжет вазы в целом представляет собой космограмму всего мира, но не в статике, а в вечном движении, в обновлении, сменяющем земную смерть, борьбу миров в её универсальном значении (*Кузьмина*, 1954. С. 93–104). Столь же глубоко символичны три пояса росписи раскопанного в Неаполе «здания с фресками», отразившими конкретный скифский культ (*Высотская*, 1975. С. 23–25).

Подобная сложность и глубина духовного мира скифов вряд ли были характерны для тавров или более поздних готов. Однако шестивековое соседство не могло не сказаться на культуре последних, хотя, возможно, лишь в области архитектуры и мелкой пластики. Что же касается скифского «звериного стиля», самого яркого отличительного признака их культуры, сохранившегося у многих народов, подверженных скифскому влиянию (сибирцев, алтайцев, кавказцев, прибалтов, славян), то в Крыму он уцелеть не мог. Его радикально стёрли несколько веков господства мусульманской религии, запрещающей изображения живых существ.

Напротив, скифский быт оказался настолько приспособленным для степного Крыма, что зримые черты его сохранились и после того, как «царских» скифов как таковых не осталось. Их традиции подхватили греки Пантикапея и римляне первых веков н. э. Так, римские помещики, не строя в Крымской степи своих вилл, как это было в других провинциях Рима, выезжали из душных городов на лето с юртами, т. е. жили «на скифский лад» (*Ростовцев*, 1918. С. 182). Греки переняли у скифов ряд мясных блюд, а также умение пить «по-скифски» легкие ароматные крымские вина, которые разбавлять водой — только портить.

На закате своей богатой событиями истории Скифия сильно уменьшилась в размерах, ослабла её военная мощь. Времена экспансии для неё давно кончились;





Серебряный сосуд с изображением сцен из скифского быта. Куль-Оба, 400–350 г. до н. э. *Эрмитаж*

Прорисовка изображения

скорее всего, скифы стремились лишь сберечь достояние предков, употребляя незаурядные свои таланты на мирном поприще, и добивались здесь не меньшей славы, хотя и иного рода[1]. Но жизненное пространство сжималось: с севера скифов теснили сарматы, с юга удар за ударом наносили греки — так, лишь Диофант дважды ходил на Неаполь и Хабеи (II в. до н. э.). Тем не менее государство скифов просуществовало ещё долгое время благодаря укреплениям городов. Так, стены Неаполя Скифского достигли к этому времени чудовищной толщины (8–12,5 м) и такой же высоты, и взять их сарматы-кочевники, естественно, не могли.

Лишь в IV в. н. э. позднейшее скифское государство пало под ударами гуннов. Но ещё раньше, в середине III в. началось переселение народа в горные местности юго-западного Крыма. Тогда это было вызвано нашествием готов, теперь в горы, к давно обосновавшимся там соотечественникам, ушла остальная часть крымских скифов. Современные специалисты указывают, что скифы «перестали существовать как этническое целое» (*Дашевская*, 1991. С. 45), но не более того. Они не были истреблены, не вымерли в комфортных для них крымских условиях, но незаметно и неспешно слились с коренным народом полуострова и другими горцами Крыма. На Керченском полуострове скифы смешивались с греками и местными племенами, скорее всего, таврскими (*Бессонова* и др., 1988. С. 100–104). Об этом говорят антропометрические данные позднего Неаполя: основную массу его населения составляли скифы, сарматы, тавры и греки (*Кондукторова*, 1964. С. 53). Остались и материальные памятники местной, уже смешанной тавроскифской культуры, а также изготовленные в других местах Крыма (*Покас* и др., 1988. С. 134–144).

Наиболее впечатляющие из них — средневековые города-крепости. После того как под ударами гуннов тавры, скифы и иные степные жители окончательно сконцентрировались в IV–V вв. в горах, новые географические и экономические условия и близость греческих центров оказали на переселенцев глубокое влияние. Рабство становится совершенно незначительным, ускоренно развиваются ремёсла, садоводство, земледелие, торговые связи с византийцами и римлянами. Растёт имущественная дифференциация и, очевидно, устанавливаются феодальные отношения.

Поэтому в VI–VII вв. скифы и тавры горного Крыма становятся основными участниками возведения будущих феодальных городских центров, а также отдельных укреплений-замков. Эти образования резко отличаются от существовавших до той поры типов селений преимущественно сельского характера. Уже в VI в. буквально в каждой долине высились примитивные укрепления, которые к VIII в. превращаются в первоклассные крепости и замки.

Образец такой крепости — Эски-Кермен, чьи руины виднеются сегодня в полукилометре к востоку от с. Черкес-Кермен (ныне Крепкое Бахчисарайского р-на). При строительстве были великолепно использованы особенности

[1] В этом смысле весьма показательны две оценки скифов, сделанные со стороны в различные периоды их истории. Во II в. до н. э. один из авторов Библии, осуждая Птолемея, сравнивают его (очевидно, не найдя иного примера столь безбожного, беззаконного и варварского нрава) с типичным скифом (2-я кн. Мак., 4:47). Но уже в I в. н. э. один из текстов Нового Завета выделяет скифов среди варваров (Посл. к Колос., 3:11). А это, согласимся, весьма немало в оценке народа, жившего далеко за пределами тогдашнего цивилизованного мира.

вытянутого горного плато, по краям которого стены, что делало невозможным применение стенобитных орудий. Крепости такого типа — а их было немало — служили не только местом обитания горожан, но и неприступным убежищем для населения близлежащих деревень в военные годы. Смешение автохтонных и пришлых культур неизбежно отразилось в архитектуре крепости. В ней сочетаются, дополняя друг друга, местные, крымские строительные традиции (пещерные казематы, исполнявшие роль машикулей, панцири стен, перекрытые крупными каменными блоками) и архитектурно-фортификационные приемы византийского происхождения (тщательная обработка камня, кладка на сложном известковом растворе, парапеты с бойницами по периметру стен) и т. д.

Эски-Кермен, расположенный на периферии, вдали от торговых путей, угас в VIII в., но другим замкам, городам и крепостям, построенным скифами, таврами и их смешавшимися потомками, суждена была долгая жизнь. Некоторые из них — Мангуп, Кыз-Кермен, Тепе-Кермен, Бакла, Чуфут-Кале и др. — пережили и эпоху Средневековья.

Память же о скифах, предания, связанные с этим великим народом, отлились у их наследников в твёрдую убеждённость в неразрывной кровной связи поколений, в преемственности культур. Автор XVI в., хорошо знавший крымчан Средневековья, сообщает нам: «Хотя мы считаем татар варварами и бедняками, но они гордятся воздержанностью своей жизни и древностью своего скифского происхождения» (*Михаил Литвин*, 1890. С. 6). При всей внешней наивности такой убежденности (она не опиралась на «научные» доказательства) её нелегко опровергнуть. И если до сих пор не обнаружено никаких свидетельств того, что скифы были изгнаны с полуострова или сами покинули его, то нам остается проявить уважительное внимание к этой крымскотатарской традиции, уходящей корнями в скифскую древность.

Уже говорилось о том, что до Неаполя Скифского на этом месте существовало селение Керменчик, причём довольно обширное: раскопки этого городища уже в 1970-х гг. велись на площади около 20 га. К тому времени оно было датировано концом III в. до н. э. или позднее, и на его территории была обнаружена синопская (Северная Анатолия) черепица (*Граков*, 1971. С. 74; *Соломоник*, 1952. С. 116; *Соломоник*, 1988. С. 25). Кстати, и после того как Неаполь угас, городище пустым не осталось. Его новым населением стали судя по появившемуся названию *Керменчик*, тюрки (впрочем, возможно, они и ранее сосуществовали здесь со скифами, храня в памяти древнее название родного города). Частично население Керменчика составили теперь потомки древних греков (Історія міст. С. 95), но, очевидно, их было немного, так как позже, при очередном переименовании древнего поселения, оно снова получило тюркское название Акмесджит.

Один из патриархов российской исторической науки, современник Петра I Василий Татищев, вышеприведённую точку зрения на «тавроскифскую стадию» этногенеза крымских татар полностью разделял. Опираясь на какие-то не дошедшие до нас документальные источники, он говорил как о вещи само собой разумеющейся, что крымские «татара — остатки древних скиф, и оных история к ясности татарской небесполезна» (*Татищев*, 1990. С. 352).

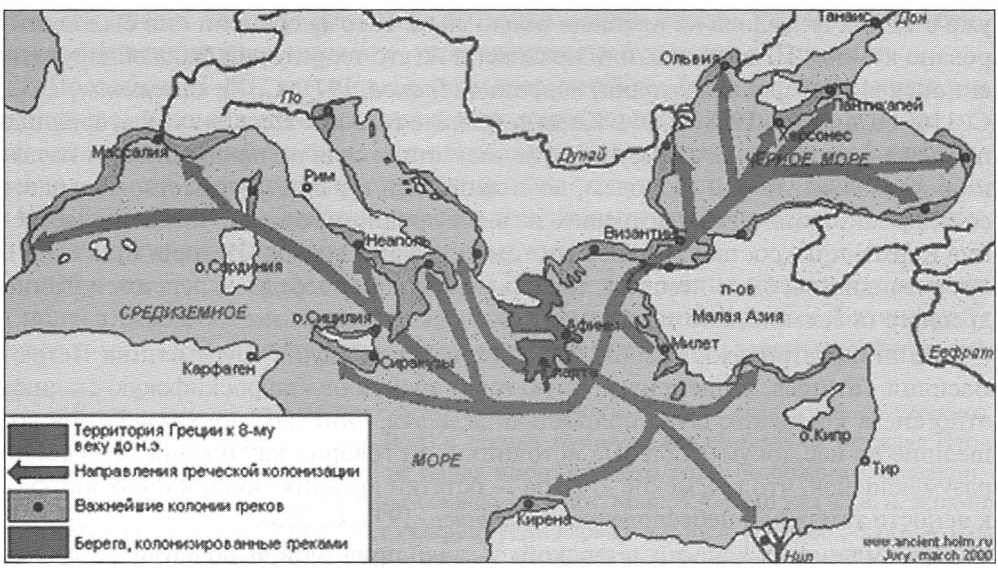
Стремление «к ясности татарской» и стало причиной включения в этот том очерка о скифах.

II. ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1. Греки

а) Классический и эллинистический периоды

Первой великой *европейской* цивилизацией, с которой вошел в соприкосновение Крым, была древнегреческая. Выше говорилось, что полуостров, его население и природа стали известны грекам и другим народам Малой Азии довольно давно. Трудно сейчас сказать, когда на землю Тавриды впервые ступила нога греческого путешественника — рыбака, купца или воина. Но что касается первых греческих поселений, то они возникли здесь не ранее VIII в. до н. э. И ещё одно бесспорно — страсть к познанию и открытиям, владевшая этим энергичным народом не менее, чем дух предприимчивости, стала причиной появления греческих колоний в Крыму задолго до того «прорыва» Эллады в культуру Востока, который мы связываем с походами великого Александра.



Образование греческих колоний в бассейнах Средиземного и Чёрного морей

Пантикапей и окрестности

Итак, это были мелкие поселения рыбаков и торговцев, приютившиеся на южной границе опасного мира неведомых племён кочевников-скотоводов, племён изменчивых и малонадёжных для прочного торгового партнёрства. Ситуация становится иной в VII в., когда крепнет и усиливается экономически держава скифов. Лишь теперь в стратегически и экономически важных пунктах, в устьях богатых ценной рыбой рек, в проливах и на лиманах на месте факторий возникают города с греческим населением. На берегу обширной бухты в 600 г. до н. э. милетцы основывают город, ныне именуемый Феодосией. Затем в самом узком месте Керченского пролива, позволяющем установить контроль за проходом судов в Меотиду, разрастается Пантикапей. Этот порт стал перевалочным пунктом для товаров, шедших через Азовское море из Скифии, с севера и северо-востока Крыма, а также с Урала, из Сибири и Средней Азии. Важную роль при выборе места для будущего Пантикапея сыграло наличие здесь гавани с вместительным и хорошо защищенным рейдом, а также пресноводных источников в самом городе и его окрестностях.

Не столь удобными были южные и юго-западные берега Крыма. Две наиболее привлекательные для стоянки бухты у южной оконечности полуострова, без сомнения, использовались с глубокой древности, но лишь в 422 г. до н. э. на берегу одной из них выходцами из Гераклеи был заложен город Херсонес. Отсюда, как и из соседнего Символона (совр. Балаклава), за море отправлялись продукты горного Крыма и рыба, вылавливавшаяся тут же, в бухте, на берегах которой был расположен этот город рыбаков и мореплавателей.

И конечно, вдоль всей береговой полосы двух морей — от Азова до Тарханкута — рассыпалась цепь новых и старых мелких рыбопромышленных станций и торговых факторий, крупнейшей из которых была Керкинитида[1], основанная греками лет за сто до Херсонеса (*Драчук, Кутайсов*, 1985. С. 82–83). Отсюда шел на юг и хлеб, главным образом в города, отправившие некогда своих посланцев в Крым, ведь анатолийское побережье, да и архипелаг никогда зерном особенно богаты не были.

[1] Керкинитида — античный, затем скифский город, располагался на территории бывшего евпаторийского Старого Карантина (район мыса Карантинного).

Терракотовая статуэтка стоящих юноши и девушки. Пантикапей, IV в. до н. э. *Эрмитаж*

Какими были взаимоотношения колонистов с местным крымским населением? Вначале межэтнические контакты были, как это случалось в других районах греческой экспансии, скорее всего, чисто экономическими и по-деловому сдержанными. Греки осваивали территорию, особенно не вникая в глубоко чуждую и непонятную им культуру и идеологию «варваров», которых они, естественно, опасались. Не исключено, что они эту культуру глубоко презирали, — Аристотель в IV в. лишь сформулировал распространённое у греков убеждение в том, что «варвары» — прирожденные рабы.

Однако потенциальные эти «рабы» многократно превосходили новопоселенцев численностью и военной мощью, и с этим приходилось считаться. Неясная угроза таилась в сердце «варварской» тьмы, в неизведанных глубинах полуострова, век за веком остававшегося для греков загадочным. Угроза эта заставляла их робко жаться к берегам родного Понта, не позволяла продвинуть ни один форпост вглубь Тавриды. Следы их не обнаружены там до сих пор, и вряд ли будут найдены в будущем.

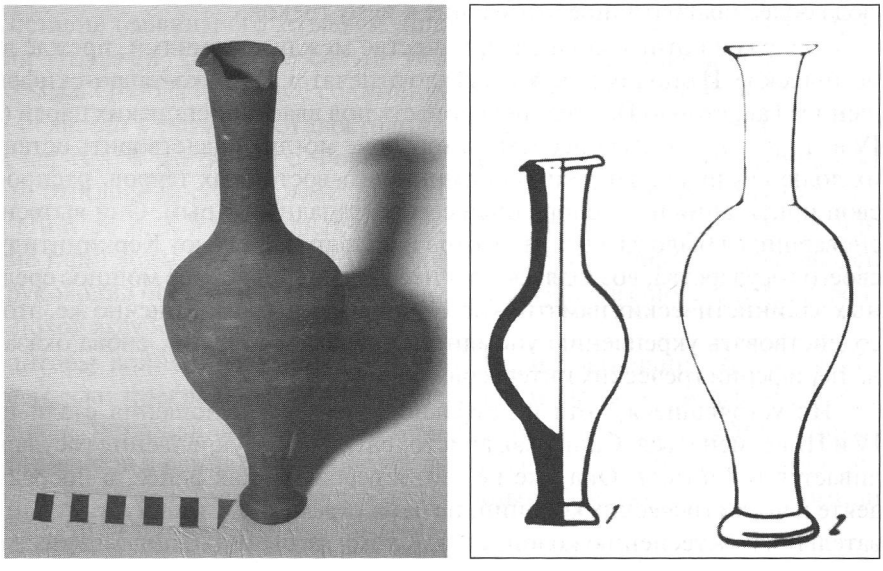
Несколько иным было положение на берегах Керченского пролива, где греки встретили «варварское» население, обладавшее весьма высокой культурой даже по греческим меркам, ибо со 2-го тысячелетия до н. э. оно находилось под мощным культурным влиянием Востока, а Восток был далеко не чужд Греции. Племена эти были подвластны скифам, но, во-первых, скифы и сами были культурным народом, а во-вторых, не подавляли местную культуру.

Поэтому неудивителен неравномерный характер греческого влияния на местное население в классический период — от почти незаметного культурного обмена на юге и юго-западе до интенсивного процесса аккультурации на берегах

Керченского полуострова, в районе Боспора Киммерийского. Судя по некрополю Пантикапея, здесь возникает настоящий греческий город, достигший расцвета в конце VI — начале V в. до н. э. Соседний же Нимфей стал в V в. центром не только торговли, но и культуры: здесь чеканилось превосходное художественное серебро, расходившееся по всему Крыму и вообще по Скифии (*Ростовцев*, 1918. С. 174).

В самом городе жили вожди крымских племён, которые не могли не впитывать богатую греческую культуру — об этом говорят особенности их погребений в нимфейском некрополе. Греческие вазы и другие произведения искусства найдены, кстати, и в погребениях других древних городов и селений Крыма той эпохи. В наиболее крупных из них греки начинают с IV в. до н. э. записывать местные исторические предания и мифы (*Ростовцев*, 1918. С. 93), очевидно интересуясь и другими областями крымской культуры. Это было неизбежно: ведь здесь уже появляются свои учёные и писатели, риторы, поэты и философы. Однако и в этот период по-прежнему неоднозначной остается проблема этнического взаимопроникновения.

Известно, что греки конца III в. до н. э. обладали более широкими, чем ранее, взглядами на возможность контактов с чуждыми народностями. Именно в эту пору начинается первое оставившее след культурное движение с Востока на Запад. Это касается прежде всего заимствований религиозных ритуалов, суеверий и т. п., но также и научных, философских концепций, большей терпимости вообще. Современник Александра Македонского Исократ утверждал, что этноним «эллин»



Пример раннего смешения культур. Слева греческий флакон для благовоний (бальзамарий), найденный близ Керкинитиды. *Из коллекции автора*

Справа сосуд аналогичного происхождения, но из позднескифского погребения в бывшем имении Черкеса к югу от Симферополя.
Опубл. в: Дашевская, 1991. С.110

означает уже не столько принадлежность к грекам, сколько человека определенного культурного круга. И чистота расы играет здесь роль второстепенную: смешанные браки среди аристократов давно стали делом привычным.

Но именно в Тавриде процесс этот пока развивался слабо. И, очевидно, именно из-за греков. Тавры оставались в стороне от «цивилизующего» влияния эллинов. Причина здесь была в чрезвычайно замедленной социальной и имущественной дифференциации этих древних крымчан. В среде же греческих колонистов торговля давно уже выделила весьма зажиточные прослойки судовладельцев, купцов, землевладельцев, городских патрициев. То есть городскую элиту, наиболее склонную к культурному и этническому смешению. Однако речь могла идти о смешении со стратами, стоящими, по крайней мере, на экономически или социально равном уровне, а отнюдь не с небогатыми и малокультурными, с их точки зрения, таврскими пастухами, землепашцами или рыбаками.

Принцип эквивалента был не менее важен и в духовном обмене. Лишь на первый взгляд может показаться необъяснимым вопрос, отчего греки эллинского периода легко воспринимали культурные сокровища весьма неблизких стран, а скифская цивилизация оставалась им, по сути, малоизвестной. Дело в том, что Крым не настолько привлекал греков-интеллектуалов, как, скажем, далекая Индия. Он не мог пока предоставить ни сочинений, способных восхитить Запад, как «Вавилоника» халдейского жреца Бероса, ни развитой, богатой и сложной религиозной системы Египта, настолько пленившей мыслящих эллинов, что смог возникнуть целый греко-египетский культ (Сераписа), — ведь недаром грека Птолемея I называли даже «македонским фараоном» (*Светлов,* 1983. С. 89). Нет, ничего подобного в бесписьменном Крыму не было и быть не могло — отсюда более прагматичное отношение к нему греков.

Много сил отнимало и соперничество между колониями, прежде всего экономическое. И оно также накладывало отпечаток на греко-тавро-скифские отношения. Так, стоило Пантикапею попасть под власть боспорских царей (середина IV в. до н. э.), как херсонеситы, которых не могли удовлетворить оставшиеся на их долю скудные излишки экономики юго-восточных тавров, распространяют свои притязания на плодородный северо-западный Крым. Они вытесняют обосновавшихся было здесь гераклеотов и надолго включают Керкинитиду в состав своего государства, возводят вокруг неё укрепление, самое мощное среди известных эллинистических памятников херсонесской Хоры. Конечно же, это не могло содействовать укреплению упомянутых связей с таврами, снова оказавшимися на периферии греческих интересов.

Но устоявшиеся, хотя и довольно вялые эти отношения стали на рубеже IV и III вв. меняться. Скифская аристократия после укрепления государства усиливается и богатеет. Она уже не заинтересована, как ранее, в посреднической деятельности греческих колоний, но сама стремится к захвату торговли и, следовательно, к вытеснению колонистов. К тому же сарматы, появившиеся в это время в Причерноморье, теснят скифов с севера, а это также ведет в свою очередь к усилению скифского нажима на греческие города.

Начинаются военные столкновения, в которых, как правило, побеждают скифы: остатки сгоревших имений херсонеситов встречаются в раскопках середины III в. до н. э. во множестве. Об этом же говорят Полиен и другие античные авторы

Бюст боспорской царицы Динамии (47 г. до н. э. — 17 г. н. э.). *Эрмитаж*

(*Сапрыкин*, 1986. С. 142–143). А в знаменитой присяге херсонеситов, буквально высеченной в камне (см. ниже), о многих владениях Хоры уже говорится в прошедшем времени. Да и сам факт этой присяги — свидетельство возросшей военной опасности. Обострилась в греческих городах и внутриполитическая борьба, связанная с недовольством населения его олигархически настроенными правителями.

Короче, к середине II в. до н. э., когда уменьшившийся хлебный вывоз из Крыма ослабил связь колоний с метрополией, скифы овладели всем Северо-Западом, оставив бывшим его хозяевам лишь Гераклейский полуостров с прилегающими угодьями. Столь же сильно были сужены границы колоний Восточного Крыма. Отсюда понятное сближение этих двух ранее конкурировавших греческих областей с целью противостояния скифам. Сблизились они и с понтийскими царями, в частности с Фарнаком. Когда же воцарился Митридат VI Евпатор, то отношения его с крымскими колонистами стали настолько тесными, что в 110 г. до н. э. в некоторых греческих укреплениях Крыма уже стояли понтийские гарнизоны, помогавшие охранять города от скифов, а полководец Диофант руководил обороной Херсонеса и даже выступил в совместный с херсонеситами поход вглубь Скифии.

Диофантовы войны оказались удачными. По их окончании греки возобновили не только прекратившуюся было чеканку монеты, но и вывоз хлеба с Северо-Запада. Установившийся позже новый статус колоний как автономных государств-полисов в рамках Понтийской державы предусматривал (взамен относительной свободы и господства в возвращенных областях) уплату огромной дани Митридату VI Евпатору.

Однако понтийские цари недолго пожинали плоды победы над скифами. В 47 г. до н. э. их войско было разбито Юлием Цезарем, и Боспорское царство отошло к Риму. Впрочем, и при новой власти Херсонес и Пантикапей сохранили свою относительную независимость и даже усилились. А спустя три века Херсонесу уже подчинился весь Южный берег Крыма.

Несмотря на свою трудную политическую историю (а может быть, и благодаря испытаниям), греческие города, а точнее, колонисты-греки, являли образцы экономической и политической предприимчивости и настойчивости в освоении прибрежной полосы, а кое-где и внутренних прилегавших областей. Экономика греческих городов была многосторонней, можно сказать универсальной. Большую роль наряду с хлеборобством играл рыбный промысел. В те времена в Черном и Азовском морях, по словам Страбона, в сети шли осетры, величиной «почти равные дельфинам», водился и тунец (или рыба, похожая на него). Добывались огромные массы мелкой рыбы — султанки, тарани, бычка, а также камбалы и сельди.

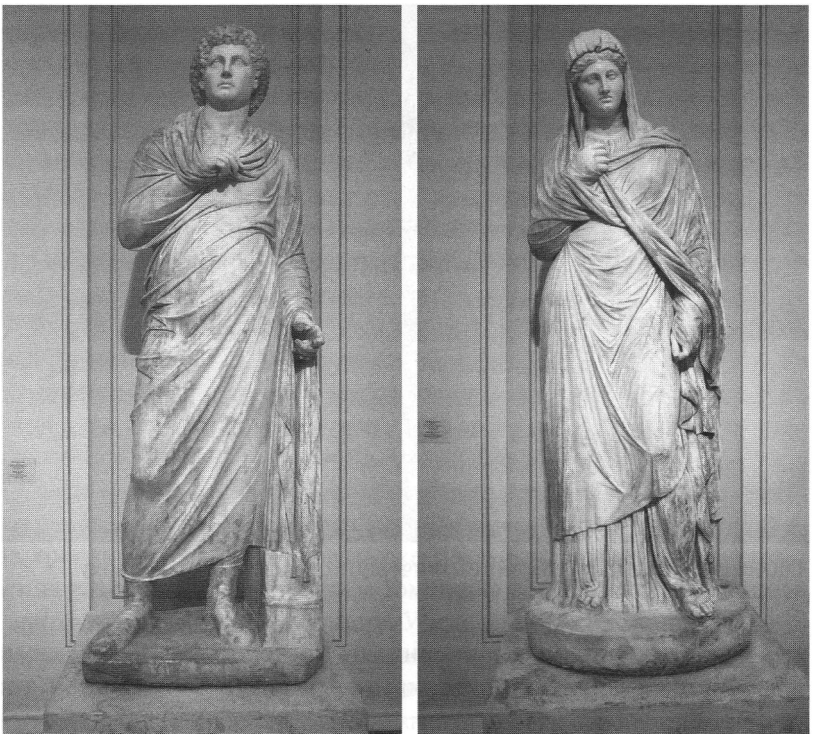
Население городов охотно использовало в пищу мидий и других моллюсков. Рыбный промысел был нацелен на экспорт — об этом свидетельствуют, например, огромные комплексы рыбозасолочных ванн в относительно небольшой Тиритаке (ДТ. С. 53). Помимо этого постоянно возрастало значение животноводства и его товарных продуктов. К началу нашей эры всё больше прибыли крымчанам даёт вывоз кож и шерсти, а также вяленого мяса.

Тем не менее значение товарного хлеба сохранлось в полном объёме. Греки выращивали сами, а также закупали у степняков различные сорта пшеницы, ячмень, просо. Культивировались гречиха и чечевица, вика шла на корм и зелёные удобрения. И на боспорских монетах чеканились символы экономики Крыма — плуг или колос хлеба. Всё большую площадь занимали виноградники, а винные цистерны достигали вместимости 5 000 л., что говорит о промышленном характере виноделия. Анализ обуглившихся семян винограда показал, что это были морозостойкие, стелющиеся лозы в предгорьях и элитные, вьющиеся сорта в долинах Южного берега и Восточного Крыма.

На основе гибридизации (кстати, проводившейся централизованно) привозных, отборных сортов с местным мелкоягодным, продуктивным и выносливым виноградом греки создали новые, крымские сорта, сохранившиеся до наших дней. Очевидно, они обладали искусством, которого не было у других, более поздних пришельцев, русских, пытавшихся в 1780-х гг. привить в Судакской долине токайские и греческие сорта. Известно, что все они скоро выродились (*Янушевич*, 1986. С. 62). Колонисты разводили сады, где росли не только алыча, яблоки и груши, но и инжир и даже гранат — об этом также упоминают античные авторы.

Высокого уровня достигало гончарное и строительное искусство. Неоднократно описаны прекрасные амфоры и пифосы, изготовленные из местных глин. Токарные изделия из местных же пород дерева обнаруживаются в греческих захоронениях Крыма, датируемых IV в. до н. э. и позднее. Металлические инструменты, ещё в VI в. до н. э. привозившиеся из метрополии, в IV в. до н. э. уже производятся на Боспоре в таком количестве, что их экспортируют на север. Очевидно, благодаря крымским грекам многие виды инструментов, например рубанок, позднее стали известны и в соседних славянских странах (*Сокольский*, 1971. С. 185, 188, 194).

Реконструирован впечатляющий облик общественных и культовых зданий Пантикапея и Херсонеса; многие из них сохранились под слоем земли и даже на поверхности в малоповреждённом виде. Не меньший интерес представляют обычные жилые дома. Вот описание одного из них, стоявшего некогда на склоне горы Митридат: высота каменных оштукатуренных стен — 2,5 м; прочный фундамент на материковой скале; три помещения — жилое, кухня и кладовая — общей пло-



Статуя мужчины, I в. н. э., Пантикапей. *Эрмитаж*
Статуя женщины, I в. н. э., Пантикапей. *Эрмитаж*

щадью 40 м. Судя по инвентарю, дом принадлежал небогатому рядовому горожанину, до нас дошло его имя — Кой (ДТ. С. 58). Имелись и многоквартирные дома на несколько семей.

Жизнь в греческих колониях на рубеже двух эр, до и после Рождества Христова, мало чем отличалась от общеэллинской действительности. На полях наряду с немногочисленными рабами, закупленными в причерноморских степях, трудились свободные крестьяне. Часть этого слоя населения уже не была чисто греческой по крови, среди них было немало и тавров, и скифов, и представителей других племён, связанных с колониями экономической зависимостью. Со временем изменяют свой облик и сами города. Исчезают черты полусельской застройки, улицы спрямляются и в плане становятся не столь хаотичными.

Однако более важными были перемены социального и политического характера. За последние три века своего существования Боспор превращается в типичную торговую державу, стоящую на границе между кочевыми племенами и угасавшим греческим миром. Его существование как государства полностью зависело от регулярного товарообмена между ними, весьма напоминая в этом отношении, скажем, семитический Карфаген на берегах Африки. Боспор существовал, пока в этом были заинтересованы как Афины (они сохраняли здесь верховную власть), так и коренные крымские племена (боспоряне обеспечивали их неподчинение скифам и возможность торговли).

Греческие колонии Северного Причерноморья в античную эпоху

Такое пограничное положение не могло не сказаться на самих греческих городах. Теперь в них концентрируется многонациональное по происхождению искусство, а также ремёсла и наука. Почти полное прекращение притока свежих сил из Эллады, вызванное войнами (в том числе и гражданской, с Римом), такой интернационализации культуры весьма содействовало. Сквозь греческую оболочку в социальной, политической, экономической и культурной жизни всё сильнее проступает местный колорит, чисто крымские элементы. Под местным влиянием меняются основы религии, зарождается массовая культура, отражающая, пусть даже в вульгаризованном виде, идеи великих греческих и зарубежных мыслителей, учёных, политиков. Создается почва для вселенского, экуменического сознания, которое греки назовут космополитическим. Логично предположить, что такого рода воззрения были переданы последними эллинами своим соседям и потомкам. То есть тем, кто нёс это наследие и тогда, когда Древняя Греция исчезла с исторической карты мира.

б) Византийский период

После раздела Римской империи на Западную и Восточную (рубеж IV и V вв. н. э.) последняя сравнительно легко распространила свое влияние на Причерноморье, в том числе на Крым. В авангарде новой волны экспансии шли дипломаты, нередко являвшиеся в то же время христианскими миссионерами и купцами. Они искали путь к сказочным богатствам Востока, в том числе даже Китая, а путь этот мог идти через Крым и далее, по степям Прикавказья и Прикаспия. Византийцы овладевают и остальной частью Юго-Запада, затем Востока Крыма. В этом процессе большую роль играли дальневосточные товары, самым известным из которых был китайский шёлк. Великий шёлко-

вый путь[1] оказался к периоду возвышения Византии прерванным из-за конфликтов с Ираном, которые постоянно возобновлялись из-за политического соперничества сасанидов[2] с греками. Поэтому властители Константинополя переместили в конце VI в. Великий шёлковый путь (его начало) далеко к северу, в обход персидской угрозы, так что он теперь включил в сферу своего торгового и культурного влияния Крым.

Херсонес и Боспор должны были служить опорными пунктами в продвижении на север в будущем, но у «новых» греков были и более актуальные задачи. Эти города становятся центрами культурных сношений с аборигенами. В отличие от первых колонистов, византийцы осознали плодотворность контактов с коренным, тавро-скифским по происхождению населением, а также с укоренившимися на полуострове к тому времени готами, аланами, гуннами и их потомками смешанной крови. И города эти вновь расцветают, византийцы расширяют и перестраивают их, как того требовали новые задачи.

Теперь Херсонес, Феодосия, Пантикапей более не являются специфически экспортирующими базами. Они приобретают значение потребляющих центров, а также пунктов транзитного ввоза. Теперь уже именно сюда везут греческие и иноземные купцы разнообразные товары, в том числе восточные драгоценные камни, жемчуг, златотканые и шелковые ткани. Узкие улочки крымских городов, припортовые кварталы окутаны теперь незнакомыми ранее запахами ароматных смол и пряностей Востока, на них слышна не только греческая или азиатская, но и западноевропейская речь. Среди гостей крымского города нередко встречаются и кочевники-гунны, которые закупают здесь и более скромные товары, предметы первой необходимости — свинцовую и стеклянную посуду, керамику, прочные, тёплые ткани.

В портах стоят суда, готовые везти за море, в Константинополь и дальше — на острова архипелага, в иные, негреческие пределы — меха, выделанные кожи, скот, соль. И все меньше — хлеб, которого становится мало даже для населения разросшихся крымских городов. И всё больше — рабов, которых в изобилии поставляют кочевники причерноморских степей (История Византии. Т. I. С. 335). Да, именно греки, а не аборигенное население проложили, а затем постоянно расширяли этот канал, сохранившийся на много веков, по которому «живой товар» шёл на невольничьи рынки Византии, Западной Европы и Востока.

Разворачивалась и духовная экспансия. Здесь, как и в других объектах своей колонизации, византийцы широко использовали с целью идеологического

---

[1] Имеется в виду одно из основных направлений этой старинной (упоминается со II в. до н. э.) коммерческой магистрали длиной около 12 000 км. Само наименование её возникло сравнительно недавно, оно принадлежит немецкому путешественнику и историку К. Рихтгофену, именно так обозначившему этот путь в своей книге «Китай» (1877). Кроме главной магистрали существовало, как минимум, ещё три маршрута, называвшиеся «южными» и «северными» (Подр. см.: *Примоде*, 1850. С. 109–120). Следует отметить, что от начала до конца Великий шёлковый путь купцы не проходили, обмениваясь товарами с иностранными коллегами на промежуточных отрезках, где для этого были созданы рынки, караван-сараи и пр.

[2] Сасаниды — династия персидских шахов в 224–651 гг. Государство сасанидов прекратило своё существование после завоевания его в VII в. арабами.

внедрения подкуп, политическую интригу. Местным вождям жаловались имперские должности, пышные титулы, ценные привилегии. Огромное значение придавалось христианизации крымчан, которые, надо сказать, оказывали весьма стойкое сопротивление опытным миссионерам. Лишь когда эпоха стала более соответствовать идее Бога живого и новым этическим идеалам, чем сохранению языческих систем, отражавших старые, отжившие социально-экономические отношения, т. е. не ранее VII в.[1], христианство стало более или менее массовым, да и то лишь в городах.

Век VII н. э. отмечен новым упадком городов, в том числе и Херсонеса. Слабела экономика: хирели ремёсла, прекратилась чеканка монеты. Взамен неуклонно возрастает значение крымской периферии, мелких земледельческих поселений и монастырей, насёленных в основном выходцами из Византии. Именно здесь в VIII в. сосредоточиваются наиболее перспективные отрасли крымской экономики[2]. Города же становятся по большей части не производительными, а чисто военными центрами. Мощно укреплённые, они играют роль форпостов, откуда византийцы внимательно следят за тревожным ростом сил причерноморских кочевников, а с X в. — и русских городов. Раньше городское самоуправление в Крыму было демократичным, теперь императоры не заинтересованы в демократии и продолжают развивать возникшую с середины VII в. административную систему фем,[3] которыми правили назначенные Константинополем и послушные высшей власти стратиги.

Видимо эти перемены не гарантировали достижения намеченных целей, ведь в 960-х гг. войска князя Святослава охватили крымские владения Византии с севера и востока. Иными словами, принятые меры не могли сдержать восточнославянской экспансии и в 1016 г. Василий II захватил чуть ли не весь Крым, причём в плен попал и Георгий Цул, тогдашний стратиг Херсона.

Но вот пал Константинополь, и право верховной власти над Крымом перешло к Трапезундской империи. Когда и как утвердилась эта новая зависимость, мы пока в точности не знаем, но известно, что Херсонес с фемой климатов и внутренняя область Готия отныне регулярно вносят в имперскую казну налог, а крымский верховный чиновник-архонт полностью послушен новому императору. Положение это сохранялось в общих чертах до распада империи в XIII в.

---

[1] Ещё в эпоху правления Юстиниана I (527–565) и Юстина II (565–578) приказы о строительстве базилик в городах «спускались» сверху, из Византии. Большинство горожан и практически все жители таврских селений хранили при этом верность старым богам предков (*Зубарь,* 1988. С. 67–71). Более склонны к христианству были готы, но к «своему» (см. ниже).

[2] Примером периферийной мастерской этого периода может служить гончарный центр в глухом лесу, в урочище Чабан-Куле близ Капсихора (ныне Морское). Здесь, у выхода прекрасной горшечной глины и источников воды, работало более 20 обжиговых печей весьма совершенной конструкции. Они были двухъярусными, нижний представлял собой топочную камеру, откуда наверх вело 2 канала длиной 4–4,5 м сечением 0,50 м на 2 м. В верхней, обжигательной камере высушенные гли́няные изделия расставлялись на поду площадью 14,5 кв. м; температура в ней поднималась до 950 градусов (*Якобсон,* 1973. С. 44).

[3] Фема (*греч.*) — наименование византийского военно-административного округа. Наибольшего развития система фем достигла в IX–X вв., когда в империи шло разделение старых и завоевание новых земель.

в) Наследие Греции

Греческие города-колонии Крыма сыграли огромную роль в культурной истории европейской цивилизации в целом. В этих космополитических центрах представители народов Европы входили в прямой контакт с Элладой, её религией, искусством, литературой. Продолжался этот процесс и в византийскую эпоху. Неизвестно, как сложился бы культурно-мировоззренческий облик той же России, не имей она с глубокой древности у своих южных границ столь широко распахнутых ворот в цивилизованный мир. Именно через крымские города в пределы Руси вливался полноводный поток культуры древности, а в более поздние периоды именно Крым был последней «станцией» для многонациональных культуртрегеров Восточной империи, её миссионеров на их пути к предкам современных русских, украинцев и белорусов, которых они готовились просвещать — и просвещали.

Так, перед прибытием в Новгород, а затем в Москву именно в Крыму на длительное время остановился знаменитый византийский богослов и философ Максим Грек (*Obolensky*, 1971. P. 280). Крымские греки стали передаточным звеном и для древних культур Азии и Африки в пору, когда об их непосредственном проникновении в Европу ещё и речи не могло идти. Трудно, хотя и не невозможно, проследить пути миграции отдельных идей, скажем, из Египта в Европу. Но гораздо легче исследовать «путешествия» вещей материальных. Так, древнеегипетские инструменты, проникшие в Грецию классического периода, уже в IV–III вв. до н. э. (отвес, ватерпас, циркуль) оказываются в Пантикапее, затем в соседних славянских землях, избежав при этом, в отличие от других памятников материальной культуры и культурных идей, кружного пути через Западную Европу (*Сокольский*, 1971. С. 187). Но, конечно, гораздо более заметным византийское влияние было в самом Крыму.

Собственно, влияние греческой культуры в целом на крымскую было далеко не односторонним. Точнее, было не всегда односторонним. Дело в том, что и Крым, при всей его относительной «отсталости» в сравнении с великой культурой Греции, внёс в нее весомый вклад на заре её становления — это давно отмечено историками-культурологами (История Византии. Т. III. С. 325). Но для нас более интересно достаточно хорошо изученное обратное влияние — Греции на Крым, наблюдавшееся в значительно позднейшие времена.

Самые зримые памятники этого влияния — жилища. И речь идет не только об их остатках, обнаруживаемых лишь в ходе раскопок. Глазам современного путешественника по Крыму предстают удивительные, исчисляемые десятками и сотнями кельи пещерных монастырей, высеченные в скале в эпоху массовой иммиграции греческих монахов, изгнанных иконоборцами в VIII–IX вв. из Византии. Эти соты-жилища целы и долго ещё будут придавать горному Крыму облик таинственный и неповторимый.

Более ранние, хотя и не столь заметные памятники великой греческой культуры мы находим вдоль береговой полосы, в отдельных районах которой греки составляли на протяжении многих веков основную часть населения (*Суперанская*, 1985. С. 33). Доказательно утверждать, что она на протяжении всего «греческого» периода влияла на самые разные стороны культуры аборигенов, пока

Греческий золотой шлем IV в. до н. э.
Курган Ак-Бурун близ Керчи.
Эрмитаж

удавалось лишь немногим авторам. Можно говорить о влиянии на них лишь отдельных, часто разрозненных культурных феноменов. Тем не менее, сведённые воедино, такого рода мазки складываются в весьма полную и цельную картину многоплановой аккультурации. Причем во многих своих фрагментах картина эта не нуждается в сугубо научном рассмотрении: они предстают во всей своей органичной взаимосвязи перед глазами и зрителя неискушенного, но умеющего мыслить логически.

Тех, кто бывал в странах Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья, на Кавказе, в Румынии и Болгарии, не могла не поразить удивительная схожесть традиционных жилищ, хотя населены эти края разноязычными и разноплемёнными народами, мусульманами и христианами. Характерен этот тип жилища и для Крыма: глухая стена с калиткой на улицу, окна дома, обращенные во двор, почти плоская крыша, крытая желобчатой черепицей, галереи на уровне второго этажа — вот основные его черты. Обычно тип этот выводят из традиций турецкой, крымскотатарской или караимской архитектуры, что не совсем верно. Интересный в этом отношении материал дают раскопки не парадно-общественных или культовых, но жилых построек западной части Херсонеса.

Мы видим здесь резко отличающиеся от классической античной прямоугольной планировки старого города вьющиеся узкие уютные улочки, неправильной формы кварталы, внутрь которых (отнюдь не на улицы!) обращены выходы из внутренних двориков отдельных жилых комплексов. Оттого-то здесь и преобладают замкнутые в неправильные каре внутриквартальные площадки-тупики, огражденные глухими стенами с немногими воротами и соединённые с близлежащей улицей нешироким переулком. Система, чрезвычайно характерная и для сохранившихся до наших дней средневековых крымскотатарских кварталов-маалле той же Евпатории.

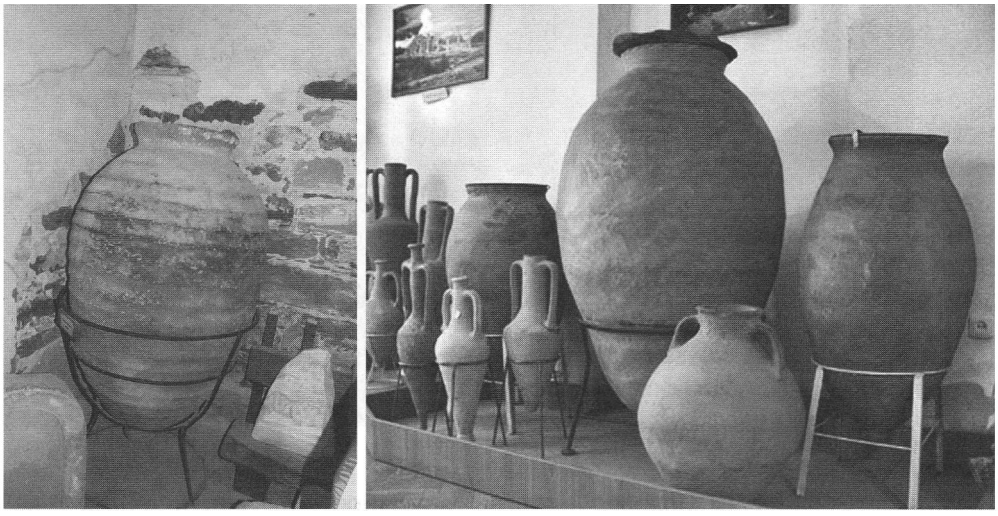
До мелочей подобны древним херсонесским и немногие сохранившиеся крымскотатарские дворы. Отделенные от внешнего мира высокой каменной стеной, они, собственно, представляют собой единый жилой комплекс «дом-двор». Выложенная плоскими каменными плитами, сквозь которые пробиваются вино-

Крымская желобчатая черепица («татарка»)

градные лозы и стволы плодовых деревьев, поверхность двора неотличима от каменных же или глинобитных полов нижней части собственно жилища. В тёплую пору, т. е. на протяжении большей части года, жизнь херсонеситов проходила во дворе. Здесь на ручных мельницах мололи зерно в пищу, готовили корм скоту, чьи стойла находились тут же, в каменных сараях или под навесом. Во дворе копали колодцы, ограждённые каменными кольцами метровой высоты, здесь строили летние печи, — всё это в точности соответствует более поздней крымскотатарской традиции. Вплоть до материала для постройки печей: на них не тратили дорогостоящий кирпич, а использовали осколки черепицы (*Якобсон*, 1973. С. 87).

Стены домов и херсонеситы, и их наследники крымские татары обмазывали глиной, а затем белили. Так же характерны, особенно для бедных жилищ, саманные стены с горизонтальными прокладками из отесанных брусьев (*къушак*) или даже каркасом типа фахверка. Такого рода постройки можно встретить во многих деревнях и в наши дни, например в Восточном Крыму. Дома, даже довольно скромной площади, были двухэтажными. При этом в нижнем, каменном, как правило, невысоком помещении устраивались кладовые и сеновалы, иногда — стойла для скота. В нижних же помещениях и подвалах греки устанавливали свои знаменитые пифосы — кувшины в рост человека и более, диаметром до 1,3 м. Эту посуду для хранения вина или зерна позднее использовали крымские татары. Известен случай, когда один такой пифос продолжал служить и нашим современникам. В Евпатории огромный сосуд был вкопан по горло на бывшем огороде близ перекрестка ул. Н. Некрасова и В. Коробкова. К нему был подведён шланг — в пифосе держали воду для полива ещё в 1940–1950-х гг. Сколько веков прослужил он человеку? Или тысячелетий?

Но пифосы встречались не только вдоль побережий, там, где некогда существовали греческие колонии. Они были известны и в центральной части полуострова: ими пользовались, например, тавры Бельбекской долины в VIII–IX вв., а затем татары. Не прерывалась, кстати, с приходом основной массы тюрков и греческая традиция производства поливной посуды: ее делали в Фуне и в XIII, и в XIV в., и позднее (*Мыц*, 1988. С. 315–316).



Крымские пифосы и амфоры. *Музей Судакского заповедника*

Обратимся к архитектуре той поры. Восстановить тип степных жилищ довольно сложно, так как остатки их плохо сохранились, хотя кое-что найдено и здесь. Гораздо более обильный материал предоставляют раскопки предгорных и горных поселений. Для домов этих регионов характерны каменные фундаменты, цоколи и первые этажи (если строение было двухэтажным). Это была весьма массивная основа, надёжно предохранявшая верхние ярусы от гниения, неизбежного при непосредственном соприкосновении любого органического строительного материала с сыростью земли.

Более лёгкий и высокий второй этаж строили деревянным или саманным. Почти повсеместно над двором (иногда и над улицей) нависала широкая, просторная веранда. Стропильная система, земельно-глиняное покрытие крыш также были без всяких изменений заимствованы татарами у византийцев. А поверх его укладывалась желобчатая черепица, которая и ныне встречается в крымской глубинке, и которую зовут татаркой, хотя на самом деле она не татарского, а византийского происхождения: особенно ярко доказывают это раскопки Алустона[1] IX–X вв. (*Мыц,* 1988. С. 315).

Греческий орнамент оставил зримый след и в таком великолепном народном искусстве как крымскотатарская вышивка. Автор глубокого исследования, член Национального союза художников Украины Мамут Чурлу отмечает: «При внимательном рассмотрении росписей на античной керамике мы встречаемся со знакомыми ритмами и орнаментами. Здесь прослеживается связь с культурой греческих причерноморских колоний, которая, в свою очередь, могла вос-

[1] Алустон — средневековый город, располагавшийся на территории современной Алушты, в районе, прилегающем к современной троллейбусной станции. Строения и усадьбы Алустона были разбросаны по холмам и склонам местности по обеим берегам р. Улу-Узень. Очевидно, город был основан как византийская крепость в VI в., а в XIV–XV вв. принадлежал генуэзцам. В 1475 г. он был захвачен османами (*Буров*, 2006. С. 16).

принимать элементы культуры автохтонов» (Яркий стиль крымских вышивок // ГК. 21.10.2005. С. 7).

Не менее, чем в области материальной культуры и искусства, ощутимо духовное, идеологическое влияние греков. Интереснейшего феномена — поклонения крымских татар христианским святым — я коснусь ниже, а здесь отмечу факт перенесения греками на крымскую почву своих святых с их последующим органичным омусульманиванием. Приведу пример: в крымский пантеон вошел *азис* (святой) Гази-Мансур-султан, грек по происхождению (*Гудзий,* 1919. С. 103).

Ещё одно любопытное свидетельство, уже более материального плана, — рассказ учёного XIX в.: «Я заехал в татарскую деревню Никита в день байрама, хозяин, у которого я остановился, предложил мне небольшой хлеб с знамением креста, в центре которого было белое яйцо. Так как подобные хлеба приготовляются греками к дням Пасхи и совершенно не приняты в обычаях мусульман, я просил объяснить значение подобного хлеба. „Я не сумею ответить Вам на такой вопрос, — сказал пожилой татарин, — знаю только, что в деревне нашей до настоящего времени несколько семей приготовляют эти хлеба к байрамам по примеру, наследованному от предков“» (*Кондараки*, 1875. Т. 1. С. 201–202). Сказалась на крымском обществе и византийская образованность в целом (подробнее см.: История Византии. Т. III. С. 340).

Великая греческая культура обогатила и язык складывавшейся крымскотатарской нации. Больше всего заимствованных слов мы находим, естественно, в южнобережном диалекте, в районе бывших греческих колоний. Но и в современном среднем диалекте крымскотатарского языка, как считают специалисты, насчитывается около полутысячи греческих (древнегреческих) заимствований (*Изидинова*, 1993. С. 203). А ведь ещё имеются многочисленные греческие топонимы, за прошедшие столетия намертво сросшиеся с крымскими горами, речками, мысами, деревнями (многие их них были заменены после 1944 г. русскими наименованиями, но это, смеем надеяться, — явление временное).

С греческими словами, лексикой в целом, ситуация сложилась такая же, как с греческой музыкой в Крыму (подробней см. ниже): в крымскотатарской культуре уцелели древние реалии, исчезнувшие в самой Греции. В наибольшей степени это относится к среднегреческому языку VI–X вв. Приведу два примера такого рода заимствований. Названия двух алуштинских сёл Кучук-Ламбата и Буюк-Ламбата напрямую прослеживаются до греческого *лампада* (светильник), а название лесного ореха «фундук» идёт от греческого *понтикон*, то есть «понтийский» или черноморский орех (*Фасмер*, 1964. Т. IV. С. 210).

Относительно генетического наследия греков, сохранившегося в толще крымскотатарского этноса, особенно на Южном берегу Крыма, приведу, в виде исключения мнение не учёного, а просто культурной и весьма наблюдательной женщины: «Эти (т. е. крымскотатарские. — *В.В.*) девушки замечательно красивы. Их пёстрые ситцевые бешметы были плотно застёгнуты на груди серебряными запястьями с чернью, такой же широкий пояс стягивал их стройную талию... глядя на эти благородные, правильные лица, на гибкий и грациозный стан молодых татарок, на их миниатюрные и красивой формы руки и ноги, нельзя было сомневаться, что перед нами стояли... потомки древних греков, живших здесь в глубокой древности и оставивших следы своего пребывания не только в мёртвых

развалинах древних храмов, но и в живых существах, вполне унаследовавших правильную красоту греческого типа» (*Горчакова*, 1883. С. 154–155).

Этому наблюдению соответствуют выводы современных профессиональных антропологов: «Греки начали селиться в Крыму ещё до новой эры: большие или меньшие группы их прибывали сюда в различные периоды Средневековья или Нового времени. В начале XVIII в. греческих деревень на южном берегу было довольно много. Значительная часть греков впоследствии оказалась ассимилирована татарами» (*Васильев, Ходжайов*, 2003. С. 421).

Наконец, известную роль сыграли греки и в складывании социальных отношений, в частности сельской общины в средневековом Крыму уже после того, как угасли византийские колонии. Ещё в VIII–IX вв. в Таврике были широко распространены земледельческие общины со свободным населением. Для крымской общины были характерны распределение земли по паям (и, наряду с ними, общинная запашка), круговая порука, право предпочтительной покупки освобождавшейся земли общиной и т. п. Такие черты абсолютно аналогичны правам византийской земледельческой общины VIII в. (*Липшиц, Медведев, Пиотровская,* 1984). Позднее в Византии коллективная собственность на землю распалась, сменившись частной, но в Крыму она уцелела до ханского периода, став органичной составляющей института территориальной соседской общины «джемаат» с общим владением сенокосами, выпасами, колодцами и дорогами (*Лашков*, 1887. С. 9, 13, 37, 45).

Высказываемое иногда предположение, что общинное право джемаат было введено в Крыму татарами, несостоятельно. Кочевники, как известно, стали медленно переходить к осёдлости ещё до нашей эры, но всё новые их потоки, вливавшиеся через Перекоп, сильно затянули этот процесс. Лишь в XVI–XVII вв. в Крыму, можно сказать, полностью исчезли пережитки кочевой экономики. А оседая на земле, бывшие кочевники во всех без исключения областях Таврики принимали единообразный, сохранившийся, судя по всему, с византийских времен, общинный закон.

Впрочем, сказанное вовсе не означает, что на полуострове имело место *только* общинное землевладение. Наряду с ним существовала развитая частная собственность на сельскохозяйственные угодья, как и на средства городского производства. Крымские крестьяне располагали собственными или арендуемыми землями, на которых и производилась основная часть продукции, шедшей как на снабжение города, так и на внешнеторговый вывоз. Общинное хозяйство лишь дополняло семейное, что позволяет определить общую экономику села как *многоукладную*. И такая структура, сохраняясь на протяжении всего византийского периода истории крымского народа, осталась в наследство Новому времени, претерпев при этом плавном переходе минимальные изменения.

И уж конечно старинное, ещё доханское происхождение имела крымская городская ремесленная традиция, сохранившаяся и впоследствии, вплоть до XIX в. включительно (*Гордлевский,* 1928. С. 56–65). Многочисленные крымцы-ремесленники, среди которых было немало иноязычного элемента[1], объединя-

[1] М. Броневский писал в XVI в., что среди ремесленников чуть ли не основную часть составляли не крымские татары, но работавшие с ними под одной крышей христиане (армяне), турки, евреи и т. д. (1863. С. 357).

лись в 32 цеховые корпорации. Как и в любом европейском городе, во главе цеха стоял старший мастер (*уста-баши*). Согласно вполне чётко прослеживающейся византийской традиции, мастера и их помощники ведали всей экономической и кадровой деятельностью цеха: закупкой сырья, установлением цен на готовую продукцию, приёмом учеников (*шегирт*), экзаменами на мастерство и т. п. Избрание уста-баши или посвящение в мастера сопровождалось, как и в Византии, цеховым праздником, иногда превращавшимся в общегородские торжества, причем с отчётливой религиозной окраской. И этот обычай сохранился почти до наших дней (подробней об этом см. в I очерке второго тома).

В целом же, очевидно, в Крыму имело место не только «унаследование» местным населением старых греческих обычаев и установлений от ушедших за море (после турецкого завоевания) византийцами. Ведь после ослабления Византии и её позиций в Крыму многие греки-земледельцы здесь остались. Ширился неизбежный в такой ситуации процесс межэтнического смешения, как известно, максимально ускоряющий аккультурацию.

А о том, что такое смешение имело место, причем даже в скифской столице, не говоря уже о деревнях южного побережья, говорят результаты краниологического анализа материала раскопок Неаполя. В слоях, относящихся к VI–VII вв. н. э., здесь обнаружены черепа высокого и узкого типа с бóльшим выступом носовых костей, характерных для греков, чем это наблюдалось у более однородного провинциального населения горных районов, например Чуфут-Кале (*Соколова*, 1958 «а». С. 64). Примерно тот же вывод можно сделать и в отношении более поздних могильников (VIII–IX вв.) Коктебеля и Судака (указ. соч. С. 74).

Конечно, смешение шло не столь быстро, как это бывает в местах поселения множества мелких разноязычных групп. Оно затянулось на столетия. Не только в XVI[1], но и в середине XVII в. село Айсерез (н. Междуречье) упоминается в источниках как греческий населённый пункт (*Сухоруков*, 1903. С. 145). А полтора века спустя, в 1805 г., все 214 жителей этого села именуются татарами.

За несколько десятилетий до того, в конце XVIII в., в Крыму жила еще значительная часть потомков византийцев и более ранних колонистов, частью отатарившихся, частью сохранивших язык и религию, но сильно разбавленных более поздними иммигрантами-греками, в основном с Архипелага. И даже после того, как в 1778 г. греки были выселены в причерноморскую степь, в район будущего Мариупольского уезда, в горной части и на Южном берегу Крыма оставалось 66 деревень, где обитало немало греков, принявших ислам, что избавляло их от высылки. Сохранили они и свои родовые имена (фамилии); так, в Симеизе и в 1920–1930-х гг. существовали мусульманские роды Ставро, Паласов и др., члены которых, естественно, общались уже по-крымскотатарски, забыв свои греческие корни (КК. 29.06.1929)

Такое «превращение» греков в мусульман (то есть по сути — в крымских татар), вызывающее немалое удивление у современных переселенцев, не было тайной даже для авторов популярной, ознакомительной или путеводительной литературы XIX в. и более раннего времени. Автор одной из таких работ сообщает о населении

[1] «И поныне живущие на полуострове греки удержали свой язык и веру...» (*Михаил Литвин*, 1890. С. 7).

ялтинских деревень Ай-Василь и Дерекой: «Теперь обе деревни заняты татарами, потомками греков». Далее о греках Салачика и побережья говорится: «...такое же греческое население по ту сторону гор, на Южном берегу, почти всею массою своею обращено было в магометанство и превратилось в татар» (*Сосногорова*, 1880. С. 103, 187).

В дальнейшем антропологическая картина в различных районах рисуется поразному. В XIX в. основную массу населения горно-предгорной части этих деревень, входивших в состав Бахчисарайского, Мангупского, Муфти-Арпалыкского, Акмечетского, Карасубазарского, Судакского и Ширинского кадылыков, составляли уже татары, переселившиеся туда после 1778 г. (*Лашков*, 1895. С. 39). Зато на Южном берегу потомки византийцев удержались дольше, возможно, благодаря более раннему (до суворовской депортации) принятию мусульманства. Во всяком случае, профессиональные этнографы, работавшие здесь в середине XIX в., были поражены, насколько часто «...в южном Крыму попадаются татары и татарки с такими антично-правильными и прекрасными чертами лица, что невозможно на них смотреть без восхищения...» (*Народы*, 1880. С. 278).

В XIX в. число крымских греков резко возросло в результате переселения сюда так называемых архипелагских греков, т. е. жителей островов Эгейского моря (подробнее о них см. ниже). Это были представители иной, новогреческой культуры и языка, но и они продолжали оказывать разнообразное влияние на культуру, быт, идеологию местного населения.

Влиянию этому был положен конец лишь в XX в. — точнее, страшной весной 1944 г., когда греческому населению Крыма был нанесен самый жестокий в истории этноса удар: по известному указу оно было депортировано в Среднюю Азию, разделив участь коренного татарского населения. Обычно бывает нелегко смоделировать даже предположительный ответ на такой «антиисторичный» вопрос, как: а что было бы с греками, если бы их не выселяли при царе и при Сталине? Но в данном случае у нас есть редчайшая возможность такой ответ дать. Дело в том, что колония выселенных в XVIII в. на северное побережье Азовского моря греков сохранилась, почти не смешавшись с местным населением. Они сберегли и остатки своей культуры. Недавно здесь были собраны «десятки народных песен, баллад, танцевальных мелодий» (*Лисовенко*, 1988), и была даже выпущена стереофоническая грампластинка с этими записями. Поэтому мы ненамного ошибемся, если предположим, что, если бы не шовинистические эскапады Екатерины II, а также Сталина, то до сих пор, как ранее, крымская культура обогащалась бы последним отблеском великой греческой цивилизации, давно угасшей в самой Греции, но сохранившей поразительную жизнеспособность на земле Тавриды.

2. Сарматы

Сарматы — народ, также антропологически принадлежавший к европеоидной ветви азиатского потока переселенцев на запад, впрочем, со слабыми, неявно выраженными монголоидными чертами. Наиболее ранние следы обитания сарматов (или весьма близких, родственных им культур) обнаружены в степном Казахстане

Сарматский воин.
Греческая мраморная стела.
Эрмитаж

и на Алтае, то есть в Центральной Азии (*Сулимирский*, 2008. С. 10). Эти ираноязычные кочевники начали проникать в Северное Причерноморье в последние века до н. э.[1] Покинув Нижнее Поволжье и Приуралье, они устремляются на запад. Некоторое время они обитают в донских степях, но и оттуда приблизительно во II в. до н. э. их вытесняют роксоланы, мощное, также сарматское племя. Особенно интенсивным их переселение становится во II–I вв. до н. э., когда сарматы занимают степи Северного Причерноморья, вытесняя оттуда скифов.

Наиболее красочно описывает массовую переправу сарматов через Дон и последующее истребление ими скифов Диодор Сицилийский (*Диодор*, 1947. С. 68). Более поздний период истории сарматов отражен в известном рассказе римского историка Полиена. По его словам, сарматская царица Амага боролась со скифами в союзе с херсонеситами. Так, захватив во главе своих конников дворец царя скифов, она убила его, «царскую власть отдала сыну убитого, приказывая ему править справедливо», но весь край отдала херсонеситам. Это свидетельство чрезвычайно любопытно, как отражающее переходный период в истории Крыма: в скифской его части ещё правит царь, но он зависим от новой политической силы, от сарматов. Интересно здесь и описание сарматских нравов, сильно подверженных идеологии матриархата — женщины были и в составе конницы, и занимали высокие жреческие посты. Царица же «сама расставляла гарнизоны в своей стране, отражала набеги врагов и помогала обижаемым соседям» (*Полиен*, 1918. Т. VIII. С. 56).

В то же время основная часть завоевателей не спешила покидать обильные пастбища задонских земель. Наконец, часть сарматов проникала в Крым. Вновь встретившись здесь со скифами, заселявшими причерноморские степи, сарматы, судя по письменным античным источникам, вступали с ними в борьбу, оттесняя местное население на юг и восток. Однако иногда отдельные отряды сарматов заключали со скифами временные союзы для совместной борьбы с общим врагом. Так было, например, в период уже упоминавшихся Диофантовых войн.

[1] Геродот упоминает о них как о племени, находящемся ещё по ту сторону Танаиса-Дона (История. Т. IV. Гл. 20. Пар. 21, 100). Такой, очевидно, и была ситуация приблизительно в конце V — начале IV вв. до н. э.

Уже во II–I вв. до н. э. сарматы сражались и с Боспором, поддерживая, в частности, Митридата VI Евпатора (об этом говорит Аппиан), а также Фарнака в его войне с Асандром (I в. до н. э.). Затем их используют в своих походах римляне, да и те же боспоряне. Крайняя переменчивость, нестабильность международного положения в Северном Причерноморье содействовала частым метаморфозам в политике сарматов в целом, а также и отдельных их племён (аланов, сираков, савроматов) в частности. Поэтому в истории этого воинственного племени нередкими были и мирные периоды; так, уже с III в. до н. э. отмечен приток сарматов-переселенцев на Боспор (*Лобова*, 1956. С. 10).

Именно с Боспора, судя по всему, сарматы попадают в Центральный Крым; происходит это где-то на рубеже первого и второго тысячелетий, а возможно, и раньше. Такой вывод можно сделать исходя из анализа погребений в районе Неаполя Скифского, где обнаружены как сарматский инвентарь (мечи без перекрестья, зеркала, массивные пряжки и фибулы сарматского полихромного стиля), так и материальные признаки сарматского погребального обряда[1]; последнее является наиболее важное показателем миграции племени, так как украшения и оружие могли быть покупными. И наконец, самым бесспорным признаком такого рода служат найденные здесь черепа, деформированные в детстве, как это было принято из всех народов Причерноморья и Крыма только у сарматов.

Во второй половине I в. н. э. сарматы в союзе со скифами вступают в упорную борьбу с херсонеситами. Город был осаждён, положение греков стало безвыходным, но они использовали незнакомство степняков с морем (бухта не была блокирована) и послали за помощью к римлянам. Армия Плавтия Сильвана обрушилась на осаждавших, и те после тяжёлых боев отступили. Поражение резко изменило политику сарматов: они становятся в борьбе скифов с Боспором на сторону последнего. Это и было, как считают некоторые авторы (*Грибанова,* 1952. С. 8), основой роста военного могущества боспорян при царе Савромате I (правил в 93–123 гг.) и Котисе II (123–132 гг.). Более того, Боспор в эту эпоху избежал участи Херсонеса, находившегося под римским владычеством, именно благодаря сарматам. Римляне знали, что боспорские правители в любой момент могут получить неограниченную поддержку со стороны сарматских племен, и это заставляло императоров считаться с их независимостью.

Во II–IV вв. продолжается и мирное проникновение сарматов в горные и предгорные области полуострова. Они заселяют свободные земли, часто проникают и в старые поселения, нередко смешиваясь с аборигенами. Уже частично смешавшись со скифами (отчего их называют «скифо-сарматы»), они поднялись в горы и из давно обжитых, уютных и плодородных долин Альмы, Булганака и Качи. Установлено время этого массового переселения (III–V вв.), выяснена его причина, а также новый ареал этой миграции (натиск готов) и новый ареал расселения — пространство между Первой и Второй грядами Крымских гор (*Веймарн*, 1980. С. 26). Известны случаи основания скифо-сарматами новых убежищ-крепостей или укрепления старых; самые известные примеры — город

[1] Имеется в виду положение костяка со скрещенными ногами, разбитые по ритуалу зеркала, конские захоронения в погребениях. Характерна ориентация могил по вектору юг—север.

на горном обрывистом плато на р. Чурюк-Су, позже названный Чуфут-Кале, а также посёлок Суук-Су.

Сарматов постигла судьба других, больших и малых племён и народов, оказавшихся в «плавильном тигле» Крыма в дописьменную эпоху. Они растворились в местном населении. В частности, керченские сарматы в качестве «промежуточного» субстрата вошли в состав этноса, называемого боспорянами (*Корпусова*, 1983. С. 96). Но и боспорянам тоже было суждено стать одним из «кирпичиков» в никогда не прекращавшемся процессе этногенеза коренного народа Крыма.

Сарматы не оставили по себе памятников, кроме тех, что извлекаются в наше время из их захоронений. Но и их сравнительно немного. Гораздо лучше сохранились не собственно памятники этого древнего этноса, а бесспорно сарматские реалии в иноэтничной и инокультурной среде. Во всяком случае, если речь идёт о крымских сарматах, то именно по таким рельефным следам, бесспорным культурным отпечаткам, и сделана значительная часть наблюдений и научных выводов (См.: *Орлов, Скорин*, 1980; *Щепінський*, 1977 «б»).

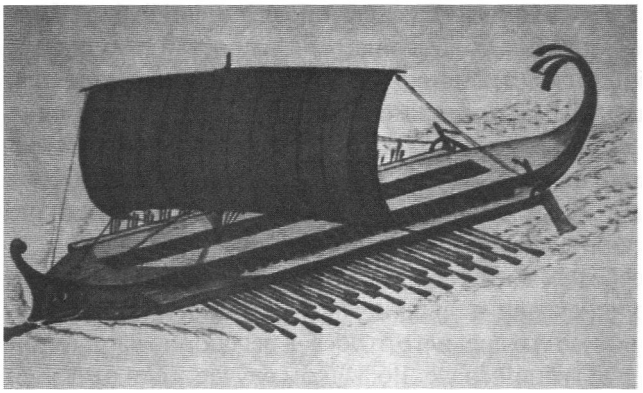
Что же касается более общего влияния сарматов на культуру тогдашнего населения Крыма, то эта проблема ещё далеко не разрешена. Есть немало бесспорных фактов такого воздействия сарматов на их современников, как скифов, так и колонистов из Греции и Рима[1]. Однако мы не можем присоединиться к весьма решительным выводам некоторых специалистов о «всеобщем процессе сарматизации материальной культуры народов, населяющих Крым» (*Лобова*, 1956. С. 15). На текущий момент культурное наследие крымского населения первых веков н. э. изучено уже вполне достаточно для того, чтобы отнести подобный вывод к явным преувеличениям.

3. Римляне

а) Первые легионы

Римские воины впервые сошли на крымскую землю по узким трапам своих трирем где-то в районе нынешней Керчи. Это случилось при императоре Клавдии в 45 г. н. э., в эпоху, когда посланцы Вечного города осваивали берега Чёрного

[1] Так, римляне в Крыму создали по сарматским образцам отряды тяжёлой конницы, причем всадники были одеты в чешуйчатые панцири; уже в I в. н. э. они были вооружены сарматским обоюдоострым мечом *спатой*. Впрочем, грекам Боспора и спата, и сарматский панцирь были известны ещё раньше (*Цветаева*, 1979. С. 38). Другой пример — такое эпохальное изобретение сарматов, как стремя, без использования которого невозможно создание тяжёлой конницы, которую они успешно противопоставляли скифской «лёгкой кавалерии» (*Мансуэлли, Блок*, 2007. С. 178–179). Добавим, что использование стремени в корне изменило саму технику использования главного дальнобойного оружия тех времён — лука. Если раньше противника поражали *массой* выпущенных стрел, то теперь, опираясь на стремена, лучник получил возможность бить *точно*. В Византии, а затем в Центральной Европе стремена появились гораздо позже, чем в Крыму, — примерно в VI в. Впрочем, повсеместное распространение стремян на крымском полуострове некоторые исследователи относят к позднекочевническому периоду, то есть IX в. и более поздним временам (*Буров*, 2006. С. 254).



Римская трирема
(современная реконструкция)

моря — восточный и западный, продвигаясь все дальше в чуждом варварском мире. Легаты оставляли гарнизоны в небольших, наспех построенных крепостях, а легионы и когорты уходили по берегам всё дальше и дальше, чтобы сомкнуть гигантские клещи вокруг Понта Эвксинского в самой дальней его точке. И тогда настала очередь Крыма изведать судьбу «друзей римского народа».

Собственно, вмешательство римлян в дела Крыма происходило и раньше, оно было уже знакомо и Боспору, и Херсонесу. Так, боспорский царь Фарнак I, став при согласии римлян правителем Херсонеса, в благодарность объявил лично себя вассалом Рима, а в 25 г. н. э. вассалитет распространяется и на город. Отныне Херсонес мог рассчитывать на помощь Рима перед лицом постоянной скифской угрозы. Отныне Херсонес мог сохранять свою внутреннюю самостоятельность при соблюдении известного условия: он должен был стать «другом римского народа», другими словами, признать свою зависимость от императора. Впрочем, впервые римляне решили непосредственно вмешаться военной силой во внутрикрымские дела лишь двадцатью годами позже, когда власть Боспора на юге полуострова ослабла.

Тем не менее не стоит полагать, что греки крымских полисов восприняли римлян как враждебную силу. Нет, это было мирное завоевание, смена караула на границе цивилизаций. Занимая эллинские колонии, римляне опирались на греческую аристократию, поддерживали её, предоставляя ей привилегии и субсидии (*Цветаева*, 1979. С. 51). Во-первых, новые колонисты знали, что на собственную военную силу им, соседям всё более усиливавшихся кочевников, надеяться не стоит. Римская же армия, хорошо обученная, обладавшая более совершенной стратегией и тактикой, а также огромным опытом дальних походов против варваров — короче, лучшая армия Европы — могла защитить города надёжнее любой иной. Эти надежды простирались и на морские торговые пути, и не напрасно. Так же надёжно, как берегами, римляне овладели Понтом, и уже в I в. н. э. пиратство здесь было полностью уничтожено Равеннской и Мезийской боевыми эскадрами.

А во-вторых, статус друзей римского народа, не говоря уже о римском гражданстве, имел и свои выгоды, причём не только в военно-политическом смысле. В правление Марка Аврелия (121—180 гг.) знаменитый греческий оратор Публий

Элий Аристид мог с полным правом сказать в своей речи о великом городе и его владениях: «Рим свёл весь этот мир воедино во имя одного города. Где бы в мире ни родился человек, он всё же обитает в его центре», то есть чувствует и себя частью Рима, бывшего для него бесспорным центром вселенной. Это чувство было особенно востребованным в среде греков-колонистов, на глазах которых увядало былое могущество их старой родины.

С приходом римских гарнизонов резко уменьшилась и опасность исчезновения неповторимого культурного облика городов Крыма. Напротив, лишь благодаря римлянам надолго отодвинулась угроза полной варваризации полисов. Ведь Ольвию уже взяли и разрушили геты, к Крыму все ближе продвигались кубанские и донские сарматы, да и собственные, крымские скифы в это время представляли собой враждебную грекам силу. При этом греки понимали, что схватка с этими варварами становится неизбежной и что рано или поздно придётся им подчиниться.

Политические интриги Рима и Боспора, в результате которых легионеры то выступали совместно с боспорцами, то помогали царям бороться с восставшим народом, были малоизвестны таврам, все ещё населявшим горное пространство вдоль Южного берега. Поэтому, когда римляне стали планомерно «осваивать» берег, они встретили неорганизованное, но дружное сопротивление тамошнего населения. Не владея классической римской стратегией и тактикой, не говоря уже о военной технике, тавры тем не менее весьма эффективно использовали особенности ландшафта, дополненные искусственными завалами и укреплениями-клисурами в горных проходах и долинах (циклопические эти сооружения сохранились до сих пор). Были у тавров и оборонительные укрепления в виде крепостей и отдельных башен, часто сложенных в примитивной технике (всухую, без раствора), но достаточно мощных, чтобы отражать нападения пришельцев.

Обладая всеми преимуществами местных, привычных к крымским условиям жителей, тавры нередко предпринимали дерзкие вылазки, нападая на гарнизоны новых крепостей, которые постоянно ощущали себя в окружении враждебного мира. Вот как описывает Овидий будни одной из таких причерноморских крепостей Рима: «...чуть часовой с дозорной вышки даст сигнал тревоги, мы тотчас дрожащей рукой надеваем доспехи. Свирепый враг, вооруженный луком и напитанными ядом стрелами, осматривает стены на тяжело дышащем коне, и как хищный волк несёт и тащит по пажитям и лесам овечку, не успевшую в овчарню, так враждебный варвар захватывает всякого, кого найдет в полях, ещё не принятого оградой ворот; он или уводится в плен с колодкой на шее, или гибнет от ядовитой стрелы» (Цит по: *Блаватский*, 1954. С. 136).

И недаром вся цепь римской обороны была обращена фронтом к горам. Опасность грозила отнюдь не с моря.

б) Римский порядок

Понемногу уменьшалась и угроза изнутри полуострова. Римляне шаг за шагом овладели всем Южным берегом, а также крепостями, стоявшими у узловых скрещений крупнейших торговых путей внутреннего Крыма. Их гарнизоны остались и в Неаполе Скифском, и в Альма-Кермене (здесь, на берегу Альмы, стоял

прославленный XI Клавдиев легион). Поднялись крепости на горах Кошка, Аю-Даг, Кастель, где они господствовали над местностью. Цепь укреплений протянулась, как было сказано, вдоль берега от Херсонеса до Пантикапея. Городскими центрами отныне становятся Джалита (Ялта), Горзувиты, Алустон. Преобразуются и старые города: идёт перепланировка Херсонеса, укрупняются кварталы, площадь домов увеличивается по сравнению с греческими в 2–3 раза, ширина улиц уже достигает 7,5 м. А в Пантикапее во II в. были устроены мощные террасы, на которых выросли новые жилые кварталы (См.: *Цветаева,* 1979. С. 66).

Благодаря, прежде всего, римским крепостям к высшей культуре тогдашней Европы, по сути греческого уровня и типа, приобщается весь Южный берег и часть Центрального Крыма. Это были не только новые укрепления. Римляне охотно занимали и совершенствовали отбитые у тавров цитадели. При этом скромные постройки аборигенов, естественно, сменялись просторными казармами, комфортабельными термами и храмами. Почти непременной составной частью гарнизонных построек становится бассейн для плавания — такого рода спортивных сооружений ранее в Крыму не было. Один из бассейнов сохранился до XIX в. (в Ай-Тодоре, неподалеку от мечети этого ныне несуществующего села). Это была «...купальня с дном, которое выстлано цементом. Тут видны ещё стены с штукатуркой» (*Сосногорова*, 1880. С. 116). И, конечно же, коренной модернизации подвергалась сама фортификационная система, что превращало старые укрепления в первоклассные крепости (*Макаров*, 2010. С. 66–67). Самой мощной из них был Харакс.

На бурной оконечности мыса Ай-Тодор, там, где испокон века находилось гнездо таврских пиратов, на головокружительную высоту взлетела двойная цепь стен этой римской крепости. Отчасти использовав фундаменты и уцелевшие башни таврской цитадели (*Граков*, 1971. С. 77), отчасти надстроив их и возведя новые стены, римляне уже в I в. довели площадь Харакса до 6 га. Место это было когда-то избрано таврами не случайно, и римляне по достоинству оценили стратегические характеристики мыса, сумев их усилить. Там, где ныне стоит Ай-Тодорский маяк, они выстроили преторий с наблюдательной и сигнальной башней, откуда открывалась вся цепь южнобережных крепостей в алустонском и херсонесском направлениях. И конечно же, с этой высоты открывался великолепный обзор морского пространства.

Под прикрытием стен поднялись кварталы поселка при гарнизоне, где жили солдатские семьи и ветераны, ремесленники и торговцы. Конечно, они обслуживали только гарнизон, да и сам Харакс не играл никакой роли в системе крымской экономики, будучи исключительно стратегическим и военным центром. Это ограничение не в последнюю очередь было связано с особенностями местности, ибо трудно выбрать более удачное место для торгового или ремесленного города, чем Ай-Тодор — местность, не менее, чем постоянными ветрами, известная своим безводьем. Впрочем, с последней проблемой римляне справились, уже в I в. н. э. проведя в крепость водопровод с Ай-Петри. И пили они не теплую рыжеватую жидкость, как нынешний смотритель маяка, а хрустально-чистую, прохладную в любую жару родниковую воду, ведь шла-то она не по железным, а по керамическим трубам собственного производства...

Да, прекрасная была крепость, как и вся оборонительная система крепостей и застав побережья, связанных друг с другом легендарными римскими военны-

Римская военная дорога близ мыса Меганом.
Фото автора

ми дорогами[1]. И тем не менее даже в пору расцвета своего могущества в Крыму во II в., Рим настолько опасался тавров, этих нищих горцев, что постоянно держал здесь отборные войска. Как утверждают, это были отряды I Италийского, V Македонского, XI Клавдиева легионов, а также I Киликийская, II Лукенсийская, I и II Боспорские, IV Кипрская, I Бракаравгустановская вспомогательные когорты, Боспорская ала и Фракийская пира. И это не считая Равеннской эскадры и Мезийского Флавиева флота, чьи триремы постоянно крейсировали в прибрежных водах (*Блаватский*, 1954. С. 132–133; *Соломоник*, 1988. С. 40) или стояли у пантикапейских причалов, готовые в случае тревоги принять на борт римское сухопутное войско или морских пехотинцев (*Сапрыкин, Ермолин*, 2010. С. 80).

Тем не менее жителям городов не хватало и этих войск по весьма веской причине: регулярные части теперь не могли быть усилены наёмным войском. Ведь ранее население эллинских и боспорских городов нанимало солдат вспомогательных отрядов по соседству. Теперь же соседям и самим нужны были воины: вплотную подступившая римская опасность была весьма нешуточной. Многие потенциальные солдаты самого Крыма служили римским императорам, так что и на ополчение большой надежды не было. Поэтому в городах создаются особые братства (синадельфии или синоды) мужчин — конных рыцарей, копейщиков,

[1] Эти дороги — один из самых впечатляющих следов римской цивилизации вообще. Римлянами была впервые создана *сеть* дорог, широко ветвящаяся до самых границ известного тогда мира. И это была настоящая система кровообращения, без которой было невозможно римское владычество над миром. По ним нескончаемыми колоннами маршировали легионы, за ними двигались купцы с товаром, посольские повозки с ваннами и другими атрибутами цивилизации. *Via militaris* (военная дорога) не прокладывалась, а *строилась*: в широкую траншею укладывались на цементном растворе тяжёлые тёсаные блоки, на них — меньшие по размеру камни, перемежаемые слоями глины для амортизации полотна. Затем — бетон с щебнем или гравием, и, наконец, само полотно из неправильной формы плит, по краям окаймлённых прямоугольными, глубоко уходящими в нижележащие слои квадрами. Система римских военных дорог просуществовала всё Средневековье, практически не требуя ни ремонта, ни усовершенствования. Кое-где эти шедевры древнего инженерного искусства сохранились до наших дней. Один из них можно видеть на самом мысе Ай-Тодор; считают, что второй уцелевший отрезок магистрали находится между Байдарами (н. Орлиное) и верхней частью Шайтан-Мердвена, а третий, 150–200-метровый участок полотна на пологом склоне г. Меганом, расположен справа от современной грунтовой дороги Токлук (ныне Богатовка) — мыс Меганом.

закованных в броню лучников. Это были сакрально-политические корпорации с военной организацией; по римскому образцу они были разбиты на отряды, подчинявшиеся жёсткой дисциплине. Связывали этих рыцарей и совместные отправления культа, общая забота о погребении павших соратников и об оставшихся после них семьях (*Ростовцев*, 1918. С. 184–185). Присутствие братств резко отличало город от окружающих селений, придавало ему особый колорит, невиданный ни в других провинциях Рима, ни у соседей-крымчан.

в) Великий перелом

Со временем начались и более глубокие перемены. После того как римлянам удалось обезопасить торговое мореплавание от пиратов, начался новый расцвет городов. Из руин поднимались сметённые скифами селения, развивались ремёсла, промыслы, торговля в больших и малых городах, росло количество товаров, производимых как для внутреннего рынка, так и на экспорт. А затем произошла и качественная метаморфоза: возникла новая урбанистическая форма, зарождается тип торгово-промышленного города. Вместе с тем (и благодаря этому) Крым уже никто не рассматривает как далёкую окраину цивилизованного мира (хотя и весьма неплохо известную в Константинополе и Риме). Окраина не приблизилась к культурным центрам, произошло иное.

В первые века нашей эры экономический центр тяжести огромной империи смещается в восточные римские провинции. И это далеко не случайно, так как в хозяйственном отношении её Запад стал отставать от хранившего неиспользованные потенции, неисчислимые экономические ресурсы Востока. Северное Причерноморье во II в. — уже развитая сырьевая база, поставщик сельхозпродуктов и практически неограниченный рынок сбыта готовой товарной продукции. И далеко не случайно, что именно здесь, на окраине, столкновение двух миров — средиземноморского и степного — становится источником новых, невиданных ранее экономических и социальных отношений. Не случайно, что это происходит именно в Крыму, где оживлённые неслыханными конъюнктурами торги манят землевладельцев, маклеров и купцов миражами (и не только миражами) в одночасье возникающих огромных состояний, где цены на зерно и рыбу уже пустились в свой аритмичный до сумасшествия, свой неутомимый танец. Именно тут старые, окостеневшие отношения, ещё годные для стылого имперского мира, *ancient regim*'у материка, не выдерживают ударов новых волн и безнадёжно ломаются.

Количественные изменения экономики выливаются в социальные, качественные метаморфозы — и естественно, — и в Крыму II в. исчезает отменённый сверху рабский труд (*Цветаева*, 1979. С. 52).

Вдумаемся в этот простой и бесспорный факт: полуколониальная провинция на века обогнала в социальном прогрессе метрополию! Христианский Рим из последних сил цепляется за рабовладение (кстати, в свете новой, христианской веры недопустимое), прилагает огромные усилия для его сохранения, буквально подавляет своей массой взрывные внутренние катаклизмы[1], а полуязыче-

[1] Своих восставших рабов Рим избивал и во второй половине III в., хотя с каждым новым мятежом рабов это и удавалось одряхлевшей империи всё труднее (*Ковалев*, 1986. С. 644).

ский Крым уже столетие как свободен, а крымские практики уже давным-давно обсудили на своей варварской латыни теорию нерентабельности рабского труда и согласно его отменили. Древний мир угасал повсеместно, но зарево грядущей великой эпохи, Средневековья, загоралось на Востоке, где Крым первым в Европе дал свободу своим рабам.

Вернемся же к крымскому городу, основному проводнику новых веяний, вглядимся в его облик пристальнее. Как никогда ранее, город римского периода истории Крыма был славен базарами. Прекрасный торг был, например, в Херсонесе, на площади перед храмом Артемиды. Лавки сильно смахивали на италийские, римскими были и гири, и весы. Здесь бойко торговали хлебом, перекопской и керкинитской солью, рыбным соусом *гарумом*, ценившимся наравне с пряностями, а также вином, мясом, птицей, оливковым маслом[1], зеленью, фруктами, пряностями. И, конечно, рыбой, которую всё больше вывозили на экспорт — это было выгодно. Так, Полибий писал, что за одну амфору маринованной сельди пантикапейского засола гурманы с Капитолийского холма давали 300 драхм, а ведь это стоимость пусть небольшого, но дома!

Прямо в дверях мастерских, которых было близ базара множество, на соломенных подстилках были расставлены керамические, стеклянные, медные, деревянные сосуды, литые и кованые изделия из меди и стали, оружие и инструменты, обувь и ткани, мотки шерсти, статуэтки местных римских божеств, принадлежности для письма. Уже во II в. здесь можно было встретить товары не только из Греции или Рима, но и из далеких римских провинций — Германии, Галлии, Паннонии (*Сорочан,* 1981. С. 9). И покупателями были в III–V вв. уже не одни лишь херсонеситы, но и жители гор, готы и тавры, приезжавшие сюда на двуколках с огромными колесами не только из соседних Балаклавской, Байдарской и Инкерманской долин, но и с Альмы, Качи, Каралеза, а в V в. — и из Чуфут-Кале, Мангупа, Эски-Кермена... За море шли не только рыба, соль и хлеб, но и по-прежнему исправно поставлявшиеся северными соседями рабы (*Ростовцев*, 1918. С. 162) — товар, на который был спрос везде, кроме Крыма.

г) Наследие римлян

Римляне пробыли в Крыму довольно долго — до IV в. и, естественно, не могли не испытать влияния местной культуры. Как упоминалось, они возводили свои крепости, используя циклопические фундаменты и цоколи захваченных таврских укреплений, подчиняясь плану этих древних цитаделей. Наверняка заимствовали римляне в Крыму местные традиции и мифы. К такому выводу пришел Д.Д. Фрэзер, исследуя мифы об Оресте и Диане Таврической (*Фрэзер*, 1983. С. 11). В экономической же области более заметно обратное влияние — римлян на крымчан. Крымское земледелие вступает в новую фазу развития — вначале не совсем по «крымским» причинам. Поскольку благодаря истреблению римлянами пиратов оживилось мореходство и повысилось товарное, ориентированное

[1] Популярность этого импортного продукта среди местного населения быстро росла. Если во II в. Херсонес ввозил масла на 1–1,3 млн динариев, то в IV в. уже на 5–6,6 млн ежегодно (*Сорочан*, 1981. С. 13).

на вывоз производство, это в свою очередь повлекло за собой рост как городов (здесь были обрабатывающие предприятия и торговые склады), так и земельных латифундий (в них стало возможным укрупнённое товарное производство).

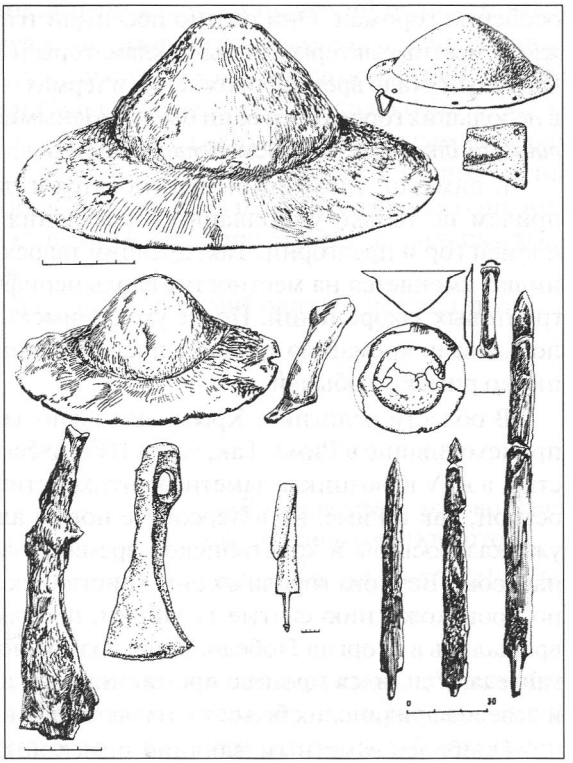
Усовершенствования коснулись прежде всего традиционных отраслей агротехники. На виноградниках появляются римские мотыги, ножи, пилы, короткие италийские косы, удобные для работы в междурядьях, а также более длинные типа галльских для обкоса лугов. Римляне завезли и первые усовершенствованные рычажно-винтовые прессы с семисоткилограммовой гирей на длинном, свыше 7 м, рычаге. Древние крымские *тарапаны* заменил каменный вмурованный настил, а в цистернах стала применяться цемянка, которую винная кислота не разъедает так быстро, как бетонное покрытие. И это тоже было римским новшеством.

Но наиболее заметными были всё же перемены в хлеборобстве. Хлеб стал основой нового подъёма экономики Крыма, который уже снабжал зерном и мукой римские армии, стоявшие на Дунае, по берегам Понта, в Каппадокии, Армении. Именно поэтому начались перемены и в структуре экономики Крыма — в херсонесском клере и в других местах даже вырубали сады и виноградники ради расширения посевной площади. Подавляющее большинство населения теперь занимается земледелием, — в Боспорской хоре до 3/4 жителей. Выращенное ими зерно свозилось в огромных количествах в города, где для постройки складов уже начали сносить общественные здания и жилые кварталы. Зернохранилища цилиндрической формы достигали размеров 6,4 м в высоту и 4,5 м в диаметре; внутренняя сторона их покрывалась глиной с последующим обжигом, что позволяло хранить зерно десятки лет — это были настоящие элеваторы. На полях стали нередкими итальянские усовершенствованные колёсные плуги с подплужником, резцом и лемехом.

Развитие рыбной ловли промышленных масштабов также первоначально было вызвано нуждами римской армии. В рацион легионера непременно входили килька или анчоус, поэтому часть солдатского пайка шла из Крыма на не столь далёкие Кавказ и Дунай. То, что рыба, не весьма популярная в Крыму, добывалась в основном на вывоз, доказывается почти полным отсутствием рыбных костей в раскопках Херсонеса, — а ведь в этом рыбозасолочном центре найдены цистерны, объёмом превышавшие 2000 кубометров. Римляне организовали крупные рыболовецкие базы также в Пантикапее, Мирмекии, Киммерике.

В ремёслах наблюдается весьма примечательное явление — унификация производства, имевшая место, без сомнения, под римским влиянием. Так, эталоном кирпича нового типа, обожжённого, становится кирпич, изготавливавшийся в Хараксе. Такая стандартизация намного облегчала и ускоряла строительство, кстати, также нередко ведшееся по римским типовым проектам. Черепица была двух основных видов, заимствованных у греков, но и на ней, и на кирпичах обязательно ставились клейма легионов, в мастерских которых они изготовлялись. Новыми были и некоторые зодческие приемы: с римской эпохи в Крыму стали известны полукруглые своды, арки над воротами (сами римляне некогда заимствовали их у сирийских мастеров, а те — у этрусков, через греческое посредничество).

Производство оконного стекла, как и разнообразной посуды с многоцветным орнаментом, было налажено римлянами во многих крымских городах. И эти мастерские чаще всего принадлежали армии, в них работали солдаты и ветераны-отставники. Крупнейшей была стекольная мастерская XI Клавдиева



Позднеримское оружие,
Ай-Тодор, Чатырдаг
По Н.И. Сокольскому и В.Л. Мыцу

легиона в Альма-Кермене. Модернизировался строительный инструмент. Так, известный ещё в IV в. до н. э. греческий рубанок, весьма несовершенный (нечто вроде тесла в деревянной рамке) и малопродуктивный, давно приобрел у римлян вполне современную форму. Причем уже в I в. н. э. в Крыму имелся весьма широкий выбор этого инструмента: шерхебели, чистовые фуганки, цинубели, зензубели и даже фигурные рубанки (*Сокольский*, 1971. С. 184). Крымские мастера тогда уже работали поперечными и продольными пилами.

В строительстве, очевидно, ранее всего зародилось разделение труда — непременное условие крупного производства мануфактурного типа, на этот счёт есть твёрдые свидетельства (*Цветаева*, 1979. С. 71). Но и без них это явствует из множества захоронений эпохи, где в качестве подстилки использовались опилки и стружки, эти скапливавшиеся большими массами отходы крупного деревообрабатывающего производства (*Сокольский*, 1971. С. 185).

Очевидно, важной производственной базой был и боспорский рыболовецкий флот, организованный по образцу римского. Держали его в основном в пантикапейском порту, вмещавшем одновременно более 30 судов, а также в Феодосии, где в ковше гавани могло стоять и сто, и больше кораблей. Крупным транспортным портом был Херсонес. Сами суда конструктивно были аналогичны римским — это видно из росписей пантикапейских склепов.

Столь сильное римское влияние на крымское население и его культуру не ограничивалось, естественно, производственной сферой. Изменился и быт,

особенно горожан. Они охотно посещали театры и цирки, где выступали приезжие и местные актёры, поэты-декламаторы и музыканты (*Соломоник*, 1988. С. 40). Обычным стало времяпровождение в термах — современники сообщают, что даже в небольших городах эти бани были «полными», т. е. с горячим отделением *кальдарием*, тёплым помещением *тепидарием* и более прохладным *фригидарием*.

К римской эпохе в Крыму относятся и глубокие идеологические перемены, причем не только у смешанного населения городов, но и среди автохтонных племён гор и предгорий. Так, древний таврский обычай погребения в каменных нишах сменяется на местностях вдоль периферии римских владений практикой грунтовых захоронений. После ухода римских войск крымчане уже широко использовали кремацию трупов с последующим погребением праха в урнах — типично римский обычай.

В области религии в Крыму довольно заметно ощущались перемены, даже происходившие в Риме. Так, уже в III в. здесь стало распространяться христианство, а в IV в. возникла заметная антихристианская реакция. Она была не такой острой, как в Риме, но в Херсонесе новый алтарь Юпитеру все же воздвигли — уже казалось бы в христианское время. Известен ряд святых, перешедших из пантеона Вечного города в сонм христианских святых Крыма. Это фракийские по происхождению святые-всадники, популярные среди легионеров. Они превращались в Георгия Победоносца, возможно, с ними связан культ Михаила Архангела. Усилился процесс проникновения в мир крымских культов восточных и североафриканских божеств, начавшийся в доримский период.

Наиболее заметным влияние римской культуры было там, где население было смешанным, то есть в городах. Так, для искусства Херсонеса уже послеримской эпохи характерен весьма специфический и редкий вид его — портретный рельеф, бывший несомненно римским заимствованием (ДТ. С. 141). Огромно число найденных в Крыму ювелирных и ритуальных изделий римского типа. Много таких статуэток было изготовлено и из крымских пород камня, — их делали местные мастера. Здесь были переняты и весьма сложные виды римской техники, например, изготовление мозаичного стекла (*миллифиоре*), освоенное пантикапейскими мастерами.

Наконец, в ряду аккультурационных феноменов особняком стоит антропологическое смешение. Сопутствующим фактором ему были контакты, неизбежные в условиях службы местных уроженцев в римских крепостях и селениях. Это занятие имело массу выгод. Ветераны римской армии, пусть даже готского или таврского происхождения, заслужив звание римского гражданина, освобождались от всех налогов, а их семьи — от военного постоя, призыва в части самообороны, литургий. Более того, занимаясь торговлей, они освобождались от пошлин, а в случае ущемления прав имели привилегию судебной апелляции к римским магистратам и даже сенату. Не все крымчане, естественно, могли дослужиться до таких льгот, но тем не менее число римских граждан иногда превышало количество легионеров в гарнизоне в пять и более раз (Ай-Тодор, 1909. С. 99). Известно также, что вся Боспорская ала, а также I и II Боспорские когорты набирались, в основном, из крымских юношей и зрелых мужей.

Остаётся сказать, что с уходом римских войск не все легионеры и цивильные римляне захотели покинуть Крым. Привыкнув к этому благословенному

краю, завязав на протяжении длинной цепи веков и поколений родственные и иные связи (а может быть, и чувствуя приближение роковых для старой родины, Рима, катаклизмов), они не решились бросить землю, которую считали землёй своих предков. Как писал римлянин Сальвиан, правда, в несколько более поздний период, «они идут на службу к готам... или к каким-нибудь другим повсюду господствующим варварам и не раскаиваются в своем поступке. Они предпочитают жить свободно, нося звание рабов, нежели быть рабами, сохраняя одно имя свободных» (цит. по: *Ковалев*, 1986.С. 691). Постепенно они растворились в массе основного населения полуострова.

И в широкие жилы крымского народа влилась ещё одна, римская, струя...

4. Готы

Как известно, только здесь
сохранились остатки готов...
В.В. Бартольд. Соч. Т. III. С. 468

а) Предыстория «готской проблемы»

Готы — германо-скандинавская группа племён, снявшись с исконных мест обитания накануне и в эпоху Великого переселения народов и неудержимо двинувшихся на юг. Почему они покинули Север, в точности неизвестно. Скорее всего оттого, что на родине настал великий многолетний голод, когда приходилось есть кашу из буковых орешков и коренья диких трав, как это доказано археологами. Иначе трудно представить, почему со старого, привычного места обитания снялись тысячи крепких мужчин и, бросив пашни и пастбища, двинулись на юг со скотом, с жёнами, детьми, немощными стариками, которых приходилось везти в телегах или ручных повозках. Великолепные воины, готы не страшились врагов. Но они не смогли устоять перед голодным лихолетьем, и их сорвало с места. Это было настоящее Большое Приключение, конец которого был неведом никому.

Из числа причин, вызвавших переселение готов, можно сразу исключить «страсть к перемене мест». Ведь готы не были кочевниками, для которых передвижение, смена мест обитания — необходимое условие выживания. Достаточно хорошо изученные историками, готы были типично оседлым народом (группой племён), которым было трудно представить, что ждёт их в конце переселения, на далёком неведомом Юге. Хотя они, наверное, были готовы к тому, что место под солнцем им придётся отвоёвывать у тамошних жителей, и что не все уцелеют в этой схватке. Однако над такими доводами, видимо верх брали слухи о чудесных местах, где не нужны тяжёлые зимние одежды и где людей всегда греет солнце.

Впрочем, остготский историк VI вв. Иордан, основываясь на не дошедшем до нас сочинении своего предшественника Кассиодора, называет иную, не менее важную причину этой знаменитой миграции: перенаселенность старой родины готов, из-за чего их король Филимер повёл свой народ искать свободное пространство для жизни. То есть, по-видимому, главной причиной Великого переселения всё же был голод, усугублённый перенаселённостью. Ведь когда голод делается

невыносимым, когда на глазах мужчин гибнут их жёны и дети, воины становятся предприимчивыми и жестокими. Поэтому они пошли на новые места обитания невзирая на неизвестность будущего. Там же, куда они пришли, им удалось, хоть и не без сражений, подчинить низкорослых (на голову ниже северян) детей Юга, тоже, впрочем, не такого уж процветающего в те бедные века. При этом земли и богатства, что жители побережий Чёрного и Средиземного морей не отдавали северянам добровольно, готы брали силой. Впрочем, так поступали и другие пришлые народы во все времена.

Готы двинулись на юг двумя потоками, западным и восточным. Вестготы завоевали огромную и густонаселённую территорию Испании, остготы — Италию и прилегающие области Южной и Восточной Европы, в том числе Крымский полуостров. Но это было позже, а вначале они дошли до земли, которую Иордан именует *Ойум,* и которая, по мнению современных исследователей, означает местность близ Азовского моря (*Лавров*, 1999. С. 171–172). На ней и осели северные странники. Правда, временно, так как позднее их поиски постоянного места обитания продолжились.

Забегая вперёд, скажем, что готы уже к середине VIII в. растворились среди населения завоеванных земель, оставив в словарном обиходе раннего Средневековья лишь свое имя. За время ассимиляции их культура размылась, изменился и язык, сохраненный для потомков лишь в Евангелии, переведенном готским епископом Ульфилой. Лишь на востоке, на далекой периферии европейского мира, в дикой Тавриде уцелела нетронутая, изолированная от своих германских собратьев часть этноса, его последний осколок. Только готам, укрывшимся высоко в горах Крыма, — племенам *трапезитов* и *тетракситов*[1] — удалось при помощи оружия и хитрости уцелеть в годы нашествия гуннов. И лишь они сохранили величайшую из своих святынь, язык предков, до XVII, а по некоторым свидетельствам — и до XVIII в. То есть на тысячу лет дольше, чем их более могущественные соплеменники, поглощенные народами Римской империи.

Исследования истории крымских готов шли довольно своеобразными путями. Они издавна осложнялись соображениями, далёкими от чистой науки. «Готский вопрос» (суть которого сводилась к выяснению степени влияния готов на складывавшиеся причерноморские или восточноевропейские народы) получил в XX в. столько же ответов, сколько было политических сил, заинтересованных в том или решении этой научной проблемы. В 1930-х гг. два основных политических направления в этом вопросе представляли довоенные Германия и Советский Союз.

Германские гипотезы, клонившиеся к обоснованию некоего «исторического права» немцев на крымские территории, строились на теории расового превосходства арийцев над иным народонаселением Земли. В послевоенной Германии эта гипотеза 1930-х гг. давно отвергнута, её антинаучность доказана, и дальнейшей критики с чьей бы то ни было стороны она не заслуживает, как не стоит вни-

[1] У римлян, впрочем, для всех крымских готов было единое наименование — тетракситы (Gothi tetraxitae — *Кулаковский*, 1898. С. 181). Между тем, существует мнение, что в Крыму в самом деле остались только готы-тетракситы, а все иные ушли под натиском скифов — кто на Дон, кто на Дунай (*Saupe*, 1855. S. 40).

мания, например, «теория» о том, что вестготы являются исконным населением Испании.

Учитывая такую политизированную предысторию вопроса, можно попытаться понять одно любопытное явление в отечественной исторической науке. Советские учёные (правда, не все) в своём абсолютном неприятии старых германских расистских трудов выплеснули с мыльной водой и ребёнка. Согласно известному закону маятника, эти историки откачнулись от осевой истины в противоположную сторону, отрицая какую бы то ни было культурную роль готов в истории Крыма.

Поэтому при знакомстве с даже довольно современными трудами, сюжетно соприкасающимися с «готским вопросом», создаётся впечатление, что некоторые исследователи до сих пор ведут борьбу с гитлеровской пропагандой[1]. Они как будто боятся признать очевидный факт, что на перепутьях истории сталкивались, ассимилировались или противостояли друг другу этносы, из живого общения которых и образовались современные народы. Степень взаимного влияния народов, их исторические истоки и судьбы — вот единственно благодарный и благородный предмет для исследования. До сих пор «готский вопрос» все ещё остается «первородным грехом» российской (включая крымскую русскоязычную) исторической науки, поэтому автор, заранее сожалея о потраченном времени читателя, вынужден сделать небольшой экскурс в историю изучения этой проблемы.

Важность научного ответа на «готский вопрос» велика, естественно, по причинам далеко не только политическим. По сохранившему свою справедливость замечанию крупнейшего историка языка и филолога довоенного периода академика Н.Я. Марра (1864–1934), этот вопрос — «один из основных в истории Восточной Европы. Без его разрешения или хотя бы правильной постановки его решения, думается, этногоническая проблема народов европейского Востока едва ли сдвинется с места, на котором она застряла» (*Марр,* 1930. С. 445).

Позиция огульного отрицания роли, которую могли сыграть остготы в Крыму и Причерноморье в период складывания раннефеодальных этносов, не конструктивна. Советскими историками, кстати, перечёркивался и сам факт переселения в Крым готских иммигрантов как цельной группы, обладающей единым языком и этнической общностью. Утверждалось, что в противоположность «историческим готам», т. е. жившим в Западной Европе, «причерноморские готы автохтонно и стадиально образовались из ранее бывших здесь (т. е. в Крыму. — *В.В.*) племён путем скрещивания» (*Равдоникас,* 1932. С. 87). Имелось в виду, что этносы «менялись» в Крыму передвижением не в пространстве (эмиграции, иммиграции и др.), а во времени. Так, по В.И. Равдоникасу, было время киммерийцев. Потом они превратились в тавроскифов, попав в соответствующую стадию, затем в сарматской, аланской и иных стадиях их поджидала понятная судьба — всё новые метаморфозы...

---

[1] См., например: *Челеби,* 2007. С. 21, 147, 157–158 и др. Сочувственно упоминаемая этим автором «теория» М. Аджи о тюркском происхождении готов (а заодно с ними и остальных европейцев) здесь не рассматривается ввиду её дилетантской фантазийности, не имеющей ничего общего с наукой. Впрочем, писаниям М. Аджи нетрудно предсказать долгую жизнь — ввиду их явно популистского характера.

С германскими переселенцами дело шло не столь гладко, и В.И. Равдоникас не скрывает этого: «Для готов, вторгшихся как сложившаяся германская народность откуда-то с севера, нет места в культурной истории Причерноморья» (указ. соч. С. 44). Противостоя гипотезам, «подсказанным чуждой нам идеологией», то есть мировой наукой, довольно многочисленные сторонники этой точки зрения всячески открещиваются от «переселившихся из Скандинавии готов — первоначально германцев» (указ. соч. С. 86).

Об этой крайней точке зрения также не стоило бы вспоминать, хотя бы из-за её почтенного возраста. Однако её гальванизировали послевоенные советские учёные, утверждавшие, что в юго-западном Крыму осело некогда «три тысячи готов, служивших в наёмных войсках Византийской империи» (*Надинский*, 1952. Ч. 1. С. 43). Другими словами, это всего лишь солдаты, пришедшие в Крым довольно поздно, жившие на территории византийских колоний на полуострове и, следовательно, вряд ли оказывавшие какое-либо влияние на местное население.

Но, во-первых, судя по некоторым выкладкам, число готов здесь преуменьшено минимум в 5–7 раз (см.: *Домбровский*, 1972. С. 24). А во-вторых, готы если и были наёмниками, то лишь в отдельные периоды своей истории, да и то не все, а профессионалы-военные. Основная же масса этой этнической группы занималась в Крыму исключительно земледелием и скотоводством (см. ниже). Отсюда и неправомерность следующего вывода: «Вот эту-то группу наёмников-готов, осевшую в Крыму и полностью растворившуюся среди местного населения, немецкие буржуазные историки и их подпевалы пытались, грубо фальсифицируя историю, изобразить „народом“... Больше того, они приписывали этой группке готов создание самостоятельного в Крыму государства, которое будто бы просуществовало здесь вплоть до XIV–XV вв. и даже далее... Советскими историками сказки о „крымских готах“ полностью разоблачены» (*Надинский*, 1952. Ч. 1. С. 43).

Эти слова стоит запомнить хотя бы уже потому, что и в годы работы над этой книгой снова раздалась критика западной науки за её «нелепое» утверждение относительно того, что готы «якобы образовали там (то есть в Крыму. — *В.В.*) своё собственное государство. Это ошибочное утверждение о „крымских готах“ фашистские теоретики пытались использовать...» и так далее. Тут следуют рассуждения, которые не хочется цитировать — они способны вызвать зависть самого Равдоникаса (*Басов*, 1987. С. 4). Тогда же, в послевоенное время, появляется теория, согласно которой готы, бывшие как известно, носителями Черняховской культуры, все же признавались частью средневекового населения Крыма, но при этом доказывалось, что культура эта — всего лишь «один из этапов формирования восточных славян» (цит. по: *Колтухов, Юрочкин*, 2004). И у этой теории имелись такие видные сторонники, как М.Ю. Брайчевский, Э.А. Сымонович и даже академик Б.А. Рыбаков[1].

В отличие от подобных, чисто декларативных утверждений, попытки отрицать сам факт более или менее значительной миграции готов в Крым делались и на формально научной основе. Так, антрополог Г.Ф. Дебец сделал подобный вы-

[1] Показательно, что уже в то время были известны труды блестящего учёного М.И. Артамонова, делавшего относительно «готской проблемы» выводы совершенно верные (причём и с современной точки зрения) и, главное, доказательные.

вод на основе обмера черепов из крымских могильников, не смущаясь их малым количеством, составляющим около 30 захоронений (об этом см.: *Кропоткин,* 1953. С. 7). Здесь прослеживается связь с более ранними утверждениями о том, что «готы» — вообще этноним собирательный и что он означает группу племён, ничего или почти ничего общего со Скандинавией или Германией не имеющих (*Равдоникас,* 1932. С. 92; ДТ, 1966. С. 13).

Понятно, что здесь делается попытка свести известные факты готского заселения Крыма к нулю: готов вроде бы не было, или это были какие-то самозванцы, присвоившие себе славное имя великого народа. Однако прежде чем воскликнуть «А был ли мальчик-то?», обратимся, наконец, к трудам хоть и не столь общим тематически и заострённым политически, но написанным специалистами именно по этногенезу готов, изучившими проблему более целенаправленно и тщательно.

б) Происхождение готов Крыма

Шведскими историками показано, что прародиной их далеких предков-готов был Скандинавский полуостров, точнее, область Вестерготланд *(Oxenstierna,* 1945. S. 189), откуда они где-то на рубеже нашей эры переселились на противоположный, южный берег Балтийского моря, на территории, расположенные в нижнем течении (или у самого устья) реки Вислы. Далее, приблизительно в 100–200 гг. н. э., одна из готских групп двинулась на восток, затем на юг и достигла, миновав Полесье и Скифию, берегов Чёрного моря в первой половине III в. н. э.

Северные пришельцы тут же вступили в борьбу за жизненное пространство с Боспором, большая часть которого через некоторое время попала к ним в зависимое положение. По данным археологии, готы заняли прежде всего Восточный Крым. С середины III в. там даже падает численность греков и иных

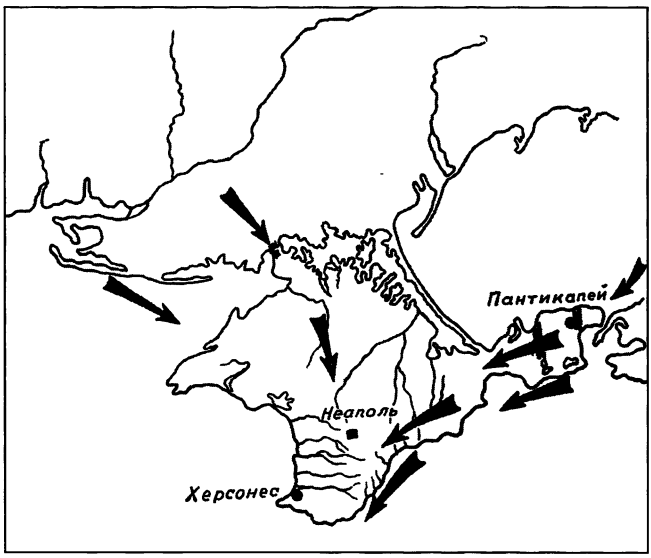
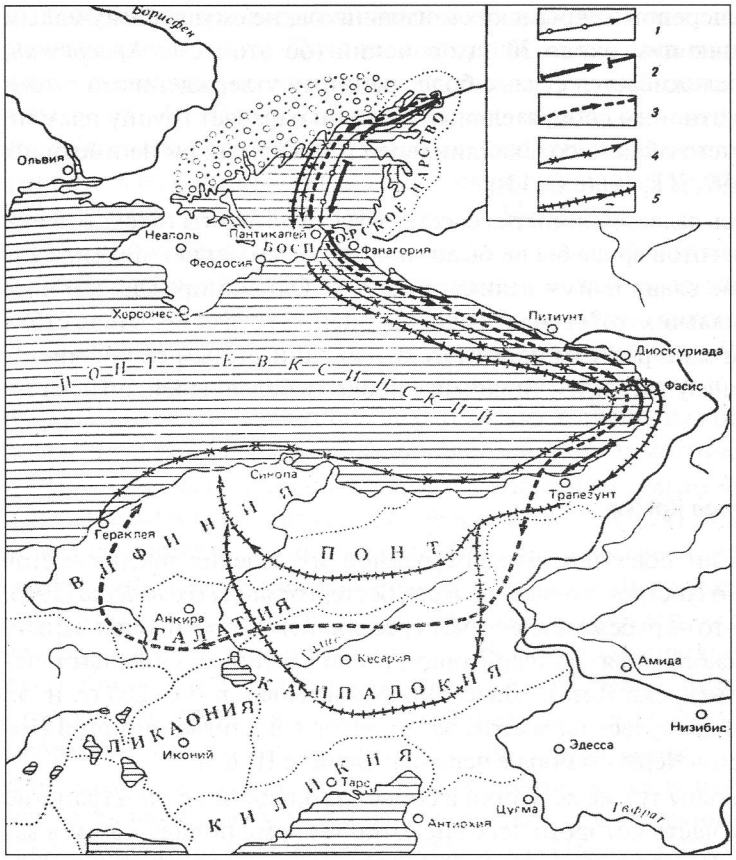


Схема готских походов в Северном Причерноморье в III в. *По Т.Н. Высотской*



1 — 255 (256) г.
2 — 257 г.
3 — 264 г.
4 — 266 г.
5 — 275 г.

Походы готов в Малую Азию. *По В.П. Будановой*

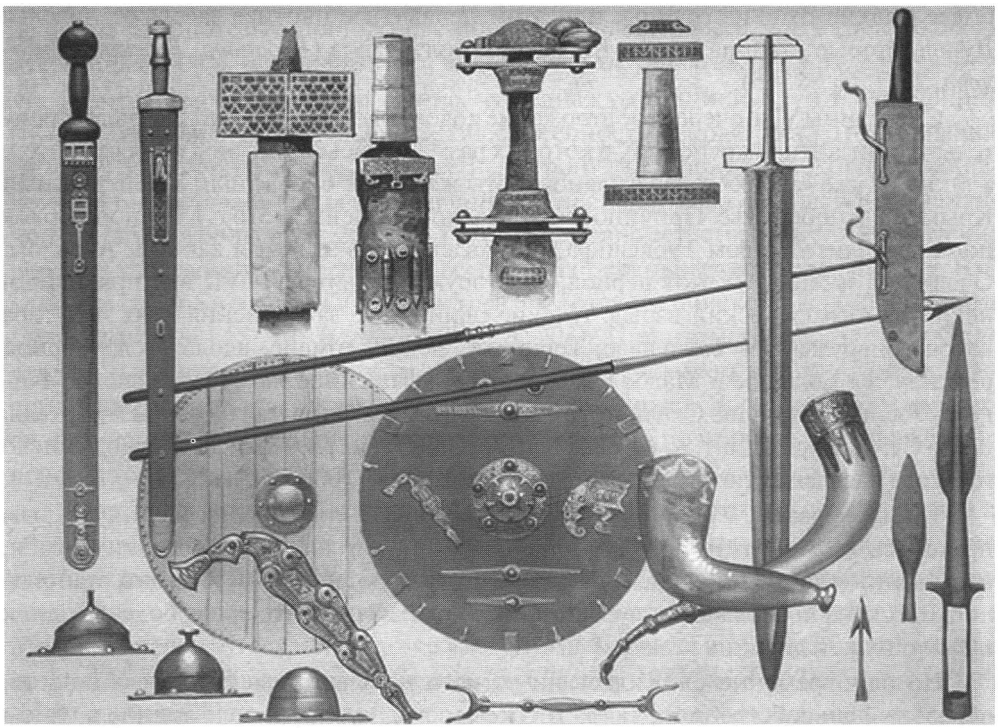
местных жителей, единственной причиной чего могло быть «готское нашествие, прошедшее по северо-западному Крыму сокрушительным валом» (*Щеглов*, 1978. С. 135). Фактически готы со своими союзниками сарматами и аланами разрушили позднескифское государство в Крыму. Воспользовавшись затем боспорским флотом, готы совершили ряд морских походов к устьям Днестра и Днепра, в Синоп, Питиунт (Пицунду) и далее — на острова и материковые города бассейнов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей (*Васильев*, 1921. С. 267; *Лавров*, 1997. С. 65–66). Походы эти намного опередили знаменитые набеги на европейские страны викингов, оставшихся еще на Севере; это было лишь первое их предвестие. Таким образом, народы Средиземноморья могли получить полное представление о грядущем *furor normanorum*, т. е. «ярости викингов», встретившись с крымскими готами уже в III в.

Позднее готы широко расселились, главным образом на территории Боспора и вдоль Южного берега Крыма, но не только. Они вытеснили в горы, а частично и за пределы Крыма население отдельных местностей, пришедшееся им не по душе (*Амброз*, 1974. С. 24). Готский умбон — срединная бляха на щите — был найден на границе степи и моря (Южно-Донузлавское укрепление), в слое, датируемом

256 г. (*Айбабин*, 1999. С. 32). А древний автор из Кесарии утверждает, что готские поселения находились и на Таманском полуострове (*Прокопий*, 1950. Кн. III. Гл. IV. 13). Расселение готов в этих местах отнюдь не означало, что они раз и навсегда отказались от набегов. В 448 г. их вождь Теодорих вновь отправился в поход на италийские города, взяв с собой бóльшую часть готского воинства, так что охранять крымские владения осталось всего несколько тысяч человек. Впрочем, это был скорее не поход, а переселение, так как большая часть ушедших осталась жить на новом месте.

Крымские же скандинавы сохранили за собой все территории, занятые ими во второй половине III — первой половине V вв., а именно, пространство практически всего Юго-Запада Крыма. Здесь они распространили (возможно, и среди местного населения) свой, готский обычай трупосожжения (захоронения в районе Чёрная речка—Чатырдаг—Харакс). Впоследствии некоторые из их погребальных и строительных традиций стали известны на гораздо более обширной территории. Это говорит не только о том,что здесь осела значительная масса германцев, но и о том, что культура их укоренилась среди немалой части многоплемённого населения Крыма (*Кропоткин*, 1978; *Пиоро*, 1990. С. 103–108; *Баранов*, 1986. С. 233).

Надо признать, что это расселение далось готам нелегко: им пришлось брать с бою или измором гарнизоны римских крепостей, среди которых были такие мощные, как Ай-Тодор и Альма-Кермен (*Гущина*, 1967. С. 58). Это позволило им подойти почти вплотную к Херсонесу, хотя сам город они, кажется, не взяли



Оружие готов

(*Блаватский*, 1985. С. 245). Другое дело, что позже, когда югу Крыма стали угрожать гунны, византийские императоры Феодосий I и Гонорий разрешили готам селиться как в самом Херсонесе, так и поблизости, в городской округе (*Сидоренко*, 1987. С. 138–139).

К середине III в. готы настолько освоились на берегах Чёрного и Азовского морей, что стали совершать набеги, пользуясь своим давним мореходным опытом. Однако период этих пиратских набегов был сравнительно краток. Один из самых крупных морских походов имел место в 267–268 гг., в нём участвовало и местное крымское население — места на полутысяче морских судов хватило для всех желающих. Флотилия вышла из Меотиды (Азовского моря), спустилась вдоль Южного берега Крыма к Херсонесу, затем поднялась к Тарханкуту и внезапно обрушилась на Тиру — основанный милетскими греками город в устье Днестра (*Айбабин*, 1999. С. 36–37). Затем поднялась по нижнему течению Дуная и повернула на юг. Во Фракии пришельцы встретились с римлянами, неоднократно вступая с ними в победоносные сражения, затем вышли на просторы Средиземного моря, захватили такие острова Архипелага, как Лемнос и Скирос, а потом через Босфор вернулись домой (*Буданова, Горский, Ермолова*, 2011. С. 53–54).

После этого наступил некоторый спад военной активности готов, до примерно 400 г., когда они овладели Боспором (см. ниже). В V–VI вв. численность крымских и приазовских готов возрастает. К ним как к магниту притягиваются готские племена всего Северного Причерноморья. К концу этого периода образовалось два клана — Балтов и Амалов, вокруг которых и консолидировались более мелкие готские группы, при этом первые все плотнее заселяют низовья Дуная, вторые — Приазовье и Крымский полуостров (*Буданова, Горский, Ермолова*, 2011. С. 64–65).

С середины VI в. очередное вторжение кочевников-степняков ускорило строительство Византией крепостей, в которых размещались гарнизоны из феодоритов, а также из уже «своих» готов и аланов. Готы же вскоре снова ушли в Центральный Крым и Южнобережье. Причиной этому стало вторжение в 576 г. в Боспор тюрков под предводительством Турксанфа, отправленного в эти края каганом Арсилом. Очевидно, именно на этот период, на вторую половину VI–VII вв., приходится некий демографический взрыв: готские одиночные захоронения этих полутора веков обнаружены в Балаклаве, Терновке, Эски-Кермене, вдоль русла Чёрной речки, у сёл Большое и Малое Садовое, на возвышенностях Чуфут-Кале, в Мангупе, Узень-Баше, близ Скалистого, Чилтер-Кобы, Ароматного, Кореиза, Артека, Суук-Су, Демирджи и т. д. (*Айбабин*, 1999. С. 92). По расчётам Л. Фирсова число готского населения полуострова доходило тогда до 60 000 человек.

Таким образом, готам ещё очень долгое время после переселения в Крым пришлось вести жизнь профессиональных воинов, впрочем, имевших семьи, собственные дома, земельные участки и тому подобное. По сути, они становились здесь, на побережье, полувоенным субэтносом, чем-то вроде более поздних кубанских или донских казаков.

Но одновременно сложилась ни от кого не зависимая готская общность, образовавшая собственное, чисто готское государство, расположенное в самом сердце Крыма.

в) Готское государство

Уже на крымской земле в готской общности произошли два значительных изменения. Первое: в III–IV вв. в ней свершился переход от военно-демократического строя, характерно для родоплеменных отношений, к раннегосударственному. В новом государстве было единовластное управление и, очевидно, соответствующий ему аппарат. Второе: с середины III в. среди остготов, , типичных язычников, поклонявшихся ранее древнескандинавским богам, распространяется христианство. Об этом процессе рассказывают авторы «Церковной истории» греки Созомен и Филосторгий. Как они пишут, что христианство в Крым занесли пленники, захваченные готами в Каппадокии (область, расположенная к югу от Понта, в центре Малой Азии). С этим мнением согласны и современные историки (*Юрочкин*, 1999. С. 327). Но если не считать мелких набегов, то значительных походов (с участием готов) в упомянутую область было всего три — в 264, 267 и 275 гг. Эти даты согласуются со сделанным ранее выводом о начале распространения христианства у готов во второй половине III в.

В Крыму, как указывают старые авторы, опиравшиеся на неизвестные нам источники, христианизация произошла, по сравнению с дунайской Готией, с полувековым опозданием (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. I. С. 265). Судя по всему, это событие произошло при жизни готского епископа Ульфилы (311–383 гг.), сыгравшего в нём основную роль, а именно роль апостола христианства в Причерноморье. А в IV в. на полуострове уже появляются первые готские мученики за веру (*Беликов*, 1887. С. 30–32). Этот факт, между прочим, не оставляет камня на камне от гипотезы о проникновении евангельской веры в Крым гораздо позднее, лишь в VIII в. (см., например, в: *Домбровский, Махнева*, 1973. С. 23).

Совершенно верно утверждение, что однажды возникнув, «готская община в Крыму проявила удивительную жизнеспособность на краю света. По „наивности“ или по причине удалённости её не затронули глубокие [церковные] конфликты и она осталась верна как решениям Никейского собора, так и Константинопольского» (Вольфрам, 2003. С. 119). Что вполне естественно, так как готские иерархи участвовали в обеих этих вселенских церковных встречах. Так, на Никейском соборе в начале IV в. мы встречаем готского епископа Кадма из Крыма (*Tomaschek*, 1881. S. 10; *Harnack*, 1906. S. 203). При этом крымские готы были деятельными участниками событий, связанных с расколом восточной церкви на арианский и афанасьевский толки (об этом см. ниже). Вообще проблема «готского христианства» заслуживает особого внимания по причине, которая станет ясной в ходе рассмотрения этой темы.

Итак, ключевую роль в крещении основной массы остготов сыграл Ульфила (Вульфила), выдающийся миссионер, удостоенный епископского сана в Константинополе, которого византийский император Константин II величал «Моисеем нашего времени». Впрочем, и современные историки сопоставляют заслуги Ульфилы перед готским народом с «заслугами Кирилла и Мефодия перед славянами и Мартина Лютера перед немцами» (*Лавров*, 1955 «а». С. 67).

Ульфила отправился в 341 г. с крестительской миссией к своим соотечественникам-остготам, осевшим в нижнем течении Дуная. О его миссии аналогичного

содержания и в Крыму бесспорных сведений не имеется[1]. Однако, исходя из того, что епископ проповедовал библейское учение, удалившись от Дуная на север, в Скифию, и даже прошёл «в самую внутренность Готии» (это доказано — см.: *Беликов*, 1886. Т. III С. 52–54; также *Буданова*, 1990. С. 142), было бы в высшей степени странно, если бы при этом он обошёл своим вниманием живших южнее Скифии единоплеменников, с которыми его паства поддерживала достаточно тесные связи[2].

Впрочем, неважно, достиг ли «апостол готов» пределов Таврида, или крымские готы восприняли христианство от упоминавшихся пленников-каппадокийцев, дунайских сородичей или же от последователей Ульфилы вроде сосланного в Скифию в 337–361 гг. Авдия. Бесспорен другой духовный подвиг епископа, второе его жизненное свершение: после обращения в новую веру жителей обширных областей Причерноморья им был создан готский алфавит (на основе греческого унциального письма и отчасти скандинавских рун) и сделан прекрасный перевод на язык своего народа текста Нового Завета. Этот памятник до сих пор остаётся основным и практически единственным источником давно умолкнувшей готской речи. А о том, что Новый Завет стал довольно быстро известен готским и иным христианам Крыма, говорит ряд давно отмеченных фактов.

Важнейшей особенностью миссии Ульфилы в черноморском регионе было распространение им идей арианства (подр. об этом см.: *Лавров*, 1995. С. 47). Это христианское учение интересно максимальным приближением к высказанным несколько позднее и в иной форме идеям Мухаммада. Основное из арианских положений — установление иерархичности (неравности сочленов) Троицы и даже её отрицание как триединства Господня. Другими словами, это было единобожие поистине исламской (или, скажем, иудейской) строгости и последовательности, несравнимое в этом смысле с другими христианскими толками. Это — монотеизм в чистом, незамутнённом его виде. Кроме того, согласно записям единомышленника Ульфилы, Авксентия, епископ строго осуждал манихейство (*Беликов*, указ. соч. Т. XII. С. 113), а, как было сказано в Прологе, и эта особенность позднее была присуща исламскому учению Пророка. Обеим этим

---

[1] Впрочем, встречаются утверждения о переселении учеников епископа в область Дори (горный Крым): «...арианцы вместе с Ульфилой, теснимые гуннами, переселились в Мизию (правобережье Дуная), а оставшиеся, уже с новым епископом Унилой, после смерти его (404 г.) переселились в Дори» (*Батюшков П.Н.* Бесарабия. Историческое описание. СПб., 1892. С. 62–63). Современные исследователи уточняли время переселения Ульфилы в Мизию (348) и место, где он и его приверженцы осели (подножье горного хребта Гема). Там готская колония просуществовала по меньшей мере два столетия, сохраняя свои обычаи и культуру, не смешиваясь с местными племенами и народами (*Буданова, Горский, Ермолова*, 2011. С. 70).

[2] В пользу этой гипотезы недвусмысленно свидетельствует факт культурных и, возможно, экономических связей между дунайскими и крымскими готами. Это доказывают археологические находки готских фибул и пряжек: их форма говорит о происхождении со Среднего Дуная, но в указанный период они были распространены в местах обитания готов в Крыму (*Айбабин*, 1999. С. 79; *Буров*, 2006. С. 61). Более того, давно известно, что даже скоротечные моды в этих регионах шли нога в ногу — а это ещё более доказательный факт постоянных и оживлённых культурных контактов придунайских и крымских готов (*Амброз*, 1968. С. 20–22).

особенностям учения Ульфилы, которое стало «признаком этнической принадлежности» готов (*Лавров*, 1995. С. 49), особенно его монотеизму, было суждено обрести новую жизнь с приходом в Крым ислама.

Итак, готский епископ утверждал, что «безначально, независимо и самобытно существует только Бог Нерождённый. Он один, следовательно, Бог в истиннейшем, абсолютном смысле». Что же касается Христа, то ведь «Сын явился во времени... Он — создание и как таковой не только совершенно отделён от Создавшего, но вполне отличен от Него по своему естеству.., [занимая] второстепенное и подчинённое место... он слуга Отцу... сущность Сына не только не тождественна с природой Отца, она совершенно инакова» (*Беликов*, указ. соч. Т. XII. С. 114–118). Эта краткая характеристика, можно согласиться, скорее характерна одному из великих пророков-избранников Бога, чем самому Богу. Но ведь Коран и рассматривает Иисуса (Ису) в качестве предпоследнего из великих пророков. Следовательно, и здесь нельзя найти никакого противоречия между арианством и исламом, по крайней мере внешнего.

Но это не всё. В системе, которой посвятил свою жизнь Ульфила, есть ещё более поразительная перекличка с будущим исламом. Признать Троицу для Ария и ученика его означало бы считать «Отца сложным, и разделяемым, и изменяемым». Но ведь Бог, говорил епископ и его последователи, «не имеет сообщника в божестве, соучастника в славе, сопрестольника в царстве» (Христианство, 1993. Т. I. С. 113; *Klein*, 1967. S. 94). Если здесь пренебречь лёгким лексическим расхождением (неизбежным при переводе соответствующих текстов с готского и арабского на русский), то станет вполне очевидной полная тождественность этого ключевого положения не менее фундаментальному предостережению Корана всем тем, которые «придают Ему сотоварищей» (6:149 (148); также 6:64; 6:80; 6:100). Смысл обеих цитат един, как един Бог, а именно это они единодушно и провозглашают в полном соответствии с краеугольным принципом монотеизма.

Таким образом, в уста выдающегося готского проповедника была вложена истина, которую три века спустя услышал арабский Пророк, и явно из того же великого Источника. Что же касается не общекультурного, а локального значения проповеди Ульфилы, то здесь, конечно, нужно помнить о том, что именно *его толкование* божественной истины, *его* учение о единобожии готовило в Крыму почву для восприятия ислама. Одним из подтверждений роли, сыгранной в Крыму готским проповедником, является тот факт, что христианами стали в ту эпоху и тюрки-кыпчаки, для которых Крым был пока территорией кочевий, а не местом постоянного жительства. Именно поэтому, между прочим, следы христианских положений и даже гимнов так легко и органично вошли в знаменитый крымско-кыпчакский письменный памятник Codex Cumanicus (мы к нему ещё вернёмся). О роли готского проповедника в Крыму свидетельствуют и отдельные археологические находки, например, медальоны VII в. с изображением особо почитаемого арианами св. Мины.

После Ульфилы сан готских епископов принимали не столь прославленные, но, бесспорно, значительные исторические лица. Как, например, готский священник

Унила[1], рукоположенный на рубеже IV и V вв. в епископы Крыма самим Иоанном Златоустом в бытность последнего патриархом Константинополя. К этому времени христианство, очевидно, стало государственной религией крымских готов, так как по смерти Унилы его паства просит патриарха Иоанна Хризостома прислать к ним нового митрополита (*Иоанн Златоуст,* 1897. Т. III. С. 644–645).

Аналогичное утверждение Константинополем очередного крымского митрополита имело место в 548 г. (*Høst,* 1971. S. 70–75). Возможно, Константинополь участвовал в такого рода назначениях (или избраниях) и в другие годы, хотя письменные источники, подтверждающие эти факты, пока не известны, во всяком случае, автору этих строк. Зато известно, что таких крымских митрополитов было по меньшей мере семь. Об этом свидетельствует составленная в 780-х гг. *Notitia episcopatuum*, или Роспись высших готских иерархов (*Boor,* 1891. S. 531).

Возникает естественный вопрос о сравнительной распространенности христианства в IV–VII вв. среди крымских готов и крымских же греков. Если, как мы видели, готы сами просят себе епископа, то в это же время в Херсонесе византийское ортодоксальное христианство, жёстко внедрённое сверху и утвердившееся здесь позже, в V в., было в определенной степени номинальным, и даже в VI в. повседневные традиции в городе и округе были языческими (*Зубарь,* 1988. С. 62). Это касалось основной массы горожан, не считая, естественно, групп ссыльных монахов. Они-то были убеждёнными христианами, но оставили после себя здесь лишь малозаметный след, который иногда принимаются за подтверждение тотального распространения христианства среди крымских греков в IV–VI вв. Другое дело — их вклад в культуру христианской Готии, о чём речь пойдёт ниже.

Таким образом, судя по всему, христианство стало в Крыму массовым впервые именно в *готской* среде, причём задолго до завершения христианизации греческой части населения, имевшей место только в IX в. И здесь уместно привести глубокое замечание современного немецкого ученого насчёт того, что и с археологической точки зрения «непрерывное существование христианства» на протяжении многих веков подтверждается здесь лишь среди готов (*Вольфрам*, 2003. С. 119).

Между прочим, прибывшие в Крым знаменитые братья Кирилл и Мефодий обнаружили в 860 г. в Херсонесе Евангелие и Псалтырь, писанные «роусьскими письмены» (цит. по: *Иванов*, 1912. С. 93). Эта находка лишний раз подтвердила два известных исторических факта. Первый: *русью* в ту эпоху не только во всей Восточной Европе, но и в Причерноморье называли скандинавов (в том числе готов), ведь *русские* и крестились и обрели перевод Священного Писания, сделанный теми же братьями несколько позже. Второй: это Евангелие, конечно, являлось знаменитым переводом Нового Завета на готский язык, сделанным Ульфилой. Наконец, современные исследователи не отказываются от мысли, что крымская находка Кирилла и Мефодия вообще связана с ещё одной южной группой русов-скандинавов, с тмутороканской или, точнее, с салтовской археологической культурой (*Галкина, Кузьмин*, 1999. С. 460).

[1] Предположение, что Ульфила и Унила на самом деле являлись одним лицом (*Иванов*, 1912. С. 94), вряд ли заслуживает внимания по причине хронологического несовпадения лет жизни и служения этих исторических лиц.

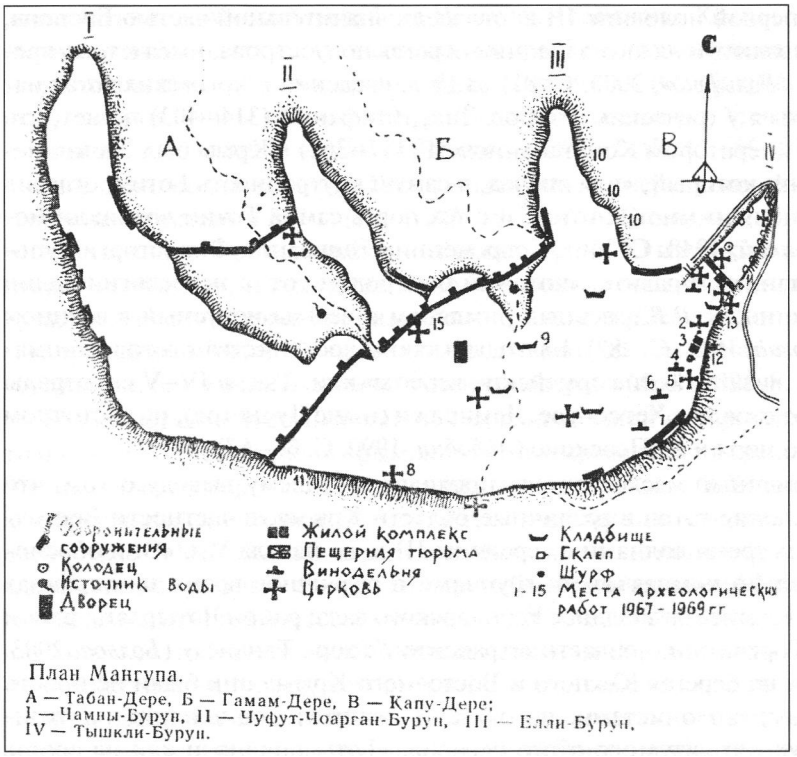
Готы уже в первой половине III в. овладели значительной частью Боспора, а в 256 г. высаживались и на юго-западных берегах полуострова, имея к тому времени свой флот (*Вольфрам*, 2003. С. 81). В IV в. сведения о крымских готах начинают встречаться у греческих авторов. Так, Эпифаний (314–403) пишет, что византийским императором Константином II (337–361) в Крым был сослан некий старец Авдий, который, «идя вперед, в самую внутренность Готии, огласил христианским учением многих готов, и с тех пор в самой Готии возникли монастыри» (*Эпифаний,* 1948. С. 246). Современник Эпифания Филосторгий упоминает о крымчанине Фравите, «который был родом гот, а по религии эллин (то есть христианин, — *В.В.*), верный римлянам и весьма искусный в военном деле» (*Филосторгий,* 1948. С. 282). Благодаря таким достоинствам готов нанимали, в частности, византийские армейские вербовщики. Так, в IV–V вв. отряды из готских солдат стояли в Херсонесе, Демирджи (ныне Лучистое), на восточном берегу Азовского моря и на Перекопе (*Айбабин*, 1990. С. 66–67).

Более современный исследователь приходит к общему выводу о том, что массовое переселение готов в различные области Крыма, в частности Восточного, свершилось тремя волнами с середины III в. до начала V в. «Они обосновались относительно компактными группами в различное время на окраинах Боспора (район Казантипа западнее Узунларского вала; район Чатырдага; район юго-восточнее Горгиппии, „область тетракситов"; хора Танаиса» (*Боллов*, 2003. С. 34). При этом на берегах Южного и Восточного Крыма они были не просто промышленниками-колонистами, но оказали значительное влияние на этническую и культурную ситуацию этого региона: «Готы повлияли как на состав боспорской аристократии... так и на политический строй Боспора» (там же). А об уровне готской культуры той эпохи говорит доказанный источниками факт формирования «в готском обществе на протяжении IV–VI вв. не только церковной литературы, необходимой для богослужения, но и создание собственной историографии» (*Лавров*, 1995 «а». С. 70).

И вот возникает вопрос о количественном соотношении готов с другими крымскими племенами и народами. Вопрос достаточно сложный, если даже учесть, что в IV в. эти германцы владели восточной и южнобережной частями Крыма. Но, как мы видели, после нападения на Крым гуннов (около 370 г.) подвластная готам территория значительно расширилась. Некоторое время готы и гунны могли сосуществовать мирно, — во всяком случае, о столкновениях между ними мы ничего не знаем ни из старых авторов, ни из современных археологических исследований. Однако после смерти Аттилы (453 г.) и начала распада его огромной державы часть гуннов, возвращавшаяся с восточных ее окраин, вторглась в Крым, чем обусловила перевес своих крымских собратьев над готами. В результате, как сообщает Прокопий Кесарийский в «Готских войнах», христиане отступили в горную часть Крыма, в так называемую «область Дори» (*Procopii,* 1963. IV. 5)[1].

Этот же автор VI в. описывает общее положение горных готов позже, когда они входили в союз с римскими колониями в Крыму, отчего находились в относительной безопасности. Готы по-прежнему славились, по его словам, как

[1] Эта область включала в себя Чуфут-Кале, Баклу, Мангуп, Эски-Кермен и Тепе-Кермен, естественно, с окружавшими эти крепости территориями.



План Мангупа. *По: Домбровский, Махнева, 1973*

«прекрасные воины, а также деятельные, искусные земледельцы», отличавшиеся «наибольшим гостеприимством между всеми людьми». Страна их, продолжает Прокопий, «лежит высоко, однако она не дика и не сурова, но приятна и богата наилучшими плодами. В этой стране император [Рима] нигде не строил ни города, ни крепости, потому что тамошние жители не терпели, чтобы их запирали в каких-нибудь стенах, но всего более всегда любили жить в полях» (цит. по: *Васильев*, 1921. С. 309–310). Более близкие к нашей эпохе авторы также сообщают о крымских готах, что «земли их хотя и были весьма возвышенны, но не были ни бесплодны, ни неравны. Великое изобилие всяких плодов вознаграждало их с избытком за старания о многотрудном возделывании» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. I. С. 278).

Уже к VI в. Крымская Готия (именно так именует готское княжество Иоанн Златоуст, а за ним и более современные учёные) располагалась в установившихся границах на территории к востоку и северу от Балаклавы, доходя до Сугдеи (Судак). Но и на Боспоре по-прежнему оставались готы, с тех пор как Юстиниан I разместил их там под началом готских офицеров Годилы и Ватурия (*Кулаковский*, 1891. С. 26–27), тогда как другая их часть была размещена во второй половине VI в. в районах Алустона, Горзувиты и Эски-Кермена (*Айбабин*, 1990. С. 68). «Область Дори», упоминаемая Прокопием, — это, по мнению многих, имя города, столицы Готии, звавшегося по-разному в различные эпохи: Дори, Дарас и,

наконец, Феодоро — имя, которым его зовёт большинство современных учёных. Как называли свою столицу сами готы, выяснить так и не удалось; ныне руины их столицы более известны под именем Мангуп. Вторым из крупнейших готских центров был Скиварин, позднее известный как Сюйрен (*Saupre*, 1855. S. 41). Он мог находиться в месте на котором впоследствии возникло одно из трёх старинных, расположенных близ Мангупа татарских селений: Биюк-Сюйрен, Кучюк-Сюйрен или Таш-Баскан-Сюйрен.

Столица готов Дорос раскинулась на Бабадаге. То есть, говоря языком географов, на столовидном известняковом останце, возвышающемся среди долин Джан-Дере, Адым-Чокрак и Каралез[1]. Верхняя часть Бабадага — обширное плато, в плане похожее на кисть руки. Внизу его до наших дней сохранились готские дороги, петлей охватившие гору; одни концы этой петли выходят к селу Биюк-Сюйрен (ныне Танковое), другие — к Албату (ныне Куйбышево). Плато почти неприступно, до сих пор единственный путь на него — широкая тропа, идущая от турбазы сквозь рощу реликтового древовидного можжевельника к руинам крепостных ворот.

Величественное горное обиталище готов, как и сам Бабадаг, всегда производило на путешественников неизгладимое впечатление. Англичанин Э.Д. Кларк писал в 1800 г.: «Ничто в какой бы то ни было части Европы не превосходит ужасной величественности этого места»; ему вторит француз Дюбуа де Монпере: «Эта громадная скала, отвесная со всех сторон, возвышается как отдельный бык моста... Ни одна позиция в Крыму не могла быть более сильной, не было ни одной более важной» (цит. по: *Васильев,* 1921. С. 316). До сих пор сохранились и стены этой крепости с башнями, кое-где двойные.

Здесь давно ведутся раскопки, но и на поверхности земли ещё целы древнехристианские базилики. Что же касается общего архитектурного облика Мангупа, то при всем разнообразии стилей менявшихся поколений некоторые специалисты находят в нём скандинавские, готские черты (*Домбровский, Махнева,* 1973. С. 21; также *Пассек*, 1840. С. 110, 112), хотя, конечно, основной стиль здесь — византийский. Интересно, что несмотря на прямые контакты с десятком племён и народов, на тесную связь с практически единоверными византийцами, готы сохранили свои традиции и обычаи, занесённые с далёкого Севера. Конечно, пять веков, прожитых в Крыму, оказали влияние на их культуру. Но тем не менее магистральные её направления остались в старом этническом русле.

Так, упоминавшиеся в *Слове о полку Игореве* «красные готские девы» остались и на далёком от их прародины юге верными моде своих скандинавских бабушек и продолжали в VII в. носить цельнокроёные скандинавские платья, да и украшения их напоминали северные (*Амброз*, 1984. С. 18, 26). Мужское одеяние готов «состояло в фуфайке до колен, с выемками по краям, и в шароварах. Башмаки носили они остроконечные» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. I. С. 260).

[1] Длившиеся несколько десятилетий споры о том, где находилась столица готов, — на Южном берегу или в Крыму, — очевидно, утратили смысл после выхода в свет небольшой, но доказательной книги И.С. Пиоро, сторонника «горной» гипотезы (см.: *Пиоро*, 1990. С. 58–67).

Руины Мангупа в наше время

Согласно ещё одному источнику (триумфальной колонне Феодосия I)[1], остготы в IV в. «...носили длинные, довольно широкие штаны, иногда обшитые по нижнему краю узкой полоской материи [другого цвета], вырезанной зубцами, и подпоясанные сорочки, доходившие до половины бедра; сорочки эти были снабжены длинными, неплотно прилегающими рукавами и отложными воротниками, которые нередко имели вырезанные зубцами края... Иногда они носили две сорочки, одну поверх другой, или же на одну нижнюю сорочку надевали плащ, верхние концы которого завязывали узлом на плече». Из того же источника следует, что готы носили бороды и ничем не покрывали своих длинных волос (*Готенрот Ф.* История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времён / пер. с нем. С.Л. Клячко. Т. I–II. СПб., 1911. Т. I. С. 121).

Эта приверженность традициям старой, северной родины сказывалась и на стиле или образе жизни готов вообще. Как и на их исторической родине, основным видом селений был, конечно, не замок вроде Мангупа, а деревня. Её жители ощущали себя (и являлись фактически) замкнутой общиной, состоявшей из родственников и соседей. Эти крестьяне и воины были связаны двойными узами — обычаями круговой поруки и взаимопомощи. Круговая порука заключалась в том, что члены сельской общины несли ответственность за преступление, совершённое одним из них. Впрочем, представления о том, что считать преступлением, в разные эпохи разнились. Например, в первое время распространения среди готов христианства знатные люди Готии преследовали религиозных диссидентов внутри каждой общины, которая, не страшась их гнева, защищала и укрывала своих (*Лавров*, 1998. С. 411). Немало готов избирало для себя жизненной стезёй военную службу. Сколько их было, этих про-

[1] Этот византийский император (346–395) был хорошо знаком с готами. Если не с крымскими, то их соплеменниками, вторгшимися в Византийскую империю, которых он разбил в 378 г., а затем принялся искоренять арианство — ересь, распространённую среди готов.

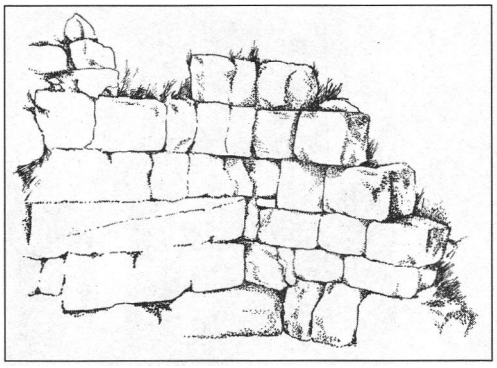
Мангуп. Башня над оврагом Табана-Дере.
По: Домбровский, Махнева, 1973

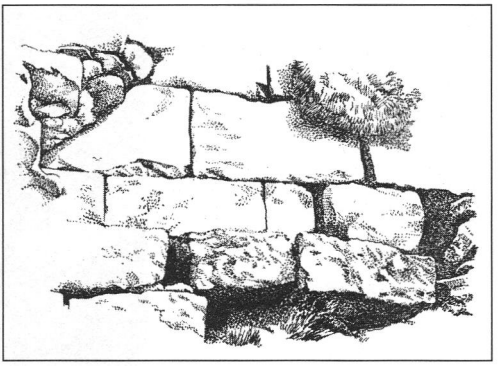
фессиональных военных, мы не знаем. Одно известно: в случае необходимости Готия могда выставить в поле 3 000 хорошо вооружённых и обученных воинов (*Procopii*, 1963. Т. IV. 4).

Основная масса готского населения с социально-правовой точки зрения являлась *freis*, то есть свободными людьми. Но наряду с ними имелись рабы, что также было традицией Севера. Общинники жили в домах не отдельными семьями, а родами, отчего и дома были вытянутыми в длину, размером от 65 до 120 м. В этом они были абсолютной копией древнегерманских «больших домов», в которых под одной крышей находились люди и домашние животные (естественно, часть постройки подобного типа не отапливалась). Отмечено, что такие дома известны из раскопок в Ютландии (Дания) и на шведском о. Готланд (*Globe P.V.* Denmark. An Archaelogical History from the Stone Age to the Vikings. New York, 1971. P. 266–267). В более поздний период пребывания готов в Крыму большие дома исчезают, целиком сменяясь более привычными для населения полуострова обычными домами, рассчитанными на одну семью. В целом культуру крымских готов относят к Черняховскому типу (*Лавров*, 1998. С. 412).

Старая планировка позднеготских деревень Крыма сохранилась до XX в., как и архитектурный тип самих домов. Он, естественно, поддерживался культурными наследниками (многие утверждают, что и антропологическими потомками) готов, то есть татарами деревень Озенбаш, Керменчик, Стиля и некоторых других. «Подходя к такой деревне близко, видишь вокруг только высокие горы, поросшие лесом, но вдруг неожиданно за поворотом перед глазами открывается склон, покрытый живописными воздушными постройками. Их особенная архитектура, выступающие повсюду крупные древесные стволы придают селению не южный, а какой-то северный отпечаток. Естественно обратиться за объяснением этой своеобразной конструкции деревянных срубных домов[1] к северным пришельцам-готам, которые владели значительной

[1] Подробнее о конструктивных особенностях этих домов см. в I очерке второго тома.





Готская каменная кладка. Мангуп.
Пиоро, 1990

областью в этой части Крыма в течение более тысячи лет. Совершенно северной чертой является скрепление стен из горизонтального леса способом сруба». (*Куфтин*, 1925. С. 22).

Некоторые готские кладбища, например в Бия-Сале и Улу-Сале, неплохо изучены. Их надгробные памятники (плиты) отличаются от греческих, но зато весьма схожи с древними скандинавскими. На них изображены атрибуты земного занятия покойника: оружие, инструменты, сельскохозяйственные орудия и пр.), так что и сами греки считали эти могилы готскими. Там же, в бия-сальской церкви была обнаружена особенность, не встречающаяся ни в одном ином старинном крымском храме, что поразило в XIX в. даже непрофессиональных историков, а ныне почему-то забыто. Отмечена угловатая форма алтаря, тогда как обычно он имеет закруглённые очертания. «Угловатость линий, как известно, принадлежит к числу свойств готического стиля», — замечает в этой связи один из известнейших авторов, когда-либо писавших о Крыме (*Марков*, 1995. С. 467. См также: *Сосногорова*, 1880. С. 66–67).

Особое место в материальном наследии готской культуры занимает не столь давно обнаруженный в Восточном Крыму (гора Опук) памятник — каменная стела с рунической надписью на ней. Определить время её создания достаточно сложно, но специалисты по скандинавской эпиграфике относят её по ряду признаков к середине III — концу IV вв., и более точная датировка пока невозможна (*Хлевов*, 2002. С.71). На стеле изображён крест в круге и руны *pra*. Надпись эта читаема, но непереводима. Это не редкость для памятников такого рода, многие из которых не поддаются переводу. Дело в том, что руны сами по себе обладали магической силой, и смысловая нагрузка здесь была не столь уж и обязательна: четверть всех известных рунических камней именно такого рода, надписи на них представляют собой аббревиатуру, некое имя собственное или магическую формулу неизвестного содержания.

Однако, помимо того, что эта находка уникальна для Северного Причерноморья (рунический камень с о. Березань — совсем иного рода), опукская стела стоит особняком вообще среди всех скандинавских рунических памятников. Её абсолютная уникальность в том, что надпись, сделанная старшими рунами, исполнена не посредством врезки знаков в поверхность камня тонкой ли-

нией, а в технике высокого рельефа, характерного для античной, совсем иного культурного ареала традиции, не имеющей никаких корней на скандинавской почве. Таким образом, не исключено, здесь налицо смешение двух культур, что позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, автор надписи относился к местным жителям, испытавшим на себе влияние античной традиции, ещё не забытой в Восточном Крыму. Во-вторых, бесспорно порождённый цивилизацией Севера, он далёк от синхронных с ним греческих и римских надписей, которые становятся рельефными гораздо *позже* и здесь, и в Скандинавии, с XIV–XV вв. (*Хлевов*, 2002. С. 73).

Но опукский камень не может относиться к столь позднему периоду, так как надпись сделана старшими рунами, использование которых прекратилось ещё в VIII в. Остаётся сделать предположение, что именно в Крыму, ставшем наиболее удалённой культурной провинцией Скандинавии, в результате этнического и культурного смешения развивается некая новая духовная сущность, отразившаяся и в искусстве, памятником которого является камень с горы Опук. Он же свидетельствует, наряду с прочими крымскими артефактами, о весьма рано начавшемся изменении готской культуры в результате её контактов со средиземноморской цивилизацией, столь богато представленной в Крыму. Это же можно сказать и о пришлых северянах — носителях готской культуры, чему будет посвящён специальный раздел этого тома.

Готия пользовалась немалой поддержкой византийских императоров, озабоченных безопасностью своих крымских владений от северных кочевников. Поэтому Юстинианом I и были возведены на их северной границе длинные стены, остатки которых заметны и сейчас (в их структуру входит Мангуп). Естественно, готско-византийское содружество не было союзом равных: княжество имело вассальные обязанности перед империей. Но в конце VII в. мы видим его уже независимым, а готов — достаточно сильными, чтобы принимать и скрывать у себя бежавших от гнева византийских владык политиков и инакомыслящих бунтарей. Скрывался здесь и низвергнутый император Юстин II (565–578).

Заметное влияние на этническую ситуацию Готии оказали результаты развернувшегося в VIII в. в заморской Византии иконоборческого движения. Православное византийское духовенство, верное устоям этой иконопочитательской конфессии, подверглось гонениям, но предпочло хранить её чистоту в изгнании. Одним из убежищ, избранных греческими монахами и просто верующими огромной империи, стала Готия. Влившиеся сюда значительные массы весьма образованного духовенства повлияли не только на общую культуру княжества, но и, в частности, на готские строительство и архитектуру. Иммигрантами были возведены на всей территории Готии десятки церквей и монастырей. «Житие Иоанна Готского» (опубл. в: ЗООИД. Т. XIII. 1885. С. 25–34) — памятник, созданный современником этих событий, — даёт нам немало любопытных исторических сведений об эпохе. Мы узнаем, как столицей Готии овладели, правда, на краткий срок, хазары (787 г.), о восстании готов против оккупантов, о том, как был схвачен вождь восставших епископ Иоанн, о его побеге из плена и смерти далеко от Крыма, о том, как тело его было доставлено на месту рождения владыки, в Партенит, и предано земле в ограде монастыря Свв. Апостолов Петра

и Павла, им же некогда построенного. Позже монастырь разрушился[1], но память о местном епископе жила среди южнобережных татар и в 1920-х гг. И это «несмотря на то, что население приняло ислам», — замечает с удивлением советский исследователь (*Васильев*, 1927. С. 207), хотя удивляться здесь нечему. Объяснить столь долгую память крымчан можно, очевидно, тем, что епископ был не только борцом за освобождение Крыма от захватчиков, но и видным деятелем культуры и просвещения.

Хазарский тудун, который приблизительно с 710-х гг. уже сидел в Херсонесе (*Могаричев*, 2005. С. 248), пытался захватить Дорос. Но это было не самой грозной опасностью. Южный берег Крыма, составлявший основную часть готских владений, был столь мощно укреплен, что политические претензии хазар на него не распространялись[2]. Да и отношения между ними и готами вскоре сменились на более мирные ввиду новой общей опасности, надвигавшейся с севера. Около 833 г. хазары отправляют в Византию посольство с просьбой прислать в Крым инженеров-фортификаторов для строительства укреплений на северной границе их владений. Это было вызвано недавним — первым в истории — русско-крымским военным столкновением — точнее, русским набегом. Вот как сообщает об этой кровавой драме известный памятник «Житие Стефана Сурожского»:

«Прииде рать велика русская из Новаграда, князь Бравлин силен зело, плени от Корсуня и до Корча (то есть от Херсонеса до Пантикапея. — *В.В*). С многою силою прииде к Сурожу. За 10 дней бишася зле межоу себе. И по 10 дней вниде Бравлин, силою изломив железные врата и вниде в град, и зем меч свой, и вниде в церковь святую Софию, и разбив двери, и вниде, идеже гроб святаго, а на гробе царское одеало, и жемчюг, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и сосудов златых много, все пограбише» (цит. по: *Васильевский*, 1915. С. 95). Кроме того, русский князь захватил в рабство пленников — не только взрослых, но и детей. О том, что среди добычи было немало готов, можно судить по тому, что один из упомянутых и разграбленных городов, Херсонес, современники вообще называли «городом готов» (*Пиоро*, 1992. С. 85).

Беда обрушилась не только на готов — «большая часть полуострова испытала ужасы этого грабительского похода», а «к тридцатым годам (X в. — *В.В.*) русская опасность являлась уже реальным фактом» для всего Крыма (*Васильев*, 1921. С. 226). Тем не менее в начале IX в. Готская епархия, согласно «Житию Иоанна Готского», по-прежнему успешно охраняла свои границы на территории, протянувшейся от Мангупа и Эски-Кермена до южнобережной полосы между Симеизом и Алупкой.

Но в 944 г. русские вновь пришли сюда с мечом в руке. Херсонес с его уникальной культурой лишь то спасло от разграбления и, возможно, уничтожения, что князь Игорь не смог одержать победы в «Корсунстей стране, елико же есть городов в той части...» (ПСРЛ. Т. 1. 1926. Стлб. 50). Поскольку же «города той части», а именно вблизи Херсонеса, были почти сплошь готскими, ясно, что рус-

---

[1] Часть храма, раскрытая в ходе раскопок 1870–1907 гг., вмещала гробницу Иоанна и плиту с эпитафией этому энергичному готу.

[2] Напомним, что и в начале VIII в. Крым оставался частью Византийской империи. Вот почему и хазары никак не могли претендовать на политическое господство над населением полуострова. Едва ли не единственное, что их интересовало, — это получение с Крыма дани (*Могаричев*, 2005. С. 249).

ские воевали не только с херсонеситами, и что отражением набега Крым был обязан также и германским мечам.

В X в. хазарское господство в Крыму начинает слабеть по той же причине участившихся нападений сначала русских, а затем печенегов. Воспользовавшись этим, Византия снова стала приводить готов под свое владычество. В этом были и положительные стороны, ведь империя брала княжество под свою защиту. О том же, что опасность с севера становилась после первых походов русских все более грозной, говорит договор князя Игоря с Византией.

После набега на Константинополь, в котором князь потерпел поражение, он был вынужден подписать такой пункт трактата: «А о Корсунстей стране, елико же есть град на той части, да не имать власть кънязь Русьскый, да воюет в тех странах, и та страна не покоряется вам» (ПСРЛ, там же). Отсюда следует вывод: готские владения, т. е. не только греческий Херсонес, но и «находящиеся в той части (Крыма. — *В.В.*) города», подвергались, как и ранее, набегам русских, отчего победительница Византия обязала Игоря эти нападения прекратить на вечные времена («дондеже солнце сьяет и весь мир стоит»).

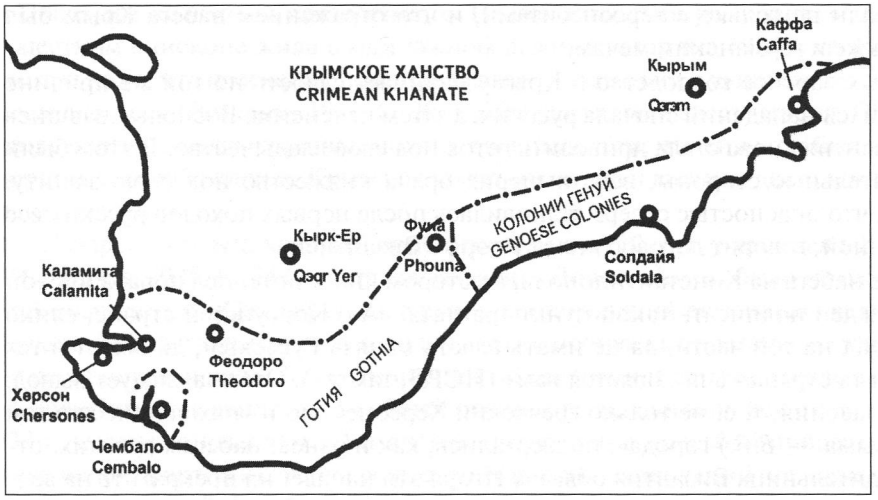
Однако договор 945 г. вряд ли мог действенно защитить Готскую епархию хотя бы по причине общего ослабления Византии. Поэтому и готы были вынуждены взять дело обороны своей страны в собственные руки. Как им это удалось, мы можем судить по «Записке готского топарха», современной описываемым событиям.

В ней повествуется о встрече послов топарха (готского князя-наместника) в 962 г. с неким могущественным князем Севера (судя по всему, Святославом или Владимиром) в Киеве. Готское посольство было вызвано не прекратившимися после похода Игоря набегами русских (*Домбровский*, *Махнева,* 1973. С. 39–40), но ещё более — «варваров», очевидно хазар[1].

Избрав из двух зол меньшее, готы решили остаться под покровительством одного из врагов, естественно, более сильного. Киевский князь принял предложение топарха, выделил ему какую-то награду и утвердил его власть над Готией. Но русский протекторат продлился недолго. Через 10 лет Святослав был побежден императором Иоанном Цимисхием и отказался от своего покровительства над Готией, после чего она вновь попала в сферу политического влияния Константинополя.

История крымских готов с середины XI до начала XIII в. весьма темна, так как о ней не сохранилось ни достоверных источников, ни свидетельств современников в необходимом объёме и степени подробности. Лишь в записках миссионера Людовика IX Святого, монаха Гийома де Рубрука, встречается обширное описание Готии середины XIII в.: «На море, от Херсона до устья Танаида, находятся высокие мысы, а между Херсоном и Солдайей существует сорок замков; почти каждый из них имеет особый язык; среди них было много готов, язык которых

[1] В «Записке готского топарха» упоминается о каких-то народах, ранее добровольно присоединившихся к «варварам» и проявлявших справедливость и мягкость. Но в эту эпоху в Причерноморье было лишь одно разноплеменное, культурно и экономически развитое государство, придерживавшееся мирных и даже дружественных отношений с готами и Византией, — Хазарское. Лишь оно славилось своей веротерпимостью, а его каганы — государственным умом далеко не «варварского» склада. «Ни мадьяры, ни нападавшие на Крым русские, ни печенеги, само собой разумеется, в своей прошедшей истории не обладали» такими качествами (*Васильев*, 1927. С. 244).



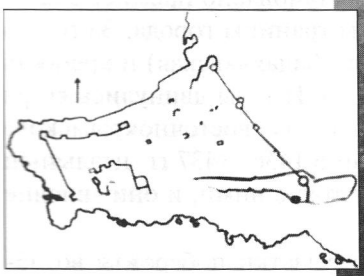
Готия в первой половине XV в.

немецкий (*teutonicum*). За этими гористыми местностями к северу тянется по равнине, наполненной источниками и ручейками, очень красивый лес, а сзади этого леса простирается огромная равнина... она суживается, имея море с востока и запада, так что от одного моря до другого существует один большой перекоп (*forsatum*). На этой равнине до прихода татар обычно жили команы и заставляли вышеупомянутые города и замки платить дань» (*Рубрук*, 1910. С. 68).

Команы (куманы) — это не кто иной, как кыпчаки, которые появились в степном Крыму гораздо раньше, в середине XI в. Г. Рубрук же говорит об ином знаменательном событии — о смене кыпчакского влияния ордынским, начавшимся с 1233 г., когда эти тюрки впервые совершили набег на Судак. Итак, готы платили дань кыпчакам, но здесь подтверждается и другой важный факт, а именно: германцы продолжали владеть Южным берегом. Конечно, тяжесть кыпчакского давления для крымских готов была велика. Об этом, в частности, свидетельствует и такой известный источник, как *Слово о полку Игореве*, где говорится о ностальгии готов по прежнему, привольному житью в Таврии: «Се бо готские красные девы въспеша на брезе Синему морю (т. е. Азовскому. — *В.В.*). Звоня рускым златом, поют время Бусово, лелеют месть Шаруканю».

Тем не менее до полного порабощения дело и на этот раз не дошло. Готы не только продолжали заниматься традиционными видами деятельности, но и торговали, нередко пересекая с ценным товаром кыпчакские степи. Так, в «Житии Антония Римлянина» мы встречаем известие о прибытии в Новгород в первой половине XII в. некоего крымского гота, владевшего, кроме родного, греческим и русским языками (Новгородские летописи, 1879. С. 187–188), из чего можно сделать вывод, что гость посещал русские земли неоднократно. То есть между двумя христианскими государствами связи были более или менее постоянными.

Упомянутое же начало набегов кочевников, почему-то называемых татарами, пока мало что значило — разве что избавляло готов от дани половцам. Не стало над ними и византийской верховной власти. После того как на рубеже XII и XIII вв.



План крепости Чембало.
Генуэзцы, 2009

Вид крепости Чембало
со стороны бухты

могущество империи оказалось подорванным, её место в Крыму пыталась занять новообразовавшаяся Трапезундская империя. Учитывая сравнительную немногочисленность ордынцев и более высокий уровень культуры готов-христиан, не кажется странным и вывод о том, что в эту эпоху последние активно ассимилировали первых. Тем более что они, пришельцы, охотно принимали христианскую веру, а некоторые даже входили в состав клира Мангупа *(Малицкий*, 1933. С. 7).

В XIII–XIV вв. в истории готов всё большую роль начинают играть генуэзцы, основавшие в 1266 г. колонию в Кафе и купившие у крымских татар обширную прилегающую территорию. Они продвигались вдоль Южного берега, а с 1365 г. оказались вне конкуренции в торговле и политическом влиянии в этой части Крыма. И в 1380-х гг. они договорились с ханом Мамаем о разделе Крыма. Готы получили при этом территорию, включавшую общины Каламиты, Херсонеса и Чембало, и далее — весь Южный берег Крыма вплоть до Фуны с округой включительно. Но из этой территории был изъят ряд крепостей: Форы (Форос), Хихинео (Кикинеиз), Лупико (Алупка), Мусакори (Мисхор), Ореанда, Джалита (Ялта), Сикита (Никита), Горзовиум, Партените, Ламбадие (Биюк-Ламбат и Кучук-Ламбат), Луста (Алушта), оставшихся за генуэзцами (*Малицкий*, 1933. С. 6). После того как новое политическое и административное образование перешло во владение готских князей, они стали именовать себя «владетелями Феодоро и Поморья», то есть горными и прибрежными землями (*Гайворонский*, 2003 «а». С. 31).

Ясно, что итальянцы получили лишь крепости, вкраплённые в тело Приморской Готии; горы и леса к северу от Ялты и сердце старой Готии остались в целости и независимости. Во главе её по-прежнему оставался князь (он мог быть и греческого происхождения), обязанный платить дань татарам и служить вассалом Трапезунда. О сохранении княжеской власти согласно свидетельствуют Мартин Броневский (1867. С. 343) и надпись 1427 г. на плите из Каламиты: «Князь Алексей из Феодоро воздвиг крепость и церковь Св. Константина и Елены» (цит. по: *Малицкий*, 1933. С. 25–32).

Этот же князь Алексей позднее положил начало полному возврату приморских земель. Умный и энергичный политик, он стал инициатором тесного сотрудничества Феодоро с крымским ханом Хаджи-Гиреем, также опасавшимся и генуэзцев, и стамбульских турок. При нём было восстановлено прежнее значение захиревшего было порта Каламиты, расширены границы города. За год до смерти (1434 г.) князь вернул готам бухту Символов (Балаклавская) и крепость Чембало, отнятую у них генуэзцами за 66 лет до того. И готы двинулись вверх по побережью, за несколько лет став неотъемлемой частью восточнокрымского населения. Во всяком случае, посетивший этот край в 1436–1437 гг. итальянец встречал в Кафе немало готов, а его слуга-немец болтал с ними, и они «вполне понимали друг друга» (*Барбаро*, 1971. С. 157).

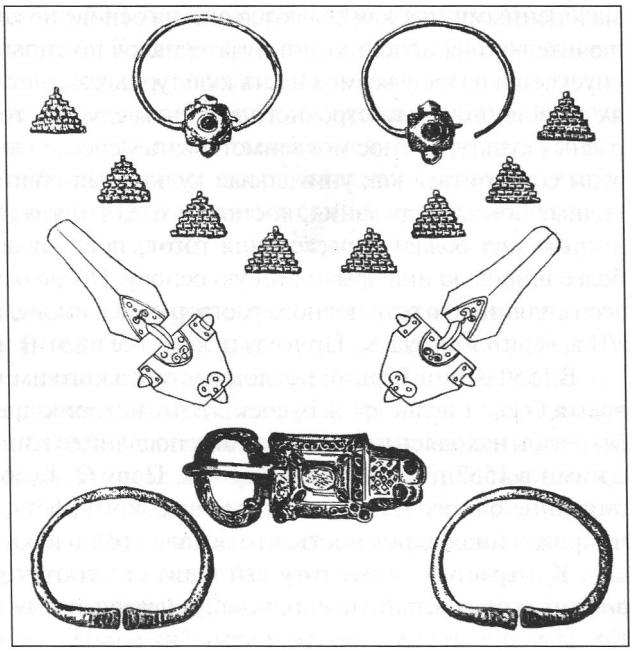
Но несколько позже борьба за ещё не занятые участки побережья возобновилась. Этому способствовал рост престижа готского княжеского дома: дочь князя вышла замуж за Давида Комнина, ставшего вскоре императором Трапезунда (1459). «Сеньором Феодоро» стали итальянцы именовать уже сына Алексея, занявшего престол отца (его имя до нас не дошло, но крымские татары именовали молодого властителя Олубей, или Большой князь). Князем величали его и русские. Брак с членом княжеского дома, близкородственного константинопольским Палеологам и трапезундским Комнинам, отныне мог считаться честью для представителя любой христианской династии и мангупская княжна, дочь Олубея, стала женой Стефана Великого, а Иван III уже вёл переговоры с князем Сайком, её братом, о браке другой княжны с московским царевичем.

Укрепив таким образом свои политические позиции, князья Феодоро могли после завоевания Константинополя турками (1453 г.) вступить в серьёзный конфликт с итальянцами. Генуэзцы разработали план полного подчинения себе готов. Но в конфликте победили германцы, и уже в 1458 г. в официальном документе, составленном в канцелярии Кафинского консулата, готский князь (*Dominus Theodori*) был признан одним из четырёх «черноморских государей» (*Braun*, 1890. S. 34). Это свидетельствовало и о признании того важного факта, что, опираясь на мощную армию, готы, эти прирожденные мореплаватели, вернули себе значительную часть южнобережных крепостей и портов.

г) Закат страны Дори

Однако этот всплеск былого величия Готии был последним перед её окончательным падением. В 1475 г. Кафу взяли турки; осадили они и Дорос. Установив на высотах, примыкавших к главным воротам, лёгкую и осадную артиллерию, они подвергли столицу непокорных готов разрушительному обстрелу — впервые в её истории. Тем не менее она держалась около трёх месяцев и сдалась, лишь когда иссякло продовольствие. Турки, обещавшие помиловать горожан, устроили дикую резню — об этом говорят братские могилы казнённых мангупцев.

Впрочем, княжеский род уцелел; сохранился и старый титул князей. Мы встречаем их имена в числе вассалов султана и послов Стамбула в Москву: князя Кемальби, его сына Мануэля, очевидно христианина (*Карамзин*, 1842. Т. I. С. VII. Примеч. 105); в Москве же проводит последние годы жизни князь Скиндер (Александр) Мангупский (Указ. соч. С. VII, 115. Примеч. 233, 235, 236).



Готские женские украшения из раскопок в Суук-Су. *По Н.И. Репникову*

Но это уже был последний упомянутый в известных нам источниках готский князь, хотя фамильная линия их продолжалась в боярском роде Головиных: сын мангупского князя Стефана (ум. в 1400 г.), брат топарха Алексея (ум. в 1428 г.), стал членом этого рода (Бархатная книга, 1797. С. 270). Само же княжество безвозвратно пало; города Дорос, Чембало, Каламита и все их земли вошли в Мангупский кадылык султана; Каламиту при этом переименовали в Инкерман, Чембало — в Балаклаву, столицу же — в Мангуп-Кале. Последняя сохранила своё значение лишь как крепость; торговля и ремесло здесь быстро пришли в упадок. Виной тому было её новое, глубоко периферийное положение вдали от турецких торговых магистралей. Город дважды выгорает, в 1493 и 1592 гг.

Однако готское население в столице и других городах отнюдь не представляло собой всего народа и даже большей части его. Основная масса готов-крестьян, в отличие от горожан, не подвергшихся в XV в. ни эллинизации, ни тюркизации, продолжала жить в глухих горных селениях, поддерживая минимальные связи с внешним миром, сохраняя свою древнюю культуру и свой язык ещё несколько столетий.

И это не пустые предположения.

д) Последние готы

Исследователи, основывающие свои выводы на археологических данных, утверждают, что «процесс ассимиляции сравнительно малочисленных крымских готов сармато-аланами» полностью завершился в конце VII в. (*Айбабин А.И.* Этническая принадлежность могильников Крыма первой половины IV — первой половины VII вв. // Материалы к этнической истории Крыма VII в. до н. э. — VII в. н. э. Сборник научных трудов. Киев, 1987. С. 194). Выводы такого рода представляются

малоценными, так как делаются они на основе не комплексных источников, а исключительно на использовании материалов по типам погребений. Между тем здесь упускается из виду возможность культурных заимствований, неизбежных в условиях островного (полуостровного в данном случае), то есть тесного сосуществования разных культур. Этнос мог заимствовать у соседей лишь способ погребения, но при этом сохраниться как уникальная культурная общность, сохранив свой язык, народные обычаи, предания, костюм и т. д. То, что именно этот случай имел место в крымских областях расселения готов, показывают иные источники, имеющие более широкую информационную основу. После ознакомления с ними в сам факт ассимиляции (то есть полного растворения в инокультурной среде) крымских готов VII в. верится с трудом. Приведу некоторые их этих источников.

В 1550-х гг. в Турции послом австрийского императора был известный в своё время Ожье Гислен фон Бусбек[1]. Этот историк древностей и хороший лингвист встречал, находясь в Стамбуле, двух посланцев готского населения Крыма и имел с ними в 1562 г. длительные беседы. Перу О. Бусбека принадлежит уникальное описание одного из них: «Он был высокого роста, и во внешности его сквозила прирождённая скромность, что делало его похожим на фламандца или голландца». Контрастом этому готу выглядит его соотечественник: «Второй был ниже ростом, коренастый, темнолицый, судя по всему, греческого происхождения... Когда я спросил их о натуре и языке их народа, они ответили мне весьма недвусмысленно, что их народ, готы, весьма воинствен, что он и поныне ещё занимает многие области и что они предоставляют татарскому хану, когда ему есть в том нужда, 800 легковооруженных солдат, составляющих ядро татарского войска, что у них есть два главных города — один зовется Мангуп, другой — Скиварин» (цит. по: *Braun,* 1890. S. 65). Далее, О. Бусбек сообщает, что готы — до сих пор христиане, хотя и окружены со всех сторон иноверцами.

Ценнейшим в сообщении О. Бусбека является запись нескольких десятков слов и песни на языке его знакомцев-готов. Это, без сомнения, готский язык, известный нам из Евангелия Ульфилы, хотя и с отклонениями, которые свидетельствуют, очевидно, о самостоятельно сложившемся крымскоготском диалекте. Впрочем, некоторые небольшие различия легко объяснимы погрешностями фонетической системы записи Бусбека, а также неизбежным развитием языка: ведь с эпохи первого готского епископа прошло немало времени — целых 12 веков! Для исследователя запись эта имеет огромную ценность и потому, что представляет собой неопровержимое доказательство сохранности крымскоготского языка во второй половине XVI в., тогда как некоторые авторы «хоронят» его веком раньше (см.: Надинский, 1952. Ч. 1. С. 43) или, как указывалось выше, даже в 1-м тысячелетии н. э. (*Айбабин.* Указ. соч.; ДТ, 1966. С. 14).

Между прочим, перед тем как делать столь смелые выводы, стоило заглянуть в опубликованную в СССР в 1936 г. работу, автор которой указывает на

[1] Это был «выдающийся учёный, ранее воспитатель детей императора Фердинанда I, затем дважды (в декабре 1553 и ноябре 1554 гг.) отправленный цесарем с дипломатическими миссиями ко двору Сулеймана II, где впоследствии прожил 6 лет. Там он собрал огромную коллекцию античных древностей, ныне хранящихся в Вене» (*Sauppe*, 1855. S. 43). О. Бусбек прославился среди прочего тем, что первым вывез из Османской империи в Западную Европу луковицы тюльпана и семена сирени и каштана.

присутствие готов в Крыму конца XVI в. , а также на то, что они выставляли воинов для татарских правителей Крыма (*Тунманн*, 1936. С. 26; см. также: *Büsching*, 1785. S. 324). А о более мирных занятиях готов той же эпохи писал в 1555 г. в своём труде «Митридат» их современник, немецкий учёный Конрад Геснер. Упоминая об убийстве последних братьев-князей Мангупских и последовавшем упадке и исчезновении готского дворянства, он заканчивает своё повествование утешительной нотой: «В то же время сами готы ещё живут в горах, занимаясь виноделием и тем поддерживая своё существование» (цит. по: *Sauppe*, 1855. S. 42).

Более поздние источники свидетельствуют о том, что готская речь ещё долго звучала под крымским небом. В 1683 г. известный путешественник Энгельберт Кемпфер, входивший в состав шведского посольства в Московию, записывает, что «в Крыму ещё сохранились многие немецкие слова, принесённые туда готскими колонистами. Господин Бусбек... дал в своем четвёртом сочинении значительное количество этих слов, я же записал их гораздо больше» (цит. по: *Adelung,* 1817. S. 168). Таким образом, Э. Кемпфер располагал коллекцией лексических единиц готского языка конца XVII в. Но, к сожалению, этот бесценный материал пропал во время путешествия ученого в Китай. Чуть позже другой, уже русский автор 1692 г., подчёркивает, говоря о горном Крыме, тот факт, что «и доныне яко тамо, так и во иных местех много родов знатных, иже идут от немец... живших тамо» (*Лызлов*, 1990. С. 116).

В те же годы пишет свою статью о ещё существующих готах и не менее живом их языке швед Юхан (Иоханнес) Перингшельд; он приводит данные об обычаях и нравах крымских германцев в период после 1650 гг. (*Loewe*, 1896. S. 187). В отличие от него, следующий по времени, также шведский автор лишь передавал свидетельства других наблюдателей, самолично готов (или потомков их) так и не встретив. Речь идёт об известном соратнике короля Карла XII, его лейб-медике, универсально образованном учёном Самуэле Скраггеншерне. Находясь в Бендерах и переписываясь с Крымом, где тогда были представлены шведские комиссары, он пришёл к выводу, что на полуострове есть целая область (*tract*), под названием *Готия*. Там сохранились не только какие-то материальные памятники, но и дожившие до Нового времени потомки общих, шведско-готских предков (буквально: «наши старые сохранившиеся готы и их памятники» — «*wåre gamble Götiske återlefvor och monumenter*»). Кроме того, Скраггеншером было отмечено, что в современном ему крымскотатарском языке имеются не только отдельные слова, но «целые обороты речи, которые наверняка относятся к шведским или готским» («*heela locutioner eller taal, som skola wara Swenska eller Gjötiska*») — эта запись относится к 1711 г. (цит по: *Lagerberg*, 1896. S. 194).

Нетрудно догадаться, что в дальнейшем время стёрло из памяти мангупцев предание об их происхождении. Однако люди, даже утратившие память о своей национальной принадлежности и духовной этнической культуре, не лишаются при этом ни физических особенностей, ни даже неосознаваемых ими черт в своей духовной и материальной культуре.

Следующее известие о готах находим в книге учёного-митрополита, члена Российской академии С. Сестренцевича-Богуша (1731–1826), где он пишет, что готы или точнее, их потомки, живущие близ Мангупа, резко отличаются от жителей

соседних сёл как внешностью, так и языком (1806. С. 283). По его словам, готы «принуждены были принять Магометанскую веру и покориться гражданским и духовным её законам»; через некоторое время они уже «были более Татарами, чем Готами». Эти потомки германских переселенцев сохранили в семьях свои старые, ещё христианские «духовные книги, писанные буквами, употреблёнными Ульфилой, они читали их на том же языке, на котором говорили их предки, по преданиям их, во времена Овидиевы» (указ. соч. С. 281–282).

Особенно интересны сведения, которые академик передавал в письме отцу: в «городах, где история указывает на обитание готов, остались не столь уж незначительные районы (буквально «места» или «клочки земли» — *Flecken*), где местный татарский язык похож на нижненемецкий; некоторых людей в Мангупе я понимал. Но все они мусульмане и татаризованы. Они, собственно, не знают, что это за язык, на котором говорят, и сообщают лишь, что первоначально были христианами, а не мусульманами» (цит. по: *Adelung,* 1817. S. 167–168).

Горные готы могли забыть родной язык, но часть их сохранила при этом христианскую веру до конца XVIII в. В 1778 г. в числе христиан, депортированных по указу Екатерины II из Крыма на север Приазовья, были не только греки и армяне, но и потомки феодоритов, не принявших мусульманство, во главе которых теперь стоял их духовный пастырь, по крайней мере, по его официально-церковному титулу — митрополит Готфейский и Кафинский.

Переселенцы основали на новом месте город, который назвали Мариуполем, как и крупнейший центр крымских христиан — Мариамполь, расположенный близ Бахчисарая. Первые мариупольцы по-прежнему тесно общались с единоверцами — армянами и греками — по-крымскотатарски. На татарском звучали и проповеди в их церкви. Не исключено, что для разноплемённого прихода это был единственный способ «найти общий язык», считают специалисты (*Braun*, 1896. S. 199). Этому имеются, впрочем, многочисленные аналогии в других странах: например, в Бразилии и Мексике масса разноязычных переселенцев общалась на чуждом всем им, но *универсальном* португальском (или испанском) языке, пока он не стал для них своим. Не исключено, что дома, в семье, все три группы переселенцев Мариуполя продолжали говорить какое-то время на своих родных языках. И если отмечена бесспорная сохранность готского в середине XVIII в., то, конечно, последние из стариков могли помнить его и в самом начале XIX в., — но это уже чистые предположения[1].

[1] Специалистов в исторической лингвистике издавна интересовала проблема высокой сохранности родного языка в остготской (крымской) среде, тогда как готы Италии, Испании и Галлии забыли на новых местах обитания свои германские корни намного быстрее. По этому поводу более ста лет тому назад были высказаны соображения, в целом сохранившие свою научную ценность до сего дня. Приведу эти выводы: 1) готский язык сохранялся столь долго, полностью оторвавшись от других германских языков: крымчане не имели контактов с бывшими земляками (как вестготы) и язык их хранил первозданную чистоту; 2) в Крыму, в регионе, заселённом готами, не имелось превалирующей культуры, крымские города были в упадке и не могли подавить своей культурой готскую; 3) у готов были собственные князья, причём не зависимые ни от Степи, ни от Византии; 4) Даже после захвата и разгрома Мангупа турками в 1475 г., в Мангупском кадылыке пришельцы не осели, то есть и османского влияния готский язык не испытал. По совокупности этих

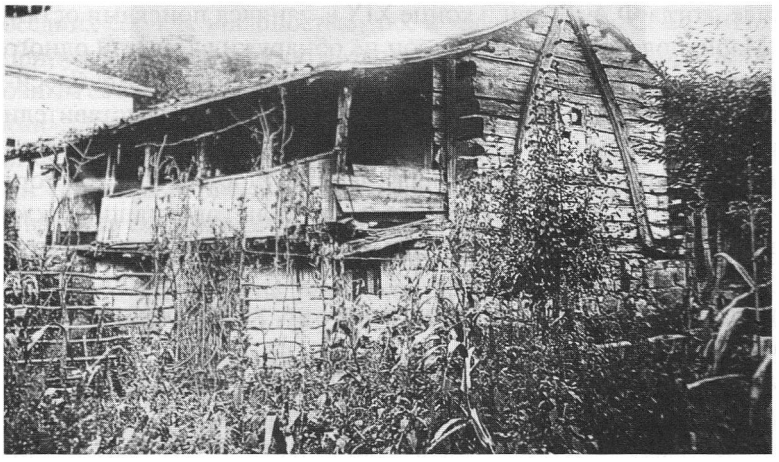
Во всяком случае, когда Ф.А. Браун в конце XIX в. занялся поисками остатков этого языка в Мариуполе и окрестностях, он не обнаружил здесь ни одного готского слова — впрочем, он работал там всего 10 дней. Зато учёному бросилось в глаза резкое различие между двумя этнотипами населения. Представители одной из групп были типичными греками: «среднего роста, не слишком крепкого телосложения, цвет лица смуглый, волосы чёрные, нос большой, с горбом, губы широкие» и т. п. Но почти в каждой деревне жили говорившие также по-татарски, однако резко отличавшиеся от них люди, которые были «ростом повыше греков, стройнее, но вместе с тем более крепкого телосложения, глаза темно-голубые, красивого разреза, но не такие широкие, как у греков, волосы золотистого цвета, с рыжеватым оттенком в кудрях (т. е. на изгибе. — *В.В.),* цвет лица, как у всех блондинов, нежный, щеки и губы алые, нос короткий, прямой. Одним словом, это чисто готский тип» (*Браун*, 1890. С. 84).

Если учесть, что часть переселенцев была из Мангупа, то можно согласиться с выводом Ф. Брауна. Напрашивается и второй вывод: если потомки готов попали даже в состав горстки переселенцев, то в Крыму готов-мусульман, безусловно, осталось во много раз больше. Весьма вероятно, что потомки их — татары ряда селений Крыма, резко отличавшиеся от жителей соседних деревень высоким ростом и другими признаками, характерными для скандинавов. Это относилось, например, к населению дер. Никита Ялтинского уезда (*Харузин*, 1890 «а». С. 83), а также к жителям довольно удалённых от неё Кучюк-Таракташа и Буюк-Таракташа (Zerr, 1912. S. 31).

Соответствующие исследования велись и в XX в. В 1920-х гг. экспедиция ялтинского Восточного музея, работавшая в Ускуте и некоторых соседних сёлах близ Алушты, обнаружила несколько десятков больших семей, объединённых общей принадлежностью к древнему клану *Гото*. Это родовое имя могло бы выглядеть случайным звукосочетанием, если бы не ряд других местных слов несомненно германо-скандинавского происхождения. Причём это были не какие-то окостеневшие реликты, известные лишь старцам. Упомянутые лексические единицы активно использовались всем, в том числе и молодым населением побережья. Примечательно, что односельчан, в которых была явственно видна примесь чужой крови, обзывали *Катфридами* (то есть немецким именем Готфрид, так же как русские слыли Иванами). Сообщают также, что этим именем-прозвищем называли вообще всех жителей Ускута, Буюк-Озенбаша, Кучук-Озенбаша, Богатыря и Коккоз, расположенных в срединной части бывшей крымской Готии (*Куртиев*, 1998. С. 22).

О сохранившемся в Крыму «готском» типе внешности писали антропологи и учёные других специальностей ещё в XVIII–XIX вв. В их трудах речь идёт о высоких, светловолосых татарах, с нетипичными для греков или турок продолговатыми черепами и мощными, тоже длинными, по-орлиному изогнутыми носами. Они населяли не только горную часть Крыма, но встречались и на местах бывших прибрежных селений древних германцев: в Гурзуфе, Алупке, Кикинеизе, Лимене (*Loewe*, 1896. S. 237–238). Гораздо позже, уже при советской власти, професор

причин он и смог сохраняться, медленно затухая на протяжении ещё трёх столетий турецкого периода истории ханства (*Loewe*, 1896. S. 126–127, 208).



Наследие готов в XX в. — дом с раскосинами-*пайвандлер* (готск. beiwand — пристенный брус). *Фото И.А. Барщевского*

Московского антропологического института Я.Я. Рогинский провёл более точные наблюдения, сопроводив их антропометрическими измерениями. При этом среди трёх сотен человек из разных мест горного региона Крыма обнаружилось «особенно большое число лиц с голубыми глазами, белокурыми волосами и другими признаками северной расы именно среди семейств Гото» (КК. 21.09.1928).

Через год в тех же краях вёл свои археологические исследования профессор Н.И. Репников, который пришёл к выводу о сохранившемся в ряде построек Эски-Крыма «готского стиля». Тогда же он высказал своё мнение о том, что именно Эски-Крым был летописной столицей готов Доросом, а вовсе не Мангуп. Бесспорно готские следы учёный обнаружил на большой площади — от Коккоза и Озенбаша до Ускута (КК. 29. 05. 1929).

В этом смысле интересный материал дало обследование населения Черкез-Кермена, расположенного, во-первых, в географическом центре бывшего Готского княжества, а во-вторых, скрытого в глубоком горном ущелье, вдали от оживлённых дорог, что могло содействовать поддержанию относительной чистоте этнического типа. И в самом деле, после того как в 1930–1931 гг. здесь работала экспедиция Музея антропологии и этнографии АН СССР, её участник Г. Петров опубликовал работу «Потомки готов в советском Крыму», где среди прочего имелись некоторые любопытные соображения, основанные на его собственных наблюдениях.

Автор, характеризуя северную расу, к которой относились и готы, напоминал, что для неё «характерен высокий рост, длинноголовость, светлая окраска волос, глаз и кожи, длинное, узкое лицо с тонким носом, высоким лбом и хорошо развитым подбородком». При этом Г. Петров продемонстрировал изображение типичного древнего германца и тут же, для сравнения, привёл снимки современных черкез-керменцев. Их сходство, продолжил автор, «не нуждается в комментариях. Светлый цвет волос и глаз „татарина“ отчётливо виден на фотографии... Этот расовый тип мы условно назовём светлым. Почти все без исключения жи-

тели деревни обладают ростом выше среднего... целый ряд особенностей черкезкерменцев настолько ярок, что они по фигуральному выражению „говорят сами за себя“... Наряду со „светлым“ антропологическим типом, в Черкез-Кермене встречаются обладатели совершенно иных расовых особенностей» (Цит. по материалам *И. Абдуллаева*, опубликованным в ГК. 29. 04. 2005. С. 7).

Другие современные исследования говорят о сохранившихся готских традициях и в крымскотатарском скульптурном искусстве, а также о следах, оставленных готами в особенных чертах специфически крымского христианства (имеющих явно арианское происхождение), и даже в верованиях южнобережных крымских татар (*Сидоренко*, 1993. С. 153). Впрочем, этот феномен, возможно, не имеет никакого отношения к крымским готам, так как турки-огузы имели сходные с арианскими взгляды на человеческую природу Иисуса-Исы, считая его великим пророком, но отнюдь не Сыном Божиим.

Итак, Готия-Феодоро угасла, жители этой области без остатка растворились в массе складывавшейся татарской нации. Памятники крымско-готской письменности — все исключительно на средневековом греческом языке. Однако напомню: лингвисты с уверенностью отмечают ряд готских слов, вошедших в фонд крымскотатарского языка (Braun, 1896. S. 209). О том же свидетельствуют историки архитектуры: так готский строительный термин *razn* (дом на фундаменте) в крымскотатарском сузился до значения «бревенчатое основание дома» («разан»), а *stube* (комната вообще) стало обозначать тёплую комнату в доме. Крымскотатарское слово «келер» (на татском диалекте означавшее чулан, выгороженный на веранде) фонетически и семантически аналогично германскому *Keller,* что означает «подвал» (*Куфтин*, 1925. С. 23). Столь же уверенно можно говорить и о готском вкладе, пусть относительно и небольшом, в общий крымскотатарский генофонд.

Этот вывод, касающийся не только готов, очевиден настолько, что к нему пришёл не историк, а поэт, — впрочем, крымский — отсюда и его прозрение:

Мешались обычаи, боги, жёны,
Народ вливался в народ.
Где победивший, где побеждённый —
Никто уж не разберёт.
Копнёшь язык — и услышишь нередко
Отзвуки чуждых фраз,
Семью копнёшь — и увидешь предка
Непостижимых рас.

И. Сельвинский. Крым

Подводя итог этому очерку, хотелось бы обратить внимание прежде всего не на культурную сторону перемен, связанных с новыми этническими волнами, хлынувшими на территорию Крыма в позднеантичный — раннесредневековый период (о культурном содержании этих неоднозначных процессов говорилось выше). Здесь имеет смысл подчеркнуть значение традиций культурной преемственности, которые уже в то время были заложены в крымских городах. Они отрицаются историками, упорно не желающими признать самого факта наследования крымскотатарскими потомками этнокультурных ценностей

и антропологических черт иммигрантов рассмотренного периода[1]. Возможно, лучшему пониманию значения той эпохи для этногенеза будущего коренного народа полуострова поможет мнение учёного, специализирующегося на проблемах именно культурной преемственности, наблюдавшейся среди этносов именно на территории Северного Причерноморья, где сложились условия, ей благоприятствовавшие: «Исторические итоги античности (и раннего Средневековья, добавлю я. — *В.В.*) в Северном Причерноморье заключаются прежде всего в тысячелетнем опыте непрерывного существования локальной периферийной зоны с рядом её специфических признаков; регион испытал континуитет материальной и духовной культуры, а также государственности на пути от античности к Средневековью...» (*Боллов*, 2003. С. 39).

Среди племён и народов Крыма, совместно шествовавших по этому многовековому пути, готы заняли своё достойное место.

[1] «Несомненно, в историческом развитии и сложении крымскотатарского народа никакого, даже опосредованного участия не могли принимать оставшиеся в далёком прошлом этнические общности, чьи культурные традиции оказались давно забыты вместе с ними (скифы, сарматы, готы...)» (*Сидоренко*, 2003. С.143). Приведённый пример весьма типичен — авторы такого рода выводов не утруждают себя какими бы то ни было доказательствами или ссылками на работы предшественников, позволяющие делать столь категоричные заключения.

III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Гунны

Во второй половине IV в. на Крым обрушивается один за другим ряд ударов из степей Средней Азии. Это были гунны (хунну), центральноазиатские племена с сильной примесью восточной, монголо-тунгусской крови, ранее кочевавшие в северных областях нынешних Монголии и Китая. Под ударами войск китайского императора в начале нашей эры их объединение распалось на две части, южную и северную. Южане постепенно покорились китайцам, а северные племена двинулись на запад. Во II в. н. э. они уже находились в Центральной и Средней Азии, откуда часть их поднялась в Приуралье, а впоследствии — в Поволжье. В ходе этого переселения гунны смешивались с местными сарматскими и угорскими племенами, приобретая отчасти новый физический облик и усваивая их культуру. По-видимому, при этом подвергся переменам гуннский язык, который, как утверждают некоторые историки, принадлежал к тюркской языковой семье[1]. Но здесь необходимо остановиться на тюркской проблеме в целом и истории тюрков Крыма в частности.

К этой теме имеет прямое отношение спорный вопрос о времени появления тюрков в Северном Причерноморье. Тюркские топонимы в Крыму отмечались ещё до нашей эры (см. ниже), хотя ныне принято считать, что первые тюрки — культурно-языковая общность сравнительно недавнего (чуть ли не X в. н. э.) происхождения. Однако уже сделаны попытки выяснить самое *начало* тюрков. В дотюркский или палеотюркский период (III–IV вв. до н. э.) в степях Западной Монголии и Джунгарии, то есть по обе стороны Монгольского Алтая, сложилось единство гянгунско-гаочанских племён. Очевидно, там же с течением времени

---

[1] Филологи располагают всего лишь десятком сохранившихся с той эпохи слов, которые можно считать принадлежащими к гуннскому языку (или группе языков). Все остальные следы гуннского языкового наследия безвозвратно стёрлись. Согласно выводам специалистов, есть веские предположения тому, что «ни язык сюнну, ни язык европейских гуннов (то есть вторгшихся в Европу и осевших там. — *В.В.*) не принадлежит к какой-нибудь известной или ныне существующей языковой семье, более того (как в случае с шумерским, угаритским) речь идёт о вымерших языковых группах» (*Дёрфер Г.* О языке гуннов // Зарубежная тюркология. Вып. I. Древние тюркские языки и литературы. М., 1986. С. 72, 113).

возник древний пласт сако-хотанского этнолингвистического общества. Позже оно ощутило на себе давление со стороны хуннской империи, отчего и началось многовековое миграционное движение гянгунских племён на север и в основном на восток, по направлению к нынешним Минусинску, Верхнему Пообью, Алтаю, Казахстану и Приаралью.

Потомки этих мигрантов в V–VI вв. н. э. составили приаральское обособленное, уже тюркское объединение, члены которого получили родовое имя *ашины* (или *ашашины*). Вот они-то и составили основу будущего Западнотюркского каганата, то есть едва ли не первого тюркского государства. Указанное этнолингвистическое пятно к тому времени расширилось, тюрки расселились на территории от Восточного Туркестана на востоке до Причерноморья на западе (*Боталов*, 2009. С. 358). Другие, не менее авторитетные востоковеды, утверждают, что 10 коренных тюркских кочевых родов ашина зародились в горах Восточного Тянь-Шаня в III или IV в. н. э. (*Кляшторный*, *Султанов*, 2004. С. 75; *Жумагамбетов*, 2006. С. 120).

Перейдя на Алтай, где преобладало иранское (согдийское) и тохарское (индоевропейское) население, они испытали на себе влияние местных языков и культур (сам этноним «ашина», видимо, тогда же появившийся, имеет иранское происхождения и означает «синий). Здесь ашина консолидировали вокруг себя местные племена. Расширение территории обитания древних тюрков продолжалось и позднее. Так, рунические тюркские надписи, относящиеся к VII в. и более поздним (до IX) векам, обнаружены на огромном пространстве от р. Лена на востоке до р. Дунай на западе. При этом базой формирования общетюркского языка как междиалектального средства общения (или *койне*) стал язык огузских племён (*Тенишев* Э.Р. Древнетюркские языки // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. редактор В.Н. Ярцева. М., 1990. С. 143).

Процесс этногенеза шёл в русле культа единого верховного божества Тенгри, общего для всех алтайских народов. В этот культ (и, соответственно, в единое мировоззрение) вплетались верования самобытных этносов — угро-самодийцев, тюркютов и телэ. Позже, уже в 732–735 гг., в так называемых больших орхонских надписях, этот народ зовётся *кёк тюрк* («синие тюрки»). Однако точнее было бы называть их «кёки и тюрки», то есть ашина и тюрки. Другими словами, два века до этого параллельно с ашина существовали тюрки-алтайцы, чьё имя позже приняли первые. И наконец, осталось одно наименование — тюрк, уже применявшееся к племенному союзу. Что касается его этимологии, то есть мнение, что этим словом местные племена называли Алтайские горы, но в складывавшемся тюркском языке оно получило новое значение — «сила, власть» (*Фасмер*, 1964. Т. IV. С. 83).

Итак, где-то на рубеже V и VI вв. образовалось мощное государство, которое называли *Тюрк бодун* (Тюркский союз племён), а позднее — *Тюрк эль* (Тюркское государство). Причём именно так именовали его и сами тюрки, и другие народы, например, современные им иранцы и византийцы. Следующее государственное образование — первый Тюркский каганат, существовавший в 551–630 гг. Его правитель Муган-каган (553–572) утвердил господство своего народа в Центральной Азии и Южной Сибири. Для этого ему пришлось покорить монгольские племена *киданей* (юго-западная Маньчжурия) и *кыргызов* в ареале р. Енисей. К тому же оба северо-китайских государства Северное Ци и Северное Чжоу

стали тюркскими данниками (*Кляшторный, Султанов*. 2004. С. 95). А затем ему подчинились племена и народы огромного пространства от Сыр-Дарьи до Приамурья; он включил в свою державу и всё Семиречье. Затем молодой этнос (точнее, пока этнический конгломерат или суперэтнос) продолжил движение на Запад, где в середине VI в. достиг Северного Причерноморья, а в 568 г. — Дуная.

Таким образом, тюрки проявили устойчивую черту своей этнической психологии — страсть к перемещению и заселению всё новых мест, скорее всего, первоначально вызванную скудостью пищевой базы. Эту черту, свойственную и более поздним тюркским кочевникам, точно подметил багдадский учёный ал-Джахиз (IX в.): «Тюрки — народ, для которого оседлая жизнь, неподвижное состояние, длительность пребывания на одном месте, малочисленность передвижений и перемен непереносимы. Сущность их сложения основана на движении, и нет у них предназначения к покою» (цит по: *Кляшторный, Султанов*, 2004. С. 108). Этот же арабский эрудит, не скрывая восхищения, писал о воинских талантах и наездническом искусстве тюрков: «Тюрк стреляет по диким животным, птицам, мишеням, людям... Он стреляет, гоня во весь опор, назад и вперёд, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде чем [араб-]хариджит положит одну стрелу на тетиву. И он скачет на своей лошади, спускаясь с горы, или в долине с большей скоростью, чем хариджит может скакать на ровной местности. У тюрка четыре глаза — два на лице, два на затылке» (там же).

Позже, в результате развития союзных отношений, из тюркских племён сложилось новое государство — Великий тюркский каганат (630–745), чьими владениями стали Южная Сибирь, Средняя Азия, Приуралье, Поволжье, прикаспийские и причерноморские степи, северная и восточная части Крыма. Вершины своего влияния могущественный каганат достигает в первой половине VII в., когда границы его владений простираются от Балкан и Боспора Киммерийского до Маньчжурии. Основной, доминирующей идеологией этой державы остаётся культ единого бога Тенгри. Это был бог, «олицетворённый и растворённый в голубом бесконечном небе. Тенгри — везде, но основное местопребывание его — гора Хан-Тенгри» (*Жумагамбетов*, 2006. С. 122).

В последнее время рядом тюркологов выработана периодизация истории тюркского этнополитического преобладания в Крыму и прилегающих областях отдельных племенных сообществ, затем народностей и народов. Поскольку все они относились к тюркским культурам, то уместно привести их периодизацию именно здесь, в разделе, посвящённом первому *массовому* вторжению тюрков в Крым.

Гуннский период (посл. четв. IV — 30-е гг. VI в.). Это период первого контакта тюркоязычных племён с нетюркским или частично тюркским населением Крыма.

Тюрко-булгарский период (540-е гг. — первая пол. VII в.). Характеризуется продолжавшейся интеграцией тюркских племён в аборигенную среду Крыма.

Хазарский период (вт. пол. VII в. — вт. пол. X в.). Отмечен процессом слияния тюркских и нетюркских племён и формированием европеоидного средневекового этноса полуострова.

Золотоордынский период (вт. пол. VIII — пер. пол. XVII вв.). В то время происходит исламизация крымских тюрков и формирование южнобережной, горной и степной этногрупп крымских татар.

Крымское ханство (пер. пол. XV в. — 1783 г.). Это период развитой государственности крымских татар, когда происходит массовое вхождение в степную часть полуострова восточных купчако-мангытов и окончательное заполнение кочевыми тюркскими племенами степей Северного Причерноморья (XVI–XVII вв.).

Подчеркну — здесь речь идёт лишь о *массовых* переселениях. Этой стройной и обоснованной хронологизации не противоречит гипотеза о гораздо более раннем проникновении носителей тюркских языков в Северное Причерноморье: великим переселениям всегда предшествуют необычайно активные и мобильные первопроходцы или пионеры. Кем они были — неведомо (возможно, отдельные племена, покинувшие основную прототюркскую массу ещё до того, как тюрки двинулись на запад), но память о них сохранилась в древних топонимах Крыма. Согласно выводам современных исследователей, отдельные племена, говорившие на древних тюркских языках, населяли центральную часть Крыма ещё в эпоху поздней бронзы, где-то в VIII–VII вв. до н. э. Материальные следы их наиболее явственны в урочище Кизил-Коба, в 3 км от современного Перевального (*Ядыкин*, 1993. С. 116).

Возможно, и те племена были не первыми тюрками в этноистории полуострова. Но и далеко, конечно, не последними (до прихода алтайских тюрков): об этом свидетельствуют такие объективные исторические источники, как географические наименования. Так, Плиний Старший (23/24–79) отмечал, что позади Каркинитского залива находится озеро Бугес (так называли тогда Сиваш), соединённое с морем глубоким рвом. Но «бугес» (бугаз) как раз и означает «проток» по-тюркски. И существовал такой гидроним задолго *до прихода* алтайских тюрков: том IV «Естественной истории» Плиния, откуда взяты эти сведения, был закончен и стал известен читающей публике Рима пятью–шестью веками ранее.

Принимая во внимание приведённые датировки, можно сделать важный вывод: будучи одним из самых молодых народов Европы, крымские татары имели на исторической родине гораздо более древние языковые корни, чем, к примеру, славяне на севере, в своём собственном пятне этнического расселения[1]. Причём разница здесь огромна, для крымцев это VIII–VII вв. *до нашей эры*, тогда как славяне осели в Среднем Поднепровье лишь во II в. *нашей эры* (Киевская археологическая культура). Что же касается не славян, а этнических русских или носителей так называемых восточных среднерусских говоров, то они появились

[1] В отличие от истории происхождения тюрков, единой точки зрения на место и время этногенеза славян пока мировой наукой не выработано. Известно лишь, что ещё в начале нашей эры славяне как отдельный этнос (группа племён) не выделялись. Отдельные племена антов, склавинов, венедов, которых относят к славянам, были разбросаны на обширной территории Восточной Европы, не образуя какого-то единства. Географически наиболее близкая к будущему ареалу расселения русских Колочинская культура (V в. н. э., центр — слияние рек Десны и Сейма) была ещё смешанной, балто-славянской. При этом вся обширная территория от верховьев Дона и Волги до Балтийского моря (включая земли будущих Московского и Новгородского княжеств) была заселена финно-угорскими племенами. Лишь в IX в. в летописях упоминается Русский каганат — очевидно, первое государственное объединение восточных славян во главе с каганом (от *тюрк.* «правитель»). Каганат в том же веке сменяет Киевская Русь, возникшая в результате его территориального расширения под властью князей норманнской династии Рюриковичей.

на исторической арене гораздо позднее, в X–XI вв. (*Загоровский*, 1922. С. 27; Русские, 1999. С. 15, 94)[1].

Чисто внешне «первые» тюрки Северного Причерноморья и Крыма, с которыми европейцам, в том числе крымским, приходилось иметь дело раньше, за несколько веков до прихода гуннов, резко отличались от более поздних кочевых иммигрантов, антропологически приближаясь к европеоидному типу. Это видно уже из того, что современники-римляне, относившиеся к ним как варварам, отнюдь не поражались внешности этих крымчан. В то же время пришлые гунны, среди которых преобладали монголоиды, произвели на римского историка Аммиана Марцеллина (330–390), служившего в армии и повидавшего свет, неизгладимое впечатление, запечатленное в его главном труде:

«Племя гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, обитает за Меотийским болотом (Азовским морем. — *В.В.*)... и превосходит в своей дикости всякую меру. Они доживают свой век без бороды, безобразные, похожие на скопцов... Члены у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей или уподобить тем грубо обтесанным наподобие человека чурбанам, какие ставят на концах мостов» (*Аммиан Марцеллин,* 1908. С. 236–237).

Это, между прочим, пример пристрастной и необъективной характеризации, один из ранних образцов евроцентристского шовинизма, согласно которому все племена, не принадлежавшие к европейским, являлись сборищами то ли варваров, то ли разбойников. На самом деле «гунны и созданный ими огромный племенной союз не были разбойничьим отрядом. Они стояли несравненно выше многих европейских племён и по своему социальному строю, и по своей культуре. Культурное влияние гуннов на западноевропейские племена отмечалось даже... на основании археологических материалов» (*Бернштам*, 1951. С. 54). Причём влияние это было всесторонним и глубоким, включавшим в себя и материальную культуру: «хуннская одежда — кафтан и широкие штаны — перенимались китайцами и римлянами, а в V в. хуннские причёски в Константинополе стали последним криком моды» (*Гумилёв*, 1966. С. 56).

В 70-е гг. IV в. гунны уже подошли к Дону, где разбили местные сарматоаланские племена. Далее они столкнулись с остготами южного Приднестровья и Крыма. Силы были неравны не только потому, что восточные кочевники были более многочисленны, но и из-за рыхлости остготской державы короля Германариха, тогда как гунны были спаяны трудностями и сражениями долгого переселения из Южной Сибири и подчинялись строгой дисциплине своих вождей. Остготская держава рассыпалась на составные части, приморские степи и Крым были обречены на оккупацию.

Обычно события эпохи гуннского завоевания рисуются крайне мрачными красками: «С беспредельной жестокостью орды номадов прошли по процветавшим

[1] В дальнейшем эти говоры слились в древнерусский язык, общий для будущих украинцев, белорусов и русских. И, наконец, в ходе упомянутого этнического разделения только в XIV–XV вв. образовался русский язык, точнее, практически нормативный московский говор современного русского языка (*Филин А.П.* Русский язык // ЛЭС, 1990. С. 429–430).

землям, истребляя всё местное население, встречавшееся на их пути. Кочевники не щадили никого, и через несколько лет обширные земледельческие области Крыма и Приднепровья превратились в безлюдные пастбища с руинами сожжённых и разграбленных городов и селений» (*Михайлова*, 2006. С. 13). Это, конечно, преувеличение, имеющее источником, скорее всего, записки древних авторов.

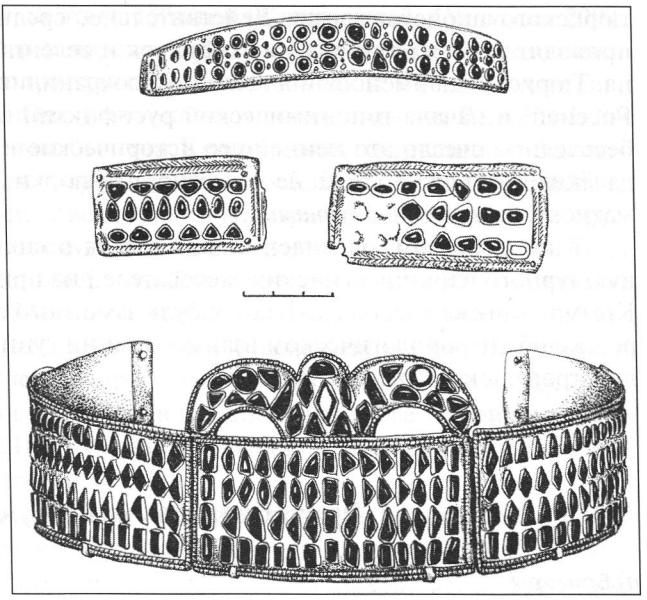
Нужно учесть, что последние не были непосредственными свидетелями гуннского нашествия, а, в свою очередь, основывались на сообщениях немногих жителей Северного Причерноморья, сумевших достичь тогдашних центров Средиземноморской цивилизации и всячески раздувавших ужасы недавних событий. На самом деле множество оседлых жителей Крыма уцелело, так как гунны могли кочевать лишь в степных областях, а наиболее плотно были заселены как раз горные, лесные и приморские регионы полуострова. Так, к примеру, горные и прибрежные готы Крыма почти полностью сохранились в годы нашествия, к тому же, как видно из предыдущего очерка, ничего не утратив из своей культуры.

Судя по источникам, пришлые степняки избегали селиться в городах, но свободно кочевали по просторам Тавриды, причиняя экономике её многоязычного, в том числе *местного* тюркского населения немалый вред. Ведь гунны не просто пасли свои стада, но и тогда, и гораздо позже они «разгоняли и разоряли таврокиммеров и мирных готов и ... грабили караваны с товарами» (*Иванов,* 1912. С. 63–64). Противостоять этим азиатским наездникам было невозможно уже в силу их многочисленности. Единственная непреодолимая для них преграда — горы Крыма — стали самой надёжной защитой для мирного населения полуострова. И, конечно же, в полной безопасности чувствовали себя тавры, обитавшие в своих неприступных каменных гнёздах, затерянных в зарослях горного леса.

Гуннам понадобился почти век, чтобы полностью овладеть Боспорским царством. Но, как свидетельствует Прокопий Кесарийский, произошло это уже на закате истории гуннского владычества на значительной части Крыма и через два десятка лет после смерти самого выдающегося из их вождей — Аттилы (454 г.). Как только огромная, но внутренне уже довольно рыхлая империя стала быстро распадаться, развернулось широкое освободительное движение среди племён и народов, порабощённых этим великим завоевателем. Кочевники медленно оставляли европейские степи; основная часть их покинула и Крым. Однако какое-то количество этих тюрков-пришельцев осталось в степной части полуострова. Сколько их было хотя бы приблизительно — науке неизвестно (*Якобсон*, 1973. С. 9).

Закономерен вопрос: а все-таки, может быть, оставшихся в Крыму гуннов было достаточно, чтобы повлиять на культуру местного населения после V в.? Ответ, очевидно, должен быть отрицательным. Ни один из исследователей нигде не упоминает о каких-либо изменениях в готском, скифском, таврском и других художественных стилях, которые можно было бы приписать гуннскому влиянию. Оно если и имело место, то на протяжении слишком краткого времени. Да и сами гунны стояли в сравнении с крымским населением своей эпохи не на столь уж высоком культурном уровне.

Что же касается чисто антропологического смешения, то здесь вопрос сложнее хотя бы потому, что решён он может быть лишь на основе материала, относя-



Инкрустированные диадемы из гуннских погребений в Крыму IV–VI вв.
Илл. из: Пиоро, 1990

щегося к эпохе, предшествующей очередному нашествию восточных, азиатских завоевателей-монголоидов. Кроме того, материал этот должен быть достаточно широким, репрезентативным, чтобы делать из него какие-то уверенные выводы. Пока же такого рода анализ наследия, относящегося к VI–VIII вв., проведён лишь по одному региону. Правда, регион этот весьма показателен, поскольку это была территория гуннского расселения на Южном берегу; речь идет о местности у Суук-Су и Алушты, а также в горной части полуострова близ Мангупа и Эски-Кермена.

Наиболее доказательны результаты анализа краниологического материала — семидесяти черепов из могильника близ Алушты. Впрочем, выводы аналогичных исследований и в других местах оказались сходными, а именно: во всех четырех группах захоронений основная масса местного населения типологически наиболее близка таврам или, возможно, сарматам поволжского происхождения. Другими словами, и на Южном берегу, и в глубине Главной гряды в эти века попрежнему проживало население европеоидного типа, ничего общего с гуннами не имевшее.

Впрочем, обнаружены и черепа смешанного, монголоидно-европеоидного типа, правда, лишь у Херсонеса и Каламиты. Но этот феномен легко объясняется близостью главных крымских портов. Ведь в портовых центрах и близ них смешение местных и пришлых рас идет, как известно, с многократно большей активностью. Мелкие же порты, а именно те, которыми пользуются лишь местные моряки, такого влияния на тип населения не оказывают. Поэтому в могильниках Судака и Коктебеля, относящихся к рассматриваемому периоду, «черепов с признаками монголоидности не обнаружено» (*Соколова*, 1958 «а». С. 70).

Спорным остаётся вопрос и о таком виде гуннского культурного наследия, как якобы оставшиеся после них топонимы и особенно гидронимы бесспорно

тюркского происхождения. Действительно, средневековые авторы десятками приводят тюркские имена гор, озёр, рек и селений по обе стороны от Перекопа. Тюркские наименования той эпохи сохранились вплоть до аннексии Крыма Россией[1] и начала топонимической русификации, в результате которой почти бесследно исчезло это ценнейшее историческое и культурное наследие наших далёких предков. Но пока не доказано, что тюрки, оставившие по себе эту ономатиску, были *именно гуннами*...

Таким образом, очевиден общий вывод о видимом отсутствии ощутимого культурного влияния гуннских завоевателей на прибрежное и горное население Крыма, а также следов сколько-нибудь заметного смешения между ними. Вопрос же об антропологическом взаимовлиянии гуннов и степного населения полуострова пока остается открытым.

2. Протоболгары, хазары, караиты

а) Болгары

Протоболгары, или «первичные болгары» — искусственно созданное наименование одного из древних смешанных *тюркских* этносов[2], места кочевий которого были некогда широко разбросаны по Центральной Азии. Во второй половине IV в. они вошли в состав гуннского племенного союза, во многом разделив его судьбу. С земель Северного Кавказа, отчасти с Нижнего и Среднего Поволжья они пришли к Северному Причерноморью, а затем в Крым, где стали развиваться в составе огромного межплеменного союза — Тюркского каганата, простиравшегося после VI в. от Северного Китая до Дона. До того как он распался (начало VII в.), в его центральных областях были основаны и длительное время существовали крупные культурные и духовные центры Сарай, Итиль и более мелкие города и сёла (*Soukkan*, 1985. S. 93).

В Северном Причерноморье протоболгары (племена огуров/огузов, сарагуров и оногуров) осели довольно рано. Уже в 480 г. римский император Зенон обращался к ним за помощью против остготов, хотя согласно византийскому историографу Приску Понтийскому пришлые тюрки появились в тех краях не-

[1] Назовём только некоторые названия заперекопского региона, приведённые всего лишь одним автором, к тому же неместным (профессором университета в немецком Галле, в Крыму никогда не бывавшим, то есть знавшим географию Дикого Поля далеко не исчерпывающе). Вот имена некоторых речек от Днепра до Азова: Каялы-Берта, Сут-Су, Шилки-Су, Ак-Чокрак, Кара-Чокрак, Конлы, Аджи-Су, Юхары-Каирка, Кесенды-Илга, Суват, Канылчак, Чокрак, Гюгюнлы-Айри, Бурак, Таше-Чекен, Жалинжис-Агадже, Этманлы, Вилюджик, Отали-Бёрт, Жалинжис-Бёрт, Кючук-Барда, Токмак, Сиври-Оба, Бузуллы, Бирлы-Илга, Чюнгюл, Сут-Ютлюги, Отлуджик и так далее (*Тунманн*, 1936. С. 48).

[2] Сам этноним «болкары» («булгары») происходит от двойной тюркской основы «булга» (смешивать) и «угары»; последняя указывает на угорское происхождение этих тюркизированных племён, связанное с тем, что их далёкие предки изначально кочевали в угрских (угро-финноязычных) областях, располагавшихся между Волгой и Уральскими горами.

задолго, всего лет за двадцать до этого события (*Кляшторный, Султанов*, 2000. С. 135). Первое мощное причерноморское болгарское государство со столицей Фанагорией[1] на Таманском полуострове образовалось после победы в длительной борьбе с аварами (635 г.). Оно удостоилось у соседей имени Великая Болгария, а первым его властелином был хан Кубрат, происходивший из болгарского племени сабиров (*Мухамедьяров*, 2003. С. 136). И хотя просуществовала эта держава всего около четверти века, болгары сохранили свой язык, войдя в другую тюркскую державу, хазарскую. Правда, не все — часть кочевников была вытеснена хазарами с пастбищ Северного Причерноморья, а также с восточной его части (*Макарова*, 2003. С. 53). Во главе с ханом Аспарухом они ушли на Дунай, и здесь в 678 или 681 гг. между этой рекой и Балканским хребтом возникло Болгарское царство, властителем которого этот хан и стал (подр. см.: *King*, 2004. P. 78). Другая часть поднялась на север, в Среднее Поволжье и Прикамье, где в середине VII — середине VIII вв. образовалось ещё одно болгарское государство — Волжско-Камская Болгария.

Как и другие тюрки той поры, протоболгары поклонялись верховному божеству Тенгри, в честь которого создавались святилища, а экономика их подчинялась 12-летнему календарному циклу (*Рашев*, 1993. С. 250). У них был также распространён культ предков, культ духов-покровителей и культ хана, то есть племенного вождя. Протоболгарское общество представляло собой вооружённый народ, поскольку в походах и боях участвовали все без исключения взрослые мужчины и значительная часть женщин. Искусные воины, они нередко добывали себе средства к жизни набегами, довольствуясь в промежутках между ними простой пищей кочевников-скотоводов.

Главным оружием болгар был лук, но нередко использовались копья и боевые топоры. Сильными сторонами их стратегии и тактики были внезапность и стремительность нападения, ложное отступление с целью заманить противника в засаду, быстрый манёвр. В поход воины брали с собой запасных коней, что позволяло им совершать многодневные походы на большие расстояния; кроме того кобылье молоко являлось для них основной пищей вдали от дома. Латинский писатель VI в. Эннодий отмечал, что протоболгары с помощью войны могут добыть всё, что ни пожелают — войско этого народа не знает преград, а мерилом благородства у них считается количество врагов, убитых воином в бою (*Литаврин*, 1987. С. 40).

В середине VI в. их держава, Великая Болгария, распалась на три части, чем воспользовались хазары, включившие территорию обитания причерноморских тюрков в состав своего каганата. Одно из кочевых болгарских племенных объединений, а именно орда Бат-бая, заняла район Приазовья. Ещё через век из-за продолжавшегося давления хазар приазовские болгары проникают в Крым и здесь оседают. Несколько позже, как считают некоторые историки, последовала вторая волна переселения в Крым тюрков-болгар: на этот раз с Поволжья

[1] Фанагория, имевшая долгую историю, была разрушена во времена гуннского нашествия, но восстановлена болгарами из руин. Эти причерноморские тюрки способствовали основанию в её стенах крупного торгового центра, где постоянно жили купцы из Крыма и некоторых византийских городов (*Михайлова*, 2006. С. 21).

пришло племя кутригуров. Их поселения отмечены в основном в центральной и восточной частях полуострова, хотя позже болгары проникают и на юго-запад, но за Альмой их следов почти нет. Болгарская материальная культура той эпохи археологически исследована довольно хорошо, и мы можем представить себе быт и хозяйственные особенности крымских болгар достаточно детально[1].

Первые жилища протоболгар, менявших в Крыму свой кочевой быт на оседлый, были примитивными землянками, едва возвышавшимися над степной травой (поселение Тау-кипчак, в 20 км от Симферополя, село Геройское на Керченском полуострове и др.). Углубление в земле снабжалось деревянными стояками у стен, эти сваи, вбитые в пол, поддерживали крышу, крытую земляным слоем. Но основная масса землянок имела иной вид, на чём следовало бы остановиться, если бы не одно обстоятельство: среди этих жилищ, весьма похожих по типу друг на друга, невозможно выделить *чисто протоболгарские,* отчего описание их будет приведено ниже, в общетюркской части. Здесь же отметим, что для Крыма такой тип жилища был вчерашним, если не позавчерашним днём. Поэтому через пару веков, явно под местным влиянием, эти подземные болгарские «дома» стали меняться — близ городов быстрее, в сельской местности медленнее.

Постепенно они полностью «поднялись» на поверхность. Жилища стали строить на каменных фундаментах, вначале обмазывая глиной плетёнку из камыша или лозы, затем была освоена довольно сложная фахверковая техника (брусовая конструкция на каменном фундаменте, с пустотами, набитыми саманом или глиной). Вообще этих бывших кочевников, судя по всему, не очень тянуло в городскую жизнь, они и на рынок-то наведывались крайне редко, ведя натуральное хозяйство. Об этом говорит, среди прочего, их посуда: это явно непрофессиональная, «домашняя» лепная керамика, в то время, как на всех крымских рынках было сколько угодно великолепной по форме, прекрасно обожжённой прочной посуды, сделанной по моделям, практически общим для всего Крыма и отчасти Средиземноморья.

В Крыму болгары расширили возможности скотоводческого хозяйства, разводя не только лошадей и овец, но и коров, и свиней. Несмотря на то что земля обрабатывалась ими простой мотыгой, зерна стало производиться столько, что его хватало и на продажу.

Они жили этническими общинами. В то же время нельзя сказать, что крымские болгары вели замкнутый образ жизни. Как и все тюрки, они были общительны, любознательны и свободны от предрассудков, свойственных закрытым обществам или культурам. Они интенсивно смешивались как с аборигенным на-

[1] Болгарские (как и более поздние) кочевники в основном использовали крымские степи в качестве зимников, летом возвращаясь за Перекоп. По подсчётам травяной массы степная часть полуострова, используемая в скотоводческой экономике, могла прокормить примерно 70 000 человек. Автор этих подсчётов, историк Рефат Куртиев делает совершенно правильный вывод о том, что это ограничение стало одной из причин *оседания* тюрков в Крыму. Впервые болгарское поселение (IX в.) в Крыму было обнаружено в Коктебеле в 1928 г. Любопытно, что на том же самом месте через тысячу лет, в XIX в., снова возникло болгарское село, но на этот раз основанное «новыми» болгарами, прибывшими с Балкан. А именно крестьянами, вряд ли знавшими о своих тюркских корнях и давно уже говорящими не по-тюркски, а на одном из славянских языков.

селением, так и с такими же недавними крымчанами, какими являлись сами. При этом именно болгары внесли в беспрерывный процесс этногенеза крымского народа важный вклад, а именно «элемент активный и жизненный, придавший своеобразный и специфический облик всей культуре Таврики...»; более того, «поселения сельской Таврии, ожившие с приходом болгар, быстро множились, росли и развивались» (*Якобсон*, 1973. С. 38). Во второй половине VI — начале VII вв. болгарские погребения встречаются у устья Салгира, а также выше по течению этой речки (раскоп Богачёвка), у Джайлава (п-ов Казантип), к югу от Ак-Моная, близ современных Айвазовского и Воинки.

Со временем культура этих уже крымских тюрков приобрела черты устойчивые и своеобразные. Стал обычным тип дома, состоящего из двух просторных помещений под одной крышей, но лишь в одном из них, имеющем открытый очаг, жили люди, тогда как другое предназначалось для скота. Стены сохранили деревянный свой «скелет», но глиняная обмазка стала толще. Пол делался земляным (мазаным), крышу покрывала солома или слой плотно убитой земли или глины. Здесь видны явные заимствования позднеантичной традиции в её крымском преломлении.

Таким образом, бывшие кочевники где-то в X–XI вв. вряд ли сохранили в этнокультурной памяти тягу к постоянной перемене мест, став настоящими крымчанами. К этому периоду своей истории, перед тем как раствориться в массе крымского народа, они расселились практически на территории всего полуострова: в среднем течении Салгира, в Байдарской долине, в окрестностях Варнутки, вдоль Бельбекской долины, на Каче. И конечно, в Коктебеле, на Керченском полуострове и других местах первоначального их оседания (*Якобсон*, 1973. С. 38).

б) Хазары

Несколько по-иному сложилась судьба близких соседей (и даже некоторое время — соотечественников) болгар, также бывших этническими тюрками, — хазар. Они считаются одним из народов, некогда входивших в западную конфедерацию Тюркского каганата (*Макарова*, 2003. С. 53). Этногенетической колыбелью хазар, по мнению многих этноисториков тюркских народов, был Северный Кавказ точнее, восточная, прикаспийская его часть. Туда приблизительно в V в. из Монголии, Сибири и от отрогов Алтая они пришли вместе с племенами савиров или сабиров, а также тюрками-гуннами (некоторые авторы вообще не делают различия между гуннами и хазарами).

Встретив в степных регионах Восточной Европы ираноязычных сарматов, пришлые племена вступали с ними в разнообразные — от противостояния до родственных связей — этнокультурные контакты, в результате в результате которых на этих территориях возобладал тюркский язык. Этот процесс завершился лишь в XI в., в период падения Хазарского каганата. А до того, примерно в течение 4–5 веков, здесь, на Северном Кавказе, а также на территориях нынешних Дагестана и Азербайджана, в ходе смешения сибирской угро-финской, тюркской, алтайской и местной аланской культур и происходило формирование хазар как самостоятельного этноса (*Новосельцев*, 1990. С. 81–82). Впрочем, сам

этноним «хазары» был известен куда раньше, ещё со времени их появления на обширной территории между Чёрным и Каспийским морями[1].

Антропологически хазары в подавляющей своей массе относились к монголоидам, но нередкими среди них были белокожие и светловолосые племена. У них были круглые головы, плоские носы с раздвинутыми ноздрями и узкие глаза с короткими ресницами. Они носили длинные, распущенные по плечам волосы (*Михайлова*, 2006. С. 32). По языку своему хазары были близки поволжским болгарам. Он относился к болгаро-печенежской группе тюркских языков; единая письменность, сложившаяся к VIII в. н. э., была аналогична принятой у тюркоязычных народов той эпохи, то есть рунической. Её алфавит, состоявший из 23 рун, по мнению средневекового учёного хакана Иосифа, отдалённо напоминал кириллический (*Зифельдт-Симумяги А.Р.* К вопросу о языке хазар // Советская тюркология, 1988. № 6. С. 81).

Ещё во второй половине VI в. хазарские племена объединились на Северном Кавказе под властью «царя» (*малика* или *шад-бека*), который, впрочем, признавал верховенство огромного и могущественного Тюркютского ханства или каганата (существовало с 550 по 650 гг.) и его правителя-кагана. После падения тюркютов начался расцвет хазарской державы. А поскольку хазары считали себя прямыми наследниками исчезнувшего каганата, то новая держава переняла этот термин, став Хазарским каганатом, с правителем-каганом во главе и столицей в г. Семендере (северокавказское побережье Каспия), а с начала VIII в. — в волжском г. Итиле. Экономика хазар в то время была весьма развитой, а хозяйственные типы её — разообразными. Часть племён кочевала, но множество родов занималось одни исключительно зерновым земледелием, а другие — виноградарством и садоводством, а третьи вели обширную торговлю (*Газиз*, 1994. С. 31).

В конце VII в. хазары покорили волжских (камских) болгар и, увлекая часть их за собой, продвинулись к Азовскому морю. Затем захватили почти всё Северное Причерноморье, степную часть Крыма и Сугдею. На рубеже VIII в. мы видим под протекторатом могущественного хазарского кагана почти всю горную часть полуострова, да и Херсонес уже находится во власти хазарского наместника-*тудуна*. В частности, каганом был установлен протекторат над областью Дори. Здесь, в горном Крыму, он создал новую административную единицу, неизвестно как называвшуюся хазарами, но соответствовавшую тому, что византийцы именовали Готией. В IX в., после того, как византийцы вернули себе Херсонес и Боспор, только Готия осталась в Крыму под владычеством хазар. Эту обширную и богатую территорию соседи стали теперь называть Крымской Хазарией. Она сохраняла следы былого хазарского могущества — её властителям были обязаны ежегодной данью славянские племена полян, северян, радимичей и вятичей. Что же касается всего Хазарского каганата, то его владения в период наибольшего подъёма государства простирались от Кавказа до Камы и от левых притоков Волги до Дуная (*Плетнёва*, 1986. С. 34–35).

В основной своей массе хазары были кочевниками, но часть их вела полуоседлый или полностью оседлый образ жизни: они занимались зерновым по-

[1] Происхождение этнонима «хазары» неясно, но наиболее обоснованно его выводят из тюркского «газ», что означает и «скитаться», и «кочевник» (*Кестлер*, 2006. С. 21).

леводством и виноградарством, разводили сады. В городах было немало хазар-ремесленников. Но основные доходы в звонкой монете каганат получал от торговли. Сами хазары коммерцией почти не занимались, но, оседлав древние пути между Средиземноморьем и Азией, постоянно контролировали торговлю купцов из ближних и дальных держав, взимая с них транзитные пошлины и другие дани. Возможно, именно тогда ими был основан город, известный как Чуфут-Кале или Кырк-Ер. Об этом позволяют судить особенности кладки его внутренней, самой старой крепостной стены. Она возведена в широко распространённой в Крыму технике — это двойной, внутренний и наружный каменный панцырь, забутованный щебнем во внутренней части.

Ещё в VII в. крымские хазары были язычниками, они «приносили жертвы огню и воде, поклонялись некоторым богам путей, также луне и всем творениям, которые им казались удивительными» (*Каганкатваци,* 1861. С. 90). Божеств у них было, таким образом, огромное количество, хотя главным считался Тенгри-хан. Ему посвящали капища и деревья, приносили жертвы животными (в основном лошадьми). По-прежнему сохранял своё значение и культ предков, в честь которых на вершинах холмов ставили каменные изваяния — *балбалы*. Трудно сказать, насколько значимыми были пережитки былого поклонения тотемам — древним покровителям тюркских племён, но следы тотемистических верований были явственны как в ту пору, так и гораздо позднее[1].

Однако необходимость в едином боге уже ощущалась, так как общество уже знало социальное или имущественное расслоение, шло экономическое развитие крепнувшего централизованного государства. В этот период в Крым проникают монотеистические идеи, хотя мы остереглись бы безапелляционно утверждать, что уже тогда к числу областей со сплошным христианским населением следует «...в первую очередь отнести крымские владения хазар» (*Артамонов*, 1962. С. 412).

Культ Тенгри, свойственный не только хазарам, но и древним тюркам, ставшим предками крымских татар, заслуживает особого рассмотрения уже в связи с упомянутыми монотеистическими религиозными представлениями. К поздней истории хазарского каганата относятся известия о том, что появившиеся в Северном Прикаспии «исламские суфии-миссионеры XI–XII вв. отождествляли Аллаха с Тенгри» (*Жумагамбетов*, 2006. С. 119). Неизвестно, было ли это искреннее убеждение мусульманских вероучителей или попытка таким приспособлением ислама к местным верованиям облегчить свою миссию. Но вряд ли эти проповедники осмелились бы на такую аналогию, не будучи уверенными в верховном статусе Тенгри, то есть в единобожии местных тюрков. Более определённо можно сказать, что тенгрианцы-тюрки самой приверженностью своему культу (который, естественно, не имел никакого отношения к учению Пророка) были гораздо лучше подготовлены к восприятию единого Аллаха, чем соседние (например кавказские) племена, явно остававшиеся в плену многобожия (*ширк*).

[1] Наиболее зримо они предстают в традиционных караимских орнаментах. В них стилизованно представлены существа животного мира: павлина (олицетворение плодородия), барана, петуха и т. д., а также растения и астральные тела (например, «солнечные» розетки, лучистые звёзды). Множество орнаментальных изображений такого рода дошло до позднего Средневековья и даже до наших дней (*Ниметулла*, 2002. С. 20).

Если же вернуться к общей истории каганата, то после поражения, которое он потерпел в 737 г. от арабов, в его судьбе произошло знаменательное событие: каган Обадия и элита хазарской империи добровольно приняли иудаизм. Любопытен анализ причин, способствовавших принятию этого решения: «Не вызывает сомнений, что к принятию иудаизма правителя склонили политические соображения. При переходе в магометанство он попал бы в духовную зависимость от халифов, пытавшихся навязать хазарам свою религию, а в христианстве заключалась опасность превратиться в церковного вассала Византийской империи. Иудаизм же был авторитетной религией, священные книги которой почитались и христианами, и магометанами; он возвышал его (то есть правителя. — *В.В.*) над невежественными варварами и одновременно гарантировал от вмешательства халифа и императора. Однако, пойдя на обрезание, он не принял нетерпимости иудейского культа» (*Bury J.* A History of the Eastern Roman Empire. London, 1912. P. 406. Цит. по: *Кестлер*, 2006. С. 59).

в) Караимы (караиты, карайлар)

Последнее целиком верно и по отношению к одному из многих племён Хазарского каганата, а именно племени *караев* или *караитов* (в дальнейшем их начнут не совсем верно называть *караимами*), хотя часть караев позже, в X в., приняла христианство, причём в несторианской версии этой религии[1]. Это племя чувствовало свою особость; оно самоидентифицировалось в самом начале нашей эры. В Крым они попали, как считают одни авторы, вместе с гуннами (*Поляков*, 1997. С. 20), другие опускают временную планку этого события до ещё более раннего периода — I в. н. э. (*Айбабин*, 1999. С. 46).

Племя караев, ранее весьма могущественное и многочисленное, со временем слабело, но и в X в. у него было вполне достаточно искусных воинов, чтобы успешно сражаться с готами и другими старыми насельниками Крыма. Именно в ту пору они взяли считавшийся неприступным Кырк-Ер или Чуфут-Кале (*Полканов*, 1995. С. 188). После чего основная часть этого небольшого народа осталась в Крыму навсегда.

Один из караитских повелителей-*тудунов*, Али-Алитвер, смог обратить подвластное ему население в христианство, разрушить капища и выстроить новые храмы. Однако каган, не заинтересованный в духовном подчинении своих подданных соседней Византией, подавлял христианское движение. Причина заключалась в том, что старинный культ Тенгри-хана способствовал укреплению

[1] Религия караитов ещё в VIII в. приняла законченно-логичный вид в форме караизма. Последний имеет ряд общих черт с христианством и исламом (почитание Ветхого Завета и пророков, в том числе Иисуса с Мухаммадом, как двух последних из семи великих пророков), принципиально отличаясь от иудаизма неприятием позднейших толкований и комментариев к Священному Писанию, и тем более Талмуда. От христианства же караизм отличало вполне монотеистичное неприятие Троицы и, соответственно, Нового Завета. Из наиболее древних реликтов в караизме сохранился культ священных дубов Тенгри, олицетворяющих этого некогда общетюркского бога. Упомянутые дубы растут на древнем общекараимском святилище — родовом кладбище *Балта Тиймэз* («Топор не коснётся»), расположенном неподалеку от Восточных ворот Чуфут-Кале (подр. См.: *Полканов*, 1997. С. 42–46).

его собственной власти в качестве «бога живого», представителя небесных сил на Земле[1]. Его опасения были не напрасны: через 100 лет, в VIII в., Византия учредила в Крыму Готскую митрополию, семь епархий которой находились на хазарской территории; в 710 г. они не только владели Сугдеей, но и вернули себе Херсонес (*Зубарь,* 1988. С. 77).

Что же касается принятия иудаизма в качестве государственной религии каганата, то это было весьма удачное и своевременное решение. Именно в ту эпоху под усилившимся давлением мусульман немало иранских евреев переселилось в Восточное Предкавказье, а затем в Крым. Вскоре крымские города стали прибежищем и для других иудаистов, подвергавшихся гонениям в ряде мусульманских и европейских стран. Под влияние наиболее образованных раввинов из числа этих бездомных скитальцев попал, кстати, и упоминавшийся каган Обадия (*Плетнёва*, 1986. С. 63). Новая монотеистическая религия имела важное значение для политического, международного утверждения Хазарии, её духовного равенства с Византийской империей и Арабским халифатом. И именно хазары, а не евреи, впервые попытались поднять иудаизм на уровень третьей — после ислама и христианства — мировой религии. Впрочем, всеобщее признание за ним такого статуса произошло много позднее распада Хазарского каганата.

Но в X в. до этого было ещё далеко, и каганат ощущал себя достаточно мощным, чтобы распространять своё владычество на всё новые территории. Что касается Крыма, то в этом веке под административной властью кагана и в экономической зависимости от хазар оказались Керчь, Судак, Алушта, Ламбат, Партенит, Гурзуф, Алупка, Балаклава, Альма и даже Мангуп (*Новосельцев*, 1990. С. 109). Заметим, кроме Мангупа, всё это портовые, торговые города. Очевидно, хазары приняли деятельное участие в превращении некоторых из них, ранее представлявших собой обычные рыбацкие сёла, в торговые пункты. Этому процессу немало содействовала новая вера кагана. Дело в том, что в конце VII — начале VIII вв. Европа находилась в упадке, вызванном нашествиями варваров. В то же время международные финансовые связи иудейских общин сохранились, и именно они взяли в свои руки европейскую коммерцию, чему всячески содействовали Каролинги. Эта династия, правившая в могучей многонациональной франкской державе, нуждалась для возрождения её экономики в еврейских кредитах — отсюда и политика поощрения иудейского капитала (указ. соч. С. 151).

Однако именно в иудаизме, столь выгодном для экономики и династической политики каганов, таились и зёрна распада империи хазар. Он оставался религией кругов, близких к кагану. Основная же масса населения исповедовала ислам, христианство и даже по-прежнему отправляла различные языческие культы. Целиком мусульманской была и гвардия кагана. Вся эта

[1] Имя Тенгри не скоро изгладилась из памяти коренных крымцев. Через столетия после принятия Крымом ислама, в 1658 г., хан Мехмед-Гирей IV, составляя *мохаббат-наме* (грамоту) царю Алексею Михайловичу, во вступительных фразах упоминал в своём титуле имя древнего бога. Причём помещая его в интитуляции *перед* именованием Аллаха: «Благословением Тенгри, милостью и милосердием Всевышнего великий падишах Великой орды...» и т. д. (цит по: *Фаизов*, 2003. С. 142). И даже в XX в. Тенгри, правда, уже в изменившейся форме «Танры», упоминался крымцами в молитвах и обращениях к Всевышнему: напр., «Да поможет нам Танры!» (цит по: *Сейдамет*, 2009. № 25. С. 14, и во многих др. местах этого соч.).

масса подданных не только не последовала за еврейскими проповедниками, но и выступала в оппозиции своему правителю-талмудисту. Междоусобицы, в которых деятельно участвовали феодалы-вассалы, сильно ослабили каганат, и хазарам-христианам удалось вытеснить властителя за пределы Крыма. Полагают, что именно это противостояние иудейской верхушки и иноверных масс, вылившееся в настоящую гражданскую и религиозную войну, стало причиной распада Хазарского каганата после эмиграции кагана (*Михайлова*, 2006. С. 39). Последний удар по ослабшей Хазарии был нанесён киевским князем Игорем Святославичем, в 964–965 гг. разорившим подчиненные хазарам поволжские тюркские племена, а затем и города самого каганата.

Но далеко не вся иудаистская аристократия последовала за изгнанником-каганом. В Крыму остались многие хазары, со временем также принявшие иудаизм. Эти остатки некогда могущественного народа ещё долго фигурировали в средневековых крымских источниках: они составляли одну из наиболее многочисленных диаспор, уцелевших после распада каганата. Потом хазары незаметно растворились в местном населении, оставив по себе весьма скромные следы в культуре и языке крымцев. Впрочем, итальянцы ещё в XVI в. по-прежнему называли полуостров Хазарией. В отличие от последних, караиты сохранили чувство общности, ряд собственных традиций и, главное, собственную уникальную религию. Бесспорно, именно она была главной причиной сохранения караимской самоидентификации до наших дней.

Здесь имеет смысл отвлечься от этнических эволюций, уделив внимание более общим, региональным моделям жизни; ведь они не менее значимы для науки о народах и их истории. Собравшееся в Крыму в VII в. многоплеменное сообщество, уже избравшее полуостров постоянным местом обитания, говорило на общепонятных тюркских диалектах (это по-современному; на самом же деле все они были вполне равноценными и полноценными языками). Но это сообщество не было однородным во многих иных смыслах. Прежде всего — в хозяйственно-бытовом. Как могли, скажем, гунны, осевшие на Южном берегу Крыма, оставаться кочевниками? Вопрос, конечно, несерьёзный; а вот проблему изменений кочевнического быта даже *в степной* части Крыма пустячной никак не назовёшь. Что же происходило в крымской степи этого периода?

Удивительные перемены начались в конце VII — самом начале VIII вв., но не повсюду, а в степных предгорьях Центрального Крыма и на Керченском полуострове. Население этого обширного региона когда-то, на закате скифского и боспорского государств, было частично оседлым. Но затем, в III в., селения становятся всё более редкими, а в IV в. практически исчезают, сменившись подвижными группами юрт, принадлежавших различным кочевым родам.

Теперь же происходит как бы возврат к основательно забытому старому. На сравнительно неширокой степной полосе от берегов Керченского пролива до среднего течения тогда ещё полноводного Салгира начинается оседание тюркского населения Крыма. Этот процесс шёл довольно активно; благодаря далеко не законченным археологическим исследованиям этого периода, уже к 1970-х гг. было обнаружено несколько десятков памятников такого рода (*Гадло*, 1971. С. 61–62). Они представляют собой остатки так называемых открытых селищ, то есть групп жилых и хозяйственных построек, не укреплённых

и не окружённых какой-либо защитной стеной. Очевидно, в этом не было необходимости — как упоминалось выше, после возвышения в 670-х гг. Хазарского каганата не только в степном Крыму, но и во всей Южнорусской степи наступила пора политической стабильности.

Индивидуальное (семейное) жилище того периода представляло собой землянку овальной формы (устойчивое воспоминание о круглом жилище кочевника!), углублённой в почву до 0,8 м и площадью от 4,8 на 3,1 м до более обширных, площадью 16 кв. м. (Героевка, Керченский полуостров). Стены котлована и пол жилья первоначально обрабатывались глиняно-кизячной обмазкой, в более поздний период — и камнем. Сверху котлован перекрывался двускатной крышей. Вход устраивался исключительно с юга, и эта черта крымских жилищ степи сохранится в дальнейшем на многие века. С поверхности внутрь вела земляная лестница, чьи ступени укреплялись камнями. Очаг устраивался, как правило, у северо-западной стены, топка достигала в вертикальном сечении размера 1,4 на 0,9 м. У северной стены землянки выкапывалась зерновая яма, представлявшая собой необлицованный подвал глубиной в 0,7 м, расширяющийся в глубине до почти метра, тогда как круглое устье имело диаметр 0,65 м.

Тонкостенные котлы с внутренними ушками, как и вообще тип этого жилища, нехарактерные для Крыма, свидетельствуют о том, что эти культурные реалии имеют своим источником донские степи, где в VII–X вв. обитали праболгары и иные тюркские группы. С другой стороны, конструкция очага — типично крымская. Просуществовал этот тип степного жилища относительно недолго, около двух веков. За это время постройки претерпели некоторые изменения, основным из которых стало появление надземные стен; теперь это были уже полуземлянки[1]. Какого-то резкого прекращения строительства таких своеобразных жилищ не произошло, имело место скорее плавное перерастание полуземлянки в жильё, целиком находившееся на поверхности земли. Позднее, крымцы время от времени вспоминали (когда это становилось необходимым, как говорится, не от хорошей жизни) опыт строительства землянок в весьма подходившей для этого сухой, твёрдой степной почве. Эти возвраты к старине наблюдались и в XIII, и в XVII, и даже в середине XX — начале XXI в. в местах ссылки татар после депортации в Среднюю Азию, а затем, по возвращении, и в самом Крыму.

Для истории же коренного народа Крыма имеет огромное значение не столько тип этих жилищ, сколько само их существование, являющееся неоспоримым доказательством превращения *тюрков*-кочевников в оседлое население Крыма уже в *VI веке*. Этот исторический факт радикально перечёркивает все попытки ряда историков связать появление оседлого населения крымской степи со *второй* иммиграцией тюркского элемента, действительно имевшей место, но полутысячелетием позже.

---

[1] Прекрасные образцы этой архитектуры были обнаружены на месте селения так называемой салтово-маяцкой (тюркской) культуры носившего название Тау-Кипчак и расположенного по обоим берегам р. Зуя. Задняя часть этих жилищ была врезана в склоны холмов, тогда как передняя представляла собой фасад в «полный рост», с дверьми, окнами и т. д. (*Буров*, 2006. С. 260).

3. Печенеги и кыпчаки

а) Печенеги

Предки печенегов были известны китайским летописцам ещё в III–I вв. до н. э.; китайцы называли их племена *цинь-ча* (*Плетнёва*, 1990. С. 3). Как самостоятельный, хоть и смешанный этнически и в языковом смысле, единый военно-политический конгломерат, они сложились сравнительно поздно, во второй половине IX в. Ряд тюркоязычных, угроязычных и сарматских племён, кочевавших между Волгой и Аралом, постепенно объединился в союз, который возглавили азиатские тюрки из бывшего политического объединения *Кангюй*, к тому времени распавшегося (*Михайлов*, 2006. С. 60).

Новое племенное объединение стало известно среди современников под именем печенегов — возможно, по имени одного из его первых властителей, которого звали Бече. Присоединяя к себе всё новые племена, печенеги укрепились настолько, что в поисках выпасов для своих стад и табунов стали теснить ослабевший Хазарский каганат. В восточноевропейских степях они появились в конце IX в. Привлечённые гораздо лучшими, чем на старой родине, природно-климатическими условиями, они оставили кочевья предков и заняли долины между Доном и Кубанью. Но это было только начало исторического шествия печенегов.

Вскоре они снова устремились в западном направлении. Приблизительно в 898 г. они появились в Ателькузе (так называлась местность в междуречье Днепра и Днестра), откуда ими были вытеснены за реку Серет обитавшие там мадьяры (*Добролюбский*, 1986. С. 51). Затем, полностью покорив себе степи Северного Причерноморья вплоть до Дуная и опустошив хазарские владения, печенеги осели на важнейших сухопутных и речных торговых магистралях — в том числе и на знаменитом пути «из варяг в греки». В отличие от хазар, они не требовали от купцов каких-то сборов, но попросту грабили караваны. В эту эпоху своей истории поток азиатских переселенцев по-прежнему представлял собой не единый этнос, а союз племён, некий конгломерат, разноликий и разноязыкий. Но он пользовался общим именем — по печенежским племенам (их было всего восемь), шедшим в авангарде этого в основном тюркоязычного (возможно, с небольшой угрской примесью) потока и составлявшим количественно более половины его (*Артамонов*, 1962. С. 345). После того как печенежская переселенческая масса остановилась в своём пути на запад, всю территорию, что осталась под нею, тогдашние европейцы стали называть «Пачинакией».

Наиболее близко к Крымскому полуострову расселилась одна из восьми печенежских фем (или орд), называвшаяся Иртим. Она заняла местности, прилегавшие к восточному берегу Азовского моря, а также на Таманском полуострове (*Плетнёва*, 1990. С. 14).

Согласно материалу, полученному при раскопках на новых и старых местах обитания печенегов, их внешний облик был европеоидным, лишь с некоторыми элементами монголоидности (*Шевченко*, 1980. С. 164–165; *Герасимов*, *Рудь*, *Яблонский*, 1987. С. 218–19). Культуру печенегов можно назвать довольно высокой, если учесть, что они до последнего времени оставались

кочевниками. В насыпанных ими курганах обнаружены мечи, глиняные кувшины, украшенные причудливым, пышным орнаментом. Костяные накладки на луки несли на себе резные узоры, орнаментированными были также пряжки и подвески для поясов. Сбруя печенежских коней мало чем отличалась от современной, в её состав входили жёсткие удила с трензелями, седельные подпруги и, главное, стремена, позволявшие прицельно стрелять из лука, не покидая для этого седла.

Византийские авторы, хорошо знакомые с бытом и культурой своих северных соседей, объясняли военные успехи печенегов их своеобразной тактикой, для более цивилизованных ромеев непривычной: «Они не разделяют войско на отряды, в сражениях не следуют никакой военной науке, не признают ни фронта, ни левого, ни правого флангов, не разбивают лагерей, не окружают их рвами, а, сбившись в кучу, сильные своим презрением к смерти, с громким боевым кличем бросаются на неприятеля. Если враг отступает, они обрушиваются на него, как башни, преследуют и безжалостно истребляют, но если неприятельский строй выдерживает напор и не рассыпается под варварским натиском, сразу же поворачивают назад и спасаются бегством... Разом рассеявшись, они потом снова отовсюду незаметно сходятся в одно место, кто с гор, кто из ущелий, кто из реки» (*Пселл*, 1978. С. 161).

Население Пачинакии было кочевым и находилось на родоплеменной стадии развития. Упомянутые 8 орд делились на 40 родов, во главе каждого из которых стояли военные вожди, которые в свою очередь подчинялись пожизненным великим вождям, стоявшим во главе орд. Власть в племенах была выборной и переходила не по прямому наследованию, хоть и оставалась привилегией рода, к которому принадлежал бывший вождь: «После же их смерти должно было избирать или их двоюродного брата, или сыновей двоюродных братьев, чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также родичи по боковой линии» (*Константин*, 1989. С.155).

В начале X в. эти скитальцы степей достигли Крыма, где также потеснили хазар. Очевидно, полуостров подошел им во всех смыслах, так как здесь многие печенеги и остановились (основная часть их, как упоминалось, шла на запад, к Днепру). И они стали устраиваться вполне основательно, как, собственно, все племена и народы, хоть единожды вдохнувшие крымский воздух. Их кочевья вплотную приблизились к византийскому Херсону (*Плетнёва*, 1990. С. 17). Впоследствии (в том же X в.) печенеги заключили союзные договоры с Византией и Русью, впрочем, не мешавшие взаимным нападениям и в дальнейшем. Византия же стремилась всячески крымских печенегов ублажать, поддерживать их и экономически, и политически. Императорам была выгодна дружба с воинственными и многочисленными степняками, которые образовали барьер, ставший на пути набегов на византийские владения восточных славян, предков современных русских и украинцев, говоривших ещё на общем, древнерусском языке.

Дело в том, что эти славяне были опасны куда более кочевников. Не ограничиваясь грабежом мелких поселений, они угрожали Константинополю, организовывали совместные походы, в которых против греков выступали (как, например,

в 944 г.) варяги, поляне, русь, словены и кривичи. Согласно выводам советского историка, союз с печенегами Крыма вообще «являлся центром византийской системы поддержания политического равновесия в X в.» (*Левченко,* 1940. С. 156). Но, судя по русским летописям, с восточнославянскими княжествами печенеги воевали не только по договорённости с Византией и совместно с её войском, но и по собственному почину, причем неоднократно. В одной из таких войн пал знаменитый князь Святослав (972), из черепа которого печенежский хан Куря сделал себе ритуальную чашу.

В середине XI в. четыре печенежские орды, кочевавшие в Причерноморье, распались. В конце века они попытались было снова объединиться в племенной союз и даже двинулись совместно на Византию. Но это был их последний крупный поход. В 1091 г. император Алексей I Комнин привлёк на свою сторону кыпчаков и, окружив печенегов соединёнными войсками, устроил страшное побоище у г. Эноса, где погибло более 30 тыс. обречённых степняков, включая их женщин и детей (*Михайлова*, 2006. С. 75; *Добролюбский*, 1986. С. 52). Это был удар, кажется, определивший всю дальнейшую судьбу печенегов. В один день был истреблён целый народ (Анна Комнина). Более он так и не смог подняться до роли участника событий в Северном Причерноморье. Часть печенегов ушла из Крыма в степи, примыкавшие к долине реки Рось и к Белой Веже, а также к Карпатам и Дунаю, часть перешла на службу к киевским князьям Рюриковичам. Однако на полуострове их, судя по нижеследующему материалу, осталось немало.

На складывавшуюся крымскую культуру печенеги не могли оказать значительного влияния, кроме, пожалуй, языкового, как из-за краткости пребывания там, так и по невозможности конкурировать с мощным культурным влиянием более развитых византийских соседей на полуострове. С другой стороны, они отличались от других завоевателей тем, что не только не разрушили классические древности Тавриды, но и со временем «стали дорожить» ими, приобретя вкус к оседлой жизни *(Лашков*, 1881. С. 24). Здесь явно сказался изначальный культурный потенциал печенегов, который наукой длительное время недооценивался. Лишь в 1980-х гг. было сделано первое из ряда открытий, изменивших эту точку зрения: у печенегов имелась письменность, памятники которой археологи обнаружили вблизи Бахчисарая (*Чореф*, 1982).

К тому же печенеги оказались способны перенять многое из социально-экономических и культурных достижений тогдашних крымчан. Если они пришли сюда кочевниками, причем на довольно низкой, родоплеменной стадии развития (ее характеризует военная демократия и слабая имущественная дифференциация), то, освоив степь и предгорья, пришельцы стали довольно быстро переходить к земледелию. Часть печенегов переселилась в портовые города, где они также проявили неожиданные способности, впервые в своей истории занявшись коммерцией. Более того, известно немало печенежских купцов, которые вели крупную транзитную торговлю между Византией и Херсоном, с одной стороны, и Россией и волжской Хазарией — с другой. Есть сведения и о том, что печенежские торговые дома даже вытеснили коренных херсонцев из самой перспективной сферы их интересов — торговли с Востоком (*Лашков*, 1881. С. 25).

б) Кыпчаки

Предки этих тюрков, *кимаки*, ещё в VII в. обитали в обширной горной местности на севере Алтая. Затем в VIII в. они переселились в степи и таёжные леса Прииртышья, где после объединения семи племён возник Кимакский каганат, а также на территорию современного Восточного Казахстана. Кыпчаки[1] были такими же кочевниками, как печенеги, да и по происхождению они также имели с ними определенную степень родства (*Михайлова*, 2006. С. 93). В середине X в. часть родственных кимакам, но уже обособившихся кыпчаков перешла вслед за торками (огузами) Волгу и хлынула на земли Северного Кавказа и в степи Северного Причерноморья.

Причиной этого демографического сдвига стала не страсть к завоеваниям, как было принято считать, а, скорее, невозможность выживания на старой родине. Как убедительно доказывал Л.Н. Гумилёв, в IX–X вв. произошло важное геоклиматическое событие: смещение области циклонов в лесную зону Евразии, что нарушило сложившуюся систему хозяйствования племён этого огромного региона. Многим из них, в том числе и вполне оседлым земледельцам-кыпчакам, пришлось на какое-то время стать кочевниками: судьба гнала их, как и часть Кимакского каганата, на далёкий Запад (*Добролюбский*, 1986. С. 81). Второй причиной эмиграции стал демографический взрыв, имевший место в тот же период и вызванный обилием продукции рационального скотоводства (об этом речь пойдет ниже). Так кыпчаки окончательно отделились от Кимакского каганата, а их вожди — *малики* постепенно избавились и от обязанности высылать на старую родину натуральную дань. Передвижение на запад ускорилось и включением ряда кыпчакских родов и племён в гузское (сельджукское) движение в том же направлении[2].

Поэтому во второй половине X — начале XI в. упомянутые племена сдвинулась в Приаралье, низовья р. Джаик (Урал) и Поволжье. Но далее на запад откочевал не весь каганат, а лишь кыпчакские племена. Вначале кыпчакская кочевая волна остановилась в степях Южного Урала, однако засухи и бескормица X в. погнали их

---

[1] В Византии, Болгарии и Венгрии кыпчаков называли *команами* или *куманами* (возможно, от древнеславянского *комонь* — «конь»), на Руси — *половцами*. Последний этноним представляет собой языковую кальку с самоназвания «*шары кыпчак*», то есть «жёлтые кыпчаки» (отмечено в начале XI в.). Известно ныне устаревшее славянское прилагательное «половый», означающий «светложёлтый», отсюда и этноним «половцы» (Словарь XVIII в. Т. XVI. С. 234). Этноним *кыпчак*, как следует из тюркских рунических надписей, существовал уже в VIII в. Во второй половине этого столетия он становится известен и арабам (*Кляшторный, Султанов*, 2004. С. 127). Кстати, прилагательное «жёлтые» отнюдь не следует объяснять исключительно цветом волос или кожи пришельцев. Такой этноним носил, скорее всего, чисто отличительную функцию (как и, например, понятия *Золотая Орда*, *Синяя Орда* и пр.), отделяя эту группу мигрантов от других тюрков.

[2] Сельджуки — тюркские племена, переселившиеся в XI в. из Средней Азии в западном направлении и создавшие на завоёванных территориях самостоятельную державу Великих Сельджукидов со столицей в г. Конье. Позднее она распалась, а в XIII в., когда в Малую Азию хлынул очередной поток мигрантов из Средней Азии и Ирана, на месте государства Великих Сельджукидов сложилось несколько десятков бейликов, вошедших в состав Османской империи (*Гордлевский*, 1960. С. 3–218).

Кыпчакский конный лучник, реконструкция. *Журнал Къасевет, 2010. № 37*

дальше на запад. По-видимому, смешение сибирских кыпчаков с племенами покорённых земель отразилось и на их внешнем облике. По найденным в погребениях скелетам можно сделать заключение, что территорий Прикавказья и Северного Причерноморья достигли круглоголовые (брахикранные) европеоиды, причем лишь некоторые из них отличались незначительными монголоидными чертами. Согласно письменным источникам, кыпчаки были по большей части светловолосыми и голубоглазыми людьми, чем отличались от темноволосых печенегов. Когда они вошли в Крым (примерно в начале XII в.), владычество над степной частью полуострова перешло к ним от ещё обитавших там печенегов и хазар (Бартольд, 1965. С. 458).

К этому времени кыпчакские племена уже являлись самой крупной частью населения каганата, а территории, которые они занимали, были величайшим уделом Кимакского государства. Впрочем, часть их осталась в Азии, отчего соплеменники в X–XI вв. называли огромную территорию их обитания (от Тянь-Шаня до Дуная) общим именем *Дешт-и-кыпчак* (Кыпчакская земля), а русские — Половецкой степью. Кыпчакское кочевое объединение ещё в X в. не представляло собой какого-либо государства (*Буров*, 2006. С. 208)[1]. Но оно было огромным по площади, на его территории уже имелись города, в том числе и крупные. Таким образом, нет ничего странного, что близкие и дальние соседи кыпчаков говорили о «Кыпчакском ханстве».

Это ханство представляло собой фактически всего лишь конгломерат племён с относительно слабыми связями, что, впрочем, не мешало им действовать согласованно. Как, например, в своём движении на запад, в ходе которого они занимали земли печенегов, к тому времени частично ушедших за Дунай, в Паннонию

[1] Кыпчакский племенной союз будет создан позже, в начале второй половины XII в. ханом Кончаком, прославившимся среди современников и вошедшим в историю благодаря своей блестящей победе над дружиной новгородского князя Игоря Святославича (1185).

и на Крымский полуостров. При этом местные жители отнюдь не уничтожались поголовно, но постепенно смешивались с пришельцами, перенимая их культуру, а в крупных поселениях — сохраняя свою собственную. Вообще Кыпчакское ханство, обладая какой-то мощной притягательной силой, являлось ядром, к которому, как к магниту, притягивались широко разбросанные по причерноморской степи остатки племён печенегов, огузов-торков, болгар и аланов, привлечённых растущей мощью молодого государства. Достаточно сказать, что в первой половине XII в. в Северном Причерноморье уже насчитывалось 12–15 кыпчакских орд общей численностью в 500–600 000 человек (*Плетнёва*, 1990. С. 40, 115).

Для половцев-кыпчаков была характерна модель жизни, несколько отличавшая их от других кочевников. Прежде всего, их кочевое хозяйство было наиболее развитым и хорошо организованным. Вместо выпаса скота всплошную они практиковали плановое использование отдельных огороженных участков степи, соединённых постоянными скотопрогонными дорогами. Так они препятствовали бесцельному вытаптыванию травы, в чем трудно не признать черт «народной экологии» (*Михайлова*, 2006. С. 93). В степях Причерноморья, а затем и в Крыму, у кыпчаков появляются упорядоченные, постоянные становища. Здесь среди прочих обитали ремесленники, как собственные, так и иноземные (из пленных), имелись купеческие лавки и постоялые дворы.

Какую часть населения Крыма в тот век составляли кыпчаки — сказать трудно. Некоторые авторы уверены в том, что они являлись «основной массой тюркоязычного населения Крыма, как до монгольского нашествия, так и после него» (Документы, 1967. С. 104). Очевидно, так оно и было, но ведь в Крыму жили тогда не только тюрки. Кроме того, хоть среди тюрков кыпчаки преобладали, но и огузская часть была немалой.

Первое время по приходе в Крым половцы-кыпчаки продолжали и кочевать, и устраивать опустошительные набеги, главным образом на Русь и Византию. Причем добились в этом больших успехов. С одной стороны, Византии пришлось на горьком опыте убедиться, что с этим тюркским народом выгоднее дружить, чем воевать, с другой — русичи ни разу за весь XI в. не смогли углубиться внутрь кыпчакских владений. Политические кыпчакско-византийские связи осуществлялись в основном через Херсонес, хотя столицей крымских половцев был Судак (Сугдея), «наибольший из городов кипчакских», как уверяли современники (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 502).

Положение меняется в XII в., когда Владимиру Мономаху удалось сколотить в союз ряд русских княжеств. С этого времени южнорусские князья, опасаясь объединения кыпчаков в мощное государственное образование, ведут политику их тотального уничтожения. В результате славянской экспансии в южном направлении были стёрты с лица земли и никогда более не возродились такие кыпчакские города, как Балин, Сугров и Шарукань. В связи с этим основная часть причерноморских кыпчаков была вынуждена надолго, на полвека, вернуться к кочевой стадии экономики. Другое дело, что в Крыму, куда не доходили русские дружины, крупные кыпчакские торгово-ремесленные центры сохранились (*Плетнёва*, 1975. С. 297).

Вторая волна массированного кыпчакского заселения Крыма пришлась на начало XIII в. Тогда под натиском туменов Чингис-хана, обогнувших Каспийское море и вторгшихся на равнину севернее Кавказа, тамошние кыпчакские племена

раскололись надвое. Одна часть их отступила к Волге, а другая, переправившись через Керченский пролив, широко разлилась по крымским просторам. Орды пришлецов продвинулись далеко вглубь полуострова, даже заняли 17 января 1223 г. Судак, но этнической ситуации это не изменило. Слившись с местными тюрками, уже давно укоренившимися здесь, кыпчаки дальше не пошли, зато полуостров покинули воины Чингиса. Они отправились навстречу битве при Калке, навстречу своей судьбе вечных победителей[1].

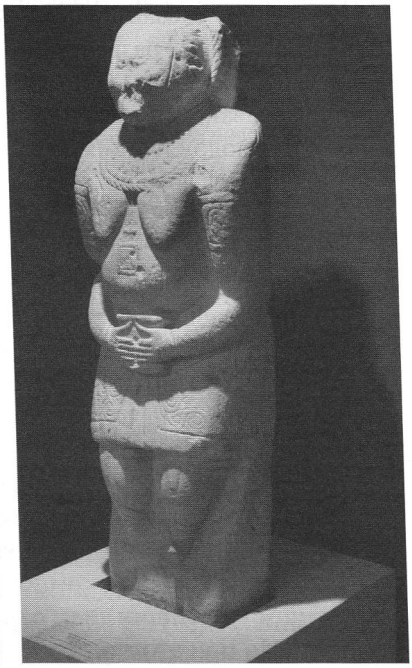
Следующий и последний накат на Крым кыпчаков, теперь уже хорошо знакомых старых соседей по Северному Причерноморью, случился после их тщетной тридцатилетней (1220–1250) борьбы с чингизидской Ордой. Их перебралось через Перекоп столько, что фламандский путешественник, современник этих событий, говорит о каком-то неимоверном демографическом взрыве на полуострове, о его катастрофическом перенаселении: «команы... бежали к берегу моря, они вошли в эту землю в таком огромном количестве, что пожирали друг друга взаимно, живые мёртвых... С тех пор, как мы выехали из Солдайи и вплоть до Сартака (т. е. до ставки Батыева сына. — *В.В.*) два месяца мы не видели никакого селения... кроме огромного количества могил команов» (*Рубрук*, 1910. С. 68, 82).

Кыпчакские племена процветали в Крыму значительно дольше печенегов — до начала ордынского вторжения в XIII в.[2] Основная эмиграция началась после битвы при Калке, но многие из осевших на полуострове кыпчаков, особенно торговцы и земледельцы, смешавшиеся с местными племенами и принявшие к тому времени христианство, остались. Их постигла общая судьба многих племён, заселявших Крым в древности: они окончательно слились с местным населением, не оставив по себе памяти даже в чертах лица коренных крымчан; как было сказано, и те, и другие принадлежали к европеоидам. Однако степные кыпчаки пока сохраняли свою культуру в целости.

Но в 1239 г. ордынцам удалось нанести решающий удар по кыпчакскому союзу племён (*Soukkan*, 1985. S. 94). Затем, в 1299 г. в заперекопские степи и в Крым ворвались войска ордынского темника Ногая. Что же касается собственно полуострова, то он, как и вся Таврика, не знавший собственной государственности, вошёл «в состав Джучидского улуса без особых потрясений, фактически не изменив сложившейся в начале XIII в. структуры населения, без перемен в хо-

[1] Чингис-хан (к династии которого, кстати, принадлежали крымские Гиреи) по праву, как и в древности, считается одним из величайших героев мировой истории — недаром его звали *Потрясатель Вселенной*. Хана обожествляли уже при жизни, хотя его воины разрушили цветущие мусульманские города Средней Азии. Своей славой он обязан единственно тому, что он привёл монголов к мировому господству. И, как заметил знаменитый швейцарский историк-востоковед и теоретик культуры Якоб Буркхардт, уже поэтому он — вне сравнений. Ведь, к примеру, после Тимура (1336–1405) который способствовал умственному и культурному развитию своего народа и всего цивилизованного мира, население Самарканда и окружающих земель стало жить хуже, чем ранее. И уже поэтому в глазах потомков «...он в такой же мере мелок, как Чингис-хан велик» (*Буркхардт* Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 196).

[2] Точнее, вначале удар по кыпчакам нанесли не ордынские племена, вторгшиеся в Крым в 1233 г., а годом до того турки-сельджуки под руководством Хусейна-ад-дина Чобана (см. ниже).



Половецкие культовые статуи из местного камня — «каменные бабы». *Эрмитаж*

зяйственном укладе, без разрушения городов, осуществлявших посреднические функции в международной торговле полуострова с Южным Причерноморьем, главным образом, с империей Великих Комнинов», то есть с Византией (*Крамаровский*, 1998. С. 68). После этого и завоеватели, и побеждённые зажили на крымской земле мирно, практически без конфликтов, постепенно привыкая друг к другу — и к коренному населению новой родины.

Византийский историк Георгий Пахимер, автор хроники Крыма в 1255–1308 гг., так описывает этот процесс, развернувшийся после набега заперекопских кочевников-джучидов хана Ногая в конце XIII в.: «с течением времени [народы], обитавшие внутри этих [областей], как я понимаю, аланы, зикхи, готы... и различные соседние с ними народы, учатся их (то есть крымцев. — *В.В.*) обычаям, и вместе с обычаями овладевают языком, перенимают одежду и становятся их союзниками в войнах» (*Pachimeris*, 1835. P. 345). А ещё через 100 лет французский миссионер Иоанн Галлифонтский писал в своей «Книге познания Земли» (1404 г.), что в Северном Причерноморье и Крыму «множество христиан, а именно латинян или католиков, греков, много армян, зикхов, готов, татов, валахов, русов, черкесов, леков, ясов, аланов, аваров, кумыков, и почти все они говорят на татарском языке» (цит. по: *Kern*, 1939. S. 108)[1].

[1] В этой связи остаётся непонятным утверждение современного автора о том, что «часовня, ставшая первым католическим храмом в Крыму», появилась лишь в XIX в., при доме некоего аббата Л. Милло (*Амфитеатрова*, 2001. Т. I. С.14).

Как было сказано выше, Крым при вторжении Ногая и кыпчаков каких-либо масштабных разрушений или грабежей местного населения не претерпел. Собственно, джучиды были заинтересованы не в военных трофеях, а в использовании завоёванного края в куда более длительной перспективе. Ещё свежи были в памяти народов те коммерческие прибыли, которые имел Солхат ранее. Теперь предполагалось возродить его значение в мировой торговле. И город был вполне способен играть эту роль: уже начиная с 1267 г. здесь чеканится собственная монета (серебряные дирхемы с именем хана Менги-Тимура), а 1277 г. датируются и солхатские медные пулы[1] (*Крамаровский*, 1998. С. 68; *Вашари*, 2002. С. 196).

В образовавшейся таким образом пёстрой демографической мозаике, где каждый мог продолжать заниматься своим делом и сохранять собственные традиции, кыпчакская материальная культура не затерялась. В северо-западном Крыму до сих пор находят полускрытых землей, а то и под пахотным слоем так называемых половецких баб — массивные каменные изваяния, изображавшие усопших родичей. Всего их найдено и описано более 1 320 экземпляров (*Плетнёва*, 1990. С. 7). Это великолепное искусство, причем его памятники отличаются явной, почти портретной индивидуальностью. Древние мастера, конечно, стилизовали свои творения, компонуя их по общему образцу: выпрямленная фигура с кувшином (у женщин) или с оружием (у мужчин), прижатыми обеими руками к животу. Но при этом они умели достичь, невзирая на жёсткие каноны жанра, сходства своих произведений с усопшими моделями. В этих статуях отразилась живая история этноса, даже типические изменения в его внешности.

Так, «бабы» прикавказских равнин приобретают в XIV в. горбинку на носу (след межэтнического смешения с горцами), крымские же сохраняют благородную простоту и ясность старого кыпчакского типа. Существует даже обоснованное мнение, что кыпчакские изваяния такого рода — более изящные, тогда как печенежские и торкские — грубее, схематичнее (*Буров*, 2006. С. 164). Кроме этого сохранился ещё один след исчезнувшего народа, к сожалению, оказавшимся менее долговечным, чем статуи. До 1944 г. в Крыму имелись населённые пункты с топонимическим компонентом «кыпчак» (или «кипчак»): Кара-Кипчак, Донузлав-Кипчак, Тав-Кипчак, Яни-Кипчак, Коп-Кипчак, Каралар-Кипчак, Тубен-Кыпчак, Сары-Кыпчак и т. д. — целых два десятка топонимов (*Суперанская, Исаева, Исхакова*, 1995. С. 204). Ныне это сёла с такими бездарными, выдуманными без опоры на историю названиями, как Громово, Рыбацкое, Самсоново и т. д. и т. п.

Из духовного наследия кыпчаков мы можем назвать занесённые ими на крымскую почву такие общие для исламского мира образцы устного арабского фольклора, как «Лейла и Меджнун», «Юсуф и Зулейха», позднее — «Ашик-Гариб», анекдоты о Ходже Насреддине. Здесь уже был создан народный цикл о крымском пройдохе Ахмед-Ахае и другие произведения, обогатившие крымскую культурную традицию. Позже этот процесс продолжался; из сравнительно

---

[1] Дирхем — старинная арабская серебряная монета, чеканилась с 695 г. Имела хождение и в Крыму, где в XVI в. была равна 4 ахче (см. ниже). Пул (от *тюркск.* pul — штамп) — медная монета, чеканившаяся в XIII–XV вв. Надпись на пулах исполнялась арабскими буквами. Изготавливались пулы в крупнейших ордынских городах, отчего внешне несколько отличались друг от друга.

«новых» произведений достаточно назвать такой шедевр, как «Кёр-оглы». Тогда же, в 1220-х гг. была создана первая авторская крымская тюркоязычная поэма «Хикяет-и-Юсуф». Её творца, кыпчака Махмуда Кырымлы, по праву называют первым поэтом Крыма (*Конурат*, 1996. С. 13–14).

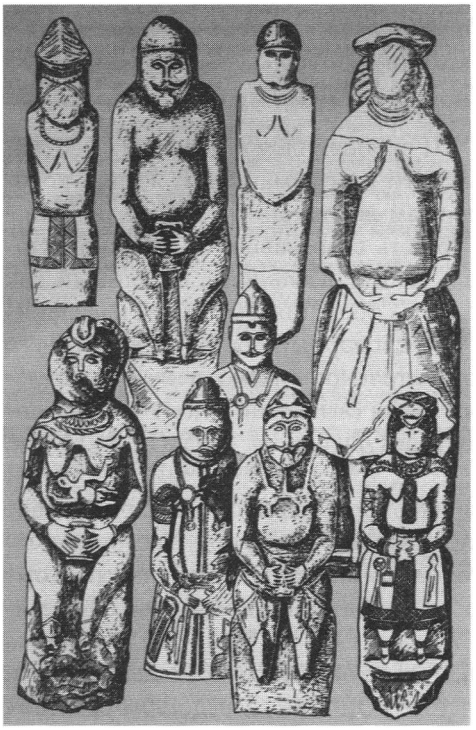
В среде этих мусульман Крыма в XII–XIII вв. появился и первый (из сохранившихся) письменный памятник кыпчакского или куманского языка, который с полным правом можно считать и первым лексиконом складывавшегося языка коренного населения полуострова, то есть созревавшего крымскотатарского. Это знаменитый двуязычный словарь *Кодекс Куманикус*, созданный как пособие для приезжих, прежде всего купцов, в их общения с местным населением Крыма. Как отмечает исследователь XX в., словарный состав этого раннего этнографического памятника Крыма «...поразительно близок к лексике среднего диалекта **современного крымскотатарского языка** (выделено мной. — *В.В.*), содержащего лексемы и фонемы других диалектов» (*Изидинова*, 1995. С. 13–14. См. также: *Радлов,* 1884. С. 1–53).

Ныне признано, что язык крымских кыпчаков того периода был более развит и лексически богат, чем диалекты пришедших в Крым позднее орд, в которых смешались самые различные тюркские и монгольские элементы. И именно поэтому кыпчакский язык послужил основой при формировании и письменного, литературного крымскотатарского языка (*Фазыл*, *Нагаев*, 1989. С. 136). Состав *Кодекса* говорит о том, что этот язык уже тогда стал не только общеупотребительным среди всё более многочисленного местного населения[1]. Он стал и средством общения для купцов, составивших или заказавших памятник, а, значити, и вообще средством международного общения, столь широко развитого в тогдашнем Крыму.

С течением времени международные связи становились и разнообразнее и теснее. Теолог-католик Иоганн Хильдесхаймский писал, что итальянцы, постоянно жившие в XIII в. на полуострове, а также торговавшие с Крымом купцы, брали на воспитание или попросту покупали кыпчакских детей, для того чтобы через общение с ними овладеть местным языком, что подтверждает вывод о том, что он был здесь важнейшим средством общения (*Golubovich,* 1913. P. 153). Вывоз юных крымчан в Италию ещё через век становится уже традицией — без этого трудно представить дальнейшее развитие не только экономических, но и культурных отношений Крыма с Генуей или Венецией, с остальной Европой (*Verlinden*, 1947. P. 287–298).

При этом нужно заметить, что этот всекрымский язык не был чем-то искусственным или искажённым, как-то приспособленным для широкого обиходного употребления, как *лингва франка* во французских колониях или *пиджин инглиш* — в английских. Он был и сам по себе достаточно богат и гибок, великолепно сохранив в своём обширном словарном запасе массу старотюркских корней и флексий. Другое дело, что чем дальше, тем менее он был бы понятен в Средней Азии. Это

[1] Такому широкому распространению языка не помешало, что кыпчаки осели далеко не во всех крымских регионах, а в основном в степной его части да вдоль крымского берега Азовского моря. В дальнейшем, хоть их язык и стал преобладающим, если не единственным на всей территории полуострова, но вдоль Южного берега, основного пятна длительного переселения турок-сельджуков, сложился диалект, который можно назвать огузо-кыпчакским.



Различные типы
кыпчакских каменных изваяний
(вторая половина XII века — 1440-е гг.)

объясняется довольно просто: в Крыму произошло естественное обогащение кыпчакского языка терминами и новыми понятийными обозначениями, привязанными к новым сущностям, новым предметам и явлениям, умозрительным категориям, качествам и мерам вещей, неизвестным на прародине языка.

Разумеется, эти новые слова вошли в будущий крымскотатарский язык в виде грецизмов, романизмов, арабизмов, германизмов. Но дух тюркского Востока оставался неприкосновенным, цельным как в языке, так и в менталитете его крымских носителей. Более того, он оказывал мощное влияние на италоязычное население городов-колоний, где составлялся *Кодекс Куманикус*: словарь и структурою своей более схож с восточными лингвистическими пособиями, чем с типичным западноевропейским глоссарием той эпохи (*Денишевич*, 1985. С. 76–80). Здесь немало терминов, связанных с ремеслом, коммерцией, искусством, другими областями развитой материальной и духовной культуры местного, крымского населения.

Что же касается исконных носителей этого языка, то в XVI–XVII вв. они приняли в свою среду новых иммигрантов. Когда в крымские степи в эти века стала проникать значительная масса заперекопских кочевников-ногайцев, расселяться они стали по всему Северо-Востоку полуострова, в районе Джанкоя и азовского побережья. То есть именно в тех местах, что некогда избрали себе кыпчаки-переселенцы. Поэтому их потомки и стали первыми, с кем ногайцы столкнулись и с кем начали довольно интенсивно смешиваться. В результате этого процесса физический облик наследников кыпчаков-куман XIII в. сильно

изменился, приобретя выраженные монголоидные черты. Тем не менее они выжили, сохранив за собой избранные некогда места обитания, чего нельзя сказать об их соплеменниках, оставшихся за Перекопом.

Позднее великий степной хан Кончак (вторая половина XII в.), стремившийся к объединению всех кыпчаков, создал Кыпчакский союз. Однако этому политическому организму был суждён недолгий век. Потерпев сокрушительные поражения от превосходивших сил ордынских завоевателей уже в 1223 и 1228–1229 гг. и едва оправившись от них, он стал жертвой ряда походов Батыя (1237–1242 гг.). Теперь, несмотря на героическое сопротивление кыпчаков, возглавлявшихся ханом Бачманом, вся причерноморская степь оказалась во власти ордынцев. Кыпчаки были при этом частью уничтожены, частью проданы в рабство для пополнения египетской мамлюкской гвардии османского султана. Уцелели лишь две крупные группы кыпчаков. Это 40-тысячная орда хана Котяна, ушедшая на берега Дуная, а впоследствии принявшая подданство венгерского короля Белы IV, да значительное количество крымских кыпчаков, оставшихся на полуострове (*Тизенгаузен*, 1884. Т. II. С. 24, 35–36). Эти последние и явились одной из этнических основ будущей крымскотатарской нации.

4. Турки

Трудно сказать, когда в Крыму впервые появились те пришельцы из Малой Азии, для которых правомерен этноним «турки». Во всяком случае, это произошло задолго до образования Оттоманской империи, то есть когда эта оконечность огромного континента уже насчитывала несколько мелких государств (княжеств), во главе которых стояли представители так называемых сельджукских династий. История этих родовых образований чрезвычайно пестра, но в данном случае интересна не столько она сама, сколько такая её особенность, как происходивший по самым различным причинам выброс тюркского сельджукского (или турецкого) элемента в северном направлении, в том числе и в Крым.

Эта переселенческая эпопея, затянувшаяся на многие столетия, имела две основные формы: временные набеги и постоянная эмиграция. Первые предпринимались, естественно, по собственному почину сельджуков, вторая чаще была вынужденной, вызванной не столько экономическими, сколько военно-политическими кризисами на их малоазийской родине. Периодизация таких переселенческих волн крайне затруднена, особенно в отношении нижней их временной границы. Здесь наука, кажется, не продвинулась дальше выводов старых авторов, хронологически соотносивших турецкое проникновение в Крым с кыпчакским (*Смирнов*, 1889. С. 3).

Тот же автор отмечает, опираясь на некоторые источники, что ещё до возникновения Османской державы появились «сведения об эмиграции *крупной* (курсив мой. — *В.В.*) толпы сельджуков, которые после долгих скитаний окончательно осели на Крымском полуострове. Надо полагать, что именно эти малоазийские выходцы тюркского племени и оставили следы своего водворения в Крыму как части его населения, говорящего на турецком языке. Даже в XIX в. в случае неурожая

посылали гонцов на противоположный берег Чёрного моря за священной водой, бьющей из-под земли «в той местности, которая некогда была отечеством их предков», то есть в Малую Азию (указ. соч. С. 6–8).

Таким образом, мы едва ли ошибемся в предположении, что турки-сельджуки оседали на берегах полуострова в течение сравнительно долгого времени, прежде чем один из них оставил своё имя в истории Крыма. Им был султан Хусейн-эд-дин Чобан, совершивший в 1223 г. поход на Крым, который описан в нескольких вполне достоверных источниках. Этот султан вначале овладел большой частью северного анатолийского побережья (он дошёл до Скутари), а затем, собрав в Синопе эскадру, совершил набег на Судак, где и удерживался некоторое время, отправляя своих воинов в походы на обе стороны берега, южную и восточную.

Примерно через полвека в Крым прибыла очередная крупная группа турецких переселенцев. Это были иммигранты во главе с изгнанным из Конии султаном Из-эд-дином Кейкавусом (Кейкависом) II, которые после длительного пребывания в Византии получили от императора довольно значительную область в Добрудже (западный берег Чёрного моря) в обмен на обещание прикрывать империю от северных кочевников. Добруджинские поселенцы исправно исполняли пограничную службу; там постепенно скопилось довольно значительное число их единоплеменников, так что кроме селений деревенского, возможно, даже полукочевого типа (числом около тридцати-сорока), в округе Добруджи выросло три чисто мусульманских города. Но затем, когда возникли серьёзные трения с Константинополем, а в Византию к тому же вторгся золотоордынский хан Берке (1257–1280)[1], добруджинские турки попросили этого своего единоверца дать им более надёжное место для постоянного жительства. Хан Берке, заинтересованный в такой воинской силе (около 12 000 сабель), предоставил им в 1269 г. обширную территорию в Восточном Крыму, а их султану Из-эд-дину Кейкавусу II пожаловал в *иктаа* (удельное владение) Судак и Солхат (*Али-заде Л.* Хроника мусульманских государств (I–VII вв. Хиджры). М., 2004. С. 388). Это владение приобретало особую ценность тем, что подлежало наследованию потомками Кейкавуса, что впоследствии и имело место: как таковое оно было передано его сыну Гияс-ад-дину Масуду (*Вашари*, 2002. С. 196).

Судя по дальнейшим сведениям, крымские турки, хоть и претерпевали время от времени разорительные набеги степняков, на старую родину в массе своей так и не вернулись. Об этом говорят как антропологические измерения, проводимые среди прибрежного населения различными учёными (см. ниже), так и местный, восточнокрымский диалект, имеющий заметную турецкую окраску. Впрочем, что касается чисто этнической культуры, то часть крымских потомков сельджуков растворилась в преобладавшем именно здесь христианском (греческом) населении. Многие из них даже становились священниками, хотя и сохраняли при этом какое-то время свои тюркские имена, такие как Токтемир, Султан, Алачи и др. (подр. см.: Заметки, 1863. С. 595–627). Есть сведения

[1] Монгольский хан Берке был внуком Чингис-хана, сыном Джучи и братом Батыя. Одним из первых среди монгольских ханов принял ислам и добился независимости Золотой Орды от Монгольского государства.

Джума-Джами Карасубазара.
Фото начала XX в. из коллекции Одун-базар-капусы

о том, что они оказали значительное влияние на культуру Солхата-Крыма, мастера которого «...адаптировали художественную традицию сельджукидского Рума[1], откуда новый стиль распространился по всей исторической Таврике» (*Крамаровский*, 1998. С. 69).

В период между упомянутой, первой из исторически точно зафиксированных *крупных* турецких миграций в Крым и завоеванием ханства турками в середине XV в., связи между новыми турецкими селениями и старой родиной, естественно, не прерывались. Эта тема не входит в число рассматривающихся в книге исторических сюжетов, замечу лишь, что причина такого постоянства и, более того, непрерывного развития связей крымцев с турками вполне понятна. Контакты бывшего Крымского юрта Золотой Орды со своей метрополией, год от году слабевшей, постепенно утрачивались, а многоплановые связи с жным, тоже тюркским и единоверным государством, напротив, неуклонно крепнувшим и развивавшимся, были весьма перспективны.

Ну а в период после турецкого вторжения XV в. такие связи органично дополнились демографическим и культурным взаимообогащением двух стран. В ту пору на всей территории ханства осело не только значительное число турецких «крымцев» различных мирных профессий. Непременной и постоянной реалией крупнейших крымских городов стали османские гарнизоны. Понятно, что

[1] Рум — тюркское государство, существовавшее в Малой Азии после распада державы Великих Сельджукидов. В XIII в. оно, в свою очередь, распалось на несколько десятков тюркских (турецких) бейликов.

воины не были холостяками, их семьи также вливались в чисто крымский быт, приобщались к крымской культуре. Этот этнический элемент сохранялся век за веком, частично смешиваясь с единоверным и довольно близким по языку крымскотатарским населением — процесс известный и неизбежный для любых иммигрантов.

Кроме того, время от времени в Крым прибывали большие и малые группы переселенцев, которым была просто не по душе султанская деспотия. Самая крупная в Новое время компактная партия иммигрантов такого рода, очевидно, появилась здесь после подавления в Турции в 1598–1602 гг. волнений под руководством Кара Языджи. Сторонники этого мятежника после победы правительственных войск рассеялись вдоль всей Анатолии, грабя зажиточных беев и их более скромных сограждан. Не ожидая эффективной защиты от султана, тамошние богачи стали отказываться от турецкого подданства и эмигрировать в более спокойный и бесконфликтный Крым, уводя с собой не только прислугу, но и зависевших от них крестьян (*Inalcik*, 1994. P. 50).

Особенно много селилось таких «политэмигрантов» на побережье и почему-то в Карасубазаре. Уже во второй половине XVII в. знаменитый турецкий дипломат, историк и путешественник записал в своей *Саяхат-намэ* (Книга путешествий)[1]: «Этот город день ото дня застраивается и заселяется» (*Челеби*, 1999. С. 72). И объясняет это тем, что сюда хлынули турки, убежавшие от репрессий, которыми столь прославился Мехмед VI (1648–1687). Этот султан, как свидетельствуют историки той эпохи, требовал приносить в жертву не баранов, а своих подданных (*Dankoff*, 2006. P. 109–110). Поэтому османы из Токата, Сиваса, Амасьи и других турецких городов и сёл эмигрировали «в Крымскую страну, где встретили радушие и справедливость. Поэтому этот город (Карасубазар. — *В.В.*) строится и украшается» (*Челеби*, 1999. С. 72). Следует учесть, что столь уважительные по отношению к крымцам строки писал не крымскотатарский патриот, а всё же османский турок и слуга своего султана. Именно поэтому сомневаться в их объективности не приходится.

Перенесёмся ненадолго в будущее, которое ожидало крымских турок. Аннексия Крыма Россией мало что изменила в их положении. Да и в первые годы советской власти в южнобережных городах оставалось немало так называемых «турецких подданных», то есть турок-рыбаков и виноградарей, давно живших вместе с семьями в Крыму, но предпочитавших по понятным причинам сохранять своё изначальное подданство[2]. Те из них, кто не согласился принять новое, уже советское гражданство, были вынуждены в 1930-х гг. выехать на свою древнюю родину. Остальные, по большей части, разделили судьбу братского крымскотатарского народа.

---

[1] Поскольку основной труд Эвлии Челеби в дальнейшем будет неоднократно упоминаться и цитироваться, имеет смысл ознакомиться с его подробной характеристикой в: *Григорьев*, 1974.

[2] Это были, по большей части, простые труженики земли и моря. Никто из них не играл какой-то заметной роли в общественной, культурной или политической жизни полуострова, и оттого не вошёл в историю Крыма или России. Если, конечно, не считать некоего Ибрагима Бендер-бея, турецкого подданного и отца Остапа, блестящего героя двух романов И. Ильфа и Е. Петрова.

5. Русские

а) «Корсуньский крестник»

О том, что представители восточнославянских племён издавна проникали в Крым, есть немало свидетельств самых разных авторов. Однако это были именно отдельные, редкие случаи более или менее кратковременных поездок с торговыми целями. Но вот о *русских* (проторусских)[1] селениях, больших или малых, в Крыму ни до знаменательного X в., ни позже, до века XVIII, не говорит решительно ни один источник крымского или любого иного происхождения.

Причём дело здесь не в возможной утрате материальных или документальных источников, которые бы подтверждали такой факт. Уж насколько мало было в Крыму начала I в. евреев, а всё же в обоих местах их обитания (в Кафе и близ Альмы) надгробия сохранились (*Лейбин*, 1997. С. 90). Поэтому, *если бы* жили тут русские — ну никак нельзя было бы стереть их следы с восприимчивой крымской земли!

Сколько было этих поездок русских купцов в Крым на протяжении первого тысячелетия нашей эры — сказать пока невозможно. Да и о точном ассортименте их товаров можно судить весьма приблизительно, по археологическим и другим, ещё более косвенным (по сравнению с коммерческой документацией) источникам. Достоверные сведения на этот счёт относятся лишь к периоду после 1477 г., наступившему уже после установления дипломатических отношений Крымского ханства с Московией (*Проливы*, 1999. С. 28). Но эта серия источников позволяет сделать вывод не в пользу московской торговли в Северном Причерноморье: «По-видимому, торговлю вели в основном крымские купцы в Москве. Дипломатические источники второй половины XVII в. не сообщают о русских купцах, присоединившихся к посольствам», отправлявшимся в ханство (указ. соч. С. 41).

Другое дело русские люди не с купеческим безменом, а с мечом в руке. Тут письменные и иные источники весьма многочисленны и представительны. К тому же они и точны — кровавые столкновения прочнее держатся в человеческой памяти, чем неяркие события мирной жизни. У этих представителей восточных славян цели были иные, чем у купцов, хоть и не менее стабильные. Во всяком случае, они определили новые отношения двух этносов *на много столетий* вперёд: русские стремились к захвату и удержанию за собой отдельных частей полуострова, к уничтожению чуждого им автохтонного населения завоеванных территорий.

---

[1] Этноним *русские* в применении к населению Киевской Руси, Новгорода и пр. обычно вызывает немалое раздражение у серьёзных историков, доказывающих, что сам этот термин (как и *украинцы* или *белорусы*) допустимо использовать лишь в применении к эпохам, наступившим после разделения этих «братских народов». При этом, как правило, предлагается научно обоснованная замена: *восточные славяне*. Но восточными славянами на рубеже первого и второго тысячелетий являлись и моравы, и болгары, и русины и т. д. Непонятным остаётся, как это многоликое имя может обозначить население городов и сёл, где говорили *по-русски*? Естественно, это был не современный, а средневековый, древнерусский язык, — но и французы, и датчане X в. говорили на средневековых языках, что не лишало их права на «собственный» этноним! Именно этой, этнонимически условной терминологии придерживались классики русской историографии (о *русских* X в. см., например: *Ключевский*, 1993. Т. I. С. 135 и мн. др.). Мне остаётся лишь скромно следовать их примеру.

Понятно, что письменные источники, вообще человеческая память, сохранили сведения далеко не обо всех нападениях такого рода, но лишь о самых кровопролитных, длительных или отличавшихся особо крупными размерами добычи пришлых грабителей.

Первое русское вторжение относится ещё к VIII в. О нём истории мало известно; очевидно, оно было для агрессоров неудачным, то есть не приведшим к большим потерям среди жертв нападения (ДТ. С. 93). Вторично русские появляются здесь уже после того, как в IX в. в Среднем Поднепровье образовалось славянское, так называемое Русское государство под началом русов-норманнов. В 860 г. северные пришельцы под началом Аскольда и Дира спустились по рекам на множестве мелких судов в море и, подойдя к полуострову, разграбили его города. Судя по источникам, жертвой набега стали наиболее доступные, то есть береговые крымские селенья (*Иванов,* 1912. С. 111).

В том же столетии Крым подвергся нападению новгородцев. Их князь Бравлин, ворвавшись на полуостров, успел разграбить города и деревни от Херсонеса до Пантикапея. Затем он взял Сурож и обчистил там собор Святой Софии, мародёрски ободрав гробницу местного святого (*Иванов*, 1912. С. 92–93). Единственное, что как-то может «оправдать» Бравлина, так это его нехристианский (языческий), а оттого и невысокий, конечно же, моральный уровень. То же самое можно сказать о ещё одном набеге русских язычников, в 913–914 гг., на селения у г. Самкерца, стоявшего на месте нынешней Тамани.

Но вот, наконец, настали новые, христианские времена. В 988 г. князь Владимир (пока, в язычестве, Василий) Святославич захватил Херсонес, Тмуторокань и Феодосию. При этом он крестился и херсонском соборе Св. Василия (возможно, это был иной херсонский храм — см. *Курьянов*, 2001. Т. I. С. 160). Там же, чуть погодя, над обращённым в правую веру князем было свершено ещё одно таинство, а именно — христианского брака с греческой принцессой Анной[1]. Оба эти события были, бесспорно, великой честью для провинциального Херсона, давно не видавшего таких торжеств, но никто тогда не мог предполагать, что отсюда, из скромных, ветхих его храмов свет христианства просияет для всей Руси, а потом и вовсе зальёт одну шестую часть света...

Однако, по Библии, «вера без дел мертва есть» — и новокрещёный христианин начал свою миссионерскую деятельность с того, что опустошил Херсонес, умертвив часть его жителей, то есть теперь уже своих *единоверцев*. И до сих пор археологи в своих исчислениях древности того или иного слоя в раскопках этого города учитывают слой пепла и обломков от разрушенных строений, который остался свидетельством краткого пребывания Владимира Святославича на юге Крыма (*Петрухин,* 2004. С. 33–34). Потом князь *ограбил* херсонские церкви. Не исключено, что и собор Св. Василия, где на его многодумную голову совсем недавно излили священное миро. А затем на землю русскую потянулись обозы с трофеями.

Христианский князь вывез в Киев иконы, церковные сосуды, большие и малые распятия, мощи святых Климента и Фива (наиболее почитаемых херсонских

[1] Брак был заключён под угрозой разрушить Константинополь, выдвинутой Владимиром братьям Анны, императорам Василию II и Константину VIII (*Петрухин*, 2004. С. 30).

святых). Не пренебрёг будущий «святой, равноапостольный»[1] князь Владимир и вполне мирским, даже языческим добром, прихватив с собой греческой работы бронзовые статуи, например, скульптурное изображение четвёрки лошадей, запряжённых в колесницу и пр. (*Гадло*, 1996. С. 198). Все эти и иные сокровища, награбленные «святым» в Крыму, весьма пригодились ему через пару лет, когда в Киеве был возведён первый собор, церковь Св. Богородицы (Десятинная церковь), — именно ими и уснастили этот христианский храм. Ну, а «4 кони медяны» украсили площадь у той же Десятинной церкви (*Раппопорт*, 1986. С. 20).

Впрочем, две древние крымские иконы потом отправились в новую столицу русских, в Москву, где эти бесценные реликвии многие века вполне обоснованно именовались *Корсунскими* (*Ливанов*, 1875. С. 59). Таким образом, цепь упомянутых событий получила вдвойне символическое значение. Во-первых, *именно так*, а не иначе, Русь начала (а Россия продолжила) своё приобщение к древней крымской культуре. Во-вторых, первый православный храм Руси был обустроен вывезенной из Крыма церковной утварью и мощами святых, доставшихся «матери городов русских» (а потом и московскому «Третьему Риму») благодаря мародёрской акции её посланцев. Вот так, говоря устами старого русского статистика и учёного К. Ханацкого, в Крыму и свершилось «великое событие для России, ея духовное рождение и просвещение» (*Ханацкий,* 1867).

Но коснёмся более поздних времён. Это необходимо, чтобы разобраться с ещё одной историографической проблемой. Речь пойдёт о русских людях, якобы оседавших в Крыму до образования ханства, что издавна подавалось как аргумент в пользу „прав" России на обладание полуостровом.

Конечно, в средневековом Крыму постоянно находились какие-то иностранцы, в том числе и русские. Не исключено также, что русские купцы, привозившие товар, жили здесь какое-то время наряду с другими иноземцами, что вообще характерно для больших торговых или портовых центров. Однако не подтвержденная никакими источниками гипотеза о том, что, например, в Суроже «всегда было очень (!) много русских» (*Надинский*, 1952. Ч. I. С. 57), — явная натяжка, если только не относить к упомянутым «русским» привозимых из глубины Руси рабов. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о роли славян вообще в доханский период истории Крыма. Ведь некоторые авторы утверждают, что роль эта была чрезвычайно велика, более того, они относят славян к «местному, коренному населению», утверждая, что, в отличие от остальных народов, «только русские имели неоспоримые исторические права на Крым как на свою, древнерусскую территорию» (указ. соч. С. 57).

Это положение ничем не обосновано, но корни его найти несложно в других местах цитируемой книги и в иных работах П. Надинского. Так, рассматривая историю похода Бравлина на Сурож, автор считает, что князь, «естественно, опирался на местное, проживавшее здесь славянское население». И доказывает

[1] Этот церковный термин означает, что князь был в своё время приравнен к 12 великим апостолам евангелического предания. Трудно поверить, но и поныне это — официально-православный статус князя. Естественно, в России, а не во всеобщем христианском мире (где среди, скажем, католических святых грабителей просто нет). Его канонизация могла свершиться лишь в лоне совершенно уникальной Российской православной церкви.

обитание в столь раннюю пору славянских племен в Крыму очень просто: «Иначе успех такого похода маловероятен... Без поддержки местного населения он был бы невозможен» (указ. соч. С. 50). Ученого не смущает тот факт, что ни один автор — будь то русский летописец, византийский мемуарист или готский топарх — ни словом не упоминает о какой-то славянской «пятой колонне» в Крыму.

Наконец, давно замечен и такой интересный факт: название Солхата, одного из крупнейших крымских городов, торгового и политического центра, «в памятниках русской письменности не встречается... ни в правильной, ни в искажённой форме»; мужду тем это имя «было известно всем другим народам — византийцам, генуэзцам, арабам, касавшимся географии Крымского полуострова... по делам практической необходимости или только из простого учёного любопытства» (*Смирнов*, 1889. С. 73). Это примерно то же самое, как если бы ганзейцы, ведя обширные торги с Русью, устраивая в ней торговые дворы и слободы, ни в одном из письменных памятников *ни разу* не упомянули бы о Новгороде Великом. Такого просто не могло быть, и уже поэтому в отношении «крымских русских» той поры, право, есть над чем задуматься.

Впрочем, возможно, сторонники гипотезы «коренного славянства в Крыму» имеют в виду не славян, пришедших с севера, но местное население, постепенно «превращавшееся в русских». При всей фантастичности этой гипотезы она имеет известную литературу. Так, указывают, что некие (не обозначенные точно) археологические раскопки «древнейших славянских поселений (в Крыму? — *В.В.*) неопровержимо утверждают, что славяне являлись коренными жителями этих мест» (*Надинский*, 1946. С. 64). При этом Неаполь Скифский переводится, естественно, как Новгород, а известные события второй половины XVIII в. именуются не захватом чужой земли, а «возвращением» «исконных» территорий, «которые в течение многих сотен лет были населены предками русских» (указ. соч. С. 69, 73). Эти и иные положения, оправдывавшие экспансионистскую политику царей, основываются (если не считать глухих упоминаний о каких-то экспедициях) на аксиоме, что «скифы — это предки славян» (указ. соч. С. 64; см. также: *Шульц*, 1957. С. 101).

Теория автохтонного стадиального «развития» славян в Крыму на скифо-сарматской этнической основе, восходящая к Н.Е. Марру, критики, как говорится, не выдерживает. Но я вынужден вновь обратиться к ней, так как апологеты её сохраняют за собой «последнее слово», пока не появится, наконец, исследование о том, кто из современных народов может с наибольшим правом называться наследником автохтонов (изначальных, коренных насельников) Крыма, аборигенов полуострова.

Вкратце дело обстоит так. Ещё в эпохи неолита и энеолита предки славян расселялись «севернее европейского горного барьера (Рудные горы, Судеты, Татры, Бескиды, Карпаты), вступая в соприкосновение с местными охотничьими племенами» (*Рыбаков*, 1978. С. 182). В эпоху раннего железа славяне занимали столь же далекую от Крыма территорию, на которой ныне располагаются частично Польша, Германия, Чехия, Словакия, Венгрия *(Алексеева, Алексеев,* 1973. С. 221–222).

Далее, как показывают краниологические и антропологические исследования, славяне и скифо-сарматское население образовали два глубоко различных этнических конгломерата, не имевшие ничего общего ни в культуре, ни в языке.

И если даже обнаруживаются позже некоторые схожие черты их духовного мира, то это только по причине скифо-сарматского влияния на локальную группу восточных славян (*Седов*, 1979. С. 24, 89, 98–99 и др.). Жившие ранее «где-то в стороне от скифского населения» славяне начали свое передвижение на юго-восток «уже после падения скифского царства», значит, с IV в. н. э. (указ. соч. С. 25).

Это — общая картина; что же касается Крыма, то именно на полуострове, да ещё разве что на Нижнем Донце контакт славян со скифами и сарматами был почему-то минимальным (если вообще имел место!). Лишь тут, в отличие от степной зоны, сохранилась чистая, «особая скифская культура» (указ. соч. С. 85), т. е. культура без какого-то славянского влияния. Это подтверждается и археологией: ни один исследователь, анализировавший богатейший крымский материал, ни одним словом не упоминает о возможности автохтонного крымского происхождения ни скифов, ни славян.

Теория «крымских славян» была заслуженно раскритикована (*Веймарн, Стржелецкий*, 1952. С. 94–95). Но те же критики предложили не менее зыбкую гипотезу о заселении славянами Крыма во II в. до н. э. — II в. н. э., одновременно с сарматами. Эта гипотеза основана на единичных находках, «поразительно близких культуре Среднего Поднепровья», да на обычае трупосожжения с захоронениями праха в урнах по обряду, который, «очевидно, нужно признать» славянским (указ. соч. С. 97). Но бесспорно славянские предметы (ювелирные) обнаруживаются лишь в могильниках VI–VII вв. Очевидно, именно они дают авторам возможность сделать вывод о том, что славяне появились в Крыму где-то в III в. н. э. (указ. соч. С. 98).

Кстати, трупосожжения известны не только предкам славян, но и весьма широкому кругу народов, в том числе и древним тюркам, и римлянам — этносу, появившемуся в Крыму в I в. н. э., что в отличие от «славянского заселения» безусловно подтверждено серийными источниками. Что же касается ювелирных находок, то вряд ли можно назвать иной, более мобильный предмет торговли и мены — разве что монеты. Так, например, широко известны клады арабских монет и украшений в Северной Руси, но из этого никто не делает выводов, столь далеко идущих. Как, например, вывод о том, что «процессу... объединения» гипотетических крымских славян с кровно-родственным «древнерусским государством» мешали всего лишь некие «заселившие степи Причерноморья и Крыма» кочевые народы (указ. соч. С. 99). Аборигенное крымское население при этом (как и ранее, в годы распространения теорий Марра) в расчет не принимается. Впрочем, может быть, это они и выступают под именем кочевников, в роли клина, вбитого между Русским государством и «славянским Крымом»?

Остаются ещё русские купцы более позднего периода, XIII–XV вв., неоднократно упоминавшиеся в русских летописях «гости-сурожане». Приходится признать, что советские историки использовали эти упоминания, всячески раздувая роль русской торговли в экономике Крыма. Доходит до того, что не коренным крымцам, и не итальянским колонистам, а «гостям-сурожанам» присваивается ведущая в этом смысле позиция. Между тем в источниках нет *ни одного* сколько-нибудь основательного и конкретного указания ни на направленность торговой деятельности этих таинственных русских, ни на объём их купеческих операций. Серьёзные исследователи вообще отрицают факт интенсивной русской торговли

с Крымом в эти века (*Andrevs*, 1979. P. 275–281). Поэтому скорее всего, здесь мы имеем дело с обычным преувеличением событий прошлого, имеющим вполне современные цели.

В ханский период немало пленников оставалось в Крыму — этого никто не отрицает. Но они, даже приняв ислам, принадлежали к обособленным группам *(чора),* внутри которых и заключались браки, что веками сохраняло физические отличия членов таких субэтнических анклавов. «Сохранение типа объясняется тем, что они — парии, в браки с татарским населением не вступают» (*Самойлович*, 1917. С. 131). Другими словами, они могли влиться в коренное население только ценой *полного* отказа от славянской культуры. Так что об их влиянии на коренное население говорить бессмысленно.

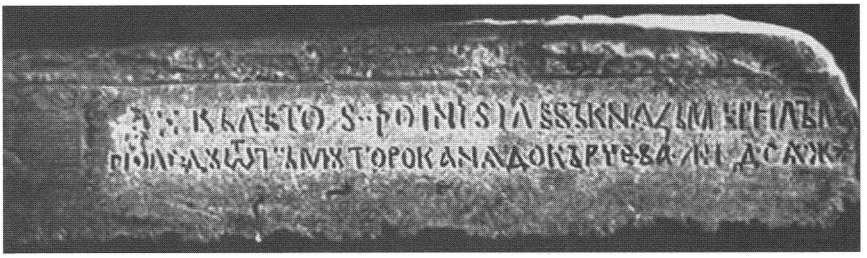
Никаких иных вопросов, кроме изложенных, славянская проблема в Крыму не вызывает. Первое действительно массовое переселение русских на залитый крымскотатарской кровью полуостров началось в XVIII в. и более не прекращалось. Вот здесь «следов» и много, и бесспорны они до очевидности, так что ни выискивать, ни доказывать их истинность не требуется.

Тут, скорее, обратная ситуация. Как говорится, лучше бы этих самых следов было поменьше, особенно в послевоенное время...

б) Тмутороканский камень

В 1980-х гг. в одном из залов симферопольского Краеведческого музея был выставлен продолговатый светло-серый каменный брус с высеченными на нём древнерусскими письменами. Они складывались в текст: «В лето 6576 (1068 г. по новому стилю. — *В.В.*) индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева (Керчи. — *В.В.*) 14 000 сажен». Женщина-экскурсовод доходчиво объясняла, что это — копия исторического памятника, обнаруженного донскими казаками на Таманском полуострове в конце XVIII в. На одной из граней камня были записаны результаты замера расстояния между берегами Керченского пролива, и что мерил его тамошний русский князь Глеб Святославич. Поэтому, продолжала она, само существование этого камня является лучшим, бесспорным доказательством важного факта: русские осели на Тамани и крымском побережье (значит, на территории будущего Крымского ханства) куда раньше «пришлых» крымских татар.

Так звучала (и доныне звучит) несколько упрощённая теория российского академика Б.А. Рыбакова о том, что «образование русского княжества на территории Крыма (Тмутараканское княжество)» имело отнюдь не местное значение, но выступило в качестве «глубокого внешнеисторического фактора» для всего Северного Причерноморья. Согласно Рыбакову, это княжество, естественно, оставило неизгладимый след в культуре и духовном мире населения всего региона, и прежде всего Крымского полуострова (*Рыбаков Б.А.* Об ошибках в изучении истории Крыма и о задачах дальнейших исследований. Симферополь, 1952. С. 13). Попытаемся всё же взглянуть на эту проблему не с точки зрения советской науки эпохи позднего сталинизма, а опираясь на куда более новые и объективные исследования и опубликованные источники.



Тмутороканский камень.
Эрмитаж

Собственно, ничего нового в гипотезе Б.А. Рыбакова не было. Она сложилась задолго до рождения академика, в эпоху, когда Екатерине II как воздух было необходимо оправдать перед Европой свою экспансию в южном направлении, и упомянутый камень с надписью пришёлся как нельзя кстати. Памятник был обнаружен в 1793 г. донскими казаками, затем передан в руки любителей старины, оперативно исследован, истолкован и активно использован в печати и общественном мнении именно в том смысле, который звучит в высказывании Б.А. Рыбакова[1].

Но уже в те годы как в Европе, так и России возникло устойчивое подозрение, — прежде всего, среди интересовавшихся историей людей — что с помощью этого камня Россия хочет доказать справедливость своих притязаний на эту территорию. Вот почему вопрос о подлинности Тмутороканского камня носил острый политический характер» (*Захаров В.А.* Заметки о Тмутороканском камне // СРИО, №4 (152). 2002. С. 155–156). Тогда же прозвучало сомнение в том, что первый публикатор сенсационной находки, обер-прокурор Св. Синода, литератор и историк граф А.И. Мусин-Пушкин, лично приложил руку и к созданию камня (т. е. к археологической фальсификации). Между прочим, шлейф этого сомнения тянется за именем графа до Новейшего времени (подр. см.: *Монгайт*, 1969. С. 23).

О стремлении людей, так или иначе связанных с историей находки, придать ей как можно больший политический вес имелось и прямое свидетельство. Тогда же академиком Н.А. Львовым-Никольским был создан проект величественного мемориала в виде стелы с колоннами, в центр плоскости которой и должен быть помещен Тмутороканский камень. Саму стелу предполагалось сделать из старых, чуть ли не античных мраморов, в ту пору в изобилии валявшихся не только на Таманском полуострове, но и в Крыму.

Был ли проект академика осуществлён, толком неизвестно. Но один каменный фрагмент мемориала сохранился, — видимо, из-за высеченной на нём надписи, доходчиво объяснявшей смысл сенсационной находки. Надпись гласила: «Свидетель веков прошедших послужил Великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве Тмутараканском. Найден в 1793 г. атаманом Головатым свидетельство его свету сообщил граф [А.И. Мусин] Пушкин из былия извёл

[1] Впоследствии оригинал памятника был доставлен в Императорский Эрмитаж (1851), где и хранится до сих пор.

Львов-Никольский 1803 IV 17 при начальстве маиора Васюренцова, при пастырстве протоиерея Павла Демашко» (цит. по: *Монгайт*, 1969. С. 24). Таким образом, «историческая истина» должна была представить захват Тамани и обширных прилегающих территорий как стопроцентно законное возвращение русских на Тамань.

Но официальному Петербургу, и без того знавшему, что делать с камнем, такие объяснения показались излишними. Отчего упомянутый фрагмент стелы и остался на юге, где впоследствии, кажется, сгинул. А сам камень (кстати, весивший немало — 54 пуда или 864 кг) на специальном транспорте отправился в столицу империи в «чистом виде», то есть без нового декоративного обрамления.

Очевидно, приведённое выше мнение симферопольской работницы музея основано на выводах некоторых историков, занимавшихся этим вопросом. Они считают, что уже к тому времени в Восточном Крыму или на Таманском полуострове образовалось особое русское княжество (*Артамонов*, 1962. С. 378; *Якобсон*, 1964. С. 56, и многие другие)[1]. При этом чуть ли не единственным доказательством этого немаловажного заключения выступает договор, заключенный князем Игорем с Византией в 945 г. — точнее, приводившиеся уже его строки: «В Корсунстей стране, елико же есть град на той части, да не имать волости князь Русьскъй», а также обязательство Игоря защищать Корсунь от черных болгар (ПСРЛ. Т. I. 1926. Стлб. 51). А это, как полагают, «возможно было лишь при владении определенной территорией в восточной части Таврики или на Таманском полуострове, где, по-видимому... в начале или в середине X в. складывалось будущее Тмутараканское княжество» (*Якобсон*, 1964. С. 57).

Однако, как легко можно заметить, в договоре сказано лишь то, что сказано. А именно: что русский (а на самом деле ещё варяжский) князь *Ингвар* не должен был присваивать себе власть в Херсонесе. Обязательство же защищать херсонцев от болгар говорит о вынужденности, невыгодности договора для восточных славян, о слабости их позиций на переговорах и не более. Те же условия (ненападения их на Херсон и обязательной помощи Византии в ее войнах) содержит киевско-византийский договор 972 г. (ПСРЛ. Т. I. 1926. Стлб. 72–73), заключенный императором с побеждённым им Святославом. Из чего, среди прочего, явствует, что влияние киевских князей в Причерноморье так и не установилось.

Но князь Владимир Святославич вновь напал на Херсонес в 989 г. и взял город (указ. соч. Стлб. 109), чем восстановил доминирующую роль Киева. Это означало и падение влияния Византии, и рост могущества Тмутороканского княжества, в которое вскоре вошел и Боспор. Многолетняя борьба Руси с Византией прекратилась, но начались почти постоянные столкновения славян с печенегами, особенно в конце X — начале XI вв. Эти конфликты перекрыли товаропоток из северных степей в крымские города. Некоторые из них, ранее богатевшие от транзита, приходят от этого в запустение. Так, например, Херсон

[1] Утверждается даже, что исстари это был некий «святой угол Руси», своего рода «духовная столица» восточных славян, предков великороссов (*Ткаченко П.В.* В поисках града Тмутаракани. М., 2000. С. 40, 125). И лишь позднее, когда Тмуторокань попала под власть Хазарского каганата, она превратилась в место пребывания «нечистой силы» и стала «страной неживого бога» (указ. соч. С. 60, 110). О *полном* отсутствии следов восточнославянских поселений на Тамани (вообще-то необычно богатой археологическим материалом) как в дохазарский, так и в более поздние периоды Средневековья, см. ниже.

больше не смог подняться, после того как «разорен бысть от Руси» (ПСРЛ. Т. XV. 1863. Стлб. 108), хотя в 1016 г., уже после смерти Владимира, Русь снова помогла византийцам овладеть прибрежной полосой полуострова.

Приводилось и ещё одно доказательство русского владычества в Тмуторокани. Академик Б.А. Рыбаков в статье «Русские земли по карте Идриси 1154 г.» опирался на рассказ арабского географа ал-Идриси о владыках Тмуторокани из рода Олуабас, что ему дало повод обозначить эту династию как русских Ольговичей, наследниках Олега (который, кстати, тоже был не русским, а варягом). К сожалению, Б.А. Рыбаков впал в ошибку, используя неточный французский перевод ориенталиста П.А. Жобера. В оригинальном же, то есть арабском тексте сочинения ал-Идриси, выражение *ула бас шадид* — не более чем сказуемое к подлежащему *мулук* (владыка) этого города (*Коновалова*, 1995. С. 65). Тем не менее непроверенная версия Б.А. Рыбакова получила широкое хождение, причём на неё опирались и довольно известные учёные (см., например: *Янин В.Л.* Печати Феофано Музалон // Нумизматика и сфрагистика. Киев, 1965. Вып. 2. С. 88).

Итак, ошибка была выявлена и публично продемонстрирована. Тем не менее упомянутую гипотезу, доныне, по сути, никем не доказанную (но подтверждённую авторитетом В.Л. Янина и других), поддержало одно из самых авторитетных и фундаментальных энциклопедических изданий. В нём указывается: «Тмутараканское княжество — древнерусское княжество... Появление на Таманском полуострове восточно-славянского населения связано с походом Игоря (944) на Византию, а Святослава (965) на ясов (аланов) и касогов (адыгов)...» Далее говорится, что в связи с усилением половцев в XII в. оно якобы «потеряло связи с русскими землями и утратило самостоятельность» (СИЭ. Т. XVI. С. 16). Гипотезу о Тмуторокани как отдельном «древнерусском княжестве X–XI вв.» поддерживают и более современные авторы (*Когонашвили,* 1995. С. 280).

Но, как справедливо указывал тот же М.И. Артамонов, эти «русские», активизировавшиеся в Северном Причерноморье в X в. и отмеченные в источнике, вряд ли были русскими или вообще славянами. Эта военная сила, называвшаяся *русью*, состояла из норманнов. Другое дело, что они принимали в свои отряды всех желающих, среди которых, кажется, более всего насчитывалось тмутороканских хазар (*Артамонов*, 1962. С. 383). Их было настолько много, что они, не прибегая к посторонней помощи, смогли пленить могучего Олега, — об этом, среди прочего, говорится и в Лаврентьевской летописи (ПСРЛ. Т. I. 1848).

Однако основную часть тмутороканцев составляли касоги (адыги) и ясы (подробнее см.: ДТ, 1966. С. 143). Были там и аланы, и, опять же, некие «русы». Славянские имена князей (например, Мстислав) ничего не значат, так как основной опорой этих владык были отнюдь не славяне, но те же хазары (*Гумилёв*, 1966. С. 174). Кроме того, арабы в IX–X вв. чётко разделяли понятия «русы» и «славяне». Так, ал-Масуди писал о Тмуторокани: «что касается язычников, находившихся в стране хазар, то некоторые племена их суть славяне и русы» (цит. по: *Арцыбашева Т.Н.* Славяне — русы — варяги — кто они? // ВИ, 2004. №1. С.119). При этом славяне появляются в том краю довольно поздно. Последние изыскания показывают, что «...существование определённой группы этноса Русь в Северном Причерноморье в IX–XII вв.

было реальностью, причём до середины X в. эта Русь не была Русью славянской» (*Радомский Я.Л.* Причерноморские русы как военные противники глазами византийских и арабских историков (ВИА, 2005. С. 230).

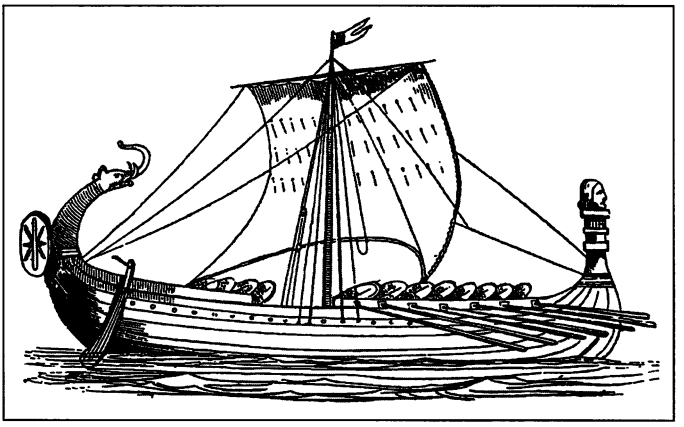
О том же говорят историки православной церкви. Они пришли к выводу, что по конфессиональному признаку тмутороканское население делилось на три общины. Одна из них звалась в источниках «козарской» и состояла из потомков хазаро-болгарских родов, связанных с иудейскими корпорациями. Второй была греческая, то есть византийская. Третья же была «...русской, представлявшей наименее значительный и социально замкнутый анклав» (*Кабанец*, 2005. С. 114). Эти может быть, русы (норманны),что доказывалось выше, имели в городе собственную церковь, но «...трудно предположить, что в руках русского клира находились ключевые позиции духовной жизни края» (там же). Да и в целом двойной статус Тмуторокани тяготеет скорее к Византии, чем к Руси, и современное определение её как «буферного государства» (*Степаненко*, 1993. С. 257) ничего в этом положении не меняет.

Что же касается христианского верховного духовного управления края, то и оно не принадлежало Киеву. Это была Тмутороканская епархия Византийской церкви, которая номинально была учреждена ещё в первой трети IX в., а в последней трети X в. получила статус автокефальной архиепископии, также не имевшей к Киеву никакого отношения, поскольку входила в состав византийской Зихской епархии. «При этом ей отводилась роль оплота византийского влияния в черноморско-кавказском регионе, а на саму кафедру назначался греческий ставленник» (*Кабанец*, 2005. С. 105–106).

Позже, в 1230-х гг., судя по записи доминиканского монаха-путешественника Юлиана, как правитель Тмуторокани, так и жители города писали по-гречески, причём церковные обряды также отправляли священники-греки (*Коновалова*, 1995. С. 67). Да и в дальнейшем, вплоть до XIV в. город и подвластная ему область во всех религиозных (и не только) делах оставались в непосредственном подчинении константинопольскому патриарху (*Кабанец*, 2005. С. 114).

Но вернёмся к термину «русь», по-прежнему играющему непомерно большую роль в тмутороканской проблематике. Арабские путешественники и учёные, современники расцвета Тмуторокани, (напр., ал-Джайхани) проводили между «руссами» и славянами резкую разграничительную линию, да и этнографические описания этих двух народов или племенных объединений свидетельствуют об их явном этническом несходстве. О том же говорит важнейшая для культуры той эпохи традиция захоронений: славяне сжигали своих покойников, а русы хоронили их по обряду трупоположения. Наконец, славяне были земледельцами, а у русов не было «ни имений, ни деревень, ни пашен» (*Галкина*, 2007. С. 19).

Согласно выводам ряда исследователей, сам этноним *рус* — чисто скандинавский, притом связанный с целой областью в Швеции, а именно Руотси (см.: *Брим*, 1923. С. 9; Очерки истории СССР. С. 739–878). Собственно, сейчас не существует двух мнений об этническом составе народа *Rhos* или, по греческим источникам, *Рос*. В полном соответствии с древнерусскими памятниками (Начальный свод, Повесть временных лет) западные источники утверждают, что этот народ или племя были скандинавского происхождения. Так, Пруденций, предположительно автор знаменитых Бертинских анналов, говорит, что послы-росы



Норманнское судно X в.

(Rhos) прибыли «от народа свеев», предков современных шведов (*Назаренко А.* Две Руси IX века // Родина, 2002. №11–12. С. 17). Этой же точки зрения придерживались авторитетные российские историки А.А. Куник, А.С. Будилович и академик С.Ф. Платонов (см. также: *Брим*, 1923. С. 5, 7).

Известный московский скандинавист Е.А. Мельникова полагает, что этот этноним — самоназвание скандинавских пришельцев (ros), которое позже было заимствовано финскими племенами в форме «ruotsi» («шведы»), а восточнославянскими в виде «русь». Она же приводит византийские и западноевропейские источники, которые указывают на появление скандинавов в черноморском регионе, по крайней мере, с начала IX в. (*Мельникова Е.А.* Варяжская доля. Скандинавы в Восточной Европе: хронологические и региональные особенности // Родина. 2002. № 11–12. С. 31).

Впрочем, авторитетные лингвисты, такие как М. Фасмер и О.Н. Трубачев, а также археолог В.В. Седов, считают, что этноним «русь» вообще иранского происхождения (*Седов,* 1979. С. 99. Примеч. 92). Как бы то ни было, имя «русь» не относится ни к киевским, ни к каким иным славянам, которые и *русскими*-то называть себя стали никак не ранее середины XV в., лишь накануне образования действительно русского централизованного государства (оно сложилось в конце XV — начале XVI в., да и то под именем *Московского*)[1]. А причерноморская «русь», то есть викинги, действовали вообще независимо от киевских князей и даже вопреки Киеву (*Артамонов*, 1962. С. 383).

Остаётся сказать, что известность, которую норманны-росы приобрели своими походами и, что важнее, торговыми связями, была такой, что и арабы

[1] Этот факт настолько общеизвестен, что его приводят, причём без особых доказательств, стандартные справочные издания: «После распада Древнерусского государства (нач. XII в.) на основе древнерусской народности начали формироваться три родственные восточно-славянские народности — русская, украинская и белорусская. Русская народность складывалась в XIV–XV вв. на территории, прилегающей к Великому Новгороду, Москве и в Волго-Окском междуречье» (Демографический словарь, 1985. С. 377). Значит, в лучшем случае, формирование великорусской народности состоялось в XV в., а *народа* — ещё позднее.

называли Чёрное море «Бахр ал-Рус». То есть, иными словами, «Норманнским морем», хотя право на такой почёт заслужила скорее Византия, действительно доминировавшая в этот период на море. Это арабское наименование Черного моря, широко распространенное в нашй части мира, позднее послужило причиной известного парадокса: появился термин «Русское море», на основании которого историки дореволюционного и советского периодов доказывали «исконность» пребывания великороссов в Северном Причерноморье.

Отсутствие восточных славян на полуострове Тамань, где некогда был центр Тмуторокани, лучше всего доказывается данными раскопок, которые ведутся там не первое столетие. Их общий результат отражён в выводах российского историка, основанных на данных отечественной археологии, «...до конца X века не знающей никаких следов славяно-русской (тем более нормано-русской) культуры на территории Северного Кавказа». Таким образом, Тмуторокань того времени — это не некое созданное русскими княжество, но полиэтничный город-порт и «неразрывно связанная с ним территория, единый хозяйственный и социально-политический организм» (*Гадло*, 1990. Вып. I. С. 24). Остаётся выяснить, кем она в действительности управлялась, поскольку в этом вопросе тоже существует немалая путаница.

Общеизвестно, что город возник на месте античной Гермонассы, а после завоевания тюрками (хазарами) дельты Кубани стал называться Тумен-тархан (букв. «местопребывание военачальника-десятитысячника»). Греки стали называть её Таматарха (от *греч.* «тагматарх» — византийский титул пограничного удельного правителя в дотурецкий период), а авторы древнерусских летописей — Тмутороканью. Известно также, что уже в византийский период эта область «сплошь до самого пролива была покрыта пришельцами турецкого (то есть тюркского. — *В.В.*) племенного происхождения» (*Смирнов*, 1923. С. 30–31). На рубеже IX–X вв. хазары превратили Таматарху в мощную крепость, которая была в состоянии контролировать пролив, отделяющий Восточный Крым от материка. Вначале это был важный торговый порт в самом начале Хазарского пути (Азовское море–Дон–Волго-Донской волок–Каспий–Средняя Азия). Затем в городе развилось ремесло — кстати, гораздо более совершенное и разнообразное, чем в Киевской Руси. Ещё позднее Тмутороканью были установлены связи с Трапезундом и Крымом. Так всё более богатевший город стал одним из важных промежуточных пунктов ещё и Великого шёлкового пути.

Современники утверждали, что в течение первых десятков лет своего существования Тмуторокань была независима от других государств. Это подчёркивали, в частности, византийцы, писавшие в X в., что «Таматарха» — самостоятельная область, отделённая от соседних государств — Руси, Алании, Зихии, Папагии и др. (*Константин*, 1989. С. 170/171, 174/175). В Киевской же Руси её иногда вообще представляли островом на водной глади, что отчасти определяло её независимость от материковых соседей (Киево-Печерский патерик // Памятники славяно-русской письменности. СПб., 1911. Т. II. С. 29, 151). Однако на самом деле она стала самостоятельной, очевидно, лишь после того, как важные части хазарского каганата были в 964–965 гг. разгромлены Святославом Игоревичем. Эта политическая самостоятельность продлилась до похода Владимира Святославича, после которого над Тмутороканью и принадлежащими ей земля-

ми, возможно, был установлен протекторат Киевской Руси, которой она с 1010 г. должна была платить дань (*Гадло*, 1990. Вып. III. С. 22–23).

Неуверенность упомянутого исследователя в самом факте киевского протектората вполне понятна, поскольку Тмутороканское княжество не было оккупировано, и древнерусские князья могли находиться там лишь с согласия местного населения. Платили ли тмутороканцы дань Киеву или нет, тоже в точности неизвестно, поскольку статус их князя был крайне неопределён, по крайней мере с точки зрения киевской администрации, которая не ставила его на престол, а мирилась с восхождением на него очередного титульного управителя княжества. Более того, если некий свободный князь (например, не нашедший себе вакантного «стола» среди древнерусских княжеств) оказывался во главе Тмуторокани, то он ставил себя этим решением вне сообщества князей-соотечественников. Такой аутсайдер окончательно выпадал из сложной иерархической системы замещения древнерусских княжеских столов (подр. см.: *Ключевский*, 1993. Т. I. Passim.). Эта судьба постигла, например, языческого князя Олега Святославича (в крещении Михаила) в 1080–1090 гг.

Относительно Тмуторокани А.В. Гадло приходит к обоснованному выводу о том, что «это была автократичная (городская) община-государство», где «Русский князь присвоил себе лишь прерогативы высшей власти, сохранив его (города-государства. — *В.В.*) самостоятельность и самоуправление». Позднее князь теряет и остатки своей номинальной власти, превратившись в пустую, титульную фигуру: «После смуты Ростислава (1066 г. — *В.В.*) вопрос о замещении княжеского стола решают сами тмутороканцы» (*Гадло*, 1990. Вып. IV. С. 4). Поэтому, его и князем-то можно было именовать лишь условно, так как он не обладал реальной княжеской властью и, главное, не являлся верховным собственником земли, как «настоящие» князья. К тому же Тмуторокань, отделённая от основной территории Древнерусского государства обширными кыпчакскими степями, была издавна заселена коренными племенами касогов (адыгов)[1].

А вообще, что касается населения Тмуторокани, то оно на протяжении всей сравнительно недолгой истории княжества оставалось пёстрым в этническом и религиозном отношении, чем-то напоминая гораздо более поздние казачьи селения в той же местности и исполняя примерно те же функции. Впрочем, не для Киева, а для Византии. Здесь находили убежище самые разнородные личности — от бежавших из Московии или Византии преступников до утративших законный престол русских князей. Причём население тмутороканской вольницы пополнялось за счёт пёстрого иммигрантского потока со всех четырёх сторон света, а не только из Руси (*Козловский*, 1928. С. 64–67).

Что же касается культуры княжества, в ней были не только скандинавские, но и тюркские черты. Тюркские письменные памятники, там обнаруженные, датиру-

[1] Показательно в этом смысле продолжение истории упомянутой «смуты Ростислава». Когда князь Ростислав попытался вести самовольную, т. е. не общинную, а личную политику, то местное население его убило, а его брата Олега Святославича передало Византии. Когда же тот вернулся в 1083 г. из константинопольского плена, то, как говорится в летописи, его «исече хазары» (цит. по: *Котляр*, 2002. С. 66). Что понятно: уже хазары, а не кто иной составляли население города-государства. Такой была этническая ситуация и в 1068 г., когда «русский князь» Глеб море мерил.

Памятный знак с текстом Тмутороканского камня, установленный на Таманском полуострове

ются началом IX в. (*Галкина, Кузьмин*, 1999. С. 460). Уже тогда местные князья, как говорилось выше, политически зависели от Византии. Распад княжества начался чуть ли не в середине XI в., когда тмутороканцы стали предпринимать попытки *реставрации* Хазарского каганата под своим главенством. Но удалось немногое: в том же столетии возникло лишь слабо организованное Тмутороканско-касожское военное объединение. К столь непомерным амбициям княжества Киев был, кажется, совершенно безразличен. Но не Константинополь, имевший к Тмуторокани самое непосредственное отношение. Ведь функции княжества были давно определены: как говорилось выше, это было буферное образование на периферии византийской империи. Константинополь поддерживал его, утверждал своим авторитетом тмутороканских князей, а те более или менее исправно помогали охранять северную византийскую границу[1]. Поэтому уже в середине XI в. Византия провела ряд жёстких политических акций, чем дала Тмуторокани понять, кто в этой области хозяин, и навсегда покончила с «иллюзиями тмутороканских хазар (козар) о возможности восстановления древнего каганата» (*Гадло*, 1990. Вып. IV. С. 12).

Что же касается Киева, то в 1060 — начале 1090-х гг. Тмуторокань не только не находилась под его влиянием, но «была главным и, вероятно, единственным (и, добавлю, последним. — *В.В.*) действенным очагом сопротивления князей-изгоев централизаторским усилиям киевских государей — и после этого навсегда исчезла со страниц древнерусских летописей» (*Котляр*, 2002. С. 65).

С выдвижением в Причерноморье ордынцев Тмуторокань оказалась под их властью. Именно тогда, не раньше, тмутороканские князья были вынуждены на-

[1] Такие тесные взаимоотношения, кстати, не могли не влиять и на культуру княжества: к XIII в. здесь уже установились греческие письменность и язык, а проповеди по-гречески читались вообще с X в. (*Коновалова*, 1999. С. 67).

всегда забыть о важнейших точках приложения. Княжество на глазах слабеет и распадается. И в 1360-х гг. бывшая столица Приазовья упоминалась в сочинении арабского географа Абу-л-Феда уже под новым именем — Тамани. Что же касается её населения, то, судя по всему, этот пёстрый конгломерат в конечном счёте рассеялся или был поглощен окружающими племенами без остатка, не оставив следов ни в материальной культуре, ни в устной традиции Крыма. И ещё меньше — в древнерусской, так как уже в *Слове о полку Игореве* (прибл. 1187 г.) о княжестве говорится, что это «земли незнаемые»[1].

Подводя итоги этому краткому экскурсу в историю Тмуторокани, нетрудно сделать вывод о том, что восточно-славянской «Тмутороканской Руси», многажды упоминавшейся в различных трудах, как таковой никогда не существовало. Точно так же нет оснований для предположений о местонахождении каких-то, пусть даже незначительных, восточно-славянских поселений или киевских колоний в районе Тмуторокани как будущей части Крымского ханства — это не подтверждается археологией региона.

А в заключительный период истории города-государства местные князья-изгои лишились и остатков своей номинальной власти. Политическую погоду в этом «русском» княжестве делали отнюдь не православные иммигранты, а местное мусульманское (адыги) и иудейское (хазары) большинство, носители совсем иной культуры, чем древнерусская.

в) Крым и Киевская Русь

Более стойкими оказались давние экономические связи различных русских княжеств с торговыми людьми Крыма, очевидно не прерывавшиеся и в годы войн. Здесь интересен, естественно, основной предмет торговли. Судя по содержанию так называемых «русских кладов», обнаруженных в Крыму благодаря археологическим раскопкам на местах старых торговых центров, это были наперсные кресты, паникадила, посуда и другая церковная утварь. Понятно, что такого рода набор товаров предназначался для христианской части населения Крыма, не являясь предметом всеобщего, универсального покупательского интереса.

Упомянутый интерес, конечно, всегда существовал, но он относился к совсем иным товарам. «Почти весь X век ***продолжалось*** (выделено мной. — *В.В.*) покорение славянских и соседних финских племён из Киева (то есть Киевом. — *В.В.*), сопровождавшееся обращением массы побеждённых в рабство. Араб Ибн-Даста, писавший в первой половине этого века, говорит о Руси, что она производит набеги на славян, забирает обывателей в плен и продаёт их другим народам» (*Ключевский*, 1993. Т. I. С. 133).

Через век русские стали крупнейшими в Европе поставщиками живого товара, «рабовладельцами и работорговцами: захватывать рабов и торговать ими было промыслом первых властителей Русской земли... Отсюда их сношения с Константинополем, где был главный тогда ближайший к России невольничий

[1] Впрочем, иногда полагают, что княжество могло просуществовать в виде *цельного* государственного организма чуть ли не до бурного всплеска, активизации этногенеза крымскотатарского народа, отмеченного в Крыму в 1220-х гг. (*Полиевктов*, 1929. С. 58).

рынок... рабы были самым важным товаром, о них больше всего говорили в договорах первые русские князья с греческими императорами» (*Покровский*, 1965. Т. I. С. 28).

Время шло, минуло ещё столетие, но ситуация не менялась: «экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII вв. держалось на рабовладении. К половине XII в. рабовладение достигло там громадных (подчёркнуто мной. — *В.В.*) размеров» (*Ключевский*, 1993. Т. I. С. 242). И имеются бесспорные основания утверждать, что именно в эти века, накануне прихода в Причерноморье Золотой Орды, Крым испытал торговую экспансию со стороны Киева. Причём именно рабы, русские рабы, продаваемые русскими же купцами, именно эта огромная, безмолвная масса, как доказал великий русский историк, и в XII в. «составляла главную статью русского вывоза на черноморские... рынки» (*Ключевский*, 1993. Там же).

Вот живая картина такого базара, зарисованная в X в.: русский работорговец расставил «свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар — рабынь. С тем же товаром являлся он и в Константинополь. Когда греку... нужно было купить раба, он ехал на рынок, где „русские приходяще челядь продают“, — так читаем в хрониках тех времён» (*Ключевский*, 1993. Т. I. С. 242). Цена была тем ниже, чем ближе к источнику товара он продавался. Так, на Карельском перешейке, оккупированном русскими во время Московско-шведской войны 1555–1557 гг., финского или карельского раба можно было купить дешевле, чем в мирное время: «в гривну немчин, а девка в пять алтын» (Никоновская летопись, ПСРЛ. Т. XIII. Стлб. 265)[1]. А на юге цена на них возрастала вдесятеро.

Таким образом, работорговля и рабовладение в регионе Северного Причерноморья и Крыма на протяжении минимум 3–4 веков перед образованием Крымского ханства имела главным источником Русь. Именно русские постоянно ломали установившийся в Крыму ещё во II в. запрет на рабовладение, искушая окружающие племена и народы сверхприбылями от торговли пленными или собственным народом. А что ещё они могли продавать в эпоху, когда Сибирь с её мехами ещё не была завоёвана? Притом что работать на рынок мужик не хотел или не мог, сводя трудовые затраты к минимуму, необходимому для собственного прокормления.

Конечно, такая ситуация со временем должна была измениться — хотя бы по причине её неестественности. Она и изменилась с расцветом Крымского ханства, когда после внутренних кризисов и гражданских войн, связанных с именами первых ханов, обстановка стабилизировалась. В это время Крым снова стал основным центром черноморской — и не только черноморской — коммерции. И он становится развитым перевалочным пунктом для международного торгового транзита, в том числе и московско-турецкого, ведя, впрочем и собственный торговый, а значит, и культурный обмен с северным соседом. Однако эта метаморфоза в славяно-крымских отношениях произошла гораздо позже рассматриваемого периода, и к ней мы вернёмся в своё время.

---

[1] В ту эпоху гривна равнялась одной десятой, а алтын — одной тридцать третьей части рубля. В пересчете захваченный в плен мужчина стоил на русском рынке 10 копеек, а девушка — копеек 15–16.

6. Венецианцы и генуэзцы

О генуэзцы, вы, в чьём сердце минул
Последний стыд и всё осквернено,
Зачем ваш род с земли ещё не сгинул?
Данте. Божественная комедия

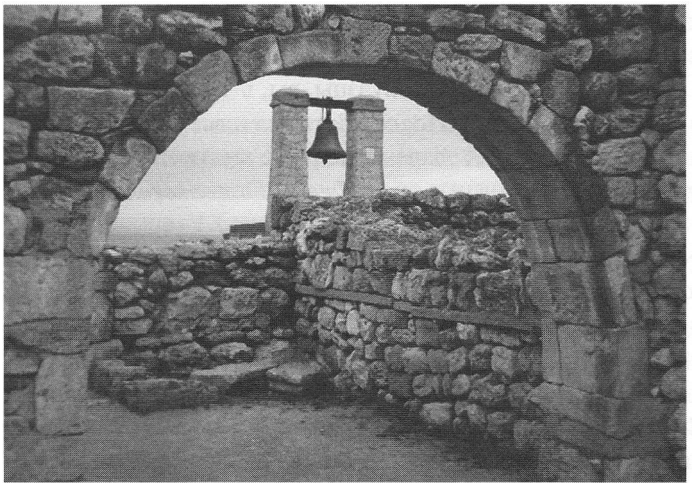
Венецианцы появлялись в Крыму уже в конце XI в. На рубеже XII и XIII вв. Венеция стала экономически ведущим государством в своём регионе, а в первые годы после четвертого крестового похода (1204) итальянские источники говорят о прочно установившихся торговых связях итальянских княжеств с Солдайей, т. е. Судаком (*Ульяницкий*, 1883. С. 2). Неудивительно, что именно Солдайя была избрана Венецией в качестве опоры для экономической экспансии в Крыму. Ещё при половцах Судак стал самым богатым из торговых городов Крыма, в этом смысле далеко обогнав Херсонес (*Секиринский*, *Волобуев*, *Когонашвили*, 1980. Passim)[1].

Вслед за Венецией в Крым стала слать своих торговых и политических агентов Генуя, этот старый и непримиримый конкурент Республики святого Марка. Нимфейский договор 1261 г., заключённый Генуей с византийским императором Михаилом VIII Палеологом (1258–1261), предоставил генуэзцам права на те самые территории Византии, которые ранее принадлежали венецианцам. Кроме того, упомянутый акт открыл для европейский торговли Босфор[2]. Начиная с 1268 г. борьба между этими двумя городами-республиками обостряется. Генуэзцы начинают вытеснять венецианцев из Солдайи, затем в 1270–1275 гг. закрепляются в Кафе, выстроенной ими на месте античной греческой колонии Феодосии. И уже через несколько лет этот порт и складочный пункт (эмпорий) с жилыми кварталами становится крупнейшим генуэзским торгово-политическим центром. После своего возвышения золотоордынский хан Узбек (1312–1341) дал генуэзцам Кафы официальное разрешение на строительство города и торговой деятельности в нём, после чего жилые кварталы и деловая инфраструктура стали быстро расти; появилась крепостная стена, за ней — вторая.

Жёсткая торговая борьба с Венецией, в которой использовались не только экономические, но и политические и даже военные средства, окончилась победой Генуи: её посланцы шаг за шагом вытесняли из Крыма венецианцев. Успех

[1] Очевидно, немалую роль в этом сдвиге сыграло географическое положение Солдайи: она был ближе к Керченскому проливу, Перекопу и Тане (выход азиатского товаропотока), чем Херсон. Тогдашнее население города (до 15 тыс. жителей) позволяло отнести его к крупным городским центрам даже в европейском масштабе. Это был и военный форпост венецианцев — лишь гарнизон города насчитывал 1 000 солдат и офицеров (*Якобсон*, 1964. С. 79).

[2] Эта свобода прохода через проливы устранила последнее препятствие, разделявшее давно уже готовых к взаимовыгодной морской торговле латинян и экономически активного населения евразийских степей. Международная торговля обеспечивалась и средствами платежа — уже в III в. в Крыму чеканили монету, имевшую хождение от Приазовья до Дуная. Затем был открыт второй монетный двор — в Азаке (первая четверть XIV в.), в середине XV в. — в Кафе, с 1461 г. — в Тане (*Крамаровский*, 1998. С. 69).

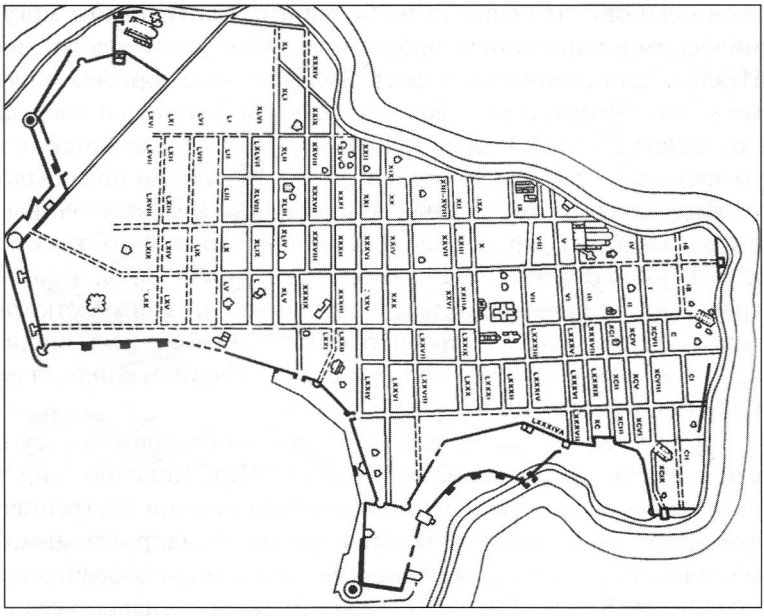


Жилая застройка позднесредневекового (XII–XIII вв.) Херсонеса. На заднем плане — «туманный колокол»

пришёл к генуэзцам довольно быстро, этому содействовал конфликт итальянских республик с Золотой Ордой, начавшийся в 1343 г.

После смерти улусного главы Бердибека (1359) генуэзцы воспользовались борьбой за власть внутри ханства и в 1365 г., уже при улусбеке Мамае, окончательно овладели Солдайей и прилежащей округой с 18 деревнями. Так стало строиться (точнее, собираться из клочков венецианских владений) новое образование, получившее название генуэзской Газарии. Вскоре власть её распространилась на всё Крымское Приморье, и «не исключено, что в 1270–1350 гг. большая часть черноморской торговли находилась в руках генуэзцев. Они контролировали не только ввоз на Запад шёлка и пряностей, но и снабжение зерном, рыбой, солью крупных городов, таких как Трапезунд и Константинополь... Несмотря на порой острое соперничество со стороны венецианцев, создаётся цепь агентств и станций вдоль черноморского побережья, сплетающаяся в протяжённую цепь от запада до востока полуострова. В понтийском регионе генуэзское заморье своё наибольшее распространение получило в первой половине XIV в.» (*Балар*, 2006. С. 124, 133–134).

Но это было потом. А в конце XIII — первой половине XIV в., когда крестоносцы утратили свои восточно-средиземноморские позиции, произошёл примечательный сдвиг: торговые пути из Европы в Азию переместились к берегам Чёрного и Азовского морей. Путь в Китай шел, к примеру, через Тану (устье Дона, ныне Азов) в район современной Астрахани, а затем далее в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Любопытно, что купцы Львова считали более выгодным торговать с Южной и даже Центральной Европой через Крым, то есть морем, а не по сухопутному, более короткому пути (*Егоров*, 2008. С. 90). Возможно, они вводили в свой торговый оборот и собственно крымские товары той эпохи: зерно, лошадей, рыбу и упоминавшихся выше рабов. Оттого-то Крым, очутившись на торгово-мореходном перепутье, и стал играть столь важную роль в мировой торговле, заняв, естественно, центральное положение в экономической жизни Чёрного моря (*Еманов,* 1986. С. 1).



План Херсонской крепости (*Генуэзцы, 2009*)

Сюда приходили караваны купеческих парусников и галер из Египта, Западной Европы, Передней Азии. Здесь оканчивались, с другой стороны, тысячекилометровые сухопутные дороги из земель Золотой Орды и десятка азиатских государств. Ещё в XII в. вторым после цветущего Судака торговым центром стала Кафа[1]. Одновременно возросло значение бывших торговых факторий итальянцев Таны, Копы, Чембало (Балаклавы)[2], Боспора (Керчи). Поэтому именно Восточный Крым с его новыми и старыми городами экономически становится наиболее перспективным регионом полуострова. Но и Херсон, издавна тяготевший к степному, хлеборобному району края, добился независимости от Византии — вначале экономической, а затем и политической. Здесь также бурно развивались производительные силы, население всё чётче делилось по социальным и экономическим признакам, шла феодализация общества. Однако извечно центробежные устремления феодалов привели, в конечном счете, к разделению Херсонской хоры на ряд полунезависимых от города княжеств.

Одним из крупнейших образовавшихся таким образом княжеств стал Кырк-Ер (ныне Чуфут-Кале), основная часть населения которого состояла из

[1] Топоним Кафа впервые встречается в греческом трактате 360–386 гг. Его происхождение относят к *греч.* «кафа», то есть водный бассейн (Генуэзцы, 2009. С. 33).

[2] Балаклава, пожалуй, лучше всего сохраняла и в XIX в., и позже свой итальянский облик. Это касалось как самого её имени (один из вариантов этимологической расшифровки его — Bella Clava, или Прекрасная Гавань), так и зданий и улиц в целом. Путешественники находили, что она как две капли воды похожа на Помпею, даже лавки аналогичны. Единственное отличие — камень стен, так как вместо лёгкого вулканического туфа Помпеи здесь использовали более прочный мраморный известняк, добывавшийся неподалёку от крепости.

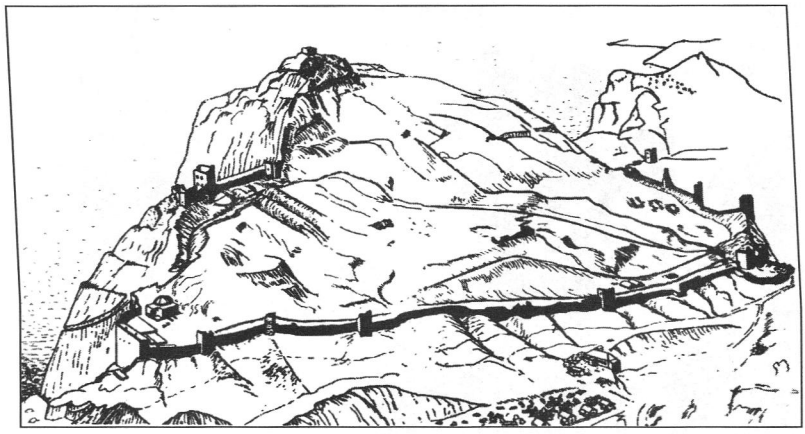
асов (аланов)[1]. Но едва ли не большим политическим могуществом и экономическим процветанием прославился Мангуп (Феодоро), населённый готами. Итальянцы стремились поддерживать тесные торговые связи с этими и иными княжествами. Они довольно часто становились и посредниками в торговле последних с зарубежными купцами. Обороты итальянских маклеров и купцов со временем настолько возросли, что метрополии пора было подумать о защите этих «солдат коммерции», приносивших ей нешуточный доход. И в 1287 г. в Солдайе была учреждена официальная должность консула Венеции, в распоряжение которого поступали солдаты гарнизонов, чиновники, финансовые средства, очевидно, немалые. Как правило, на должность консула Солдайи назначались лица не только опытные в политике, но и энергичные и, главное, любящие и умеющие трудиться над расширением влияния республики на краю цивилизованного мира.

В XI в. Крым вошел в редкую для его истории полосу покоя и находился в ней вплоть до вторжения ордынцев в XIII в. Конечно, мир этот был весьма относительным, но и он содействовал стабилизации внутреннего положения. Что, в свою очередь, повлекло за собой расцвет предприимчивости и хозяйственной деятельности жителей края, максимальное использование всех природных возможностей Крыма. Число крымчан в эти века сильно увеличилось. Причём не только в сельской местности, где рост экономической активности сопровождался бурным естественным приростом населения, закладкой новых садов, виноградников и деревень. Конечно, растут и города.

Венецианские и генуэзские крепости, обнесенные неприступными стенами, взметнувшими на головокружительную высоту свои украшенные гордыми гербами консулов башни, сулили безопасность и покой посреди неведомого мира, чуждого и опасного для многочисленных итальянских переселенцев. Влекли же их сюда не только свободные земли в окрестностях городов, не только цветущая природа и тучные почвы, но и то «экономическое чудо», котрое переживал Восточный Крым на исходе раннего Средневековья. Постройка в Крыму дома-конторы со складом считалась в банках и торговых кланах Венеции или Генуи весьма выгодным и дальновидным помещением капитала (между прочим, в Солдайе имел дом некий Маттео Поло, крупный купец, родной дядя великого путешественника Марко Поло).

Границы первых факторий давно скрылись под жилыми кварталами; теперь оказались тесными и крепостные стены. Стихийно возникали и ширились форштадты (посады). Там, за городской чертой, уже возводили храмы — так было в Солдайе, Кафе. Такое увеличение массы христианского населения не могло не сказаться и на церковной жизни: Солдайя и Боспор из обычных епархий становятся метрополиями, непосредственно подчиненными лишь константи-

[1] Часть топонима, *Кырк*, встречается не только в имени этого города-крепости, но и при обозначении святилища (Кырк-Азизлер) и ещё нескольких пунктов, расположенных в бахчисарайском историческом регионе. Крымский историк и этнограф Усеин Боданинский обосновал свою гипотезу, согласно которой этот топонимический компонент первоначально означал одно из тюркских племён или племенных объединений, обитавших в этой части полуострова. Он же предположил, что и первоначальное имя Эски-Юрта также было Кырк (*Боданинский, Засыпкин*, 1929. С. 181).



Судакская крепость. Вид с северо-востока

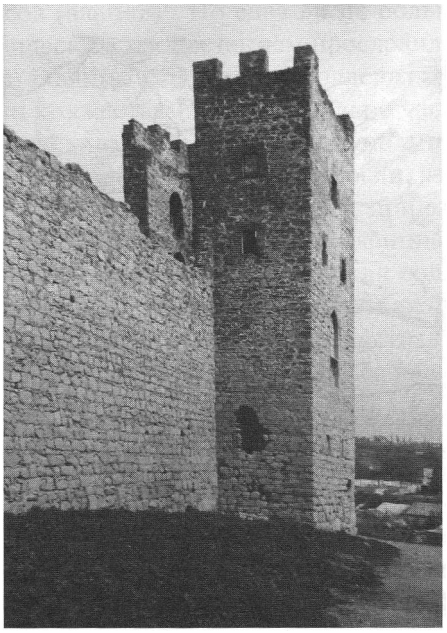
нопольскому патриарху. Вряд ли кто-либо из крымских христиан итальянского происхождения мог предположить, что этот всесторонний расцвет внезапно сменится полной и окончательной катастрофой.

Первый удар по городам юго-востока полуострова нанесли в 1223 г. ордынцы, и пришёлся он на Солдайю. Затем волна пришельцев отхлынула, и город оправился от нашествия. Но кочевникам пришлась по вкусу богатая добыча в крымских городах, и набеги стали повторяться — в 1238, 1242, затем в 1249 гг. В конечном счёте горожане Солдайи признали свою зависимость от степняков, которые обложили город данью и посадили в нем наместника хана. Затем участь эта постигла и остальные итальянские крепости Крыма. Тем не менее, несмотря на немалые поборы в пользу пришельцев, население городов не спешило мигрировать назад, на свою историческую родину.

Дело в том, что прибыль от торговли и местных промыслов оставалась весьма значительной и после уплаты дани ордынцам. Золотая же Орда стала своеобразной защитой мирным итальянским купцам и ремесленникам — выгода здесь была обоюдной. Звучит это, конечно, несколько парадоксально, и автор опасается даже, как бы его не винили в апологетизме ранних «татарских захватов» в Крыму. Поэтому обратимся к работам почтенной давности, создателей которых трудно упрекнуть в какой-либо предвзятости по отношению к крымцами.

Но перед этим обратим внимание на то, что генуэзские города занимались не только реэкспортом импортированных западных и восточных товаров. Они и сами, их постоянное население, использовали массу местных и привозных продуктов. Так, в Кафе до 1/5 западноевропейского импорта потреблялось самими горожанами, расходилось среди ремесленников. Здесь шили одежду, ковали железо, изготавливали ювелирные изделия, кроили седла и сапоги. Ещё 2/5 импорта расходилось в Крыму и ближайших областях. И лишь 1/5 шла дальше, в Азию, Восточную Европу, в том же виде, в каком сгружалась в кафинском порту (*Еманов,* 1986. С. 6).

Процветает работорговля, которую ведут исключительно итальянские колонисты. При этом здесь полностью игнорировался церковный запрет христианам торговать христианами же (XIII в.), не действовала и булла папы Мартина V



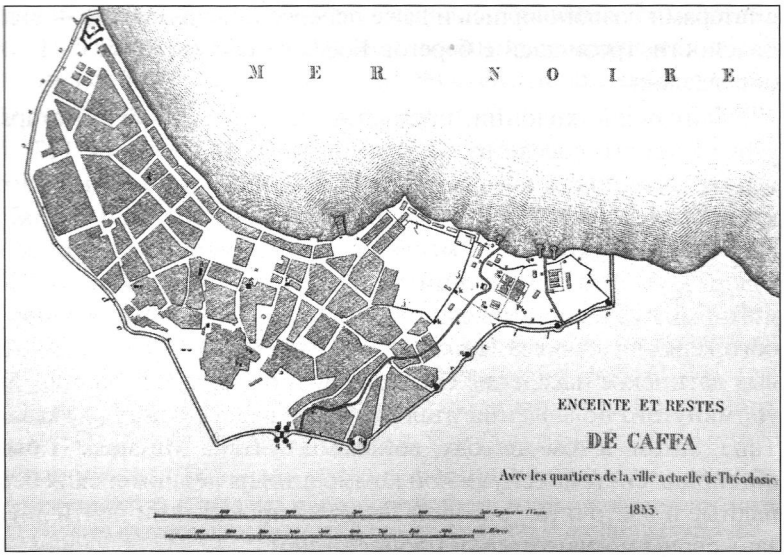
Угловая башня цитадели Кафы, построенной в 1352 г. на средства римского понтифика Климента VI. *Фото из: Генуэзцы, 2009*

(1417–1431) с угрозой отлучения ослушников от церкви. Более того, в 1441 г. в свод законов генуэзской Газарии (Восточный Крым) вошло положение, уравнивавшее в правах (т. е. бесправии) христианских и мусульманских рабов (*Davidson*, 1966. S. 34).

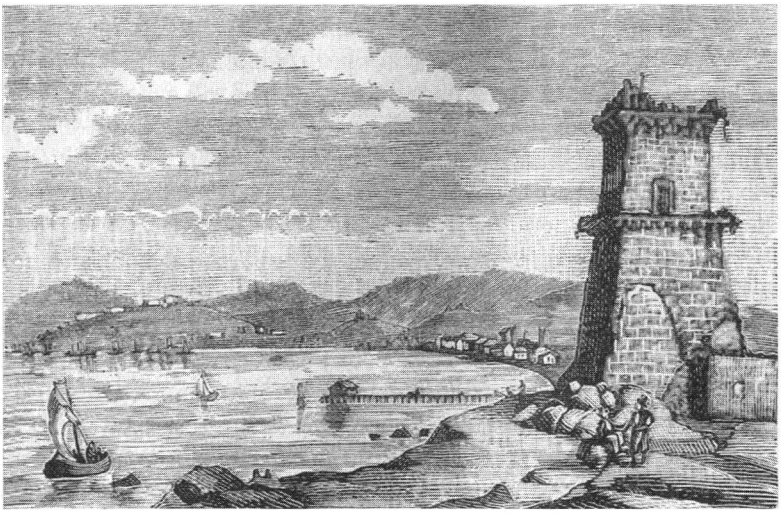
Со второй половины XIV в. дальние связи Кафы постепенно сокращаются, и вот почему. В Кыпчакской степи шла настоящая гражданская война между претендентами на ханство. Затем в 1368 г. из Китая были изгнаны монголы, а под ударами Тимура в Центральной Азии пала джагатайская держава. Эти события означали конец коммерции «монгольским путём», что ударило и по коммерческой деятельности Кафы. Здесь в начале XV в. полностью прекращается торговля основным, восточным товаром. Осталась лишь торговля рабами с Кавказа, а также мехами, зерном и лесом (*Балар*, 2006. С. 134).

Вслед за этим и Босфор теряет свое значение как канал для западного импорта; все больше товара идёт через страны Центральной и Юго-Восточной Европы, через порты Западного Причерноморья, через Польшу и Россию. Импорт из Восточного Средиземноморья поступает через Малую Азию и порты Южного Причерноморья, азиатские товары перегружают на суда в гаванях Анатолии и Кавказа. Расширение географии торговых связей имело и субъективные причины, а именно рост крымского купечества. Пестрота этого сословия возрастает ещё более — в Кафе натурализуются выходцы из Польши, Молдовы, Галицкой Руси, Венгрии, Валахии, Малой Азии и Кавказа.

Итальянская торговая система Кафы и Солдайи, основанная на централизации и монополии, увядает, не выдержав жестокой конкуренции неофитов из сухопутных стран. Масштабы торговых операций итальянских купцов уменьшаются (особенно в зарубежных направлениях) по причине роста внутрирегионального обмена товаров, внутричерноморского коммерческого сотрудничества.



План Кафы



Гавань Кафы
на старой гарвюре

Многие из них переключаются на более перспективный рынок продукции собственного аграрного хозяйства, садоводства, промыслов и разработки природных богатств Крыма и всего Черноморья. Постепенно торговая роль Кафы если не падает, то нивелируется в сравнении с другими портовыми городами, ранее от неё зависимыми.

Начинаются волнения местного населения. В 1433 г. восстали горожане Чембало-Балаклавы. Генуэзец Карло Ломеллини подавил мятеж, но потерпел поражение от войск Хаджи-Гирея, который вслед за этим наложил на генуэзские колонии дань. Затем, уже после взятия Константинополя турками (1453), османы направили в Кафу морскую экспедицию и через год город стал платить султану ежегодно по 3 000 дукатов. Впоследствии, в 1465–1470 гг., нормальные отношения генуэзцев

с татарами возобновились и даже переросли в дружеские — видимо, из-за общей опасности, грозившей с берегов Босфора (*Балар*, 2006. С. 135). И эти опасения оправдались.

Генуэзские колонии, процветавшие при крымских татарах, погибли не от этого мирного соседства. Они пали лишь в мае–июне 1475 г., когда на берег вышли турецкие янычары и, поддержанные корабельной артиллерией, взяли крепости одну за другой, учинив в них страшную резню. Так, когда часть горожан Солдайи укрылась в местной церкви, османы сожгли её вместе с людьми, говорит Мартин Броневский. И археологические раскопки 1928 г. подтвердили истинность древнего предания, — в руинах храма было обнаружено множество обгорелых человеческих скелетов (*Секиринский*, 1957. С. 39). Оставшееся в живых латинское население было обращено турками в рабство. Через месяц после упомянутого подавления итальянцев во власти османов оказались весь Крым и Тана. Затем, в том же году, войсками султана Мехмеда II была разрушена вся обширная система генуэзской коммерции на черноморских берегах, включая западные и восточные, которой Генуя на протяжении почти двух веков была обязана своим могуществом и процветанием.

Однако в Крыму значительной части генуэзцев и венецианцев удалось спастись. Главы старых кафинских и солдайских родов, не дожидаясь падения крепостных стен, «со своими семействами и своим имуществом взобрались на горы» ещё в годы первых ордынских походов, т. е. в начале XIII в. (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 26). И с тех пор жили там, уже полтора века занимаясь виноградарством и садоводством. Турки их не тронули, как и многих керченцев итальянского происхождения, которые остались жить в старых кварталах или переселились в другие прибрежные районы Крыма.

Некоторые из них перебирались и во внутренние области полуострова. По свидетельству доминиканского монаха Дортелли д'Асколи, прибывшего с миссией в Крым в начале XVII в., он обнаружил к югу от Бахчисарая, в окрестностях деревни Сююрташ (между Качей и Бельбеком) остатки одной из генуэзских колоний, основанных здесь уже в османский период истории ханства, причём с помощью крымских татар. Затем итальянцы переселились в Фоти-Салу, где к моменту прибытия миссионера уцелело 12 семей. Это были католики, молившиеся в своём старом соборе Деве Марии по-татарски, так как к тому времени они совершенно забыли родной язык! (*Дортелли*, 1902. С. 128). Более поздний автор называет несколько фамилий их отатарившихся потомков: Дориа, Гримальди, Спинола и т. п. (*Тунманн*, 1936).

В дальнейшем, когда утихли военные действия, итальянцы с побережья, сохранившие, в отличие от фоти-салинцев, как язык, так и другие культурные черты, частично вернулись в прибрежные города. Они просили султанскую администрацию позволения возобновить торговлю в Кафе и получили её согласно *ахид-наме* (договорному указу) Мехмеда II Фатиха. Правда, в 1540 г. султан Сулейман Кануни аннулировал это позволение, теперь уже окончательно (*Кютюкоглу* М. Экономическая структура Османской империи // История Османского государства. Т. I. С. 467). Но это совершенно не означало начала каких-то гонений на крымских итальянцев — ни турки, ни крымцы их более не беспокоили. И потомки генуэзцев и венецианцев продолжали жить на старом месте на протяжении всей истории Крымского ханства.

Об этом свидетельствуют, среди прочего, записки итальянца Бекаттини, прибывшего в Крым в год его аннексии Россией и заинтересовавшегося судьбой потомков бывших колонистов. И Бекаттини действительно нашёл в Феодосии и окрестных селениях «множество генуэзцев», ещё не забывших родной язык (*Becattini*, 1783. P. 5). Позднее, при российском владычестве, они также не прерывали контакта со своими родственниками в Генуе. Поразительно, но связи эти сохранились вплоть до XX в.! Католическое меньшинство не слилось с основной массой населения, хоть и сильно ассимилировалось. Свой язык, как было сказано, они по большей части забыли, но сохранили старые общины, члены которых по-прежнему называли себя «женовезе» (генуэзцы). С другой стороны, известно, что не все они говорили по-татарски, и в XIX в. в некоторых семьях портовых городов был в ходу итальянский язык (*Суперанская*, 1985. С. 43). Он оставил, между прочим, свои следы в крымскотатарском диалекте Восточного Крыма (*Мазинов*, 2004. С. 25–26). А следы итальянской культуры были заметны и в XX в., их не стёрла мощная тюркская среда — настолько сильным оказался этнокультурный стержень этой вроде бы небольшой составной части теперь уже крымскотатарского народа[1].

Но вернемся в Средневековье. Во-первых, отметим, что Крым не стал частью Османского государства той эпохи, но оставалась автономной его провинцией, что весьма важно и о чём иногда забывают критики истории крымских татар под «игом» турок. Тем не менее он ещё в годы правления султана Сулеймана Кануни числился в составе Османской империи, едва ли не самого могущественного государства нашей части света. Ведь к моменту смерти этого властителя его держава включала в себя, помимо собственно Турции, земли современных южной Украины, Румынии, Молдавии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Боснии, Герцеговины, Словении, Албании, Греции, Болгарии, Ирака, Сирии, Ливана, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Туниса и Алжира. Трудно себе представить, что в состав Османской империи того времени входили территории «от Басры до Вены, от Кавказа до Марокко и от Крыма до Йемена» (*Йедийылдыз* Б. Османское общество // История Османского государства. Т. 1. С. 371).

При таких обстоятельствах турки никак не могли опасаться утраты своего главенствующего положения ни на этнической родине, ни, между прочим, в Крыму. Поэтому главенствующее место в торговом мире полуострова беспрепятственно занимают — в очередной раз — венецианцы. Османы позволили им возродить торговое мореходство, установив дань в виде пошлин размером в 10 000 дукатов ежегодно (*Уляницкий*, 1883. С. 9). В общем-то это было терпимо, но, сверх того, Венеции было предоставлено монопольное право коммерческого мореплавания на Чёрном море, почти полностью оказавшимся под властью Турции, ещё не имевшей своего торгового флота сравнимого тоннажа.

[1] В начале 1920-х в Феодосии судили группу огородников из ближних деревень за то, что они изредка пользовались наёмной рабочей силой. Полуграмотные крестьяне, с трудом понимавшие русский язык (крымское село вообще говорило только по-татарски), выслушали приговор угрюмо и молча. Зато оживился зал — не из-за содержания услышанного, а от звучания аристократических фамилий этой группы одетых в старые чекмени и овчинные *тоны* мусульман: Камбани, Парчелли, Мауро, Мафиони, Ди-Пьеро, Джануццо, Ди-Мартино, Джакетти, Ранио и так далее (подробнее о их судьбе см. в III томе).

Венецианцы по привилегии, выданной им турками, вели и сухопутную торговлю в Кафе и Азаке (совр. Азове)[1], а также с Московским княжеством.

Упадок венецианской торговли на Чёрном море начался лишь с середины XVI в., но не из-за турок или татар, а по весьма далеким от крымских дел причинам. Была открыта Америка, установились прочные торговые связи Европы с Индией, все жёстче становилась конкуренция новых великих торговых держав — Франции, Англии, затем Нидерландов, что значительно ослабило экономическую мощь Венеции. Именно в эту эпоху её место в торговых связях Турции на несколько веков занимает Франция, заключившая ещё в 1535 г., первой из европейских держав, договор о дружбе с Османской империей.

Перемены, происходившие при этом в положении итальянских жителей Крыма, отличались крайней замедленностью, постепенностью. Именно это позволило генуэзцам и вениецианцами безболезненно перейти к новым формам хозяйственной и торговой деятельности, которая, как было показано выше, ещё сотни лет давала хлеб насущный крымским итальянцам, содействовала их органичному вхождению в состав основного, татарского населения полуострова. Как предполагают современные антропологи, роль североитальянского элемента в этом процессе вряд ли была значительна (*Васильев, Ходжайов*, 2003. С. 421). Возможно, этот вывод справедлив в масштабе всей крымскотатарской нации, но не населения Восточного Крыма, где, как упоминалось выше, немало татарских семей сохранило явно итальянские фамилии своих средиземноморских предков до XX в. включительно. Мало того, татары южнобережного Партенита, весьма похожие, по мнению английского библеиста, на жителей Генуи, ещё в первой четверти XIX в. сохраняли память о своих предках в третьем поколении, носивших христианские *личные* имена (*Гендерсон,* 2006. С.235).

Остался итальянский след и в крымскотатарском языке. Академик П.С. Паллас, посетивший Крым в 1794–1794 гг., внимательно исследовал словарный запас жителей Судака и его окрестностей. Даже несмотря на крайне небольшой срок пребывания учёного в Восточном Крыму (он объездил за указанное время весь полуостров и Тамань), Паллас насчитал здесь в разговорном языке несколько десятков слов явно итальянского происхождения. Приведу некоторые из самых распространённых и сохранивших то же или крайне близкое значение: каймак — от *итал.* caimacco, кардаш (младший брат, товарищ) — от *итал.* cardascia; макраме (полотенце, шарф) — от macrame; таз — от tassa; сабун (мыло) — от savun;

[1] Азов — город на месте древнего поселения в устье р. Танаиса (*совр.* Дон), письменные известия о котором встречаются с конца I в. до н. э. После образования Крымского ханства город вошел в его состав под именем Азак, был укреплён каменной крепостной стеной. В XIII–XV вв. в черте этого татарского города находилась торговая колония итальянцев, которые называли его Тана. В конце XV в. крепость была захвачена турками, с той поры державшими здесь постоянный гарнизон и коменданта, подчинённого кефинскому паше (Подр. см.: *Перепечаева* Л.Б. Азов — пограничная крепость России: конец XVII — начало XIX вв. Азов, 2001). С 1657 г. Азов стал независимым от Кефе административным центром самостоятельного османского эялета с центральным подчинением. Учитывая постоянную близость потенциальных агрессивных сил (донских казаков и позже калмыцких орд), Азов был лучше готов к обороне: если во второй половине XVII в. гарнизон Кефе насчитывал лишь 260 человек, то в Азове их было 1 894 (*Орешкова*, 2005. С. 24).

катран (смола, дёготь) — от catran; фуртуна (шторм) — от fortuna; бербер (парикмахер) — от barbero; киньон (тмин) — от timon; матюв (дурак) — от matto; шорба (суп) — от sciorbi; камере (небольшое помещение) — от camera и т. д. (*Pallas*, 1801. S. 361–362).

7. Крымские татары

Тот, кто занимается татароведением, — занимается приведением в порядок себя.

Акад. Д.С. Лихачёв

а) Начало заселения Крыма ордынцами

В исследовании начальной и основной фаз складывания крымскотатарского народа, его этногенеза, выводы антропологов можно свести в две группы противоположных теоретических направлений. Сторонники одной из них (это в основном советские учёные, а также их прилежные ученики и сегодняшние последователи) полагали, что предки этого народа целиком и полностью принадлежали к *кочевым* ордам, некогда иммигрировавшим в Крым и под влиянием местного оседлого населения перешедшим к иным хозяйственным и культурным моделям жизни (*Якобсон*, 1964)[1].

Приверженцы другой точки зрения доказывают, что кочевники XIII в., иммигрировав в плотно (по сравнению с соседними степями) заселённый Крым, стали *не более чем частью* уже существовавшей с незапамятных времён этнической мозаики. Или лишь одной из групп, составивших базис для этногенеза крымских татар как коренного народа Крыма (*Бартольд*, 1965. С. 468; Fisher, 1978). Изложу эту гипотезу, представляющуюся мне более верной, по возможности доказательно.

Часть многоязычного и многоплеменного массива азиатских кочевников, позднее получившего название Золотой Орды, вторглась на Крымский полуостров в первой четверти XIII в. (Подр. см.: Заметки, 1863. С. 601–3). Напомним,

[1] В своё время на таких упрямых сторонников *обязательности* переселений древних народов обрушился язвительный немецкий культуролог: «Здесь мы сталкиваемся с излюбленным понятием современного исторического мышления. Попадётся сегодня историку народ, который что-то такое в истории совершил, он просто обязан задаться вопросом: откуда он появился? Прямо-таки правила хорошего тона требуют от народа, чтобы он откуда-то происходил и имел прародину. Что он может оказаться дома именно там, где находится теперь — предположение едва ли не оскорбительное. „Переселение“ — излюбленный мотив сказаний изначального человечества, однако его применение в серьёзных исследованиях превратилось едва ли не в манию. Уже не спрашивают о том, проникли ли китайцы в Китай, а египтяне в Египет; спрашивают лишь, когда это произошло и откуда. Учёные с большей готовностью вывели бы семитов из Скандинавии, а арийцев — из Ханаана, чем отказались бы от понятия прародины» (*Шпенглер*, 2003. С. 164).

что и до этого события *тюркский* этнический элемент (потомки гуннов, хазар, праболгар, но более всего — печенегов и кыпчаков-половцев) был на полуострове весьма значительным, если не преобладающим. Причём не только в сельской местности, но и в городских культурных центрах. Так, арабский писатель Ибн-аль-Асир, говоря о Судаке конца XII — начала XIII в., отмечал, что это «город кипчаков, из которого они получали все свои товары, потому что он лежит на берегу Хазарского моря» (цит. по: *Якобсон*, 1973. С. 80).

Что же представляли собой золотоордынцы? Чисто антропологически это было пёстрое смешение рас, в котором преобладали европеоиды. Впрочем, среди пришельцев немало было и монголоидов, а ещё больше — потомства межнациональных браков: по пути в Крым кочевники Батыя смешивались и даже растворялись в массе обитавших в причерноморских степях кыпчаков, как известно, тюрков по языку и происхождению. Администрация Золотой Орды составляла первые крымские грамоты на своеобразном языке — сплаве двух тюркских, то есть кыпчакского и гузского (туркменского) языков; пришельцы восприняли по сути даже язык причерноморских кочевников. С другой стороны, при внешней парадоксальности, вполне верен вывод о том, что так называемая золотоордынская «монголизация» населения Причерноморья на деле «заключалась в дальнейшей его *тюркизации*» (*Soukkan*, 1985. S. 95).

Дело в том, что в языковом (а отчасти и в культурном) смысле Золотая Орда была значительнейшим носителем именно *тюркского элемента*, вне зависимости от чисто антропологических черт её племён. Они были тюрки, все эти кыпчаки (куманы, половцы), огузы, кочевые булгары (праболгары), маджары (мадьяры), хазары, тюркоязычные многоплеменные кочевники-татары, прибывшие сюда с чингизидами, и так далее. Довольно пёстрое по внешнему виду и даже одеждам, это многоплемённое сообщество разместилось на огромной территории, где в различные периоды было известно несколько административных и культурных центров: Солхат (Эски-Къырым), Азак (Азов), Аккерман (Белгород-Днестровский), Ургенч (Хорезм), Тюмень (Сибирь), Великий Булгар (Поволжье), столицы Сарай (р. Волга) и Сарайчик (Сарай иль-Джадид, р. Яик), Маджар (совр. Будённовск), Хаджи-Тархан (устье Волги).

Современникам факт тюркской принадлежности новых насельников Крыма казался несущественным. Поэтому в древней традиции их стали именовать татарами — спортным этнонимом, о котором речь шла выше.

Для современного исследователя, однако, дело даже не в этническом названии народа. Речь идет об уточнении теории о «завоевании Крыма татарами». Золотая Орда, безболезненно сливавшаяся с населением поглощаемых ею земель (в том числе и крымским), воевала фактически не с мирным населением полуострова — крестьянами и рыбаками, а с теми, кто претендовал на политическую власть над полуостровом. То есть с турками-сельджуками, составлявшими гарнизоны крупных (в основном прибрежных) городов, впрочем, относительно немногочисленными. Как сообщает современник этих событий Ибн-аль-Асир (ум. в 1233 г.), вхождение ордынцев на территорию полуострова в 1223 г. произошло почти без сопротивления местного населения (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 26). Впрочем, скорее всего это «миролюбие» объяснялось невозможностью оказать эффективное сопротивление: крымцы были ослаблены происшедшим за год до

того нападением на полуостров сельджуков под предводительством Хусейна ад-дина Чобана[1].

В том же 1223 г. золотоордынцы установили в освобожденном от сельджуков Судаке наместничество. А ещё через 10 лет произошло знаменательное событие. Один из ордынских военачальников-темников по имени Ногай, ставший самовластным правителем обширной западной части Золотой Орды, поссорившись с местными кыпчаками, вытеснил большую часть их за Перекоп (*Веселовский Н.И.* Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Пг., 1922). Внешне это выглядело как «очищение» полуострова от прежних насельников и установление численного и культурно-политического преобладания пришлых «татар». На деле всё обстояло иначе. Во-первых, всех кыпчаков, в том числе частично ассимилировавшихся, вытеснить было невозможно. Во-вторых, эти половцы были далеко не единственным доордынским этносом Крыма. В-третьих, пришлые кочевники не могли по совершенно объективным причинам занять ни численно, ни культурно господствующего положения на полуострове[2]. Наконец, в-четвёртых, о том, что в XI–XIII вв. в Крыму, даже в условиях кыпчакской, сельджукской, ордынской иммиграций, не происходило *замены* одного населения другим, однозначно свидетельствуют такие бесспорные исторические источники, как материалы раскопок (*Айбабин* и др., 1993. С. 217).

Тем не менее некоторые учёные полагают, что именно 1233 г. можно считать в этнической истории Европы «началом крымских татар» (*Суперанская*, 1995. С. 21).

С этим утверждением можно согласиться лишь с существенной оговоркой. На полуострове теперь присутствовали практически все этнические компоненты, все составляющие, из которых только несколько столетий спустя сложится новая нация. Другими словами, крымских татар *ещё не было*. В Крыму собрались лишь их прародители, не более того[3]. Тем не менее, приведённое утверждение

---

[1] Сельджукам удалось разгромить кыпчаков, так как шедший им на помощь русский князь опоздал. После первых битв Чобан захватил Сугдею, которая признала свою вассальную зависимость от султана Кейкобада.

[2] Это соотношение — скорее правило, чем исключение: «Мы знаем, что все странствующие народы — а народами в этом смысле были как персы Кира, мамертинцы и крестоносцы, так и остготы и „народы моря“ с египетских надписей — были очень малы по отношению к населению занятых областей, насчитывая немногие тысячи воинов, и превосходили туземцев лишь своей решимостью: ими двигал порыв *сделаться судьбой*, а не претерпевать её (курсив мой. — *В.В.*). Присваивалась не пригодная к обитанию, но обитаемая земля, что сразу же превращало отношения пришельцев и туземцев в сословный вопрос, переселение в целом — в кампанию, а приобретение оседлости — в политический акт. И вот теперь, когда мы установили, что успех крошечной кучки воинов с его последствиями — распространением имени и языка победителей — слишком с большой лёгкостью представляется с исторического отдаления „переселением народов“, следует ещё раз задаться вопросом: что же всё-таки способно переселяться?» (*Шпенглер*, 2003. С.166). Нужно признать, что исчерпывающего ответа на этот вопрос нам пока не встречалось, хотя ближе всего к нему подошёл Л.Н. Гумилёв с его теорией пассионарности.

[3] Самоназвание населения Крыма не имело ничего общего с этнонимом «крымские татары», возникшим гораздо позже. Заслуживает внимания замечание Нурие Биязовой, что тогда лишь «началось объединение в единый общий народ, ибо были разные группы

имеет бесспорную инструментальную ценность: упрощая сущности, оно позволяет в дальнейшем именовать коренное население Крыма именно «крымскими татарами» (когда-то ведь всё равно надо *начинать* называть народ его именем!). То есть делать это по отношению уже к эпохе Средневековья, не дожидаясь XVIII или даже XIX в., когда этногенез нации *полностью* завершится. Ведь, строго говоря, этот процесс вообще не имеет конца. Он продолжается, пока этнос живёт и развивается, втягивая в свою орбиту представителей других племён и народов, обогащая соседние культуры и взаимно обогащаясь от контактов с ними.

Итак, Крым стал частью Монгольской империи, которая присылала для верховного управления им своих наместников. По некоторым сообщениям, записанным несколько позже этих важных событий, первым из наместников стал Узан-Тимур, внук Джучи, старшего сына Чингис-хана. В 1260-х гг. ему наследовал темник Тук-Бука и некий Таюк (*Некрасов,* 1999. С. 48). Впрочем, согласно некоторым источникам, Узан-Тимур был крымским наместником и при внуке Батыя, золотоордынском великом хане Менгу-Тимуре (1266–1280 гг.) (*Кляшторный, Султанов*, 2000. С. 197).

Установление монгольского имперского наместничества в Крыму, а с ним и единообразной власти, стало событием, важным для развития первых контактов, а затем всё более тесных взаимоотношений и связей между захватившими власть степняками и многочисленным местным населением. А отношения эти были далеко не однозначными уже потому, что столкнулись не только два основных типа хозяйствования, но и глубоко различные модели жизни, которым в перспективе предстояло вынужденно «притираться» друг к другу.

Административное управление, сосредоточившееся в руках пришельцев, в дальнейшем, во времена продолжавшегося широкого проникновения их в Крым, только укреплялось. Очевидно, в эти десятилетия XIII в. численность населения полуострова заметно возросла благодаря иммиграции, которая шла двумя основными путями: сухим — через Перекоп (отсюда вливались различные тюркские орды из-за Волги и Дона), и водным — через Чёрное море (речь идет о малоазиатах-сельджуках, тоже тюрках, встречавшихся в Крыму со своими кочевыми и оседлыми собратьями). Впрочем, сельджукские переселенческие волны время от времени откатывались и назад, в Малую Азию, в основном по военно-политическим причинам. Хотя, в конечном счёте, их осталось на Южном берегу довольно значительное количество, о чём ранее уже говорилось.

Формы быта этого пёстрого, постоянно волновавшегося человеческого моря с течением времени изменялись. Первое время кочевники не оседали на полуострове в полном смысле этого слова. Они оставались здесь лишь на зимовки, летом снова уходя в бескрайние степи Причерноморья, покрытые высокими

(ялыбойлю, таты, кыпчаки, ногайцы), которые со временем стали именовать себя „къырымлы"... Несомненно достоин внимания и тот факт, что Гераи-чингизиды — татары в традиционном понимании, назвали своё государство не Крымскотатарским, а Крымским Ханством (Къырым Ханлыгъы), мудро рассудив, что получив в управление территорию с населением, намного превосходящим их свиту, стоит оставить его название таким, каким оно было до них» (БК, 2006. С. 213). Здесь требуется лишь небольшое, непринципиальное уточнение — ранее, до Гиреев, ханство уже звалось Крымским Юртом — но это не меняет смысла сказанного.

травами. При этом каждый улус имел в Крыму установившуюся зону для зимовки; всего их было семь. Со временем осевшие улус-беи образовали здесь свои бейлики или вотчины, получившие наименования по именам бейских родов: Ширины обосновались на территории от Перекопа до Азовского моря (включая Солхат), неподалеку от них, в районе Судака и Кефе — Аргины, а ниже по равнине — Барыны. Сиджеутов и Мансуров вполне устраивали степные просторы, включая Западный Крым, а Яшлавы основали свои родовые сёла Биюк-Яшлав и Кучук-Яшлав чуть южнее нынешнего Бахчисарая, которого тогда ещё не было (*Мухамедьяров*, 1990. С. 574). Ещё позднее бейлики объединились в цельное государство — Крымский юрт. В конечном счёте на ханском престоле утвердился родственный Ширинам род Гиреев (см. ниже).

Что касается не столь славных родов, известных только истории Крыма, то имена их сохранились благодаря топонимам: как известно, это весьма стойкий и консервативный вид информации. Таких родовых имён, запечатлевшихся в названиях деревень и сёл, немало на всей территории полуострова. Однако основная часть их концентрируется по ряду причин в районе политического и этнического ядра бывшего Крымского юрта Золотой Орды, затем Крымского ханства. То есть в северных предгорьях, между Балаклавой и р. Кучук-Карасу. Вспомним эти имена, которые предки не только давали окружающим их местностям, но и присовокупливали их к своим родовым именам: Байдар, Чоргун, Сюйрен, Албат, Качи-Кальон, Актачи, Аранчи, Бодрак, Мангуш, Кояш, Карач, Курчи (Куркчи), Даир, Битак, Аратук, Джолман, Вейрат, Калмук-Кары, Кайнаут, Чуюнчи, Найман, Конграт, Баксан, Бураган, Тайган, Тама, Уйшунь...

Относительно немногочисленные, но спаянные воедино традиционной, давно для них привычной дисциплиной, золотоордынцы поставили в положение данников почти всё население Крыма. Однако в культурном отношении местное население далеко превосходило пришельцев. Носители средиземноморской культуры, оседлые крымчане итальяно-греческого происхождения составляли в XIII–XIV вв. почти $^{2}/_{3}$ городского населения Восточного Крыма. В сельской же местности обитали почти исключительно потомки иных, выше уже перечисленных племён и народов, давно уже считавшие полуостров своей родиной и говорившие на ряде тюркских диалектов.

Оседание кочевников происходило, как и в других областях, постепенно. Как заметил историк народа, обитавшего гораздо южнее Крыма, «тонка грань между кочевником и оседлым жителем. Чуть меньше дождей — и крестьянин срывается с земли, чуть больше — и кочевник сеет хлеб» (*Шамир,* 2010. С. 202). Но в превращении крымских кочевников в земледельцев большую роль, кроме природно-климатического, играли и психологический, и культурный факторы. С течением времени местное население стало оказывать всё более активное влияние на пришельцев. Но и без этого культурного обмена сам процесс оседания на землю не мог не менять быт и духовный мир бывших скитальцев степей.

Раньше у них понятие собственности было довольно относительным, так как владели они лишь личным (семейным) подвижным имуществом, к тому же непрерывно менявшимся — даже кибитки время от времени приходили в негодность, не говоря уже о естественной смене домашних животных.Таким образом

ещё не было главного условия для возникновения ни наследственной недвижимости, ни истории, тоже наследственной, «памятливой», привязанной к природным и рукотворным памятникам.

Теперь, когда люди стали обзаводиться постоянными жилищами, положение изменилось. Человек стал срастаться с землёй, обретая при этом совершенно иное мировоззрение. «Как совершенное выражение этого жизнеощущения повсюду возникает *символический образ крестьянского дома*, который устройством помещений и каждой чертой внешней формы свидетельствует о крови своего обитателя. Крестьянский дом — это великий символ оседлости. Он сам — растение: он глубоко пускает корни в *«собственную»* почву. Это *собственность* в самом святом смысле. Добрые духи очага и двери, земельного участка и помещений... имеют здесь каждый своё определённое место, точно так же как и сам человек» (*Шпенглер*, 2003. С. 90–91).

А потом следует продолжение: в группе стоящих неподалёку друг от друга домов возникает совершенно новое, неведомое бывшим кочевником сообщество. Образуется единое целое, отличающееся от орды (которая тоже единое, но текучее, менявшееся целое) своим *постоянством*, если не вечностью. Ему предстоят развитие и жизнь в истории и в определённой, складывающейся постоянной форме. Селение обретает общий язык, архитектурный образ и культурный *стиль*, способный распространяться среди близлежащих усадеб, вполне добровольно принимающих его и именно ему следующих.

Этому глубокому этнокультурному процессу, этому духовному перерождению основной массы «новых крымчан» способствовала начавшаяся уже после образования Крымского юрта внутренняя миграция. Если первоначально пришельцы предпочитали степные пастбища, то теперь некоторая часть их живет не только в селах побережья, но и в городах Центрального и Восточного Крыма. Так, во второй половине XIII в. мы видим крымских татар хозяевами генуэзского торгового пункта Солхата-Солката (ныне Старый Крым). Постепенно этот город разросся настолько, что стал одним из многолюднейших культурных и экономических центров Востока.

б) Контакты тюрков с греками и итальянцами

Упомянутый город стал под именем *Крыма* татарским административным центром типа главного наместничества, чья власть постепенно распространилась на весь полуостров. За 75 лет оседлые ордынцы успели не только отчасти породниться с местным, итальянско-греческим населением, но и кое-где перенять его язык, культуру, веру. Некоторые из ближайших потомков этих новообращённых даже пополнили ряды христианского духовенства (*Смирнов*, 1887. С. 33–35; *Гаркавец*, 1974). Показательно, что, когда в 1299 г. Крым подвергся набегу ордынского правителя Ногая, крымские татары-христиане были репрессированы наравне с их единоверцами из итальянских и греческих колоний восточного побережья.

Так складывались отношения местного населения с пришельцами, и именно это, вероятнее всего, было причиной довольно лёгкого приспособления греческих и итальянских жителей Восточного Крыма к системе наместничества.

Медные татаро-генуэзские монеты XV в. *Из: Генуэзцы, 2009*

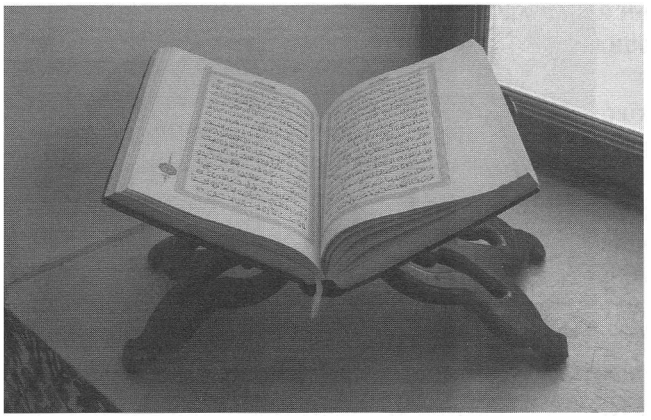
Местные жители примирились с верховенством ордынских чиновников, исправно платили им торговые пошлины и другие дани, взамен получая почти полную свободу деятельности. Приведём пример чисто купеческого равнодушия к формальной стороне дела: в качестве герба Кафы местные жители приняли тамгу ордынского хана и даже чеканили ее на своих монетах. С другой стороны, ханская администрация почти полностью ограничивала свою активность делами ордынцев и всё более сливавшегося с ними местного населения, то есть делами крымских татар, оставляя внутренние проблемы средиземноморских колонистов их же самоуправлению (*Браун*, 1872. С. 150–153). Бразды управления экономикой края также оставались в руках местного населения.

Такой порядок, такое разделение сфер влияния (скорее всего, неофициальное) имели два важных последствия. Одно из них было экономического характера: Кафа, пользуясь свободой действий, именно с конца XIII в. становится «одним из крупнейших мировых центров тогдашнего экспорта и импорта, обильно снабжавшим восточную и западную торговлю жизненными продуктами» (*Колли*, 1913. С. 106). Благодаря объективно продолжавшемуся существованию бескрайнего монгольского мира, на что не так уж сильно повлиял и распад великой империи на улусы Хубилая, Хулагу и Джучи, жители Крыма и приезжавшие на полуостров купцы по-прежнему имели доступ к наиболее далёким её рынкам. Растёт значение крымских городов (прежде всего Кафы) как центров не только торговли, но и ремесленного производства.

Второе последствие упомянутого разделения имело этнокультурный характер. Население колоний, как итальянское, так и, в особенности, греческое, активно заимствует тюркскую культуру, в том числе частично и язык. Именно к XIII в. относится основа этногенеза ещё одного из будущих народов Крыма, *урумов,* тюркоязычных христиан греческого происхождения, *румеев*, сохранивших греческий язык, а также этнической группы *женовезе,* о которой говорилось выше (*Белецкий*, 1970. С. 13).

в) Торжество ислама в Крыму

Пришедшие в Крым ордынцы были язычниками — огнепоклонниками и шаманистами. Они поклонялись небесным светилам, земле, воде, огню, идолам — небольшим по размеру войлочным божкам, которых они возили с собой. Затем



Подставка для Корана традиционной крымской формы. *Совр. фото*

пришла пора ислама. Именно пришла, а не была искусственно привнесена арабскими миссионерами в эти удалённые от очагов мусульманской культуры, окраинные для неё земли. О фактической неизбежности этого процесса прекрасно сказал один из великих немецких культурологов XX в.:

«После 900 г., после спада, начинается нечто новое, заявляющее о себе с неотвратимостью судьбы и с глубиной, обещающей долговечность... около 800 г. над всеми землями, как солнце, поднявшееся от мировых столиц Востока, взошла арабская цивилизация, — точно так же, как в своё время эллинистическая цивилизация, сияние которой и до всякого Александра (Македонского. — *В.В.*) и даже ещё прежде него доходило до индусов. Александр её не пробуждал и не распространял: он отправился на Восток по её следам, а не шёл во главе её» (*Шпенглер*, 2003. С. 88).

О том же пишут наиболее объективные учёные-иудеи, противопоставялл арабскую культуру дикарству и невежеству средневековой Европы: «арабы-мусульмане были самой культурной и интеллигентной хорой (т. е. обществом. — *В.В.*) на планете. Тогдашние европейцы были так же далеки от них, как зоопарковые шимпанзе от Романа Бронфмана или от Эйнштейна» (*Беленький М.* Похвално слово за исляма // Ново Време (София). 2006. № 11. С. 125).

Когда ислам проник в Крым — сказать с точностью довольно трудно. Здесь имеется в виду широкое распространение ислама среди населения полуострова, подтверждённое бесспорными письменными и археологическими источниками. Некоторую информацию дают сведения, относящиеся к традиции. Так, в отношении христианства информативная база имеется: первый восточноевропейский апостол евангельского учения Андрей Первозванный начал свою «проповедь в Крыму в пещерных городах, по преимуществу скифам» ещё в I в. н. э. (*Завадовский*, 1885. С. 37; см. также: *Геллей*, 1984. С. 466). Точно так же, но уже в крымскотатарской народной традиции первые мусульмане появились на полуострове поразительно рано. Речь идёт о двух арабах, Малике Аштере (Малик аль-Аштар бин Харита эн-Нахаи, 618–657 гг.) и его современнике Гази Мансуре, известных сподвижниках Мухаммада, начавших свою миссионерскую деятельность в Северном Причерноморье, в том числе и Крыму, ещё в I веке хиджры (VII в. н. э.), и здесь, в Бахчисарае, похороненных.

Известный путешественник и знаток Крыма Эвлия Челеби, сообщая об этом, рассказывает следующее: от крепостных ворот Чуфут-Кале «спуск тянется вниз на 4 тысячи шагов. Этот недостойный (этим именем скромный автор обозначал самого себя. — *В.В.*) спустился так пешком и подсчитал шаги. Через 2 тысячи шагов, возле родников, находится великая святая могила шейха Мансур Мединн. Он был одним из благородных сахабов святого Столпа пророчества» (*Челеби*, 1999. С. 38). И далее: «В этом Эски-Юрте находится могила двоюродного брата Муаза бен Джебеля — зиярет полководца, храброго султана святого Малика Аштера. Он был одним из сахабов[1] святого Столпа Пророчества...» (указ. соч. С. 66).

Впрочем, современные крымские историки относятся к этим свидетельствам как к чисто народному преданию и дают факту появления в Крыму сахабов следующее объяснение. Войска Омейядского халифата трижды (669, 673–668 и 717–718 гг.) осаждали Константинополь. В числе этих воинов ислама находилось немало сахабов, которые «зачастую добровольно отправлялись с миссионерской целью далеко за пределы Халифата, в данном случае на Балканы и в Крым... И неспроста могилы сахабов находятся на оживлённом пути, пролегавшем из Херсонеса (т. е. ближайшего от Константинополя крымского порта. — *В.В.*) вглубь полуострова» (*Айдер-оглу*, 2001. С. 5).

Эти выводы подтверждаются фактом воздвижения текие Гази-Мансура (хоть и гораздо позднее) на отрезке старинной дороги между Чуфут-Кале и Успенским монастырём. А также постройкой мечети с текие у могилы второго сахаба в Эски-Юрте (оба эти памятника были уничтожены после депортации 1944 г.). Впрочем, посещение сахабами Крыма вовсе не говорит о том, что они принесли на полуостров свет новой веры. Возможно, они, в самом деле, проповедовали ислам. Скорее всего, зная их пламенно-религиозную натуру, так и было — ведь кто-то сохранил их могилы, ухаживал за ними и передавал заботу о них потомкам. А те пронесли рассказ о двух первых мусульманах Крыма сквозь века, до торжества ислама на полуострове. Это позволяет сделать предположение о том, что могла и в те давние годы существовать узкая община мусульман (возможно, тайная) в окружении иноверцев — христиан и язычников. Но это лишь наше предположение.

Бесспорные же факты говорят об ином, более массовом пути проникновения сторонников ислама на полуостров. И едва ли не более вероятно, что первые общины (возможно, кварталы) приверженцев ислама, которые, конечно же, поначалу составляли ничтожное меньшинство в сравнении с остальным населением Крыма, появились в крымских портовых городах, где контакты крымцев с приезжими мусульманами были наиболее тесными.

Но для выяснения хотя бы приблизительной динамики обретения крымцами исламской веры в единого Бога, необходимо обратиться к истории проникновения и развития её в граничащих с Азией регионах Восточной Европы.

---

[1] Шейх — религиозный титул, который носили главы дервишских обителей (текие) или вожди племён. Сахаб (ал-асхаб) — сподвижник Мухаммада, принимавший участие в его походах или вообще современник Пророка, слышавший его проповеди, даже будучи ребёнком. Сахабы составляли самую убеждённую и преданную учению элиту первых мусульманских армий, расширивших исламскую часть мира за пределы Аравии (Подр. см.: Ислам, 1991. С. 23–24).

История эта, как часть общей истории Крыма (её периодизация приводилась выше), также может быть разделена на несколько периодов:

1. *Хазаро-болгарский* — от появления первых мусульманских общин на юго-западном побережье Каспия и, возможно, в Крыму (VIII в.) до утверждения ислама на территориях севернее Кавказа в 1240-х гг.

2. *Ордынский* — от формирования империи Чингис-хана и отделения от неё Золотой Орды в качестве самостоятельного государства, до распада последней на рубеже XIV и XV вв.

3. *Ханский* (Гиреевский) — период лидирующего положения Бахчисарая как исламского центра для всего Северного Причерноморья.

4. *«Российский»* — период медленного упадка мусульманской культуры (но не веры!) в колонизованной имперской части тюркского мира.

5. *«Советский»* период многопланового форсированного наступления на ислам и последующего упадка веры и перехода значительного количества тюрков СССР в лагерь сторонников коммунистической утопии.

Первый период открылся завоевательными походами арабов, в VII в. остановившихся на южных рубежах Восточной Европы. Не сумев преодолеть Каспий и хребты Кавказа, они тем не менее в 653 г. прочно обосновались на берегу моря, в пограничном Дербенте. Эта крепость имела важное геополитическое положение, контролируя единственный в том регионе торговый путь, проложенный вдоль прибрежной полосы между Кавказом и Каспием и ведший из Азии в Европу. По нему ислам стал продвигаться на север вместе с мусульманскими купеческими караванами. Первыми обратились в новую веру хазары, но далеко не все и не навсегда: часть этих тюрков сохранила язычество, часть приняла иудаизм.

По этой и иным причинам продвижение веры Пророка шло на север довольно медленно. Лишь в конце IX — начале X вв. письменные источники сообщают, что в г. Итиле (дельта р. Волги) высятся многие мечети с минаретами, есть и соборная мечеть. Впрочем, возможно, такие храмы существовали уже давно — из источников неясно, когда именно все эти мечети были возведены. Булгары, жившие в основной своей массе севернее, испытывали исламское влияние одновременно с двух сторон — из дербентского и хорезмского духовных центров; у них уже в 903 г., как сообщали современники, имелись мечети, мектебы, медресе, множество имамов и муэдзинов (Ислам. Т. I. С. 21–22).

Поэтому, кстати, булгарская культура и смогла войти в общую, золотоордынскую цивилизацию как одна из самых выдающихся её составляющих — городская, оседлая скотоводческая, земледельческая. В дальнейшем же именно булгарский исламский дух стал, как считают некоторые историки, стержнем новой исламской золотоордынской культуры. Как и сам булгарский этнос стал органичной частью одного из тюркско-мусульманских народов, крымскотатарского, обогатив его своей древней городской культурой. Достижения искусства волжского Сарая распространилось не только вдоль берегов Итиля-Волги, этой великой тюркской реки. Его искусство ещё долго задавало тон и в Крыму, чьи шедевры на протяжении многих десятилетий весьма напоминали сарайские. И лишь гораздо позднее к крымским культуре и искусству будут привиты сочные стебли сельджукских, египетских, генуэзских культурных традиций. Что и наложит на всю культуру татарского Крыма «особую печать» (*Spuler*, 1943. S. 435).

После того как в 965 г. иудаизму в Хазарии был нанесён решительный и окончательный удар, процесс распространения мусульманства на Северном Кавказе, в Великой степи и в приволжских регионах ускорился. Впрочем, как утверждают, ещё до того, в 922 г., в регионе севернее Кавказа и Чёрного моря успешно проповедовал по пути в Великую Булгарию из Арабского халифата секретарь посольства Сусана ар-Раси и «крупный носитель учения чистого ислама» Ибн-Фадлан (Подр. см.: *Валеев, Набиев*, 1999. С. 97). А в Волжской Булгарии, по словам самого Фадлана, он встретил вполне сформировавшуюся мусульманскую общину. Местный властитель Джафар (в язычестве Алмуш) имел дворцовую мечеть, в которой имамом провозглашалась хутба его имени, а подданные вполне грамотно совершали намаз. Кроме того, они прекрасно знали историю праведных халифов, проявляли чисто мусульманские учтивость, эрудицию и т. д. (*Фаизов*, 1999. С. 5–6).

В дальнейшем, когда центр исламского влияния переместился из Дербента в г. Итиль (Сарай), дело пошло ещё живее. Хан Берке (1257–1266 гг.) был уже мусульманином, причём образованным — он обучался в Бухаре у суфийского шейха Сайф ад-Дина Бахарзи (*Кляшторный, Султанов*, 2000. С. 221). Науки не уменьшили его воинственности: объединившись с египетскими мамлюками[1], хан не раз воевал с язычниками. В ту пору мамлюками правил Захир Рукн ад-дин Бейбарс (1260–1277), могущественный султан, гроза крестоносцев, чьё имя, между прочим, по недоразумению было вписано в историю Крыма. В Солхате была построена мечеть, которую стали называть «мечеть Бейбарса» (о ней см. ниже), хотя её воздвигли уже в правление султана Эльмелика Эльмансура Калауна (1279–1290)[2].

Впрочем, исламизация Золотой Орды завершилась уже при хане Узбеке (1313–1342 гг.). На протяжении трёх веков, вместивших указанные события, никаких следов ислама в Северном Причерноморье не было заметно; впрочем, возможно, последнее слово скажут будущие исследователи этого старинного сюжета.

Основная заслуга хана Узбека перед историей в том, что он не только увлек в лоно учения Пророка множество жителей Северного Причерноморья и Крыма, но и сумел, помимо этого, духовно объединить своих подданных, причём настолько искусно, что они почувствовали себя отныне одним целым. В более общем плане исламизация всего огромного региона Восточной Европы, включая Поволжье, была бы невозможна без упорного, титанического трёхвекового труда арабских проповедников и улемов (впрочем, в народных преданиях эту заслугу доныне относят на счёт каких-то легендарных суфийских шейхов).

---

[1] Мамлюки — смешанный этнос (причерноморские кыпчаки, курды, монголы), первоначально гвардия египетской ветви турецкой династии Аюбидов. После дворцового переворота 1250 г. её верхушка образовала самостоятельную династию мамлюкских султанов, правивших в новом государстве (включавшем Египет и Сирию) до 1517 г., когда они были свергнуты турками. В 1711 г. мамлюкским эмирам уделось снова захватить бразды правления, но ровно через век их власть была окончательно ликвидирована египетским пашой Мухаммедом Али.

[2] История упомянутой путаницы и её истоков подробно изложена в специальной работе «Мечеть Калауна» (*Купченко*, 1998. С. 12–14).

Бесспорно иное: миссия египетских вероучителей закончилась полным успехом. Они победили в «конкуренции» с миссионерами других религий, прежде всего потому, что превосходили их *культурно*. И культурные связи с Югом были для тюрков безусловно привлекательнее, чем такие же контакты с Севером или Западом. Именно в XIV в. исламская область на территории Восточной Европы достигла своего пространственного максимума, сохранявшегося многие века практически без изменений (лишь в начале XX в. она вновь расширяется — появляются мечети на берегах Балтики, а ещё через век — в Петрозаводске и даже Мурманске с Архангельском).

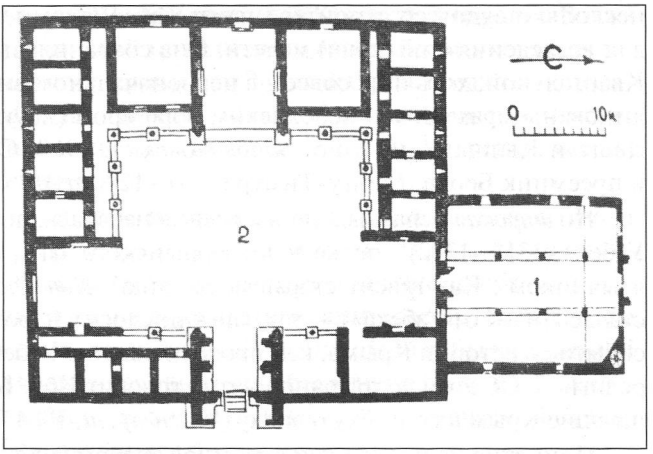
Необходимо отметить, что первичное продвижение ислама на всё новые территории Восточной Европы было исключительно мирным и постепенным, носило эволюционно-духовный, а не политический характер. Золотоордынские ханы не только не принуждали иноверцев принимать религию Пророка силой, но и не поощряли мусульманского миссионерства, старались сохранить добрые отношения с другими авраамическими конфессиями, предоставляли православной церкви льготы, не допускали репрессий священников и т. д.

Наконец, общеизвестна историческая статистика церковного строительства в православном регионе Европы: если в первый век господства Орды на Руси было основано всего 30 монастырей, во втором веке «ига» эта инерция была нарушена. Число новых православных обителей *возросло впятеро* — естественно, не без покровительства «угнетателей». Что говорить, если даже в самом Итиле-Сарае, духовном центре восточноевропейского мусульманства, митрополитом Кириллом (естественно, с благосклонного согласия великого хана Берке) в 1261 г. была учреждена огромная и богатая Сарайская епархия, границы которой простирались от Волги до Днепра[1].

Известно, что с социальной точки зрения ислам первоначально распространялся преимущественно среди верхов общества. Но что касается рассматриваемой эпохи, то к социально значимой части мусульманского населения можно уверенно отнести и интеллектуальную элиту. Отчего так происходило, сказать трудно. То ли представители аристократического духа чаще сталкивались с иноземцами, то ли эстетически они были более развиты? Хотя, как утверждали классики марксистской историографии, не интеллигенты, а политики были первыми, кто распознал сугубо практические выгоды новой религии, якобы обожествляющей духовно-политическую власть элиты над массой.

---

[1] Особенно контрастно выглядит такая модель жизни, выстроенная ордынцами в многонациональном обществе Восточной Европы той эпохи в сравнении с московскими поведенческими стереотипами. И шире — с московской политикой по отношению к покорённым иноверцам и иноплеменникам: «напротив, [русские] воеводы в единении с иерархами православной церкви задались целью искоренить ислам, разрушить множество мечетей и перебить их служителей» (Ислам т. Р. Вып. I. С. 23). Другими словами, уже тогда, в самом начале эпохи генезиса народов Крыма, в фундамент этнопсихологии крымских татар будущего были заложены здоровые зёрна *терпимости*, толерантности, открытости, готовности *к диалогу*, столь прославившие коренных крымцев в далёком будущем. С самого начала этногенеза у этого народа совершенно не было того «внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений» (*Салтыков-Щедрин*, 1988. Т. VIII. С. 25).



План «мечети Узбека» (1) и медресе (2).
Из: Домбровский, Сидоренко, 1978

Во всяком случае, вряд ли заслуживают внимания голословные утверждения советских учёных насчёт того, что ислам проник в Крым стараниями неких вездесущих «проводников ислама», попадавших в Крым «под видом торговцев», которые были «радушно встречены крымскими феодальными верхушками» в качестве охранителей их экономического «благополучия и интересов» (*Смирнов*, 1931. С. 32, 33). Тут российский автор несколько путает победоносное шествие ислама с не всегда прямыми (в лучшем смысле слова) путями проводников идей ордена иезуитов.

Самой старой из сохранившихся мечетей ханства ранее считалась эски-къырымская мечеть Эль-Хаджи Мухаммеда (её принято именовать *Мечетью Узбека*). Расположенная вплотную к медресе, она несёт на портале строительную надпись, датирующую завершение постройки (в переводе с Хиджры) 1314 г. Однако, согласно проведённым исследованиям, эта дата неверна — точнее был бы год 1332 (*Крамаровский,* 1989. С. 148). То есть она действительно была построена в годы правления Узбека (1312–1342), хотя главой городской администрации Солхата в те годы был Тулик-Тимур, а самой постройкой руководил выходец из Бухары Абдул-азиз аль-Ирбили, который и был похоронен в центре прилегавшего к мечети кладбища (*Челеби*, 1999. С. 83; *Крамаровский*, 1998. С. 69).

Другая мечеть, располагавшаяся возле старокрымского базара, была построена несколько раньше, в 1263 г. Очевидно, её возведение было напрямую связано с принятием ислама упоминавшимся золотоордынским ханом Берке, которое, по свидетельству арабских летописцев, имело место тогда же (см. *Лашков*, 1890 «а». С. 68). А уже в 1280-х гг, при том же правоверном Берке, египетский султан из мамелюков аль-Мелик аль-Мансур Калауни (1279–1290), по происхождению, как утверждают, эски-къырымский кыпчак[1], отправил из Каира в родной город

[1] Многие десятилетия заслугу возведения этой мечети приписывали одному из предшественников Калауни, султану аль-Мелику аз-Захиру Бейбарсу. Судя по всему, эта ошибочная версия впервые прозвучала ещё в пер. пол. XIX в. в одном из краеведческих трудов о Крыме (*Кеппен*, 1837. С. 340). Затем она была множество раз повторена в различных трудах, несмотря на то что упомянутый Бейбарс умер в 1277 г., то есть за несколько

несколько судов со строительными материалами, а также арабских мастеров для возведения ещё одной мечети. Она сохранилась до наших дней под именем Квартальной, хоть и не совсем в первоначальном виде. Ранее её стены были облицованы мрамором и персидским порфиром (*Абдуллах ибн-Ризван*, «Таварих-и Дешт-и Кыпчак», цит. по: *Зайончковский*, 1969. С. 15). Мусульманином был и преемник Берке, Менгу-Тимур (1267–1280 гг.).

Но *широкая* исламизация населения началась, повторяем, только в правление Узбека (1313–1342)[1], также золотоордынского хана, вступившего на престол ещё язычником[2]. Как гласит старая пословица, «*Дин Узбектен колды*» («Религия досталась [нам] от Узбека») — так запечатлелось в народном сознании такое важное событие в истории Крыма, как провозглашение Узбеком ислама государственной религией. Об этом достаточно внятно говорит Ибн-Батута и другие авторы, посещавшие Крым в ту далёкую эпоху (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 122, 194, 280).

Принятие ислама имело огромное значение для крайне пёстрого населения Крыма. Во-первых, общая религия не только объединяла, но и способствовала уравнению их в правах и возможностях. Во-вторых, это был мощный стимул к усвоению новой культуры огромного исламского мира, в ту пору наиболее цивилизованного на всём пространстве от Алтая до Британских островов, включая и Северную Африку. Наконец, единобожие вело человеческую мысль к пониманию цельности всего сущего, органично соединяло мозаичные, разбросанные обрывки сведений и информации в единую, логичную систему знаний, а Коран побуждал человека к усвоению этого знания. Отсюда — коренное изменение мироощущения, появление новых стимулов к постижению духовного и чувственного миров, взаимосвязанных и неразделимых. И, конечно, ислам в Крыму поднял на новый уровень гуманность, терпимость и стремление к постижению истины, от кого бы она ни исходила.

лет до возведения мечети. Возможно, источниками заблуждения П. Кеппена стали упоминания о посольствах, отправленных в Крым Бейбарсом в 1263 г., встречающиеся в записках Ибн-Абдеззахыра и Эль-Муффадаля (*Тизенгаузен*, 1884. Т. 1. С. 25, 192). Но в них мечеть не упоминается, зато о ней, как и о Калауни, чьими заботами она была возведена, определённо пишут более поздние авторы ибн-Батута, ибн-аль-Форат и эль-Макризи (*Тизенгаузен*, 1884. Т. 1. С. 281, 363, 435). Не исключено, что путаница возникла из-за некоторой схожести полных имён упомянутых султанов.

[1] Имеется единичное свидетельство тому, что ислам пришёл в Крым гораздо раньше: рассказывают, что на кладбище Кырк Азизлер некогда был надмогильный камень, датированный 110 годом Хиджры или 728 г. н. э. (*Озенбашлы*, 2005. Т. I. С. 7). Однако этот важный факт трудно подтвердить: он не был в своё время ни научно исследован, ни даже официально зарегистрирован.

[2] Согласно утверждениям старых мусульманских рукописей, Узбек-хан, родившись во вполне языческой семье, с детства обладал некоторыми качествами (например, контактностью, культурной восприимчивостью, а также уважением к традициям), которые свойственны скорее исламскому, чем шаманистскому психологическому типу. И, конечно, это во многом объясняет (если не обусловливает) его переход в общину Мухаммада. Вот одно из таких замечаний: «хан владел монгольским и тюркским языками, был красивой наружности, прекрасного нрава, отличался доблестью и отвагой, соединёнными с проницательностью, почтительным отношением к законам и постановлениям Чингисхана» (Цит. по: *Кляшторный, Султанов*, 2000. С. 215).

Судя по имеющимся данным, в XIII–XIV столетиях Крым стал, наряду с Волжской Булгарией, центром мусульманской цивилизации европейского континента, распространявшейся отсюда на другие территории Золотой Орды, среди тюрков Северного Причерноморья и, возможно, Кавказа. Таким образом, Крымское ханство уже с момента достижения им независимости имело авторитет государства с весьма почтенными исламскими традициями.

Экономическую основу процесса исламизации населения полуострова и всего региона следует искать в развитии торговли Крыма в XIV в., в усилении купечества, в бурном росте городов. Поэтому распространение мусульманского порядка и законности не могло не поддерживаться заинтересованными в нём горожанами — торговцами и ремесленниками. Для них шариат был гарантией мирного труда и безопасной жизни, насколько это объективно было возможно в ту пору. Но прежде всего ислам был привлекателен как учение огромной духовной мощи, тонкой красоты обряда и философской глубины.

Кроме того, введение ислама позволило впервые справедливо разделить всех подданных на две податные группы. Мусульманская имела ряд обязанностей, из которыз едва ли не самой важной было беспрекословное выполнение мужчинами воинского долга сколь угодно часто или долго. Немусульмане были не обязаны ходить в походы, но вместо того платили особую подать *харадж* (начислявшуюся с земли и с урожая), шедшую на вооружение материально необеспеченных ратников-мусульман (от этого налога справедливо освобождались семьи, где не имелось мужчин «призывного» возраста), а также подушную подать *джизью* — подробнее о них см. ниже. Позже обе подати слились воедино под именем первой из них.

Естественно, эта новая для Крыма религия не победила сразу и решительно во всех прослойках населения — и в XV в. пережитки язычества были очевидны. Кстати, крымский реликтовый, остаточный шаманизм был не чисто монгольской разновидностью этой системы, но более сложным, синкретическим верованием, включавшим в себя и элементы многих местных, крымских конфессий (*Усманов,* 1985. С. 180). Ко второй половине этого века именно ислам и шариат (по крымскотатарски *шериат*[1]) уже определяли жизнь крымских татар и устанавливали «в Крыму свой порядок вещей» (*Лашков*, 1897. С. 23). Тем не менее глубоко справедливо замечание, что крымский народный (бытовой) ислам был насыщен, как, впрочем, это было и в иных местах, «местными верованиями, обычаями и представлениями, нормами и ценностями», благодаря чему здесь постепенно сформировались «уникальные региональные варианты исламской веры и образа жизни, которые отличали и дополняли классический арабо-мусульманский центр» (*Валеев*, *Набиев*, 1999. С. 97, 107).

К этому периоду в Крыму устанавливается смешанное духовно-административное управление. Так, *муфтий*, глава духовного правления и законодательства, шёл по государственному рангу сразу за ханом. Затем следовали *кадии (казы)* — духовные судьи, разбиравшие, впрочем, и гражданские дела. *Мудеррисы*, духовные наставники, ведали и образованием народа. Настоятели дервишских

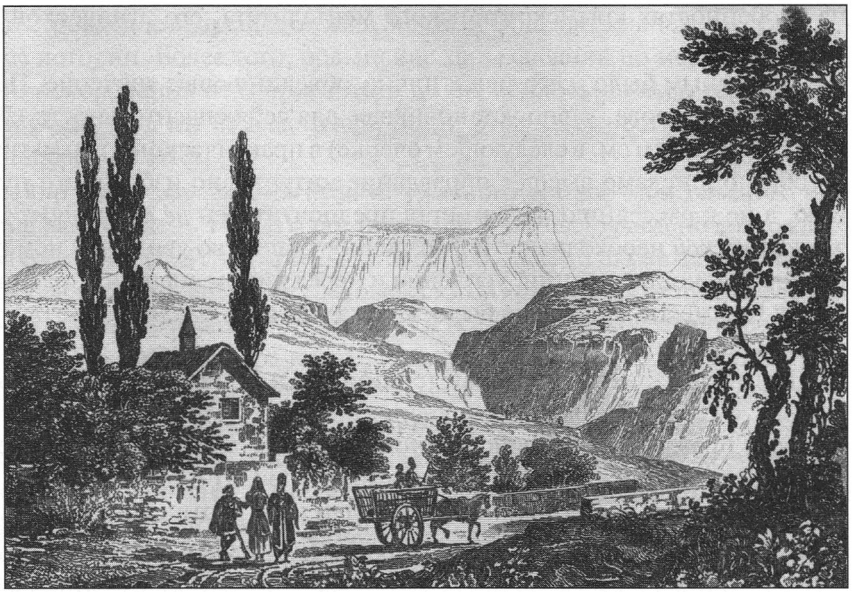
[1] Шериат — свод религиозных, уголовных и гражданских законов и правил, основанных на Коране.

После молитвы. *С литографии О. Раффе (колл. музея «Ларишес»). Просящие подаяния нищие — крымские цигане*

текий — *шейхи* — обладали исключительным авторитетом в разборе несудебных тяжб (подробнее об этом будет сказано ниже).

Придя с Востока, ислам сохранил в Крыму свою суннитскую окраску. При этом господствующим стал с самого начала ханафитский *мазхаб* (школа, доктрина), и это положение не изменилось до сих пор (подр. см.: Ислам т. Р. Т. I. С. 24; также: Ислам, 1991. С. 273). В частности, это отразилось на особенностях местной культуры, отличных от, к примеру, Персии. Из крымского традиционного искусства надолго исчезли изображения живых существ, зато пышно расцвели растительный и геометрический орнаменты[1], мавританская архитектура. А вскоре появились и первые крымские богословы, учёные, философы. В ту пору здесь, как и на Западе и на всём Востоке, университеты считались учреждениями, вдохновлёнными Богом и мудростью, которой Он наградил людей. Именно поэтому в многочисленных медресе (первые из которых возникли в золотоордынский период, а расцвели при хане Менгли-Гирее I) изучались не только Коран, богословие и мусульманское право, но и такие светские дисциплины, как арабский

[1] Показательно, что из трёх основных вариантов растительного орнамента (вьющиеся спиралью побеги, переплетающиеся стебли с утолщениями и сельджукская «плетёнка» или «цепь») один и тот же тип распространялся среди различных этнических и вероисповедных групп Крыма. Так, упомянутая «плетёнка» характерна для мечетей, армянских или греческих церквей, еврейских синагог, караимских кенасс, генуэзских башен Солдайи и Кафы, её можно видеть и на плитах христианских могил Мангупа (*Башкиров, Боданинский*, 1925. С. 301–302; *Якобсон*, 1964. С. 117). Это дает возможность классифицировать подобный декоративно-архитектурный стиль как «крымский» или же «крымско-сельджукский».



Старинная мечеть на фоне Чатырдага.
Pallas, 1801

язык, риторика, логика, философия, география, арифметика, астрономия. По сути, это была высшая школа, тогда не уступавшая европейской, а в некоторых отношениях её и превосходившая.

Ислам сыграл огромную роль в *этногенезе* крымскотатарского народа, оценить которую можно только в сравнении. С русским, например. Великорусский этнос также складывался из весьма несхожих этнических и социальных компонентов. Но в условиях слабой религиозности народа, длительное время сохранявшихся ярких пережитков язычества или многобожия, сильной окрашенности русского православия идеями манихейства и державности, церковь не смогла обрести в толще этнических масс доверия и авторитета, она была не в силах сыграть роль объединяющего духовного начала, поскольку «для российской социокультурной среды весьма характерна антиномичность (противоречивость в определении. — *В.В.*) ценностей и смыслов, что приводит к постоянным и острым расколам в обществе» (*Ерасов*, 1998. С. 137).

Такого противостояния нравственно-эстетических принципов и культурных начал, к счастью, не наблюдалось в сложившемся обществе Крыма. Ислам содействовал возникновению мощного срединного элемента, народа — носителя мозаичной по происхождению и объединительной по функциям культуры. Провозгласив принцип терпимости, именно учение Пророка смогло стать единой прочной основой, на которой в эпоху Средневековья была выстроена система органично взаимодействовавших социальной, экономической, политической и духовной структур новой нации. Ислам оказался способен связать здесь материальную и духовную стороны повседневности, индивидуальное и коллективное начала, а также развил в человеке ощущение единства с природой, что определяющим образом сказалось

на особенностях крымскотатарского менталитета, его этнической психологии и культуры.

Огромным было и его межэтнично-объединяющее значение. Пёстрое население полуострова, давно установившее для себя спасительность «Духа Единой Команды» (о нём см. в следующем очерке) в практическом, прагматическом плане обрело в исламе высшее оправдание интуитивно избранного пути к единению, а не к рассеянию. Ислам стал предпочтителен *не по принуждению* и не по *экономической* необходимости. Мозаичное общество увидело в нём перспективу сплочения, консолидации, усиления и перед лицом внешних опасностей, от которых Крымское ханство не было, к сожалению, избавлено ни в одном столетии своего существования.

Безусловно, межэтническая терпимость и социальная стабильность, которые нёс с собой ислам, были сродни консерватизму и чреваты стагнацией или застоем, прежде всего хозяйственно-экономическим. Но что лучше: стагнация (материальная, техническая, отнюдь не духовная) или «прогресс», неминуемо раскалывающий общество по горизонтали и по вертикали, после чего оно становится лёгкой добычей алчных соседей? Этот вопрос перед крымцами Века ислама не стоял — ответ на него они давали историей всей своей жизни ещё с доантичного периода[1].

Другое дело, что уже по принятии новой веры она оказала и огромное благоприятное влияние на экономическое развитие Крыма. Единая вера упростила создание единой экономики, то есть экономически взаимодополняющее разделение видов труда между степью, горами и побережьем. А такое разделение предполагает взаимное доверие и полное понимание нужд и возможностей участников. Далее, ислам, как ни одна другая, менее терпимая религия, благоприятствовал решению проблем складывавшегося евразийского рынка, по сути, глобального.

Наконец, именно ислам с его культом знания, то есть единой конфессионально-светской учёности, и городской культуры, содействовал в Крыму возникновению и росту городов и урбанистической экономики. И значит, развитию ремёсел, торговли, а также сопутствовавших инфраструктур вроде портового хозяйства, дорожной, гостиничной, складской сети и пр.

Ислам действовал в том же направлении в смысле *социального* (то есть независимого от этнического происхождения) сближения или, по крайней мере, уменьшения сословного раскола. Он не уравнивал людей экономически, такой цели никто из мусульманских проповедников или идеологов себе и не ставил. Но внеэкономическое разделение и эксплуатация человека человеком посредством специальных методов принуждения в исламском мире безусловно осуждались, причём не только теоретически. Известно, что обращать мусульман

[1] В этом выводе мало нового — консолидирующая роль ислама в крымскотатарском этногенезе была ясна образованным людям ещё позапрошлого века. А.А. Скальковский отделял большую часть населения Крыма, «Татар Крымских или первобытных обитателей этого полуострова, принявших по воле или неволе Магометанскую веру» от «Ногаев или Татар-победителей, Монгольских или Кипчакских», то есть степняков, как известно принявших ислам, но в большей мере, чем жители гор и побережья, сохранившие языческие пережитки (*Скальковский*, 1850. Т. I. С. 294).

в рабов было строжайше запрещено уже в Золотой Орде на позднем, мусульманском этапе её истории. Более того, ордынские ханы следили по мере сил за тем, чтобы такого оскорбления созданиям Бога не наносилось на всей территории, подвластной Орде, там, где её властители несли ответственность за божественный порядок перед Аллахом.

Не случайно после избавления Руси от ужасного «татаро-монгольского ига» (прекращение дани Орде — 1480 г.), там почти сразу же было введено долгожданное рабство (Судебник 1498 г.), и крестьяне были наконец-то намертво прикреплены к земле феодалов и лишены своих человеческих и христианских прав. Светские князья отняли у своих *единоверцев* практически все свободы: совести, передвижения, труда, даже брачного выбора и т. д., преступив все гуманные, человеческие законы, чего в исламских Орде и тем более Крыму никогда не наблюдалось.

Что же касается чисто содержательной стороны Учения, то не будет большим преувеличением сказать, что крымская почва для него была хорошо удобрена арианством — вначале крымских готов, а позже — попавших под готское влияние херсонских и боспорских христиан-греков. Как упоминалось во II очерке этого тома, епископ Ульфила объективно стал предтечей исламского монотеизма в Причерноморье, гениально предугадав и отразив в своей системе основополагающие истины великой религии, пришедшей в Крым несколькими веками спустя. О том, что к моменту широкой проповеди ислама в Крыму здесь уже имелось немало кыпчаков-христиан, свидетельствует, кроме некоторых более ранних источников, такой важный памятник, как Кодекс Куманикус, где явны следы сюжетов Евангелия и христианских гимнов[1]. Поэтому мусульманским миссионерам пришлось иметь в Крыму дело не с косной языческой (шаманистской, идолопоклоннической) массой, а с тюрками-христианами. То есть представителями более близкой исламу, монотеистической, более того — авраамической религией, что значительно облегчало и упрощало задачу провозвестникам учения Пророка.

В целом, ислам выступил в Крыму подлинным созидателем *будущей культуры* всего региона. Конкретно о том, какие именно духовные богатства, какие виды искусства, науки, экономических и иных моделей жизни были привлечены в Крым благодаря исламу, будет рассказано ниже.

Необходимо отметить, что такая широкая и плодотворная культурная восприимчивость была уникальна лишь для одного из самых северных регионов средневековой уммы. И удивлять она могла только ближайших соседей крымских татар, но никак не население, к примеру, Средиземноморья. В более южных пределах ещё при жизни Пророка была продемонстрирована столь же высокая готовность мусульманской общины воспринимать, во-первых, старые, доисламские, а во-вторых, современные ей, но совершенно инокультурные ценности. При этом и те и другие подвергались переработке. Какого рода была эта готовность — зависело от необходимости в каждом конкретном случае. Нередко она ограничивалась лишь некой *перекодировкой* (*Хисматулин*, 1999. С. 72). То есть минимальной, чисто внешней и символической подгонкой старой формы под требования новой веры.

---

[1] О крымских тюрках-христианах той эпохи подр. см.: *Кляшторный*, *Султанов*, 2000. С. 220.

Степное дюрбе
(фото начала XX в.)

К этому периоду складывается и основной фонд крымскотатарского языка. В дальнейшем он будет, конечно, развиваться, как и любой другой язык. Но именно на этом, а не ином фундаменте. В целом же состав крымскотатарской лексики сложился из двух пластов: коренного, тюркского и заимствованного из других языковых систем. В первом представлены пять составляющих: 1) общетюркская, наиболее древняя основа; 2) кыпчакский слой; 3) огузский слой, свидетельствующий о давних контактах крымцев с турками; 4) поволжско-тюркская (татарская, чувашская, башкирская) составляющая с некоторым количеством карлукских (узбекских, уйгурских) корней; 5) отдельные слова, образовавшиеся уже непосредственно на крымской почве (прежде всего, наименования родственников).

Прямые заимствования делятся на три основные части: 1) иранские (это в основном технические термины из сферы строительного искусства и земледелия); 2) греческие (наименования некоторых деревьев, кустарников и цветов, географические термины; 3) арабские, к которым относятся общественно-политические, научные, правовые термины, а также, конечно, развитая лексика религиозных понятий, символов, представлений, которая вошла в крымскотатарский язык с принятием ислама и овладением его колоссальной философской и духовной культурой (*Меметов А.М.* Источники формирования лексики крымскотатарского языка. Ташкент, 1988. С. 108–109)[1].

Наконец, ислам ознакомил людей с типом духовной деятельности такого уровня, который далеко превзошёл былые этнические и национальные типы духовного труда. Тогда же в Крыму появились служители мечетей и науки, вероучители (в исламе нет особого духовного сословия, как, например, в христианстве или иудаизме). Это были знатоки Закона, отделённые от земных забот — от политики, карьеры и даже просто труда в общепринятом смысле. Взамен они брали на

[1] Здесь сознательно опущены количественно незначительные спорадические заимствования (готские, итальянские, славянские и т. д), которые, не составляют какого-то тематически цельного фонда.

себя производство и сбережение духовных ценностей, нужных обществу не менее, чем любые иные плоды труда. *Улемы* и *муллы* были оторваны от узкоплеменных культур этнических групп и социальных страт своей родины, иначе эта первичная интеллигенция не могла бы создать модели общественного устройства и культуры на более высоком *цивилизационном* уровне, не смогла бы развернуть перед соотечественниками новые перспективы, в том числе и социальные.

Так исламская система воздвигла в Крыму и за его пределами *стабильную ось,* некий главный стержень, то есть священную иерархию. Понятно, что эта последняя превосходила по уровню социально-экономическую структуру господства и подчинения, формируемую экономикой и политикой, факторами зыбкими, меняющимися и оттого малонадёжными (*Ерасов*, 1990.С. 93).

Поэтому столь велико упорядочивающее значение ислама в истории народа, отчего нация может и в будущее смотреть с твёрдой надеждой на духовное возрождение и полное воссоединение на своей исторической родине.

г) Расцвет крымских городов

Для понимания истоков признанного своеобразия средневековых городов Крыма необходим небольшой экскурс в очередной этап их развития. Очередной, потому что началом их в подавляющем большинстве случаев были старые, возникшие ещё до нашей эры или в первом её тысячелетии центры торговли, ремесла или государственного управления. Урбанистическая (выраженно городская) культура этих полисов имела три составные части: степную (скифскую), средиземноморскую (греко-римскую) и, в гораздо меньшей мере, северноевропейскую (готскую).

Но с течением времени города Крыма обрели и четвёртую свою составляющую, также степного происхождения, но культурно-исторически имевшую несколько иные черты. Речь идёт о том примечательном влиянии, которое оказала на города и крупные селения Крыма новая волна степняков-кочевников, достигшая Крыма уже в начале II тысячелетия.

В принципе эти два понятия, *город* и *кочевье*, несовместимы как взаимно отрицающие друг друга. По сути, так и было: горожане не только обладали культурой совершенно иного плана, но и нередко презирали кочевников за их несхожую философию жизни, иные бытовые традиции и непонятные эстетические предпочтения. Справедливости ради заметим, что вольные сыны степей отвечали жителям городских кварталов тем же, — как было им понять людей, добровольно заточавших себя за городскими стенами, намертво привязывавших к одному месту не только себя, но и обрекавших на такое беспросветное заключение и детей своих!

Последние (или схожие) взгляды на города были поначалу присущи и великому строителю империи Чингис-хану. Но по мере того как она строилась, у кочевников (не простых чабанов, конечно, а у их предводителей) стали возникать потребности, неведомые им на протяжении сотен и тысяч лет. Огромная империя, простёршаяся от Тихого океана до Средиземного моря, не могла управляться по-старому. Резко возросшие за краткий срок задачи (в административной, налоговой, судебно-правовой, дипломатической и прочих сферах) не могли решаться *нойонами* старого образца, которых при нужде и найти-то было непросто при их скитальческом образе жизни.

Кроме того, с ростом касты имперских чиновников росли потребности в обслуживании этой группы служащих, которые теряли все исконные преимущества кочевий (от скотоводческих доходов до самоснабжения практически всеми предметами быта). Таким образом, они целиком переходили на централизованную оплату своего труда и, что не менее важно, теперь они не могли обойтись без ремесленников весьма различных специализаций. Эра степного натурального хозяйства (для этой, по крайней мере, части населения) безвозвратно ушла в прошлое.

А на рубеже XIII–XIV вв. во весь рост встала проблема перенаселения степи, ранее более или менее терпимая. По ряду причин, на которых мы здесь не будем останавливаться, кочевников стало слишком много. Настолько много, что окружающая среда не могла их прокормить. Необходимо было сделать выбор дальнейшего пути развития. «Степной тюркский этнос не мог выжить без перехода части его на интенсивный путь развития. Естественный процесс при этом подразумевал превращение кочевников в земледельцев...» (*Кульпин*, 2007. С. 53). А оседлое население, утратившее вместе с динамичной кочевой жизнью возможность время от времени навещать крупные торговые центры, стало, в свою очередь, нуждаться в расположенных где-нибудь неподалёку (то есть в степи) городах, которые служили бы, вдобавок к торговым функциям, и местом концентрации ремесленников, обслуживавших степных оседлых животноводов и земледельцев.

Короче говоря, бывшим кочевникам нужны были какие-то имеющие постоянное местонахождение, *неподвижные* центры, где можно было бы разместить и административные конторы, и ремесленные мастерские. И с той же неуёмной энергией и размахом, с какими Чингис-хан разорял и жёг встречавшиеся на пути города, его наследники стали эти города возводить. Нередко — на тех же самых, наиболее удобных местах, находившихся на перекрестках торговых путей и располагавших обильными запасами питьевой воды и нередко полезными минералами. Дома возводили из камней, поначалу добываемых в руинах старых кварталов-маалле, не столь давно разрушенных отцами или дедами новых усердных строителей. Этот процесс урбанизации Великой Степи, начавшийся при ордынском хане Бату, достиг своего высшего расцвета в годы правления ханов Узбека и Джанибека (*Харитонова*, 1999. С. 195).

Сказанное в полной мере относится и к территории будущего Крымского ханства. Здесь города возникали (Аккерман) или до неузнаваемости развивались (Солхат) прежде всего на крупнейших торговых путях, самым важным из которых для Северного Причерноморья был Великий шёлковый путь. И вот здесь как раз и стали заметны те местные отличия в общеордынском облике города, о которых шла речь выше. В азиатской степи, например, крепостные стены возводили крайне редко. Не в силу архитектурных традиций и предпочтений, а просто по ненужности. Безопасность чингизидских городов, в которых селились вчерашние кочевники, гарантировало всё грандиозное могущество империи. Здесь же, в Крыму, на периферии державы, таких гарантий быть не могло: рядом плескалось море, из бескрайних далей которого можно было ждать не только караван проверенных торговых партнёров, но и вооружённых армад неведомых завоевателей. Поэтому в Крыму степняки-тюрки быстро усвоили, что на фортификациях экономить капитал не стоит, и стали возводить стены и башни, поглядывая при этом на самые доступные, то есть *крымские* образцы из прежних эпох.

Были и другие крымские отличия. Если в степной части чингизидских владений отмечена «гегемония геометрической формы круга (под влиянием юрты)» и лишь немногие, самые «монументальные здания создавались под влиянием среднеазиатских строительных традиций» (*Харитонова*, 1999. С. 195), то в Крыму *все* городские жилища были прямоугольными или приближались к этой форме. Правда, встречались, и нередко, также круглые постройки, но это были жилища степного, *внегородского* населения. А городская культура между тем обогащалась особенностями и свойствами, в принципе имеющими общие черты во всех уголках планеты. Неизбежно стали развиваться искусство и наука, появились кружки образованных горожан и художников, правители стали соперничать в меценатстве и общем покровительстве не только ремеслу, но и духовным центрам. Следует осветить и такой важнейший для культуры Крыма процесс, как складывание *единого* литературного языка на тюркской (кыпчакской) основе.

Что же это был за язык? Прежде всего, учитывая наличие рукописных памятников, можно сделать вывод о том, что изначально это был «один из старописьменных языков с длительной письменной традицией» (*Изидинова*, 1983. С. 75). А что касается его лексико-грамматических особенностей, то крымскотатарский язык приобретал (как и караимский, кумыкский и карачаево-балкарский) черты западнокыпчакской группы тюркских языков, носителями которой ныне является около полумиллиона человек. В Крыму эта группа разделялась на три диалекта — степной, средний и южный.

Если же говорить предельно обобщённо, то крымскотатарский язык стал «двухтипным языком, вследствие наличия языков-диалектов, относящихся к различным языковым типам — кыпчакско-ногайскому (степной диалект) и типично огузскому (южный диалект). Средний диалект, характеризующийся причудливым переплетением огузских и кыпчакских черт, обладает признаками, сближающими его в той или иной степени с соседними диалектами, хотя в целом он тяготеет к южному» (указ. соч. С. 89).

Упомянутый выше литературный язык явился результатом духовного труда многих поколений. Впервые он стал своим для жителей крымскотатарских городов.

Какими же они были, эти первые города?

Кефе (Кафа, Каффа), как и до прихода ордынцев, долго ещё оставалась крупнейшим городом Крыма. По этой причине в те годы её именовали Кучук-Истанбул (Малый Стамбул) или Ярым-Истанбул (Пол-Стамбула). Состав населения был весьма пёстрым, татар здесь жило относительно немного. Однако, судя по некоторым данным, это национальное меньшинство города было равноправным с генуэзцами. Более того, между христианами и мусульманами здесь существовали неплохие отношения: когда в 1296 г. венецианцы взяли Кафу и разграбили её, то уцелевшие генуэзцы нашли убежище именно у татар, которые тут же разорвали отношения с венецианцами (*Примоде*, 1850. С. 63–64).

И в XVII в., много столетий спустя после изгнания генуэзцев, в городе было столько христиан, что они могли содержать 12 греческих храмов, 32 армянские и одну католическую церковь (*Хартахай*, 1867. С. 173). Согласно документальным свидетельствам, здесь в XIII в. и позже кроме татар проживали латиняне

(генуэзцы и венецианцы), валахи, поляки, грузины, мингрельцы, черкесы[1]. Наконец, в Кафе находилась резиденция султанского наместника в Крыму (бейлербея), окруженного многочисленным турецким чиновничьим аппаратом, личной гвардией и регулярным войском, размер которого в зависимости от военно-политической ситуации мог меняться.

Солхат (Эски-Къырым) — древнее селение, но в качестве города он упоминается впервые лишь в 1332 г. в рукописи Ибн-Баттуты (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 280). Затем, уже в 1400 г., в труде географа Умера ибн ал-Варди, Солхат описывается как «большой город, где имеются базары, мечети, гостиницы, бани» (цит. по: *Поляк,* 1964. С. 50). Впрочем, в качестве города он фигурировал и в 1270-х гг., когда, согласно записи сельджукского хрониста ибн-Биби, он был передан в иктаа малоазийскому султану Изз-ад-Дину Кейкавусу II (*Крамаровский*, 1998. С. 69).

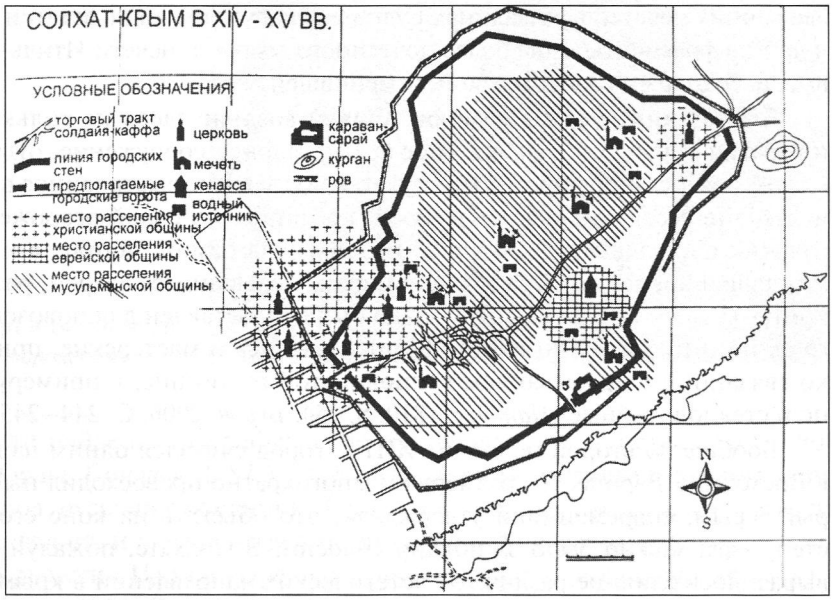
Это был многонациональный город, здесь жили кыпчаки, аланы, хазары, евреи, хотя уже в XIII в. основным средством общения стал тюркский язык. Солхат являлся административным и культурным центром Крыма, но лишь в догиреевский период. Позднее город носил названия Крым, Эски-Къырым и, наконец, Старый Крым. Правда, впервые этот древний топоним мы встречаем в применении ко всему полуострову — его использует арабский писатель и учёный-географ конца XIII — начала XIV в. Абу-л-Феда[2]. Культурное значение Солхата для пёстрого в национальном отношении средневекового Крыма было весьма существенно — он играл роль некоего объединяющего и синтезирующего центра (*Крамаровский*, 1989. С. 141). Позднее этот цветущий город пришел в упадок, хотя и сохранил свою роль крупного торгового и ремесленного центра (подробнее о его значении для экономики ханства см. ниже).

Столицей (в строгом понимании этого слова) некоего государственного образования город не являлся и в пору своего расцвета, ведь государства как такового не было. Однако здесь находился ханский дворец, здание которого ещё в конце XVIII в. успел увидеть Паллас. Солхат был средоточием религиозных институтов татар: за крепостными стенами высились минареты мечетей, текие дервишей, медресе. Здесь постоянно проживали судьи-кадии, к которым для разрешения споров съезжались татары со всего полуострова. А высшим авторитетом в вопросах духовной жизни обладали солхатские ученые-

---

[1] Некоторые современные авторы «снижают» количество населения Кафы наполовину, но всё же определяют её площадь в 120 га и подтверждают общее количество храмов — 50 (*Еманов*, 1993. С. 271). Поскольку примерно такую площадь и такое количество храмов имел крупнейший город тогдашней Европы, Генуя, то и число кафинского населения (7 000–100 000) вполне сопоставимо с генуэзским и преувеличенным никак не выглядит.

[2] О происхождении топонима «Крым» имеется множество гипотез, выдвигавшихся десятками учёных, начиная с арабских и тюркских историков и философов Средневековья и кончая советскими филологами. Однако, как было сказано довольно давно, эта интересная научная проблема никакого удовлетворительного решения не получила (*Суперанская*, 1985. С.166–167). Поэтому топонимисты сознательно исключили её из сюжетов аналитических исследований крымского материала (*Суперанская*, *Исаева*, *Исхакова*, 1995. С. 165–166).



План средневекового Эски-Крыма. *По М.Г. Крамаровскому*

философы, муллы, шейхи. Собственно, город был главным источником учения Мухаммада, распространившегося в Крыму далеко не сразу.

Солхат был окружён не только высокой каменной стеной, но и глубоким рвом; он был способен выдержать длительную осаду: за стенами, в купеческих складах, хранилось большое количество провизии, а под улицами тянулась сеть кяризов[1]. Хотя это была скорее дублирующая (на случай осады города) система, тем не менее, она и в мирное время исправно давала чистую воду. Здесь также, как и в Кефе, владельцами караван-сараев, лабазов, мастерских были не только мусульмане — часть их принадлежала христианам. Имелись здесь и православные храмы; стены одного из них сохранились до сих пор (*Домбровский*, *Сидоренко*, 1978. С. 14–15). Город осуществлял торговые операции между Золотой Ордой и Южной Европой, Левантом, Средней Азией и Северной Индией (*Крамаровский*, 1989. С. 150).

Как упоминалось выше, в Солхате сохранились стены, отчасти с перекрытиями, выдающегося произведения крымской мусульманской архитектуры, «мечети Узбека», и пристроенного к ней медресе. Это было далеко не единственное из замечательных архитектурных сооружений первой столицы ханства, просто оно уцелело, тогда как другие практически не оставили по себе следа. Мечеть замечательна тем, что она — одна из старейших в Восточной Европе: от несколько бо-

[1] Кяризы — узкие, выложенные камнем туннели, прокладывавшиеся в почве крымских городов в виде сети с понижениями в «узлах» её, к которым спускались отвесные колодцы. Эти туннели копили грунтовые и дождевые воды, а также конденсировали атмосферную влагу, скапливавшуюся в упомянутых «узлах». Очевидно, кяризы, сама их идея и приёмы её технического оформления — азиатского, то есть ордынского происхождения. (Подр. о них см. в очерке I, том второй.)

лее ранних мечетей в развалинах Булгара обнаружены лишь остатки фундаментов и другие фрагменты. Ещё более почтенного возраста мечети Итиль-Сарая смыты вместе со старым городом рекой, изменившей русло.

Египетский султан, мамлюк Калаун воздвиг здесь не только мечеть, но и караван-сарай (*хан*), прекрасное архитектурное сооружение, отделанное мрамором и белым порфиром. Это двухэтажное здание, выстроенное в XIII–XIV вв. и находившееся близ въезда в город, представляло собой огороженный пятиугольник площадью в 2 500 кв. м. Его украшал резной портал, а к стене, напоминавшей крепостную, были пристроены деревянные галереи, разделённые на комнаты для постояльцев. Двор хана был предоставлен для повозок и упряжного скота. Внутри гостиничного здания имелись и мастерские, причём не только связанные с пребыванием купцов в этой гостинице, к примеру, кузнечные, но и стеклолитейные (*Hammer*, 1810. S. 254; *Буров*, 2006. С. 244–245).

Вообще во второй половине XIII в. город считался одним из красивейших в Восточной Европе. По размеру он многократно превосходил нынешний Старый Крым: современники утверждали, что объехать на коне его крепостную стену едва можно было за полдня (Ibidem). В Солхате, пожалуй, лучше всего выразилось слияние различных эстетических направлений в крымской культуре. Здесь медресе, основанное в 1330-х гг., Инджибек-ханум, было выстроено в анатолийском стиле, как и «мечеть Узбека», хотя в архитектуре последнего чувствовалось и месопотамское влияние. Мавзолей-дюрбе XV в. с его изразцовой отделкой перекликался с шедеврами Бургара и т. д.

Поэтому абсолютно верны выводы о том, что, во-первых, в крымском зодчестве определяющими стали длительные торгово-ремесленные связи, а не географическое положение полуострова и не политическая ситуация в регионе. Во-вторых, главную роль в формировании золотоордынского города нового (крымского) типа сыграла исламская часть его тюркоязычного населения. В-третьих, новая городская культура выросла из двух компонент: ордынско-поволжской и анатолийской доосманского периода. При этом старая, доисламская кочевая традиция тюрков-кыпчаков, а также новомонгольская культура растворились в эстетическом и духовном мире крымского городского исламского общества, хотя этнический состав носителей этой молодой культуры оставался, как тогда, так и в будущем, практически неизменным (*Крамаровский*, 1997. С. 103–105).

Эски-Юрт задолго до появления Бахчисарая, по-видимому, пользовался славой важного торгового центра на пересечении магистральных путей по направлению юг-север и восток-запад. Кроме того, он играл роль контактного пункта при обмене товаров, поступавших с моря (порт Каламита или Инкерман, юго-западное побережье), и из глубины плодородных долин рек Ашлама (позднее названа Чурюк-су), Кача и других, даже более мелких или отдалённых. В то же время он был крупнейшим поселением этой части полуострова в начале ханского периода истории Крыма, его урбанистическим центром. Да и ранее, ещё в ордынский период, он имел значение некоего образца новой жизни для кочевников, живого примера всех перспектив и реальных благ оседлого образа жизни (*Смирнов*, 1887. С. 116).

Эски-Юрт и Бахчисарай.
По О. Гайворонскому

Здесь были найдены эпиграфические материалы ещё чагатайского периода[1] истории Орды (*Смирнов*, 1887. С. 116). Как сообщает, правда в сравнительно поздний период, русский священник Иаков, «Искиюрт от Бакчисараев с версту, церковь зело велика и украшена велми была, понеже сделана мечетью, а кладутся в ней Крымстии Цари и Царевичи, а простые мурзы и татарове отнюдь не кладутся» (*Иаков,* 1850. С. 691). Эти сведения подтверждаются косвенно и тем, что на знаменитом ханском кладбище бахчисарайского дворца, этой родовой усыпальнице Гиреев, нет ни одного надгробия старше XVII в.[2]

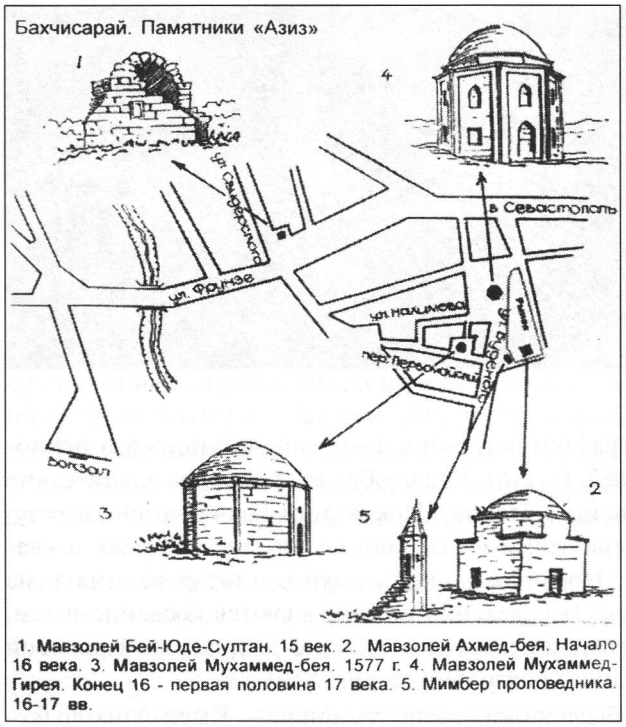
В Эски-Юрте, собственно, было не одно, а два кладбища — Кырк-Азизлер (северное) и Азис (южное). Первое, расположенное к северу от Эски-Юрта, было более древним, на нём хоронили со времён ещё Золотой Орды. Там лежала некогда надгробная плита начала XIV в., а на сохранившемся фрагменте вертикального памятника 1369 г. была прочитана надпись, весьма типичная для захоронений той эпохи: «Райский сад счастливого мученика Хаджи-бей бин-Хасан Крыми. Год 770», то есть приблизительно 1388-й (*Башкиров*, *Боданинский*, 1925. С. 307). Все надгробия Кырк-Азизлера в 1940–1950-х гг. постигла участь многих, почти всех крымскотатарских кладбищ: сотни памятников были использованы для иных хозяйственных нужд, а могилы сравняли с землёй, начав на этой священной земле новое, многоэтажное строительство. Правда, 24 из этих надгробий стараниями Усеина Боданинского удалось ещё перед войной переместить на кладбище Хан-Сарая.

Второе кладбище, Азис, было меньше первого, но, возникнув приблизительно одновременно с первым, оно продолжало оставаться местом захоронений XIX века, когда Кырк-Азизлер превратился лишь в объект поклонения.

Границы эски-юртских кладбищ ныне трудно обозначимы, но сохранился самый замечательный памятник надгробной архитектуры такого рода — раннетатарское дюрбе Мехмед-шах-бея в виде куба (символ смерти не только в мавританской архитектуре) со срезанными углами. Древность некоторых надгробий очевидна даже для непосвящённого: их венчает не чалма, а ещё доисламский войлочный

[1] Чагатайский период: 1266 г. (образование монгольского государства в Средней Азии) — 1370 г. (его распад).

[2] Здесь и далее в этом сюжете использованы данные, приведённые в прекрасной статье Олексы Гайворонского (*Гайворонский*, 2005).



1. Мавзолей Бей-Юде-Султан. 15 век. 2. Мавзолей Ахмед-бея. Начало 16 века. 3. Мавзолей Мухаммед-бея. 1577 г. 4. Мавзолей Мухаммед-Гирея. Конец 16 - первая половина 17 века. 5. Мимбер проповедника. 16-17 вв.

Уцелевшие памятники Азиса. *ПО, 14–20.07.2006*

колпак кочевника. Там же находятся дюрбе ханской супруги Бей-Юде-Султан и Ахмед-Бея (оба относящиеся, повидимому, к XV в.), первый — слева от дороги на Севастополь, второй — справа от неё, на нынешней ул. Будённого.

Здесь сложилась весьма необычная ситуация. Обычно укреплённый городской замок или цитадель располагается (что на Западе, что на Востоке) в центре города, вне стен которого постепенно возникает ремесленно-огороднический пригород, форштадт, или, по-русски, посад (слобода). Эски-Юрт же стал таким «посадом», который был удалён от укреплённого города (и, впоследствии, столицы ханства Кырк-Ера) на десяток вёрст.

Впрочем, «посад» — определение в данном случае неточное. Это был вполне самодостаточный город и позднее, после переноса столицы. Современные исследователи приходят к выводу, что Эски-Юрт при первых ханах Золотой орды (возможно, он существовал и в доордынское время) являлся не только торговым и духовным центром. Это было и место проживания крымской знати — об этом говорят надписи на местных надгробиях (*Гайворонский*, 2005. С. ЛА 9). О том же повествует Эвлия: о ханах Берке (1267), Тогар-хане бин Сулеймане, Сары-Баты Савджи-бее (1288) и его брате, Гюндуз-алп-бее, похороненном здесь в 1306 г. (*Челеби*, 1999. С. 60–61).

Судя по археологическим следам существования Эски-Юрта и ряду письменных источников, он являлся административным и экономическим центром Западного Крыма (возможно, лишь в ордынскую эпоху) . Это был значительный город, хотя с возникновением соседнего Бахчисарая (перенявшего все его эконо-

Древние надгробия Эски-Юрта.
Къасевет, 2010, № 37

мические и культурные функции) Эски-Юрт сократился в размерах. Но память о его значимости в период расцвета сохранилась и в XVII столетии: «Вниз на запад от города Бахчисарая, на краю садов, в древние времена был большой город Эски Юрт, в 2 тысячи шагов в длину. И теперь там во многих тысячах мест — отличные строения[1]. Сейчас это деревня лишь с 300 домами, садами и виноградниками, в каждом здании там протекают живые воды» (*Челеби*, 1999. С. 59).

Наконец, существуют предположения, что именно в Эски-Юрте, а не в Кырк-Ере, находилась первая по времени ставка крымских ханов. В пользу этих предположений, высказывавшихся давно и неоднократно, в последнее время были привдены новые веские доказательства, основанные, среди прочего, на семантике этого топонима (*Гайворонский*, 2005. С. ЛА10 об.–ЛА 11). Само собой разумеется, что окончательно вопрос о точном местопребывании первой ставки может решить только археологическое открытие бывшего ханского дворца.

Бахчисарай стал административным и экономическим центром Крыма лишь при Гиреях. Однако новая столица возникла отнюдь не на пустом месте. Ещё в XIII в. в долине Ашлама-Дере имелись селения с весьма древней историей. И когда в 1299 г. ордынские воины хана Ногая прошлись огнем и мечом по всему юго-западному Крыму, то в числе захваченных городов наряду с Херсонесом упоминался и Кырк-Ер *(Тизенгаузен,* 1884. Т. I. С. 112). Эта труднодоступная цитадель[2], возведенная на столообразной скале, кажется, асами, задолго до заселения Крыма основной массой тюрков, была окружена ещё более древними селениями. Впоследствии все они угасли, за исключением Салачика. В ханский же период, если ставка Гиреев находилась в Салачике (дворец Девлет-сарай),

[1] Автор, очевидно, имеет в виду сохранившиеся остатки фундаментов или даже цоколей в старых жилых кварталах Эски-Юрта. Но более вероятно, что он пишет о прекрасных мавзолеях и дюрбе на обширных кладбищах бывшего города.

[2] Войску Ногая удалось взять крепость, лишь пробив стенобитными орудиями широкую брешь в южной, обращенной к кладбищу Балта-Тиймез (в Иосафатовой долине) стене (ДТ. С. 178).

то в Кырк-Ере, за его неприступными стенами, хранилась ханская казна и был расположен монетный двор.

В средневековый же период центром заселения долины стала ее западная часть (район нынешнего железнодорожного вокзала Бахчисарая, на противоположной, западной, по сравнению с городским центром стороне железнодорожного пути). Место это не столь давно было обособлено от города под названием Эски-Юрт (Старое сельбище), как и предыдущее поселение, очевидно, в отличие от более молодого Бахчисарая.

Что же касается города на месте нынешнего Бахчисарая, то на сельбище, находившемся здесь ранее, ханы стали возводить свои дворцы, очевидно, лишь в конце XV в. Во всяком случае, в 1503 г. здесь уже высился дворец. Окончательное наименование города также установилось не сразу: он назывался вначале *Веселым городом, Счастливым городом, Виноградным городом.* При наследниках Менгли-Гирея новая резиденция достигла настоящего расцвета, хотя уже в XV в. это был крупное селение городского типа с 2000 домов и усадеб и населением в 25000 человек. После упадка Эски-Крыма Бахчисарай стал всекрымским культурным центром. Постепенно он слился с расположенным выше по течению р. Ашлама крупным селом Салачик (*Зайончковский*, 1969. С. 15).

Гёзлёв был основан вблизи давно угасшей древней Керкинитиды; возможно, при его возведении были использованы камни из её руин. Происхождение нового названия города неясно и доныне вызывает споры[1]. Уже в XV–XVI вв. он был равновелик Бахчисараю, насчитывая 2 000 домов и свыше 20 000 жителей, не считая 3 000 турецкого гарнизона (*Хартахай*, 1867. С. 173). Это был город-крепость, многоугольной в плане, границы которой проходили по нынешним улицам Караева, Революции, Пионерской, Д. Ульянова и Интернациональной. Стены самой мощной крепости ханства той эпохи при высоте до 8 м достигали толщины 5 м и были снабжены башнями.

В город вело пять ворот, самые большие из которых (Одун-Базар-капусу) сохранились почти до наших дней — этот выдающийся памятник средневековой архитектуры и фортификационного искусства был варварски уничтожен в 1957 г. Ныне он восстановлен, но это уже «новодел», хотя при возведении его и были использованы старые камни, которые энтузиасты выискивали по всей Евпатории (правда, новое сооружение покоится на чудом сохранившемся фундаменте и старинных подвалах). Безводная ныне Евпатория (вода поступает сюда из источников, весьма удалённых от города) славилась когда-то своими колодцами и сооруженными близ них банями, две из которых сохранились до наших дней.

В городе кроме нескольких десятков тысяч крымских татар и 3000 янычар-османов жили караимы, армяне и греки. Караимский народ, армянская и греческая диаспоры имели здесь свои храмы. Они не все сохранились, в отличие от самих об-

[1] Одни авторы переводили топоним как «сто глаз» — якобы по ночным огням города-порта, другие — «глаз-дом», третьи — от повелительного наклонения глагола *гёзетмек* — совр. *козетмек* («посматривай, наблюдай, надзирай!»), что было связано со сторожевой функцией гёзлёвской крепости, в которой стоял турецкий гарнизон (*Усеинов*, 2005. С. 102; *Драчук*, 1977. С. 43–44). Отчасти схожее имя носило село Гёзтепе, ныне один из районов Стамбула, сохранивший старое своё название.

шин, история которых исчисляется столетиями. Но верующие различных конфессий строили всё новые храмы, некоторые их которых можно видеть и сегодня, например, кафедральную караимскую кенассу и Греческий собор в Старом городе.

Сахиб-Гирей I переустроил в первой половине XVI в. морской порт Гёзлёва, после чего этот коммерческий центр стал конкурентом султанской Кефе. Кроме двух упомянутых портов, других торговых гаваней с такой протяжённостью причальной полосы на полуострове не было. Оборудованная в соответствии с тогдашними нормами торгового мореплаванья, гёзлёвская гавань могла вместить до 200 судов; это был порт международного класса. Здесь не только крымские, но и средиземноморские капитаны встречались с коллегами из далеких Данцига и Риги.

Гёзлёв достиг после этого такого расцвета, что хан Гази-Гирей II, собиравшийся было перевести свою столицу на берега Днепра, потом принял иное решение — в пользу Гёзлёва. И фактически осуществил свой план: с конца XVI в. до 1644 г. этот прекрасный город на какое-то время стал резиденцией ханов и, что не менее важно, центром чеканки крымской серебряной монеты.

Карасубазар был четвёртым по величине городом средневекового Крыма. Лишь вдвое уступая по числу жителей столице, он длительное время сохранял свое значение как крупнейший ремесленный центр. Пользовался он известностью и как рынок всекрымского значения — давно отмечено, что оно перешло к нему от угасшего Эски-Къырыма (*Хартахай*, 1867. С. 173). Город был окружён многолюдными сёлами, жители которых занимались в основном садоводством и виноградарством, к чему весьма располагала тучная местная почва, обилие источников воды и особый микроклимат (*Зайончковский*, 1969. С. 15).

Город поражал путешественников своим огромным, очевидно, крупнейшим в Крыму постоялым двором-*ханом*, а также обилием великолепных мечетей, некоторые из которых были снабжены двухъярусными минаретами.

Средневековый **Судак** даже отдалённо не был похож на сегодняшний заштатный посёлок с практически не сохранившимися памятниками когда-то цветущей культуры и экономической активности крымских татар. В ту пору это был совершенно иной, куда более значительный для Крыма (и не только для Крыма) город, славившийся, помимо прочего, своими кораблестроителями.

Абу-л-Феда писал о нём: «Судак лежит при подошве горы на скалистой земле; это город, окружённый стеной и обладаемый мусульманами, на берегу моря Крымского; торговое место, почти равняющееся с Кафою» (цит. по: *Сосногорова*, 1880. С. 316) Действительно, этот обширный, процветающий город, носивший славное имя «великого торжища», был и крупным ремесленным центром, но всё же коммерческое его значение преобладало. Отсюда брала своё начало великая караванная дорога, заканчивавшаяся в Индии и Китае. Здесь был перевалочный пункт для отправления драгоценных грузов далее на Запад или средиземноморский Юг. И это значение Судака было так велико, что арабские авторы и Чёрное море иногда называли *Судакским*, а восточные славяне — *Сурожским*.

Акмесджит, один из старейших городов Крыма, являлся прямым продолжением во времени другого города, Неаполя Скифского, точно так же как Кефе был ни чем

Старая (вторая) Кебир-джами.
Фото из: Dlujnevskaya, Kırımlı, Vasilyev, 2006

иным, как Феодосией, а Гёзлёв — Евпаторией. На возможный вопрос о том, почему крымские тюрки не отошли куда-нибудь подальше от руин Неаполя, кроме логичного соображения о том, что от добра добра не ищут), есть обоснованный ответ старейшего крымоведа Ф.Ф. Лашкова: «Татары не выбирали новых мест для своих городов, а селились рядом с уже существовавшими». То есть, это была традиция. Учёный указывает далее, что сельбища этих тюрков располагались где-то вдоль нынешнего Ялтинского шоссе, вдоль левого берега Салгира, на месте бывшей Воронцовской рощи до Эски-орды (ныне Лозовое), возможно, это было несколько отдельных сёл или деревень (*Лашков*, 1890 «а». С. 43–45).

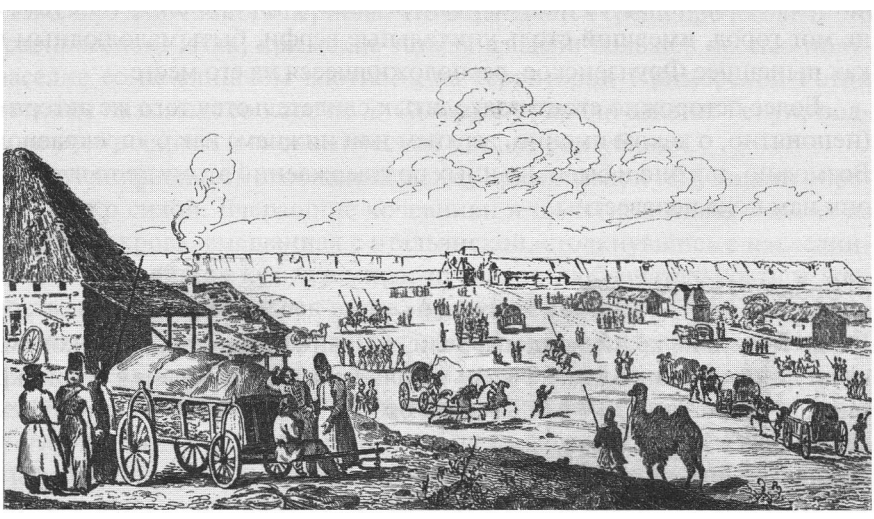
Таким образом, древний тюркский Керменчик, расположенный на Петровских скалах, был лишь верхней частью города и его предместий. На нижнем горизонте, у будущего дворца калги, также жили крымские тюрки доханского периода. Неизвестно когда их селение получило название *Султан-базар*, гораздо позже переименованное в Петровскую слободку. Ещё позже, уже в Средние века, когда жители этого древнего узла торговых дорог и военных маршрутов стали мусульманами, в Акмесджите были выстроены первые мечети. Сведения о них сохранились лишь частично, да и то явно не о самых древних. Однако мы имеем то, что имеем: на *тарихе* (строительной надписи) одной из них, знаменитой Кебир-Джами, читаем: «Сию мечеть по повелению счастливого султана Менгли-Гирея-хана, построил Абдуррахман, сын Гирея, да простит Бог его и родителей его. Мухаррема, 914 г.», то есть 1508 г. по современному летоисчислению (там же).

Если верно другое свидетельство, то эта мечеть была уже *акмесджитской,* так как Керменчик в 1500 г. был пожалован Менгли-Гиреем одному из самых заслуженных своих военачальников, Ибрагим-бею, в качестве награды за удачный поход на север, и тот дал городу новое название Акмесджит (*Фёдорова*, 1855. С. 93–94; *Когонашвили*, 1995. С. 256).

Судя по всему, эти свидетельства могут лишь подтвердить осторожное предположение о том, что по меньшей мере в конце XV — начале XVI в. Акмесджит был довольно крупным населённым пунктом: ведь в нём возводились *джами* (пятничные или кафедральные храмы), а не деревенские мечети. Другое дело, что на *втором* из акмесджитских храмов того же имени, возведённом на том же месте, на предпоследней мечети мы читаем: «Она была сожжена неверными развратниками, а затем построена Максуд-агой, потомком первого основателя, в 1153 году» или в 1740 г. (*Лашков*, 1890 «а». С. 45).

Ор-Капы (Перекоп) был прежде всего военно-административным форпостом Крыма на границе с христианским миром, хотя пока и сохраняла своё значение обширная буферная ногайская зона. Здесь находилась резиденция ор-бека (см. ниже), стоял значительный турецкий гарнизон. В крепости, расположенной на насыпном холме (позже совершенно сравнявшимся с окрестными степями), имелись купеческие перевалочные склады, немало караван-сараев, хотя общее число домов не превышало полутысячи.

Было у него и третье имя: Ферх-кермен, или Фаррах-керман. Судя по всему, этот топоним произошёл от арабского глагола *фарака* («делить, отделять»), что подчёркивало своеобразную функцию города, как бы разделявшего две культуры: чисто кочевническую заперекопскую от более сложной, собственно крымской. Крепость, как и вал со рвом, существовала здесь издревле, однако Менгли-Гирей I в своё время воздвиг здесь новую крепость и укрепил стены над валом. Камень приходилось доставлять издали, поэтому на строительных работах было занято более 5000 человек. Хан заботился и о внешнем виде города — для его перестройки он пригласил итальянского архитектора, а внутри крепостных стен были разбиты прекрасные сады, совершенно необычные в этом выжженном солнцем, безводном крае (См.: Письма, 1881. С. 383).



Вход в Ор-Капы.
Pallas, 1801

Затем хан Сахиб-Гирей I (1521–1523) надстроил крепостные стены и башни (новые плоскости доходили высотой до 10 аршин[1]), а также дополнительно укрепил их. Уже после него был углублён древний ров перед северной стеной, а вынутый в результате земляных работ грунт использовался для отсыпки вала, с древности шедшего от Каркинитского залива на западе до Сиваша на востоке перешейка. Ещё позже вал, ров и земляные стены над ним были облицованы привозным камнем, а в западной оконечности рва возведена отдельно стоящая башня-донжон. По некоторым предположениям, таких башен, стоявших вдоль вала, позже было возведено ещё пять. Многие из зданий предместных слобод и башен близ Ор-Капы соединялись с крепостью и между собой сложной системой подземных ходов (*Дмитров*, 1940; *Сеницкий*, 1893. С. 101–104).

Южнобережные города. Здесь, согласно трактату арабского географа начала XII в., сицилийца ал-Идриси, крупнейшими городами были Алушта и Гурзуф, естественно, называвшиеся тогда несколько иначе, чем теперь. При этом первый из городов был «большим, красивым городом», тогда как второй — всего лишь «многолюдным городом на берегу моря» (Цит. по: *Коновалова*, 1999. С. 161). Насколько это соответствовало действительности — по некоторым причинам ручаться трудно. Однако имеются в упомянутом сочинении ал-Идриси *Развлечение истомлённого в плавании по областям* такие данные, что совершенно соответствуют другим, независимым от этого автора информаторам. Так, если ал-Идриси мельком упоминает о том, что Партенит — это «небольшой цветущий город, где строят корабли», то из совершенно иных источников мы узнаём, что и пару столетий спустя именно здесь закладывали специальные суда, предназначенные для перевозки рабов (см. очерк V этого тома).

Значит, именно в этом, впоследствии до неузнаваемости сжавшемся (как и «многолюдный» Гурзуф) городе строили чисто *пассажирские* суда — тогда как мировой флот той эпохи почти целиком состоял из грузопассажирских или военных кораблей. Здесь напрашивается вывод, требующий, конечно, проверки: не мог город, имевший столь уникальные верфи, быть малолюдным посёлком, как нынешнее Фрунзенское, расположившееся на его месте.

Более осторожно стоит подходить к свидетельству того же автора о Ламбате (непонятно, о каком именно, верхнем или нижнем) как о «прекрасном городе». Возможно, так оно и было, но иных подтверждений этому не то что нет — просто они нам пока неизвестны.

д) Ордынцы в Крыму

Выше была дана краткая оценка роли, сыгранной генуэзцами в экономической и культурной жизни Крыма. Теперь взглянем на эту проблему с иной, крымскотатарской стороны. В XIV в. крымские ордынцы были ещё настолько немногочисленны, что в 1365 г. генуэзцам удалось отбить у них Солдайю, которую они тут же превратили в военно-стратегический и экономический форпост Кафы. Итальян-

[1] Строительный аршин в Крыму и Турции равнялся 76 см. или 2 *аякам*; торговый (рыночный) — 68 см.

Луста, башня Ашагъа-куле.
Генуэзцы, 2009

цы овладели и береговой полосой протяжённостью около 40 км, где были расположены 18 селений (*Бертье-Делагард*, 1920. С. 22–23). Затем, использовав ослабление Орды в результате битвы на Куликовом поле, генуэзцы заключили с ней договор 1381 г., по которому расширили сферу своей власти на территорию всей Приморской Готии, от Солдайи до Чембало. Договор этот лишь подтвердил права генуэзцев на весь Южный и Восточный берег Крыма, так как Боспором (Керчью) они владели и до его заключения, а старый греческий рыбацкий поселок в Бухте Символов принадлежал им ещё до 1345 г. Но после этого договора в Чембало начинается строительство цитадели, завершенное в 1433 г.

Установившиеся мирные крымско-итальянские отношения сохранялись в течение довольно длительного периода, что объясняется среди прочего и чисто военным равновесием. Итак, крымские татары владели большей частью полуострова, заселив ее не слишком плотно, а на территории Приморской Готии (сами итальянцы называли ее короче: *la Campagna*) царили законы Генуи, поддерживаемые всей военной и экономической мощью республики.

Впрочем, специфичность отношений между ордынцами и генуэзцами определялась не только силой. Вчерашние кочевники и их дети, в жилах многих из которых уже текла кровь, смешанная с итальянской, столкнувшись с наследниками одной из величайших культур мира, проявили любознательность и восприимчивость, им, как говорилось выше, присущие. Вопрос о том, насколько сильным было генуэзское «нравственное влияние на окружных обывателей» (*Лашков,* 1881. С. 28), пока остается открытым, но наличие его, по крайней мере в сферах религии и просвещения, несомненно. Как в Восточном Крыму, так и на противоположном берегу Керченского пролива свободно распространялось католичество. Братья-францисканцы, осевшие в Тамани, оказались настолько энергичными миссионерами, что в 1333 г. обратили в свою веру черкесского князя Ферзахта. Там же в 1349 г. было учреждено католическое епископство (*Тунманн*, 1936. С. 65).

Бесспорно полезным оказалось для крымских татар и экономическое сотрудничество с итальянцами, привезшими со старой родины передовую сельскохозяйственную технологию, а также соответствующие эпохе методы обработки сельскохозяйственной продукции. Перенимая их, крымцы повышали свои доходы. Возможно, именно поэтому они «сочувственно относились к (генуэзским) торговцам и не нарушали без вызова мирной их жизни» (*Бертье-Делагард.* Указ. соч. С. 29).

е) Юрт становится ханством

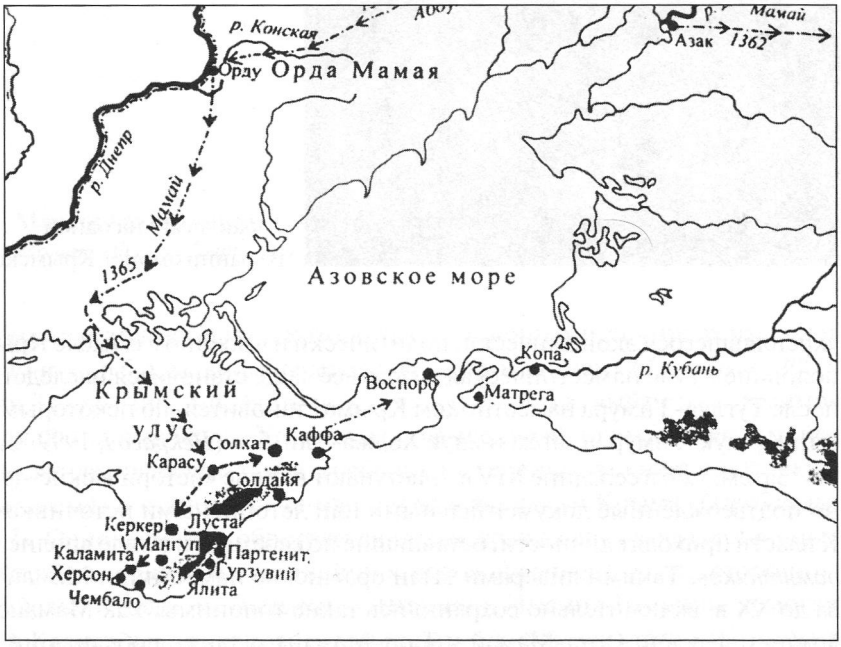
Внутриполитическая жизнь крымских ордынцев в эту эпоху была гораздо сложнее внешнеполитической. Фактически их государство, Крымский Юрт, ещё в 1261 г. разделилось надвое. За Перекопом раскинула свои шатры Ногайская орда, на полуострове же утвердился собственно Крымский Юрт, хотя окончательно границы государства Гиреев узаконились лишь в XVI в. Управлялся Юрт местным ханом ордынского же происхождения. В XIII в. степные районы и горные селения были обложены золотоордынской данью. Южный берег Крыма, прибрежное предгорье и города Восточного Крыма были полунезависимыми. В XIV в. практически весь Крым оказался под властью Золотой Орды, кроме немногочисленных анклавов с итальянским и греческим населением (*Егоров,* 2008. С. 46, 50). Ордынские властители менялись: в 1360-х гг. мы видим полуостров под рукой Мамая, в 1380-х — Тохтамыша[1].

Многие историки избегают именовать это государственное образование ханством, имея на то веские причины. С одной стороны, во второй половине XIV в. оно достигло бесспорного могущества: крымские ханы назначали своих сыновей вождями Ногайской орды, а территориально власть Крыма уже распространялась до Подолии и Киева включительно (*Хартахай,* 1866. С. 197). Но с другой, престол ханов являл собой пока далеко ещё не устоявшийся символ власти. На него с абсолютно противоположных точек зрения смотрели старинные спутники по дороге истории — кочевники, и новые земляки — крымцы, по определению оседлые садоводы и пахари. Поэтому и политическое положение хана никак не могло быть устойчивым. К тому же не существовало ни законодательных, ни традиционных положений, определявших компетенцию власти ханов или порядок смены властителей по династическому или выборному принципу. Они сменяли друг друга,

---

[1] Мамай (?–1380), безродный ордынский темник, некоторое время являлся фактическим правителем западной части Золотой Орды, борясь за официальный статус великого хана, на что не имел права, поскольку не принадлежа к роду Чингис-хана. Считал Крым своим уделом, неоднократно укрывался на полуострове, набирая здесь воинов для новых походов. Был убит в Кефе.

Тохтамыш (?–1406) принадлежал к роду Джучи, ветви Тук-Тимура, старшего сына Чингис-хана. Был великим ханом Золотой Орды в течение последней трети XIV — начале XV вв. В 1380 г. присоединил к Орде владения Мамая, в том числе Крым, где имел постоянную резиденцию с 1395 г. Долго боролся за полновластие в Орде, в том числе с помощью русских князей и великого князя литовского Витовта. В 1399 г. потерпел сокрушительное поражение от Эдиге, от которого не смог оправиться (подр. см. в: *Селезнев Ю.В.* Токтамыш — последний хан Золотой Орды // ВИ, 2010. № 2. С. 122–125).



Поход Мамая на Крым. *По: Мыц, 2009*

захватывая престол силой; нередки были случаи братоубийств или отцеубийств. Неизвестный автор «Истории крымских ханов» (ЗООИД, 1844. Т. 1) перечисляет такие случаи десятками — и это за относительно краткий период.

Тем не менее, начиная с периода правления Хаджи-Гирея (1420–1466), во внешней политике крымских ханов нетрудно отметить новые черты. Они более не считают себя обязанными хотя бы отчасти соблюдать интересы Золотой Орды, всё далее отходя от старого статуса в сторону самостоятельного государственного бытия. Крым, формально оставаясь ордынским Юртом, в действительности превратился в независимое ханство. Первый Гирей ещё терпел присутствие ордынского наместника в Крыму. Но сами эти чиновники год от году утрачивали своё значение, превращаясь в пустые фигуры. И эта метаморфоза была настолько очевидной и бесспорной, что её не могли не отметить правители сопредельных держав: отныне они обращаются к крымским ханам как к суверенным государям, не только не подчиняющимся далёкой Орде, но и нередко вступающим с нею в политические и даже военные конфликты.

Для того чтобы понять глубинные причины этого важного события в истории Крыма, занявшего не один десяток лет, следует вернуться в более ранний, догиреевский период.

Власть наместников Орды в Крыму не была устойчивой уже по той причине, что зависела от политических перемен в метрополии. Ордынские ханы жаловали наместничество своим сторонникам, хотя случалось, что их ставленники не оправдывали надежд, и их приходилось смещать военной силой. Так, на Кафу совершали походы и Ногай, и сменивший его на ордынском престоле хан Тохта (*Трепавлов*, 1993. С. 88–89). Очевидно, именно для гарантии поддержки всё более

Тарак-тамга на одной из ранних монет Крымского ханства

укреплявшегося экономически, политически и в военном смысле Крыма, в первой половине XIV в. наместническая власть всё чаще становится наследственной. Так, после Туглук-Тимура наместником Крыма становится, по некоторым данным, его сын Кутлук-Тимур, а затем и внук Ходжа-Али-бек (*Некрасов*, 1999. С. 49).

Затем, уже в середине XIV в., наступают вполне «исторические» (то есть реально подтверждённые документальными или летописными источниками) времена. К власти приходят личности, оставившие по себе след и в виде вполне достоверных *памятников*. Такими лидерами были ордынские наместники Мамай (близ Гёзлёва до XX в. включительно сохранились такие топонимы, как Мамайская каменоломня и деревни Орта-Мамай и Тюп-Мамай), а также победивший его хан Тохтамыш (его имя значится на торжественном *тарихе* фасадной части прекрасного дюрбе в Чуфут-Кале, воздвигнутого над прахом его дочери Джаныке (Ненекеджан)-ханым). Этот хан (в 1378–1395 гг. правил в Белой Орде, а в 1380–1395 — в Золотой, ум. в 1405 г.), потерпевший в 1395 г. поражения на Тереке и Волге, в 1396 г. объявился в Крыму и в короткий срок подчинил его своей власти. То есть он утвердился как владетель Крымского улуса или юрта и именно он, в конечном счёте, стал первым крымским правителем, по праву называвшемся *крымским*, а не ордынским ханом. Но в 1398 г. в Крым вторгся хан Тулуг-Кутлук вместе с ордынским беклербеком Эдиге[1], в результате чего Тохтамыш со своими приближёнными бежал в Литву, к князю Витовту (Мусульманский Восток VII–XV вв. М., 2004. С. 425–426).

[1] Эдиге (1352–1419) был сыном Балтычака, ногайца из племени мангытов. В источниках впервые упоминается в 1376 г., когда он, бросив сородичей из Кок-Орды, переметнулся к хану Золотой Орды Тохтамышу. Там, благодаря незаурядным дарованиям, быстро возвысился и стал «одним из эмиров левого крыла», а также чем-то вроде верховного главнокомандующего ордынского войска и беклербеком, то есть главой сословной знати — эмиров (*Трепавлов*, 2001. С. 65, 69). Но в 1389 г. он, уже став противником Тохтамыша, стремится свергнуть этого хана и посадить на его престол своего более родовитого приятеля Тимур-Кутлука. Затем, когда обстоятельства переменились не в их пользу, они вдвоём бежали к знаменитому Тимуру, с которым совершили поход на Золотую Орду. Но и у этого хана Эдиге продержался недолго. Он откочевал со своими людьми в междуречье Яика и Эмбы, после чего основал в западно-казахстанских степях новое, более долговечное владение — Мангытский Юрт, впоследствии ставший Ногайской Ордой (ukaз. соч. С. 66–67). В 1399 г. Эдиге достиг вершины могущества и славы, став ханом Золотой Орды, хоть и не имел на это права, не будучи чингизидом. Пал в одном из сражений с русскими, после чего единая Золотая Орда распалась на улусы. Его приключениям и подвигам (сильно мифологизированным) посвящён героический эпос «Эдиге», широко распространённый в тюркском мире от Западной Сибири до Крыма включительно (*Жирмунский*, 1974. С. 355–384).

Монета Хаджи-Гирея.
Монетный двор Кырк-Ера

Итак, на его престол сел Эдиге, которого в письменных источниках именуют уже *Улуг-беком* или, в буквальном переводе, «великим князем» (*Трепавлов*, 2000. С. 359). Но ни Тохтамышу, ни Эдиге не удалось полностью выйти из зависимости от слабевшей Золотой Орды. Хотя такое стремление явно имело место — недаром в эти десятилетия *тарак*-тамга (гребень) постепенно заменяет ордынскую тамгу *узенги* (стремя) и становится символом независимого Крыма (*Озенбашлы*, 2005. Т. I. С. 7). Одновременно обостряется старая вражда двух могущественных родов — Кунгратов, одного из знатнейших родов Джучиева улуса, сторонников Золотой Орды, и более независимых Ширинов. Именно Ширины помогли утвердиться в Крыму власти ханов, стремившихся к суверенитету и возможно более полной независимости от Орды.

ж) Первый Гирей

Первый, кто этого добился, а именно Хаджи-Гирей (правил в 1420–1425, 1428–1434/5, 1428–1434/5, 1436–1443 гг., 1443–1456, 1456–1466 гг.), имеет гораздо больше оснований называться первым крымским ханом, а также первым побегом ветвистого генеалогического древа чингизидов-Гиреев — правителей Крыма[1].

Итак, упрочение ханского престола до степени, позволявшей осуществлять твёрдую власть, а также проводить стабильную, единую по целям внутреннюю и внешнюю политику (короче, поднимавшую номинальную власть ханов до вполне реальной, при которой его владения стали ханством де-факто), произошло

[1] В исторической литературе существует две традиции произнесения родового имени крымских ханов: *Гирей* и *Герай* (*Гирай*). Первый вариант ближе к сложившейся османской фонетической норме, второй — к кыпчакской. Очевидно, предпочтительнее был бы второй вариант, как более свойственный крымскотатарскому языку. Но есть старое правило — называть исторические личности так, как они *сами себя* именовали. А в данном случае сомнений быть не может: все путешественники и дипломаты единодушно свидетельствуют, что ханы называли себя *Гиреями*. Причём даже малограмотные российские гонцы искажали это имя как Кирей, Гилей и пр., но никогда — Гирай. Такого родового имени ни в соседних странах, ни в Эски-Крыме, ни позднее в Бахчисарае просто не знали. По крайней мере до османизации крымского делопроизводства, ставшей заметной лишь к концу XVI в., когда стал использоваться вариант *Гирай*. Это было произношение, уже чуждое Крыму и его ближайшим соседям. Поэтому в дальнейшем будем придерживаться традиции, реально имевшей место в раннем ханском и послеханском Крыму (о несколько ином подходе к этой проблеме см.: *Гайворонский*, 2007. С. 271).

при первом из новой династии чингизидов-Гиреев, занявшим крымский престол в конце 1420-х гг. Это был довольно молодой Хаджи-Гирей, сын Гияс-эд-дина, одного из переселенцев из Великого Улуса (впоследствии Золотой Орды), осевших на литовской земле. Судя по всему, он не был рождён *султаном* (в значении «ханский сын»), хотя имел все основания претендовать на этот титул, а то и на реальную ханскую власть, будучи прямым потомком великого Чингис-хана.

Кроме того, как указывает современный исследователь, предки Гияс-эд-дина были эмирами, наместниками Менгу-Тимура, хана Великого Улуса в Крыму. Причём первый из этих эмиров, Уран-Тимур, стал управлять землями полуострова ещё в 1260-х гг. Затем, в результате внутренних политических столкновений и раскола Великого Улуса, один из представителей рода, Таш-Тимур, лишился своего главенствующего положения в Крыму, но в 1395 г. сумел вернуть себе прежнее достоинство и провозгласил себя ханом Крыма. Однако правил он недолго и вскоре в очередной раз был изгнан из своих владений. Тогда-то бесприютный крымский татарин и попросил литовского великого князя Витовта убежища и был радушно принят. В Литве у него и его жены Асие родились сыновья: Гияс-эд-Дин и Девлет-Берды (*Гайворонский*, 2007. С. 14)[1].

Само же происхождение этого родового (и династического) имени довольно темно. Согласно древнему преданию, первый хан воспитывался в Литве в доме некоего Гирея (или Герая), причём этот его *аталык* (дядька-воспитатель) был человеком отличных качеств. Когда уже взрослый хан спросил его, какую бы он награду пожелал за свои многолетние труды у престола, скромный старик попросил, как милости, прибавлять отныне к именам ханов и его ничтожное имя (*Смирнов*, 1887. С. 216–217). Согласно другим источникам, будущий первый хан спасался в юных летах от врагов своего отца в литовском Тракае, где мальчика спас литовский крестьянин по имени Герай, отчего он и принял его имя (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С, 175; *Карамзин*, 1993. Т. V. С. 199). Ни одному из этих вариантов не противоречит давно сделанное наблюдение: в тюркском мире до того не существовало *рода* Гиреев, это имя было личным, собственным, а не наследственным (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 30).

Как бы то ни было, но если вдуматься, то имя Гирей *родовым* придумал сделать вовсе не Хаджи-Гирей I (звание хаджи он получил ещё совсем молодым юношей совершив хаджж). То есть не столь уж важно, где и от кого он его позаимствовал, но оно, скорее всего, так и осталось бы личным именем (или прозвищем) первого хана, если бы не сын его, Менгли. Вот тот действительно вполне осознанно сохранил имя отца рядом со своим уже в качестве родового — точнее, *династического,* а там и пошло...

Но вернёмся к непростой судьбе первого Гирея. После того, как его отец Гияс эд-дин был убит в ходе очередного вооружённого столкновения золотоордынским ханом Сеид-Ахмедом I, десятилетний мальчик остался в Литве.

---

[1] Эвлия Челеби приводит надпись на построенной в Чуфут-Кале этим ханом мечети: «Построил эту мечеть благословенную великий султан и достопочтенный хакан, повелитель царей арабов и неарабов, султан Хаджи Герай-хан бен Гыяс-эд-дин-хан бен Эртогмаз-хан, да продлит [Бог] его жизнь и царствование. Год 859 (по европейскому летоисчислению 1454/55 г. — *В.В.*)» (*Челеби*, 1999. С. 37). Упомянутый в надписи отец Гияс-эд-дина, Эртогмаз-хан, более известен под приведённым выше именем Таш-Тимур.

Судя по дальнейшим событиям, князь Витовт неплохо к нему относился, так как Литва и помогла сыну изгнанника впоследствии утвердиться на крымском престоле. Первая попытка Хаджи-Гирея сместить тогдашнего хана Сеид-Ахмеда (внука Тохтамыша) в 1434 г. провалилась. Против него выступили представители упоминавшегося выше бейского рода Кунгратов, верных сторонников Золотой Орды. К тому времени Хаджи-Гирея в его сепаратистской политике поддерживали не только Ширины, но и Аргыны с Барынами. Причина поражения этой аристократии Крыма была в том, что они действовали разрозненно. И Хаджи-Гирею пришлось вернуться на родину — в Литву. Когда же он в 1441 г. вернулся в Крым вторично, обстановка там переменилась в его пользу. Ему была обеспечена поддержка Ширинов, а затем и Мангытов. Оба эти рода видели в нём защитника своих прав и охранителя независимости Крымского улуса. Дело в том, что в течение всех лет, пока будущее ханство оставалось в зависимости от правителей Дешт-и Кыпчака (конкретно в 1440-х гг. ханом Орды был Кучук-Мухаммед, сын Тимура), крымские беи, владевшие огромными земельными угодьями, не могли свободно распоряжаться своим имуществом. Формально верховными собственниками этих территорий оставались ордынские ханы, а крымские магнаты аристократических родов были всего лишь вассальными удельными князьями, и в качестве таковых лишиться своего основного богатства — земли — в любой момент. Причём Орда вполне могла пойти на этот шаг, раздав земли тем же Кунгратам и укрепив тем самым своё пошатнувшееся господство в Крыму (*Сафаргалиев*, 1996. С. 507–508).

Собственно, крымские беи увидели в Хаджи-Гирее своего защитника гораздо раньше. Они сносились с ним в период пребывания будущего хана в Литве при дворе Казимира Ягеллона. Таким образом, ко времени возвращения Гирея в Крым почва для сепаратистского переворота вполне созрела, и борьба с ордынскими представителями на полуострове, а также местными Кунгратами закончилась победой нового претендента. Крымские эмиры и беи сделали свой выбор в пользу внука Таш-Тимура, а ордынцу Сеид-Ахмеду пришлось бежать за Перекоп. И в том же году в ханской резиденции Къырыме начинают чеканить монету с именем Хаджи-Гирея, причём с титулом «Султан верховный» (*Сафаргалиев*, 1996. С. 509). Одновременно политика вновь провозглашённого хана резко уходит в сторону от ордынской. Помня о поддержке Казимира, Хаджи-Гирей укрепляет дружественные отношения с Литвой, враждебной Орде.

Эта внешнеполитическая линия казалась весьма перспективной, и хан заключил впоследствии и формальный крымско-литовский союз. Он знал, ещё находясь в Литве, что ордынский хан Сеид-Ахмед не раз вторгался в пределы этого княжества и, начиная с 1438 г., время от времени совершал набеги на Бельск, Львов, Гродно и мелкие польские и литовские города. С другой стороны, ни для кого не было тайной, что Сеид-Ахмед в удобной ситуации постарается сместить с крымского престола хана-сепаратиста. Поэтому и Казимир, и Хаджи-Гирей рассматривали свой союз как направленный прежде всего против Орды. Прошло несколько лет и в 1452 г. литовский князь, после очередного опустошительного набега Сеид-Ахмеда, призвал крымского хана нанести ордынцам ответный удар. В том же году крымское войско вышло за Перекоп. Крымский хан одержал победу, внезапно обрушившись на стоянку ордынцев на берегу Днепра.

Сеид-Ахмед бежал с поля боя, а несколько позднее оказался в литовском плену, где и остался вместе с сыновьями до конца своей жизни. Этот разгром Орды, ставший первым значимым деянием Гирея, имел весьма важные для Крыма последствия. Во-первых, был нейтрализован опасный претендент на крымский престол, а, во-вторых, сопредельные государства признали законность власти Хаджи-Гирея над независимым Крымом (*Сафаргалиев*, 1996. С. 509). Наконец, он захватил на днепровском берегу тронный шатёр Сеид-Ахмеда, являвшегося наследным властителем Орды. Поэтому, когда Гирей вошёл в этот шатёр и воссел на ханское место, то, согласно традиции, он стал законным преемником ордынского престола. Отныне хан в своих ярлыках[1] обращался «ко всему Великому Улусу: к Крыму, Кубани, всей Кыпчакской степи» (*Гайворонский*, 2007. С. 23).

Новый титул Хаджи-Гирея был, конечно, скорее номинальным, чем означавшим действительную власть над указанными территориями. Однако он отражал и нечто более существенное. Поскольку Москва, по-прежнему подчинённая Орде, платила ей дань, то теперь право на «поминки» (проблема этого вида дани подробно рассмотрена в очерке V этого тома) автоматически перешло к первому крымскому хану и его наследникам-чингизидам. Причём это право на московскую дань сохранялось за Гиреями не один век, даже когда Москва по своему политическому потенциалу близилась к статусу сильнейшей из держав, некогда зависимых от Орды. Это объясняется тем, что «её фактическое положение резко контрастировало с формальным статусом в рамках постзолотоордынских юридических норм, так как московский государь не принадлежал к династии Чингис-хана» (*Рахимзянов*, 2009. С. 140).

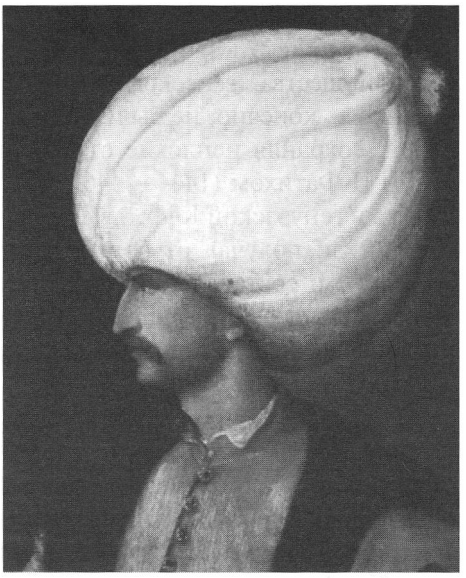
Ведя масштабную внешнюю политику, несравнимую с узкой, типично региональной политикой своих предшественников, Хаджи-Гирей укрепил международное положение Крыма союзом с Польшей и установлением дружественных связей с русским князем. Этот хан победил в борьбе за престол одного за другим своих ордынских соперников (1460-е гг.), чем завоевал авторитет среди соплеменников и обезопасил Крым от угрозы нового вторжения. А то, что он в 1465 г. разбил войско сарайского хана Махмуда, означало, что Хаджи-Гирей теперь стал властителем и Сарая, то есть всего Великого Улуса.

Высокое положение первых Гиреев никак не страдало от претензий турецких султанов на религиозно-политическое верховенство в мусульманском мире. Пока его не существовало: лишь гораздо позже Сулейман I Кануни (1494–1566 гг., прав. с 1520 г.) объявит себя халифом всех правоверных[2]. Этот шаг, имевший многочисленные и весьма важные последствия, был вполне обоснован, с одной стороны, реальной мощью Порты, а с другой — относительным упадком исламских держав в целом, когда ни одна из них не могла составить конкуренцию османским султанам. Мусульманский мир видел в османах единственную реаль-

---

[1] Ярлыки — письменные указы золотоордынских, затем крымских ханов.

[2] Халиф (*араб.* «заместитель») — глава мусульманской уммы, замещающий Посланника Аллаха. Носил титул *хадим аль-харамейн* (*араб.* «служитель обеих священных городов») Медины и Мекки. Первые четыре халифа (их принято именовать *праведными*) были выбраны по воле мусульманской общины из числа ближайших сподвижников Мухаммада. До Сулеймана I монополия на халифат принадлежала династии Аббасидов (Египет). В Турции халифат сохранялся до 1924 г.



Сулейман Великолепный, халиф всех правоверных

ную силу, способную защитить его от непрекращавшейся христианской агрессии, отчего высочайший статус главы турок (официально он звучал как *Гази-султан*) был признан повсеместно и практически добровольно.

Начиная с этой поры и на протяжении многих столетий мусульмане мира искали (и находили) защиту у своего халифа. В качестве примера приведу случай середины XVI в., когда мусульмане о. Суматра искали покровительства у *Защиты Ислама*, султана Турции, от португальской экспансии, а ханы Туркестана — от продвижения русских в низовья Волги. И в обоих случаях султан отправил войска как в Индию, так и Среднюю Азию (*Inalcik*, 1994. P. 57–58). Но вот крымские ханы почему-то не спешили признать верховенство Оттоманской Порты, вполне надеясь на собственные силы и превыше всего ценя политическую, да очевидно и смежную с ней религиозную самостоятельность.

Во внутренней политике Хаджи-Гирей приступил к консолидации своего государства. Любопытно, что это было никак не связано с полным овладением всей территорией полуострова и вытеснением из Крыма генуэзцев. Такие попытки, в общем-то естественные для тюркских властителей Крыма, делались ранее, когда власть ордынских наместников здесь ещё не была поколеблена. Один из них, заключив союз с дорогским князем Алексеем, неожиданным броском завладел Чембало. Видавшая виды Генуя, не тратя времени на переговоры, в 1433 г. послала в Чёрное море эскадру с 6 000 солдат и матросов на борту, которые выгнали захватчиков из Балаклавы и Каламиты (Инкерман). Тем не менее позже генуэзцы потерпели поражение от крымских мусульман при Карагозе, что недалеко от Солхата (*Колли*, 1913. С. 121). Таким образом, в ходе этого тлеющего конфликта долгое время перевеса не могла добиться ни одна из сторон.

С приходом к власти Хаджи-Гирея крымско-генуэзские отношения меняются в лучшую сторону. Пока полуостров был достаточно просторен и для крымцев, и для итальянских колонистов (тем более, что последние никак не претендовали

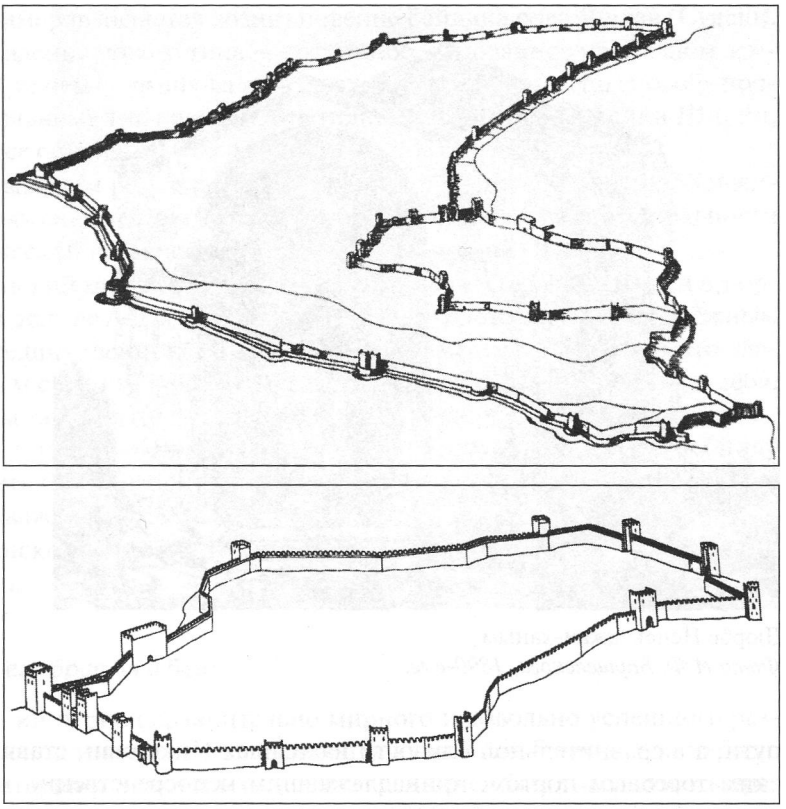
на экспансивное расширение за счёт внутренних областей ханства). Однако, причину стоило искать за морем. Успехи турок в Малой Азии и Европе, рост их военного могущества, их нескрываемое желание завладеть черноморскими факториями «френков», конечно, не были тайной для дальновидного хана. Поэтому Хаджи-Гирей, сохраняя неплохие отношения с завоевателем Константинополя Мехмедом II Фатихом (1444–1446, 1451–1481) и зная не понаслышке о его планах захвата и генуэзской Кафы, выступал в роли защитника колонии. Причина была проста: хан получал от богатых генуэзцев обильную дань, выплачивавшуюся регулярно и составлявшую значительную часть доходов казны. Более того, он сквозь пальцы смотрел на то, как колонисты вербуют наёмных солдат в Польше, зная, что это — необходимая мера самообороны против турок, а не соседей-татар (*Смирнов*, 1887. С. 244–245).

Консулы умели ценить доброе к ним отношение, кроме того, они действительно готовились к оборонительной войне с турками. Поэтому они стараются не раздражать своих опасных соседей, задабривают их эмиров и родственников хана подарками и т. д. Они даже предоставляют хану, не имевшему пока собственного торгового флота, все выгоды высокопрофессионального и, главное, вполне доброжелательного торгового посредничества. Кафинские колонисты не отказывают Хаджи-Гирею ни в услугах купеческого флота, ни в ссудах у частного и казённого торгового капитала. Понятно, что в таком развитии отношений были равно заинтересованы обе стороны.

Это положение в целом не менялось довольно долго. Но в последнее десятилетие правления Хаджи-Гирея генуэзские города-крепости не могли не ослабеть, ведь захват турками обоих берегов Босфора почти пресек контакты крымских итальянцев с метрополией. С другой стороны, ханство за прошедшее время окрепло, пользуясь преимуществами независимого существования[1]. Наконец, всё более настойчиво добиваются его помощи в борьбе с крымскими генуэзцами турки, тогда уже продвигавшиеся по направлению к Северному Причерноморью, а значит, и к Кафе, которая являлась географическим и экономическим центром региона. Но при всём могуществе Османской империи эту приморскую крепость было несподручно штурмовать кораблями, не располагая поддержкой на твёрдой земле — не имея стенобитных машин, которые было невозможно доставить к осаждаемой крепости по морю. Тем не менее такая попытка была однажды сделана.

В 1454 г. к берегам Восточного Крыма подошла турецкая эскадра, которой командовал Демир-кяхья. Некоторые авторы приходят к выводу, что именно с ним Хаджи-Гирей решил вступить переговоры, которые окончились соглашением о вступлении турок на Крымский полуостров с целью совместного с ханом похода на колонии Генуи. Это соглашение якобы предусматривало не только осуществление упомянутых военных акций, но определяло некие политические изменения в отношениях ханства и Османской империи, напрямую касавшиеся

[1] Тому причиной была последовательная переселенческая политика хана: в годы его правления в Крыму осело множество бывших кочевников и оседлых жителей, главным образом с берегов Волги, хотя заинтересованность хана в генуэзской экономической и политической поддержке при этом отнюдь не уменьшилась.



Верх: план крепостных стен, башен и цитадели Кафы второй половины XV в. Низ: план цитадели. *По С.Г. Бочарову*

суверенитета независимого Крыма. Утверждают, что «в силу этого соглашения не только Кафа, но и само Крымское ханство фактически сделалось зависимым от турецкого султана» (*Сафаргалиев*, 1996. С. 510).

На самом деле никакого опасного для кафинцев продолжения договорённость турецкого капудан-паши с Хаджи-Гиреем не получила, по крайней мере при жизни этого хана. Кафа, как известно, была взята турками лишь через 20 с лишним лет, в 1475 г. Более того, выясняется, что после того как высадившийся с эскадры, насчитывавшей 180 галер, 170 грузовых судов и 120 транспортов с лошадьми, турецкий десант в 40 000–70 000 сабель тщетно пытался штурмовать крепость, с командиром десанта Гедик-Ахмедом вступил в переговоры Хаджи-Гирей. Но их результатом стало не соглашение о совместном захвате крепости, а отступление турок от стен Кафы и уход всей эскадры в южном направлении (подр. см.: *Гайворонский*, 2007. С. 26–27). Благодарные хану за собственное спасение, генуэзцы добровольно повысили ежегодную дань ему до 20 000 лир (*Смирнов,* 1887. С. 260).

В годы правления этого хана произошло другое знаменательное событие. Резиденция властителя государства, ранее находившаяся в Восточном Крыму (г. Къырым), была переведена в неприступный Кырк-Ер, в центр наиболее плотно населённой части ханства. Здесь скрещивались важные сухопутные торговые

Дюрбе Ненекеджан-ханым.
Фото И.Ф. Барщевского, 1890-е гг.

пути, а в сравнительной близости находился Инкерман, ставший первым морским торговым портом, принадлежавшим непосредственно ханству, впоследствии обзавёдшемуся собственными торговыми судами и наладившему морскую торговлю. Перенос столицы послужил, таким образом, политическому и экономическому укреплению ханства, содействовал его централизации. Кроме того интенсивное дворцовое и частное жилищное строительство в окружении новой ханской резиденции стало оказывать всё более заметное влияние на культурное развитие народа, и в частности на традиции крымского градостроительства.

Подведём итоги деяниям первого Гирея. Отдельные авторы утверждают, что Хаджи-Гирей по натуре был мирным правителем, а войны его были вынужденными (*Хартахай,* 1866. С. 201). Действительно, ряд реформ, проведенных им внутри государства, требовал мирного развития: они касались внутреннего административного, экономического и культурного строительства. Хан воздвиг значительное количество мечетей и школ, активно культивировал сравнительно ещё новую мусульманскую веру. До нас от эпохи первого Гирея дошли развалины мечети в Кырк-Ере, а также упоминавшееся дюрбе Ненекеджан-ханым, дочери Тохтамыша, у Восточных ворот этой крепости. Религиозная культура хана проявилась и в том, что он совершил хаджж, а для духовного совершенствования, как утверждают, заимствовал богатый опыт генуэзцев и готов, взамен оказывая христианским монастырям материальную помощь (*Сестренцевич-Богуш,* 1806. Т. II. С. 251–252).

Содействуя чисто экономическими мерами распространению среди татар оседлости, земледелия, ремесел и торговли по образцу южнобережных и готских соседей, Хаджи-Гирей добился немалых успехов. Наиболее показательным

из такого рода примеров является возникновение бейлика рода Яшлав (Сулеш). Это было землевладение нового типа — вотчинное, основанное на оседлом землепользовании. При нем формировались и другие, аналогичные по способу производства и социальному типу административные единицы — бейлики Ширин, Барын, Аргын и все остальные (*Якобсон*, 1973. С. 133).

Наиболее же важным результатом внутренней и внешней политики Хаджи-Гирея стало достижение им экономической и культурной самостоятельности и полной политической независимости ханства от Золотой Орды.

Великий крымский хан Хаджи-Гирей I умер в 1466 г. Он был погребён в дюрбе, возведённом в долине Ашлама-дере, между Эски-Юртом и самым надёжным убежищем его предшественников — Кырк-Ером, то есть в Салачике. Это здание над подземным склепом покойного хана воздвиг его сын — для отца и себя. На торжественном тарихе этого не самого большого дюрбе видна арабская вязь, складывающаяся в слова: «Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан, знаменитый хакан, повелитель мира Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-Гирей-хана. 907» (в 1501 г.).

Первый из ханской династии Крыма, Хаджи-Гирей, покоится там и ныне.

Мир праху его.

з) Менгли-Гирей I, его братья и беи

Почти сорокалетний период сравнительно мирного и довольно успешного развития ханства закончился со смертью основателя династии Гиреев. У него было восемь сыновей, старший из которых, Девлетъяр, должен был унаследовать престол. Однако он умер ещё при жизни отца, и в 1466 г. к власти пришел второй сын хана, Нур-Девлет, удержавшийся во дворце около года. Затем его сверг шестой сын покойного хана, Менгли, опиравшийся в своей политике на дружбу с генуэзцами (правил в 1466/1467–1474, 1475–1476 и в 1479–1514 гг.), после чего Нур-Девлет бежал в касимовское ханство[1], где служил Ивану III около 20 лет, ненадолго вернувшись в Крым и даже заняв ханский престол в 1478 г. (*Абуль-Гази*, 1906. С. 157; *Вельяминов-Зернов*, 1863. С. 124).

Внешнеполитическое положение, в котором находилось Крымское ханство в первый период правления Менгли, было весьма сложным. Враждебную позицию занимала Большая орда — один из самых мощных и обширных осколков Золотой Орды, расположенный в Северном Причерноморье, Нижнем Поволжье и Северо-Восточном Прикаспии. Особенно опасным это государственное образование было оттого, что его после смерти Хаджи-Гирея

[1] Это ханство («царство», согласно московским летописям) тогда насчитывало менее 20 лет со дня образования. Касим, сын золотоордынского хана Улу-Мехмеда, опасавшийся по ряду причин покушения на свою жизнь, нашёл в 1446 г. убежище у московского князя Василия II Тёмного. В награду за верную службу этот правитель, рассчитывавший и в дальнейшем пользоваться услугами преданных ему мусульман, дал Касиму местечко Мещерский (Мишарский) Городок, расположенный в Рязанском княжестве. На территорию городской округи стало переселяться тюркское население Поволжья, позднее сложившееся в субэтнос *касимовских татар*, а город стал называться Касимов (подр. см.: *Рахимзянов*, 2009. С. 57–65).

стало поддерживать Польское королевство, также стремившееся к выходу в Чёрное море и планировавшее захватить крымские земли в нижнем течении Днестра или же использовать для этого Молдавию. Политическая элита Большой Орды, сконцентрировавшаяся в столичном городе Сарае — резиденции её хана Ахмета, открыто демонстрировала своё непризнание Крымского ханства как суверенного государства и заявляла свои права на его территории (*Вельяминов-Зернов*, 1863. С. 81–84).

Оказавшийся между двух огней Менгли-Гирей пытался найти поддержку у врагов своих врагов. Им были установлены дипломатические отношения с великим князем московским Иваном III и налажены тесные связи с турецким султаном Мехмедом II Фатихом, стремившемся укрепиться в торговом порте Азак (совр. Азов) — план малореальный в условиях близкого соседства большеордынцев (*Вельяминов-Зернов*, 1863. С.131; *Некрасов*, 1990. С. 53). После этого хан отправился летом 1476 г. в поход на Сарай, однако крымское войско было разбито превосходящими силами противника. Хан вернулся домой, ордынцы следовали за ним по пятам и даже вошли в Крым. Менгли-Гирею пришлось укрыться в Османской империи, где он и находился до весны 1468 г.

Наконец, как будет показано ниже, в 1479 г. Менгли-Гирей утвердился в качестве хана окончательно. Он был правителем способным и образованным, лишённым каких-либо неприязненных чувств к иноверцам; возможно, этому способствовало его фактически европейское воспитание. Имеются сведения о том, что отец отослал его ещё мальчиком в резиденцию консула Генуи в Крыму, где он жил до смерти отца. Поэтому он владел итальянским языком и, что важнее, на всю жизнь сохранил тёплое отношение к кафинцам. Те отвечали ему взаимностью. Так, когда в 1466 г. крымский престол на краткое время занял его старший брат Нур-Девлет, и Менгли попытался свергнуть его, но потерпев при этом поражение, он укрылся не в дружественной Литве, а в более близко расположенной Кафе.

Между тем в стремлении укрепить свою власть Нур-Девлет сам готовил себе поражение. Будучи наследником номинального властителя Орды Хаджи-Гирея, он просил сарайского хана Ахмета узаконить его восшествие на крымский престол. Это было совершенно добровольное унижение перед бывшей властительницей Крыма, Ордой, перечеркнувшее великое деяние его отца. Поэтому Менгли-Гирею не составило большого труда убедить крымских беев в том, что именно он вернёт Крыму его положение, независимое от Сарая. При этом немалую роль сыграла поддержка крымских итальянцев: они дали понять беям, что стоят целиком на стороне Менгли. После этого без ведома правившего хана был собран совет глав бейских и мурзинских родов, на котором было постановлено, что столь недалёкий хан должен уступить свой престол младшему брату. Показательно, что избрание крымцами нового хана состоялось в генуэзской Кафе — не исключено, что из соображений безопасности (*Гайворонский*, 2007. С. 41).

В дальнейшем Менгли-Гирей, прекрасно понимая опасность вторжения в Крым агрессивного, безудержно расширявшегося Османского государства, принял единственно возможное и верное решение, предложив крымским итальянцам объединить с ним свои силы для сопротивления туркам. Этот договор о взаимопомощи имел и важное внутрикрымское значение. Кафинские генуэзцы уже давно находились в состоянии тлеющего конфликта с Готией, пред-

Монеты Нур-Девлета

метом которого было право на владение бухтой и крепостью Чембало, а также южнобережной полосой, протянувшейся приблизительно между современными Алупкой и Куру-Узенем. Теперь потомки готов (и давних пришельцев на их земли, с готами смешавшихся), осознали главную опасность для своей родины — османскую, и присоединились к упомянутому союзу, договорившись о взаимной помощи в случае внешней агрессии.

Но угроза ханскому престолу зрела внутри государства. После смерти главы рода Ширинов и тудуна генуэзской Кампаньи Мамак-бея, Менгли-Гирей, в обход традиции назначил новым беем не старшего сына покойного хана, Карамирзу, а младшего, по имени Эминек. На этом выборе по некоторым причинам настаивали кафинские генуэзцы, и хан не стал портить отношения со своими старинными друзьями. Однако династический конфликт на этом не закончился. Кроме старшего, обделённого сына покойного Мамака, Кара-мирзы, существовал и третий претендент на пост Ширин-бея. Им стал третий сын Мамак-бея, Шейдак, пользовавшийся поддержкой немногих, но влиятельных генуэзцев.

Не рассчитывая на иную опору в пределах ханства, он отправился в Орду, предлагая свои услуги в смещении Менгли-Гирея. Шейдак не претендовал на ханский престол, а просил для себя «всего лишь» титул первого бея при будущем, уже ордынском хане Крыма. Менгли-Гирей узнал об этом, но более насущной для него была совсем иная проблема: первый бей Ширинов Эминек затеял переговоры с османами, судя по всему клонившиеся к турецкому вмешательству в крымские дела. Поэтому хан был вынужден сместить Эминека (тот бежал на Кавказ), планируя заменить его Кара-мирзой.

Но генуэзцы настояли на кандидатуре Шейдака, угрожая в противном случае выпустить находившегося у них Нур-Девлета, который, будучи на воле, представлял бы собой куда большую угрозу как претендент на ханский престол, чем ордынский кандидат. Он имел равные, если не большие — по старшинству — права на обладание Крымом, чем даже Менгли, не говоря уже о Шейдаке. Однако крымскотатарская аристократия, возмущённая таким выдвижением довольно бездарного Шейдака, весной 1475 г. сместила Менгли-Гирея с престола, после чего он в очередной раз был вынужден укрыться в Кафе. Ханом на весьма краткое время стал его брат Айдер (*Вельяминов-Зернов*, 1863. С. 96–97).

В то же время изгнанник Эминек искал способ вернуть себе титул предводителя Ширинских эмиров. И он предложил султану Мехмеду II Фатиху помощь и сотрудничество, если Порта объявит войну Крыму, — в уплату за турецкую поддержку в его борьбе за крымский престол. Подобные инициативы проявляли

Менгли-Гирей I (в центре) со своим сыном Мехмед-Гиреем (слева) и султаном Баязидом II. *Журнал Къасевет, 2010, № 37*

и другие противники Менгли в Крыму. Поэтому мы можем утверждать, что внутриполитическая борьба этого Гирея, которого иногда не без оснований называют «главным создателем могущества Крыма» (Россия, 1910. С. 145), переросла во внешнеполитическую проблему. И турки решились на вторжение в Крым не без надежд на прямо призывавших их сюда беев, ожесточённых ханом. Узнав об этом, а также о свержении Менгли-Гирея, Эминек осмелел настолько, что даже вернулся в Крым — тем более, что с новым ханом Айдером его связывала старая дружба.

Ширины тут же предоставили Эминеку своё войско, с помощью которого тот готовился взять сказочно богатую Кафу. Теперь терпеливое ожидание султаном благоприятного момента для вторжения в Крым было вознаграждено. Новый властитель со своими беями сам приглашал его на полуостров для помощи в наведении там нужного ему порядка.

Борьба с османской угрозой оказалась сложной политической задачей. Турки имели сильный козырь против Менгли, стремившегося отстоять независимость ханства. В Стамбуле при дворе султана содержались два его брата, Саадет и Мубарак, прямые по старшинству наследники престола его отца. И султан мог в любой момент ввести их в игру, потребовав в уплату за ханский престол полного подчинения себе Крыма. Эта угроза была вполне серьёзной. Султан Мехмед II Фатих теперь планировал установить контроль над вторым после Босфора проливом, имевшим большое торгово-политическое значение — Боспором (ныне Керченский пролив). Но он не мог пока объявить войну генуэзцам, владевшим Восточным Крымом на условиях вассалитета Гиреям. Ведь хан, напомним, состоял с ними в союзе (а также с Готским княжеством, располагавшим рядом стратегически важных крепостей на юго-восточном побережье полуострова). Поэтому, объявив генуэзцам войну, султан вступил бы в вооружённый конфликт

и с крымским мусульманским властителем, что никак не укладывалось в шариатское понятие священной войны, — а только на такую войну Мехмед и имел право вести своё правоверное войско. Но весной 1475 г. обстановка в Крыму опять изменилась. До султана дошла весть, что Менгли-Гирей свержен собранием крымской знати. И что бывший хан теперь укрывается за стенами Кафы.

и) Турки в Крыму

Не только современники Менгли-Гирея, этого незаурядного государственного деятеля, но и историки нашего времени расходились в оценках плодотворности и целесообразности ханской политики, приведшей в конечном итоге к частичной утрате Крымом своей независимости на много веков. Очевидно, для более глубокого анализа смысла и результативности действий Менгли-Гирея не обойтись без экскурса в область государственного устройства и системы сложившихся в Крыму политических сил в конце XV — начале XVI в.

Внутреннее положение Крыма накануне нашествия. В первой половине XIV в. власть ханов в Крыму была далеко не абсолютной. Экономическая мощь Гиреев в те годы мало зависела от походов с целью захвата пленных на продажу. В основном она строилась на внутренних доходах. Со скотоводческого и земледельческого населения, успешно осваивавшего угодья Крыма, ханы взимали *подымную* подать, *ясак* и *калан* (подать с возделанных земель, вообще с сельского хозяйства). Собирался и *харадж*, то есть десятина с урожая и приплода. Изрядные средства приносили поступления в казну от эксплуатации соляных озёр, а также откупов. Кроме того, немалые деньги давала международная торговля (таможенные пошлины и проч.).

Таким образом, экономически хан был от своей аристократии независим. Особенно высоко оценил возможности коммерции именно Менгли-Гирей, причём в обоих её видах, доступных ханству, — как собственного вывоза, так и международного транзита. Он обратил внимание на развалины какого-то древнего селения, расположенного в чрезвычайно удобном месте, близ днепровского устья (это были остатки греческой колонии Ольвии), и в 1492 г. воздвиг прямо на старинных фундаментах новый город. Вскоре хан окружил его стенами и назвал новую крепость по имени реки, которую татары называли Озю (позднее крепость стала более известна под именами Ачи-Кале, Ак-Чакум или, в русском варианте, Очаков).

Первоначально она не могла конкурировать с такими торговыми центрами, как Кафа, Судак, или Аккерман. Однако с течением времени Озю заняла достойное место среди городов Причерноморья, оказавшись сразу на двух торговых магистралях — Черноморско-Днепровской и, что важнее, сухопутного ответвления Великого шёлкового пути, ведшего из Стамбула через Килию и Ор-Капы в Среднюю Азию. Транзитная коммерция приносила стабильный доход и нетрудно догадаться, что Очаков был для Менгли-Гирея важной частью его программы укрепления экономической независимости ханства. Это своё значение крепость-порт сохранила надолго, пока не оказалась (XVI в.) во владении турецких султанов (*Весела*, 1969. С. 98).

Впрочем, этот портовый город был не единственным фактором укрепления власти Крыма в северо-западном «углу» Причерноморья. Оказав впоследствии туркам помощь в завоевании Килии и Аккермана, Менгли получил от султана

Баязида II огромную территорию Буджака (1510)[1]. Ей вскоре нашлось применение: туда, за Днестр, энергичный хан перевел кочевья ногайцев, ранее входивших в состав Золотой Орды. Правда, формально Буджак по-прежнему являлся частью османского Румелийского бейлербейства[2], но Гирей поставил над переселенцами-ногайцами род Мангытов, лидеры которого впоследствии стали участвовать в работе ханского дивана и, значит, в формировании единой внутренней политики Бахчисарая. Значение этого обширного, но малонаселённого края ещё более возросло при преемниках Менгли-Гирея, когда Буджак стал прибежищем для других ногайских племен, утративших свои родовые земли в результате смут (в Заволжье) или же распада старых ногайских родоплеменных союзов вроде Ногайской Орды (начало XVII в.), когда сюда, на запад откочевало крупное ногайское племенное объединение Едисан. Дополнительную безопасность ханству обеспечивали выстроенные в правление Менгли-Гирея на берегах Днепра пограничные крепости Джан-Кермен, Кара-Кермен и Девлет-Кермен — об этом сообщает анонимный турецкий автор «Истории крымских ханов» (ЗООИД. Т. I. 1844. С. 383).

Сложнее был вопрос о независимости политической. Зададим себе вопрос: зачем Менгли-Гирей променял не безоблачное, но всё же свободное существование на зависимость от Османского государства? Ответ, возможно, кроется в исторической судьбе не только Крыма, но и соседних княжеств, расположенных в Западном Причерноморье, очутившихся в схожей ситуации и избравших себе именно такой выход. Известно, что князья Валахии и Молдавии ещё в начале XIV в. в полной мере ощутили угрозу экспансии со стороны католических Венгрии и Польши. Какой же выход избрали эти православные властители? Вполне естественный, предпочтя защиту мусульман засилью католицизма. Это не должно показаться странным, ибо уже в те годы бытовала народная мудрость: «Лучше чалма султана, чем тиара папы».

Эти властители знали по опыту своих православных соседей, так или иначе вошедших в состав Османской империи, что вассальная зависимость от османов несёт с собой утраты материальные, но отнюдь не духовные, чем, безусловно, было чревато подчинение католикам. И действительно, Валахия, чьи князья время от времени приглашали турок на помощь от угрозы католического нашествия, вряд ли раскаялись в такой политике впоследствии, когда взамен в общем-то терпимой годичной дани Стамбулу (да время от времени участия в совместных походах) они обрели безопасность от тотальной духовной экспансии папистов.

---

[1] Буджак — место кочевий буджакской (аккерманской) ногайской орды, расположенное в прутско-днестровском междуречье.

[2] Румелийское бейлербейство (эялет) или Румелия — историческая область, расположенная между Чёрным, Средиземным и Адриатическим морями, с севера граничившая с Валахией, а с северо-запада — с Боснией. Эти турецкие (бывшие византийские) территории, примыкавшие к Босфору и Дарданеллам, турками назывались *Rum äli*, то есть *Земля румов*, «Греческая страна» или земля Восточной римской империи (*Фасмер*, 1964. Т. III. С. 516–517). С конца XVI до XIX вв. Румелия — название турецкой провинции с центром в Софии, включавшей в себя Албанию, Болгарию, Герцеговину, Македонию, Фессалию и Эпир. Топоним *Румелия* сохранился и после того, как упомянутые территории были разделены Портой на более мелкие административные единицы — *санджаки*.

Это им гарантировала вся мощь армии султанов, никогда не дававших своих вассалов в обиду, пусть даже в собственных интересах. А веротерпимость мусульман как небо от земли отличалась от яростного миссионерского стремления католиков всех обратить в свою веру. И Валахия выбрала из двух зол меньшее.

Молдавские же политики, увидев, что соседняя православная церковь не только не пострадала от мусульманского владычества, но ещё и получила от них немалые материальные льготы, последовали валашскому примеру в 1450-х гг. Естественно, ни там, ни тут это не повлекло за собой никакого принуждения к переходу народных масс в иную веру (*King*, 2004. P. 121). Так что румынские историки, называющие этот политический процесс «турецким завоеванием», не совсем правы. Так же как и российские, когда они горестно повествуют о пагубном «захвате Крыма турками» в XV в.

Здесь нельзя не упомянуть о турецких перспективных планах на Крым. Безусловно, приведение ханства в вассальную зависимость имело для Стамбула экономические (торговые, налоговые и пошлинные) выгоды. Кроме того, это была бы и военно-стратегически, и геополитически прекрасная точка опоры в планах султанов на завоевание части Восточной Европы. Но ещё более важным было то, что к Османской империи должно было присоединиться *мусульманское*, а не христианское (как на Балканах) государство, отчего этот союз мог приобрести явственные черты органичного содружества по вере.

Далее, Крым был способен стать недостающим (и неразрывным) звеном между султанами и ханами Крыма. Первые титуловали себя падишахами, не имея на это ни права, ни признания исламских государей, ведя династический счёт от не слишком известного эмира Осман-Гази. Вторые, как чингизиды в одиннадцатом (или в девятом, по иным данным) поколении, правом этим, бесспорно, обладали. Вот почему возможность заполучить в вассалы продолжателей династии самого Потрясателя Вселенной не могла не волновать безродных османских султанов, отнюдь не планировавших ликвидацию дома Гиреев. Поэтому, когда непростые связи Крыма с Турцией стали постоянными, то отношения султанов с ханами развивались в куда более свободной и непринуждённой форме, чем с властителями других присоединённых земель. А нередко (не только в эпоху Девлет-Гирея II) эти отношения могли подниматься чуть ли не до равноправных, когда, бывало, султан выходил во двор своего стамбульского дворца, чтобы проводить гостя-хана в обратный путь, и лично подсаживал его в седло (см. ниже).

Конечно, Менгли-Гирей и тем более его сын и преемник Мехмед-Гирей не имели полной возможности решать проблему вассалитета самостоятельно. Многое зависело не только от них одних. Ханы должны были считаться как с настроениями ногайских беев, ощущавших себя довольно независимыми, так и с мнением собственного совета (дивана). Здесь основную роль играли *карачи* — четверо глав крупнейших бейских родов: Ширинов, Барынов, Аргинов и Кыпчаков. Первые два из названных родов были наделены и особыми привилегиями. Так, Ширины имели право на сбор пошлины с прибывающих в Крым или следующих транзитом купцов, а также на жалованье, которое им выплачивал кефинский казначей хана (Памятники, 1895. С. 670).

Влиятельные беи доосманского периода избирались по старшинству, по тому же принципу замещались звания карачи. Однако утверждал подобные избрания

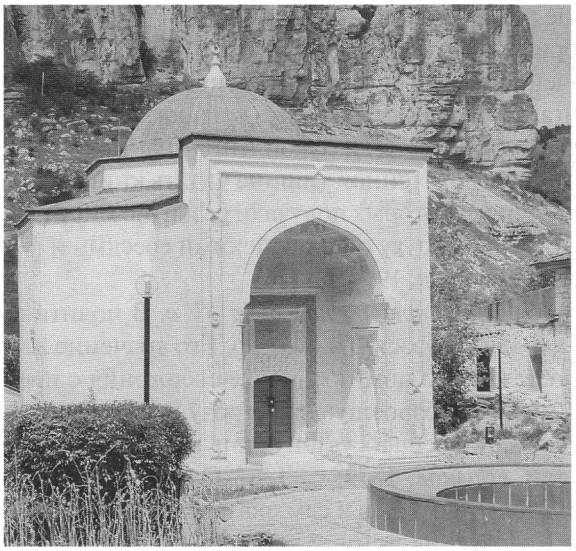
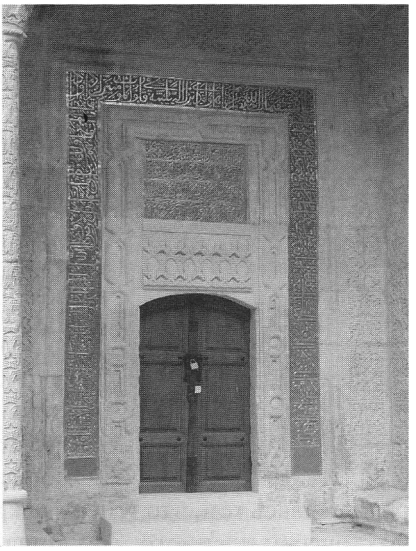
хан. Собственно, это было обычным правом, как и у сеньоров в Западной Европе, и так же, как последние, хан мог извлекать из этого права определенную выгоду. Естественно, стремясь к званиям беев или карачи, претенденты заранее связывали себя какими-то обязательствами перед поддерживавшим их взамен этого ханом. С другой стороны, войдя в силу и окружив себя личной гвардией, вассалы нередко о былых обещаниях забывали, выступая в оппозиции сюзерену.

И все же именно Гиреи оставались единодержавными властителями Крыма. Богатство беев было относительным, так как менялось в зависимости от походов, войн, результатов междоусобиц и обострений в отношениях с ханом. Последний же, имея стабильный доход, экономически был свободнее. И даже чисто внешне резиденции карачи, конечно же, не могли сравниться с Девлет-сараем, прекрасным дворцом, который Менгли-Гирей воздвиг на месте современного Салачика. Собственно, вся эта местность, включая и уже упоминавшийся Кырк-Ер, называлась по имени последнего. Ставка ханов здесь была основана ещё Хаджи-Гиреем, его сын только придал ей новый блеск. Она находилась в долине р. Ашлама (в самой крепости жить было неудобно: один-два колодца давали какое-то количество воды, но её было бы недостаточно для роскошного дворцового комплекса). Этот дворец до нас, к несчастью, не дошел даже в виде руин, нет и его описаний. Единственный уцелевший до наших дней фрагмент дворца — перенесённый в бахчисарайский Хан-Сарай портал ворот Демир-Капы работы итальянского архитектора Алоизио дель Нуово.

На этом великолепном памятнике эпохи Возрождения можно прочесть арабскую надпись: «Этот величественный порог и эта возвышенная дверь построены по приказу государя двух материков и хакана двух морей, государя, сына государя, Менгли-Герай-хана, сына государя Хаджи-Герай-хана». Судя по тексту, он был высечен на портале после окончательной победы хана над Великой Ордой в 1502 (см. ниже), когда он, став наследником её правителей, вернул своей династии древний чингизидский титул хакана, то есть «хана над ханами»[1], чья власть распространялась на огромные территории, примыкавшие к Чёрному и Каспийскому морям.

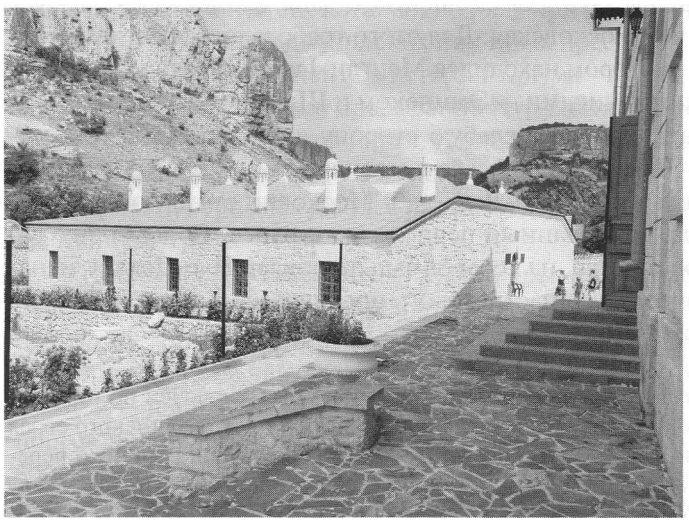
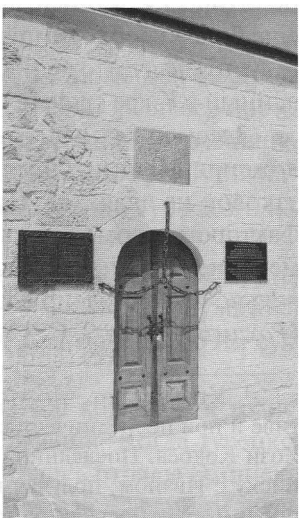
Рядом с ним находилась ханская мечеть, медресе Зинджирлы, ханские бани и дюрбе, которое было возведено над подземным каменным склепом Хаджи-Гирея. Последнее сооружение было задумано как мавзолей для всех грядущих ханов династии Гиреев. Постепенно посёлок у речки разросся, а над его невысокими крышами гордо высился дворец, окруженный садами, мечетями, медресе, банями, множеством усадеб знати, жилищами ремесленников и купцов. Неподалеку раскинулось и новое кладбище со скромными плитами над могилами бедняков и мраморными памятниками знати. От всего этого великолепия сохранились лишь дюрбе Хаджи-Гирея да здание медресе. Добавим, что Менгли-Гирей возвёл не одну мечеть, причём не только в собственно Крыму, а и на территории всего ханства. Так, одна из них находилась на его далёкой периферии, в Аккермане, то есть

[1] Различие между титулами хана и хакана исчерпывающе разъяснил автор IX в. ал-Хваризми, приведя параллели на арабском языке, где хан — это *правитель*, каких много, а хакан — действительно *хан ханов*. Начиная с кочевого периода истории тюрков (и не только тюрков) достоинство хакана можно было сопоставить лишь с императорским в средневековой Европе. Именно так, хаканом, тюрки именовали и китайского императора (*Галкина*, 2007. С. 17).

Дюрбе Хаджи-Гирея. Входная дверь в дюрбе. *Фото автора*

на самой границе с султанскими владениями (*Челеби*, 1961. С. 32). Большинство этих построек не дошло до наших дней, как не сохранилось и их описаний. Однако по словам современников всех их превосходило Зинджирлы-медресе. Причём отнюдь не размерами или богатством отделки. Приведём слова современного искусствоведа, сказанные об этом замечательном строении, отразившем мировоззрение и художественный вкус Менгли-Гирея, а также талант неведомого нам зодчего, построившего его по заказу и под наблюдением хана: «Простота, строгость...

Зинджирлы-медресе. Общий вид.
Вход в Зинджирлы-медресе. *Фото автора*

сочетались в этом здании с поистине ренессансной лёгкостью, с тем ощущением свободы, которое возникало и в дворике под открытым небом, и в интерьерах под плавными куполами. Большое значение имело совершенство пропорций: архитектура не подавляла человека ни гигантскими размерами, ни крепостной мощью, она служила для свободного развития способностей и накопления знаний. В этих стенах было легко и радостно жить, в сосредоточенной тишине читать книги, но и устраивать шумные философские диспуты, в которых получали развитие мистические концепции позднего суфизма, схожие по духу с европейскими ересями и реформаторскими учениями XVI века» (*Червонная*, 1994. С. 126).

Внешнеполитическое положение Крыма во второй половине XV в. В политике первых ханов Крыма важную роль играл «генуэзский» фактор. Его значение для Менгли-Гирея ещё более увеличилось: как мы помним, после свержения с престола он и укрыться-то мог только в Кафе. Возросшую же угрозу нападения турок генуэзцы пытались нейтрализовать, пообещав султану дань в 30 000 дукатов в уплату за собственную безопасность (*Волков*, 1872. С. 136). Однако ситуация осложнялась тем, что теперь покровитель генуэзцев и сам оказался в положении фактически пленного. Это лишало Кафу единственной поддержки, на которую она могла рассчитывать при новой осаде города турками — выступления на её стороне хана с войском. Поэтому у султана появилась реальная возможность захватить как Кафу, так и Готию.

Но у Стамбула имелись и опасения: в случае такого похода крымцам мог помочь великий князь московский Иван III, дружески относившийся к Менгли-Гирею, с начала 1470-х гг. имевший с ханом оборонительный и наступательный договор[1], и несколько лет удерживавший у себя по просьбе Менгли двух его соперников-братьев.

Дружба с Менгли-Гиреем позволила великому князю, кроме того, прекратить выплату дани Золотой Орде, и это практически сходило ему с рук — пока, по крайней мере. Теперь султану Мехмеду II предстояло сделать единственный политически верный шаг: сделать для смещённого хана поддержку Стамбула ещё более необходимой, чем московская. Для этого требовалось совсем немного, учитывая положение, в котором находился Менгли-Гирей, фактически осаждённый в Кафе своими противниками — Эминеком и Ширинами.

Здесь нужно учитывать ещё одну слабую сторону внешнеполического положения Менгли-Гирея. Упомянутая дружба с московским царём, собственно, таковой не являлась. Пребывание Нур-Девлета в Московии стало постоянным фактором угрозы для хана, как в данный период, так и ранее. Справедливо замечание, что Касимовское ханство, на которое был поставлен Нур-Девлет, изначально было создано в качестве «династического противовеса Казани и Крыму» (*Рахимзянов*, 2009. С. 124).

---

[1] Утверждают, что этот выгодный обеим сторонам союз был заключён по инициативе и при посредничестве одного из доверенных лиц Менгли-Гирея, кефинского еврея Хози Кокоса. Последний, по сути, вёл иностранные дела хана, вступая в личную переписку с Иваном, получая царские письма и подарки через гонцов и т. д. Он же, между прочим, был посредником в переговорах между царём и мангупским князем Исайкой, сватавшим свою дочь за сына Ивана III, что должно было сделать московско-крымские политические связи многосторонними (*Тучанский*, 1915. С. 68–69).

Великий князь Московский Иван III.
Гравюра XVI в.

Но существовала угроза и физического захвата власти в Крыму путём переворота. Формально старший брат имел более весомые права на крымский престол, чем Менгли, об этом говорилось ранее. Кроме того, у него имелись сторонники на полуострове и в заперекопских степях. Хан учитывал эту опасность и неоднократно предлагал Ивану III отпустить Нур-Девлета на родину. Однако царь, формально соглашаясь на эту просьбу, по сути дела год за годом в ней отказывал. При этом он приводил в своей переписке с ханом всевозможные отговорки, вплоть до того, что заботится о внутреннем мире в ханстве, который неминуемо взорвётся, как только старший брат явится во владения младшего (*Рахимзянов*, 2009. С. 126).

Окончательно удостоверившисьв том, что царь будет держать этот камень за пазухой вечно, Менгли после 1489 г. своё предложение не возобновлял — тем более, что Нур-Девлета вскоре, в 1490 г., сменил на касимовском ханском престоле его сын Салтыган, который по ряду причин вообще не обладал каким-либо правом ни на один из джучидских или иных престолов. Но это случилось гораздо позже переломного момента в истории Крыма — турецкого вторжения, накануне и во время которого само пребывание Нур-Девлета в Московии являлось постоянной угрозой для Менгли-Гирея. И оно не могло не оказывать какого-то влияния и на его «османскую» политику, поневоле становившуюся всё более уступчивой.

Впрочем, вернёмся к более ранним событиям, к предыстории турецкого нашествия на Крым.

Турецкое вторжение. После захвата крымского престола Айдером, Ширины сместили Шейдака. Освободившийся пост бейлербея снова занял вернувшийся на родину Эминек, который стал поджидать результатов отправленного им султану приглашения явиться в Крым. Что и произошло 31 мая 1475 г.

Флот, направленный Мехмедом к Кафе, состоял из 400 кораблей и транспортов под руководством великого визиря Гедика Ахмед-паши. Когда турецкое войско начало высаживаться на берег, к нему присоединились отряды Эминека. Его военачальник Басса заключил от имени татарского народа с великим визирем договор о взаимопомощи и даже снабдил его припасами и всем необходимым для осады Кафы. Самоотверженно выступившие за ворота итальянские солдаты

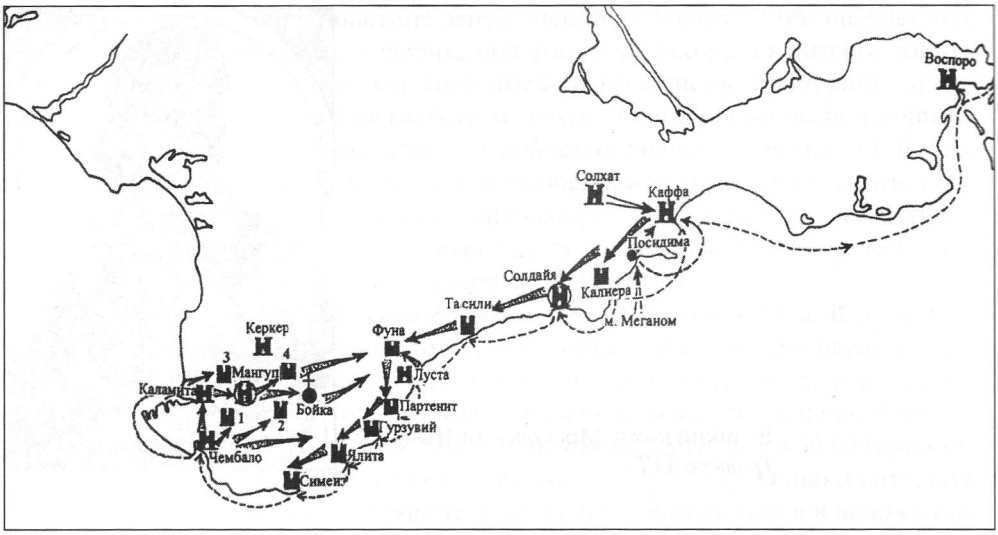


Схема завоевания турками генуэзских владений в 1475 г. *По В.Л. Мыцу*

и Менгли-Гирей с 1 500 своих воинов были буквально смяты во много раз превосходящими их силами противника и вынуждены уйти под защиту крепостных стен. После этого город был полностью блокирован.

Начались осадные работы, рушились стены, горели кварталы, и через несколько суток возмутились горожане — греки и армяне, составлявшие большинство населения Кафы. Горожане кричали консулу, что город необходимо сдать туркам, иначе они сами откроют ворота и перебьют итальянцев (*Колли,* 1913. С. 16). В такой обстановке защита становилась бессмысленной, это понимал консул Кибелла, и 6 июня город отворил крепостные ворота. Кафа оказалась богатой добычей, армянские и греческие торговцы купили себе жизнь, расставшись с огромными сокровищами, но 300 генуэзцев были казнены. Судьба Кафы постигла и остальные города, которыми владели генуэзцы, — Солдайю, Воспро (Керчь), Чембало (Балаклаву) и Инкерман. Труднее оказалось взять расположенный на горе готский Дорос, но в декабре того же 1475 г. войско Гедика Ахмед-паши ворвалось и в него.

После падения Кафы Нур-Девлету было позволено отправиться в Кырк-Ер, где его сторонники-беи освободили для него престол, сместив Айдера. Менгли-Гирея же турки взяли в плен. Однако у султана хватило ума превратить этот плен в почётный, и с 1475 г. бывший хан жил в его дворце.

И именно с этого года Крымское ханство стало считаться вассальной территорией Турции, но с некоторым отличием от других земель, попавших под турецкую власть. Отличие же это состояло в том, что утверждение османской власти, а точнее, протектората, здесь не свершилось одномоментно. Во-первых, оно происходило постепенно, в течение относительно долгого времени, так как зависимость Крыма от Турции возрастала на протяжении столетий. Во-вторых, эта зависимость так и не стала безусловной. Как будет видно из нижеследующего материала, встречались в истории Крыма ханы, которые не только уклонялись от

своих вассальных обязанностей. Бывало, они и не подчинялись туркам, и вступали с ними в вооружённые конфликты. Но вернёмся к истории Менгли-Гирея.

До хана-эмигранта доходили из-за моря известия о том, что его опустевший престол занимает один претендент за другим: Айдер, три раза эмир золотоордынского хана Джанибек и целых четыре — Нур-Девлет-Гирей. Эта чехарда ханов выводила из равновесия политическую и экономическую жизнь Крыма до такой степени, что борьба за столь шаткий престол становилась едва ли не бесцельной. В турецких архивах сохранилось несколько писем Эминека этого периода к султану, в которых этот коллаборационист слёзно просил вернуть на крымский престол из плена его законного государя (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 34). Что и случилось, но лишь после того, как султан убедился, что бывший хан достаточно вкусил горечь хлеба изгнания: в 1478 г. он доставил Менгли-Гирея в почётном сопровождении обратно, вернув ему в новом 1479 г. вместе с престолом и ханские регалии. Что же касается Айдера и Нур-Девлета, то они бежали к Казимиру, который предоставил им убежище (*Вельяминов-Зернов*, 1863. С. 128).

к) Новый статус ханства

Для султана завоёванная часть Крыма становилась одной из многих земель, подлежащих замирению и затем беспрекословному служению Высокой Порте. В соответствии с этим османы учредили в Кафе (теперь уже *Кефе*) центр своего *санджака* (административная единица империи, нечто вроде более позднего и более известного каймаканства). Значительно позднее в Турции положили считать Кефе своим *эялетом,* или (с 1568 г.) *бейлербейликом* (генерал-губернаторством) *Кефе*.

В него входили примыкавшие к Кефе земли Крыма и Северного Кавказа, а также всё азовское побережье. Там размещались отряды турецких войск. Примечательно то, что ими командовал не сухопутный паша, а адмирал турецкого флота (капудан-паша). Значит, эти войска, по-видимому, считались чем-то вроде десантных отрядов постоянного базирования. Кефинский паша носил довольно высокий титул *Karadeniz muhafizi,* или «Защитник Чёрного моря». На северо-восточном берегу Чёрного моря ему подчинялись крепости Темрюк и Кызыл-Таш, а также Тамань — центр одноимённого санджака.

Здесь же находилось важное османское административное учреждение *Канцелярия Кефе*, которая контролировала поступления доходов с откупов не только в Крыму, но и на островах и побережье Эгейского моря. Кроме того, доходы (таможенные, коммерческие, хозяйственные и пр.) приносили и некоторые крепости региона — их также контролировала Канцелярия. И лишь в 1733 г. она объединилась с Канцелярией *мукатаа* (фискально-административного округа) Стамбула (История Османского государства, 2006. С. 426).

Остальная, бóльшая часть полуострова сохраняла статус суверенного государства. Ханы были полными его властителями, здесь действовали старые крымские законы — в отличие от султанской территории Крыма, где и законы, и монета были османскими.

Таким образом, на полуострове отныне сосуществовали две административно разнородные области. Это были полностью подчинённый Османской

империи бейлербейлик Кефе (между прочим, его земли относились к анатолийской области империи) и формально попавшее в некоторую зависимость Крымское ханство на остальной территории полуострова, административно относившееся к Румелии. Первый использовался султанами в качестве одного из военно-административных опорных пунктов в Северном Причерноморье, второму была предоставлена полная самостоятельность во внутренних и весьма значительная — во внешнеполитических делах. Итак, ханство отнюдь не превратилось в одну из провинций Османской империи. Едва ли не единственная обязанность, отныне возложенная на ханов, заключалась в предоставлении султану крымскотатарского войска на время больших походов.

Со времён Менгли-Гирея ханство не было субъектом властных полномочий, имевших характерно мусульманскую правовую форму, как, к примеру, шерифат Мекка, эялеты Гилян, Триполи, Тунис, Алжир и т. д. Впрочем, Крым отличался от 22 окраинных провинций Османской империи и в экономически-правовом смысле: здесь не существовало системы тимаров[1]. Поэтому как хан, так и его эмиры (мирзы) и беи были экономически и политически несравненно свободнее, чем их «коллеги» по занятиям и статусу из других султанских эялетов, кадылыков, бейлербейств и пр. В целом же у турок и крымских татар сложились отношения, которые можно определить как *союзнические*. А то, что этот союз выдержал многовековое испытание временем, говорит как об общности политических и иных интересов двух народов, так и об органичности и ненасильственном его характере. Он сыграл огромную роль в истории Восточной Европы, и в этом смысле его можно сравнить единственно с будущей польско-литовской унией, столь же прочной, хронологически продолжительной и политически значимой (Williams, 2001. P. 48). И когда в XVIII в. настала чёрная пора великих эмиграций, то для крымцев не было вопроса, *куда именно* бежать от новой власти: абсолютно все, решившие покинуть родину, обратили свои взоры на столь близкую им Турцию.

Крымское ханство и кефинский санджак, выдвинутые по отношению к Турции далеко на север, внутрь владений неверных, занимали выдающуюся стратегическую позицию. Поэтому функции представителя султана в Крыму (наместника в Кефе) исполнялись вначале высшими офицерами османской армии, а позднее — самыми доверенными и перспективными родственниками султанов. Так, в 1507 г. этот пост занял Мехмед, сын султана Баязида II, затем другой принц крови, известный в дальнейшем как султан Сулейман Кануни (в Европе его называли Сулейманом Великолепным). В военно-политическом отношении позиция верховенства Порты поддерживалась в Крыму расположением крупных турецких гарнизонов в ряде портовых городов ханства (кроме Кефе, к ним относились Гёзлёв, Керчь, впоследствии Еникале, а также крепости Арабат, Ор и некоторые иные, поменьше).

---

[1] Тимар — владение, соответствующее римско-германскому лену или русскому уделу. Его господин (тимариот, тимарджи, тимарлы, топраклы) в уплату за пользование тимаром (он мог быть совсем небольшим) был обязан за свой счёт не только вооружиться и явиться по первому призыву в султанскую армию, но и оплатить снаряжение и коней для 2–4 всадников своего тимара. Невыполнение этого военно-экономического долга влекло за собой отчуждение тимара османскими властями и передачу его другому тимариоту (подр. см.: *Haberkern, Wallach*, 1972. Bd. II. S. 617).

Хотя ханство и не было турецкой провинцией, это никак не влияло на постоянную заботу Турции не только о гарнизонах своих крымских крепостей, но и о военной мощи ханского войска — это был вопрос безопасности границ Османской империи с северными, христианскими соседями. Такое отношение стало проявляться с первых же лет после образования Кефинского санджака, когда султан прислал Менгли-Гирею, начавшему возведение стен и башен Фархад-Кермана, 1000 мастеров-строителей и доставил за свой счёт материалы из Кефе и Мангупа, с чего, кстати, и началось разрушение последнего (Поселения, 1864. С. 686). Мероприятия такого рода были рассчитаны не только на оборону Османской империи с севера, но и на помощь ханов в наступательных действиях султанов. Эти ожидания впоследствии, в общем, оправдались. Первый раз крымские вспомогательные войска сражались на стороне османов уже в Польско-турецкой войне 1484–1489 гг.[1] Да и позже, в XVI–XVIII вв., крымцы принимали деятельное участие практически во всех войнах турок против держав Габсбургов, сефевидов, Московии, Персии т. д.

При этом основной задачей крымских войск было внесение своими конными рейдами паники среди населения и разорения тыловых областей противника, а также лишение его фронтовых частей материального обеспечения, в том числе поставок провианта. Кроме того, крымцы поставляли турецкому войску скот и другие виды снабжения, захваченные у врага. Как правило, татарские отряды действовали отдельно от главной армии империи, вторгаясь в контролируемые противником области на глубину в 50–100 км, а иногда и более. Как отмечает венгерская ориенталистка, «успех этих рейдов объяснялся кратким (то есть до подхода основных сил противника. — *В.В.*) перевесом крымской лёгкой кавалерии именно в данном месте и эффектом внезапности вторжения» (*Ivanics*, 2008. S. 120).

Между тем произошли крупные перемены в соседней Орде, которая по-прежнему представляла немалую опасность для ханства. Старый недруг Гиреев, ордынский хан Ахмед, отправился в июле 1480 г. на Москву с целью возобновить прекращённую было оттуда отправку дани. Дойдя до р. Угры (левый приток р. Оки), ордынское войско остановилось в нерешительности: на противоположном берегу их ждали многочисленные московское рати. Началась перестрелка. Русские впервые применили в полевом бою лёгкие огнестрельные орудия (пищали), грохот которых произвёл значительный моральный эффект, — утверждается, что ранее «Орда не видела ничего подобного» (*Алексеев*, 1989. С. 105). Но и московское войско, имея перед собой огромную массу метких степных лучников, тоже не торопилось форсировать реку. Началось отмеченное в летописях так называемое *Стояние на Угре*, продлившееся до 9–12 ноября 1480 г. (этот

[1] Эти походы требовали значительных расходов, которые, впрочем, возмещались Портой. Так, в 1593 г. султанский диван указал османскому наместнику в Кефе, что главный чиновник местной таможни, чауш Эбу-Бекир, должен передать хану из сборов своего ведомства, кроме обычной ежегодной выплаты, ещё 5 000 цехинов (золотая монета, равная по стоимости московскому червонцу или западноевропейскому дукату). Они предназначались для обеспечения похода войск Гази-Гирея II на венгерский фронт. И в 1602 г. тот же хан полностью получил затребованные им 3 000 цехинов за новый, совместный с турками поход (*Ivanics*, 2008. S. 120).

Стояние на Угре.
Миниатюра русской летописи

четырёхдневный разброс в сроках завершения «Стояния» объясняется тем, что части московского, а затем ордынского войск отходили от берегов реки разновременно).

Во время «Стояния» хан не бездействовал, попытавшись пробиться на противоположный берег в низовьях Угры, а затем выше русской оборонительной линии, но в обоих случаях его атаки были отбиты. Начались переговоры, во время которых русские пытались откупиться. К Ахмеду были отправлены послы великого князя «с челобитием и з дары, прося жалованья, чтоб отступил прочь», — говорит русский летописец (цит. по: *Алексеев*, 1989. С. 108). Судя по источникам, переговоры были сорваны с началом ледостава. Лёд на реке облегчал её форсирование, к тому же московский противник отступил на новые позиции, к Кременцу, а затем Боровску, очистив свой берег. Но к этому времени он значительно усилился, так как подошли отряды князей Андрея Углицкого и Бориса Волоцкого. Кроме

того, была снята угроза удара в тыл русским войск Казимира: на южные окраины владений нарушившего обещание о помощи союзника вошли крымские войска с целью их опустошить. Теперь у Кременца, в лесистой местности, неудобной для развёртывания ордынской конницы, великий князь намеревался дать Ахмеду решающее сражение.

Ордынский хан, догадавшись о замысле московского князя встретить степняков в неудобной для них пересечённой местности орудийным огнём, принял единственно верное решение. Он отдал приказ об отступлении, ведь неудачный для него исход боя за рекой грозил полным уничтожением степного войска, которое оказалось бы прижатым к Угре. Поэтому он повернул своих людей в литовскую сторону, а затем на места ордынских кочевий (*Алексеев*, 2007. С. 255–259, 263–265). Однако на обратном пути хан подвергся нападению войск сибирского и ногайского ханов и был убит.

Воспользовавшись тем, что ордынский престол занял сын покойного хана Сейид-Ахмед II и рассчитывая на неопытность нового хана в воинских делах, Менгли-Гирей призвал на помощь адыгов и напал на приволжских ордынцев. Причиной этого выступления была отнюдь не только возможность добиться от ослабевшей Орды каких-то политических уступок. Менгли-Гирей обладал к этому времени и военным могуществом, и политическим авторитетом, «но на ментальной карте ордынского и постордынского мира Крым не выделялся среди прочих рядовых окраинных провинций Золотой Орды». Теперь хан пытался захватить столицу Большой Орды, что могло стать для его державы реальным доказательством её *джучидской* государственности (*Трепавлов*, 2011. С. 111).

Однако Сейид-Ахмед не только отбил нападение этого соединенного войска, но и перешёл в наступление. Он ворвался в Крым и разбил войско Менгли-Гирея; в одном из сражений был ранен и сам хан. Практически весь полуостров затопила степная орда, а раненный Менгли был вынужден скрываться в неприступном Кырк-Ере. Не удалось Сейид-Ахмеду и взять мощную крепость Кефе. Тогда он отступил, предварительно разграбив богатый Эски-Къырым. Правда, крымцам вскоре удалось оправиться; кроме того, когда ордынцы приблизились к Кефе с целью взять город, к берегу приблизился турецкий флот, отчего Сейид-Ахмед и дал приказ к отступлению. Татарское войско, которым командовал, по некоторым сведениям, сын хана и его калга Мехмед-Гирей, бросилось за ним в погоню. Этот поход закончился уже на ордынских землях. Калга вторгся с ханским и собственным войсками во владения Сейид-Ахмеда и нанёс ему тяжёлое поражение (*Вельяминов-Зернов*, 1863. С. 111–112, 116)[1].

После этого победоносного похода великий князь Иван III, видимо решив, что лучшего покровителя, чем крымский хан, ему не найти, заключил с ним договор о взаимопомощи в борьбе с Великой Ордой. Причём московский князь пошёл на это отнюдь не из страха перед крымским ханом (эти владыки до самой смерти одного из них, Ивана, сохраняли друг с другом прекрасные отношения), но из желания сблизиться на основе взаимной помощи в ситуации угрожающе

[1] Автор этого сообщения, историк Мухаммед Риза, вероятно, ошибся. Мехмед-Гирей в те годы едва вышел из отрочества, да и калгой тогда был не он, а младший брат хана, Ямгурчи-Гирей. Видимо, именно он и возглавил поход-реванш.

тесного сотрудничества литовских Ягеллонов с ханами Великой Орды. Именно поэтому московский князь искал и находил взаимопонимание у Гирея, султана и даже венгерского короля Матьяша Корвина, а также у Штефана, господаря Молодовы (*Греков*, 1984. С. 89, 95)[1]. Другое дело, что дружба великого князя с ханом с самого начала не была равной. Менгли-Гирей выступал на переговорах с Москвой как владыка всей Орды, постоянно подтверждая свой верховный статус по отношению к Московскому княжеству.

Это следует даже из стиля обращения великого князя к хану (1474): «Князь великий Иван *челом бьёт*: посол твой Ази-Баба говорил мне твоими речьми так: что хочешь меня *жаловати,* в братстве и в дружбе и в любви держати... (курсив мой. — *В.В.*)» (Памятники, 1884. С. 1). Любопытно, что Иван, составляя у себя дома, в Кремле, проект будущего договора, сам использовал терминологию «жалования» Москвы со стороны Крыма. В этих бумагах встречаются слова, дополнительно свидетельствующие о том, что крымские «цари» жалуют московских великих князей: «Се яз Менли Гирей царь пожаловал есмь, взял есмы со своим братом, с великим князем Иваном, братство и любовь». Далее, князь инструктировал своего посланника отговаривать хана от сохранения традиционной суммы поминок, но заранее соглашался и на худший вариант: «а не отговорится, ино то (то есть полную, не уменьшенную сумму. — *В.В.*) в ярлык писати» (Памятники, 1884. С. 2). Другими словами, московский князь явно склонялся перед волей хана. Да и сам договорный ярлык был составлен в форме милостивого пожалования хана московскому князю — это признавали и старые российские историки (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 81).

Весной 1480 г. был заключён крымско-московский договор, который на долгое время — на несколько десятилетий — установил нормы отношений между Крымской державой и Московским великим княжеством. Менгли и Иван договорились о совместных выступлениях против литовских Ягеллонов и ордынцев. Замечу, что одним из дальнейших последствий этого союза стало весьма невыгодное для Крыма укрепление позиций Москвы в Поволжье и, в конечном счёте, поход великого князя на Казань в 1482 г., хотя он и не принес результатов (*Алексеев*, 2007. С. 270).

Менгли между тем готовил новую войну за освобождение Крыма от турок. Ситуация, благоприятная для восстания, сложилась после смерти Мехмеда II (1481), когда в Стамбуле разгорелась борьба за престол между сыновьями покойного султана. Ради этой своей цели хан был готов вернуть прежнее положение генуэзцам — в одиночку он справиться с османами бы не смог. Поэтому Менгли через одного из итальянцев, Антонио ди Гваско, сообщает в Геную о том, что на полуострове сложилась сильная антитурецкая оппозиция, в которую входят как христиане, так и мусульмане. Республика немедленно откликнулась на призыв хана, отправив в Крым для координации совместных

[1] Так, после разгрома орд Шейх-Ахмата у р. Сулы, Менгли-Гирей бросил свои войска на Волынь и Галичину, разорил окрестности польско-литовских Луцка, Львова, Браславля, Киева, Белза, Турова, Люблина, Кракова. А в 1502 г. его молдавский союзник Штефан штурмом взял приднестровские Коломыю, Галич, Покутье, Снятин и другие городки (*Греков*, 1984 «а». С. 151).

действий двух посланников — Лодизио Фиески и Бартоломео Фрегоза, одновременно намереваясь войти в коалицию европейских государств, готовивших в эти годы новый крестовый поход против складывавшейся Османской империи. Восстание должно было начаться, как только генуэзский военный флот подойдёт к одному из крымских портов. Однако упомянутая коалиция оказалась недееспособной и вскоре распалась, а на самостоятельную войну с османами генуэзцы не решились — как и Менгли-Гирей — без поддержки своих старых союзников (*Мыц*, 2009. С. 503–504).

Между тем дружеские отношения между Москвой и Крымом не ограничивались тёплыми оборотами речи, примеры которых приводились выше и которые становились постепенно вполне официальными. Доходило до казусов: так, после набега Менгли-Гирея на Киев в 1482 г. он передал московскому князю дары — «символы» церковной утвари из собора Св. Софии, и князь принял это дружеское приношение с неприкрытым удовольствием (*Греков*, 1984. С. 88). А в 1491 г., когда в Крым неожиданно вторглись ордынцы под командованием детей покойного Ахмада Шейх-Ахмеда и Сеид-Ахмеда, Иван III отправил на помощь хану своё войско с полевой артиллерией, «к которому должна была присовокупиться и казанская рать, выступившая из Казани 8 июля для нападения на Орду» (*Малиновский*, 1863. С. 209). Вскоре подоспели дополнительно 2 000 турок — редкий случай, когда османы и московиты, казанцы и крымцы сражались бок о бок, громя ордынцев. Московские пушки повергли степняков в шок и они бежали, растеряв свои табуны; воспользовавшись этим, «крымцы... отогнали от Ордынцев лошадей» (указ. соч. С. 210)[1].

Не опасался московский великий князь и давать крымскому хану в долг крупные деньги. Так, после того, как литовцы разорили в 1493 г. новопостроенный Ачи-Кале, Иван III предоставил Менгли-Гирею ссуду в 150 000 алтын, благодаря чему крепость только и могла быть отстроена (*Малиновский*, 1863. С. 218).

Но обратимся к едва ли не самому важному из деяний Менгли-Гирея — победному завершению его долгого противостояния золотоордынскому хану Шейх-Ахмеду. В последние годы XV в. Золотая Орда значительно ослабла, её всё больше теснили соседи. Отсутствие свободных кочевий означало падёж скота, и уже в 1498 г. в Орде начался голод, грозивший стать постоянным (*Зайцев*, 2006. С. 55). И Шейх-Ахмед принял решение о продвижении её далеко на запад, в направлении Днепра. Но это были земли крымских ногайцев, и без столкновения с главным противником Орды, Менгли-Гиреем, такое переселение было невозможным. Шейх-Ахмед попытался решить эту проблему через голову крымского владыки, обратившись в 1500 г. к султану, но новый повелитель Порты Баязид II

[1] Как отмечает современный российский исследователь эпохи Ивана III, отправка московских войск «в Поле предназначалась для помощи Менгли и была вызвана его просьбой. Однако не исключалось, что Ахматовичи пойдут не на Крым, а на Русскую землю. В этом случае предполагались совместные действия с главными силами Менгли в соответствии с союзным договором и с обязательством, принятым на себя самим ханом». Что же касается международно-политического значения этой кампании, то это «был первый поход служилого ополчения в глубь Дикого Поля, первый опыт коалиционной войны на южном направлении, первое материальное проявление союза [Москвы] с Крымом» (*Алексеев*, 2007. С. 314–315, 316).

(1481–1512) наотрез отверг его притязания. После чего ордынцам оставалось одно: решить эту проблему в сражениях с Крымом.

Менгли-Гирей хорошо знал о планах Шейх-Ахмеда[1], и весной 1501 г., заручившись обещанием Ивана III о поддержке, объявил сборы в большой поход. В войско должны были явиться все мужчины, начиная с 15-летних мальчиков. Вскоре пришло известие, что Орда двинулась на заперекопские земли Крымского ханства и уже подошла к Дону. Здесь степняки выстроили укрепление и стали ждать крымское войско. Однако ещё до подхода крымцев ордынская мощь значительно ослабла — по внутренним причинам. Старая вражда между Шейх-Ахмедом и его братом Сейид-Ахмедом вспыхнула с новой силой, и последний ушёл со своими людьми на восток, бросив театр военных действий.

Противники сблизились на р. Сосне, и здесь выяснилось преимущество ордынцев. Во-первых, их всё же оказалось численно больше (в последний момент Шейх-Ахмеду удалось привлечь на свою сторону Ногайскую Орду, и она тут же двинулась на помощь), а во-вторых, крымское войско, как выяснилось, было плохо подготовленным: воины взяли с собой слишком мало провианта и начали голодать. Наконец, войско Ивана III, уже вышедшее на юг, явно запаздывало. И Менгли-Гирей принял решение отступить в Крым без боя, а ордынцы беспрепятственно продвинулись на запад, дойдя до Белгорода и захватив лучшие ногайские земли (*Гайворонский*, 2005 «а». С. 13).

Собираясь в новый поход будущей весной, Менгли-Гирей провёл к нему гораздо более тщательную подготовку. Достаточно сказать, что его конники должны были запастись съестным из расчёта двухмесячных военных действий в пустынной степи, где пополнить припасы будет невозможно. Кроме того, он добился помощи от кефинского наместника, султанского сына Мехмеда, который предоставил в его распоряжение полевую артиллерию вместе с *тюфекчилер* (пушкарями), поскольку у самого Менгли пушек не водилось. Орда же за зиму сильно ослабла из-за сильных морозов и бескормицы (осенью 1651 г. Менгли-Гирей приказал поджечь степи вокруг ордынских стоянок). Многие улусы ушли на восток, а другие ордынцы бежали с семьями в более близкий и сытый Крым, и Менгли с удовольствием принимал их. Тем не менее, Шейх-Ахмед твёрдо решил не уступать захваченную причерноморскую степь и, готовясь к бою, воздвиг укрепление на месте впадения р. Сулы в Днепр.

---

[1] Опасаясь ордынцев, Менгли-Гирей заранее неоднократно, с 1480 по 1499 гг., искал на всякий случай убежища. Он не надеялся на турок и обращался с такой просьбой к московскому великому князю. Причина проста — будущий султан, пока занимавший пост наместника в Кефе, в дальнейшем вполне обоснованно мог заподозрить во властителе Крыма опасного конкурента и принять соответствующие меры. Именно эта мысль и насторожила Менгли: «У нас в старых людях притча есть: „две бараньи головы в один котёл не лезут“ молвят. А тот нас не послушает и мы его не послушаем, меж нас лихо будет. Молвя, блюдёмся; а где лихо живёт, из тое земли люди выходят». Иван III успокаивал хана: «от меня, великого князя и от сыновей и от братий... тобе царю брату и твоему брату и твоим детем и великим князем, и добрым слугам никакого ми вам лиха не учинити. Добровольно приедешь, добровольно куды всхочешь пойти, пойдёшь, а нам тобя не держати». Такую же грамоту, слово в слово, прислал Менгли-Гирею и Василий III (*Малиновский*, 1863. С. 233, 269, 402).

Сражение, произошедшее в середине июня 1502 г., закончилось полной победой войска Менгли-Гирея, на этот раз поддержанного и русскими отрядами. Не дожидаясь их возвращения в Москву, крымский хан отправил своему союзнику Ивану III грамоту, где торжествующе писал: «отца своего цареву Орду достал еси» (цит. по: Памятники, 1884. С. 445). Так оно и было. В 1502 г. московский посол Ф. Киселёв доносил, «что Менгли-Гирей, разбив и прогнав Ордынского князя Ших-Ахмета, пленил Орду его и Улусы покорил» (цит. по: *Малиновский*, 1863. С. 153). После этого Шейх-Ахмед бежал к Волге, пытался овладеть Хаджи-Тарханом, терпел поражения, и, наконец, укрылся в литовском Тракае. В дальнейшем остатки кочевых племён на территории Золотой Орды пытались объединиться в самостоятельное государственное образование, которое известно в истории под именем Большой Орды (*Сафаргалиев*, 1996. С. 511–513). Впрочем, это была агония разлагавшегося тела Золотой Орды. Часть ордынцев отказалась следовать за Шейх-Ахмедом и также была радушно принята Менгли-Гиреем, отведшим им свободные земли на степной территории Крымского ханства.

Почти за треть века до того, как пишутся эти строки, российский историк по достоинству оценил событие середины лета 1502 г.: «Большая Орда фактически перестала существовать» (*Греков*, 1984 «а». С. 150). Современный же крымский учёный, нимало не преувеличивая важность этой победы не только для ханства, даёт более точную оценку происшедшему: «Эту примерную дату (15 июня 1502 г.) и приблизительную местность (место впадения Сулы в Днепр) следует знать и помнить, ибо в те дни на украинском пограничье свершилось одно из величайших событий в средневековой истории Европы: здесь, покорённая Крымом, пала Великая Орда» (*Гайворонский*, 2007. С. 79). Воистину, лучше не скажешь!

В дальнейшем Шейх-Ахмед, вновь собрав силы, пытался взять реванш. Он обращался за помощью к царю — и получил отказ. Затем, в 1504 г. отправился вместе с братьями к султану Баязиду, но получил от посланного султаном паши не только отказ в посещении Порты, но и недвусмысленное заявление: для Стамбула поддержка Менгли-Гирея предпочтительнее помощи его недругам[1]. Таким образом, престол Менгли-Гирея ещё более упрочился, а события 1502–1504 гг. показали со всей очевидностью, что Золотой Орде более не подняться, а Крым в дальнейшем, по крайней мере в годы правления Менгли-Гирея, мог не опасаться набегов со стороны восточных степей.

В 1504–1510 гг. Менгли-Гирей организует ряд походов на Московию. Причём, смею предположить, не столько из-за того, что великие князья всё упорнее

[1] Как писал об этом инциденте в Москву сам Менгли-Гирей, «Баазит салтан... против их пашу послал с тем: кто Менли-Гирею царю друг, и мы тому друзи, а кто Менли-Гирею царю недруг, и мы тому недрузи; вы Менли-Гирею царю недрузи стоите, в нашу отчину вам пути нет, куды вам въехати. Так молвя, и переведчи его в Белгород салтановы люди, да из Бела города их выбили» (перевод грамоты цит. по: Памятники, 1884. С. 509). Эти слова властителя Османской империи не расходились с делом. В том же году он помог хану укрепить оборону Крыма: «Перекоп делати Баазит Салтан тысячу человек дал и с мастеры из Кафы, из Манкупа городов...» (цит по: *Малиновский*, 1863. С. 173). Главная причина такой помощи: Крым был в эти годы одной из сторон треугольника Стамбул–Москва–Бахчисарай, который мог бы стать, с точки зрения султана, идеальным инструментом противостояния крепнувшей польской державе.

продвигают границы своего государства к крымским рубежам — литовские крепости располагались куда ближе. Это по-прежнему было необходимо для того, чтобы спровоцировать выступление польского короля и великого князя литовского Сигизмунда I на занятую крымскими делами Москву. Доказать это просто: в 1507 г. Гирей, заключив мирное соглашение и союзный договор с Сигизмундом, тут же сообщает Василию III, что эти акты не стоят бумаги, на которой они написаны, и что крымцы готовы вновь выступить против поляков и литовцев. Сработала эта акция замечательно. Именно она, делают вывод российские исследователи, и привела «к активизации вооружённой борьбы между Москвой и державой Ягеллонов» (*Греков*, 1894 «а». С. 154–156). Что, собственно, и требовалось Крыму.

Подводя итоги жизни и деяний Менгли-Гирея, можно прийти к выводу, что этот независимый и талантливый лидер своего народа нередко был вынужден действовать, подчиняясь обстоятельствам. Ещё находясь в почётном турецком плену, он, безусловно, понимал, *что* сулит ему возвращение на крымский престол — а именно, правление если не по прямым указаниям из Стамбула, то всё же зависимое от турецких интересов. А это должно было означать неполную самостоятельность в выборе путей внешней политики Крыма. Не исключено, что чисто психологически его подготовили к такому решению четыре года почётного плена. И он предпочёл, ограниченную, но все же свободу, открыв собой длинный перечень крымских ханов, иногда вынужденных считаться с рекомендациями или даже прямыми указаниями Высокой Порты. Но в целом выбор Менгли-Гирея, как представляется, был абсолютно взвешенным и политически безупречным.

По сути, хан (и его наследники) не утратили свободу распоряжаться своим войском. Как указывалось выше, лишь в случаях, когда султан призывал хана принять участие в совместном походе, он должен был согласиться, но мог и не согласиться (впрочем, такие приглашения довольно-таки нередко принимались Гиреями с готовностью, как сулившие законную воинскую добычу). Далее, кыркерские, а затем бахчисарайские властители никогда не позволяли Порте вмешиваться в сферу их внутренних дел. Впрочем и внешнюю свою, чисто крымскую политику они нередко вели самостоятельно, не нуждаясь в указах из Стамбула. А уж в своих воинских предприятиях ханы и вовсе справлялись собственными силами, никак не завися от султанов.

Более того, Менгли-Гирей, судя по всему, явно рассчитывал, укрепившись в Крыму с помощью османов, вести внешнюю политику, не всегда полностью соответствующую интересам его покровителей. В пользу такого предположения говорят дошедшие до нас отдельные факты его многолетней политической деятельности. Именно при нём Крым становится военно-политически настолько мощным государственным образованием, что с ним вынуждены считаться турецкие, московские и польские властители; примеров этому довольно много, они общеизвестны и убедительны.

Сила Менгли-Гирея проявилась не только в умении достичь независимости в своих акциях, но и в динамичности его политической доктрины. Начав свою самостоятельную военно-дипломатическую деятельность со сближения с Москвой, хан не держался её слепо на протяжении всего правления. Напротив, он легко пересмотрел свои политические предпочтения, как только изменились внешние обстоятельства: исчезла опасность со стороны Орды и Польши, а Моск-

ва с ростом своего могущества стала проявлять всё более агрессивные тенденции в отношении южных (и не только южных) соседей. Поэтому Менгли-Гирей и стал инициатором постоянных набегов крымцев на южнорусские территории. Эти большие и малые походы имели целью отнюдь не только воинскую добычу. Они решали прежде всего более важную задачу: не допустить усиления русских на юге за счет укоренения на сопредельной ханству территории.

И в этой своей стратегии хан добился бесспорных успехов. Политическое значение «крымского фактора» в международных отношениях стран Восточной и Юго-Восточной Европы достигло при Менгли-Гирее такого уровня, что он мог даже влиять на вопросы престолонаследия в Порте (поддержка им в 1512 г. Селима, выступившего против правившего султана Баязида II, окончилась свержением последнего и победой претендента). Вряд ли в перспективные планы хана входило освобождение от экономически необременительного, но дававшего гарантию безопасности турецкого доминиума (скорее, покровительства). Плюсы такого положения явно преобладали над минусами, причём на протяжении всего существования Крымского ханства. Ведь, если разобраться, из других таких же держав-наследниц Золотой Орды (после её распада) до конца XVI в. не уцелело ни одной. Между тем Крым в ситуации постоянных попыток захвата его земель северными соседями оказался *единственным* государством, сохранившим свою жизнеспособность ещё два столетия. Причём прежде всего благодаря именно тому, что он опирался на политическую систему, созданную Менгли-Гиреем.

Что же касается сравнительно незначительных минусов такого покровительства, то здесь уместен анализ одного старого документа, весьма любопытного при всей спорности его подлинности как источника. Я имею в виду текст *возможно* заключённого между Менгли и султаном договора, определявшего дальнейшие права и обязанности Крыма или условия дальнейшего существования ханства в качестве полувассального союзника Порты. Этот источник нельзя назвать стопроцентно достоверным, то есть действительно не принадлежащим к апокрифам, которых всеобщая историография насчитывает сотни[1]. Но здесь имеет смысл взглянуть на этот, как и на многие другие недостаточно надёжно идентифицированные документы, с точки зрения не истории, а логики. Объясню научную ценность этого подхода.

В российской, крымской (и не только) истории существуют источники, которые можно отнести не столько к историческим, сколько к пророческим

[1] Крупный историк Крыма ханского периода С.Ф. Орешкова вообще не считает проблему подлинности этого акта предметом, стоящим анализа: «Суть крымского вассалитета была явно связана не с документом, соглашением, какими-то взаимными обязательствами, а теми традициями, которые существовали в османо-исламском мире. И там эти традиции и обычаи ценились выше, чем их какое-либо формальное оформление... В османо-крымских отношениях также были, очевидно, какие-то договорённости, обещания, соглашения, которые затем должны были подтверждаться или отвергаться последующими правящими лицами, но суть отношений зиждилась не на них... Перед нами Восток, власть силы и покорность этой силе, постоянство и некая изменчивость внутри его, — всё то, что не нуждалось в документальных обязательствах, но было порой крепче европейских международных договоров» (*Орешкова*, 2005 «б». С. 294–295).

свидетельствам. Не имея возможности дольше задерживаться на том сюжете, подтвердим эту мысль примером, который способен пролить свет на данную проблему лучше множества доказательств или объяснений. В виду имеется так называемое «Завещание Петра Великого», явный апокриф более позднего происхождения, что уже было доказано, причём неоднократно.

Суть этой исторической, а точнее, мистической проблемы в том, что документ, составленный после Петра и содержавший российскую политическую программу на грядущие века, не только объяснял смысл некоторых малопонятных действий покойного императора, но и *предсказывал* со стопроцентным «попаданием» дальнейшие внешнеполитические акции России. Прежде всего — агрессивные и в конечном счёте для самой России весьма мало полезные. Короче, этот прямо-таки пророческий документ обладает высокой степенью правдоподобности если не историографической, то историософской, и в этом его непреходящая ценность. Как и памятника, к ознакомлению с которым мы приступаем.

Итак, перед нами договор, повторяю, *возможно*, заключённый между Менгли-Гиреем и султаном Мехмедом II, а *фактически* определявший дальнейшие отношения между Крымским ханством и Османской империей. Его смысл:

1. Султан никогда не должен возводить на ханство никого, кроме царевичей из рода Чингис-хана.

2. Порта никогда, ни под каким предлогом не может подвергать смертной казни никого из фамилии Гиреев.

3. Владения хана и другие местопребывания членов дома Гиреев должны быть признаны неприкосновенными убежищами для всех, кто бы ни находил в них себе приюта.

4. На публичной пятничной молитве в хутбе после имени султана должно быть поминаемо имя хана.

5. Ни на какую письменную просьбу хана не должно быть отказа со стороны Порты.

6. Хан во время похода имеет пятибунчужный штандарт.

7. Во всякую кампанию хан должен получать от Порты сто двадцать кисетов золота на содержание своей лейб-гвардии и восемьдесят кисетов на своих мурз и капы-кулу (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 294; см. также в: *Peyssonel*, 1787. Bd. II. S. 228–230; *Hammer-Purgstall*, 1856. S. 35; *Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 256–257; *Улькюсал*, 1980. С. 41).

По поводу этого известного документа можно заметить, что большинство его пунктов (1, 3, 4, 5, 6, 7) исполнялись и ханами, и султанами на всём протяжении «османского» периода истории Крыма безукоризненно.

Что же касается пункта 2, то здесь следует сделать оговорку, относящуюся к истории не столько политики, сколько религии. Данный пункт попросту подтверждал принадлежность крымского хана к всемирной мусульманской умме, верховной властью над жизнью и смертью любого члена которой обладал халиф. Ну а то, что его прерогативы на данном этапе исполнял турецкий султан — это просто исторический факт, с которым считались не только крымские мусульмане. Другими словами, этот пункт, хотя он иногда (считанные разы) и нарушался, необычайно возвышал достоинство ханов по сравнению с остальными членами многомиллионного мусульманского сообщества.

Таким образом, рассматриваемый письменный источник обладает в смысловом отношении определенными признаками достоверного исторического документа. Ему не хватает, как было сказано, одного-единственного качества, а именно, стопроцентно установленного и подтверждённого (с точки зрения формальной адекватности) статуса памятника международного права. Впрочем, полагаю, что в процессе дальнейшего прочтения истории коренного народа Крыма и его властителей будет не лишено смысла постоянное обращение к этому договору как к некоему реперу, на который более или менее искренне старались (или не старались) ориентироваться ханы Крыма и султаны Турции. Этим будет подтверждена ещё раз одна старая истина: и апокрифы, и легенды, и мифы относятся к высокоинформативным источникам.

Гораздо менее достоверен иной вариант договора, который тем не менее стоит привести хотя бы потому, что он представляет собой протурецкий вариант только что приведенного текста. Итак, вот эти пункты:

1. Никто из нас не должен творить убийства, если бы даже, в противность закону, и выступил один против другого.

2. Оказывая во всех делах друг другу помощь, мы будем мстить всем врагам нашим.

3. Имеющие быть после тебя (то есть Менгли-Гирея. — *В.В.*) ханы будут присягать мне и тем, кто будет после меня; отрешение и назначение [ханов] пусть принадлежит падишаху османскому.

4. Назначение кадиев для народа, находящегося в Кефе, Мангупе и в их окрестностях, ровно как и взимание десятины, тоже принадлежит османцам: Крымские же ханы не должны в это вмешиваться; падишах же османский не касается права хана чеканить свою монету (*Смирнов*, 1889. С. 298–299).

Происхождение этого документа достаточно ясно, даже если не вникать в его сугубо протурецкий смысл. Оно становится ещё более явным, стоит только присмотреться к форме именования султана: для крымцев (и не только) существовал единственный падишах — отнюдь не султан, а правящий Гирей-чингизид.

Но в обоих текстах, нужно заметить, отсутствуют некоторые условия, весьма существенные и, главное, почти неукоснительно *выполнявшиеся* на всём протяжении так называемого вассалитета ханства по отношению к Турции. Смысл важнейшей из таких незафиксированных статей в том, что нападение любого агрессора на Крым почти неизбежно означало для него начало одновременной войны и с Османской империей. Такой проблемы для соседей Крыма до «османского ига» попросту не существовало, и крымцы не успевали отбиваться от всех, кто рано или поздно ощущал жгучее желание попользоваться благами и щедротами этого сказочного уголка Земли.

Теперь аппетиты соседей Крыма (в первую очередь, северного, самого опасного для крымцев) надолго должны были умериться из-за соразмерной опасности ответного удара могучей Османской империи.

Смысл остальных статей в основном касается равноправного по ряду позиций положения ханов и султанов, причём в реальности. Так, ханы имели право

на ношение на чалме падишахского аграфа[1]. Они могли сидеть в присутствии султанов. Они получали, так же как султан, обязательные подарки от турецкой элиты, в том числе от господарей Молдовы и Валахии. Они имели право на дани, не только от Москвы, но и, что менее известно, от Польши, Литвы и Австрии. И, безусловно, чисто формально, от Франции и Англии — это был реликт, оставшийся от давнишнего статуса Властелина мира, Чингис-хана.

Наконец, существовало вполне реальное право, подымавшее Гиреев высоко над всеми остальными, действительно вассальными территориями султана грандиозной империи. При вымирании султанского рода трон и остальные прерогативы последнего из них должен был наследовать не кто иной, как один из Гиреев. Это положение, кажется, было зафиксировано, не в Крыму, а в Турции (*Haxthausen*, 1847. S. 417). Согласимся с тем, что такой случай за всю историю ханства не имел места ни разу. Но это совершенно не меняет дела, ибо в государственно-правовом смысле право престолонаследия лучше любого иного, даже более реального и осуществимого, определяло статусы двух властительных династий если не как аналогичные, то сближавшиеся. Как и статусы двух великих держав — Крымской и Османской.

И последнее, но не менее важное замечание также на эту тему — о реальной воинской силе державы Менгли-Гирея. Проводя непрерывно и успешно политику привлечения кочевников-ордынцев к переселению в Крым, хан за годы своего правления значительно увеличил численность населения на полуострове и за Перекопом. При этом, естественно, увеличились и оборонные, и наступательные возможности ханского войска. Об этом говорит его численность. Менгли-Гирей был первым из крымцев, кто смог вывести в поле четвертьмиллионную армию (*Трепавлов*, 2001. С. 164). По числу воинов она была равна или незначительно уступала лишь непобедимой в ту эпоху армии османов и значительно превосходила воинские силы таких великих держав, как Англия или Франция.

Что же касается внешней и внутренней политики, то этот хан чувствовал себя на престоле значительно увереннее, чем большинство его преемников. То есть он даже мог позволить себе поступиться какими-то правами, зная, что его личная политика достаточно действенна для того, чтобы реально, по-прежнему, пользоваться старыми привилегиями. Сказанное относится, во-первых, к его внутренней политике в завершающий период его правления. Ни один из современных ему крымских беев или эмиров не обладал политическими возможностями (или талантом), достаточными, чтобы оказать давление на хана посредством, к примеру, внутридворцовой интриги, шантажа, угрозы послать донос в Стамбул или сколотить враждебную Гирею оппозицию в Крыму и за Перекопом. Во-вторых, чутко улавливая все политические веяния в Порте и других соседних державах, Менгли-Гирей реагировал на них в достаточной степени профессионально и своевременно.

И третье. Почти постоянно участвуя в войнах — собственных или оказывая помощь союзникам, Менгли-Гирей значительно расширил владения Крымского ханства, территория которого простёрлась далеко за пределы полуострова.

---

[1] Аграф — украшение, представлявшее собой драгоценный камень, часто в обрамлении перьев, помещавшееся на чалме в центральной её части, то есть надо лбом падишаха.

Государство обрело при нём очертания, с которыми приходилось впоследствии считаться близким и дальним соседям.

Что же касается отношений с Османской империей, то новые, формально ущемлённые ханские права были сформулированы как бы под Менгли-Гирея. Они в действительности не мешали ему править так, как было нужно для него, то есть для ханства. Но этого нельзя было сказать о тех, кто сменил второго Гирея во дворце на р. Ашламе и их потомков уже на бахчисарайском престоле. Они-то в полной мере смогли оценить всю горечь утраты суверенитета некогда независимого государства на Чёрном море. Сыновья и внуки Менгли-Гирея I не всегда умели держать на должном уровне высоко поднятый им ханский престиж. Причём дело было, кажется, не столько в политических дарованиях, сколько в стремлении некоторых из них крепить прежде всего личную власть, и лишь во вторую очередь заботиться о положении ханства. При них «султаны присвоили себе право не только *утверждать*, но и *назначать* кандидатуры на крымский трон — и это при том, что в крымской государственной традиции (которая, в свою очередь, восходила к чингизидской) должность хана была не назначаемой и даже не наследуемой, а выборной» (*Гайворонский*, 2009. С. 8).

Менгли-Гирей I скончался в 1515 г. в Девлет-Сарае, столице Великой орды, и был похоронен в Салачике, под сводами построенного им самим фамильного дюрбе.

IV. ПРОТОРЕНЕССАНС В КРЫМУ

1. Национальная ситуация

> Поистине, те, кто уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день и творили благое — им их награда у Господа, нет над ними страха, и не будут они печальны.
> *Коран, 2 : 59 (62)*

Отвлечёмся на время от событий политических, в конце концов ограниченных географическими контурами Северного Причерноморья, и обратимся к не менее важной теме роли Крымского ханства в развитии всемирной истории культуры, естественно, не выходя из временны́х рамок начальных очерков этого тома. Для начала бросим взгляд на впечатляющую картину этнического многообразия этого не совсем обычного государства.

Города ханства, как новые так и древние, никогда не были одноязычными. Даже в Эски-Юрте, одном из очагов крымского исламизма, население уже в конце XIII в. было смешанным, интернациональным. Кроме ранее упоминавшихся народов и племён, в крымских городах проживало большое количество евреев, черкесов, пятигорцев, цыган и т. д. (*Броневский*, 1863. С. 357). Обитали там и христиане — в основном греки, урумы и румеи, потомки давних переселенцев-колонистов. Армяне появились гораздо позже, примерно в XIV в. Лишь о христианах славянского происхождения мы не встречаем в источниках почти никаких упоминаний. Очевидно, если они и появлялись среди постоянного населения полуострова, то крайне редко, в небольших количествах и ненадолго.

Иноверцы жили в тех же городах и сёлах, что и крымские татары, часто занимаясь теми же профессиями, близко соприкасаясь с мусульманами. Основное правовое различие между ними и единоверцами ханов заключалось в том, что немусульмане освобождались от обязанности сопровождать Гиреев в их походах или войнах, платя взамен *джизью* (подробнее о ней говорилось выше), которую не обязаны были платить семьи, где не было мужчин призывного возраста, монахи и инвалиды. Ещё раз подчеркну — это была вполне умеренная плата за за-

щиту себя и своих близких от агрессоров, причём защиту действенную, которую таким образом брали на себя крымскотатарские воины и полководцы. Но если уж молодой христианин принимал участие в ханском походе (а это бывало куда как часто), то он, естественно, никакой дополнительной подати не платил (*Cahen*, 1913. Vol. II. P. 559–567).

Несмотря на формальное подчинение ханства Османской империи, здесь турок было сравнительно немного — в отличие, скажем, от Балкан. И, что важнее, они не играли никакой роли в административном управлении страны. А направление национального и культурного развития крымскотатарского народа их вообще не интересовало. Поэтому современники часто называли Крым «Татарским государством» и были правы. Ибн-Арабшах, арабский историк и писатель XV в., секретарь и доверенное лицо Мухаммада I, ничем в этом смысле не отличал Крымское ханство от Хаджи-Тарханского[1] или Казанского. Он говорил о полуострове: «Эта область исключительно татарская... со [всех] сторон огражденная и в [её всех] частях возделанная, обширная по объёму, здоровая водой и воздухом. Люди её — мужи, воины её — стрелки. По языку это самые красноречивые тюрки» (цит. по: *Фахрутдинов* Р. Золотая Орда и история татар // Tatarica. Библ. журнала «Казань». 1992. № 9/10. С. 13).

Мусульманское право гарантировало всем покровительствуемым иноверцам, невзирая на их этническую принадлежность, ряд прав, которых лишались единственно язычники, предававшиеся греху *ширк* (многобожия). «Людям писания», то есть Библии или Торы, были гарантированы полная неприкосновенность их имущества, свобода торговой, ремесленной и предпринимательской деятельности любого масштаба. Они были абсолютно равноправны с мусульманами при заключении договоров, их подписи, их правоспособность не подвергались сомнению. Для них не было никаких, по сравнению с мусульманами, ограничений свободы передвижения или проживания в любой маалле города и деревни (Islam, 1991. Bd. III. S. 721).

Мирное сосуществование такого конгломерата из разноплемённых и инаковерующих сограждан было бы немыслимым без общеизвестной веротерпимости крымскотатарского населения, также разноплемённого, хотя и единоверческого. Эта ситуация весьма нечасто встречается в современных мусульманских государствах. Но в те века, когда ещё живо было нравственное наследие *классического* ислама, редкостью она отнюдь не была. Сохранялась удивительная, «широчайшая *веротерпимость*», признанная даже крайне необъективной по отношению к Крыму советской исторической наукой (ДТ. С. 180).

При этом не следует забывать о том, что веротерпимость (к сожалению, и ныне качество далеко не повсеместное) в поздние Средние века представляла собою вообще чрезвычайное, если не уникальное явление. Крымские татары были обязаны высокой толерантностью скорее золотоордынской, чем арабской или сельджукской составляющим своей культуры. Степняки, как говорилось в предыдущем очерке, унаследовали эту черту ещё от традиций империи Чингис-хана.

[1] Подробнее о Хаджи-Тарханском ханстве см. ниже. Здесь лишь упомяну, что оно располагалось в области современной Астрахани (которой тогда не существовало), имея довольно неопределённые границы.

Великий император, безжалостный в периоды военных завоеваний, в мирной обстановке был на редкость терпимым и идеологически умеренным правителем. Поздний современник хана, историограф Джувейни, записывал о нём: «Каждый из его отпрысков и потомков выбрал вероисповедание в соответствии со своим желанием: одни наследовали исламу, другие обратились к учениям христиан или идолопоклонников, третьи же сохранили верность древним верованиям предков... Несмотря на разнообразие верований, они [одинаково] далеки от фанатизма, по этому поводу существует яса Чингис-хана, которая уравнивает все религии и не проводит различий между ними» (цит. по: *Кульпин*, 1998. С. 40).

Церковные же историки указывали, что традиции эти навечно сохранились среди золотоордынцев, не понуждавших никого к перемене веры: они «не только оказывали полную терпимость всем верам, но старались вести себя так, чтобы последователи каждой веры считали их наклонными именно к своему исповеданию» (Богословский Вестник. 1893. № 7. С. 79). Кстати, как только «иго» Золотой Орды было снято, на Руси *тут же* началось преследование инаковерующих, по жестокости не уступавшее известной практике испанской инквизиции.

Веротерпимость крымских татар, имея глубокие внутренние корни, поражала современников и чисто внешне. Известно, что христианский Успенский монастырь близ Бахчисарая пользовался не только материальной поддержкой ханов, но и бесспорным «авторитетом у татар» (*Фадеев,* 1987. С. 82), оставаясь на протяжении веков центром и оплотом крымской православной церкви. Другой монастырь, Георгиевский (на мысе Фиолент), беспрепятственно функционировал (правда, с небольшим перерывом) более тысячи лет (890–1920-е гг.). Закрыли его, между прочим, тоже не крымские мусульмане, а большевики, корни идеологии и практики которых следует искать отнюдь не на Востоке.

Католические монастыри в Крыму, как и во многих других местах, играли роль центров экспансии, опоры христианской миссии. Здесь посланцы Европы изучали языки, обычаи, культуру Востока для того, чтобы отправиться в качестве миссионеров в ближние и дальние страны Азиатского континента. Некоторые католические центры, как, например, собор Св. Иоанна в Фоти-Сале на Альме, беспрепятственно функционировал и в начале XVII в., и позднее (Боплан, 1990. С. 51). В первой трети VIII в. в Бахчисарае ещё жили и собирали античные и более поздние рукописи отцы-иезуиты, чья мирная обитель была разрушена и сожжена русской армией лишь в годы походов Миниха и Ласси (см. ниже).

Проблема терпимости имела и ещё одну сторону. В Крыму в отличие от соседних мусульманских стран никогда не могли сложиться военно-религиозные группы и целые ордена, часто воинственные, типа *муттавиев* («мусульман-добровольцев»), *газы* («борцов за веру») и т.п., образовывавшие прослойки населения, наиболее фанатично и неприязненно относившиеся к чужакам. Никогда не было в Крыму и сторонников столь распространенной на Востоке идеи священной войны *газавата*, составлявшей главную опору мусульманских властителей в их походах. В схожих ситуациях крымские ханы выступали в роли чисто военных предводителей, но отнюдь не идеологических вождей[1].

[1] Впрочем, верно замечено, что европейское представление о газавате в частности и исламе вообще как о религии насилия и войн предполагает противопоставление ему

Традиционный здравый смысл ханов позволял им видеть явные выгоды, связанные с пребыванием в Крыму иноверцев — купцов, ремесленников, даже дипломатов, верно служивших престолу. Однако без крепких традиций веротерпимости здравый смысл вряд ли восторжествовал бы. Повторяю: то, что было бы удивительным для христианских государств Средневековья, являлось чуть ли не правилом для тогдашнего исламского мира. Подобная картина наблюдалась не только в Крыму. Например Зенобия, правительница огромной империи (включавшей в себя Сирию, Египет и всю Малую Азию) также проявляла «исключительную терпимость к своим христианским подданным» (*Аверинцев*, 1985. С. 5).

Тем не менее на крымском материале можно привести факты ещё более всесторонней и глубокой толерантности. Она заключалась уже в непреследовании татар, переходивших в христианство, что случалось нередко. Так, в неопубликованной Книге кадиев за 1686–1710 гг. мы находим не единицы — десятки христиан татарского происхождения, смешанные мусульманско-христианские семьи. Более того, случалось, что в семье часть детей крестили, а часть обрезали по шариатскому обряду, если это нужно было для их дальнейшего жизненного пути (например, для занятия торговлей в христианских странах), ведь для истинных монотеистов это имело куда меньшее значение, чем для слепых фанатиков[1]. И это не в одном месте; лишь в одном сравнительно небольшом округе такие явления были правилом, а не исключением, — я имею в виду деревни Богатырь, Керменчик, Енисала, Ай-Георгий, Ускут, оба Ламбата и Варнутку (об этом см.: *Маркевич,* 1910. С. 530, 541).

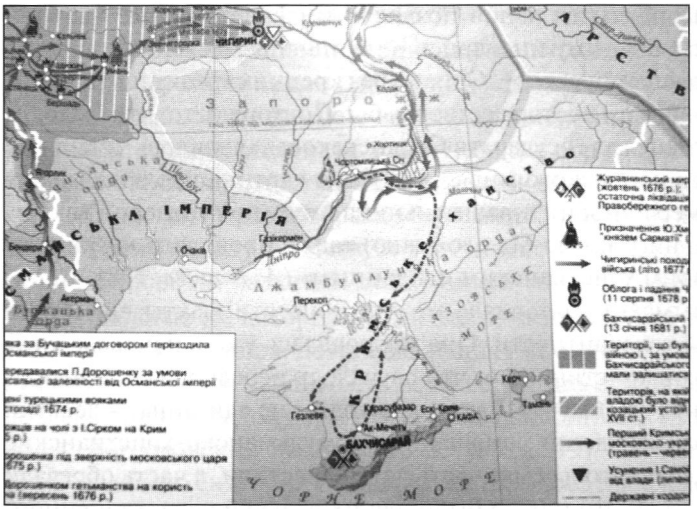
Особенно контрастно всё это выглядело в сравнении с жесточайшими карами, которым всегда подвергались вероотступники (не иноверцы!) как в соседней Турции, так и в христианских державах, в том числе славянских. В России отступников и еретиков не только экономически подавляли, но и подвергали мучительным казням даже в Новое время. Так, царь Пётр жёг спорные книги на спинах их усердных читателей. То же было и на Украине.

Самуил Величко сообщает в своей летописи об одном из таких случаев, имевшем отношение к Крыму. Когда кошевой атаман Серко освободил 7 000 пленных христиан, то отпустил тех, кто хотел исповедовать ислам, назад, в Крым. Ушли как взрослые, так и дети — короче, все, уже пустившие корни на полуострове и так или иначе оценившие новые условия жизни по сравнению со старыми. Но, выявив таким способом «отступников», Серко дал приказ изрубить их. Впрочем, после окончания экзекуции кошевой поклонился трупам взрослых и детей, прося прощения и извиняя свой поступок тем, что не хотел отпускать их на «вечную погибель без крещения» (*Величко*, 1851. Т.2. С. 376–377).

И подобная религиозно-идеологическая нетерпимость сохранялась к северу от Перекопа веками. Куда уж дальше, если и автор просвещённого XX в. целиком солидаризуется с Серко и даже одобряет его дикий поступок, утверждая, что

христианства как религии любви и мира. Здесь правомерно выразить некоторое недоумение: как могли отстаивать подобный тезис участники крестовых походов? И, более того, находить при этом массовое одобрение себе среди *верующих* христиан! (*Уотт*, 1976. С. 100–101).

[1] «Путей к Богу столько же, сколько душ человеческих. Эти пути — разные; одни длиннее, другие короче. Но все они прямые» (*Ибн Араби*).



Поход И. Серка в Крым в 1675 г. *Карта из: Къасевет, 2010, № 37*

именно в нём, в этом избиении, «как нельзя более ярко отразилась внутренняя духовная сила запорожского казачества» (*Надинский*, 1952. Ч. I. С. 82)!

Турки, так же как и казаки, отличались от крымских татар, и в том же смысле. Имеется в виду не столь последовательная их терпимость. «Османские власти намеренно разделяли мусульман и христиан во всех областях жизни, а также дискриминировали нетурецкое население, в частности арабов» (*Хачим*, 1999. С. 43). Как эта практика сказывалась на межнациональном климате Крыма, где именно османы доминировали политически? Оказывается, многовековая практика совместного бытия многих племён и народов настолько закалила принципы крымской толерантности, определявшие культурное и духовное самосознание крымцев и даже модели экономической жизни ханства, что турецкое «господство» оказалось не более чем внешним, поверхностным налётом на мощном, сложившемся теле народной жизни.

Архивные материалы, в том числе и турецкие, «показывают несомненную преемственность с доосманским периодом и в составе населения черноморских городов, и в характере занятий их жителей, и даже в общем облике селений. Это относится в первую очередь к Кафе, которая [и при турках] сохранила свою центральную экономическую и политическую роль в регионе. За исключением итальянцев, прочее население оставалось в основном на своих местах и занималось в целом тем же, чем и раньше», а сама «преемственность той политической, экономической и культурной роли, которую играло Северное Причерноморье и в античную, и в византийскую, и в золотоордынскую, и в османскую эпохи» ощущалась не только в Крыму, но и во всём огромном Черноморском регионе, и даже шире (*Некрасов*, 1995. С. 31, 34–35). То есть, как и после более ранних кризисов и катаклизмов, жизнь крымскотатарского народа во всём её богатстве, красоте и сложности продолжалась.

Сами ханы отнюдь не чурались тесных контактов с православными духовными владыками. Христианские князья церкви служили как бы передаточным звеном между Гиреями и их подданными-иноверцами. У ханов не было ни возмож-

ности, ни необходимости «разделять и властвовать» в конфессиональном плане. Оппозиция, с которой им приходилось считаться (бейская), состояла исключительно из мусульман, а иноверцы, составлявшие абсолютное меньшинство в исламском мире Крыма, никогда и не помышляли об антиханской политике.

Более того, крымские властители и сами испытывали какое-то влияние со стороны своих православных соотечественников. Известно, что уже Хаджи-Гирей I жертвовал немалые суммы на христианские монастыри, ставил пудовые свечи образу Успенской Божией Матери перед походами на кочевников Большой Орды, а также по возвращению в Крым (*Лызлов*, 1990. С. 117; *Кулаковский,* 1914. С. 124). Неудивительно поэтому участие, которое ханы принимали в деле храмостроительства, а оно шло на протяжении веков. Восстанавливались древние христианские храмы — например, в 1427 г. в Партените. А в 1587 г. в Биа-Сале на Каче новая церковь была воздвигнута для небогатого местного, полуготского ещё населения целиком на мусульманские деньги: как гласит закладная надпись, «стараниями, помощью и иждивением господина Бината, сына Темирке, в память его и родителей его» (*Кулаковский*, 1914. С. 131).

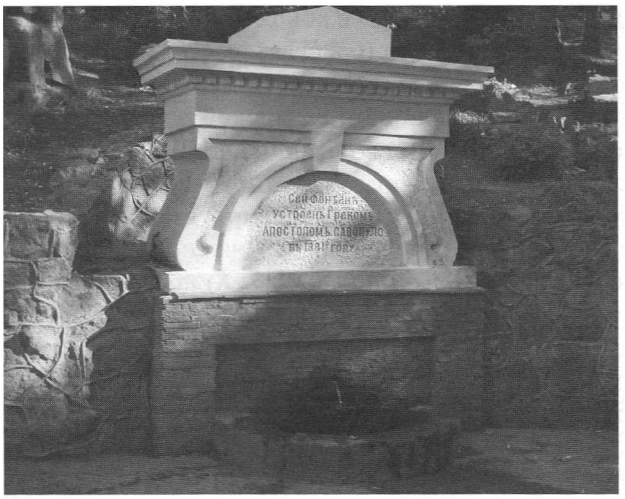
Конечно, можно предположить, что эта благотворительность была вызвана политическими интересами ханов. Но в пользу искренности доброго отношения Гиреев к православным святыням говорит немало иных фактов. Здесь имело место даже более глубокое почтение крымских мусульман к христианским традициям, чем это предписывается Кораном[1].

Так, кроме соучастия крымских татар в христианских паломничествах к местным святым местам, пожертвований и прочего, в Крыму ещё во 2-й пол. XIX в. сохранялась традиция, несомненно берущая начало в византийской эпохе: раз в году крымцы — мусульмане и христинане — привозили из святых источников бывшего Константинополя воду для совершения обряда, связанного с началом полевых работ. Причём этот обычай существовал ещё с доордынского периода истории Крыма! (*Смирнов*, 1889. С. 182). Современные исследователи видят в этой традиции (как и в южнобережном культе «дерева жизни») не что иное, как «воплощение христианско-мусульманского двоеверия, оформившегося в XI–XIII вв.» (*Сидоренко*, 1993. С. 154).

Таким же общим духовным достоянием были места не только паломничества, но и постоянного поклонения. Здесь в дни поминовения поочерёдно собирались мусульманские джемаат и христианские общины. Приведём пример одного такого святого места, собиравшего молящихся и в начале XX в.:

«А на самой высокой зелёной горе Карадагского хребта лежит святой человек. Давно лежит он там, и спорят люди, чей это святой: русские говорят, что их, а татары — что он ихний апостол и спокон веков молится за них, за татар. И в разгар лета тянутся мажары из-под Керчи, из-под Старого Крыма, из-под Карасубазара и из огромных приморских татарских сёл с правоверными людьми на могилу ихнего

[1] И наоборот, христиане Крыма относились с уважением к мусульманским святым. Это весьма давняя традиция: арабский путешественник Ибн Батута в 1334 г. увидел на стене в одной из керченских церквей «изображение мужчины арабского в чалме, опоясанного мечом и с копьём в руке. Перед ним гореда лампада. Я сказал монаху: „Что это за изображение?“ Он ответил: „Это изображение пророка Али“, — и я удивился ответу его» (цит. по: *Тизенгаузен*, 1884. Т. 1. С. 279).



Старинный источник близ Салгира, позднее оформленный в виде фонтана.
Фото автора

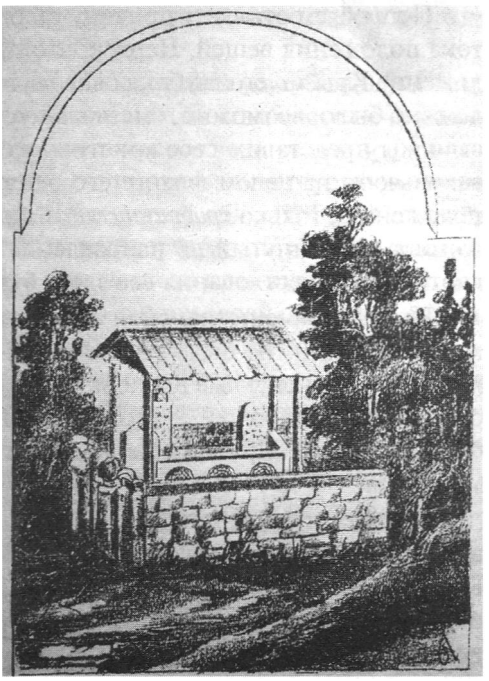
святого, который не устаёт молиться за них. Тогда табор образуется у подножья зелёной горы. Люди оставляют мажары, поднимаются в горы вместе с муллой. Тогда из Коктебеля ночью видны огни на вершине горы, — то костры горят кругом святой могилы, и сидят люди всю ночь и молятся и думают о святости.

А может быть, это и не русский, и не татарский святой, а лежит [он] там с генуэзских времён, со времён тавров и готов, даже, может быть, со времён киммерийцев, что когда-то наполняли Крым и эту Коктебель, и Отузы и, говорят, выстроили первый город в Европе — Феодосию — раньше Рима, и которые так безвестно потонули в истории... Может быть, потому что и в готские, и в киммерийские времена были святые люди, потому что не может жить человечество без святых людей» (*Елпатьевский*. С. 41–42).

Можно назвать и иные примеры. Святое место Кырк-азис у Зуи мирно посещали и мусульмане, и христиане; то же происходило у знаменитой могилы Салгир-бабы и во время следовавшего за этим посещением омовения в знаменитом источнике у Салгира, до сих пор тихо струящемся в симферопольском городском саду (*Лашков*, 1890 «а». С. 67).

Что же касается конкретных христиан, то ханы и беи ценили многих из них не столько за преданность заветам Пророка, сколько за деловые и человеческие качества, отнюдь не понуждая к принятию ислама. Вера не сказывалась не только на условиях экономической деятельности иноверцев[1], но и на служебной карьере некоторых из них. Так, в весьма отрывочных сведениях о лицах, приближенных к ханам, мы находим множество немусульман: нескольких казначеев (караимы Ша-Ислам и Мусафей, итальянец Августин, поляк Янушко), дипломатов в ранге посла (итальянцы Патесплей Фряжин, Августин Гарибальди, Ян Баптист, Винцент Зугульфи), руководителей кабинета иностранных дел (иудей

[1] По многочисленным документам, среди купеческого сословия Крыма христиане вообще составляли абсолютное большинство. Среди них были греки, армяне и итальянцы. Но наряду с ними немало встречается имён купцов-караимов и евреев.



Азиз Салгир-бабы.
Из книги Ф. Лашкова

Хозя Кокос) и т. д. *(Сыроечковский*, 1940. С. 19, 26; *Смирнов*, 1887. С. 255; *Тучанский*, 1915. С. 69).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что вероисповедальные разногласия, конечно, имевшие место в средневековом Крыму, оказывались совершенно несопоставимым с факторами, сближавшими все народы полуострова для защиты общих интересов. Трудно утверждать, что Крымское ханство представляло собой в период его расцвета законченную систему. Это государственное образование было весьма динамичным, изменчивым, оно состояло из слишком большого числа не устоявшихся ещё компонентов, стабилизация которых могла произойти только со временем.

Поэтому, для того чтобы подтвердить (или опровергнуть) мнение о нём как о государственной структуре, стабильной и самообновляющейся как бы автоматически, надо учитывать, что ханство *уже* обладало важнейшими из признаков открытой системы, а именно способностью к самоусовершенствованию и самоусложнению, практической бесконфликтностью. Оно обладало также весьма важной способностью самостоятельно ликвидировать даже занесённые извне бациллы этнического или вероисповедного противостояния. Эта мысль, высказанная автору в личной беседе с канадским историком ислама Дж. Яворским, глубоко верна не только для ханского, но и для более поздних периодов истории крымскотатарского народа.

Наиболее важным из стабилизирующих жизнь ханства факторов был, естественно, экономический. Однако время от времени начинал действовать не менее мощный политический фактор. И в минуты опасности, когда возникала необходимость совместной защиты своей родины, крымчане выступали в едином строю воинов и дипломатов без различия веры.

Попробуем отыскать причину такого «аномального» для стран Европы и Востока положения вещей. Первое, что приходит на ум, — это географическое положение Крыма, его глубокая вдвинутость в область православных народов, что должно было, возможно, смягчать мусульманский ригоризм. С другой стороны, если мы представим себе христианско-мусульманский фронт периода Средневековья, то на левом фланге его окажется весьма схожий по географическому положению, только *христианский* аванпост, такой же кулак, но уже европейского мира, выдвинутый по направлению к мусульманскому, — Испания. Однако картина сосуществования вер здесь будет полярно противоположной.

Ни в одной христианской стране не уничтожалось столько мавров и евреев, как в Испании, не было на континенте более нетерпимого государя, чем Филипп II. Испанскую же церковь вкупе с инквизицией впору именовать не воинствующей, а воюющей — столько крови иноверцев и еретиков пролилось по её благословению. Причём уже после того, как угроза реставрации мусульманства миновала.

Но, может быть, причину следует искать в самой мусульманской вере? Ведь в Коране буквально рассыпаны призывы к уважению христиан («обладателей Писания»), если это истинно верующие[1]. Неприемлемы лишь «гяуры» — те, кто не верят в единого Бога, пусть даже это Бог христианский. И здесь мы не встретим бранных слов («поганые»), которыми церковь щедро наделяла всех, даже самых благочестивых и даже святых мусульман. В Крыму слова «гяур», «поп», «жид» были татарами вообще презираемы; за их употребление виновного отводили к кадию, который определял наказание в пользу оскорблённого христианина или иудея (подр. см.: *Маркевич*, 1910. С. 530).

Что же касается соседнего Московского государства, то упоминавшаяся выше тюркофобия в нём, не сглаживаясь с течением времени, получила полное своё развитие в XIX в., когда ею были в большей или меньшей мере заражены почти все социальные слои. Показательно, что даже сочувствующие мусульманам, обличающие угнетение восточных народов Россией авторы искренне, хотя и наивно полагали, что все беды этих народов — от их религии: «главное несчастье крымского населения состояло в том, что преобладающая масса его издревле приняла ислам и мало-помалу крепко привязалась к нему» (*Б-н И.*, 1856. С. 37).

Не столь наивен Н.Я. Данилевский, человек весьма образованный, но считавший, что мусульманство вообще не имеет права на существование. Причина тому простая: оно «явилось шесть веков спустя после того, как абсолютная и вселенская религиозная истина была уже открыта». «Какой же смысл могло иметь ещё это учение после христианства?» — задает вопрос автор этих поразительных слов (1871. С. 333), уже знающий на него ответ. Сравним несравнимое: этого блестящего эрудита и идеолога своей эпохи, известного писателя и, с другой стороны, малообразованного, «тёмного» Хаджи-Гирея I, человека Средневековья. Конечно же, хан во многом уступит блестящему петербургскому публицисту

[1] «Неодинаковы они, — среди обладателей Писания есть община стойкая: они читают знамения Бога в часы ночи, совершая поклонение. Они веруют в Бога и последний день, приказывают одобряемое и удерживают от неодобряемого. Они спешат друг перед другом в совершении благого; они — праведники» (Коран, 3: 109–110).

и идеологу «панславизма», кроме одного — *терпимости* — качества, с которым мы и в XXI в. связываем более всего надежд на будущее.

Противостояние двух вер в проблеме сосуществования усугублялось и тем, что встречающиеся в Евангелии бесспорно гуманные призывы часто не доходили до слуха христиан Востока и Запада, вообще в массе своей редко предпочитающих слово Писания зову суетной жизни. Это признавали с горечью многие богословы, а крупнейший авторитет конца XIX в. в этой области В.С. Соловьёв (между прочим, решительно выступавший за веротерпимость и свободу совести), подчёркивал, что «мусульмане имеют перед нами то преимущество, что вся их жизнь согласуется с их верой, что они живут по закону своей религии... жизнь их не лжива; ибо закон её один и согласен сам с собою, у них нет другого правила в жизни, кроме того, которое дается их религией. Тогда как мы, признавая по вере закон христианский, устраиваем свою действительную жизнь совсем по другому закону, унаследованному нами от времен дохристианских» (*Соловьёв*, 1888 «а». С. 47). Засим возможно вполне естественное предположение: не в этом ли различном усвоении уроков языческого зверства коренится и различный подход к веротерпимости и христиан, и мусульман?

Сомнений здесь немало. И основное из них то, что в иных, мусульманских же странах ненависть к инакомыслящим со временем возросла до вполне христианского накала. Таким образом, у нас остаётся единственный ответ на этот вопрос, он — в природе крымского этногенеза. Только здесь, в краю, где поколение за поколением, ещё с домусульманских времен, воспитывалось в духе мирного сосуществования, где «язычество», его рудименты не оказали ожесточающего влияния ни на мусульман, ни на христиан, где испокон веку свобода совести гармонично дополнялась демократией, стал возможным этот удивительный, возможно уникальный, феномен крымской веротерпимости.

2. Крымская экономика XIII–XV вв.

В XIII в. консолидировалась и выдвинулась на запад чингизидская держава. В ней неслучайно сложились единообразные административная структура, денежная и транспортная система, регулярная почтовая связь и многое другое. В эпоху образования великих восточных империй (гуннской, хазарской) в Степи началась новая жизнь, характеризовавшаяся новыми потребностями и перспективными целями, чёткими направлениями и связями. Это были централизованные государства. В них активно шли оптимизация и усложнение социальной, экономической, а значит, и политической и культурной жизни. Такие процессы властно требовали и внешних перемен, расширения внешних возможностей, а также усложнения природно-географической среды обитания — и степняки вышли к Морю.

Параллельно, совпадая во времени и сближаясь в пространстве, шёл и уже завершался второй процесс. Экономика дряхлевшей Византии сдавала позиции, что находило и геополитическое выражение: *империя втягивалась в себя*. И по закону сообщающихся сосудов в образовавшийся вакуум входил соседний, латино-романский мир, чьи форпосты продвигались всё дальше на восток и на

север. Разворачивалась *Большая торговля*, чего раньше, в условиях неготовности второго, северно-причерноморского партнёра, достичь было невозможно.

Зато как только Крым стал частью великого степного мира, *Pax Mongolica*, тут же, мгновенно с ним в контакт входит латино-романский мир, *Pax Latina*[1]. Эпохальное это столкновение высекло ослепительную искру: в считанные годы свершился грандиозный экономический подъём всего Причерноморья. И новая торгово-хозяйственная система заработала, быстро набирая обороты.

Здесь нужно подчеркнуть, что в Крыму основа такого активного экономического развития с самого начала была ориентирована на экспорт собственного сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов. Степная часть полуострова как нельзя лучше подходила для производства высококачественного товарного зерна. Другое дело, что степь уже была освоена совсем иным типом экономики — животноводческой. Однако тогда, как и сейчас, подобные вопросы решались сравнительной выгодностью того или иного занятия, что влечёт за собой перепрофилирование в пользу более прибыльного типа хозяйствования. Поэтому, как только степняки ознакомились с *ценами*, которые были предложены купцами побережья за зерно, зерном они и занялись.

Крымские пшеница и рожь вышли на международный рынок уже в XIII в., тогда же в странах Средиземноморского бассейна стало известно высокое качество крымского хлеба. Конечно, он уступал несравненному родосскому, но твёрдо держал почётное второе место на протяжении не десятилетий — веков. И, конечно, такого хлеба не могли производить поля ни остальных черноморских стран, ни степной «Газарии». Урожайность была чрезвычайно высока: пшеница давала сам-50, просо — сам-100, а иногда урожай бывал настолько обильный, что его оставляли в степи (*Барбаро,* 1871. С. 150).

Итак, хлеб производился в степи, но продавали его исключительно купцы итальянских колоний, прежде всего Кафы. Экспорт начался отсюда, согласно сохранившимся документам, с 1290 г., но это, повторяю, *по документам;* фактически он мог существовать гораздо раньше. Зерно шло в основном в Геную, причём в немалых количествах. Так, в 1384 г. Кафа поставила в этот порт 31 344 мин (2 584 т) зерна, в 1388 г. — 2 516 т (*Еманов,* 1995. С. 112). Кроме того, зерно шло на вывоз из степных портов, которые генуэзцы именовали по-своему: *Ле Фети* (Гёзлёв) и *Ле Салине* (пристань в том же Каламитском заливе, в районе Сак). Постарому работали древние хлеботорговые Каламита (Инкерман) и Херсон.

Сколько всего зерна вывозил Крым тех веков, в точности неизвестно. Нет данных ни по упомянутым степным портам, ни по товаропотокам той же Кафы, за исключением генуэзского направления, на для венецианского (а Венеция с середины XIV в. *регулярно* ввозила крымские рожь, ячмень и пшеницу), ни для анатолийского, ни для константинопольского ввоза. А ведь будущий Стамбул уже тогда представлял собой внушительный мегаполис; окружённый довольно-таки малоплодородными (в хлебном отношении) взгорьями, он безусловно нуждался в крымском зерне. Да и Анатолия его точно потребляла: по отрывочным данным,

[1] Формально это событие нашло отражение в Нимфейском договоре 1261 г., уничтожившем препоны, разделявшие приморские левантийские торги от товарооборота Великой Степи.

она ввозила из Кафы около 2 000 тонн злаков ежегодно. Если же мы учтём, что сама Кафа съедала свои 2 800 тонн хлеба в год (указ. соч. С. 115), что хлеб требовался и для остальных больших и малых городов и сёл Крыма, да и сами степные пахари без хлеба не сидели, то возникнет закономерный вопрос: так какими же цифрами мерить производственную мощность могучего крымского поля?

Но хлеб был не единственным богатством Крыма. Едва ли не ещё большим сокровищем была его соль. Это — удивительный продукт. Его не замечают, когда он имеется в достатке, и жестоко страдают даже при малых перебоях с его наличием на рынке, а уж в бессолье бедствует не только кухня, но распадаются целые отрасли хозяйства (попробуйте представить себе без поставок соли не то что средневековую, а даже современную кожевенную, рыбную, животноводческую экономику, это не говоря уже о частных заготовках овощей, колбас, вяленого мяса и пр.). Неудивительно поэтому, что люди тех, да и более поздних веков тонко разбирались в сортах соли. Так, Челеби писал об орской (перекопской) соли: «Эта белая и вкусная соль добывается кусками как кирпичи... В месяце июле поверхность этого озера покрывается солью как будто льдом, в пядь толщиной. Её режут на части как ковёр и сваливают как горы» (*Челеби*, 1999. С. 15).

О количествах крымской соли имеются также несколько отрывочные, но ещё более впечатляющие данные. *Только* в области южного побережья Чёрного моря в 1289–1290 гг. и *только* из Кафы было вывезено 6 500 тонн, а о вырученной сумме можно догадаться, если учесть, что раб стоил килограмм соли, то есть кусок соли размером с его ступню (*Еманов*, 1995. С. 124–125). Этот же автор сообщает, что в те годы была установлена постоянная «солевая» линия между Саками и Константинополем (Перой), что значительные массы этого продукта шли на рыбные промыслы Дона, Кубани, Кавказа, а также на грандиозный северный рынок, где, в отличие от южных стран, вообще никакой соли не было.

Следующий предмет вывоза — продукты крымского животноводства. Шли они в основном в западную Анатолию (Трапезунд) и некоторые итальянские города. Уже в XV в. была выведена курдючная овца, чей жир высоко ценился. Путешественников поражали крымские «огромнейшие бараны на высоких ногах, с длинной шерстью и с такими хвостами, что некоторые весят по 12 фунтов каждый. Я видел подобных баранов, которые тащили за собой колесо, а к нему был привязан их хвост. Салом из этих хвостов [крымские татары] заправляют свою пищу; оно служит им вместо масла и не застывает во рту» (*Барбаро*, 1971. С. 149). Скотом торговали не только в виде мяса, но и живьём, в основном это относилось к крупному рогатому скоту[1].

Понятно, что производителями говядины, баранины, битой птицы, сыра, масла, кожевенного сырья, шкур, шерсти, пуха и прочих продовольственных товаров были степные татары. Менее представимо, что они занимались и свиноводством, поставляя на рынок копчёные окорока, солонину и сало. Но ведь ислам в Крыму не сразу строился, а что было, то было... Да и шариат не запрещал откармливать свиней на продажу, то есть не для собственного потребления.

---

[1] Это были, по словам итальянского современника, «...прекрасные, крупные быки, причём в таком количестве, что их вполне хватает даже на итальянские бойни» (*Барбаро*. Там же).

В самой Кафе и некоторых других крымских городах это сырьё проходило предпродажную обработку: первичную (забой скота, присаливание некоторых портящихся продуктов, их разнообразное затаривание) или полную (копчение и бессолевое вяление мяса, изготовление колбас, выделка кож и мехов и т. п.). Самым известным из этих продуктов были колбасы, изготовлявшиеся с добавлением конины и в конских же кишках (*Рубрук*, 1910. С. 73). Не только быки, но и иной живой скот также отправлялся через Кафу в количестве 10 000 тонн в год. Отправляли его и на экспорт, в основном, судя по тарным (керамическим) осколкам в раскопах, на север, речным путём.

Экспортным товаром по-прежнему, как и в античные времена, оставалась рыба. Ловили её и в крымских, и в материковых реках, обрабатывали всё теми же старинными способами. Зато район сбыта стал теперь пошире: балыки, солёная, вяленая рыба и икра шли не только в итальянские, но и во французские и даже испанские города. Очевидно, не слишком значительным был вывоз кафинского шёлка, продукции местных мануфактур, работавших, естественно, на местном сырье. На этих *первых в Европе* шёлкопрядильных и шёлкоткацких предприятиях производились такие ткани, как куфтерь, камка, тафта, шелка цветные и черевчатые. В различных направлениях экспортировался верховой и тягловый скот: лошади — в Египет и на Кавказ, верблюды — в Среднюю Азию, а также на юг и в Иран[1].

Здесь же грузились тогдашние лесовозы. Правда, лес свой крымцы то ли берегли, то ли рубили его там, где удобнее, а именно вдоль северных берегов Азовского моря. Во вяком случае эта обширная территория, в ту пору сплошь покрытая огромной дубравой, простиравшейся от Перекопа до устья Дона, сохранялась пока в первозданном виде[2]. Там же, на лесоповале, шла разделка стволов, которые везли в порт в виде ошкуренных брёвен, бруса, досок и дровяных отходов. Вывоз был настолько огромен, что кафинского леса хватало и на постройку средиземноморских флотов, и на строительные нужды — вплоть до того, что на крымских дубовых сваях была выстроена (и до сих пор стоит!) славная Венеция (*Еманов*, 1995. С. 127–129). Правда, часть их завозили из словенского Карста (*Талиев*, 1900. С. 219).

Производилось в Крыму и вино. Но оно никогда не играло здесь роль опьяняющего, одурманивающего напитка и не служило просто атрибутом церковной службы. Это был совершенно равноправный и даже считавшийся необходимым

---

[1] Как записывал Барбаро, уже тогда крымские верблюды весьма ценились благодаря своей породистости (позже их стали постоянно вывозить на развод: см. I очерк следующего тома). Но и в XV в. это были «...высокие, мохнатые, двугорбые верблюды. Их гонят в Персию и продают там по 25 дукатов за каждого». И, для сравнения: «Верблюды с востока имеют один горб и малы ростом, их продают по 10 дукатов» (*Барбаро*, 1971. С. 149).

[2] В последней трети XVI в. этот знаменитый дубовый лес значительно уменьшился в площади, сохранившись лишь на неудобных для рубки речных островах. Как сообщает анонимный автор той эпохи, «...у реки Мусс (очевидно, Миус. — *В.В.*) находится дубовый лес, небольшой, но густой, окруженный водой. Туда приходят на лодках казаки, когда собираются грабить татар, этих казаков бывает человек по двести с ружьями. Татары же, как лишь казаки очутятся в этом лесу, мигом собираются числом в несколько тысяч и казакам остаётся лишь укрываться в этом лесу, где татары их не могут достать... От упомянутого леса до турецкой крепости Ослу или Атцак (видимо, Азов/Азак. — *В.В.*) два дня пути» (*Anonym*, 1572. S. 5 rev.– 6).

продукт питания, с греческих и римских времён входивший в рацион солдат, наёмных служащих, вообще большинства свободных горожан и сельских жителей. Впрочем, многие авторы утверждают, что виноград был известен в Крыму и ранее: «Виноградарством занимались тавры и скифы...» (*Куртбелялова*, 2006. С. 7).

В сёлах и городах полуострова было развито ткацкое ремесло — в том числе и товарное. В основном производилось льняное полотно; сырьё использовалось местное. Подсчёт производства полотна на экспорт сделать нелегко, поскольку неясно, сколько его потреблялось на месте. Неизвестно и расположение центров производства этого товара на вывоз. Приблизительно речь может идти о 5–6 периферийных городках. Там работали льноткацкие мастерские, очевидно довольно крупные, так как льняных тканей и пряжи хватало не только для местного потребителя, но они вывозились и за рубеж — в основном через Балаклавский и Алуштинский морские порты (*Еманов*, 1995. С. 53, 100, 123).

Ещё одна статья экспорта — чистейшая светлая или горная нефть (*Bergöl*) — нефтепродукт, не требовавший химической переработки, легковоспламенявшийся и горевший без копоти, нечто вроде конденсата. Источники его близ Еникале, не слишком обильные, но зато самотёчные, не требовали искусственной разработки. Этот вид экспортного продукта сохранял своё значение до XVIII в. включительно (*Baert*, 1798. S. 73). О его использовании в Крыму сведений мало и они недостоверны. Зато есть данные о других нефтяных источниках Керченского полуострова, на тёмную эту жидкость также имелись покупатели — запорожцы, которые смазывали ею оси мажар, не без успеха лечили скот и «пропитывали свои одежды для борьбы с паразитами» (*Ден*, 1930. С. 78).

Остаётся упомянуть неглавные отрасли крымской экономики (о работорговле — речь ниже), работавшие в основном для собственно крымского потребления. В предгорье, горных и прибрежных деревнях и городах уже тогда было широко развито самое разнообразное ремесло, которое если и продвигалось на внешний рынок, то значительно медленнее, чем уже перечисленные продукты. Из внутренних областей полуострова, из Готии и Солхата в Кафу поступали также мёд, воск, виноград и изюм, яблоки, инжир, арбузы, горох, чеснок и лук, фасоль и даже мало известный пока в Европе рис.

Крымский ввоз был не менее значительным, чем вывоз: полуостров являлся важнейшим реэкспортным центром всего Причерноморья и прилегавших к нему регионов (и это не говоря уже о собственном потреблении). Мы не располагаем точными цифрами по импортным статьям — возможно, их выведут позже. Но уже сейчас известен основной ассортимент ввоза через порты Восточного Крыма. Из Трапезунда сюда доставляли вино, арак (крепкая рисовая или финиковая водка), орехи и корабельные мачты. Транзитом через Кефе шли анатолийский хлопок, средиземноморские маслины, оливковое масло, бобы, рожь, уксус и вино. Далее эти товары направлялись в города степного, предгорного и южного Крыма. А также далее, в Польшу, Московию, тюркские города Поволжья и Степи (*Inalcik*, 1994. P. 130). Это был уже *транзит*.

Анализ одного из средневековых памятников позволяет сделать и более общий вывод о крымской транзитной торговле той эпохи. В XIII–XIV вв. Кафа и Судак являлись важнейшими пунктами, которые связывали средиземноморские Генуэзскую и Венецианскую республики с русскими княжествами, государствами

Средней Азии, Поволжья, Индии и Китая. А с 1330-х гг. появляется третий транзитный пункт — Азак (будущий Азов), находившийся вне полуострова, но тесно связанный с его экономикой (Записки, 1863). Другие источники позволили итальянскому исследователю составить список северных и восточных товаров, проходивших через этот последний порт. Это были: золото, железо, медь, олово, жемчуг, янтарь, шёлк, парча, хлопковая пряжа, льняное полотно, холсты, кожи, каракуль, воск, мёд, пшеница, рожь, рыба, икра, сало, сыр, масло, перец, имбирь, шафран, сандаловая древесина, мускатный орех, меха соболя, горностая, куницы, ласки, лисы, рыси, белки и др. (*Pegolotti*, 1936. P. 24).

Вывод из всего сказанного о крымской экономике XIII–XV вв. очевиден: она была, если не считать транзитного товарообмена, основана на труде *местного* населения. Крымские товары, от пшеницы до овечьих смушек, назывались «кафинскими», но производились-то они не в Кафе, и не итальянцами-кафинцами. При всех своих весьма значительных территориях и численности населения, генуэзские и венецианские колонии были бы не в состоянии накормить не только Крым, но и самих себя, не говоря уже о производстве в *таких* количествах экспортного продукта. Итальянские колонисты были торговцами, дистрибьютерами, не более того.

Экономику же держало на своих плечах коренное население полуострова, которое именно в рассматриваемый период состояло в основном из крымских татар. Причём крымцы занимались не только животноводством или пахотным земледелием, но и такими, казалось бы, несвойственными им ремёслами, как садоводство, виноградарство и даже рыботорговля. Об этом можно было догадаться опять-таки исходя единственно из огромной массы производимого вина, хлеба и пр., чего *одни* кафинцы или солдайцы никак не подняли бы. Но имеются и прямые указания, сохранились имена, в частности, торговцев рыбой конца XIII в.: неких Ибрагима, Оттомана, Сададдина и Ак-Косо. Да и прямые указания есть на то, что уже с конца XIII в. местное население не только работало в различных добывающих и обрабатывающих отраслях, но и торговлю мало-помалу перенимало от кафинских коммерсантов[1]. Так, «закупки готовой товарной продукции на соляных промыслах» уже в столь ранний период «подлежали жёсткому контролю со стороны татарских властей, извлекавших из этого немалые доходы» (*Еманов*, 1995. С. 123, 126).

Социально-экономической основой этого товарного производства по-прежнему оставалась патриархальная группа или родовая корпорация сельских хозяев. Точнее, теперь она родовой уже не была, поскольку превратилась на большей части полуострова из пастушеской, на юртовой основе, в сельскохозяйственную, земледельческую. Переход этот завершился во второй половине XV в., так как в последующее столетие, от которого сохранились соответствующие документы, она фигурирует в качестве распространённой самостоятельной земледельческой

[1] Предваряя завершение этого процесса в будущем, скажем, что в первой половине XVII в., когда итальянские колонии давно перестали существовать, вся старая торговля продолжала столь же успешно функционировать, полностью перейдя в руки крымских татар. Так, Кефе всё так же поддерживала оживлённые торговые отношения со Стамбулом, Трапезундом, Синопом, другими портами Анатолии. Кроме того крымскотатарские купцы были частыми гостями «по всему [Греческому] архипелагу, и на море Леванта, и на всём Чёрном море» (*Боплан*, 1990. С. 51).

единицы. То есть экономическая основа (включая земледелие, садоводство, виноградарство и животноводство) для расцвета крымскотатарской культуры была создана крымскотатарскими же руками, об этом прямо говорили авторы той и более поздних эпох (*Барбаро*, 1971 С. 149–151; *Броневский*, 1867. С. 348 и др.). Поэтому при рассмотрении нижеследующих феноменов этой культуры нас не должна удивлять необыкновенная её гармоничность, соразмерность как со своей колыбелью, древней Тавридой, так и с главным её творцом, коренным народом Крыма.

3. Становление крымскотатарской этнокультуры

> Культура может называться высокой, даже если она не создала техники или скульптуры. Но её так не назовут, если ей нехватает милосердия.
>
> *Й. Хойзинга. В тени завтрашнего дня*

Понятно, что с развитием столь энергичных торговых отношений между Крымом и Средиземноморьем, а также Степью не мог не завязаться столь же оживлённый культурный диалог. Крым представлял собой выраженную *контактную зону*. Полуостров не был и, по ряду причин (о них ниже) не мог стать территорией, где бы сосуществовали, не смешиваясь, культурные системы нескольких этносов, ряд этнических анклавов, развивавшихся автономно.

Напротив, это был некий набор органичных и жизнеспособных культур, эволюционировавших по собственным законам, сохранявшим своеобразие культурного облика, но взаимодействовавших друг с другом, оказывавших друг на друга значительное влияние. Система таких культур обладала способностью к самоорганизации, саморазвитию и самоусовершенствованию. Помимо прочего, само возникновение такого рода структур тесно связано с существованием и активной деятельностью на соответствующей территории носителей *открытых* культур, то есть таких, которые обеспечивают оптимальное равновесие свободного развития эволюционного типа.

Известно, что в истории любой культуры важнейшее значение имеют как её первоистоки, так и составляющие части. В истории крымскотатарской культуры таких составляющих было столько же, сколько этносов, из сплава которых возник коренной народ Крыма. Некоторые их этих культуротворческих компонентов нам известны лучше, другие — хуже, поэтому имеет смысл назвать лишь самые значимые, фундаментальные, не пытаясь выяснить конкретный вклад каждого из более чем трёх десятков племён и народов, некогда осевших на благодатной земле полуострова и оставшихся на ней навсегда.

Таких *основных* культурных составляющих было четыре.

Средиземноморская (христианская). Она и сама по себе имела сложное происхождение, возникнув из слияния древних египетской и месопотамской, более молодых греческой, арабской, «варварской» романской культур.

Мусульманская (мавританская), которая также имела в своих истоках несколько культурных традиций, в том числе такие древние, как персидскую, кораническую (библейскую), античную.

Степная (преобладающе тюркская), которая отличалась от предыдущей прежде всего материальным своим сегментом, сложившись в совсем иных географических и традиционно-культурных условиях, впитав в себя, в частности, многое из дальневосточного, алтайского, древнеармянского культурных комплексов.

Германо-скандинавская (готская), оказавшая влияние прежде всего на крымскотатарские строительное искусство и, отчасти, музыку (о чём см. ниже).

Основным условием возникновения национальной крымскотатарской культуры, очевидно, следует считать уже упоминавшиеся терпимость к разнообразным влияниям и рациональную восприимчивость крымцев. В Крыму, в отличие от некоторых других регионов мусульманского мира, великолепно сохранилось моральное наследие классического ислама, проповедовавшего эти качества. Но правомерен вопрос, почему это произошло именно здесь, да ещё и в такой мере, что «крымский культурный феномен» стал заметен уже в Средневековье? В этом, очевидно, немалую роль сыграл не только человеческий, но и природный фактор.

Коренной народ Крыма в силу самих условий жизни на территории, со всех сторон ограниченной морем, довольно рано обрёл так называемую «островную психологию». Этот тип ментальности присущ населению небольших островов, экипажам кораблей и т. д. То есть группам, подверженным угрозе извне: притом что бежать от неё некуда, приходится вырабатывать особые навыки выживания в буквально любых условиях. Это положение вещей вырабатывает в группе *дух единой команды*, хорошо известный мировой (но пока не российской) психологической науке феномен *The Team Spirit*, что означает ощущение плеча ближнего, взаимную преданность, готовность поступаться частными интересами ради выживания группы вплоть до готовности к самопожертвованию. И всё это — несмотря на то, что изначально такие группы могут формироваться из социально и политически совершенно разнородных, разноязычных, поликонфессиональных (разноверных) участников.

Можно предположить, что уже на стадии первобытного общества крымчане убедились в необходимости взаимной терпимости всё с той же целью — выживания при невозможности «оторваться» от врага, уйдя вглубь материка, в непроходимые леса, в область вечных льдов и так далее. В Крыму такой возможности попросту не было. Но здесь нужна одна оговорка, касающаяся более поздних времён крымской истории.

Ниже будет изложен материал, свидетельствующий о том, что взаимопонимание между ханом и его беями и мурзами не всегда было полным. Доходило и до вооружённых столкновений. Но все внутриполитические трения отступали на второй план, когда речь шла о необходимости защиты ханства от внешнего врага. Это умение крымских татар забывать о личных, частных, групповых интересах ради выживания всей команды не могло не поражать иностранных гостей Крыма. Один из них, пробывший некоторое время в татарском плену поляк (а какое «согласие» царило между шляхтичами и их королём — общеизвестно), сочинил даже на эту тему стихи:

«Крымские врата, Перекопе давный,
По всем Украинам чем еси ты славный?

Ой, не суть крепки яры глубокие,
Не боронят тя валы высокие,
Ни море крепость, ни башни с вратами,
Ни наряд пушечный, ни войска с стрелами...
Крепок Перекоп, цел стоит Крым с ханом
Шан-Гиреем, Ор-беем салтаном...»
(Цит. по: *Дмитров,* 1940. С. 81–82).

Эта психологическая матрица, возможно, осуждённая на постепенное исчезновение в более благоприятных условиях (как это и произошло в массе схожих случаев), уцелела практически только в Крыму да ещё на Сицилии — это если ограничиться нашим континентом. И в обоих местах это произошло по одной и той же причине: благодаря схожим географическим (точнее, геополитическим) особенностям и счастливой встрече с исламом в классическую эпоху истории этой конфессии. То есть именно тогда, когда учение Мухаммада основывалось на всечеловеческом гуманизме, взаимной терпимости, чувстве единой уммы, невзирая на культурные, расовые, социальные или этнические различия. Именно эти две составляющие — островное положение и вера — привели к необычному эффекту устойчивой терпимости и миролюбия, к результату, который поражал даже ближайших соседей, турок, с уважением и невольной завистью писавших о крымчанах: «Они очень стыдятся друг друга. Если кто-нибудь бранится и ссорится, другие люди его презирают» (*Челеби*, 1999. С. 10).

Атмосфера исключительной терпимости стала главной причиной, во-первых, органичного, естественного слияния четырёх упомянутых составляющих в единую крымскотатарскую культуру, а во-вторых, необычно мощного, длительного и постоянного потока иммигрантов, также первоначально разнокультурных[1]. Таким образом, крымцы получили возможность выбора из многообразия, а затем и усвоения того, что оптимально подходило к крымским условиям природы и общества. Эта возможность, впрочем, не была уникальным даром случая (в конце концов, любой этнос может черпать из мировой сокровищницы полными горстями то, что ему нужно, просто не все этим пользуются). Таким даром были способность и желание крымцев не вынужденно, а «в охотку», с удовольствием и живым интересом заимствовать элементы чужих культур, не испытывая к последним отвращения или страха.

Это был культурный диалог не просто крымского, а межцивилизационного масштаба, хотя шёл он главным образом в городах Крыма, да ещё разве что на Сицилии. Такой скачок в общении великих культур мог в принципе произойти и раньше, физические возможности к тому были (мореходные караваны пенили и античные, и средневековые моря; извечными были такие реалии, как разноязычная толчея на приграничных базарах, а также войны, оккупации и подобные им разновидности и типы межкультурных контактов). Но не было полноценного

[1] Понятно, что эти переселенцы забирали с собой в новую жизнь самое *с их* культурной точки зрения ценное. А этих точек зрения, этих *этнических* вкусов было столько же, сколько человеческих племён участвовало в этногенезе крымских татар. Конкретно этими ценностями могло быть что угодно — от виноградных лоз до музыки или костюмов старой родины.

диалога. Его и не могло возникнуть, пока цивилизации не научились слушать друг друга. Пока они не *захотели* этого.

Активизацию и подъём крымскотатарского культурогенеза специалисты относят ко второй половине XIII — началу XIV в. (*Крамаровский*, 1992. С. 38–39). Именно в этот период в городах Юго-Восточного Крыма, отчасти Приазовья, материальной основой которых были ремесло и торговля, в уникально пёстрой этнической среде сложилось новое культурное направление в мировой цивилизации. По происхождению и направленности в перспективу это была одна из культурных линий Золотой Орды. И в то же время необычно высокая доля заимствований в духовной и материальной сферах позволяет выделить крымскую прибрежную полосу в качестве особого района, отличного от других золотоордынских и черноморских регионов. Целесообразность предлагаемого отграничения этой литорали оправдывается и дальнейшим её развитием, в том числе и в Новое время.

Здесь, где с представителями коренных племён встречались и где оседали малоазийские тюрки, выходцы с Балкан, персы, армяне, грузины, черкесы, евреи, греки, генуэзцы, лигурийцы, венецианцы, сицилийцы, арабы Северной Африки, каталонцы и т. д., складывался новый народ. Он обладал собственной, самобытной этнопсихологией, умением органично сочетать в себе культурные (и материальные, и духовные) черты и особенности изначально совершенно различных культур и несхожих до полярной противоположности национальных характеров. В конечном результате (если касаться только материальной культуры) возникла новая линия её развития, которая характеризуется «тесным переплетением Джучидской тюрко-монгольской (городской и степной), греческой (византийской), сложными по составу армянской, крымско-малоазийской и латинской традициями ремёсел» (*Крамаровский*, указ. соч. С. 40).

Период экономического, социального и культурного расцвета Крыма, начавшегося благодаря великой встрече четырёх культур, длился недолго. Он был изначально обусловлен самостоятельной и последовательной политикой Гиреев, политикой толерантности и открытости. Потом эта самостоятельность почти исчезла. Что можно было предвидеть уже в 1470-х, после подчинения крымских ханов турецким султанам, имевшим несколько иные представления об открытости и терпимости. Вот тогда и началась постепенная, окончательно так и не завершившаяся смена старой черноморской космополитической цивилизации, новой, чисто национальной, крымскотатарской культурой, но об этом разговор пойдёт позже.

А пока бросим беглый взгляд на содержание всего достигнутого крымским ханством в годы его самостоятельности.

Уже говорилось о том, что латино-романская культура проникала в Крым посредством обучения способной молодёжи восточнокрымских городов в Генуе и некоторых иных итальянских городах. Конечно, это были христиане, но культурные достижения, с которыми они знакомились на Западе, в крымских условиях тесных контактов быстро становились всеобщим достоянием. Та же ситуация сложилась и в отношении угасавшей Византии: к примеру, переплёты крымских мусульманских изданий оставались византийского, а не восточного типа до XVII в. (Рукописная книга. С. 308).

Вторая черта крымской книжности: здесь переводились и размножались не только старинные арабские, но и античные авторы. Делались и переводы со-

временной литературы, что понятно — это было непременным условием культурного развития страны, шедшей в ногу с окружающим миром, прежде всего с мировой исламской цивилизацией. Но для образованного слоя крымских городов не требовались переводы с таких языков, как арабский, персидский и тем более родственных тюркских. Известных авторов, творивших на этих языках, читали в оригинале, оттого в скрипториях Крыма (крупнейшим из них был ханский) их книги так на иностранных языках и переписывались: в Крыму существовал обширный книжный рынок (*Зайцев*, 2006 «а». С. 89–90).

Здесь работали не только крымскотатарские, но и итальянские переписчики и миниатюристы, а крымские караимы вообще были известны далеко за пределами полуострова собственной каллиграфической школой. Известным *хаттатом* (каллиграфом) был Баби Мухаммед Гийаси, как и его ученик дервиш Хафиз бин Фахр ад-Дин Каши, работавший в Кефе. Многие хаттаты приглашались в медресе. Так, из 180 списков — копий различной литературы, хранившихся в 1920-х гг. в Хансарае, 150 экземпляров были созданы в трёх крупнейших медресе Крыма. Некоторые мастера могли работать и за рубежом. Так, в РГАДА хранится Коран, переписанный крымским хатипом в Великом Устюге, а в колофоне (послесловии писца) одного стамбульского списка известного исторического труда «Таварих-и Дешт-и Кипчак» значится: «Писал это бедняк Сеййид Осман из Крыма, писец соборной мечети Нур-и Османи» (Цит. по: *Зайцев*, 2006 «а». С. 90–91).

К сожалению, о крымском средневековом книжном искусстве мы судим более по каталогам, чем по самим книгам. Последние почти не дошли до нас, причём по редчайшей причине. Речь идет о практически *полной ликвидации* крымскотатарского книжного, рукописного и архивного фонда, этого запечатлённого духовного опыта народа, его истории. В истории такие драмы иногда случались: когда дань с побежденных брали книгами (см. примеры в: *Петров*, 1982. С. 27). В этом случае сокровища интеллекта просто меняли прежнее местонахождение, перемещаясь в страну культурных победителей. Но русские, впервые оккупировавшие Крым в 1736 г., таковыми, к великому сожалению, не были. Они, как мы увидим ниже, *сожгли* множество библиотек. В том числе огромную Ханскую библиотеку, Карасубазарское древлехранилище, Иезуитскую библиотеку с её архивом и Национальный архив ханства (см. IX очерк этого тома).

Это было *целенаправленное,* тотальное уничтожение культуры коренного населения; возможно, уже тогда имелись планы на его захват, подчинение и последующую русификацию. Ведь в 1833 г. акция повторилась, — снова вспыхнули костры из книг, правда, уже куда менее ценных, это были жалкие остатки книжной роскоши начала XVII в. (подробнее об этом см. в томе II).

Продолжая опережать события, отметим, что когда чудом уцелевшие древние книги вновь осели в библиотеках, мечетях и медресе, они были в 1929 г. (опять почти точно через век!) изъяты и сожжены (теперь уже полностью) в ходе открытой борьбы с традиционными крымскотатарскими письменностью, историей и культурой.

О том, *что* утратило при этом человечество, *что* за сокровища оседали в средневековом Крыму, о котором идёт речь, можно судить по всего нескольким случайно сохранившимся осколкам этого богатства. В тайнике общины Чуфут-Кале были обнаружены Вавилонский кодекс (927 г.) и Каталог Каирской

библиотеки (1008 г.). Кто-то спас несколько книг из Ханской библиотеки: *тафсир* (комментарий Корана) автора XIII в. Мухаммада ал-Куртуби; комментарий юриста XIV в. ал-Махбуби к трактату «Исправление основ права»; шеститомный каллиграфический свод *хадисов* (преданий о словах и поступках Пророка) самого раннего и авторитетного их собирателя аль-Бухари; поэму о шахматах Мухаммада ибн'ал-Хаббарийа; комментарий крымского улема Мухаммада ибн'Абд ар-Рахима ал-Къырыми к творениям великого поэта Джами и сборник проповедей крымского же шейха Мухаммада ибн'Абд ал-Карима ал-Къырыми.

Уцелело и несколько образцов эпического и философского жанров крымского происхождения, вовремя, к счастью, вывезенных; сейчас они украшают рукописные отделы трех библиотек Стамбула (*Spuler*, 1943. S. 424). О том, какого класса это сокровище, можно судить хотя бы по поэме начала XIII в. о Юсуфе и Зулейхе (*Хикяети Юсуф ве Зелиха*) Махмуда Къырымлы. Этот поэт — «не только первый из известных нам [крымских] авторов, но и некий локомотив, приведший в движение и крымскотатарскую, и турецкую литературу» (*Конурат*, 1996. С. 14). В Национальной Библиотеке Франции хранится прекрасный список «Гюлистана» Саади, выполненный в Кефе в 1510 г. (*Зайцев*, 2006 «а». С. 91)[1].

Несмотря на варварскую ликвидацию основного пласта культуры народа Крыма, сохранились имена некоторых литераторов и учёных, сверх упомянутых. Поэзия была здесь распространена весьма широко; любопытно, что большинство известных крымских авторов писали, как правило, на нескольких языках. Крупными поэтами были некоторые ханы. До нас дошел уже упоминавшийся выше «Розовый куст ханов» — великолепное изложение истории дома Гиреев, созданное одним из них, Халим-султаном.

Широко известными в странах Восточного Средиземноморья были крымчане Тан Буг аль-Джевали (начало XIV в), Эбубекир Мехмед, Абдулмеджид-эфенди, Таклы-ходжа, Ахмед-ходжа, Мевлян Исхак (все — конец XIV — начало XV вв.).

Тогда же знаменитый «Гулистан» Саади перевёл с персидского крымский поэт Сейфа Сараи. В XV в. творили не менее известные Усеин Кефеви (за рубежом его удостоили почётного титула «султан всех пишущих»), хан-поэт Менгли-Гирей. Крымские литераторы той поры славились за рубежом и своей эрудицией и учёностью. Великой удачей считали правители Египта и Сирии, когда им удавалось поставить во главе национальных университетов (медресе) крымчан — таких как Дия Мехмед аль-Къырыми, Рукн эд-Дин аль-Къырыми, Махмуд ибн-Фатшах ас-Сараи (*Фазыл*, *Нагаев*, 1989, С. 136–138). Из современников Хаджи-Гирея сохранились имена политика, теолога и поэта Атыфа Бини Сейдамета и известного *хатипа* (оратора, проповедника), также поэта Абдуллы Сейдамета Къырыми (*Улькюсал*, 1980. С. 177–179).

---

[1] Между прочим, абсолютное большинство крымскотатарского наследия за рубежом ещё ждёт своих открывателей и исследователей. Работа по их отысканию уже идёт под руководством симферопольского профессора Исмаила Керимова силами его учеников. См., напр.: Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке. Указатель рукописных и старопечатных книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского историко-археологического музея в Государственную публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. / Составление, вступительная статья, комментарии *Н. Абдульваапа*. Симферополь, 2007.

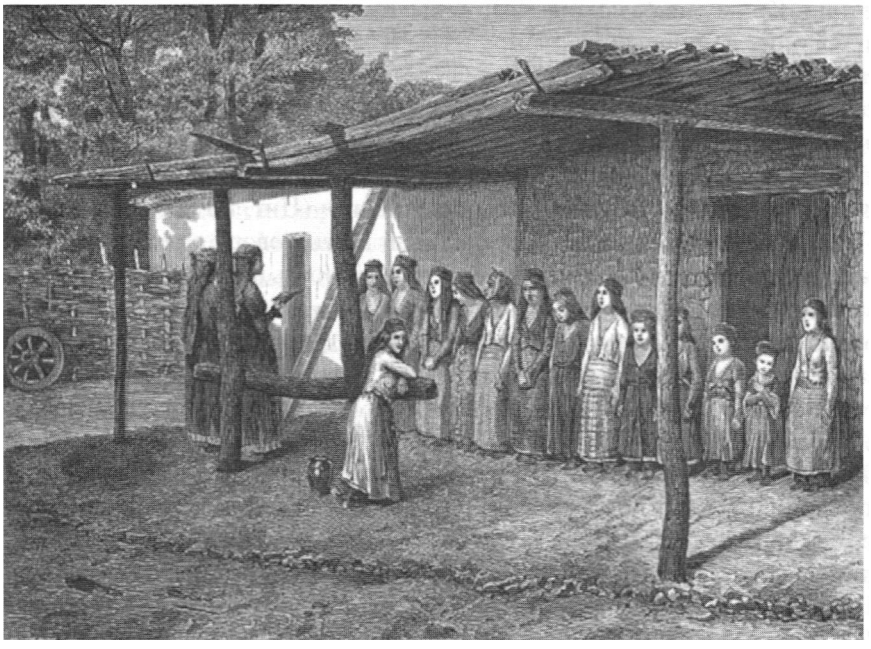
Очевидно, в Крыму не развились бы такого именно рода книжность, наука, литература, если бы не общее культурное воздействие ислама. А оно дало знать о себе довольно рано. Уже о первом значительном деятеле ислама на полуострове, хане Узбеке (1313–1342), ал-Омари, путешественник из Египта, сообщает, что он строил медресе «для науки, потому что он очень предан науке и людям её... Он мусульманин чистейшего правоверия, открыто проявляющий свою религиозность и крепко придерживающийся законов мусульманских» (Цит. по: *Валеев, Набиев*, 1999. С. 95). Обратим внимание — просвещённый гость, говоря о религиозности великого хана, прежде всего подчёркивает его увлечённость науками.

Не менее привержен к науке был и хан Менгли-Гирей I. Открывая новопостроенную Зинджирлы-медресе в Салачике, над входом в которое висела цепь (само название это — от *крымскотат.* «зынджыр», то есть «цепь»), он сказал среди прочего: «Разум делает человека существом благородным, а путь к совершенствованию разума лежит через науку... Кто не уважает науку, будь он хан или падишах, не сможет создать ничего основательного, ничего рассчитанного на будущее, и рано или поздно постигнет его бесчестие. Я приказал повесить в дверях медресе эту цепь, чтобы каждый, кем бы он ни был, при входе в этот священный храм науки склонил свою голову, выразив таким образом своё уважение к науке». После этих слов хан первым вошёл в медресе, низко склонив голову» (цит. по: *Червонная*, 1994. С. 127).

Здесь было явлено то самое чудо слияния по-детски целостного знания и веры, что быстро исчезло у более поздних, по-европейски просвещённых и рациональных поколений. Но оно успело оказать мощное влияние на историю духовного развития средиземноморско-понтийских стран[1]. Упомянутая выше *открытость* крымскотатарского типа культуры также была связана с исламом. Эта конфессия не только дозволяла контакты с окружающим инокультурным миром, она возникла и развилась на таких связях, в том числе и духовных.

Почему всемирная мусульманская умма не признаёт национальных границ — вопрос непростой, его анализ — впереди. Здесь замечу лишь, что кроме веры в феномене открытости крымских татар, их культуры, играла роль и чисто этническая традиция. Когда коренные крымские греки *урумы* или *румеи* (не путать с иммигрантами XVIII–XIX вв.) были депортированы Екатериной в северное Приазовье, среди них было, как утверждает посетивший их немецкий учёный, какое-то количество мусульман (возможно, это были родственники депортированных христиан, приехавшие к ним позже). В дальнейшем эта община (мариупольская) разрослась. Но это были странные мусульмане. Они прекрасно владели татарским языком, да и материальная культура их была схожей во всём,

[1] Развитие науки и культуры мусульманского мира в Средние века — особая тема, она будет затронута в ином месте. Здесь лишь подчеркну, что крымские медресе не могли существовать без контактов с другими научными центрами Востока. Этот обмен учёными, студентами, книжный обмен и т. д. был постоянным и привычным. А о его продуктивности говорит лишь один факт: современник хана Узбека, гениальный английский учёный Роджер Бэкон (1214–1294), отчаявшись отыскать качественные приборы для своих опытов в Европе, сетовал, что ему приходится жить и работать в «таком захолустье» и искать линзы в дальнем зарубежье, где всё гораздо лучше по качеству, то есть у арабов (*Бибикин*, 1998. С. 46).



Занятия на свежем воздухе (мектебе для девочек). *Гравюра О. Раффе. Из колл. музея «Ларишес»*

кроме одного: она была закрытой. Они крайне неохотно вступали в контакты с соседями-ногайцами и вообще мусульманами другой крови, не говоря уже о межэтническом смешении. Поэтому был совершенно прав немецкий этнограф, сделавший из этого вывод, что они не всей душой (*nicht mit ganzer Seele*) преданы исламу, всем открытому по глубинной своей сути (*Schlatter*, 1836. S. 376). Такая добровольная самоизоляция была совершенно *несвойственна* татарским землякам этих бывших крымчан.

Ещё одним результатом слияния с исламским миром стало для Крыма народное просвещение. При любой мечети, вплоть до деревенских, обязательно работала начальная школа-*мектебе*, где малышей обучали основам ислама и чтению арабского текста Корана. Сам арабский язык преподавался не везде, но до учеников доносили его смысл на родном языке. По-крымскотатарски цитировались и поучения, которые могли пригодиться в реальной жизни. Поступать в мектебе можно было начиная с четырёх лет, обычно учились там лет до 12, но общий срок посещения школы не должен был быть менее 3 лет. Обучение в нём было обязательным как для мальчиков, так и для девочек. Они учились вместе группами по 3–4 человека, что обеспечивало как достаточный эффективный контроль наставника, так и его внимание к индивидуальным успехам каждого ребёнка (*Нейкирхен*, 1914. С. 293–295).

Поэтому уже в Средневековье грамотность была чуть ли не всеобщей, как и вера в Аллаха. Дальнейшее образование можно было получить в медресе, содержание и обучение в которых оплачивались доходами с вакуфов. Разница в программах и учебных дисциплинах между ними и европейскими университетами

(по сути, теологическими вузами) практически если и была, то в пользу медресе. Программа крымской высшей школы включала предметы арабо-мусульманского и античного происхождения: 1) общую теологию; 2) языкознание (грамматика, синтаксис, орфография, дикция, поэтика); 3) логику; 4) математику (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, техника, механика); 5) физику; 6) метафизику; 7) политику (включая *фикх* — правоведение, и *калам* — спекулятивную теологию) (*Kraemer*, 1984. S. 155).

Конечно, не все крымские медресе работали по приведённой программе, но ведь в различных регионах ханства их было несколько десятков, можно было выбирать. В частности, вероятно, благодаря этой сети медресе столь массовым было в Крыму увлечение поэзией, глубокое знание деяний предков, что было не вполне типично для других стран Европы, кроме разве что Исландии.

Некоторые современные учёные (не восточные) в своей оценке крымскотатарского и мусульманского просвещения в целом делают акцент на *ограниченном*, с их точки зрения, характере образования, которое давали (а кое-где и дают) традиционные мектебы и медресе. При этой оценке (как правило отрицательной) абсолютно игнорируется кардинальная разница в типах образования, нужного западному и восточному обществам — христианскому и мусульманскому. Тем самым упомянутые авторы обнаруживают не только свою культурно-исторически несостоятельную, ограниченную европоцентричность, но и приверженность к давно устаревшей ценностной шкале. В лучшую сторону от них отличаются авторы середины позапрошлого века, подходившие к проблеме более объективно. Так, А.Т. Гримм, побывав в Крыму, дал куда более *современную* оценку местного традиционного просвещения, чем иные авторы наших дней:

«Что касается [результатов] образования, то здесь делать сравнения, то есть пользоваться какой-то шкалой, которая, как в наших термометрах, отмеряет образовательные ступени европейских народов, то она не подходит для крымских татар. Сравнивать можно черкесов, турок и татар, и здесь последние в любом случае стоят выше остальных. Обычный степной татарин, кочевник, не имеющий другого имущества, кроме своего коня, способен уважать чужую собственность, тогда как черкес почитает своим всё, что от него не может охранить физическая мощь другого...» (*Grimm*, 1855. S. 32).

Примерно к такому же выводу приходит русский современник А.Т. Гримма: «С самых незапамятных времён они были оседлы, имели дворцы, фонтаны, мечети, школы и даже медресе или духовные академии... наконец, понятия о некоторых правах личности, неизвестные самим Туркам, доказывает, что Татары Крымские не только были образованнее Ногайцев, но даже превосходили во многом Турок, своих владык...» (*Скальковский*, 1850. Т. I. С. 303). А. Скальковский говорит о системе крымскотатарских свобод сдержанно, но читатель понимает, что *то* общество во многом превосходило (по крайней мере, нравственно) современное, XXI в., что крымское, что российское. Главное, что нужно подчеркнуть: свою задачу система просвещения ханского Крыма решала *успешно* и с завидным постоянством. К тому же без срывов и откатов в архаику или в более модернизированные беззаконие и аморальность.

Но нельзя и недооценивать благотворную роль, которую сыграли турки в развитии крымской культуры. Дело было даже не только в её уровне среди

единоверного населения по ту сторону Чёрного моря. Османская империя сделала для Крыма нечто гораздо большее: она открыла дверь для татар в широкий исламский мир с его непревзойдённой культурой. И крымцы стали с жадностью вглядываться в доныне неведомые им дали иного, не ордынского, а малоазиатского, средиземноморского Востока.

Особую роль в крымском культурогенезе играли (как и в иных регионах исламского мира) дервишские *текие* (и в меньшей мере соответствующие им *рибаты* или *ханака*). Определить назначение текие при помощи европейской понятийной терминологии нелегко; во всяком случае, они не были «дервишскими монастырями», как нередко переводят этот термин. Прежде всего, эти общежитийные комплексы или культовые странноприимные дома[1] были открытыми и не имели постоянного контингента, как христианские монашеские братии во главе с игуменом. В текие могли останавливаться паломники и купцы, странствующие дервиши и наставники различных исламских толков, нередко сопровождаемые одним или несколькими учениками. Такая обитель выполняла одновременно несколько функций, выступая в роли храма, караван-сарая, культурного и образовательного центра, исламской миссии, места встреч с целью обычного общения и, наконец, научного дискуссионного клуба (подр. об уставах и традициях текие см.: *Петрушевский И.П.* Ислам в Иране в VII–XV веках. Л., 1966. С. 322–323).

Насельников текие можно разделить весьма условно на две части: более или менее постоянную общину из осевших (по крайней мере, на какой-то срок) дервишей и временных «постояльцев». Обе эти части обитателей текие обладали одинаковыми правами и обязанностями, хотя и осознавая свою раздельность. Здесь отправлялись совместные молитвы, совместно же проходили встречи с вероучителями или наставниками различных школ или толков.

Люди собирались в поисках истины, поэтому в дискуссиях, проповедях и их обсуждениях царил дух доброжелательной диалогичности, искреннего и бескорыстного стремления к умножению познаний. То есть, в конечном счёте, дух совместной тяги к культурному совершенствованию. Здесь постоянно вырабатывались духовные и культурные ценности, начиная от обучения желающих грамоте или сокровенному смыслу священных текстов или хадисов, от выработки норм (начиная с самых элементарных) исламского поведения и кончая диспутами по теоретическим вопросам, в ходе которых возникали новые или совершенствовались старые, испытанные временем концепции.

Само разделение обитателей текие на осевших и временных весьма способствовало утверждению их роли как духовных центров. Они идеально дополняли друг друга. Первые последовательно и без помех, связанных с подвижным образом жизни, разрабатывали фундаментальные проблемы познания и методов овладения духовными ценностями. Они вникали в сколь угодно глубокие теоретические вопросы в области мусульманского права, соотносимости отдельных положений адата и шариата, в проблемы выбора оптимального пути божественного привлечения (*джазба*) и так далее. Вторые, останавливаясь в текие и приобщаясь к результатам интеллектуального труда постоянных насельников этих

[1] Имелись и обычные, не нёсшие культовых функций, но также бесплатные странноприимные дома, существовавшие на вакуфные средства; они назывались *имаретами*.

обителей науки и молитвы, содействовали затем распространению бесценного духовного опыта дервишей по всей территории ханства и далеко за пределами Крыма.

Такой культурный обмен обеспечивался несколькими способами: часть путешествующих записывала всё достойное внимания в авторские трактаты; при этом нередко осуществлялась первичная систематизация теоретической информации. Кроме того, путешествующие, во-первых, приносили в текие результаты научной деятельности аналогичных институтов других городов или стран, и часто это был «свежий материал» для диспутов или обсуждения. Во-вторых, они не могли не оказывать личного влияния на полученные знания, комментируя их, вырабатывая собственные концепции и обосновывая их в оригинальных сочинениях. В целом же духовная деятельность, кипевшая в многочисленных текие и благодаря им, не могла не обогащать высокую культуру Крыма.

Бесспорным благом для страны и её людей стало и такое завоевание ислама, как идеология гуманизма. Напомним, что гуманизм был известен и средневековой Европе, хотя там он был лишен важнейшей своей части — признания ценности человека как личности, а прав человека как критерия оценки общества в целом. И это понятно, так как европеец той эпохи индивидом не был, а всегда выступал как член группы (общины, цеха, братии, ордена и т. д.).

Избежать этого, как и всеобъемлющей системы вассалитета, в корпоративном обществе было невозможно. Вступая в группу, европеец признавал приоритет её прав над собственными, её моральных установок, социально-политических целей и прочего. Взамен группа защищала его, давала ему занятие, статус, но он растворялся в ней как личность, терял все естественные свободы, включая свободу действий, мысли, взглядов. «Социальный корпоративизм Средневековья был вместе с тем и духовным конформизмом... Индивид, следовательно, не существовал сам для себя. Важна [была] не личность его, а служба, которую он несёт» (*Гуревич*, 1984. С. 201, 176). Это был «гуманизм» коллективов. Да и то лишь христианских: о гуманном отношении к иноверцам и речи не было.

Гуманизм ислама в отличие от европейского был универсальным, его постулат о единстве человечества приводился выше. Второе отличие: он переносил внимание своих адептов с религиозно-духовного, мистического мира на осмысление места и роли человека в мире земном; обращаясь и к чувству и к разуму, он сделал первостепенной познавательную деятельность индивидуума. Здесь вообще складывалось отношение к личности как к самодовлеющей ценности, а не как к религиозному объекту или безликой частице «соборного» общества. Культивировалось уважение к человеку, его особой роли на земле как участника Завета (то есть Договора), как наместника Бога (Сура 2:30). И, конечно, к его свободе и безопасности (*Жданов*, 1991. С. 104).

Пристальное внимание к человеку, к его миру, отразилось в известном речении Пророка: «Мы вернулись с малого Джихада, чтобы приступить к Джихаду великому», где война — лишь «малый Джихад», а великий — борьба с самим собой на пути духовного совершенствования (Ислам, 1991. С. 67). О содержательно ином, чем европейский, гуманизме говорит и высокая степень автономности индивида. Ислам — единственная из великих религий, не предлагавшая каких-то посредников между Человеком и Богом. В этой конфессии не предусмотрено ни церковных

иерархов, ни самой церкви, ни каких-либо институтов, способных диктовать свои решения мировой умме. Людям и только людям предоставлялось право самостоятельно решать сколь угодно сложные проблемы бытия, морали, толкования священных текстов, эстетического выбора — короче, всё то, что за европейца делала его церковь. Особенно заметным это различие было в культурной сфере.

Известно, что на рубеже тысячелетий почти во всей Европе преобладал неурбанистический по географическому признаку тип культуры, чьими центрами были не города, а монастыри или феодальные замки. На Востоке же такими очагами издавна являлись города. Между ними постоянно поддерживались оживленные связи, горожане знали *мир*. Возможно в этом — корни постулата о единстве человеческого рода. Эта важная часть идеологической основы Возрождения возникла задолго до его начала и, что важно, на Востоке, а не в Италии. Ещё одна «городская» составляющая исламского гуманизма — идеал нравственной и интеллектуальной культуры, ещё недалеко ушедший от аналогичной *paideia* Античности.

Продукт многовековых традиций универсального образования, этот идеал получил свое конкретное выражение в модели городского, утонченного, куртуазного и интеллектуального общества. *Зарф* (изысканность) стал синонимом культуры бытия энциклопедически образованных горожан Востока. Поднявшийся на вполне «ренессансный» уровень, этот тип гуманизма развился столь естественно и рано в Крыму оттого, что именно здесь (и на Сицилии) сложились самые открытые и толерантные общества эпохи.

Развитие гуманизма в Крыму получало не только духовную, но и вполне ощутимую психологическую и даже материальную поддержку. Причём, очевидно, ханы оказывали её исходя и из государственных, и из династических интересов. Здесь, как и в некоторых иных исламских обществах, буквальный «культ благородства, учёности, высокой морали, служения и ответственности — перед окружающими, перед обществом в целом и перед высшим законом — был существенным фактором устойчивой, слаженной и высоко дифференцированной общественной системы на протяжении многих веков... Именно эти ценности составляли основу всей социальной и политической идеологии или философии, а равным образом и политической культуры» (*Ерасов*, 2000. С. 8).

Другими словами, в отличие от Запада и ряда восточных стран, где при определении первых, самых замечательных лиц государства большое значение имели экономическое преуспеяние или унаследованные титулы, в Крыму выдвигалась (почти исключительно благодаря личным заслугам или таланту) аристократия духа, воинской доблести или учёности (там же).

Таким образом, исламский гуманизм Крыма и Сицилии становился духовным ядром не только культуры, но и системы бытовых отношений и даже религии, идеологической парадигмой, обусловливавшей нравственную социализацию каждой личности. Он сообщал стабильность эстетическим и этическим принципам, свойственным местным культурам и искусству, что отразилось во всех жанрах последнего. Коснемся некоторых из них.

В крымской музыке до нас дошли домусульманские и даже дохристианские мелодии народных песен — жанра, как известно, весьма консервативного. Они, конечно, полностью утратили свои первоначальные архаичные тексты, на месте которых появились более поздние. Древнейшие из этих мотивов восходят

к древнегреческим звукорядам и мелодиям, в самой Греции далеко не всегда сохранившимся. Притом ладовая организация крымских напевов представлена фактически во всех её старинных разновидностях: эолийской, фригийской, дорийской; типичны лады ионийский, лидийский, миксолидийский (*Османова*, 1990. С. 13–14). Это как раз тот случай, о котором упомянул полтора века тому назад великий германский историк Дройзен: в роли научного аргумента музыкальные произведения достовернее и доказательнее исторических хроник (*Droysen*, 1958. S. 24, 96).

Оставили в этой области искусства свой след и более поздние культуры. От генуэзцев татары заимствовали канцонетты (напр., *Кыналы пармак ез тырнак*); арабские мелодии слышны в песнях Карасубазара; Великий шелковый путь напоминает о себе несколькими мотивами в китайской гамме. Своеобразно сочетание германских текстов со средиземноморскими мелодиями в крымско-готских кантиленах (*Grønvik*, 1983. Passim.). И, конечно, корни ряда крымских напевов тянутся из тюркских регионов Средней и Малой Азии. Утверждают, что даже популярнейшая ныне *хайтарма* — это совершенно балканская мелодия, как и *хоран*, этимология которого восходит к балканским *коло* или *хоро* (*Мемиш*, 2005. С. АЛ 11 об.).

Особой темой является бесспорная мелодийная и, ещё более, жанровая схожесть древнего музыкального наследия коренных народов Крыма и Сицилии. Это, конечно, предварительный и крайне общий вывод, так как фундаментальных трудов по истории средневековой музыки не создано ни в том, ни в другом из названных островных культурных сообществ. Но в имеющейся литературе выделен ряд существенных аналогий в истоках, генезисе и мелодийном составе обоих сложившихся фондов народной музыки.

Схожесть природно-климатических условий Сицилии и Крыма не могла не стать истоком более или менее общих черт и у ряда обществ, начиная с первобытного, сменявших друг друга в этих областях. Если же учесть влияние на крымчан и сицилийцев античной натурфилософии и исламской эстетики, то не покажется неожиданной и их схожесть как двух экологических культур. Однако развитие последних шло не столь прямолинейным путем.

В обеих областях столкнулось несколько типов экологического мировоззрения, конкретно выражавшихся в несхожих моделях природопользования и вообще отношения к природе, умозрительного толкования её феноменов. Вполне гармоничным было это отношение у аборигенов доантичного периода, заселявших горы и предгорья Сицилии и Крыма, детей местной природы. Здесь ландшафтные и этнические биоритмы совпадали[1]. Позже древние греки, римляне, византийцы

[1] Сейчас трудно сказать, кто первым начал проводить параллели между природными комплексами и культурами этих двух значительно удалённых друг от друга клочков суши, терявшихся в огромном пространстве солёной воды Средиземноморского бассейна, включавшего и Чёрное море. Чисто формально такое сближение Крыма и Сицилии можно обнаружить и в работах 1880-х гг. Известный популяризатор науки М. Сосногорова не находит иного ландшафта планеты, столь близко схожего с крымским, как *сицилийский*, — и в этом она права (*Сосногорова*, 1880. С. 203). Однако, если подходить к проблеме неформально, то придётся признать, что первым по-настоящему глубоким и доказательным сопоставлением этих двух культурных регионов история мировой культуры обязана Максимилиану Волошину. В его теоретических трудах множество раз встречаются параллели

и латиняне, иммигрировав в Крым, очевидно, не испытывали здесь трудностей адаптации, принадлежа практически к тому же, то есть средиземноморскому природно-географическому комплексу, обладая близкой экологической культурой. Но затем в этот полифонический, но стройный хор локальных культур Сицилии и Крыма влился новый звучный тон — исламский. Следовало бы ожидать диссонанса, но его не было отмечено, причем по причине, далекой от чистой культурологии.

Объяснение столь сложного феномена сокращает метод этнологического анализа. Дело в том, что среди населения обеих областей если и имела место *ксения* (термин Л. Гумилёва, обозначающий вариант сосуществования, при котором иммигранты живут, не смешиваясь с аборигенами), то недолгое время, сменившись *интеграцией*. К моменту последних мощных этнокультурных вторжений как Крым, так и Сицилия были плотно заселены. Но нашлась ниша и для иммигрантов: сложившемуся этноландшафтному и политически-экономическому равновесию, его стабильности и независимости от внешних толчков не хватало надежной защиты. Вот её-то и создали пришельцы, отличавшиеся от аборигенов воинственностью, но явившиеся не как разрушители или колонизаторы, а как переселенцы, решившие связать свою судьбу с будущим новой родины, с её населением.

Возникает вопрос, почему же местное население в виду активной иммиграции практически никак ей не препятствовало? Ведь крымчане-аборигены не могли не ощущать опасность размывания, изменения традиционной культуры благодаря указанным выше этническим переменам. Для ответа на этот вопрос имеет смысл вспомнить определение вмещающего ландшафта (т. е. комплекса, состоящего из геосистемной и биосистемной структур), данное довоенным географом Л.С. Бергом. Он считал, что такой ландшафт представляет собой «область, в которой характер рельефа, климата, растительности, животного мира, населения и, наконец, культура человека сливаются в гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной зоны Земли. В географическом ландшафте все элементы должны воздействовать друг на друга и взаимно обуславливать друг друга» (цит. по: *Антипова*, 1999. С. 15).

При таком подходе к проблеме совершенно закономерен вывод: в рассматриваемый период в Крыму сформировалась, закрепилась и обросла традициями именно такая система «Человек–Природа», которая была охарактеризована упомянутым выше Л.С. Бергом. И эта система оказалась достаточно прочной для того, чтобы не только противостоять размыванию её мощными демографическими волнами (иммиграция), но и растворять в себе, ассимилировать переселенцев. И одновременно заимствовать у них оптимальные для Крыма культурные черты, совершенно не опасаясь собственной ассимиляции, растворения в переселенческих волнах.

Антропогенных изменений вмещающего ландшафта после упомянутых мощных иммигрантских вливаний практически не было отмечено. Возмож-

---

между крымскими и сицилийскими ландшафтными особенностями, уникальными для всего остального мира. Единственное, до чего не поднялся великий киммериец М. Волошин, — это распространение своих провидческих параллелей и на *духовную* жизнь сицилийцев и коренных крымцев, оказавшую огромное влияние на дальнейшее культурное развитие Европы и, шире, всего мира . Такая попытка предпринята в данном очерке.

но, по причине его редкой гармоничности, соразмерности человеку, но также и разнообразия, где каждый мог найти себе природную зону «по вкусу». Шёл противоположный процесс — приспособление иммигрантов к ландшафту путем выработки новых стереотипов поведения, тождественных господствовавшим аборигенным. Так сложился комплекс разноплановых форм, исторически, физиологически и экологически связанный в одно целое общностью условий существования. Кроме того, искажению ландшафта, природной среды в целом, препятствовало господствовавшее исламское бережное отношение к окружающему миру (подр. об этом см.: II очерк тома II).

Этническая неоднородность иммигрантов и аборигенов, мозаичная пестрота их культур стали главным условием для поддержания этнокультурного единства в будущем: черты субкультур, взаимно дополняя друг друга, облегчали процесс этногенеза, как, впрочем, и природа. Ведь известно, что для рождения нового этноса необходимо сочетание минимум двух типов ландшафта — это «стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований» (*Гумилёв*, 1989. С. 181, 186). В Крыму не два, а *шесть* ландшафтных типов (степной, речной, лесной, предгорный, горный и приморский). На Сицилии природная картина, как упоминалось выше, ничуть не беднее. То есть оба замечательных уголка юга Европы с их уникальным природным разнообразием были как бы созданы для никогда не прекращавшегося на них процесса этногенеза[1].

Ему сопутствовал процесс сближения нескольких разнокультурных мировоззрений. В мусульманском мире если и заметно идеологическое давление на культуру масс, то в районе пребывания верховного правителя (халифа, султана); ближе к окраинам оно снижается (*Грюнебаум*, 1981. С. 57). Не оттого ли в сицилийскую и крымскую периферии ислам входил с необычной (для фактически завоёванных земель) мягкостью и естественностью? Но есть тому и дополнительные, более общие, цивилизационные объяснения. Во-первых, это уважение ислама всё к тем же «людям Писания» — христианам, а, во-вторых, то, что мусульмане и Сицилии, и Крыма некогда оградили христиан от гонений со стороны нетерпимой до фанатизма Византии (*Журавский*, 1990. С. 82). Да и идеологическая инакость ислама, в других регионах остро конфликтогенная, сглаживалась здесь схожестью мировоззренческих (в частности, фундаментальных экологических и этических) установок.

Среди приверженцев ислама Ближнего Востока и Магриба, как и между номадами и горожанами Средней Азии, имел место буквальный культ воды и зелени. Не успели утратить схожее «античное» отношение к природе и византийцы с латинянами, оно ведь очень устойчиво. А вот концепция человека как самозваного «*царя* природы», провозглашенная Библией (Псал. 8:6–9), развитая позднейшим христианством и внедрившаяся в сознание европейцев[2], ни в Крыму, ни на Сицилии

---

[1] Любопытно замечание американского этнографа и географа У.Э. Кёртиса относительно того, что крымские татары весьма схожи с сицилийцами как внешне (телосложением и даже одеждой), так и некоторыми чертами характера («сдержанная пылкость»), и обычаями («их самый святой долг — гостеприимство»). Хотя есть и отличия: «татары воздерживаются от вина, они более трудолюбивы и скромны», чем сицилийцы (*Curtis*, 1911. P. 270).

[2] Крайние черты этого отрицания живой, но не принадлежащей человеку природы нашло в православии. Уже говорилось о том, что для великороссов лес был прибежищем

Старинное чешме
у села Токлук.
Фото автора

отклика не нашла. Во-первых, этой концепции не отвечали ни природная, ни культурная среда, само богатство и буйная смешанность которых благоприятствовали сохранению древних экзистенциальных ценностей натурфилософии, их нравственного воздействия на человека в его отношениях с природой.

Во-вторых, в том же (то есть противоположном западному) направлении продвигал сознание больших масс сицилийцев и крымчан ислам. По мере его распространения на смену европейскому вещному фетишизму шёл так называемый «фетишизм природных явлений» (*Кантор*, 1997. С. 88). Ширилась «культурно-экологическая традиция, создающая настоящий культ природы, который, впрочем, был далёк от эстетского любования» (*Абаев*, 1988. С. 49).

Действительно, любоваться природой «эстетски» можно было на Дальнем Востоке с его влажными лесами и многочисленными ручьями и реками, где-нибудь в Китае или Японии, но не в регионе рождения ислама, где нужно было непрерывно бороться за выживание в иссушённом, бесплодном мире. Поэтому мусульманский идеал прекрасного — искусственно созданный мир; тенистые улочки городов, каналы и фонтаны, разбитый у дома сад. Поэзия исламской городской культуры воспевает не пейзаж, творцом которого является природа, а цветы в садах, созданных руками человека. Степи Крыма требовали орошения — и получили его, города — чистой воды, и также прославились сотнями и тысячами фонтанов. Только в небольшом Бахчисарае было 119 таких беломраморных чешме с хрустально чистой водой (*Улькюсал*, 1980. С. 183; см. также 1-ый очерк II тома). Какой контраст с городами остальной Европы той эпохи, равнодушными к тому,

---

злых сил, река и озеро — тоже. Вспомним, кроме того, что вдоль деревенских улиц мужики никогда не сажали деревьев (это бы значило впустить врага в свой дом). По той же причине селяне России не устраивали в населённых пунктах прудов. Крупным современным писателем метко замечено: «Специфическую ненависть русский человек испытывает к воде: где заметит лужицу или болото — сразу ревностно её осушает, превращая влажную местность в пустыню, моря — в долины, реки — в канавки» (*Т.Н. Толстая*. Главный труп.)

что по их улицам текут потоки зловонных нечистот, а вода абсолютно непригодна для питья без кипячения!

Здесь же всё было устремлено к доступному комфорту, утонченности, «красивой жизни» (термин мусульманской эстетики). Урбанистическая субкультура ведет здесь непрерывный спор с традициями кочевников. Их потомки возвели прекрасные усадьбы, разбили среди городских кварталов сады, а фонтаны вынесли и на улицы. В такой вот новой обстановке (а также в отдельных районах Крыма и Сицилии, где природа щедра изначально) у обоих народов появилась некая тяга, перешедшая в привычку, а затем в традиции и воззрения, исламу ранее не свойственные. Здесь стали характерны не крупные, подчеркнуто роскошные строения, а скромные, обращенные лицом к зелени павильоны и зальцы. Стали цениться уединение, полумрак небольших помещений, негромкий плеск тонких струек «камерных» фонтанов; их помещали уже не только в жилых покоях, но и в мечетях.

Воспитался вкус, прямо противоположный и общеевропейскому (вспомним бурные фонтанные каскады Версаля и Рима), и *общемусульманскому*. Изящные виллы Палермо, стильный Бахчисарайский дворец как небо от земли отличаются от грандиозных, давящих своей роскошью мавританских палаццо Кордовы или Багдада. Француз Дюбуа, человек со вкусом, посетивший в ту эпоху Крым, записал: «Мы видели фонтаны и дворцы в Багдаде и Дамаске, но не встречали ничего, подобного тому, что есть в Бахчисарае и что представляло бы собой такую же ценность» (цит. по: *Улькюсал*, 1980. С. 183–184). Другой автор сравнивал скромные фонтаны Сицилии с эффектными кордовскими — и также в пользу первых (*Rau Th.* Die Wasserkünste. Leoni, 1831. S. 115).

Кроме рассмотренной смысловой части исламского гуманизма, открывающей человека и мир человека, была и вторая — открытие природы и человека в природе. Для того, чтобы понять её значение, нужно отстраниться от современного отношения к природе, гораздо более заботливого в XX в., чем в Средневековье. Культура тогдашней Европы слепо следовала иудео-христианской доктрине конфронтации человека с окружающей средой. Там не было *никого*, кто мог бы искренне сказать: «Моя душа — то же, что душа трав, деревьев, птиц, животных» (*Конрад*, 1972. С. 221). Это отнюдь не кредо политеиста, но озарение восточного человека, осознавшего свою причастность к миру, к природе, вредить которой — всё равно что вредить своим близким, самому себе.

Поэтому по отношению к биосфере Крыма и Сицилии, испытывавших минимальное антропогенное давление, к их культуре применим современный термин «экологическая красота». Её суть — в осознании рациональности и эстетичности ненарушенной природной системы, её высшей ценности как зеркала, отражающего духовную сущность человека. Лишь недавно учёные так называемой «франкфуртской школы» подошли к истине, найденной ещё классическим исламом: за контроль над природой человек платит тотальным контролем над обществом, надзором, который коллектив осуществляет над личностью. То есть покоряя природу, люди разделяют её судьбу, попадая в зависимость от слепой социальной стихии. И если в идеале возможна целостная этноэкологическая цепь из общественных, экономических и природных процессов, то обе местные культуры подошли к нему ближе всех европейских уже потому, что им «повезло»,

поскольку в их случае имело место совпадение «экологических традиций народной культуры в целом с высокой религиозной философской традицией» (*Абаев*, 1988. С. 50). Как это произошло?

Идеи экологической взаимозависимости содержал уже основной коллективный труд «Чистых братьев», ставший в XIII в. настольной книгой не только в Крыму, но во всем мусульманском мире. Эта энциклопедия (которой, увы, была лишена Европа) сыграла важную роль, первой проведя в жизнь на огромной исламской территории «эстетические и этические нормы отношения человека к природе» (*Маньковская*, 1991. С. 47). Энергичная же мусульмано-христианская интеграция (она обгоняла этническую метисацию) привела в Крыму к ситуации, когда такие принципы стали соблюдаться *всем* населением без различия религий.

Это единомыслие людей разных вер и племён было поразительным. Оно охватывало и другие стороны жизни крымчан, в том числе экономическую. Крымское земельное право основывалось на византийском Земледельческом законе. Показательно другое: традиции крымской соседской открытой общины сохранились и в XIX в. (*Лашков*, 1895. С. 87–96), тогда как в самой Византии средневековая община исчезла ещё до образования Крымского ханства.

Причина живучести этого средневекового права, возможно, в его соответствии корпоративным принципам шариата, эгалитарности исламского права по отношению ко всем членам общества. Ведь именно этим факторам была отчасти обязана своей стабильностью и городская, ремесленно-цеховая корпоративная структура. Но, в отличие от остальной Европы, да и других мусульманских стран, вольные цехи Крыма совершенно не страдали от слабой правовой защищенности, внеэкономического принуждения. Их привилегии и свободы устояли, хотя городские власти XIX в. пытались их редуцировать.

Это объясняется тремя причинами. Первая (ментальная) — отношение к труду. В тогдашней Европе оценка труда как *наказания* Господня являлась частью христианской этики (Христос, в отличие от Мухаммада, никогда не работал). Более того, само «безгрешное состояние человека не предполагает труда» (*Гуревич*, 1984. С. 269), зато уважением и поклонением пользовались монахи нищенствующих орденов (католический Запад) или увешанные веригами юродивые на папертях православных храмов. В исламе же Бог «разрешил зарабатывать, заниматься ремеслом и торговлей... и объявил запретными попрошайничество и нищенство» (цит. по: Хрестоматия,1994. С. 97).

Вторая причина — правовая. В Крыму корпорации не знали вассальных отношений, так как целью и содержанием добровольных этих союзов было не получение «крыши» или блаженства иерархического соподчинения: в них «чрезвычайно большое внимание уделялось проблеме социальной справедливости» (*Малашенко*, 1994. С. 41). Необходимое для этого ограничение самовластия правителей достигалось при помощи ряда институтов, среди которых важнейшей была *аш-шура* (консультативный Совет старейшин), решения которого практически не обсуждались (*Полонская*, 1994. С. 7).

Третья причина — давние местные традиции личной свободы, связанные с островной психологией. История знает немало и свободных, и временно несвободных народов, обитавших в лесах, степях или горах. Но не бывает несвободных *морских* цивилизаций (здесь нет места для объяснения этого феномена).

А ведь именно такой (ярко выраженной в древности и несколько приглушенно в Средние века) была культура Крыма.

И ещё о традициях. Сравнительно недавно при раскопках поздних (XIX в.) ремесленных кварталов Капсихора, Бодрака и Фоти-Салы были обнаружены огромные позднеримские гончарные печи. Это означает, что производство керамики здесь, на том же самом месте, не прекращалось веками. Слава кожевенников и оружейников Бахчисарая и Карасубазара, виноделов Судака, рыбаков Балаклавы и Керчи также не угасала с Античности до наших дней.

Такие давние и богатые социальные и экономические традиции высоко держали общественный статус крымских ремесленников. Их свобода и корпоративное равенство перед общецеховым имущественно-производственным «интересом» (т. е. горизонтальная структура связей) теснили вертикальную систему экономической и иной зависимости (*Бахрушин*, 1937; *Сыроечковский*, 1940. С. 17). Это предвещало наступление новых социально-экономических отношений. И как некогда Крым первым в Европе покончил с рабством, так теперь он вкупе с Сицилией обогнал в развитии своих более мощных соседей.

Естественно сомнение, а не делали ли столь сильные корпоративные традиции невозможным индивидуальное творчество? Ведь в европейской общинной и ремесленной среде любая художественная находка или просто техническое или аграрное усовершенствование считалось тяжким грехом. К счастью, здесь такого не случалось. И это тоже благодаря исламу, который придавал яркий оттенок индивидуализма как общественной, так и производственной сферам, что позволяет говорить о «протокапитализме» мусульманских предпринимателей и купцов ещё VII в. (*Малашенко*, 1994. С. 41). Произошедшее в Крыму несколько позже разделение труда (требующее свободы инициативы, постоянного поиска, личной заинтересованности в результатах труда) лишь закрепило эту социально-экономическую особенность средневекового быта региона.

Не все, конечно, традиционные ценности уцелели в условиях урбанизации[1]. Менялся строй образов, эстетика форм раннего Средневековья. Бесспорная тяга к иному типу культуры не была обеспечена временем, достаточным для возникновения нового, инонаправленного творчества, созревания собственного стиля. Мастерские ремесленников и художников работали, едва справляясь с потоком заказов, — и смешение стилей (эклектизм) стало неизбежным.

Впрочем, это был не бесплодный эклектизм варваров, копивших без разбору любые сокровища. Для этого слишком мощным был в Крыму пласт собственной культуры, поток, который не прерываясь в Средние века, изливался из великого прошлого. Так, крымские мастера впитывали наследие своих далёких предшественников по образцам из кладов, найденных, скажем, у Ай-Василя. Одновременно они не закрывали глаза на художественные особенности

[1] Урбанизация (от *лат.* urbanus — городской) — процесс повышения роли города в национальной экономике и, в целом, в развитии общества. Этот процесс был в Крыму всесторонним. Он охватывал образ жизни крымчан, их расселение, культуру, социальные и профессиональные структуры. Для урбанизации характерен отток жителей деревень и сёл в растущие города, где их привлекали растущие возможности в области культурного развития и повышения благосостояния. В Крыму урбанизация сказалась на судьбе жителей прежде всего прибрежных и пригородных селений.

образцов западноевропейского или дальневосточного искусства, нередко попадавших им в руки.

Вот поэтому нас и не должен удивлять вывод современного учёного об уникальной роли крымского искусства в европейской цивилизации: «Здесь, на периферии золотоордынского мира, с 60-х гг. XIII в. и до падения Каффы в 1475 г. римско-греческий Запад активно сотрудничал... с исламизированным тюрко-монгольским Востоком» (*Крамаровский*, 2000. С. 188–189). А что касается собственных, актуальных для XIII и более поздних веков эстетических принципов, то они выразились уже в свободном выборе новых стилей, внутрижанровой тематики, наконец, в образном строе. И вот результат: крымское искусство, как и сицилийское, не обладая ещё достаточным совершенством, сумело довольно рано выйти из тени, отбрасываемой великими культурами иммигрантов, а потом окрепло настолько, что стало оказывать на них обратное влияние. Таким образом, локальные культурные традиции составили ядро нового, оригинального искусства европейского Юга. Завершился процесс перерастания синкретизма духовных и материальных черт изначально далёких культур в их синтез.

Развитому ремеслу Крыма не хватало собственного сырья, и оно импортировалось с Востока, Запада и Севера. В обратном направлении шли готовые товары. Сохранялась традиционная роль Тавриды не только как производящего, экономического или культурного, творческого центра огромного, перешагнувшего рамки Причерноморья потребляющего региона. Параллельно продолжалась и её несущая культуру (культуртрегерская) деятельность, которой со времен глубокой древности была столь многим обязана Европа и её цивилизация.

Особенностью культур, складывающихся в таких условиях, неизменно становится их сложность, многосоставность. Поэтому вышеприведённое замечание о культурном синтезе нуждается в уточнении. Культура Крыма (как и Сицилии) стала со временем общей для населения полуострова, но отнюдь не единообразной. Отчего — понятно. Ислам не склонен к унификации вошедших в его пространство культур. Он лишь объединяет их в единую систему ценностей, оставляя нетронутыми этнонациональные традиции и обычаи местных жителей.

Поэтому, говоря на языке современной этнологии, культурное поле обоих регионов представляло собой не всесмесительный *melting pot* (плавильный котел), но *salad-bowl* (салатницу) с *одним* блюдом, хотя и состоящим из достаточно легко отличимых друг от друга, *несхожих* компонентов. Несколько таких субкультур развилось в различных городах; гораздо больше было их локальных разновидностей, как и слабо смешивавшихся диалектов. Культурное разделение поддерживалось и несхожим в различных местностях наследием предков.

В горах Крыма высились древние «длинные стены» циклопической кладки, а скифские фортификационные идеи были воплощены в Неаполе Скифском. Ещё сохранились стены древнегреческих храмов Херсонеса, возможно — Партенита. Упоминавшиеся римские *viae militares* (военные дороги), отдельные эллинские храмы и гражданские постройки, византийские сельские усадьбы и городские дома, древние храмы-базилики и бетонные цистерны для вина, старинные

крепостные стены и каменные причалы всё ещё использовались по назначению. Причём многие десятилетия, даже столетия.

Средневековые культуры, какое-то время доминировавшие в Крыму (византийская, готская, ранняя мусульманская), обладали, при всём их различии, одной общей чертой. Они были преобладающе городскими, уже урбанистическими. С их приходом на эту периферию древнего мира угасшие было прежние, более древние города приобрели новое значение. Попытаемся рассмотреть образующие (или составные) части их культуры.

Германо-скандинавский стиль стал заметен в крымских архитектуре, строительной технике и мелкой пластике начиная с эпохи готского нашествия (*Щеглов*, 1976. С. 135). Затем Мангуп был неоднократно перестроен. Готские замки и крепости Южного берега также до нас не дошли. Но татары Качинской и Бельбекской долин сохраняли до последнего времени готские типы брусовых жилых построек. Остались подобные примеры для подражания и в более монументальных архитектурных жанрах в виде пропорций больших и совсем малых зданий, фортификационных схем, строительных приёмов в целом (*Куфтин*, 1925. С. 33; *Бернштам*, 1935. Passim.).

Византийская цивилизация была представлена в Крыму почти всеми видами материального искусства. Сохранились как монументальные памятники церковной, гражданской и крепостной архитектуры, так и прекрасные образцы прикладного искусства (Искусство Византии. Т. I. С. 19, 20. Т. II. С. 126–131 и мн. др.). Не менее значителен, но более зрим такой её след, как частные жилые комплексы типа «дом-двор», сохранившие удивительную жизнеспособность: они до сих пор украшают старые кварталы крымских городов и горные сёла.

Заметное влияние оказала Византия и на крымское мусульманское зодчество. Примеров много: от соборов Кефе до мечетей и дюрбе Эски-Юрта и Бахчисарая. Вообще же сложность вычленения чисто византийского наследия состоит в том, что многие его явления на самом деле — исконно крымские. Они просто вернулись на полуостров «бумерангом», будучи заимствованы греками здесь ещё в античную эпоху (*Ростовцев*, 1918. С. 93). Да и в более ранние времена греки могли в Крыму многому научиться. Французский культуролог и историк утверждает: «Уже в классическую эпоху Боспор был как бы прообразом эллинистических государств» (*Левек*, 1989. С. 162).

Проще выделить комплексные отличия крымских городов от византийских и иных. В ханский период города стали возникать не только в результате развития ремёсел и торговли, как в других европейских регионах, но и искусственно, в качестве административных центров (*Koromila*, 1991. P. 157). Практически одновременно города эти полнялись ремесленно-торговым и кочевым населением, причём второе немедленно попадало под культурное влияние первого. Этот же процесс шел в старых городах.

Причиной тому было если не всегда повышение уровня жизни степняков, то наверняка — её новый образ, некогда известный лишь тонкой прослойке ханского окружения. Бывшие кочевники узрели в Крыму культуру средиземноморского типа; посещая старые византийские и новые латинские кварталы, селясь в них, они в свою очередь, сообщали им полувосточную яркость. В массах бывших кочевников, для которых недавно и поливная керамика была

малодоступна[1], стали распространяться чеканный металл, тонкое стекло, удобные инструменты, изящное оружие. И, едва ли не самое главное: после многовекового информационного голода — состояния, к которому невозможно привыкнуть, степняки окунулись в насыщенную жизнь города. Они очутились в водовороте всевозможных сведений и новостей, они попали на настоящий информационный пир. Возврата к прежней жизни для них не стало уже по этой причине, а ведь были ещё и экономический и эстетический факторы.

Началась цепная реакция. Чем глубже втягивались кочевники в новую жизнь, чем пристальнее вглядывались они в мозаичные узоры и прекрасные пропорции строений, возведённых по высоким средиземноморским канонам, чем привычнее становились для них журчание фонтанов и шелест листвы, тем вроде бы прочнее забывалась жизнь в степи. То есть бытие в шатрах, с его почти единственным удовольствием и смыслом — однообразной едой. Но и в Крыму кочевое прошлое не исчезло, как можно было бы ожидать! Оно осталось в подсознании не только оседлых степняков, но и горожан Крыма. Ведь большинство городов оставалось открытым окружавшей их степи. Они по-прежнему были связаны со степными просторами тысячей экономических и иных нитей.

Кочевое же прошлое, бесспорно, более гармонично сочеталось с *природой*, чем с искусственной культурой. Что и обусловило его вклад в урбанистическую культуру Крыма. Крымские горожане оставались величайшими романтиками истории с их вечно живым, неистребимым ощущением ностальгии по духу кочевничества. Даже в XIX в. эта генетическая память пробуждала в потомственных жителях Бахчисарая и Акмесджита непреодолимую тоску по запахам чабреца и полыни, по зрелищу седого ковыльного моря. И мужчины седлали коней и направляли их бег в бескрайние просторы Северо-Запада полуострова, для того чтобы пожить там, среди голой степи, хоть несколько недель... Впрочем, германский автор, описавший эти ностальгические порывы горожан, ещё недавно кочевавших по степным просторам, резонно замечает, что «такое свойство человеческого сердца присуще не только детям природы» (*Grimm*, 1855. S. 31).

Но бросим, наконец, взгляд на картину типичного крымского города, представшую внутреннему взору художника и поэта — она не уступает написанной профессионалом-историком: «Греческая и готская кровь совершенно преображают татарство и проникают в него до самой глубины мозговых извилин. Татары дают как бы синтез всей разнообразно пёстрой истории страны. Под просторным и терпимым покровом Ислама расцветает собственная подлинная культура Кры-

[1] Речь идёт не об ордынцах, а о местных, причерноморских кочевниках. В эпоху после перехода Крыма под власть Золотой Орды началось массовое заселение полуострова причерноморскими степняками, втянутыми в Крым, как в воронку, куда есть вход, но затруднителен выход. Что же касается ордынцев, то их культура, и без того уникально богатая, вполне их удовлетворяла. Другое дело, что она мощно вторгалась в крымскую. Для этого не нужно было никаких переселений, жадным до новшеств крымцам был достаточен близкий контакт с Ордой, чья столица, Сарай, по благоустройству и величине не имел равных не то что в Восточной, но и в тогдашней Западной Европе (он превосходил Париж почти вдвое, а Рим — втрое). Это был практически современный город. В богатых домах имелись ванны, было великолепно развито садово-парковое хозяйство, на площадях повсюду били прозрачные фонтаны (*Фахрутдинов*, 2001. С. 7).

ма. Вся страна от Меотийских болот до южного побережья превращается в сплошной сад: степи цветут фруктовыми деревьями, горы — виноградниками, гавани — фелюками, города журчат фонтанами и бьют в небо белыми минаретами.

В тенистых улицах с каменными и деревянными аркадами, в архитектуре и в украшениях домов, в рисунках тканей и вышивках полотенец догорает вечерняя позолота византийских мозаик и облетают осенние вязи италийского орнамента... Никогда — ни раньше, ни позже — эта земля, эти холмы и горы, эти заливы и плоскогорья не переживали такого вольного растительного цветения, такого мирного и глубокого счастья» (*Волошин*, 1990. С. 215).

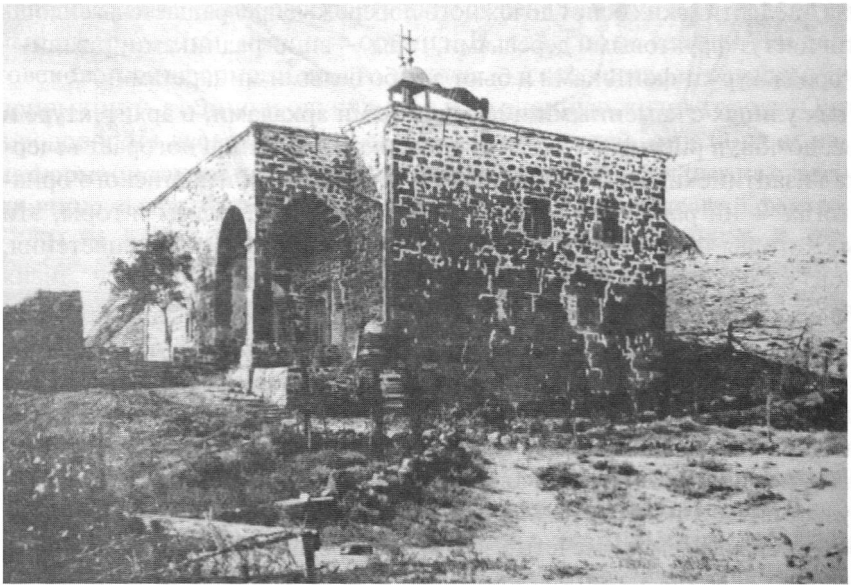
В XII–XIV вв. в строительстве Крыма произошли перемны: в сёлах здесь возобладал восточнотюркский стиль, а в городах — скорее сельджукский. Причём они разнообразились и византийскими формами отдельных архитектурных элементов, декоративной отделки, расчётов конструкций. Но строились и чисто восточные, квадратные в плане храмы. Они нередко смыкались с медресе или текие, чьи замкнутые внутренние залы-дворы окаймлялись обширными нишами-*айванами* (аудиториями) и кельями для учащихся или дервишей. Пример таких комплексов — так называемая «мечеть Узбека» в Старом Крыму[1] и гораздо более позднее текие в Гёзлёве (на Катык-базаре).

Если на Ближнем Востоке прослеживаются стереотипные стиль и конкретные архитектурные решения, то в Крыму этого не было никогда. Российский искусствовед отмечает, что «...менее всего принимал он (Крым. — *В.В.*) готовую формулу Стамбула» (*Гинзбург*, 1992. С. 210). Крымские мечети могут быть прямоугольными в плане, базиликальными с одним или тремя нефами, шатровыми, как в Армении или раннесредневековой Италии, с торжественными античными куполами, покоиться на западноевропейских крестовых сводах и так далее, что неудивительно для этого уникального смешения красок, стилей и традиций. В Восточном Крыму высились типично европейские крепости, но их владельцы-христиане, бывало, помещали на монетах мусульманский орнамент. Собственно, это было уже традицией: в XV в. ханы чеканили монету, на которой с одной стороны был генуэзский герб с католическим крестом, а на другой — чингизидский *тарак* (гребешок) — родовая тамга Гиреев.

Более современный историк искусства замечает по этому поводу: «Такое сочетание было... выражением целого мировоззрения человеческого единения, независимого от различия вероисповеданий. Ни в Европе, ни в Азии той поры не найти другого места, другой страны, где столь последовательное гуманистическое мировоззрение получило бы такое последовательное развитие, как в Крымском ханстве» (*Червонная*, 1994. С. 125). С этим мнением трудно не согласиться.

И даже редкий обычай погребений в помещении храма был здесь общим для обеих религий. Правда, «меняли конфессию» сами храмы, причём не раз и не два. Так, мечеть Айя-Баязид, заложенная мусульманской общиной на возвышенности близ Судака в третьей четверти XIV в., после взятия города в 1365 г. генуэзцами, была превращена в католический храм и позднее оказалась окружённой стенами

[1] Впрочем, эта мечеть, как и вторая, именуемая искусствоведами «храм с аркадой», окружённая стенами Судакской крепости, относятся к последним и, кажется, единственным образцам золотоордынского стиля в крымской архитектуре (*Джанов*, 2005. С. 654).

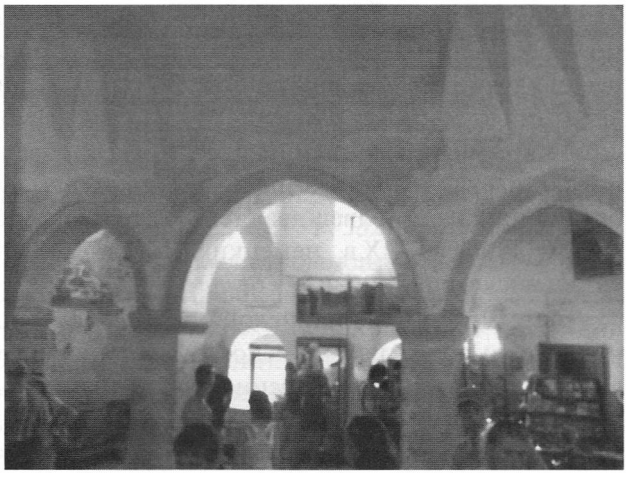


Мечеть Судакской крепости в период её использования в качестве католического собора. *Фото 1910-х гг.*

знаменитой Судакской крепости. В 1475 г. храм снова стал мечетью, в 1778 г. был превращен в христианскую церковь — уже православную, а в 1816 г. — в лютеранскую кирху для обслуживанья местных немцев-колонистов; после этого здание долгое время служило загоном для скота. В 1882–1883 гг. его отреставрировали, и оно служило храмом для армяно-католической общины до 1926 г., когда было превращено в историко-архитектурный музей. Потом последовали годы забвения, медленного распада старинного здания[1], и лишь сравнительно недавно в бывшей мечети разместился музей заповедника «Судакская крепость» (*Джанов*, 2005. С. 655–656).

Стилевое смешение стало неизбежным ещё и потому, что местные и приезжие мастера работали бок о бок, творчески взаимообогащаясь. Но этот процесс не был слепым заимствованием, вот что важно понять. Крымское изобразительное искусство отличается от того же сельджукского столь безупречной чистотой палитры, тонкостью и нежностью линий рисунка, что по сравнению с ним турецкое кажется грубоватым. Иногда указывают на схожесть в этом смысле крымского и мавританского искусства, которое тоже оставило в Крыму свой след (дюрбе Диляры-Бикеч, павильон Селим-Гирея). Однако давно уже отмечено принципиальное отличие и здесь. Прочтём и запомним строки, гениально определившие суть крымскотатарского изобразительного искусства, да и всей материальной культуры старого Крыма: «Арабо-мавританская линия упруга, стройна, полна твёрдой определенности, татарская же — мягка, текуча, дроб-

[1] Иногда это разрушение шло и ускоренными темпами. Во время Второй мировой войны в мечети (и на остальной территории крепости стояла румынская часть, после чего «от музейных вещей, имущества и библиотеки осталась куча мусора...» (*Скржинская*, 2006. С. 320).



Интерьер судакской мечети-музея. *Фото автора*

на и неуверенно-нежна. Общее очертание её многочленно, характер каждого отрезка меняется с бесконечным разнообразием в рисунке, но с тем особенно-характерным татарским разнообразием, в котором нет пестроты и которое всегда управляется законами ритма» (*Гинзбург*, 1992. С. 212).

Поскольку предмет этого очерка заключается в поисках крымско-сицилийских культурных параллелей, то, очевидно, имеет смысл привести факты продуктивного духовного сотрудничества этих культурных территорий или хотя бы их взаимного интереса, творческой переклички и т. д. Первым в таком контексте заслуживает упоминания, скорее всего, арабский географ аль-Идриси (середина XII в.). Он работал на Сицилии, при дворе норманнского короля Рожера II, пользуясь богатейшими библиотеками этого цивилизованного уголка варварского мира. Созданное им в тот период описание городов и берегов Причерноморья, в том числе и Крыма, ещё несколько столетий после его смерти оставалось непревзойдённым. У него нетрудно отыскать упоминания о схожих крымско-сицилийских культурных чертах, которые будут упомянуты ниже.

Одна из них обнаруживается в архитектурном искусстве. Мусульманские архитекторы создали в Крыму и на Сицилии новые, оригинальные типы зданий. Окаменевшая геометрия кубов и квадратов составила невиданные в остальной Европе архитектурные тела. Своеобразие и неповторимая красота исламского зодчества — в свободной трактовке даже заимствованных форм, богатой технике применения материалов и, главное, в изумительной декоративной отделке. Занесенные на Сицилию из фатимидского Египта «сталактиты» сводов и многие иные детали формировали, конечно, и вкусы архитекторов христианских, а потом мусульманских храмов Крыма, его коттеджей (здание Евпаторийского музея).

Архитектурным направлениям Средневековья естественно отвечал стиль сицилийских интерьеров. Античную мебель, немногочисленную (и поэтому создававшую ощущение простора в помещениях) и изящную, в свое время сменила погрубевшая византийская обстановка, почти не оставлявшая в комнатах участков свободного пола; в XI–XII вв. теснота в интерьерах стала повсеместной. Но затем, под явно восточным влиянием, количество мебели вновь уменьшилось,

а свободное пространство расширилось. Зато у обеспеченных, имевших возможность эстетического выбора владельцев появились ковры, ширмы, экраны, сундуки, диваны, внутренние фонтаны. В жилых и парадных помещениях вновь стало *свободнее дышать*. Эта же стилевая общность заметна в интерьере домов крымчан и сицилийцев. Крымский обычай освобождать пространство пола от части утвари, развешивая её по стенам (мелкие сельскохозяйственные орудия при этом подвешивались к потолочным брусьям жилой комнаты), сохранившийся до XIX в., немецкий исследователь вполне определённо называет «итальянско-сцилийским» (*Brunner*, 1833. S. 190).

В крымской и сицилийской одежде мода меняла, главным образом отдельные детали и отделку, но основные романо-мавританские линии сохранялись веками. Они вполне естественно они пересекались «северными-на-юге» направлениями. Известно, что крымские готы уже в VII в. носили сицилийские пряжки типа «сиракузы» (*Амброз*, 1971. С. 29), а в крымское традиционное искусство влился скандинавский звериный стиль (*Айбабин*, 1990. С. 196). И это свидетельство культурообмена с далёкой, но близкой по духу и культуре Сицилией далеко не единственное. Мы знаем, что между Крымом и заморским островом существовали торговые связи (*Еманов*, 1995. С. 112). А ведь это не просто канал для обмена разнообразными духовными и материальными ценностями. Это и условие, делающее такое взаимообогащение *неизбежным*.

Поэтому нас не должно удивлять, что предметы туалета и элементы декора были в Крыму и на Сицилии схожими. Ведь и одежды шились-то из одной ткани — итальянского производства с арабскими узорами[1]. Носили её все слои населения, включая ханов и королей; разница была лишь в богатстве отделки и качестве шитья (*Муратов*, 1924. С 117; *Левый*, 1899. Passim.). Одинаковыми были и её названия: если сицилийская *кантушу* звучала по крымскотатарски как *хунтуш*, то *команеска* свою лингвистическую форму вообще не изменила[2]. Как, между прочим, и сицилийский сыр *качио-кавалло*, при изготовлении которого добавлялось кобылье молоко, — его крымская разновидность называлась практически так же, *кашкавал* (вспомним крымские стихи И.А. Бунина: «...подает графин с водой / И тарелку кашкавала / Пожилой хозяин, грек...»).

Крайне интересны совпадения и в бытовых обычаях жителей Крыма и Сицилии. Так, молодые горожане Палермо и Карасубазара одинаково страстно увлекались эквилибристикой с чашей вина. Изображение этих упражнений, требовавших немалой ловкости, обнаружены недавно на старокрымской керамике

---

[1] Арабская, вообще исключительно восточная расцветка европейских тканей этого периода не должна удивлять. Историю развития текстильное искусство Европы послеантичного периода можно приблизительно разделить на два основных периода. Первый, длившийся вплоть до поздней готики и Возрождения, отмечен преимущественным влиянием Востока. Второй открывается «с эпохи Ренессанса, с которого только и начинается развитие европейской художественной ткани» (*Денике Б.* Искусство Востока. Казань, 1923. С. 184).

[2] Скорее всего, «понтийская команеска» была заимствована местным населением у генуэзских или венецианских колонистов Кафы. Но она стала столь распространённой в Крыму, что современный автор объясняет (вполне, впрочем, обоснованно), что это «типичный для кыпчаков плащ на меховой подбивке» (*Еманов*, 1995. С. 135).

и, абсолютно аналогичные — на фреске собора в сицилийском Чефалу (*Крамаровский*, 1991. С. 61–69, 127–143; *Thieme, Beck*, 1977. Fig. 55). Показательно, что как на Сицилии, так и в Крыму эти молодые холостяки создавали своеобразные братства. Члены их звались в Крыму обычным именем «друг» (*къардаш*). Но и на Сицилии такие братства носили названия *кардашия* — явное заимствование итальянским языком этого крымскотатарского слова. Впрочем, имелись и другие лингвистические копии такого рода (См.: *Clarke*, 1810. P. 532).

Явно имевший место обмен моделями мебели и одежды, рецептами приготовления продуктов и стереотипами поведения объясняется, возможно, открывшимися в XIII в. постоянными торгово-пассажирскими линиями между портами Крыма и Сицилии (*Pegolotti*, 1936. P. 164). Это, кстати, далеко не первые примеры *прямого* крымско-сицилийского культурного обмена, обнаруженные случайно. Поиски в этом направлении совершенно не ведутся, но случайно обнаруживаются факты, подтверждающие именно такие предположения. Так, например, исследователям открылся крымско-сицилийский контакт, начавшийся ещё в IX в. — это были прямые торговые связи, которые «сыграли известную роль между этими далёкими провинциями византийской империи» (*Соколова*, 1962. С. 24).

Впрочем, возможно, подтверждение такого рода материальных контактов не столь уж и необходимо, ведь речь идёт скорее о метафизической общности. Метафизика же, как известно, оперирует сверхслабыми, далёкими связями.

4. На заре Возрождения

В своей оценке истории и результатов Ренессанса исследователи неизбежно должны были сравнивать их с достижениями предыдущей эпохи. Средневековье получало при этом самые разные характеристики, которые менялись со временем. Так, французские просветители, эстетически восхищенные плодами Возрождения, были склонны к огульному отрицанию ценностей средневековой культуры, считая, что оно означало полную гибель всей великой античной цивилизации, торжество реакции и религиозного мракобесия, тотальное подавление личности коллективистской культурой.

В XIX–XX вв., когда была осознана чрезмерная жёсткость и односторонность такого подхода, в научной печати появились новые оценки, не менее категоричные, но с обратным знаком. Средневековье представало в них как золотой век цивилизации, эпоха расцвета культуры европейского типа, «средневекового гуманизма», эволюционно перешедшего в Возрождение. Короче, маятник качнулся в обратную сторону и снова до крайней точки. Наконец, уже в наше время, он, кажется, остановился, слабо покачиваясь, в точке покоя. Теперь признаётся крупный вклад Средневековья в развитие книжности, богословия, схоластики, алхимии, церковного искусства.

Однако нельзя не отметить и важнейшую идеологическую роль средневековой церкви (как Западной, так и Восточной), однозначно освящавшей феодальный строй и проповедовавшей нетерпимость к инакомыслящим. Даже несмотря на то что учение о прекрасном было, по сути, ориентировано на постижение Бога,

христианское мировоззрение оставалось суеверно-варварским; это его свойство «не было стёрто воздействием античной цивилизации» (*Гуревич*, 1984. С. 36). Отсюда и поразительно устойчивые племенные рудименты вроде страха и ненависти ко всем «ненашим» у европейских христиан, в отличие от жителей иных континентов.

Иногда вражда к последним раскалялась до уровня войны, которую та же церковь объявляла «законнейшей» (*justissimum bellum*). И ещё одна черта Средневековья — единообразие мировоззрения и мировосприятия (менталитета), ограниченность пространственного и временно́го кругозора. При этом само бытие в атмосфере насилия и постоянного страха перед беззаконием буквально загоняло основную массу населения в глухие рамки христианства. Став таким образом духовно всемогущей и вездесущей, церковь смогла в VII–XI в. окончательно уничтожить остатки культурного наследия Античности. И отдельные предтечи культуры нового типа (Герберт Орийакский, Эриугена и др.) или целые школы (напр., Шартрская в X–XII вв.) ничего в общей картине не меняли. При всём различии взглядов, у этих ярких личностей и школ была общая, схоластическая, философия, столь же радикально враждебная духу философии античной, как и воззрения отцов церкви.

Чёткой границы между Средневековьем и Возрождением не просматривается даже в классической стране Ренессанса — Италии (в другие места Возрождение пришло позже и как явление явно вторичное). Тем не менее период второй половины XIV — начала XV вв. вполне уже характеризуется для Европы удавшимися попытками создать, использовав античную основу, новую культуру, носителями которой теперь вместо исключительно благородного сословия становятся, в первую очередь, горожане.

Возрождение не было внезапным переворотом, «культурной революцией сверху», хотя и сопровождалось интеллектуальным взрывом. Оно готовилось накоплением ментальных, экономических и культурных потенций на протяжении длительного периода. Но процесс этот шел не везде с равной интенсивностью. В некоторых регионах культурно-общественный потенциал нового типа достиг критической массы раньше; там начались качественные изменения, инициировавшие такие же или подобные им процессы в других регионах. Возрождение стало международным, культурные кризисы сменяли эволюционный ход развития. Борьба двух систем мышления охватывала страну за страной, отчего обозначить временные рамки Проторенессанса, то есть начального периода этой цепной реакции, можно лишь весьма приблизительно: XI в. — первая половина XIV вв.

Что же касается локализации этого явления, то здесь приблизительность суждений оправдана в той же мере, как и для всех нерешённых научных проблем. В качестве очагов Проторенессанса называют и Францию Карла Великого (IX в.), и Тоскану с Провансом (XII), где кроме псевдороманского стиля да антикизированного стихосложения (другими словами, кроме явно *формальных* признаков) ничего «предвозрожденческого» не было ни до, ни после XII в.

В то же время роль, которую сыграл в подготовке Возрождения мусульманский Юг, на наш взгляд, пока недооценена. Мы нередко забываем, что когда великие ренессансные гуманисты читали в конце XIV в. — начале XV вв. переводы своих античных духовных отцов, то переводы эти делались на Юге. Постоянные связи между католическим Югом и греческим Востоком, контакты с мусульма-

нами Крыма, Леванта и Сицилии не позволяли возвести здесь стены изоляционизма в науке и культуре, выводили их из монастырей в широкий мир. Именно на Юге религиозный ригоризм потерпел первое поражение от космополитизма Нового времени.

Зададим себе простой вопрос: что получил Проторенессанс от мусульманского Юга как самодовлеющего генератора культурных ценностей, а не просто посредника между европейской Античностью и европейским же Возрождением? Для ответа достаточно привести несколько примеров перенесения на почву европейского Возрождения материальных реалий, художественных и научных ценностей исламского Юга.

Так, в предвозрожденческой Европе говорили (и поныне говорят) об актуальности моральной и материальной «реабилитации природы», о необходимости возвращения окружающей среде её древнего высокого значения. Но в постановке таких проблем не нуждались носители мусульманской цивилизации. Они никогда и не переставали относиться к природе с трепетным обожанием и бережностью как к творению и собственности Бога (в христианской, то есть евроамериканской мыслящей среде считается, что окружающая среда *принадлежит* человеку). Известно, что ренессансный человек признал «гармоничное единство телесного и духовного начал». Но Коран вообще никогда не делал различия между «верхом» и «низом», полагая человека образцом гармоничного единства, приравнивая физиологическое наслаждение к духовному и объявляя первое не только высшим в земном мире, но и чистым даром Аллаха человеку.

Что же касается возрожденческого приоритета личного (а не наследственного), деятельного достоинства индивида, то в исламском мире гораздо раньше были существовали тысячи примеров, когда великими визирями и муфтиями становились отпрыски простых крестьян, бывшие брадобреи и т. п. Упомянутое же жизнерадостное восприятие мира и окружающей природы людьми Ренессанса — лишь отголосок поэзии старых восточных певцов чувственной любви, тонкого вина, прекрасных садов и т. д. И ещё свободы, которую выше всего ценили суфийские лирики, легко менявшие золотую клетку придворных поэтов на бедное, но независимое существование дервиша, перед которым был открыт весь мир.

Впрочем, в Крыму так и не сложилось «закрытого мира», даже в Средние века — феномен, оставшийся, кажется, малозаметным всё из-за того же, очевидно, периферийного положения полуострова. Пока плохо и мало известны имена поэтов, философов, архитекторов, историков, естествоиспытателей, родившихся или работавших в ту эпоху в Крыму. Причина уже указывалась: память о них выжжена, в буквальном смысле слова, на книжных кострах XVIII в. Из внекрымских же источников мы знаем лишь, что они *были*. Проблема раскрытия их наследия или хотя бы имен — дело будущего; здесь остается только надежда на коллекции крымских источников, ждущих исследователя в зарубежных архивах — в Крыму искать нечего[1].

---

[1] Надежды эти имеют под собой основание. Одна из находок такого рода относится к XII в. Бахчисарайские улемы составили в этом средневековом столетии удивительный календарь: он указывал смену больших погодно-климатических циклов в регионе, связанных, естественно, с урожаями, то есть экономикой страны в целом (*Улькюсал*, 1980, 33). Другими словами, это была попытка создания графика экономических «длинных волн», идея, к которой мир *вторично* пришёл только в 1930-х гг., благодаря гению российского экономиста Н.Д. Кондратьева, непризнанного советской властью.

Причины, по которым Крыму, да ещё, пожалуй, Сицилии было суждено стать центрами Проторенессанса, отчасти перечислены выше. Стоит, впрочем, сказать ещё об одной. А именно — об условии, без которого Возрождение не могло начаться ни в Италии, ни в Испании, но в Германии. Это условие — уже достигнутый накануне Ренессанса уровень городской культуры. И, что не менее важно, полицентричность такой культуры, дававшая возможность выбора среди многих альтернативных путей духовного и эстетического развития, их вариативность.

Крым отвечал обоим требованиям. Его города были не только развиты в экономическом и культурном смысле, они не только располагались в качественно различных природно-ландшафтных зонах, но они и в развитии своём ориентировались на различающиеся между собой *внекрымские* социокультурные системы[1]. И это давало дополнительные возможности для достижения упомянутой всесторонней свободы выбора в процессе построения культуры нового, (прото) ренессансного типа.

Одной из общеэтнических черт, отличающих интеллигенцию Крыма и Сицилии от западноевропейской (включая сюда и итальянскую), был некий творчески напряженный, плодотворный традиционализм, не имевший ничего общего с банальной социокультурной инерцией. Вряд ли сознавая в IV–V вв. обречённость латино-византийской культуры, её апологеты, критикуя античное «язычество», невольно сохранили в своих трудах и живые реалии греко-римской культуры, историю этого исчезнувшего мира (Блаженный Августин). Но вот наступили «тёмные века», упадок гуманизма в X в., и традиция эта стала быстро таять. Впрочем, так было не везде.

Выше говорилось о необычной традиции терпимости в Крыму, — уже одно это могло спасти уходящую культуру от её ликвидации силами любой конфессии. Но был и ещё один фактор — политический, который задачу эту облегчал. Как известно, главные опасности для культуры — ветшание и забвение — парадоксально снимаются угрозой её насильственной ликвидации или искажения, нарушения семиотического фона. «Традиция потому и сохраняется, что прямо или косвенно отрицается» (*Баткин,* 1989. С. 6). В крымском и сицилийском регионах такой опасностью поначалу вполне естественно казалась мусульманская экспансия. Но она-то и стала грозой, не размывшей, а освежившей старое наследие. Кроме того, завоеватели несли с собой весомую часть античной культуры, сбереженную *ими*.

Эволюционировавшие параллельно, культуры Крыма и Сицилии от сближения с исламской цивилизацией только выиграли, да и в дальнейшем такой контакт оживлялся спором стилей. Началось то самое взаимосближение априори культурно-чуждых позиций, которое вызывается диалогической активностью и только ею. А потом естественно пришла и остранённая, более объективная оценка собственной культурной традиции, своей «правды». Причём правды откры-

[1] Северо-западная зона полуострова тяготела в XIII в. к золотоордынским архетипам Приазовья и степей северных Прикаспия и Кавказа; Южный берег Крыма и восточное побережье были издавна связаны тысячей культурных и экономических нитей со Стамбулом, Трапезундом, Левантом в целом. В XIV в. схожие связи возникают и на территории степного юго-запада Крыма (подробнее об этом см.: *Крамаровский*, 1997. С. 101).

той, незавершённой, что рождало естественное желание её совершенствовать с новой силой и творческой активностью.

Особенно бурно протекал этот процесс в Крыму и на всё той же Сицилии. Конечно, не из-за исключительно благоприятной экономической основы развития культуры (экспорт хлеба, рыбы, мёда и пр.). Не всё определяет и географическое положение (к примеру, не худшую позицию занимали те же Балканы, остававшиеся тем не менее по ряду причин ещё долгое время глухой провинцией, духовными задворками Европы).

Другое дело, что в регионах Крыма и Сицилии, на платформе исламской цивилизации не было вызванного христианским тоталитаризмом целеустремлённого уничтожения наследия культурной древности. Более того, здесь не случилось, повторяю, простого *перерыва* в нормальном восприятии и привычно-деловом использовании плодов доантичной и античной цивилизаций. А значимость самого диалога Античности с исламом столь велика и явна, что иногда именно в нём обнаруживаются истоки Возрождения или даже Проторенессанса.

К схожему выводу приводит анализ общества и отдельных личностей той эпохи. Мы видели, что пёстрому населению Крыма, Сицилии, всего исламского мира X–XII вв. были присущи влечение к красоте и радости земной действительности, стремление к научности в осмыслении мира, когда человек, способ его бытия становились в центр философского и обыденного внимания. Можно упомянуть и такие, несомненно, общие для этого и зрелого возрожденческого обществ черты, как всеобщее увлечение поэзией любви, чувство стиля (впервые достигшее таких высот, что поражают и доныне), как универсальная образованность интеллигенции, её восприимчивость к искусству, склонность к самоанализу, к рационалистичности мышления в целом. А также её рафинированный этикет, изысканная учтивость и тут же, рядом — вероломная интрига и неумолимая жестокость. Последние черты — не самые важные, но вызывающие и сегодня невольное восклицание: «Да это же Кватроченто в XII веке!»

Такие необычные личности, как хан Хаджи-Гирей I в Крыму, короли Рожер или Фридрих II Гогенштауфен на Сицилии не столько «делали» историю своей родины, сколько сами были востребованы ею, историей издревле кросскультурных территорий, населённых крайне динамичными аборигенами и иммигрантами. Здесь сложился неповторимый мир странников-крестоносцев, неусидчивых остготов, вездесущих фатимидов и познавших пространства полумира ордынцев. *Неизбежно* присущие такому подвижному миру терпимость и уважение к поликультурным традициям давали сицилийцам и крымчанам ту уверенность в сохранности собственной культурной идентичности, что выливалась в постоянную готовность к свободному обмену идеями, политическими установками, интересу к совместной творческой деятельности. А это уже не только антитеза средневековому христианскому «кредоцентризму», но и важнейшее условие для созревания идей Возрождения.

О том, каким именно образом содействовали обе культуры становлению Ренессанса, имеются сведения весьма пёстрые и случайные, поскольку целенаправленные поиски в этом научном направлении также пока не велись. Кроме того, информация такого рода неравномерна по отношению к Крыму и к Сицилии (по первому её меньше, по второй — больше). То, что североитальянское

Возрождение буквально выросло на античных рукописях, восстановленных и переведённых мусульманами и монастырскими писцами полуарабской Сицилии, — истина вполне хрестоматийная.

Крыму не столь повезло — прежде всего с внешнеполитической обстановкой, а значит, и с возможностями культурной самоотдачи. Но и здесь кое-что удалось сделать. В атмосфере свободного, по сути дела президентского правления первых ханов, аура либерализма и вольного цветения искусств, книжной учёности и гуманистической философии распространялась отсюда на всё Причерноморье. Италия для *прямого* влияния была далековата, и речь может идти только о косвенном. А именно через генуэзско-византийские колонии в Восточном Крыму.

Более прямым и наглядно-результативным было воздействие в северном направлении. На протяжении веков, прошедших до петровского, узкого и цензурированного «окна в Европу», Крым был для России единственным источником поступления практически всей современной, византийской и античной культуры. Правда, воздействие этих сокровищ духа было поверхностным, крайне ограниченным и заторможенным церковью и деспотической идеологией царей. Но это были пороки спроса и использования, а не предложения.

В России Ренессанс так и не наступил. Возрождение было невозможно по крайне простой причине: *здесь нечего было* возрождать. В V в. до н. э. — IV в. н. э. (на которые в Крыму приходится расцвет греко-римской цивилизации) в дохристианских восточнославянских лесах, на всей территории от нынешних Киева до Мурома, культура была столь далека от античных достижений, что на её уровне лучше не останавливаться. Короче, по совокупности разноплановых причин огромный культуртрегерский потенциал Крыма оказался северными соседями востребованным в крайне незначительной своей части.

Зато в обеих южных странах выросли свои собственные поколения людей вполне возрожденческого формата и менталитета. Назову лишь самых известных, двух монархов, поражавших зарубежных современников и гуманизмом, и свободомыслием, и тонким чувством прекрасного, и бесподобной толерантностью. В Крыму это Хаджи-Гирей I, на Сицилии — Фридрих II Гогенштауфен (речь о них пойдёт ниже). Что же касается людей искусства и художественного ремесла, науки и духа, то, зная по именам десятки и сотни их, мы, по сути, не знаем ничего — даже по сравнению с крымскими отцами-иезуитами XVIII в. Я имею в виду их знаменитую бахчисарайскую католическую библиотеку[1], где из местного, *крымского* наследия антично-мусульманской классики была собрана коллекция общеевропейского значения (она погибла в ходе выжигания культурных центров ханства русской армией в 1736 г.; к великому сожалению, не сохранилось даже каталогов). Таким образом, изучение этой стороны проторенессансной культуры и её всемирно-цивилизационного значения также ещё впереди.

---

[1] Иезуиты обосновались в Крыму с 1706 г. благодаря своим единоверцам, французскому послу в Стамбуле маркизу Карриолю и доктору Феррану, пользовавшемуся особым расположением хана Газы-Гирея. Вскоре после этого иезуитским священником Браном были построены в Бахчисарае католическая церковь и коллеж, при которых и возникли упоминавшиеся библиотека и архив (*Врангель*, 1939. С. 65).

Замечание о том, что неизвестная традиционалистским обществам самоценность *отличия* «получила первые импульсы в итальянском Возрождении» (*Баткин*, 1989. С. 3, 16), не вполне справедливо. В предвозрожденческих Крыму и Сицилии чисто индивидуальные установки также вели к личному выходу за каноны коллективных этики, эстетики, общепринятых веры и поведенческой модели в целом. Более того, случалось, что талантливые индивидуалисты увлекали за собой социум, преобразуя и без того достаточно эластичные шаблоны как крымского, так и сицилийского коллективного сознания, иногда даже посягая на основополагающие авторитеты Корана или Библии.

Впрочем, мнение о полном подчинении мусульманской мысли букве Корана ошибочно. В исламском пути к познанию истины столь же авторитетны постулаты, выводимые методом *кияс* (аналогии), единодушного мнения авторитетных теологов (*иджма*)[1], следование исторической практике времён пророка и четырёх святых халифов (*сунна*)[2]. Пророк чрезвычайно высоко ценил объективное знание, достигаемое путём столкновения несхожих мнений. Отсюда хадисы об *отличии*: «Моя община не объединяется в заблуждении» и даже: «Расхождение моей общины — благо» (цит. по: *Аль-Джаниби*, 1997. С. 42). В Коране всего около 300 аятов, где изложены правила поведения мусульманина. Если даже дополнить их соответствующими указаниями, содержащимися в сунне, получится общим счётом около 800 положений, которые явно не «покроют» *всё* разнообразие жизни, не разрешат *все* проблемы бесчисленных бытийных ситуаций. Поэтому глубоко верно указание, что «сам по себе шариат ещё не даёт ответов на любые вопросы, но содержит [в себе] всё необходимое для их *поиска* (выделено мной. — *В.В.*)» (*Сюкияйнен*, 1997. С. 18).

То есть в любой, самой сложной или необычной ситуации шариат учит поступать *по-исламски*. Что это означает, каковы требования, которые нужно для этого выполнять? Бессмысленно перечислять их здесь, когда достаточно привести один из главных (если не главный), общий их принцип: все они зовут к благу для человека и его окружения, включая и природу; при этом они выполнимы. То есть эти задачи и цели реальны, «подготовлены» к выполнению (а точнее, они составляют единое целое с сотворённой Богом природой и исходят из её законов и потребностей), и отказ от них не может быть ничем оправдан. Отказ от *них* был бы неестественным и нерациональным, что отмечали даже неисламские мыслители. Так, христианина Л. Анненского в духовно-материальной, универсальной системе ислама бесспорно восхищали «...стремительные кружева рационалистического мышления, работающего подобно счётной машине, в сочетании с ощущением

---

[1] Иджма — правовой свод, отражающий согласное решение по важнейшим вопросам *фикха* (источника мусульманского права), явившийся результатом деятельности семи первых *муджтахидов* (см. ниже), сотрудничавших во второй половине VII в. Позже иджма отражала согласованные мнения авторитетных законоведов, через неё мусульманское право отражало потребности различных народов, несхожих этнопсихологий.

[2] Сунна (точнее: *суннат Расул Алла* — «сунна Посланника Аллаха») — один из источников мусульманского права, основанный на примере земного пути Мухаммада. Основной принцип сунны — руководство жизнью и поступками Пророка как образцом для каждого мусульманина или общины, как источником для решения жизненных или духовных проблем каждого человека и уммы в целом.

безостаточности того, как личность вкована в цепь законов бытия» (цит. по: *Селимович*, 1969. С. 379).

В этом отличие ислама от религий, ставящих верующим непомерно высокие, заведомо невыполнимые требования. «Беда не в евангельском благовестии самом по себе, а в его нечеловеческой, невыносимой высоте» (*Бибихин*, 1998. С. 206). В нём изначально предполагается вынужденный этим обстоятельством неизбежный, постоянный грех и столь же неизбывное, бесконечное покаяние (это в лучшем случае, а в худшем — беспросветное отчаяние). Отсюда в среде приверженцев таких конфессий доминирует постоянное чувство собственной греховности, своей вины, ужаса перед Богом и перед представляющей Его на земле церковью, священством. Отсюда массовый априорный отказ следовать заветам церкви, — «всё равно ничего не выйдет, слаб человек».

Короче, в ситуации такого духовного дискомфорта постоянно возбуждаются отрицательные эмоции. В комплексе они совершенно чужды мусульманам, чья этика разработана в соответствии с законом, который, во-первых, формально назван «божественным», а содержательно исходя от Бога, он глубоко человечен и, главное, выполним. И его выполнение не стоит жертв, но, напротив, несёт ощутимую пользу и удовлетворение уже здесь, на земле. Во-вторых, мусульманский закон, в отличие от христианского и тем более иудейского, гибок и подлежит коррекции в соответствии с меняющимися требованиями эпох, со всё новыми человеческими потребностями.

Напротив, христианская мораль — астральна, надчеловечна, нечеловечна и по форме, и по содержанию. Это Закон, буквально «спущенный сверху». Выполнение его несёт небесную, отнюдь не земную благодать, и мораль его связана с этическим опытом человеческих культур лишь частично (в заповедях). В нём и мораль божественна и как таковая часто алогична с общечеловеческой точки зрения. Протестантский философ Ж. Элюль (1912–1994) резонно утверждал в этой связи, что отождествлять христианство с человеческой моралью вообще бессмысленно. «Оно не имеет с ней ничего общего. В откровении Бога через Иисуса Христа не заключено никакой моральной системы. Оно — антиморально» (цит. по: *Бибихин*, 1998. С. 209).

5. Мусульманское право в Крыму

Заповеди шариата *соразмерны* человеческим силам и возможностям. Они, повторяем, вполне выполнимы. Выглядят они, может быть, не столь экстравагантно, как христианские, зато осуществляются неуклонно и с куда большей обязательностью. На что, между прочим, давно уже обратили заинтересованное внимание наиболее глубокие из христианских мыслителей: глубокое замечание по этому поводу русского религиозного мыслителя и поэта В.С. Соловьёва приводилось выше (*Соловьёв,* 1888 «а». С. 47). Ещё более впечатляет максима французского философа, в немногих словах обрисовавшего всю глубину равно актуальной для Запада и Востока проблемы соответствия целей и средств религиозно-бытовой практики, а также наметившего её решение, явно несвойственное христианству:

«Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно» (*Монтень*, 1980. Т. III. С. 196).

Здесь малознакомый с Кораном, но мыслящий христианин рассуждает вполне по-исламски. Известный египетский религиозный деятель и крупный исламский теоретик Мухаммед Абдо (1849–1905) указывал, что при наличии двух конкурирующих норм, из которых первая предусмотрена Кораном или сунной, а вторая обоснована *рациональным*, присущим конкретной эпохе пониманием принципов шариата, следует предпочитать именно вторую. Ошибиться же в том, что рационально, а что — нет, трудно, тут выбор идёт непрерывно и стихийно, а результаты совершенствуются методом бессчётного количества проб и ошибок. Об этом, в частности, гласит хадис: «То, что мусульмане считают хорошим, то и для Аллаха является хорошим» (цит. по: *Сюкияйнен*, 1999. С. 76–77).

Тем не менее личности, прославившиеся своим последовательным, неуклонным рационализмом или подчёркнутой приверженностью к началам гуманизма, выглядели в рассматриваемую эпоху всё же не совсем обычно. Вне рассматриваемой контактной зоны (то есть не в Крыму и не на Сицилии, а в глубине средневековой Европы) такого рода индивидов практически не было и быть не могло. Важнейшая тому причина — антииндивидуализм средневекового христианства и усугубившаяся ортодоксальность фундаментального ислама. А именно реалии, нехарактерные для Крыма и Сицилии, чья непрерывно эволюционировавшая социальная, культурная и экономическая жизнь на полицентричной, урбанизированной территории стала уникальной питательной средой для развития индивидуальностей ренессансного типа. Вернёмся к упомянутым выше сицилийцу и Крыму.

Первый из них — Фридрих II Гогенштауфен. Личность, становление которой происходило в той самой пограничной ситуации на стыке трёх миров, которая способна кристаллизовать новые идейные системы, культурные неповторимости. Фридрих не только полной чашей пил из всех трёх культур (что было нормой), не только подвергал глубокой критике мировые религии (а это уже необычно для христианнейшего монарха, но и распространял свои идеи, делая их всеобщим достоянием, разрушая средневековую догму изнутри, разбивая коллективные матрицы. В этом был *смысл*, важность которого явно превышала для императора любые неудобства и опасности.

В Крыму схожую позицию занимал Хаджи-Гирей. Он столь же недвусмысленно отрицал идеологические догмы, но, в отличие от Фридриха, это выражалось у него демонстративным исповеданием *обеих* основных религий ханства. Ни императора, ни хана невозможно обвинить в безрелигиозности, т. е. плоском безбожии. Напротив, их интерес к религии был постоянен и глубок. А то, что их религиозность была суперкритичной, ничуть не умаляло её напряжённой и активной энергии (кстати, качество, сближавшее обоих с гуманистами XIV–XV вв.). Причем атеизм сицилийского властелина, как и «битеизм» Гирея, был открыт и явен всем. Это принесло достойные плоды (смешанные браки, конфессионально пёстрое потомство в крымских семьях), причем на века. К концу 39-летнего правления хана сложились те (пред-)ренессансные традиции, тот менталитет

населения, что делали Крым и Сицилию похожими до близости[1]. А две главные черты весьма схожих характеров Фридриха и Хаджи-Гирея — органичная терпимость и непритворное вольномыслие — обоснованно названы главными признаками грядущего человека Возрождения (*Петров*, 1982. С. 37–38). Эти свойства поднимают и обоих монархов, и общества, их породившие, высоко над эпохой.

Отношения индивида и общества — ядро любой культуры. Благодаря практическому отсутствию внеэкономического принуждения особая крымско-сицилийская их модель обладала устойчивостью, которая в свою очередь гарантировала сохранение *типа* культуры при всех структурных изменениях обществ. Обладая стабильностью биологического генотипа, парадигма этих свободных, гуманистичных культур естественно формировала не только сознание современников, но и подсознательные стереотипы. А уж им, как известно, свойственны поразительная устойчивость, способность столетиями передаваться по наследству. Вот почему тип этих культур (как и особенности национальной психологии) не исчез ни на Сицилии, ни в Крыму и после XIV в. с началом больших перемен. Заметны они и посейчас.

Установление в середине XV в. тотальной религиозно-идеологической системы заставило покинуть Сицилию мусульман и самых одарённых из христиан (итальянский Север, давно уже питавшийся сицилийскими ренессансными идеями, с удовольствием приютил теперь их носителей). После этого культура страны попадает в арьергард Флоренции и Тосканы. Утрате ведущих культурных позиций Сицилии содействовала и её оккупация «правильными» католиками: французами и испанцами. Но Сицилия успела сделать свой бесценный вклад в становящуюся культуру Нового времени. И ей, и Крыму это удалось не только по узкой причине удачного смешения рас и культур, но и оттого, что они практически не ощутили ледяного ветра «тёмных веков», погасившего в Европе VII–X вв. последние искры старой культуры.

Схожая в целом роль Крыма была несколько более узкой по направленности, зато шире типологически. Это объясняется потрясениями в его истории, Сицилию, к счастью, миновавшими. Блеск и мощь крымской культуры, редкое разнообразие её локальных типов стали одной из тех основ, на которых формировались национальные культуры соседних стран, в том числе России. В ситуации, когда товарный и тем более духовный обмен Руси с Западом был ещё бесконечно мал, она получала из Крыма всё, что была не в состоянии создать сама. Век за веком Крым оставался для своих будущих колонизаторов не только окном в мир, но и самим миром, откуда на Север мощным потоком шли «религия и обстановка, священники и мастера, монахи и ремесленники, реликвии и товары, иконы и моды, богослужебные книги и светская роскошь» (*Волошин*, 1990. С. 214).

И хотя Север расплачивался с Крымом лишь сырьём, односторонность такого «культурного обмена» крымчан не обедняла. Ведь сохранялась мозаичность культур, а крымские мастера беспрепятственно общались с коллегами остального Средиземноморья. Так было, пока турками в XV в. не была перерезана пупо-

[1] Показательно, что уже сына Хаджи-Гирея, хана Менгли, современные исследования характеризуют как «высоко образованного человека поистине *ренессансной* (выделено мною. — *В.В.*) культуры» (*Червонная*, 1994. С. 125).

вина, соединявшая оба культурных региона одного средиземноморского бассейна, одной цивилизации.

Османы сыграли в Крыму роль унификаторов. В результате их вторжения население внешне потерь не понесло, но многоцветная культура Крыма свернула с пути, прямо ведшего её от средиземноморско-понтийского Проторенессанса в ширь общеевропейского Возрождения. Она сменилась более узкой стезёй борьбы за сохранение традиционных поликультурных ценностей в условиях внешнего (часто — кажущегося) преобладания османской монокультуры.

В этой борьбе крымские татары столкнулись с попытками турецких покровителей интегрировать крымские этические и культурные модели в османские вместе с политическими. Дело в том, что в XV и последующих веках в большинстве мусульманских стран прогрессировали некоторые новые тенденции. Эти страны уходили от классического ислама, забывая его принципы терпимости и всечеловечности, в сторону всё большего изоляционизма, национального эгоизма и нетерпимости.

Справедливости ради заметим, что христиане вполне заслужили такое настороженное отношение (одни крестовые походы чего стоили), но от упомянутой ментальной метаморфозы пострадали не столько европейцы, сколько сами мусульмане. Она стала началом глубокого сдвига к новой системе ценностей (ныне на ней стоит так называемый исламский фундаментализм). Конечно же, эта система была вызвана к жизни не мирным учением пророка, а веками национальных притеснений, колониализмом, нищетой масс, незаконными, греховными нововведениями в религию (*бидаа*), суевериями, обскурантизмом, а часто и невежеством духовенства, отказом от культа науки и объективного знания, стремлением самоизолироваться (подр. см.: *Карабаев*, 1997. С. 11). Общим результатом стал массовый слепой фанатизм, неизвестный в века классического ислама.

По ряду причин, из которых периферийное положение в исламском мире — не самая главная, Крым если и сдвинулся в этом направлении, то крайне слабо. И если мы объективно оценим ментально-психологическую ситуацию на полуострове даже в весьма поздний период (накануне аннексии), то не сможем не признать, что именно здесь, на переднем краю сопротивления северной агрессии, сохранилась, как в запечатанной амфоре, драгоценная влага классического ислама. И, очевидно, в максимальной (по сравнению с другими регионами) степени. Здесь не изменилась шкала национальных ценностей. И в то время как в большом мире шли геополитические переделы, бушевали войны (в том числе между мусульманскими странами), а учение Пророка раздиралось школами и сектами, в Крыму сохранялась основа вечных исламских идеалов.

Путешественники и учёные неоднократно и независимо друг от друга отмечали крымскотатарскую веротерпимость, высокую духовность, широкую просвещённость и развитую науку, искреннюю и глубокую верность шариату. Эта основа была настолько прочной, что её главные черты сохраняются и в наши дни, служа примером не только мусульманам, но и христианам, контактирующим с крымскими татарами. В таком служении идеалам гуманизма заключалась высокая миссия Крыма, и он её исполнил.

Повторяю, Сицилия и Крым — единственные регионы, где, строго говоря, не требовалось *возрождения* всей культуры древних. Во многом было достаточно

ее *поддержания*. А это, во-первых, легче уже потому, что соответствующую традицию не надо было заново создавать (она, как видно на примере традиционной музыки, работала спонтанно и беспрерывно с тех самых античных времен). Во-вторых, это более благодарная задача, так как приходилось иметь дело с подлинными, оригинальными ценностями, а не с их реставрацией в процессе создания псевдоэллинизма, неоклассики и т. п.

А когда европейская цивилизация созрела для восприятия этого подлинного наследия великой культуры, когда ощутила в нем нужду, Крым и Сицилия стали щедро делиться с ней сбережёнными и умноженными здесь древними сокровищами. Как и собственными культурными достижениями более поздних эпох. В этом заключалось их участие в подготовке Ренессанса, немыслимого без Предвозрождения.

Известно, что главная черта самобытности Проторенессанса — переходность. Но в Крыму и на Сицилии предренессансная *переходная* эпоха приобрела в результате катастроф середины XV в. несвойственное ей постоянство; она превратилась *в промежуточную* и надолго осталась ею. Оба очага Проторенессанса отнюдь при этом не угасли: и Сицилия шла в ногу с Возрождением, и в Крыму работали не просто мастера-новаторы, а великие ренессансные художники. Назовем лишь двух из них — Ходжу Синана и Алоизо дель Нуово (в Европе более известного как Алоизио Ламберти ди Монтаньяна). Но Сицилия и Крым утратили *свою культурно-историческую роль*. Их свет, столь яркий и притягательный в былом мраке, не исчез, но поблек для нового мира, озаренного мощными лучами итальянского Ренессанса.

Во вступительной части этого очерка автор сомневался в правомерности тезиса о некой общей крымско-сицилийской культуре, ведь контакты крымцев и сицилийцев были нечасты и культурно неглубоки. Однако сделать соответствующее типологическое обобщение позволяет цивилизационный подход к проблеме. Не отрицая важности для исторической культурологии социально-экономических факторов, мы должны признать, что при всей их универсальности (для любой эпохи), именно в Крыму и в Сицилии они, во-первых, крайне специфично преломились, а во-вторых, угол этого преломления *одинаков*.

Этот вывод позволяет фиксировать внимание на глубоком внутреннем духовном сходстве, на системном единстве этих двух культурно-исторических общностей. Мы имеем дело с системно целостным объектом исторического познания, который неминуемо «рассыпался» бы, ускользнул из поля культурологического исследования при традиционном линейном стадиально-формационном подходе.

В этом очерке, чрезмерно теоретичном (больше это не повторится — уж тема такая!), была сделана попытка найти общие черты в индивидуальном своеобразии двух не столь уж соседних культур. В результате оказалось, что при всей их неповторимости, ни-на-кого-непохожести, они являли собой если не зеркальное отражение друг друга, то весьма близкие аналогии практически во всех планах культурной, духовной и этнопсихологической сфер жизни обществ. Эти два общества обладали аналогичной «телесной оболочкой» (параллельно и однонаправленно развивавшиеся наука, техника, экономика) и столь же аналогичной «душой» этого тела — одинаковыми религиозными системами, стилями жизни,

уникальной островной психологией, крайне близкими (в отдельных аспектах — родственными) литературой, музыкой, искусством и т. п. И даже сходной антропологической основой.

Последнее, кстати, совсем необязательно при выводе о реальности некогда существовавшей *крымско-сицилийской локальной цивилизации*.

Этот вывод подкрепляется и историей её заката. Сложная система, чьи несущие конструкции работали благодаря множеству напряжённых нитей внутренних связей, были в состоянии достаточно жёстко сопротивляться любым внешним невзгодам политического, экономического или любого другого характера. Но когда часть этих нитей была разорвана (ограничение межкультурных контактов, внутрикультурные раскол и дискриминация по национально-конфессиональным признакам и др.), то система, как и следовало ожидать, деградировала, хотя и успев исполнить свою главную миссию, миссию подготовки и «запуска» великого Возрождения[1].

Сделаем некоторые выводы, пока предварительные.

6. Выводы

1. Аналогичные в основных своих чертах естественно-природные среды обитания коренных народов Крыма и Сицилии, многовековая история геополитики этих и прилегающих ареалов не препятствовали (а в отдельные периоды и содействовали) развитию обоих регионов по смешанному, европейски-восточному типу.

2. Уникально пестрый ландшафт южноитальянского и таврического ареалов, а с началом урбанизации их устойчивый полицентризм были благоприятны для развития локальных культур и инфильтрации ценностей великих цивилизаций: античной, германо-скандинавской, византийской, латино-романской. Последняя по времени волна культурного влияния — мусульманская — стала для обоих ареалов важнейшим культурообразующим фактором.

3. Ислам сыграл в обоих культурных очагах Средневековья схожую двойственную роль: а) надежного хранителя наследия аборигенных культур, античной и более поздних цивилизаций; б) мощного стимулятора развития новых, синтетичных культурных моделей.

---

[1] Здесь я вынужден опустить сюжет о мусульманском Возрождении в Крыму ханского периода. Эта проблема пока недостаточно изучена и по своему огромному объёму и чрезвычайной важности для истории культуры требует отдельного глубокого и комплексного изучения силами специалистов в различных отраслях знания. Тем не менее современные исследователи уже подходят к предварительным выводам, касающимся отдельных областей истории культуры и искусства коренного народа Крыма. Так, художник Мамут Чурлу в своём небольшом по объёму, но многоплановом труде об истории крымского вышивального искусства считает, что «Крымскотатарская вышивка — яркое свидетельство мусульманского... *ренессанса* (выделено мной. — *В.В.*), культуры коренных народов полуострова, получившей новые стимулы в период Крымского ханства» (*Чурлу М.* Яркий стиль крымских вышивок // ГК. 28. 10. 2005. С. 7).

4. В обоих центрах позднесредневековой культуры наблюдаются типологически весьма близкие динамичность, открытость и толерантность общества в сочетании со стабильностью форм природопользования, мироощущения и мировосприятия, моделей социокультурного и экономического поведения. Система воспитания и просвещения основывалась на этических, эстетических и научных ценностях, свойственных общей, средиземноморской христиано-мусульманской традиции, а конкретно — поразительно схожим культурным системам и этнопсихологическим моделям.

5. Уникальный этнопсихологический и социальный климат обусловил возникновение в подсознании коренного населения обоих регионов менталитета и поведенческих стереотипов нового для Средневековья человека — терпимого, контактного, открытого, демократичного, восприимчивого к инокультурным влияниям.

6. Крым и Сицилия практически не знали реакции «тёмных веков», губительной для античного наследия в культурном пространстве остальной Европы. Поэтому для осуществления носившихся в воздухе идей Возрождения здесь требовалось не возрождение (*Renaissance*), а лишь сохранение (*Maintenance*) уцелевших культурных ценностей — задача несравненно более простая и плодотворная в своей естественности и массовости, не-элитарности.

7. Всемирно-историческая роль Крыма и Сицилии — в сближении и взаимно обогащающем культурном обмене цивилизаций Востока и Запада. В отличие от Балкан и Испании (обладавших схожими геополитическими возможностями, но ставшими в XI–XIII вв. постоянно закрытыми шлагбаумами на этом магистральном пути), Крым и Сицилия на протяжении Средневековья, Возрождения и отчасти Нового времени оставались контактной зоной, широким и удобным мостом для межцивилизационного культурного обмена.

8. Только на Сицилии и в Крыму в результате взаимодействия указанных объективных и субъективных факторов в течение нескольких столетий удавалось то, что глохло или разваливалось в других регионах: зарождение, развитие и замечательный расцвет полиэтнической и поликонфессиональной культуры. Причем уровня, свойственного скорее грядущей эпохе, чем Средневековью.

9. Ряд фундаментальных характеристик истории, духовной жизни, культуры и этнопсихологии коренного народа Крыма и сицилийцев, явный параллелизм культурно-исторического развития двух обществ и его результатов позволяют выделить из цивилизации позднего Средневековья уникальную, географически разделённую, но типологически *двуединую крымско-сицилийскую культуру*.

10. Эта культура стала соединительным звеном между Античностью и Возрождением, сумев передать в «новую жизнь» культурную эстафету древних. В этой миссии — главное (но не единственное) значение обоих центров Проторенессанса в истории мировой цивилизации.

В заключение попытаемся выяснить, какое значение имела описанная здесь «проторенессансная», европейски значимая миссия для этногенеза и, главным образом, культурогенеза народа собственно Крыма.

После того как в первой трети XIV в. литовские князья, заняв причерноморские степи от Буга до Дона, вытеснили оттуда ордынцев, было ослаблено унизительное и обременительное для крымчан культурное и экономическое давле-

ние. Уже упоминавшийся второй удар по отношениям зависимости Крыма от Золотой Орды был связан с событиями конца XIV в.: образовавшаяся в Средней Азии держава Тимура разгромила Астрахань и Сарай. Это привело, в частности, к тому, что отныне Крым экономически отрывался от Средней Азии, а политически — от Орды, причем окончательно.

Отныне быт крымского народа и его культура в целом могли развиваться свободно. Начинается широкое оседание вчерашних кочевников, развитие земледелия, разложение племенного строя. Порвав с утратившими актуальность, но насильственно навязываемыми ордынским чиновничёством кочевыми традициями, народ стал развивать собственную культуру, отличную и от золотоордынской, и от христианской. Внешне она вначале несколько походила на ближневосточную, отличаясь, впрочем, от нее большим разнообразием, синкретичностью и содержательностью (*Лашков*, 1881. С. 29).

Заслуга в этом обогащении сложившихся было культурных традиций принадлежала отнюдь не генуэзцам или венецианцам, как иногда полагают (*Хартахай*, 1866. С. 199), а скорее духовному потенциалу молодой нации, складывавшейся в чрезвычайно пёстрой и переменчивой социально-экономической и политической ситуации. Вчерашние степняки, отвергшие и культ, и обычаи кочевников, а также некоторые связанные с ними культурные традиции предков, жадно впитывали доступное им достояние народов и племён, с которыми они вступили в контакт в Крыму. Впрочем, многое из степной культуры стало общекрымским достоянием, органично вошло в складывавшуюся культуру и этнический менталитет крымских татар, стало составной частью сложного духовного мира нации.

Мы не можем, да и вряд ли когда-нибудь сможем сказать, в каком количественном соотношении находились пришельцы к местному населению. Науке известно лишь, что полуостров к моменту прихода ордынцев был плотно заселён, и аборигены при этом почти не пострадали. Вооруженное сопротивление, да и то едва ли не символическое, оказали лишь генуэзцы. Впрочем, для культурного обмена количественное соотношение носителей двух культур далеко не всегда является решающим фактором. Часто гораздо более важен их уровень. Можно спорить о том, чья культура была более «продвинутой» — аборигенов или пришельцев (абсолютное большинство учёных склоняются к первому утверждению), но совершенно бесспорен тот факт, что культура местных жителей была лучше приспособлена к экологической обстановке Крыма. Уже поэтому её победа в процессе аккультурации была гарантирована.

Поэтому к концу XIII в. культурная ассимиляция ордынцев местным населением становится заметной, причем чем ближе к горам, тем сильнее. Степняки пытаются сеять ячмень, площади посевов растут; впервые бывшие кочевники, ранее снимавшиеся с места при оскудении пастбищ, начинают ценить землю. Затем появляются новые умения и техники — виноградарская, садоводческая и табаководческая. При этом опыт и навыки заимствуются местным населением как у потомков византийцев, итальянцев и готов, так и у обитателей средиземноморских островов, прибывавших в Крым на торговых и рыболовных судах.

Более того, у степняков, у этих вечных странников, начинает развиваться чувство привязанности к «малой родине», появляется вкус к плодам многолетнего хозяйственного её улучшения. Это был колоссальный переворот в сознании

массы, несравнимый даже со сменой религии. А когда он завершился, освоение технологических и иных методов ведения традиционного крымского хозяйства пошло вполне успешно. Впервые взяв в руки кельму и топор, степняки, не имевшие или давно забывшие собственные строительные традиции, стали копировать местные архитектурные приемы — античные, скифо-таврские и византийские, а затем и средиземноморские, прекрасно представленные культурой Сицилии. В частности, последние широко распространились с ограниченной территории греческих колоний по всему Крыму, в том числе и Степному.

Итак, для перехода к оседлому животноводчески-земледельческому хозяйству было три причины: недостаточность размеров крымских степей для кочевого скотоводства народа, постоянно количественно увеличивавшегося. Этот естественный прирост населения делал необходимым и переход на интенсивный путь развития сельского хозяйства и экономики в целом. Наконец, важным фактором этого перехода стало выше уже упомянутое соприкосновение бывших кочевников с многочисленными коренными идеально приспособившимися к крымским условиям носителями древних земледельчески-садоводческих традиций.

В связи с вышесказанным мы можем сделать важнейший в культурологическом анализе истории Крыма вывод: культура татар с момента ее зарождения на полуострове носила открытый характер. Этот вывод, как мы увидим, сохраняет свою справедливость на протяжении всех эпох крымскотатарской истории, приобретая, таким образом, основополагающее значение для складывания и развития этой культуры из глубины веков до самого последнего времени.

V. КРЫМСКИЙ НАРОД ПРИ ОСМАНАХ

1. Татарская экономика в XV–XVI вв.

Положение Крыма и его правителей стало нелёгким уже при ближайших преемниках Менгли-Гирея I. Не вдаваясь в подробности чехарды ханов, где имели место не просто интриги, а и убийства близких родственников (к чему почти постоянно прилагала руку Порта), скажем, что во второй четверти XVI в. в Крыму настал период настоящей Смуты. Самым трагичным моментом в этой многолетней междоусобице было нашествие заперекопских ногайских орд, воспользовавшихся ослаблением ханской власти в 1523 г. Они опустошили полуостров, и экономический упадок ханства длился более десяти лет, сопровождаемый, по сути, гражданской войной сторонников различных претендентов на бахчисарайский престол. Эта усобица прекратилась лишь в 1537 г., после смерти Ислам-Гирея.

Ему наследовал (после четырёхкратного правления Сахиб-Гирея и ряда других ханов) Девлет-Гирей I (1551–1577 гг.), известный и под именами *Тахт-Алан* и *Мубарак*. Его правление было долгим периодом стабильности, если не считать постоянной борьбы претендентов на титул калги, в результате которой победа досталась будущему хану Мехмед-Гирею II.

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению истории правлений ханов, следующих за Менгли-Гиреем, остановимся на внутреннем строении и внешней политике этого нового для Европы государства.

В прошлом авторы, не только русские (самые многочисленные), но и татарские и турецкие, обращавшиеся к истории Крыма, уделяли основное внимание войнам, походам, иногда дипломатии ханства. При этом жизнь народа, его будни и праздники, духовный мир и ежедневный быт оставались как бы в тени. И тому есть свои причины.

Во-первых, это сравнительная бедность архивных и даже археологических материалов, необходимых для разработки столь крупной темы. Вторая, более веская причина заключается в том, что с приходом османов изменилась, хоть и незаметно, и не сразу, экономическая, социальная и культурная основа жизни крымских татар. Развитие общества, ранее шедшее в ногу с однонаправленным процессом у европейских народов, а кое в чём и обгонявшее его, приняло совершенно иное направление, перешло в иной план, ведь

и Крым плавно перешёл с одной цивилизационной платформы на другую. Причины, особенности и результаты этого перехода будут рассмотрены ниже. Здесь отметим лишь, что чисто внешне (да и то всего лишь для европейского глаза) дальнейшее культурное существование коренного народа Крыма стало казаться чуть ли не остановившимся. Или, на жаргоне марксистской историографии, «отсталым».

Но не только марксистское, а абсолютное большинство иных направлений и школ в европейской исторической науке сходились в одном: в оценке *восточного типа* культурного развития вообще, которое противопоставлялось *прогрессу* в его европейском понимании. Но вот и последнее понятие начало разочаровывать его традиционных приверженцев в Европе, Америке и на Востоке, его принялись критиковать. При этом естественным стало повышение внимания к восточному консерватизму, к неевропейским культурным и экономическим традициям, как более ресурсосберегающим, как оптимальным для окружающей среды.

Пока такие перемены в европейском (евроцентристском) мышлении не коснулись или почти не коснулись исторической культурологии Крыма. И вышеупомянутый «застой», внешняя неизменяемость культурной экономической и общественной жизни крымцев в ханский период, как отталкивали, так и продолжают отвращать интерес ученых-крымоведов, обращающихся к темам более динамичным и, с их точки зрения, представляющим куда большие возможности для исследований и открытий, например, к теме всё той же *внешней* политики Крыма. Эта ущербная позиция основывается не только на научной традиции, но имеет под собой комплексный этнопсихологический фундамент, а то и оказывается связанной с далёкими от науки политическими причинами. Поэтому к критике этой позиции можно будет приступить лишь после того, как мы ознакомимся с основными процессами и событиями XV–XVIII вв., прямо или косвенно содействовавшими её возникновению, то есть не ранее, чем во II очерке II тома этого труда.

А пока отметим, что для исследователя, занятого историей именно народа в целом, а не его правящего слоя (такого же национально-этнически яркого, но слишком уж тонкого), основной интерес составляет составляет бытовая культура, несущая основную массу информации о нем. Причем бытовая культура, понятая максимально широко, то есть включающая в свою сферу социальную, культурную и хозяйственную деятельность населения. Обратимся же к основе основ бытия любого народа — к его хозяйственной жизни и экономической деятельности.

а) Скотоводство

Придя в Крым, степные кочевники довольно долго не принимали и не могли принять образ жизни, свойственный оседлому населению, к тому же в массе издавна тяготевшему к городской культуре (хотя горожане составляли совсем небольшую его часть). Поэтому бывшие ордынцы многие десятилетия сохраняли старый образ жизни в полной его целостности, сознательно стремясь следовать заветам предков, — это касалось даже частностей. И конечно, ими была сохранена основная и древнейшая отрасль их экономики — коневодство. Лошадь была для крымцев не только транспортным средством. Они умели делать из кобыльего

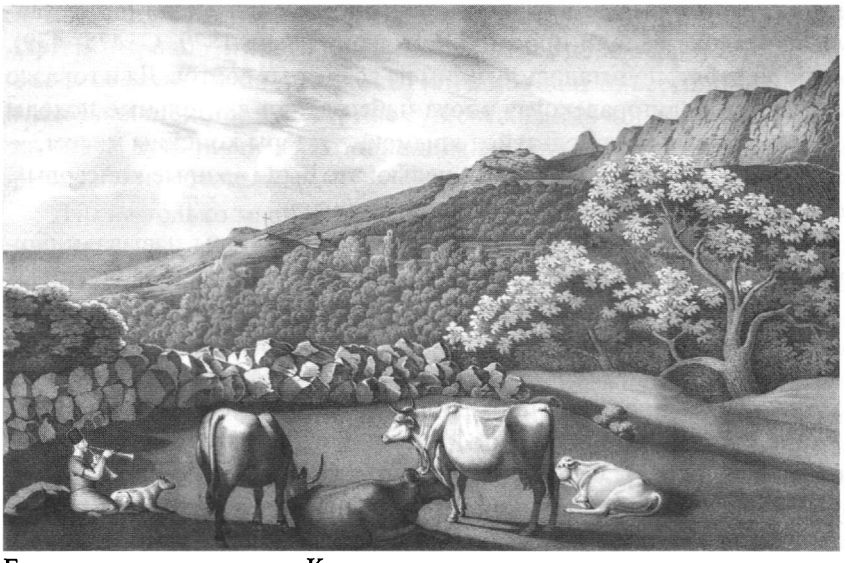
молока острые и вкусные сыры, сбраживая его (иногда с ячменём), приготавливали кумыс, на молоке варили просяную похлебку (*Люк*, 1879. С. 478–479). А мясо, особенно жеребят, почиталось лучшим из всех иных сортов. Да и гораздо позже, когда началась полуторавековая эпоха набегов, эти длительные походы также были бы невозможны, не пользуйся крымские татары конским мясом, — часть лошадей брали с собой именно с этой целью: это были «живые консервы», к тому же ещё и не требовавшие средств транспортировки.

Крымские лошади вели свою породу, которую сами татары называли *бахмет*, от тех невысоких, но удивительно быстрых, неприхотливых и выносливых коней, которыми славилась Золотая Орда. Утверждали, что в них текла кровь и легендарной скифской лошади. У них была примечательная внешность: гривы «очень густые и свисают аж до земли, а хвосты волочатся сзади» (*Боплан*, 1990. С. 55–56). Крымская конница проходила без остановки 20–30 лье (более 130 вёрст, о длине суточного перехода см. ниже), и это не на коротких маршрутах, а в длительных походах, часто в незнакомой местности. Кони были прекрасно обучены: «Несясь во весь опор на коне во время преследования врагом и чувствуя изнеможение одного коня, татары на всем скаку перепрыгивали с одного на другого и мчались безостановочно дальше; кони же, освободившись от всадников, тотчас брали правую сторону и неслись рядом с хозяевами, чтобы в случае усталости второй лошади вновь принять их на свою спину» (*Эварницкий*, 1895. Т. I. С. 397; см. также: *Боплан*, 1990. С. 55). «Их лошади весьма смирны; не найдёшь такой, которая кусалась бы или лягалась, к тому же они удивительно выносливы и могут пробежать как бы рысью сто лье (около 440 км. — *В.В.*) в день; так они идут 3 или 4 месяца, не утомляясь» (*Дортелли*, 1902. С. 123).

Зимой в походе эти лошади питались мёрзлой травой или её корнями, разгребая копытами снег, а в лесах могли есть листья и даже хворост: «глад елико наивеличайший терпеть могут, токмо листвием лесным, и хврастием, и кореним, их же копытами выбивают, питающеся» (*Лызлов*, 1990. С. 12). Они не знали подков, лишь иногда, когда много дней приходилось скакать по каменистой земле, к их копытам привязывались куски рога. В целом крымские кони настолько превосходили породы, известные у соседних народов, что ханы запрещали их продажу на вывод (*Хартахай,* 1866. С. 169), справедливо полагая, что залог военных успехов Крыма — в монополии татар на это скифское наследие.

Общее количество лошадиного поголовья в Крыму определить нелегко, никто не вёл их точного учёта, так как владение даже косяком коней ханским налогом не облагалось. Но различные авторы указывают, что лишь в походы в XV–XVII вв. татары брали с собой до 300 000 лошадей (*Эварницкий*, 1895. Т. I. С. 395). Сколько голов рабочего скота при этом оставалось дома — неизвестно, существовали ли вообще в эту эпоху рабочие лошади — тоже: в Новое время их уже заменили волами, ослами, мулами и буйволами.

В Крыму всегда было множество овец, ценимых за мясо, молоко и в особенности за шкуру: зимняя одежда шилась обыкновенно из овчины, а из шерсти изготавливали толстое, тёплое сукно, использовавшееся для пошива *сакма-штан* (мужских брюк) и других видов одежды. Отары паслись в основном в степной части, число голов в одной из них могло достигать нескольких тысяч. Приморские же и горные татары уже тогда летом отгоняли своих овец

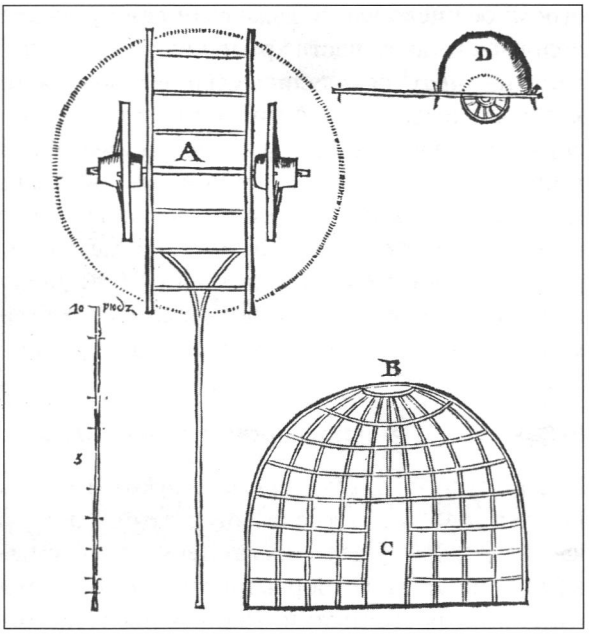


Горные крымские коровы. Кореиз.
Немецкая литография XIX в.

на яйлы Главной гряды. Там же на пологих склонах заготавливалось сено на зиму, причём не только для овец. В XV в. как овцы, так и крупный рогатый скот были высокопородными: очевидно, крымцы использовали методы селекции, выработанные в многовековом кочевом прошлом. Посол Венецианской республики А. Контарини, посетивший в 1473 г. Крым проездом в Персию, записывал, что «татары кочуют по местам, изобилующим тучными пажитями и водой (никогда не оставаясь долго на одном месте). У них такие коровы и быки, каким подобных, я думаю, не найдёшь в целом свете; бараны и овцы тоже отличной породы» (*Контарини*, 1836. С. 96).

Охотно использовали крымцы в пищу и коровье молоко (хотя коров было относительно немного). Его добавляли в кумыс, из него делали острые сыры. Одним из основных продуктов питания исстари считался катык — кислый напиток из коровьего или овечьего молока; в готовом виде его привозили на продажу в крымские города. Сливочное масло изготавливалось в количествах, достаточных как для внутреннего потребления, так и экспорта. Этот продукт славился высоким качеством, его ценили в Стамбуле. Так, в 1600 г. на нужды только султанского дворцового хозяйства из Кефе было доставлено 2 000 кантаров (кантар равен 1 центнеру) очищенного сливочного масла (*Inalcik*, 1994. P. 129).

Уже в первые десятилетия пребывания тюркских кочевников на полуострове ими была выработана вполне грамотная система внутреннего и внешнего (заперекопского) кочевания, предусматривавшая чёткий хозяйственный скотоводческий цикл со стабильными маршрутами перекочёвок и рациональным использованием весенних, летних, осенних и зимних пастбищ коллективного владения. Такое цикличное природопользование не только основывалось на старинных кочевых традициях, но и, как свидетельствуют источники, в ханский период уже напрямую контролировалось государством (*Мухамедьяров*, 1990. С. 575).



Арба и юрта крымских татар.
Рис. из: Боплан, 1839

Из другого скота разводили коз (они давали не только ценное молоко, но и сырьё для изготовления сафьяна), два вида верблюдов и буйволов, последних — почти исключительно в горной местности и на побережье. В степной части Крыма в качестве рабочего скота широко использовались волы[1]. Ослы были не только рабочим скотом, но и излюбленным видом верхового и вьючного животного в небогатых хозяйствах. С другой стороны, не было семьи, где не имелось бы подседельной лошади, ведь её содержание в крымских условиях вольных пастбищ практически ничего не стоило.

Из домашней птицы более всего разводили кур, их было несметное количество, и они поражали путешественников XV–XVII вв. своей дешевизной (*Люк*, 1625. С. 477).

Поистине несравненный мёд давала крымская серая пчела. Пасек на полуострове было множество, и с течением времени их становилось все больше. Так, по данным на 1780 г. откупщик Абдул-Хамид-ага, бравший налоговый сбор с улья в переводе на русские деньги по 4 коп., получал годовую сумму в 900 руб. (*Лашков*, 1897 «а». № 2. С. 27). Если разделить вторую сумму на первую, то получится

[1] В частности, эти медлительные, но сильные животные как нельзя лучше подходили для неспешного передвижения огромных семейных кибиток по крымским степным просторам. Фламандский путешественник XIII в. записал, что расстояние между колёсами, то есть ширина колеи такой повозки, доходила до 20 футов (6 метров), а платформа, на которой высился «дом», выходила за колёса ещё по 5 футов с каждой стороны. Ось такого степного корабля «была величиной с мачту корабля» (*Рубрук*, 1910. С. 68). Неудивительно, что его тащило 22 вола, запряжённых двойным цугом, то есть по 11 с каждой стороны (там же). Нужно сказать, что если такие повозки и имели некоторое распространение в указанное столетие, то позже они бесследно исчезли.

огромное число ульев, даже если даже учитывать, что откупщик включал в этот налог и какую-то часть крымских плодовых садов. Начиная с апреля на горных лугах и *чаирах*[1] появлялись ульи не только жителей предгорий или гор, но и некоторых степных сёл. А затем по крутым дорогам к портовым городам тянулись скрипучие арбы, на которых, укутанные соломой, покоились глиняные запечатанные кувшины с драгоценной янтарной жидкостью. Мёд был важным предметом вывоза, причём главным потребителем его были турки, а султанский двор вообще не потреблял иного мёда, кроме того, что ему поставляли пчеловоды деревни Османчик (*Хартахай,* 1866. С. 169). Воска же хватало для четырёх крупных свечных заводов, в душистой продукции которых в равной мере нуждались как мечети, так и церкви Крыма и соседних стран.

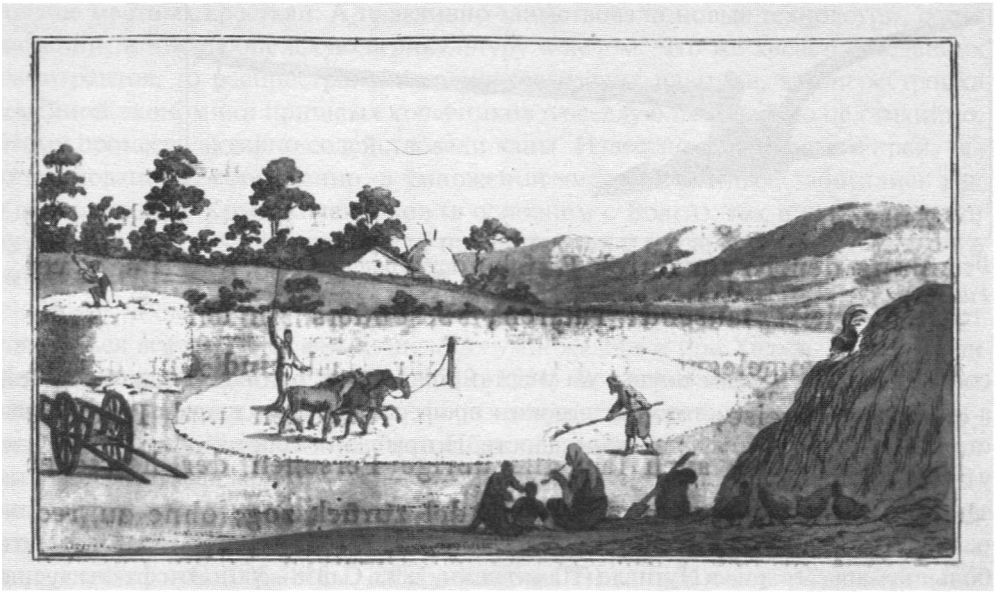
б) Земледелие, виноградарство и садоводство

Несмотря на преобладающе кочевую скотоводческую экономику в степной части полуострова, крымские татары даже в степях хранили земледельческие традиции, часть которых существовала здесь из глубины веков, а другая была привнесена в Крым позже, золотоордынцами, которые также никогда не были стопроцентно «чистыми» кочевниками. Так, уже после прихода в Крым, но задолго до отказа от кочевого скотоводства, они умели совмещать эти две отрасли хозяйства. То есть весной запахивались поля, засевался хлеб, затем кочевье уходило за Перекоп и возвращалось лишь ко времени уборки урожая (*Якобсон,* 1964. С. 134). Однако наиболее сильное влияние на судьбы и пути развития степного земледелия оказывало живое наследие древнего крымского населения, прежде всего аборигенов предгорий и гор. И, конечно, традиции греков, римлян и генуэзцев.

На азиатских пришельцев не могли не подействовать и те наглядные выгоды, что крымчане извлекали из товарного производства хлеба и других земледельческих культур. Это видно даже из того, что кочевники уже в первые десятилетия своего пребывания в Крыму не ограничиваются традиционным просом, а сеют все новые виды зерна, поначалу на скромных площадях. Арабский автор первой половины XIV в. аль-Омари отметил, что у них «посевов мало и меньше всего пшеницы и ячменя... чаще всего встречаются у них посевы проса, ими они и питаются» (цит. по: *Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 230). Но уже в первой половине XV в. они производят пшеницы и других злаковых даже больше потребности. И, конечно, бóльшую часть хлеба здесь заранее готовили не для собственного потребления, а на продажу горцам полуострова, занимавшимся садоводством и виноградарством (*Лызлов*, 1990. С. 116; *Лашков*, 1895. С. 42).

Таким образом, уже в XV в. в Крыму бесспорно велось *товарное* производство хлеба, а некоторые данные подтверждают, что оно было развито и раньше. Причём хлеб производился в относительно крупных количествах — феномен, совершенно чуждый для кочевой экономики. На этот счёт имеются документаль-

[1] Чаир — небольшой участок земли в лесу, расчищенный и обработанный одним хозяином и огороженный плетнём или каменной изгородью. Бóльшая часть чаиров предназначалась для садоводства, но использовались они и под огородные культуры, табак и зерновые. Ставили там и ульи — как правило, по периметру участка.

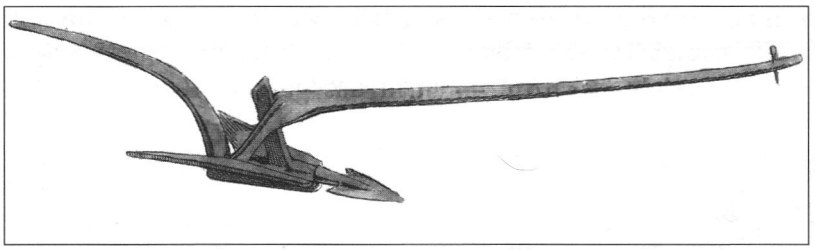


Молотьба хлеба: по мере наматывания корды на столб круги упряжки сужались, затем она двигалась в обратном направлении. *Рис. из: Pallas, 1801*

ные доказательства — неоспоримые, как любые официальные (актовые в данном случае) сведения. Речь идёт о ханских ярлыках XV–XVI вв., подтверждающих право обладания мурзами землями и другой недвижимостью, предоставленной им в наследственное владение в качестве удела или *сююргала*. Именно в этих актах, перечисляющих права и обязанности мурз, перечень их повинностей, как показывает анализ актов, «носит на себе печать развитой земледельческой культуры» (*Мухамедьяров*, 1990. С. 575).

Как указывалось в предыдущей главе, уже в XVI в. хлебный экспорт Крыма превосходит все иные виды вывоза, в том числе рыбы, соли и тем более рабов: «Крым с его плодородными равнинами делается житницей Константинополя» (*Бахрушин*, 1936. С. 38). Султанский фирман одно время даже ограничивал экспорт крымского исключительно Портой — это случилось после того, как в пору двухлетнего неурожая Крым спас своим зерном пол-Турции. Тем не менее даже весьма серьёзные авторы объясняют причину набегов крымских татар именно слабостью крымского земледелия: «Хозяйство татар очень часто страдало от стихийных бедствий (засухи), саранчи и эпидемий». Ни садоводство, ни пашенное земледелие «не могли обеспечить *даже минимальные потребности* массы татар» (*Якобсон*, 1973. С. 140). Это одно из тех утверждений, что не заслуживают критики, несмотря на заслуженный авторитет их автора.

Иностранный гость, посетивший Крым в начале XVII в., сообщал, что в эту пору пшеница и «прочие хлеба» культивировались и в горно-прибрежной части полуострова, часть урожая при этом отправлялась в Стамбул на продажу (*Дортелли*, 1902. С. 131). Более того, как сообщает другой автор, ещё в более раннюю эпоху земледельческие угодья были дифференцированы: крымцы делили свои угодья,



Лёгкий плуг *сабан* для обработки виноградных междурядий.
Рис. из: Pallas, 1801

согласно особенностям почвы, на участки «пахотные, луговые и пастбищные», а это говорит как о достаточно высоком профессионализме в этой сфере хозяйственной деятельности, так и об оседлости. Потребление собственного хлеба стало у бывших кочевников столь привычным, что в случае неурожая не жалели денег на закупки его за рубежом. Так, в засуху 1517 г., когда «от солнца и хлеб, и трава выгорели», Мехмед-Гирей просил у московского князя Василия III разрешения купить большие запасы зерна в Путивле (Памятники, 1895. С. 358–360). Эти факты лучше иных свидетельствуют о стойких традициях зернового земледелия и оседлости[1].

Известно, впрочем, что довольно рано, ещё до 1420-х гг., крымские татары заимствовали у греков и итальянцев Крыма высокое искусство виноградарства и садоводства (*Броневский,* 1867. С. 348; *Мухамедьяров*, 1990. С. 575). Дело было не в том, что в Крыму вообще отсутствовали эти отрасли хозяйства, об их высокоразвитом состоянии в античный и византийский период говорилось выше. Но с тех пор прошло немало времени, на протяжении которого виноградарство и плодоводство не то что пришли в упадок, но утратили былые связи с мировыми центрами этой аграрной отрасли, расположенными в Южной Европе. Поэтому виноградарство Крыма оказалось несколько отстранённым, если не изолированным от этого региона, где тем временем были выведены новые, перспективные сорта лоз. Теперь благодаря возобновившимся деловым контактам и совместному с колонистами производству виноградарство Крыма снова выходит на европейский уровень[2].

Об этом свидетельствует ряд источников, в которых отражены богатый выбор и высокое качество сельскохозяйственной продукции, экспортировавшейся в этот период в южном направлении. Что же касается количественной массы вывозимых продуктов, то она никак не могла быть достигнута силами одних лишь колонистов; они с течением времени втягивали в производственный процесс всё

[1] К сожалению, даже самые современные исследователи иногда считают, что крымские татары и позднее, в XVI — первой половине XVII вв. по-прежнему оставались сплошь кочевниками (см., например: *Атаманенко*, 2010. С. 20).

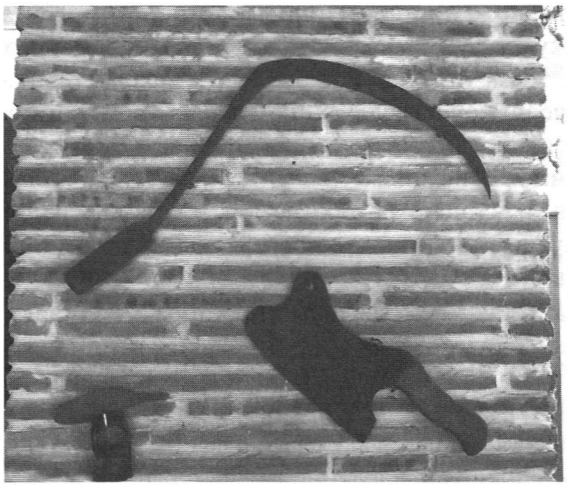
[2] В лучшем состоянии оказалось садоводство, не столь нуждавшееся в обновлении, поскольку продукция садов и чаиров в основном уходила на внутренний рынок, не столь требовательный, как внешний. Здесь не наблюдалось никакого упадка, ведь старинные плодовые сорта вообще не подвержены влиянию времени. Яблони, груши, сливовые деревья при умелой подрезке могут плодоносить многими десятилетиями, шелковица и при менее тщательном уходе сохраняет плодородие столетиями, а маслина или орех могут достигать и тысячелетнего возраста.

больше местных крестьян. А те активно заимствовали новые технологии, сорта растений, южноевропейскую агрикультуру в целом. Что же касается недавних иммигрантов, то распространение земледельческих навыков, вся перестройка семейной экономики пришлых кочевников в оседлую шли далеко не стихийно. Этому процессу активно содействовали ханы. Известно, что первые Гиреи, заинтересованные, естественно, в умножении числа подданных, заботились как о переселении в Крым кочевников (в основном с Волги), так и о закреплении их на новом месте — а что может лучше привязать к земле вчерашнего вольного сына степей, чем зерновое хозяйство!

И вот, в степной части Крыма, в пустых ковыльных просторах, начинают появляться всё новые селенья; число их умножалось и при Хаджи-Гирее, и при Менгли, и особенно при Сахибе I (1537–1551). Все переселенцы сохраняли свои старые скотоводческие традиции, но развивали, повторяю, и новые, земледельческие. Уже при Менгли-Гирее хан и беи целиком согласовывали свои походы с земледельческим календарем, что вполне определённо указывает на всё больший вес, который получало зерновое пахотное хозяйство по сравнению с чисто скотоводческим. Об этом говорят и источники российских архивов. В одном из донесений с южной границы, датированном 1491 г., прямо говорится, что с наступлением полевой страды хан «улусы свои на пашни и на жито распустил». Далее указывается, что Менгли-Гирей в поход ратью не пойдёт, пока «хлеб свой [не] возьмёт» или «как жнитво будет» (Памятники, 1884. С. 108, 117, 191). Да и сам хан в своих грамотах к соседним монархам ссылался на хозяйственные заботы, перед которыми на задний план отступали политические интересы: «Как жито поспеет и мы... дело королёво сделаем» или «учнём его воевать, как жито поспеет» (Памятники, 1895. С. 20, 39).

Этому процессу хозяйственной переориентировки содействовала доступность земли: по крымско-мусульманской традиции бывшие пустоши, на которые «садились» новые хозяева, переходили в их собственность в полном соответствии с шариатом (Законоведение, 1850. С. 449–453). Это относилось и к тем, кто селился на домене хана, калги или нуреддина (о титулах калги и нуреддина см. ниже). Запахивая любую пустую землю, поднимая целину степи, выравнивая и расчищая почву под *кору* (горную пашню) или чаир, пахарь становился её собственником. При этом он отнюдь не превращался в крепостного, чем-то обязанного верховному владельцу земли (для того, чтобы занять участок, лишь иногда требовалось формальное разрешение имама), — чрезвычайно важный факт для понимания дальнейшего развития крымского общества. Причём это мусульманское в основе право распространялось и на христиан. Так, например, вблизи деревни Аян (домен калги) таких участков было более тридцати (*Лашков*, 1895. С. 79), и нам не известен ни один случай отсуживания верховным владельцем сколь угодно обширных территорий земли у крестьян. Очевидно, было просто бесполезно обращаться с такого рода тяжбой в самый авторитетный, духовный суд кадиев, незыблемо руководствовавшийся в своих решениях чётким определением шариата: «Ожививший (то есть впервые обработавший. — *В.В.*) землю — ею и владеет».

Уже в XVI в. крымская пашня раскинулась на огромных просторах степи — это была «та часть полуострова, в которой живёт хан со своими татарами, от Перекопа к озеру до Крыма; обработанная, ровная и плодородная...» (*Броневский*,



Старинный крымский серп. Ниже — кухонный топорик — *балтачыкъ* для рубки мяса. *Коллекция Одун-базар-капусы, фото автора*

1867. С. 345). До наших дней дошло большое число так называемых кадиаскерских записей начала XVII в., касающихся земледельческих участков по долинам рек Альмы, Качи, Салгира, в окрестностях Бахчисарая, Акмесджита и далее, на всем протяжении степной части, вплоть до Гёзлёва. Судя по этим записям, — а как источник они неопровержимы — повсюду на этих землях уже стояли многочисленные деревни и хутора крымских татар-земледельцев и оседлых животноводов (*Сыроечковский*, 1960. С. 13).

Ещё один важный признак широкого развития земледелия и оседлости — расширение частной собственности на землю. Уже в XVI — начале XVII в. (по сохранившимся источникам, а на деле, возможно, гораздо раньше) на крымской земле совершаются сделки о купле-продаже значительных участков частновладельческой земли. Так, в деревне Карагач (Бахчисарайское каймаканство) местный житель Караман Чоры продал Сияшь-аге участок земли площадью не то в полтораста, не то за двести гектар[1]. И это — не исключительный случай, так как тут же приводятся сведения о подобных сделках, которые заключили другие крымские татары-владельцы: Урлюк Эвмер, Дутый Аджи, Джан Акмас, Болек, Али-паша и так далее.

Итак, уже в середине XVI — начале XVII в. татары сеяли не только излюбленные кочевниками не требующее полива крупнозернистое красное и жёлтое просо и скороспелый ячмень, но и пшеницу, причем в немалых количествах, судя по цене: «воз пшеницы, нагруженный так, что его может везти только пара быков, стоит не более 2 экю» (*Люк*, 1625. С. 477). Ясно, что речь здесь идет о *товарном* хлебе. Ячмень, в отличие от пшеницы, не вывозили. Ячменную или просяную поджаренную муку, а также толокно брали с собой в походы; из проса же изготавливался популярный слабоалкогольный напиток буза, дошедший до наших дней. Вывозили за море в основном пшеницу, отчасти рожь.

[1] Названная в источнике величина — 55 *занов* (ИТУАК, 1996, № 24. С. 84–85) — не слишком удобна для перевода в современные меры, поскольку не указывается, о малом зане идет речь (3 десятины) или о большом (5 десятин).

В XV в. только для Турции ежегодно грузили до 150 кораблей с крымским хлебом (*Peyssonnel*, 1787. P. 165).

Менее значительны были посевы риса, овса, тари и чечевицы, целиком шедшие на внутреннее потребление. Зерновые запасы татары хранили не в амбарах, а по древнему способу — в ямах-*орузах,* изнутри обложенных сухой соломой или обмазанных глиной. Иногда обмазку делали из обычной земли: главным был не материал, а тщательная просушка ёмкости перед закладкой. Для этого готовый оруз доверху заполняли соломой и выжигали её. После опорожнения оруза такую операцию повторяли — так одновременно уничтожались и возможные зерновые болезни. Любопытно, что орузы сохранялись в крымскотатарском хозяйстве до XIX в. включительно.

Западный исследователь подробно описывает такое древнее сооружение, по сравнению со старым временем увеличившееся в размерах. Форма оруза была бутылкообразной, причём «горлышко» было довольно узким (чтобы только мог пролезть взрослый человек), достигая длины 0,5 м. Глубина же бывала и до трёх с половиной метров при ширине 2 м. По заполнении ёмкости её горло «запечатывали» соломой, сверху насыпался и трамбовался холмик высотой в 30–40 см. Входило в такую яму около 600 кг зерна. Иногда копали и более крупные, вместимостью в полторы тонны, но их использовали для общественной, казённой и других надобностей, так как такой объём хлеба, не будучи использован быстро, в открытом орузе мог испортиться. Практичнее было иметь несколько ям на семью — для меньшего риска прорастания или загнивания хлеба. Причина такой живучести зерновых ям, очевидно, в их практичности. В отличие от амбаров, они не требовали особых затрат на строительство, им не нужен был никакой присмотр или уход, а хлеб в закрытых орузах хранился поразительно долго, до 20 и даже 50 лет, тогда как запас проса хозяин мог завещать и правнукам: оно лежало в орузе невредимым до ста лет (*Буров*, 2006. С. 83).

Не везде в Крыму так цвели персики, как в Бахчисарае и окрестных долинах, но груши, яблоки, сливы, вишни и, конечно, орех росли повсюду. Маслина была распространена лишь на Южном берегу.

Овощей крымцы в эпоху Средневековья практически совсем не выращивали, считая, что Аллах создал зелень лишь на потребу лошадям. Зато табак правоверным отнюдь не запрещался; согласно крымскотатарской пословице, «кто после еды не закурит, у того или табаку нет, или ума». Выращивали его и на вывоз, поэтому каждую осень крымские табачные папуши можно было видеть не только на бахчисарайских или старокрымских, но и на украинских и даже стамбульских рынках, где в табаке знали толк.

Таким образом, уже в XV–XVII вв. можно обоснованно говорить о широком развитии земледелия как отрасли экономики крымских татар, полностью обеспечивающей собственные потребности в хлебе, а также спрос на внутреннем и внешнем рынке. Более того, в зерновых районах Крыма, в основном в степи, уже сложилась развитая многопрофильная товарная хозяйственная структура. Серийные источники (главным образом это многочисленные завещания) упоминают о пахотных землях, плантациях технических культур, фруктовых садах, мельницах, виноградниках и другой ценной недвижимости, о родовом достоянии, передающемся по наследству (*Секиринские*, 1991. С. 143).

в) Ремесло и торговля

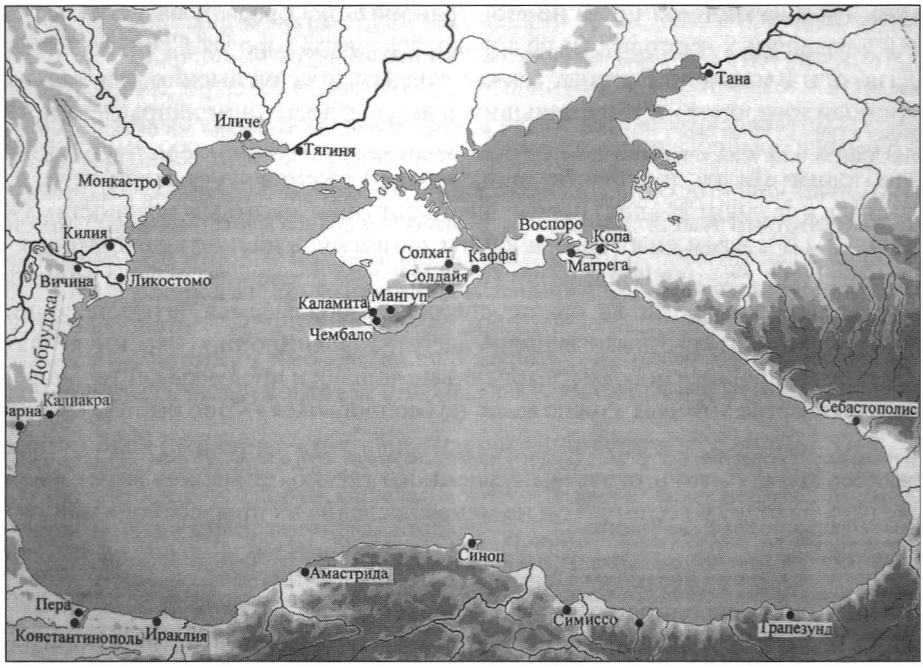
Ремесло и торговля были, естественно, известны крымским татарам и в эпоху преимущественно кочевого уклада в их истории. Ремесленники сопровождали племена во время их сезонных миграций, но более всего мастеров собиралось в местах базаров, как постоянных, в городах, так и довольно часто возникавших среди голой степи (*Якобсон*, 1964. С. 139). Конечно, гораздо более удобным для поставок сырья, производства и сбыта продукции был оседлый быт в городах, и ремесленники с XII в. стали оставаться для постоянной жизни в больших и малых селениях полуострова, а позже и в ханской столице. Что касается торговцев, то их было также достаточно и близ рядовых кочевий, и, в особенности, вблизи постоянного пребывания двора, на крупных скрещениях сухопутных торговых путей и в приморских городах. Обе эти отрасли экономики после полного оседания пришлых племён на крымской земле достигли куда более высокого развития, став фундаментом для многосословного уклада.

Впрочем, последний процесс скорее — заслуга города, а не ремесленников или торговцев, поскольку город старше горожан в собственном понимании этого слова. Возникнув на скрещении торговых и миграционных путей, он становится местом концентрации мастеров, группирующихся по профессиям. Эти группы, находящиеся ещё вне символического сословного порядка, именно здесь приобретают форму цехов, а сословия складываются позднее. Причём этот процесс шёл почти исключительно в городских границах, так как и родовая знать то ли перебирается в города, то ли устанавливает прочные и постоянные связи между родовыми имениями и административно-политическими и культурными центрами ханства.

Свою цеховую организацию ремесленники, скорее всего, заимствовали у местного населения — греков, в свою очередь принёсших ее со старой родины — из Византии[1]. Однако не следует полагать, как это иногда принято, что бывшим кочевникам пришлось *абсолютно всё*, что касается ремесла и обмена товаров, перенимать у более или менее культурно развитого крымского населения. При этом упускается из виду существование в Золотой Орде не только устойчивого земледельческого уклада, но и городского ремесла, и торговли. Эти отрасли были призваны обслуживать в первую очередь село и город, где ёмкость рынка была гораздо большей, чем в кочевых ордах (экономика которых была почти полностью натуральной, самообеспечивающейся и самодостаточной). По крайней мере, не стоит забывать, что в степном государстве, считавшемся до недавнего времени если не полностью, то преимущественно кочевым, насчитано уже около 100 городов, примерно столько же, сколько их было в ту эпоху в полудеревенской Западной Европе (*Кульпин*, 1998. С. 53–54).

Точных статистических сведений о крымскотатарской торговле в XV–XVI вв. имеется немного. Однако даже тех данных, что удалось обнаружить, вполне

[1] Имеются в виду первичные, как правило, устные и часто менявшиеся цеховые традиции, ещё не приобретшие форму жёстко фиксированных статутов, имевших силу в более чем одном городе и обязательных к исполнению. Наивысшего своего развития, то есть структурно и организационно законченного, более не менявшие вида цехи достигли лишь к XVII–XVIII столетиям.



Основные пункты торговли Черноморского побережья в XV в.
По: Мыц, 2009

достаточно, чтобы усомниться в правоте всеобщего мнения насчёт абсолютно преобладающей роли в этой отрасли итальянских колонистов. Так, в 1490 г. в Кефе побывало 75 судов. Из них только 8 было греческих, 7 итальянских и одно, кажется, русское. Все остальные были мусульманскими, частью турецкими, частью крымскотатарскими. Ещё более интересен анализ этнической принадлежности использовавших эти суда купцов. Из общего числа (157 человек) 14 были греками, 4 итальянцами, 3 евреями, 2 армянами, один молдаванином и один русским, а остальные 130 — мусульманами Крыма и Турции. О том же говорят складочные порты, откуда грузы прибыли на этих судах в Крым: основная масса их шла из Стамбула, Бурсы, и портов Анатолии от Босфора до Трапезунда, но в основном из Синопа, с которым у крымских татар издавна были особо тесные связи (*Inalcik*, 1994. P. 129–130).

В торговой отрасли татар Крыма той поры наблюдается довольно общее явление: наряду с заимствованием местных традиций идёт перенос на новую почву и золотоордынской патриархальной, и средиземноморской культуры (Федоров-Давыдов, 1973. С. 167–168). Это касается как роста городов (здесь сказался пришедший временно в упадок принцип традиционного городского централизма Золотой Орды), так и доли ремесленно-торгового населения в них. Во всяком случае уже к XV — началу XVI в. можно говорить о значительном развитии крымского ремесла *(Сыроечковский*, 1960. С. 17).

Свой отпечаток на коммерцию и ремесло не могло не накладывать многовековое существование Великого шёлкового пути. Крым был не только перевалочным

пунктом и важной станцией на этой грандиозной торговой магистрали. Начинаясь в различных портовых (и не только портовых) городах Средиземноморского региона и Восточной Европы, тонкие ручейки товаров именно здесь сливались в мощный товаропоток, устремлявшийся далее, в восточном направлении. Именно в Крыму формировались караваны, снабженные охраной, обозами с припасами, необходимыми для путешествующих в течение немалого времени (путь в Китай занимал в среднем 284 дня) преимущественно по пустынным местностям (*Карпов*, 2000. С. 220). Этим снабжением купцы занимались не в исходных точках своего путешествия, где-то в Италии или Испании, а на последнем рубеже цивилизованного мира, и конкретно в Солхате, специализировавшемся на обеспечении таких поездок самыми серьезными вещами. Здесь, за традиционно умеренную плату приобретались прочные повозки, выносливые лошади и продукты длительного хранения, о качестве которых можно было не беспокоиться — оно было *крымским*.

Экономическое сотрудничество крымцев с итальянскими колонистами оборвалось из-за частичного и вынужденного (не по татарской вине) выезда последних на старую родину. Тем не менее наследие их профессионального опыта, прежде всего в торговле, мореходстве, ремесле, после этого даже умножилось. Лишённое сразу целых отраслей, ранее обслуживавшихся преимущественно итальянцами, народное хозяйство в первое время разладилось, захромал сбыт, стало нехватать привозных товаров, сырья, продуктов и орудий производства. И татары были просто вынуждены срочно овладевать профессиями, в которых ранее были заняты весьма немногие из них. Наведывавшиеся изредка в Восточный Крым из Италии старые компаньоны, друзья и соседи с удивлением отмечали, что после краткого упадка дела пошли не хуже, чем раньше. Эти впечатления отложились в переписке и мемуарах, позже отысканных итальянскими историками. Они сообщают, например: «Уход итальянцев ещё более втянул [крымских] татар в не совсем традиционную для них экономику. Это стимулировало их по всем видам сельского хозяйства. К тому же природное плодородие крымской земли содействовало тому, что год от году росла самостоятельная экономика отдельных хозяйств. Постепенно татары занялись и совершенно самостоятельной коммерцией, целиком основанной на сбыте собственной продукции» (*Canale*, 1855. Vol. II. P. 205). Естественно, новые виды деятельности, приносившие сравнительно высокие и, главное, стабильные средства к существованию, не могли не притягивать и тех, кто раньше был совершенно чужд этим отраслям. Кочевники оседали на земле, ремесленники и розничные торговцы селились в городах, многие уходили в море на торговых судах, разводили сады, осваивали лов речной и морской рыбы.

Тогда-то, как писали итальянцы, и проявилась в полной мере любовь татар к труду; «оказалось, что переход к мирной жизни им нравится куда больше (*apparanda loro quali beni si derivassero da una pacifica vita*), чем былые занятия». Особенно быстро стало при этом развиваться мореходство, очевидно, как отрасль, без которой уже совершенно невозможно было обойтись. Более того, торговля в крымских городах стала расти темпами, каких никогда не было при венецианцах и генуэзцах, посылавших по крупным сёлам своих разъездных агентов. Правда, по ряду причин (периодический дефицит звонкой монеты, традиции натуральной экономики сельского хозяйственных регионов и пр.) торговля эта пока была пре-

имущественно меновой. В такт с этими переменами происходила примечательная метаморфоза и во внешности крымских татар: отмечали, что на глазах меняется их физический облик, характер и даже костюм (*Canale*, 1855. Vol. II. P. 205–206).

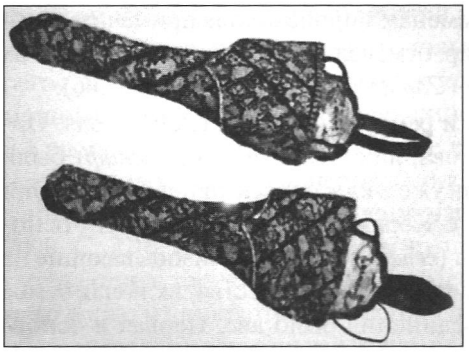
Не могли новые времена не коснуться и ремесленных отраслей города. Организация торговцев и ремесленников в товарищества или цехи (*эснаф*) были традиционными для мусульманского города уже в классический период истории исламской цивилизации. Поэтому вместе с Кораном в Крым проникли основанные на шариате типовые цеховые уставы (*селеф-намэ*), организовывающие на профессиональной основе труд городских мастеров и купечества, включая самое мелкое производство[1]. Причин такого объединения было две. Первая и основная: совместное производство уменьшало затраты на приобретение оборудования, помещений и инструментов, а оптовые закупки сырья и материалов снижали их цену.

Вторая причина была скорее социального плана. У нас нет достаточно систематизированных данных относительно того, что все крымские ремесленники и торговцы подвергались так называемому «феодальному засилью» со стороны административной элиты, отдельных баев или мурз. Но, тем не менее, добиваться своих прав, основанных на строгом выполнении городской общиной положений шариата о правах городских кустарей или купцов в случае их нарушения, было легче коллективно. А именно объединившись в цехи, сильные взаимовыручкой, личными связями и чувством единой команды своих сочленов. Поэтому цехи напоминали не столько профсоюз индустриальной эпохи (хотя здесь и там задачи решались весьма схожие), сколько духовно-нравственное братство суфийского типа[2], построенное на семейной иерархии, хоть и весьма жёсткой, хочется сказать «домостроевской», но всё-таки *семейной*.

Средневековые цехи можно было разделить на два основных типа. В строгом смысле термина цеховой организацией можно считать только первый из них, а именно *ширкет эбдон* («товарищество по занятиям»), то есть по профессиональному признаку. Впрочем, объединения такого типа считались законными и в том случае, если в них входили ремесленники разных профессий (Законоведение, 1850. С. 233). Такое многопрофильное объединение мастеров было необходимым в сложном, комплексном производстве (например, в седельных мастерских

[1] В уставе цеха определялись: размер заработной платы, качественные нормативы продукции, правила поведения работников мастерских данного цеха, а в случае нарушения этих предписаний — виды наказания вплоть до закрытия мастерской (*ёлсус*) и даже лишения виновных права проживать в городе. В селеф-намэ оговаривалось даже время открытия и закрытия мастерских, а также предельные количества выпускаемой продукции. Здесь же были перечислены права главного мастера цеха *уста-баши* и двух его помощников — по административной части (*игит-баши*) и секретаря-курьера (*чауш*).

[2] Пока ещё недостаточно выяснено значение суфийских общин города для его ремесленников. Но если учесть, что «по мере того, как росли дервишские организации, они становились всё более и более грозной силой», то, на наш взгляд, вполне логично предположение но том, что постоянная связь с пользовавшимися всеобщим уважением и влиянием «дервишами облегчала ремесленнику борьбу с крупными предпринимателями и купечеством и, таким образом, представляла известные экономические выгоды» (*Бертельс*, 2001. С. 515).



Чехол для пистолетов Девлет-Гирея III.
Журнал Къасевет, 2010, № 37

работали шорники, кузнецы и резчики по дереву). Второй тип именовался *ширкет уль-энон* (букв.: «товарищество по однородным вложениям»), и представлял собою скорее не цех, а торговую кампанию. В неё могли объединяться несколько владельцев капитала или партий однородного товара для совместных торговых или финансовых операций.

Подлинного расцвета городские цехи достигли, как говорилось выше, в XVII в., когда был отмечен не прекращавшийся уже в дальнейшем процесс социального и политического подъёма ремесленной и торговой прослоек городского населения Крыма. Но и гораздо ранее цехи пользовались правом на собственные знамёна-*санджаки,* а уста-баши — на почётный посох *сырлы-таяк*, который символизировал немалую их власть. Предпринимавшиеся в XV–XVI вв. отдельные попытки ограничить свободную деятельность цехов были неудачны и не могли препятствовать развитию творческих, духовных сил народа, выражавшемуся, в частности, в высоком мастерстве ремесленников. Не имея возможности достичь количественных показателей европейских мануфактур, крымские ремесленники достигали высшего совершенства в *качестве* продукции из металла и кожи, шерсти и дерева, так что многие из изделий почитались настоящими произведениями искусства. Впрочем, немалой была и масса товара. Так, крымские ножи — «*пичаки*», славившиеся по всему Востоку, закупались и Москвой; партии этого товара достигали 400 000 штук (*Бахрушин*, 1936. С. 41).

Ножи и кинжалы Крыма ценились прежде всего за отличную закалку и элегантную форму клинков. Но не менее привлекала любителей и отделка: мастер-*пичакчи* любовно украшал рукоятки своих изделий инкрустацией из моржовой кости и рога, а клинки — золотой и серебряной насечкой. Такие изделия находили сбыт и в Европе, более всего во Франции, отчего в Стамбуле было даже налажено производство подделок, на которые ставились бахчисарайские и карасубазарские клейма, после чего цена их резко поднималась. Столь же высоко ценились в Турции крымские луки и стрелы (*Inalcik*, 1994. P. 131). Северные соседи ввозили виды крымских изделий, производство которых они сами наладить не могли. Причем по причине отсутствия не столько сырья, сколько умения. Так, скот и, соответственно, кожа имелись и в Московии, но там с нетерпением ждали прибытия крымских купцов, чтобы купить «обросшие» транспортными расходами, но высококачественные башмаки или прекрасные крымские сёдла.

Здесь нужно понять, что крымские товары не были для московитов *абсолютной* необходимостью. Что касается, к примеру, кожаной обуви, то большинство русских если и видело её вообще, то на ногах более или менее зажиточных соотечественников, а само обходилось лыковыми лаптями. Да и среди обутых в кожу большинство выбирало башмаки по своему карману, а не по качеству. Но уж если состояние позволяло сделать выбор, то он был однозначным. Так же, как в наше время при сравнении, скажем, отечественной и итальянской автомашин, пусть даже одного объёма двигателя.

Любопытно, что и здесь находились фальсификаторы, пытавшиеся подделать крымские товары. Не менее забавно, что православная церковь на самом высоком уровне боролась с крымским импортом по своим, уже идеологическим причинам. Московские историки признают, что, тем не менее, в XIV–XV вв. в столицу крупными партиями ввозились «башмаки-ичетыги, наволочки крымские, камки крымские и гирейские, кушаки гирейские с разными шелками, тафьи крымские — те самые тафьи „проклятого и безбожного Махмета", против которых так вооружался Стоглавый собор. В Москве ценили крымские сёдла, выделке которых, как сказано, иногда подражали московские седельники» (История Москвы / Ред. *С.В. Бахрушин* и др. Т. I. Период феодализма XII–XVIII вв. М., 1952. С. 171).

Бахчисарайскими оружейниками изготавливались и различные виды огнестрельного оружия. Особенно славились карабины; один бахчисарайский карабин стоил от 15 до 200 пиастров — для сравнения скажем, что цена хорошего коня была 30 пиастров (*Хартахай,* 1866. С. 170). Этого вида оружия только на вывоз производилось от 2 000 до 2 500 стволов в год (*Никольский*, 1924. С. 22). Естественно, большой спрос на них был и внутри ханства. Крымские ремесленники полностью удовлетворяли и потребности в боеприпасах: в XVIII в. только в Кефе работало несколько пороховых заводов (*барут хане*); шел порох и за рубеж. Селитрой многочисленные эти заводы обеспечивались также своей: её варили в Карасубазаре.

В XV — начале XVII вв. был велик вывоз ковров, дубленых шкур, кожи, тканей. Более всего кож выделывалось в Гёзлёве и Карасубазаре, хотя ввиду дешевизны сырья и его изобилия кожевенные мастерские имелись не только во всех городах, но и во многих сёлах. Здесь выделывался товар разных сортов: сафьяны, юфти и шагрени, притом в богатом выборе оттенков. В источниках, касающихся вывоза продуктов скотоводства и ремесла через Кефе, Перекоп и Арабат упоминаются такие статьи, как сафьян, шерсть в тюках, сырые кожи, овчина и готовые шубы из неё, знаменитые серые и чёрные крымские смушки. При этом за рубеж уходили и шкурки двух первых сортов (*панаир-хаджи*) и третьего, качеством похуже (*Лашков*, 1897. № 4. С. 33–34).

Множество кож потреблялось местными, крымскими ремесленными мастерскими: из них шили упомянутые башмаки, «восточные» туфли, парадные подушки и т. п. Здесь, кстати, существовало строгое различение между сафьянниками-*сарачлар*, которые шили любые кожаные изделия, кроме обуви, и башмачниками (*араста*), также не имевшими права выходить за рамки своего ассортимента. Как дома, так и за рубежом самыми известными из кожевенных товаров были, конечно, крымские сёдла. Они отличались легкостью, удобством и красотой отделки; их вывозили в огромном количестве, даже с Кавказа приезжали за ними

купцы, так как черкесы платили за настоящее крымское седло буквально любые деньги (*Хартахай*, 1866. С. 170).

В Средние века не только на Востоке, но и в Европе была широко распространена медная посуда. Крымские *бакырджылар* (мастера-медники) и *калайджылар* (лудильщики) достигали высокого совершенства в её изготовлении, хотя инструменты и технологии при этом использовались самые простые и доступные. Кумганы и джезве, изготовление в Бахчисарае и Карасубазаре, Кефе и Гёзлёве имели отличительную особенность, придававшую этим изделиям особую прочность и долговечность: задний шов такого сосуда (неизбежный при сворачивании заготовки из прочеканенного медного листа) делался здесь не простым, прямолинейным, а зубчатым. Причём прямоугольные или косоугольные эти зубцы входили друг в друга в точности так же, как это происходит в изобретённой несколькими веками позже застёжке-молнии. Лишь после такого, практически беспросветного соединения, шов пропаивался латунью. Поскольку эти два металла имеют разные цвета, то знатоки в поисках настоящей крымской джезве обычно терли боковую поверхность сосуда под ручкой — и на темнокрасном фоне глазам открывалась изящная ярко-жёлтая змейка этой средневековой «молнии».

Старинная гончарная традиция не прерывалась в Крыму не веками — тысячелетиями. Посуду из обожжёной глины с крымскими клеймами археологи издавна обнаруживали в самых различных регионах, расположенных к югу, западу, востоку, и особенно к северу от полуострова (туда более всего отправлялось товаров в керамической таре). Но только при татарах производство товарной керамики развилось настолько, что посуда пошла на экспорт в чистом виде. То есть не как тара для мёда или вина, а в качестве самостоятельного товара. Большие и малые кувшины для вина, толстостенные бочкообразные горшки для солений, глазурованные блюда и тарелки, производство которых было развито более всего на восточном побережье (но не только там), вывозились в Румелию, Молдавию, Приазовье и на Кавказ. Спроса на эти прекрасные изделия определялся уже тем, что они были произведены в Крыму, чья керамика «выгодно отличалась соединением латинских, византийских, ориентальных и местных традиций» (*Еманов*, 1995. С. 135).

Весьма многочисленным был и цех мастеров-строителей различных специальностей. В техническом и творческом плане их искусство имело два основных источника. При оживлённом обмене зодчими, строившими здания духовной и гражданской архитектуры в различных странах Востока, естественно, крымские мастера постоянно были в курсе последних достижений строительной техники. С другой стороны, питаясь животворными соками общемусульманской архитектурной идеи, активно усваивая высшие её достижения (уже упоминалось, что в Крыму работал великий мастер мусульманского Возрождения, знаменитый Хаджи Синан), крымское зодчество не утрачивало местных черт и приёмов, пришедших в него из глубокой древности, из дотатарского прошлого. В частности, это было заметно в стилевом решении такого известного памятника, как дюрбе Ахмед-бея (XIV в.) на территории святилища Кырк-Азизлер в Эски-Юрте (Бахчисарай).

Здесь упомянуты лишь некоторые из многочисленных крымских цехов. Эти средневековые производственно-социальные организации со временем менялись мало.

Некоторое давление местных беев на права и свободы городского населения лишь временно и весьма незначительно могло тормозить развитие производственных и рыночных отношений. Но, повторяю, производительные и творческие силы развивались совершенно свободно. И не столько слабые и редкие попытки это давление оказать, сколько стремление вообще *не допускать* их, имело значение в жизни крымского Средневековья. Именно оно порождало и усиливало те консервативные в основе тенденции средневековой сплочённости горожан, что поддерживали корпоративный дух ремесленного населения, — это была защитная реакция города.

Но вместе с тем города не могли существовать в условиях замкнутости. Она постоянно и повсеместно взламывалась регулярными поездками горожан по территории Крыма и других стран, многообразными и многочисленными контактами с людьми разных профессий, состояний, а зачастую и культур. Внешне (для глаза европейского путешественника или купца), находясь в состоянии длительного застоя, крымскотатарские производственные силы неуклонно росли, накапливались чтобы в обновившихся условиях социальной и экономической свободы Нового времени стать двигателем всестороннего развития нации. Залогом этой потенции были с давних пор плоды творческой деятельности ремесленников Крыма.

В среде ремесленников издавна существовали собственные этические нормы. Они входили даже в официальное напутствие ученику при посвящении его в мастера, которое звучало так: «*Не запирай никогда своих дверей [перед бедными], не открывай дверей ближнего своего* (то есть будь честен. — *В.В.*) *и работай столько, сколько это необходимо для твоей жизни*»[1]. Как отмечает современный исследователь, последнее правило имело не только этический смысл: сдерживая рост количества продукции, оно повышало её качество, а это само по себе окупалось сторицею, вселяя в мастера гордость за своё искусство, любовь к делу, к труду как таковому (*Николаенко*, 1995. С. 16). Что, в конечном счёте, улучшало тот общий психологически комфортный настрой, о котором говорилось выше.

Но упомянутое ограничение всё же обязательным не было, в какой мере его придерживаться — зависело по большей части от самого ремесленника. Вообще мастера обладали поразительной для того периода свободой выбора во всём, что касалось количества и ассортимента товара. Ведь они не просто сидели и работали, ничего не видя дольше собственного носа, как это было правилом в средневековых ремесленных кварталах Западной Европы или Московии. Крымский мастер рассчитывал потребительские конъюнктуры, оценивал возможности и сегодняшнего и, что важнее, завтрашнего рынка. Ведь работал он *не на заказчика*, а на рынок. Это крайне примечательное явление, оно позволяет прийти к новым выводам и в социальном плане. Проблема требует специального исследования, но уже сейчас некоторые западные эксперты склонны относить такие производственные отношения к *капиталистическим,* хотя и в лоне старого общества.

---

[1] Между прочим, это древнее правило (точнее, начальная часть его, касающаяся дверей), дошло в почти неизменном виде до наших дней. Оно обратилось в пословицу, которая так же и звучит: «Не стучись в чужую дверь, а то и в твою постучатся» (*Какма ельни къапусыны, какарлар къапунгы).*

Старинный крымский топор.
Коллекция Одун-базар-капусы

Об этом, к примеру, говорит датский историк развития материального производства Р. Бробю-Йохансен и продолжает: «Это была, что ни говори, уже денежная экономика, а она вела за собой и новые социальные отношения. Она взрывала законы Средневековья, хоть и не все сразу, а поодиночке. Это был как бы замедленный взрыв. Для мастеров настала пора ловить свой шанс. Старая, сама собой разумеющаяся фатальная покорность своей участи сменилась производственным планированием и предприимчивостью. А в тех областях и странах, где человек не хотел учиться думать и работать на рынок, то есть торговать, сам становился товаром — его труд покупали как и тысячу, и десять тысяч лет тому назад» (*Broby-Johansen*, 1953. S. 120–121). Последнее — уже не о Крыме.

Образование Турецкой империи нанесло удар европейской торговле с Востоком в целом. Но в Крыму оно никак не уменьшило внешнеэкономического значения таких торговых центров, как Кефе или Солхат. И то, что позднее усилился более молодой торговый город Карасубазар, ставший складочным пунктом для вывозных товаров, положения изменить не могло. Временное ослабление торговли городов Восточного Крыма послегенуэзского периода вскоре сменилось подъёмом на новой, крымскотатарской основе. Ввоз теперь состоял не только из предметов роскоши и искусства, а и новых, прогрессивных средств производства, в частности, инструментов и видов сырья, способных интенсифицировать его.

Другое дело, что довольно широкие слои крымского коренного населения оставались почти полностью за пределами общенациональной экономики, ведя замкнутое натуральное хозяйство (это касается как степного, так и горного крестьянства) или же удовлетворяясь пассивной ролью покупателей, в лучшем случае поставщиков сырья (имеются в виду беи и мурзы, чье хозяйство также функционировало по почти замкнутому циклу самопотребления). Зато развивалась весьма налаженная уже в XV в. транзитная торговля ближневосточными, по большей части турецкими товарами (кумач, бязь, полотенца, салфетки, пояса и др.), отправлявшимися на север и запад, в основном польским и литовским татарам (*Смирнов*, 1889. С. 156).

В ту же эпоху, но не позднее 1530 г., нормальные отношения между Крымом, Оттоманской Портой и Московским государством содействовали процветанию турецко-русской торговли, в которой транзитные товаропотоки шли исключительно через Крымское ханство. Магистральных путей здесь было два: Чернигов-Киев-Аккерман-Килия и Курск-Белгород-Черкасы-Кефе (вариант — Азов). С конца XV в. московские купцы при посредничестве Менгли-Гирея получили привилегию на прямую торговлю с Портой, после чего они стали привозить товары не только в Аккерман, Кефе и Азов[1], но и морским путём далее, в Бурсу или Килию. В частности, эти и иные турецкие и крымские города были главными рынками сбыта сибирских соболей до начала резкого роста интереса к русскому меху в Западной Европе, относящегося к XVI в. (*Inalcik*, 1994. P. 132).

г) Охота, рыбная ловля

В крымской экономике исхода Средневековья немаловажную роль играли промыслы, в которых могло участвовать практически всё население. Причем на биофонде полуострова это в целом не отражалось. В степи всегда водилась масса дичи, но гораздо более разнообразен был животный мир гор и предгорий. Ещё в конце XVI в. путешественники отмечали, что «охота за оленями, дикими козами, кабанами и зайцами чрезвычайно прибыльна во владениях татарских, лежащих по берегам моря» (*Броневский*, 1867. С. 345), очевидно ранее этот промысел был никак не уже.

Другой путешественник записывал: «Татары прекрасные охотники с соколами, и у них много кречетов; они ловят птиц на репейник (очевидно, речь идёт о каком-то неизвестном нам сорте кустарника с семенными коробочками настолько цепкими, что они были способны удержать мелкую птицу. — *В.В.*), ходят на оленей и на другого крупного зверя. Кречетов они носят на кулаке одной руки, а в другой держат посошок; когда устанут, потому что ведь [эти птицы] вдвое больше орлов, они подставляют посошок под руку. Временами над их войском проносится стая гусей; тогда люди из лагеря пускают стрелы толщиной в палец, изогнутые и без оперения. Стрелы летят прямо, затем повёртываются и летят наперерез птицам, раздробляя — когда настигнут их — то шею, то ноги, то крылья...» (*Барбаро*, 1971. С. 148). Соколы особенно ценились привозные, абазинские, которых здесь называли *доган*. В основном их не покупали, а выменивали на территории нынешней Карачаево-Черкессии (*Luce*, *Beauplet*, *Lamberty*, 1634. B. 3).

Показательно, что мурзы и беи, почитавшие охоту одним из изысканнейших развлечений, никогда не пытались запретить крестьянам охотиться на земле их уделов, не предъявляли претензий на исключительное право охоты

[1] Это древнее селение в устье Дона основанное, предположительно, тавро-скифами, позднее стало греческим. Затем посёлок был преобразован крымскими татарами в укреплённый город, называвшийся Азак. В XIII–XV вв. ханы позволили здесь селиться и торговать венецианцам, затем генуэзцам, которые называли город-колонию Таной. Во второй половине XV в., в ходе турецкой экспансии в Северном Причерноморье, в Азаке был помещён турецкий гарнизон численностью в 3 000 чел. Но лишь в 1475 г. город был выведен турками из-под власти Крыма, после чего он приобрёл важное экономическое значение для Турции как транзитный и складочный порт, центр рыболовной отрасли региона. В последующие годы Азов был превращён в довольно мощную крепость.

в чётко ограниченных угодьях, как это бывало в других странах Европы. Это явление имело тройную причину. Оно объясняется как шариатом, дающим всем правоверным равное право на пользование тварями и злаками, сотворенными Аллахом, так и исключительным богатством крымской природы — дичи хватало всем, но, главное — особыми, патриархальными отношениями между всеми слоями населения, которые в Крыму на менялись веками.

То, что составляло для мурз предмет развлечения, являлось весьма важным подспорьем для менее зажиточных слоёв населения. Почти все крестьяне в перерывах между страдами пополняли свои запасы охотой. Поскольку огнестрельное оружие и припас были доступны не каждому, а дичь водилась в изобилии, то возникали (или сохранялись веками) не совсем обычные виды охоты. Так, крымские татары ловили коз и оленей арканами, бросая их с седла или из засады (*Хартахай,* 1867. С. 171).

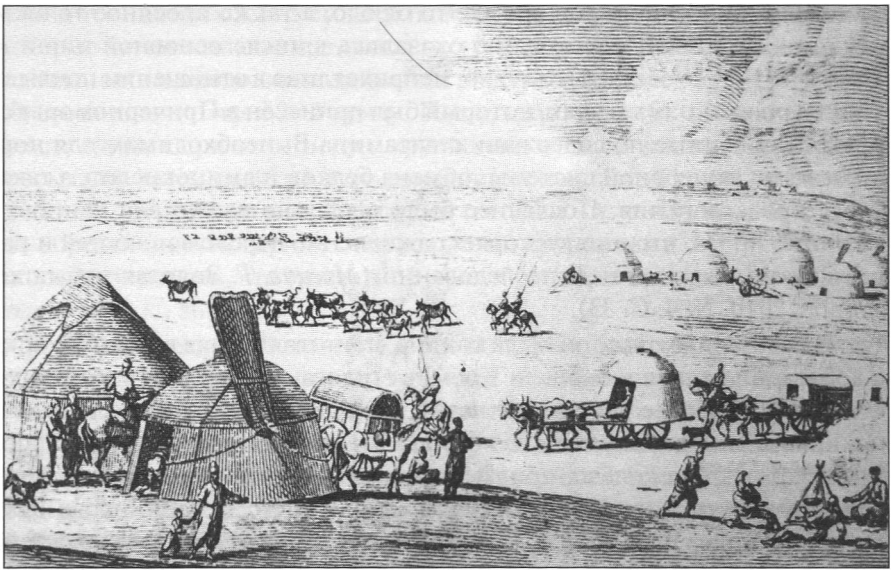
Рыбные ловли издавна отмечались в ряде приморских городов и сёл, но сами татары (особенно степные) потребляли продукты моря весьма умеренно. В основном рыба, как и в древности, шла на вывоз в солёном и сушёном виде, хотя и в меньшем количестве. Наиболее выгодным продуктом считалась икра (*кавьяр*), которую большими партиями закупали северные соседи, в основном украинские казаки. Все средства производства, включая лодки и сети, татары изготавливали сами. Соль, естественно, также была местной, из лиманов Гёзлёва, Кара-Тобе, перекопская, севастопольская (сары-керменские сольпромыслы) и из озёр Керченского полуострова.

Самый значительный лов рыбы вёлся у Керчи (сельдь, кефаль), в Балаклаве и в устье Дона. В последнем из названных мест годовой улов в конце XV в. составлял несколько сотен тысяч одних только осетров. Основная часть улова (в том числе икра) шла в Стамбул; меньшая — далее, в страны Средиземноморского бассейна (*Inalcik*, 1994. P. 131). Стамбульские купцы иногда жили на берегах Азовского моря месяцами, закупая у крымских татар и отправляя на родину осетров и другую благородную рыбу «в беспредельном количестве» — с завистью вздыхал фламандский монах, знавший толк в дарах моря (*Рубрук*, 1910. С. 66).

2. Быт ногайцев

Образ жизни заперекопских подданных хана (и какой-то части степняков-кочевников Крымского полуострова) резко отличался от обычного для оседлых жителей ханства. Но в набегах и походах все жители собственно Крыма как бы вспоминали ордынское прошлое, хоть и не всегда именно *своих* предков (далеко ведь не у всех они являлись кочевниками). Дело, конечно, было не в генетической памяти, но в идеальном соответствии ногайского быта условиям степных походов. Поэтому имеет смысл кратко обрисовать его, хотя в дальнейшем, с каждым столетием истории крымских татар, эти черты становились всё слабее, пока не сгладились почти совершенно.

Итак, ногайцы сохраняли типично кочевой, практически не менявшийся со временем образ жизни весьма длительное время — с начала второго тысячеле-



Ногайские юрты и арбы.
Гравюра Ж. Деплюсси-Берто. Илл. из: Reuilly, 1806

тия н. э. до XVIII в., когда началось и закончилось рассеяние в юго-западном и восточном направлениях этого могучего народного конгломерата. Основным средством существования у них было коневодство и овцеводство (коз, отчасти верблюдов и мелкую птицу держали в значительно меньших количествах). Вплоть до конца своего исторического бытия они не имели не только городов, но и деревень в обычном смысле этого понятия. Жилища их представляли собой войлочные юрты, слабо различавшиеся в соответствии с социальным уровнем владельцев. Скорее различия объяснялись размером семьи. Иногда эти жилища достигали в диаметре десяти и более метров, но внутренняя обстановка и материал изготовления юрты (кошма, пропитанная для достижения водонепроницаемости жиром или молоком) оставались теми же (*Харт*, 1999. С. 41).

Они были довольно неспокойными подданными, нередко привечая у себя претендентов на престол законного хана, хотя в обычной обстановке исправно посылали в Солхат (затем — Бахчисарай) законные 2 000–2 500 баранов в год. И с ещё большей готовностью отправлялись с ханом и его гвардией в набеги: они были обязаны выставить для Гирея 40 000 всадников, но, как правило, число их достигало 60 000 (*Ферран*, 1842. С. 46). Вообще было известно, что при объявлении похода татары из собственно Крыма посылают гораздо *меньше* всадников, а ногайцы — столь же стабильно *больше*, чем требуется (*Haxthausen*, 1847. S. 430). В поход имел право отправиться любой ногаец, достигший 14-летнего возраста. Единственное правило, которого не должен был нарушать хан — это созывать в поход на 13-й, 26-й или 39-й год после окончания предыдущего: ногайские храбрецы были суеверны.

Эти прирождённые всадники были крайне неприхотливы в пище. Их *чорба* (*шурпа*) представляла собой просо, варенное на пустой воде, изредка лишь

забелённой кобыльим молоком. Это блюдо, а также просяное толокно (о нём речь пойдёт ниже), не случайно оказались в числе основной пищи крымцев. Просо не только засухоустойчиво, неприхотливо в отношении почвы и чрезвычайно урожайно. Этот злак, который был принесён в Причерноморье скифами, превосходит иные по содержанию витамина В, необходимом для нормальной деятельности нервной системы, обмена белков и аминокислот, а также в процессе кроветворения. Последнее было особенно важно для воинов, как и то свойство проса, что оно «ускоряет заживление переломов костей и ран» — это результаты современных исследований (*Мосина Т.* Золотая кубышка // Будь здоров. 2010. № 4. С. 33).

Праздничным блюдом была конина, приготовленная в виде окрошки, то есть с добавлением трав и овощей. Кобылья голова, как вообще у кочевых народов, считалась наиболее вкусным и почётным блюдом. К таким яствам относились и жирные лошадиные кишки, которые ели отварными, а ещё их использовали для изготовления колбас, причём не только из рубленой конины. Иностранцы вспоминали, что ногайские колбасы «лучше, чем из свинины, и едят их свежими» (*Рубрук*, 1910. С. 73). Конину же, кроме того, срезали с костей, сушили и коптили (без соли) для питания в походах, уже тогда этот продукт назывался, как и сегодня, *какач* (*Броневский*, 1867. С. 360).

Но именно в военных условиях ногайцы доходили, можно сказать, до пределов воздержания. Современники утверждали, что как люди, так и лошади могли вообще ничего не есть до 6 дней, не теряя при этом бодрости. Это же относится к тем редким случаям, когда предстояло морское путешествие в Стамбул: ногайцы наедались дома, для того чтобы не беспокоиться все 5–6 дней путешествия мыслями о хлебе насущном. Бывало и так, что, отправляясь в 2–3-месячный поход, конники не брали с собой вообще практически никаких запасов, полагаясь на добычу — и не бывали голодны...

Однако сказанное относится лишь к эпохе набегов. Показательно, что уже в конце XVII в. — первой половине XVIII вв. обычаи в этом отношении изменились на прямо противоположные, походный быт стал более комфортным. В походе участники его объединялись по «котлам», то есть группами по 10 человек, которые в еде себе не отказывали, хотя она главным образом состояла, как и раньше, из каш или заваренного толокна. Мясо ели куда реже. Лишь если у кого-нибудь из членов «котла» слабел конь, его тут же забивали и использовали в пищу. При этом использовалась и кровь. Её смешивали с мукой (как это делают при изготовлении кровяных колбас), варили в казане и съедали как большой деликатес.

Но в нормальной жизни люди себя всё же не изнуряли, потребляя довольно много мяса. Знаменитое блюдо «мясо под седлом» столь часто упоминалось различными авторами, что стоит привести описание его приготовления, редчайшее по обстоятельности (тем более, что, повторяем, его ели не только ногайцы, но и жители полуострова, уходя в набег или на войну, — это было общенациональное блюдо). Боплан замечает, что конина вообще считалась вкуснее говядины, баранины и козлятины (1990. С. 56).

Итак, тушу делили на 4 части, ¾ при этом отдавалось соседним «котлам», у которых на данный момент не было мяса. Себе, как правило, оставляли заднюю четверть, самую мясистую часть которой нарезали как можно более широ-

кими пластами толщиной в 2,5–5 см. Эти пласты укладывали на спину верховой лошади, которую затем седлали, чрезвычайно туго затягивая подпругу. Затем эта лошадь под всадником продолжала двигаться обычным аллюром, то есть весьма быстро и безостановочно часа 2–3 кряду. После этого всадник быстро переворачивал пласт, снимая при этом пену с крупа коня и смачивая ею мясо, чтобы оно не пересыхало. Затем скачка в туго притянутом подпругой седле продолжалась ещё 2–3 часа, после чего мясо считалось готовым. Оставшиеся, более мелкие мясные обрезки и кости варили с несколькими крупинками соли, не снимая пены, поскольку считалось, что снимать её — «выбрасывать весь вкус и сочность мяса» (*Боплан*, 1990. С. 56–57).

Автор этой интересной бытовой зарисовки сравнивает приготовленную таким способом конину с душениной (тушёным на медленном огне мясом) — в чём-то они на вкус схожи. Тем не менее, в приготовлении подседельного мяса явно просматривается иная цель, а именно придания ему пряного вкуса. Последнее было весьма распространено в этнических сообществах, потреблявших много мяса и не имевших доступа к истинным пряностям вроде различных видов перца. Так, эскимосы Гренландии подвергали китовое сало ферментизации в земляных ямах, после чего оно приобретало пикантный вкус и даже внешний вид сыра типа Рокфор. Его ели весьма небольшими порциями, исключительно для того, чтобы утолить потребность организма в острой пище. Видимо, подседельная конина играла ту же роль пряного блюда, разнообразившего пресноватый стол степняков (типа чорбы из пшена или проса, молока, продуктов из него и т. д.). Мясо более мелкого скота так не готовили, его чаще всего жарили прямо на костях, не разделывая, лишь обдирая и потроша тушу барана или козы перед тем, как насадить её на вертел.

Из других видов пищи можно назвать особый вид сыра: его приготовляли из молока, которое кипятили до полного загустения, потом сбивали в плотный ком и досушивали на солнце. Получалось нечто вроде сухого, совершенно пресного, не портящегося даже в тепле творога. В случае необходимости можно было отколоть кусок такого концентрата и размочить в воде до жидкого состояния.

Много пили молока, а из других напитков была только буза, приготовлявшаяся не совсем привычным для наших современников способом, так как в смысле алкогольного содержания она, как уверяли путешественники, была сравнима с крепкими напитками (*Ферран*, 1842. С. 46–47). При этом у ногайцев было в обычае опохмеляться на следующее утро. Но это было единственным «угождением желудку», так как они совершенно не знали ни вина, ни соли, ни пряностей или растительнго масла. Кроме бузы пили кумыс и сколотину (кисловатая, приятного вкуса жидкость, остающаяся после сбивания масла из сметаны, или пресная из сливок). Пили также мясную чорбу (шурпу), то есть прозрачный бульон с пшённой заправкой, подогреваемый перед употреблением. Из алкогольных напитков была известна водка (стамбульская), но позволить себе её могли весьма немногие.

Вместо хлеба не углях открытых очагов или костров пекли полусырые (на вкус европейцев) пшённые лепёшки, которые ели горячими, или же сушёными — так они могли храниться несколько месяцев. Большое распространение как упоминалось, имели каши — пшённые, ячменные и гречневые (позже

гречневая крупа совершенно вышла из обихода), заправленные конским или бараньим жиром. Менее распространены были блюда из риса — тогда его выращивали сравнительно мало, он был отчасти привозным и стоил довольно дорого.

Фруктов практически не ели совсем, из овощей — разве что лук и чеснок (домашние и дикие виды). Очень популярен и даже любим был мёд, его ели в натуральном виде, а также приготовляя (без кипячения) слабоалкогольный напиток.

3. Внешняя политика ханства

а) Общие черты

На всём протяжении истории ханства, в том числе и в начальный период его существования, перед крымскотатарской внешней политикой, в особенности в дипломатической её сфере постоянно стояли весьма непростые задачи, что объясняется сравнительно невысоким военно-экономическим потенциалом ханства. Напомним, что при всей своей общепризнанной славе, гремевшей в веках, Крым никоим образом не был великой или просто полностью суверенной державой. Его товаров вполне хватало на удовлетворение спроса весьма узкого рынка местного сбыта, но торговые прибыли (учитывая и немалые доходы от внешней торговли) не покрывали государственно-административные, оборонные и прочие необходимые расходы. Этот дефицит, конечно, восполнялся денежными поступлениями от Порты и стран-данниц, но далеко не всегда; всё-таки это была неверная, ненадёжная статья дохода.

По совокупности этих и некоторых иных причин ханство не могло себе позволить роскошь равнодушно-пассивной политики, характерной для некоторых великих держав (например, Турции при ряде слабых султанов). Напротив, практически во всех дипломатических контактах со странами Востока или Запада инициатором соответствующих политических акций выступали не потенциальные партнёры Крыма, а почти всегда он сам. То есть чрезвычайная активность и динамичность внешней политики и дипломатии Бахчисарая была столь же вынужденной, сколь и постоянной.

Эта жёсткая необходимость непрерывной, энергичной, инициативной политико-дипломатической практики, от успешности которой зависели буквально все слои крымских татар, требовала и соответствующего отбора и подготовки непосредственных исполнителей этой практики. Двуединая эта задача и решалась двумя путями. Отбор шёл оптимальным, то есть максимально естественным путём, на который слабо влияли такие факторы как национальность, вера или социальное происхождение. Если хан или его приближённые замечали в ком-то явные дипломатические способности — такому человеку и поручали соответствующие функции. О подготовке дипломатов и политиков говорить сложнее, поскольку какой-то системы здесь не было выработано, как и определённой школы. Молодые беи и мурзы, вращавшиеся при бахчисарайском дворе, участвовавшие в походах и посольствах, самостоятельно набирались разнообразного опыта, в том числе и дипломатического.

Крымский полуостров в середине XV века

Особую роль играло воспитание ханских сыновей за рубежом. Их отсылали не только к единоверным аталыкам-воспитателям из горских князей Кавказа, но и — что было более перспективным — в Иран, Литву, к польскому и даже венскому двору. К примеру, первого Гирея воспитывал литовский князь Витовт, а так и не ставший ханом Девлет-Гирей (сын Фетх-Гирея и нуреддин Адиль-Гирея) воспитывался в Вене, при блестящем дворце цесаря (*Matuz*, 1964. S. 135; *Дзамихов*, 2001. С. 258). Как показывает последний пример, не все из этих молодых людей становились ханами, но дипломатами — многие. При этом следует учесть, что у ханов, как правило, сыновей было *много*, даже количественно они вполне могли влиять на общий уровень и культуры, и дипломатического потенциала бахчисарайского двора. И если часть из них пребывала у зарубежных монархов лишь формально в статусе воспитанников, в реальности являясь политическими заложниками, то это дела не меняло, опыта ведь они всё равно набирались, как и знания соответствующей державы.

б) Московское направление

Второй, после активности (то есть неизменной инициативности), отличительной чертой крымскотатарской дипломатии была, начиная с правления Мехмед-Гирея I (1515–1523), её однозначно антимосковская направленность. Это вполне объяснимо: не было для ханства противника опаснее и целеустремлённее в своей многовековой экспансии, чем русские.

Впрочем, так было не всегда. Ещё в XIII в. такой угрозы не существовало. Тогда на севере правили три равных и никак друг другу не подчинённых и официально не связанных великих князя — Рязанский, Московский и Тверской. Точно такими же правами обладали многочисленные обычные русские княжества, более мелкие,

но также никому не подчинённые. Такое положение никак не соответствовало этнопсихологическим установкам северовосточных славян. Об их подсознательных установках на агрессию говорилось в Прологе, здесь важно отметить, что их конкретные истоки находились и в традиционно экстенсивной системе хозяйствования, требовавшей постоянной экспансии на новые, нередко уже заселённые территории. По ряду причин такое расширение первоначального пятна расселения русских, направленное в послекиевский период на север, постепенно стало сменяться восточным. Весьма полную и объективную картину столкновения русских с аборигенами колонизуемых регионов даёт старый историк С.М. Соловьёв: «издавна, когда ещё русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал ещё этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже коран на берегах Волги и Камы. Здесь впервые в Северо-Восточной Европе христианство столкнулось с бусурманством. Это столкновение было необходимо, как скоро новая Русь основалась в области Верхней Волги, как скоро славянская колонизация нашла себе путь вниз по этой реке; первые князья новой, Северо-Восточной Руси — Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод III, Юрий II — ведут войны с болгарами и доводят границы своих владений до устья Оки в Волгу, где закрепляют их Нижним Новгородом. Болгарам трудно было бы защищать Азию и магометанство с этой стороны от напора Руси, но вот Азия высылает татар, и движение Руси на восток по течению Волги остановлено надолго. С ослаблением татарского владычества это движение снова начинается, но тут Азия, татары собирают последние силы и утверждаются в опасном месте, основывается Казань. До тех пор, пока существовала Казань, до тех пор дальнейшее движение русской колонизации на восток по Волге, наступательное движение Европы на Азию было невозможно... здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот...» (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 461–462).

Началась эпоха так называемого «собирания Руси», которое было на деле захватом Москвой соседних русских княжеств и вольных земель. Среди важнейших целей этот процесс имел одну первоочередную: *собирание сил* для прервавшейся было колонизационной агрессии. Первым пал Великий Новгород; в 1478 г. самостоятельность этого крупного торгового города была ликвидирована в результате походов Ивана III (1462–1505). Захват этой русской области сопровождался кровавыми карательными мерами, не прекратившимися, а ожесточившимися в наступивший мирный период[1]. Московский террор сопровождался многотысячной депортацией новгородцев во внутренние районы Московии. При этом к великому князю из недвижимости только высланных перешло около 1 млн. десятин земли. После Новгорода тем же московским методом в Русь было «собрано» Тверское княжество (1480-е гг.). Нужно заметить, что уже в этот ранний

[1] Бывают странные прозренья. Датский специалист по истории Руси того периода К. Расмуссен умер не столь давно, но *до начала* Чеченской войны с её карательной практикой и соответствующим лексиконом. Тем не менее, акции Москвы в XV в. на новгородской земле были названы датчанином *udrænsninger*, то есть в буквальном переводе, *зачистками* (*Ruslandshistorie*, 1983. B. I. S. 108). Такой ясности исторического предвидения (конечно, опиравшегося на глубокое знание конкретной этнопсихологии), можно только позавидовать.

период своей истории московские князья (затем — цари) не гнушались самыми низкими политическими методами, если это давало в руки козырь для успешного развития экспансии. Война стала братоубийственной, если учесть, что на соперничающих княжеских тронах нередко в самом деле сидели родные братья.

Тем временем Золотая Орда неудержимо распадалась. Уже образовались сильные и независимые от Сарая Казанское и Крымское ханства. Это ослабление бывшего Великого ханства открывало перед Москвой новые возможности не только в Азии, но и на западе и юге, то есть на польских территориях. В результате ряда дипломатических встреч, в которых принял активное участие и Менгли-Гирей I, в конце 1470-х образовалось два военно-политических, противостоящих друг другу союза: Москва — Крым и Литва — Сарай. При всей своей внутренней непрочности, они не только просуществовали на протяжении длительного времени, но и провели немало совместных акций в течение всего окончания столетия. Так, к примеру, в 1480 г. поход золотоордынского хана Ахмеда на Москву оказался безрезультатным лишь потому, что Менгли-Гирей в этом году напал, как было договорено с Москвой, на литовцев. Ахмед, тщетно прождав какое-то время литовскую помощь (упоминавшееся выше «Стояние на Угре»), был вынужден, как известно, снова уйти на юг. Фактически это было поражение Орды — Москва перестала платить ей дань, односторонне декларировав тем самым свою полную свободу от былого вассального подчинения.

Это было удачное начало новой волны московской агрессии, и ободрённый им Иван III, отставив на время восточное направление, обратил свои походы на территорию Великого княжества Литовского. Напомню, что восточная часть его простиралась на большую часть современной Украины, непосредственно гранича с северными рубежами Крымского ханства. Понятно, что захватывая литовские города, Москва неуклонно приближалась к границам Крыма. А захватов этих было сделано в конце XV в. немало. В 1470–1480-х вооружённой силой были взяты Масальск, Тешинов, Негомирь; в 1490-х — Любутск, Хлепень, Рогачёв, Сергейск, Вязьма, Мещовск, Опаков; в первые годы XVI в. — Мценск, Брянск, Путивль, Дорогобуж, Чернигов, Стародуб и Новгород Северский (*Соловьёв*, 1988. Кн . III. С. 96–98, 111, 117).

К 1505 г. новые владения московского великого князя в междуречье Днепра и Донца (на широте Запорожья, но гораздо восточнее его) непосредственно сомкнулись с ханскими, а на севере включили в себя бескрайние просторы, от великих сибирских рек до Кольского полуострова и Карелии, а на западе — Ижорскую землю (Ингерманландию) с выходом на Балтику. Чисто пространственно за полвека правления Ивана III княжество увеличилось приблизительно в шесть раз.

По понятным причинам не стоило рассчитывать, что столь весомая добыча потребует какого-то времени на «переваривание», то есть на хозяйственное, демографическое и т. д. освоение новых земель. Опыт говорил вполне однозначно, что такой передышки Москве не потребуется — добыча не утоляла, а всегда лишь обостряла её геополитические аппетиты, и ближайшим державам нужно было готовиться к худшему. Угроза приближения такого опасного нового соседа должна была беспокоить Менгли-Гирея. Видимо, так и было, но он не мог по ряду причин пока рвать договор с русскими, предпринимать против

них предупреждающие дипломатические акции или даже военные действия. Напротив, он оставался верен союзу с Москвой и уже при новом короле, сыне Казимира IV, Александре Ягеллоне, по просьбе русских нападал в нужный момент на литовские и польские земли.

Лишённые в тот период союзников в Восточной Европе, литовцы не теряли всё же надежды привлечь когда-нибудь крымских татар к совместной борьбе с Москвой. Ведь Крым, полагали они, должен был рано или поздно стать противником Москвы естественным путём, принуждённый к этому экспансией Москвы и таким же, как у Польши-Литвы, отсутствием внешнеполитической поддержки. Тот же Александр Ягеллон писал Менгли-Гирею: «Сам можешь знать, какую высокую мысль держит князь московский, если он зятю своему клятвы не сдержал, то сдержит ли он её тебе? А что он родным братьям своим поделал, также нарушивши клятву? Если ему удастся захватить украинские города литовские и стать тебе близким соседом, сможешь ли сидеть спокойно на своём царстве?» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 112).

Наконец, в 1508 г. у очередного польского короля, Сигизмунда, эта надежда угасла полностью. И он заключил с Москвой вечный мир, отказавшись при этом от ряда городов в Северской Украине. Теперь Менгли-Гирей и в самом деле остался с северным соседом один на один, без союзников, даже потенциальных, включая Турцию[1]. Тем не менее он старался поддерживать с Москвой нормальные отношения, удерживая от походов на русские земли своих более энергичных соотечественников, в том числе собственных сыновей. И лишь со смертью этого хана в 1514 г., можно сказать, началась эпоха постоянного военно-политического противостояния Москвы и Крыма. Которая, кстати, получила в большинстве исторических сочинений старых, да и современных историков, ставшее традиционным наименование *эпохи татарских набегов на Россию*.

Эта полуторавековая историческая кампания военной борьбы, тлеющего или скрытого антагонизма, имела своим истоком уяснение или осознание крымскотатарскими лидерами своих перспектив в отношении дальнейшего соседства с Москвой. И в Крыму к этому времени созрела под влиянием внешних факторов

[1] В начале XVI в. Порта достигла одной из исторических высот своего могущества. Султан Селим I завоевал значительную часть Персии и Египет, но Европу по ряду причин щадил, хоть был признанно всемогущ. Он и с Москвой продлевал мирные договоры, что вызывалось, как странно это ни звучит, «крымскими интересами», то есть интересами ханской коммерции с Портой (*Zinkeisen*, 1856. B. II. S. 605). Такое миролюбивое отношение к северному соседу, конечно, само собой не родилось и туркам обошлось недёшево. Нормальная жизнь была невозможной в постоянном ожидании нападений казаков Днепра и Дона с участием московитов. Надо было что-то предпринимать, и на рубеже XV и XVI вв. туркам удалось запереть устья впадающих в Чёрное море рек: после Кефе «и Белгород волосский, и Ачаков, потом и Азов в державу турецкую приидоша... И от времяни того во всех оных пристанищных градех нача султан турецкий соблюдения ради их имети многия воинства. И тако укрепи их, яко безо всякого опасения пребывает в Константинополе, ибо на всех пристанищах, яже суть во устиах рек изо всех стран текущих в Понтийское море, имеет городы крепкия и яко бы врата в море оное...» (*Лызлов*, 1990. Л. 138 об.–139). Иначе, чем *оборонительными* против соседей-славян эти меры назвать трудно, учитывая добровольное прекращение османского продвижения на север и последовавший затем мирный период.

некая доктрина, смысл которой верно определил ещё в 1940-х гг. советский историк, которого уж никак не обвинишь в отсутствии великорусского патриотизма.

Он пришёл к выводу, что в описываемую эпоху крымские татары, скопившие достаточный опыт политического общения со своими соседями, «совершенно правильно выделили, как наиболее опасного своего противника не Польшу, а Московское государство» (*Новосельский*, 1948. С. 9–10). Это объяснялось, по мысли цитируемого автора, тем, что Польшу–Литву на юге контролировала Турция, тогда как «усиление Московского государства явно нарушало политическое равновесие в Восточной Европе и угрожало не только Крыму, но и Польше». Именно поэтому крымские татары, поляки и литовцы становились «естественными союзниками в борьбе с Московским государством. Попытки московских дипломатов добиться союза с Крымом против Польши обычно не давали результата» (там же).

Другое дело, что такая вполне оправданная позиция ханской политики неизбежно ослабляла позиции этого государства в его отношениях с остальными державами, близкими или далёкими. Она была вынужденно ограниченной. Эта *однонаправленность*, хотя и не всегда явная, вполне осознавалась политическими партнёрами ханской дипломатии, прекрасно понимавшими, *чем* можно сломить неуступчивость татар на переговорах: часто для этого было достаточно пообещать им помощь в борьбе с Москвой или, напротив, пригрозить выступить на стороне русских.

Впрочем, русско-татарское напряжение временами ослабевало. Это случалось в периоды, когда Москва затевала наступательные кампании в других, не южных направлениях, или бывала втянута в большие европейские войны, например, в первую Северную или же в Тридцатилетнюю. Тогда её экспансия в южном политическом секторе почти полностью прекращалась, а в Крыму могли вздохнуть спокойнее. И, наоборот, конфликтная ситуация обострялась, когда до ханов доходили сведения о строительстве новых русских городков на юге, или тем более когда подтверждалась информация о новых фактах российской экспансии на другие тюркские области или подавления ислама в бывших Казанском или Хаджи-Тарханском (Астраханском) ханствах после их захвата. Весьма обеспокоен был Бахчисарай и установлением протектората России над Украиной в 1654 г., фактически втянувшим соседнюю державу в орбиту русской экспансионистской политики. Об этом Мехмед-Гирей прямо писал польскому королю Яну II Казимиру (1648–1674 гг.), предлагая принять совместные меры, способные нейтрализовать неизбежную в будущем московскую агрессию (*Matuz*, 1976. S. 15).

Отношение же ханства к другим соседним (и не совсем соседним) державам было по большей части ровным и дружественным. Такая позиция по отношению к странам, большая часть которых относилась к христианским, была оправдана уже чисто прагматическими соображениями. Ведь завоевательных целей ханы традиционно не преследовали (на протяжении всей истории ханства его границы только сокращались). А агрессия ради агрессии была бы для небольшой страны опять же слишком дорогим и опасным удовольствием. Другое дело — вынужденное участие в войнах; к ним Гиреев мог принудить их сюзерен-султан, оно могло быть оправдано и чисто оборонными целями, главным образом из опасения усиления

наследственного врага — Москвы. К такого рода акциям целиком и полностью относились так называемые набеги.

Они были даже внешне наиболее яркой и характерной чертой крымской внешней политики. В попытках выявить и объяснить фундаментальную, основополагающую причину возникновения и длительного использования татарами стратегии набегов имеются у исследователей имеются две точки зрения.

Первая, о примитивно хищнической их сути, начала высказываться чуть ли не современниками этих походов. Однако более или менее научную форму она приобрела лишь под пером весьма грамотного теоретика, А.А. Новосельского.

Этот историк, глубоко исследовавший политику ханства в XVII в., то есть хронологически последнем полувеке набегов, пришёл к выводу о «несомненной связи военной активности татар с их внутренним строем». Излишне говорить, что это заключение строилось на спекулятивных умозаключениях учёного, на внешних (то есть внекрымских) описательных источниках, а не на точных (экономических, статистических, археологических и т. п.) данных, оставаясь в подлинно научном смысле абсолютно бездоказательным. Вывод этот состоял в следующем: низкий уровень развития зернового хозяйства якобы не позволял Крыму кормиться с собственной пашни, и поэтому оставался единственный выход — набеги, практика которых «приобрела значение влиятельного фактора во всей экономике Крыма, дополняя его скудный экономический быт» (*Новосельский*, 1948. С. 418–419); доступность *такого* выхода из экономического тупика исключала «нормальное» развитие этого государства, «по самой природе своей примитивно хищного» (*Новосельский*, 1994. С. 13).

Эта точка зрения актуальна и сегодня, иначе не стоило бы тревожить тень старого учёного. Но его гипотеза не ушла в небытие вместе с ним, она живёт, постоянно повторяясь, переходя из книги в книгу, не обогащая науку, и сама не обогащаясь какими-то новыми данными, способными её хотя бы косвенно подтвердить. Она столь же уныло бездоказательна, как и в тот отдалённый периоды истории науки, когда впервые была высказана — да и то не столько с научной, сколько с политической (пропагандистской) целью. Показательно, что такого рода утверждения не меняются со временем даже чисто лексически. Впрочем, это и невозможно для авторов, рабски заимствующих идеи у своих предшественников. Вот гораздо более свежий (по времени, не по качеству) набор слов, почти неотличимый от соответствующих пассажей в памфлетах петровской эпохи: «ханство, жившее грабежом украинских, русских, молдавских и польских земель, теперь испытывало тревогу за безопасность своих владений» (Проливы, 1999. С. 32).

Но вернёмся к выводам А.А. Новосельского. В его точке зрения интересно даже не то, что она порочна, ведь поиск исторической истины знает не только сразу найденные точные гипотезы, он использует здравые зёрна и ошибочных теорий. Но поиск даже отдельных зёрен истины в этой гипотезе был бы тщетным. Во-первых, в XVII в. крымское земледелие по-прежнему оставалось на таком уровне развития, что именно хлебный экспорт был одной из самых стабильных статей его дохода. Только из Гёзлёвского торгового порта ежегодно к Босфору уходили *сотни судов*, тяжело гружённых первосортной крымской пшеницей (см. очерк 1-й тома II). Понятно, что это были излишки упомянутого «скудного экономического быта», для сбыта которых приходилось искать внешние рынки.

Во-вторых, «хищным» может быть только живое существо, в частности, человек (характеристика чисто психологическая) или группа людей (этнос, нация), подверженная влиянию собственной этнопсихологии, но уж никак не государство. Этот вывод не нуждается в доказательстве: есть сотни примеров, когда два типологически (системно, структурно и т. д.) аналогичных государственных образования ведут абсолютно несхожую политику. Или, используя оригинальную терминологию А.А. Новосельского, обладают различным потенциалом «хищности».

Вторая точка зрения в отличие от первой, то есть «экономической», излагается в чисто внешнеполитическом плане. Вот её основные установки:

1. Утверждается, что существовала некая общая «политика Крыма и Порты», сводившаяся к прямой интервенции собственными силами и поощрению к антимосковским действиям любой, годившейся для этого, третьей стороны (*Кузнецов,* 1979. С. 64). Это говорится вопреки факту явных расхождений в политике Порты и Крыма по отношению к Москве. Как мы помним, добившиеся *собственной* безопасности (основанной на реально возросшем могуществе *своей* державы) турки, не ощущавшие столь остро, как татары, опасности, надвигавшейся с севера, были заинтересованы в торговле с русскими и теми же крымчанами в мирной обстановке. При этом они менее всего беспокоились об интересах безопасности крымского хана. Напротив, Крым, находящийся на переднем крае грядущих войн, не мог не отойти от турецкой политики попустительства агрессии Руси. А эта политика Порты действительно имела место уже в годы правления Менгли-Гирея.

2. Конечная цель этой «крымско-турецкой» политики была единой: «ослабить обороноспособность России и подготовить условия для более широкого наступления Крыма и Турции в Восточной Европе вообще и против России в частности»; при этом начавшиеся крымскотатарские набеги рассматриваются «как часть широкого плана турецко-крымской экспансии в этом районе» (*Кузнецов*, 1979. С. 66). По понятным причинам эти выводы основываются не каких-то достоверных источниках (вроде текстов соответствующих проектов, договоров, планов кампаний, иных стратегических разработок и т. д.), но лишь на собственных домыслах историков, базирующихся на якобы проделанном ими всестороннем анализе тогдашней обстановки. Читателя с методикой такого анализа почему-то не знакомят. Не потому ли, что его попросту не было?

Эта обветшавшая точка зрения имеет и сегодня немало сторонников, упорно игнорирующих критику, которой она подверглась ещё во второй половине XIX в. Тогда же была разработана до сих пор никем научно не оспоренная концепция выдающегося русского историка-востоковеда В.Д. Смирнова. В трудах этого автора, которые доныне остаются непревзойдённым пособием по истории ханского Крыма, доходчиво показано, что набеги имели вовсе не экономическую, но гораздо более важную и насущную, первоочередную *внешнеполитическую* цель. Смысл её был в том, чтобы не допускать чрезмерного усиления ни России, ни Польши, поддерживая по мере сил равновесие, баланс между ними (*Смирнов*, 1887. С. 555)[1].

[1] Не столь давно была сделана попытка выработать третью точку зрения, механически состроенную из элементов двух вышеназванных. Автор этой теории утверждает, что упомянутый стратегический *принцип* поддержания польско-московского равновесия с целью обезопасить себя, был всего лишь *тактическим* приёмом, «с помощью которого Крымское

Стоит отметить, что эта политика имела в тюркском мире довольно глубокие корни. Один из советников Тимура, эмир Кодадат (Худайдот), рекомендовал ему: «Береги своего врага, как жемчужину или алмаз, чтобы, когда придёт время, ударить им по камню так, чтобы тот разлетелся в дребезги и от него не осталось и следа. Он же прибавил: „когда враг сдаётся и просит твоего покровительства, пощади его и оказывай ему благоволение“» (Цит. по: Уложение Тимура, 1992. С. 46).

Как нетрудно было заметить, два российских дореволюционных историка — С.М. Соловьёв и В.Д. Смирнов — серьёзно обосновали научные заключения, простое знакомство с которыми делает читателя невосприимчивым к главным (по эпохе Средневековья) мифам советской патриотической историографии. Первый из них — о том, что Русь, остановив орду, спасла европейскую культуру. На самом деле Золотая Орда была выдвинута тюрко-исламским миром для защиты своего многовекового духовного достояния от экспансии глубоко отсталой и агрессивной Москвы.

Второй миф — о некоем проекте крымско-турецкого комплота, касающемся тюркской экспансии в северном направлении за счёт захвата русских земель. При этом во главу угла ставятся крымскотатарские набеги как наиболее активное и доказательное выражение целей такого проекта. На самом деле и здесь всё было с точностью до наоборот. Набегов не было, пока русские не то что вели себя мирно (таких периодов в истории этого не совсем обычного народа почти не отмечено), но, по крайней мере, не выказывали столь явно свои планы обширной агрессии именно в южном направлении. А когда такие проекты обнаружились во всей своей несомненности, вот тогда-то и начались набеги. То есть акции, предпринимаемые с чисто *оборонительными* целями — об этом говорит, среди прочего, и явное нежелание ханов территориально *расширяться*. Ведь даже после сокрушительно победоносных походов, иногда кончавшихся захватом и сожжением столицы поверженного противника, мусульмане по своей воле уходили домой, за прежние рубежи, не изменявшиеся на протяжении столетий[1].

ханство проводило свою политику грабежа» (*Санин*, 1987. С. 50). От этой попытки создать некий гибрид из разноплановых и оттого органически несоединимых сущностей (т. е. типичную химеру) веет глубоким мистицизмом недоброй памяти советской историософии, что исключает серьёзную критику приведённой гипотезы. Несколько ближе к истине утверждение современного исследователя, считающего, что, к примеру, в середине XVI в. «ни Россия, ни Литва с Польшей не захотели заплатить Крыму столько, чтобы он однозначно стал бы реальным союзником одной из сторон» (*Филюшкин*, 2008. С. 330). Да и не было таких денег, за которые Гиреи фактически продали бы свою политическую независимость, которую они постоянно отстаивали. Даже перед лицом всемогущей Блистательной Порты.

[1] Этого мнения придерживаются и западные историки, причём весьма давно: «Если Золотая Орда широко раскидывала свои кочевья, то Крымское ханство характеризуется территориальным самоограничением (подчеркнуто мной. — *В.В.*). И это притом, что уже в начале XVI в., как и двумя веками позже, его народонаселение сравнялось с золотоордынским. Крымчане покидали свой полуостров лишь в *особых* случаях, но и на внутренней территории подвижек не было: там уже каждый знал свое родовое место, что объяснялось повсеместным развитием земледельческой культуры. Собственно, и Золотая Орда в XV в. уже начинала к этой культуре понемногу приобщаться, но сеяли-то они каждый раз на новом месте. У крымских же татар, как и в остальной Европе, давно уже существовали [постоянные] пахотные участки, значившие для них *больше*, чем для золотоордынцев» (*Ernst*, 1911. S. 20–21).

Но вернёмся к старым, куда более объективным русским историкам, выводы которых приведены выше. Не современные учёные, а именно В.Д. Смирнов сделал совершенно верные выводы, хоть и не был знаком с рассуждениями своего далёкого турецкого предшественника, Эвлии Челеби. Последний был современником крымскотатарских походов, внимательным историком и географом, а также дипломатом, между делом занимавшимся и стратегической разведкой, — короче, человеком, во внешнеполитической ситуации Крыма осведомлённым. Так вот, в одной из частей своей знаменитой книги Эвлия обращает внимание читателя на, казалось бы, совершенно необъяснимую вещь, суть которой в следующем.

Наследственный враг тюркского мира, Москва, в начале XVII в. находится в состоянии великой Смуты. То есть страна не то что обороняться не может, а впору бы снова варягов звать, чтобы устранить междоусобицу в правительственных кругах и всеобщий разбой, усугублённый голодом и вторжением поляков (кстати, радостно встреченных московской боярской оппозицией). Но именно в *этот* тяжелейший для русских период, и на *всём* его протяжении, Турция с Крымом как будто забывают о жертве постоянных своих набегов. И автор объясняет, почему: «*Из-за того*, что московские короли, оказавшиеся в бедственном положении, *не были в состоянии* навести порядок в своём государстве (курсив мной. — *В.В.*), между державою дома Османов и Москвой не было сражений и распрей, и дом Османов был занят священной войной с другими неверными», а именно с явной усиливавшейся Речью Посполитой, уже захватившей, между прочим, важнейшие территории Москвы (*Челеби*, 1961. С. 218–219).

Эвлия понимал (как и крымские ханы), что только *баланс* сил, *равновесие* между враждовавшими Польшей и Москвой способно дать если не гарантию безопасности Порте и Крыму, то существенное облегчение их внешнеполитического положения. Непропорциональное же усиление любого из этих агрессивных славянских государств неизбежно вело к поглощению ими ближайших соседей, одного за другим. Тут уж, если хочешь жить, то сидеть сложа руки не приходится: «А вообще эти неверные — такие зловредные головорезы, что если они на пять–десять лет избавятся от набегов татар и если они, пользуясь благополучием, задумают заняться делами государства, ни одна держава не сможет противостоять им и они займут [земли] всех казаков и поляков. А уж если они захотят выйти к побережью Дуная, тогда они уже ни за что не дадут покоя государству дома Османова и — упаси Аллах — может быть даже вторгнутся в Крым...» (там же). Что означало бы конец независимости южных соседей Москвы. Провидческая, глубокая мысль политика XVII века, малоизвестная в российской историографии, лишь в 1970-х гг. получила взвешенную оценку отечественного историка[2].

[2] «Но, призывая к ослаблению Русского государства, Челеби предлагал не беспрестанное ослабление Москвы, а лишь такое, какое было необходимо для равновесия сил в Восточной Европе, для предотвращения её (т. е. Москвы. — *В.В.*) превосходства над Польско-литовским государством» (*Греков*, 1979. С. 306). Собственно, ханы и без советов заезжего турка поступали именно так, а не иначе. Ещё Хаджи-Гирей всячески поддерживал Литву как естественного противника Москвы, он и мурзам своим запрещал устраивать набеги на литовцев. А в 1461 г. даже заключил с Казимиром IV договор, где гарантировал Литве владение южнорусскими областями, некогда подаренными Тохтамышем князю Витовту.

Указанная цель достигалась регулярными разорениями приграничной полосы и гораздо более редкими глубокими массированными рейдами на тысячи вёрст по направлению к жизненно важным центрам обоих славянских государств. Но и мелкие набеги выполняли не менее важную, насущно необходимую оборонную задачу. Препятствуя усилению стихийно складывавшегося пояса славянских селений вдоль границ своей державы, ханы лишали агрессию с севера её самой необходимой предпосылки, а именно базы тылового обеспечения. Без такой опоры на «своих» южан громоздкие армии той же Москвы поражались голодом ещё на подходах к Крыму, до серьёзных сражений с противником. Самый яркий, хоть и более поздний пример — Крымские походы В.В. Голицына накануне петровской эпохи, обошедшиеся гибелью от голода десятков тысяч русских и украинцев, не говоря уже о загубленной коннице.

Во всяком случае, Гиреи твёрдо знали, что безобидные сёла и хутора русских в приграничной полосе — только начало. Ведь за переселенцем-крестьянином идёт солдат, и ханы делали всё для того, чтобы сдержать такую миграцию в южном направлении (кстати, не всегда стихийную, и не всегда без материальной поддержки даже вполне стихийно переселившимся). А иного способа сдерживания противника, кроме превентивных ударов, не было да и быть в тех условиях не могло. И то, что эта стратегия была целиком оправдана, показало будущее, в связи с чем имеет смысл совершить в него небольшой экскурс.

Особенно выпукло эта оборонительная задача проявилась в последние полвека крымских походов на север, то есть в XVII столетии. Набеги совершались почти исключительно на новопостроенные укреплённые городки Белгородской, а позднее Изюмской засечных черт[1]. В ту пору они росли, как грибы на всём протяжении крымских рубежей: Богодухова Гать, Красный Кут, Городный, Колонтаев, Мурахва, Харьков, Царёв-Борисов, Змиев, Чугуев, Салтов, Савин, Любятин.

Была ли такая тактика постоянных походов на засечные черты и отдельные города-крепости результативной? Очевидно, да. Согласно выводам австрийского историка, одного из ведущих специалистов по истории Восточной Европы Андреаса Каппелера, Россия в XV–XVI вв. вполне успешно овладевала наследством Золотой Орды на всех направлениях. Кроме крымского. Причём неслучайно: крымские татары, единственные из бывших золотоордынских этносов, сумели выработать стабильную и, бесспорно, действенную стратегию противостояния московской агрессии. Владения Гиреев в Крыму и Северном Причерноморье сохранились именно «благодаря их выдающимся военным и организаторским способностям» в проведении такой политики (*Каппелер*, 1999. С. 40).

Считают, что именно благодаря такой политике татар Литва, заинтересованная в их союзной поддержке, помогала Гиреям отстаивать независимость ханства (*Ernst*, 1911. S. 27).

[1] О масштабности этих стратегических объектов говорит пример Изюмской засечной черты. Она возводилась начиная с 1680 г., в этом военном строительстве участвовало около 35 000 солдат, даточных людей и казаков. Общая длина цепи укреплений составляла 223 версты. Она начиналась под г. Усердом и шла через г. Валуйки, по рекам Осколу, Северному Донцу, Мже, Коломаку, Ворскле, а по последней до г. Полтавы. «В состав опорных пунктов черты входили 13 городов, 2 стоялых острога и 4 слободы. Все они, за исключением города Солёного, имели только военное значение... Городовые укрепления состояли из стоячего острога окружностью до 1 000 сажен и 4–9 башен» (*Новосельский*, 1994. С. 116).

Собственно, этот вывод очевиден для всех, кто обладает историческим воображением: ведь понятно, что солдаты и другой служивый люд после окончания очередного набега всё равно были принуждены возвращаться на пепелища городков и восстанавливать их. А вот у их кормильцев, тех самых «чёрных людей» — народа непривязанного, без которого городки вымерли бы с голоду — настроения были иными. Им набеги надоедали — и это ещё очень мягко говоря. Рано или поздно они начинали бежать с засечных линий, причём необязательно на старую родину, а вообще куда глаза глядят. В том же Царёве-Борисове в конце концов осталось всего 142 человека «скудных, разорённых и безлошадных», да и те собирались уходить вглубь России или за Урал вслед за своими более решительными земляками: «Жить стало невмочь» — объясняли они (*Новосельский*, 1994. С. 115)[1]. Чего крымские татары и добивались своими бесконечными набегами и походами за северные границы ханства.

Впрочем, как бы то ни было, эти походы, на которые хан не тратил практически ничего, оплачивались за счёт воинской добычи в виде «живого товара». Оставалась и известная прибыль, отчего набеги можно назвать одним из источников экономического дохода, хотя, повторяем, и не основного и нерегулярного. Зададим себе вопрос, были ли набеги привлекательны с этой точки зрения, а именно как средство получения добычи? Вопрос риторический, ибо не было в мировой истории ни одного народа или племени, способного отказаться от добычи, которая сама просится в руки (а ведь так и обстояло дело со слабыми, слишком слабыми и не умевшими держать оружие в руках поселенцами на южных и не только южных землях России). Другое дело, что походы за пленниками или «заурядный угон скота друг у друга с концом феодальной эпохи перерастают в большую войну с целью завоевания земли и людей» (*Шпенглер*, 2003. С. 362).

У северного соседа феодальное владение людьми окончилось в начале 1860-х гг., но великороссы опередили эпоху, начав, к примеру, действительно «большую войну с целью завоевания земли и людей» гораздо раньше (я имею в виду Северную войну 1700–1721 гг.). А потом началась, с той же целью, Кавказская, за ней ещё одна и ещё... И тут уж никаким крымским татарам за великим соседом было не угнаться. Куда им со своей жалкой добычей в несколько тысяч пленников равняться с покорителями миллионов людей, ранее свободных и независимых!

---

[1] Вину за неэффективность южной оборонительной полосы следует прежде всего возложить на московских чиновников в центре и на местах. Они полагались, прежде всего, на административный фактор, уделяя минимум внимания жизни социальных низов южных окраин, да и военному делу на засечных чертах тоже. Между тем создание такой обороны было вполне возможным, если бы не неискоренимые московские бюрократические и коррупционные традиции. Те же поляки установили ещё в 1570-х гг. на востоке Волыни цепь замков и две линии обороны, обслуживавшиеся профессиональными воинами, снабжавшимися всем необходимым из центра. В результате «уже в XVII ст. центральной Волыни татарские набеги практически не достигали» (*Атаманенко*, 2010. С. 23). И это не говоря о таких городах как Варшава и Краков, никогда не испытавших судьбы Москвы, которую русские были бессильны защитить от сколь-нибудь крупного вторжения с юга.

Но это пришло позже, а в допетровский период, да и в XVIII в. основная масса великорусского населения находилась в худшей социальной форме, чем крымскотатарская. В Московии/России основную массу составляли крестьяне, но не было *крестьянства* как единого сословного организма, глубоко сознающего свою общность. И факты якобы общенародных подъёмов (вроде ополчения Минина и Пожарского) на самом деле охватывали лишь незначительную часть поселений тогдашнего государства, да и то лишь в отдельные годы, которые можно буквально пересчитать по пальцам. И этот феномен полной разобщённости народа выглядит особенно контрастно в сравнении с крымскотатарской нацией, где мужчины-воины составляли *воинство* и были постоянно готовы по призыву хана подняться в поход или стать на защиту родины от агрессора в едином общенациональном порыве.

Вообще-то не всегда осознаётся, что мужчина с оружием в руках — это «великий символ воли к деятельности. Народ „в хорошей форме“ — это изначально воинство, глубоко прочувствованная внутренним образом общность [всех] способных носить оружие. Государство — мужское дело, это значит печься о сохранении целого и о том душевном самосохранении, (которое обыкновенно обозначают как честь и самоуважение), [это значит] предотвращать нападения, предвидеть опасности, но прежде всего — нападать самому, что является чем-то естественным и само собой разумеющимся для всякой находящейся на подъёме жизни» (*Шпенглер*, 2003. С. 380).

И эти *естественные* набеги были тем более результативны, в том числе и в экономическом смысле, что крымские рати почти не встречая сопротивления, легко входили в рыхлое тело южных областей расселения великороссов и, взяв то, что само падало в руки, возвращались домой. Любой, кто оказался бы на месте крымских татар, почти наверняка повёл бы себя таким же или весьма схожим манером. Как, например, донские и кубанские казаки в их отношениях с северокавказскими народами. Собственно, называть эту военно-экономическую практику «завоевательной» так же неверно, как именовать не вполне безопасный сбор дикого мёда «пчеловодством»[1].

Это был яркий феномен крымскотатарской истории, навлекший неисчислимые бедствия не только на жертвы набегов, но и на самих «хищников», на их мирных потомков, наших современников, с которых нередко требуют платы за громкую славу их средневековых пращуров. Поэтому имеет смысл попытаться, наконец, внести ясность в эту сложную, многоплановую проблему, втягивающую в свою орбиту не только крымских татар и великороссов.

---

[1] Последнее замечание отнюдь не беспочвенно. С годами возрастает число любителей представлять ханский Крым постоянной угрозой не только московскому государству, но и вообще европейской цивилизации. Пример из публикаций последних лет: в 1572 г. «120-тысячная конница Девлет-Гирея вновь устремилась к Москве. Это был, пожалуй, самый критический год в жизни не только русского государства. Уже читались контуры новой исламской державы, охватившей Крым, Турцию, Казань, Сибирь, Бухару, Коканд, Джунгарию. Это мощное государственное образование должно было поглотить Западную Европу» (*Голубчиков Ю.Н., Мнацаканян Р.А.* Исламизация России. Тревожные сигналы будущего. М., 2005. С. 39). Естественно, никаких источников о наличии у энергичного хана подобных геополитических планов упомянутые авторы не приводят, что вполне понятно.

4. Проблемы работорговли Нового времени

а) История крымской работорговли

Упомянутая выше громкая (хоть для наших современников и несколько сомнительная) слава крымских татар затмевает тот малоизвестный факт, что крымские работорговцы были поначалу лишь скромными учениками своих славянских соседей, о чём уже говорилось в разделе *Русские* в III очерке данного тома[1]. По-настоящему же широкий размах эта коммерция получила значительно позднее. Это случилось после того, как крестоносцы захватили регионы, ранее потреблявшие рабов, которых на протяжении всего I тысячелетия поставляла им Европа. Здесь имеются в виду мусульманские области Средиземноморья, включая Сицилию и Испанию, традиционно пользовавшиеся услугами христианских центров работорговли, известных уже в X веке (Византия, Арагон и Неаполь). После некоторого застойного периода в позднем Средневековье работорговля вновь оживилась в эпоху Возрождения. Но пошла она в обратном направлении, так как спрос на этот вид товара возрос в самой Европе по причинам, на которых остановимся ниже.

Что касается Крыма, то и в Средневековье торговля (не захват, а именно торговля) рабами велась не коренными жителями, а колонистами, главным образом итальянского происхождения. Но вот когда именно они начали покупать и перепродавать «живой товар», сказать трудно. Известно, что работорговля практиковалась в Крыму с античных времён (*Ivanics*, 2007. P. 193). Скорее всего, этот греко-римский опыт передавался из поколения в поколение, пока на полуострове не появились колонисты. Впрочем, утверждать непрерывность этой практики с полной уверенностью невозможно, не располагая на сей счёт всем комплексом конкретных фактов по каждому прошедшему столетию.

Точно так же мы не можем сказать с полной определённостью, какое количество рабов прошло через Крым в своём многовековом следовании с севера на юг. Цифра, которую называет авторитетный американский исследователь — около 3 млн с 1463 по 1794 гг. (*Fisher*, 1972. P. 280–283) — весьма приблизительна, но за неимением иных данных, примем её за реальную. При этом отметим, что сюда входят полонянники не только русские, но и украинские, и польские, и кавказские, и поволжские.

---

[1] Современные исследователи указывают, что работорговля в России процветала с глубокой древности до конца XVIII в. — и это если не считать торговлю холопами и вообще крепостными, известной и в XIX в. «С этой торговли власть брала налоги и сборы. Рабов захватывали и покупали как для хозяйства, так и для продажи... Торговля живым товаром шла вовсю» (*Верхотуров* Д.Н. Шаг к настоящей истории // Клио (СПб.), №4 (27). 2004. С. 27). Рабов добывали и набегами: киевский князь сер. XII в. Изяслав Мстиславич в результате лишь одного набега обратил в рабов 7 000 суздальцев (*Качкачев*, 1907. С. 191). Работорговля в России была официально запрещена лишь в 1722 г., но ещё несколько десятилетий рабов покупали и продавали из-под полы, причём в Сибири раб стоил дешевле всего — 40 коп. «Только в конце XVIII в. работорговля в Сибири прекратилась окончательно» (*Верхотуров*, 2004. Там же). Но практически в то же время (1721) Пётр узаконил куплю-продажу крепостных, чем подтвердил простой факт: абсолютное большинство русских оставалось рабами, потенциальным товаром, и никто не видел в этом ничего странного.

б) Использовался ли в Крыму рабский труд?

Известно, что при сбыте любого товара (а «живой» не представляет здесь никакого исключения), вначале появляется спрос, а уж потом, и часто весьма нескоро, он вызывает предложение. Но отнюдь не наоборот. Конечно, спрос на рабов возник не в самом Крыму, где рабский труд практически не практиковался с I–II вв. н. э. Поэтому встречающиеся во вполне солидных трудах беглые замечания о том, что при походе казаков или (позже) царских солдат на Крым было освобождено столько-то тысяч гнувших на татар спину рабов-христиан — не более чем вымысел от первого до последнего слова. Вот почему ни одно из таких свидетельств нигде, буквально ни разу, не основано на более или менее надёжных источниках.

Что также понятно: как точно заметил один из немногих специалистов по близким проблемам, на *научном* уровне «этот вопрос не только не рассматривался, *но и не ставился* (курсив мой. — *В.В.*)» (*Еманов*, 1995. С. 134). Между прочим, это замечание, сохраняющее свою справедливость доныне, не мешало и не мешает основной массе историков, прикасающихся к крымской теме, упорно утверждать, что рабовладение в ханский период не только, что называется, имело место, но ещё и играло значительную роль в государственной экономике и в частном хозяйстве.

Приведу одно из последних утверждений такого рода, естественно, голословных, то есть абсолютно ничем не подкреплённых и выдвинутых, как аксиоматичная, не требующая доказательств истина: «Крымское ханство — типичное химерное (?!) образование, то есть живущие в нём правящие этнические группы (татары и ногайцы) существовали не за счёт ландшафта (национальной экономики), а за счёт других народов (грабительских походов на сопредельные страны, использования рабского труда, налогообложения немусульманского населения страны и так далее)» (*Дейников,* 2000. С. 184). Для такого рода авторов в качестве примера для подражания (когда ответственные утверждения действительно правомерны) приведу добытые нелёгким трудом французских исследователей данные: среди мальтийцев с 1590 по 1620 гг. доля рабов составляла до 6%, в Неаполе в 1640 г. — из 250 000 человек населения рабами были 10 000, в испанском Кадисе в 1616 г. — 15%; в Малаге в 1581 г. — до 12%; в Алжире — до 30% и так далее (*Ланда*, 1999. С. 627–628).

Пока таких, или пусть даже менее точных, но *доказанных* данных по Крыму не выведено. Они наверняка не появятся и в будущем: как можно доказать то, чего не было?

Между тем исследователи, специализирующиеся именно на этой теме и оттого знакомые с ней не в пример лучше Р.Т. Дейникова, подвергают эту не вполне научную, но устоявшуюся точку зрения критике, указывая, что единственный базовый источник, который мог бы пролить свет на проблему — записи в кадиаскерских книгах — пока введён в научный оборот в крайне незначительной своей части (*Ivanics*, 2007. P. 199). Он практически неизвестен исследовательскому сообществу, так как публиковался ещё в конце XIX в. (сборники ЗОИИД), да и то в крайне скупых выдержках, освещавших к тому же совсем иные проблемы.

Однако по этой теме имеются источники косвенные — многочисленные записки европейских и восточных путешественников и учёных, посещавших

ханство в период расцвета крымской работорговли. Они изобилуют сведениями о сколь угодно мелких и малозначащих подробностях народной экономики и быта крымских татар. Но нигде, ни разу мне не встречалась информация о какой-то общепринятой, массовой практике использования рабского труда на плантациях (где оно действительно могло бы стать экономически эффективным). И по этой причине тоже позволю себе предварительный вывод. Такого рода крайняя форма личной зависимости, сознательно уничтоженная крымчанами в первые века нашей эры, даже и возродившись здесь на протяжении краткого периода в начале второго тысячелетия (рабский труд использовали европейские колонисты), так никогда и не смогла занять в Крыму прежнего положения, иметь прежнее важное значение в социально-экономической жизни полуострова.

Причем дело здесь было вовсе не в недостатке возможностей к возрождению рабовладельческого строя. На базары приморских городов постоянно выводились огромные массы не только *ясыря*, захваченных с бою пленных. Не татары, а совсем иные подданные хана из областей, находившихся вне Крымского полуострова (заперекопских, закубанских и пр.), регулярно приводили сюда рабов Кавказа, Московии, Поволжья и т. д. То есть тех, кто шёл на продажу по старым *внутренним* законам этих областей (неисправные должники, захваченные где-то в ином месте пленники, «лишние» дети, уступаемые многодетными бедняками и пр.). Наконец, после больших походов не было, конечно же, ни одного воина, что не получил бы свою долю — нескольких пленных. Но этот дорогостоящий живой товар исправно уходил за рубеж, в Крыму почти не задерживаясь. Исключение составляли пленные, за которых можно было ожидать выкупа. Вот тут, действительно, имел место труд пленных, которые зря хлеб не ели, а ежедневно выходили на поля или виноградники вместе с чадами и домочадцами своего крымскотатарского хозяина.

Причины неразвитости рабства в Крыму заключались, таким образом, не в недостатке возможностей к нему. Просто для натурального, то есть нетоварного (или частично товарного) хозяйства не слишком богатого крестьянского двора, хозяин которого не то, что не стремился к развитию «производства», а чаще сознательно держал его в весьма скромных рамках, новый работник был абсолютно не нужен. Чужой человек, с неизвестно какими способностями и желанием трудиться, означал, в первую очередь, лишний рот за скромным крестьянским столом и кроме того массу хлопот не только материального свойства. Ещё одну вескую причину отсутствия рабского труда в Крыму давно вывели германские историки. Она носит не столько социально-экономический, сколько природно-климатический характер. Несмотря на отменное плодородие степной почвы полуострова, всё-таки при невозможности искусственного полива это была область рискованного земледелия. Примерно раз в 7—10 лет из-за отсутствия дождей случались неурожаи, тогда средней семье не только на продажу — себе хлеба не хватало, куда уж тут невольников кормить... (*Ernst*, 1911. S. 23)[1].

[1] Крым в этом смысле не исключение из других стран черноморского региона. Даже в Османской империи, где рабов было значительное количество, их практически не использовали на полевых работах, так как принудительный труд был и здесь нерентабелен. Попросту говоря, невольника нельзя было принудить к прилежанию. Поэтому в сёлах

Содержать рабов могло себе позволить, конечно, крымское дворянство. Но мурзы и беи в основном получали долю урожая с крестьян, живущих на их земле, и крайне редко брали на себя дополнительные заботы в виде собственного хозяйства, во всяком случае в эпоху Средневековья. Это не значит, что у них не имелось рабов, но это были в подавляющем большинстве не «труженики полей», а слуги, те, кто получал хозяйский хлеб за работу по дому. И конечно ел его недаром, но в материальном производстве при этом не участвовал. Это были наложницы, евнухи, музыканты, охрана — вот, пожалуй, и всё. Ясно, что число их значительным быть не могло. Картина плантаций, обрабатываемых тысячами невольников, над которыми щёлкают бичи надсмотрщиков, для Крыма абсолютно несвойственна. Как и османская практика, когда из пленных воинов формировались элитные янычарские части и личная гвардия властителей. Из-за своей чуждости местному населению эти воины целиком и полностью зависели от султана, но крымским ханам вполне хватало преданных соотечественников.

Наконец, не стоит забывать, что крымские татары уже в тот ранний период своей истории были, прежде всего, земледельцами и скотоводами, становясь воинами (т. е. добытчиками рабов) лишь от случая к случаю. Нам могут указать, что это — предельно общее положение, что в истории множества народов такая ситуация скорее правило, чем исключение. Увы, это далеко не так. В таком типично рабовладельческом обществе, как, скажем, хеттское, «у каждого воина, в том числе самого рядового, была земля. На это он жил, на это содержал себя и семью во время мира и во время войны. Однако обрабатывали землю рабы, и за животными ухаживали тоже рабы. Хетты **презирали труд** (выделено мной. — *В.В.*), даже торговец был в их глазах почти что не человек. Слово „мужчина“ для них было равнозначно слову „воин“...» (*Мештерхази*, 1976. С. 51). В том же сочинении упоминается, что даже бедняки-хетты имели по несколько рабов с тем, чтобы бездельничать, кормясь их трудом. Согласимся, эта картина — совершенно фантастична для крымского общества Средних веков и Нового времени.

Короче, постоянно находившихся в Крыму рабов было мало, и роль их в экономике была ничтожна. Это видно и из старинного крымского обычая отпускать невыкупленных родичами пленников на волю через 5–6 лет труда на своего владельца. Имеется масса записей в русских и украинских документах о возвращенцах из-за Перекопа, которые таким образом «отработались», — существовал ведь когда-то и такой термин (*Сыроечковский*, 1960. С. 16). Впрочем, вольноотпущенники, которые в Крыму стали особенно заметны после окончания эпохи больших набегов, нередко оставались в пределах ханства и после того, как обретали свободу, хотя бы из опасения преследований на родине[1].

рабов наделяли участками земли с жилыми постройками, после чего они вели собственное хозяйство, отдавая хозяину часть урожая. Таким образом фактически это были уже не рабы, а оброчные крестьяне или чиншевики, известные и в остальной Европе (*Цветкова Б.А.* Робството в Османската империя // Исторически преглед. София, 1954. № 2. С. 96).

[1] Русские власти всегда, не только в сталинские времена, относились к соотечественникам, бежавшим из плена, с болезненной подозрительностью. Приведу один из самых ранних примеров такого рода. В январе 1574 г. из крымского плена вернулись несколько холопов князя И.Ф. Мстиславского — и тут же очутились в застенке. Причина проста: «царь захотел выяснить, кто из его приближённых поддерживает тайные

Такие случаи в ранней истории ханства отмечены в исторической литературе (напр.: *Секиринские*, 1991. С. 148). Но подобное явление наблюдалось и позже, вплоть до XVIII в. включительно. Австрийский миссионер-иезуит о. Франциск Элиман, посетивший ногайские селения близ Перекопа в 1701 г., встретил там земляков, попавших в плен ещё во время осады Вены (1683). Патер рассказывает: «Когда я им советовал бежать, что им легко было сделать, то они отказались, говоря, что не знают, будут ли иметь в нашей стране, что есть» у них в Крыму. Лишь один из австрийцев «готовился возвратиться», и это было возможно, хоть он и не принял ислам (Письма иезуитов, 1904. С. 56). Значит, эти люди, скорее всего, бывшие крестьяне, предпочитали условия жизни в ханстве перспективе возвращения на помещичьи поля у себя на родине, где в ту пору господствовала немилосердная барщина.

Те же, кто, попав в рабство, сменил веру, становились вольными людьми ещё раньше: их с самых давних времён по традиции отпускали на волю немедленно после того, как они произносили священную формулировку вступающего под сень ислама (шариат запрещал держать в неволе мусульманина). Впрочем, женщин отпускали и без перехода в другую религию. А уж их дети становились свободными стопроцентно. Это тоже был старинный обычай, пришедший в Крым с исламом — у арабов он получил всеобщее распространение ещё в первое столетие хиджры. Там, как и в Крыму, воспитанные при крупных хозяйствах юные вольноотпущенники-*mawali* сразу переходили в среднее сословие, а некоторые становились впоследствии весьма известны своим богатством (*Fück*, 1981. S. 277). То есть здесь историк имеет дело не только с крымским, но с общеисламским обычаем. Приведу по этому поводу общие выводы английского учёного-специалиста, стоявшего к эпохе рабства ближе, чем мы, и лучше с ним знакомого: «Рабство на магометанском Востоке есть рабство не земледельческое, а домашнее. Там раб — член семьи; его любят, с ним обращаются ласково. Ислам смягчал суровость рабства и требовал снисхождения (Сура 24). „Сколько раз должно прощать рабу?“ спрашивали у Пророка, и он отвечал: „Семьдесят раз в день, если ты желаешь заслужить благоволенье Божье“». И далее: «Не говори „мой раб,“ потому, что мы все рабы Аллаха, но говори: „Мой слуга“ или „моя служанка“... Доставляйте ему (то есть рабу. — *В.В.*) добросовестное содержание и пищу и не задавайте ему работы, которая выше его сил» (*Ингрэм*, 2010. С. 240).

Далее автор приводит один из хадисов, прямо подталкивающий хозяина к освобождению рабов: Пророк сказал: «Правоверный, отпускающий на волю своего ближнего, освобождает и самого себя от забот человеческих и мучений огня вечного» (там же). Нужно сказать, что такого рода призывы, россыпи которых находим в Коране, хадисах или, ранее, в сунне, не оставались гласом вопиющего в пустыне уже потому, что они соответствовали восточной этике, были убедительны и легко выполнимы для мусульманина, как известно, воспринимающего слова Пророка буквально и подчиняющегося им с куда большим

сношения с татарами. Присутствуя у пытки Иван Васильевич лично спрашивал: „Хто из бояр наших нам изменяет?“ При огне холопы признались, что были посланы своими хозяевами...», и так далее — картина, до боли знакомая (*Курукин И., Булычев А.* Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. М., 2010. С. 211–212).

желанием, чем христиане следуют словам Писания. Отсюда и совершенно иное отношение к рабам, чем у европейцев.

Вспомним об ужасах работорговли, которую на протяжении трёх веков вели европейцы, обслуживающие линию Западная Африка—Новый Свет. Англичане, португальцы и французы устраивали на своих судах многоярусные нары, расстояние между которыми было не более полутора футов (45—50 см), где рабы заживо гнили. Тем не менее, если до подхода к гаваням Вест-Индии выживала хотя бы половина «товара», рейс во много раз окупал расходы на него (раба, купленного у африканского вождя за 3 талера, в Вест-Индии продавали за 255). Практика, немыслимая для исламского мира, она не шла ни в какое сравнение с крымской работорговлей также и в отношении её масштабов. Даже из больших походов-сафари на полуостров доставлялись сотни, максимум тысячи (от одной до трёх) пленников, причём сафари были событием достаточно редким, неординарным, и случались они далеко не каждый год. В то же время европейцы вывозили из Африки регулярно, то есть *в каждый ежегодный* «сезон», до ста тысяч голов «чёрного дерева». Одну только Ньясу (современный Мозамбик) навсегда покидало в среднем 19 000 аборигенов в год, в результате чего к XIX в. там совершенно обезлюдели обширные и ранее густонаселённые области (*Klein H.S., Engerman S.L.* Long-Term Trends in African Mortality in the Transatlantic Slave Trade // Routes to Slavery. L.: Portland, 1977. P. 36)[1].

Но вернёмся в наш регион, где всё обстояло по-иному. Объяснением тому, что соседние племена и народы зачастую добровольно продавали крымцам своих соотечественников из бедных многодетных семей, не могла не быть надежда на то, что в Крыму или Турции этим изгоям хуже не будет. И такие надежды беспочвенными не были — об этом говорилось выше. Но бывало, что рабы на Востоке вообще становились вровень со своими бывшими владельцами. «Они (т. е. рабовладельцы. — *В.В.*) выдавали их замуж или женили на своих детях и вверяли им высокие должности. Освобождение матери-рабыни происходило после рождения первого ребёнка, которого господин признавал своим. Мать-отпущенница не могла быть продана или подарена». Раб не считался существом низшего разряда, рабское происхождение или рабство в прошлом не мешали освобождённому делать карьеру. «Отсюда не было вредного нравственного влияния, неизбежно присущего рабству» (*Ингрэм,* 2010. С. 241).

Здесь нет ничего удивительного, ведь социальная мобильность в мире ислама была несравненно выше, чем в христианских странах, закомплексованных такими понятиями, как потомственность дворянства, наследственные титулы, национальная сегрегация и т. п. В то же время восточная практика освобождения слуг-домочадцев была всеобщей, об этом имеется множество письменных свидетельств как о Крыме, так и других областях мусульманского мира (*Кулаковский* 1914. С. 132; см. также: *Ланда*, 1999. С. 627).

Многих захваченных во время набегов отпускали домой и по другой причине — в качестве разменной ценности, то есть при обмене «на пленных татар,

[1] Выше упоминалось количество рабов, прошедших через Крым за 330 с лишним лет — около 3 млн. В среднем получается около 9 300 человек за год — масштаб, конечно, несравнимый с гигантским размахом западноевропейской работорговли того же времени.

о выкупе которых соотечественники их выказывают гораздо более заботливости и старания, нежели наши христиане. Ибо, несмотря ни на какую цену, они прежде всего требуют возвращения своих пленных татар» (*Броневский*, 1867. С. 364). Здесь пример показывали сами владыки: «Некоторых пленных татар хан освобождает посредством обмена пленных; но для выкупа прочих он не жалеет собственной казны и чем только может облегчает их участь» (указ. соч. С. 366).

Несколько опережая события, заметим, что и такое относительно ничтожное рабство, а точнее, его слабые следы, судя по основной массе крымских источников, почти полностью исчезло уже в XVII в. Для сравнения упомянем о судьбе мусульманских пленных в России. Здесь ни о каком отпуске на свободу и речи быть не могло: рабство было вечным и для главы семьи, каким бы зажиточным он ни был (имеются в виду богатые торговцы-крепостные, судьба которых также целиком зависела от воли помещика), и для его потомков. Холопами оставались и те татары или турки, кто соглашался сменить веру (их было исчезающе малое число, буквально единицы из многих тысяч захваченных). Но хуже всего приходилось даже не пленным, купленным частными владельцами, — хозяин всё-таки не мог не заботиться о своём «двигающемся имуществе». Им могли позавидовать те пленные, кто попадал на так называемые «государевы работы» (был включен в казённое производство). Изнурительный труд на грани выживания становился их уделом до самой смерти.

Так, пленные татары и турки, захваченные во время походов Селим-Гирея I (см. в этом томе очерк «Крым и Запорожье в XVII в.») в конце 1670-х гг., использовались на крепостных работах в Шлиссельбурге и через четверть века, в 1703 г. Имеется любопытный архивный документ, где обозначены условия их быта. Это указ от 15 мая 1703 г. генерал-адмирала Ф.А. Головина другому петровскому военачальнику, Б.П. Шереметеву. Из него следует, что пленным мусульманам на прокорм выдавалось «по две денги человеку на день» (что равнялось одной медной копейке), да и то с большими перерывами. При тяжком труде от восхода до заката солнца эти невыплаты обрекали людей на неизбежную смерть: «...а ныне им того нашего великого государя жалованья бурмистры не дают, и не выдано им на апрель и на май месяцы, от чего многие помирают» (РГАДА. Ф. 96. Оп. 1703. Д. 5. Л. 10–10 об.).

в) Рынки сбыта и регионы использования рабов

Таким образом, рынок сбыта рабов для их непосредственного использования находился весьма далеко от Крыма, в Западной Европе и на Ближнем Востоке. И вот тут-то весьма важно правильно расставить акценты. Как это, например, сделал французский историк цивилизации Фернан Бродель по отношению к Африке: если там и возникла «торговля людьми, то, конечно же, потому, что Европа её желала и навязывала. Но дело также в том, что Африка имела дурную привычку заниматься ею задолго до прибытия европейцев, направляя торг в сторону мусульманского мира, Средиземноморья и Индийского океана. Рабство было в ней эндемичной, повседневной структурой в рамках социального строя...» (*Бродель*, 1992. Т. III. С. 447–448).

Здесь дано почти зеркальное отражение истории работорговли в обширных территориях вокруг Чёрного моря и к северу от него. Ближайшей к Крыму страной, где рабский труд практиковался массово, напомню, была Россия. Возникнув в седой древности, рабовладение благополучно продержалось здесь все Средние века и формально, а не в реальности, было отменёно, как мы помним, лишь в конце XVIII в.[1] Но рабский труд остался. Ещё раз опередим события: рабский труд практиковался Россией и в XVIII, и в XIX вв. В частности, после захвата Крыма началось порабощение и его свободного населения. Именно при Екатерине II крепостное право в России «превратилось в полную зависимость крепостных, ставших частной собственностью землевладельцев» (*Ключевский*, 1993. Т. III. С. 325). Этот же учёный был вправе охарактеризовать Россию той эпохи как «строго рабовладельческое царство античного или восточного типа» (*Ключевский*, 1956. Т. IV. С. 329).

В 1950-х гг. в Евпаторийском краеведческом музее экспонировалась картина маслом, изображавшая невольничий рынок у гёзлёвских ворот Одун-базар-капусы (причём с *внешней* их стороны, где никогда никакого базара не было). Живописец довольно бойко изобразил душераздирающую сцену раздела славянской семьи между несколькими покупателями, то ли татарами, то ли турками. Но такие сцены можно было наблюдать и на территории России с той только разницей, что продажи там совершались не 5–6 раз в году, как в Крыму, а ежедневно в десятках тысяч городов и деревень огромной империи. Это уже не говоря о знаменитой Салтычихе (подмосковной помещице Д.Н. Салтыковой), насмерть запытавшей более 70 человек и *единственной* помещице, как-то наказанной за зверство. То есть за свойство характера, совершенно несоединимое с образом работорговца из Крыма. Садистские наклонности разорили бы его, чего не опасалась та же Салтычиха, владевшая тысячами «подопытных», годных для её кошмарных экспериментов.

Итак, для Руси-Московии-России рабский труд был обычной практикой, немыслимой без работорговли, которая и процветала на протяжении всего указанного многовекового периода. Избытки внутреннего рынка шли на экспорт. Как указывалось выше, ещё до того, как начался взрывной рост спроса в Запад-

[1] Рабы на Руси назывались холопами. Там превратиться из свободного человека в раба было довольно просто. Для порабощения человека имелось немало путей и помимо наиболее известного — захвата смерда в плен соседним князем. Было достаточно жениться на рабе «без ряда» (т. е. без соответствующего договорного оформления), принять должность тиуна без того же ряда, родиться в семье холопа, долго оставаться закупом (наёмным батраком за денежное жалованье), не отдать долг или плату за собственный выкуп из плена или попасть на «поток и разграбление». Наконец, можно было продаться из бедности самому, что случалось тоже нередко. Рабство на Руси позднее получило такой размах, что с XVII в. пришлось даже учредить особый Холопий приказ для контроля за этим видом собственности. Нельзя не заметить, что в отличие от сторонников гипотезы о «крымском рабовладении» отечественные и зарубежные специалисты по русскому рабовладению опираются на огромный массив *документальных* данных (*Панеях В.М.* Кабальное холопство на Руси в XVI в. Л,, 1967; *Hellie R.* Slavery in Russia 1450 — 1715. Chicago, 1982). Следы традиции рабства неизгладимы: в конце XX в «за десятилетие около 500 000 женщин из бывшего СССР были вывезены за рубеж. Это и понятно. Ведь современная работорговля приносит такую же выгоду, как и 200 лет назад» (АиФ, № 48. Декабрь 2000. С. 22).

ной Европе, никто не гнал к морским портам рабов такими массами, как русские князья (причём из числа *собственного* населения, прямо как африканские племенные вожди). Об этом со всей определённостью говорят источники доханских X–XI вв. При этом Крым играл роль важнейшего перевалочного пункта, торгового терминала, но не более того (*Карпов*, 2000. С. 218).

Второй крупный регион, потреблявший рабов — Египет. Здесь в обороте были, как в Московии, и мужчины (в основном для пополнения султанской армии мамелюками) и женщины (для гаремов знати), понятно, что первых требовалось гораздо больше (*Варваровский*, 2008. С. 88). Третье направление работорговли — Европа, главным образом, Италия. Поскольку только этот рынок сравним по длительности существования с российским, а также ввиду того, что он сыграл столь заметную роль в истории Крыма, стоит рассмотреть его особенности внимательнее.

Итальянская работорговля, по сути, не исчезала со времён Римской империи, но в XIV в. она значительно расширилась. К двум старым рынкам, Генуе и Венеции, добавился третий — Флоренция, а общий оборот резко возрос. Объяснение — в переменах, вызванных Возрождением. Процесс распада больших семей, участившиеся внебрачные связи — всё это увеличивало количество домашних очагов и, значит, потребность в прислуге. Взять же её было неоткуда, оставался единственный выход — покупка рабов. Проблема эта была настолько горящей, что итальянцы даже издали закон, по которому ни один раб не мог идти на экспорт, пока не будет полностью удовлетворена потребность всех городов, в том числе провинциальных (*Лучицкий*, 1886. С. 13).

Число рабов поэтому исчислялось многими тысячами, особенно в Южной Европе, о чём свидетельствовали и приведённые выше цифры из французских исследований. Спрос же здесь, в отличие от Египта, был, главным образом, на женщин; он и поддерживал итальянскую работорговлю до конца XVII в. (*Wolf*, 1982. P. 202). Поэтому вполне правомерно замечание о том, что «в кровь любого народа Европы от Северного моря до Средиземного влилась обильная струя русской, татарской, черкесской, турецкой и африканской крови» (*Харт*, 1999. С. 24).

Итак, открылся во всю ширь европейский рынок, а славу работорговцев Причерноморья русские разделили с итальянскими колонистами Крыма, в предпринимательской деятельности которых «работорговля заняла одно из *ключевых* (курсив мой. — *В.В.*) мест. В XIV–XV вв. она приобрела поистине международный характер» (*Карпов*, 1986. С. 139). То есть прекрасные экономические возможности сельского хозяйства Крыма отошли на второй план по сравнению с торговлей рабами — точнее, с перепродажей партий рабов, регулярно поступавших на европейский рынок со всего огромного региона Восточной Европы через Северное Причерноморье. При этом главными центрами её были не только Кафа и Тана на севере, но и стамбульская Пера, а также Синоп и Трапезунд на юге Чёрного моря — там прочно обосновались итальянские фактории, работавшие в полном контакте с местными властями. Кроме того, кафинская торговая кампания *Оффиция Св. Антония* имела свои филиалы на местах, то есть в регионах, *поставлявших* рабов (*Карпов*, 1986. С. 140).

Главным центром работорговли в Крыму была генуэзская Кафа. Здесь уже в XIII в. существовала специальная контора, занимавшаяся скупкой рабов у оптовых поставщиков и частных лиц. По мере накопления живого товара партии его отправлялись на кафинских же судах за Босфор. Вначале сбыт рабов происходил

исключительно в арабских странах, отчего эта крымская контора и называлась не по-итальянски *Туггар аль-Хасс*. В том же веке уже существовала монополия кафинских генуэзцев на всю причерноморскую работорговлю (есть одиночное свидетельство о том, что генуэзцы торговали рабами и в Чембало. См.: *Шавшин*, 1994. С. 13). Рабов, собственно, мог скупать по всему побережью и вдоль торговых речных путей кто угодно. Но затем этот товар должен был отовсюду доставляться в Кафу и перепродаваться там местным купцам, единственным, кто имел лицензию на вывоз рабов через Босфор в Средиземное море (*Еманов*, 1995. С. 131).

Способы оплаты товара были при этом весьма разнообразны. В частности, практиковался и бартер (на анатолийском рынке за рабов давали хлопок). В денежном же отношении за одного раба, который на северо-западе Московии стоил не более 10 коп. (ПСРЛ. Т. XIII. Стлб. 265), на крымских рынках XVI в. приходилось отдавать в среднем 250 ахче или 4 золотых дуката. И эта сумма не считалась чрезмерной (хорошая верховая лошадь ценилась вчетверо дороже), так как на месте потребления, в Турции или Италии, цена поднималась ещё выше — до 25–50 золотых (*Ivanics*, 2007. P. 194). Об общем же объёме крымской работорговли можно судить по тому, что только Турция получала от неё в середине XVII в. доход в 18 000 дукатов (*Inalcik*, 1994. P. 131).

Не оставались в накладе и венецианцы с генуэзцами. Торговая прибыль за один рейс доходила у них до нескольких сотен процентов. Что же касается не частной, а государственной экономики, то достаточно сказать, что в начале XV в. Венецианская республика лишь на пошлинах с ввезённых рабов получала в среднем 50 000 дукатов ежегодно — и это не считая прямой коммерческой прибыли (*Eck*, 1940. S. 32).

г) Регионы-поставщики «живого товара»

Итальянские купцы тем успешнее могли вести своё дело, что не были сдерживаемы, как их мусульманские предшественники, принципом невозможности торговать единоверцами. Выше уже говорилось, что пленный или раб становился в Крыму свободным, как только принимал ислам. Для итальянцев этих проблем не то чтобы не существовало: они в своё время весьма пристально рассматривались, причём здесь имелись сторонники противоположных точек зрения. Однако противоречия сгладились после того, как весьма известный мыслитель Возрождения и популярный автор-новеллист Ф. Саккетти, а также не менее авторитетный пастор, архиепископ флорентийский Антоний, не сговариваясь, провозгласили, что «крещение не освобождает от рабства» (*Лучицкий*, 1886. С. 17).

Русских же работорговцев, а также черкесов и армян эти щепетильные проблемы вообще не волновали. Тем более что православные священники были ничем не лучше итальянских патеров. Они и в XVIII в. добивались права иметь собственных рабов (то есть холопов) наряду с грешным светским дворянством (*Ключевский*, 1956. Т. IV. С. 347–349).

Как свидетельствуют многочисленные источники, близлежащие южные области Московии отнюдь не являлись для крымцев главным поставщиком рабов. После XII в., а в особенности в XV и XVI вв., множество людей на продажу добывалось новгородцами и московитами на севере Европы. Славяне регулярно втор-

гались в области, принадлежавшие финским племенам, исключительно с целью захвата рабов. Новгородские хроники донесли до нас сведения о почти сотне таких набегов, после которых охотники за людьми «со многим полоном возвратися в свояси». О количестве добычи, впоследствии отправлявшейся главным образом в Крым, можно судить по краткому, но ёмкому определению: её было «бес числа». И, как доказывает современный финский историк, этих пленников отправлялось впоследствии на юг гораздо большее количество, чем обычно считают российские и западные историки (*Korpela*, 2010. P. 133–134).

Из сказанного очевидно, что для бесперебойной торговли этим видом товара вовсе не обязательно было ходить в опасные вооружённые набеги. Кавказские племена, носившие в Крыму общее наименование *черкесских*, вполне добровольно поставляли за установленную плату собственных девушек и юношей. Частично это был основной вид дани (черкесы считались подданными ханов Крыма), отчасти такое случалось в особо неурожайные годы, когда приходилось расставаться с детьми, чтобы избавить их от голодной смерти. Небольшое уточнение: «По словам одного аравийского писателя, племена Кипчака и Кавказа охотно торговали дочерьми, но на продажу сыновей решались в крайних случаях — во время войны или голода» (*Примоде*, 1850. С. 102). Поставляли живой товар и армяне. Очевидно, также соотечественников, поскольку условием при сделке было не продавать этих христиан мусульманам (*Лучицкий*, 1886. С. 12).

Такому «выходу из кризиса» не стоит особенно удивляться по двум причинам. Во-первых, многодетные бедняцкие семьи той эпохи часто не имели продуктовых запасов, рассчитанных на экономически трудные, гибельные годы. Поэтому они были обречены на вымирание целыми деревнями, тогда как продажа хотя бы части детей спасала остальных. Во-вторых, такой уход из семьи, особенно девушек, вовсе не обязательно означал для последних резкое ухудшение условий жизни или перспектив будущего, особенно если они попадали к более или менее зажиточным мужьям. Продажа в рабство мужчин однозначно ассоциируется с галерами, что далеко не так. Выше указывалось, что основная часть рабов становилась в Египте мамлюками, какое-то число их использовалось в сельском хозяйстве, городских домах или в ремесленных мастерских.

Так, в Османской империи известное количество рабов превращалось в ремесленников, другие были заняты как домашние слуги, третьи — в качестве коммерческих агентов и т. д. Вообще историки лишь с недавних пор стали осознавать, «что рабство в мусульманских обществах не всегда характеризовалось исключительно униженным состоянием, что статус раба регулировался законом, что рабы имели возможность получить свободу и что статус раба... богатого хозяина мог повлечь за собой существенную и даже большую привилегию и [высокое] социальное положение» (*Остапчук*, 2002. С. 410). Кроме того, раба нельзя было подвергать опасности военных походов и даже привлекать к участию в усмирительных акциях, например в Молдавии. Это касалось и Крыма. Когда во время кабардинского похода Сафы-Гирея I в 1544 г. один из близких воинов (*нёкёров*) ханского сына Эмин-Гирея украл у какого-то местного *факира* (т. е. небогатого человека) раба, чтобы использовать его в качестве слуги во время похода, то этого нёкёра, виновного единственно в том, что он подверг раба военной опасности, постоянно наказывали плетью во время всего обратного пути ханского войска (Указ. соч. С. 412).

Что же касается тех, кто не по своей воле попадал в Италию и другие европейские страны, то там работа могла быть даже легче, чем в родном селе. Не говоря уже, к примеру, о труде переписчика (основанные на их почти бесплатном труде домашние «издательства» приносили рабовладельцам стабильный доход), не так уж плохо жилось простой прислуге[1]. И это было известно в странах-поставщиках живого товара, и оказывало своё воздействие на объём таких поставок. Имеется немало сведений о том, что жители и Кавказа и Южной России, даже в довольно поздний период (XIII–XIV вв.) вполне добровольно расставались с сыновьями и дочерьми: «нередко случалось, что родители сами продавали своих детей, в особенности дочерей, работорговцам, отправлявшим невольников на Запад» (*Харт*, 1999. С. 23). А в особо тяжкие годы, когда не было иного выхода, детей продавали и сами татары Причерноморья, ничем, таким образом, не отличаясь от своих «клиентов» из других регионов (*Тизенгаузен*, 1941. Т. II. С. 436).

Человеку XXI в. нелегко понять эту ситуацию.

Многие ли из нас способны отдать в новую жизнь свою едва подросшую дочь, расстаться с ней *навсегда,* хотя ей на родине грозит вполне реальная голодная смерть? Современники не только тех, но и более цивилизованных лет, в том числе и просвещённые английские авторы, относились к такой дилемме проще. Жизнь в любом случае предпочтительнее смерти. Вот и получалось, что черкесские (кабардинские, шапсугские, убыхские и др.), а также *христианские* «родители предпочитают продавать их, чем отдавать замуж даже за богатых соотечественников: они считали, что там им будет лучше, в гареме у мусульманина, который не только платит крупную сумму за красивую супругу, но и относится к ней с большой благожелательностью. Таким образом, им гарантирована жизнь в роскоши и в статусе ни в коем случае не унизительном. А вот если они к своим попадут, то положение их будет плачевное, ибо те [христиане] испытывают весьма слабое расположение к прекрасному полу» (*Jones*, 1827. P. 172). Дело понятное: так нещадно бить жён, как это делали мужья в некоторых христианских странах, среди мусульман было делом неслыханным уже по причине позора, которым покрывает себя при этом супруг в глазах единоверцев.

д) Техника торговых операций в Крыму и за рубежом

Когда имелось принципиальное решение о сделке, то сама торговая операция была делом техники. Для доставки черкесского или армянского «товара» имелось только три магистральных пути (мелких, нерегулярных, было больше, но о них мало что известно). Первый, самый простой: кавказцы доставляли своих девушек и мужчин в Кафу, где за дело брались и его завершали местные оптовики-профессионалы.

---

[1] Слуги и служанки, жившие под одним кровом с господами, через какое-то время если не неизбежно, то зачастую становились для последних чем-то бóльшим, чем просто рабами. Показательно, что продавец, заключая контракт о купле-продаже, должен был гарантировать в специальном его разделе, что будущий слуга «не болтун, не беспокойный, не надоедливый» и т.д. То есть что передаваемому рабу чужды качества, невыносимые при будущем тесном общении хозяина и слуги. Хотя, с другой стороны, законы о наказаниях для этих невольных иммигрантов были в Италии не в пример суровее, чем для других, местных преступников (*Лучицкий*, 1886. С. 39–40).

Второй путь: сами черкесы доставляли товар в Гурзуф, откуда крымцы его направляли дальше, в Бахчисарай. Этот вариант был сложнее и опаснее, так как таким образом нарушалась торговая монополия Кафы, но он давал больший доход благодаря исключению посредников (*Горчакова*, 1883. С. 167).

Третий путь лежал через Партенит. Местные татары имели несколько судов, специально оборудованных палубными надстройками и трюмными нарами для перевоза наибольшего числа подневольных пассажиров. Эти парусники ходили постоянным рейсом на Тамань, там черкесы грузили «своих», без хлопот получали деньги, а шхуны ложились на стамбульский или синопский курс. Причём такие перевозки осуществлялись и столетиями позже, уже после полного прекращения больших набегов крымских татар на север, в 1760–1770 гг., когда в Крыму *захваченных* рабов практически уже не встречалось (*Butland*, 1849. P. 11–12).

Теми же или несколько иными путями поставляли рабов в Крым и днепровские, и донские казаки, и заперекопские ногайцы, и русские. Причём этот канал бесперебойно работал с XIII до второй половины XVII века включительно. Так, гетман П. Дорошенко в 1670-х гг. отправлял в Крым пытавшиеся бежать с Правобережья к И. Самойловичу казачьи семьи; крупные контингенты рабов (лифляндских и ингерманландских) из России поступали в Крым в начале — первой трети XVIII в.[1]

После угасания восточнокрымских колоний переход работорговли Северного Причерноморья из итальянских в крымские руки сказался и на национальном составе «товара». Поражает высокий удельный вес рабов-татар. По данным генуэзских архивов в XIV в. в среднем здесь из 25 выставленных на продажу рабов было 20 татар, 1 грек и 4 вообще пришлых (по архивам Флоренции — на 259 татар приходилось 27 греков, 7 русских и 7 турок) (*Лучицкий*, 1886. С. 15). В Палермо (Сицилия) во второй половине того же века из 376 рабов, поступивших от крымских генуэзцев, 287 человек или около 76% (!) были татарами; во Флоренции чуть позже, в конце XIV в., из 389 проданных рабынь 259 женщин также были татарками (*Ланда*, 1999. С. 627). Другой современный автор подтверждает, что «в тех нечастых случаях, когда в источнике указан этнос рабов, то это почти всегда... мусульмане, то есть татары по преимуществу» (*Карпов*, 1986. С. 142)[2]. Но уже веком спустя на 25 рабов приходилось всего 8 татар, 7 русских, и 5 «лиц кавказской национальности» (*Лучицкий*, 1886. С. 15).

---

[1] Это была добыча петровских казаков в Северной войне (*Возгрин*, 1986. С. 102–103). Во время походов Миниха и Ласси в 1730-х русские снова открыли «сезоны работорговли», товар доставлялся с Кавказа. Очевидно, на него был спрос: в Крыму цена за крепкого парня или красивую девушку поднялась до 20–30 рублей (для сравнения: российский полковник получал жалованья 50 рублей в месяц), правда, стариков и детей отдавали и по 6–10 рублей за голову. Кроме того, цена зависела от возможности получения выкупа (в среднем, около 100 рублей) в каждом отдельном случае (*Haven*, 1743. S. 249).

[2] Из этих и иных источников можно сделать вывод о том, что такой необычно высокий процент крымских татар среди предлагавшегося на продажу контингента объяснялся, среди прочего, и этнопсихологическими качествами невольников из Крыма. Испанский автор книги «Происшествия и путешествия» (XV в.) Педро Тафур, в разделе о Кефе отмечает: «если среди рабов продаются татарин или татарка, цена на них в три раза больше, ибо можно с уверенностью сказать, что ни один татарин никогда не предавал своего хозяина» (цит. по: *Харт*, 1999. С. 24–25).

Вся эта статистика, между прочим, лишний раз подтверждает сказанное автором XVI в. о том, что «первые, установившие [в Крыму] эту гнусную торговлю, были генуэзцы, потом венециане». А вспомнив о рабах, которых по заказу христианских купцов Кафы захватывали в Орде заперекопские ногайцы, мы можем согласиться и с тем, что ордынцы вначале «сами испытывали участь тех жертв, которых они через несколько веков, уже обосновавшись в Крыму, стали отправлять за море» (*Гейд*, 1915. С. 84). К концу XVII в. такими местами сбыта остаются Стамбул, Синоп, Трапезунд, Персия; впрочем, появился и новый рынок — Индия (*Witsen*, 1692. Bl. 382–383).

5. Масштабы и техника походов и набегов

Повторяю, лишь гораздо позднее захвата побережья полуострова турками, в начале XVI в., когда исчезли последние генуэзские и итальянские колонии Крыма, этот вид промысла перешёл к крымским татарам. Точнее, не ко всему населению ханства, а к военно-политической его элите, опиравшейся в набегах на заперекопских подданных дома Гиреев (см. ниже).

Понятно, что здесь не избежать какой-то моральной оценки подобного «народного промысла». Но научная объективность, да и чисто человеческая справедливость требуют, чтобы оценка эта была сделана не с высоты достижений философского гуманизма XX или XXI вв., а в соответствии со взглядами современников рассматриваемых событий. И вот тут мы видим, что ни в XVI в., ни позже походы с целью воинской добычи не считались чем-то постыдным не только в Крыму, но и в соседних и не совсем соседних странах. «Он сделал опасность своим ремеслом, и его не следует презирать за это» — в подобном оправдании Заратустры не нуждались, например, казаки Богдана Хмельницкого, когда совместно с татарами Ислам-Гирея разоряли мирных жителей Польши, жгли города и уводили с собой многотысячный полон на продажу (*Эварницкий*, 1892. Т. II. С. 243). Да и сам славный гетман искал и находил для своих полков казаков, «які звикли шаблею шматок хліба собі добувати» (*Крип'якевич*, 1990. С. 45). Как будет показано ниже, казаки и крымские ногайцы обладали менталитетом воина, а что определяет поступки человека более властно, чем его менталитет? Разве что внешнее принуждение, но в ту эпоху кто мог принудить запорожцев или крымских татар вести себя так или иначе?

Аналогичное отношение к походам за ясырем было и по эту сторону Перекопа, у крымских эмиров и беев. Советский исследователь замечал: «Едва ли будет парадоксом сказать, что это занятие было для них вполне закономерным средством для получения путем обмена необходимых им товаров и денег... Это было действительно ремесло, почти профессия» (*Бахрушин*, 1936. С. 30). «Война здесь великое искусство (meeste konst)», — замечает голландский путешественник (*Witsen*, 1692. Bl. 383); полувеком ранее о том же писали французские дипломаты: «долгий опыт походов позволил им проникнуться всеми тайнами этого искусства» (*Luce, Beauplet, Lamberty*, 1634. P. 6). Беи и мурзы были такими же рыцарями-разбойниками в степях Восточной Европы, как их украшенные бла-

городными гербами европейские «коллеги» на больших дорогах Запада и Востока, с одинаковой легкостью приносившие в жертву человеческие жизни — свои и чужие. И точно так же как западные поэты-рыцари, дружинные певцы крымских походов находили в военных схватках особую, острую романтику боя.

Приведу песнь одного из таких поэтов-воинов XVI в., Досмамбета Азовского, оборотившегося перед смертью на прошедшую жизнь:

Тугаи, тугаи, тугаи у рек,
Тугаи обжил я, не жалею.
Тяжёлую секиру в руки взяв,
Возглавил войско я, не жалею.
Стрелами остроконечными
Врагов разил, не жалею.
Одногорбых, могучих верблюдов запрягший,
Кочевал я, не жалею.
Аргамака с густым, коротким хвостом
Оседлал я, не жалею.
Как полноликая луна,
В шлем облачился я, не жалею.
На ложе с чеканной резьбою, за занавесью алой,
Красавицу с распущенной косой
Целовал я, не жалею.
Ведь мне не о чем скорбеть, —
Перед Мамаем Храбрым
Шахидом лёг, не жалею!

Цит по: *Музафаров*, 1991. Т. I. С. 241–242.

Ни в коей мере не оправдывая войны как таковые, приведу и противоположные мнения мыслителей, видевших в этом занятии и некоторые положительные стороны, особенно в древности, когда внутри этносов только формировались понятия доблести, бесстрашия, воинской чести. Гераклит (VI–V вв. до н. э.) считал, что в этом смысле «война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными». А «Гомер, — продолжал древнегреческий философ, — молясь о том, чтобы вражда сгинула меж богами и меж людьми, сам того не ведая, — накликет проклятье на всех живых существ».

К этим словам нужно отнестись с пониманием. И тогда война предстанет не искусством смерти, но и искусством игры, соревнованием вождей в силе, храбрости и сноровке. Германские саги и русские былины в большей своей части посвящены тому же — войне, которая поднимает победителя до немыслимых в мирное время высот, делает его богоподобным. Процесс войны был и выяснением благосклонности богов или, позднее, единого Бога. В то же время братоубийственные войны проклинались с древнейших времён, тогда как все остальные оставались самой богатой возможностью служения божеству.

Средневековые рыцари Запада и Востока «...жили войной потому, что не видели для себя никакого иного образа жизни. Такова была их природа. Если война заканчивалась, они, дабы не умереть со скуки, спешили на рыцарские турниры, порой превращавшиеся в массовые побоища. Именно в сословиях, подобных

рыцарским, вырабатывались особые кодексы чести, которыми восторгаются современные романисты» (*Светлов Р.* Искусство войны. СПб., 2004. С. 6–7). Но не только война ради войны привлекала этих воинов по праву рождения. Походы на неверных и набеги на такие же христианские земли, как их родина, давали рыцарям ещё и возможность разбогатеть или хотя бы поправить своё материальное положение, далеко не всегда блестящее.

Однако в отличие от Запада, где рыцари не испытывали затруднений с вербовкой в свои шайки новых головорезов взамен убывших, в Крыму эта проблема была сложнее. На полуострове с его преимущественно сельскохозяйственным населением и малым числом городов не всегда было просто найти охотников до набегов, особенно в летнее время. Причём сказанное относится и к скотоводческим, и земледельческим, и садово-виноградным хозяйственным регионам ханства, а значит, практически ко всей территории полуострова, где концентрировалось основное, коренное население, не имевшее ничего общего с заперекопскими кочевниками и ведшее «совершенно противоположный образ жизни» (*Хартахай*, 1866. С. 207). Поэтому ханы, когда у них появлялось в очередной раз желание садиться на коня, «главным образом брали с собой ногайских татар», т. е. жителей степи Северного Причерноморья и лишь отчасти — малочисленных кочевников, ещё встречавшихся в самой северной, степной части Крымского полуострова. Не случайно походное войско собиралось не в Крыму, а где-нибудь у Днепра, в местах обитания заперекопских ногайцев (*Броневский*, 1967. С. 361).

Что же касалось «жителей полуострова, в особенности южной его части», то ханы, собиравшие людей в поход, нередко «довольствовались только обложением данью за право не выезжать» (*Хартахай*, там же). Опираясь на приведенные данные весьма авторитетного историка, писавшего, что называется, «по горячим следам», мы приходим к внешне парадоксальному, но вполне логичному выводу: основную массу «крымских татар» во время набегов составляли вовсе не крымчане, а степняки Причерноморья. Хотя мы и затруднились бы уточнить это соотношение в процентах или абсолютных числах.

Впрочем, гораздо важнее не количественные, а качественные, а именно производственные и идеологические, различия между группами населения гор, предгорий и побережья, с одной стороны, и степи по обе стороны Перекопа, с другой. Первый субрегион издавна считался «ядром Крымского юрта» не только потому, что «в нём находилось главное управление татарского государства», но и поскольку именно здесь сохранились древние устои, абсолютно чуждые кочевникам-пришельцам, с готовностью откликавшимся на призыв к набегу. Этой мирной идеологии садоводов, пастухов и пахарей суждено было стать в Крыму главенствующей. А первые ростки грядущей её победы были заметны ещё в XVII в. Недолгий опыт набегов с его соблазнами быстрого обогащения стал тогда уступать древним крымским традициям, вновь по достоинству оценённым уже потому, что мирный путь развития экономики «совершенно совпадал с нравами и образом жителей полуострова» (*Хартахай*, 1866. С. 208).

Как замечает тот же историк, такой путь был совсем «не по вкусу ногайским ордам», но на их мнение в Крыму XVII–XVIII вв. никто не обращал внимания — подавляющее большинство населения полуострова избрало себе иную судьбу.

И, по словам Мехмед-Гирея II, ещё более старого автора, наблюдавшего этот процесс собственными глазами, когда хан собирался в набег, то в самом Крыму он уже, лишь «кое-как выпрашивая у беков, отряжал скольких-нибудь, вроде птичников, то есть поденщиков и рабочих», немногочисленных наймитов, а не массу крестьян, — добавим мы и продолжим цитату: «Да и большинство тех-то были не татары, а кто домашки, то есть от рабов родившиеся рабы, кто разбойники, которые бежали... и переоделись татарами, кто черкесы, кто русские и молдаване. Среди подобного разновидного сброда много ли татар, которые видели сражение? Не наберется и одного из тысячи» (там же). Поистине драгоценное свидетельство; запомним его.

Спрашивается, мог ли хан, стоя во главе этого многоязычного сброда, люмпенов по сути, отваживаться на дальние походы единственно ради добычи? Ответ здесь предельно однозначен: такие походы могли осуществляться лишь при одном условии, что абсолютное большинство «крымской» конницы составят мобильные и дисциплинированные некрымские, заперекопские кочевые орды буджаков, джамбулуков, едисанцев, кубанских ногайцев и т. п. Как указывается ниже, именно таким образом дело и обстояло.

Причем не по какой-то особо высокой моральности коренных крымчан, дело отнюдь не в этом. В противоречие с охотой на людей приходила вся их модель жизни, а конкретно — способ производства, при котором на счету были каждые мужские руки в течение всего сельскохозяйственного года, чего практически не наблюдалось у кочевников Северного Причерноморья. И если мы допустим, что у горцев Крыма сложилась под влиянием их мирных занятий какая-то особая этика, не позволявшая им с лёгкостью проливать человеческую кровь, добывать хлеб насущный оружием и т. д., то такая мораль должна была в ту эпоху выглядеть скорее исключением, чем правилом. Ибо, повторяем, охота на людей повсеместно рассматривалась в ту эпоху как занятие, ничем не хуже любого другого. Разве что несколько более опасное, чем, скажем, ремесло рыбака.

Приведённое сравнение верно и в иных отношениях. Состоятельные татары, как правило, ссужали бедняков средствами производства. Причём не только, скажем, сетями, как это бывало в рыбацких посёлках, но и боевыми конями накануне похода, расчёт за которых производился с добычи. Как писал барон де Тотт, свидетель последнего, скромного по масштабу татарского набега (на Подолье, в середине XVIII в.), должник давал обязательство «по контракту своим кредиторам в положенный срок заплатить за одежду, оружие и живых коней — живыми же, но не конями, а людьми. И эти обязательства исполнялись в точности, как будто бы у них всегда на задворках имеются в запасе литовские пленники» (цит. по: *Бахрушин*, 1936. С. 30).

И всё же невозможно согласиться с историками, видевшими в ханстве образец «государства, по самой природе своей примитивно хищного» (*Новосельский*, 1994. С. 13). Профессор употребил здесь не вполне профессиональный термин, очевидно, имея в виду государства, которым была свойственна *набеговая культура*. Действительно, такого рода этнические общества известны; самый близкий для нас пример — это некоторые горские племена Кавказа. Селившиеся из века в век на территориях крайне ограниченных, неплодородных, отрезанных от сухопутных торговых путей, моря и даже судоходных рек, эти

племена, не имея иных средств к существованию, кроме немирных, вынужденно превращались в носителей упомянутой набеговой культуры.

Но ведь в Крыму ситуация была совершенно иной. Поразительное разнообразие поверхности полуострова (6 ландшафтных типов!), близость к морю и сухопутным торговым путям, наличие рыбных рек и плодородных почв предоставляли богатейшие возможности для развития сельского хозяйства и коммерции. И крымские татары этими возможностями широко пользовались. Как будет показано в I очерке II тома, со времён Средневековья здесь была развита многоотраслевая экономика города и деревни. Исследование народного хозяйства Крыма, его структуры и функциональных особенностей позволят нам в дальнейшем прийти к выводу, что оно было не только органичным и *оптимальным* в конкретной природно-климатической ситуации, но и самодостаточным, полностью удовлетворяя самым разнообразным потребностям населения ханства.

И последнее замечание. Набеговая культура свойственна лишь относительно небольшим этническим группам. Представить себе, что многие сотни тысяч крымских татар кормились исключительно разбойной добычей, невозможно, какими бы «хищными» они ни были. В таком случае за Перекоп должно было отправляться чуть ли не полумиллионное войско, то есть вдесятеро большее, чем это было на самом дела. Причём такая масса вооружённого народа должна была отправляться в набег *ежегодно*, иначе крымцам просто нечего было бы есть. Между тем история о такой постоянной практике умалчивает.

Но оставим историографические фантазии и обратимся к тому, что действительно имело место.

Итак, по числу участников крымские набеги делились на три вида:

Большой *(сефери)* совершался под водительством хана, в нём участвовало до 100 000 человек, и приносил он, как правило, около 5 000 пленников.

В среднемасштабном походе *(чапуле)* 50 000 всадников возглавлялись одним из беев; ясырей при этом бывало около 3 000 чел.

Небольшие же набеги (*бешбаш*, т. е. «пять голов», на самом деле около 5 000–10 000 участников) во главе, как правило, с эмиром (мурзой) приносили скромную четверть тысячи рабов (*Хензель,* 1979, 155).

Сефери и чапулы совершались по неменявшимся, традиционным *сакмам* (направлениям движения войска). Все они начинались у Перекопа, а далее расходились веером. Самой восточной была *Кальмиусская* сакма. Она шла к верховьям р. Кальмиуса, откуда поворачивала на север. Не доходя до г. Тор она делилась надвое: правый рукав шёл к Валуйкам и дальше в том же северном направлении: левый (*Муравская* сакма) — на Белгород. Ещё одна, *Чёрная* сакма, прокладывалась на север сразу от Перекопа, через Кази-Кермен на Сечь и Чигирин, где разделялась на три-четыре рукава — от киевского до львовского; ими пользовались смотря по обстоятельствам. Но на Львов вела и отдельная, более прямая *Кучманская* сакма северо-западного направления, пересекавшая Днепр у впадения в него р. Ингула. Наконец, в Аккермане начиналась и вдоль правого берега Днестра шла *Золотая* сакма, по которой отправлялись в набеги на территории, расположенные к западу от Молдавии и Валахии (украинцы и поляки называли сакмы *шляхами* — Чёрный шлях, Кучманский шлях и т. д. — *Атаманенко*, 2010. С. 23).

Большие походы (например, на Москву, Литву) были редки; крымцы большей частью удовлетворялись краткими набегами на южнорусские и польские земли. Мобилизация участников занимала около полумесяца; каждый из них брал с собой трех коней, доспехи и корм; каждые пять человек — одну телегу. В ордах, поставлявших основной контингент участников набега, в него шли все мужчины старше 14 лет, но иногда брали и 12-летних (*Боплан*, 1990. С. 53). И если в Крыму отказы идти в поход были массовыми и от участия в набеге можно было откупиться, то в ордах с «дезертирами» поступали куда строже: закон повелевал «ограбить и казнить их» (*Сыроечковский*, 1960. С. 42).

Интересно, что в поход татары оружия почти не брали, ограничиваясь саблей и не более чем двумя десятками стрел, но непременно запасались ремнями для пленных. Как отмечал современник, «только богатейшие имеют кольчугу, остальные же, не имея ничего, идут на войну, почитай, голыми» (*Боплан,* 1990. С. 55). С отрядами хорошо вооруженных поляков, казаков или русских они в стычки стремились не вступать, продвигаясь вглубь чужой территории крайне осторожно, по-звериному путая следы. Захватив там, где удавалось, полон, конники тут же оттягивались в родные степи.

Любопытное наблюдение: идя не только в набег, но и в обычный военный поход, воины совершали нормальный пятиразовый намаз. Картина менялась на обратном пути: «когда же возвращаются с похода, то проходят, не останавливаясь, пять станций (дневных переходов. — *В.В.*) вместо одной и забывают призыв к молитве и самую молитву. С быстротой облаков они тогда спешат вдоль по речным долинам, не разводя огня и не останавливаясь нигде более четверти часа. При первом знаке рожком они снова стремятся вдаль наподобие потоков» (*Брун*, 1867. С. 12).

Чаще в набег ходили зимой: летом нужно было заниматься другими отраслями экономики. Да и по снегу неподкованные татарские кони ходили легче. Конечно, зимой была одна тактика, летом — другая; единообразной оставалась лишь жёсткая дисциплина, залог минимального риска для участников похода. Рассмотрим по отдельности оба типа таких походов подробнее, ведь это искусство было важной чертой этнокультуры крымцев на том историческом этапе.

Зимние набеги. Такой поход начинался, как правило, в начале января, когда устанавливается надёжный лёд на реках и болотах; до марта Дикое поле обычно сплошь покрыто снегом, который также важен для успешного продвижения войска (всё-таки «подковы» из распаренного и разогнутого воловьего рога, прикреплённые к копытам коней сыромятными ремнями, вещь ненадёжная — они часто спадали). По той же причине поход мог быть даже отменён, если зима случалась бесснежной, так как гололедица обрекала его на стопроцентную неудачу, тут даже железные подковы мало помогали.

Выйдя в заперекопскую степь, соединившись с местными ногайцами и произведя смотр, хан приказывал начинать движение по одной из сакм. В день войско обычно проходило немного, около 25 км, но безостановочно и не снижая суточной нормы перехода, что бы ни случилось, так как поход должен был закончиться, в любом случае, до вскрытия речного льда. «Вот так они приближаются к границам Польши, выбирая себе путь по балкам, которые отыскивают и которые переходят одна в другую. Это делается для того, чтобы спрятаться в степи и не быть обнаруженными казаками, которые в разных местах держат стражу

и, дознавшись о появлении татар, поднимают тревогу в своём краю. Вот почему татары пользуются указанной хитростью... а вечером, разбивая лагерь, не разжигают огня...» (*Боплан*, 1990. С. 59). Большое значение придавалось при этом эффекту внезапности, поэтому впереди войска постоянно выдвигались разведывательные группы, которые старались добыть «языка», чтобы узнать, откуда удобнее всего совершить неожиданное нападение на противника.

Но вернёмся к походному регламенту. Войско подчинялось жёсткому маршевому порядку. Его фронт составляла сотня всадников, то есть 300–400 коней, учитывая сменных, поэтому ширина фронта была примерно в 800–1 000 шагов, а глубина сводной колонны — от 800 до 1 000 коней. «Для тех, кто такого не видал [собственными глазами], это было дивным зрелищем, так как 80 000 татар ведут свыше 200 000 коней; не так густо деревьев в лесу, как их коней тогда в степи. Когда видишь их издали, то кажется, что это на горизонте поднимается, какая-то туча, увеличивающаяся по мере того, как она поднимается и наполняющая страхом самых смелых, имею в виду тех, кто не привык видеть такие полчища одновременно. Движутся эти великие армии так: каждый час они останавливаются на полчетверти часа, чтобы дать возможность своим коням помочиться, а те настолько хорошо научены, что делают это сразу, как только их останавливают. Одновременно татары также слезают с коней и мочатся. Потом немедленно садятся на коней и продолжают свой путь» (*Боплан*, 1990. С. 59–60). «Причём все эти эволюции совершаются без каких-либо громких команд, свистков и так далее, каждый знает порядок и его придерживается», — добавляет тот же автор.

Приблизившись к границе — точнее, не доходя до неё 15–20 км, войско останавливается на 2–3 дня в укромном месте, чаще всего в какой-нибудь низине с проточной водой. Здесь всадники чистят коней, моются в ледяной воде прорубей с крымским мылом *кил*, отдыхают. Затем всё войско выстраивается и рассредоточивается на три части. Две трети его составляют отныне основной корпус, а треть делится надвое, то есть на правый и левый фланги. Только после этого войско вступает в чужие пределы. При этом основной корпус (называемый отныне *кошем*) вместе с обоими флангами продолжают продвижение вперёд в том же темпе, что и раньше: не торопясь, но безостановочно. Однако теперь марш не прерывается на ночь; делаются лишь часовые перерывы для еды и кормления коней, пока всё войско не углубится на территорию противника километров на 300. При этом колонны огибают встречающиеся селения, не причиняя им ни малейшего вреда.

Наконец, достигнув намеченного крайнего предела похода, основной корпус поворачивается в противоположном направлении и начинает свой медленный путь назад. При этом по приказу хана оба фланга удаляются в стороны и вперёд примерно на 400 км. В дальнейшем они продолжают дробиться на отряды численностью по 500–600 человек в каждом. Это — основная боевая единица, она в состоянии окружить село или городок любой величины и защищённости и взять его. После чего по периметру взятого селения выставляются четыре сторожевых поста, где на протяжении тёмного времени суток поддерживаются огромные костры, освещающие окрестности, так что никто не может удалиться, не будучи незамеченным.

При этом, повторяем, как правило, никакого сопротивления не оказывалось: один лишь звук крымскотатарских боевых труб повергал противника в неописуемую панику. И здесь не было ничего странного. «Бычьи рога издавали

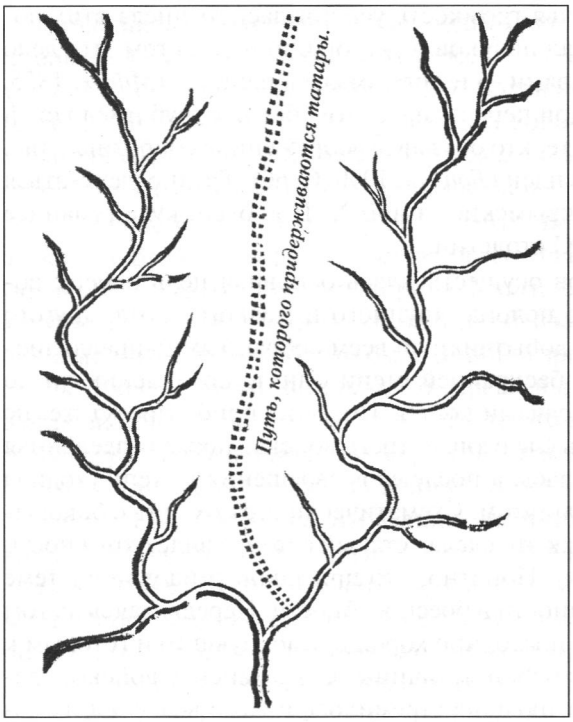
совершенно неописуемые звуки, чья громкость усиливалась от числа этих рогов. Этот звук издали предупреждал поляков, венгров и немцев о том, что дело придётся иметь с крымскими татарами — и поднималась паника» (*Milner*, 1855. P. 171–172). И всеобщее бегство при первом звуке этих боевых труб имело свой резон: расправе подлежали только те, кто оказывал вооружённое сопротивление, бежавших в худшем случае брали в плен (*Боплан*, 1990. С. 60). Трудно удержаться от замечания, что в этом смысле крымские татары XVII в. были куда гуманнее российских войск в Чечне XIX–XXI столетий...

В ходе этих фланговых рейдов осуществлялась основная цель набега: собиралась добыча в виде людского полона, крупного и мелкого скота; другого имущества почти не брали. Затем добытчики со всем собранным направлялись к основному корпусу, который в бескрайней степи они легко отыскивали по следам, оставленным многими тысячами копыт. После их прибытия тут же, не теряя ни часа времени, отделялась следующая треть войска, также разделённая на два фланга, и история повторялась, а после её возвращения в степь уходила последняя треть — и с тем же результатом. Схематически этот их путь с боковыми выходами можно изобразить, как это сделал старый автор, в виде окружности (см. илл. на следующих страницах). Понятно, что при такой рейдовой системе основной корпус не терял в численности и боеспособности. Передвигаясь шагом и обильно кормя лошадей, он был постоянно хорошо отдохнувшим и готовым к схватке с неприятельской армией любой величины. Само ханское войско, следует заметить, к таким встречам отнюдь не стремилось и даже всячески их избегало, как и осады крепостей, к чему крымские конники были вообще-то малоспособны вплоть до XVIII в.

Но вот задача набега была осуществлена, и ханские конники могли возвращаться. Домой они никогда не шли старым путём. Удалившись от границы на несколько десятков километров, вся эта масса людей и лошадей останавливалась на краткий отдых. Здесь, на своей уже территории, всадники приводили себя в порядок, чистили и кормили лошадей, при необходимости оказывали пленникам медицинскую помощь, делили их между собой для дальнейшего сопровождения в Крым.

Летний набег. Летом сефери, как правило, не устраивались — этому не благоприятствовала природа, о чём говорилось выше. В эту пору года мог собираться лишь типичный беш-баш в 10 000–20 000 человек. Большим количеством выступать не имело смысла, так как основным условием успешности такого похода была его скрытность. Не доходя до границы километров 20, войско делилось на 10–20 отрядов, численностью каждый около 1 000 человек, которые тут же расходились далеко друг от друга. Половина войска, состоящая из 5–6 таких отрядов, уходила направо на расстояние 4,5–6 км, то же перестроение совершала левая часть войска, в целом же создавалась линия, фронтом в 45–50 км. Она медленно продвигалась вперёд, имея перед собой на расстоянии 5 км сторожевой отряд, задачей которого было обнаружение каких-либо изменений на местности вдоль сакмы, поиск пограничных застав и захват «языков» противника, в зависимости от чего менялся и маршрут войска.

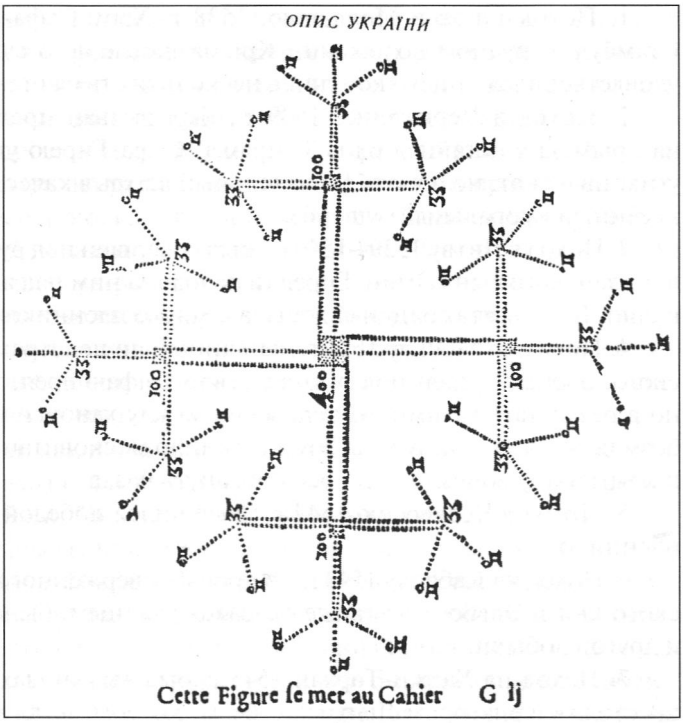
«Вот так они и движутся, тесно держась друг друга с тем, чтобы в назначенный день встретиться в условленном месте за каких-нибудь 2 или 3 лье [9–12 км] от границы, так, как в центре сходятся разные радиусы. Причина тому, что они идут отдельными отрядами — опасение, как бы их не обнаружила казацкая стража,



Расхождение набегового войска на отряды. *Рис. из: Боплан, 1839*

которая постоянно стоит в степях на расстоянии 2–3 лье одна от другой. Не разобравшись, сколько татар на самом деле, она может сообщить лишь о том отряде, который видела... Когда они видят какую-нибудь тысячу или около того, такое незначительное количество противника их не тревожит, поэтому через несколько дней после получения известий о нём они бывают очень поражены численностью...» (*Боплан*, 1990. С. 62). Подойдя к границе, крымскотатарские отряды углубляются на чужую территорию на 25–45 км, после чего возвращаются назад, не задерживаясь за рубежом более чем на два дня. После этого следуют обычный отдых, приведение своих рядов в порядок, раздел трофеев и возвращение восвояси.

При этом летом, когда следы на земле остаются дольше, чем в пору зимних снегопадов, был разработан и особый способ ликвидации их. Войско делилось на группы примерно в 400 человек, каждый с запасными лошадьми, полоном и трофейным скотом. Эти группы уходят влево и вправо от основного пути движения, где делятся на четыре отряда каждая. Они уходят на расстояние около 6 км в противоположных направлениях: на север, юг, восток и запад. Здесь они снова делятся каждый натрое, то есть на группы по примерно 33 человека. Через 2–3 км пути они снова делятся на три части и так далее, пока их не останется по 10–11 человек. Интересно, что эти эволюции производились необыкновенно быстро, за час-полтора, причём на полном скаку, так как промедление было смерти подобно. Естественно, перестройки такого рода были бы совершенно невозможны без досконального знания степи, её перелесков, холмов, оврагов и т. д., так что каждый десяток никогда не пересекал пути другого. И только в назначенный



Расхождение набегового отряда на конные разъезды. *Рис. из: Боплан, 1839*

день они, пройдя разными дорогами кто длинные, кто короткие пути, — встречаются точно вовремя, в назначенном месте, обычно в какой-нибудь низине, где среди лета сохраняется свежая зелень и вдоволь чистой воды.

Такое малое количество коней, 10–11 голов, практически не оставляло следов, трава поднималась за день-два, так что погоня, если она и снаряжалась, тут же сбивалась с верного направления. Тем временем, пробыв сколько требуется на отдыхе, малые группы вдруг устремлялись в назначенный пункт сбора, и всё многотысячное войско, ничего более не опасаясь, захватывало какой-либо город или группу сёл, быстро выводило в степь трофеи и столь же молниеносно возвращалось в Крым.

Обычно противник, обманутый мнимой малочисленностью крымскотатарских отрядов (в них казалось от силы 500–600 сабель), бросался преследовать их со вдвое большими силами. Но, дойдя до места вышеописанного рассредоточения, эта конница останавливалась в растерянности перед разбегающимися тропками. А после того как они тут же, на глазах, исчезали, смущённая неудачей погоня возвращалась домой. Но и в случае удачи, а именно боевой встречи, победа не всегда доставалась сильнейшему, но почти всегда — тому, кто опытней в степных схватках, у кого лучше кони и т. д.

Для того чтобы более конкретно представить себе направления, цели и результаты набегов и военных походов крымских татар, достаточно ознакомиться с любым перечнем таких вооружённых выступлений за какой-то период времени. Приведём такой список, относящийся ко второй трети XVI в.

1. Поход турок в Молдавию, 1538 г. Хану Сафа-Гирею I удалось убедить Стамбул в трудном положении Крыма, после чего султан Сулейман I Кануни удовлетворился присылкой лишь нескольких тысяч татарских воинов.

2. Поход в Черкессию, 1539 г., был вызван предыдущим набегом черкес на крымских ногайцев близ Темрюка. Сафа-Гирею удалось не только вернуть угнанный скот, но и взять значительный ясырь в качестве удовлетворения за понесённый «моральный» ущерб.

3. Поход в Литву 1539–1540 гг. был совершен под руководством совсем молодого ханского сына Эмин-Гирея (в походе за ним надзирал его аталык Ибрагим-паша). Была взята солидная добыча и много пленников.

4. Поход на Москву 1541 г., затеянный по подстрекательству Симеона Бельского, был совершен под руководством Сафа-Гирея, который подошёл к Оке, но в результате взаимного недоверия между ханом и ногайским вождём Бакы-беем переправа затянулась. Это позволило московитам подготовиться к обороне и крымскому войску пришлось повернуть назад.

5. Поход в Черкессию 1542 г. завершился победой хана. Было взято немало пленников.

6. Поход на Кабарду 1544 г. по просьбе сверженного мятежниками кабардинского князя Эльбо-заде также оказался удачным, было взято много пленников и другой добычи.

7. Поход на Хаджи-Тархан 1545 г. был вызван захватом местного ханского престола узурпатором Ягмурджи-беем, который стал грабить торговые караваны, направлявшиеся в Крым. В этом походе Сафа-Гирей эффективно использовал артиллерию и каких-то «мушкетёров» (очевидно, наёмных). Ягмурджи был свергнут и вместе с трофеями привезён в Крым.

8. Поход 1546 г. на русские территории был проведён в основном силами ногайцев и снова с участием артиллеристов и мушкетёров. Целью похода было предупреждение набега на Крым московитов, уже собравших войско. Победа была столь блестящей, что осталась в истории под именем собственным — *Ногай къыргыны* (Ногайское побоище).

9. Поход на Черкессию 1551 г. по указу султана был задуман в Стамбуле главным образом для того, чтобы облегчить свержение с престола победоносного и популярного среди татар Сафа-Гирея. На обратном пути хан был заключён в Таманскую крепость и тайно убит (*Остапчук*, 2002. С. 397–400).

Как видно из приведённого перечня, Сафа-Гирей I практически все свои походы завершал победами. Следует также заметить, что он был одним из первых ханов, выступавших не только зимой, но и летом (на кавказском направлении), в расчёте на собранный урожай.

6. Военное дело у крымских татар

В XIV–XVI вв., то есть до того, как личное огнестрельное оружие стало применяться с достаточной эффективностью, холодное оружие и луки ещё играли первенствующую роль в битвах на Востоке и в Восточной Европе. Но если

крымское холодное оружие было сравнимо с западноевропейским (например, производимым в Толедо), то луки намного превосходили даже знаменитые английские. Если последние имели в длину 2 метра и мало подходили для конницы, то короткие, примерно 80-сантиметровые татарские луки были намного легче и удобнее в применении на скаку. Кроме того, стрелы последних обладали гораздо большей силой удара: на расстоянии около 130 м они пробивали тяжёлую броню почти так же успешно, как арбалетные болты, намного превосходя их скорострельностью. Своей начальной скоростью (около 200 м в сек.) татарские стрелы были обязаны особому устройству композитных (составных) луков. Последние изготавливались из сухожилий и рога, послойно крепившихся на тонкой деревянной основе при помощи животного клея — секрет, некогда вывезенный кочевниками из Восточной Сибири. Но оружие было не единственным объяснением превосходства крымских воинов над противником.

Многое в битвах решал, как и ныне, «человеческий фактор». Крымские татары «были трудно преодолимы в своей военной доблести», — пишет современный канадский историк (*Остапчук*, 2002. С. 391). И здесь же отмечает, что по его подсчётам, до конца XV в. татары выиграли гораздо больше битв, чем проиграли. Они ходили не только на Москву и Польшу, но и в Центральную Европу, и в Персию, поднимались на склоны Эльбруса. «Все эти экспедиции требовали мастерства в организации, определённого знания путей и территорий противника, способности выживать в трудной окружающей обстановке и т. д. Это были не столько „набеги" кочевников, жадных до добычи, а скорее хорошо спланированные и тщательно подготовленные ***военные операции***» (выделено мной. — *В.В.*)» (там же).

Важнейшей частью этой подготовки была профессиональная военная разведка. В ханском войске создавались специальные группы захвата, которые после кратковременных рейдов, осуществлявшихся накануне походов, возвращались с пленниками, владевшими нужной информацией, имевшей тактическое и даже стратегическое значение. Она касалась и географии малознакомых регионов, в которые планировалось вторжение, и данных о расположении в них вооружённых сил противника. В ходе военных действий эти пленные выполняли роль проводников (*Ivanics*, 2008. S. 121).

Кроме того, ханы располагали «целенаправленно созданной, классно организованной, широкой разведывательной сетью из множества говорящих на нескольких языках [профессиональных] разведчиков, а также шпионов из местных жителей, которые получали за свою службу значительное вознаграждение». Примером такого профессионального разведчика на крымской службе может служить некий «литовец Павел» (кстати, не из литовских татар; он был католического вероисповедания), оказавший немалые услуги Мехмед-Гирею IV в его военных действиях на протяжении второй половины 1650-х гг. (*Ivanics,* 2008. S. 121).

Не менее важной стороной вооружённой обороны любой державы, не имеющей регулярного войска (а Крым на протяжении большей части своей истории относился как раз к таким государствам), была мобилизация ополчения. Ханы, следовавшие с первых лет существования суверенного государства старым ордынским традициям, в дальнейшем не слишком радикально их меняли. Эта система была целесообразной, так как, не тратя средств на содержание постоянного войска (исключение составляла немногочисленная гвардия *капы-кулы* или *капы-кулу*), Гиреи

могли в считаные дни и даже часы собрать под свои бунчуки десятки тысяч воинов. Даже в середине XVII в. эта практика полностью сохранилась. Как сообщал бахчисарайский чиновник Адиль-Гирея, хан издавал предписание о мобилизации (оно называлось *нида*), после чего каждый из шести беев, бывших членами дивана, был «готов в течение 12 часов предоставить великому хану 10000 человек в полном воинском вооружении и готовности» (*Matuz*, 1964. S. 147).

Причём этих 60 000 воинов не нужно было снабжать ни конями, ни амуницией, ни боезапасом, ни провиантом — каждый из них являлся на сборный пункт у Ора вооружённым и с трёхмесячным запасом (*азык* или *захире*) сухой пищи. Естественно, это относилось и ко всем остальным конникам, подходившим к Ору, так сказать, вторым эшелоном. Их общее число, по подсчётам турецко-крымского историка Реммал-Ходжи, могло достигать 250 000. О таких мобилизационных возможностях мог только мечтать любой другой европейский монарх. Но на этом преимущества крымского военного дела не кончались.

Вопреки распространенному убеждению, сила крымских татар была скорее не в их многочисленности, а в тактике. Как уверял старинный автор, «даже убедившись, что их десятеро против одного, они не отваживаются нападать первыми [если это не соответствует плану]...» (*Боплан*, 1990. С. 61). С другой стороны, есть свидетельства о ситуациях, когда в случае необходимости отчаянные крымские храбрецы собственным примером увлекали в бой с превосходящим противником многотысячные турецкие войска. Кроме тактического мастерства, сила татар была в безукоризненном знании местности и навыках передвижения, маскировки и ведения боя в непростых условиях степи. И вот здесь важны были, конечно, и дисциплина, и физическая подготовка, и умение плавать, и закалка, и нетребовательность в пище, и выездка (дрессировка) лошадей. А также рациональные гигиенические правила, другие качества и навыки, которыми крымские татары, как правило, превосходили тех, кто пытался им противостоять.

Может сложиться впечатление, что в ту суровую эпоху перечисленным жёстким требованиям должны были отвечать вообще все воины. Это далеко не так. Не будем говорить о московских стрельцах и солдатах, которые, лишившись тени «родимых берёз», бежали от южного солнца, бескормицы и безводья Дикого поля, не дожидаясь встречи с летучими отрядами крымских татар, великолепно себя там ощущавшими[1]. Но не лучше в этом смысле были и турки, народ, казалось бы, культурно близкий к крымцам. Б. Хмельницкий, хорошо знакомый с обычаями османов, мог уверять московского боярина А. Матвеева, что в будущую кампанию турецкая опасность не грозит, так как «дорога дальняя, не только что зимою, но и летом пройти её невозможно, ибо эти края, которыми идти, все опустошены, а турки нежные, без [постоянно возобновляемого] провианта никогда не ходят» (*Грушевский*, 1909. Т. IX. Ч. 2. С. 1032). Интересной была бы реакция любого крымского джигита, если бы ему сказали: набег придётся отме-

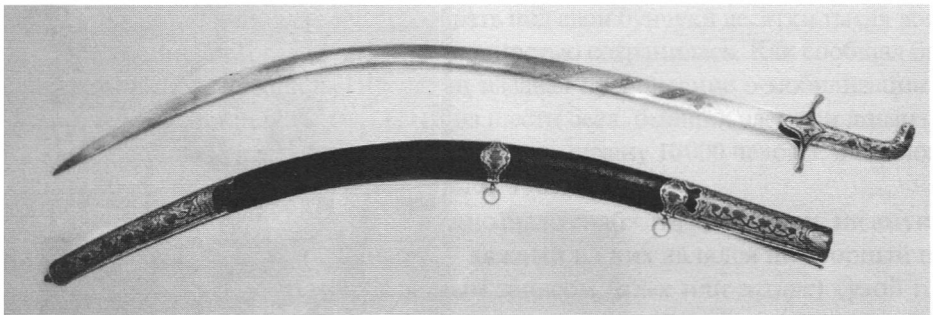
[1] Были и другие отличия, проявлявшиеся в самых тяжёлых военных ситуациях. Их в своё время отметил автор весьма патриотичный, то есть которого никак не заподозришь в предвзятом отношении к русским: «Татары и турки хотя побегнут, не дадут себя даром убить, но обороняются до последнего издыхания. А наши вояки когда побегнут, уже не обернутся, но дадут себя сечь будто мертвы» (*Крижанич*, 1859. Разд. 11. С. 39).

Крымский лучник.
Журнал Къасевет, 2010, № 37

нить по причине... разорения какого-то участка пути! Понятно, отчего Э. Челеби, хорошо знавший слабые стороны турецких конников, не без зависти называл крымских татар «ветроподобным народом».

Как оценивали себя в этом сравнении сами турки тех веков, видно даже из их распространённой поговорки «*Ardimzdan tatar me kovar?*» («За тобой что, татарин гонится?») — до сих пор говорят чрезмерно спешащему. Справедливости ради заметим, что совершенно аналогичная фраза (также о крымских татарах) есть и в венгерском фольклоре (*Matuz*, 1976. S. 10). Ещё одно сравнение того же рода принадлежит русскому их современнику. Он отмечал, что участвовавшие в походах Порты крымские татары «суть турком к великой помощи, ибо на войнах турки, яко народ покойной... обозами с тяжестьми ходят, татарове же, яко народ лёгкой, непрестанно около обозов их бывают, от неприятелей опасающи, многажды же и отгоняющи, ибо, яко речеся, татарове в битвах суть зело сердечны (здесь адъектив «сердечны» имеет старое значение, а именно — «сердиты», то есть яростны. — *В.В.*) и смелы, смерть свою ни за что ставящи» (*Лызлов*, 1990. Л. 141).

Конечно, огромную роль в воспитании этих качеств играли два типа педагогики — семейная (фамильная) и общественная. Вся атмосфера полуострова, окруженного далеко не мирными соседями, вырабатывала в народе высокий идеал мужественности. При этом воинственность становилась одним из самых необходимых качеств любого мужчины, определяющей чертой его характера. А «для воинственных людей характерно особое отношение к жизни и смерти, выражающееся в принятии права убивать врагов и готовности погибнуть самому как личного выбора, необходимого содержания избранной доли, а также способности подавлять страх» (*Серебрянников*, 2002. С. 25).



Крымскотатарская сабля.
Коллекция Варшавского музея

И в то же время никакое, самое пьянящее упоение битвой не отвлекало крымских татар от главного требования военного дела — строжайшего подчинения воинской дисциплине: «Во устроении бранном дивный некий порядок содержат. Воевод или началников всего воинства знаменито искусных и в делех воинских разумных имеют, и на помование (т. е. «в соответствии с жестом». — *В.В.*) руки его все купно (т. е. все разом. — *В.В.*) поступают...» (*Лызлов*, 1990. Лл.132 об.–133).

Такое отношение к воинскому долгу вырабатывалось с детских лет, в семье. Но и в более зрелом возрасте ему уделялось постоянное требовательное внимание. О своеобразных военно-спортивных «сборах», периодически устраивавшихся в мирное время, будет рассказано ниже. Но и в походах такая работа с людьми (советские историки называли её «идейно-воспитательной») не прекращалась. Речь идет, прежде всего, об эпических повествованиях, о боевых деяниях предков, которые рассказывались старшими воинами по вечерам, у походных костров. Естественно, это происходило без какого-либо понуждения, по традиции, разумность которой подтверждали победные результаты большинства войн Крымского ханства. Таике рассказы обычно имели место после окончания дневного похода: «Здесь и там зажгли огонь. Некоторые гази[1] заняты рассказом историй, другие распевают Коран, пока другие заняты молитвой» (*Остапчук*, 2002. С. 405).

Оружие крымцев в целом соответствовало воинскому оснащению той эпохи, то есть ничего особенного в крымскотатарском вооружении не было. В ранний период истории ханства обходились одной саблей. Позднее крымские аскеры брали с собой уже «копьё, кривую и длинную татарскую саблю, турецкий кинжал или персидский, короткий и широкий, из отличного железа или дорогой, турецкой работы; длинные и быстрые стрелы, колчан, а иногда короткое копьё» (то есть дротик. — *В.В.*). Они надевали также «панцыри, шлемы и вообще оружие, персидское или московское, доставшееся им в добычу» (*Броневский*, 1867. С. 365).

Добавлю, что в отдельные периоды своей истории крымские татары имели на вооружении такое оригинальное оружие, как *кулюк-балта* (*крымскотат.* «ручной топор»). Более всего оно походило на томогавк, правда, несколько более тяжёлый. На рукоятку насаживалась вытянутая металлическая ударная головка,

[1] Гази — общее название участников похода против немусульман, газавата.

имевшая два окончания на противоположных сторонах — кубический и клювообразный. В основном кулюк-балту использовали для пробивания шлема противника, но также и как метательное орудие. Виртуозно владевшие этим топориком крымские воины попадали «клювом» в цель, преследуя противника рысью и даже галопом (её изображение см. на портрете Адиль-Гирея, оч. III).

Современные исследователи приходят к выводу о важной роли, которую в подготовке воинов играло древнетюркское боевое искусство *къара къаплан* (*крымскотат.* «чёрный тигр»), сохранившееся в средневековом Крыму, в том числе и в морально-философской своей части. Эта сторона упомянутого стиля включала в себя глубокое усвоение таких понятий, как «уверенность в себе, в своих действиях, храбрость, взаимную поддержку, презрение к смерти». Именно поэтому, как свидетельствует множество исторических фактов, имела место «высокая степень превосходства... отнюдь не количественного, а полностью качественного превосходства» крымскотатарского войска над противником (*Мустафаев*, 2000. С. 5). Другими словами, практически вся мужская часть населения ханства находилась в отличной спортивной форме и обладала высоким воинским духом, постоянно поддерживая и развивая оба эти достоинства, чего так недоставало соседям Крыма, особенно северным (за что последние, увы, и расплачивались).

Очевидно, не будет большой натяжкой чисто умозрительное предположение о том, что высокое воинское искусство крымцев было некрымского происхождения. Действительно, ни у одного из древних авторов мы не встречаем упоминаний о каких-то выдающихся достижениях в области чисто военной техники, стратегии и тактики в общем-то мирных аборигенов полуострова в периоды, предшествовавшие Средневековью. Напротив, как только насельники Крыма входят в контакт со степняками, таких свидетельств становится предостаточно. И это вполне объяснимо: именно культуре пришельцев со степного Востока обязана Европа не только гениальным изобретением стремян, но и техникой изготовления сложносоставленных (клеёных из разных пород дерева и рога) луков, применения трёхпёрых стрел. А также лёгких, но чрезвычайно прочных панцирей, превосходивших европейские металлические — в Крыму их делали из кожи, многочисленные слои которой прессовались на рыбьем клею; в результате получался материал, напоминающий, судя по описаниям, композитную пластмассу и такой же лёгкий.

С другой стороны, крымские татары, вообще постоянно перенимавшие всё лучшее из иноземных культур, не чурались нововведений западного происхождения и в военном деле. Так, с широким распространением огнестрельного оружия оно стало появляться и в крымском войске. Как и вагенбурги (построение обоза в форме правильного каре или круга на случай нападения неприятеля), их начали практиковать в XVIII в., когда татарскую армию стали сопровождать пушки и телеги с боезапасом (*Остапчук*, 2002. С. 403). Впрочем, вполне возможно, что гораздо ранее Средневековья вагенбурги были заимствованы европейцами у кочевых народов (впервые вагенбурги использовались в хунно-китайских войнах II в. до н. э.).

Столь отточенные профессиональные навыки и высокий воинский дух в мирное время поддерживались эпическими повествованиями о храбрецах-предках, героическими песнями и военно-тренировочными играми. Но учебные сражения и осады искусственных городков и настоящих крепостных стен были не какими-то

казённо-обязательными маневрами: эти сборы, по сути, являлись настоящими народными развлечениями. На них приезжали не только юные джигиты, но и седобородые старцы, не пропускавшие захватывающего развлечения. Спортивный дух таких тренировок подчёркивался клятвой, весьма напоминавшей олимпийскую, которую участники игр давали перед их началом. Они клялись на Коране в том, что даже в случае ранений, практически неизбежных, соперники сохранят в будущем дружеские отношения и ни в коем случае не допустят возникновения вражды между родами или фамилиями (*Milner*, 1855. P. 172).

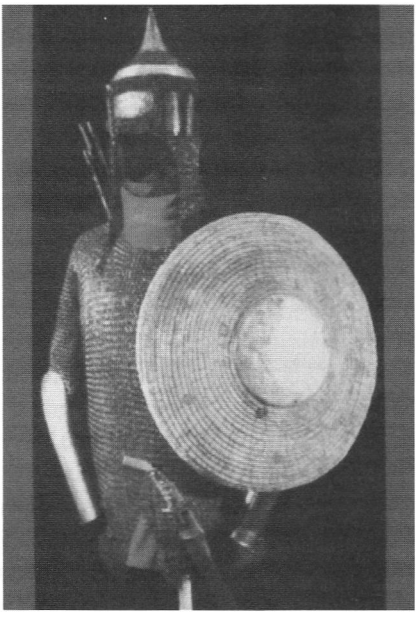
Такое же значение имела охота. Это было не только развлечение или способ добывания средств к существованию. Наряду с этим она являлась столь же важным фактором сохранения жизни от внешней опасности. Охота для крымских татар была и системой физического совершенствования, и подготовкой к военному делу в мирное время. Причём именно такая целенаправленность охоты была очевидной — иначе зачем бы её участникам собираться в количествах, свойственных более войне, чем охоте? Так, при Максуд-Гирее (1667–1668) на охоту уходили многие эскадроны конных лучников, общей численностью в 500–600 человек. Причём эти регулярные сборы длились не один день, как на обычной охоте, а несколько, и проводились они полностью в полевых условиях, как на войне (*Matuz*, 1964. S. 147). Известно также, что перед началом большой охоты участники разделялись на группы по десять человек и в таком слаженном виде действовали, подчиняясь командам, на всём протяжении сборов (*Spuler*, 1943. S. 387).

Естественно, навыки коллективной охоты имели большое значение и в снабжении во время походов. Это касалось выступлений к северу от Перекопа, где в нынешних украинских степях водилось немало дичи, и в особенности походов на территории Закавказья или Северного Кавказа, где дичи было ещё больше. Свидетель такого похода середины XVI в. турок Реммал-Ходжи вспоминал, что в горах крымцы почти ежедневно охотились, отчего «были постоянно сыты, веселы и довольны» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 17).

Иностранные путешественники в один голос не менее, чем смекалкой крымскотатарских воинов, восхищались их отчаянной смелостью. Приведу пример из таких высказываний: «Военные люди в высшей степени храбры и отважны, причём настолько, что некоторые из них при особо выдающихся качествах именуются „талубагатер“, что значит безумный храбрец (очевидно, здесь неточно записанное *дели багадыр. — В.В.*)... Эти богатыри имеют одно преимущество: всё, что бы они ни совершали, считается правильным, потому что раз это делается по причине отваги, то всем кажется, что богатыри просто занимаются своим ремеслом. Среди них есть много таких, которые в случаях военных схваток не ценят жизни, не страшатся опасности, но мчатся вперёд и, не раздумывая, избивают врагов. Так что даже робкие при этом воодушевляются и превращаются в храбрецов» (*Барбаро*, 1971. С. 146).

А вот наблюдение, сделанное с противоположной, московской стороны фронта: «Борзость и военность Татарска состоит в следующих причинах:

1-ое. Татары имеют обилие коней добрых. В поход идучи, не по единому, но по двух, по трёх и по многу конь всякий с собой ведёт, на коих в походе ездя попеременно, кажутся не ездят, но летают.



Доспехи крымскотатарского воина XVII в.
Журнал Къасевет, 2010. № 37

2-ое. Оружие лёгкое носят и коней своих легко вьючат. Возов и запасов с собой не возят; хлеба, соли, вина не употребляют, конским мясом остаются задовольны.

3-е. На едино воинство и на грабёж все суть удалы, остальными живота забавами (т. е. жизненными удовольствиями. — *В.В.*) пренебрегают. Беспрерывные войны стали привычкой и обратились в их природу.

4-е. Бьются не устроенными шеренгами, но по примеру воронов со всех сторон рассыпаны прилетают и отлетают, тем неприятеля томят и легко ряды ему мутят.

К тому же аще Татары убегают — никто их не догонит, если преследуют — никто от них не уйдёт. Переплывают реки на удивление людей. По причине борзости своей владеют временем битвы, и будет им пригодно окажется — побьются, будет непригодно — уступят... Сице (*древнерус.* «таким образом») видим: тяжкого строя воинство и пехота ничего не успевают супротив Татар в поле к одолению или разгрому, но только к обороне недолгой. Татары никаким народом одолены не были, и никакому инородному королю не служили совершенным подданством... Татары называют Турчина своим господином или оборонителем токмо на почтение, а дани никакой не дают и слухают его пока сами хотят» (*Крижанич*, 1859. Разд. 52. С. 124–125).

Неоднократно утверждалось, что крымскотатарский воин бьётся до последнего, и потеряв коня, и будучи изранен, пытается забрать с собой за пелену смерти ещё хоть одного врага: «Мужественны обаче (т. е. «однако». — *В.В.*) и смелы, един за другого умирающи, биются с неприятелем даже до последния кончины. Ибо его аще неприятель с коня свержет, скаредно (т. е. «жестоко». — *В.В.*) обсечёт, и каликою учинит, и оружье отъимет, и от всего обнажа едва жива оставит — он обаче и руками, и ногами, и зубами, и всеми составы, каким ни есть способом, даже до последняго издыхания обаче боронится.

Крымскотатарский воин.
Реконструкция

И в то время наипаче (более всего. — *В.В.*) достоит его опасатися, егда затаится, яко бы умирая, ибо видящи смерть пред собою, яко бы мог за собою неприятеля взяти» (*Лызлов*, 1990. Л. 133 об.).

Почти то же, слово в слово, мнение о крымцах сложилось у шведского дипломата Пётра Петрея, прибывшего в Московию в начале XVII в.: «Эти татары считаются самым отважным и храбрым военным народом изо всех других и не любят отдаваться в полон, а сражаются до последней крайности. Когда под кем-нибудь из них застрелят лошадь и ему нечем защищаться другим, он кусает зубами, дерётся кулаками, даёт пинки ногой, пока его не возьмут в плен и не убьют» (*Петрей*, 1997. С. 203).

А вот ещё одно чисто тактическое наблюдение: «Даже когда поляки проникают в ряды татар, а те не ощущают себя достаточно сильными, чтобы защищаться с саблею в руке, то разлетаются, как мухи, кто куда. Отступая, они стреляют из луков на всём скаку, но настолько удачно, что не промахнутся во всадника на расстоянии 60–100 шагов. Поляки не в состоянии их догнать, так как их кони не столь тренированные, как татарские. Через четверть лье (ок. 600 м. — *В.В.*) татары снова собираются вместе и разворачиваются во фронтальной атаке на поляков, а если те расколют их лаву, снова рассыпаются и, отступая, непрерывно стреляют с левой руки, ибо с правой не могут. Обессилив таким образом поляков, татары принуждают их к отступлению...» (*Боплан*, 1990. С. 67).

Приведу в качестве ещё одного примера на ту же тему диалог между будущим султаном Селимом I и его визирем. На вопрос первого, кто самый опасный из врагов Турции, вельможа ответил, что это могучая Персия. «Нет, — возразил Селим, — врёшь, ты ошибаешься: я больше всего опасаюсь татар, потому что если они пустятся, то в один день сделают пяти-шестидневную дорогу; а если побегут, то таким же образом мчатся. Особенно важно то, что их лошадям не нужно ни подков, ни гвоздей, ни фуража; когда они встречают глубокие реки, то не дожи-

даются, как наши войска, лодок. Пища их, как и самое тело, невелика; а что они не хлопочут о комфорте, это только доказывает их силу» (цит. по: *Смирнов*, 1887. С. 381–382).

Как метко заметил выше Барбаро, эти мастера высокого класса *просто занимались своим ремеслом* и как всякие знающие себе цену профессионалы не удовлетворялись скромной оплатой, а брали то, чего считали себя достойными...

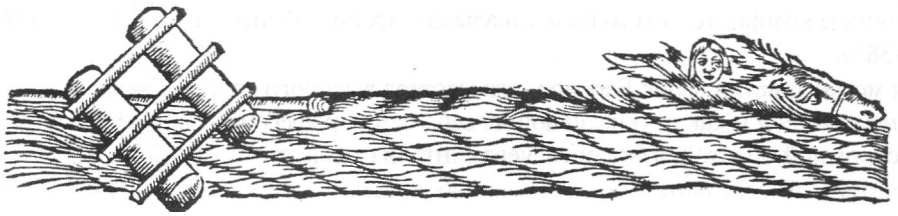
Заметим, что стрельцы и солдаты южных крепостей (против которых и были в основном направлены такие походы) также хорошо знали своего крымского противника. Поэтому они при известии о приближении ханского войска практически не оказывали ему сопротивления, благоразумно уходя в безопасные тылы. При этом крымцы их не преследовали, так как цель была иной: скорее разорить строения, чем пытаться ослабить живую силу огромного славянского государства. Это была одна из причин малых, как правило, потерь у татар во время походов. Здесь характерен пример крупного набега августа 1659 г., едва ли не последнего в истории крымскотатарских *сефери*. В нём участвовало несколько десятков тысяч конников, было разорено 18 укреплённых городков с гарнизонами, сожжено 65 деревень и 5 000 дворов, угнано в полон 25 500 (!) человек и так далее, а число крымцев, убитых в этой весьма крупномасштабной операции, далеко не дотягивало даже до 4 сотен (*Новосельский*, 1994. С. 70).

Мелкие походы типа беш-баш обходились и вовсе незначительной кровью, причём и для русских, вовремя ускользавших от схваток, тоже: в 1662 г. при взятии полона почти в тысячу человек пало менее десяти стрельцов. И напротив, стоившие больших жертв крымскотатарские набеги говорили современникам, что они имеют дело с чем-то необычным (напр., набег задумывался с чисто политической или военно-стратегической целью). Так было, например, в не слишком многочисленном походе крымцев 1674 г., дорого обошедшемся Московии (указ. соч. С. 73).

В дальнейшем речь будет неоднократно заходить о том, что крымские татары при нужде легко преодолевали в боевых условиях реки, проливы, озёра и так далее. Поэтому имеет смысл остановиться как на составной части воинского искусства и на способах форсирования водных преград. Сразу отметим, что плавать с раннего детства учили не только людей, но и жеребят. При этом детей и животных тренировали как в летней, так и ледяной осенней воде. В письменных источниках отмечено два основных способа переправы татар: на конях или же плывя рядом с ними в воде.

Вот описание первого: «Навязав два снопа великие тростей, и свяжут дву коней уздами, от единого на другаго узду положивши, також и хвосты их свяжут крепко. И тако на един сноп полагают оружие свое и седло, на другой же сам сядет. И держащися единою рукою за хвосты конския, а другою коней погоняющи, переезжают на другую сторону реки. Сице («так» — *В.В.*) же творят не малые реки преезжающи, но великия, то есть Волгу, Дон, Днепр, Бог, Буг, Днестр, паче же и Дунай великий» (*Лызлов*, 1990. Л. 132–132 об.).

Второй способ, технически более сложный, использовался, очевидно, лишь в случае, когда всадник имел только одного коня. Всадники заранее готовили и подсушивали по две связки камыша длиной в 0,6 м, толщиной в 0,25–0,30 м. Их крепили сверху на расстоянии в 0,30 м друг от друга тремя поперечными рейками, а снизу — одной по диагонали, из угла в угол, выходящей далеко



Плотик для переправы одного воина.
Рис. из: Боплан, 1839

за рамку плотика[1]. Именно её и крепили верёвкой к концу хвоста коня. На этот плот всадник клал седло, одежду, обувь, сверху лук, стрелы и саблю. Затем он голым входил в воду, имея в руке нагайку и подгоняя коня уздечкой, которая оставалась у того на шее, и держась попеременно рукой то за уздечку, то за гриву. Так он принуждал коня плыть, сам загребая одной рукой, а другой постоянно направляя ход коня. Плот отвязывался только тогда, когда конь становился обеими ногами на твёрдую землю противоположного берега. Обычно переправа десятков тысяч войска и сотен тысяч коней на протяжении 2–3 км речного берега проходила в считанные часы и практически без жертв.

Столь подробно описавший эти акции Гийом Боплан подчёркивает, что небольшие походы организовывали чаще всего заперекопские, или «независимые» татары, «которые не покоряются ни хану, ни турку», чьи поселения находятся в Буджаке. И продолжает: «Эти татары храбрее тех, кто живёт в Крыму, и настолько более опытны в военных действиях, насколько имеют ежедневную необходимость в них упражняться. Они же лучшие, чем иные, наездники» (*Боплан*, 1990. С. 63). Имеется интересное свидетельство другого, итальянского историка Джованни Ботеро (1533–1617), описавшего знаменитую Риданийскую битву, имевшую место 22 января 1517 г. в Северном Египте, в которой турецкий султан Селим I (1512–1521) победил мамлюков под командованием Туман-бега. Султан удачно применил обходной марш, но этот тактический манёвр оказался осуществим лишь благодаря искусству форсирования рек, которым в совершенстве владела крымскотатарская часть султанского войска. Крымчане с лёгкостью и без потерь переплыли великий Нил, имея при себе своих коней и полное вооружение. После этого они уложили 25 000 мамлюков, а на другой день штурмом взяли Каир, правда, уже при поддержке турецких янычар и сипахов (подр. см.: *Zinkeisen*, 1856. B. II. S. 573; также: *Лызлов*, 1990. Л. 141).

Что же касается походного быта, то приведём рассказ из другого автора: «Даже в холодные зимы... у татар нет шатров. Они связывают токмакскими ремешками концы четырёх прутов, нижние концы тех прутов втыкают в землю, накидывают сверху на пруты дождевые накидки, которые носят на спине, и получается подобие шатра. Седельные подушки, или *чиркисы,* они расстилают на

[1] Такой плотик, применявшийся исключительно в военных целях, имел в крымскотатарском языке собственное наименование — *сал багла,* то есть «вязаный плот» (*Остапчук*, 2002. С. 404).

снегу, седло кладут под голову, а под седельный домик привязывают саблю или саадак, называемый *теркеш*. Сами снимают даже рубаху, укрываются штанами и ложатся спать совершенно голыми. Утром они надевают рубашки из красной и голубой бязи, вскакивают и сразу надевают свою накидку-шатёр из войлока, кладут седло на коня, протягивают одну подпругу через передние ноги коня, а другую через пах, и в мгновение ока садятся верхом, меч и колчан прилаживают уже на коне, стегают два раза коня плетью, погоняют и скачут, разогревая на морозе и себя, и коня» (*Челеби*, 1999. С. 46).

А вот пример ещё одной стороны универсальной физической подготовки и тренированности этих людей, «сделавших опасность своим ремеслом». В условиях ледохода по Керченскому проливу «эти ловкие всадники, перескакивая среди льдов на конях с льдины на льдину, достигли крымской земли. А те, кто остался позади, увидели, что уже поздно. Они сняли уздечки с голов коней и сёдла и подпруги с их спин, оставили коней на льду, а сами, перескакивали со льдины на льдину, помогая себе копьями и пиками... А некоторые бесстрашные и ловкие молодцы не выпустили уздечек своих коней, оказавшихся в воде, сами стояли на маленьких кусках льда, а лошади тянули их среди льдов, они же перепрыгивали со льдины на льдину, пока не вышли на берег пролива около крепости Керчь вместе со своими конями и имуществом... Между тем три джигита увидели, что их вместе с конями вынесло в Чёрное море. Они в один миг сняли с коней сёдла, положили их на лёд, сами разделись донага и, сказав „Помоги, Боже!“, голыми сели на своих коней и бросились со льда в Чёрное море. Они на этом морозе вцепились в гривы своих коней. Эти трое проплыли на конях около 20 миль и достигли крепости Керчь, где люди одели джигитов» (*Челеби*, 1999. С. 109–110).

Вообще именно закалка крымских татар производила на современников наибольшее впечатление, — ведь это всё-таки южный народ, как же они могли выработать в себе такое великолепное презрение к холоду? Этому поражались даже скандинавы. Шведский посол при Девлет-Гирее II в годы Прутского похода Свен Лагерберг сообщает своему королю: «Всеподданейше доношу Вашему Величеству, что этот народ (т. е. крымских татар. — *В.В.*) нельзя недооценивать как за их мужество, так и за закалку (букв. «крутость, жёсткость» — *hårdhet*), они могут обходиться без одежды, презирая нужду, голод, холод. По дороге от Перекопа сюда казаки [следовавшие с татарами вместе] поморозили носы, пальцы на руках и на ногах, а татары любят такую погоду, они смеются и одеваются легче, чем обычно...»

Несколько позже тот же автор стал свидетелем переправы через р. Самару в конце февраля — начале марта. При этом половина татар ушла далеко вверх по течению, к каменному мосту, а половина, не теряя времени, бросилась в реку, форсируя её вплавь. «Когда я спросил, почему бы не сделать деревянный мост, мне ответили: „Мост никогда не будет столь надёжным! (Bryggen woro aldrig saa god!) Мы могли бы его сколотить, но если бы его снесло льдом, многие погибли бы, а так плывём себе через чистый поток, льдин немного, так что справимся!“ И с 9 часов утра до вечера переправилось около 30 000 человек и 100 000 лошадей, притом утонуло 2–3 пленных и 4–5 лошадей» (*Lagerberg*, 1896. S. 49, 79–80).

Один из средневековых авторов писал о неспособности крымскотатарского войска к осаде крепостей, штурму каменных укреплений и т. д. Но века постоянного упражнения в оборонительных и наступательных войнах, очевидно,

не прошли даром. Во всяком случае, во второй половине XVII–XVIII вв. ханское войско проявляло высокое искусство приступа, причём даже небольшими (сравнительно с обороняющимся гарнизоном) силами. О захватах или разорении южнорусских, польских, австрийских крепостей имеются свидетельства практически у всех историков, касавшихся этой темы. Тот же швед С. Лагерберг подробно описывает штурм сравнительно небольшой крепости на Украине морозным февральским утром 1711 г.:

«Там было 400 русских [солдат] и 400 русских казаков, всего же 4 000 человек, на них пошло татар 1 200 ханских, 300 калгинских и 200 нуреддинских с саблями под левой рукой, и луками на шее, и стрелами в левой руке, в незначительном нижнем белье (очевидно, в набедренных повязках или в чём-то вроде трусов (små undertöjor) — *В.В.*). Они без команды бросились со всех сторон на город и палисады с ужасными криками и отважной быстротой, так что казаки в городе, начав стрелять, успели сделать не более одного выстрела. Их тут же смели татары, которые, как видно, долго для этого тренировались (långa tyder dertill först exercerade): они становились на корточки у палисадов, на них вскакивали их товарищи, первые резко выпрямлялись, и, таким образом, за несколько минут 1 000 их неожиданно перескочила через ров и вал города и его палисады высотой в 3,5 ална (более 2 м. — *В.В.*), так что русские казаки отступили от редута, усиленного высоким валом и палисадом, и его перепрыгнули татары, с криками „Алла! Алла!“, пуская стрелы, от которых тут же пало свыше 100 казаков, но более от татарских сабель, острых как бритва. Остальные за полчаса были взяты в плен, связаны, а потом уже каждый заботился о своих рабах.

При этом штурме они все меха, рубашки и шапки сбросили и обычные большие штаны тоже, не оставив на себе ничего, кроме малых штанцов. Я это видел, так как скакал среди татар, вместе с визирем, калгой и нуреддином» (*Lagerberg*, 1896. S. 54–74).

А когда полон бывал добыт, то татары проявляли о своей добыче своеобразную заботу, что естественно для любого разумного хозяина. Как сообщает де Тотт, «...пять или шесть рабов разного возраста, штук 60 баранов и с 20 волов — обычная добыча одного человека — его мало стесняет. Головки детей выглядывают из мешка, привешенного к луке седла; молодая девушка сидит впереди, поддерживаемая левой рукой всадника, мать — на крупе лошади, отец — на одной из запасных лошадей, сын — на другой; овцы и коровы — впереди, и все это движется и не разбегается под бдительным взором пастыря. Ему ничего не стоит собрать своё стадо, направлять его, заботиться о его продовольствии, самому идти пешком, чтобы облегчить своих рабов...» (цит. по: *Бахрушин*, 1936. С. 30).

Конечно же, российские авторы, говорящие о жестокости такого промысла, совершенно правы; да и упомянутая выше «забота» имела вполне понятную экономическую основу. Но уже поэтому она была постоянной и действенной. Пока пленный не сдан с рук на руки купцу, о товаре должен беспокоиться владелец. И можно представить себе, с каким осуждением смотрели татары, участвовавшие в совместных походах с казаками-сечевиками в Польшу, на бессмысленную порчу «товара», когда эти христиане «вырезали груди у женщин, били до смерти младенцев» (*Соловьёв*, 1988. Кн. VI. С. 179). Вот уж в чём крымских татар нельзя было обвинить, так это в бесцельной жестокости или садизме!

7. Социальный и политический облик татарского населения Крыма

а) Род, семья

Проблема древнего родового общества, его слабых следов и более зримых остатков, перешедших в Средневековье, достаточно разработана лишь на материалах по степной части Крыма, т. е. в отношении сравнительно недавно перебравшейся в Крым части его населения. Здесь удалось даже, используя эпиграфические и иные материалы, установить имена родов, осевших в Крыму. Это Ас, Аргин, Найман, Кипчак, Конрат, Тама, Ширин, Барын, Табын, Мангыт, Китай, Ногай, Мансур, Яшлав, а также ещё несколько более мелких родов (*Филоненко*, 1928. С. 21).

Подобными данными о горной и предгорной части наука пока не располагает (после долгого перерыва исследования в этом направлении недавно возобновились в московском Институте языкознания Российской академии наук).

Родовое общество переселившихся в Крым ордынцев столкнулось с абсолютно иными, нежели на старой родине, природно-географическими и климатическими условиями. И если ранее экономика кочевников была экстенсивной (это было вызвано прежде всего сравнительно обширными, но скудными и безводными почвами прежних мест обитания), то теперь положение менялось по двум причинам. Во-первых, площадь годной для кочевий степи здесь была ограниченной, а во-вторых, крымская демографическая и общеэкономическая ситуация делала оптимальными совсем иные отрасли — земледельческую и пастушескую скотоводческую, что предполагало полуоседлый и оседлый образ жизни.

И татары, как было указано выше, подчинились этим объективным закономерностям. Правда, в группах семей, осевших на землю, пока хозяйство велось сообща (как и в кочевом обществе), и даже денежное обращение не привело поначалу в Крыму к экономической разобщенности семей. Это была так называемая *большая семья*, наиболее характерная для жителей степи. В неё входило несколько поколений близких, а иногда и боковых родственников, во главе которых стоял представитель старшего поколения (им мог был патриарх-отец или старший из братьев). Причины, по которым большая семья сохранилась едва ли не до XX в., имели как экономический, так и культурно-традиционный характер. Самая явная из них — хозяйство большой семьи было вести проще и выгодней, чем в индивидуальных семьях. Возможно, этот обычай объясняется и немалой консервативностью уклада пастушеского общества, опиравшегося как на общность производства и его средств (т. е. отар, табунов), так и на устойчивые кровнородственные связи.

В большой семье всё движимое и недвижимое имущество было общим, вплоть до скота и кухонной утвари, жилищ и сельскохозяйственных орудий и даже земельных угодий, если они имелись (полукочевое общество). Небогатые большие семьи пользовались одним жилищем — первоначально юртой, впоследствии домом. Более зажиточные располагали несколькими жилищами, из которых самая крупная юрта служила общим местом встречи для приёма пищи, проведения времени за чашкой кофе, празднеств и т. д. В случае, если кто-либо из мужчин имел двух и более жён, то каждой из них выделялось отдельное жильё, чаще всего маленькая юрта вроде кибитки (*отав*), но питание при этом всё же осуществлялось за общий счёт, как и все остальные траты (*Гаджиева*, 1979. С. 26–28).

Крымскотатарская семья этого периода была полигамной. Мужчины имели столько жён, сколько были в состоянии прокормить. Другими словами, состав и размер семьи зависели от материального достатка; при заключении брака жених уже в ту эпоху платил калым, или *махр*, бывший для семьи невесты закономерным возмещением утраты пары рабочих рук. Сама традиция полигамии заслуживает особого внимания для понимания семейного уклада не только в Крыму, поэтому остановимся на ней поподробнее.

Многожёнство в человеческих обществах Средневековья и раннего Нового времени имело несколько причин, но самой распространённой являлась необходимость борьбы с различными демографическими кризисами. Так, в Европе через два года после окончания кровопролитной Тридцатилетней войны (1618–1648) был созван церковный собор. На нём ввиду повсеместного катастрофического уменьшения населения было принято постановление, гласившее: «Отныне дозволено всякому мужчине иметь двух жён; при этом следует напоминать каждому мужчине и с церковной кафедры увещевать, чтобы он, как честный человек, не только озаботился их прокормлением по мере возможности, но и устранением несогласия между ними» — здесь явны буквальные заимствования из шариата (цит. по: *Сорокин*, 1913. С. 26).

Понятно, что общества, особенно страдавшие от постоянных войн или репрессий (а крымскотатарское принадлежало к их числу на всем протяжении своей истории), воспринимали эту традицию с пониманием и одобрением — отсюда и её долговечность. Другое дело, что стихийное стремление к увеличению населения, выражавшееся в виде *снохачества*[1] и распространённое не только в России, но отчасти в отдельных европейских странах (см.: *Сорокин*, 1914. С. 26, 42), было абсолютно неизвестно в семейном быту крымского общества на протяжении всей его истории. Причина отвержения этого столь распространённого обычая вполне очевидна: она заключалась в совершенно ином морально-религиозном уровне местных мусульман.

Иногда в больших семьях встречались захваченные в набегах несвободные наложницы — *сита*. Дети, рождавшиеся от них, оставались в числе домочадцев. Впрочем, иногда небогатые татары, не имевшие средств для содержания детей-сита, были вынуждены продавать их, но бывало это нечасто (*Люк*, 1625. С. 479).

Вообще тогда с детьми расставались явно с большей лёгкостью, чем в наше время. Чаще всего такое расставание было невынужденным, добровольным. Даже богатые мурзы отдавали своих детей на воспитание, которое могло длиться и десяток лет, и больше. Воспитателем чаще всего становился простой крестьянин (*аталык*), отличавшийся «добрым нравом и поведением. Таковая доверенность почитается в народе за великое счастье... он принимается в доме как ближайший родственник, и будучи уважаем от самых знатнейших, имеет право заседать в кругу их общества», — писал автор, хорошо разбиравшихся в вопросах права и традиции (*Сумароков*, 1803. С. 149). Не были в этом смысле исключением и ханы, причём не только в Средневековье, а и в середине XVIII в. Разница была лишь в том, что малолетние султаны воспитывались не в пределах ханства, а отсылались за рубеж, как правило, в «землю черкесов, откуда возвращались только юношами» (*Брун*, 1867. С. 12–13).

[1] Подробнее о снохачестве см. в I очерке этого тома.

Поскольку подобные черты родового уклада были поразительно стойкими, то они сохранились в эпохи, когда уже полностью исчезла и его экономическая основа, и сам патриархальный строй. По-прежнему сохранялось членение татарского населения на племена (*аймаки*) и колена, которые в свою очередь, состояли из родов во главе со старейшинами. Подчёркнем, не князьями, получавшими титул и власть по наследству, автоматически, а именно *старейшинами*-беями, при выборе которых главную роль играли конкретные личные качества (возраст был среди них важным, но не единственным фактором отличия). При избрании на этот пост член рода получал титул *мурзы* (искаженное *тюрк.* «эмирзаде»). В более позднее время это звание-должность становилось иногда наследственным аналогично западноевропейскому институту майората. Мурзы являлись и советниками хана; им вместе с беями доставалось до 30% военной добычи (*Якобсон*, 1973. С. 141). Этим, очевидно, и объясняется бóльшая, по сравнению с основной массой крымцев, воинственность мурз — в мирной жизни им никто и ничем не был обязан, и они были вынуждены кормиться трудами рук своих (управление земельным уделом — тоже труд).

И ещё одно, важнейшее отличие мурзинско-бейского сословия от дворянства остальной Европы: сословная принадлежность или богатство никак не отражались на системе экономических, социальных, юридических и т. д. прав и обязанностей. Могущественного бея за преступление, совершённое против крестьянина, судили вне зависимости от его богатств и должностей. «В уголовных процессах, например, в делах об убийстве или насилии, нельзя надеяться ни на какую милость. Раз виновность подсудимого достаточно доказана, он, по обычаю, отдаётся противной стороне, которая подвергает его какому угодно ей роду мести» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 117). Эта уникальная для *тогдашней* Европы реальность — исконное стремление к равноправию крымских татар — сыграла настолько важную роль во всей истории ханства, да и в послеханский период тоже, что нам придётся постоянно к ней возвращаться, даже в последнем из томов этого труда, ведь её следы оставались заметными даже в XX веке.

Поразительно долгое время сохранялось и старинное разделение труда внутри семьи — большой или малой. Мужчины занимались полевыми работами или пастушеством, строительством, заботились о своевременном приобретении продуктов и доставке их в дом, они же кроили обувь, ремонтировали жилища, арбы, плуги и т. д. Женщины с малых лет целиком отдавали себя домашнему хозяйству, ткачеству, шитью платья для всех членов семьи. Девочки же и девушки загодя готовили себе приданое. Вне дома женщины, независимо от возраста, не работали вообще, продукты с базара приносили мужчины, а вот к чешме за водой крымчанки ходили сами — это было место женского общения.

Постепенно роды распадались, но в памяти сохранялась принадлежность к ним. Она учитывалась при различных социальных конфликтах и экономических тяжбах о праве на то или иное имущество. Кроме того, крымскотатарские браки были экзогамными (запрещалось брать невест из своего племени), что требовало хорошего знания родословных не только своего рода или членов большой семьи. Подобная реальная значимость традиции вела к тому, что, по словам путешественника XVII в., «нет самого невежественного татарина, который бы не знал совершенно точно, из какого рода он происходит» (цит. по: *Бахрушин*, 1936. С. 31).

Гораздо менее строго экзогамии придерживались горные и прибрежные татары. Здесь можно было брать невесту из своего рода; запрещалось лишь вступать в браки членам семей, имевших кровные связи до третьего поколения.

Каждое колено имело свою тамгу древнего, часто ещё тотемного происхождения, но в словесном выражении к ней иногда прибавлялось более современного племенное имя. Тамги имела и орда — основную и используемую во время похода. Весьма знаменательно то, что дольше всего тамги сохранялись (или вообще имелись?) в степной части Крыма, заселённой в основном бывшими ордынцами. В горах их использования не отмечено вовсе *(Филоненко*, 1928. С. 4–5), что лишний раз подтверждает фактическое преобладание там автохтонного населения, не знавшего кочевнических традиций.

Живучесть родовых обычаев объяснялась и подчинением татарской массы законам старинной *тёрэ* (см. ниже) в отличие, скажем, от турок, приверженных единственно шариату (отчего, в частности, дробление земель на частнособственнические, их приватизация шли на полуострове гораздо активнее). Власть *тёрэ,* этого древнего, домусульманского права, распространялась в Крыму и на экономические, и на личностные отношения, она была заметна повсюду. Так, от наказания за убийство можно было откупиться, но сохранялся и такой родовой пережиток, как кровная месть (родственники убитого обязаны были зарезать убийцу на могиле жертвы). Сохранялся и известный обряд фиктивного похищения невесты. И даже когда родовое владение имуществом сменилось общинным, память о первом сохранилась в обычае бесплатного кормления малоимущих и странников. Так, средневековый монах Иоанн Лука пишет, что среди крымчан «нет бедняков, и, если у кого-нибудь из них нечего есть, он идет в дом, где обедают, не говоря ни слова, свободно садится за стол, затем встает и удаляется без всяких церемоний» (цит. по: *Бахрушин*, 1936. С. 32).

б) Община

Остатки родоплеменных отношений аборигенов Крыма нашли своё отражение в длительной сохранности крымскотатарской сельской *джемаат* (общины), хотя в её особенностях, конечно, сказалось и влияние мусульманского права, в свою очередь отразившее родоплеменной быт населения совсем иных областей Земли. Община — весьма стойкий феномен человеческой культуры, веками сохраняющий свою форму, лишь отчасти меняя содержание, т. е. принимая на себя новые, продиктованные общим развитием функции. И вообще, в складывавшейся обстановке компромиссного варианта социально-экономического приспособления к меняющемуся миру всё новое неизбежно должно было принимать форму старого, традиционного. Никаких изменений в эту практику не могло внести и господство османов, стремившихся, впрочем, сохранять местные традиции, в том числе и земельно-рентные отношения на всех завоёванных ими территориях (*Орешкова*, 1987. С. 191).

Крымскотатарская сельская джемаат вела своё начало, безусловно, от кочевых животноводческих *къошей* (къош — союз нескольких родовых общин, кочующих совместно). Поскольку общество, экономически и социально основанное на разведении скота, сохраняло родовой строй, «владельцами пастбиш

(хотя бы временными) считались пока не отдельные домохозяева, а родовые общины» (*Вишневский*, 1930. С. 11). И, хотя в Крыму впоследствии абсолютно распространённым стал земледельческий тип джемаат, она сохранила в правовом и функционально-практическом своём облике огромное количество доисламских (то есть дошариатских) традиций, получивших общее название *адет* (адат). Она изменила свой облик, став соседской земельной общиной, но осталась на страже древних традиций и в новых условиях, в эпоху частного, более или менее крупного землевладения. И этому не мешало то, что она, как уже упоминалось, восприняла некоторые черты византийской земледельческой общины.

Причём дело было не только в знаменитом крестьянском консерватизме, державшемся за доисламскую старину. Просто шариат не мог объять необъятное, сложившись далеко от Крыма, в совсем иных природных и экономических условиях, на основе иной трудовой практики. Поэтому крымские татары, едва бросив первые зёрна в землю полуострова, ощутили необходимость расширения системы прав, связанных с экономикой, владельческими земельными отношениями, совместным пользованием лесом, реками, пастбищами и так далее. И коренной народ Крыма, обнаружив такую необходимость дополнения шариата, синтезировал на основе этого исламского свода новый, уже чисто крымский комплекс законов, правил и приравненных к ним определений, практических указаний и инструкций, гениально заимствовав недостающее не только из кочевнической *тёрэ*, но и из традиций как аборигенного населения, так и разноплеменных иммигрантов, сравнительно давно (или недавно) осевших на полуострове.

К чести складывавшегося в Крыму мусульманского общества, оно в полной мере использовало замечательную терпимость и гибкость ислама, мудро не борясь с чуждым, хоть и полезным влиянием на землевладельческие, экономические и иные традиции, фиксированные в шариате, а составив (скорее всего спонтанно, не ставя перед собой такой цели) некий сплав шариата и адета. Этот был новый, универсальный по многоплановости свод принципов и правил практической жизни, который оказался чрезвычайно удачным. Для Крыма, естественно[1]. Это отразилось прежде всего на жизнеспособности такого рода Обычного права, которое, не будучи нигде записанным, тем не менее, просуществовало в полном объёме и значении до XIX в. (а в усечённом — и позже). Лишь тогда его стали планомерно и целеустремлённо разрушать новые власти, принесшие с собой с Севера совсем иные нравственные и экономические принципы...

---

[1] Как отмечает один из крупнейших специалистов по исламской культуре и праву Л.Р. Сюкияйнен, глубоко заблуждаются те, кто полагает, что в исламском мире всегда действовали и продолжают работать лишь шариатские нормы, а все иные отвергаются. «На самом деле шариат и основанное на нём мусульманское право никогда не были здесь единственным законом. В исламском мире всегда сосуществовали самые различные традиции, обычаи и правовые системы. Их взаимосвязь и даже взаимовлияние с шариатом говорят не о его слабости, а, наоборот, о его силе и жизненности, способности развиваться и соответствовать своему времени». И далее: «Не случайно среди правовых принципов шариата выделяются те, в которых проводится эта идея: „обычай имеет значение нормы“; „то, что применяют люди, является критерием, которому надлежит следовать“, „Установленное обычаем равносильно предусмотренному нормой праву“» (*Сюкияйнен*, 1997. С. 19–20; он же, 1999, С. 77).

Но в описываемый в данном очерке период до этого было ещё далеко. И указанное право деятельно поддерживало существование одного из самых замечательных человеческих объединений Крыма, а именно сельскую крестьянскую общину. Прежде всего отметим, что джемаат обладала всеми правами законного добровольного союза людей. Этот её статус выражался не только в праве посылать своих представителей на выборы имамов, имевших большое значение в духовной и светской жизни. За общинами признавались все права юридического лица, джемаат могла являться покупателем и продавцом любого имущества, в том числе и недвижимого, а также выступать в суде в качестве истца, ответчика или свидетеля (*Секиринские*, 1991. С. 145). С ней должны были считаться и ханы, поскольку именно сельская община, а не ремесленные цехи города, торговые компании и другие добровольные объединения или традиционные общества являлась первичной и основной хозяйственной, социальной и административной единицей ханства.

Наиболее заметные, количественные, а не качественные перемены, которые происходили в этой области народной жизни, — это увеличение числа частных наделов общинников, а также раздача ханом земель служилому дворянству (эмирам или мурзам), духовенству и мечетям (вакуфные наделы). Но результаты этих перемен никак не сказывались на форме общинного землевладения. Любопытны правила пользования общинным имуществом. С одной стороны, сохраняли свою силу законы шариата, запрещавшие продажу основных общинных ценностей — пастбищ, сенокосов, пахотных и других земельных участков (Законоведение, 1850. С. 178), а другой, не существовало никаких правил пользования этими площадями, каждый член общины косил сено и пас скот где хотел и когда хотел (*Лашков*, 1897. Passim).

Эти два исторических факта говорят прежде всего о том, что члены джемаат могли ожидать опасности для своих традиций и вообще образа жизни лишь от вмешательства в него извне, со стороны внешнего мира (дельцов, способных, например, пойти на соблазн продажи общего достояния). Что же касается внутриобщинного мира, то здесь царил такой безмятежный социальный покой и традиционная упорядоченность быта, что для поддержания их и законов-то никаких не требовалось. Казалось бы, это незначительная деталь этноистории, но по достоинству оценить отсутствие внутриселенных законов, гармоничность общинных будней крымскотатарской джемаат можно только в сравнении. А для этого вспомним, к примеру, о ежегодных кровавых, с кольями и косами, разборках очередности пастьбы и сенокоса на гораздо более обширных лугах Среднерусской возвышенности...

Притом все эти основные черты соседской земельной общины Крыма сохранились вплоть до того, как она была насильственно разрушена большевиками. Ещё на рубеже XIX и XX вв. внимательные наблюдатели отмечали такие её особенности, как невозможность отчуждения даже малой части общинного имущества её членами. Не привилась и российская практика общинного схода, вместо него сохранялось значение совета старейшин как высшего органа сельского самоуправления. И, главное, здесь не была создана система уравнительного распределения пашенных и иных участков между дворами, а по-прежнему господствовал принцип первого занятия земли. То есть тот, кто выходил в поле

первым, тянул свою борозду в совершенно произвольном направлении. Более того, если общинник самовольно строил на этой земле дом, то усадебный участок переходил в результате этого действия в наследственное его владение — этот обычай сохранился на многие века (КВ. 31. 05. 1890).

Крымскотатарская открытая община была социальным организмом, оптимально приспособленным для, по крайней мере, крымских условий. Община была самодостаточна, её жизнь была основана на внутреннем самообеспечении. Шли века, а она не требовала усовершенствований; в ней не появлялось ни слишком богатых, ни слишком бедных. Хотя самообогащению не препятствовал ни Коран, ни общественное мнение, всё же откровенная погоня за богатством как цель жизни считалась в общине чем-то не вполне пристойным. С другой стороны, общество бдительно следило за тем, чтобы ни одна семья не впала в нищету — этого не допустили бы односельчане, совет старейшин, да и местный мурза, как правило, не оставался в стороне от нужд близких земляков. Таким образом, здесь функционировала испытанная веками система социального обеспечения.

Напомню, что в остальной Европе принципы гарантированного соцобеспечения восторжествовали только в XX в., да и то не во всех странах континента. В мусульманском же мире они стали успешно действовать тринадцатью веками ранее. Причём, как верно замечено, не в результате социальной борьбы или, к примеру, того давления, которое индустриальные рабочие в своё время оказали на промышленников-капиталистов. Эти принципы были введены Пророком и его помощниками совершенно ненасильственно, они были приняты добровольно, причём не из политэкономических, а лишь социально-этических соображений, да искренней веры в Бога, в божественную справедливость по отношению к каждому, кто носит имя человека. Лишь гораздо позднее выявилась противоположность, несовместность этих двух подходов: коммунисты основывались на зверской борьбе классов, тогда как ислам — на мирном сотрудничестве различных слоёв общества, отрицающем «наполнение сердец взаимной злобой» (*Сибаи*, 1990. С. 110). А то, что принцип взаимной поддержки членов общины (которого придерживались и мурзы) — не идеалистическое измышление, а реальность, доказывается всей системой межсословных отношений, ничуть не пострадавшей от времени, сохранившей свою патриархальную простоту и в XX в. (об этом см. в завершении I очерка II тома).

Напомню ещё раз, что члены сельских общин составляли абсолютное большинство населения Крыма (*Никольский*, 1927. С. 7). Значит, и гармония в человеческих отношениях незримо окутывала весь полуостров. Благодаря прежде всего сельской джемаат, эти гармоничные связи характеризовали и *миллет*, или общекрымскую мусульманскую общину и, более того, весь край с его пёстрым населением. Не случайно крестьяне — частные владельцы, составлявшие общину, — были совершенно «негодным материалом» как для возникновения в их среде крепостного права, так и для насаждения его силой.

Крепостного права не существовало до аннексии Крыма, но и после неё были отмечены лишь попытки экономического принуждения, весьма, впрочем, робкие по сравнению с тем, что творилось в XVIII в. на соседней Украине. Нельзя же назвать крепостным правом обязанность отработать одну неделю в году на мурзу, бея или хана, чью землю крестьянин распахал и тем означил свою собственность

на неё (*Лашков*, 1895. С. 96; *Сыроечковский*, 1960. С. 15). Показательно, что сами крестьяне именовали эту повинность не барщиной (соответствующего понятия на татарском нет вообще), но толокой (*талака*), т. е. коллективной помощью, считая, и не без оснований, её добровольной и основанной на многовековой традиции.

Впрочем, существовали и другие повинности, назовём здесь основные (второстепенные перечислены в конце этого раздела):

Ашр (ушур), или *десятина*, касалась всех, и её можно рассматривать как государственную, а отнюдь не феодальную повинность: она заменяла налоги и шла на общегосударственные нужды. Ашр платили все садившиеся на землю крестьяне. Размер ашра — 1/10 урожая с неполивных земель, 1/20 — с поливных.

Закят был налогом с имущества, постановленный Кораном и обязательный для всех взрослых дееспособных мусульман, кроме тех, чьё имущество оценивалось меньше определённой стоимости *нисоба* или нисаба[1]; то есть бедняки от уплаты закята освобождались. Его величина равнялась 2,5% от стоимости имущества в год, или он выплачивался с урожая (чуть более 1/10). Собранные средства расходовались главным образом на помощь сельской бедноте, неимущим чужестранцам, на выкуп невольников, иногда на военные нужды. Часть закята использовалась на сооружение мечетей, медресе, мектебе. Поэтому внесение закята было делом мусульманской совести, одним из наиболее благочестивых, обязательных для честного человека даяний. Сам термин толкуется как «очищение», то есть делясь с нуждающимися, член общины превращал своё пользование оставшимся имуществом в безгрешное. Крестьяне платили его почти исключительно натурой, поэтому рассчитывали свой закят по головам скота: за 5 верблюдов полагалась отвести 1 овцу, с 30 коров — 1 телёнка и так далее.

Харадж, или поземельный налог, выплачивался лишь теми, кто не желал отрабатывать земельную ренту. Этот вид налога равнялся 1/5 от урожая, а в абсолютных цифрах — примерно 350 ахче[2] за поле, которое можно было вспахать одним плугом с восхода до заката (*Овсейчик*, 1930. С. 24).

Джизья (джезие), или подушную подать, платили только немусульмане, проживавшие на земле бейлика. Её размер не был нормирован и определялся местным имамом. Позднее слилась с хараджем. Смысл этого налога — компенсация плательщиком своего неучастия в военной обороне полуострова или в войнах вообще. О том, что в джизье не было никакой дискриминации иноверцев, говорит простой факт: христиане, изъявлявшие готовность разделять военные тяготы с мусульманами, от этого налога полностью освобождались (Ислам, 1991. С. 65)

Никакого налога не полагалось за традиционно бесплатное право крестьян пользоваться общинным, но формально принадлежащим бею — точнее, бейскому роду, выгоном и лесом. Особенно поразительно последнее право — феодалы всей Европы ревниво берегли свои леса от порубок, не говоря уже об охо-

---

[1] Нисаб — облагаемый минимум имущества. Величина приблизительно равнялась 5 васкам (975 кг) зерна нового урожая; в скотоводческих районах — 5 верблюдам или 20–30 головам крупного рогатого скота или 40 овцам. К нисобу относились и деньги — начиная от 20 динаров, или 200 дирхемов (Законоведение, 1850. С. 87–88; Ислам, 1991. С. 74).

[2] Ахче — турецкая и крымскотатарская монета массой в 1 карат 50% сплава серебра с медью (середина XVII в.). В конце XVII в. состояла из почти 100% меди и шла по цене 300–400 монет за 1 золотой дукат или цехин.

те (браконьерам-крестьянам в Англии рубили руку или голову). Но на то они и были феодалами, а в Крыму это право, как и многие другие, основывалось не на феодальном законодательстве, а на шариате или малозаметных пережитках тёрэ. Поэтому здесь считалось, что все существующее на земле соизволением Аллаха, т. е. без помощи человека, в том числе и луга и лес, не может быть чьей-то исключительной собственностью, но принадлежит обществу, являясь общечеловеческим достоянием (*мюльк муштерек*).

в) Общеэтническая интеграция

Имелись и иные причины, по которым в Крыму никогда не было крепостного права. Это объясняется, среди прочего, отсутствием здесь единого сообщества феодалов, класса как такового, который только и способен совместными усилиями выработать и длительное время поддерживать универсальные хозяйственно-правовые нормы крепостного права. Дворянская же прослойка Крыма была «рваной». Беи и мурзы здесь были не то что разобщены политически, географически или же социально, напротив, они были слишком близки, но не только друг другу, а и тем самым низам, которым «полагалось» бы стать объектом феодальной эксплуатации. Однако — подчёркиваю — близки лишь в *правовом*, отчасти — в культурном отношениях. Социальная мобильность всегда была реальной и даже весьма активной (о ней см. ниже), но о социальной интеграции и речи не заходило. А вот ответить на вопрос почему её не было — сложно.

Прежде всего нужно усвоить, что в открытом крымскотатарском обществе индивиды и разнообразные группы их принадлежали одновременно ко многим разноплановым структурам. Причём связи этих структур простирались далеко за крымские рубежи. Люди были социально неравноценны, но это считалось нормальным состоянием человечества. В столь естественных условиях любая социальная интеграция могла быть только насильственной. Были богатые и бедные, но никому, в том числе и правителям, в голову не приходило оправдывать этой неравноценностью какую-либо дискриминацию или социальное понуждение, в том числе и с целью насильственного уравнивания индивидов. Никто не вправе был ожидать от хана или его администрации особого к себе отношения по каким бы то ни было причинам (за исключением разве что двух случаев: когда дело шло о защите от насилия или об обеспечении бедняку прожиточного минимума, не достижимого с помощью рыночного механизма). Наконец, нельзя не вспомнить о десятине, добровольно и неукоснительно отдаваемой крымцами со святой целью помощи всем (то есть не только крайне бедным) малоимущим соотечественникам.

Итак, имела место такая вот *ограниченная,* но действенная вертикальная интеграция. Её начальный исток не вполне ясен (здесь требуются глубокие дополнительные исследования). Но, во всяком случае, можно сказать уже сейчас, что в становлении и поддержании её большую (возможно, главную) роль играли:

а) традиционная нетребовательность, скромность в потреблении благ, довольство малым, добровольный аскетизм, свойственные в большей или меньшей мере всем крымским татарам;

б) положения ислама (особо действенные среди глубоко и искренне верующих крымцев), провозглашающие всеобщее братство и равенство перед лицом Аллаха;

в) духовные и этнопсихологические черты крымских татар, выражавшиеся, среди прочего, в уже упоминавшемся «духе единой команды».

Вот беспристрастное свидетельство применения этих принципов на практике и его результатов: «Здешние мусульманские помещики вообще, не исключая и тех, которые имеют по 15 000 рублей дохода, живут одинаково и без дальних прихотей. Если взять в сравнение российского дворянина с крестьянином, то начиная от хлеба до роскошных яств, от обуви до одеяния, от поступка до привычек, от наречия до рассуждения, и от пороков до добродетелей, — всё в них противоположно и все пять чувств в них различно действуют. Таковое разделение составляет из одного племени два разных народа, порождает во взаимности удивление, недоверчивость и не допускает к сближению сих двух сословий... У магометан сие почти не существует; у них мурзы имеют против простолюдинов одну или две лишние комнаты, побольше посуды, платья, человека три в услуге; но в прочем они от тех не отменяются (то есть не отличаются. — *В.В.*); это можно сказать, та же картина, только в увеличенном размере» (*Сумароков*, 1803. С. 185–186).

Приведённое свидетельство довольно позднего происхождения, но о том же говорили и европейские авторы XVI–XVII вв.: «Нет бедных среди них, таких, кому было бы нечего есть» (*Luca*, *Beauplet*, *Lamberty*, 1634. P. 13).

О скромности же крымской аристократии говорит простой факт: даже явно небедные Гиреи в расцвет своего могущества (начало XVIII в.) «не имели второй пары верхней одежды, а носили [единственную] до снашивания» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 152). Можно найти и конкретные примеры такой необычной монаршей скромности. Когда Девлет-Гирея вторично назначили на ханство, то он «обновил своё одеяние», как записал в свою хронику бахчисарайский летописец, значит, это событие было им сочтено достаточно необычным или важным. Более современный историк говорит, что «у ханов и их султанов (то есть принцев крови. — *В.В.*) всегда бывало по одному облачению, которого они не обновляли до тех пор, пока оно совсем не изнашивалось» (*Смирнов*, 1889. С. 332–333). Не в богатстве или бедности, конечно, здесь дело было, а в общенациональной жизненной философии. А она была *единой* у полностью безземельного бродячего певца-кедая и хана, юридически являвшегося верховным властителем всей крымской, заперекопской, черкесской и иных земель.

Рассматриваемому феномену имеется и чисто экономическое объяснение. Уже говорилось о том, что экономика сельского хозяйства Крыма шла в Средние века, как и на других европейских территориях, по пути к приватизации земельной собственности, усилению частных прав на неё. Однако процесс этот по ряду причин тормозился и так и не дошел до завершения даже в эпоху накануне октябрьской катастрофы 1917 г. Именно крымская община с кровнородственной спаянностью её членов, их взаимной поддержкой и традициями взаимовыручки представляла собой крайне неудобный объект для эксплуатации при помощи частного феодального права, если бы такая безумная (в крымской реальности) идея у кого-нибудь и появилась.

Сохранению общины и свободных, некрепостнических отношений активно содействовали сами ханы. Им было невыгодно превращение дворянства из служилого сословия в сообщество сильных и мало от престола зависящих феодалов. И ханы препятствовали укреплению экономической и социальной самостоятельности дворянских родов, стремились к положению, когда бы максимальное число мурз и беев кормилось из ханских рук и было, следовательно, послушно их воле. Поэтому нередки были случаи, когда при явной оппозиции престолу какого-нибудь бея, хан обращался через голову непокорного к свободным крестьянским общинам на территории бейлика. И получал, как правило, поддержку, так как крестьяне знали, что верность хану хорошо вознаграждается, после чего община не оставалась в убытке.

Наконец, заслуживают внимания внеэкономические, неполитические, а отчасти и внесоциальные, чисто духовные факторы, игравшие заметную роль в любом восточном обществе, но особенно значительную — в Крыму. В таких обществах имеет место *внеэкономическая социальность,* работает нерыночная общественная система, в которой есть достойное место всем. Существовали вертикальные связи, никаким светским или шариатским положением не фиксированные правила, нигде не записанные (аскриптивные), но оттого не менее действенные. Члены общества и целые группы (социальные, экономические и пр.) находились во взаимной зависимости по отношению друг к другу и ко всему народу как национальной общности. Таким образом, это была обоюдная связь, обоюдное служение: не только крестьян — своим мурзам, не только мурз — беям, не только подданных — ханам, не только учеников — учителю или младших чиновников — старшему, но и наоборот. Почему сложилась именно такого рода всеобщая, всесословная *этика взаимного служения*, этика верности долгу — вопрос весьма сложный, его исследование заняло бы слишком много места, поэтому ограничусь ссылкой на её распространённость и в других восточных сообществах (см. *Ерасов*, 2000. С. 9).

Конечно, крымское общество не представляло собой некий монолит. Здесь для этого были слишком сильны горизонтальные связи, развивавшиеся (на основе торговой сети, образовательных, религиозных, общинных институтов) в ущерб вертикальным. Но оно, это общество, представляло собой в социокультурном смысле не менее прочно спаянный, *единый* конгломерат. Возможно, оценить его «качество» и даже отчасти постичь его суть легче всего методом от противного. А именно в процессе сравнения крымскотатарского общества с великорусским.

Оба они, эти общества, имели некие сверхценные (не постигаемые разумом, не объясняемые с рациональной точки зрения) доминанты, но каждое — свою. Для русских с их своеобразным отношением к Богу это была идея царской власти, конкретно — сам царь как существо непостижимое и являвшееся привычным объектом поклонения. В то же время царь был самодержавнейшим из деспотов и внушал обоснованный страх, так как перед Сибирью все были равны. Для крымских татар хан, напротив, не был ни священным идолом, ни источником каких-либо опасений. Здесь единственной сверхценностной доминантой была чистая (не связанная с земными владыками) вера в единого Бога.

Итак, имелось две системы, во главе каждой из которых стояла некая сверхъестественная, надчеловечная сущность, в тени которой, *в принципе*, все смертные должны быть равны. Посмотрим, как было на деле.

Француз А. Кюстин перед путешествием в Россию уже знал: «когда один человек всемогущ, все остальные равны, то есть одинаково ничтожны. В этом, конечно, мало радости, но есть и некоторое утешение. Такое рассуждение слишком логично и потому опровергается фактами. На земле нет абсолютной власти, но есть власти тиранические и полные произвола. Как они ни сильны, им не водворить абсолютного равенства между подданными. И сколь ни всесилен русский царь, в России больше неравенства, чем в любом другом европейском государстве. Подъяремное равенство здесь правило, неравенство — исключение, но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. *Между кастами,* на которое разделяется население империи, *царит ненависть* (выделено мной. — *В.В.*), и я напрасно ищу хвалёное равенство, о котором мне столько наговорили» (*Кюстин*, 1991. С. 601).

С другой стороны, чтобы уцелеть в ситуации полного произвола, в ситуации его непреодолимости, оставалось одно: попытаться избежать насилия, если уж ликвидировать его источник немыслимо. А ускользнуть от мертвящего давления царской деспотии можно было единственным, причём оправданным путём: постоянно обманывая в большом и малом эту неправедную, бесчеловечную власть. В свою, естественно, пользу. Поэтому атмосфера обмана, воровства и связанных с этим взяток, взаимного недоверия, подсиживания и доносов сохранялась из века в век. Такое социальное поведение стало второй натурой этноса (не исключено и обратное: этническая психология великороссов была глубинным источником как своеобразия царской власти, так и упомянутой атмосферы, но не в этом суть вопроса).

В Крыму подобная практика не имела места уже потому, что в ней не было необходимости. Власть ханов была политически ограничена, экономическими рычагами их «деспотия» также фактически не обладала. Основная масса населения могла спокойно трудиться, не опасаясь беззаконного насилия со стороны власть имущих, так как Основной закон страны — шариат — свято соблюдался уже по причине своей действительной (внутренне ощущаемой), а не формальной святости. Уважение к нему было неподдельным, как неподдельной, сильной, и последовательной была сама вера в Бога. Притом же соблюдение такого закона приносило зримые результаты, они ощущались повсеместно и постоянно, из поколения в поколение.

Российского царя нужно было обманывать, и его можно было обмануть. Крымским татарам Бога обманывать было ненужно, да это и сама по себе вещь невозможная.

На практике последнее выражалось, среди прочего, в упомянутом органичном, добровольном и с религиозным удовлетворением продолжавшемся процессе межчеловеческой интеграции, сохранявшейся минимизации социального неравенства, сокращения культурного расслоения. Здесь не было увиденных А. Кюстином в России «каст», значит, не было и ослепляющей ненависти между ними.

Это касалось и такого всеобщего в Европе процесса, как созидание государства-нации, в котором преобладающее большинство граждан сознают свою общую принадлежность к одной нации и имеют общую культуру на основе единого языка. В Европе и США такой процесс инициировался «сверху» политической элитой, которая стремилась насадить свои ценности внизу, в обществе в целом, с целью созда-

ния однонационального государства, крепкого своим единством. То есть державы, где преобладающее большинство населения сознаёт свою общую принадлежность к одной нации и имеет общую культуру. Так, к примеру, первоначально разноязычное население Британских островов (англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы) с различающимися культурами было консолидировано, доведено до преобладания всеобщего чувства британской идентичности. Причём это было сделано с помощью насильственных мер, распространявшихся и на детей (говоривших по-валлийски, наказывали в школах и т. д.). А в США незнание английского языка вообще лишало иммигранта права на американское гражданство.

Исключением среди европейских стран в этом смысле были Крым и Османская империя, «которая неизменно предоставляла своим меньшинствам автономию, одновременно отказываясь от попыток навязывания общей государственной культуры» (*Дэвис*, 2005. С. 600). В Крыму и после установления турецкого владычества национальные меньшинства, в том числе потомки греков, венецианцев, генуэзцев и т. д., обучали подрастающее поколение на языке старой родины, и никто им в этом не препятствовал. Другое дело, что со временем языковые и общекультурные различия стирались, пока абсолютное большинство крымцев не стало говорить на различных диалектах единого крымскотатарского языка, приняв и местную культуру, тюркскую в основе. Но культурная интеграция, о которой идёт речь, свершилась *добровольно*, по совершенно иным причинам, чем насильственное «отатаривание» старых и новых иммигрантов — его попросту *не было*.

Не следует в этом смысле недооценивать и такой фактор, как религия и политика имамата, проводившего положения шариата в жизнь. Они также работали против культурной и социально-экономической дезинтеграции. В частности, отсекали саму возможность появления крепостничества или культурной дискриминации языковых меньшинств. Но наиболее полно действие ислама на общество можно продемонстрировать на истории коренного народа, подробнее разобравшись с феноменом так называемого крымского «феодализма».

8. Крымский «феодализм»

Начиная со времён официального довоенного и послевоенного «крымоведения», оплодотворявшегося всё знающим Политбюро, и практически до времени, когда пишутся эти строки, принято считать, что в ханском Крыму абсолютно доминировала такая социально-экономическая формация, как феодализм[1]. Тем не менее имеются веские основания утверждать, что феодальных отношений

[1] Не стоит тревожить тени старосоветских учёных, если есть более свежие примеры: некоторые современные авторы даже говорят насчёт «развития и укрепления в Крыму феодального способа производства» (*Секиринские*, 1991. С. 146). То есть речь идёт о таком уровне развития крымского феодализма, когда он из области чисто межличностных отношений уже успел распространиться и на другие сферы человеческой жизнедеятельности, да и на всё общество в целом, очевидно став важной частью этнокультуры крымскотатарского народа: «В крупных земельных владениях феодалов в одних руках находились и земледельческие угодья, и участки кочевой степи...» (*Рославцева*, 2003. С. 178). Сплошь да

в обычном понимании этого термина в Крыму никогда не было. И здесь нет никакой случайности хотя бы потому, что на территории полуострова просто не могли возникнуть привилегированные в правовом смысле прослойки, включая и самих блюстителей права, кадиев.

Главными предпосылками такого положения были: вполне демократичные (точнее, эгалитарные, основанные на принципе равенства) законы степных и средиземноморских колонистов и традиционные свободы местного населения до возникновения ханства, а после принятия ислама — установления мусульманского законодательства о равенстве всех правоверных перед шариатом. Плюс известный феномен: физическое отвращение самих мусульман (в том числе и зажиточных, и властных) к нарушению исламских законов, что звучит несколько фантастически в более северных широтах.

Конечно, бесполезно было бы отрицать имущественное неравенство между подданными хана, но оно имело совсем иное, не связанное с феодальным правом происхождение. Богатство в Крыму могло иметь своим истоком благоприобретённое ещё предками движимое и недвижимое имущество, родовое наследие, а позднее — ханские награды за воинскую и иную службу, доходы от торговли плодами своих старинных (или новых) угодий, жалованье за исполнение общественных обязанностей и многое, многое другое. Среди крымских эмиров-мурз, и особенно беев, встречались и очень богатые люди: арабский историк Эль-Омари сообщает, что некоторые из них располагали по совокупности годовым доходом и в 100 000, и в 200 000 динаров (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 244). Но зададимся вопросом, были ли они *феодалами*?

Доказательство существования крымского феодализма строится, главным образом, на факте бейской политической власти, праве на частичное исполнение судебной процедуры в *бейлике* (см. ниже), на их владении «большими землями» (*Секиринские*, 1991. С. 148). Придётся вспоминать банальные истины: как первое, так и второе, и третье свидетельствуют единственно о материальном достатке и влиятельности конкретного человека — неважно, кто он, средневековый бей, современный мафиозо или банкир. Но «феодалами» люди только от этого не становятся. Другое дело, если бы у крымского бея или хана была вместо всех богатств и титулов хотя бы одна деревушка, но с *лично зависимым* от его воли населением, — вот тогда-то он и стал бы феодалом. Но только при этом условии. И поэтому крымские татары век за веком заявляли о своём достоинстве, используя древнее гордое изречение, на что имели полное право: «*Ольмез Ханынг къулуиз*!», то есть «Мы — слуги [лишь] Бессмертного Хана!», имея в виду, конечно, единого Бога.

Понятно, что самой престижной и дорогой из ханских наград была земля, ценность владения которой со временем только возрастала[1]. Верховным обладателем

рядом встречаются такие определения мурз, как «феодалы», «помещики» и пр. (см., например: *Катюшин*, 1998. С. 144, 146, 147).

[1] Многовековой обычай раздачи ханом земли был освящен шариатом, наделяющим имамов и ханов правом *иктаа*, пожалования землей на условиях бенефиция. Но по истечении некоторого времени бенефиций из права на временное владение (*иктаа-истирфак*) на практике превращался в *иктаа-темлик,* или постоянное, бессрочное и наследственное владение (*King*, 1788. S. 225). И самое любопытное здесь то, что активнее всего раздава-

всей крымской земли был, как это выглядело на первый взгляд, правящий хан. «Куда ступит копыто ханского коня, то и принадлежит хану» — гласила старинная крымская пословица (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 360). Но это было чисто номинальное владение, которое не влекло за собой никаких конкретных имущественно-правовых последствий. В реальности же земля принадлежала ханству, всем крымским татарам и никому лично, по сути являясь государственной. Так буквально соблюдалось положение шариата и одного из хадисов Мухаммада: «Люди — совладельцы трёх [вещей] — воды, пастбищ и огня» (цит. по: *Сибаи*, 1990. С. 96).

Что же касается хана, то землю он *не мог* даже в наследство сыну оставить (если того не избирали на бахчисарайский престол). Он и сам её полностью лишался, если уходил в отставку, вместе с правом обитания в Хан-сарае, который являлся, таким образом, не более чем служебной жилплощадью. И этому положению не противоречило то, что правящие ханы, как говорилось выше, свободно распоряжались землёй своего, домениального фонда, имея право по собственному рассмотрению выделять из неё *мевat,* или пустопорожние участки земли, в награду за службу или по иным причинам. При этом награждённый получал официальный *мюльк-намэ*, представляющий собой документ на право наследственного обладания дарением (не путать с монопольным владением, как условием феодальной эксплуатации). Однако могли получать мурзинскую землю в такое владение и свободно садившиеся на неё крестьяне.

В этом смысле и совладение имеет свои границы: человек не может завладеть всем, что пожелает, в том числе шариатскими сущностями (и юридическими категориями) земли, воды, огня и соли. Эти блага по определению предоставлялись безвозмездно, как абсолютно необходимые для жизнеобеспечения. Но границы эти сущностных благ определялись не в соответствии с потребностями монополиста, пусть даже потенциального, а общинными, общественными или общегосударственными интересами. Таким образом, в Крыму отсутствовал основной, с социально-экономической точки зрения, признак феодализма — существование крупной собственности феодалов и права на главное средство производства в обществе, где аграрный сектор был основным. То есть права на землю (*Хачатурян*, 2007. С. 21).

В начальный период истории ханства Гиреи раздавали свободные земли своим *капы-кулы* или *капу-халкам*, служилым людям (букв. «людям двери», «людям двора») в ленное пользование[1]. Позднее же ханы стали широко выделять любое количество земли семьям *челеби* (свободных подданных, буквально «джентльменов»), которым для подтверждения своих владельческих прав было достаточно основать хутор или деревню да поднять целину. Лишь по истечении какого-то

ли недвижимость как раз самые деятельные и больше иных стремившиеся к абсолютизации и независимости своей власти над Крымом ханы: Менгли-Гирей I, Сахиб-Гирей I, Девлет-Гирей I, Крым-Гирей. Впрочем, это понятно, такими дарами можно было вернее всего привлечь к себе сторонников в активной политической борьбе то ли с султаном, то ли с местными беями.

[1] Служилый люд получал своё достоинство и недвижимость по выслуге в качестве чиновников или же по заслугам, в основном на поле боя. Это было не просто «второсортное» достоинство, капы-кулы и мурзами-то (т. е. «дворянами») называться не имели права. В дальнейшем, однако, их стали приравнивать к родовому дворянству.

времени ханы стали понемногу брать с челеби подать, которая в конце концов поднялась до уровня десятины. То есть эти земли не получали налогового иммунитета, как мурзинские, отчего и челебийские фамилии не могли считаться дворянскими. С другой стороны, и хан не становился феодалом, так как ни один из челеби не был ему ничем лично обязан и мог в любой момент, даже не дожидаясь созревания урожая и расплаты с ханом, уйти в любом направлении: никто его не стерёг. Это был свободный вооружённый[1] гражданин своей страны.

Конечно, могло иметь место внеэкономическое принуждение этих свободных людей. Оно повсюду «...предполагало насилие над личностью производителя (ограничение в гражданских правах) в качестве средства, которое должно было обеспечить поступление ренты... Ситуация диктовала необходимость соединения феодальной земельной собственности с политической властью собственника, которые диктовали отношения господства (dominium) не только над землёй, но и над людьми» (*Хачатурян*, 2007. С. 28). Но и этих отношений не наблюдалось в Крыму. Вышеупомянутые подати (десятина) были минимумом, совершенно необходимым для существования государства как такового (оплата полевого и крепостного вооружения, содержание регулярной части войска, возмещение дипломатических, представительских расходов и многое другое).

Едва ли не более реальным, чем титул хана (в смысле возможности извлечения каких-то материальных и даже политических выгод) было владение *бейликом,* территорией, принадлежащей определённому крымскотатарскому роду или даже целому племени, глава которого наследовал древний, ещё азиатского происхождения титул бея. Бейлики были настолько обширны, что число их, слабо колеблясь на протяжении веков, никогда не поднималось выше десятка-двух.

Эта форма владения землёй (как, впрочем, и владение ханским доменом) носила смешанный характер, включая в свой статут как собственно бейское (у хана — государственное), так и частное, фамильное поземельное право; причем область первого была значительно обширнее второго. Уже говорилось, что на территории бейликов находились и частные, поместные владения самого бея, и участки распахавших пустошь крестьян, и угодья размежевавшихся эмиров-мурз — членов бейского рода.

Будучи, по сути, владением, правовые истоки которого следует искать в дружинном начале эпохи завоеваний (то есть эпохи, пронизанной ещё живыми реалиями патриархально-родового уклада), бейлик так и остался до конца истории ханства по внутренней своей сути патриархально-родовым владением. Родовой стержень права здесь ощущался, например, в системе наследования: если западноевропейский феод

---

[1] Проблема права на ношение личного оружия, которым обладал любой крымский татарин, весьма важна, и к ней мы вернёмся чуть ниже. Здесь же стоит поставить вопрос: в каком ином европейском государстве (включая самое «свободное» из них — Великобританию) простой крестьянин обладал таким правом? Как верно замечено, на всём европейском материке именно разоружение в период раннего Средневековья «...наиболее бедных свободных крестьян стало причиной и условием фактической утраты ими своей свободы» (*Кардини*, 1987. С. 278). Такого в Крыму до аннексии его Россией не было ни при одном хане. Личное оружие крымского татарина являлось более чем символом его свободы от какой бы то ни было зависимости. Одновременно оно было и *средством* защиты этой свободы, и зримым её *результатом*.

переходил от отца к сыну, то бейлик — к старшему в роде. Но политические права по отношению к суверену-хану, которые давало владение бейликом, были аналогичны тем, что составляли статус владельца феода в Западной Европе. Именно это выделяло бейлик из ряда других форм крымского вотчинного права.

Беи обладали и реальной властью на своей территории. Они имели право на собственный аппарат — постоянный совет приближённых, на котором решались, в частности, судебные дела всего бейлика и который назывался так же, как ханский — *диваном*. У бея была и воинская власть, поскольку мужчины со всей этой территории в совокупности составляли отдельную армейскую единицу (приблизительно соответствующую полку), выступавшую под командованием самого бея или родового старейшины и имевшую собственное знамя с тамгой бейского рода. Административно-фискальные права и обязанности бея заключались в сборе ханской подати (она шла в казну) и взимании собственной земельной ренты, а также пошлин за право торговли, совершение гражданских сделок и так далее.

Казалось бы, перед нами классическое феодальное владение. Тем не менее бейлик также не был феодом, так как не обладал двумя основными чертами последнего. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Во-первых, у беев не было права на владение крестьянами, жившими на его землях. Они были подчинены ему во время походов, по службе, но не по земельным отношениям, а это — разные вещи. Крымский татарин, имевший свой участок, входивший в бейлик, был свободным человеком. Он мог уйти от одного бея к другому на протяжении всего ханского периода истории народа. Более того, живя в одном бейлике, он мог владеть чаиром, виноградником и так далее на территории соседнего бея и пользоваться покровительством и первого, и второго. Причём это покровительство не было пустым звуком. Даже накануне завоевания ханства Россией мурза держал сторону своего земляка-крестьянина во всевозможных тяжбах, «предохранял от обид и помогал ему в бедности», записывал один из крымских помещиков, знавший ситуацию не по слухам (цит. по: *Штакельберг*, 1858. С. 63). Подобно земледельцам от феодальной зависимости не страдали также и садоводы, виноградари, овцеводы и пр. Они платили какую-то часть от своих доходов номинальному владельцу земли. Но эта рента не являлась феодальной не потому, что она была сравнительно небольшой[1], а оттого, что не была фиксированной: «...ни с какими регулярными денежными повинностями... землевладение в Крыму связано не было» (*Вишневский*, 1930. С. 15, 18).

Во-вторых, ни служебные, ни поземельные отношения не были личнонаследственными. Права на землю и некоторое другое недвижимое имущество

[1] В самом невыгодном положении оказывались бывшие невольники или пленники, садившиеся на землю своего бывшего хозяина. Они были обязаны ему дополнительно небольшой (несколько дней в году) отработкой. Но если они шли к другому мурзе, то приравнивались к свободным (как и иностранцы, иммигрировавшие в Крым). Все крестьяне были, кроме того, обязаны в случае войны идти в поход со своим мурзой, но потребное их количество определял ханский военный совет — к примеру, один всадник выделялся с 2, 3, 4 и т. д. домов. Все расходы по снаряжению всадника и коней брали на себя остающиеся дома (*Haxthausen*, 1847. S. 428). Это была нелёгкая повинность, но её феодальной также назвать трудно: не только в Крыму военные тяготы обязательно несли все крестьяне, и не только они.

переходили от умершего к наследнику в соответствии с так называемым обычным правом и в большинстве случаев никем не оспаривались, ибо вопрос решался по принятому обычаю, то есть по справедливости. В спорных же случаях к местному кадию являлись соседи-свидетели или мулла, посланный соответствующей джемаат, и вопрос также решался быстро и справедливо. Но, повторяю, полным, единовластным владельцем своей земли не был даже бей — она принадлежала не ему, а бейскому роду. Поэтому бей «мог пользоваться бейликом, но не самовольно распоряжаться им» (*Овсейчик*, 1930. С. 20). Это, очевидно, были следы древнего положения о принадлежности земли всему племени, что подтверждается и правом бея на землю, покинутую по какой-то причине, вообще на все выморочные территории бейлика (в древности таким правом распоряжения бесхозным имуществом пользовался племенной вождь).

Таким образом, какой-то феодальный момент можно, конечно, отыскать в правовом статусе бея. Ведь он соединял в своей персоне политически-административного (а частично и военного) главу бейлика и, формально, — верховного собственника земли. И он совсем походил бы на западноевропейского сеньора, если бы не одна «мелочь»: его мурзы, слуги и крестьяне были людьми стопроцентно свободными.

Итак, межсословным отношениям в Крыму не были свойственны такие основополагающие черты западноевропейского и восточного феодализма, как наследственность (для дворян) и личная зависимость (для крестьян). Другое дело, что взимание земельного налога с жалованных или родовых земель (не с отдельных крестьян, и тем более не с деревень!) постепенно становится в Крыму основной формой дворянского дохода (марксист сказал бы: «распределения прибавочного продукта»).

Но, во-первых, это обычная рента вест-эльбского типа, несовместимая с фундаментальными установками феодализма, объектом которых являются люди, а не имущественные ценности, и даже им противоречащая. Во-вторых же, она внедряется лишь на заключительной фазе истории ханства, примерно через век после того, как крымские конники вернулись домой с последнего большого набега на Московию, и дворянам пришлось задуматься о каком-то новом источнике дохода лично для себя. Возможно, между этими двумя вехами в истории крымскотатарского дворянства и есть какая-то связь (ранее основная походная добыча доставалась мурзам и хану), а может быть, здесь простое совпадение. Но процесс перехода мурз, беев и отчасти хана, по сути, к быту мирных рантье шёл на земельных владениях всех трех типов — *ерз мирие* (ханском), *ерз мемлекет* (поместном бейском и мурзинском) и даже сравнительно небольшом султанском (*ерз мирие султание*)[1].

К слову, для дворян земельные наделы были, конечно, не единственным видом награды за службу хану. Он раздавал и наместничества в городах и целых областях ханства, жаловал торговой пошлиной с городов, уделяя своим беям часть

[1] Султаны владели землями в окрестностях 4 городов и 111 деревень, расположенных в горной части Крыма, на Южном и Восточном берегах полуострова. Они обладали правом получения ежегодного дохода с них, но лишь в мирное время. В периоды войн это право целиком переходило к правящему хану.

московских и литовских поминков. Иногда, в качестве поощрения, дворянин мог быть послан в качестве гонца в ту же Москву или Литву: за добрую весть ему полагался богатый подарок — *сююнч*.

Беи, стоявшие во главе четырех значительных родов, занимали и высшие ступени аристократической иерархии, образуя совет *карачи* (караджи). Титул этот, переходя по наследству, утверждался ханом, что было обычным для всей Европы правом сеньора утверждать наследника умершего вассала в его правах и владениях. Именно в этом формальном акте и заключалась вся юридическая зависимость родовой знати от хана.

В отличие от родовых беев и мурз упоминавшиеся выше капы-кулы или служилые люди выдвигались из общей массы по иному признаку. Главную роль здесь играла близость ко двору, служение хану, а не обладание крупным родовым уделом, являвшимся основой экономической свободы (насколько она была возможна) для дворянства. Хан не имел права пожаловать за верную службу достоинство мурзы, но сделать любого подданного *капу-халком* и наделить его землёй мог. Так, фирманом 1548 г. Девлет-Гирей пожаловал село Бор-Чокрак-Кишлав (у Яшлава) Сулейману Ак-бею именно «как слуге самому примерному» (Сто лет, 1885. С. 79–80). Верность таких слуг гарантировалась и характером служебного землевладения: новые владельцы поместий не могли менять сюзерена-покровителя в отличие от родовых (используя российскую терминологию — «столбовых») дворян, которые нередко находили иных покровителей, как оставаясь в Крыму, так и эмигрируя за рубеж, и хан не мог этому воспрепятствовать. Как и присвоить землю такого эмигранта.

Поэтому именно служебное, новое «полудворянство» было основной силой, которую хан мог противопоставить бейству, как правило, оппозиционно настроенному, — все эти *капу-халки*, сидевшие на его земле, по сути, евшие его хлеб землевладельцы, мелкие сельские магнаты всех служебных рангов, от низшего (*челеби*) до высшего (*ага*).

В то же время мы не можем утверждать, что крымское дворянство как социальная прослойка было *политически* разобщено. Верно иное, что у различных родов, у наследственного и личного дворянства были неравные шансы на возможность участвовать в управлении обществом, государством: отсюда и упоминавшаяся выше постоянная рознь между ними. Но мурзы и беи, чей род вёл свою историю от Золотой Орды, с докрымского времени, чьи предки строили державу, ощущали себя этически ответственными перед их памятью и собственными потомками. И для них совершенно особенной ценностью являлась фамильная гордость и любовь к созданному дедами ханству. Но и капы-кулы были заинтересованы в сильном государстве, хоть и по причинам гораздо более личного свойства, более прагматичным.

Короче, такая вот многоплановая разобщенность дворянства и служилых людей была причиной того, что социально и политически значительный слой землевладельцев не мог выработать единой политической позиции (политической модели) ни по отношению к ханам, ни по отношению к крестьянству, о чем выше и говорилось. И если обычно как на Востоке, так и в Европе в условиях спонтанно развивавшихся феодальных отношений шёл процесс перемещения различных привилегированных слоев в класс феодалов, то в Крыму такого

явления не наблюдалось совсем. Из числа самых очевидных причин приведём четыре, начиная с наименее значительной.

1. Сверху на потенциальных кандидатов в это властное сословие давила разъединяющая политика ханов. Внешне этот фактор мог казаться значимым (и казался таким, причём даже для учёных), но на внутренний мир крымского татарина он почти не действовал.

2. Снизу этот процесс тормозила активность крымской общины, сильной своими солидаристскими (а значит, и антифеодальными) традициями.

3. Исламский принцип *силсила* (*перс.* «цепи»), или постоянной трансляции наследия предков, пронизывавший всю крымскотатарскую культуру, также уравнивал каждое из звеньев этой цепи. Он точно определял место всех и каждого как простого передатчика традиции, но и исполнителя функции, важнее которой в культуре не было ничего. Не отсюда ли отсутствие в этих традициях практики канонизации святых? Святые, конечно, имелись, но их признавал и возвеличивал сам народ, а не какая-то кучка верховных иерархов типа петербургского Св. Синода, патриархата и пр.

4. Принцип *факр* (*букв.* «бедность») означал не стремление к нищете, лишениям, а внутреннюю свободу, источником которой было отсутствие диктата алчности, жажды материальных богатств. Свобода от суетных привязанностей была в большей или меньшей степени присуща всем мусульманам, наделяла их неуязвимостью перед соблазнами мира, оттого и их выбор модели жизни был свободным и равным для всех (подробнее см.: *Хисматулин*, 1999. С. 64, 93).

Так было в деревне — так было и в городе. Правда, в городах принцип свободы для всех дополнительно поддерживали несколько иные факторы. Если называть только главные, то их было два: 1) ремесло; 2) торговля с зарубежными странами. Ремесленное производство города было товарным, занимавшим массу населения и постоянно растущим, — всё это было бы невозможно при ограничении гражданских (исламских!) свобод. Торговля также привлекала множество крымчан: производителей товара, его перевозчиков, кораблестроителей, мореходов, а, как известно, среди них лично несвободных отродясь не бывало.

Обычно подобные пассажи завершаются выводом о той или иной властной прослойке, которой с создавшимся положением «приходилось мириться». Но и этого в Крыму не было. С личной свободой мусульман никто скрепя сердце не «мирился»: как беи с мурзами, так и ханы были в такой свободе не то что заинтересованы, они просто не представляли себе, как может быть иначе. Но и заинтересованность тоже, конечно, была — и в росте доходов от вольного экспорта в вольных портах, и в могучей армии свободных конников; но одновременно присутствовало и осознание ненужности огромного и дорогостоящего репрессивно-полицейского аппарата, неизбежного при феодально-рабских государственных режимах.

И никакой социально-экономический «прогресс» ничего здесь не менял: если считать прогрессом какие-то реформы или кардинальные правовые перемены, то здесь его не было, так как *такой* прогресс был попросту никому не нужен. Ведь он мог вывести из строя систему индивидуальной и групповой взаимозависимости и даже поддержки, нарушить естественно установившийся баланс сил, взаимно не позволявших друг другу подрывать интересы страны, строя или основы шариата, что зачастую означало одно и то же.

Современный автор аналитик феодализма в заключительной части своей глубокой статьи считает нужным упомянуть, после более важных признаков феодальных отношений, и такой, как различия в духовной жизни общества. Он совершенно верно замечает, что в ту историческую эпоху модели жизни дворян и «неблагородных» коренным образом отличались друг от друга. Это касалось и культуры в целом. У дворян была иная, чем у крестьян, одежда, интересы, развлечения, игры (они, к примеру, устраивали турниры) и т. д. (*Хачатурян*, 2007. С. 31). Но и эти различия, характерные для Западной Европы, а отчасти и России, как регионов классического феодализма, Крымскому ханству были совершенно несвойственны.

Начнём с последнего. Турниров в Крыму историками не было отмечено, но очевидно, какой-то заменой им служили скачки и состязания в национальной борьбе *куреш* (второе значение этого слова «поединок, единоборство»). Оба эти вида состязания отнюдь не являлись привилегией крымских дворян, это были поистину народные, совершенно демократичные спортивные встречи, в которых могли на равных участвовать сыновья крестьян, мурз и беев.

Что же касается бытовой культуры и потребительских норм, то уже отмечалось, что весьма небедные мурзы и даже беи не отличались какими-то завышенными бытовыми потребностями[1]. И это было не только нормальным, вполне удовлетворительным состоянием крымского татарина. Это было и одним из следствий искреннего, совестливого следования путём шариата, оказывавшего на людей уравнивающее, модерирующее (умеряющее) воздействие, которое выстраивает общество, называемое эгалитарным, или уравненным — не тотально, конечно же, но в большей или меньшей мере, различной для различных стран. В Крыму, кстати, — в большей. Истоки такой традиции требуют некоторого разъяснения.

Здесь социальная регуляция была основана не столько на товарно-денежных, сколько на межличностных отношениях. При этом в экономические и иные контакты на сравнительно небольшом пространстве полуострова вступали не обезличенные крестьянин и мурза, а конкретные люди, чаще всего лично знакомые, и знающие, что их договор вскоре станет известен множеству других, тоже конкретных (а часто известных и первому и второму партнёру) людей. Поэтому и социальные отношения были в самой своей сути антииерархичны. Суверенитет личности не стягивался к вершине социально-политической пирамиды, он опирался на всеобщее согласие (*иджма,* или консенсус).

Согласно иджме отнюдь не все голоса в общине равны. В выработке общего решения весомость мнения каждого члена джемаат определялась самой личностью этого человека: её духовно-этическим авторитетом, мудростью и другими

[1] Даже по прошествии столетий эта традиция не изменилась — время оказалось не властным над этическими и религиозными устоями народа Крыма. Они сохранились и после аннексии ханства Россией: «Богатые здесь живут зажиточно, но не знают сибаритства, мотовства (Schwelgerei) и роскоши, как их собратья в Англии, Франции, Германии и Италии. Их потребности невелики. Комната с деревянным полом, удобный диван, ковры, трубка, чашка кофе, мороженое, собственный сад — вот все их удовольствия, обходящиеся им ни во что. Они не знают роскошных дворцов, дорогой мебели, картин, блестящей отделки комнат, многочисленных нарядов, экипажей, сонма слуг, развлекательных путешествий, приёмов, драгоценных вин, изысканной кухни и тому подобных вещей. Их жизнь проста и не подвержена модным переменам» (Nachrichten, 1804. S. 58–59).

положительными качествами (*Ambros*, 1981. S. 24). Конечно, в Крыму были имущественно-социальные группы (не классы!), это невозможно отрицать. Но сама система межличностных отношений (когда на группу с меньшими правами накладываются пропорционально меньшие обязанности — и наоборот) возводила мощные ограничения росту привилегий дворянства и хана. И уж конечно не поощряла отчуждение земли от работника на ней. Впрочем, это для некоторых обществ не исключение, а правило (см.: *Ерасов*, 1998. С. 94, 336).

К этим соображениям имеет весьма тесное отношение проблема стабильности всего общества, всего государственного тела. Ведь естественно возникает вопрос: а что заменяло в ханском Крыму отсутствующие «феодальные скрепы»? При малой научности этого термина он имеет под собой некую реальную основу. И они действительно подлежали в Крыму замене родственной (квазиродственной), родовой солидарностью, поддержанной всей нравственной силой шариата и сунны. А сила эта была немалой уже по своей искренности и неисчерпаемой полноте нравственного императива каждого мусульманина в отдельности и всех вместе. И она прекрасно заменяла, ко всеобщему удовлетворению, такие «скрепы», как жёсткие нормы господства и личного подчинения, эксплуатации и паразитизма, характерные для «классических» (по К. Марксу) классовых обществ.

Такие вот межличностные отношения в немалой степени определяли благосостояние индивидов и целых социальных, профессиональных и прочих групп. Поэтому естественными были и траты, совершаемые для поддержания этих отношений. Такие расходы (оплата празднеств, совместных пиров, ритуальных или цеховых собраний), а также традиции длительного общения с той же целью (многочасовые беседы в кофейнях, например) оправдывались достигаемым с их помощью результатом — упомянутым уравнением общества. И хоть чужакам они и казались странными (такое внешне досужее, бездельное времяпрепровождение принималось сторонними наблюдателями за лень), но если прямым результатом их становилось стабильное благосостояние общества и социальный мир, то здесь никакие траты денег или времени не могут показаться чрезмерными. Хотя, конечно, на поддержание сложившихся отношений уходила довольно значительная часть совместного продукта или накопленного богатства, в том числе национального.

Вторым результатом этого воздействия было почти полное отсутствие в ханстве нищих и голодающих — это отмечали ещё современники первых ханов (*Михаил Литвин*, 1890. С. 14—15). Вот вполне нормальная для Крыма картина: «В ханское время взаимные отношения татарских крестьян и дворянства были лишены того характера жестокой эксплуатации, которое знало русское крепостническое государство, были более проникнуты патриархальным духом» (Деревня, 1927. С. 47). В становлении таких не столько эгалитаристских (уравнительных), сколько солидаризующих в основе отношений огромной была роль ислама в его «крымском» высокогуманном преломлении. Патриархальная солидарность, которой были органично проникнуты все социальные прослойки и классы, была не столько пережитком, сколько постоянно обновлявшимся, самовозрождавшимся способом защиты интересов всего народа, жизнеспособности этноса, одним из необходимых компонентов упоминавшегося «духа единой команды», издревле доминировавшего в Крыму.

Один из примеров таких патриархальных отношений предоставляет анонимный дипломат, посетивший Крым в середине XVI в. «Когда я прибыл в Перекоп, то нанёс визит Aldigeri, сыну императора (очевидно, речь идет о сыне Девлет-Гирея I и будущем калге Адиль-Гирее. — *В.В.*), который пас верблюдов и другой скот в миле от Перекопа. У тамошних татар это — в обычае, что дети самых высоких господ в юные годы должны пасти скот» (*Anonym*, 1572. S. 4 rev.). А вот пример ещё одной традиции, уже конца XVII в., но столь же древней. В Бахчисарайском кадылыке были нередки случаи, когда мурзы выбирали для своих сыновей *аталыков* из простых крестьян, пользовавшихся всеобщим уважением. Длительное пребывание в таких семьях не только вознаграждалось, но аталыки становились, по сути, членами крымскотатарской элиты и даже заседали на государственных собраниях (*Сумароков*, 1803. С. 149–150).

Это, между прочем, абсолютно совпадает с ситуацией в Швеции той же эпохи с её знаменитым антифеодальным законодательством. Там крестьянское сословие (в его среде точно так же, как в Крыму, не было ни одного несвободного человека) регулярно направляло своих представителей в государственный парламент-*рикссдаг*, где они не только обладали полноценным правом голоса, но и оказывали мощную поддержку королю в его постоянном противостоянии шведской дворянской элите.

Принципы конфессионально-родового солидаризма (имеется в виду отсутствие социальных конфликтов и психологических надломов и трений) естественно умеряли, вводили в рамки, ограничивали запросы господствовавших прослоек. А значит, и степень эксплуатации низов. Сложившаяся под непосредственным влиянием ислама и патриархального адата этническая психология не только не направляла духовные устремления крымского татарина к достижению высших уровней престижного и паразитического потребления. Она делала *стыдным* чванство любого рода, любое стремление возвыситься над своим ближним, над собратом в единой вере, над соотечественником.

Значительная часть сказанного в этом разделе выглядит, возможно, несколько идеалистично. По крайней мере, для отечественной науки, но, заметим, не для зарубежной, где в антропологии с начала 1980-х гг. стала разрабатываться проблемная тема огромной важности (по крайней мере, для будущего исследования истории конкретно крымскотатарского народа). Имеется в виду тема *моральной экономики,* о которой необходимо сказать несколько слов.

Оперируя иными, не антропологическими понятиями и методами, к аналогичным выводам приходят учёные-исламоведы, утверждающие, что начиная с эпохи Мухаммада «исполнение социально-политических, экономических и духовных функций» перестало быть делом, определяемым «классовой» или традиционно-племенной позицией; оно приобрело форму воплощения божественной воли и божественного промысла, реализуемых Пророком. Именно поэтому Мухаммад предпочитал быть «рабом Аллаха, а не королём арабов» (*Хачим*, 1999. С. 14–15). И, как указывается далее, идея исламского единобожия содержала в себе возможность построения «структуры, независимой от всяческих классов и социальных слоёв, от племён и личностей, — голой структуры, располагающей универсальной и абсолютной силой — силой Аллаха и механизма, возвышающегося над обществом, выглядящей в одном из своих аспектов как нейтральная общественная сила» (указ. соч. С. 18).

Вышеупомянутая прозрачность социальных перегородок вовсе не предполагала их отсутствие. Они существовали, они были очевидны для всех, они были частью развитой и сложной системы социальной подвижности и дифференциации. Более того, они были совершенно необходимы, как сама иерархическая система, как возможность подниматься по её лестнице, ликвидация которой означала бы прекращение индивидуального роста, то есть вечный застой. В Крыму же (как видно на примере мобильности прослойки капыкулы) принципы достижительных ориентаций были практически, реально действенны и вполне устойчивы на протяжении нескольких веков. Они работали не только в сфере воинской или чиновничьей службы. Как упоминалось в предыдущей главе, уважительное отношение со стороны ханско-бейской элиты, всенародное признание и почёт, важные служебные посты и высокие звания доставались выходцам из низов, безродным аристократам духа и знаний, как только они достигали общепризнанно высокого уровня в своих областях деятельности[1].

Наконец, обратимся к ещё одной современной теоретической работе. Её автор справедливо утверждает, что феодализм был уже в Средние века развит в Киевской Руси, Индии и Японии. Но в то же время он «встречался не слишком часто и, главное, всегда выступал лишь в виде *вынужденной альтернативы* в тех государствах, где всё ещё не возникла хоть сколько-нибудь развитая и упорядоченная *централизованная чиновничье-бюрократическая* администрация» (*Васильев*, 2007. С. 151). В Крыму же она существовала с эпохи становления ханства, что было характерно для исламских стран вообще, где «государство и развитый аппарат администрации сложились раньше, чем появилась частная собственность», в том числе на землю (указ. соч. С. 152).

В Крыму, как и на всём Среднем Востоке, «потенциальные феодалы-вассалы трансформировались в руководителей подчинённых правителю провинций... Феодализм в этой трактовке воспринимается и функционирует только тогда, когда централизованная власть и устойчивый аппарат администрации длительное время *почему-то отсутствуют либо находятся в зачаточном состоянии*» (*Васильев*, 2007. С. 153). Но, как мы видели (и увидим в дальнейшем), даже при насильственном смещении ханов и замене их, согласно повелению султанов, в административном аппарате Крымского ханства никаких структурных трансформаций не наблюдалось. На известных постах одни люди, в крайнем случае,

[1] В противоположность глубоко мистическим учениям Маркса, Моргана, Ницше и т. п., согласно которым миром правят экономические интересы, инстинкты физиологического отбора, продолжения рода, секса и прочие недоказуемые резоны, существует гораздо более простой и строгий взгляд на вещи. Его сторонники отдают пальму первенства в формировании сколь угодно сложных поведенческих стереотипов (от индивидуальных до геополитических) *моральным* принципам. Эти последние называются по-разному: религиозные, духовные, этические, архетипические, этнопсихологические — суть не в терминах, а в итоговых результатах. И вот они-то могут выглядеть неожиданными: «Сколь ни странным это может показаться, в долговременной перспективе миром правят определённые моральные принципы, в которые большинство людей верит». К примеру, главный «моральный принцип, сделавший возможным развитие передовой цивилизации (ни много, ни мало! — *В.В.*), есть принцип индивидуальной свободы» (*Хайек*, 1995. С. 68).

сменяли других, но сам-то аппарат в своей традиционной форме и в дальнейшем функционировал по-прежнему.

Повторяю, в ханском Крыму люди были лично свободны, индивидов не связывали какие-то принципы коллективного поведения (не путать с общинной этикой). Крымскому татарину довлели два совершенно иных принципа.

Первый: в любом городе и деревне для мусульман, христиан и даже путников неведомой конфессии и *любой* социальной принадлежности была гарантирована возможность создания собственной защищённой оболочки-сферы (к примеру — имущественной, семейной, жилищной, производственной и пр.), на которую никто не имел права посягать и внутри которой индивид свободно использовал *свои* потенции или ресурсы в *собственных* целях.

Второй принцип: свободное исповедание индивидом положений и правил морального кодекса, основанного на шариате, адате, нормах этнопсихологии и так далее, совпадало с поведенческими нормами и основными интересами абсолютного большинства (практически же — всего) крымскотатарского населения.

Что же касается чисто экономических факторов, то они, конечно, оказывали влияние на социальную и культурную жизнь ханства, хоть и в значительно меньшей степени, чем это было на Западе. Стёртость, ослабленность культурно-этических и правовых различий между отдельными слоями населения, постоянно замедлявшая социальные перемены, сохранялась ещё и благодаря внешнеполитической и связанной с ней внешнеторговой ситуации. Дело в том, что торговля, как известно, содействующая социально-экономической дифференциации, особенно торговля с зарубежными странами, находилась в Крыму в руках иммигрантов-христиан: вначале греков и генуэзцев, позже (примерно с XV в.) — армян и в гораздо меньшей степени — евреев и караимов.

С этнически ограниченным развитием торговли был связан слабый прогресс и второго фактора изменений европейского типа, а именно промышленности. Поскольку к тому же военно-административная власть концентрировалась в городах, это препятствовало развитию автономии городов, их самоуправления, большей самостоятельности городского патрициата. Так, лишь к концу XVII в. городское судопроизводство стало освобождаться от диктата местных беев и избранных под их влиянием кадиев; возникли должности городских судей и административного управления города (*Никольский*, 1919. С. 11–12).

Эти и некоторые иные реалии ставили деятельность самоуправляющихся в идеале ремесленных корпораций, всю самодеятельную жизнь города под экономический контроль со стороны разветвлённого и многочисленного административно-фискального аппарата. При этом не наблюдалось почти никаких попыток изменить сложившееся положение: хана, беев и их чиновный аппарат оно полностью удовлетворяло, а массы были, в отличие от населения других европейских стран, полностью и добровольно подчинены шариату — закону, обладавшему множеством гуманных черт и освящавшему традиционное устройство общества.

Как нормативная система, шариат был в ханском Крыму универсален и всеобъемлющ. В числе прочего он регламентировал этику отношений между мусульманами (*ахлак*), социальные отношения или правила поведения людей (*му'амалат*), и этой регламентации подчинялись крымские татары любого социального положения и политической принадлежности. Нарушений порядка,

принципа исламского равенства, утверждённого законом, практически не встречалось, что неоднократно отмечали поражённые этим путешественники. Хотя здесь-то ничего поразительного и не было. Такое отношение к *своему* закону лишь «неспециалисту может показаться необоснованным преувеличением. Но всё дело в том, что мусульманское право в истории мировой культуры — феномен уникальный: классическая мусульманская культура — это культура *правовая по преимуществу* (выделено мной. — *В.В.*)» (*Рашковский, Журавский*, 1990. С. 260–261).

Всё сказанное выше узаконивало налоги и повинности, взимаемые с подданных хана. Выше были перечислены основные из них, но имелись и менее значительные, в том числе имевшие место уже в XV–XVI вв. и сохранившиеся надолго:

Тамга-тартнак — пошлина, которую вносили покупатель и продавец с каждой коммерческой операции.

Салыг-мусамма — единовременный налог, собиравшийся по особому указанию для определённой цели.

Харадж-хараджат (*харадж-и муваззаф*) — поземельная подать, исчислявшаяся по количеству и качеству хозяйственных площадей.

Тутун-хараджа — налог с жилых строений.

Хазри-анбар — амбарная или складская пошлина.

Из повинностей приведём следующие:

Улаг-илмак — подводная повинность.

Сусун-улафа — обязанность поставлять провиант и фураж для войска, собирающегося в поход.

Кунак-тушун, или постойная повинность (как и предыдущая, относилась в основном к материальной поддержке ханского войска).

Кулуш-култка — дары чётко определённой ценности, которые крестьяне время от времени были обязаны передавать мурзам, на чьей земле они живут, а мурзы и беи — ханам.

Но и эти налоги, повинности и пошлины отнюдь не свидетельствуют в пользу гипотезы о феодализме в Крыму; их собирают и в самых современных и демократичных государствах с единственной разницей: число основных и самых чувствительных поборов сократилось (лишь в числе) до общего подоходного налога. А ряд перечисленных налогов существует до сих пор: таможенная и коммерческая пошлины, налог на наследование после смерти кормильца — вполне средневековый *мен-морт* (*фр.* «право мёртвой руки»), которого не знали в Крыму, налог на строения и дачные участки и многие другие. И они сохранятся, пока будет существовать государство, живущее за счёт общества.

9. Религиозная жизнь и её значение для государственно-политической структуры

Вокруг Османской империи в XV–XVII вв. сложилось немало государственных образований-данников, приносивших казне основной доход, но сохранявших в большей или меньшей мере самостоятельность во внутренней политике и управлении (подрорбнее см.: *Орешкова*, 1987. С. 198). Фундаментом

этой самостоятельности было мусульманское право. В Крыму, как упоминалось выше, законы ханства были выстроены на шариате. Шариат же (соответствующие положения Корана и сунны), включает в себя три нравственно-правовые части: мусульманскую этику, конфессиональную догматику и свод норм практического поведения. Но если две первые составные практически не меняются ни с течением времени, ни в зависимости от этнопсихологических характеристик национальных общин, то о третьей части этого сказать нельзя.

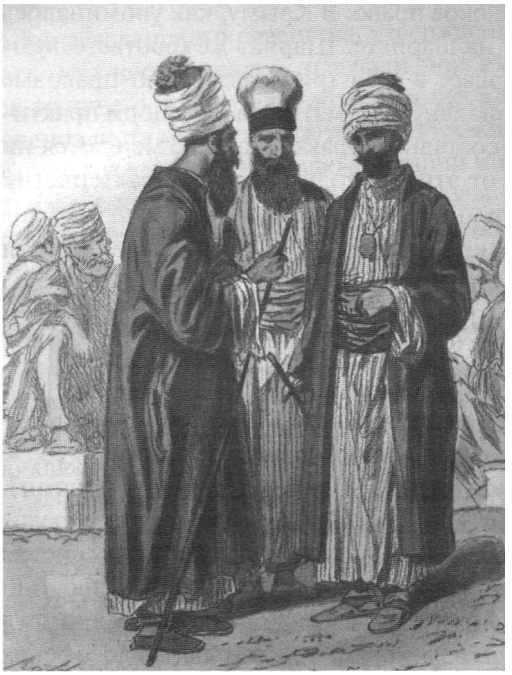
Определенный и весьма заметный колорит крымской действительности на протяжении всего ханского периода не мог не придавать и *суфизм*.

а) Суфизм в Крыму

Причины, по которым почитатели Корана после выхода исламского учения далеко за пределы Аравийского полуострова ощутили необходимость в каком-то своде священных правил, более соответствующем их реальному быту, в общем, понятны. Не то чтобы этого требовало «соперничество» со стороны других мировых религий, уже разработавших теоретические базы в виде развитых философских систем и бытовых норм. Такой конкуренции просто не было — и, по определению, они вряд ли появятся. А что касается Корана и сунны, то, тщательно регламентируя поведение правоверных, они оставляли значительный простор для философских импровизаций, ибо даже в совокупности не содержали стройной философской системы. Поэтому, когда ислам стал превращаться в мировую религию, практически одновременно начался органичный и естественный процесс философского осмысления новой ситуации, далеко вышедшей за пределы понимания кочевых и полукочевых племен Аравии. Это мистическое строительство, основанное на весьма старых традициях[1], начавшись в VIII в., в целом завершилось в X–XI вв.

Поскольку различные течения суфизма крайне разнообразны, по крайней мере, по форме, то имеет смысл указать здесь лишь его главные положения, общие для всех суфийских течений и школ. Конечно, ожидать при этом картины, более или менее адекватно отражающей реальность, не стоит, но ведь и жанр этой книги — отнюдь не философски-богословский; главное в нижеследующих строках — ввести читателя в историю вопроса. Итак, основная цель приверженцев

[1] Существует немало свидетельств тому, что суфии, нищие искатели мистического Пути к самосовершенствованию, встречались на Ближнем Востоке и до рождения Мухаммада. Некоторые ученые считают, что суфийские идеи владели просветленными душами начиная со времен пророка Илии (Ильяса). Средневековые суфии возводили это самоназвание к корню «суф» (*араб.* шерсть), поскольку грубое шерстяное одеяние было обычным для аскета-мистика, принадлежащего к одной из монотеистических сект, в том числе христианских (Ислам, 1991. С. 225). Во всяком случае, почти неоспорим тот факт, что проповедь Мухаммада слила воедино множество уже существовавших эзотерических школ Египта, Персии и Византии, схожих, говоря метафорично, с отдельными сверкающими ртутными капельками, превратив их в настоящий «поток ртути, другими словами, в подлинный развивающийся суфизм» (*Идрис-Шах*, 2001. С. 598, 599). Однако первая суфийская молельня-текие была основана ещё позже; её основал Абу-Хашим из Куфы (ум. В 767 г.), отчего некоторые современные исследователи именно его называют первым суфием (*Джан*, 2008. С. 63), что вряд ли справедливо.



Дервиши. Гравюра.
Из собрания музея Ларишес

суфизма — стремление к мистическому самосовершенствованию. Путей к нему столько же, сколько течений суфизма, но все они имеют три этапа, которые последовательно проходит любой суфий, искренне преданный овладевшей им идее.

Первый этап ограничен положениями шариата, подлежащими обязательному и точному исполнению. Собственно, на этом этапе находятся все мусульмане, но если многие этим и ограничиваются, то суфий, достигнув на нём высокого совершенства — отнюдь не ранее — может двигаться дальше.

Поэтому *второй этап* так буквально и называется — *тарикат* («путь»). Он, в свою очередь, подразделяется, как и физический путь в пространстве, на последовательные отрезки, разделённые *стоянками* (*макамат*), каждая из которых обозначает определенную степень совершенства на пути к заветной цели. Уже первая из них (*тауба*) символизирует самоотречённое желание отказаться от обыденно-формального исполнения шариатских норм, заменив его полным обращением всех помыслов к Богу — тогда и исполнение шариата становится органичным и глубоко искренним. Вторая и третья остановки — привычка к тщательному отделению дозволенного от запретного, а также к постоянному и вошедшему в привычку отказу от чрезмерно вкусной пищи, благоустроенного жилья или удобных одежд.

Четвертая — *факр* («нищета») — означает не только полный отказ от земных благ, но и осознание своей нищеты как отсутствия у суфия всего своего, а именно всего, что не от Бога.

Пятая остановка — *сабр*, («терпение»). Она означает, что суфий готов принимать всё, что для обычного правоверного представляется невыносимым (в том числе упомянутую нищету, отказ от женщин и пр.). Сабр в высших своих прояв-

лениях приводит к безразличию, спокойному приятию как ниспосланной благодати, так и испытаний.

Шестой пункт на пути к совершенству — остановка *рида* («удовлетворённость») — предусматривает утрату интереса к чему бы то ни было в окружающей действительности. Ведь реальность ничтожна по сравнению с высшей целью, которая постоянно сияет перед суфием на его благословенном пути. Наконец, седьмая остановка — *таваккул* («упование на Бога») — характеризуется возможностью полностью отринуть от верующего заботы о завтрашнем дне, спокойной уверенностью в том, что грядущее будет не хуже нынешнего дня, что Господь не откажется и в будущем от заботы о своем земном творении. И популярное среди суфиев выражение: «Суфий — сын времени своего» значит, что он живет лишь сиюминутной ситуацией[1]. Смысл имеет лишь это проживание данного мига, так как нет логики и смысла ни в рассуждениях о прошлом (его не вернуть), ни в переживаниях о будущем (оно ведь не наступило, оно вне круга реальностей). Поэтому следование таваккулу ведет к уникальному, умиротворенному спокойствию и беззаботности, когда ничто не мешает суфийскому миросозерцанию (Ислам, 1991. С. 152, 266).

Это — последняя фаза или стадия тариката, после достижения которой суфий вступает в *третий этап* самосовершенствования — *хакикат*, или подлинное бытие. Суфиям, достигшим хакиката, чужды сомнения в своей причастности к божественной сути Господа миров, познаваемой ими исключительно посредством интуиции, развитой до немыслимых пределов. Но это — редкий случай; основная масса суфиев находится лишь на пути к просветлению — отсюда их возышенная печаль, впрочем, не имеющая ничего общего с житейскими заботами и огорчениями. «Подлинный суфий не переживает из-за таких мирских бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его; нет, чувство неудовлетворённости и нехватки чего-то важного он испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали — не благо, а недостаток» (*Памук*, 2006. С. 123).

Огромное большинство суфиев (находившиеся на любом этапе совершенствования) являлось дервишами, нищими аскетами-мистиками («дервиш» и означает на персидском «нищий»). Каждый из них избирал себе наставника-шейха, более опытного на этом пути, и следовал его поучениям. Практически свои наставления группе дервишей шейх (или *пир*, что также означает «старейшина, старец») давал в текие — дервишском общежитии, как правило, находившемся рядом с крупной

---

[1] В данной связи может возникнуть сомнение относительности именно суфийского, а не коранического происхождения этой идеи (хотя само противоставление суфизма и Корана совершенно неправомерно). Действительно, в различных сурах можно найти десятки утверждений о предопределенности человеческих судеб, о том, что «обещание Господа нашего исполняется» (18:108/107 и мн. др.). Но сколько аятов ни повторяют эти простые истины, они останутся *отдельными* напоминаниями о них, тогда как в суфизме каждая остановка-макам или этап свидетельствуют о *постоянном пребывании* в том или ином состоянии. Причем настолько постоянном, что посторонние наблюдатели склонны говорить о некоем «фатализме» или «нетребовательности» как о национальных чертах того или иного мусульманского народа. На деле же эти странники были свидетелями обычных суфийских состояний таваккула или, соответственно, факра.

мечетью, известным медресе или гробницей прославленного святого[1]. Впрочем, нередко суфии-искатели истины, вступив под покровительство шейха, не оставляли круг привычных занятий. Это делало суфизм ещё более народным учением, имевшим корни в широких массах, чего, между прочим, никогда не могли добиться христианские обители с их практикой самоизоляции от паствы.

Ещё одной чертой, притягательной для эстетических чувств народа, стало введение в практику дервишских радений-*зикров*, общинных *маджлисов* (совместных молитв, перемежаемых проповедями) и музыки. Впрочем, такое новшество не было задумано как популистский маневр. Музыка вносила разнообразие в круг привычных экстатических средств вроде молитв и коранических декламаций, препятствовала привыканию к ним до утраты способности воспринимать смыслы. Газали (о нём ниже) насчитывал пять причин замены чтения Корана пением. В своей книге «Возрождение богословских наук» он писал, что музыка обостряет духовное восприятие священных текстов (см.: *Идрис Шах*, 2001. С. 537). С той же целью суфии стали перелагать на музыку стихи (бейты, газели и пр.) любовного содержания. Другое дело, что в этих произведениях влечение к вполне земным объектам (к розе, соловью, деве) в действительности символизировало горячее чувство к Божеству[2]. Поэтому в самых чувственных стихах зашифрован глубокий религиозный смысл, а гениальные поэты мусульманского Востока являлись и наиболее знаменитыми из суфиев.

Конечно, глубинная суть поэтически-музыкальной составляющей суфийской практики осталась, по большей части, скрытой от немусульманского Запада, если не говорить о великих проповедниках вроде Франциска Ассизского или Фомы Аквинского, многое заимствовавших в суфизме, а также об учёных-ориенталистах. Тем не менее даже поверхностно (формально) воспринятая суфийская поэзия как ранее, так и ныне способна вызывать горячее эстетическое восхищение и оказывать глубокое философское воздействие на духовный мир европейцев, желание подражать ей (*Песнь Магомета, Западно-восточный диван* Гёте, «восточные» стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова и мн. других). Ознако-

[1] Крымские текие (от *араб.* «такия» — «опора»), или по-турецки текке, могли пользоваться несколькими источниками средств к существованию. Вначале основой служили доброхотные пожертвования и постоянная помощь властителей, преклонявшихся или заискивавших перед влиятельными шейхами. Но чем дальше — тем больше становились в каждой мусульманской стране вакуфные имущества, часть дохода от которых поступала в текие. Во всяком случае, любой дервиш мог рассчитывать получить здесь свой кусок хлеба. Но, как правило, хлебом питание не ограничивалось. Вот примерный рацион обитателя текие: ежедневно три лепёшки весом в 300 гр каждая и 200 гр вареного мяса с бульоном; ежемесячно выдавались сладости, масло и мыло; раз в году постоянные члены общины получали по 40 дирхемов наличными (*Буниятов*, 1985. С. 65).

[2] Между прочим, суфии считали, что не только цветы и птицы, но и камни способны по-своему восхвалять Господа. Пророк подчёркивал в хадисах, что предметы тоже обладают некоей формой жизни: «Не тревожьте предметы без нужды, ибо они пребывают в восхвалении» (цит. по: *Джан*, 2008. С. 212–213). Согласно учёным суфиям, животные обладают животным (анималистическим) духом, растения — ботаническим духом, камни или, к примеру, почва — неорганическим духом. Эти утверждения, сделанные 15 веков тому назад, начинают подтверждаться современной наукой (растения способны на расстоянии передавать друг другу тревожную информацию и т. д.).

мившись с Кораном, очаровавшись им и глубоко прочувствовав, что ислам — это религия любви и сочувствия, великий англичанин Бернард Шоу прямо утверждал: «Будущей религией человечества будет ислам» (цит. по: *Джани*, 2008. С. 384). Суфийская музыка также оказала признанное влияние на западных композиторов, создавших по ее мотивам произведения, до сих пор поражающие глубиной своего мистического воздействия на слушателя, — в качестве примера можно назвать хотя бы знаменитое *Болеро* М. Равеля.

Но не только суфийская любовная поэзия или музыка привлекала правоверных к этому учению. Шейхи, обладавшие огромным авторитетом среди основной массы мусульман (то есть людей из низших и средних социальных слоев), становились в конфликтах между верхами и низами на сторону последних. И так было с самых первых столетий существования суфизма. Неизменность этой демократической позиции увеличивала влиятельность руководителей текий, с их мнением приходилось считаться правителям и администраторам самых различных рангов. И лишь величайший из суфиев (в мире ислама приравненный к пророкам), богослов, философ, поэт и вероучитель в ранге шейх-уль-ислама[1] Мухаммад Газали (1059–1111), смог путём некоторых реформ в богословской практике, введения в нее суфийских чувственных элементов, сделать суфизм как систему приемлемым и для элиты правоверия — кадиев и муфтиев. Именно так, благодаря Газали, отдельное философское учение, одно из многих, стало абсолютно всеобщим достоянием в странах мусульманского мира, что в истории цивилизаций — явление чрезвычайно редкое.

Особо следует сказать о суфийской терпимости к инаковерующим, прежде всего, по отношению к христианам, караитам и иудеям. Здесь примером может служить едва ли не самый знаменитый из суфиев, чрезвычайно популярный в народной среде философ, проповедник и поэт Джалаладдин Руми[2], с юности увлечённый различными течениями суфизма. Переломным моментом в его религиозном творчестве стала встреча с мистиком Шамс ад-дином Мухаммадом Тавризи (1244), посвятившим его в суфийские опыты по достижению молитвенного экстаза. Позднее Руми изложил их в огромной мистической поэме *Маснавийи манави* (Поэма о сокровенном смысле), а также в чувственных пьесах.

В *Маснави*, впоследствии названной «Кораном на персидском языке», он пытался раскрыть тайный, сокровенно-символический смысл сур Корана, выразить который не в состоянии человеческий язык, его можно начертать лишь мелодией песни или рисунком бессловесного, вдохновенного танца. Именно

---

[1] Шейх-уль-ислам (шейх-иль-ислам) — глава мусульманской общины в Османской империи (от *араб.* шайх ал-ислам — старейшина ислама). Считался, наравне с великим визирем, вторым после султана лицом в державе. В ведение шейх-уль-ислама входили также система образования и судебная структура империи.

[2] Джалал ад-дин Мухаммад бин Баха ад-дин Мухаммад ал-Балхи Руми (1207–1273) — знаменитый персидский мистик, основатель суфийского братства Мевлеви (Маулавийа). Один из крупнейших поэтов и философов Средневековья. Является святым покровителем г. Коньи (Малая Азия), где много лет руководил центральном медресе и где сохранилась его могила. Оставил огромное литературное наследство — поэтический Диван, состоящий из 30 000 бейтов, изданный в 8 томах, прозаические произведения, письма (подр. см.: Ислам, 1991. С. 199–200).

в танце он выражал «порывы религиозной набожности и любовной эмоциональности» (*Хитцель*, 2006. С. 356–357). Его главная поэма уже более семи веков привлекает восторженное внимание не только суфиев и не только мусульман. Она переведена на ряд языков Азии и Африки, а не столь давно эта подлинная энциклопедия суфизма, вершина мистической поэзии Востока была издана в Лондоне в 8 томах с параллельным английским переводом.

В своём учении Руми исходил из старой истины: никакой язык, даже самый богатый, не способен в точности передать мысль, не говоря уже о тонких волнениях души в состоянии молитвенного экстаза («Мысль изречённая есть ложь», — И.А. Бунин). Более подходящ здесь язык танца, жеста — лишь им человек может передать все краски мира, превратиться в луну, воду, в дождь. А также в любовь или в свёрнутый клубок боли — всё это было доступно Джалаладдину Руми и его ученикам. Может быть, и наиболее вдохновенным членам братств «танцующих» или «крутящихся» дервишей, исповедующих учение Руми. Из-за угрозы репрессий он был вынужден покинуть родину (Балх, Сев. Афганистан), найдя прибежище в малоазиатском городе Конье. Здесь, в Османской империи, Руми основал мистическое братство, которое существует и в наши дни. Его учение было пронизано любовью и вниманием к человеку, глубоким убеждением в том, что истинный храм — сердца искренне верующих в Единого и Единственного:

Я глубоко исследовал Крест и христиан. Его не было на Кресте.
Я побывал в индуистском храме и в древней пагоде, но и там не нашёл Его следов.
Я дошёл до Герата и Кандагара. Я искал. Но не было Его ни вверху, ни внизу.
Решившись, я поднялся на гору Каф, но и там я нашёл только птицу Анка.
Я отправился в Каабу. Его не было там.
Я спросил о Нём Ибн-Сину, но Он был выше философии Ибн-Сины.
Я заглянул в своё сердце. Там я узрел Его, только там, а больше нигде Его не было...
(Цит. по: *Джани*, 2008. С. 221–222)

И ещё:

Путь нашего Пророка — путь любви.
Мы — дети любви, и наша мать — любовь.
(Там же)

Во всём мусульманском мире были известны рассказы из биографии этого великого суфия, записанные в середине XIV в. мевлевийским автором Эфляки. В одной из этих правдивых историй говорилось, что Джалаладдин Руми осудил проповедника, благодарившего Бога за то, что Он не создал его неверным. Суфий призвал этого вероучителя к скромности, заметив, что его ценность мусульманина если и выше ценности любого неверного, то не более, чем на 1/6 драхмы. А после длительной беседы с нищим монахом-католиком суфий поцеловал край его одежды, признав в нём одного из величайших святых, возлюбленных Богом. Согласно Эфляки, когда Джалаладдин умер, то в похоронной процессии шли, кроме мусульман, христиане и иудеи, «согласно своему обычаю читавшие стихи из Псалтири, Пятикнижия и Евангелий» (*Ломидзе*, 1992. С. 12–13). Этому легко поверить, вникнув в его бейт, посвящённый высшей веротерпимости и призна-

нию ценности иных религий, но почитаемый и как первый памятник великой идее Всемирного человека, доныне, увы, неосуществлённой:

Если в мире есть любящий, о, мусульманин, — это я.
Если в мире есть верующий в Аллаха или христианский отшельник — это я.
В мире семьдесят два верования и секты, но на самом деле их не существует,
Ибо, клянусь Аллахом, если есть любое верование и любая секта — это я.

Со временем число суфийских орденов (братств) стало довольно значительным — к 1860-х гг. их насчитавалось 325, причём не было двух одинаковых — у каждого из них имелась своя религиозная практика и собственные политические установки (*Триннингэм Дж.* Суфийские ордены в исламе. М., 1989. С. 209). Поэтому можно говорить о суфизме как о более или менее едином религиозном движении, но ни в коем случае — как об отдельной политической силе.

Этот краткий обзор истории и смысла суфизма, естественно, ни в коей мере не претендует на роль даже беглой его характеристики, являясь лишь робкой попыткой приподнять край покрывала, скрывающего от непосвящённых смысл этого великого учения. Впрочем, внимательное ознакомление даже с самыми объёмистыми трудами на эту тему вряд ли намного продвинет читателя по пути познания, если его душа не раскрылась навстречу древней поэзии Востока. Здесь нет преувеличения непознаваемости суфизма через человеческое слово; и в наше время полностью сохраняет свою силу старая истина: *Всё, что может быть выражено словами, не есть тасаввуф* (т. е. суфизм).

О начале и особенностях распространения суфизма в Крыму до последнего времени было известно немного. Причина здесь проста: исследовательские работы в этом направлении практически не велись (два из крайне немногих исключений — *Бахревский*, 1997 и *Абдульваап*, 2005). Но даже беглый взгляд на дошедшие до нас источники способен дать представление о весьма заметной роли, которую суфии сыграли в истории духовного развития крымскотатарского народа.

Суфийские общины были широко известны в крупных и мелких городах Золотой Орды (*Тизенгаузен*, 1884. Т. I. С. 287, 310). В Северное Причерноморье суфизм, очевидно, принесли из Средней Азии тюрки-болгары, частично переселившиеся в Крым. Это было начало, первое зерно древней философии. Оно легко могло бы и сгинуть в сухой крымской почве, но этого не случилось. Уже в середине XIII в. в Крым проникают дервиши различных суфийских течений: бабаи, хайдери, календери и др. Некоторые суфии из этих групп известны по именам, которые донесли до нас народные легенды. Это Сеййид Сары Салтук Баба (ум. 1296), Барак Баба (ум. 1308), Кемаль Баба[1], Кемаль Ата-султан, Чобан Ата, Кара Дауд и др. (*Абдульваап*, 2005. Л. АЛ 6 об.).

Одной из причин расцвета суфизма в дальнейшем были бесспорные контакты крымцев с культурными центрами ислама, а также постоянное проникновение

[1] Здесь и далее постпозитивный адъектив «Баба» в применении к именам местных святых, гази или суфиев означает не «отец», как в современном крымскотатарском языке, а указывает на принадлежность носителя этого имени к религиозно-суфийскому учению *бабаилик*, объединявшего различные дервишские группы. Сам корень *баб*, повидимому, происходит из арабского языка, где он означает «[духовные] врата», или «пролив [открывающий путь в море познания]».

Дервиши в мечети. Гравюра. *Из колл. музея Ларишес*

в Крым суфийской литературы. Об этом говорят чудом дошедшие до наших дней суфийские источники, самый старый из которых (наверняка существовали и более древние) датируется XIII в. (*Кемаль*, 1930. Вып. I. С. 159–164).

Значительную роль в этом культурном процессе играла Турция, где суфийские ордены возникли практически одновременно с образованием государства, где в дальнейшем находили самые благоприятные условия для самостоятельного развития. При этом «особенно велико было их значение на завоёванных османской империей территориях... Находясь до некоторой степени в оппозиции ортодоксальному исламу, суфийские ордены в учении и культовой практике оказались открыты влиянию других учений, что приводило в некоторых случаях к сознательной проповеди религиозной терпимости» (*Ломидзе*, 1992. С. 11). А Крым, с его давними традициями толерантности, как раз и оказался такой благоприятной для учения суфиев духовной территорией.

Постепенно учение суфиев получило в Крыму широкое распространение. О множестве древних *текие* говорят археологическое находки (к сожалению, до наших дней дошло лишь несколько этих дервишских общежитий-храмов). Суфии, занимавшие высокое положение (среди них встречались и земные владыки), строили не только текие, но и мечети. Как говорилось в III очерке, уроженец Солхата Калаун, известный султан Египта и не менее известный суфий, выстроил в родном городе мечеть, до сих пор носящую его имя; возводил он храмы и в других странах (*Буниятов*, 1985. С. 66).

Посетивший Крым в XVII в. турецкий учёный-путешественник записал: «На Крымском острове находится всего 21 тысяча соборных и квартальных мечетей. В этих молельнях днём и ночью татарские *суфии* предаются молитве и *зикру*. Там очень много мужей единобожия и мистического пути» (*Челеби*, 1999. С. 11). Это, конечно, численное преувеличение, характерное для этого автора.

но даже 1/10 часть названного количества — это очень много для небольшого полуострова. Не менее важно то, что он здесь же рассказывает о некоем святом шейхе из Ор-Капы, который достиг высшего совершенства на суфийском Пути и имеет множество учеников-дервишей. В Кефе находилось «громадное текие Кемаль-ата»; оно существовало много веков, но во время аннексии было, как и весь город, разрушено; развалины этого комплекса ещё можно было отыскать до 1880-х гг., затем исчезли и они (*Колли*, 1903. С. 11).

Особое место в крымском духовном мире занимал такой суфийский центр, как азис Малик-Аштер, или просто Азис в бахчисарайском Эски-Юрте. Это комплекс, созданный в честь суфия халифа Али, проповедовавшего в Крыму ещё в VII в., где возвышалась мечеть-текие, дом главы суфийского братства и обширное кладбище с дюрбе и обычными могилами. Здесь же находилось дюрбе Малик-Аштера, относившееся к разряду не погребальных, а поминальных (сам святой захоронен в Египте, город Аль-Ариша).

Святое место пользовалось у крымских суфиев, да и у всех крымцев в целом таким почтением, что здесь хоронили и некоторых Гиреев, правителей раннего периода истории ханства (до наших дней дошло пять древнейших памятников такого рода: дюрбе Ахмед-бея, XIV в.; Мехмед-бея, XVI в.; Мехмед-Гирея II, XVI в.; Саадет-Гирея II, XVI в.; Мехмед-Гирея III, XVII в.). Здесь же погребали ближайших родственников ханов XVI–XVII вв., в том числе и женщин (сохранился мавзолей Бей-Юде Султан, XIV–XVII вв.), позднее их погребали на кладбище Хан-Сарая. Впоследствии, уже в Новое время, здесь была выстроена обширная двухъярусная мечеть-текие, в которой хранилась святыня — *сакал-и шериф* (волос из бороды Пророка). Ещё одно текие (Газы Мансур) находилось в Чуфут Кале. Всё это говорит о живучести суфийских традиций в Крыму.

Общее число суфийских храмов или братств в Крыму определить трудно. Что же касается количества суфиев, то, по словам Сефера Гази-агъа (визиря ханов Ислам-Гирея III и Мехмед-Гирея IV), в отдельные периоды оно достигало 40 тысяч (*Колли*, 1903. С. 11) — цифра, конечно, весьма приблизительная. В некоторых городах, например Гёзлёве, было по нескольку текие — обителей «хатипов, шейхов, предсказателей, набожных аскетов и отшельников, мужей мистического Пути и экстаза» (*Челеби*, 1999. С. 24).

Расцвет крымского суфизма приходится на XIV в. Сюда проникают не только произведения Джалаладдина Руми, а затем турецкого поэта Юнуса Эмре (последний был связан через своих наставников-шейхов с упоминавшимися Барак Баба и Сары Салтуком), но целые суфийские братства, как, например, братство эхи, прибывшее на полуостров из Малой Азии. Осману Акчокраклы удалось, на основании надгробной эпиграфики Отуз, выявить имена таких шейхов, как Якуб Конийский (ум. 1328) и Хаджи Яхья бин Мухаммед аль Ирани (подр. см.: *Абдульваап*, 2005. С. АЛ 7). Как явствует из названных имён, ни один из шейхов по рождению крымцем не был, но они возвещали на полуострове истину и здесь были похоронены.

Благоприятная для «ищущих Пути» обстановка в Крымском ханстве, очевидно, была и в дальнейшем одной из причин продолжавшегося здесь развития суфизма. В XVII в. Эвлия Челеби, посетивший далеко не все селения полуострова, лично побывал в 33 текие. Любопытно, что наряду с традиционными тарикатами (хальветийе, мевлевийе, накшбандийе, гульшенийе и др., широко известными

за пределами ханства), существовало два, имевших чисто крымское происхождение: коледжди и чоюнджили. Эти самоназвания происходят от мест нахождения суфийских центров — в сёлах Коледж под Кефе и Чоюнджи близ Акмесджита. Вместе с ещё двумя известными центрами — Ташлы Шейх-эли (степное село Едилер) и Качы, в долине р. Качи, они получили общее название «четырёх очагов» крымского суфизма (*Абдульваап*, 2005. С. АЛ 8).

В дальнейшем крымский суфизм прошёл через большие и малые испытания, пришедшиеся на долю крымских татар. Но учение не утратило своей глубины и убедительности, что объясняется, главным образом, его глубокой укоренённостью в народной массе. Даже во второй пол. XIX в. возводились новые текие[1], а поклонение весьма почитаемым могилам суфийских шейхов, которых татары почитали святыми, не угасло и после 1917 г. Таким примером может служить, например, могила хафиза Хусам эд-дина (*Смирнов*, 1931. С. 32).

Сравнительно недавно (1966 г.) обнаруженная в Узбекистане книга «Каландарнома», принадлежащая перу крымского автора XIV в. Абу Бакра Каландара, считавшего Джалаладдина Руми своим наставником, является прекрасным образцом суфийской литературы. Этот объёмный (334 страницы) философский трактат был создан в 1320/21–1339/40 гг. и посвящён проблемам суфизма и мусульманской этики. Узбекские исследователи К. Муниров и А. Джуванмердиев, впервые описавшие «Каландарнома» в 1966 г., отмечают, что «книга написана в форме ответа на „Маснави" Джалаладдина Руми. В сочинении повествуется о любви, [состоянии] влюблённости, музыке, разуме, справедливости, честности, воспитанности и многих других качествах (то есть духовных сущностях. — *В.В.*), которые юллюстрируются различного содержания дастанами, полемикой, рассказами, аллегориями, указаниями, наставлениями, советами, метафорами... мудрыми изречениями и т. д.

Кроме того, в «Каландарнома» даются сведения о Султане Мухаммад Узбекхане (1332–1340), Султане Махмуд Джалаладдин Джанибекхане, Амир Кутлуг Тимуре (1224–1234) и других ханах. Вместе с тем в этом сочинении есть сведения о таких выдающихся личностях, как суфии Шейх Джунаид Багдади (ум. в 910 г.), Шейх Хасан Басри (614–728), Султан Баязид Бастоми (776–848), Шейх Шибли (861–945), Фаридуддин Аттор (1121–1229), Джалаладдин Руми (1207–1273)» (*Хамзин А.* «Каландарнома» — философский трактат, написанный в Крыму в XIV в. // А. 09.07.2007. С. 6–7).

О том, насколько высоко Абу Бакр Каландар ценил философское и поэтическое наследие великого суфия Джалаладдина Руми, свидетельствуют следующие строки трактата, созданного в Крыму: «Джалаледдин Руми создал книгу Маснави, вся мудрость которой излучает сахар. Маснави — это океан наук, сокрытая в ней мудрость подобна волне, изрыгающей жемчужины... О брат, если правильно прочтёшь его бейты, то они очистят душу и сердце» (цит. по указ. соч., перевод *Э. Хуршута*).

---

[1] Одной из наиболее «молодых» текие, очевидно, можно считать принадлежавшее симферопольским суфиям-*мушидам* (то есть *молчальникам*, которых в народе особо почитали за скромность и аскетический образ жизни). Оно примыкало к мечети Ени-джами, расположенной на скрещении улиц Мечетной и Фонтанной, со стороны Мало-Фонтанной. После закрытия текие члены этого братства переселились вместе с семьями в Бахчисарай, где примкнули к одной из текий накшбандийского толка (*Волошинов*, 1918. С. 356–357).

Произведения ранних крымских поэтов, судя по сохранившимся фрагментам, также были образцами суфийской литературы, а упоминавшийся выше хан Мехмед-Гирей IV (1641–1644, 1654–1676), писавший под псевдонимом Кямиль, даже удостоился от современников почетного добавления к имени — *Софу,* то есть Суфий. Бесспорно, членами суфийских братств были крымские Гиреи: Ислам-Гирей II (1584–1588), Хаджи-Селим-Гирей I (1684–1691, 1692–1699), Шахбаз-Гирей (род.1728 — ум. 1793), Саид-Гирей-султан (пер. пол. XIX в.). Вероятно, суфием был и Менгли-Гирей II (род. 1681 — ум. 1730), поскольку им были выстроены две текие — в Карасубазаре специально для шейха Мехмеда Фахри, а также в Стамбуле для крымского шейха Хасана-эфенди. Элементы суфийского учения или излюбленных суфиями мотивов присутствуют в произведениях нуреддина Шагин-Гирей-султана (ум. 1718), Дервиш-Мехмед-Гирея (вторая половина XVII — начало XVIII вв.), Халим Гирей-султана (ум. 1823) и др. (*Абдульваап*, 2005. С. Ал 9).

Суфием был и великий гёзлёвский кедай Ашик Умер (1621–1707), об этом говорят не только его произведения, но и записанные им сны, и другие мистические озарения. Впрочем, о распространении в Крыму суфизма гораздо лучше отдельных исторических фактов свидетельствуют наглядные результаты прилежного исповедания этого мистического учения. В I очерке II тома, в разделе, посвященном этнопсихологическим чертам, свойствам и качествам крымских татар, приведено немало примеров истинно суфийского поведения не только отдельных праведников, но и обычных представителей народных масс.

Бесконечная преданность учению Пророка, внутренняя интеллигентность, чистота нравов, не знающая предела терпеливость, искренняя удовлетворенность сегодняшним днём, как и твёрдая уверенность в дне грядущем, полное отсутствие интереса к материальному обогащению и бытовому комфорту — всё это воплощенные в народной жизни смыслы суфийских «остановок» (*макам*). Именно в ханскую эпоху истории Крыма эти духовные и психологические качества полно и естественно реализовались в этнокультурных нормах и ценностях. А также в сотнях тысяч решений, поступков и даже жестов, исполненных собственного достоинства, которое дается лишь уверенностью странника в правильности избранного им Пути.

В дальнейшем суфийские мотивы уже никогда не исчезали из творчества крымскотатарских прозаиков и поэтов, заметным было их влияние и на национальное изобразительное искусство. И даже в послереволюционный период эта особенность крымской литературы сохраняла свое значение. Сами татары, в том числе литературные критики советского периода, обязанные бороться с таким «пережитком тёмного прошлого», как суфизм, не замечали его, по причине своей принадлежности к культуре, органической частью которой это учение стало задолго до Октября. Когда, к примеру, поэт Лятиф-заде писал:

...Мен тувдым бинлердже бабадан!
Бешигим тербетти Инд, Рома эм Иран.

...Я родился от тысячи отцов!
Колыбель качали Индия, Рим и Иран.

(Цит. по: *Чобан-заде*, 2003. С. 55)

то истинно суфийский культурный космополитизм этих стихов скользил мимо внимания невежественной критики, во всех иных случаях неустанно противопоставлявшей подобным утверждениям нормы советского патриотизма. Это как

раз и доказывает, что, повидимому, национальная культура стала совершенно непредставимой без суфийских символов, неотделимой от них.

О судьбах традиционного крымского суфизма в Новое и Новейшее время судить трудно — такие исследования автору неизвестны. Однако, как говорилось выше, имеется свидетельство о сохранившихся в Симферополе и Бахчисарае, по крайней мере в начале XX в., двух дервишских общинах, относившихся к сектам мушидов-молчальников и накшбандийской. Известно также, что нередко крымские мужчины временно оставляли семьи для длительного пребывания в симферопольской текие и совместных молитв с мушидами (*Волошинов*, 1918. С. 356, 357).

б) «Прогрессировал» ли в ханстве шариат?

Шариат как таковой — не мусульманское право, а правовой источник. Это, заметим, не одно и то же, как не одно и то же вода и чешме, из которого она струится. Поэтому национальные системы социально-правового регулирования, истекающие из толкований шариатских предписаний (в частности, правил поведения), неодинаковы. Они меняются от страны к стране под влиянием национальных адатов, этноисторических, экономических, психологических и даже географических ситуаций. И в том числе связанных с исторической эпохой, ею обусловленных. Что вполне естественно заставляет задуматься над проблемой: менялись ли, шли ли в Крыму шариатские нормы в ногу с «прогрессом человечества» или культурным развитием отдельно взятой нации?

Прежде чем искать ответа на этот непростой вопрос, следует вспомнить некоторые не всегда лежащие на поверхности истины. Например, такую: субъект прогресса, то есть этнос (или даже всё человечество) не в состоянии управлять процессом ни социальной, ни культурной, ни этической, ни какой-либо иной эволюции. Вопреки выкладкам самонадеянных политиков (неважно, светских или религиозных), такие процессы совершаются без участия чьей-либо воли, постигаемой разумом. Более того, человек не в состоянии даже предсказать эти процессы или определить их конечный смысл.

Общекультурная (цивилизационная) эволюция именно потому и возможна, что она в принципе непредсказуема и невообразима. Прогресс же — направляемое с большим или меньшим успехом устремление к осознаваемой, представляемой *цели*. По одной лишь этой причине (а она не единственная) прогресс попросту несопоставим с шариатом. Прогресс, понимаемый как направленный процесс, как сущность, поддающаяся коррекции извне, может привести лишь к тому, *что* направляющее сознание может предусмотреть. Оно и окажется, в идеале, в выигрыше от поставленного им опыта. Сознание инакомыслящих (социально чуждых, ненаших и т. д. до бесконечности) неминуемо будет подвергнуто дискриминации победителем вопреки даже человеческим, не говоря уже о Божьих, законам. Тогда причём здесь Бог или ислам в целом? Они-то какое отношение могут иметь к *такой* эволюции? Это вопрос из разряда не требующих ответа...

Благодаря процессу эволюционной *само*организации, благодаря своим, национальным изменениям шариатские модели в Крыму были, понятное дело, иными, чем даже в соседней Турции. Они сложились так, что крымское мусуль-

Читающий мулла.
Музей Ларишес

манское право поддерживало, в частности, эгалитарность, правовую (не социальную!) уравнительность, сбалансированность общества и способа правления, этническую и конфессиональную терпимость, традиционное стремление к компромиссному решению самых различных внешних и внутренних проблем и т. д. Турецкие султаны не могли вмешиваться в такую этически-правовую практику, пока Крым оставался мусульманским государством. Да они к этому и не стремились, поскольку именно такие особенности позволяли ханству оставаться в их глазах тем, чем оно было — одним из буферных государств на границе исламского Востока с христианским миром, способных успешно решать соответствующие такому положению задачи.

Что же касается внутренней ситуации в ханстве, то «несовершенство» (с точки зрения классической европейской экономики) поземельных отношений в сочетании с развитым, хотя и разобщенным дворянским сословием, не слившимся в единый класс, должны были, по всем канонам, вести к деспотизму. Внешне черты деспотического режима вроде бы присутствовали: к хану сходились все нити управления страной и подданными. С другой стороны, ему не подчинялась высшая духовная власть, вся мусульманская община, не говоря уже об имевших огромное влияние на массы суфийских шейхах. Хан в принципе не нес ответственности перед соплеменниками за свои деяния. Но он должен был исполнять законы ханства, в свою очередь выстроенные на шариате, отвергающем деспотию как крайнюю форму неравенства мусульман перед Аллахом.

И ещё: Крымское ханство не было деспотией оттого, что ханская власть ограничивалась *сословными* учреждениями, основным из которых был диван. Диван, конечно, дивану рознь. Турецкий, например, был фикцией аристократического

совета, являясь одним из имперских бюрократических учреждений, рабски исполнявших волю султана (или тех, кто стоял за султаном, в случае, если повелитель был слаб). Но для того, чтобы понять, почему эти два совета избранных столь разительно отличались друг от друга (как и типы государственной власти в Крыму и Турции), необходимо сделать маленькое отступление.

Прежде всего, нельзя упускать из виду, что мусульманский (суннитский) властитель отличался от христианского (европейского) тем, что лично не являлся *источником* власти. Вся полнота власти принадлежала Богу, причём не на словах, как в Византии или России, а в самом прямом и непосредственно реальном смысле. Аллах давал суннитскому монарху поручение и возможность земной власти, это был Его дар людям, не более того[1]. Задача монарха поэтому была весьма ограниченной: следить за тем, чтобы вверенные ему люди жили согласно Корану и сунне, то есть по божественному закону и по примеру Мухаммада. Поскольку Аллах един и единствен, то и власть едина; она нераздельна и цельна, а потому и может поручаться одному субъекту властных полномочий (правителю-халифу, падишаху, имаму, великому хану и т. д.).

Но если любознательный ум, жаждущий конкретных разъяснений относительно природы власти в мусульманском государстве, обратится к первоисточнику — Корану, то он неминуемо оценит эту великую книгу не только за то, что в ней есть, но и за то, чего в ней нет! В самом деле, о власти говорится всего в трёх сурах, причём разбираются достаточно специфические, хотя и важные проблемы. Аллах повелевает, когда вы судите, судить по справедливости, говорит аят 61(58) суры 4. Далее, Коран требует принятия правителем решений лишь после того, как он посоветуется «о деле», после *аш-шуры*, или консультаций с общиной или компетентными её представителями (см. 3:153(159); также 42:36(38)). Наконец, подданные обязаны подчиняться властителю, который есть *расул* (послан-

[1] Пример смиренного исполнения этого поручения ханами Крыма см., например, в следующем очерке, § 4. Напротив, шиитские представления о власти основаны на её священном, сверхчеловеческом, надмирном характере. Чем, кстати, они и отличаются «от суннитской теории, имеют свою специфику, которая прежде всего предопределяется концепцией имамата» (Сюкияйнен, 1986. С. 113). С другой стороны, было бы идеализмом считать, что суннитская теория *повсюду* была прямым руководством к действию и свято соблюдалась, как это было в Крыму. В Турции, к примеру, в XV в. «султан имел право регулировать право, издавать законы, всецело по собственной инициативе. Эти законы, независимые от [положений] шариата и известные под именем kanun, были основаны на рациональных, а не религиозных принципах и вводились в силу главным образом в сфере гражданского и административного законодательства... Некоторые исламские юристы, включая Ибн-Халдуна, полагали, что кануны — как законы, основанные целиком и полностью на султанских указах — не нужны, излишни, утверждая при этом, что шариат... способен решить все правовые проблемы» (*Inalcik*, 1994. P. 70). Оправдание этого нарушения суннитского права было деспотически-наивно: введённый Сулейманом I свод законов такого рода (Kanun-name) легитимировался тем, что «эта регуляция существенна для процветания дел всего мира и нашего народа». Более того, это самовластное вторжение в право приравнивалось к *тёрэ*, хотя и толковалось как "royal codex of laws" («монарший законодательный кодекс»), что имело резон: согласно основному принципу канунов, «всё, что бы султан ни декретировал, становится законом» (ibid.). Такого *беззакония* в Крыму, понятно, никогда не бывало.

ник) Бога, а также его помощник, являясь «обладателем власти», ведающим дела правоверных общинников (4:62(59)). Налицо явная *фрагментарность,* некая внешняя незавершённость указаний о природе власти, важнейшей из проблем любого, не только мусульманского государства. Чем же она была вызвана?

в) Форма правления в Крымском ханстве

Ответ на этот вопрос найден довольно давно. Известно, что не существует двух народов с одинаковой этнопсихологией, аналогичными ментальностями и т. д. Кроме того, общественное сознание даже одного и того же племени подвергается временны́м изменениям. То, что оптимально сегодня, завтра таким уже не выглядит. Именно поэтому экономные указания Корана столь сухи и сдержанны, чтобы не связывать волю человека слишком уж жёстко и гарантированно. В том-то и состоит достоинство поучений Мухаммада, что они позволяют мусульманам гибко выбирать ту форму правления, которая наиболее подходяща именно здесь и сегодня, а не вообще, всегда и повсюду. Кстати, на счёт такого истолкования свободы трактовки священных сур имеется подсказка во второй из упомянутых выше: что есть *советование,* консультации со знающими людьми, как не путь к выработке верного в конкретной ситуации решения вместо рабского подчинения?

Но, конечно же, правитель должен советоваться далеко не по всем проблемам, имеющим отношение к жизни общины. Основа исламских принципов как раз изложена Кораном достаточно полно и прозрачно. Советоваться монарх должен только по вопросам, допускающим принятие нового решения, самостоятельное введение нормы, востребованной изменившимися условиями жизни и т. д. Короче, по проблемам, которые не урегулированы Кораном и сунной, но могут быть решены при общем соблюдении мусульманского *фикха* (правовых норм). Хотя, в принципе, любой правоверный подданный имеет право прийти к властителю и высказать всё, что он думает о его правлении, ожидая услышать в ответ исключительно слова благодарности (Islam, 1991. B. II. S. 297–299). Впрочем, это, строго говоря, — уже не совет, а всего лишь откровенно высказанное мнение.

Поэтому в прерогативу правителя и его консультантов-*советующихся* напрямую входили лишь вышеперечисленные вопросы из числа важнейших. Таким образом в принципе нормотворческая деятельность хоть и является генетической функцией общинного собрания, но исполняется она не напрямую, а делегированными от общины консультантами (в Крыму это — диван) и избранным правителем (ханом). Точно так же любой член джемаат имеет в идеале право контролировать действия хана, их соответствие мусульманскому праву, но на практике это право передано дивану. Более того, если члены джемаат обязаны не подчиняться противоправным распоряжениям правителя, то и противоправность эта определяется всё той же экспертной группой — диваном или беями. Но уж когда такая экспертная оценка вынесена[1], то она считается принятой всеми

[1] *Советующие* при халифе (члены дивана при хане) традиционно обладают статусом и правами *муджтахидов*, то есть знатоков мусульманского права высшей квалификации, имевших право на самостоятельный поиск в этической области, на формулирование правил поведения (право *иджтихада*), то есть право выносить самостоятельные решения

членами общины и подлежит выполнению как единственно верная. Это означает, что здесь к минимуму сведена возможность ошибки, от которой правитель гарантирован столь же мало, сколь и любой иной мусульманин.

Восточная цивилизация вообще складывалась параллельно с формированием некой системы торможения, ограничения деспотизма правителей. Эту систему её современники вполне могли бы называть истинно демократичной, если понимать демократию как «процедуру, защищающую нас от деспотизма и тирании», и которая «должна определяться в негативной форме» (*Хайек*, 1995. С. 38). Что это означает? Самое замечательное благо, которого можно было бы ожидать от любого правительства: что его практика будет не приказывающей (пусть даже творить благо), а исключительно возбраняющей людям творить зло. Мусульманское право само по себе вообще не предусматривает каких-либо жёстких санкций против человека, что-либо не делающего. Напротив, наказанию или осуждению подлежит правоверный, делающий *не то*, чего от него вправе ожидать соотечественники. Ведь он преступает в таком случае некоторые негативные правила или запреты, не служащие никаким частным целям, но имеющие в виду общее благо, совместный, общий комфорт бытия.

С другой стороны, именно в негативной форме сформулированные правила позволяли с максимальной свободой и эффективностью использовать знания, навыки и таланты всех и каждого: ведь ему не предписывалось, *что* он должен делать, тут сохранялась его полная свобода — только бы не нарушались общие правила общей игры. Так сохранялась и ответственность каждого за лично им принятые позитивные решения. А постоянная «тренировка» личной моральной ответственности не позволяла ей отмереть, держала этику всего общества на достаточно высоком уровне. На такой почве не могли, между прочим, взойти побеги известного интеллектуального мошенничества, когда демагоги требуют выразить закон или принцип справедливости в позитивной форме. Тем самым они саморазоблачаются, выдавая свои замыслы, свои попытки извратить основные гуманистические идеалы и злоупотребить ими. От этого мудро предостерёг замечательный поэт А. Галич: «Бойтесь того, кто скажет: я знаю, как надо»!

Именно такая, а не иная практика (отрицания права человека командовать другим человеком) сложилась из соображений даже не абстрактного гуманизма, а подчинения Высшему закону, монополизирующему всевластие в лице единого Бога, единственного, кто может поручить правителю вести общину (Islam, 1991. B. II. S. 298). Последнее отчасти подтверждается ещё одной нормой: если правитель допускает неправомерные, неисламские нарушения высшего закона — деспотизм, притеснение, угнетение правоверных, поощряет неравенство или лицеприятные судилища (тогда как все мусульмане — равны!), то Коран призывает к неповиновению: «И не повинуйтесь приказам распутных, которые распространяют порчу на земле и не творят блага» (26:151–152). Что же касается совокупности подданных, всей общины, то она (возможно, под водительством тех же своих представителей-беев) «не просто может, но должна пресекать гнёт

по важнейшим вопросам фикха, не говоря уже о применении последнего в конкретных ситуациях. «Суть иджтихада в том и заключается, чтобы на не имеющий готового ответа вопрос найти ответ, который соответствовал бы шариату» (*Сюкияйнен*, 1997. С. 8).

и притеснения правителя, и в этом случае *его* ждёт божественная кара» (*Сюкияйнен*, 1987. С. 50).

Естественно, далеко не сразу, ведь по Корану любая власть священна. Сначала в таких нерядовых случаях следуют советы, настоятельные увещевания, всё более прямая и острая критика, предупреждения и лишь затем — безусловное осуждение, влекущее за собой одностороннее расторжение подданными своих этических обязанностей. После этого хан превращается в глазах земляков из властителя в частное лицо, к тому же отягчённое более или менее тяжкими грехами, за которые не исключена расплата. И здесь возникает естественный вопрос: насколько скорой и неотвратимой может быть такая расплата? Для ответа нужен небольшой экскурс в малоизвестную сферу мусульманской приверженности к порядку.

г) Феномен исламского *порядка* и власть

В идеале терпима любая власть, если она не посягает на насильственное ниспровержение основ мусульманского права, если не оскорбляет веры. Более того, долг правоверного — поддерживать власть, даже если она иноверческая. Во-первых, это является подвигом внешнего послушания при сохранении приоритета внутренней духовной свободы. Во-вторых, это верность упомянутому положению Корана. В-третьих, такая позиция рациональна в практике поддержания общего порядка.

Порядок в целом — весьма немаловажная категория в исламе. Она ассоциируется с Высшим законом (Коран, 5:69(64); 2:25(27); 5:37(33); 26:152), поэтому сама идея поддержания порядка любой ценой, до последней возможности, является важнейшим из принципов восточной политической культуры и даже мировоззрения в целом. Естественно, на практике порядок почти постоянно нарушался — без этого немыслима, к примеру, политическая борьба различных группировок, партий и кланов. Но такая борьба шла в совершенно иной плоскости, чем исламские духовные борения, и протекала на периферии основной мусульманской массы. Политические вооружённые акции проводились в Крыму, как правило, крайне немногочисленными бейскими или ханскими отрядами профессиональных воинов, тогда как народ в целом оставался вне этих акций, храня верность стержневой исламской идее мира и порядка.

Представление о порядке, а точнее, система поведенческих стереотипов или даже шире — модель жизнеустройства было выработано исходя из естественных, биологически оптимальных требований общественного бытия. Однако с течением времени, менявшем бытовые требования, с историческим распространением ислама на иные территории (с иными климатическими и этнопсихологическими доминантами) старые нормы не могли не претерпеть некоторое расхождение с жизненными реалиями, с действительностью, с былыми *конкретными* целевыми установками. Другими словами, они необходимо приобрели более или менее *абстрактный* характер. Естественно задаться вопросом: а не ведут ли такие изменения окружающей сферы к омертвению норм порядка, основанных, какникак, на старых реалиях?

Оказывается, нет. Самые выдающиеся теоретики-социологи современности утверждают, что для сохранения открытого общества ни властное меньшинство, ни даже большинство свободных людей «ни в коем случае не должно иметь власти

формировать общество, вынуждая его членов служить каким-либо конкретным целям, помимо целей соблюдения абстрактного порядка, обеспеченного в равной мере абстрактными правилами поведения» (*Хайек*, 1995. С. 40). Другими словами, здесь важно совсем иное: соблюдение норм этого порядка, неукоснительно обязательное для всех. Цели меняются, порядок не может следовать за этими переменами, он — универсален, он сохраняет стабильность общества, и следовать нормам порядка означает вести игру по постоянным правилам. А, как известно, «игра по правилам улучшает шансы каждого, даже несмотря на риск, что для некоторых исход будет менее благоприятным, чем в ином случае». Более того, сама справедливость устройства общества, всей его разнообразной осмысленной жизни «поверяется не целями действий, а верностью установленным правилам» (указ. соч. С. 41, 39), то есть верностью фундаментальному принципу порядка.

Кто-то («хорошие», или последовательные мусульмане) подчинялся ему добровольно, кого-то, очевидно, приходилось принуждать, но такое ограничение поведенческих возможностей было не только обязательным, оно, по сути, являлось *единственным*, первым и последним. И после этого нам толкуют о «восточном деспотизме»! Показательно, что в тех мусульманских странах, где государственный строй внешне (в глазах европейца) более напоминал деспотию, чем любой западный, административно-правовые реформы XIX–XX вв. проводились в направлении, схожем с «крымским». Так, известный реформатор Османской империи аль-Кавакиби писал: «Всякое правительство — это средство и инструмент произвола. Любое правительство будет деспотическим, если народ не будет его строгим контролёром» (цит. по: *Хачим*, 1999. С. 56). Он вполне основательно полагал причиной деспотии невежество народа и наличие многочисленной регулярной армии. Но ведь именно крымскотатарский народ, во-первых, стоял гораздо выше османов в смысле мусульманского просвещения, а, во-вторых, крайне незначительная ханская гвардия в количественном отношении несравнимо уступала мирному, хоть и неплохо вооружённому народу Крыма.

С другой стороны, такой порядок ни в коем случае не означал ни охлократии, ни какого-то диктата аристократов-олигархов над правителем. Что, кстати, соответствует и современному идеалу распределения сил в государстве: «... аппарат организованных интересов, предназначенный только для того, чтобы оказывать давление на правительство, становится настоящим демоном, понуждающим правительство к злу» (*Хайек*, 1995. С. 64). Поскольку монарх обладал в Крыму практическим единовластием, являясь как властелином *хутбы* (поминания в первых фразах пятничной молитвы), так и главнокомандующим, а также распорядителем большей части казённых сумм, его разнообразные и многоплановые прерогативы восстанавливали равновесие в верхах, тем более стабильное, что этот порядок был освящён и закреплён Кораном. Да и польза хану была от дивана, поскольку он ждал от этого совета не только ущемлений своих прав. Здесь не было бессмысленной, никому не приносящей плодов и истощающей силы практики постоянной взаимной критики.

Напротив, Гирей мог доверить своим советующим принятие решений в особо щепетильных ситуациях, полностью умывая тем самым руки в случае неудачи, виновным в которой становился даже не диван, а пострадавшая (но *сама* ведь делегировавшая этот диван!) общекрымская джемаат.

Что же за государственная форма складывалась в Крыму в конечном результате? Обычно властный организм, юридически, политически, социально ограниченный рамками религиозного права и канонов, именуют теократическим, подразумевая под этим не вполне ясным определением нечто вроде тоталитарной секты, разросшейся до масштаба государства. Но если взглянуть на тот же феномен непредубеждённо, то перед нами предстанет страна, во главе которой находится правитель, занимающий свой пост пожизненно (что даёт ему, как несменяемым судьям в некоторых современных странах, необходимую независимость от группировок и партий). Это верховный руководитель, не обладающий правами абсолютного монарха, ограниченный положениями Корана (вполне соотносимыми с конституцией) и руководствующийся выводами и рекомендациями крупнейших знатоков права всей огромной высокоразвитой мусульманской цивилизации.

Взяв за основу форму, можно назвать такое государственное образование теократией, а его главу — духовным владыкой, властным и над телесным миром подданных. Но такое определение будет не просто плоским, но, по сути предмета, совершенно неверным. Куда более правы современные теоретики, которые считают, что такой властитель, «выступая одновременно главой государства и исполнительной власти (правительства), по своему правовому положению похож скорее на *президента*, чем на монарха, а форма мусульманского государства напоминает *президентскую республику*» (*Сюкияйнен*, 1987. С. 60).

Верное слово, наконец, произнесено — а ведь именно к этому определению шли, в частности российские философы и историки, интересовавшиеся исламом, в том числе историки Крымского ханства, — например, В. Соловьёв, В. Смирнов, В. Бартольд и другие. Естественно предположить, что сделать такой вывод более всего мешал порядок утверждения Гиреев на престоле, а именно влияние на эту процедуру Стамбула, с трудом соединимое с идеей, скажем, президентства — института, по определению, независимого. Однако этот порог в логическом развитии идеи — скорее психологического, чем научного свойства. В самом деле, в большинстве случаев процедура избрания президентов зависела не столько от воли населения соответствующей страны, сколько от особенностей избирательных кампаний, не всегда откровенно грязных, но редко отражающих объективную картину симпатий и антипатий большинства.

С другой стороны, стамбульское правительство или султан, подбирая очередного кандидата на бахчисарайский престол, не могли не считаться с волей крымскотатарских беев, мурз и массы населения, иначе новый хан долго бы у власти не продержался. Кроме того, нередко хана избирали вообще не турки, а сами крымские татары, после чего султану оставалось только утвердить восседшего на ханство Гирея. Наконец, не столь важно, каким образом властитель выдвинут и утверждён, сколько то, *как* он правит. А уж здесь, в его будничной работе, постоянно действовали те самые крымские, «президентские» правила, о которых идёт речь.

Крымская общественно-политическая система была прозрачной — вот что должно было бросаться в глаза при сравнении ханства с наиболее близкой к нему по типу Турции. В Бахчисарае сидел хан, и его действия всем были ведомы, так как вырабатывались они по большей части коллегиально, а впоследствии были доступны обсуждению и оценке. С другой стороны, имелась всем

известная, открытая оппозиция. И её действия также не были тайной за семью печатями: имена её лидеров не скрывались, они имели право свободно выражать своё мнение не только в кофейнях, но и в ханской резиденции, заседая в диване. Именно по этой причине не были востребованы, не практиковались подковёрная дипломатия или гаремная интрига, как это имело место в стамбульском дворце. Оттого великие беи исправляли свои обязанности десятилетиями, а не менялись по несколько раз в году, как бывало с великими визирями, отставка которых почти автоматически означала казнь.

О том же говорит важнейшее отличие крымской брачной практики от османской. Властители Порты брали жён из рабынь или невольниц по преимуществу нетюркского и нетурецкого происхождения. Одной из главных причин тому было опасение претензий на разделение монаршей власти со стороны породнившихся с султаном турецких родственных кланов. И это опасение не было безосновательным: такой род сразу получал огромную фору в дворцовых интригах, которой грех было бы не воспользоваться. В Крыму же упомянутая прозрачность государственной и социальной структур делала ненужным подобные мезальянсы, унизительные для падишахов и ещё более — для их наследников. В Крыму случались, конечно, женитьбы на рабынях. Но гораздо больше ценились хозяйки Хан-сарая, взятые из бейского рода, равновеликого по происхождению ханскому, то есть, как правило, Ширинского.

Это были не привезенные в Стамбул бог весть откуда (чаще всего из глухих черкесских или абхазских сёл) перепуганные, ничего в новом месте не понимающие, тёмные горские девушки, по возрасту ещё дети (а часто ещё и дети неверных!). Сыновьям хана доставались воспитанные в духе крымских культурных традиций, обладающие чувством собственного достоинства невесты из лучших домов ханства — будущие матери благородных, коренных крымцев: «Происхождение от рабыни выглядело порочащим фактом... во всей традиции крымского двора с присущим ему культом аристократизма, столь отличавшим крымские государственные обычаи от османских» (*Гайворонский*, 2007. С. 357). Да и шариатскому благочестию это отвечало куда больше, чем турецкие веросмесительные брачные нравы.

Ещё одна реалия, также говорящая в пользу утверждения Л. Сюкияйнена, — высокая конституционно-эгалитарная ценность крымскотатарского варианта *иджтихада* в сфере правил поведения, ряда политических и экономических свобод для всех подданных хана и соблюдения норм правового равенства, о которых говорилось выше. Но едва ли не более важно государственно-политическое достоинство такого строя. Дело в том, что, как известно, самые различные державы издавна не могли найти золотую середину между Сциллой авторитарной деспотии и Харибдой феодальной анархии. Примеры диктатуры, коронованной или нет, общеизвестны. Опасность второго зла продемонстрировало Польское королевство с его правом вето для любого шляхтича на Сейме (знаменитое «Не позволям!»), которым он мог перечеркнуть любое государственное решение. Что, в конечном счёте, и сгубило державу (имеются в виду разделы Польши 1772, 1793 и 1794–1795 гг., после которых она полностью исчезла с политической карты Европы).

В Крыму нужно было одновременно ввести в русло Высшего порядка и монарха, и дворян. Точнее, разделить компромиссом власть между беями-чингизидами и «первым среди равных», Гиреем. Достаточно простая задача, но лишь на первый

взгляд. На самом же деле нужно было создать автономную самосовершенствующуюся систему, способную выдержать испытание временем и менявшимися обстоятельствами. И эту историческую задачу-ловушку смогли решить на нашем континенте лишь две державы, причём ещё в Средние века. В Западной Европе это была Англия (1215 г., Хартия вольностей), в Восточной — Крымское ханство (эпоха образования державы и формулирования национального права). Впрочем, эта политическая система работала и куда раньше: её привезли в Крым в войлочных кибитках кочевников задолго до Хаджи-Гирея как неоценённый до сих пор дар политической мысли Азии.

Одной из её черт было, среди прочего, фактическое отсутствие государственной (ханской) денежной монополии. Конечно, Гиреи были властелинами хутбы и монеты, имея право бить ахче на собственном монетном дворе, указывая на деньгах своё имя. Но это было утверждение самостоятельности ханов по отношению к стамбульским султанам, а вовсе не монополизацией использования собственной валюты. В Крыму (как и в любой другой стране) никогда не могла бы работать действительно свободная экономическая система, если бы правительство твёрдой рукой ввело денежную монополию. Однако, повторяю, этого не было. Крымские татары имели право свободно использовать в частных расчётах, на базарах и в торговых портах ханства любую валюту, в том числе и западноевропейскую.

Излишне напоминать, что этого права не имеют не только их потомки в Крыму, но даже в Европе или за океаном (лишь в самое последнее время это неудобство отчасти, то есть не во всей Европе, начала устранять евровалюта). Но создатель конституции идеального свободного общества будущего попрежнему может лишь мечтать о такой её статье: «Парламент не должен принимать законов, ущемляющих право индивида использовать любую валюту, хранить её, покупать и продавать товары, ссужать, использовать при заключении и реализации контракта, вести расчёты и оформлять счета с её помощью» (*Хайек*, 1995. С. 66). Звучит если не фантастикой, то утопией, но всё это уже было в ханском Крыму!

Своей яркостью выделяется ещё одна черта того же плана, хотя и более частного характера, напоминающая о весьма далёкой державе, о заокеанской президентской республике. Это — уже затрагивавшееся право крымского татарина на ношение личного оружия. На фоне других европейских правовых систем оно полностью уникально, поэтому на нём и стоит остановиться более подробно.

Начиная с Античности получение (или лишение) права на ношение оружия было важнейшим показателем статуса индивида или группы в обществе. И в древности, и в Средневековье для низведения какой-либо социальной страты в зависимое положение необходимо и достаточно было её разоружить. Так было везде, от севера Норвегии до юга Испании, а окончательно запрещение непривилегированным подданным носить оружие (даже копьё и кольчугу) установилось повсеместно несколько позже, приблизительно во второй половине XV в.

Право на свободное ношение личного оружия означало не только известный демократизм строя, но и умение народа пользоваться свободами. Оно же служило показателем некоего удовлетворения граждан данной страны этим её строем, готовности отстаивать такое право, такое устройство. К примеру, Крым-Гирей и его

Крымский дворянин.
Рис. из альбома польского короля Станислава II Августа

несколько более молодой современник Дж. Вашингтон могли опасаться покушения на свою особу, но не на образ правления, вполне устраивавший их народы. И наоборот: властные сословия в иных странах могли сколько угодно объявлять народ свободным, но если простолюдинам — в отличие от дворян — не предоставляли права ношения оружия, то это лучше и точнее иных показателей говорило: есть основания опасаться свержения такого строя, народ несвободен, а конкретное государство существует только при условии насилия привилегированных слоёв над массой.

Обладание оружием не столько провозглашало людей равными (такие декларации нужно было искать в Коране или, попозже, в Конституции Североамериканских Соединённых Штатов), сколько делало их таковыми и гарантировало это равенство из века в век. В этой связи стоит вспомнить эпитафию на могильной плите одного из величайших оружейников Нового времени: «Бог создал людей, Сэмюэль Кольт сделал их равными». Кстати, это право установилось в Америке гораздо позже, чем в Крыму.

Но немаловажным условием такого равенства была ещё одна «мелочь», о которой говорилось выше — фактически президентская форма правления, также установившаяся вначале в Крыму, потом, с известными усовершенствованиями, и в Америке. И, конечно, неслучайно именно это право было ликвидировано в числе самых что ни на есть первых, когда ханство было захвачено и удушено российской империей, когда были приняты основные «три меры безопасности вновь завоёванных земель: строительство крепостей, взятие заложников, запрет

на ношение оружия» (*Каппелер*, 1999. С. 46). Впрочем, был и четвёртый запрет: на свободу использования любой валюты, кроме российской, утверждавший введённую при аннексии имперскую денежную монополию.

Но продолжим рассмотрение возможностей крымского традиционного типа правления. Мусульманский *президент*-хан занимал более сильную позицию, имел больше потенциальных средств к эффективной управленческой деятельности, чем президент классического англосаксонского типа. Выше упоминалось мельком, что такой правитель (в частности, крымский хан) избирался на неопределённый, в идеале — пожизненный срок, как судья в некоторых странах. И давалась ему эта пожизненная власть с той же целью, что упомянутому судье, — для максимальной независимости от недобросовестных политиков, денежных тузов или криминально-террористических групп. В этом смысле хан скорее напоминает конституционного монарха, так как «нормального» президента подвергают раз в 4 или 5 лет перевыборам, хотя бы он был идеальным государственным деятелем. К чему это ведёт, кроме ослабления авторитета признанного лидера, кроме раскола нации, сказать трудно.

Но, с другой стороны, негодного президента США сместить до истечения полномочий чрезвычайно сложно, тогда как для беев крымского дивана (как и баронов старинного английского протопарламента) такая акция была предусмотрена как одна из их священных обязанностей и проводилась в рабочем порядке. Другое дело, что именно этот порядок и позволял наделять президента-хана максимально широкими полномочиями исполнительной власти. Они не могли по указанным причинам перерасти в деспотию, но позволяли державному Гирею руководить Крымом в высшей степени эффективно.

д) Исламское государство?

После приведённых выводов не стоило бы относиться к такой форме государственного правления, как теократическая, как к несостоятельной в научном смысле. Но если учесть действительно огромное значение веры во всей многообразной действительности мусульманской страны, то нужно будет сделать какие-то оговорки в этом смысле. Например, такую: если ограничиться рассмотрением специфики способа правления того же Гирея или любого иного правителя восточной державы, то нельзя не признать, что хотя его и избрала мусульманская община, хоть он и ощущал себя посланником Бога на земле, но он не мог прикрывать свой произвол или прямое насилие ссылками на волю Аллаха. Безусловно, религиозная природа ханства была чрезвычайно сильна. Однако проявлялась она совсем в другом, а именно в вере, которой было проникнуто буквально всё крымскотатарское общество и которая соединяла в неразрывное и неотделимое целое материальные, земные интересы, с одной стороны, и духовную исламскую просветлённость, идеальную этику, с другой. Но именно такая, идущая изнутри любого правоверного, сильная и искренняя вера и делала ненужной теократию как совершенно излишнее в исламском Крыму насилие над свободной волей мусульманина.

Известно, что любая президентская республика сильна, когда жизнеспособны и энергичны сословия. Что же касается крымских сословий, то здесь имел

место некий казус. Дело в том, что ислам в принципе не предполагает их существования в европейском смысле слова. В «нормальном» мусульманском государстве существует повелитель и его рабы-подданные, за исключением особой касты — духовенства, а точнее, сообщества вероучителей, у которых была и иная система подчинения. Но в Крыму существовали сословия! Причём это не была парадная картинка, демонстрируемая по случаю высоких визитов.

Крымские беи из родов Ширин, Барын, Мансур и Седжеут были такими же потомками Чингиса, как и Гиреи. Поэтому род правящей династии был первым среди действительно *равных,* о чём беи и не стеснялись время от времени ханам напоминать (здесь я не касаюсь рода Чобан-Гиреев, некогда воссевших на крымский престол, рода, считавшегося низким по сравнению с упомянутыми бейскими). И эти сословия были достаточно мощными для того, чтобы оказывать влияние на хана и помимо дивана, и даже вопреки решениям совета. Как сообщал в 1670 г. из Крыма пленный боярин В.Б. Шереметев, порядок этот в чем-то сближался с казацким (т. е. республиканским): «А дума басурманская была похожа на раду казацкую: на что хан и ближние люди приговорят, а черные юртовые люди не захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VI. С. 412).

Более того, крымские беи вкупе с мурзами могли, невзирая на волю Турции, сменять и назначать ханов. Бывали случаи, когда хана избирали, не дожидаясь султанского утверждения кандидата, а поднимая его, по ордынскому обычаю, на войлочной кошме. И наоборот, беи свергали и даже убивали ханов. Только в XVI в. это случалось в 1523, 1524 и 1584 гг. Таким образом, нередко и утверждённый турками хан являлся на деле ставленником крымской аристократии, более или менее ей послушным или, во всяком случае, не противоречащим ей особенно дерзко.

Хан не мог карать своих подданных бессудно и безудержно жестоко, как истый деспот, как тот же султан, лично решавший, чего заслуживает любой из его подданных: шёлкового халата или шёлкового же шнурка на шею. Для любого преступления, совершённого подданным Гирея, имелся суд кадиев или, в особых случаях, ханский диван. Ханы никогда не чувствовали себя безнаказанными уже потому, что их власть была ограничена дворянством, и это было не бумажное, а вполне реальное ограничение. Имел значение и чисто человеческий фактор. Нетрудно себе представить картину, когда глава оппозиции, Ширин-бей, после окончания дивана навещает своего зятя-хана по-семейному, желая проведать свою дочь и внуков — ведь женитьба Гиреев на дочерях степных аристократов была делом обычным. А уж о шёлковых шнурках тут и упоминания быть не могло — его сочли бы неудачной шуткой, не более того...

Остаётся напомнить, что следует, конечно, принимать во внимание эпоху, которая накладывала заметный отпечаток жёсткости на самые мягкие режимы и системы правления. Однако в Крыму трудно найти примеры жестокости, одинаково отвратительной и на Востоке, и на Западе. Ряд источников (например, Клеман, 1783) повествует о разборе некоторых уголовных преступлений, но наказание во всех упомянутых случаях следовало скорее неоправданно мягкое, чем суровое (даже с точки зрения человека XXI в.). И то, что судьями были татарские кадии и каймаканы, а преступниками — карасубазарские армяне, никак не ужесточило кару (если можно назвать «карой» простой возврат пострадавшей стороне украденных ценностей). Тот же источник содержит обоснованный вывод:

«Учреждения полиции, сделанные для городов, весьма разумны, ибо в мирное время можно путешествовать везде без малейшей опасности, и весьма редко случается, чтобы когда кого на дороге грабили» (*Клеман*, 1783. С. 152).

И последнее наблюдение по теме. Крым на протяжении ханского периода его истории посетило великое множество путешественников, купцов и дипломатов. Оставленные ими мемуары и отчёты насчитывают десятки тысяч страниц, большая часть которых так или иначе введена в научный оборот. И ни в одном из этих источников не удаётся обнаружить описание публичной казни в каком-либо из крымских городов XV–XVIII вв. В то же время это зрелище было весьма характерно для России, Франции, Англии, то есть христианских, не исламских государств...

Подведём итоги. Ханский Крым являл собой уникальную государственную форму, нечто среднее между развитой абсолютной, но уже ограниченной монархией Западной Европы с одной стороны, и каким-то удивительно эгалитарным, унитарным государством, не признающим сословных привилегий, с другой. Автор отдаёт себе отчёт в незрелости такого весьма приблизительного вывода и может лишь выразить надежду на то, что когда-нибудь этой теме будет посвящён фундаментальный труд. Она того заслуживает как по своей сложности и неразработанности, так и по её важности для понимания всей истории крымскотатарского народа.

А пока остаётся лишь привести в пользу этого вывода суждение вполне объективного российского исследователя XIX века: «К чести ханского управления должно сказать, что в Крыму не было ни продажи должностей, ни беспредельной власти провинциальных сатрапов, ниже закона («ни закона». — *В.В.*), лишавшего детей наследства против воли родителей — как то было во владениях Порты даже до последних дней... Крымское ханство существовало долго, обязанное этому своей организацией» (*Ханацкий*, 1867. С. 37).

Таким образом, система функционировала нормально, и даже оппозиция, выступавшая против отдельных ханов, никогда не посягала на государственное устройство своей страны, устраивавшее всех.

10. Государственная жизнь Крыма

Государственная жизнь и административное устройство Крымского ханства имели ряд схожих черт с соответствующими структурами в Османской империи. Однако эти совпадения относятся скорее к форме, — например, к административным, духовным, дворцовым и прочим терминам, чем к их реальному содержанию. Но я не стану проводить здесь сравнений между реалиями государственной жизни ханства и Османской империи (это безмерно увеличило бы объём этого и без того обширного очерка), а сосредоточусь целиком на реалиях Крыма.

а) Административное устройство ханства

Административное устройство Крымского ханства было, в общем, стереотипным, как в собственно Крыму (на территории полуострова), так и в заперекопской части, разве что в последней всё было как-то обширнее, «безграничнее».

Но и на полуострове в отдельные периоды административные единицы могли увеличиваться как по количеству, так и по площади. Поэтому для общей характеристики возьмём некий средний в истории народа период, например, начало XVIII в.

Крупнейшей административной единицей тогда было *каймаканство*. Всего на полуострове насчитывалось шесть каймаканств:

Бахчисарайское	6 кадылыков	293	деревни
Ахмечетское	9 —"—	242	—"—
Карасубазарское	9 —"—	342	—"—
Гёзлёвское	5 —"—	196	—"—
Кафинское	9 —"—	233	—"—
Перекопское	6 —"—	169	—"—

Итак, всего в крымской части ханства было 44 кадылыка с 1 474 деревнями.

Эти деревни насчитывали в общей сложности 14 323 двора или частного хозяйства. К этому количеству можно бы приплюсовать 6 056 городских дворов, тогда общее их количество составит 20 379 дворовых хозяйств (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 155). Число кадылыков имело тенденцию к росту, но весьма незначительную: к моменту аннексии ханства Россией их стало 48. Общая численность населения в это время в точности неизвестна, колеблясь между 250 000 и 300 000 человек (*Рославцева*, 2003. С. 154). Впрочем, имеются и иные данные, значительно отличающиеся от приведённых в сторону увеличения (называются цифры в полмиллиона человек и более).

б) Хан

Само слов *хан* — производное от *хакан* —означает властелин, верховный господин. Структура административного аппарата его державы, ханства, несла на себе отчётливый отпечаток все той же ордынской *тёрэ* или адата. И это не общее впечатление: более конкретные свидетельства такой живучести домусульманских традиций можно встретить и в обычаях, и даже в документах. Вот, например, как хан обращался к своим подданным, перечисляя их в официальных документах: «Великого улуса правого и левого крыла тьмой, тысячью, сотнею, десятком начальствующим уланам, беям, внутренних городов даругам и бекам, духовным законоведцам, настоятелям, духовным судьям, ведателям метрик, секретарям, хаджи, отшельникам, сокольничим, барсникам, амбарщикам, таможенникам, весовщикам, караульным, заставщикам, ладейщикам» и т. д. (цит. по: *Хартахай*, 1866. С. 205). Это почти точное повторение аналогичных документов ордынских Тохтамыша или Тимур-Кутлука. Ещё в XVII в. в Крыму сохранялся ордынский термин *сююргал* (т. е. лен, коллективный суверенитет города, удел, который назначался ханом чиновнику или целой административной единице). По-прежнему бытовали и такие термины, как *юрт* (в смысле: совет карачи, или старейшин), а до XV в. — и *улус* в смысле поселенно-административной единицы (*Фёдоров-Давыдов*, 1973. С. 115, 116).

Хан, как известно, был властелином *хутбы* (поминания в первых фразах пятничной молитвы) и *монеты* (имел право бить монету с собственным именем), что

во всём мире являлось первейшими признаками и реальной сутью монаршего суверенитета. Ещё одним символом-признаком ханского достоинства (тоже как у почти любого государя Востока или Запада) была монограмма, включавшая в себя все его имена и титулы. Она была личной, так как не переходила по наследству, а сочинялась при каждом восшествии на престол заново. В тюркском мире эта изящная, начертанная мастерами-хаттатами в соответствии с высокой каллиграфической эстетикой «плетёнка», носила наименование *тугра*. Некоторые специалисты видят в ней значение герба (*Фаиз*, 2000. С. 12). Однако, на наш взгляд, символике, политическому и этнокультурному функциональному значению герба более соответствовала родовая *тамга*, которую имел и которой пользовался, как всякий бей или эмир, хан Крыма. Тут, правда, было «небольшое» отличие, так как тамга Гиреев была родовой тамгой-клеймом Чингизидов[1], на которую не имел права никто иной. Вот её описание, извлеченное из древнего, чингизидского же предания о чудесном зачатии прародительницы этого рода, Аланки-хатуни, неким божеством (как видно из последней части предания, оно было несколько «усовершенствовано» или дополнено уже в Средние века):

«Тамга, или герб царствовавших Кипчакския степи... Чингис-хановых потомков Гирей-ханов и султанов и их поколения: трезубый тарак, т. е. гребень померанцевого цвета в четыреугольной раме, имеющей сверху внутрь оной сияние. Четырёхугольная рама, внутри сверху сияние имеющая, знаменует комнату, в которой имела пребывание в глубокой древности царствовавшая над могулами Юлдуз-хана Могульского внучка Аланка, а сияние — снизошедший с высоты в оную свет, подобный солнцу... В середине сей рамы в сиянии изображённого тарака три зубца занаменуют... трёх сыновей: Ботум-Катагуна, Бочкин-Чалчи и Буденжир-Могага. От сих трёх принцев произошли три народа: от первого Катагуны, от второго Чалчуты, а третий царствовал над могулами и от него произошла фамилия Чингис-ханова... А связующие сии три зубца поверхность знаменует чудесное их от духовного семени единого светоносного солнечного обитателя зачатие и рождение. Померанцевый же цвет сего тарака изображает цвет того бесплотного божественного посетителя.

Сей иероглиф Чингис-хан и его потомки для того себе единственно в символический герб избрали и присвоили, что как головным гребнем расчёсываются ежедневно путающиеся на голове человеческой волосы, поставляются им в порядок, и изъемлются из них в беспорядке отделившиеся волосы и всякая инородность, так Чингис-хановы предки, происходя от Турка, первого сына Яфисова, в начале веков в глубокой древности царствуя над татарскими, калмыками и мунгалами... управляли ими трояким средством: по закону Божию, по праву естественному, искусством человеческого разума и нравственностью... Гирей-ханы и султаны, царствуя в Крыму над тремя татарскими народами — над татарами крымскими, над татарами буджакскими и над татарами

[1] О том, что Гиреи, в частности, основоположник династии Хаджи-Гирей, были прямыми потомками Чингис-хана, свидетельствуют совершенно однозначно все касающиеся этого факта источники. О том же говорят и древние исторические сочинения, наиболее значительная часть которых сохранилась в национальном рукописном комплексе Турции (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 26).

кубанскими, разделили власть на три начальства: на начальство хана, калги и нуреддин-султанов в память своего происхождения» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 195–197). Впервые *тарак-тамга* встречается ещё в догиреевский период на монетах с именем хана Давлет-берды, затем на монетах Хаджи-Гирея (правда, ещё наряду с золотоордынской, кыпчакской тамгой) и так далее.

При возведении в ханское достоинство к очередному Гирею переходил и *Санджак-шериф,* или хоругвь, которая должна была символически обозначать статус ханства в национально-государственном и административном смыслах[1]. На деле же она, отнюдь не являясь османским «даром», а имея более почтенное, чем Порта, происхождение, подчеркивала высокий падишахский статус хана. Это было, по сохранившемуся описанию, древнее, частично изъеденное молью полотнище, бережно хранимое и благоговейно почитаемое ханами и их подданными: согласно традиции, оно некогда развевалось над ставкой хана ханов, самого Чингиса. Гиреи брали Санджак-шериф с собой в военные походы: перед началом сражения группа старейших имамов обычно проносила его перед войском. Если же в мирное время ожидалось нападение врага с севера, то знамя поднималось над одной из четырёх башен Ор-Капы (*Milner*, 1855. P. 173). Из этого обычая можно сделать вывод, что знамя как символ ханской власти и государственного суверенитета имело отношение прежде всего к населению полуострова, и лишь опосредованно — к заперекопским ногайцам.

Вообще же стремление ханов хранить древние, ещё ордынские традиции, не могло быть в Крыму достаточно последовательным по вполне понятным причинам. И, конечно, уже при первых Гиреях всевозможных отличий от Орды было гораздо больше, чем сохранившихся сходных черт. Отличия эти были вызваны, прежде всего, двойственным характером сравнительно новой, ханской власти. Чингизидский принцип преемственности с годами все больше уступает освященному мусульманской религией учению об имамате, согласно которому во главе ханства должен стоять государь или *имам-халиф* — преемник Пророка и наместник Аллаха на земле, обязанный исходить в своей деятельности только из шариата и его богодухновенных положений.

Иных формальных ограничений для власти ханов не предполагалось. В то же время, как преемник Мухаммада, он пользовался правом верховного обладания крымской землей и другими привилегиями, из этого права исходящими и его дополняющими. А самой двусмысленной из последних было получение ханом от Турции ежегодного содержания *сальяне*, равнявшегося 15 юкам ахче[2] или 6 000 пиастров (серебряных курушей). Эта сумма, даже если прибавить к ней ценные *бакшиши* (подарки), которые хану слали султанские вельможи, была несравненно меньше собственно крымских доходов Гирея. Так, он получал 50 000 пиастров от Гёзлёвской таможни, 30 000 — от Перекопской, 8 000 — от дубоссарского гетмана, по 31 000 — от господарей молдавского, валашского и каушанского, наконец,

---

[1] Это наименование (не само знамя!) было не более чем символом, не имевшим реального содержания. Крым, как указывалось выше, не являлся *санджаком*, то есть административной областью, входившей в состав Порты, территориально расположенной внутри её границ, охранявшейся всей мощью имперской армии и т.д.

[2] В один *юк* (первоначально — большой кожаный мешок для денег) входило около 100 000 ахче. Малый мешок *кисе* вмещал 40 000 (1660) или 50 000 (1 688) ахче.

2000 от Кефе, что вместе с султанской дачей составляло годовой доход 127000 пиастров, а учитывая соляные и городские сборы, земельные и другие сельскохозяйственные налоги, откупа монетный, рыбный и винный, в год получалось 345000 пиастров, или около 1000 кошельков золота (*Peyssonel*, 1787. Passim.). Кроме того, слали солидную ежегодную дань Польша и Москва, хоть и нерегулярно. Сумма этой дани со временем слабо менялась, и лишь с Карловицкого мира (1699 г.) она была навсегда отменена.

Экономической опорой ханского дома был и его домен (*ерз мирие*). Он располагался при большинстве ханов в долинах Альмы, Качи и Салгира. Кроме того, престолу принадлежали все соляные озера, а также необработанные земли — *мевat* (пустоши). При этом лишь часть этого достояния была родовой, наследственной, которую он мог завещать, продавать, увеличивать, прирезывая купленные земли. Остальную территорию он имел право лишь раздавать по частям своим вассалам.

К доходам хана следует причислить и поступления от общекрымской торговли трофеями набегов: он получал ⅔ вырученной суммы. Остальные деньги и натуральные продукты шли по упомянутым выше статьям подымной подати, ясака, десятины с урожая хлеба и приплода скота, а также *хараджа*, и второстепенных податей (торговой и др.), также шедших в ханскую казну.

Подводя итог политически-экономическому анализу статуса хана, подчеркну, что этот властитель в реальности являлся не государем-*правителем*, а, в некотором роде, *хозяином*-государем, и это свойство его статуса было весьма древнего происхождения. Некогда старейшина *къоша* или группы юртов играл в кочевническом обществе особенную роль. Он был не столько правителем большого дома, сколько *адаманом*, хозяином. Он выбирал для него пастбища, места стоянок и так далее, основываясь на собственном опыте, знании степи, её источников и людей — короче, на непрерванной мудрости предков. Он же распределял работы между членами юртов, заботился о нормальном функционировании всего немалого и непростого хозяйства къоша. «Вот почему власть его одинаково сильна была в как малых, так и в больших общественных группах, начиная семейством и кончая союзом племён с тем лишь различием, что в малых группах власть главы оставалась совершенно патриархальной, а в больших, по мере увеличения группы, она всё более и более усложнялась и, наконец, под влиянием усиленной внешней деятельности становилась ханской властью, вмещавшей в себя наряду с патриархальным главенством элементы китайского самодержавия» (*Лашков*, 1897. С. 5). Отсюда и наследование не по крови, как у дворян Западной Европы, а по принципу хозяйственной мудрости, то есть по старшинству. Поэтому-то ни хан-кочевник, ни, позднее, владыка бахчисарайского Хан-сарая совершенно одинаково не имели права на передачу по наследству *чего-либо* из огромного ханского достояния, кроме личных вещей вроде собственной одежды, семейной утвари или фамильного оружия.

Таким образом, патриархальные элементы значительно перевешивали самодержавные или деспотические реалии, свойственные соседним Османской империи или Московии, но по ряду особых причин совершенно чуждые Крыму. И в абсолютистском XVIII в. отмечалось, что не только придворные, но «всякий имеет доступ свободный к хану и лично ему предоставляет свою жалобу» (*Брун*, 1867. С. 12). К нему обращались именно как к хозяину общего дома. А ханы и вели себя

соответственно: среди них встречались самые различные характеры, но всем им была свойственна одна общая черта: они были щедры в отношении к подданным. Конечно, отчасти этому содействовала невозможность передачи имущества по наследству. Но ведь ханов за чрезмерную отзывчивость постоянно упрекали и члены их семьи, и придворные[1], а значит, такая щедрость превосходила понимание современников. Напрашивается весьма простое объяснение: такого рода помощь была нужна тем, по отношению к кому хан ощущал себя ответственным и рачительным хозяином большого крымского дома.

Эта редкая суть ханской власти подчёркивалась даже тем, что на территории его дворца, обильного конюшнями, банями, зерновыми амбарами, помещениями для прислуги, винными подвалами и тому подобными хозяйственными постройками, из века в век не находилось места ни одному зданию чисто государственного назначения! Хан-сарай был типологически обычной крымскотатарской усадьбой, лишь многократно увеличенной в размерах (в ней совершенно терялось помещение для заседаний дивана, занимавшее один небольшой зал), и в глаза бросались прежде всего количественные, а уж никак не качественные от неё отличия...

Это, впрочем, никак не лишало Гиреев, хозяев этого дворца-усадьбы, исконных прав на политико-правовой статус, причём немалого «калибра» даже в сравнении с султаном соседней Блистательной Порты. Как говорилось выше, в качестве верховного властителя крымский хан, будучи прямым потомком великого Чингиса[2], носил титул «Улуг хани» (т. е. *падишах, император)*. Для того чтобы осознать весомость этого титула, обратимся к параллельным примерам соседних Московии и Турции.

Некогда московские князья и «великими»-то стали именоваться самозванно. Согласно летописи Нестора, их общий потомок, скандинавский бродяга Рюрик, был обычным беститульным предводителем (*høvding*-ом, буквально, с датского, «главарём») сборной разбойничьей дружины викингов. Князем он стал лишь по переезду в Новгород. Но и здесь это была всего лишь должность, а не титул, годящийся для передачи по наследству. Так что все его наследники-Рюриковичи были, мягко говоря, князьями фиктивными. И когда Иван III писал себя «великим князем», именуя при этом ханов Крыма, Астрахани, Казани, Тюмени и даже

---

[1] Как передают мемуаристы, в таких случаях у крымских ханов был наготове традиционный ответ: «Назовите хоть один случай в истории, чтобы кто-либо из Гиреев умер с голоду!» (*Haxthausen*, 1847. S. 420). Оборотная сторона упомянутой щедрости: ханские санкции, в том числе и штрафные, ограничивались кругом беев или, что реже, мурз. Простые члены юртов совершенно не опасались хана, обоснованно ожидая от него справедливости в различных её проявлениях, скорее помощи в случае нужды, чем каких-то преследований и т. п. Именно поэтому, как указывалось выше, и существовала в Крыму такая же свобода отношений между сувереном и управляемыми, как это было ещё столетие назад характерно для Монголии, но отнюдь не для Китая или европейских абсолютистских государств.

[2] Имя *Чингис-хан*, полученное на всемонгольском Курултае 1206 г. Темучином, сыном нойона Есугея, собственно говоря, является скорее титулом, чем именем. «Чингис» — это палатализованная (смягчённая) форма тюркского слова *денгиз* (море, океан), сохранившегося доныне. Таким образом титул «Чингис-хан» допустимо перевести как «Хан-Океан», «Властелин Вселенной» или «Всемирный Хан», то есть падишах или император.

Касимова «царями» (то есть «цесарями»)[1], то это было не только признание за тюркскими государями императорского по сути достоинства, но и откровенное самовозвеличение до княжеского статуса обычного худородного московского правителя. И его внук Иван Грозный, для того чтобы стать законным, признанным царём, должен был овладеть Казанским престолом, действительно древним и равнявшимся царскому (кесарскому, императорскому)[2], поскольку претензия Ивана на царский титул, заявленная ранее (сразу по восшествии на престол) ничего, кроме смеха, не вызывала.

Понятно, что добытый насилием, то есть предельно искусственный способ «улучшения» худого рода был достаточно одиозен уже в те давние времена. Как писал хорват по происхождению, но стопроцентно московский патриот, «народы тому лишь смеются, како есть царь Иван приял имя и знамя Римское, кое к нему никако не пристояше» (*Крижанич*, 1859. Разд. 32. С. 105). Столь же иронично относится к этому феномену национальной истории гораздо более поздний и более квалифицированный автор: «явился наконец царь на Руси...» (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 460). Наконец, уже в XX в. историк и философ князь Н.С. Трубецкой окончательно указывает новым царям их историческое место: «русский царь явился наследником монгольского хана. „Свержение татарского ига“ свелось к замене татарского хана православным царём и перенесением царской ставки в Москву» (*Трубецкой*, 1997. С. 36).

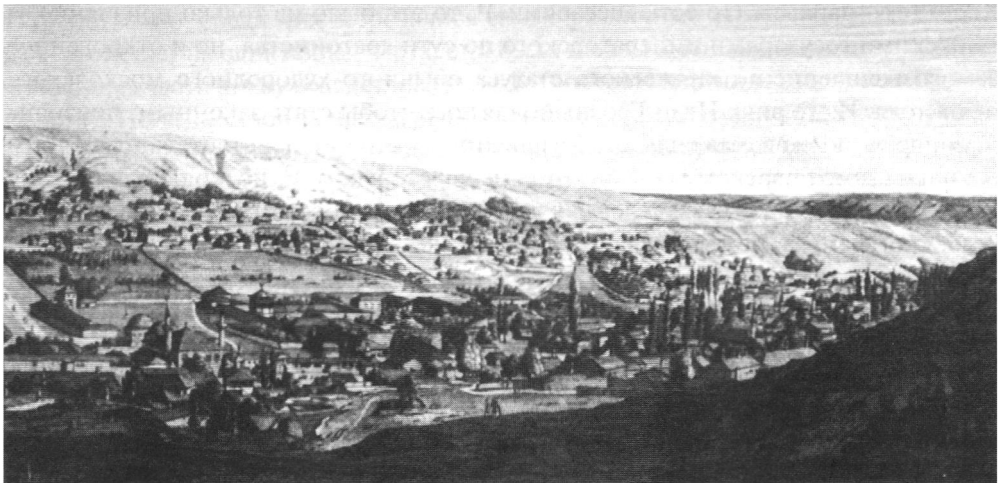
В Крыму же ситуация была прямо противоположна новгородско-московской. Гиреи были ханами лишь по должности, а императорским титулом падишахов обладали по праву рождения, получая его по великому чингизову наследству (подробнее см.: *Haberkern*, *Wallach*, 1964. B. II. S. 466). Причём важно здесь то, что *равных им не было*[3] не только в Причерноморье, но и далеко за его пределами. Что признавалось не только Востоком. В отличие от провинциальных деяний последних на Руси великих князей, татарская история, история Золотой Орды стала поистине всемирной, её не могла игнорировать ни одна страна в Европе, вплоть до

---

[1] Как указывал современник великих князей, титул «царь» использовался московскими властителями в применении к крымскотатарским ханам с 1267 г. В дальнейшем жёсткое разграничение по титулатуре сохранялось. Иван III в 1470-х гг. называл в своих грамотах Менгли-Гирея I царём, а тот его — лишь великим князем. Но дело даже не в официальных титулованиях. Как верно замечает старинный автор, московские князья писали ханов царями и в документах внутреннего пользования (например, в наказах своим послам), точно так же именовали они Гиреев в повседневном кремлевском обиходе (*Матвей*, 1936. С. 241). Такая традиция отнюдь не несла никакой политической нагрузки, как не являлась и источником какого-то этнопсихологического, нервного напряжения. Это было спокойное признание старой истины: есть князь в Москве и есть царь в Крыму, так уж Господь рассудил...

[2] В России этот титул в реальной жизни был ещё более весомым. Здесь никем и никогда не подвергалось сомнению преимущество «татарских ханов, верховных правителей, перед которыми преклонялись наши князья; вспомним, что Иван III, требовавший равенства с императором германским и султаном, не думал о равенстве с царём крымским (конкретно с Менгли-Гиреем I. — *В.В.*) и бил ему челом» (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 460).

[3] «Когда исчезло с лица земли и изгладилось в памяти народов некогда страшное имя могущественных наследников Чингис-хана, господствовавших в Дешт-и-Кипчаке, единственными видными потомками их остались ханы Крымские...» (*Смирнов*, 1889. С. 53).



Хан-сарай, старинная гравюра.
Из коллекции Одун-базар-капусы

далёкой, туманной Англии. Или, как ёмко определил эту ситуацию современный учёный, — «История Золотой Орды была частью мировой истории, а поздний период раздробленных русских княжеств — частью татарской» (*Хаким*, 1999. С. 20).

Действительно, в эпоху, когда принадлежность к великой династической линии была вовсе не условностью, а реальным знаком достоинства династии и государства, которым она правила, такие вопросы живо интересовали не только Азию, но и Европу. Кстати, турецкие султаны, каждый из которых величал себя, не имея никакого на то основания, «падишахом Дешт-и-Кипчака» или «падишахом татарских стран — Кафы, Крыма, Дешт-и-Кипчака и Дагестана» (*Смирнов*, 1889. С. 308), многое бы отдали, чтобы стать вровень с гиреевским родом, поскольку они были столь же низкородны, как и московские «цари», и как несколько позже новоиспеченные всероссийские императоры-полукровки.

Но, как видно даже из приведённого образца титулования, некоторые заравшиеся турецкие султаны, отнюдь не обладавшие соответствующим правом крови, пытались подменить его своей временной и часто зыбкой властью над крымскими чингизидами. Некоторые ханы были вынуждены терпеть подобные смехотворные претензии (фальшь здесь была очевидна; люди на Востоке всегда отличались не только грамотностью, но и отличным знанием генеалогии царственных родов). Другие Гиреи пытались протестовать, хотя и не столько будучи оскорблёнными поползновениями стамбульских выскочек, сколько стремясь к свободе от них в своей политике.

Вышеприведённое утверждение относительно того, что ханов Крыма признавали падишахами и на Западе, имеет свои основания. Так, французские современники Девлет-Гирея II (нач. XVIII в.) знали, что хан «носит титул падишаха и считается наследником турецкой империи в случае отсутствия в османской династии детей мужского пола» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 116). Того же мнения были англичане: «в случае, если бы Оттоманская мужская линия пресеклась, то Хан этих Крым-

ских татар наследовал бы венец Турецкой Империи» (*Перри,* 1871. С. 87). Позже Крым-Гирея именовали императором посланник Бранденбурга-Пруссии, консул Франции и другие европейские дипломаты (*Клеман,* 1783. С. 54), а также серьёзные учёные и видные публицисты (*Büsching*, 1785. S. 323). Да и перед самой аннексией ханства этот титул была вынуждена подтвердить Екатерина II, отчего ханские послы получили право не снимать перед императрицей головных уборов (См. II очерк II тома). В Стамбуле же крымский хан, как совершенно равный, «без позволения садился возле султана, пил с ним кофе и имел право возлагать на головной убор такую же алмазную пряжку, как и султан» (*Кондараки*, указ. соч. С. 143).

А вот как, к примеру, обращался крымский падишах к турецкому султану. Ислам-Гирей III (1644–1654), едва его избрали и утвердили ханом, тут же, ещё не покинув пределы Порты, письменно заявил великому визирю: «подставляйте ухо к тому, что я буду писать. Не осаждайте меня предупредительными письмами, что с таким-то гяуром не хмуриться, такому-то показывать вид расположения, с таким-то не ладить, такого-то не огорчать, с таким-то так-то поступать, заглазно давая отсюда распоряжения по тамошним делам; не путайте меня, чтобы я знал, как мне надо действовать» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 321).

Ниже мы увидим, что отдельные ханы могли добиваться довольно значительной самостоятельности от турецкого соседа, но происходило это отнюдь не благодаря подобным, прямо скажем, грубоватым заявлениям.

в) Калга

Первым по значению сановником был официально объявляемый со времён Менгли-Гирея наследник хана — калга, или калга-султан. По своей этимологии это слово, скорее всего, идёт от арабского термина *калифэ* (наместник или, точнее, преемник); но возможно его происхождение и от турецкого *kalgai* («он останется»). В практике некоторых других европейских стран статусу калги отдалённо соответствовало положение вице-короля, да и то лишь в сфере исполняемых обязанностей, а не наследования. Главным правом и обязанностью калги было в случае внезапной смерти правившего хана исполнять его обязанности до назначения (избрания) нового государя. Впервые статус калги был присвоен наследнику Менгли-Гирея в 1475 г. (*Matuz*, 1976. S. 5).

В Крыму, по идее, кто не был какое-то время калгой, тот не имел права становиться ханом. Калгой чаще всего становился один из братьев или султанов (сыновей) хана. Но такое назначение происходило не автоматически, не по старшинству или прочим признакам. Как утверждает один из источников, калгой мог стать ханский сын: «из самых способных к делу... Но [лишь] с согласия знатнейших татар сами ханы избирают постоянного наследника и облекают его властью» (*Броневский*, 1867. С. 353).

Калга обладал известными внешнеполитическими прерогативами, имел право на переписку и обмен собственными послами с зарубежными правителями. Высокий статус носителей этого титула признавали и правители Порты, славшие грамоты об утверждении очередного принца-султана в этом звании, именуя его при этом «Наследник великих султанов, слава почтенных хаканов»,

Послание калги Тохтамыш-Гирея королю Дании Кристиану V в 1682 г. с сообщением о начавшемся вооружённом конфликте с Москвой.
Государственный архив Дании

то есть государей (*Смирнов*, 1889. С. 351). При этом новый калга получал от султана шубу и 2 000 цехинов[1].

Фактически он являлся командующим основной воинской силой ханства, отвечая кроме того за состояние оборонного дела государства в целом. Постоянная резиденция калги располагалась в Акмесджите[2], здесь же находилась его администрация, весьма напоминавшая ханскую, но меньшего размера. Дворец калги звался по имени славнейшей из крымских рек Салгыр-Сарай, но иногда и резиденцию и весь город называли Калга-Сарай (*Matuz*, 1976. S. 5). Очевидно, лишь после того, как в 1508 г. зодчий Абд ар-Рахман-бей Али-оглу строит здесь белоснежную соборную мечеть Кебир-Джами, город приобретает новое имя Ак-Мечеть, или

[1] Цехин (от *итал.* zeccino из zecca — монетный двор) золотая монета, начала чеканиться в Венеции (1285), затем в Османской империи и других европейских государствах (середина XVI в.), была равноценна дукату или 3,5 г золота.

[2] Ныне этого великолепного дворца не существует. Он высился близ мощного источника у подножья Петровских скал, в районе нынешней симферопольской гостиницы «Москва», как сказано у автора XIX в., «...в прекрасной местности, на берегу Салгира, окружённый садами, напротив фонтана, из которого и теперь почти весь Симферополь берёт воду. Кругом этого фонтана и ряда роскошнейших вековых деревьев, по берегу реки, от дворца и садов Калги-султана теперь не сохранилось никаких других остатков или развалин» (*Сосногорова*, 1880. С. 20).

Акмесджит. Эта датировка и авторство архитектора приняты по надписи-тарихе на закладной доске, укреплённой на портале этой мечети, расположенной на старой Госпитальной улице, дом 4 (позднее переименована в ул. Курчатова)[1]. Уже при первых ханах династии Гиреев Акмесджит стал достаточно крупным городом, доминируя над 360 селениями калгалыка (*Челеби*, 1999. С. 68).

Во время военных походов калга командовал 60-тысячным корпусом, а в мирную пору контролировал деятельность беев и мурз, в том числе и политическую. Вполне возможно, что этим обстоятельством определялось и местоположение его резиденции между столицей и Карасубазаром. Это был некий рубеж между Бахчисараем и бейской оппозицией на берегах Карасу, на страже которого постоянно находился главнокомандующий с войском. Там ему было самое место, так как в качестве законного наследника он был заинтересован в защите интересов правящего хана на этом важном направлении (*Лашков*, 1890 «а». С. 44).

Калга обладал судебной властью в *калгалыке* (своём уделе), хотя и не располагал правом выносить смертные приговоры. Калга имел свой диван и своего визиря. В калгинский диван могли обращаться дворяне с территории его удела, если их не удовлетворял приговор местного суда кадиев. Этот диван мог решать и особо важные уголовные дела. Земельный удел принца крови, который он получал, вступая в должность, был весьма значителен. Калгалык включал в себя коронные земли, расположенные в верховьях Альмы, вплоть до Чатырдага, а также на северном склоне этой горы. В частности, в калгалык входили сёла Биюк-Янкой, Кучук-Янкой, Тавель и Аян. Кроме того, калга владел всей округой деревни Камтун-Кара, Зуйским кыдалыком, а также половиной обширного имения Мамай-Еры в Дип-Керченском кадылыке Кефинского каймаканства.

Однако основной свой доход калга получал не с указанных земель, и не от турецкого султана, высылавшего ему жалованье (точнее, эти выплаты отчислялись из таможенных сборов Кефе), в среднем равное 10 юкам акчэ (*Смирнов*, 1887. С. 322–323). Ему шёл соляной сбор с Кефинских соляных озёр, а также он наследовал всем бездетным беям и мурзам калгалыка. Ему полагался и *харадж* — подушная подать со «своих» немусульман и городские сборы Карасубазара и Акмесджита. На круг выходило что-то около половины годового дохода правящего хана или 500 кошельков золота. Кроме того, ему традиционно причиталась *савча* (десятая часть воинской добычи), а также доля в «дачах» и поминках Москвы и Польши, как и часть трибутарных сумм (налогов с недвижимого имущества) от господарей Молдавии и Валахии (*Haxthausen*, 1847. S. 420–421).

---

[1] В ходе реставрационных работ 1990-х гг. была обнаружена более старая доска, на которой значилась дата освящения Кебир-Джами — 1502 г. (по европейскому летоисчислению), но не было указано имя архитектора. Ш.У. Халилов, руководивший реставрацией мечети, полагает, что доска 1508 г. принадлежала какому-то иному храму и была перенесена сюда позднее (*Вербицкая* Г. Прими, Родина, детей своих! // Крымские Известия. 18.05.1994. С. 1). Мечеть многократно перестраивалась, в том числе в 1740 г., после разгрома 1737 г., о чём говорит тарих: «Эту мечеть соорудил первоначально Абдурахман-агъа, потом сожгли её нечестивые богоотступники, затем построил её Максуд-агъа-ибн-Хусейн из его сыновей (т. е. потомков. — *В.В.*) в 1153 году» (*Никольский*, 1923. С.9). До настоящего времени сохранились находившиеся во дворе мечети здания старинных текие и медресе.

Калгалык являлся государственной собственностью и в качестве такового не мог передаваться по наследству. И если калга жаловал какой-то участок калгалыка своему приближённому, то лишь по праву *иктаа-истигголь* (во временное пользование), а в случае длительного владения этим участком временный его хозяин должен был даже продлевать поземельный ярлык у всех новых калг.

Крестьяне же калгалыка жили на правах ханских крестьян и были обязаны вносить натуральную десятину и все остальные подати — но не хану, а калге.

г) Нуреддин

За калгой в крымской патриархальной иерархии следовал второй наследник, нуреддин-султан; обычно это был брат хана. Буквально этот титул переводится как «Свет веры», но такое его значение было совершенно случайным и на самом деле никаких ассоциаций с проблемами веры не вызывало. Это имя, *Нуреддин*, носил аталык-воспитатель Мехмед-Гирея II (1577–1584), впервые учредившего этот титул[1]. Нуреддин мог стать ханом (или исполняющим обязанности хана) в случае одновременной смерти государя и его калги: совпадение редкое, но случавшееся, что придавало этому статусу реальный вес.

Основной его обязанностью было руководство локальными и малыми столичными судебными учреждениями ханства, а также контроль за их деятельностью. Не менее важным считалось его шефство над командным корпусом державы, он занимался продвижением высшего и старшего офицерства по службе, а также руководил походным штабом ханского войска. Но он и сам командовал корпусом в 40 000 сабель. В мирное же время нуреддин исполнял обязанности верховного главы полиции ханства и ханских телохранителей. Привлекали его и к почётным функциям посредника в самых сложных тяжбах беев и знатных мурз, кроме того он являлся непременным членом ханского дивана. Иногда, в особо важных случаях, нуреддин выезжал за рубеж в качестве чрезвычайного посла хана.

Нуреддин, как и калга, имел свой собственный «малый двор» и свою постоянную официальную резиденцию. Ею являлся дворец Качи-Сарай близ села Улаклы в долине Альмы (в XVIII в. нуреддин нередко проживал в столице ханства или в своей новой резиденции на р. Булганак); второй дворец находился в Сюйрени (*Tott*, 1785. T. I. P. 125). Как и калга, нуреддин имел своего *дефтердара* (казначея)

---

[1] История возникновения титула-должности нуреддина довольно характерна для крымских обычаев и нравов той давней эпохи. Он ведёт своё происхождение из Ногайской Орды, где первоначально означал главу западной части её кочевий. В Крыму же он получил иное значение, имеющее свою историю. Воссев на престол, Мехмед II назначил калгой своего брата Адиля. Вскоре Адиль-Гирей возглавил поход на Персию, где был взят в плен и казнён. Узнав об этом, хан решил сделать калгой своего любимого младшего сына Саадета. Но это противоречило бы закону, так как ещё имелся более взрослый сын Алп-Гирей, на утверждении которого в качестве калги настаивала и Порта (по другим источникам, Алп был не сыном, а братом хана). Хану пришлось подчиниться обстоятельствам, но чтобы утешить младшего из братьев, он, как утверждают, ввёл почётный титул нуреддина, объявив Саадета вторым наследником бахчисарайского престола и отдав ему в кормление Кефе (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 58–59). Позднее доходы нуреддинов несколько сократились, так как Кефе у них отобрали, оставив лишь два дворца близ Бахчисарая.

и *кадия* (судью), но не имел дивана. Уже поэтому он не обладал правом на суд; единственное исключение — ситуация, когда в отсутствие хана и калги нуреддин становился во главе войска, в таком случае его кадий выполнял обязанности войскового судьи. Как и калга, он имел право издавать указы-*ярлыки*, скреплённые собственной *тугрой* (подписью, исполненной в форме монограммы-шифра).

Титул нуреддина имел реальный политический вес; его носители в некоторых правах были уравнены с калгой и даже правящим ханом. Так, они могли обмениваться послами и слать грамоты зарубежным правителям, а также принимать от них особые подарки. Приведу в качестве иллюстрации отрывок из описания традиционного крымского протокола, сделанного двумя московскими дипломатами XVII в., В. Тяпкиным и Н. Зотовым: «И мая в 7 день приехал к нам на стан пристав наш, бей разменной, велел нам ехать на отпуск (т. е. на прощальную аудиенцию. — *В.В.*) к Калге и Нурадыну салтанам. И того ж числа с ним беем приехав в село Акмечеть, были на отпуску у Калги Тохтамыш-Гирея салтана, в саду, в шатре. А у Нурадына Саадет-Гирея салтана в селе Булганаке, в хоромах. Вшед перед них, кланялись им таким же подобием, как и Ханову Величеству, без всякого принуждения. А они, Калга и Нурадын салтаны, спрашивали нас о здоровье, и на куране, при нас, по мусульманскому своему закону, шертовали (здесь: «клялись». — *В.В.*) и целуючи куран говорили те же речи, что и Ханово Величество... и о послах своих говорили, чтоб Великий Государь велел послам их свои Государевы очи видеть и грамоты их салтанские у послов их изволил милостиво принять сам, так как и они салтаны у нас его Государские грамоты принимали сами» (*Тяпкин, Зотов*, 1850. С. 271).

Жалованье, получаемое нуреддином из Турции, равнялось всего 5 вьюкам акчэ, это была втрое меньшая сумма, чем у хана. Правда, и расходы у нуреддина были меньше, ведь хан оплачивал из своего жалованья содержание всех чиновников ханства, в том числе и нуреддиновских. Кроме того, второму наследнику причитались городские сборы с Судака и Старого Крыма.

д) Муфтий

Весьма своеобразный религиозно-административный пост занимал верховный муфтий Крыма (иногда его называли вторым лицом в государстве после хана). Это был глава крымской мечети и её людей, верховный толкователь законов шариата (по турецкой номенклатуре он носил высокий титул *шейх-уль-ислама*). В качестве ведущего богослова-правоведа он выдавал *фетву*, то есть письменное экспертное заключение по особо сложным правовым вопросам, когда компетенции *кадия* (верховного судьи) было недостаточно. Муфтий обладал неизмеримо большей самостоятельностью, чем главы иных конфессий в соседних странах, поскольку формально он не подчинялся никому, кроме, пожалуй, халифа — султана Османской империи (в период позднего ханства его и назначала-то стамбульская духовная администрация, хотя, как правило, из коренных крымцев-муфтиев)[1].

[1] Обычные, рядовые муфтии исполняли обязанности толкователей шариатских и иных законов, а также экспертов в богословских проблемах и религиозной практике. В служебном отношении они, находясь при каждом суде, стояли ниже кадиев, но, по сути,

Верховный муфтий Крыма никого не опасался, поскольку мог в любой момент объявить своего оппонента из какой угодно силовой структуры *бейнамазом* или недостойным имени мусульманина, и несчастный тут же превращался в политический труп, так как этим он отлучался от ислама. В руках муфтия находилось назначение и смещение кадиев в кадылыках, что давало ему исключительное влияние на всю общественную и экономическую жизнь населения.

Важной обязанностью муфтия было открытие новых и поддержание старых школ — от сельских мектебов до пользовавшихся международной славой крымских медресе. Муфтии лично заботились и о развитии национальной науки, в частности об условиях быта и работы крымских учёных, о врачебной практике во всех её видах и многом другом.

Исполнять эти многосложные обязанности муфтий вряд ли мог, если бы не постоянные личные контакты с ханом и не материальная поддержка последнего (впрочем, если в Крым приходили ценные подарки от зарубежных правителей, то муфтий получал их наравне с ханом). Самостоятельно мог он вести и зарубежную переписку. Муфтии, как правило, пользовались уважением Гиреев[1], бывших людьми искренне набожными (ханы в непременном порядке держали уразу, многие совершали хаджж, собственноручно приносили в соответствующих случаях в жертву барана, и так далее), и уже поэтому постоянно с ними общавшихся. Но муфтий вполне был в состоянии и оказывать на ханов некоторое (и даже весьма значительное) давление. Приведём один пример из XVI в., когда в Крыму находилось два хана — Гази-Гирей II Бора и Фетх-Гирей I, причём за обоими стояли воинские силы и оба имели равнозначные бераты от султана. Уже назревала гражданская война, когда выступил муфтий Азаки-эфенди и в качестве верховного блюстителя правосудия подал свой голос за Бору, чем вопрос был решён окончательно и бесповоротно (*Смирнов,* 1889. С. 450; *Гайворонский,* 2007. С. 335).

Муфтий, кадиаскер, *сеиты* (ближайшие помощники муфтия), *улемы* (учёные-теоретики и практики) и менее значительные служители религии и одновременно чиновники — кадии, хатибы, имамы, шейхи крымских текие и главные мударрисы медресе — распоряжались, согласно своему служебному положению и сану, территориями в различных частях полуострова, входившими в *ходжалык* (духовный домен). Число деревень ходжалыка достигало двадцати. Другой формой духовного недвижимого имущества являлись вакуфные земли. Доход с каждого такого участка полностью шел на содержание какой-то определенной мечети, медресе, мектебе, приюта для одиноких стариков, иногда даже совершенно светского сооружения — дороги, моста, фонтана-чешме и т. д.

решали любое дело самостоятельно, так как именно они также давали *фетвув*, руководясь которой кадий выносил формальный приговор (Подр. см.: Ислам, 1991. С. 177; *Александров*, 1914. С. 210).

[1] Эта традиция шла со времён Тимура, который поместил муфтиев (при нём они назывались «начальниками общин») в Первый класс своей табели о рангах, состоявшей из двенадцати классов: «Потомки пророка, начальники общин и законоведы были допущены в моё общество; моя дверь была всегда открыта для них; они составляли украшение и славу моего двора. Часто я советовался с ними о вопросах, касавшихся религиозного порядка, управления и наук; от них я узнавал, что дозволено законом и что запрещено» (цит. по: Уложение Тимура, 1992. С. 16).

Муфтий осуществлял верховный надзор за использованием вакуфных средств строго по назначению и следил за тем, чтобы пожертвования ханов, мурз, купцов шли на расширение вакуфа как экономической основы всех культурно-религиозных, а также части общественных институтов государства. Благодаря этой стороне деятельности муфтиев размер земель вакуфа (в вакуф входили не только земледельческие производственные единицы) с XV по XVII вв. вырос с 90000 до более 300000 десятин (*Лашков,* 1896. С. 36).

Длительное время муфтий жил в Бахчисарае, но когда Кефе достигла цветущего положения, он был переведён в эту часть ханства (за ним туда последовал кадиаскер и часть рядовых кадиев) в качестве представителя верховной судебной власти, а отчасти — и персоны хана.

е) Ор-бек

Как правило, на эту ключевую в военно-стратегическом и политическом смысле должность назначался член ханской семьи, испытанный, лично преданный хану и обычно разбиравшийся в военном деле на профессиональном уровне. Впрочем, как указывает старинный исследователь и дипломат, иногда эту должность доверяли Ширин-бею (*Tott*, 1785. T. I. P. 125). В обязанность ор-бека входило поддержание внешней безопасности государства, контроль за сохранностью его границ. Он же осуществлял постоянный надзор за всеми ордами ханства, обитавшими вне Крымского полуострова. Очевидно, именно поэтому резиденция его находилась на северной периферии, близ Перекопа, этих ворот в Крым. Задачи ор-бека были многотрудны, и лишь чрезвычайная важность и ответственность их объясняет, отчего на этот пост чаще всего назначались принцы крови.

Ор-бек не получал ханского или султанского жалованья. Взамен ему доставалась значительная часть перекопских доходов, в том числе таможенных пошлин, а также часть ногайских податей. Реально всё это составляло около 100 кошельков золота, или 1/5 доходов калги.

ж) Великий бей

Титул великого бея (*каймакана, бейлербея, хана-агасы*) отвечал его старому, ещё ордынскому содержанию. В первые века ханства этот вельможа даже сохранял звание «первого князя Орды», занимая в иерархии бахчисарайской администрации одно из самых значительных мест после ханских калги и нуреддина. Упомянутое звание стёрлось, но статус остался, он соответствовал положению великого визиря в Порте, или великого канцлера, если сравнивать с другими европейскими державами.

Эта должность не была ни выборной, ни сменяемой. Традиционно и постоянно она занималась Ширин-беем[1], что не только давало ему права, но и возлагало обязанности. С одной стороны, в задачи великого бея входило быть

[1] Подробнее о его статусе в ханском диване см. ниже. Сам титул каймакана обычно заменялся более обиходным (и соответствующим действительности) термином *ширинбей*, обозначавшим первого среди четырёх беев-карачи (о них также см. ниже).

«оком и ухом хана», то есть исполнять обязанности как бы «министра внутренних дел», его деятельного визиря-помощника и командующего. С другой, он являлся предводителем дворянской аристократии и верховным оберегателем гражданского правопорядка на основе законов и традиций ханства. Это не могло не ставить его время от времени в оппозицию ханам, иногда склонным, как любые монархи, к подавлению самовластной знати. И это была мощная оппозиция, так как Ширин-бей, бывший её стержнем, опирался на надёжную экономическую и политическую основу.

Занимая должность, бей получал треть годовых даней, приходивших из-за рубежа. Кроме того, ему причитались подушные и десятина с 6 крымских сёл, кроме родовых, то есть собственных (*Haxthausen*, 1847. S. 422). Это была старинная его привилегия, как и право командовать личной гвардией хана. Великий бей следил также за общественным порядком в столице и её округе, утверждая все судебные дела, таким образом соединяя дополнительно полицейскую и юридическую верховные функции. Поэтому порой власть его на практике даже превышала компетенцию нуреддина. Так, например, Ширин иногда оставался в отсутствие хана его заместителем; при этом он занимал бахчисарайский дворец и брал в свои руки всю полноту ханской власти[1]. Наконец, немалое политическое значение приобретал порядок, согласно которому Ширин-бей имел право брать в жёны дочерей хана, а при отсутствии таковых — дочерей его старшего брата. Понятно, что этот обычай, основанный на стремлении сохранить в чистоте кровь чингизидов, в реальности укорачивал ханскую власть, поскольку Ширины были *равны* Гиреям и постоянно это подтверждали близкородственным семейным смешением. Возможно, именно поэтому, как заключает современный автор, Ширины «пользовались значительным влиянием в Стамбуле при назначении и смещении ханов» (*Matuz*, 1964. S. 145).

Ширин-беи по ряду наследственных преимуществ составляли на протяжении большей части «ханского периода» как бы высшую аристократию ханства. Отсюда их правом и почётной обязанностью был верховный контроль за соблюдением законов страны и сохранение её свобод, в том числе свободы мурз и простого народа от посягательств со стороны ханов, военных агрессоров или политических узурпаторов. Они же следили за независимостью Крыма, по крайней мере внутренней, от турецкого султана. Являясь по должности старшим из четырех карачи, он был их представителем, что, впрочем, не значит, что он всегда защищал интересы этой высшей аристократии ханства. Нередко он придерживался перед престолом местнической, родовой политики, тем более что бейские роды почти постоянно соперничали друг с другом, а за каждым из них стояла весьма многочисленная клиентела.

Ширин-бей обладал и узаконенными политическими привилегиями. Он мог вести личную переписку с зарубежными политическими лидерами. Единственный из беев, он имел не только разветвленный административный аппарат, но, как утверждают некоторые источники, и собственных калгу и нуреддина (*Tott*, 1785. T. I. P. 119).

---

[1] Обычно же великий бей жил в одной из резиденций близ столицы, получая на её содержание и иные траты султанское жалованье в размере около 3 000 золотых дукатов (*Тунманн*, 1936. С. 29).

з) Ширин-беи и другие карачи

Итак, беи представляли собой дворянскую аристократию ханства. Четыре бейских рода (в отдельные периоды истории их число достигало шести) вели своё происхождение с докрымского периода. Все они пришли на полуостров с первыми ханами и участвовали в созидании государства. Но в первую очередь это достоинство признавалось за четырьмя родами — Ширин, Барын, Аргин и Седжеут, которые издревле именовались *Дёрт караджи* (букв. «Четыре налога») или, позже, попросту *караджи* (*карачи*). Возможно, правильнее было бы относить это достоинство не к властным статусам, а к области родовых титулов — ведь те же самые четыре рода считались карачи (со всеми сложными правовыми последствиями этого) и среди поволжских татар (*Газиз*, 1994. С. 85).

Попытаемся уточнить сравнительный политический и административный авторитет каждого из статусных бейских родов. Итак, из четырёх упомянутых на первом месте, безусловно, стояли Ширины, возглавлявшие диван. Относительно других здесь сразу же необходимо замечание в связи с тем, что старые крымские (по происхождению) авторы, и конкретно арабоязычный Хаджи Абдаль-Гафари Кирими, заменяют в числе четырёх карачи Седжеутов на Кипчаков. Но в дальнейшем таких случаев практически не встречается.

В поздней истории Крымского ханства возвышается бейский род Мансур, вошедший в число карачи. Место ступенью ниже занимали беи также из бывших поволжских племён Яшлав, Аргин и Даир. За ними следовали их старинные земляки, но переселившиеся на полуостров несколько позже: роды Аблам, Меркит, Конрат, Бурульча и Ойрат.

Уже по причине исторических своих заслуг перед народом и государством беи обладали высшим авторитетом и весом. Являясь главой своего бейлика, бей соединял в своём лице два элемента вотчинного права: древнего частного (патриархального) и государственного, связанного с доставшейся ему территорией, которой ранее у кочевых родов-къошей не было, и быть не могло. Другие беи также располагали традиционными политическими привилегиями: отдельный род мог ведать всеми дипломатическими отношениями на одном каком-нибудь направлении. Так, род Яшлав, к примеру, курировал московские дела.

Беи были обязаны вносить в казну с началом очередной войны по тысяче пиастров[1] и снабжать выставляемое бейликом войско провиантом на три месяца. Но зато они имели право продолжать военные действия (на свой страх и риск, естественно) даже после того, как их хан подписывал мирный договор (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 176). Важно отметить, что хан не мог ни отнять у бея его родовой титул, ни лишить его наследственных земельных и иных владений. Напротив, ханы нередко чувствовали свою зависимость от беев в вопросах наследования престола: с мнением четырёх могущественных карачи, как правило, считались в Стамбуле (*Matuz*, 1976. S. 7).

В древности особое положение среди беев занимали представители рода Яшлав (Сулешевы). Сохранились некоторые сведения о той героической роли, которую они сыграли при вторжении в Крым кочевников Степи, в частности при

[1] Один пиастр был равноценен 1 курушу, 1 западноевропейскому рейхсталеру или 1,4 рубля золотом. В серебряном эквиваленте вес пиастра колебался от 25 до 27 гр.

захвате неприступного Кырк-Ера с прилежащей округой, на территории которой позднее поднялась ханская столица. Причём Яшлавы сразу и навсегда осели и укрепились именно в этой части юрта, тогда как многие другие беи, бывало, возвращались по той или иной причине из Крыма в заперекопские степи, а то и к Итилю. В последний период истории ханства род Яшлавов сохранил старые привилегии, из которых главной была прерогатива бея как главного распорядителя на важнейших торжествах рода Гиреев, в том числе на свадьбах принцев крови. Раньше таких исключительных прав было больше. Как утверждают, на протяжении некоторого времени бей Яшлавский имел даже возможность, наряду с ханом, распоряжаться жизнью и смертью своих подданных (то есть на территории бейлика), в том числе и эмиров (*Peyssonel*, 1787. Vol. II. P. 274–276).

Длительное время сохранялась и традиция привлечения Яшлавов-Сулешей к дипломатической деятельности, конкретно в московском направлении. Кроме того, беям этого рода, как правило, поручалась весьма ответственная миссия сопровождения московских послов во время их пребывания в Крыму. Они участвовали в переговорах последних, в том числе и с повелителем ханства. Последний случай такого рода, отмеченный в источниках, имел место в 1680 г., в процессе уточнения текста и подписания Бахчисарайского московско-крымского договора, когда московское посольство сопровождал Авелша-мурза Сулеш (Тяпкин, Зотов, 1850. С. 150).

Имело место и такое мнение, что ханы вообще предпочли Бахчисарай Эски-Къырыму или Карасубазару лишь по причине преданности Яшлавских беев Гиреям, поскольку здесь, в окружении родовых земель и вассалов Яшлавских они были в безопасности. Однако со временем этот род не то чтобы угас (право на упомянутую придворную привилегию сохранялось и в XVII в.), но как бы оказался в тени от таких родов, как Барын, Аргин, Седжеут, и прежде всего, конечно, Ширин.

Самая важная социально-политическая и культурная роль беев в ханстве заключалась в том, что они стояли на защите государственных законов. Остальные подданные глубоко уважали их, оказывали им всяческую помощь как стабильному оплоту свобод всех крымских татар — от простого крестьянина или ремесленника до самых знатных мурз. Некоторые современники не без оснований сравнивали положение беев в ханстве, их значение для всей политической ситуации с той ролью, которую в Англии или Франции играли *пэры*. То есть они гарантировали народные свободы в противовес ханской власти, которая без этого могла перерасти в деспотическую. В каком-то смысле они являлись соправителями Гиреев[1], оберегая не только законы, но и обычаи, традиционную национально-духовную этику и справедливость в целом (*Тунманн*, 1936. С. 29–30).

Беи стояли у истоков родовой солидарности и ответственности, которая проявлялась в форме «обязательной для однородцев взаимной помощи и поруки в видах поддержания рода» (*Лашков*, 1897. С. 7). Такая солидарность и взаимовыручка отражались и в понятиях крымскотатарской собственности. Дело в том,

[1] Приведу краткую характеристику этого положения, сделанную известным учёным XVIII в.: «Беи составляют противовес власти хана, они — защитники свободы народа, охранители Закона, они, одним словом, соправители хана (die Mitregenten des Chans)» (*Büsching*, 1875. S. 333).

что ещё со времён кочевого прошлого собственность была довольно динамичным, мобильным понятием. Так, однородцы оказывали помощь терпящему внезапную нужду родичу, жертвуя всем своим имуществом ради мощи рода как единого целого. Кроме того, при ведении общеродового хозяйства нелегко было определить долю каждого в совокупном продукте, а именно долю члена рода в собственности, которая возникала как плод общего труда и сообща же в дальнейшем использовалась. Другими словами, род был общиной, основанной не только по принципу общего происхождения, кровного родства, но и на социально и экономически значимых объединяющих принципах. При этом глава рода распоряжался этим имуществом в общих интересах, управляя трудовыми процессами «малых сих» в целях поддержания их нормальной жизнедеятельности.

Что ещё более интересно, но уже для Нового времени — понятие родовой собственности не распространялось на землю, касаясь исключительно скота, кибиток, иного движимого имущества. Да и то понятие это стало довольно стёртым. Действительно, какая-то индивидуализация при пастушеском скотоводстве малопродуктивна, ведь тогда каждому пришлось бы пасти своё маленькое стадо, не появилось бы крупных отар, весьма сберегающих трудовые затраты на единицу продукта. В дальнейшем эта патриархальная черта проявлялась, в частности, в отсутствии крымского феодализма. А этот феномен трудно понять, не зная крымскотатарской древности, причин такой необычной её стабильности и основываясь лишь на ограниченной концепции смены социально-экономических формаций.

Конечно, в Новое время любой мурза был готов поддерживать «своего» бея ещё по одной причине, в рассчете на земельные и иные пожалования, в которых беи были не менее щедры, чем хан. Поэтому у дворянской аристократии, опиравшейся на мелкодворянскую вольницу, хватало сил выступать и против хана, если он нарушал дворянские интересы. Причем дело было не только в чисто количественном соотношении сторонников той или иной стороны.

Стамбул, заинтересованный в существовании постоянной сильной оппозиции ханам, гальванизировал старинное, восходящее к тёрэ равноправие чингизидов-карачи и хана в вопросе престолонаследия. Естественно, это не могло не влиять и на религиозно-политическую активность экономически зависимых от карачи и их мурз-клиентов, и народных масс. Да и объективно карачи и другие беи могли время от времени выражать волю крупных социальных групп, в том числе и крестьян, стремясь не только завоевать их поддержку в своей оппозиционной политике, но и сохранить старинные народные права в неизменном виде, хотя бы как дань типично крымскотатарскому традиционализму.

Формально являясь совершенно равными, беи соперничали друг с другом в благотворительности и иных добрых делах. Так, они старались превзойти друг друга в числе бесплатных гостиниц или гостевых од, что, в конечном счёте, шло на пользу народному потребителю. В этих одах собирались и местные старики, которые, покуривая бейские чубуки и потягивая бесплатный кофе, рассказывали молодёжи о военных хитростях, о старинных приёмах войны и тонкостях хозяйствования. Нередко здесь же читали старинные и собственные дестаны местные и приезжие поэты-кедаи, заходили бродячие рассказчики бесконечного устного эпоса об Ашик-Умере и других народных героях, певцы исполняли народные песни и баллады, выступали поэты-импровизаторы и сказочники. Таким

образом, благодаря беям постоянно работал своеобразный, весьма разветвлённый народный университет. Любопытно, что эти гордые люди, значительно обеднев после аннексии Крыма Россией, из последних средств поддерживали прежнее количество таких личных просветительных учреждений (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 179).

Наконец, являясь членами дивана, карачи оказывали существенное влияние на непосредственную выработку решений во внешней и внутренней политике хана. И стоило дворянской оппозиции склонить их в пользу своего заговора, как она без труда проникала в покои бахчисарайского дворца. Без бейского утверждения не имели силы никакие ханские указы, международные договоры, объявления войны и мира (обычно эти вопросы решались с согласия первых лиц государства, 4–5 беев и депутатов от мурзинских линий тех же бейских родов). Иногда для этого дополнительно была обязательной и конфирмация соответствующего решения (документа) ногайскими сераскирами или эмирами. Наконец, формально беи могли судить султанов (ханских сыновей), а сам он такого права, кажется, не имел (*Тунманн*, 1936. С. 26; *Haxthausen*, 1847. S. 477).

Что же касается своих бейликов, то здесь, естественно, в руках беев были и суды, и финансы, и все административные институты. На своей земле они были почти полными хозяевами[1], некоторое исключение составлял сбор пошлины с торгового оборота жителей бейлика, часть которой поступала в ханскую казну. Однако традиционно часть этого дохода, остававшаяся у бея, не контролировалась, о её размерах не говорилось даже в документах, целиком посвященных величине коммерческой пошлины. Так, в одном из ханских фирманов бею Яшлавскому указывалось, что тот получает право «пользоваться взысканием с торговцев того, что ему предоставлено и что он вправе удерживать для пропитания и на прочие нужды свои. Никто другой не может вмешиваться в это дело, и да будет это всем и каждому известно» (*Менгли*, 1930. С. 29). Таким образом, если в других державах Нового времени налоги и другие подати собирали государевы сборщики, то в Крыму этим прибыльным делом занимались люди беев.

А Ширины обладали ещё одним уникальным правом. На генуэзских территориях, как упоминалось выше, постоянно проживало мусульманское население Крыма. Нередко возникавшие конфликты между этими простыми крымцами и колонистами было невозможно погасить без какого-то официального лица, назначенного ханом к улаживанию этой и иных проблем местного смешанного населения. Таким лицом традиционно и назначался бей Ширинов, получавший при этом титул *тудуна*, а также немалое влияние на не только мусульманское, но и вполне христианское население генуэзской *Кампаньи*.

---

[1] В этом смысле крайне показательно, что в Крыму многие века были популярны предания о вообще самостоятельном приходе бейских родов в Крым (то есть вне зависимости от ханов). В Архиве Таврического дворянского собрания одно время хранился даже некий документ о происхождении Яшлавских мурз, предок которых, Абак-бей Кудулак, якобы самостоятельно пришёл в Крым с берегов Волги с подвластными ему племенами. Здесь он завоевал неприступную до того крепость Чуфут-Кале с окрестными деревнями и землями и, избрав для своей резиденции прекрасную долину недалеко от будущего Бахчисарая, назвал её Яшлавом. Это предание подкреплялось тем, что в Крыму было несколько деревень с таким названием, одна из них существовала и в указанном документом месте.

Такое исключительное положение крымских беев сохранялось веками, его не нужно было даже поддерживать военной силой, хотя у беев и было собственное войско *бейсерак*. Сам хан писал в своих ярлыках: «вручая сие высочайшее ханское повеление, повелеваем управлять имениями, оставляя себе бейлик до самой смерти... распоряжаться всеми фамилиями его рода и прочим населением, ограждать право, а равно собирать с бейлика разного рода доходы. Все мурзы (подчиненные бею) и прочие подданные, признавая его эмиром, должны обращаться к нему и исполнять его требования, следовать за ним, едет ли он верхом, идет ли пешком (т. е. в дни войны или мира. — *В.В.*)» (цит. по: *Никольский*, 1929. С. 9).

Это, конечно, бюрократическая традиция, чисто юридическая тонкость протокола, но можно привести пример действительной способности беев распоряжаться своим войском в политических целях. Речь идёт о периоде крымской Смуты 1720-х гг. Хан Саадет-Гирей IV совершил некоторые, с точки зрения Аджи Ширин-бея, несправедливые и незаконные поступки. Бей собрал своё двадцатитысячное войско и принудил хана к отречению. В Стамбуле решили смотреть на это самоуправство сквозь пальцы и назначили нового хана, Мехмед-Гирея. К этой новой кандидатуре у Ширина были свои претензии, и тому также пришлось оставить страну. Раздражённый султан призвал третьего члена ханской семьи, Каплан-Гирея, и предложил ему бахчисарайский престол с условием, что он, став ханом, приструнит беев и поддерживавших их мурз. Но этот Гирей ответствовал, что он может быть и рождён стать крымским государем, но не турецким палачом в Крыму. Наконец, на престоле утвердился Менгли-Гирей II, и Аджи Ширин-бею пришлось бежать в Черкессию.

Но, что здесь характерно, и новый хан (кстати заметить, личность весьма сильная) ничего не мог поделать ни с оппозиционером-беем (хотя тот находился на земле, вассальной крымским ханам), ни с его огромным движимым и недвижимым имуществом, находившимся по-прежнему в Крыму. Ведь конфискация была бы вообще вопиющим нарушением закона, на охране которого стоял и должен был стоять Ширин! История этого противостояния окончилась совершенно по-крымски: Аджи-бей, который, и находясь на Кавказе, оставался главой бейлика, и всего, что к нему относилось, впоследствии вернулся на родину и спокойно жил здесь в прежнем статусе, ничего не опасаясь, пока его не призвал к себе Милосердный, Знающий.

и) Ана-бийым и другие дамы двора

В административный аппарат мусульманского ханства входили и женщины — положение не вполне обычное для почти всех европейских государств той эпохи. Выше говорилось о том, что они, как правило, были из представительниц знатнейших бейских или мурзинских родов. У ханов случались, конечно, браки на дочерях простых мурз и даже мелких чиновников или ремесленников (так, самой любимой женой великого Крым-Гирея была дочь дворцового переводчика), но это было скорее исключением, чем правилом. Главной же чертой брачной практики хан-сарая было то, что в подавляющем большинстве невесты великих ханов были из Крыма и что они обладали основательными познаниями в этнической культуре и традициях. Кроме того, это были добрые мусульманки и прекрасные воспитательницы будущих ханов. Не стоит и повторять, что такой порядок был

несравненно ближе шариатскому благочестию, чем турецкий обычай вводить в дом предков наряду с турчанками и чужеверных, непонятно как воспитанных за морем девиц[1].

Здесь нужно затронуть тему, к которой придётся неоднократно возвращаться впоследствии. Речь пойдёт о положении женщины в крымскотатарском обществе вообще. Считается, что оно было неравноправным по сравнению с мужским, чуть ли не унизительным. Такая оценка скорее применима к турецкой действительности, которая сложилась несколько по-иному, чем в период Крымского ханства. Причина этому проста: крымский народ испытал мощное влияние двух великих цивилизаций — Степи и Средиземноморья, которое, если и до доходило османов, то воспринималось народной культурой весьма слабо (причин этого культурного неприятия здесь касаться не будем). Крымское же общество буквально впитало в себя традиции степных «пережитков» матриархата Орды, где женщина как хранительница очага и главная воспитательница будущих воинов стояла на одной из высших ступеней социально-политической иерархии.

Поэтому женщины ханской семьи отнюдь не замыкались в герметичном мире гарема. Они ощущали себя личностями, свободными в мыслях и действиях. «Они принимали активное участие в жизни Ханства, и именно от политических настроений представительниц прекрасной половины правящей династии зависели отношения Крымского Ханства с соседними державами. Ссылаясь на имеющиеся источники (Кадиаскерские книги, документы и письма русско-крымских отношений, посольские документы Литовской Метрики и другие), где фигурируют исключительно женщины ханского рода, можно воссоздать картину тех далёких лет и сделать вывод, что сегодня они незаслуженно отодвинуты на второй план» (*Абдулаева*, 2007. С. 8). Если это и преувеличение, то незначительное.

И в этом их отличие от большинства женщин Европы и Московии. Причём и в современности нередок тип женщины, которая «позволяет себе ничего не мочь, ничего не уметь»[2], с юности мечтая о мужчине, который способен её целиком обеспечить, гарантировав стабильное, безбедное существование до последнего часа земной жизни. В Крыму, по крайней мере исламском, такого никогда не было. Женщины небогатых семей брали на себя все заботы, касавшиеся и дома в целом, и семьи как таковой. Ещё менее были склонны к безмятежному ничегонеделанию женщины противоположного, высшего слоя крымскотатарского общества. Они прекрасно понимали, что не только от их высокопоставленных мужей зависит благополучие (а часто и физическая жизнь) семьи, рода, племени, династии. И они из поколения

[1] Начиная с Сулеймана Кануни (прав. 1520–1566), турчанки вообще исчезли из султанских гаремов, уступив место невольницам иностранного происхождения. Назовём ещё одну причину такой многовековой традиции: султаны, в большинстве случаев люди не слишком одарённые (воспитывали принцев в так называемой «клетке», в изоляции, губившей любые таланты), всерьёз опасались женской конкуренции. И вполне обоснованно — даже Сулейман, на редкость одарённый правитель, не мог справиться с неуёмной энергией и бурным потоком хитроумных интриг своей польской жены, рыжеволосой Роксоланы (в девичестве Анна Лисовская). Поэтому, начиная с XVI в., дворец Топкапы открыл свою дверь нескончаемому потоку султанских подруг христианского, иудейского, языческого, любого варварского происхождения.

[2] *Славникова О.А.* Басилевс // Вальс с чудовищем. М., 2007. С. 335.

в поколение передавали друг другу тонкие навыки сбора самых разнообразных сведений о фамильной, социальной и политической жизни Крыма и не только Крыма, осмысливали эту информацию и, по возможности, предлагали заключения и выводы, которые могли быть использованы их мужьями и сыновьями.

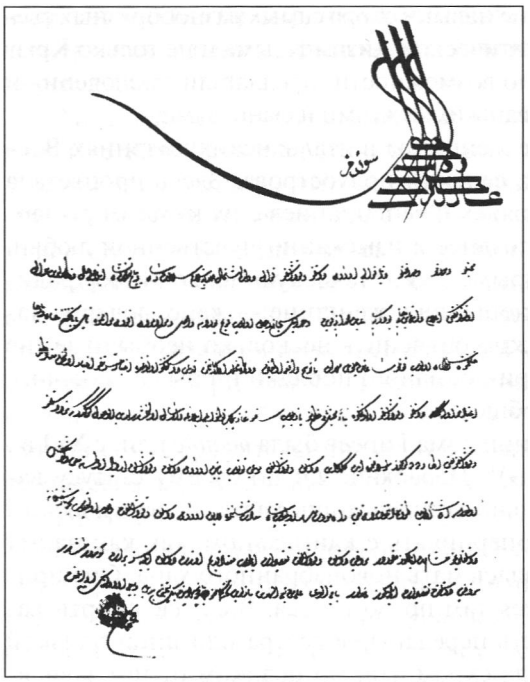
Несколько иным было положение женщины в итальянских колониях Восточного Крыма и других прибрежных селений полуострова. Здесь процветала возрожденчески тонкая культура генуэзцев и венецианцев с их культом рыцарского служения Прекрасной Даме, а позднее и изысканно-чувственной любви. Возможно, именно она и обогатила крымскую этническую психологию традицией бережного, трепетно-чуткого отношения к женщине — жене, дочери, матери. Лишь этим обстоятельством можно объяснить несколько необычные (не только с точки зрения соседней империи османов) порядки и обычаи ханского дворца и — шире — всего крымского общества.

Самой значительной из обитательниц дома Гиреев была *валиде* или, с XVI в., *ана-бийым,* (буквально «мать-госпожа»)[1]. Иерархически по своему статусу валиде была равна нуреддину, официально уступая лишь калге. А фактическим влиянием своим на хана она могла соперничать с каймаканом, так как на эту титульную должность обычно назначалась мать новоизбранного хана. Она присутствовала на заседаниях дивана, имея там право голоса. В случае смерти валиде эта должность и титул могли быть переданы её сестре или иной близкой родственнице правителя. Валиде имела скромный, но целиком от нее зависящий круг придворных, а ханская казна ежегодно отчисляла ей весьма солидную сумму в звонкой монете и натуральных припасах. Она активно участвовала и во внешнеполитической жизни ханства, имея даже право независимой корреспонденции с монархами других держав и широко этим правом пользовалась.

Так, Нур-султан, дочь Темир-бея Мангыта и жена Менгли-Гирея, по собственной инициативе завязала переписку с великим князем Иваном III (подр. о ней см.: *Лызлов*, 1990. С. 52–53). Это была переписка двух незаурядных личностей, в ней чувствуется взаимное уважение; между прочем, великий князь именовал жену хана не иначе, как «сестра моя», что было не совсем пустой формой этикета. На её письма давно обратили внимание историки. Как замечает один из исследователей той эпохи, они не только затрагивают важнейшие проблемы эпохи, но в них, «неподражаемых по слогу и тону речи, слышится живой голос любящей, умной матери и жены...» (*Бережков*, 1897. С. 2–3).

Эту же политику дружеских и даже тёплых личных отношений с ранними московскими правителями продолжила после смерти Менгли-Гирея I (1515) её преемница Нурум, старшая жена Мехмед-Гирея I. Участвовали в переписке с Москвой и другие валиде: матери Девлет-Гирея I (1551–1577), Мехмед-Гирея II Тучного (1577–1584), Ислам-Гирея II (1584–1588) и других ханов. Заметим, что великие московские князья слали для них не только грамоты, но и именные

[1] Впервые этим титулом была поименована в 1525 г. Махдум-султан, мать Саадет-Гирея I (1521–1532). Она же была участницей важного государственного акта: вместе с ещё одной вдовой (отца правящего хана, Менгли-Гирея), Махдум-Султан (которая была матерью калги Саадет-Гирея), они принесли торжественную клятву (*шерть*) в том, что их сыновья гарантируют взаимную неприкосновенность, чем в дальнейшем исключалась возможная борьба за трон, как правило, пагубная для всего ханства.



Послание жён Селим-Гирея королю Кристиану V с уверением в дружеском расположении к нему. *Государственный архив Дании*

(предназначавшиеся лично для дам, имевших статус ана-бейым) поминки (*Некрасов*, 2000. С. 218). Переписывались они не только с московским, но и с европейскими дворами, не обделяя вниманием и самые удалённые от Крыма. Так, в Государственном архиве Дании отложилось немало грамот за подписью крымских валиде, а также старших ханских жён (*улу бийым*); есть письма и от матерей нескольких калг (*Matuz*, 1976. S. 12, 44–45).

Старшая жена Девлет-Гирея I (1551–1577), Айше-Фатьма-Султан, оказывала большое влияние на своего хана. Московские дипломаты утверждали, что перед тем как принять какое-либо важное решение, он всегда советовался с женой: хан «жалует свою большую царицу Аиша Фатма салтану... думает... со царицею и слушает её». В правление Гази-Гирея или «Боры», трижды занимавшего крымский престол (1588–1594, 1594–1596, 1596–1608), сложилась уникальная ситуация: у него было две ана-бийым, его старшая сестра Кутлу-Султан-хани и его же мачеха, одна из вдов Девлет-Гирея I, Ферхан-Султан. Нам неизвестно, какую роль в политике двора играла последняя, но Кутлу-Султан-хани была избрана из других дочерей Девлет-Гирея I, очевидно, не только по старшинству, но и по способностям: известно, что Бора часто советовался с ней о государственных делах; немалую роль играла она и во время отлучек брата, которых на протяжении трёх правлений этого крайне деятельного хана было немало (*Некрасов*, 2000. С. 218).

Остаётся сказать, что деятельность валиде нередко простиралась далеко за пределы Хан-сарая, становясь известной всем крымским татарам. Обычно она пользовалась уважением и даже любовью народа, поскольку, как правило, занимались благотворительностью. Кроме того, ханские матери жертвовали личные средства на строительство фонтанов, мечетей, медресе (*Абдулаева,* 2007. С. 8).

Второй по значению среди дам крымского двора являлась *улу-ханум* (олоханум, ана-ханум), как правило, ею назначалась старшая сестра или старшая дочь ана-бийым (*Tott*, 1785. T. I. P. 126). В качестве примера можно взять Нури-Султан-ханий, которая была старшей дочерью Сахиб-Гирея I (1533–1550 гг.). Она много сделала для культурного развития ханства, чем оставила свой след в его истории. Практическим влиянием при дворе пользовались и остальные, следовавшие по иерархии за ана-бийым ханские жёны. И уже последний, третий «дамский эшелон» составляли жёны калги, нуреддина и других султанов. Что, между прочим, не исключает их влияния если не на первое лицо в государстве, то уж точно на позиции его ближайших приближённых.

Не стоит, кстати, путать такую политическую активность женщин Хан-сарая с деятельностью их современниц у Порога Счастья. Турецкие дамы были не менее энергичны и инициативны, но вся их энергия уходила на гаремные интриги (впрочем, вынужденно, — иных точек приложения сил для них попросту не было оставлено). Акции эти, часто весьма сложные и хитроумные, могли в случае удачи оказывать неофициальное и неафишируемое воздействие на политические решения. Но об общепризнанных правах на собственную политику (в том числе и международную, как это было в Крыму) первые дамы султанского гарема, конечно, и мечтать не могли.

Что же касается жён и дочерей крымских беев и эмиров, то они зачастую распоряжались не только собственными, но и родовыми финансами, могли делать крупные пожертвования, учреждать вакуфы и так далее не хуже своих мужчин. Об этом сохранились неоспоримые свидетельства в виде *тарихов* — надписей над вратами мечетей или иных возведённых с богоугодными целями зданий.

Так, над дверьми одного из старокрымских медресе была высечена посвятительная надпись, где указывалось имя основательницы этого вуза, Инджи-бей-хатун, дочери местного бея Кыл-Буруна. Причём это памятник довольно ранней эпохи, первой трети XIV в. Там же дочь местного эмира Тонкатая, «величественная особа и ничтожная рабыня Бога» Бай-Буглы-Хатун, выстроила текие. В Керчи над вратами мечети, построенной через век, красовалась надпись о том, что её построила «обладательница доброты и красоты Хадидже-хатун, дочь Мурад-хана» (*Челеби*, 1999. С. 83, 98).

В завершение этого «женского» сюжета приведу безупречно верное замечание современного исследователя, справедливость которого будет неоднократно подтверждена всем нижеследующим историческим материалом: «страницы источников рисуют в нашем воображении не робкие силуэты за окнами ханского дворца, но образы правительниц, решительно вторгающихся в чисто мужские дела мужей, братьев, сыновей — дипломатию и управление государством. И эти образы придают истории Дома Гиреев больше красок и полноты» (*Некрасов*, 2000. С. 220).

к) Диван

В Крыму диваном назывался своего рода государственный совет, в ведении которого были важные политические проблемы, а также внутренние правовые вопросы, не подлежавшие юрисдикции сословных судов или кадиев. Мустафа-ага, посол Адиль-Гирея у датского короля во второй половине XVII в., так определял

состав дивана и его роль в ханской администрации: «Величайшие и высочайшие беи, которые вместе с великим ханом в тайном своём совете о самых важных государственных делах судят и рядят (mit rathen vnd beschliesen), примерно столь же много значат, как курфюрсты в Римской империи (то есть в Австрии. — *В.В.*) или Германии» (*Matuz*, 1964. S. 145).

Французский путешественник Пайсонель, присутствовавший на заседании дивана, перечислил его членов по убыванию их иерархических достоинств в следующем порядке: калга, нуреддин, Ширин-бей, муфтий, четверо беев-карачи, кадиаскер, ор-бек, сераскиры трех орд, казнадар-баши, дефтердар-баши, актачи-баши, хан-агасы (великий бей, которого автор именует и визирем), киллардж-баши и т. д. (*Peyssonel*, 1787. Vol. I. P. 289). Подобный порядок мог меняться в связи с повышением или понижением уровня *личного* авторитета визиря, кадиаскера и пр., но в целом он приблизительно верен. Просто при руководстве этим иерархическим списком стоит постоянно иметь в виду, что ханская семья составляла единое целое, и никогда муфтий, при всей его духовной значимости, не мог лично для хана (и согласных с его избранием беев) стоять выше, чем даже не очень способный нуреддин.

Как говорилось выше, хан не имел права поступать вопреки решениям дивана. Приведу пример из истории краткого правления Каплан-Гирея III (март–декабрь 1770 г.). Когда султанский *мубашир* (чиновник для особых поручений) привёз ему решение Стамбула об отставке, то хан собрал диван, чтобы совместно решить, стоит ли покоряться султанскому указу или, скажем, скрыться в кавказских своих владениях, перейдя в оппозицию Порте. Диван решил, что хану нужно отправляться в Стамбул: «"Лучше ехать... Сделай милость, тебе ничего не сделается, поезжай сообразно указу". Тогда хан поневоле, сев в сопровождении мубашира на гальон, уехал» (*Неджати*, 1894. С. 133). Ещё лучшее свидетельство реального значения дивана в жизни ханства — это его право определять размер содержания, выделяемого на ханский двор и дворец. Диван, и никто иной, решал также вопрос о необходимости очередного похода и количестве потребного для него войска. Кстати, само войско выставлялось в большей своей части теми же беями — членами дивана, да и на знаменах отдельных отрядов красовалась не ханская, а бейская родовая тамга.

Кроме «полного» дивана существовал и сокращённый его вариант, собиравшийся в экстренных случаях или, напротив, при протокольной, рутинной повестке дня, не требовавшей присутствия Совета целиком. Число его членов не могло быть менее шести, и выбор их не был постоянным. Обычно на него собирались четверо карачи, калга и нуреддин. Но в середине XVII в., к примеру, в Бахчисарае заседали Ширин-бей, кадиаскер, калга Ширин-бея, начальник гвардии (капы-кулы) и ор-бей (*Matuz*, 1964. S. 146).

В любом из возможных вариантов решения дивана были обязательны для всех татар, независимо от кворума собиравшихся на совет. Но бывали и особые случаи, когда хан вообще не мог собрать диван: его члены не являлись, чтобы парализовать проведение в жизнь той или иной инициативы Гирея. Ведь, как утверждал уже упоминавшийся Мустафа-ага, «эти шестеро — из избраннейших при великом Хане, которые дают свои советы по всем важным обстоятельствам, касающимся высоких военных дел и государственных обстоятельств, и что они решат, то и свершится» (*Matuz*, 1964. S. 146).

С диваном была тесно связана внешнеполитическая активность ханства. Трудно сказать, какую часть политических решений принимал лично хан, а какая определялась на совещаниях дивана, — очевидно, это зависело от конкретики международной ситуации и личности хана. Более определённо говорят источники о практической стороне дела. В IV очерке этого тома говорилось, что у ханов на дипломатическом поприще по многу лет работали иностранцы. То же можно сказать о сотрудниках канцелярии дивана, где подготавливались официальные дипломатические акты и письма за рубеж. Автор специального исследования пришёл к выводу, что это учреждение вполне отвечало принятым требованиям. Дипломатическая корреспонденция велась на латыни, итальянском и славянских языках.

Судя по крымским материалам, хранящимся в варшавском Главном архиве древних актов, такие документы не переводились перед отправкой за рубеж, а сразу составлялись на иностранных языках — для Бахчисарая это была обычная практика, так как члены дивана, как люди образованные, владели иностранными языками. Да и в целом уже при Менгли-Гирее I дипломатика ханского двора вполне отвечала европейским требованиям, хотя и сохраняла некоторые ордынские особенности (так, в верхней части листа ставился оттиск тамги правящего хана, а в нижней — его отца). То есть существовали отличия чисто формального плана. И лишь в 1520-х гг. в бахчисарайской дипломатике начинается переход от европейской к арабским (османским) статьям формуляра; эта эволюция закончилась примерно в середине XVI в. (*Зайцев*, 2006 «а». С. 87).

л) Сераскиры

Сераскирами назывались князья трёх ханских орд, кочевавших вне полуострова. Они почти никогда не назначались из ногайцев, но как правило — из сыновей хана (султанов), причём самых способных, или же из беев полуострова. Сераскиры имели право вершить суд и расправу над подданными им кочевниками, включая смертную казнь. Формально подчиняясь правящему Гирею, эти вожди нередко выходили из-под ханского контроля, отправляясь в самочинные набеги, входя в сепаратные сношения с соседями, особенно с северокавказскими властителями. Нередко дело доходило до прямой вооружённой борьбы сересkиров с ханами, гораздо реже, но бывали и случаи узурпации ими ханской власти.

Несмотря на подобную политику сераскиров, крымские властители слишком ценили воинскую силу причерноморских орд, чтобы отказаться от попыток интригами, лестью, угрозами и подкупом держать их в русле политики, общей для всего государства. Ведь сераскиры могли вывести в поле едва ли не большее количество всадников, чем сам хан. Из доходов они получали только по 1 пиастру с семьи и по 1 овце с юрта, а также *мукасеме,* то есть десятину с урожая (в степи довольно скромного) посевных культур в год. Этого было в общем-то достаточно для содержания собственного двора, не считая того, что сераскир получал при назначении от своих новых подданных (орды) единовременно 500 быков.

Ордынский титул *сераскир* в Османской империи использовался и в несколько ином, военно-должностном смысле. Турки именовали сераскирами (сердарами) командующих армией, ведущей боевые действия.

м) Кадии, каймаканы, кадиаскеры, наибы

Судьи имели в крымскотатарском обществе гораздо больший вес, пользовались большим авторитетом, чем их коллеги в Западной Европе. Это вполне объяснимо: поскольку кадии следили за исполнением всех без исключений положений шариата, то в сферу их компетенции входило не только поддержание существующего порядка и спокойствия, справедливости и гарантий ненасилия на всей территории ханства, но и присмотр за нравственным обликом каждого подданного, за истинностью его религиозных воззрений, исправным исполнением обрядов, постов и так далее. В сферу деятельности кадия входил один *кадылык* (всего их, как мы помним, было более сорока). Следующей административной единицей было *каймаканство*; число и границы их иногда менялись, но на территории полуострова в ханский период их было шесть (Бахчисарайское, Кефинское, Карасубазарское, Гёзлёвское, Акмечетское и Орское). Высшую должность в иерархии кадиев занимал *кадиаскер (казиэскер)*, постоянно живший в столице ханства. Европейский исследователь называет его обер-аудитором, то есть главным надзирающим за соблюдением действующих законов (*Брун*, 1867. С. 12). Это — лишь часть обязанностей кадиаскера; не менее важным был и его статус главного военного судьи ханства, согласно которому он был как бы викарием (то есть заместителем, выездным представителем) верховного муфтия, который рассматривал лишь самые важные гражданские или политические конфликты.

Но рядовые кадии не успевали справляться со всеми судебными делами, которых, особенно в крупных городах ханства, могло возникать довольно много. Поэтому и у них были заместители, звавшиеся *наибами* (от *арабск.* заменяющий, наместник). Наибов избирало местное общество, как правило из числа пожилых людей, хорошо знавших шариат. В обязанности наиба входило рассмотрение текущих дел или исполнение поручений кадиев, если эти дела могли быть разрешены на основе положений шариата (раздел имущества между наследниками, примирение супругов, собиравшихся развестись и т. д.). При этом решения, выносимые наибами, были столь же обязательны к исполнению, как и приговоры кадиев. Если наиб действовал по поручению кадия, то он получал вознаграждение, полагавшееся кадию, а если тяжущиеся обращались к наибу, минуя кадия, то такое приношение было вообще делом добровольным (*Александров*, 1912. С. 669–670).

Трудно себе представить, как кадии, пусть даже многочисленные, имели физическую возможность исполнять все эти многосложные и важные функции, если бы не одно обстоятельство, звучащее для современного человека несколько своеобразно. А именно: крымские татары были законопослушны, не будучи запуганы драконовскими методами устрашения и всевозможными жестокими карами, а обладая развитым моральным чувством искренней веры в Аллаха и предписания Пророка. Это была внутренняя необходимость исполнения общественного договора, ответственности не перед кадием, а перед Высшим Судией за земные свои дела. Поэтому средневековые европейские авторы и отмечали удивлённо, что в Крыму «законы исполняются с большой строгостью (то есть с большой точностью, тщательно. — *В.В.*)» (*Броневский*, 1867. С. 356).

Эта ситуация сохранялась и в Новое время. Русский путешественник верно объяснял её тем, что поскольку у крымских татар, «выключая Алкорана других законов не имеется, то судебных мест у них нет, [и] спорных дел мало...» (*Зуев*, 1783. С. 135). Да и после аннексии ханства коренной народ не изменил этой ценной традиции в XIX и даже XX вв., когда люди избегали обращаться в российские (потом — советские) суды, решая свои споры и тяжбы с местными кадиями или муллами, нередко в присутствии старейшин своей маалле. Что, между прочим, преследовалось советскими судебными органами как угроза их правовой монополии. Ханы и кадии, как мы видим, были выше подобных малодушных опасений...

Но есть и ещё одно, более приземлённое объяснение феномену удивительной законопослушности крымцев. Точно так же, как беи не допускали нарушений законов ханом, тот в свою очередь строго надзирал за неподкупностью и профессионализмом работы избранных дворянами судей. Наконец, имелась и высшая кассационная инстанция — ханский диван, где решения принимались коллегиально, и хан был только одним из членов дивана.

Диван же, кроме исполнения своих основнных, политических функций, вёл и самостоятельное расследование особо тяжких преступлений (разбой на дорогах, убийства и т. п.), причём в качестве общественного обвинителя выступал хан. В случае же, если преступление носило личный характер (не было общественно опасным), то обвинителем становился сам потерпевший, его сын или доверенное лицо). Здесь, в Хан-сарае, рассматривались доказательные материалы, выслушивались свидетельские показания, затем каждый член совета высказывал своё мнение. На этой основе муфтием формулировался приговор, и после его окончательного обсуждения текст зачитывался кадиаскером. Если выносился смертный приговор (например за убийство), то приговорённого выдавали сыну (семье) жертвы; если было достаточно денежного штрафа или возмещение, то деньги получал потерпевший или его семья[1].

Сколь бы экстравагантной не казалась европейцам столь простая система судопроизводства, но судебная практика, основанная на принципе выбора кадиев мурзами, функционировала в условиях Крыма безупречно, даже с точки зрения правоведа иной подготовки и вообще западной культуры: «Татарские суды славились своей беспристрастностью и неподкупностью в противоположность турецким» (*Haxthausen*, 1847. S. 477) — такое признание стоит дорого!

То есть дело было в высоком профессиональном и нравственном качестве крымских юристов. Об этом же с восхищением говорит и уже упоминавшийся польский путешественник: «Судьи у них почитаются людьми вдохновенными, непоколебимой справедливости и честности» (*Броневский*, 1867. С. 356). Столь же высоко ценились крымские судьи и на Востоке. Уже в XIV в. их нередко приглашали во всемирно известные научные центры для преподавания. Так, в самом известном каирском медресе *ал-Азхар* долго преподавал опытный юрист

[1] В этом было отличие и крымской судебно-следственной системы от западноевропейской, нередко поощрявшей корыстное доносительство и огульные осуждения — вспомните *Тиля Уленшпигеля* Шарля де Костера, где весьма наглядно описано, как имущество невинных жертв судебных преступлений по закону делилось между доносчиком и испанской королевской казной.

Рухн ад-дин ал-Кырими, до того «тридцать лет занимавшийся судейским делом в Крыму» (*Крамаровский*, 2000. С. 133).

Конечно, общая атмосфера искреннего и истового подчинения закону должна была воспитывать не совсем обычных «слуг» этого закона, как впрочем и тех, кто подлежал их вниманию. Поэтому не только простые крестьяне, ремесленники или воины добровольно и не без внутреннего удовлетворения подчинялись законам. Тем более, что, как упоминалось, положения шариата, исходя из исламского восприятия божественной справедливости, были общими для всех слоёв, снизу до самого верха. И удивлённый путешественник, созерцая это гармоничное общество, не мог удержаться от некоторых преувеличений, утверждая, что даже «начальники и чиновники» (прямо скажем, не особо любимое в Европе сословие) «исполняют приказы верно, скоро и с большим страхом. Они вовсе чужды всяких ссор, преступлений, судейских крючков зависти, ненависти, честолюбия...» Не менее привлекательна картина жизни общества, имеющего таких судей, в целом: « Я жил там более девяти месяцев, и не слыхал ни об одном уголовном преступлении; никто не поступил вопреки закону, никто не делал ни доносов, ни сплетней, чтобы повредить врагу» (*Броневский*, 1867. Там же).

Тонкий знаток человеческой натуры, М. Броневский[1] приводит и этому социально-нравственному феномену объяснение, которое может быть принято и нынешними аналитиками, а именно: «Кажется, что прежде... этот народ был гораздо грубее и диче, потому что в те времена они ещё не имели ни законов (и кадиев-судей, добавим мы. — *В.В.*) мусульманских, ни гражданских постановлений, ни письменности...» Естественно в такой обстановке высшего авторитета кадиев и закона, ими поддерживаемого, можно было не опасаться насилия — внутри границ державы, естественно. Оттого-то, продолжает автор, «при дворе ханском и между своими не носят <они> ни сабель, ни луков, ни другого оружия...» (указ. соч. С. 355), что странно для народа, почитавшегося столь воинственным.

И всё же бывали случаи, когда и законы нарушались, и, еще чаще, тяжбы возникали. В таких случаях дело поступало на рассмотрение соответствующего (местного) кадия. Если одна из сторон бывала не удовлетворена, дело шло в следующую инстанцию, то есть к каймакану. Если и там не удавалось прийти к согласию, то тяжбой занимался кадиаскер. И, наконец, если и последний не мог решить дела, то проблемой занимался ханский диван, что было вполне в демократичных традициях ханства. Добавим, что эта демократичность сказывалась и на самой процедуре отправления правосудия. Кадиаскеры получали в год 3 000 пиастров только от хана, с тем, чтобы они держали «открытый стол каждый день и угощали кофе и табаком всех посетителей» (*Клеман*, 1783. С. 109).

н) Другие административные лица центрального аппарата

Ограничимся простым перечислением этих чиновников, число которых веками оставалось неизменным:

---

[1] Мартин Броневский (ум. ок. 1593), небогатый польский дворянин, своей высокой образованностью, честностью и умом завоевавший доверие короля Стефана Батория. Был приближен ко двору, а в 1578 г. отправлен к Мехмед-Гирею II со специальной миссией.

Дефтердар-ага — казначей, обер-контролёр финансового ведомства и главный хранитель соответствующей документации.

Казнадар-ага — нечто вроде министра финансов ханства.

Мубашир-ага — чиновник, отвечавший за выделение хану части походной добычи (обычно она составляла 1/5 трофеев).

Тат-ага — главный распорядитель лесов и земель на Южном берегу и части гор, имел реальную административную власть над местным населением ("татами").

Актачи-бей — шталмейстер, главный начальник ханских лошадей и конюшен. Имел почётную обязанность держать ханское стремя.

Килардж̀и-баши — гофмаршал, в чьё ведение входил дворцовый персонал, хозяйство и часть финансов.

Капуджи-баши — начальник охраны дворца, в особо важных случаях выполнял обязанности ханского порученца или фельдъегеря.

Селердар-ага — начальник придворных оруженосцев.

Куллар-ага — начальник придворных служителей.

Диван-эфенди — секретарь государственного совета (дивана) и его главный делопроизводитель.

Сыр-китаб — начальник архивной службы.

Байрам-ага — дворцовый распорядитель пиршеств в праздники.

Чашангыр-баши — начальник ханской кухни.

Капыкулу-баши — начальник личного конвоя (гвардии) хана.

Кадии — точнее всего было бы их назвать мировыми судьями, так как они не назначались сверху, а избирались на местах. В 5 кадылыках их избирали знатнейшие бейские роды, в 28 кадылыках — мурзы и другие землевладельцы, в 4 — турецкий султан, а в остальных кадылыках полуострова и 3 кадылыках за Перекопом — лично хан.

о) Мурзы Крыма

Вспомним, что сам этот термин является искажённым словосочетанием *эмирзаде*, то есть «сын князя» (*перс.*) или, что то же самое, дворянин. Крымские эмиры представляли собой довольно малочисленную (по сравнению с их не столь благородными соотечественниками) прослойку. Настоящие, потомственные дворяне-мурзы (о личном дворянстве капы-кулы речь пойдёт ниже) уже по своему рождению должны были являться великодушными главами родов, беззаветными патриотами и бесстрашными охранителями Крыма, людьми долга и чести. Они не могли совершать позорных поступков, так как это бросило бы тень не только на них, а на весь род, на предков и даже далёких потомков той же славной фамилии, уходившей своими корнями во тьму минувших столетий.

С другой стороны, даже самый великий подвиг крымскотатарского воина или, например, крупная заслуга в служении роду Гиреев не могли стать веской причиной для возвышения простого человека в степень мурзы. Французский резидент при дворе Крым-Гирея, барон Франсуа де Тотт, внимательно изучавший историю и обычаи крымских татар, отметил, что «цепь ханов идёт неразорванной от Чингиса до наших дней... Так же и мурзы, чьи родовые корни доказанно прослеживаются до спутников Чингиса, образуют высшее дворянство, которое

называется по именному порядку, и никаких новых родов туда не может быть допущено» (*Tott*, 1785. T. I. P. 117–118).

Через столетие о том же писал один из авторов первой крымскотатарской газеты: «Самые могущественные ханы не могли удостоить кого-либо благородством мурзы или бека (бея). Из простых, но способных людей ханы могли производить казначеев, великих судей, везирей, военачальников, но не могли производить их в члены племенной аристократии. Генеалогия очень многих благородных фамилий теряется в глубине веков. Многие крымские мурзацкие фамилии, как, например, Аргин, Кипчак, Мансур, Яшлав, Булгак, много древнее царствовавшей в Крыму династии Гиреев, восходя ко временам Чингис-хана и далее» (*Терджиман*. 10. 06. 1897).

Мурзы владели имениями, полученными от хана в качестве *сююргала* или удела. То есть это было владение, но не собственность: при каждом новом хане земля и привилегии раздавались заново. Другое дело, что они вновь закреплялись ханскими ярлыками за теми же мурзами в качестве наследственного владения. В этих подтвердительных актах указывались не только права или привилегии мурз, но и их обязанности. В XV–XVI вв. их обнаружено 56, затем число таких владений превысило сотню. На них никто не претендовал и не посягал, если даже глава рода становился на сторону врага (или претендента на престол) правящего хана.

Более того, они обладали и весомыми политическими правами. В качестве наследных владетелей мурзы подписывали международные документы, если в них шла речь о землях, где издавна селились или кочевали предки этих дворян. Так, к примеру, даже на относительно позднем документе, союзном трактате, заключённом 23 января 1711 г. между ханством и Запорожьем (о позволении казакам жить в заперекопской степи, причём политически одной жизнью с крымскими татарами), мы не обнаруживаем подписей ни калги, ни нуреддина Девлет-Гирея II. Зато здесь широко представлены не только беи, могущественные Ширины, Мангыты или Тайганы, но и мурзы — почти сплошь ногайцы по происхождению: Девлет-шах-мирза, Ахмед-шах-мирза, Али-шах Ширин, Мустафа Ширин, Хасан-Бетмур Ширин, Тухмис-эмир Ширин, Тухмис-эмир Сеид, Мурад-шах Ширин, Эльшаги-калга Ширин, Мехмед-Шамир Мангыт, Мубарек-Шахмурза Ширин, Хусейн-агъа Эль-Каги, Хасан-мирза Мансур, Каплан-мирза Ширин, Султаншах-мурза Мансур, Зафершах-бей, Шагин-Тимур-мирза, Баздаг-агъа, Хусейн-мирза Бардаз, Шагин-мирза Кыпчак, Адиль-мирза Тайган (Переписка, 1847. С. 49–50).

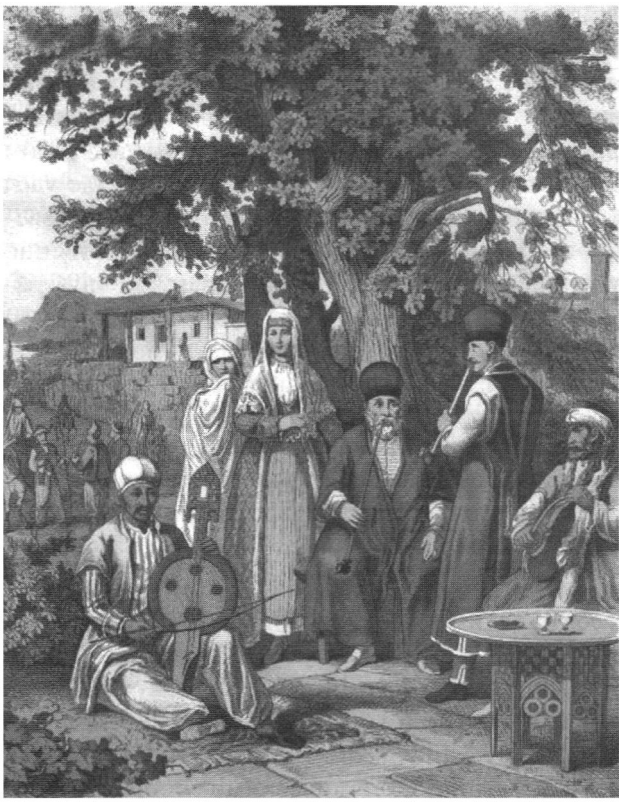
Имелось в Крыму и неродовое, личное, но становившееся потомственным сословие уже упоминавшихся *капы-кулы*, обладавшее некоторыми из мурзинских прав, но в большей мере — обязанностями этой воинской элиты. Прослойка капы-кулы формировалась из простонародья, а заслужить такой статус было довольно просто. Для этого нужно было получить достаточно глубокое светское образование, имевшее практический спрос, или же выдвинуться в качестве лидера на воинском или хозяйственном поприще. Короче, нужно было стать более иных полезным бею или хану и не терять этого важного достоинства. Такое служилое «полудворянство» формально имело свои земли и хутора во временном, служебном пользовании. Эти капы-кулы постоянно *работали*, кое-кто из них служил при дворе, но основная часть заполняла немногочисленные судебные и иные присутствия ханства.

Когда-то, при обретении обычным подданным титула-должности капы-кулы, он получал от хана удел. И, как это практиковалось с мурзами, при каждом новом государе это недвижимое имущество как бы вручалось соответствующему «полудворянину» заново (речь идёт только о 39 *ханских* кадылыках; тогда как в пяти бейских и четырех османских порядки были несколько иными). Таким образом, этот порядок был прямой противоположностью турецкому, где удел (тимар) давался не по происхождению (а практически — по праву наследования), как в Крыму, а часто за личные заслуги, которые должны были постоянно «возобновляться», повторяться, что повергало тимариотов-дворян в полную зависимость от султана. Крымское же рутинное обновление прав на землю было простой формальностью. Кто мог знать, что придёт время, и эта простая традиция, не отягощённая бюрократической волокитой, станет причиной полного обезземеливания старинных мурзинских и не столь древних капы-кульских семей, не сумевших документально доказать перед российскими властями (после аннексии Крыма) свои владельческие поземельные права...

Было отличие и между мурзинскими и бейскими, то есть истинно аристократическими фамилиями. Члены бейских родов имели право родниться с Гиреями-наследниками, что весьма часто случалось в реальности. Обычные же мурзы, бывало, тоже брали за себя ханских дочерей, воспитывали потенциальных наследников престола, но в малочисленную элиту аристократии вход для них был закрыт. Наконец, небогатые в своём большинстве капы-кулы крайне редко роднились с мурзинскими домами (не говоря уже о бейских): брачные пары составлялись старшими членами мурзинских фамилий, руководившимися родоплеменными традициями, хозяйственно-экономическими соображениями и т. д., короче, соблюдали древние условия, которым капы-кулы не отвечали.

Сильно отличаясь друг от друга по древности рода, фамильным заслугам и богатству, мурзы, тем не менее, образовывали некий единый военно-интеллектуальный костяк ханства. Они были его авангардом[1]. Гиреи весьма ценили их в этом и иных качествах, мурзы были избавлены от суда кадиев низшего ранга. Это был бы неправый суд, так как они сами выбирали кадиев по месту своего жительства. Поэтому в случае возникновения тяжб или иных гражданских или уголовных дел дворяне отправлялись в столицу, на разбирательство кадиаскера, дивана калги или хана. Случалось это крайне редко, обычно конфликты решались полюбовно, в узком

[1] В этом отношении положение мурз сравнимо с западноевропейскими дворянскими правами — но не с российскими. В России дворянские права были фактически уничтожены петровской «Табелью о рангах», согласно которой дворянином становился любой разночинец, сделавший карьеру на одном из государственных поприщ — военном, штатском или придворном. В отличие от старого, аристократического дворянства, имевшего стойкие понятия о нравственности, о долге перед отчизной, о сохранении и умножении чести древней фамилии, это были люди, целиком зависевшие от царя, и оттого в большинстве своём имевшие рабскую психологию. Они быстро стали большинством в своём сословии и тем самым свели роль старинных родов в политической жизни державы к незначительной. Эти откровенно дряблые плебеи послушно исполняли любую деспотическую прихоть царей вместо того, чтобы противостоять ей, как это было в Крыму или, отчасти, в допетровской России (Подр. об этой проблеме см. в: *Гордин*, 2010. С.168, 188–189).



Музыканты во дворе мурзы.
Музей Ларишес

кругу, чтобы избежать позора публичного разбирательства. Ведь, как утверждают старые источники, мурзы с древних времён дорожили честью рода и поэтому «вели себя гордо, честно и вообще прилично привилегированному сословию» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 179).

Явно в связи с такими понятиями о сословной этике дворяне не могли заниматься ремеслом или торговлей; единственным занятием, соответствующим их чести, была война (в единственном источнике автору этих строк встретилось упоминание о мурзе-враче, но это было уже в начале XIX в.). Зато они в большинстве случаев исполняли административные обязанности на местах жительства или расположения их владений. В быту мурзы отличались высокоуважительным отношением друг к другу, которое при личном общении выглядело чрезвычайно церемонным. В этом очевидно соответствие традициям дворян Западной Европы, которым они нисколько не уступали ни в манере общения, ни в тонкости обычаев (*Büsching*, 1785. S. 321–322).

Отличие же от последних заключалось, во-первых, в полном отсутствии как чванства по отношению к «неблагородным» соотечественникам, так и угодничества перед ханом, не говоря уже о бейской аристократии (другое дело — послушание старшему в своём роду). Второе отличие состояло в неприемлемости дуэлей. Как они сами объясняли эту тонкость своего кодекса о чести, «мужчина проявляет своё мужество только на войне» (*Haxthausen*, 1847. S. 423). Но это ка-

салось только мурз собственно Крыма, у ногайских дворян дуэли допускались, и были они нередко весьма кровавыми (*Ферран*, 1842. С. 44).

Доходы дворян, как высших, так и низших, складывались из повинностей, которыми им были обязаны крестьяне, садившиеся на землю, числившуюся в мурзинском владении. Размеры этих повинностей уже были рассмотрены в соответствующем разделе; здесь же отмечу, что при всей скромности таких выплат (почти исключительно натуральных), мурзам их вполне хватало, что объяснялось тремя причинами. Во-первых, дворянам не менее, чем крестьянам, были свойственны такие национальные крымскотатарские черты, как нетребовательность в быту и личная скромность. Во-вторых, пока шли войны, они приносили воюющему дворянству нестабильный, но верный доход. В-третьих, хан не брал с дворянских имений ни копейки, полностью удовлетворяясь хараджем и джизьёй с иноверцев, живущих на территории конкретного мурзы (лишь при объявлении войны каждый кадылык сдавал в казну 1 000 пиастров и пароконную мажару, гружённую просом или сухарями).

Ещё одна характерная черта быта крымских дворян состоит в том, что они принимали деятельное участие в юридическом упорядочении отношений между гражданами, находящимися под их покровительством. Злоупотреблений властью при этом было меньше, чем можно было бы ожидать, так как тяжущиеся обращались к своему мурзе добровольно, если он действительно пользовался авторитетом, — ведь была альтернатива, то есть возможность решить дела у местного кадия. Имели место и иные признаки сохранения старых порядков, когда большинство административных функций оставались за мурзами — так отпадала необходимость во множестве чиновничьих должностей в административной системе ханства. В результате, среди прочего, сберегался тот самый драгоценный коммунальный дух (в других странах давно удушенный чрезмерной централизацией власти), что делал абсолютно ненужным и непонятным любой сепаратизм, который и в самом деле был Крымскому ханству совершенно несвойствен.

Всего крымских мурзинских родов было около двухсот.

п) Улемы и муллы

Общепринято считать центром крымской учёности Бахчисарай и конкретно, медресе Зинджирлы, что, в общем, верно. Но при этом нельзя забывать, что в Крыму таких центров было несколько. Одним из них, к примеру, был Карасубазар, где и в XVII в. насчитывалось 5 медресе, где было «много татарских улемов, совершенствующихся в науках познания сущности, постигших море смысла и сокровищницу фундаментальных знаний» (*Челеби*, 1999. С. 73). Количество учёных ханства в различные периоды его истории вряд ли когда-либо будет определено, да это и не столь важно. Гораздо интереснее сведения об уровне профессиональной подготовки этих мудрецов, и здесь имеются совершенно объективные свидетельства.

Известно, что уже в Средние века на Востоке была распространённой практика международного обмена преподавателями высшей школы. Крым в этом отношении далеко не был исключением. Более того, крымские улемы весьма ценились даже в таком центре учёности, каким в эпоху мамлюкских султанов стал Каир. Например, в XIV в. в ведущих медресе этого города — Ас-Сарагат-мышийа,

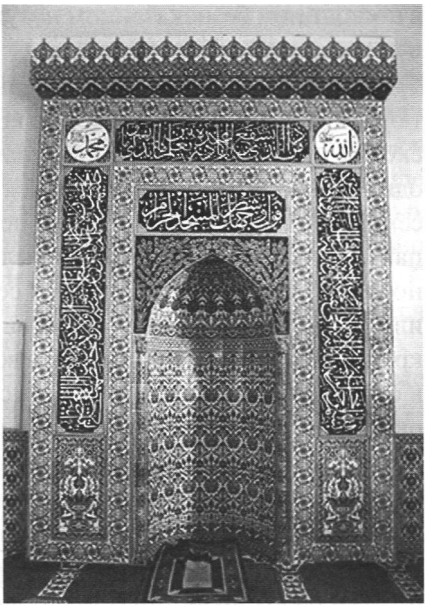
Ал-Бейбарсийа и Ал-Ашрафийа — преподавали крымские учёные, самым известным из которых был Дия ал-Кырими (*Крамаровский*, 2000. С. 133). Имеются сведения и о других державах Ближнего Востока, в медресе которых блистали эрудицией крымские профессора. Впрочем, формально этого звания тогда ещё не существовало; таким же неопределённым (на современный взгляд) был статус улема, его отличие, скажем, от положения обычного муллы, знающего предмет своих занятий, но никогда не имевшего учеников. Трудно определить и социальный статус учёных того периода истории ханства.

Некоторые исследователи относят служителей ислама, науки и права к третьему классу крымскотатарского дворянства, в чем есть свой резон. Действительно, ведь они не являлись духовенством, а были скорее служилым сословием, как и капы-кулы[1]. Члены учёного сословия имели свои вакуфные «уделы» (точнее, мечетные, но управляемые исключительно муллами, которые отчасти и доходом с вакуфов распоряжались), пусть даже не столь богатые, как у беев, но сравнимые с мурзинскими. И, главное, они получали средства к пропитанию именно от этих имений, хуторов, частей вакуфной недвижимости, даже от мест паломничества и от текие (средства, пожертвованные прихожанами или богатыми благотворителями).

Эта традиция почти полностью соответствует практике раздачи ленных участков в кормление *дворянам*, и резко отличается от соответствующей традиции централизованного обеспечения жалованьем *духовенства*, как это было и остается в большинстве стран Запада и кое-где на Востоке. Такой порядок давал крымскотатарским вероучителям и учёным то, чего были лишены целиком зависящие от собственной паствы православные священники, а именно: свободу, возможность духовной миссии, подчинённой единственно положениям Корана и сунны и полностью независимой от мирских забот о пище земной, от светских владык.

У этого сословия были и свои «беи» — несколько родов, вокруг которых группировались мелкие, менее значительные семьи потомственных законознатцев-улемов или выбившихся в интеллигентные духовные круги сыновей простых крестьян. Речь идёт о 4 шейхских родах, обладавших немалым имуществом и политически

[1] Термин «Мусульманское духовенство» если иногда в литературе и допускается, то лишь в метафорическом употреблении. В строгом же понимании он недопустим, так как логически противоречит своей содержательной сути. Мулла, в отличие от раввина, ксёндза или священника, не является носителем божественной благодати. Мечеть с её служителями также не является посредницей между человеком и единым Богом, на что претендуют церковь, синагога и кенаса. Уже поэтому вероучителем в мечети может стать любой прихожанин, обладающий достаточными знаниями и авторитетом среди прихожан и ими избранный без какого-либо посвящения в сан, как в других авраамических религиях. Единственная «привилегия», которая присуща такому служению — это обязанности муллы или хатипа руководить религиозной жизнью общины, являясь для неё примером нравственного, исламского поведения, а также заботиться о высоком моральном и духовном уровне членов джемаат, о порядке общего бытия и верности традициям предков. Правильнее было бы называть это сословие «людьми религии», так как к нему относятся не только мечетные проповедники (муллы или хатипы), но и учителя мектебе и медресе, улемы-учёные, пришлые суфии-шейхи, а также местные руководители текие и целых братств, кадии-судьи и другие мусульмане, посвятившие себя делу просвещения, служению Богу в мечети, науке или судопроизводству (Подр. см.: Ислам т. Р. Т. II. С. 67).



Мимбар алуштинской мечети Юхары-Джами

влиятельных (они постоянно поддерживали связи с ханским двором и зарубежным миром ислама). В качестве опоры для оказания духовно-идейного и воспитательного влияния на соотечественников они распоряжались соответственно четырьмя практически *фамильными* текие в Крыму. Поэтому они скорее всего и сами принадлежали к числу членов суфийских братств. То, что прямых указаний на их принадлежность к одному из суфийских течений не найдено, ни о чём не говорит. В местах широкого распространения суфизма (а Крым был именно таким регионом), среди крымцев, тесно связанных с той или иной текие, упомянутая принадлежность считалась более чем обычной, и странным было бы её отсутствие.

р) Тёрэ и шариат как нравственно-правовые источники

Придя в Крым, османы завладели его юго-восточной береговой и предгорной частью — от Инкермана до Кафы, составлявшей едва 1/10 территории полуострова, даже учитывая занятые турецкими гарнизонами крепости Перекоп, Арабат, Гёзлёв и Еникале. Но, получив таким образом в свое владение важнейшие прибрежные стратегические опорные пункты, султан всё же не мог силой небольших янычарских гарнизонов контролировать всю военно-политическую обстановку в ханстве.

Менгли-Гирей I подчинился султану добровольно на условиях, которые, очевидно, были обговорены им с Мехмедом II. Хотя вряд ли правы некоторые авторы (напр., *Хартахай*, 1866. С. 201), считавшие, что здесь был заключен формальный договор о вассалитете Крыма. Скорее всего, вассальные эти отношения устанавливались более или менее спонтанно в зависимости от конкретного положения обоих государств на данный момент. Так, при первых Гиреях они выражались

в постоянном безнаказанном нарушении турками *чингизидской тёрэ*, а конкретно, в праве наследования престола[1].

Отвлечёмся ненадолго от Крыма ради кочевого прошлого одной части его тюркского населения, а именно кочевого кыпчакского народа (у огузов были несколько иные традиции, иная память). Некогда слово *юрт* означало шатёр на одну семью, который помещался на большой повозке, что-то вроде огромной семейной кибитки. Эти юрты передвигались и собирались на стоянках группами, одно из имён которых было *къош*. Более крупное объединение совместно кочующей группы тюркских семей называлось *аймак* (примерно 3 000 юртов или 15 000 человек). Несколько аймаков составляли *орду*, несколько орд — более крупный племенной союз, чаще всего называвшийся *улусом*. Наконец, все улусы в совокупности составляли тюркскую (или монгольскую) монархию или империю. При правителе этой империи (он мог называться и ханом, и падишахом) существовал совет старейшин аймаков, орд, улусов, называвшийся *курултай*.

Но и этот верховный правитель-хан не был схож с западным королём, пусть даже ограниченным условиями капитуляции[2], не говоря уже о дальневосточных и иных например, персидских деспотах. Падишах (или хан) тюрков оставался по сути своих функций и прав *старейшиной*, не более, но и не менее того. Случалось, конечно, что эти правители пытались хотя бы внешне позаимствовать блеск деспотической власти, к примеру, от китайской имперской системы. Но эти попытки чисто внешней стороной дела и ограничивались (в титулах тут не было никаких ограничений, кроме бедности собственной фантазии).

Вот такое наследие и определило отдельные черты крымскотатарской административной системы (куда точнее было бы назвать её патриархально-*хозяйственным укладом*). По сравнению с прежней жизнью не изменилось почти ничего, разве что женщины стали лица закрывать, да шариат смешался с тёрэ. И ещё одно: старое деление на юрты в Новое время приняло словесно иную форму, и уже при Девлет-Гирее II юрты привычно назывались *казанлар* (котлы или очаги), которых тогда насчитывалось 70 000, что означало общую численность населения в 400 000 человек (*Тунманн*, 1936. С. 23–24). Позднее казан в форме двора как соединения женатых членов семьи, живущих «на общем хозяйстве», полностью сохранил своё значение основной или первичной ячейки-члена сельской или городской джемаат Крыма (*Лашков*, 1887. С. 30). Сказанное целиком относится и к колониальному периоду в истории народа, включая начало XX в.

---

[1] Собственно, тёрэ в большинстве аспектов может рассматриваться как прямая аналогия более общему институту *адата*. Поэтому в дальнейшем рассмотрении этой темы стоит иметь в виду, что шариат и тёрэ (как составной, двуединый источник, из которого проистекало собственно мсульманское право) — это своды норм и положений, расходящиеся друг с другом лишь внешне, формально, а на практике взаимообогащающие, дополняющие и даже частично заменяющие друг друга

[2] Капитуляция — договор между королём и аристократией, своего рода «конституция», ограничивавшая права и власть абсолютного монарха и дававшая дворянам право (даже обязывающая их) на свержение их суверена, если он нарушит закон. Капитуляции были характерны для европейских стран в Средние века, а также, под другим наименованием, и в Новое время.

В своей крымской форме этот неписаный ордынский кодекс предполагал, как указывалось выше, избрание нового хана строго по старшинству. Следовательно, чаще таким кандидатом становился не сын, а брат прежнего хана. Турки же, придерживавшиеся и в Крыму шариата в его чистом виде, нередко выдвигали на этот пост какого-нибудь из ханских сыновей. Они постоянно держали у себя в Стамбуле одного или даже нескольких из них под предлогом обучения и вообще воспитания при дворе наместника Пророка. На деле же они разжигали в юных принцах крови жажду власти, соблазняя их вполне реальной возможностью рано или поздно отведать «халвы властительства». Недаром ведь старинная крымскотатарская пословица (она была распространена и среди турок) гласит: «Бойся султана (т. е. принца крови. — *В.В.*), как только он стал ростом с кнутовище!»

Вообще об этой проблеме было сказано подробнее в другом месте; здесь же заметим, что если тёрэ не оставляла места сомнениям в выборе нового хана, то турецкое вмешательство делало споры о престолонаследии, по сути, постоянными. Причём если в других государствах тронные интриги обычно вели к явному или тайному конфликту между отцом и сыном, то в Крыму — между племянником и его дядей.

Нельзя сказать, чтобы крымцы воспринимали внедрение законов шариата безропотно. И если турки, понимая опасность национального единения татар в заморской провинции, всячески ему препятствовали, избрав орудием шариат, то татары с неменьшим упорством этому сопротивлялись. И даже если на бахчисарайском троне оказывался послушный Порте хан, обещавший ей любую поддержку, то взамен он просил, как правило, прежде всего, разрешения сохранить освященный временем и традицией закон тёрэ, в частности, порядок выбора хана, калги и нуреддина, хотя, по крайней мере в старинных законах, ни калга, ни нуреддин не упоминались, поскольку эти посты сами по себе были сравнительно молодыми, установленными уже в Крыму.

В случаях, когда тёрэ входила в прямое противоречие с шариатом и хан предпочитал оставаться правоверным мусульманином, этот выбор мог и осуждаться как сделанный в противность обычаям предков. Так, Мурад-Гирей (1678–1683), перечисляя грехи своего недавнего предшественника Селим-Гирея I (по отношению к которому он испытывал острую ревность), не преминул указать, что тот «слишком уж подчинялся велениям султанов османских и совершенно упразднил *тёре чингисскую*, применяя ко всякому делу *шариат,* он причинил вред Крыму». Этот же хан вообще упразднил должность кадиаскера, а на ключевую должность верховного судьи поставил знатока старины из вельмож коренной национальности, назвав новый статус *тёрэ-баши* (*Смирнов*, 1889. С. 311–312). Правда, эти нововведения не прижились, вскоре были резко осуждены народом и отменены, но показателен сам факт их возможности, непредставимый в той же соседней Турции.

Итак, в Крыму при османах стал преобладать шариат, и, хотя народ было трудно заставить придерживаться этого закона стопроцентно, руководствоваться только его рамками, крымские татары в целом приняли основное шариатское положение, о том что земля не может принадлежать никому, кроме Бога, и что пользоваться на правах собственности ею может только тот, кто вырвет её из мира косности, оцепенения, кто оживит её. То есть этот, самый существенный из законов (по сути, закон о существовании вообще), был не из тёрэ заимствован,

а сформулирован в полном соответствии с Кораном, иджмой, сунной и учением имамов-муджтахидов[1] Абу Ханифы, Мухаммада аш-Шафи, Малика бен Анаса и Ахмада бен Ханбала, в особенности же с *мазхабом* первого из них, и поныне действующим в Крыму. И этот безусловно исламский канон придавал всей жизни и деятельности народа Крыма такие качества, как стабильность, мудрая консервативность и единообразие равноправия, справедливости.

Таким образом, тёрэ было не каким-то действующим в социальной или экономической сфере правовым сводом, а, скорее, таким же отголоском старинной, кочевнической, романтичной духовности, как любовь к степным просторам которая сохранялась даже среди жителей городов крымского Предгорья. Любопытно, что упоминавшийся только что хан Мурад-Гирей открыто гордился своей приверженностью к чингизидским обычаям. Именно этим он оправдывал, в частности, свою малую щепетильность в употреблении запрещённых шариатом напитков, которые хан выписывал даже из Москвы (впрочем, речь идёт не о вине, действительно запрещённом, а об особо крепкой водке, горелке). Эти напитки подавались на пиршествах, до которых этот Гирей был большой охотник — что в Бахчисарае, что в походах.

Но соотечественникам Мурада, его эмирам и беям именно эти, по сути, *чингизидские* привычки и обычаи, «эта-то его приверженность к своей татарской старине особенно и нравилась, так что они почитали его больше всех других членов его рода» — так, во всяком случае, уверял Сейид-Мухаммед Риза, автор старинной хроники *Семь планет* (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 606). А ещё более известный писатель, Эвлия Челеби, знакомый с проблемой крымской тёрэ не понаслышке, отразил эту двойственность, эту духовно-земную сущность крымских татар в одной гениально краткой фразе: «Это очень богомольные и не слишком обременяющие себя [запретами] воины» (*Челеби*, 1999. С. 9).

Там же, где тёрэ не противоречила шариату, ханы, конечно, оставались правоверными мусульманами. Более того, ценя религию в целом и как опору своей власти, обоснование её законности и необходимости, они уделяли немало внимания тому, что сейчас называют «религиозной пропагандой». Казалось бы, мелочь, но каждый новый хан, прибывая от султана с атрибутами власти, ступал на крымскую землю в строго определенном месте. Причем не в наиболее близком к Бахчисараю порту Ахтиаре, а в оплоте правой веры, Гёзлёве, где уже в середине XV в. высилась соборная мечеть, занимавшая особое место среди мусульманских святынь Крыма. Некоторые ханы, например, Арслан-Гирей, проявляли какое-то подчёркнуто уважительное отношение к Гёзлёву, строя здесь медресе и мектебы, украшая его фонтанами и чешме, учреждая богатые вакуфы в виде практически бесплатных караван-сараев, общественных бань, возводя мечети (*Смирнов*, 1889. С. 328–329). Правда, этот обычай устоялся к более поздней фазе ханского периода. Но и предшественник упомянутого хана, Менгли-Гирей I, получив в Порте право

[1] Имамы-муджтахиды — богословы высшего уровня учёности, опыта и авторитета, имеющие право самостоятельно или коллегиально выносить решения по важнейшим вопросам мусульманского духовного и гражданского права. Перечисленные имамы не были первыми из муджтахидов, но они основали четыре канонизированные богословско-правовые школы или направления в богословии — четыре *мазхаба*. Об особенностях упоминаемого ниже *ханафитского* мазхаба см в: Ислам, 1991. С. 273.

на престол, остановился в 1478 г. здесь в своем степном дворце и лишь после того, как при стечении массы правоверных была отслужена торжественная служба, отправился в Бахчисарай в сопровождении гёзлёвского дворянства и духовенства.

Гораздо позднее, в XVII–XVIII вв., противостояние тёрэ и шариата переходит в чисто политическую плоскость. Заперекопские ногайцы по причинам своего устойчивого культурного консерватизма, были большими, чем, собственно, крымцы, сторонниками старого закона. Поэтому некоторые ханы (например, Девлет-Гирей II, 1699–1702) после подавления ногайских мятежей или в качестве кары за своеволие кочевников вводили штрафные санкции за несоблюдение законов шариата, за их подмену древними традиционными положениями тёрэ.

Наконец, уже в наше время вряд ли кто-либо (включая теоретиков исламского права и практикующих вероучителей) всерьёз озабочен проблемой сработанности, соответствия, непротиворечия тёрэ и шариата. Самым наглядным и глубоким доказательством тому может служить всеобщее участие мусульман в праздновании Навреза, Хыдырлеза, Дервизы, Йыл геджеси. Эти праздники, безусловно, отражающие и демонстрирующие древние, доисламские традиции и верования, не только не осуждаются крымскими муллами, но и освящаются практически наравне с другими торжествами, имеющими чисто исламское происхождение. То же самое можно сказать и о некоторых местных святых: их чтут, невзирая на то, что далеко не все эти исторические лица являлись мусульманами.

c) Проблема зависимости от Турции

Кстати, с той же целью, а именно ради укрепления трона, Менгли-Гирей учредил сан и должность калги — нововведение, ничего общего с исламской идеологией не имеющее. Оно сохранилось после смерти этого хана, и, казалось бы, теперь путь к вмешательству Стамбула в дела крымского престолонаследия был закрыт — ведь хан сам мог назначить себе преемника. Однако при наследниках великого хана, как правило, уступавших ему в уме и дальновидности, институт преемничества стал использоваться с диаметрально противоположной целью (впрочем, не вполне по их вине). Султаны неоднократно назначали и калгу, и даже нуреддина по своей воле, отчего признавший этот выбор хан расписывался в отказе от собственной линии как во внешней, так и во внутренней политике, — в противном случае его смещение Стамбулом становилось делом чистой техники.

Ну, а что касается первого крымского калги, затем хана Мехмед-Гирея I, то он как бы в насмешку над стремлением Менгли укрепить таким образом престол Гиреев был в 1523 г. зарезан вместе с очередным калгой. Причем свершили это двойное убийство сами крымские аристократы, создавшие с этой целью комплот из беев-оппозиционеров. Не исключено, конечно, что они были связаны со Стамбулом, тут же приславшим воспитывавшегося до того при султанском дворе нового хана Саадет-Гирея I. То, что он был сыном погибшего в Крыму Мехмеда, никакой роли, конечно, не играло: его постфактум «избрали» на трон те же беи, что убили отца. О чувствах, которые испытывал при этом к своему дивану Саадет-Гирей, можно только догадываться...

Как видно, «избрание» хана беями стало отныне простой формальностью. Но и она была отменена чуть позже, в 1584 г., при утверждении на троне Ислам-Гирея II,

кстати, первого, при ком на торжественных службах в мечетях имя османского халифа стало упоминаться *до* имени властителя Крыма. Отныне султану было достаточно прислать из-за моря одному из беев ханские аксессуары (почетную соболью шубу, саблю и шапку), а также *хаттишериф* (соответствующий указ), как правящий хан безропотно уступал место избраннику Порты и готовился в дальний путь. Чаще всего на о. Родос, обычное место ссылки опальных вассалов.

Чем же руководствовались турки, устраивая подобную бесконечную чехарду? Прежде всего, кажется, опасением, что у власти может оказаться хан, пользующийся единодушной поддержкой татар, популярный среди крымчан. Так, например, Мурад-Гирей (1678–1683), который был весьма авторитетен как среди дворян, так и среди простого народа благодаря своей удачной независимой политике, а также из-за приверженности к древним традициям, был снят Стамбулом именно за это. Однако, когда выяснилось, что место столь популярного в народе государя не осмеливается добровольно занять ни один бей, турки решили назначить преемника силой. Избрали они при этом Хаджи-Гирея II, руководясь единственно веским для них аргументом в пользу последнего, — крайней неприязнью к нему крымчан, которые, между прочим, и свергли его через полгода.

И это далеко не единственный пример нарушения населением Крыма установленного Стамбулом порядка. Приведу высказывание одного из крымских лидеров, достаточно характерное для данной ситуации, записанное Абдуллой ибн-Ризваном, историком Египта и сыном турецкого наместника в Кефе. Он пишет, что после смерти Селямет-Гирея I (1610) разгорелось соперничество двух кандидатов на бахчисарайский престол, а именно Мехмед-Гирея и Джанибек-Гирея. И когда отец историка, Ризван-паша, посоветовал одному из претендентов, Мехмеду, обратиться за поддержкой к султану, то услышал гордый ответ: «Какое касательство имеет род Османов к государству Дешт-и-Кипчак, чтобы я получал от него назначение? Во-вторых, разве над моим мечом возвышался чей-то меч, чтобы я покорно просил у рода Османов об избрании на царство, принадлежащее мне по наследству?» (цит. по: *Зайончковский*, 1969. С. 19).

Повторяю, таких случаев отторжения властных поползновений Стамбула было немало, хотя действующие лица менялись (ими могли быть и аристократы, и массы простого народа), как менялись и сценарии оппозиционных выступлений, актов неподчинения, местных переворотов и т. д. Вообще тема ханского правления в Крыму очень сложна, и выводить какие-то закономерности без специального исследования мы не решились бы, как и безапелляционно заявлять, что «крымские ханы являлись простыми чиновниками турецкого султана, которых он менял как перчатки» (*Надинский*, 1957. Ч. I. С. 67). Ложность этого утверждения не раз доказывалась на протяжении долгой и славной истории правления Гиреев.

Аргументом в пользу данного мнения может быть не только то, что фактически было, но и то, что могло быть, но, слава Богу, в Крыму не имело места. Имеется в виду атмосфера угнетённости, насилия и духовного распада в некоторых иных регионах, население которых также исповедовало ислам, но оказалось действительно, а не на словах подавлено имперским гнётом Порты. Вот правдивое описание такого вилайета в XVII в.: «Эта полицейская система террора, естественно, должна была сделать Боснию мёртвым членом империи, ибо больше не верят приятель приятелю, отец сыну, друг другу, ибо каждый опасается осман-

ских доносчиков и счастлив, если о нём не слышно в стране...» (*Селимович*, 1969. С. 345). Конечно, *такого* и близко не было в ханском Крыму, благословенном всеми мыслимыми свободами и человеческими правами — на этот счёт собрано достаточно доказательств, некоторые из них приводились выше.

Гораздо хуже на сегодняшний день исследована другая проблема чисто экономических результатов верховенства Оттоманской порты над Крымом. Поэтому нам до поры до времени остаётся лишь держать в памяти простой факт: значительная доля совместного продукта, производившегося в Крыму или причитавшегося крымским татарам, уходила за море. Так, к примеру, доходы от второго после Кефе торгового порта Гёзлёва целиком шли в казну султана, который лишь изредка возвращал какую-то часть из них Гиреям (*Peyssonel*, 1787. P. 8, 11, 259).

И, наконец, проблема культурного взаимодействия Крыма и Турции. Оживлённые и обоюдовыгодные контакты в эпоху Проторенессанса в XVI в. сменились длительным застоем. Основной его причиной были не какие-то перемены во внешнеполитических отношениях — они оставались на прежнем, весьма высоком уровне. Кое-что изменилось в культурной жизни самой Турции, причём не в лучшую (в общецивилизационном смысле) сторону.

В конце этого века высокоразвитые османские наука и искусство были побеждены, по единодушному мнению турецких историков, *фанатизмом* (*Inalcik*, 1994. P. 179). Причём эта смена курса общекультурного развития была быстрой и радикальной. Об этом говорит всего один пример. В 1577 г. при султане Мураде III в Галате была выстроена великолепная астрономическая обсерватория, причём с весьма почтенной научной целью уточнения знаменитых «Таблиц» Улугбека. Достаточно сказать, что обсерватория *такого уровня* была в ту эпоху единственной в мусульманском мире, она ни в чём не уступала (кроме известности в Европе) даже устроенной в Дании обсерватории великого астронома Тихо Браге, а кое в чём и превосходила её[1]. Через три года, в течение которых в стране светские культура и наука подверглись атаке со стороны фанатиков, Галатскую обсерваторию сравняли с землёй.

Это варварское преступление было совершено руками полуграмотных янычар, но показательно здесь другое: оно было одобрено теми, кто должен был по долгу своего призвания стоять на защите исламской науки, — местным имамом и самим шейх-уль-исламом империи (*Inalcik*, 1994. P. 179). В дальнейшем раскол между исламскими культурными принципами и практикой оболванивания народных масс «главного оплота мусульманского мира» мог только углубляться. Светские, рациональные науки пришли в упадок. В это трудно поверить, но фанатики подняли руку на самое дорогое для всякого тюрка культурное достояние — книги. Когда в 1716 г., через несколько лет после падения великого визиря Чорлулу Алипаши, его богатая библиотека была конфискована, то очередной шейх-уль-ислам издал фетву, в которой тома, посвященые таким наукам, как философия, астрономия и история, были признаны «опасными». А это исключало их дальнейшее

[1] Турецкий астроном Мехмед Такийуддин (1520–1578), много сделавший для усовершенствования этой обсерватории, специально для выполнения своего исследовательского проекта сконструировал и собрал особо точные астрономические инструменты и приборы (в частности, прецизионные астрономические часы).

использование: книги законсервировали, навечно запретив передачу этой части коллекции Чорлулу Али-паши в общественные и научные библиотеки тех лет (*Inalcik*, 1994. P. 180).

Что мог заимствовать в *такой* Турции Крым, где в XV–XVIII вв. престол украшали ханы, всемерно поощрявшие именно те науки и искусства, что пришли в османской державе в длительный застой?

т) Значение турецкого верховенства для крымской государственности

Столь же сложен вопрос, почему Крым ханского периода так и не стал правильно организованным («регулярным», как говорили в Европе) государством, отвечавшим требованиям современности. Самый общий, лежащий на поверхности ответ («тому виной турецкое господство» и т. д.) страдает недостатком именно своей поверхностности, предельной универсальности. Его вполне можно применить к любой турецкой провинции той эпохи, но ведь положение каждой из них заметно отличалось от ситуации, в которой оказался с турецким нашествием Крым. Попытаемся поэтому выявить хотя бы основные особенности новой реальности, основные факторы, постоянно деформировавшие Крым как государство в течение «турецкого» периода его истории.

Прежде всего, нельзя не учитывать, что Крым, в отличие от большинства соседних, балканских вассалов Турции был чисто мусульманским государством и управляли им мусульмане местного происхождения, а не наместники султанов. На первый взгляд это должно было укреплять государственные начала страны, но на деле именно здесь таилась немалая доля их слабости. Для большинства средневекового населения Крыма, в отличие от других, христианских провинций Турции, ислам и шариат являлись непререкаемым руководством в жизни, определявшим модель их социально-экономической и, что здесь важнее, политической активности. Поэтому они должны были признавать верховенство султана по отношению к хану-земляку не только из-за сложившихся в результате завоевания Крыма реальных отношений подчиненности, но и исходя из религиозно-правовых положений, согласно которым султан являлся верховным халифом[1]. И именно султана, и лишь во вторую очередь хана упоминали по пятницам в крымских мечетях имамы и муллы, произнося торжественную хутбу. Да и сами ханы признавали верховенство султанов, давая им при вступлении на престол вполне земную клятву сражаться в любой войне на стороне Турции. Дополнительным, но весьма реальным аргументом в пользу весомости светского, т. е. военно-политического превосходства султанской власти являлись перечисленные выше турецкие крепости, весь султанский домен в Крыму.

Но вернёмся к верному в целом суждениею о том, что султаны своевольно избирали на крымский престол послушных им ханов и с помощью этих марио-

[1] Впрочем, некоторые историки считают, что до сер. XVIII в. статус халифа был равен султанскому, то есть не имел религиозно-иерархической окраски, которую получил позднее (*Гордлевский В.А.* Был ли турецкий султан халифом? (привесок к монографии В.В. Бартольда) // Известия отделения общественных наук АН Таджикской ССР. Вып. 5. Сталинабад, 1954. С. 17–27).

неток успешно сдерживали государственное развитие Крыма (см., например, в: *Хартахай*, 1866. С. 201; *Тунманн*, 1936 и мн. др.). Оно нуждается, тем не менее, в весьма важном дополнении, также свидетельствующем о своеобразии — на сей раз внутриполитическом — средневековой крымской действительности.

Во многом османам помогали и даже активизировали их, прямо скажем, антикрымскую политику сами крымские татары. Вернее, те из них, что оказывались способными принести общенациональные интересы единства и мощи государства в жертву собственным эгоистическим интересам. Неважно, какого плана были эти интересы — чисто экономического или династического, личного или родового, — но объективно они шли во вред Крыму, и в этом аспекте мы их рассмотрим.

Упоминание о неблаговидной роли в ослаблении Крыма, которую играла часть самих крымцев, может выглядеть в устах некрымских историков предвзятым, как одна из, увы, нередких голословных попыток обвинить в бедах коренного народа самих татар или представить хоть в немного более выгодном свете врагов складывавшейся крымской нации. Поэтому обратимся к наследию историка, которого трудно обвинить в антикрымских настроениях, поскольку он сам — коренной крымец. Я имею в виду труды Мехмед-Гирея, племянника уже известного читателю хана Саадет-Гирея. Вот как описывает этот историк некоторые важные стороны государственной жизни, которой он был непосредственным свидетелем:

«Возьмут (турки), привезут одного султана (т. е. наследника. — *В.В.)* из ханских царевичей и с почётом и уважением делают ханом в Крыму. Становящийся ханом... с великим визирем заключает договор, по которому они обязываются употреблять всевозможно старания, чтобы помогать друг другу в войне. Дав это слово, становящийся ханом счастливец отправляется в свои крымские владения... Но когда буйные или безрассудные из обитателей Крымского государства захотят двинуться, а хан не изъявит на это своего согласия, то, как только он попытается которых-нибудь из них взять в руки и подчинить своей власти, остальные дураки соберутся на сходку и составят представление, которое и отправят с одним или двумя негодяями к Двери Счастья (т. е. в Порту. — *В.В.)*. Конечный смысл этого представления очень скверный: „Мы, мол, не желаем этого хана". Напишут также одну-две кляузы... в Высокой Порте эти представления принимают без разбора, не исследуя ни главного, ни частного, а потом сейчас же шлют какого-нибудь кападжи-баши с фирманом и отрешают хана в отставку. А того не знают, что ханы тоже из древнего царского рода; что они также Тень Божья... что по священному закону Мухаммедову царям отставку давать не так легко: надо чтоб они были нечестивцы... отрешение же хана по словам каких-нибудь мятежников татарских есть чистое бесславие... А тут из Порты между тем привезут какого-нибудь несчастного и с почетом и помпой делают в Крыму ханом... а становящиеся ханами по необходимости забывают свой долг... предаются изысканию средств против собственной немочи. Из боязни за собственное благополучие они не решаются поступать вопреки нраву беков и мурз, даже и виду в этом не показывают. Снискиваемые ими деньги и благосостояние отдают им, живя под сенью их охраны и мороча пустые головы татарских народцев, хотя тоже носят ханское звание, да и как иначе возможно быть самостоятельным падишахом?» (цит. по: *Смирнов*, 1887. С. 316).

Обширность приведённой цитаты имеет одно обоснование: она абсолютно точно отражает крымско-турецкие отношения рассматриваемого периода. Сюда следует лишь добавить, что, в отличие от беев, лично хан был едва ли не совершенно беззащитен — его охранял в мирное время, кроме крымскотатарской гвардии капы-кулы, ещё и отряд янычар, пользовавшихся правами экстерриториальности и поэтому нередко «грубивших» (указ. соч. С. 324). Бейская же оппозиция имела, как указывалось выше, постоянную гвардию, что делало любой антиханский комплот неуязвимым.

Такое положение ханов, несмотря на всю его сложность, прекрасно понимали их подданные, что дополнительно подрывало ханский авторитет и власть. Более того, подобная ситуация эхом откликалась во всех без исключения сферах жизни крымчан, лишала их надежды на стабильность не только политическую, но и народнохозяйственную. В результате естественный для любого народа путь к социально-экономическому развитию деформировался. Поступательное движение государства было по сути парализовано в течение всего «турецкого» периода ещё по одной причине — психологической. Крымчане, в массе своей буквально «задёрганные» постоянными турецкими вмешательствами, не могли даже наметить каких-либо конструктивных программ развития, не говоря уже о возможности выполнения самых скромных планов, как правило, не соответствующих турецкой политике всяческого подавления личной инициативы и государственной самостоятельности своих крымских вассалов (полувассалов).

у) Дань и «поминки»

Некоторые исследователи, касаясь проблемы крымских набегов, утверждают, что мирные торговые отношения между татарами и их северными соседями, славянами, с самого начала складывались как нельзя более перспективно и взаимовыгодно: «истощив свои силы во внутренней борьбе, они (татары) жаждали только покоя и другого идеала, кроме мирной пастушеской жизни, не видели», но с приходом в Крым турок такая «политика крымцев переменилась в отношении христиан и приняла противоположный прежней политике характер», причиной чему был «тот фанатизм, который привили татарам покорители Крымского юрта турки» *(Эварницкий,* 1892. Т. I. С. 393). Это не совсем верно, хотя факт остаётся фактом: первый поход на русские земли был совершен не в дотурецкое время, а лишь в правление сына Менгли-Гирея, Мехмеда I. Но нельзя забывать, что этот хан, продолжавший дружественную Москве политику своего отца до последней возможности, был буквально принужден к походу на север не османами, а открыто антикрымской политикой тогдашнего великого князя (*Ерофеев,* 1907. С. 85).

С другой стороны, вспомнив вышеприведенные сведения о том, что ханы весьма долго не воспринимали богатый опыт в работорговле, которая имела Русь, а также крымские генуэзцы, мы неизбежно придем к выводу, что в этом промысле их стимулировали именно османы, гаремам которых «понадобилась масса невольников обоего пола, особенно молодых девушек и мальчиков» (*Эварницкий*, 1892. Там же).

Если войн с татарами, этими многочисленными, умелыми, дисциплинированными воинами, соседи по возможности старались избежать, то и союз с ними ценился весьма высоко как в Европе, так и в Азии. Лучшим же средством гарантировать себе мир с Крымом и даже его поддержку с давних времен считалась утверждённое договорами предоставление крымцам ежегодные подарков. Они именовались неодинаково («поминки», «выход», «взимки», «дань» и пр.) и по русской терминологии это были выплаты *разные*, хоть внешне и схожие, однако ныне до конца этот вопрос ещё не изучен. Впрочем, происхождение их достаточно хорошо известно. Напомню, династия великих князей Москвы была в своё время утверждена на престоле ханами Золотой Орды, которой дань и платилась. Впоследствии же, когда золотоордынское государство распалось, то часть его наследства законным образом перешла к Крымскому Юрту, затем ханству. Частью этого наследства и была дань Москвы повелителям Крыма.

Позднее изменился и характер этих выплат. Отчего сам термин в ряде случаев точнее было бы характеризовать как «откуп», обозначавший некую сумму, отчисляемую Крыму московскими великими князьями, предпочитавшими экономическое разрешение политических проблем военному конфликту. Или же просто не имевшими возможности противостоять военной угрозе силой. Вот довольно ранний случай, свидетельствующий о том, что о желании платить дань совершенно недвусмысленно заявляла сама «жертва». В годы Русско-литовской войны 1500–1503 гг., когда Заволжская орда могла ударить русским в спину, правительство Ивана III «сочло возможным пойти на уплату выхода (то есть дани. — *В.В.*) ради гарантии безопасности южных границ государства» (*Хорошкевич*, 1999. С. 73).

Но была у дани и ещё одна немаловажная функция. Хан получал её на том условии, что в случае необходимости выступит против врагов плательщика в качестве его союзника. Так, русские платили хану за поход на Литву, и крымцы честно исполняли свой долг. «И ныне за тебя день и ночь сечёмся и помогаем», — доносил крымский бей Халил великому князю Василию III (цит. по: *Сыроечковский*, 1940. С. 49). Но бывала такая помощь и чисто демонстративной, имевшей цель «выбить поминки» за какие-то, часто незначительные услуги. Так, бей Аппак писал ханскому сыну Алпаку, обиженному отсутствием дани: «И ты бы хотя один месяц короля [польского] повоевал, посмотрел бы еси, что бы тебе великий князь прислал» (там же).

Русская дань — точнее, отказ выплачивать её вопреки договорённости, использовалась и как средство своеобразного наказания татар даже за мелкие промахи. Скажем, некоего Байраша-бея лишили её за то, что он поленился проводить московских послов от крымской столицы до Перекопа. Более серьёзная сфера применения этого средства — в ходе переговорного процесса, когда русские послы получали инструкцию отказывать в адресных «поминках» (подарках) тем членам ханского дивана, которые будут противиться московским предложениям.

Существовали и выплаты такого рода, правда, незначительные, которые можно рассматривать как прямое наследие владычества Золотой Орды над некоторыми княжествами. Это — городовые и посошные налоги, впрочем, их можно причислить не к «поминкам», а к дани. Интересно, что выплату некоторых видов дани Москва взяла на себя вместе с захваченными городами, ранее

этими данями обязанными третьему лицу. Так, ещё в XV в., согласно первому договору Московского княжества с Крымом (1474), оно не платило хану ничего. А вот позже завоевание Москвой мелких княжеств, которые являлись данниками крымских ханов, превратило московского князя в «ответственное лицо за сбор и поступление взаимков в пользу Крыма». И именно это насильственное приобретение, а не «наследие ордынского ига», вовлекло его в указанном случае «в даннические отношения к Крыму, меняя тем самым характер отношений этих суверенных и независимых ранее друг от друга государств» (*Хорошкевич*, 1999. С. 75, 76).

Таким образом если раньше, до захвата (в данном случае так называемых одоевских городков) Русь ничем не была обязана крымским татарам, то в дальнейшем чем больше земель крымских данников захватывала Москва, тем ниже она опускалась по статусной лестнице в сравнении с ханством. Последним крупным «довеском» к этой обязанности стало присоединение Левобережной Украины: в русско-крымский договор 1670 г. впервые были внесены «выходы», которые платились ещё с Тохтамышевых времён Орде и Крыму; обязанность выплачивать их теперь перешла на царя (указ. соч. С. 77).

Размер дани менялся благодаря такой политике Москвы только в одном направлении, параллельном росту «присоединяемых» земель. Так, в 1614 г. Москва должна была уплатить Крыму 7 300 руб., а в 1640-х — уже 12 000. Накануне прекращения этой дачи, перед Карловицким миром, Россия и Польша платили одинаково — по 100 000 рейхсталеров, что соответствовало 140 000 рублей золотом (*Тунманн*, 1936. С. 24). Но бывали периоды и в XVI в., когда международная ситуация позволяла крымцам требовать — и получать — куда бóльшие суммы. Так, в 1595 г. в Москву прибыл крымский посланник Маамет Челеби, который привёз царю Фёдору Иоанновичу требование о выплате 130 000 руб, а также «об отпуске Крымских пленных» (*Лашков*, 1892. С. 5).

Суммы, как видим, были весьма немалые, тем не менее московские властители и не помышляли отказаться платить этот откуп: слишком велика была опасность неминуемых в таком случае крымскотатарских набегов, которые именно в середине этого века стали прекращаться. И ежегодная выплата в среднем 10 тысяч рублей была отнюдь не чрезмерной за такую гарантированную мирную передышку.

11. Заключение

Подвести итог столь многоплановому и многосложному сюжету, как общее устройство ханства в начале Нового времени нелегко уже потому, что в одной главе было невозможно хотя бы упомянуть обо всех реалиях эпохи, в том числе и весьма важных. Так, здесь опущена проблема государственно-правового статуса Крыма по отношению к другим европейским государствам, не проведён типологический анализ основного закона (обычного права) государства и т. д. Это — особые темы, которые ещё ждут своего исследователя. Впрочем, ими уже занимались политологи и юристы XIX в., и хотя соответствующие иссле-

дования несколько устарели, но новых с тех пор просто не появлялось, и нам придётся удовлетвориться выводами довольно солидного возраста, но проверенными временем:

«Основной закон ханства более всего напоминает имеющиеся у германо-романских народов... не имея ничего общего с так называемыми деспотиями, нам известными. Этот закон — уникально исторического, а не рождённого в эпоху Просвещения характера. Другими словами, несмотря на религиозные и государственные связи с Турцией, ханство в социальном и конституционном аспектах занимает прямо противоположную позицию по отношению к этой империи — но не к германо-романским системам и народам. Очевидно, причиной сложившемуся положению стал контакт этих двух миров (т. е. цивилизаций исламского и еврохристианского типов. — *В.В.*), в результате которого была заложена основа такому общественному состоянию» (*Haxthausen*, 1847. S. 420).

При всей его краткости и неполноте аргументации, вывод этот, на наш взгляд, вполне может быть принят в качестве рабочей гипотезы. Он, в частности, находит подтверждения не только в уже приведённых материалах (главным образом, в IV очерке первого тома), но и в дальнейшем исследовании ханского периода истории нации.

VI. КРЫМ В XVI — СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА

Этот период, весьма примечательный внешне, характеризуется и глубокими внутренними переменами в истории Крыма и крымских татар. Растёт население полуострова, развиваются его связи с внешним миром, кочевое скотоводство все шире замещается земледелием и пастушеским животноводством. Татарские и приглашённые ханами иностранные зодчие создают прекрасные образцы гражданской, военно-оборонительной и культовой архитектуры, растут и укрепляются города, появляются новые селения и крепости. В дворцовых покоях, медресе и библиотеках ханства творят поэты, учёные, мыслители. Этому периоду свойственны попытки создания цельных концепций в различных областях и структурах духовной культуры и научной теории — от суфийских систем до актуальных военно-политических концепций.

Между тем от этой эпохи сохранилось сравнительно немного письменных источников. Буквально наперечёт документы о повседневной жизни, духовном мире и экономической деятельности основной части населения — крымских татар, проводивших свои дни в поле, на винограднике или в ремесленных мастерских. Именно поэтому автор вынужден в этом небольшом очерке освещать историю народа в основном через историю его правителей. Приём не новый (вспомним хотя бы «Жизнь двенадцати цезарей» Светония или более современные «Мартовские иды» Т. Уайлдера) и за некоторыми издержками в целом оправданный. Ведь и хан, и его приближённые, не говоря уже о его войске, — тоже часть народа, к тому же довольно активная и вполне представительная.

Я ставлю себе задачей осветить здесь дела и дни не всех без исключения владык XVI–XVII вв., но лишь ярчайших из них, причем в деяниях, имевших значение не только и не столько для дома Гиреев, сколько для всего коренного народа Крыма.

Вглядимся же в проступающую из тумана крымской старины череду лиц, вереницу ханов, которых судьба вознесла высоко над массой их современников, вслушаемся в ещё доносящиеся до нас их немногословные откровения, постараемся понять их поступки. И если удастся, проникнем в мир убеждений и устремлений человека позднего Средневековья, услышим не только скрип арбы и щёлканье чабанского бича, но и гул военных пожаров эпохи, принесших неисчислимые беды и страдания как крымским татарам, так и их соседям.

1. Мехмед-Гирей I (1515–1523)

В очерке III этого тома была довольно подробно рассмотрена история прихода к власти Менгли-Гирея. Было отмечено среди прочего, какую цену пришлось за эту власть заплатить не только хану, но и его крымским соплеменникам и множеству их потомков, попавших в зависимость от турок на два с лишним века. Тем не менее, повторяю ещё раз, политика ханов в отношении Османской империи была далека от вассально-подчинённой[1], и менее всего можно назвать Крым послушным проводником политики «агрессивной Османской империи», направленной, в частности, против Московского государства, Польши или Персии. Таким политиком был сын Менгли-Гирея, Мехмед-Гирей I, родившийся в 1486 г., правивший Крымом в 1515–1523 гг. и умерший в том же 1523-м. Он был одним из ханов, «вонзивших меч в тело Москвы», то есть совершивших успешный поход на Московию и осадивших её столицу.

Выбор, перед которым в своё время оказался Менгли I — отказ от престола или престол, но под эгидой турок — перед его сыном-калгой не стоял. Внимание Мехмед-Гирея, который уже в последние годы жизни отца фактически руководил внешнеполитическими, а отчасти и внутренними делами ханства (*Виноградов*, 1999. С. 60), было обращено в противоположную от Стамбула сторону. Во-первых, он должен был время от времени совершать набеги на польские земли, хотя бы для того, чтобы напоминать о необходимости выплаты дани, составлявшей немалую сумму — 15 000 золотых в год (Греков, 1984 «а». С. 143).

Во-вторых, его внимание было постоянно приковано к ордам, широко раскинувшим свои кочевья по обоим берегам нижнего течения Волги. Отсюда в начале правления Мехмед-Гирея всё чаще отправляются летучие отряды степняков, нарушающих границы Крымского ханства, угоняющих отары овец, а нередко и табуны лошадей в заволжские степи. Это были кочевники Ногайской Орды и Хаджи-Тархана.

Хаджи-Тарханский Юрт (его ещё называют иногда, не совсем точно, «Астраханским ханством»), являвшийся, как и Крым, частью распавшейся Великой Орды, располагался в неправильном четырёхугольнике, образуемом берегами нижней Волги, Дона, Кубани и Кумы. В своё время эти ногайцы были разгромлены Менгли-Гиреем I, как и Ногайская Орда, располагавшаяся восточнее. Однако после смерти великого хана властители обеих орд копили силы, кажется, лелея мысль о воссоздании Великой Орды, с присоединенным к ней «мятежным» Крымом.

Возможными союзниками татар в борьбе с приволжскими ордами могли быть Москва или Литва (но вряд ли обе сразу по причине их наследственной

[1] Автору этих строк приходилось утверждать этот факт и ранее, когда он считался весьма спорным (*Возгрин*, 1978; *Возгрин*, 1985. С. 69 и др.). Следует отметить как положительное в научном смысле явление, что в последние годы той же точки зрения придерживаются и некоторые другие историки, глубоко изучившие данные период. Пример такого вывода: «...не отрицая верховного сюзеренитета султанов над ханами, укажем, что в рассматриваемый период имеется достаточно примеров проведения Гиреями вполне самостоятельного курса, подчас противоречащего инструкциям османских властей. Кроме того, у крымских ханов были свои собственные... интересы в регионе» (*Некрасов*, 1999. С. 53).

вражды). Однако Мехмед не только пытается лавировать между ними, не желая упустить ни одну, ни другую, но и стремится усилиться за счёт казанских татар, выдвигая на тамошний престол своего человека — Абдул-Латыфа.

Крымскому хану стало известно, что воины Ногайской Орды начали переправляться через Волгу, соединяясь с хаджи-тарханцами, явно имея в планах вторжение в пределы Крымского ханства. Поэтому Мехмед-Гирей вывел в начале 1515 г. своё войско за Перекоп, начав поход на восток. Этот взрыв политической активности крымского хана ни к чему не привёл — воины обеих орд вернулись на свои кочевья, едва прослышав о наступлении крымских воинов. Крымский хан не преследовал противника и, как показали ближайшие события, был прав. Вскоре один из двух предводителей Ногайской Орды, Шигим, опасавшийся полной узурпации власти вторым, предложил Мехмед-Гирею I своё подданство. Хан согласился, скрепив новые отношения родственными узами: он взял в жёны сестру Шигима, одновременно женив на дочери ногайца своего сына (*Гайворонский*, 2007. С. 123). Очутившись в одиночестве, правитель Хаджи-Тархана оставил мысли о вражде с Гиреем, а Ногайская Орда вошла в состав Крымского ханства. Это событие получит самые далекоидущие последствия, особенно когда ногайцы уйдут из-за Волги на Кубань, а границы ханства и Орды сомкнутся.

Шигим принял своё решение в 1519 г., когда с востока на его владения ударили бесчисленные орды казахов под водительством хана Касыма. Сопротивляться им было бесполезно — слишком неравными оказались силы. И ногайцы попросили у Мехмед-Гирея разрешения поселиться на ханских землях. Хан, помнивший, как Менгли-Гирей на протяжении всего своего правления стремился поселить в Крыму как можно больше ордынских кочевников, последовал примеру отца и радушно пригласил кочевников на свободные земли ханства. Между тем в прикаспийских степях произошло эпохальное событие: Ногайская Орда разделилась надвое — на Большую и Малую. Предводители первой решили остаться в Заволжье, пытаясь всячески уклоняться от столкновений с казахами. Малая же Орда, ведущее место в которой принадлежало клану Мангытов, продвинулась на территории Северного Кавказа и отчасти Северо-восточного Причерноморья.

Очередным направлением внешней политики Мехмед-Гирея I стала Казань, второй очаг древней ордынской культуры. К той поре «казанцы сохранили всё лучшее, что было в Орде: личную доблесть и мужество, изворотливый ум, искусство ведения войн, организованность и дисциплинированность...» (*Жарников А.Е.* Этногенез и социально-политические процессы (концепции, теория, политическая практика). М., 2005. С. 247). Казанским ханством управлял сводный брат крымского хана Мехмед-Эмин, ещё в 1505 г. освободившийся от «покровительства» московских князей. Однако через десяток лет бездетный властитель Казанского Юрта тяжко заболел и в 1518 г. умер, не оставив преемника.

Этим попыталась воспользоваться Москва. Великий князь Василий III, сменивший на престоле своего отца Ивана III, направил на Волгу покорного ему Шаха-Али (русские летописи называли его Шигалеем), сына касимовского хана Шейх-Авлияра, принадлежавшего к ордынскому роду Намаганов. Это была очередная попытка столкнуть в Казани крымские и ордынские интересы — с пользой для Москвы, естественно. С новым ханом в приволжскую столицу пришли отряды стрельцов, а перед тем Шах-Али дал «запись» в том, что во всём будет

подчиняться велениям Москвы. С его прибытием в Казани начались репрессии, направленные прежде всего против местных мурз. Их бросали в тюрьмы, приговаривали к смертной казни и т. д. (*Смирнов*, 1948. С. 27, 35).

Поэтому представители ведущих казанских родов просили Мехмед-Гирея избавить их от московской марионетки, направив в Юрт его младшего брата Сахиба с приближёнными. А далее произошло то, чего следовало ожидать: едва ханский сын прибыл в Казань (1521), как местное население подняло восстание против Шаха-Али, и наводнившие столицу стрельцы были перебиты. Победа стихийного возмущения казанцев была столь неожиданна и быстра, что в московских хрониках её объясняли вооружённой «рукой Крыма», хотя в данном случае хан достиг успеха без применения силы[1].

Однако эта политическая победа легко могла быть перечёркнута новым нашествием ордынцев, тем более, что им всячески помогал московский великий князь. Нужно сказать, что Мехмед-Гирей прилагал немалые усилия для того, чтобы возродить традиционно дружеские отношения с Москвой. Чисто внешне ситуация оставалась прежней. Как, собственно, и предполагалось — ведь ещё задолго до того, как Мехмед стал ханом, Василий предусмотрительно завязывал с ним добрые отношения. Он заранее дал согласие на то, что когда Менгли-Гирея не станет, из Москвы в Крым будет доставляться дань, равная прежней. Так, княжеский посол В. Морозов должен был, согласно инструкции, сообщить ханскому сыну в 1509 г., задолго до смерти его отца: «Князь великий велел тебе говорить, чтобы ты был со мной в братстве и в дружбе потомуж, как был с нами в братстве и дружбе отец твой Менли-Гирей царь; а мы как на чём своё слово молвили отцу твоему Менли Гирею царю, и мы ныне по тому и тебе хотим правити» (цит. по: Памятники, 1895. С. 66).

Подобные же уверения в безусловной преданности, дружбе и братстве были повторены Василием III слово в слово и после смерти Менгли-Гирея, когда Мехмед стал ханом (Памятники, 1895. С. 135). Укреплению этих отношений служили и новые инициативы хана. Случилось, что в 1518 г. польские и литовские войска одержали ряд побед над московскими вооружёнными силами. И Мехмед-Гирей совершает в 1519 г. ряд набегов на литовские земли — киевские, волынские и люблинские, «поддержав вместе с тем веру московского правительства в возможность успешного продолжения войны» (*Греков*, 1984 «а». С. 143). Конечно, хан отправил войска против короля польского и великого князя литовского, опасаясь, что Сигизмунд I принудит Василия Ивановича к миру, чем развяжет ему руки на востоке. Тем не менее, объективно западная политика Мехмед-Гирея была по отношению к Москве безусловно дружественной.

Однако теперь речи московского князя стали расходиться с делом, причём чем дальше — тем больше: готовился новый поход на Казань. Нужно заметить,

---

[1] «Сей же хан собрався с немалым воинством, имущи с собою в помощь нагайских татар, со многою силою перешед реку Волгу казанских татар победи и градом Казанью облада». Далее автор этой записи о крымской агрессии невольно себе противоречит, упоминая о том, что Сахиб-Гирей был приглашён на престол самими казанцами, а не навязан им Крымом: «Сие же бысть изменою казанских князей Сеита, Булата и Кучелея, иже отступивши от подданства великого князя призваша в Казань на царство брата Мехмет-Гиреева имянем Сафа-Гирея» (*Лызлов*, 1990. Л. 144 об.).

что хан стал искать какой-то выход, лишь убедившись в бесспорно враждебной Крыму политике князя. Увы, выбор средств здесь был невелик — не мог же Гирей, предупреждая желания русских, отозвать из Казани своего брата, чтобы там снова утвердился ставленник Москвы и явно проводник её ордынской политики. Оставалось одно: ввиду возраставшей угрозы нового нападения с востока нанести упреждающий удар по московским сторонникам ордынцев, нарушившим старые договоры о дружбе и взаимной поддержке.

Для того чтобы подготовить Порту к одобрению его собственной инициативы, Мехмед-Гирей шлёт в Стамбул своему близкому родственнику-султану[1], недавно воссевшему на престол Сулейману I Кануни, три серьёзных и добротно обоснованных анализа внешней политики московского князя. Во-первых, пишет хан, Кремль наладил подозрительно тёплые отношения с Персией, давним противником Турции. Во-вторых, православная Москва по определению всегда являлась злейшим врагом Турции (этим он на всякий случай напоминает молодому правителю историю его предков). Наконец, в-третьих, захватив Казанский Юрт, московиты начали всячески притеснять коренных жителей, и прежде всего в отношении отправления мусульманских обрядов. Этого же стоило ждать и в других областях, захваченных гяурами, предупреждал Гирей (*Смирнов*, 1948. С. 37).

Что же касается Казани, то хан нисколько не преувеличивал опасности сложившейся ситуации. Ради решения старой задачи — возврата Гиреям казанского престола — он даже заключает союз с Польшей (1520), чем оставляет Москву один на один с польско-литовской опасностью. Причём, стоит отметить, хан решил эту проблему собственными силами, без турецкой помощи. Сковав Москву польской угрозой, он, как мы помним, уже весной 1521 г. отправил на Волгу Сахиб-Гирея с вышеупомянутым результатам: тот взошёл на казанский престол. Теперь оставалось лишь пожинать лавры этой славной победы.

Прежде всего, конечно, необходимо было решать московскую проблему, становившуюся при новом великом князе всё более острой. И вот летом 1521 г. на Москву одновременно двинулись две армии — крымская и казанская. Василий III не успел подготовить к обороне ни дальние подступы к Москве, ни сам город. Пожалуй, он лучше других знал об этом, отчего и бежал из столицы ещё до подхода к ней крымско-казанского противника; говорили даже, что великий князь «в отчаянии некоторое время прятался под стогом сена» (*Герберштейн*, 1988. С. 173). В своём стремительном беге на запад он остановился лишь у Волоколамска.

Тем временем в оставленную князем Москву стеклось едва ли не всё население окрестных сёл и городков. Имперский посол в Московии Сигизмунд фон Герберштейн, составлявший свои «Записки» по горячим следам этих событий, сообщает, что в результате у крепостных ворот столицы «возникла такая давка, что они мешали друг другу и топтали друг друга. От множества народу стояло такое зловоние, что побудь враг под городом три или четыре дня, осаждённые погибли бы от заразы, поскольку в такой тесноте каждый отдавал долг природе там, где стоял...» У оборонявшихся не было пороху и пушек на стенах: «таков неизменный обычай московитов — держать всё под спудом и ничего не приго-

[1] Сулейман I Великолепный приходился этому хану племянником — он был сыном Хафизе-Хатун, дочери Менгли-Гирея I и родной сестры Мехмед-Гирея I.

товлять заранее, но если приступит нужда, тогда только делают всё впопыхах». В целом же приближение татар «...привело их в такой ужас, что, побросав пушки на улицах, они позабыли даже о защите стен. И если бы тогда сотня вражеских всадников напала на город, она смогла бы без всякого сопротивления сжечь его до основания» (*Герберштейн*, 1988. С. 173–174).

Однако взятие Москвы, судя по всему, не входило в планы Мехмед-Гирея, стремившегося лишь к устрашению Василия. Поэтому, когда братья встретились в подмосковной Коломне, а затем разбили лагерь у стен Москвы, они приняли богатые дары и пошли на предложенные князем мирные переговоры. В результате была составлена грамота, в которой безоговорочно признавалось верховенство Крыма над Москвой, а князь обязался «быть вечным данником царя (т. е. хана. — *В.В.*), какими были его отец и предки» (*Петрей*, 1997. С. 196; также: *Герберштейн*, 1988. С. 174–175). То есть за крымскими ханами утверждалось их законное право на получение золотоордынской дани. Перед возвращением оставалось сделать немногое: получить за огромное число русских пленных (800 000 чел., согласно последнему источнику) выкуп, дабы оправдать военные расходы. Но татарские войска снялись со стоянки и спешно отправились домой.

Причиной этого внезапного отхода было, конечно, не явленное чудо, о котором говорят хронисты и историки, — возникновение у стен Москвы огромного русского воинства, как бы соткавшегося из воздуха и устрашившего татар (*Лызлов*, 1990. Л. 145 об. – 148 об.; *Малиновский*, 1863. С. 177). Всё было проще: в ханскую ставку пришло известие, что на Крым, оставшийся беззащитным, напали ордынцы Хаджи-Тархана. И в самом деле они успели увести с собой огромное количество скота и массу пленных и удалиться в свои степи ещё до подхода грозного ханского войска. Это первое нападение хаджи-тарханцев на полуостров, свершившееся во время первого похода крымских татар на Москву, лишний раз убедило Мехмед-Гирея в необходимости покончить с неизменно грозившей ханству ордынской опасностью.

Поход на Хаджи-Тархан, организованный Мехмед-Гиреем совместно с беем Малой Ногайской Орды Мамаем в 1522 г. окончился полной победой. Хан Усеин, сын Зенебека, был принужден бежать, оставив хаджи-тарханский престол, который тут же занял ставленник Мехмеда, его калга Бахадыр-Гирей (*Малиновский*, 1863. С. 234). Мехмед был как никогда близок к великой цели — объединению трёх государств под бунчуком Гиреев. Вероятно, он мог рассчитывать и на благосклонное отношение к столь знаменательным переменам и Сулеймана I Великолепного.

Однако этот выбор оскорбил беев Малой Орды, рассчитывавших вернуться на старые кочевья (казахи к тому времени полностью ушли в свои степи) и тем самым избавиться от крымского покровительства. Теперь получалось, что Крым простёр свои пределы до Волги и даже Заволжья. И ногайцы решили одним ударом покончить с этим двусмысленным положением.

После чего оба Гирея, Мехмед и Бахадыр, приглашённые на ужин в шатёр Мамай-бея, были там предательски убиты; с ними пал и нуреддин, а также ряд приближённых хана[1]. Сразу после этого ногайцы набросились на ничего

[1] Подробно об этом убийстве говорит анонимная рукопись истории крымских ханов, изложенная на французском языке — ОР СПбФ ИВ РАН. Рук. С 861 (II. 6. 131): Chronologie des Khans de la Crimée en Tatarie (о ней см.: *Зайцев*, 2006. С. 47).

не подозревавших крымских конников и, воспользовавшись ночной порой, перебили часть их — примерно 3 000 человек[1]. Уцелевшие воины, лишённые предводителей, помчались на запад «с пятью десятью знатнейших князей и мурз» (*Малиновский*, 1863. С. 235. См. также в: *Герберштейн*, 1988. С. 184). За ними скакали ногайцы, жаждавшие добычи в богатом Крыму. Остановить их на Перекопе не удалось, полуостров был обречён на разграбление.

Кочевники ворвались в Крым через Перекоп, в то же время с кавказской стороны крымские владения разоряли и жгли казаки под руководством атамана Евстафия Дашковича. Поэтому, несмотря на сопротивление, которое пытался организовать 19-летний Гази-Гирей, жители полуострова фактически оказались беззащитными (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 260). Кочевники и казаки в течение месяца опустошали его города и сёла. Это было великое разорение, пожалуй, одно из самых жестоких, которые когда-либо довелось пережить крымцам.

В его пламени погибло почти всё татарское население степи и предгорий. Именно они приняли основной удар завоевателей. Южный берег, кажется, уцелел, но пострадало и население гор, и укрывшиеся у них степняки: «Злосердые победители, извлекая скрывавшихся в лесах и горах жен и малолетних детей, без пощады их убивали» (*Малиновский*, 1863. С. 235). Многие тысячи крымских татар стали пленниками воинов Мамай-бея. Среди них оказались и члены мурзинских родов, и даже Ислам-Гирей, второй по старшинству (после погибшего Бахадыра) сын Мехмед-Гирея. Ещё больше крымцев бежало через Перекоп в западные приморские степи, чтобы избавиться от угрозы ногайского рабства. Крым обезлюдел: русский посол боярин Л. Колычев сообщал, что татар вообще осталось не более 15 000 (*Сыроечковский,* 1940. С. 58).

Скорее всего, это было преувеличением, но оно отразило одно из важнейших в истории крымских татар событие. Произошла первая трагическая селекция складывавшегося этноса, в результате которой погибло или было насильственно уведено большинство степняков, появившихся в Крыму в XIII в., тогда как наиболее древнее, аборигенное население пострадало гораздо меньше лишь благодаря географическому положению их селений. *Татов* спасли родные горы, с которыми пришельцы-кочевники были совершенно незнакомы. Не достигли они также приморских сёл Южного берега, возможно, окраин Западного Крыма.

В 1523 г. престол занял по выбору большинства членов дивана Гази-Гирей I (правил с ноября 1523 по апрель 1524 гг.). Оттоманская Порта ещё не успела (или не захотела) утвердить нового хана, и в это время общим ослаблением Крыма воспользовалась бейская оппозиция. По некоторым сведениям она участвовала в измене ногайцев и опасалась мести ханского сына Гази-Гирея за смерть отца и братьев. Именно из-за этой угрозы один из её деятелей, Мемиш-бей Ширин, отправился в Стамбул, где униженно просил Сулеймана I дать им другого пра-

[1] Имеются сведения относительно того, что за спиной ногайцев стояли два ханских сына, Гази-Гирей и Баба-Гирей, первый из которых претендовал на ханский престол, а второй — на место калги при нём (Hammer-Purgstall, 1856. S. 48). Позднее была выдвинута иная (впрочем, не противоречащая первой) гипотеза — инициатором двойного убийства крымских чингизидов была Порта, не желавшая чрезмерного усиления Крымского ханства; именно по той же причине она впоследствии якобы заставила Саадет-Гирея признать независимость Хаджи-Тарханского ханства (*Греков*, 1984 «а». С.158).

вителя, имевшего больше прав на крымский престол. Таким кандидатом, считал бей, является Саадет-Гирей, сын Менгли, тогда как Гази-Гирей был всего лишь внуком великого хана.

Султан согласился тем более охотно, что Саадет-Гирей был его приверженцем и личным другом (будущий хан, являвшийся двоюродным братом Сулеймана, многие годы жил в его стамбульском дворце). И в июне 1523 г. султан направил его в Крым в сопровождении значительного отряда янычар. Теперь общее число турецких войск в крымских крепостях достигло 25 000 человек. Учитывая тяжёлое положение полуострова после ногайского разгрома, можно сделать вывод, что это была единственная реальная воинская сила на полуострове. И даже если бы крымцы попытались отстаивать свои права перед столь беспардонным вмешательством Стамбула в свои внутренние дела, у них бы, конечно, ничего не вышло. Но Гази-Гирей и не просил помощи у земляков, смирившись перед волей Сулеймана, так как ему обещали положение калги при новом хане.

2. Саадет-Гирей I и новое ослабление Крыма

Начало правления этого хана (1524–1532 гг.) омрачилось распрей с беями, с теми же Ширинами, что ранее звали его на ханство. Впрочем, это был один из последних всплесков активности некогда могучего рода. Ширины явно сходили со сцены, хотя ещё долго претендовали на первенство среди беев. Во всяком случае, хан должен был на протяжении всех лет своего правления помнить о твёрдой позиции Ширинов в заперекопской степи, как и о недавнем разорении полуострова восточными ногайцами. Более этого не повторялось исключительно благодаря эффективно применявшимся ханом политическим мерам (подр. см.: *Сыроечковский*, 1940). Обезопасил себя хан и с другой стороны: когда его смещённый племянник Гази-Гирей I, согласившийся на титул калги, прибыл к нему, чтобы принести присягу на верность, Саадет приказал отрубить голову бывшему хану, а его братьев Чобан-Гирея и Бабу-Гирея бросить в темницу вместе с несколькими беями, известными как верные сторонники казнённого, а затем отправить их в Стамбул вместе с их приближёнными[1].

Главная перемена, связанная с правлением Саадета, — это уже упоминавшееся резкое усиление турецких войск в Крыму. Изменился благодаря этому и статус Крыма, ранее хоть и зависимого, но на деле бесспорно суверенного государства. Теперь выбор хана крымскими беями становился пустой формальностью, а главную роль при этом стали играть султанские ярлыки на владение ханством. Значение тёрэ, таким образом, стало минимальным, почти исчезло. И Саадет, и другие преемники Менгли-Гирея I не обладали, как правило, ни дипломатическим

[1] Согласно некоторым свидетельствам, эта расправа была учинена по воле Сулеймана I: «Новой царь (т. е. Гази-Гирей. — *В.В.*) с калгою тотчас к нему явились, из которых первой по приказу султанскому лишён был жизни, а Бабей калган с другими князьями и мурзами, в самовольном избрании их участвовавшие, окованные были сосланы в Царьград» (Цит. по: *Малиновский*, 1863. С. 236–237).

искусством этого великого хана, ни его тактом, которые дозволяли ему в течение всего своего долгого правления поддерживать нормальные отношения с империей османов и сохранять фактически почти независимый статус Крыма. Единственное, на что мог Саадет опираться в своей «турецкой» политике, — это сугубо личные, довольно тёплые отношения с султаном Сулейманом Кануни, а также с отдельными придворными и вообще первыми лицами Османской империи. Возможно, этому содействовали учёность хана и его поэтическая одарённость, которой он прославился ещё во время пребывания в Стамбуле (*Халим Гирай*, 2008. С. 32–34).

Прибыв в разорённый ногайцами Крым, Саадет деятельно взялся за восстановление державы. Нужны были деньги, а Москва давно уже задолжала ханству, не посылая дани. Поэтому хан потребовал передачи ему 60 000 алтын. Однако великий князь, видя беспомощность разорённого Крыма, наотрез отказался слать деньги (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 260). Приходилось рассчитывать только на собственные возможности. Первую свою деловую поездку новый хан совершил в Ор-Капы. По-видимому, он пришёл к мысли, что никакая модернизация экономической жизни ханства не защитит его от ногайцев, вздумай они повторить недавний набег. Поэтому он лично стал руководить крепостными и земляными работами в крепости и на всём протяжении рва, который был слишком запущен и несовершенен для того, чтобы надёжно защитить Крым от степных лучников. Теперь стены и башни обновлённой (практически отстроенной заново) крепости были снабжены многими десятками орудий, которыми снабдил своего крымского друга султан Сулейман I.

Через несколько месяцев правления Саадет-Гирея I жизнь ханства стала налаживаться. Понемногу стали возвращаться из-за Перекопа беженцы, на опустевших улицах городов вновь появились люди. Одновременно стало расти и число турок, приглашаемых ханом из-за моря. Это были не только военные, но и придворные служители и компаньоны хозяина Девлет-Сарая. По-видимому, хан, проживший в Стамбуле 12 лет, тосковал по привычному укладу жизни, который в Крыму помогали ему налаживать османы. Дошло до того, что он начал назначать своими советниками турок неблагородного происхождения, зачастую необразованных. И, что более всего оскорбляло крымскую родовую знать, стал раздавать им бейские титулы. Крымские же беи всё более утрачивали свою реальную значимость. Хан теперь принимал решения единолично, не советуясь, хотя бы формально, с диваном.

Политическая структура ханства менялась: на глазах у возмущённых беев Саадет-Гирей I последовательно и энергично выстраивал вертикаль собственной власти, что не могло не вызывать раздражения, как и засилье турок при ханском дворе[1]. На это он, впрочем, до поры до времени не обращал внимания. Столь же твёрдо вёл хан и внешнюю политику своей державы — и тоже в собственных, личных интересах. Примером этому могла бы служить предыстория нового похода Василия III на Казань.

---

[1] Московские посланники писали о ситуации, сложившейся в Крыму при Саадет-Гирее: «...его князи все не любят и у него не живёт никто из князей, а все живут по своим улусом, а живут у него все янычане. А князи его не любят того для, что что живёт с турецкого обычая и слушает янычан, а от янычан крымцам великая сила (т. е. «насилие». — *В.В.*) и нечесть чинится» (цит. по: *Дунаев*, 1916. Приложение. С. 61).

Турецкая мечеть Муфти-джами первой половины XVII в Кефе. *Генуэзцы, 2009*

На тамошнем престоле благополучно правил Сахиб, сводный (от разных матерей) брат Саадет-Гирея. Между тем московский князь исподволь готовил завоевание этого юрта. В качестве опорной базы Василием III была весной 1523 г. построена на исконно казанской территории (берег р. Суры) крепость Васильгород (позднее Васильсурск). И когда вслед за этим многочисленное московское войско вторглось в пределы государства Сахиб-Гирея, то он отправил в Крым письмо, в котором просил помощи. Однако Саадет-Гирей был мало похож как на отца, так и на своего брата Мехмеда, положивших годы жизни на укрепление власти Гиреев в соседних странах. Он отказал Сахиб-Гирею.

Тогда казанский хан отправил в Порту со специальным посольством послание султану, в котором просил помощи для отражения надвигавшейся московской угрозы — воинов, вооружённых огнестрельным оружием (его в Казани почти не было), и, главное, артиллерии с обслугой и запасом ядер. Это был жест отчаяния, так как Сахиб прекрасно понимал, что без посторонней помощи ему с московским войском не справиться. В уплату за такую помощь он предложил Порте всё, что имел, соглашаясь признать себя вассалом Сулеймана I, а Казанский юрт — наследственным владением султана империи[1]. Согласно его планам, Поволжье должно было стать одним из пашалыков или эялетов могучей османской империи, что обеспечило бы этим землям лучшую защиту.

[1] Это событие имело место накануне поездки хана в Крым и закончилось его заключением в темницу Балаклавы, упомянутом в предыдущем разделе. В *Семи планетах* даётся более простодушно-человечное обоснование этого важного шага крымского политика: Сахиб-Гирей, «чувствуя не по своим силам тягостное бремя правления, передал Казанское царство племяннику [своему] Сафе-Гирею, сыну Мухаммед-Гирея» (*Риза*, 1832. С. XVI).

На первый взгляд это было заманчивое предложение для Османской империи, уже столько лет продвигавшейся на запад и север, стремившейся покорить как можно больше стран и территорий, вторгаясь всё глубже в тело христианского мира. Но, по-видимому, эта экспансия всё же не предусматривала поглощения Казани или Москвы. *Эта* земля, хоть и сама падавшая в руки, султана совершенно не интересовала. И он поступил мудро (в отличие от всех грядущих «завоевателей» России), отказавшись от этого сомнительного по качеству дара волжского хана. После чего Сахиб-Гирей решил лично явиться в Крым для встречи с братом.

Оставив на престоле своего подростка-племянника (им был Сафа, сын его брата Мехмед-Гирея), казанский хан отправился в 1524 г. на старую родину. Однако в Крыму он не встретил по-братски тёплого приёма: «брат его, недоволен будучи таким малодушным поступком, заключил его в крепость Балыклове» (*Малиновский*, 1863. С. 242). Впрочем, осенью того же года он был освобождён и даже стал калгой. Затем, когда в результате крупных внутренних беспорядков, связанных с очередным бунтом Ислам-Гирея и антиханским заговором Ширинов (см. *Гайворонский,* 2007. С. 172, 175–180), положение Саадет-Гирея в Крыму ухудшилось, он счёл нужным пожертвовать своим братом, вызывавшим особое раздражение беев. И Сахиб-Гирей был отправлен в Стамбул, где его милостиво принял султан, возможно, уже тогда полагая, что бывший хан рано или поздно ему пригодится. Так оно и вышло, хотя и не скоро.

Тем временем над Казанью не просто нависла новая опасность — казалось, что город-крепость был обречён: туда под командованием князя И.Ф. Бельского отправилось огромное московское войско численностью около 150 000 чел. Тем не менее русские так и не смогли взять столицу приволжских татар, поскольку местные черемисы (мари) вели с ним настоящую партизанскую войну. Им удалось даже полностью прервать коммуникации пришельцев с тылами. Московская конница в рубке уступала татарской (*Смирнов*, 1948. С. 55), отчего и уклонялась от встречи в поле. А когда великий князь послал осадному войску подмогу под командованием князя И.Ф. Палецкого, то черемисы рассеяли и эту конницу по окрестным лесам, где она, кажется, и сгинула. Впрочем воеводе удалось прорваться к городу, где он возглавил осаждающих.

Однако, толку от этого было мало. В московском войске начался голод, казанская крепость оказалась ему явно не по зубам. В конце концов И.Ф. Палецкий снял осаду; ходили слухи о том, что его перед этим подкупили (*Герберштейн*, 1988. С. 172, 177, 179). Кроме того, 15-летний Сафа-Гирей проявил твёрдость, несвойственную для отроков столь нежного возраста, отвечая отказом на все предложения компромисса. В конечном счёте московское войско было вынуждено вернуться ни с чем. А великий князь Василий III заключил с Сафой мирный договор, в котором был вынужден признать его законным ханом на казанском престоле.

Обезопасив себя на Перекопе от вооружённого столкновения с Москвой, Саадет проглядел грозу, собиравшуюся в самом ханстве. Беи, крайне недовольные политикой хана, столь отличавшейся от талантливого управления страной покойнымо Мехмед-Гиреем, задумали свергнуть его. В качестве кандидатуры на престол лучше всего подходил Ислам-Гирей, сын Мехмед-Гирея. Как упоминалось выше, он был старше правящего хана и, значит, имел все права на ханскую власть. Ислам-Гирей, находившийся в это время за пределами Крыма

(он возглавлял поход на Польшу), согласился участвовать в бейском заговоре. Ободрённые крымские аристократы собрали для возвращавшегося претендента значительное войско, с которым тот вошёл на полуостров и даже сумел занять Эски-Кырым. И здесь он был вполне демократическим образом избран собравшимися беями на ханство (*Гайворонский*, 2007. С. 170).

Ислам-Гирей I в том же 1525 г. выгнал из Крыма Саадета, а «пришедшего к нему на помощь Кафинского санчака (т. е. наместника султана. — *В.В.*) умертвил, бывших с ним 1 700 вооружённых турок побил и зделался в Крыму царём» (цит. по: *Малиновский*, 1863. С. 245). Саадет бежал к Перекопу. Здесь он засел в Ор-Капы и приготовился дорого отдать свою жизнь. Однако осада крепости зимой 1524/25 гг. окончилась ничем, Саадет вернул себе власть, а Ислам-Гирей I скрылся в заперекопских степях и затем нашёл приют у князей Северного Кавказа. Прошло некоторое время, и в 1526 г. он вроде бы примирился с Саадетом.

Но на самом деле бывший хан не собирался отказываться от мечты занять престол и затеял новый заговор, в который вошёл бейлербей рода Ширинов, Мемиш. Перед тем, как осуществить свои замыслы, они с войском совершили набег на Московию — единственно ради добычи средств, необходимых в ближайшем будущем. Поход оказался не только неудачным, но и вызвал гнев хана, не заинтересованного в разрыве спокойных отношений с великим князем. Именно поэтому, чтобы избежать ответного удара с севера, он решил примерно наказать виновных, казнив их. Главе рода Ширинов и его соратникам пришлось принять смерть от руки палача, а Ислам-Гирею снова удалось бежать, теперь уже в Хаджи-Тархан, где он несколько позже, в 1531 г., даже сел на ханский престол.

Мир в Крымском ханстве был восстановлен, но это была лишь видимость покоя. Казнив Мемиша, первого бея Ширинов (в крымской традиции — преступление неслыханное!), Саадет поставил себя в положение вечного и непрощаемого врага этого бейского клана. Его новый предводитель Бахтияр решил заманить хана в родовое гнездо Ширинов, Эски-Кырым, и там окончательно решить проблему хана-убийцы. Однако Саадет был вовремя предупреждён и перебил всех заговорщиков — первых лиц в роду Ширинов во главе с Бахтияр-беем. А вернувшись во дворец, принялся за своих приближённых и местную элиту. Реакция беев была естественной.

«Князья Ширинские и другие имянитые Татары, раздражённые притеснением от Сайдет-Гирея претерпеваемым, тайно пересылались с Исламом и около ста человек из них, оставя отечество своё, принуждены были искать прибежище у сего скитающагося владетеля» (цит. по: *Малиновский*, 1863. С. 259). Эту эмиграцию, подрывавшую его авторитет, хан пытался подавить силой: «видя, что не может приобрести любви своего народа, [он] был ко всем крайне недоверчив и по самомалейшим подозрениям умерщвлял знатнейших мурз, через что многих принудил оставить своё отечество и предаться Ислам-гирею» (цит. по: указ. соч. С. 262).

Но неприятие его бейскими и эмирскими родами было столь очевидным, что, отчаявшись найти общий язык с соотечественниками, Саадет-Гирей добровольно оставил в 1532 г. престол, намереваясь в дальнейшем вести частную жизнь в собственном имении. Однако затем, под нажимом беев, опасавшихся и ненавидевших его, он был вынужден искать убежища и покровительства в Османской империи у Сулеймана I Кануни. Тот великодушно принял Саадет-Гирея, осыпав

его милостями (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 2). Здесь он получил от своего друга-султана многочисленные и почётные награды, а также солидную пенсию в 300 000 ахче. В дальнейшем никакого желания вернуться в беспокойный Крым он не проявлял (*Лызлов*, 1990. С. 138–139, 505; *Хартахай*, 1866. С. 206).

После себя Саадет-Гирей оставил ханство, раздираемое бейскими междоусобицами. Раскол же в самой семье Гиреев также необычайно углубился из-за турецких политических интриг, которым этот хан не всегда умел противостоять. Но объективно и противник ему достался весьма «неудобный»: Ислам-Гирей был личностью авантюристического склада, чрезвычайно активной и не отягощённой такими предрассудками, как семейно-родственные узы или перспективные интересы державы. Он был готов в личных своих видах прибегнуть и к ордынской, и к *московской* помощи (*Виноградов,* 1999. С. 62). Так что, пока он был жив, ханы испытывали постоянные опасения узурпации власти, что вынуждало их угождать Порте хотя бы ради её поддержки в борьбе за сохранение престола. В результате ханство попадает в небывало жёсткую зависимость от империи. В дальнейшем смягчать это положение, конечно, удавалось, причём не раз и не два. Но это были скорее исключения из общего положения, в первую очередь зависящие от личностей, занимавших ханский престол, а во вторую — от общеполитического положения державы Гиреев. В целом же ситуация не менялась вплоть до XVIII в.

Подводя предварительные итоги истории этой эпохи, мы можем сделать вывод, что в начале XVI в. в Крыму произошли четыре важные перемены в его внешне- и внутриполитическом положении.

Во-первых, усиление позиции Турции в 1520 г. положило начало проникновению в обыденную жизнь, в быт крымчан, турецких обычаев. Особенно сильно сказалось это на дворцовых традициях. Вместе с Саадетом в Бахчисарай прибыли новые чиновники, увеличились дворцовый штат и бюрократический аппарат, как и расходы на их содержание. Крымский историк называет только крупные новые должности — они весьма многочисленны (см.: *Хартахай,* 1866. С. 208–214). Позже Сахиб-Гирей завел большой штат телохранителей (их также называли *капы-кулы*) — совершенное подобие турецких янычар, вплоть до того что они набирались не из местного населения, а из пленных[1]. Постепенно эти низкородные служаки, презираемые старым дворянством, возвысились настолько, что стали успешно конкурировать с мурзами и в управлении государством, и во влиянии на ханов.

---

[1] Эта лейб-гвардия даже внешне отличалась от остального войска, так как «утопала в кирасах и латах, восседая на арабских конях» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 9). Здесь и ниже приводятся ссылки на один из самых богатых и точных источников эпохи — труд турецкого историка, астролога и близкого советника Сахиб-Гирея с момента возведения его в ханское достоинство и до дня гибели. Имеется в виду Бадр ад-Дин Мухаммеде бин Мухаммед Кайсуни-заде Нидаи-эфенди, более известный под именем Реммал-Ходжи («Реммал» — от *тур.* «Предсказатель»). Его исторический труд *Tarih-i Sahib Giray Han* был ещё в XIX в. переведён крупнейшим отечественным востоковедом В.Д. Смирновым под титулом «Повествование о событиях царствования Сахыб-Гирея, хана Крымского». Ныне этот перевод находится в Архиве востоковедов Института восточных рукописей Российской академии наук.

Во-вторых, ослабление старых бейских и эмирских родов, особенно заметное на примере Ширинов, открыло дорогу другим, не менее старым кланам, в числе которых были и такие крупные, как Мангыты-Мансуры. До того они оставались в тени, но в 1551 г. Девлет-Гирей уже мог поставить в фирмане этот род перед Барынами, занимавшими ранее второе место в бейской иерархии. С одной стороны, несколько уменьшается официальное влияние и остальных старинных родов (в XVI в. лишь трое карачи сохранили важное право иметь своих дипломатических агентов за рубежом). Но с другой — увеличивается их реальное значение во внутренней политике. Фактически и это было связано с Османской империей, так как завезённое оттуда огнестрельное оружие значительно усилило бейскую гвардию.

Далее, ослабление Крыма в 1520-х гг. открыло заперекопские степи, обширное междуречье Днепра и Дона, для иммиграции туда пришлых ногайских орд. Их и ранее вытесняли со старых кочевий, от берегов Волги. Но новое усиление в тех краях русских, которое началось гораздо раньше установления Иваном Грозным в 1554 г. протектората над Хаджи-Тарханом, ускорило этот процесс. В Крым приволжские ногайцы почти не проникли, но они сделали невозможным расселение за Перекопом избытка населения полуострова. Теперь Крым «закрылся», по крайней мере, снаружи.

Другое дело, что кочевая часть крымских татар по-прежнему ходила за Перекоп. Первые горячие лучи весеннего солнца будили в крови этих степняков былую жажду странствий, и они уходили далеко на восток, достигая иногда Кубани, Дона и даже Волги и Урала. Но при Саадете и его преемнике Сахиб-Гирее происходит решительный поворот к полной оседлости даже наиболее консервативной части уцелевших степняков Крыма. Впрочем, этот переход к совершенно иной модели жизни произошёл не без нажима сверху, со стороны ханов, имевших к тому свои причины. Это и была четвёртая из упомянутых метаморфоз начала XVI в.

В прошедшие десятилетия произошли и другие перемены. И хоть столь значительных последствий не имела ни одна из них, всё же об этом стоит рассказать.

С тех самых лет открывается эпоха «военной службы» ханов у султанов. Началось с приглашений крымских татар в военный лагерь турок, когда армия империи выступила в северном направлении. Очевидно, кроме реальной воинской поддержки султаны получали возможность «освежить» в памяти ханов представления о могуществе Порты. Так, например, случилось в 1532 г., когда Сулейман I пошёл на Молдову, где он, в общем-то, вполне мог управиться и собственными силами. В пользу этого предположения говорит и то, что султан не настаивал на мощной военной поддержке крымских татар, речь шла лишь о принципиальном участии.

Но позже, когда началось последнее ослабление империи Османов, из которого она так и не вышла, требование определённого числа войск, пушек и так далее становится обычным, а его выполнение — весьма отягощающим крымскую экономику. Причем в отличие от набегов, в которых крымские горцы, как правило, участия не принимали (а с конца XVI в. — и земледельческое население побережий и степи), участие в походе с турецким войском стало обязательным для десятков тысяч парней и молодых мужчин, вынужденных оставлять на хозяйстве старых да малых. Это вызвало крупные вспышки недовольства коренного населения, не желавшего бросать свои сады и нивы ради абсолютно чуждых им турецких интересов (*Смирнов,* 1889. С. 406–407, 410–412).

Однако не стоит преувеличивать внешнеполитическое значение этих походов, в частности, в отношении московской политики Порты и ханского дивана. Некоторые учёные утверждали, что имел место какой-то совместный турецко-крымский проект, осуществлявшийся на протяжении многих лет и даже десятилетий. Например, выдвигается гипотеза относительно того, что в 1520–1530 гг., «осуществляя своё наступление на Московскую Русь, Османская империя... как и раньше рассчитывала прежде всего на боевую активность Крымского ханства. При этом Порта координировала антимосковскую политику крымского хана... В результате они не только осуществляли согласованные военные действия против Москвы, но и выдвигали общие требования Русскому государству, в частности и такое требование, как отказ России от всего Поволжья» (*Греков*, 1984 «б». С. 171–172).

Эта гипотеза основана, в общем, на случайных и редких совпадениях в политических акциях Стамбула и Бахчисарая и в ещё большей степени — на догадках, не подтверждённых письменными или иными источниками турецкого или крымского происхождения. Тем не менее такого рода выводы делаются и в исследованиях, посвящённых более позднему времени. Так, утверждается, что в начале 1540-х гг. «неудача задуманного тогда завоевательного плана в отношении Москвы отнюдь не означала, что правители Порты, Крыма и Казани отказались от планов такого рода» (указ. соч. С. 173).

Между тем мы видели (и увидим в дальнейшем), что походы ханов на восток, север и запад отвечали исключительно интересам Крымской державы, правда, менявшимся в соответствии с переменами в международной ситуации. И менее всего ханы заботились при этом о политической выгоде Порты, у них и своих проблем хватало. В том числе и таких, которые возникали не без участия турок, в свою очередь мало беспокоившихся об укреплении политического и военного могущества Крыма или казанских Гиреев. Верно, что крымские ханы иногда совершали совместные с турками походы. Но это, во-первых, было чаще всего вынужденное участие в акциях османов. А, во-вторых, оно могло иногда соответствовать и собственно крымским интересам в ослаблении одного из двух соседей — польского или московского, как об этом говорилось неоднократно.

Наконец, совместные походы были небесполезны для ханства, укрепляя его внешнеполитически. После того как в 1552 г. под ударами русских войск пала Казань, а в 1556 г. — и Хаджи-Тархан, Крым могла ожидать та же судьба.

Новая агрессивная политика Москвы при Иване Грозном, была не просто военно-захватнической, она имела и духовно-идеологическое обоснование. Между прочим, именно в эту эпоху православная церковь в лице митрополита Макария и протопопа Сильвестра стала вдохновительницей кровавых походов на восток против населения иного вероисповедания — в этом заключалась единственная вина последних перед Московской церковью. Именно она и стала «важной движущей и одновременно милитаризирующей силой новой агрессивной политики» Москвы. «Завоевание Казани было провозглашено крестовым походом против неверных бусурман. Многие казанские татары были убиты, остальные изгнаны из городов. Мечети Казани были разрушены, а на их месте построены церкви. Началось насильственное крещение татар» (*Каппелер*, 2003. С. 130). То есть новая агрессия получила полное оправдание среди христиан. Она

превратилась в священную борьбу за веру, а войны под таким идеологическим стягом могут вестись столетиями, как об этом свидетельствует история более ранних крестовых походов европейцев на Восток.

Что же касается Крыма, то здесь дело было не только в том, что Гиреи стали терять одного за другим своих естественных союзников в борьбе со славянской (московской, польско-литовской, казацкой) экспансией. Крымские татары, а шире — тюрки Восточной Европы, стали шаг за шагом уступать свою власть над Степью. И по мере того, как всё яснее становилась жестокая реальность, а именно безвозвратная гибель Казанского и Хаджи-Тарханского ханств, поглощённых славянским морем, становились необходимыми поиски новых путей укрепления политической обороны.

Здесь и в дальнейшем тексте автор вынужден приводить конкретные доказательства своим выводам, предугадывая критику коллег, прежде всего, «государственной» или «патриотической» школы, давно и прочно закрепившей свои позиции в российской историографии. Один из видных её сторонников объясняет истоки московско-крымских конфликтов в эпоху, о которой идёт речь, привычным способом. А именно доказывая губительную для мирной Москвы «экспансию» Гиреев. Но, с другой стороны, учёный не может отрицать факт агрессии русских в южном направлении, которая, собственно, и делала необходимыми крымские походы, отчасти нейтрализовавшие успехи московских колонизаторов степных земель: «В первой половине XVI столетия... Московское государство добилось значительных успехов в обороне своих южных границ. Граница Руси медленно, но неуклонно продвигалась на юг» (*Каргалов*, 1973. С. 102). Здесь В.В. Каргалову оказалось достаточным всего трёх строк, чтобы невольно развенчать собственную «оборонительно-наступательную» теорию. Силы и средства, которые тратились на возведение в южной степи «городов, сёл, новых сторожевых станиц и засек» (*Каргалов*, там же) могли быть с куда большим успехом использованы для устроения мощной обороны *старых* русских городов. Ведь было ясно, что степные засеки и городки преодолевались крымцами легко и без потерь. Видимо, московская подвижная «оборона» находилась в русле всё того же захватнического «строения земли Русской», известного из тогдашних хроник.

Таким образом, в соответствии с коренным образом изменившейся ситуацией было жизненно важно как-то усовершенствовать внешнеполитическую концепцию Бахчисарая. Одним из таких путей стала опора на политику Стамбула, на относительно кратковременное тесное сотрудничество с империей «с максимальным учётом интересов Порты» (*Иванчик*, 1992. С. 40). Какие-то *реальные* выгоды эта концепция, конечно, принести могла, но она была чревата превращением ханства в рабский придаток Турции, как это случилось, к примеру, с Боснией или Хорватией. Поэтому, будучи принуждённым к такому пути, Бахчисарай должен был постоянно помнить, что *такое* избавление от московской, северной опасности легко могло оборотиться южной политической и административной экспансией.

Таким было внешнее и внутреннее положение страны, рассмотренное с политической и социальной точек зрения. Не менее интересно бросить взгляд и на чисто личностные изменения, произошедшие за века, обозначаемые некоторыми европейскими историками и этнологами как застойные. Совершенно

иное впечатление об этом периоде остаётся при даже беглом знакомстве с некоторыми индивидуальными биографиями крымчан той поры. Одна из них особенно интересна, причём не только потому, что принадлежит великому хану, правившему Крымом в 1588–1608 гг., но и поскольку она отразила в себе первые зримые черты и признаки Нового времени, наступавшего в огромном Причерноморском ареале.

3. Сахиб-Гирей I

После того, как Саадет-Гирей покинул Крым, бахчисарайский престол на некоторое время занял Ислам-Гирей, избранный с общего согласия беями. Однако, рассчитывая на официальное султанское утверждение своего нового положения, он ошибался. Всё, чего ему удалось добиться, — это статус калги при очередном хане. Сулейман I решил между тем передать крымский престол Сахибу, с которым у него к тому времени установились тёплые, даже дружеские отношения. Примечательно, что вместе с атрибутами верховной власти в Крыму султан, зная о сложном характере Ислам-Гирея, передал новому хану 600 янычар и ещё тысячу стрелков, с которыми тот и сошёл на берег, но не в ханском Гёзлёве, а по понятной причине далеко за пределами Крыма, в Аккермане (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 2 об.). Туда к нему на поклон и явилась вполне послушно вся элита крымских родов, поздравлявшая его с обретением ханского престола (*Гайворонский,* 2007. С. 188–189).

Видя, что знатнейшие роды стоят за Сахиб-Гирея, Ислам «Бунтовщик» (под этим прозвищем он остался в истории) смирился, по крайней мере внешне. Тем не менее, новый хан избрал местом постоянного пребывания своего калги Оркапы, а не Акмесджит: видимо, Сахиб-Гирей опасался столь близкого соседства со своим своенравным племянником. Острый конфликт, перешедший в вооружённую борьбу, не заставил себя ждать. Реммал-Ходжи, впрочем, возлагает вину за это не на Ислама и не на хана, а на беев, которым, очевидно, была выгодна вражда дяди с племянником: они «учинили-таки между ними раздор и внесли-таки между ними неприязнь и сделали хана и султана друг с другом врагами. В течение нескольких лет страна была в волнении, жители просто изнемогали, ни одной ночи люди не были безопасны от противников» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 3). Впрочем, закончилось это противостояние весьма неожиданным образом. В 1537 г. сыновья мятежного Ислам-Гирея, Бакы-бей и Буймирза, давно разбойничавшие в ногайских степях, совершили нападение на Оркапы, убили отца и угнали несколько сот своих соотечественников, на продажу, естественно (указ. соч. Л. 5).

О том, что произошло в дальнейшем, любопытно было бы послушать историка, писавшего во время, более приближённое к тогдшним событиям, чем наше. Кроме того, это позволит ознакомиться с манерой изложения, с характерным ходом рассуждения и другими особенностями памятников традиционной крымскотатарской историографии. Поэтому позволю себе представить читателю фрагмент, посвящённый правлению пятого сына Менгли, Сахиб-

Гирея (1532–1533; 1540–1540; 1547–1551), из сочинения так называемого Аргинского анонима[1]:

«Достигнув полновластия, Сахиб-Гирей обратил всё внимание на устройство своего народа, чем и приобрёл бессмертную славу. Жители Крыма не имели до него постоянных жилищ, а вели жизнь кочевую, переходя с места на место... Сахиб-Гирей приказал поломать телеги, служившие им для переездов и перевоза семейств и имущества, и назначил всем постоянные места жительства, дав каждому достаточное количество земли, и приказав строить [постоянные] дома и деревни на пространстве полуострова Крымского от Ферх-Кермана (Ор-Капы на Перекопе. — *В.В.*) на севере до Балаклавы на юге и от Кафы на востоке до Гёзлёве на западе... Будучи воинствен, помянутый хан втоптал в грязь государства Русское и Польское и, победив Астраханского хана Ямгурджи, рассеял его подданных, а избежавших смерти мужчин и женщин со всем их имуществом и богатствами переселил в Крым» (*Аргинский аноним*, 1844. С. 384).

Этот рассказ, при всей его эмоциональности и несколько поверхностной трактовке глубинной сути происходивших в Крыму перемен, верно передаёт исторические факты. Поэтому он заслуживает внимания читателя, как любое бесхитростное повествование современника о характерах и судьбах наших предков. В этом смысле привлекает внимание ещё одно старинное сочинение, повествующее о, пожалуй, не менее важном событии в жизни этого хана. Уже в самом начале своего правления Сахиб-Гирей вошёл в историю благодаря деянию, далёкому от ратных подвигов: он заложил новую столицу своего государства, Бахчисарай. Старый дворец в Салачике, расположенный в узком ущелье, стал, очевидно, тесноват, поэтому было решено строить новый город ниже по течению р. Ашлама, там, где её долина значительно расширяется. Собственно, в 1532 г. был заложен не город, а пока лишь сад и дворец, которые должны были стать градообразующим центром будущей столицы — отсюда и её название. Вот как повествует о первых месяцах строительства Реммал-Ходжи:

«Он разбил прелестный сад, а посреди его выстроил дворец, подобный раю, что если бы увидел Шедад, то пришёл бы в восхищение. Там были и замки, и арки, и киоски (беседки. — *В.В.*), и залы, и террасы, наполненные гуриями и мальчиками; всюду струилась живая вода; по всем направлениям лужайки, куртины, тополя, жасмины улыбались точно лица красавиц и, точно очаровательные глаза, распространяли аромат нарциссы, и рассыпались подобно восхитительным локонам гиацинты и тюльпаны, вызывавшие видом своим хватающие за души стоны соловья... Близ того дворца он построил такую чудную мечеть с прекрасными хорами, что со всех сторон стекались [люди] любоваться ею. А возле он выстроил

[1] Имя этого крымскотатарского (по другим мнениям, турецкого) учёного не сохранилось. Он оставил по себе пространную рукопись, позднее условно названную *Историей крымских ханов*, написанную прекрасным языком и содержащую множество не встречающихся в иных сочинениях фактов и другой информации. Более всего своим содержанием и формой оно напоминает знаменитые *Семь планет* Мухаммеда Ризы, хотя и значительно уступает ему по объёму. Само это произведение было обнаружено в начале XIX в. в селе Аргине (17 км к юго-западу от Карасубазара) и в 1840-х гг. было передано приобретшим его беем Муратом Аргинским в Одесское общество истории и древностей, которое его и опубликовало (ЗООИД. Т. I. 1844).

приобретшие всюду известность бани. Насупротив же бани построили дома и павильоны. В несколько месяцев возник красивый город. Явились два ряда лавок и началась торговля» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 5–5 об.).

Вторым значительным строительным проектом хана стал Ор-Капы. Старая крепость у северных ворот ханства не только обветшала, но и не была рассчитана на изменившиеся методы ведения военных действий. Вряд ли она могла бы выдержать огонь осадной артиллерии, да и стены её не были приспособлены к установке мощных крепостных орудий — а пушки у Сахиб-Гирея уже появились, причём в достаточном количестве. По сути, он выстроил новую перекопскую крепость. Для этого, сообщает тот же Реммал-Ходжи, все жители ханства были обложены крепостной повинностью: «с каждого дыма (т. е. с отдельной семьи. — *В.В.*)» причиталась арба камня, лесные жители должны были поставлять строительный лес — тоже по арбе с семьи. Теперь крепость, четырёхугольная в плане, имела двое ворот, мечеть, бани. По углам крепостной стены возвышались четыре башни, причём одна из них была столь высокой, «что она с расстояния трёх дней [пути] видна была». С севера крепость защищал ров, протянувшийся от Сиваша на запад до Каркинитского залива, ширина которого теперь достигла 5 саженей (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 6). Теперь Крымский полуостров со всех сторон окружала вода и он стал фактически островом.

На следующий 1533 г. произошло немаловажное событие в истории правления Сахиб-Гирея. В августе из Московского великого княжества в Литву, а затем на юг бежал князь С.Ф. Бельский с пятнадцатью единомышленниками, опасавшимися расправы за заговорщицкую деятельность против правительства Елены Глинской, вдовы великого князя Василия III. Добравшись с немалыми опасностями до Стамбула (1536), а затем и Бахчисарая (1539), С.Ф. Бельский обещал хану свою помощь в новом походе на Москву, предлагая указать безопасные переправы (броды) через Оку (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 30–30 об.).

Поход состоялся лишь летом 1541 г. Сдержав своё слово, С.Ф. Бельский привёл к окскому броду огромное войско хана, в которое входили турки с собственной артиллерией, а также хаджи-тарханские, аккерманские и кубанские ногайцы — всего более ста тысяч (*Соловьёв*, 1988. Т. VI. С. 430) По словам же Реммал-Ходжи, всего на берегу собралось сто пятьдесят тысяч: «хан расположился лагерем у начала того брода, ниже его расположились приближённые и войска ширинцев» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 36–36 об.). Вначале русских у места переправы было немного, и она была вполне возможной по количественному превосходству османской артиллерии, начавшей обстрел московских отрядов. Однако в этот решающий момент хану донесли, что мансурский бей Бакы (о нём упоминалось выше) замыслил измену, приготовившись убить хана, как только тот ступит на плот. Гирей приказал Бакы-бею начать переправу, тот не повиновался. Так было утрачено преимущество численного превосходства, а на другой день русские успели доставить к противоположному берегу настолько значительное количество пушек, что форсирование Оки стало невозможным (*Гайворонский*, 2007. С. 203–204). Поэтому Сахиб-Гирей принял решение о возвращении. Московские войска пытались навязать татарам арьергардные бои, но после того как хан переправился через Дон, они вернулись без какой-либо добычи.

Князь Семён Бельский после этого бежал в Литву, дальнейшая судьба его неизвестна. Что же касается Бакы-бея, то по возвращению в Крым он был по ханскому указу казнён: Сахиб-Гирей не мог простить ему неудачи столь важного и хорошо подготовленного похода (*Смирнов*, 1887. С. 403).

После окончания военных действий 1541 г. тревожные вести стали приходить из Хаджи-Тархана. Местный хан Ак-Копек (Ак-Кибек) был убит своим соперником Ямгурчи бин Бирдибеком, давно уже ведшим с Москвой переговоры, направленные против Крыма. После этого переворота хаджи-тарханские жители послали гонцов в Бахчисарай с просьбой о помощи против узурпатора. Сахиб-Гирей решил отправиться в новый большой поход. В Крыму была объявлена всеобщая мобилизация: на коней должны были сесть все мужчины в возрасте от 15 до 70 лет. Таким образом, было собрано 15 000 человек только капы-кулу, 20 000 ширинцев и 50 000 ханского войска, всего же, учитывая заперекопских ногайцев, численность войска достигла около 200 000 человек (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 63–64 об.). Ямгурчи, увидев явное превосходство крымцев, бежал со своими приближёнными на противоположный берег Волги, как только начался артиллерийский обстрел города, и крепость Хаджи-Тархан была взята практически без сопротивления.

Сахиб-Гирей мог бы, конечно, посадить на местный ханский престол одного из своих сыновей, однако это было чересчур опасно — рядом находилась многочисленная Ногайская орда, чей правитель Шейх-Ахмед не скрывал своих претензий на Хаджи-Тархан. Поэтому крымский хан удовлетворился полным разрушением города-крепости и отправился восвояси, забрав с собой жителей города для расселения их в Крыму (*Зайцев*, 2006. С. 140). Прошло два года, на протяжении которых на опустевшее поволжское ханство предъявила — не в первый раз — свои претензии Москва. Туда почти постоянно совершали набеги некие «московские казаки», низовая вольница, действовавшая под покровительством Кремля (Зайцев, 2004. С. 142–143).

Естественно, Гирей собирался вернуться в низовья Волги, чтобы полностью взять ханство под свою власть. Однако Шейх-Ахмед решил нанести упреждающий удар и зимой 1548–1549 гг. направил своё десятитысячное войско под началом Аксак-Али-мурзы в Крым. Получив известие о приближении орды, Сахиб-Гирей подготовился к встрече её на Перекопе. Расположив своё сорокатысячное войско в две линии, он позволил степнякам втянуться между ними и нанёс фланговые удары с восточного и западного направлений, поддержанные фронтальным артиллерийским огнём с юга. Наступавшие ногайцы были обречены.

Как сообщает Реммал-Ходжи, «луков и стрел тут не было видано, а рубили сабли наголо, в рукопашную, одним словом, произошла такая бойня, какая не была видана. В несколько минут враг показал тыл, и так рубили, что от множества человеческих трупов не видно было земли, и от вражеской крови всё поле превратилось в тюльпаноцветную шкуру леопарда; от испарений крови потемнело солнце, и от пыли не стало видно атмосферы... Этот день был днём Страшного суда. Скольких из них перебили! Начальник их Аксак-Али-мурза с пятьюдесятью человеками с трудом спасся; как говорили, из всех семи тысяч ногайцев не спаслось и ста человек, так что Эмин-Гирей-султан [старший сын Сахиб-Гирея и его калга. — *В.В.*], уставши рубить, некоторых отпускал,

говоря: „Не мы им дали жизнь, чтобы отнимать её". Иначе ни одна душа бы не спаслась» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 73–73 об.). Три тысячи уцелевших ногайцев были впоследствии частично казнены там же, на Перекопе, остальные получили право на жизнь, но уже не в орде, а на полуострове, в качестве подданных хана. Так Хаджи-Тархан снова стал частью Крымского ханства.

Оставалось только назначить своих сыновей на оба опустевших престола — хаджи-тарханский и казанский (хан Сафа-Гирей умер в 1549 г.). Однако этому последнему шагу, долженствовавшему возродить Великий Улус, помешал конфликт Бахчисарая с Оттоманской Портой. Сулейман I призвал Сахиб-Гирея к участию в своём походе на Персию — османы, располагавшие отличной артиллерией, нуждались в лёгкой и подвижной крымской коннице. Но хан, ещё далеко не завершивший свои дела на волжских берегах, сопутствовать падишаху отказался под благовидным предлогом отсутствия материальных средств к этому, и — неслыханное дело — вообще критикуя план новой войны. Он писал султану: «Татарское войско — это голыши, которые не в состоянии вынести такого дальнего похода. Да и вы с оттоманским войском не будете в состоянии одержать победу, потому что ваше войско тяжёлое, а персияне, подобно татарам, быстрые наездники, они в один переход сделают пространство в пять ваших переходов». Оставалась единственная возможность помощи, которую хан предложил султану, впрочем, весьма скромная: он не сможет выделить более 1 000 воинов, даже если Порта пришлёт достаточно денег (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 74–74 об.).

Крымский ответ, по сути, издевательский, учитывая недавние многотысячные походы Гирея, окончательно убедил султана в необходимости смещения строптивого хана. И это решение не смогли перевесить многочисленные заслуги хана не только перед Крымом, но и по отношению к Османской империи. Поэтому, перед тем как перейти к истории последних дней Сахиб-Гирея, подведём итоги неоднократных его правлений.

Внутренние преобразования действительно остались в памяти потомков прежде всего в связи с практически массовым оседанием бывших кочевников, с переходом их к иному типу хозяйствования, что значительно укрепило ханство, привязав к земле чрезвычайно лёгких на подъём и неспокойных степняков. Но, конечно, достигалось это не «рубкой осей» кочевых кибиток, а более оправданными способами.

Во-первых, Сахиб-Гирей затеял переселение многих тысяч кочевников на территорию полуострова из степей приречных регионов «Джаика (р. Урала), Терека, Итиля и Кубани», отведя им срединную часть Крыма «между Фарахкерманом (Перекопом), Балаклу (Балаклавой), Кефою и Кузлу (Гёзлёвом)» (*Риза*, 1832. С. XVIII). Согласие на переселение достигалось сравнительно просто: он щедро наделял землями всех, кто был готов сменить весьма небезопасный быт в пограничных регионах на куда более спокойную жизнь под защитой перекопской твердыни. Причём главы родов получали при этом жалованные грамоты, которые были составлены ханской канцелярией в таком количестве, что многие из них сохранились в различных архивных собраниях до Нового времени и дошли до наших дней.

Во-вторых, хан выстроил несколько десятков мечетей и мектебов в местах кочевий, то есть вне полуострова, главным образом в степях, граничивших с Буджаком. Мусульманское в массе кочевое население не могло духовно не «прилепить-

ся» к этим очагам религиозной культуры и образованности, пусть и скромным поначалу. А уж после этого их было легче «соблазнить» центрами духовной культуры и просвещения, расположенными в центральной части собственно Крыма. Здесь, кстати, он также «основал многие города, завёл селения, сооружал мечети и учреждал училища» (Риза, 1832. Там же). Он же усовершенствовал пришедшие в упадок старые причальные сооружения в глубинном изгибе Каламитского залива у Гёзлёве — так ханство вновь обрело собственный порт, не контролируемый турками, хоть те и держали в этом городе-крепости свой гарнизон.

В-третьих, этот хан остался в истории как основатель Бахчисарая. Собственно говоря, он вряд ли имел план создания новой многолюдной столицы и самого известного города в Новой истории Крымского ханства. Просто старый дворец Девлет-Сарай не то что стал тесноват, но был расположен в горной теснине, свободное пространство вокруг него было ограниченным, и строительство служебных и жилых зданий, необходимых при росте ханского аппарата и личной охраны, было попросту невозможным. Поэтому хан и создал новый дворец ниже по течению р. Ашлама, там, где долина расширялась настолько, что хватало места не только для любого строительства (в том числе и казарм для гвардии капыкулы), но и для обширного парка.

Название нового дворца — Багъчасарай или *Дворец-сад* — было дано ему то ли в честь этого парка будущего, то ли из-за фруктовых садов, которых не могло не быть в просторной долине между Кырк-Ером и Эски-Юртом, орошаемой прозрачными водами Ашламы. А впоследствии удачно выбранное место для дворца стало как магнитом притягивать к себе новопоселенцев — ведь рядом, кроме всего прочего, проходил древний путь, соединявший южные гавани с центральными торжищами полуострова. И стал город.

В-четвёртых, Сахиб-Гирей, будучи человеком одарённым и образованным, всемерно содействовал развитию крымскотатарской культуры. Достаточно сказать, что по его инициативе постоянно делались переводы на крымскотатарский язык лучших научных, поэтических и прозаических произведений зарубежной мусульманской литературы. Один лишь Реммал-Ходжи перевёл несколько сотен таких сочинений, и, как он вспоминал, «причиной появления в свет всех этих литературных и учёных произведений был Хан, да увеличит к нему Всевышний милосердие Своё и да водворится он в сонме святых и Пророков, потому что он в этом мире был руководителем по пути истинному» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 71).

Наконец, этот хан ослабил значение четырёх прежних бейских родов, карачей Ширинов, Барынов, Аргинов и Кыпчаков, возвысив далеко не столь знатных и древних, но наделённых из ханских рук обширными угодьями Седжеутов и Мансуров (напомню, Мансуры являлись крымской частью могучего ногайского рода Мангытов). Этим он не только укрепил свою власть, ранее заметно ограниченную степными аристократами-карачи, но опять-таки поднял значение оседлых магнатов своей державы. Итак, отныне в Крыму было не четыре, а шесть карачей, отчего роль каждого из них в отдельности, в том числе и Ширина, понизилась. Но помня о печальном опыте своего предшественника Саадета, крутыми мерами лишь озлоблявшего беев, Сахиб-Гирей относился к этой элите крымского дворянства с подчёркнутым вниманием и неукоснительной вежливостью.

В то же время, отдавая себе отчёт в могуществе бейских родов — а во главе их бывали самые разные люди, — хан принял меры к обеспечению безопасности своего престола с этой стороны. Им было поднято значение служилой группы капы-кулы, превратившейся из неких янычар при Саадет-Гирее в более устойчивое сословие, в корпорацию всецело зависящих от хана профессиональных, дисциплинированных воинов, преданных своему державному кормильцу. В дальнейшем с той же целью было увеличено число турецких *сейменов* (воины, вооружённые личным огнестрельным оружием), в отличие от капы-кулы не стоивших хану практически ничего (они получали своё жалование от султана).

Естественно, этого было бы невозможно добиться без расположения стамбульского владыки. Но оно имелось. В отличие от большинства крымских ханов, Сахиб-Гирей пользовался искренней симпатией и покровительством султана. Именно поэтому в Порте не встречали противодействия самые разнообразные крымские нововведения, вроде повышения налогов среди христианских подданных хана в 1539–1540 гг. Более того, и во внешней политике Гирей пользовался полной свободой действий. Так, несмотря на мирные и даже дружеские отношения султана с Москвой, он никак не препятствовал походу Сахиб-Гирея в 1541 г., походу не самому удачному, но ставшему причиной невиданной паники на территории всей русской державы. Стрелецкое войско боялось выйти за пределы городов, на московских улицах появились надолбы. Даже знатные люди готовились к неминучей смерти: «У которых воевод между собою были распри, и те начали со смирением и со слезами друг у друга прощения просить» (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 432).

Появлялись воины Сахиб-Гирея в русских землях и в 1542 г., на сей раз в Рязани, откуда также не ушли без добычи. А в декабре 1544 г. ханский калга Эмин-Гирей, ворвавшись в белевские и одоевские земли, вообще русским войском не был встречен. Оказалось, что местные воеводы Щенятев, Шкурлятев и Воротынский были заняты более, с их точки зрения, важными, местническими проблемами: «рассорились за места и не пошли против крымцев». Естественно было воспользоваться таким редким случаем, и калга со своими джигитами оттуда «ушли с большим полоном» (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 433).

Кроме того, напомним, хану удалось вновь посадить на казанский престол крымца, своего племянника Сафу-Гирея. Что было, конечно, составной частью антимосковской политики, которую Сахиб-Гирей последовательно проводил все годы своей активной политической жизни.

Здесь естествен вопрос: отчего же при таких тёплых отношениях с султаном Сахиб-Гирей трижды получал отставку? Такие незадачи объясняются единственно происками стамбульских вельмож, причём из самых могущественных, с которыми у хана были не просто холодные, но прямо враждебные отношения. И эти искушённые интриганы умели своей клеветой не только возбуждать в султане недовольство Гиреем вплоть до низложения хана (истина восстанавливалась, хан возвращался в Крым, но отставки-то были!). Им удавалось также и привлекать на свою сторону неугомонного претендента Ислам-Гирея, и крымских бейлербеев, кадиев, муфтия и так далее, которые, не осмеливаясь выступить против хана открыто, исправно поставляли его врагам в Порте всю нужную информацию прямо-таки шпионского характера (*Смирнов*, 1889. С. 418–419).

В конце концов, именно по их инициативе был положен конец и правлению, и земным дням Сахиб-Гирея. Случилось так, что хан посетил однажды Эски-Кырым, где осматривал развалины этого некогда цветущего города, «его большие здания и достопримечательности, посещая могилы его святых» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 76). Затем он навестил своих друзей близ Кефе (как известно, султанского города), после чего кефинский наместник Касим-паша сообщил своему султану в Стамбул, что хан осматривал укрепления и водопроводы крепости явно с целью овладеть ею в будущем. Османские паши развили эту версию до уровня совершенно доказанного факта, чем немало обеспокоили султана. В это время (конец 1540-х гг.) в Турции находился племянник Сахиба (сын его брата Мубарека), Девлет-Гирей, которого те же паши прочили на бахчисарайский престол. Понятно, что хан, зная об этом, пытался как-то нейтрализовать претендента, избрав для этого довольно бескровный метод, а именно, предложив султану сделать Девлета ханом Казани[1].

Эта инициатива его и погубила. Как меланхолично замечает в своём повествовании Реммал-Ходжи, «когда приходит предопределение, на зрение находит слепота» (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 82). Турки вроде бы приняли ханский проект, сообщив об этом в Крым специальным фирманом, и тут же предложили Сахиб-Гирею отправиться в поход на одно черкесское племя, проявившее непокорность Порте. Как только хан переправился на кавказский берег (это было осенью 1551 г.), в Гёзлёв прибыл его племянник Девлет, как бы по пути в Казань, а на деле — уже с султанским бератом о назначении в Крым. Огласив текст этого документа жителям ханства и заручившись их поддержкой, новый властитель приказал выпустить из Инкерманской крепости упомянутых выше сыновей покойного Сафы-Гирея — Бёлюка и Мубарека, находившихся там на положении почётных заключённых.

В те же дни сын Сахиба, калга Эмин-Гирей, пытался в отсутствие отца выступить против претендента со всей мощью крымского войска. Но оно, прослышав о щедрости нового владыки (тот завладел крымской казной и раздавал её без счёта), перешло на его сторону. Калга бежал к отцу, однако его опередило известие о смене власти в Бахчисарае, отчего и экспедиционное войско изменило своему предводителю. Затем в старом салачикском дворце Девлет-Сарае были задушены пятеро малолетних детей и внуков Сахиб-Гирея (в том числе сыновья Эмин-Гирея). Это злодеяние совершил мансурский бей Ходжатай, столь многим обязанный старому хану и именно поэтому спешивший выслужиться перед новым владыкой Бахчисарая.

Между тем освобождённый из Инкермана Бёлюк получил у Девлет-Гирея отряд янычар, чтобы перехватить возвращавшегося с кавказского похода Сахиб-Гирея. Тот успел достичь лишь Тамани, где остановился у тамошнего паши. Там его и застал Бёлюк. Внезапно ворвавшись в комнату, предоставленную Сахибу,

[1] Сафа-Гирей уверенно пользовался поддержкой казанских и ногайских татар, а также астраханских мурз (*Греков*, 1984 «б». С. 174). Но он умер в 1549 г. в результате несчастного случая («разбився падением в полате своей» — *Лашков*, 1990. Л. 67 об.). Временно юртом стала управлять ханская вдова Сююн-бике, а сыновей покойного, Бёлюка и Мубарека, Сахиб-Гирей тогда же велел поместить в Инкерман, чтобы помешать старшему из них занять опустевший казанский престол.

он убил хана и его сына Гази-Гирея[1], чем заслужил искреннюю благодарность нового повелителя: Девлет-Гирей тут же сделал его своим калгой.

И снова следует обычный для крымских татар пример почтения к своим мёртвым. Новый хан, по сути, убийца Сахиб-Гирея, приказал доставить тело бывшего хана в Салачик и торжественно захоронить в знаменитой усыпальнице Хаджи-Гирея I, а также позаботиться о членах семьи покойного, оставшихся в живых после убийств в Салачике (*Смирнов*, 1887. С. 420–422). Кроме того, именно в правление Девлет-Гирея I в крымскотатарской национальной историографии была заложена основа всем дальнейшим, вполне справедливым оценкам Сахиб-Гирея как выдающегося хана, стремившегося к независимости и самостоятельности своего государства, мудрого политика и крупного полководца своей эпохи (См.: *Худяков*, 1991. С. 115–116, 90).

Закончу рассказ об этом хане словами из прекрасной книги нашего современника: «Унаследовав от Саадета Герая истерзанную усобицами страну, Сахиб Герай и впрямь вернул своему роду прежнюю славу; и звезда могущества Крыма, словно во времена великого Менгли, вновь стояла в зените» (*Гайворонский*, 2007. С. 223).

4. Политика Девлет-Гирея I и его преемников

Стоит он, синея травой,
Над прадедов славой курган.
В. Хлебников. Хаджи-Тархан

Внук Менгли-Гирея и сын Мубарека, хан Девлет-Гирей I (1551–1577) пробыл на престоле целых 27 лет, судя по всему, благодаря своим неизменно удачливым походам на соседей. Это содействовало высокой боеготовности войска, хорошему его обеспечению, повышало авторитет хана не только среди народа, но и в дворянской среде, а также за рубежом. Короче, Девлет был полной противоположностью таким образованным и, по сути, мирным своим предшественникам, как Саадет-Гирей. Но эти его качества укрепляли ханский престол ничуть не меньше.

Второй причиной столь долгого периода правления некоторые историки называют отсутствие в Крыму политических конкурентов этому хану или прямых претендентов на его престол (*Виноградов*, 2007. Т. I. С. 63).

Не могли не помогать ему также изрядный политический опыт и полезные знакомства, которые он копил в течение длительного своего пребывания при стамбульском дворе (он прожил в столице Османской империи с 1532 по 1551 гг.). Это же почти двадцатилетнее пребывание у Ворот Счастья, близкое знакомство с миром стамбульских интриг и коррупции, поселило в душе крымского государя глубокое недоверие и подозрительность к тем, у кого он гостил столь долго. Но, что ещё важней, благодаря постоянным контактам со своими

[1] Реммал-Ходжи утверждает, что эти кровавые события имели место не в Тамани, а в Кефе (АВ ИВР РАН. Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 91 об.).

стамбульскими друзьями этот хан был на редкость полно осведомлён о направлениях и переменах курса внешней политики Османской империи в течение всего своего правления.

С именем Девлет-Гирея I связана крупная дипломатическая операция крымцев, связанная с Москвой и Хаджи-Тарханом. У русских с 1533 г. на престол взошёл новый великий князь, затем царь (1547) Иван IV. Правда, когда он пришёл к власти, ему было около 3 лет и правление это было вполне формальным: вместо него государственными делами ведала его мать Е.В. Глинская со своими приближёнными. Но, войдя в зрелые годы, этот царь решил воспользоваться «женским правлением» в Казани[1] и захватить приволжское ханство. Первый поход на восток, состоявшийся в 1549–1550 гг., был отбит, но царь успел заложить на казанской земле крепость Свияжск, поставить под контроль волжский водный путь и переманить на свою сторону тамошних черемисов, предложив им неслыханные свободы от податей (а позже, естественно, обманув). Казань оказалась блокированной, и стало ясно, что новое нападение русских — вопрос лишь времени.

Тогда Кунчек-оглан отправился со своей немногочисленной гвардией в Крым за помощью, но близ Вятки их взял в плен местный воевода и отправил в Москву, где они были казнены. После этого в Казани возобладали пораженческие настроения и противники крымского правления предложили трон царю Ивану. Тот послал на княжение уже упоминавшегося Шаха-Али, сына касимовского правителя из ордынского рода Намаганов. Шах-Али был жалкой марионеткой в руках царя, однако формально Казанское ханство по-прежнему Москве не принадлежало. Поэтому в 1552 г. Иван IV снова отправился в поход, вошёл в Казань и учинил там страшную резню.

Так она окончательно утратила свою древнюю самостоятельность, а Гиреи — северный татарский юрт, где правили столь долго. Единственным положительным результатом этой потери стал союз Девлет-Гирея с хаджи-тарханским ханом Ямгурчи: тот стал опасаться, что его столицу постигнет участь Казани (*Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 442–443, 467). Союз укрепляла и реальная помощь, которую Девлет-Гирей впоследствии неоднократно оказывал Ямгурчи против московских войск[2].

Однако новому союзу был суждён недолгий век. Хаджи-тарханский нуреддин Исмаил готовил переворот, после которого он мог бы фактически править ханством, посадив на престол своего человека, родовитого, но слабого и безвольного Дервиша-Али. С этим проектом он обратился к Москве, предлагая царю захватить ханство, которое при новом правителе будет во всём слушать его волю. На такое предложение царь не мог не согласиться. И в 1554 г. многочисленное московское войско под началом князя Ю.И. Пронского-Шемякина осадило Хаджи-Тархан (*Масса*, 1997. С. 24).

Видя, что сопротивление бесполезно, Ямгурчи бежал к Азаку (Азову). На хаджи-тарханский престол был посажен упомянутый Дервиш-Али, обязавшийся

---

[1] В начале 1550-х гг. там ханом был утверждён младенец Отемиш-Гирей, а фактически всеми делами в государстве заведовала его мать Сююн-бике, которую поддерживал элитный крымский отряд под командованием Кунчек-оглана.

[2] Крымский историк Халим Гирай-султан (1772–1823) указывает, что уже в начале 1550-х гг. Девлет-Гирей, узнав о нападении русских на Хаджи-Тархан, отправился туда с войском и нанёс русским поражение, преследуя их до Тулы (*Халим Гирай*, 2008. С. 45).

Хаджи-Тарханское ханство в середине XVI в.

платить царю ежегодную денежную дань в 40 000 алтын, не считая рыбной подати. Кроме того, он был обязан содержать русский гарнизон «своей» столицы. Наследника хаджи-тарханского престола отныне, согласно шертной грамоте, теперь должен был назначать царь. Очевидно вскоре после этого произошло событие, которое освещено, кажется, всего одним, уже известным нам источником:

«В то время войско московское овладело Хаджи-Тарханом, хан пошёл и освободил этот город, но, когда возвращался назад, обременённый бесчисленной добычей, его настиг по пути, предводительствуя 90-тысячным войском, поселившийся в России и славный отважностию между неверными, выкрест из персидских армян по имени Шир-Мердун, ошибочно называемый Шир-Медом (то есть Шереметевым. — *В.В.*). Уйти было нельзя, поэтому хан по необходимости вступил в бой; но так как лошади, утомлённые длинным походом и тяжестью добычи, не имели сил, войско татарское потеряло дух и пришло в расстройство.

Ханские сыновья калга Ахмед-Гирей и Хаджи-Гирей, пять султанов (то есть их братьев. — *В.В.*) и бесчисленное множество знати и простых ратников мусульманских пало под ударами неверных; совершенная гибель была уже близка, но „Нет победы, неже от Господа“: сын Девлет-Гирея, Мехмед-Гирей, оставленный отцом сторожить Крым, устыдясь проводить время в покое и бездействии, тогда как отец его и братья были в походе, собрал, без позволения на то Девлет-Гирея, сколько можно было храброго войска и, пустившись с ним на помощь и подкрепление отцу, прибыл именно в то самое время, когда войско мусульманское близко уже было к бегству.

Помня божественные слова „Знайте, что рай обретается под сенью мечей“, он немедленно, с криком „Аллах! Аллах!“ ударил на неприятельский лагерь. Это

движение придало силу изнемогавшему ханскому войску, оно снова завязало бой, и неверные были разбиты. По возвращении домой победоносного и обогащённого добычей войска Мехмед-Гирей награждён был почётною одеждой и сделался калгою» (*Аргинский аноним*, 1844. С. 384–391).

Весьма удивительно, что столь яркое событие ускользнуло от внимания крымских и московских современников, никак не отметивших его ни в частных записках, ни в в весьма подробной летописи тех лет (ПСРЛ, 1904. Т. XIII. С. 248–260), да и историки странным образом о нём умалчивают[1]. Поэтому здесь не исключена какая-то историческая путаница, отчего полагаться на рассказ Аргинского анонима следует с осторожностью.

А через два года произошло то, чего стоило ожидать. Московское войско вернулось, чтобы лишить Дервиша-Али престола. Город заполонили стрельцы и казаки, затем появилась царская администрация. Хаджи-Тархан постепенно превращается в заштатный городок, вскоре угасший. Зато в 15 верстах от него был основан и стал быстро расти московский город-крепость Астрахань.

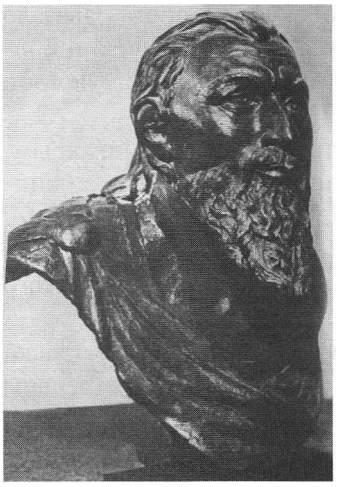
Вот так история и этого ханства прекратила течение своё.

Затем в Кремле был разработан новый военно-политический план. По сути своей он не был слишком замысловатым, то есть рассчитанным на тонкие дипломатические ходы. Предполагалось попросту применить военную силу для полной ликвидации самостоятельности Крыма, захватив ханство и посадив в Бахчисарае русского воеводу *(Кушева*, 1963. Т. II. С. 197–198). Короче, Крыму готовилась участь Казани и Хаджи-Тархана. Но эта перспектива стала беспокоить не только Гирея и султана, но даже и соседние Польшу и Литву. Там понимали, что превращение Крымского полуострова в опорный пункт царей на Черном море послужило бы к чрезвычайному усилению восточных соседей, непомерному даже для Москвы с её известным аппетитом к соседним землям.

Хану также стало известно об этих намерениях, и к чести его нужно заметить, что он сразу оценил реальность нависшей над его страной угрозы. Девлет-Гирей внимательно следил за политической обстановкой на Севере и Западе и понимал, что Московия от намеченной задачи не отступит, и если ей не противопоставить реальную воинскую силу, она не остановится и на южном направлении.

В общем-то, хан был прав, пусть даже у него не имелось точных данных относительно успехов московской внешней политики и роста её владений. А именно сведений о том, что к тому времени Россия стала известна как *самая* агрессивная из соседних с Крымом держав. Она уже заняла огромную территорию в 2,8 млн км^2, превратившись из рядового в прошлом княжества в крупнейшую (после Священной Римской империи германской нации) по площади державу Европы. Она уже располагала выходом на Балтику, на Каспий и другими необходимыми для успешного экономического развития условиями. Тем не менее, венчаясь на царство, Иван Грозный, получивший от своих духовных отцов редкую

[1] Лишь петербургский историк Ю.В. Кривошеев глухо упоминает о какой-то помощи, оказанной крымским ханом Дервишу-Али весной 1556 г., когда Хаджи-Тархан был взят отрядами И. Черемисинова, Т. Тетерина и атамана Филимонова (*Кривошеев*, 2006. С. 241). Однако здесь речь идёт о явно другом, менее значительном походе, окончившемся к тому же для крымцев безрезультатно.



Иван Грозный.
Реконструкция М.М. Герасимова

по слепой агрессивности программу внешней политики, неуклонно, любой ценой, стремился к расширению государственных границ за счёт соседей.

Так, во время коронования, 16 января 1547 г., царь молился «в услышание всем», прося Всевышнего «покори ему все варварьские языкы», то есть народы (ПСРЛ, 1904. Т. XIII, С. 150). Понятно, для чего. Идеалом государства для этого царя (и практически всех его наследников), то есть постоянным политическим стимулом, оставалось удовлетворение страсти к количественному, а не качественному усилению своей державы, к чисто географическому расширению её границ. Эта «программа», характеризующаяся совершенно архаичной примитивностью, была заимствована Иваном Грозным, конечно же, не у Европы, где в ту самую пору закладывались основы современной атлантической цивилизации (Нидерланды, Англия).

Царь, будучи отнюдь не европейцем, искал и находил примеры для подражания не в Европе, и даже не в истории Византии, но у восточных владык, по-видимому, более близких ему по духу. Для него образцом монарха и государственного деятеля стал Сулейман Великолепный: «Внутренний строй султанской державы был близок представлениям Ивана IV об идеальном государстве»[1]. И он, не обладая и долей разнообразных талантов этого действительно блестящего государя, лелеял планы всё новых и новых территориальных захватов.

Повторяем, крымский хан не мог иметь точных сведений о тайных планах и далекоидущих замыслах московского государя. Однако для собственных выводов ему было достаточно трагедий Казанского и Хаджи-Тарханского ханств; он помнил также о том, что уже в 1550-х русские резко усилились не только на Северном Кавказе, но и в Большой ногайской орде. Впрочем, царь до поры до времени остерегался идти на захват Крыма, по крайней мере в одиночку. Поэто-

[1] *Иванов С.М.* Россия и Турция (общее и особенное в историческом развитии в эпоху Средневековья и Нового времени // История России. Россия и Восток. СПб., 2002. С. 324.

му он обратился к Польше-Литве, пытаясь наладить с ней отношения, которые до того были крайне зыбкими, если не враждебными. Достаточно сказать, что в 1555 г. Сигизмунд Август II направил в Крым писание, в котором заявлял о своём намерении не продлевать существовавший договор с царём о примирении, но добиваться своих прав на спорные земли, не останавливаясь для этого перед войной с Московским государством[1]. Союзные московско-польские переговоры уже успешно шли к концу, и участь Крыма, казалось, была предрешена, когда Девлет решил вмешаться. Он направил в Польшу собственное великое посольство[2]. Оно прибыло в Краков, где посол Акуш Улан первым делом объявил королю, что последние крымские походы на Подолию и Волынь (1558) были совершены без ведома хана.

Опытные крымские дипломаты так повели дело, что поляки отказались продолжать переговоры с посланцами Грозного, и те несолоно хлебавши вернулись в Москву. Затем крымский посол предложил уладить проблему дани, которую Литва платила начиная со времён Мехмед-Гирея I, но прекратила отсылать её в Крым, возможно, по причине упомянутых набегов. И тут же посол добавил, что у них общий противник, царь московский, против которого ханы всегда воевали и будут воевать и впредь, возможно, и вместе с королевской армией. В ответ обрадованный король гарантировал немедленное погашение долга по дани и тут же направил в Бахчисарай своего посла Михаила Гарабурду для переговоров о военном союзе (*Rasmussen*, 1973. S. 144).

Однако царскому окольничему Даниилу Адашеву, находившемуся в то время на южных границах ханства, удалось перехватить М. Гарабурду вместе с королевскими грамотами к хану, которые тут же оказались в Посольском приказе. В такой ситуации Москва должна была оставить свои планы сближения с Краковом. Короче, усилиями хана план захвата Крыма был отложен надолго, хотя и не навсегда. Но и разрыв отношений с Литвой в 1558 г., когда началась двадцатипятилетняя Ливонская война (в числе противников Московии было и Великое княжество Литовское), не заставил Ивана Грозного прекратить военные акции, направленные против Крыма.

Так, ранней весной 1559 г. им был отправлен на юг окольничий Д. Адашев с войском. Московиты спустились по Днепру от Кременчуга и, выйдя в Чёрное море, разоряли крымские береговые деревни, вырезая мирных рыбаков и садоводов. Девлет-Гирею доносили, что в те же месяцы украинский князь на царской службе Д.И. Вишневецкий-Байда вместе с запорожскими казаками грабит Ислам-Керман и Ачи-Кале, уводит тысячные табуны, а пятигорские черкесы из тех, что поддались Москве, разоряют ханские земли в окрестностях Тамани и Темрюка (*Лызлов*, 1990. Л. 154 об.–156; *Дзамихов*, 2001. С. 261).

---

[1] *Tiberg E.* Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges: Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549–1562. Uppsala: Academia Upsaliensis, 1984 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia. Bd. 134). S. 65–66.

[2] Этот визит не был неожиданным. Подготовка к нему велась с декабря 1558 г., когда в Пиоткрув (Петроков), где шёл очередной сейм и находился король Сигизмунд Август, прибыл крымский гонец Чабан Енулевич. Он сообщил королю, что готовится великое посольство под руководством мурзы Акуш Улана, которое прибудет в Польшу в марте 1559 г. (Rasmussen, 1973. S. 126).

Осенью 1559 г. Сигизмунд Август направил в Крым новое посольство с той же целью заключения союза и договорённости о татарском походе на Москву. При этом польский посол С.Л. Тышкевич вёз с собой как текст союзного договора, так и дань в уговоренном объёме, причём и за этот год, и за будущий 1560-й. А в феврале-марте 1560 г. Девлет-Гирею из Вильно была направлена грамота, в которой король напоминал хану об его обещании совершить поход на Москву. При этом Сигизмунд Август не без резона указывал, что в противном случае царь вполне может захватить земли Ливонского ордена, и тогда у него не останется иного противника, кроме Крымского ханства, на которое он и ударит всей мощью своего войска (*Rasmussen*, 1973. S. 163).

С.Л. Тышкевич вернулся в Вильно в октябре того же года с договором, украшенным ханской печатью. В нём Девлет-Гирей обязывался, при условии регулярного получения дани, нападать на Москву так часто, как того пожелает король, но не исключая и того, что походы на север будут предприниматься им и по собственной инициативе. Далее, хан заверил короля в своей готовности возвращать все захваченные им у русских литовские замки и селения их законному владельцу — королю. Наконец, Гирей обещал принимать московские дани только по согласованию с Сигизмундом Августом (*Rasmussen*, 1973. S. 188).

Между тем хан послал в 1560 г. своего гонца в Москву с целью возобновления дипломатических отношений. Тот передал Ивану IV предложение о мире и дружбе, а также об обмене послами (ПСРЛ. Т. 13. С. 324). Эту инициативу не следовало понимать как подготовку разрыва отношений между Девлет-Гиреем и Польшей-Литвой. Скорее, он пытался столкнуть своих бывших противников в военном конфликте. Однако царский ответ был весьма сдержанным, хоть и не являлся прямым отказом от дальнейших сношений. В этот момент Иван IV нуждался хотя бы в видимости связей с Крымом, которые можно было использовать как средство дипломатического давления на Сигизмунда Августа.

Впрочем, весной 1560 г. он даже направил в Крым посольство с предварительными условиями будущего союза. Царь не преминул сообщить хану, что уже подготовленный поход на Крым не состоится, но чтобы и в дальнейшем такие акции исключить вообще, нужен действительный, прочный союз. И что теперь хану самому предстоит решать, продолжатся ли дальнейшие военные действия, или же Москва будет жить с Крымом в добром согласии (там же). Впрочем, это посольство оказалось безрезультатным: хан предпочитал в условиях начавшейся Ливонской войны пока сохранять нейтралитет, надеясь продать свою помощь одной из воюющих сторон как можно дороже.

Что же касается договора Девлет-Гирея с польским королём, то его условия исполнялись далеко не полностью. В октябре 1560 г. Сигизмунд Август послал в Бахчисарай гонца с грамотой, в которой хану был сделан упрёк в бездействии, поскольку он не совершил, как было договорено, похода на Москву[1].

[1] Это не совсем соответствовало действительности. В 1560 г. ханский калга Мехмед-Гирей вывел войско к р. Уды (близ Харькова), а русское воинство под командованием князя И.Д. Бельского уже стояло близ Тулы. Однако ни одна из ратей не использовала этот случай, чтобы вступить друг с другом в сражение. Затем состоялся ещё один крымский поход, но малыми силами и лишь на ближайшие к Крыму земли (*Rasmussen*, 1973. S. 188–189).

Там содержалось и предложение крымцам выступить на север в начале зимы. Сообщалось также, что сам король, к сожалению, не может участвовать в зимних операциях, так как он находится с царём в состоянии фактического перемирия, которое ему не хотелось бы нарушать (на самом деле шли даже переговоры о породнении польской и московской династий), но что, однако, если хан пошлет весть о своём походе великому магистру Ливонского ордена, Москва будет вынуждена отбиваться от двух наступлений сразу — с юга и запада. При этом король обещал вскоре прислать дань за будущий 1561 г. (*Rasmussen*, 1973. S. 188–189).

Между тем вскоре зыбкое перемирие между Москвой и Польшей-Литвой прервалось новыми военными действиями. Поэтому царь возобновил попытки сблизиться с Крымом. В своём послании к «куратору» московского направления ханской политики Сулеш-беку, датируемом второй половиной 1562 г., царь писал, что продолжавшиеся в 1561 г. походы запорожских казаков и русских отрядов совершались без его ведома и одобрения. Он даже избрал двух козлов отпущения в лице И.М. Висковатова и А.Ф. Адашева и, не называя в послании их по именам, сообщал, что с них за это строго спрошено: «А которые наши люди ближние промеж нас с братом нашим з Девлет-Киреем царём ссорили, мы то сыскали да на них опалу свою положили есмя — иные померли, а иных разослали есмя, а иные ни в тех ни в сех ходят», то есть живут в ожидании то ли казни, то ли ссылки (цит по: *Виноградов*, 2006. С. 31). Затем то же самое было сообщено лично хану.

Эти послания облегчили восстановление дипломатических отношений между Москвой и Крымом, и уже в апреле 1563 г. в Бахчисарай отправилось посольство воеводы А.Ф. Нагого с предложением мира и заключения военного союза против Литвы (указ. соч. С. 34). Однако этот союз не должен был являться сигналом к немедленному выступлению Крыма для «пособления царю», что означало в качестве вспомогательной силы. Такой поход стал бы возможным лишь в случае, если царь и хан отправились бы в него как союзники (*Филюшкин*, 2008. С. 310).

Но и такой поход не являлся в тот момент основной целью Ивана IV. Как показывает анализ текста посольского наказа, скорее всего, главной задачей для царя была гарантия мира с Крымом и, во-вторых, военное давление на Сигизмунда Августа, которое Девлет-Гирей мог оказать самостоятельно. Для этого достаточно было бы одного-двух крымских походов на Литву, и тогда великий князь, оказавшись перед угрозой совместного русско-татарского выступления, стал бы уступчивей и его можно было бы принудить к миру на нужных Москве условиях (указ. соч. С. 311).

Такой союз с целью совместного военного или дипломатического выступления — снова против общего противника — был вполне возможен ввиду его выгодности как русским, так и крымцам, которым царь обещал богатую денежную помощь в подготовке и осуществлении похода на Литву. Однако А.Ф. Нагой, уже находясь в Бахчисарае (он был принят ханом 25 июня 1563 г.), не представил Девлет-Гирею более или менее приличных подарков, а касательно будущей помощи отделывался общими фразами, не имея права (согласно инструкции Посольского приказа) называть конкретную сумму царской субсидии.

Поэтому переговоры выливались в мелочную торговлю и никак не могли завершиться. Причём шли они столь долго, что у хана не могло не зародиться обоснованного подозрения: втянувшись в предлагаемую Иваном IV военную

авантюру, он может вообще ничего из Москвы не получить, а людей наверняка потеряет (*Филюшкин,* 2008. С. 312). К тому же не было никакой гарантии, что русские не выступят на Крым в то время, когда ханское войско будет в далёком походе.

А здесь ещё прибыла литовская дань, которая выглядела куда убедительнее неопределённо обещанной московской: она едва уместилась на 36 телегах[1]. Очевидно, это была та соломинка, которая переломила спину верблюда. В сентябре 1563 г. в Москву была доставлена грамота Девлет-Гирея. Здесь, в отличие от более чем туманных обещаний А.Ф. Нагого, выставлялись конкретные требования. Однако ни к какому результату это послание не привело. Москва не желала признать претензии хана обоснованными, как это делала Литва, в конечном счёте выигрывавшая. И это был далеко не последний случай, когда переговоры Ивана Грозного именно по причине его скупости заходили в тупик. За этим обычно следовали разорявшие его государство крымскотатарские походы.

В начале же 1560-х гг. Бахчисарай чувствовал себя более или менее в безопасности, так как у Москвы были иные, более неотложные заботы на западе. Однако Ливонская война когда-нибудь да должна была закончиться, и тогда следовало ожидать возобновления враждебных действий Грозного царя. Девлет-Гирей глубоко чувствовал эту опасность, постоянно ища и находя средства защиты от неё Крыма. Подчёркиваю, именно эти опасения вызвали необычайную воинскую активность хана, так как и его политические инициативы.

К числу таких действий относится многолетнее стремление освободить Казань и Хаджи-Тархан, эти две старые твердыни восточной цивилизации, где уже вовсю хозяйничали русские. Выше приводились факты умелых и настойчивых акций крымских дипломатов, стремившихся добиться поставленных целей за столом переговоров. Тем не менее следует признать, что основным политическим инструментом Девлет-Гирея осталась всё-таки война. Причём не по какой-то врождённой страсти к кровопролитным походам. Судя по всему, его противники просто *не оставляли* ему иных путей к выживанию[2]. Не лучше обстояло дело и с союзниками, в том числе его покровительницей — Турцией.

---

[1] Точной суммы дани на 1563 г. не обнаружено. Правда, А.Ф. Нагой сообщал, из чего она состояла. Но он основывался лишь на бахчисарайских слухах, которые могли быть пущены ханским двором с завышением фактического размера доставленного. Тем не менее приведу эти данные: согласно им в Крым из Литвы было отправлено 15 000 золотых (из них 8 000 натурой, то есть серебряной посудой и шубами), кроме того были вручены ценные подарки родственникам и приближённым хана (*Филюшкин*, 2008. С. 314).

[2] В отличие от прежней, советской историографии, в последнее время в России появились хорошо аргументированные, объективные исследования этого сюжета. В одном из них говорится о Девлет-Гирее по упомянутому поводу (далее курсив везде мой. — *В.В.*): «весь опыт казанских дел *побудил* [и] Девлет-Гирея к укреплению своего положения...», «Девлет-Гирей I *был поставлен перед необходимостью* организации ежегодных сборов крымских военных сил за Перекопом и вовлечения в крупномасштабные военные действия с русскими отрядами». В то же время война не была самоцелью хана, как и слепая ненависть к Москве вообще не имела в Крыму места. При малейшей возможности Девлет стремился решать проблемы миром: «Дальнейшее ухудшение отношений с Москвой *не отвечало интересам* хана, и он *с готовностью* пошёл на возобновление дипломатических контактов с Москвой,

Но для понимания османской позиции необходим отдельный экскурс, хоть и краткий, но несколько выходящий за рамки правления Девлет-Гирея. Как ни странно это звучит, но Турция до примерно 30-х гг. XVI в. мало опасалась Московского государства, всё ещё считавшегося в Европе и на Востоке державой второго ранга. Султаны даже поддерживали в своё время союз Гиреев с царями (в борьбе последних против Ягеллонов). Мало того, и сам захват Иваном Грозным Казани и Хаджи-Тархана имел в Стамбуле своим следствием перемены не столько в российской, сколько в среднеазиатской политике. Из-за неудобств, причиняемых новой геополитической позицией русских (их захваты пресекли древние пути азиатского хаджжа), среднеазиатские ханства (прежде всего Хорезм) стали искать и находить понимание у султана (*Inalcik*, 1994. P. 38–39).

Лишь в середине века до турок дошло, что Москва — уже не то провинциальное княжество, что осмеливалось на борьбу лишь с русскими соседями да малыми странами опять же ближнего зарубежья. Захват Хаджи-Тархана означал, среди прочего, угрозу турецким владениям на Кавказе (русские дошли до Терека) и в бассейне Чёрного моря. Осознавая серьёзность угрозы своим новым владениям со стороны турок, царь попытался — и это ему удалось — установить мирные и даже дружеские отношения с султаном. Тот примирился с падением единоверных и союзных ему волжских ханств, взамен потребовав от Москвы стабильного признания прав суверенитета Оттоманской Порты над Крымом, Кавказом и черкесскими землями. Для этого русские должны были отойти от Терека на север, снова открыв свободный проход между среднеазиатскими ханствами и Крымом.

Иван IV подозрительно легко согласился на все условия Стамбула, — а что ему оставалось делать, пока он не укрепился на новых землях? Но ещё до того, как царь начал отходить от требуемой османами «стабильности», её стала терять сама турецкая политика. Начались совершенно ненужные Турции, вызванные малопонятными амбициями султанов войны с западноевропейскими странами Средиземного моря, зачем-то был захвачен Кипр (1570 г.), разразился кризис у Лепанто (1571 г.)[1], после чего ободрённый папа Римский стал сколачивать нечто вроде крестового похода на Босфор и так далее (Подр. см.: *İnalcık*, 1994. P. 40–50). Короче, во второй половине XVI столетия, как и в его начале, Гиреи остались против Москвы в одиночестве.

С другой стороны, имелись в сложившейся ситуации и положительные моменты. Упоминавшаяся активность Сулеймана I в средиземноморском регионе отвлекала его от восточноевропейских проблем. И хан, как упоминалось выше, постоянно державший руку на пульсе внешней политики Порты, знал, когда она забудет на какое-то время о своей роли политического «куратора» Крыма. Поэтому Девлет-Гирей, и без того весьма самостоятельный государь, оказался в ситуации, когда он мог практически невозбранно осуществлять собственную политику по отношению

вызванных стремлением правительства Ивана IV обеспечить мир на южных рубежах страны в условиях разгорающейся Ливонской войны» (*Виноградов,* 1999. С. 64–65). Другое дело, что эти переговоры имели не слишком значительные результаты...

[1] При Лепанто, греческом порте у входа в Коринфский залив, османский флот был разбит и фактически уничтожен соединённой испано-итальянской эскадрой.

к сопредельным державам — прежде всего Польше-Литве и Москве, соперничество между которыми шло на пользу Бахчисараю. И конечно, не обладай он этой свободой действий, как знать, не постигла ли бы Крым судьба Казанского и Хаджи-Тарханского ханств ещё в правление Ивана IV, о «юго-восточных» планах которого говорилось выше.

Оттого и не было ничего удивительного в том, что, махнув рукой на Турцию, Девлет-Гирей должен был выкладывать все свои далеко не безграничные ресурсы на борьбу с московитами. И цели её были не в пример актуальней и перспективней, чем у Османской империи в её помпезных морских десантах на мирные острова Средиземноморья. Из Бахчисарая было куда видней, что, если и можно пользоваться роскошью мирных отношений с какой-либо ближней державой, то только не с Московией. Предоставленная самой себе, она неизменно предлагала соседям сюрприз за сюрпризом — удручающе и безнадёжно одинакового свойства.

Поэтому современника не должно удивлять, что не только активная московская политика, но и пассивная позиция Турции заставили Девлет-Гирея лично возглавить семь больших походов на Московское государство (1552, 1555, 1562, 1564, 1565, 1571, 1572 гг.). Кроме того, он готовил ещё два сефери — в 1556 и 1559 гг., которые не состоялись явно не по его вине. Если же учесть и походы, которые им планировались и организовывались, но не возглавлялись лично (чаще всего хана заменял его калга Мехмед-Гирей), а именно походы 1558, 1563, 1568, 1570 и 1573 гг., и даже если не считать совместную крымско-турецкую экспедицию в 1569 г. (о ней ниже), то получается, что он организовал, запланировал или лично провёл 14 походов на Москву (хотя сумел сжечь её лишь однажды). Безусловно, этому Гирею никто не мог бы отказать в политической последовательности.

Вместе с тем его набеги носили ограниченный характер, не перерастая в полномасштабную войну. И предпринимались они в московском и польско-литовском направлениях лишь в конкретных случаях нарушения сопредельными странами договорённостей о поставке в Крым «казны» и «поминков». Поэтому сторона, игнорировавшая соответствующие официальные соглашения, сама обрекала себя (точнее, своих южных жителей) на кровопролитие, так как «незамедлительно наказывалась набегом. Такая политика позволяла сохранять нормальные дипломатические отношения и с Москвой, и с Вильно, и даже не исключала формальные мирные соглашения. В этом плане Девлет-Гирей I старался придать отношениям с Иваном Грозным такой же характер, как и отношениям с Сигизмундом II Августом. Подобно тому, как „договорные листы“ короля с ханом не препятствовали регулярным крымским набегам на южные области Польско-Литовского государства, так и „шертные записи“ хана с „московским“ могли не препятствовать набегам на московские „украйны“. Имеются все основания полагать, что лично Девлет-Гирей I добивался именно такого характера дипломатических связей с двумя своими восточноевропейскими соседями» (*Виноградов*, 2007. Т. II. С. 282–283).

Но хан умел не только воевать, но и с толком использовать нечастые мирные передышки. Летом 1569 г. новый турецкий султан Селим II (1566–1574) решил исполнить давний план своего предшественника — направить экспедицию для прокладки канала Волга–Дон. В этом водном пути туркам виделось решение проблемы постоянных военных конфликтов Турции с Персией, которые свели на нет

торговые связи османов с жителями Средней Азии, а последним отрезали привычный путь хаджжа, транзитом проходившего через турецкие города и приносившего немалый доход. Кроме того, имеются свидетельства о планах Порты положить посредством новой магистрали начало судоходной торговли империи со странами Центральной Азии, куда до открытия Суэцкого канала приходилось, как известно, добираться, проходя через Гибралтар и огибая мыс Доброй Надежды (*Lewis,* 1961. P. 24). Наконец, овладение дельтой Волги положило бы конец продвижению русских на Кавказ, где они уже основали в 1567 г. крепость Терки на Тереке, то есть в Кабарде, издавна входившей в сферу крымско-турецких интересов. Кроме того, российские силы в этой области грозили совершенно прервать сношения между азовскими и прикаспийскими владениями Османской империи.

Таким образом, турки планировали восстановить старое положение, когда низовья Волги и Северный Кавказ являлись зоной международных экономических и культурных сообщений, с недавних пор наглухо перекрытой силами Москвы. Эту инициативу нельзя поэтому однозначно рассматривать как агрессию, направленную против московского царства[1], хоть фактически она и явилась первой в длинной череде русски-турецких больших и малых вооружённых конфликтов в будущем.

Однако Девлет-Гирей был совершенно не заинтересован в таком усилении Турции, точнее, в появлении её будущих владений в тылу приазовских земель Крыма. Поэтому он «дружески» предупредил об этом великого князя, который стал готовить войско к походу в низовье Волги. Тем не менее хан не мог ослушаться повеления султана присоединиться к турецкому войску, вышедшему в волжском направлении. И весной 1569 г. султан «Селим прислал в Кафу 15 000 Спагов, 2000 Янычар, и велел ея (т. е. крепости Кефе. — *В.В.*) Паше, Касиму идти к Переволоке, соединить Дон с Волгою, море Каспийское с Азовским, взять Астрахань или, по крайней мере, основать там крепость в ознаменование Султанской Державы. 31 Мая Паша выступил в поход; Хан также, имея до 50 000 всадников» (*Карамзин*, 1842. Т. IX. С. 74). Поэтому турки и татары не опасались российского войска, медлившего с прибытием к Переволоке, и тем более донских казаков, которые бежали от греха подальше (*Карамзин*, указ. соч. С. 75).

В планы турок входило взятие Астрахани, куда султан намеревался посадить пашой отного из отпрысков ханского рода, Крым-Гирея, до того жившего при дворе в Стамбуле. Поскольку Астрахань представляла собой островную крепость, для её осады были необходимы суда; они также были отправлены к Азову, а затем донским руслом к Переволоке — местечку, где Дон и Волга максимально сближаются. Идея прокладки канала не виделась неосуществимой технически — в ту пору османы уже всерьёз обсуждали гораздо более амбициозный план прокладки Суэцкого канала (*Kurat*, 1961. P. 13). С другой стороны, волго-донской проект был недостаточно обоснован: турецкие инженеры всецело полагались на топографические данные, полученные ими от полуграмотных ногайцев Большой орды.

---

[1] Такой точки зрения придерживаются, как правило, российские историки — см., напр.: *Садиков П.А.* Поход татар и турок на Астрахань в 1569 г. // Исторические записки. М., 1947. Т. 22. С. 132–166; *Бурдей Г.Д.* Русско-турецкая война 1569 г. Саратов, 1962 и т. д.

В июне 1569 г. в Азов и Кефе уже прибыла турецкая галерная флотилия; командовать соединённой крымско-турецкой армией должен был упоминавшийся Касим, не столь давно назначенный комендантом Кефе в ранге паши. Как было видно из приведённых выше цифр, основную часть войска составляли крымцы. Девлет-Гирей взял с собой в поход четверых сыновей, при этом трое находились при хане, а четвёртый командовал ногайской частью крымских отрядов. Поход вверх по Дону, начавшийся приблизительно 10 июля, неожиданно был осложнён капризом природы: Прикаспийскую низменность поразила необычайная жара, отчего река местами обмелела. Поэтому приходилось разгружать галеры и тащить артиллерию и другое снаряжение берегом. Когда же флотилия прибыла на место предполагавшихся землеройных работ, то оказалось, что междуречье представляет собой не плоскую степь, как об этом сообщали ногайцы, а пологую возвышенность, что должно было значительно усложнить прокладку канала. Поэтому от неё пришлось пока отказаться, а пушки и суда доставлять к Волге волоком.

Ясно, что при этом осадные орудия оставили на берегу Дона, взяв с собой лишь небольшие пушки типа пищалей и лишь маломерные гребные суда. Но и для них приходилось ровнять трассу волока, что задержало продвижение более чем на полмесяца. К тому же донские казаки, ранее при виде крупного войска ушедшие в верховья реки, теперь стали нападать на далеко растянувшуюся крымско-турецкую армию: необходимость обороняться от них также замедляла продвижение к Волге. Наконец, тяготы и лишения, которые терпела полевая армия, стали причиной дезертирства черкесских отрядов. Так были утрачены два лучших летних месяца, а когда в середине сентября войско приблизилось руслом р. Маныча к Астрахани, то оказалось, что блокировать эту островную крепость при нехватке судов и пушек невозможно. Касим-паша и Девлет-Гирей решили отложить штурм до подхода главных сил.

Тем временем с севера показались передовые отряды, отправленные царём под командованием князя П.С. Оболенского-Серебряного, и тут же разнеслись слухи о том, что московских ратей идёт с севера великое множество (*Kurat*, 1961. P. 19). При этом русские располагали достаточным количеством судов, которые беспрепятственно доставляли в осаждённую крепость провизию, артиллерию и боезапас. Погода портилась, и Касим-паша уже склонялся к мысли о зимовке в полуразрушенном Хаджи-Тархане в расчёте на подход свежих сил по весенней воде. Перспектива холодной и голодной зимовки совершенно не устраивала крымцев, и они стали пугать турок «страшными русскими морозами», которые могут ударить уже в конце сентября, а также тем, что ближе к зиме ночи удлинятся до двадцати часов, к лету же станут настолько короткими, что от вечерней до утренней зари (то есть между вечерним и утренним намазами) времени останется хорошо если час-полтора, в течение которых и заснуть-то по-настоящему не удастся...

Кончилось тем, что турецкий экспедиционный корпус охватила настоящая паника. И в общем-то османов, впервые в истории забравшихся в Поволжье, можно понять: для них те местности были далёким, незнаемым севером, а предстоящие трудности на прокладке канала казались непреодолимыми. В османском войске назревал бунт против командующего походом и инициа-

тора похода Касим-бека[1]. Поэтому 26 сентября соединённое войско двинулось в обратный путь. Он занял 27 дней и стоил огромных жертв. Не было ни еды людям, ни кормов лошадям, отчего сотни турок погибли от голода. Крымцы, привыкшие к дальним походам по пустынным степям, справились с этой напастью значительно легче: они пили кобылье молоко, а к концу пути забивали лошадей и ели их мясо (*Kurat*, 1961. P. 20). В последние дни октября войска и оба предводителя вернулись по домам: Девлет-Гирей в Бахчисарай, а Касим — в Кефе. Он должен был далее отправляться Стамбул, где его ждала казнь за неисполненное воли скорого на руку султана. Потом его, правда, помиловали; по некоторым данным здесь сыграла спасительную роль крупная взятка османским чиновникам, на которую не поскупился обречённый Касим (*Масса,* 1997. С. 16–30; *Карамзин*, указ. соч. С. 76).

Таким образом, астраханский поход, можно сказать, окончился вничью: османы и крымцы вернулись домой, побеждённые не московскими ратниками, а плохой подготовкой этого грандиозного предприятия турецким командующим. Но в 1569 г. противостояние Бахчисарая и Москвы не окончилось. Крымских татар по-прежнему настойчиво звали на помощь казанские братья и черкесские подданные хана: и те и другие страдали от русской агрессии. В обоих направлениях царь Иван двигал и войска, и переселенческие массы, возводил новые крепости, а из обломков разрушенных мечетей и мусульманских надгробий — церкви. К тому же старинная среднеазиатская торговля так и не возобновилась. Поэтому хивинцы и бухарцы также просили хана восстановить торговые пути, закрытые у Астрахани и Кабарды, где московские люди стали брать с них непомерные пошлины.

Как мы помним, пытаясь решить дело миром, Девлет-Гирей слал своих дипломатов в Москву на протяжении почти всех 1560-х гг. с предложениями восстановления старого разделения христианского и мусульманского миров. Для этого требовалось немного — лишь возвратить Казань, Астрахань и захваченные городки Северного Кавказа. Хан имел все основания рассчитывать на податливость Москвы, которая уже не первый год вела затеянную царем Ливонскую войну (1558–1583) с Швецией, Ливонским орденом, и Литвой. С 1569 г. в противниках Москвы оказалась и Речь Посполитая. Теперь от позиции хана в этом конфликте стало зависеть весьма многое. Тем не менее царь со своей известной

[1] Об эволюции «волго-донской проблемы» в глазах правительства далёкой Турции подробно сообщает Риза. Вначале султан был весьма заинтересован в осуществлении этого грандиозного проекта: «Сулейман (т. е., конечно, Селим II. — *В.В.*) отправил несколько тысяч капу-кули, под предводительством кефинского паши Касим-бека, которому крымский хан был обязан дать пособие». Однако спустя некоторое время «умные и дальновидные люди уверили султана [в том], что проток между Волгой и Доном будет пагубен для Блистательной Порты, во-первых, потому, что соединение двух рек, умножив волнение Чёрного и Азовского морей, будет вредить плоским турецким судам, которые употребительны на Азовском море по причине мелководья; во-вторых, вероломным москвитянам доставлен будет удобный случай для нападения на берега Чёрного моря. Сии представления убедили султана отказаться от своего предприятия и спасли от его гнева начальников, которых одно [лишь] дурное время (т. е. угроза осенней непогоды. — *В.В.*) принудило оставить работы» (*Риза*, 1832. С. XIX–XX).

анекдотичной высокомерностью отказывался уступить Девлет-Гирею: «Мы, государи великие, бездельных речей говорить и слушать не хотим» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 581, 586).

Наконец, весной 1571 г. хан, поняв бессмысленность переговоров на *таком* уровне, собрал 120 000 войска и снова двинулся к Москве. Едва весть об этом достигла северных княжеств, к Девлет-Гирею побежали русские дворяне, страдавшие от кровавой опричнины Грозного царя; немало их было из Белёва, Калуги, Каширы, Серпухова и других городов и областей. Они оказались в ханском войске весьма кстати, так как указывали безопасные пути и переправы. После того, как крымские конники переправились через Оку, царь, немало утратив от прежней своей заносчивости, откатился с войском, не принимая боя, к Москве. А потом и вовсе бежал, оставив столицу, по направлению к Ростову Великому, постоянно твердя о какой-то измене и предательстве бывших своих жертв...

Едва Девлет подошёл к столице Ивана Грозного, куда стеклось огромное количество русских беженцев, как она вспыхнула изнутри, причём одновременно в нескольких местах. Крымские татары остановились в предместьях, — разорять город было ни к чему и незачем, огонь делал своё дело самостоятельно.

Каменный Кремль стоял невредимым, он мог бы вместить многие десятки тысяч русских. Но ворота были заперты боярами, и войско с мирными жителями гибли у стен его в огне пожара. Иностранные современники утверждали, что число жертв достигло 800 000, современные исследователи называют более скромную цифру в 120 000 (*Орешкова,* 2005 «а». С. 525). Причём люди гибли не только от огня. Охваченный паникой, народ кинулся к северным воротам города. «Здесь, собравшись в огромную толпу и перебивая друг у друга дорогу, они так стеснились в воротах и прилегавших к ним улицах, что в три ряда шли по головам друг у друга и верхние давили нижних». Крымцы, оставшиеся не у дел, подивились на гибнущий город, так и не войдя в его дымящиеся развалины, взяли в столичных окрестностях до 150 000 полону и ушли восвояси[1]. Тогда лишь из Ростова вернулся Грозный царь с уцелевшими своими карателями-опричниками. Ему подали грамоту, оставленную ханом: «Жгу и пустошу всё из-за Казани и Астрахани... Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей: но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы — и смеешь хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути Государства твоего...» (цит. по: *Карамзин*, 1842. С. 109). Слова обидные, но справедливые и к тому же таящие в себе реальную угрозу с позиции силы.

Согласно другому списку с ханской грамоты, её текст звучал несколько поиному: «...ты не пришёл и против нас не стал, а ещё хвалишься, что я-де московский государь! Были б в тебе стыд и дородство (т. е. сила или мощь. — *В.В.*), так ты б пришёл против нас и стоял. Захочешь с нами душевною мыслию в дружбе быть, так отдай наши юрты — Астрахань и Казань; а захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать — ненадобно; желание наше — Казань и Астрахань, а государства твоего дороги я видел и опознал» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. III. С. 588).

---

[1] После этого победного похода хана стали звать в Крыму *Тахталганом*, то есть «Захватившим трон» (*Халим Гирай*, 2008. С. 46). Прозвище почётное, но чисто символическое, так как он царский трон и в глаза не видел.

Великий князь был вынужден проглотить оскорбления, он был готов на всё в ситуации, когда на кон была поставлена лично его жизнь, — о крови своих подданных он не думал ни ранее, ни теперь. «Как же поступил Иоанн, столь надменный против христианских знаменитых венценосцев Европы? *Бил челом* (курсив Н.М. Карамзина. — *В.В.*) хану: обещал уступить ему Астрахань при торжественном заключении мира, а до того молил его не тревожить России; не отвечал на слова бранные и насмешки язвительные. Изменяя нашей государственной чести и пользе, он не усомнился изменить правилам Церкви; в угодность Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатного крымского пленника, сына княжеского, добровольно принявшего в Москве веру христианскую» (*Карамзин,* 1842. С. 109).

И ещё одна характерная, если не уникальная черта переговоров 1571 г. Царь, непосредственно участвовавший в них, из страха перед дальнейшими действиями крымцев опустился до постыдного скоморошества. Он явился на глаза ханских дипломатов, переодевшись вместе со своими боярами в какое-то тряпьё — об этом свидетельствует не крымскотатарский, а русский источник: Иван Грозный «нарядился в сермягу бусырь да в шубу боранью, и бояря. И послом отказал: „Видишь же меня в чём я? Так де меня царь (т. е. *Девлет-Гирей. — В.В.*) зделал. Всё де моё царство выпленил и казну пожёг, дати мне нечево царю“» (*Пискарёвский летописец* // Материалы по истории СССР. Т. II. Документы по истории XV–XVIII вв. М., 1955. С. 80). Впрочем, этот шутовской маскарад Ивану не помог — требованиям хана пришлось покориться. В частности, царь обещал снести кабардинские укрепления (в том числе крепость Терки) и это обязательство выполнил.

Однако, при всей своей успешности, поход 1571 г. привёл лишь к промежуточному результату. Получивший острастку царь униженно «возобновил прежние учтивости, в ответной грамоте написал челобитье хану», хотя Казань и Хаджи-Тархан держал за собой по-прежнему. Ситуация сложилась вполне прозрачная: крымский государь пытался вернуть захваченное Иваном, неся при этом минимальные потери в людях. Для царя же утрата сотен тысяч подданных значила меньше, чем захваченные малой кровью мусульманские города на Волге. Да и как мог жалеть «смердов» человек, изобретший опричнину, у которого руки были по локоть в русской крови? Прав был, конечно, российский историк, обвинивший Грозного, как видно из выше приведённого текста «Истории государства Российского», в измене «нашей государственной чести и пользе» (*Карамзин*, 1842. С. 109). Но вернёмся к крымским делам.

На следующий, 1572 г., хан отправился на север, чтобы добиться силой всего, что ему причиталось на Волге. Войско подошло к Москве, царь снова бежал с какой-то частью армии, на сей раз к Новгороду. Девлет-Гирей, которому теперь нужна была не разрушенная столица, а сам царь, погнался за ним. Однако по пути произошло несколько боёв, в которых ряды 120-тысячного крымского войска заметно поредели. Кроме того, Ивану удалось перехитрить хана, послав к своим воеводам письмо, что он якобы собрал огромное войско и скоро ударит по татарам. Это письмо, «случайно» попавшее в руки крымских татар, откололо от войска его значительную часть, а именно ногайцев, не желавших более погибать за интересы Крымского ханства. Поэтому пришлось повернуть на юг и всем остальным.

После этого бесславного похода хан прожил всего 5 лет. В июне 1577 г. он умер от чумы и был похоронен на кладбище дворца, который выстроил его предшественник в Бахчисарае. Лишь теперь можно было окончательно подвести черту под делом его жизни и оценить её по достоинству.

В результате своего длительного правления Девлет-Гирею удалось не только возобновить бесперебойное поступление дани от устрашённой Москвы. Он всемерно усилил политическую активность Крыма, а также добился равноправия (насколько это вообще было возможно) в совместных с Портой военных и дипломатических акциях. О том, как этому хану удалось послужить своей родине и соотечественникам, можно судить по рукописям крымскотатарских историков. Если в начале его правления ему не было в хрониках другого имени, кроме как «узурпатор трона», то на склоне лет те же авторы подняли его славу на достойную высоту, именуя Девлет-Гирея «Покорителем Столиц» (*Виноградов*, 1999. С. 63).

Современный историк утверждает, что «ещё ни один крымский хан не приближался настолько к образу великого правителя прошлого: жители соседних юртов сами звали Девлета Герая восстановить власть на берегах Иделя (т. е. Волги. — *В.В.*), а главный соперник в борьбе за ордынское наследство, Москва — та самая Москва, что ещё недавно угрожала самому существованию Великого Юрта — лежала в руинах. Владения Ивана IV, по сути, тоже являлись частью Тохтамышева наследства, и хану оставалось лишь пойти и взять в свои руки то, что принадлежало ему по праву повелителя Великой Орды» (*Гайворонский*, 2007. С. 260).

Не менее высоко оценивает этого хана и современная западная наука. Авторы, пользовавшиеся недоступными нам турецкими источниками, обстоятельно доказывают, что Девлет-Гирей был выдающимся лидером во всеобщей истории мусульманского мира. Именно этот хан призвал к исламскому единству всех ближних и дальних соседей Москвы, в которой он видел угрозу этому миру. При этом указывается даже, что он склонялся к реставрации Золотой Орды, на более современном государственном уровне, на новой социальной и экономической основе, но с той же политической целью выживания в условиях досягаемости для Москвы (*Lemercier-Quelquejay*, 1972. №4).

В целом политику Девлета продолжал его старший сын и бывший калга Мехмед-Гирей II Семиз (т. е. «Тучный») (1577–1584). В молодости он участвовал в походах отца на Москву и Хаджи-Тархан, а, воссев на престол, провёл некоторые реформы, нацеленные на укрепление внутреннего положения ханства, опираясь при этом на поддержку бейского рода Мансуров. Новый хан дополнил систему крымского престолонаследия должностью нуреддина (им стал его сын Мурад). Он же не упустил возможности воспользоваться внутренними беспорядками в Турции, общим упадком её в годы правления Мурада III (1574–1595) и сделал решительный шаг к достижению независимости Крыма от Порты. Случай продемонстрировать новую позицию Бахчисарая представился в 1578 г., когда султан пригласил его к участию в войне с Персией. Хан отправил на персидский театр боевых действий троих из своих братьев, Адиля, Гази и Мубарека, «с незначительным войском» (*Халим Гирай*, 2008. С.48). Однако Гирей дал понять Стамбулу, что это приглашение для него крайне несвоевременно.

Дело было в том, что Москва снова проявила инициативу к заключению договора с Крымом. К этому времени окончательно рухнули попытки Ивана IV по-

кончить с Ливонской войной путём избрания его (или его сына) на королевский престол в Польше. Борьба за трон была безнадёжно проиграна во второй половине 1576 г. И тогда царь вернулся к идее союза с Девлет-Гиреем, тем более что хан неоднократно проявлял желание вернуться к переговорам, окончившимся безрезультатно в 1563–1564 гг. В феврале 1577 г. уже было подготовлено великое посольство во главе с князем В. Мосальским и дьяком А. Шапиловым. Бояре настаивали на отправке с посольством всей задолженности по русским даням (*Филюшкин*, 2008. С. 325). Послы уже прибыли в г. Боровск, где должны были ждать, пока не выедет встречное, крымское посольство. Но дождались они лишь известия о смерти Девлет-Гирея, чем была сорвана и эта попытка заключения крымско-московского союза.

Тем временем Крым воевал в Персии за интересы Оттоманской порты. Первые походы обошлись недёшево. Много воинов пало во время боевых действий, немало оказалось в плену, в том числе и ханский брат Адиль-Гирей. И всё же, когда на будущий, 1579 г., султан снова прислал приглашение, то в Дагестан, а затем Ширван отправился сам Мехмед-Гирей. Однако осенью, вопреки приказам турецкого командующего (дожидаться весны близ полей сражений), хан самовольно вернулся на зиму вместе с войском в Крым. В дальнейшем Мехмед-Гирей ограничивался отсылкой на фронт затянувшейся турецко-персидской войны лишь сравнительно небольших отрядов.

Наконец, осенью 1582 г. Мехмед-Гирей II стал «автором» прецедента открытого неповиновения султанской воле. Он отказался вести своё войско за Кавказ в условиях надвигавшейся зимы. Когда же возмущённый Мурад потребовал от хана объяснений, то хан, утверждая свободу политического выбора ханства, подчеркнул суверенитет Крыма: «Что же, разве мы османские беи, что ли?» Султан решил сместить гордого крымца и ровно через год, в октябре 1583 г., приказал своим войскам, возвращавшимся с персидского фронта через Кавказ, задержаться в Крыму. Таким образом, крупный отряд янычар оказался в Кефе. Однако командующий не мог выполнить второй приказ султана, а именно схватить Мехмед-Гирея и доставить его в Стамбул. Крепость была окружена далеко превосходившим янычарский отряд силами: крымские татары явились на защиту своего хана в количестве 40 000 человек.

Не помогло и заявление янычарского паши крымцам о том, что Мехмед низложен султаном, а на престол назначен калга Алп-Гирей. В Стамбул было передано гневное заявление Мехмеда: «Я — падишах, господин хутбы и монеты, — кто может смещать и назначать меня!». Противостояние двух сил продолжалось до весны 1584 г., когда к Кефе прибыл турецкий галерный флот, на котором находились свежие янычарские силы. Это было не слишком опасно, с чисто военной точки зрения ситуация практически не изменилась. Хуже было другое. На борту одной из галер находился ещё один ханский брат, Ислам-Гирей, более 30 лет проживший в Стамбуле, а теперь вёзший с собой султанский берат об утверждении его на ханском престоле.

Это меняло дело. Узнав о прибытии султанского ставленника, на сторону Ислама тут же перешли Ширины, которых давно бесило предпочтение, которое, на их взгляд, хан отдавал ногайскому роду Мансуров. Ширины собрали огромное ополчение, и мансурский бей Эсени решил, что благоразумнее будет

уйти из Крыма за подкреплением в Ногайскую Орду, к родственным Мангытам. С ними отправился и Мехмед-Гирей. За ними гнался Алп-Гирей, который в конце концов настиг своего брата и приказал задушить его. После чего тело покойного хана было доставлено в Бахчисарай и похоронено в Эски-Юрте, святом месте, где над его могилой был возведён прекрасный мавзолей, сохранившийся до наших дней (*Гайворонский*, 2007. С. 288–289).

А затем османы поступили политически вполне грамотно, посадив на крымский трон не главного претендента на престол, братоубийцу Алпа, но его старшего брата, глубоко религиозного дервиша-суфия Ислам-Гирея II (1584–1588), точно рассчитав, что этот хан, всем обязанный султану, будет более послушным.

Может быть, Ислам-Гирей и принял бы самое драгоценное наследство Девлета и Мехмеда, а именно начала крымской независимости, и развил бы их дальше. Но против него выступили сыновья Мехмед-Гирея II; их было трое: Саадет, Сафа и Мурад. Первый из них, бывший калга, по праву считавший себя ханом после убийства отца, был вынужден бежать в Малую ногайскую орду, где кочевали улусы рода Мансуров. Собрав здесь значительное войско и заручившись поддержкой других бейских кланов, он вступил в Крым. Борьба его с Алп-Гиреем шла с переменным успехом. Но братьям удалось захватить и несколько месяцев удерживать за собой Бахчисарай. Ислам-Гирей бежал в Кефе, а Саадет торжественно въехал в покинутый дворец и даже успел объявить себя ханом. Наконец, Саадет-Гирея и его мятежных братьев Мурада и Сафу удалось при помощи турок вытеснить с полуострова. Здесь пути беглецов разошлись: Саадет отправился на Кавказ, в Кумыкию, а Мурад — в русскую Астрахань, потом в Москву (*Новосельский*, 1948. С. 33, 34; *Виноградов*, 2006. С. 57).

Оба они просили помощи против хана Ислам-Гирея — якобы «убийцы» их отца. В Москве бояре обещали Мураду помощь, предлагая поступиться за это сущей безделицей — признанием вассалитета Крыма Московскому царству. Тот на всё согласился и, возвратившись в Астрахань, стал ждать удобного момента для вторжения в Крым.

Между тем Ислам-Гирей как истый суфий и мудрый аскет был далёк от кровавых событий в Крыму, связанных и с его восхождением на престол. Поэтому находившимся в Крыму янычарским офицерам приходилось защищать ханский трон без его участия. Для этого нужно было прежде всего расправиться с недавними приверженцами Саадета, что и было исполнено во вполне османской манере, быстро и беспощадно. После этого в народе стал разгораться совершенно естественный гнев, направленный против турецких чужаков, распоряжавшихся жизнью и смертью коренных крымцев как у себя дома. Более того, многие стали на сторону врага Ислама II, беглого Саадета. «Мы всем Крымским юртом желаем, — говорили они, — чтоб был царём Сайдет-Гирей, царевич, а Ислам-Гирея все люди не любят. Турецкими людьми [он] Крымский юрт опустошил, от янычар насильство и убийство великое» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. IV. С. 251).

В 1585 г. перед державным суфием встало новое искушение. Украинские казаки атамана Яна Ярышевского, в очередной раз угнав из крымских улусов 40 000 голов скота и взяв многих татар в плен, неожиданно выдвинули хану от имени своего и ещё четырёх атаманов интересное предложение: «Прислали нас атаманы днепровские, чтоб ты, государь, их пожаловал, с ними помирился и да-

вал им своё жалованье; атаманы же и все черкасы тебе хотят служить: куда их пошлёшь на своего недруга, кроме литовского короля, и они готовы» (цит. по: указ. соч. С. 251). Хан отвечал согласием, но через три года те же казаки, общим числом 1 500 человек, высадившись у Тарханкута, разграбили 17 ближайших сёл, а османская крепость Гёзлёв уцелела лишь потому, что они «поймали языка, не доходя Козлева и языки им сказали — в Козлеве царь, да Фети Гирей царевич» стоит, естественно, с войском (цит. по: *Судаков*, 1891. С. 65). Это был вызов непосредственно султану, и тот был вынужден реагировать, тем более, что из-за недавнего разгрома казаками Ачи-Кале (Очакова) прервались сухопутные связи турецких купцов с Крымом.

И Мурад III заявил неудачливому в политических делах хану: «...твоею худобою у меня емлют Литовские казаки (т. е. днепровские, так как река протекала и во владениях Литовского великого княжества. — *В.В.*) городы, а крымский юрт пустым зделали; прежние цари [крымские] так не делывали, и впредь учнёшь так делать и тебе на крымском юрте царём не быти» (цит. по: *Судаков*, 1891. С. 66). Это было серьёзное предупреждение, причём Ислам-Гирей знал, что султан вполне в состоянии осуществить свою угрозу, тем более, что в претендентах на бахчисарайский престол недостатка не было.

Поэтому, когда в том же 1588 г. Мурад III предложил хану идти в поход на Польшу, он не осмелился перечить султану и ранней весной отправился в путь вместе с Алпом. Но, прибыв в Ак-Керман, внезапно умер и был похоронен там же, во дворе местной мечети Буюк-джами (*Халим Гирай*, 2008. С.51).

5. Бора (Гази-Гирей II)

Хан Гази-Гирей II (годы жизни 1554–1608 гг.), сын Девлет-Гирея, правил двадцать лет — с 1588 по 1608 гг., правда, с двумя перерывами протяжённостью в несколько месяцев каждый — в 1594 и 1596 гг. В характере этого человека слились воедино черты солдата, блестящего администратора, истинного рыцаря духа, одного из образованнейших людей Крыма. Ему пришлось на своём веку много повоевать — среди прочего и с русским царём Фёдором Иоанновичем. А в войне Турции с германским императором Рудольфом II он был фактически главнокомандующим объединённой крымско-турецкой армии, крымскотатарская часть которой была основной и лучшей частью османских вооружённых сил. Более того, утверждали, что в последней четверти XVI века согласие или несогласие крымского хана участвовать в походе турецкого войска было вообще определяющим в издании султанского походного фирмана (*Milner*, 1855. P. 156).

Но имя этого хана осталось в истории культуры мусульманского Востока благодаря вовсе не его воинским талантам (впрочем, бесспорным и незаурядным), а совсем иной славе. Гений Гази-Гирея парил не столько на просторах полей больших и малых битв, сколько над скромным пюпитром для письма в родовом бахчисарайском имении. Очевидно, здесь сказывалось воспитание, которое будущий хан получил, попав ещё в довольно молодых годах в плен к персам (он был участником похода Мехмед-Гирея II). Человек весьма одарённый

и любознательный, Гази-Гирей не терял времени на чужбине. Он, насколько это позволяли условия, увлечённо знакомился с рукописными и материальными памятниками Востока и Античности, которыми, как известно, до сих пор славится Иран. И, конечно, пребывание в необычном статусе почётного пленника при падишахском дворе научило молодого человека не только безмерной терпеливости, смирению и весьма рафинированным манерам, но и привило вкус к поэзии, живописи, а также расширило его политический и духовный кругозор.

Этот хан (как и столь многие другие Гиреи) был высокоодарённой натурой, и прославился не только как поэт, но и как первоклассный музыкант. По прошествии многих лет ему привелось зазимовать со своим войском в австрийском городке Фюнфкирхене. Там он совершенно очаровал манерами и искусством беседы навещавших его европейских дворян, оставивших воспоминания об обычном времяпровождении хана: он, находясь вдали от родины, делил свой досуг между кофе, вином, игрой на сазе и сочинением газелей в стиле великого Мухаммеда Физули (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 91). Но Гази-Гирей с успехом занимался и более прозаическими делами: он многое реформировал в крымском законодательстве, стремясь восстановить древнее кыпчакское право. И, как знать, не было ли его серьёзное и последовательное увлечение законами своих предков вызвано романтизмом истинного поэта?

Но вернёмся ко времени пребывания будущего хана в персидском плену. Именно к этому периоду относятся его начальные опыты в поэзии (он писал под псевдонимом *Газайи*), но также и некоторые проявления высокой духовной зрелости и бесстрашия, выразившиеся в утверждении пленником своего достоинства человека и потомка Чингис-хана. Как-то в момент очередного обострения персидско-турецких отношений его хозяин, шах Аббас I Великолепный, предложил Гази-Гирею попытаться поднять своих земляков на мятеж против султана, пообещав взамен вернуть пленнику свободу. Будущий хан от этого предложения наотрез отказался. Но он сделал это в манере, впоследствии его прославившей, — послав своему царственному тюремщику сложенную на персидском изящную газель, в которой, среди прочего, говорилось (дословный перевод): «От горя в этом мире я пока не обессилел, и страсти меня ещё не сломили, но уже твердо моё мнение: в твоей державе спокойнее всего ощущаешь себя в цепях неволи» (цит. по: *Hammer-Purgstall*, 1856. S. 70)[1].

Эта критическая стрела не повлекла за собой никаких осложнений: хорошо узнав к этому времени характер шаха, поэт ничем не рисковал. Такое рода мудрое сердцеведение, умение впитывать в себя знания и опыт мира отличали Гази-Гирея II всю жизнь. Собственно, одно из толкований прозвища *Бора*, под которым он вошёл в историю, как раз и означает на старом крымскотатарском *Пьющий Верблюд* (анонимная надпись на полях известного сочинения Халим-Гирей-султана «Розовый куст ханов»). В другом трактате той же эпохи о нём ска-

[1] Имеется и другой, поэтический, но более краткий перевод этой газели:
Мы по опыту знаем,
Что в Вашей стране
Спокойно живут
Лишь в крепости или в тюрьме.
(Цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 53)

зано: «Этот хан был благородным человеком, искусным в музыке, прекрасного нрава, великий поэт, но способный также проявлять чудеса в стрельбе из лука и в искусстве владения оружием» («Сокровищница знаний», XVI в.).

После семи (по другим подсчётам — четырёх) лет плена Гази-Гирею II удалось подкупить тюремщиков и бежать в турецкий Эрзерум (*Халим Гирай*, 2008. С. 53). Здесь его достоинства привлекли к нему внимание, переросшее в тёплую и искреннюю дружбу, ещё одного из властителей мира, султана Османской империи, ко двору которого бывший пленник был отправлен после освобождения. Мурад уже при первой встрече был совершенно очарован своим собеседником. И, как передают, тут же пообещал поэту, что когда-нибудь сделает его ханом (*Риза*, 1832. С. 126), а весной 1588 г. исполнил своё обещание.

Однако возвращение Гази-Гирея на родину осложнялось тем обстоятельством, что там уже появился очередной хан. Оказывается, едва Ислам-Гирей II скончался, как его брат Алп-Гирей послал прямо из Аккермана, где он тогда находился, «к турскому [султану] Асман-мурзу Ширинсково, велел бить челом турскому, чтоб турской пожаловал, прислал санчак и учинил бы его на Крымский юрт царём, а князья и мурзы всею ратью над царевичем молитву проговорили и царём ево учинили» (цит. по: *Судаков*, 1891. С. 68). Поэтому, едва прибыв из Балаклавы в Бахчисарай, Гази-Гирей решил развязать этот политический узел и приказал Алп-Гирею вернуться из Аккермана в столицу. Тот не послушался и отправился в Турцию, имея к тому времени приглашение султана. Таким образом, это препятствие на пути нового хана к престолу ликвидировалось само собой.

Год смерти Ислам-Гирея II, когда и началось правление Гази-Гирея II, был для ханства нелёгким. Крым, как упоминалось выше, испытал нападение днепровских казаков, высадившихся у Тарханкута разграбивших окружающие сёла. Впрочем, ничего необычного в этом событии не было. Новому хану вообще досталось запущенное во внешнеполитическом смысле наследство. Его предшественнику Ислам-Гирею, оказавшемуся, как было сказано ранее, между двух огней (московского и стамбульского), не удавалось решить эту проблему дипломатическими средствами. Между тем днепровские казаки, соблазняемые московскими дарами и выплатами, становились всё более действенным орудием Кремля не только на Западе, но и на Юге. И, судя по всему, в дальнейшем можно было ждать продолжения их активности в том же духе.

Очередной набег запорожцев произошёл в 1589 г. Атаман Кулага, который не мог собрать в него более 800 казаков, пригласил и литовских головорезов. Они высадились у Гёзлёва и, не сумев прорваться за городские стены, стали разорять торгово-ремесленный посад, не щадя при этом ни татар, ни караимов. Когда грабёж уже подходил к завершению, к городу примчался калга Фетх-Гирей и завязался настоящий бой. Было убито немало казаков, в том числе и их атаман, в плен взяли человек тридцать, уцелевшие пробились к морю и ушли, сделав своё дело. Та же судьба постигла посады Аккермана и Азака: там донские казаки не только грабили, но и поджигали дома, уводили людей в плен и т. д. (*Соловьёв*, 1988. Кн. IV. С. 253).

Хан понимал, что казацкие набеги в сложившейся ситуации — явление неслучайное, что это не столько результат амбиций того или иного атамана, сколько следствие южной политики Москвы. И он принял решение не бороться со злом,

а вообще искоренить его. Для этого нужно было поставить царя на место, и Гирей не стал откладывать столь актуальную задачу в долгий ящик. Правда, пару лет заняла подготовка войны[1], в том числе международная. Была достигнута договорённость о невмешательстве поляков в крымские дела, а шведский король Юхан III, который уже почти 20 лет вёл с Москвой бесконечную Ливонскую войну, обещал оживить боевые действия и тем оттянуть на себя большую часть русского войска. В случае же удачного развития событий швед собирался и деньгами Крыму помочь. Об этих переговорах узнали в Кремле, и боярин Борис Годунов, который стал к тому времени фактическим правителем при слабоумном царе Фёдоре, спешно послал в Бахчисарай посольство под руководством И. Бибикова. Посла, прибывшего в Крым в декабре 1590 г., поместили в Кырк-Ере, где он стал ждать начала переговоров, котрые с ним по традиции должен был вести один из Сулешей, в данном случае Ахмет-бей.

Собственно, переговоров как таковых не было. Бибиков, привезший положенные «поминки» и недоимки по дани прошлых лет, не мог добиться того, за чем он был послан, а именно каких-то гарантий ненападения. В Бахчисарае он услышал гневные упрёки в подстрекательстве Москвой казачьей вольницы, в тайном строительстве новых военных городков вблизи ханских границ и т. д. Поэтому на аудиенции в Хан-сарае Гирей, вопреки дипломатическому церемониалу, «против государева поклона и здоровья не встал» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. IV. С. 251). И в мае 1591 г., дождавшись, чтобы трава поднялась до колен, хан лично повёл свою конницу за Перекоп.

В июне войско форсировало Оку; навстречу ему вышли московские полки, в составе командования был и царский зять, конюший Борис Годунов — дело предстояло нешуточное. Первые столкновения окончились блестящей победой крымских татар (битва у р. Пахры). Затем хан отпустил часть своих конников искать добычу и вообще делать зарубки в памяти противника — а иначе к чему был весь этот назидательный поход? «Многих же... распусти на все страны на пленение, иже зело много повоеваша и попленища народа и пожгоша сёл и жилищ около града Москвы. И таковую тщету содеяша, яко и списати трудно» (*Лызлов*, 1990. Л. 165 об.). Между тем главное войско хана продвигалось к русской столице. Вначале оно остановилось на Поклонной горе у с. Коломенского, а 4 июля Гирей расположился в подмосковном селе Воробьёве, и его воины уже стали «травиться» с московскими (*Карамзин*, 1842. Т. X. С. 88).

Готовился штурм, но неожиданно оказалось, что шведский король Юхан нарушил слово. Никакого наступления, даже чисто демонстративного, он не повёл, в результате чего русское командование смогло безо всякого риска снять действующую армию с западного полусонного фронта и, дополнив её псковским и новгородским ополчением, бросить полки на оборону столицы. Теперь к Москве, как говорили в народе, шло около полумиллиона хорошо вооружённых и от-

[1] Частью подготовки к будущим походам являлось и укрепление внутреннего положения Крыма. Гази-Гирей разослал письма противоборствующим братьям, приглашая вернуться под его покровительство. После этого на родину вернулся Сафа-Гирей, а затем 10 000 ногайцев из клана Мансуров, многие Ширины и Яшлавы, также находившиеся в изгнании. Единственным, кто не получил у Гази-Гирея прощения, был Алп-Гирей, убийца Мехмеда II. Он был заочно приговорён ханом к смерти (*Гайворонский*, 2007. С. 314–315).

дохнувших войск, что превосходило крымскотатарскую силу примерно вдесятеро (лишь позже выяснилось, что число русских было сильно преувеличено). Кроме того, за время, прошедшее с последних походов, русская армия заметно изменилась к лучшему, вооружившись огнестрельным оружием, а крымцы всё ещё надеялись на свои луки и даже пушек с собой не взяли. Поэтому хан мудро решил не искушать судьбу и 5 июля приказал возвращаться. Так он и окончился, *последний в истории Крыма поход на Москву*.

Оставалось проверить воздействие на Кремль этой демонстрации возможностей крымского войска. Оно оказалось если не ничтожным, то незначительным. Теперь посланец великого князя И. Бибиков довольно нагло заявлял в Кырк-Ере, что его царь не обязан отчитываться в своей политике на Украине ни перед кем, и он может ставить новые города, где хочет, поскольку «в земле государевой людей умножилось, взяла теснота, государь сильный, для того и города ставит» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. IV. С. 256). Тогда, дождавшись очередного мая, Бора послал своего брата, калгу Фетх-Гирея, снова на север. Этот поход был удачнее прошлогоднего, конные отряды прошли сквозь орловские, тульские, каширские, рязанские земли как нож сквозь масло: русская оборона оказалась непостижимым образом совершенно небоеспособной. Позже выяснилось, что и боёв-то практически можно не ждать, и когда перед возвращением конники собирали добычу, то «люди ни сабли, ни стрелы не вынимали, загоняли пленных плетьми», при этом «полону было сведено так много, что и старые люди не запомнят такой войны...» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Указ. соч. С. 257).

Вот теперь политический климат изменился. Царь по собственной инициативе послал в Крым большую дань, крупные подарки лично хану, его калге и нуреддину, предложил установить регулярный обмен послами. Короче, Крым заставил себя уважать соответственно статусу своих ханов. И это не было временным успехом: наступила осень 1593 г., и Дума решила отправить в Бахчисарай в качестве посла князя М.А. Щербатова с 40 000 золотых в качестве дани, с подарком хану в 10 000 и ещё 7 000 золотых беям и мурзам. Тогда же на юг послали князя Ф.И. Хворостинина и думного Б.Я. Бельского для переговоров о вечном мире. Князья в качестве послов — это был действительно новый уровень отношений; правда, и хан назначил на переговоры Ахмеда Сулеша, чей бейский титул не уступал княжескому.

На этих переговорах было заключено очередное соглашение о постоянной и регулярной отправке в Крым московской дани. Кроме того, от царя было обещано утихомирить донских и кубанских казаков, приняв меры против их кровопролитного своеволия. Вообще в начале нового столетия между Москвой и Крымом не только наладились мирные отношения, но, как уверяют некоторые исследователи, дело шло к военному союзу Бориса Годунова и Гази-Гирея, и даже «имелись планы совместных действий (наиболее вероятно — против Османской империи)» (*Лисейцев*, 2006. С. 246).

Итак, с Москвой дела были улажены. Но Бора не был бы политиком, успокоившись на достигнутом соглашении с таким соседом, как московиты. Уже в 1601 г., целиком погружённый в военно-политические проблемы австровенгерских походов Османской империи и переговоров со Стамбулом и Веной, он вновь посылает на север бея Ахмеда Сулеша, затем посла Ахмеда-челеби,

вступая в переговоры по поводу возведения уже упоминавшихся новых городов-крепостей (Оскол, Борисов, Валуйки и др.). На этих встречах, где русскую сторону представлял князь Г.К. Волконский, достаточно чётко выявилась новая, фундаментальная для отношений с Москвой политическая линия Гази-Гирея.

В это напряжённое лето он пишет боярину и конюшему Б.Ф. Годунову: «Будь тебе, брату нашему, ведомо: турский государь (т. е. султан. — *В.В.*) на ваше государство как ни помыслит рать послать, так я ему отговариваю тем, что место дальнее и пешей его рати до вашего государства не дойти... а только он сведает, что к вашим городам близко, и дойти можно, то он будет вашим государствам вредить... Татарские князья и лучшие люди [также] нам говорят: русские города к нам близко поставлены, и если между нами будет недалеко, *то нашим людям с русскими людьми нельзя не задираться* (курсив мой. — *В.В.*)» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. IV. С. 361–362).

Другими словами, это была идея создания нейтрального пространства или буферной зоны, счастливо найденная, грамотно обоснованная и убедительно изложенная политическому партнёру. Действительно, прошёл первый век оживлённого политического взаимодействия между русским и крымским государствами, век контактов, которые по большей части представляли собой цепь вооружённых столкновений, всё реже прерываемая (как это бывало ранее) моментами сотрудничества. Теперь, в особенности после смерти Бориса Годунова (1605), уже с достаточной определённостью проявилась объективная несовместимость двух совершенно несхожих культур (политических в том числе).

Тут не было правых или виноватых, как не было не то что общих интересов, но и общих точек соприкосновения. Напротив, каждый контакт теперь вызывал, независимо от личных качеств его участников, взаимное раздражение. И в такой ситуации самым разумным был выход, предлагавшийся Борой: разойтись по-хорошему на максимальное расстояние, тем более что в пору его правления возможности к этому ещё были. Таким образом, крымско-русскую проблему вполне можно было решить — при желании.

Итак, именно это желание выразил бахчисарайский автор идеи широкой буферной полосы. Но Москва продемонстрировала с не меньшей определённостью принципиальный отказ от политики, нацеленной на сохранение стабильно мирных позиций. Именно тогда, на заре великого XVII века, Гази-Гирей, очевидно, до конца понял полную бесперспективность дальнейших переговоров о длительном мире с партнёрами, психологически и идеологически находившимися в плену идеи беспредельного расширения. И Гирей умыл руки, прекратив переговоры с Москвой. Но он должен остаться в памяти крымскотатарского и русского народов хотя бы потому, что предпринял серьёзную попытку прекратить взаимную вражду, уже становившуюся наследственной, явно исходя из веры в человеческую способность к саморазвитию в будущем, когда близкое и мирное соседство станет возможным. А то, что эта попытка не удалась, — в этом вины хана нет.

Более успешными были военные действия Гази-Гирея на Западе. Здесь он, управившись по мере сил с московскими делами, принял деятельное участие в походах османов на Австрийскую империю, точнее, на венгерскую её часть, из-за которой, собственно, и шёл спор между султаном и цесарем Рудольфом II

(подр. см.: *Лисейцев*, 2006. С. 247). Первый такой поход состоялся в 1594 г., в последний год жизни друга и покровителя хана, султана Мурада III.

Крымскотатарская конница составляла в ту эпоху элиту соединённой крымско-турецкой армии, которой командовал сердар Синан-паша. Хана и его калгу Фетх-Гирея, также участвовавшего в боях, направляли обычно на самые сложные участки фронта. Например, взятие мощных крепостей было, по негласному уговору, делом крымчан. Другое дело, что когда ворота распахивались, туда торжественно, с развевающимися бунчуками первыми вступали непобедимые янычары. Впрочем, бывало и по-другому. Подождав, пока одна из венгерских крепостей, Рааб, осаждённых крымцами, не дозреет для сдачи, Синан-паша направил хана осаждать следующую, вовсе уж неприступную твердыню Тату. Но пока турки разбирались с передумавшими сдаваться им мадьярами Рааба, Бора послал султану ключи от Таты, к осаде которой его определили, заведомо обрекая на неудачу (*Смирнов*, 1887. С. 446).

Напомню, что войны той эпохи велись кампаниями, то есть сезонно. Осенью армии оттягивались домой, а весной всё можно было начинать сначала. Но после того как умер Мурад III (1595), новый султан, Мехмед III (1595–1603), ввёл практику зимовок армии в оккупированных областях. Это было крайне тяжёлое испытание, так как османская финансовая бюрократия отпускала кормовые деньги столь скупо, что их не хватало даже на покупку конского фуража, а люди должны были рыскать по деревням, вынужденно оголаживая край и голодая сами. Вот этому-то испытанию и стал новый султан подвергать крымских татар, неизменно возвращая своих турок за Дунай, едва пожелтеют листья, не дожидаясь осенней распутицы. Поскольку же при этом боевые действия замирали, хан был обречён на бездействие — по крайней мере до первых лучей весеннего солнца.

Другое дело, что кипучая энергия Боры не позволяла ему впадать в зимнюю спячку и за границей. Там он вступал в деятельные связи с молдаво-валашскими дворянами и купцами, помогал им по мере сил наладить правильные отношения с общим сувереном-султаном и так далее. В конечном счёте он настолько расположил к себе тех, кого мы сейчас назвали бы «представителями широких общественных и финансовых кругов», что они стали просить его править обоими княжествами в качестве воеводы-господаря или султанского бейлербея.

Естественно, Гирей на это пойти не мог уже из-за своей занятости крымскими делами, и он предложил на эту должность одного из своих родственников. Но бесспорный политический успех хана в Молдавии усугубил настороженно-завистливое отношение к удачливому Гирею официального Стамбула. С той самой поры, как пост великого визиря занял Синан-паша, большой завистник и недоброжелатель Боры, здесь подняли голову враги хана, которых было немало и среди столичной политической элиты. Они пытались, и небезуспешно, оболгать Гирея перед новым султаном, которому *нравилось* им верить. Наконец, при весьма удобном случае (отказ хана в очередной раз бездельничать несколько месяцев среди заснеженных холмов Венгрии), визирю Синан-паше удалось убедить султана в политической целесообразности смещения Гази-Гирея. Но Бора пользовался среди своих подданных вполне заслуженным авторитетом, отчего при таком ничем не спровоцированном вмешательстве в дела ханства наверняка поднялись бы волнения. Поэтому, очевидно, для их предотвращения, совершенно «законным»

кандидатом на бахчисарайский престол был избран родной брат правящего хана, его калга Фетх-Гирей.

Однако неожиданно заупрямился сам невольный претендент, явно уступавший своему брату в неукротимой энергии и всеобщем уважении среди подданных, и по этой причине опасавшийся вступать с ним в соперничество, даже имея на своей стороне султана. Когда Фетха в 1596 г. всё же удалось уговорить, и находившийся тогда в Крыму Гази-Гирей узнал об этом, он бесстрашно отправился в Стамбул, надеясь решить «недоразумение» на месте, хотя знал из истории своих предшественников, чем ему это грозит.

Но едва корабль бывшего властителя Крыма вышел из Балаклавы, как поднялся великий шторм, который и занёс парусник в турецкий Синоп. В те же дни пал великий визирь Синан, а новый (точнее, старый, Ибрагим-паша, служивший ещё Мураду III и бывший сторонником Гази-Гирея) стал уверять султана, что отставленного хана лучше иметь в друзьях по причине его авторитета в Крыму и ногайских степях. Тогда оказавшийся на распутье Мехмед III поступил в лучших традициях стамбульского двора, подписав *два берата*, на имя обоих Гиреев — как Фетха, так и Гази, — указав своему курьеру вручить документ тому из братьев, к кому более расположены крымскотатарское войско и большинство беев.

При этом история сыграла одну из довольно нередких своих шуток. Направлявшийся в Крым корабль, на борту которого находился курьер, черкес Хайдан-ага, шторм занёс туда же, куда и отставленного хана, а именно в Синоп. Там обе жертвы стихии быстро нашли общий язык, указ с именем Фетх-Гирея был уничтожен, и Гирей тут же отправился, не заезжая в Стамбул, через море домой с новым назначением. Подозрение в этой истории вызывает одна деталь: как выясняется, вельможного посланца султана связывала с опальным ханом давняя дружба (*Смирнов*, 1887. С. 449). Поэтому возникает естественное сомнение: была ли эта смена курса корабля Хайдан-аги столь уж случайной...

Однако в Крыму не всё пошло гладко. Фетх-Гирей, уже обладавший всей полнотой власти, обзаведшийся калгой и командуя армией, теперь не собирался сдавать бразды правления новому хану. Тогда Гази-Гирей, не желая братоубийственной гражданской войны, предложил передать дело на решение шариатского суда прямо там же, в Кефе, куда причалил его корабль. Муфтий, мевляна Азаки-эфенди, посоветовавшись с улемами, вынес своё решение. Оно было основано как на букве закона, так и на интересах Крыма, для которого бывший хан сделал немало и которому теперь предлагалось вернуть престол (*Аргинский аноним*, 1844. С. 386).

Братья-соперники были искренними мусульманами и безропотно приняли решение муфтия, подчинившись ему. Впрочем, как показали последующие действия Фетх-Гирея, внутренне он не покорился. Вначале он отправился в Черкесию, а на следующий 1597 г., как только Гази-Гирей ушёл в очередной поход, вернулся в Крым, чтобы вернуть себе утраченный престол. Но он слишком спешил к желанной цели. Хан ещё не пересёк Днепр и, узнав, что творится в Крыму, неожиданно вернулся. Фетх-Гирей укрылся в Кефе, а хан разбил лагерь близ крепости, опоясав её полукольцом. Видя себя окружённым, Фетх-Гирей пал духом и, понадеявшись на великодушие брата, явился к нему с повинной. Но

это было последней ошибкой в его жизни. Мурзы, остававшиеся верными Гази-Гирею, покончили не только с неудачливым претендентом на трон, но и со всей его семьёй (*Аргинский аноним*, 1844. С. 387).

Итак, Гази-Гирей «разметал страницы жизни» Фетх-Гирея руками своих дворян. И это заставляет задуматься над происшедшим. Действительно, как современники, так и историки последовавших поколений единогласно утверждали, что Гази-Гирей обладал прекрасным, покладистым и чувствительным характером, был на редкость контактен и человечен. И никто не называет ни одного поступка этого хана, даже отдалённо похожего на кефинскую трагедию. В том числе и в условиях войны, как известно, ожесточающей человека. Почему же она всё-таки произошла? Очевидно, единственно верный ответ на поставленный вопрос даёт русский востоковед В.Д. Смирнов.

Он считает, что правы его турецкие коллеги XVII в., называвшие Гази-Гирея «последним потомком Чингис-хана на крымском престоле», причём потомком по духу, ибо по крови, как указывалось выше, чингизидами были все Гиреи. Хан поступил *в полном соответствии с тёрэ*, не дозволяющей, ради общего порядка, оставлять в живых потомков свергнутого властителя, как возможных претендентов на ханский престол (*Смирнов*, 1887. С. 449). И Гази исполнил древний закон буквально, умертвив, кроме экс-хана, его калгу Ахмед-Гирея (тоже своего брата) и девятерых детей Фетха. Понятно, что он не испытывал к ним ненависти, а конкуренции самого младшего ещё долго мог не опасаться — тот был грудным младенцем. Но так гласил закон, и Гирей оправдал второй смысл своего прозвища (в переводе с итальянского, «бора» означает «северный штормовой ветер»). Впрочем, оправдал лишь отчасти, ибо он не разбушевался, а напротив, *склонился* перед законом, подчинившись ему, чтобы избежать бури гражданской войны в Крыму[1]. То же самое стремление вернуть силу древним, доисламским обычаям заметно и в его законодательстве (см. ниже).

Кстати, не исключено, что второе его имя, *Бора*, впервые прозвучало не в Крыму, а в Стамбуле, где Порта, даже плетя антикрымские интриги (а при Мехмеде III это было почти постоянным явлением) испытывала к Гирею, к его огненному темпераменту и решительности, опасливое восхищение. Ведь в своих

[1] В драме соперничества Фетха и Гази главные действующие лица поступали вполне по-исламски, точнее по-суннитски. Все трое, оба претендента и султан, признали очевидное: что единственным источником власти является Бог, а они — лишь инструменты в Его руке. Мехмед III, по сути, не решился самостоятельно назвать властителя Крыма и снял с себя эту ответственность, издав *два* берата. Но и претенденты поступили аналогично, передав решение своей проблемы муфтию, которому оставалось лишь свериться с положениями мусульманского права, озвучив волю Аллаха. Таким образом, чисто внешне эта история выглядела совершенно фантастически: все три монарха вручили решение судьбы Крыма (а также вопроса жизни и смерти, по меньшей мере, одного из них) в руки муфтия. А этот законоговоритель выступил с достоинством и решимостью, которым обладал по самой сути своего статуса. Ведь он не был судейским чиновником, назначенным ханом или султаном, он был независимым избранником общины Аллаха, его устами говорило само мусульманское право, сам шариат. А уж перед положениями священного закона были равны все — от последнего нищего до могущественного султана. Оттого решению крымского муфтия и подчинились столь смиренно все три государя.

походах начиная с 1594 г. султаны опирались не только на военную силу крымских татар, но и на военный талант их хана. Было бы грубой ошибкой считать (как это до сих пор делают некоторые историки) Гази-Гирея простым исполнителем, целиком зависящим от политической воли султана. На самом деле Бора участвовал непосредственно (или в лице своих полномочных представителей) в военных советах, в выработке важнейших стратегических решений в Стамбуле или Белграде. Причём довольно часто на этих военных советах принимались именно его планы намечаемых кампаний (*Иванич*, 1992. С. 40).

Другое дело, что султан чем дальше, тем чаще попадал из-за Гази-Гирея не то что в затруднительные, а в унизительные положения. В основном это касалось упоминавшегося отказа хана от своего долга участвовать в султанских войнах. Пикантность ситуации придавал тот факт, что чем больше строптивости и жёсткости позволял себе Гирей, тем искреннее и глубже уважали его в Стамбуле, тем большим становился его политический вес. Бывало, что хан получал за такие свои выходки даже награды. Так, отказавшись зимовать с армией в Самборе, он был тут же извещён, что ему отдают в управление Силистрийский санджак со всеми его немалыми доходами. Второй пример: когда новый султан Ахмед I (1601–1617) в 1602 г. казнил Сатырджи-пашу (своего визиря и приятеля хана), то, опасаясь гнева Боры, он отправил к нему в действующую армию целую делегацию из высших чиновников, снабдив её богатыми дарами для крымского татарина. Эта лесть оказалась тщетной — тут Бора действительно разбушевался настолько, что повернул своё войско на сакму, ведущую домой, к Перекопу, и ничто не могло его удержать.

Впрочем, у этого решительного демарша была своя предыстория. В 1601 г. в Крыму побывало посольство Г.К. Волконского, после чего Борис Годунов и Бора поклялись друг другу в верности и Гази-Гирей тут же вступил в переписку с цесарем Рудольфом II, что также имело своё объяснение. Интриги Стамбула привели к бегству в Турцию ханского калги, и Гази-Гирей знал, что теперь османская угроза его престолу станет постоянной. В создавшейся ситуации наиболее реальной поддержкой в возможной войне с турками могла стать Вена, а то и дружественная ей Москва, — и крымское войско оставило в том же 1602 г. австрийский театр войны (*Лисейцев*, 2006. С. 249).

Более того, следующей весной 1603 г. хан на войну вообще не пошёл, послав султану прямой отказ в форме газели. Она сохранилась. Эти прекрасные стихи, к сожалению, ещё ждут достойного переводчика, поэтому придётся передать смысл завершающих строк прозой: «Я — мирный поэт, склонный возделывать свой розовый сад и любоваться локонами своей пери. И любой, кто прочтёт эту газель, не только ты, добрый мой султан, испытал бы муки, узнав, что Гази отправился на войну!» (цит. по: *Hammer-Purgstall*, 1856. S. 76). Стоит ли добавлять, что никаких санкций, даже выражения неудовольствия из Стамбула не последовало, хотя в этих стихах сквозь традиционную форму газели явственно просвечивает даже не насмешка, а прямое издевательство. Мехмед проглотил горькую пилюлю и — послал хану почётное приглашение посредничать на мирных переговорах в Венгрии...

Между тем всё более заметно разрушалась северная опора османской политики крымского хана. В Московии появился Лжедмитрий I, началась великая

Лжедмитрий I.
Politikens, bd. I

Смута. Самозванец имел планы на поддержку Крыма, о чём знали в Кремле. Поэтому в 1604 г. Борисом Годуновым был насильственно задержан в Москве ханский гонец Ян-Ахмет-Челеби, и это был явный вызов Гирею. Кажется, Газы-Гирей колебался, не зная, кому помогать, Годунову или Самозванцу. Впрочем, эта проблема вскоре разрешилась сама собой. В 1606 г. Лжедмитрий решился на войну с Крымом. Причём, как повествует крупный публицист своего времени, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, он сделал вызов хану в крайне оскорбительной для крымцев форме. Этот случайный обладатель московского трона прислал мусульманскому владыке «дары бесчестны, сделав шубу от кож свиных» (цит. по: *Лисейцев*, 2006. С. 253).

Кроме того, как сообщает голландский современник, оказавшийся в ту пору в Московии, Лжедмитрий шёл на всё, чтобы война с Крымом стала неизбежной, причём на территории царства, где московитам было бы сподручнее сражаться. Кроме оскорблений он выставил хану явно невыполнимые требования. Самозванец «отправил посла в Крым объявить хану, что он должен возвратить московскому царю все подати, которые Московское государство прежде принуждено было уплатить хану, а не то он обреет хана и весь его народ наголо, как мех, который он ему посылает и который был начисто обрит» (*Масса*, 1997. С. 105). И тут же начал копить боевые припасы в пограничной с Крымским ханством крепостце Ельце. Там «к весне запасли много муки, пороху, свинца, сала и других вещей на 300 000 человек и было велено всё сберегать до его (т. е. Лжедмитрия. — *В.В.*) прибытия» (*Масса*, 1997. Там же).

Эта угроза была серьёзной, так как Самозванца поддерживали многочисленные и хорошо вооружённые польско-литовские войска. В то же время, когда хан, желая оттянуть часть эти отрядов назад, на территорию Речи Посполитой,

подготовил туда отвлекающий поход, то 15 ноября 1606 г. из Стамбула прибыл чиновник Мехмед-чауш с грамотой, в которой султан запретил крымцам вторгаться в Польшу. Но вскоре опасность польской агрессии была снята поражением и казнью Лжедмитрия I (май 1606 г.)., к власти пришёл Василий IV (Шуйский), у которого не было никаких антикрымских планов. Напротив, готовя поход-реванш на Польшу, он остро нуждался в нормальных отношениях с крымским ханом, отчего в апреле 1607 г. в Бахчисарай был послан С.М. Ушаков. Для того чтобы в любом случае добиться положительного ответа хана, московскому посланцу было дозволено идти на любые унижения, в том числе падать перед Гиреем на колени и т. д. (*Масса*, 1997. С.130; *Лисейцев*, 2006. С. 261).

Гази-Гирей отдавал себе отчёт в тяжёлом положении Москвы. Тем не менее ему и в голову не пришло воспользоваться ситуацией и нанести удар в северном направлении, так как ослабление или политическая гибель Москвы были бы невыгодны Крыму. Это однозначно нарушало бы польско-московский баланс сил, после чего Крым остался бы один на один с огромной польско-литовской державой. Поэтому хан оказал русским такую помощь в начале 1608 г., что впоследствии принесло ему важные выгоды.

Вообще политическая и дипломатическая сторона деятельности Гази-Гирея заслуживает отдельного исследования. Бесспорно, хан был выдающимся дипломатом, авторитетным не только в Стамбуле. Начиная с 1599 г. его постоянно приглашают на турецко-австрийские переговоры, касавшиеся раздела зон влияния на стратегически ключевых спорных территориях Трансильвании и Валахии. На этих встречах хан был наделён немалой властью полномочного посредника. Его авторитет безусловно порядочного человека, искусного политика и мудрого властителя заставил двор Габсбургов, наравне с султанским, признать за ним право полного контроля над этими областями (*Иванич*, 1992. С. 41–42). Таким образом, Гази-Гирей стал основоположником нового направления во внешней политике Крыма — активности Бахчисарая в сложных сплетениях восточноевропейских дипломатических взаимоотношений конца XVII в. — второй половины XVIII вв.

Стремление Боры вернуть ханской власти самостоятельность и независимость по примеру своего прадеда Менгли-Гирея I вылилось в реформу закона о наследовании престола. У него была договорённость с Мурадом III (к тому времени уже скончавшимся), что в дальнейшем ханы сами будут назначать своих наследников, лично выбирая калгу и нуреддина. И султан даже издал перед смертью специальный *аян* об этом. Но новый султан Мехмед III отказывался признать законность нововведения, ведь оно отбирало у султанов самое острое оружие воздействия на политику Крыма.

Тем не менее после смерти Фетх-Гирея хан сделал калгой своего сына Тохтамыша, а нуреддином — второго сына Сефера. С той же целью усиления ханской власти Гази-Гирей II ввёл в правительство должность и чин *капы-агасы* (нечто вроде великого визиря в Османской империи), то есть чиновника, лично преданного хану и его ближайшего помощника. Это не было каким-то подражанием Порте, просто хан почувствовал необходимость в человеке, на которого можно было бы положиться в моменты особой необходимости или опасности. Он не мог в силу своей профессиональной загруженности решать

все проблемы, внутренние и внешние, в одиночку. Ему нужен был мудрец и искушённый в знании людей политик (калга или нуреддин часто в силу молодости для этого не годились вовсе), к тому же неспособный использовать свои знания во вред державе или монарху. С той же целью он учредил полутысячный стрелковый корпус *тюфекенджи*, усиленный артиллерией, — это была не личная гвардия хана, но элитное ядро армии, её регулярная основа и образец для ополченцев.

Несколько забегая вперёд, скажу, что авторитет хана в Крыму был столь велик, что и после его смерти крымскотатарские карачаи (не ханские и не султанские чиновники, а малоуправляемые Ширин и другие беи) подняли по древнему чингизидскому обычаю на белой кошме его сына и калгу Тохтамыша, вознеся его в ханское достоинство без утверждения Порты. Правда, спустя некоторое время кое-что из нововведений покойного хана было ликвидировано.

Так, был отменён уже утверждённый в Крыму закон о прямом наследовании престола, поскольку упоминавшийся аят Мурада III, на котором он основывался, был в Стамбуле «брошен в лохань забвения» (*Аргинский аноним*, 1844). Но у преемников Боры осталась память о его несгибаемой позиции по отношению к султану[1], а история неустанных трудов Боры в Крыму и за рубежом ханства, на поле битвы, его политики в отношении царей и реформаторской деятельности не могли не вдохновлять лучших из хозяев бахчисарайского Хан-Сарая в будущем.

Этот хан был признанным мастером быстрых и радикальных решений, но ещё более выдающимися признавались его способности в качестве мирного правителя Крыма, мыслителя и реформатора. Исследователи, более близкие к его времени, а возможно, заставшие некоторых из его современников, утверждают, что этот Гирей, повсеместно известный редким личным мужеством, ещё более славился как «благородный и справедливый (generous and just) человек» (*Milner*, 1855. P. 157). Как говорилось выше, он был знатоком классической музыки Востока и прекрасным исполнителем.

Он провёл, как утверждали современники, треть жизни в библиотеках и сам был поэтом ещё более известным, чем музыкантом. Его стихи уже при жизни стали собирать не только на Востоке, но и в Европе (часть его поэтических реляций в Блистательную Порту сохранилась в Берлинской Штаатсбиблиотек). Современники настолько высоко оценили этот необычный жанр, что включили несколько лучших образцов ханских поэтических грамот султану в основное собрание сочинений Боры, книгу *Гюль ве Бюльбюль* (Роза и Соловей), где автор, как обычно, скрыт под псевдонимом Газайи (*Риза*, 1832. С. XXI).

После смерти Боры поэты Востока отдали должное своему венчанному собрату. Казалось, что сами собой сложились строки:

---

[1] Приведу пример его поэтической оценки активной позиции и страданий крымского народа в сравнении с безразличием и пассивностью султанского двора.

Проливая кровь на поле брани, мы плачем кровавыми слезами,
А вы продолжаете проводить время в увеселениях!
Если не противостоять этому, упустим из рук государство,
Сами того не понимаете — так спросите у всех вокруг!..

(Цит. по: *Сейдамет*, 2009. № 1. С. 14.)

А потом бора унёс душу Боры,
Прославленную, но ещё более прекрасную.
(Цит по: *Milner*, 1855. P. 157.)

Память о правлении этого блестящего хана не увядала многие десятилетия. Причём не оттого, что в роду Гиреев не встречались столь же одарённые личности. Далеко не все они обладали поэтическим даром Гази-Гирея, но многие выступали в своей политике столь независимо и ярко, что Бора мог бы ими гордиться.

Он скончался 3 марта 1608 г. от чумы, возвращаясь в Крым после поездки в построенную им крепость Гази-Керман. Тело хана было привезено в Бахчисарай, где Бору погребли в мавзолее его отца.

Новым ханом после краткого правления Тохтамыша стал брат Гази-Гирея, Селамет-Гирей I (1608–1610 гг.). Начало его правления совпало с важными событиями в Московском государстве: там появился очередной самозванец, Лжедмитрий II. И в том же 1608 г. царь даже просит крымской поддержки, чтобы хан «на полских и на литовских людей и на русских воров вспоможенье учинил» (цит. по: *Флоря*, 1998. С. 56). Причём эти призывы из Москвы слышались в Бахчисарае неоднократно на протяжении почти трёх лет, в 1608–1610 гг. Селамет-Гирей исправно оказывал такую помощь и 1609, и в 1610 гг., когда в московские пределы вторгся польский король Сигизмунд III. В ответ Москва возобновила выплату дани: уже в 1608 г. в Крым было выслано 30 000 руб., с тем чтобы впоследствии ежегодно отчислялось по 20 000 руб.

Но вскоре это благоприятное для Крыма развитие отношений с Москвой сменилось новыми дворцовыми и военными конфликтами уже в самом ханстве, продолжавшимися на протяжении четверти века после смерти Селамет-Гирея.

Этот период был ярко отмечен событиями, связанными с двукратным правлением хана Джанибек-Гирея II (1610–1623 и 1628–1635 гг.). Внук Девлет-Гирея I, он вырос на чужбине, в Черкессии, на родине своей матери, куда его отец бежал от резни, которую, как говорилось выше, устроил для своих вероятных соперников Гази-Гирей. Мать Джанибека вернулась затем в Крым и даже стала женой ханов Фетх-Гирея I (1596) и затем Селамет-Гирея I (1594, 1608–1610 гг.), вследствие чего и сын её был назначен калгой приёмного отца, а затем, после его смерти, стал ханом. Впрочем, некоторые члены ханского рода считали восхождение Джанибека на престол незаконным, поскольку ни его биологический отец, ни братья были лишь султанами и никогда не были ханами (*Гайворонский*, 2009. С. 41).

Тем временем на политической арене периферии Крымского ханства появляются сыновья Саадет-Гирея II Мехмед и Шагин. До того они жили в Турции, где вели довольно бурный образ жизни. К описываемому времени уже было раскрыто их деятельное участие в тамошних мятежах, и они даже успели отсидеть несколько лет в знаменитых турецких тюрьмах. После чего, добившись полного прощения султана, братья вознамерились попытать счастья на родине. Мехмед был в 1608 г. назначен калгой Селамет-Гирея I, но не поладил с ним и вместе с Шагином обосновался в низовьях Днестра, у Аккермана. Там братья добывали средства на жизнь, совершая время от времени набеги на соседей-славян, явно дожидаясь удобного момента для возвращения в Крым. Удачливость в набегах собрала вокруг них необычно большую для простых разбойников массу буджакских и иных ногай-

Ярлык Джанибек-Гирея II, 1612 г.
По: Ivanics, 1999

ских джигитов, и даже ханские войска, покоренные лихостью братьев, невольно стали им симпатизировать. Поэтому когда ханом стал Джанибек II (1610), Мехмед сумел с их помощью захватить престол в Бахчисарае, правда, всего на несколько месяцев, после чего снова ушёл за Перекоп, не слишком удаляясь от ханства.

Это не могло не заботить хана Джанибека. И он добился от турок разрешения искоренить их разбойничье гнездо. В открытом бою хан победил братьев, султан снова посадил Мехмеда в тюрьму (1614), а Шагину удалось бежать к персидскому шаху, который, оценив воинские таланты беглеца, пожаловал ему крупный чин в армии. Тем временем султан Ахмед I, решив начать очередную войну с Персией, потребовал от хана, чтобы 30-тысячное крымское войско вторглось на территорию противника. В 1615 г. татары выступили в поход, дошли до Еревана, но их разбили персы, которыми командовал Шагин (*Флоря*, 1998. С. 60). Но на следующий год крымское войско, уже 40-тысячное, осадило персидские крепости Гянджу, Джульфу и Нахичевань и вернулось из похода с многочисленными пленниками (*Халим Герай*, 2008. С. 65).

А затем в Турции сменилась власть. После недолгого правления наследовавшего Ахмеду Мустафы I султаном стал Осман II (1618–1622), а великим визирем — Хусейн-паша, большой приятель Мехмеда. Он не только освободил опального крымского татарина из ссылки на о. Родос, но и содействовал его назначению ханом Крыма (1623). А его неудачливый предшественник на бахчисарайском престоле, Джанибек, был отправлен на Родос, не исключено, что в освободившееся жилище Мехмеда.

Причиной этому низвержению была, скорее всего, независимая позиция Джанибека в его отношениях с Портой. По материалам переписки Мехмед-Гирея III

с наместником султана тех лет в Кефе, Абдуллахом ибн Ризван-пашой, выясняется, что хан неоднократно пытался выступить против вмешательства турок в дела Крыма (или, как он именовал свою державу, «Кыпчакского ханства»). Ризван-паша советовал хану не предпринимать в этих целях ничего самостоятельно, а взамен обратиться непосредственно к Порте.

В ответ Джанибек-Гирей заявил: «Во-первых, ты мне сказал, чтобы я обратился к Порте для [получения] Крымского ханства. [Но] какие касательства имеет род Османов и государство Дешт-и Кыпчак, чтобы я получал от него назначение? Во-вторых, разве над моим мечом возвышается [чей-то] меч, чтобы я [покорно] просил у рода Османова об избрании на царство, переходящее ко мне по наследству?». Смысл гордого ответа крымского хана не подлежит сомнению, так как он был изложен не каким-нибудь крымским современником Джанибека (возможно, зависимым от этого хана), а крупным чиновником Османской империи[1].

Новый хан выписал из Персии Шагина и сделал его своим калгой. Оказавшись у власти (весна 1623), братья устроили в Крыму показательную резню, уничтожив всех возможных и предполагаемых соперников, не говоря уже о бывших недругах. Но, усаживаясь поудобнее на престоле, Мехмет-Гирей III допустил непростительную оплошность, не обратив должного внимания на турецкие фирманы, призывавшие его к походу на казаков, в последнее время безнаказанно опустошавших и грабивших прибрежные владения султана. Хан же в это время улаживал внутренние крымские проблемы, поднимая доходность экономики и укрепляя независимость династии. Он, в частности, добился абсолютной власти, избавившись какого-либо ограничения её беями. Он объяснял это следующим образом: «Мои приближённые мне не товарищи, как это было при Джанибеке-Гирее, а рабы!» (цит. по: *Новосельский,* 1948. С. 111). Судя по всему, Мехмет-Гирей III не утруждал себя внешнеполитическими проблемами, пока в конце того же года у турок не лопнуло терпение. Султан направил морем войска в Крым, вновь назначив ханом Джанибека (январь 1624 г.).

Тот сошел на берег в Кефе, но братья, решив отстаивать свои права до конца, закрыли путь в столицу как ему, так и сопровождавшим его янычарам. Войско Мехмет-Гирея насчитывало несколько тысяч ногайцев и более тысячи казаков, благодарных хану за то, что он не подчинился указу из Стамбула и не пресёк устроенные ими погромы турецких окраин. Султанские янычары не осмелились выступить против этих испытанных головорезов и попросили помощи из Стамбула. Подкрепление пришло, но за это время братья, ничуть не утратившие популярности от ударов судьбы, увеличили свое войско чуть ли не до 100 000 человек. Эта огромная сила навалилась на Кефе и буквально раздавила турок вместе с их мощной артиллерией и флотом (*Флоря*, 1998 «а». С. 97).

В Бахчисарай потянулись обозы с воинской добычей. Здесь были турецкие пушки, которых так не хватало крымцам, имущество, захваченное в турецких кварталах и присутственных местах Кефе, мешки с войсковой казной экспедиционного отряда османов и так далее. Среди трофеев оказались также и ханские

[1] *Абдуллах ибн-Ризван*, «Таварих-и Дешт-и Кыпчак» (цит. по: *Зайончковский*, 1969. С. 14).

регалии, предназначенные султаном для Джанибека. Утрата этих вещей была для Джанибека не только символичной. В феврале 1624 г. султан лишил его ханского титула, после чего он был вынужден скитаться то в окрестностях Крыма, то на турецкой чужбине, на протяжении ещё четырёх лет.

Ханская же власть в Крыму принадлежала по-прежнему братьям, которые вели полностью самостоятельную политику. Они заключили военный союз с Польшей, направленный против Турции, а также с Запорожской Сечью — о взаимной поддержке против общих противников. Шагин-Гирей предпринимал и активные действия нападая на турецкие города. Так в Крым попали сокровища из нескольких довольно мощных османских крепостей вроде Аккермана и Измаила. До такой дерзости ранее не доходил ни один Гирей.

Эти события со всей очевидностью показали, что если раньше стремления ханов к самостоятельности по отношению к политике Стамбула проявлялись лишь от случая к случаю, то теперь Крымское ханство фактически стало независимым от Османской империи. Более того, Шагин-Гирей с Мехмед-Гиреем выступают в качестве военных противников бывшего суверена. Так, 14 августа 1624 г. калга Шагин предложил Сигизмунду III наступательный союз. Он просил польского короля прислать в Бахчисарай вместо традиционных денежных дач боевые припасы, а также 10 000 запорожских казаков, которых он предполагал использовать в военных действиях против Турции. Далее, в ближайшую зиму Шагин-Гирей отправился в Запорожье, где действительно заключил с гетманом антиосманский союз.

В том же 1624 г. произошли события ещё более удивительные. Казаки воспользовались затянувшимся крымско-турецким конфликтом и, не удовлетворяясь уже грабежом румелийских берегов, высадились на Босфоре и стали громить пригороды Стамбула, подбираясь к столице (*Флоря*, 1998. С. 60). И юный султан Мурад IV (1623–1640) ничего не мог с ними поделать: у него начиналась война с персами, имперская армия уже ушла на восток. Положение Стамбула было столь же опасным, сколь и унизительным. Жители столицы уже готовилась пасть в руки запорожцев, как вдруг пришло послание от Мехмед-Гирея, который как ни в чем не бывало предлагал помочь султану постройкой нескольких крепостей на Днепре — для защиты от казаков. Султану пришлось согласиться; он приказал отпустить в Бахчисарай инструменты и рабочую силу, а братьям выслал почётные сабли и халаты. Однако это был скорее демонстративный шаг, рассчитанный на усыпление бдительности Гиреев.

Об этом говорит попытка пришедшего в видимое отчаяние султана установить союзные отношения с Москвой. Туда был отправлен опытный дипломат Фома Кантакузин (грек на султанской службе), который прежде всего заявил, что крымские Гиреи занимают преступно враждебную Турции позицию. А посему он предложил возобновить российско-османские дипломатические отношения с целью оказания взаимной помощи. Такой договор обе стороны подписали в 1628 г. Формально он был направлен против Речи Посполитой, но сверхзадача ставилась иная. Это была, с точки зрения султана, оборонительная мера, средство «обеспечения интересов Стамбула на случай, если бы попытка восстановить оттоманский сюзеренитет над Крымом привела к серьёзному конфликту с Речью Посполитой» (*Флоря*, 1998 «а». С. 99).

Некоторое затишье в крымско-турецких отношениях закончилось в том же 1628 г., когда в Стамбул пришло послание от бея Буджакской орды Кан-Темира Мансура, просившего переселить его с подданными куда-нибудь подальше от казаков. Второй причиной этой просьбы стали враждебные столкновения двух бейских родов, Мансуров и Ширинов, которые поочерёдно грабили буджакские племена. Это клановое противостояние было, как мы помним, традиционным. Но теперь оно перерастало в настоящую гражданскую войну. Однако султан опасался принимать воинственных ногайцев в свои владения. И он указал степнякам двигаться на полуостров. Обострение бейского конфликта при этом становилось неизбежным. Но, возможно, султан на это и рассчитывал, — ведь только так, в условиях гражданской войны, можно было рассчитывать на переворот в Хансарае и смещение совершенно неуправляемого Мехмеда.

Не исключено, что Мурад IV имел сведения и о том, что не было у Кан-Темира более ненавистного врага, чем калга Шагин-Гирей. Эти двое не раз встречались с оружием в руках на степных просторах Приднепровья. Кроме того, Шагин вырезал всю семью Кан-Темира, заехав как-то в его крымскую усадьбу. Поэтому, миновав по султанскому указу Перекоп, буджакский бей не пошёл далее на юг, а повернул налево, за крепость Арабат, где рассчитывал усилиться людьми. Там он соединился с кефинскими янычарами и куда более многочисленными ханскими джигитами, которых чем-то сумел привлечь на свою сторону. И лишь потом двинулся на Бахчисарай, где наслаждались покоем ничего не подозревавшие братья. В молниеносной схватке Кан-Темир разбил их охрану, сами они едва успели спастись — в Чуфут-Кале на сей раз.

В мае 1628 г. Кан-Темир осадил эту неприступную крепость, так как взять штурмом её не мог. Через месяц блокады у осаждённых уже заканчивались вода и провиант, положение их становилось отчаянным. Но тут пришла неожиданная поддержка с севера: в Крым наконец ворвались казаки под командованием гетмана М. Дорошенко, которого хан звал на помощь ещё в конце прошлого года. Кан-Темир выступил навстречу запорожцам, но в битве на р. Альме потерпел поражение. Во время сражения гетман погиб, но и разгром противников хана и калги был сокрушительным. Раненый Кан-Темир бежал в Кефе, а его буджакское войско рассеялось, кроме нескольких тысяч всадников, сопровождавших беглеца. Все они были окружены в кефинской крепости отрядами хана и калги, но взять её было им не под силу, оставалось лишь ожидать помощи османского флота, на что имелись определённые надежды (*Гайворонский*, 2009. С. 120–126).

Но вот к Кефе пришёл мощный османский флот; причём на корабле капудан-паши Хасана находился Джанибек-Гирей. Когда об этом стало известно бейско-мурзинской знати Крыма, большинство из них решило присоединиться к сильнейшей стороне. И на престол, наконец, снова взошел Джанибек. Понятно, на каких условиях: недолгое время полной независимости Крыма от Османской империи подошло к концу.

В это, казалось, не могли поверить изгнанные с полуострова братья. И долго ещё бывшие хан и калга пытались пробиться к Бахчисараю во главе казацких отрядов, хотя дальше Карасубазара им углубиться в Крым не удавалось. Особо опасным для правящего хана оказался их поход весной 1629 г., когда казаки вместе с опальными братьями нанесли Крыму двойной удар, высадившись на

морских побережьях и одновременно прорвавшись на полуостров у Ор-Капы. Это вторжение удалось отбить, но с большим трудом и крупными жертвами (*Грушевський*, 1909. Т. VIII. Ч. 1. С. 65–66).

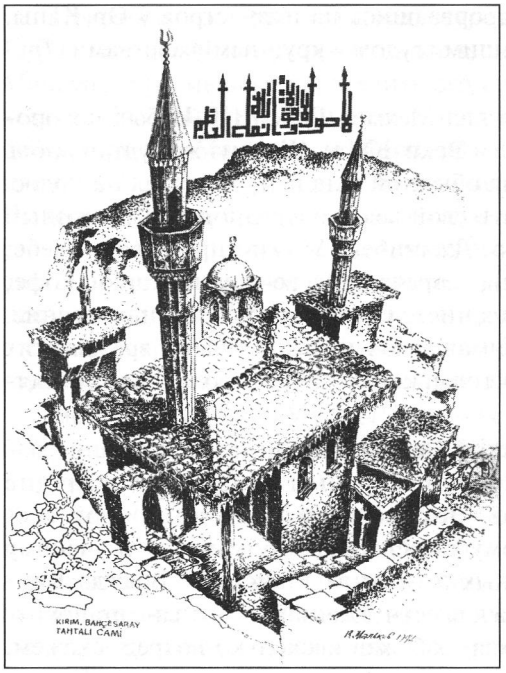
Наконец, в одном из таких набегов пал Мехмед-Гирей III. И был похоронен с честью в фамильном дюрбе Гиреев в Эски-Юрте. Шагина же султан вновь простил и, снабдив поседевшего удальца обычной пенсией, отправил на Родос. Туда же прибыл через пять лет доживать свой век в очередной раз лишённый турками престола его бывший соперник Джанибек. Можно представить себе, что они вспоминали бурную свою жизнь, встречаясь за вечерней чашкой кофе, сваренного по-крымски. Но это, конечно, чисто умозрительное предположение. Источники говорят о другом: непримиримая, всю жизнь длившаяся вражда этих двух крымчан не угасла и в последние их годы, когда они поневоле стали соседями на Родосе (*Смирнов*, 1887. С. 371).

В удивительной фабуле этой крымской Одиссеи примечателен внешне малозначительный сюжет, связанный с первым открытым выступлением против Гиреев мансурского дома Кан-Темиров. Этот родовой клан, по прямой восходивший к внуку Тимура, легендарному самаркандскому мудрецу и учёному Улугбеку, сумел возглавить воинственных и могучих Мансуров. Вражда Кан-Темиров и Гиреев, тлевшая и до прихода к власти Джанибека, отныне становится явной, в дальнейшем почти не затухая. Забежав несколько вперед, скажем, что потомки Кан-Темира причинили много вреда самостоятельности Крыма в XVII–XVIII вв. Верные клевреты султанов, они с готовностью шли на Крым по первому кивку Стамбула: походы обогащали как ногайцев, так и покровительствовавших им турок. С этого времени опасность предательства заперекопских ногайцев становится для ханов почти постоянной.

6. Духовный мир эпохи

Такова история первых Гиреев. Автор отдает себе отчет в том, что у читателей вполне может сложиться мнение обо всех без исключения ханах — слабых и сильных, проницательных и не умевших видеть дальше завтрашнего дня, энергичных политиках и любителях безмятежного кейфа — как о людях, чьи мысли и деяния были устремлены к одной, главной цели: сохранению своей власти. То есть к решению задачи, перед которой меркли и любовь к родине, и к своему народу, и чисто человеческие достоинства и чувства. Конечно же, дело обстояло далеко не так.

Крымские и турецкие хронисты, русские послы и западноевропейские путешественники оставили нам немало сведений о Гиреях, об их походах, войнах и кровавых пиршествах в Крыму и далеко за его пределами, об их участии в дворцовых интригах Стамбула и в политике соседних стран, о борьбе с непокорными беями и соперниками из собственного дома. Но в этом многоязычном наследии мы почти не находим чисто личностных характеристик хозяев салачикского, а затем бахчисарайского дворцов. Мы не обнаруживаем документальных описаний черт, которые отличали бы их друг от друга в сугубо человеческом плане с той же чёткостью, как на ниве войн, походов и бесконечных переворотов.



Тахталы-джами, Бахчисарай.
Рис. В. Малькова

Такого рода информацию современному историку приходится собирать буквально по крупицам из самых различных по происхождению источников, а ещё чаще — пользоваться слабыми намёками, в них содержащимися. Или же строить свои выводы на духе, а не на букве немногочисленных дошедших до наших дней сочинений и писем, составленных лично ханами. Трудности подобного метода безусловны, как и неожиданность выводов, к которым исследователи приходят в результате его применения. Обнаруживается, что среди ханов и их ближайших родственников встречаются личности, совершенно не согласующиеся с общераспространенным мнением о них, и в особенности, об их культуре.

Так, например, кроме Гази-Гирея Боры, прекрасными поэтами были и Бахадыр-Гирей (1636–1641), и Хаджи-Селим-Гирей (1671–1678, 1702–1704), и Сафа-Гирей (правил в 1692 г.), и некоторые другие члены ханского рода. К тому же большинство ханов высоко ценили весьма развитый в Крыму вид искусства — диалог. Даже в походах их всегда сопровождали признанные мастера-острословы, которых некоторые старинные историки не совсем точно именовали шутами (*Хартахай*, 1867. С. 160, 232).

Ханы и крымская интеллигенция буквально преклонялись перед Аристотелем и его мусульманскими последователями. А о высоком вкусе крымских татар Средневековья и начала Нового времени и ныне свидетельствуют немногие сохранившиеся образцы некогда роскошного каменного убранства городов, кладбищ и загородных дворцов. И это уже не говоря о сказочно прекрасных образцах садово-паркового искусства (подр. об этом см. в I очерке второго тома).

Безусловно, и ханам, и беям, и простым дворянам — по крайней мере, некоторым из них — были присущи рыцарские достоинства. А также врожденные

представления о чести, столь высоко ценившиеся среди рыцарей Востока и Западной Европы. Так, сын Гази-Гирея Инайет-Гирей (1635–1636), став ханом, направил в Стамбул весьма примечательное послание советнику султана Яхье-эфенди, очевидно, своему единомышленнику. В нем он признается, что ханский титул не ослепил его настолько, чтобы он не мог оценить смещение его предшественников, Джанибека и Мехмеда, как несправедливое. Тем не менее, хорошо зная об интимных политических связях Кан-Темира с Портой, Инайет-Гирей гневно обличает этого чистокровного крымского татарина в измене своему народу, клеймит его низменное прислужничество султану и интриги против своих собратьев, крымских Гиреев (*Смирнов*, 1887. С. 517).

Понятно, какой чисто человеческой отвагой (не хочется говорить «гражданским мужеством») нужно было обладать, чтобы отправить такое письмо в Стамбул, где оно могло сыграть поистине роковую роль в судьбе его автора, в общем-то зависимого от политической воли Порты. При этом Гирей не остался храбрецом только на словах. Уже после своего смещения Инайет прибыл в Турцию, где во дворце ему была устроена очная ставка с находившимся при султане Кан-Темиром. Здесь бывший хан высказал своему врагу, а также присутствовавшему на встрече Мураду IV все доводы о правоте своих деяний, очевидно надеясь на то, что и султану не чужд аристократический дух справедливости. Отчасти он не ошибся: турецкий деспот хоть и приказал задушить Инайета, но похоронил его с великими почестями на кладбище стамбульского дворца Бешикташ при участии многочисленных придворных высшего ранга (*Халим Гирей*, 2008. С. 71).

Одарённость, даже талант в державном управлении, как и гуманистический склад ума некоторых ханов, о которых упоминалось выше, находили отражение в стиле их правления. Ислам-Гирей III (1644–1654) провел в молодости семь лет в польском плену, где имел возможность ознакомиться с государственным устройством Речи Посполитой (он был приближен к королевскому двору). По возвращении домой незаурядная энергия хана, его административная распорядительность и природный ум расположили к нему и самую беспокойную часть его земляков — бейские кланы, а простые подданные сумели оценить почти полное освобождение их от ханских податей (*Крымский*, 1930 «а». С. 5).

Самостоятельная и последовательная внешняя политика Ислам-Гирея III, безусловно, подняла и международный авторитет Крыма. Здесь имело значение то обстоятельство, что он смог поставить себя в весьма независимое положение по отношению к Османской империи. Чему, правда, в значительной степени способствовали очередные внутренние беспорядки в империи османов. В самом ханстве Гирей помирил две упорно враждовавшие могущественные группировки (мурзинское сословие и корпорацию капы-кулы), хотя для этого ему пришлось выдержать несколько столкновений, вылившихся в настоящие битвы (*Новосельский,* 1948. С. 388).

Наладив внешнеэкономические поступления (дани из Польши и России) и проведя несколько реформ внутри крымской экономики, Ислам-Гирей III настолько повысил благосостояние всего населения Крыма, что это даже чисто внешне бросалось современникам в глаза. Такого рода крупные перемены в политическом и особенно внутриэкономическом положении ханства имели единый исток. Ислам-Гирей III оказался достаточно свободомыслящим правителем,

чтобы ввести в ханстве новые порядки, лучшие из которых он смело заимствовал из практики зарубежных стран.

При этом он нашёл и силы, и средства для того, чтобы преодолеть сопротивление местных консерваторов, в том числе и духовных лиц, а это не так просто в мусульманской стране. История жизни и деяний этого Гирея позволяют отнести его к числу немногих европейских владык, нашедших в себе духовные силы для объективной, беспристрастной оценки положения своей страны и проведения в жизнь необходимых реформ, невзирая на вековые традиции.

Впрочем, следует признать, что многие наши современники имеют весьма несовершенное представление о крымских традициях той эпохи. В области внешней политики, например, бытует расхожее мнение о том, что крымцы и казаки были смертельными врагами, и при этом славянский мир должен быть благодарен последним за спасение его от гибели и полного искоренения руками первых. На самом деле и здесь проблема гораздо сложнее, а выводы, к которым приводит нижеследующий анализ ситуации в Крыму, Москве и на Украине в XVII в., далеко не столь однозначны.

VII. КРЫМ И ЗАПОРОЖЬЕ В XVII ВЕКА

В Малороссии всегда находились люди, мечтавшие о союзе с татарами против московского правительства.
А. Брикнер, историк XIX века

1. Сходства и различия Сечи и ханства

Сказанное в предыдущем очерке насчёт довольно общей ошибки в представлении об отношениях между крымскими татарами и казаками, к сожалению, типично для многих пишущих людей. Они могли бы и пересмотреть свой «банк данных», сверившись со вполне доступными источниками. Но это многолетнее заблуждение остаётся характерным не только для научной, но и для научно-популярной, и художественной, и тем более публицистической литературы. Образ украинского или донского казака как беззаветного стража, стоящего на охране российских рубежей от мусульманской агрессии, стал вполне расхожим. Это касается и совсем новых, исторически абсолютно безграмотных устных и печатных выступлений, пропагандирующих ценность для России так называемого *нового казачества.*

Сложнейшая проблема многоплановых и далеко не однозначных отношений татар Крыма с соседними казаками, как украинскими (Гетманщина, Запорожская Сечь, Правобережье Малороссии), так и русскими (Дон, Кубань) может быть разрешена лишь в результате исторического подхода к ней, в котором не будет места субъективным заключениям и выводам, характерным для соответствующей литературы. Только беспристрастный анализ диалектики этих отношений, их несомненной качественной эволюции в XVI–XVII вв. и позже, может привести нас к поставленной цели. Для этого придётся, в очередной раз извинившись перед читателем за отход от главной темы, вернуться в давно прошедшие века.

Казаки, в первую очередь запорожские, некогда заселили заброшенные, давно пустовавшие земли Северного Причерноморья, на которые не претендовали ни московские князья, ни крымские ханы. При этом они нередко пользовались поддержкой Польши и Москвы, так как уже самим своим пребыванием, оседанием на этой территории стали препятствием для набегов кочевников

на Польшу, а заодно и на Московское государство[1]. И позже оба эти государства (а время от времени и Литва) по мере сил поддерживали казачество, в том числе и складывавшееся военное устройство этого необычного государственного образования. Так, львовский каноник Я. Юзефович прямо говорил о гибельности для Польши жёстких санкций против Сечи. Но он заглядывал и глубже: по его мнению, набеги крымских татар, иногда совместно с сечевиками, на поляков были прямо вызваны попытками Речи Посполитой «ликвидировать вольность воинства казацкого» (Сборник, 1888. С. 120).

Запорожская Сечь постепенно самоорганизовалась как казацкая республика. Она делилась на курени, возглавляемые выборными атаманами, которые подчинялись главному, кошевому атаману. Но высшим политическим и судебным её органом был не атаман, а Сечевая рада, способная сместить кошевого и выдвинуть нового предводителя, более отвечающего непостоянным интересам казацкой массы, в том числе и политическим.

Что же касается политики, то со временем Запорожская Сечь стала играть роль буферного государства, в чём она отчасти напоминала Крым. Отличие же было среди прочего в том, что республика избрала эту роль вполне добровольно, хотя и вряд ли глубоко осмысленно, тогда как Крым абсолютно свободно выбирать свою политику мог далеко не всегда. Если внешним миром Сечь вообще не признавалась в качестве государства, то и внутри она не разработала принципы высокой, истинно государственной политики, не только осознанно буферной (что обычно приносит «буферу» немалые доходы с обеих прилегающих сторон), но и любой иной, стабильно направленной на *активную* оборону от чуждых, а порой и враждебных ей соседей — Польши, России или Литвы.

Хотя, конечно, она была государством. Просто её политика заключалась в полной свободе от диктата твёрдых политических принципов и стабильных направлений, то есть диктовалась лишь сиюминутной пользой, а не конструктивностью, работающей на перспективу. Эта, с позволения сказать, политика характеризовала и отношения Запорожской Сечи с Крымом, о чём пойдёт речь ниже.

Обе части страны казаков — и Запорожье, и в меньшей степени Гетманщину (Левобережная Украина с Киевом) — в специальной литературе иногда именовали «военной республикой» или даже «военно-религиозным орденом». Оба определения по ряду причин научными назвать нельзя. Критика их не входит в наши задачи. Заметим здесь лишь, что хотя казаки и отдавали много энергии

[1] Речь идёт не об Орде как великой державе с собственной внешней политикой, не допускавшей «случайных» грабежей соседних с ней народов и стран и, тем более, собственных территорий. Орда не могла грабить Москву, Ярославль или Суздаль по той простой причине, что эти бывшие княжества стали не колониями, не товарными факториями, не пунктами сбора дани, а *частью* Орды. Причём частью столь же органичной, как и тюркоязычные, и угро-финноязычные, и ираноязычные и так далее племена и народы, из которых, собственно и состояло необъятное государственное тело Орды. Казаки никак не могли защищать ордынскую Москву от ордынской Твери или ордынских же Хаджи-Тархана, Казани и т. д. — это бессмыслица. Речь здесь идёт главным образом о мелких внеордынских, или бывших ордынских, или не подчинявшихся ослабевшей Орде её членах, родах-кланах, на свой страх и риск ходивших в набеги на славян центральной и западной части их расселения.

и сил набегам с вполне явными обогатительскими целями, но обойтись ни без мирной экономики, ни без мирных экономических и политических связей с соседями они также не могли.

Поэтому определить какую-то генеральную линию внешней политики Запорожья весьма трудно, но не невозможно. В целом она клонилась, во-первых, к защите политической, экономической и религиозной свободы, причем не только для казаков, но и для всего украинского населения. Во-вторых, казаки, находясь в окружении сильных держав, *иногда* стремились по мере сил уравновешивать политическое влияние и военную мощь соседей. Средством для этого были избраны военные союзы, заключая которые казаки в силу своих боевых качеств и геополитического положения Сечи *иногда* могли внести нужные им коррективы в складывавшуюся ситуацию. И в этой структуре постоянно и быстро менявшихся межгосударственных связей Крым играл для Сечи весьма важную роль естественного противовеса слишком уж могучим «братским» христианским державам.

Далее, казаки не могли не осознавать, что соседи эти давно могли ликвидировать Сечь и аннексировать ее земли, но терпели Запорожье лишь из-за крымскотатарской угрозы. Другими словами, залогом всего существования Сечи и независимой Украины были, как это ни парадоксально звучит, крымские татары, само их присутствие по соседству с казацкой территорией.

И казаки это понимали, будучи обществом довольно развитым, имевшим собственную, хоть и своеобразную внешнеполитическую точку зрения. И это качество делало их более похожими на крымских татар, чем на единоверных им великороссов (интересно было бы сравнить упомянутую казацкую точку зрения с чисто *внешнеполитическими* воззрениями мужиков одного уезда или даже губернии, современных Сечи, например, тогдашних Орловщины или Тамбовщины). Так вот, лишь помня о приведённых факторах, историк может дать верную оценку весьма пёстрым и противоречивым акциям политиков Сечи по отношению к Крыму, Москве и Польше.

Очевидно, начать нужно с того, что кроме политической сферы казацко-крымские связи были неизбежны и в экономической области. Запорожцы не находили возможности или желания целиком посвятить себя собственному хозяйству. Тому имелись вполне объективные и всем понятные причины. Чрезвычайно витальные и динамичные по натуре, казаки если не оборонялись, то уж точно нападали сами (здесь ситуация огрубляется только для краткости, в реальности всё было сложнее, но суть дела от этого не меняется).

В несколько более экономически упорядоченном положении находилась Гетманщина, но и там пахота, сев и уборка были зачастую невозможны из-за военных конфликтов. Поэтому зерно и другие припасы приходилось покупать (а деньги у казаков водились) за рубежом, прежде всего в Москве и Польше. Соль же им задёшево поставляли крымские татары, причём в количествах, достаточных и для реэкспорта в ту же Россию или Польшу. Здесь казаки являлись монополистами, наследниками древнего транзита «из варяг в греки», разве что начальный и конечный его пункты изменились.

Имелись у них и иные экономические связи с Крымским ханством. Издавна в мирные периоды казаки пользовались добрососедским разрешением ханов облавливать черноморские лиманы и даже прибрежные воды Азовского моря.

Авторами XVIII в. отмечено, что близ устьев впадавших в Днепр речках Рогачике, Белозёрке и Конских Водах находились запорожские рыбачьи слободы или стоянки с хижинами и сараями (их называли «полянками»), основанные по договорённости с бахчисарайским двором (*Секиринский*, 1988. С. 87). Взамен казаки предоставляли крымским татарам права кочевий и выпасов на украинских землях (*Львов*, 1895. С. 8).

Наконец, нельзя забывать об удивительной этнопсихологической близости, чуть ли не родственности соседних народов. Ведь при всех различиях в хозяйственной, производительной деятельности они далеко не случайно около полутора столетий занимались, по сути, одним и тем же делом: угоном скота, добычей полона, более или менее жёсткой расправой с сопротивлявшимся противником и разорением его жилищ: «и жизнию и ратным делом они много были сходны с собою... равные храбростью и неутомимостью, равно жаждою к войне...» и т. д. (*Ханацкий*, 1967. С. 363).

И это — не случайное совпадение некоторых из видов деятельности двух этносов: они обладали одинаковой ментальностью, ментальностью воинов, присущей некоторым народам с глубой древности. Стоит раскрыть *Германию* Тацита, и кажется, что он описывал не германцев, а казаков или их ногайских соседей: «по их представлениям, пóтом добывать то, что может быть приобретено кровью, — леность и малодушие» (*Тацит*, 1969. Т. I. С. 360). Сказанное в полной мере относилось и к донским казакам, с которыми у крымских татар временами складывались не менее доверительные отношения, чем с сечевиками, отсюда и схожие поведенческие стереотипы.

Преследуемые царской властью за слишком «вольное» поведение или отклонения от никонианского православия, донские казаки нередко предпочитали уходить в Крым на постоянное жительство. Это имело место задолго до знаменитой эмиграции казаков И.Ф. Некрасова в том же направлении. Особенно заметным стало переселенческое движение во второй половине XVII в. «Всё более основательной трансформации подвергаются массовые представления донских казаков о турках или [крымских] татарах как о союзниках, о ханах и султанах — как о возможных своих государях... „Поруха старине“ отношений казаков с мусульманскими государствами Причерноморья состоит в том, что переход донцов в османский Азак стал явлением *постоянным*...» (*Сень*, 2010. С. 280–281).

Один из лидеров раннего переселенческого движения казаков в ханство, атаман К. Чурносов утверждал: «Лучше ныне Крымской [хан], нежели наши цари на Москве» (цит. по: *Мининков*, 1998. С. 9, 11). Казак знал, что говорит, поскольку религиозная свобода в Крыму была такой же, как и в казацкой области, где нередко встречались казаки-мусульмане, никем за это не преследовавшиеся (указ. соч. С. 13). Собственно, и в Запорожской Сечи встречались иноверующие (правда, там они были вынуждены это скрывать). Из них самый известный — генеральный судья Левобережной Украины В.Л. Кочубей (между прочим, внук крымца Кучук-бея), в имении которого, говорят, находилась подземная мечеть.

Поэтому казаки и крымские татары нередко сближались и политически, причем весьма тесно. Это были, правда, временные союзы: они распадались, чтобы стихийно завязываться вновь всё более крепкими узлами. Как верно заметил около века тому назад историк казачества, они с крымцами были представителями одной

и той же системы отношений, их связывали четыре аналогичных видовых признака: широкое самоуправление, полная религиозная свобода, схожая хозяйственная структура (имеются в виду прежде всего заперекопские ногайцы, основная сила в украинско-крымскотатарских походах) и общность воззрений по основным вопросам имущественного и международного права (*Щербина*, 1910. С. 605).

Наиболее благоприятно и перспективно складывались мирные или союзные отношения между казаками и крымскими татарами в дотурецкий период истории Крыма. Но и после, вплоть до начала XVII в., мирные связи прерывались лишь эпизодически, а в XVI в. отмечены даже случаи боевого сотрудничества крымцев и казаков. Выше говорилось о том, как в 1521 г. Мехмед-Гирей I ходил на Москву и Рязань с казацким старостой О. Дашковичем; через четыре года казаки по просьбе Саадет-Гирея подавляли внутрикрымский мятеж (Сборник, 1888. С. 113). В XVII веке крымские татары не раз отправлялись в поход на Московское государство в сопровождении ценных консультантов и активных участников этих походов — казацких атаманов. В 1620–1630 гг. мирные казацко-крымские отношения прервались, но в 1661 г. кошевой М. Ханенко выступил во главе 60-тысячного татарского войска. Впрочем, и позднее в рядах гетманского войска встречались и крымцы, и турки (*Крип'якевич,* 1990. С. 45; *Апанович,* 1961. С. 236).

Крымские татары и казаки неоднократно оказывали друг другу помощь и в случае какой-либо общей беды, например, при стихийных бедствиях или неурожае. Причём спонтанно, без какой-либо предварительной договоренности, что называется, по-соседски, по-человечески. Что же касается не менее важных, но, естественно, более устойчивых и долговременных внешнеполитических факторов казацко-крымского боевого сотрудничества, то их насчитывалось, грубо говоря, столько же, сколько у Сечи с Крымом было ближайших соседей. Тем не менее к концу XVI — началу XVII в. вполне созрел главный (к тому же во многом *общий* для казаков и татар) фактор такого рода.

Речь снова идёт о балансе сил двух соседних держав, отличавшихся весьма активной политикой на крымско-украинском направлении, а именно Московии и Речи Посполитой. Здесь крымские татары и украинское казачество впервые выработали, причем независимо друг от друга, основной принцип своей внешней политики.

Суть его была проста, о ней уже упоминалось: ни русские, ни поляки не должны были усиливаться за счёт друг друга. Резкое возрастание политической и экономической мощи что Польши, что Московии неминуемо увеличивало угрозу самому существованию Сечи и ханства. Причём не только из-за чисто военного могущества, но и оттого, что такое количественное усиление неминуемо переходило в качественный рост агрессивности этих держав, — об этом говорил долгий политический опыт соседства. Поэтому во время русско-польских вооружённых конфликтов как казацкие кошевые (позднее — гетманы), так и ханы неизменно оказывали помощь слабейшей на данный конкретный момент воюющей стороне. И эта нехитрая схема оправдывала себя, сохраняя актуальность не годы — многие десятилетия (см., например: Османская империя, 1998. С. 56–57, 59–60, 108 и др.).

Имели место, конечно, и периоды татарско-казацких противостояний, вооруженных конфликтов. И в среднем они, не исключено, превосходили по продолжительности мирные передышки. В XVII в. ханы разоряли Украину,

на её южных границах стычки не прекращались, казаки громили и жгли прибрежные города и сёла Крыма[1] и т. д. Татары отвечали им взаимностью, однако для правильной оценки таких отношений необходимо и здесь учитывать общую обстановку на юге, да и не только на юге Европы.

Это была эпоха, когда не существовало безопасных дорог, когда простое путешествие было рискованным предприятием и, готовясь к нему, люди вооружались как на войну. Не только в XVI, но и в XVII и XVIII вв. европейские феодалы нередко разоряли и жгли друг друга, совершали грабительские набеги на соседние края и страны. Вспомним хотя бы о многочисленных, крепко сколоченных группах неуправляемой польской шляхты в эти века или о шайках профессиональных военных-грабителей из гротескно-сатирического, но в деталях весьма правдивого романа Х.Я.К. Гриммельсгаузена *Симплициссимус* (1668), посвящённого Тридцатилетней войне.

Ни Украина, ни Дикое Поле не были исключением из общеевропейского правила, и торговые караваны мало чем отличались от вооружённых отрядов — разве что отсутствием знамён и пушек. Тем не менее украинско-крымские столкновения не стоит воспринимать как извечную и постоянную вражду: современникам-то они нисколько не поражали, это была скорее норма, чем нечто необычное.

Конечно же, крымские набеги превосходили казацкие и польские своим масштабом (впрочем, не всегда), но уж никак не бессмысленной жестокостью. Тут с запорожцами, да и с поляками сравниться было трудно, особенно крымцам, берегшим пленных как зеницу ока, о чём уже говорилось. Но главное ведь не это. Не было в набегах у тех и у других качественных, в частности, моральных различий. Православные священники точно так же благословляли казаков «на добычу» (*Мининков*, 1998. С. 11), как это делали муллы в Крыму. Собиралось ли подобное воинство во Львове, Сечи или Карасубазаре, цель его была чаще всего удручающе однообразной: предупреждение агрессии соседа посредством предупредительного нападения, а уж оно сопровождалось привычными грабежом, разбоем, уничтожением городов и сёл. И конечно, наживой за счёт противника. Хотя если московский дьяк Е. Украинцев и сетовал в 1684 г. на то, что «теперь многие люди... без войны жить не привыкли (!), а прокормиться им нечем... беспрестанно казаки думают о войне... если не послать их на войну, то надо платить большое жалованье» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VII. С. 381), то уж он-то точно лицемерил, прекрасно зная, что в этом смысле как Москва, так и Сечь любому Бахчисараю или Аккерману сто очков вперёд даст[2].

---

[1] Лишь в отдельные, впрочем весьма непродолжительные периоды резкого ослабления Крымского ханства такие стычки могли перерастать в настоящую «неустанную мелкую партизанскую пограничную войну... Это обдирание (*луплэнне*) татар становилось спортом и — одновременно — настоящим источником дохода для этой передовой стражи украинской колонизации. Время от времени в том же духе устраивались и значительнейшие экспедиции на татарские кочевья и укрепления — когда украинской массой на свой страх и риск, когда — организованной украинскими старостами или колониальной администрацией» (*Грушевський*, 1909. Т. IX. С. 58).

[2] Это писал чиновник, хорошо знавший предмет и, главное, считавший искажение истины вредным для дела. Другое дело — российские государственные историки, в чьих трудах искать объективные выводы о крымскотатарской действительности тех лет было

Что же касается фактора, возбуждавшего вспышки украинско-крымских конфликтов, то в нём немалую роль играло православие как религиозно-идеологическая система с известной своей самозамкнутостью и нетерпимостью, заимствованными от Византии. Конечно, на Украине оно было не в пример раскрепощённее и открытее, чем в России, но уже упоминавшийся в этом томе (начало очерка IV) эпизод с участием кошевого И. Серка сам по себе достаточно характерен.

С другой стороны, когда перед тем же И. Серком возникали проблемы чисто человеческие, не замутнённые ослепляющей ненавистью православной византийщины ко всем «ненашим», то кошевой предстаёт перед нами понимающим, мудрым и трезвым лидером. Так, на упрёк гетмана И. Самойловича (по поводу разрешения кочевать на украинской территории во время засухи на ханской земле, которое И. Серко дал ногайцам, тот резонно ответил: «Если бы и сам чёрт, пан гетман, помогал людям в крайней их нужде, то брезгать этим не годится, ведь говорят люди: нужда и закон меняет. А если мы, живши с татарами по соседству, помогаем друг другу, то это разумному — не диво» (цит. по: *Бантыш-Каменский*, 1822. Ч. I. С. IV).

Возможно, подобные весьма общие для казаков и крымских татар черты, которые, как известно, сближают народы, были причиной ускорения именно в XVII–XVIII вв. процесса крымско-казацких взаимных *культурных заимствований*. Показателем его может быть не только бросающееся в глаза сходство в таких привычках, как бритьё наголо головы и бороды, в платье, вооружении и других объектах материальной культуры, но и в пище, и даже тактике степного конного боя. Масса крымских татар владела украинским языком, причём то, что в Крыму понимали по-украински, подтверждают серьёзные исследователи (*Крип'якович*, 1990. С. 255). И, наоборот, известно из источников, что не только Б. Хмельницкий, но и многие другие казаки прекрасно владели крымскотатарским, обходясь в Крыму без переводчика. И этим тоже подтверждается известная истина: Запорожье резко, не менее Крыма, отличалось от России, жило по своим законам и морали, в которых было гораздо больше точек соприкосновения и даже сходства с соседним крымским миром, чем принято считать.

Особое значение имели заимствования, сделанные восточными славянами, в частности украинцами, у крымских татар в области музыкальной культуры. С самого начала своего возникновения казацкие оркестры имели в своём составе такие тюркские инструменты, как барабан, тулунбас, зурны (*укр.* сурмы) и литавры. И даже знаменитая украинская кобза напрямую связана по происхождению с крымскотатарской *бжурой*, разновидностью общетюркского струнного инструмента *саз*. (*Чернышева Е.В.* Отражение тюрко-славянских этнических контактов в украинской народной инструментальной музыке // НБ. № 12.

бы напрасной тратой времени. Лишь изредка некоторые исследователи (как правило, нерусские) говорили об этом со страниц своих работ: «то, что писалось... о грабежах и разбоях, было лишено объективного спокойствия, беспристрастия, было отравлено ядом человеконенавистничества, расцвечено цветами, специфическими цветами российского национализма, принимающего на окраинах [Российской империи] особенно уродливый характер безжалостной травли инородческого населения» (*Цаликов А.* Кавказ и Поволжье. М., 1913. С. 101).

2007. С. 34). Но гораздо важнее было влияние, которое оказали на староукраинскую музыкальную культуру крымскотатарские мелодии, — об этом писали ещё в царское время такие выдающиеся музыковеды Украины, как Н.В. Лысенко и П.П. Сокальский, а в 1920-х гг. независимый от советской цензуры польский исследователь Ф. Колесса (там же).

Не менее примечательно и то, что религиозные различия чем дальше, тем реже становились непреодолимой стеной во взаимном сближении двух соседних народов, активизировавшемся позже, в XVIII в. Если раньше обоюдное переселение носило характер единичных случаев, то теперь крупные группы казаков навсегда оставались в принимавшем их мусульманском мире. Особенно значительными эти исходы были в послеполтавский период (переселение в Крым гонимых царём казаков-некрасовцев) и в 1770-х гг., после окончательного разгрома казацкой республики «русскими братьями».

Упомянутые и иные особенности татаро-казацких отношений проявились уже в годы правления Ислам-Гирея III (1644–1654 гг.)

2. Ислам-Гирей III и Богдан Хмельницкий

Оживление контактов крымцев с казаками в середине XVII в. было в значительной степени вызвано очередным ослаблением верховной власти в Турции. Собственно, Османская империя по ряду причин оказалась накануне дворцового переворота и жила в его ожидании, не будучи в состоянии вмешаться в крымско-украинские события вооружённой силой (она ещё и вела тяжёлую войну с Венецией). Не сразу изменилось положение и позднее, после переворота 6–7 августа 1648 г., когда султан Ибрагим I был задушен, а его преемнику Мехмеду IV (1648–1687) едва исполнилось семь лет. В Стамбуле царил полный хаос, который не были в состоянии ликвидировать старуха-бабка малолетнего султана и другие женщины, неожиданно оказавшиеся практически во главе империи.

В Крыму было хорошо известно, что в первые годы правления нового султана в гареме развернулась ожесточённая борьба между упомянутой бабкой, Кёсем-султан, и матерью нового султана Турхан-султан. Последняя, хоть и носила тюркское имя, была русского происхождения, возможность её победы не могла не беспокоить Бахчисарай. Между тем, не имея иных способов к достижению перевеса, «старая валиде пыталась даже противопоставить Мехмеду другого принца. Победа новой валиде и казнь Кёсем-султан сменила лица, но суть придворной коррупции, протежирования и полного развала правления осталась прежней» (*Орешкова,* 2000. С. 243).

Впрочем, ещё до указанного переворота энергичный крымский хан Ислам-Гирей III, воспользовавшись моментом ослабления контроля со стороны Турции, сделал попытку вообще уйти из-под её опеки. Конечно, как показывали подобные опыты прошлого, это был отчаянно рискованный шаг, но хан на него решился, трезво взвесив сложившиеся обстоятельства. Собственно, в пользу такого решения говорило два резона. Первым из них было необычайно прочное

Ислам-Гирей III.
Журнал Къасевет, 2010, № 37

внутриполитическое положение Ислам-Гирея[1]. Вторым — внешнеполитическое. Если почти постоянные неудачные войны Османской империи с Венецией и Персией ослабили её армию и экономику, то знавший об этом хан не мог не видеть возможности значительно усилиться, заключив тесный союз с украинцами. Сопутствующим фактором для такого рода сближения стало восстание украинцев против поляков, в ходе которого всё более заметную роль начал играть Богдан Хмельницкий.

За спиной 55-летнего чигиринского сотника осталась весьма бурная молодость: длительная служба польским королям, кровопролитные походы на русских и турок, двухлетний плен в Турции, затем война с русскими и осада Смоленска, за которую польский король Владислав IV наградил его драгоценной саблей, а затем и дворянским достоинством.

Б. Хмельницкий был типичным представителем казачества — вольного и своенравного воинства, на которое не мог уверенно рассчитывать ни один из его союзников. Казацкие союзы с соседями то и дело распадались, чтобы через некоторое время чигиринского сотника снова звали вступить в какой-либо альянс, а то

[1] Конечно, это был главный результат личной политики и обаяния незаурядного хана. Как сообщали в этот период московские посланники С. Лодыженский и А. Огарков, «Ислам Гирей царь с царевичи с калгою и нурадыном живут меж себя советно. А премененья крымскому царю не чаеть потому, что посланникам многие руские полоненики сказывают[, что] крымские де князи и мурзы, и лутчие люди татаровя меж себя говорят, что Ислам Гирей царь у них счастлив и быть ему у них по ево смерть. Хотя де турский салтан на ево место ково перемену и пришлёт, и они тово нового царя на ево место не примут и повеленья турсково салтана не послушают» (цит. по: *Заборовский, Захарьина*, 1992. С. 169).

и просто оказать помощь в походе. Политика украинского казачества была образцом двойственности и непостоянства, гетманы могли одновременно и помогать двум-трём враждующим между собой державам, и воевать с ними же: «В то время как одни казаки то терзали Московское государство, то почитали его, другие дрались с татарами и ходили на море грабить турок» (*Костомаров,* 1904. С. 42).

То, что казаки нередко враждовали с Москвой, не могло не импонировать крымским татарам. Однако казацкая служба Польше, второй державе, представлявшей не меньшую, чем московская, опасность Крыму, принуждала хана к осторожности. А после московской Смуты, в течение которой были разрушены выдвинутые к крымским границам московские городки, польская угроза стала более актуальной. Эта ситуация начала меняться лишь с середины 1630-х гг., когда помимо традиционной Засечной черты, которая протянулась от Белёва до Рязани, стала строиться новая, ещё более близкая к северным границам ханства Белгородская черта. А в 1640-х гг. Москва, мобилизовав десятки тысяч каменщиков, землекопов и плотников, приступила к возведению 800-километровой сплошной укрепленной линии от реки Цны к Ворскле. Вдоль неё только крепостей насчитывалось 18, — и это не считая более мелких городков и острогов с постоянными гарнизонами, складами боезапасов и провианта. Эта новая линия была сплошной, значительно превосходя Засечную по военной мощи (*Загоровский В.П.* Белогородская черта. Воронеж, 1969).

Иными словами, была создана фортификационная система, годившаяся как для обороны, так и в качестве опорной базы для наступления в направлении Северного Причерноморья. А о том, что такие планы имелись, говорит хотя бы история с захватом Азака. Этот старинный крымскотатарский (впоследствии перешедший к османам) город-крепость был взят в 1637 г. не московскими стрельцами, а донскими казаками. То есть людьми, без крайней нужды никому не подчинявшимися. Формально они признавали над собой власть Москвы, но упомянутый захват был совершён явно самовольно. Об этом говорит хотя бы убийство ими направлявшегося к царю Михаилу Фёдоровичу по договорённости с ним султанского посла Фомы Кантакузина, на свою беду оказавшегося на Дону во время осады Азака.

Но важнее здесь то, что Москва стала оказывать взявшим эту крепость донцам всемерную помощь деньгами, оружием и боеприпасами (*Смирнов*, 1946. Т. II. С. 50–52). И эта поддержка регулярно возобновлялась почти пять лет. Ситуация изменилась лишь в 1642 г., уже после того, как османы неоднократно пытались отбить эту крепость, благодаря чему она оказалась в полуразрушенном состоянии и явно не вынесла бы очередного штурма. Казаки не могли удержать Азак собственными силами, поскольку янычары зимовали в Крыму и весной этого года были готовы штурмовать крепость с новыми силами. Вот тогда-то казаки запросили войсковой помощи из Москвы, которую она не сочла нужным оказать по причине полной безнадёжности дальнейшей обороны городских руин (указ. соч. С. 74). Это был явно вынужденный отказ от результатов экспансии (обычно Москва держала всё захваченное крепко). И именно эта вынужденность — есть свидетельства — говорила о наличии у Кремля далекоидущих планов в отношении всего Северного Причерноморья, а значит, и Крымского ханства.

Наконец, имеются и подтверждённые фактическим материалом, совершенно доказательные свидетельства о том, что Кремль готовил в середине 1640-х гг. захват Крыма. Причём основной удар готовился не с севера, как обычно, а с востока: на Дону накапливались воинская сила и боеприпасы для похода московскими и донскими силами (*Смирнов*, 1946. Т. II. С. 97). Этот новый источник постоянной тревоги для Бахчисарая и стал одной из главных причин возобновления в 1646 г. украинско-крымских переговоров. Через год было достигнуто соглашение, в соответствии с которым казацкая старшина должна была предупредить крымских татар о начале уже запланированного (но пока без точных сроков) похода на Украину для усмирения казаков польского войска под руководством сандомирского воеводы Александра Конецпольского.

Этот признанный лидер польской шляхты был, между прочим, уже не первый год подстрекателем набегов запорожского казачества на Крым. Причём они и совершались под польским контролем, что было известно не только старшине, но и рядовому казачеству. Его это, по понятной причине, оскорбляло, и казаки надеялись, что если не хан со своим войском, то кто-либо из его беев поможет им освободиться от польской опеки, хотя бы и вооружённым путём. Наилучшим образом подходил для решения этой задачи тогдашний орский бей Тогай Ширин: ему не нужно было выдвигать своё войско из внутреннего Крыма. Он со своими ногайцами всегда был рядом, он был почти свой (*Крип'якевич*, 1990. С. 76).

К этому времени (конец 1640-х гг.) население будущей Украины было крайне раздражено поляками. Причём не были исключением ни реестровые казаки, которые служили королю Владиславу IV, ни мирные украинские землепашцы. Основной причиной этого недовольства, доходящего до враждебности, было возведение поляками крепости Кодак на Нижнем Днепре, предназначенной для того, чтобы отсечь казачью вольницу от выхода в Чёрное море — в том числе и с целью рыбного промысла. Более того, одновременно возросли податные тяготы на украинских крестьян, а казацкими полковниками теперь становились не выборные однополчане, а назначавшиеся Варшавой польские офицеры. Одно это нарушение традиций могло оскорбить казачество, но прибывшие офицеры ещё и подвергали реестровых всяческим унижениям и тяготам.

Однако важнейшей причиной угрожаемого положения как казачества, так и крымцев стало очередное сближение Речи Посполитой с Московией, что должно было значительно усилить бывших соперников. Но если казачеству это могло принести лишь ещё большее угнетение, то Крыму грозила теперь вполне конкретная опасность соединённого польско-московской выступления с задачей ликвидации ханства как самостоятельного государства.

Своеобразие ситуации за Перекопом состояло в том, что упомянутое сближение происходило «именно на антикрымской основе», а в феврале 1648 г. уже «принял практические очертания вопрос о координации боевых усилий» русских и поляков в борьбе с крымцами (*Заборовский*, 1998. С. 191–192, 193). Именно поэтому весной 1648 г. Б. Хмельницкий, окончательно рассорившись с поляками и опасаясь московитов, явился с сыном Тимошем и свитой в Крым. Сотник (как упоминалось, прекрасно владевший крымскотатарским языком) произнес в диване речь, в которой просил у хана усиления помощи против поляков, а также общего покровительства Гетманщине, изъявляя готовность сражаться

вместе с мусульманами. Позже, уже после отъезда казаков, выяснилось, что мурзы и беи — члены ханского дивана — целиком согласны с доводами украинских дипломатов. Более того, крымские вельможи при этом «выступали единым фронтом, отражая в данном вопросе также интересы татарских масс Крыма», раздражённых, ко всему прочему, новыми попытками заморского султана рассорить их с близкими соседями-казаками (Османская империя, 1998. С. 196).

Хану было нелегко соединить в этот момент крымскую конницу с казацким войском: Стамбул требовал её для собственной войны с Венецией. Однако речь казацкого лидера оказалась, по-видимому, настолько убедительной, что Гирей в конечном счёте отказал султану, дерзко заявив, что он «сам по себе живёт», и пригрозив повесить любого нового гонца из Турции (*Новосельский,* 1948. С. 396). О наступлении новой фазы в отношениях хана с султаном вскоре стало известно на Украине. И Богдан Хмельницкий с полным основанием мог заявить московскому посланнику Г. Неронову, пытавшемуся вбить клин между казаками и Ислам-Гиреем (по уверениям московита, якобы верным клевретом Порты): «Крымских царей прежде турский царь переменял часто, и боялись турского в Крыму, а теперь сам турский царь боится крымского царя и великого войска Запорожского, и никакой воли турский царь над крымским не имеет» (цит. по: *Соловьёв,* 1988. Кн. V. С. 533). Тогда же, в начале 1648 г., был заключён крымско-украинский союз, предназначенный прежде всего для взаимной помощи (подр. о нём см.: *Заборовский, Захарьина*, 1992. С. 167), хотя касался он и иных контактных точек и сфер активности соседних держав.

Действенность нового союза обнаружилась почти немедленно. На исходе весны 1648 г. хан послал на Украину для поддержки антипольского восстания казачества войско упоминавшегося ор-бея Тогая Ширина, которое уже в мае сражалось бок о бок с казаками Украины против поляков[1]. А затем на театр военных действий прибыл во главе основной армии и сам Ислам-Гирей (*Стороженко*, 1994. С. 60–71).

Поддержка татарской конницы много значила для успеха украинских повстанцев, имевших многочисленную пехоту, но бывших не в состоянии противостоять польской лёгкой и тем более тяжёлой кавалерии. С приходом к ним на помощь крымских конников эта проблема снималась. Теперь, после первых поражений королевских войск, восстание приняло всенародный характер. Более того, на Левобережье возникает новое военно-политическое образование, во главе которого становится избранный нереестровыми казаками гетман. В отличие от назначавшихся ранее польским правительством коронных гетманов, выборный гетман (с 1648 г. им стал Б. Хмельницкий) являлся самостоятельным лидером казачества, имея собственную администрацию и армию.

Когда в Стамбуле стало известно о боевых действиях крымцев, то султан направил в Бахчисарай запрет на такие самовольные действия. Однако это повеление было ханом полностью проигнорировано. Не обратил Гирей внимания и на приказ Ибрагима I немедленно выступить в Стамбул, откуда ханское войско

[1] Совместному походу Тогай-бея Ширина и казачьих войск в 1648 г. посвящены дестан классика крымскотатарской литературы, поэта XVII в. Эдипа-эфенди *Сефернаме*, а также поэма *Тогай бей* крымскотатарского поэта того же века Джанмухаммеда.

Богдан Хмельницкий.
Западноевропейская гравюра

планировалось перебросить к Криту, где османы в ту пору вели борьбу с венецианцами и другими военными противниками за обладание островом. Этот указ был вызван и более острой проблемой: к тому времени и сам Стамбул был блокирован противником с суши и моря. Следует отметить, что, принимая решение оставаться на месте, Ислам-Гирей опирался на единогласную поддержку беев дивана; многое значило и нежелание крымского войска отправляться за море в крайне опасной для ханства ситуации.

Позже, в июле 1648 г. великий визирь Ахмед-паша повторно направил в Бахчисарай повеление Ибрагима I немедленно отозвать войско с польского фронта. Реакция хана и его окружения была той же, что и на более раннюю султанскую грамоту. Заседавшие в ханском диване беи и мурзы, хорошо зная о настроениях в крымскотатарской массе, высказались за отказ от предписаний Порты. Одновременно было принято решение о продолжении поддержки казацкого восстания. А затем 30 августа на помощь казакам Б. Хмельницкого выступили новые конные отряды крымцев во главе с калгой и нуреддином, которые участвовали в сражениях с королевскими войсками в течение нескольких месяцев (*Заборовский*, 1998. С. 196). После этого новый султан, Мехмед IV (точнее, его окружение) отправил хану фирман, в котором теперь уже содержалось разрешение на вооружённую борьбу с поляками.

Объяснений этому нежданному и непонятному повороту в крымской политике Порты имеется довольно много. Но, следует заметить, что ни одно из них не подтверждено документальными источниками. Наиболее логичным, с непредвзятой точки зрения, представляется вывод (тоже, кстати, ничем не подтверждённый) современного исследователя Л.В. Заборовского. Говоря о двух причинах изменения позиции султанского двора, этот автор утверждает следующее.

Султан Мехмед IV.
Журнал Къасевет, 2010. № 37

Во-первых, согласно общепризнанному мнению, Османской империи, несмотря на её тяжёлое внешнеполитическое положение, не следовало опасаться Польши, которая пока угрожала нанесением удара Турции, лишь если крымцы будут продолжать воевать на стороне восставших казаков. Во-вторых, окружение султана Мехмеда IV было вынуждено считаться с энергичной и независимой политикой хана. Ведь теперь, находясь в союзе с казачеством, он уже вполне мог, противостоять османской армии, которая к тому же буквально раздиралась и собственными, внутренними проблемами (о них говорилось выше).

Изменилась в те же месяцы второй половины 1648 г. и южная политика Москвы. Царь Алексей Михайлович прекращает не оправдавшие себя попытки упрочения связей с Польшей в ущерб крымцам и казакам. Напротив, теперь он устанавливает с Гетманщиной отношения дружеского нейтралитета и даже скрепя сердце признаёт казацко-крымский союз в качестве свершившегося факта, то есть новой политической реальности, с которой приходится считаться (*Заборовский*, 1998. С. 198). Опасность этому союзу грозила с совсем иной стороны. В начале 1649 г. Б. Хмельницкий начинает в Переяславле переговорную кампанию с царскими посланцами, предлагая перейти со всем казачеством «под царскую руку», хотя глубинные противоречия Москвы с Крымским ханством были ему, конечно, известны. Цель этой инициативы гетмана была проста — обеспечить себе максимальную поддержку против Польши извне, со стороны как северного, так и крымского соседей.

Такая политика, считал Б. Хмельницкий, не означала немедленного разрыва с Бахчисараем. И по его призыву в мае-июле 1649 г. крупное крымское войско скапливается на территории Левобережья; туда же приходят и турецкие полки, хотя и в относительно небольшом количестве (6 000 сабель). Здесь крымцы соединяются с казаками, а затем наносят удар по коронной армии, руководимой новым польским королём Яном Казимиром II. В итоге часть поляков под коман-

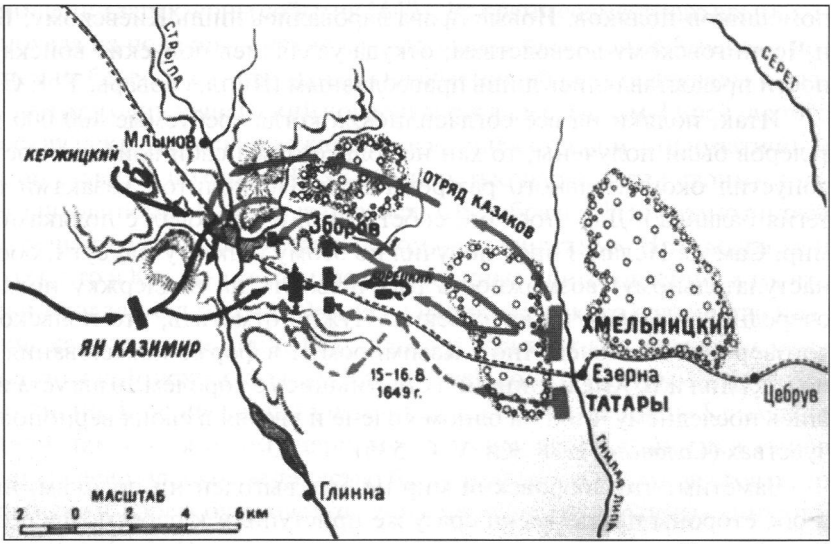


Схема битвы под Зборовом.
Журнал Къасевет, 2010, № 37

дованием князя И. Вишневецкого была наглухо блокирована в Збараже, а под Зборовом коронная армия, во главе которой стоял король, потерпела страшное поражение и остатки её были окружены со всех сторон.

Яну Казимиру II не оставалось ничего иного, кроме переговоров, которые он немедленно начал с Ислам-Гиреем[1]. В результате 17 августа был заключён крымско-польский договор, известный как Зборовский. Согласно первой его части, крымско-польской, король должен был выплатить хану 400 000 талеров контрибуции и возобновить выплату ежегодной дани в размере 90 000 талеров. Кроме того, король обязался немедленно погасить и недоимки по обязательным дарам-поминкам хану, калге и нуреддину. На следующий день завершились и польско-украинские переговоры, в которых хан играл роль посредника или даже арбитра.

Условия второй части Зборовского договора, оформленной 18 августа 1649 г., в отличие от первой, заметно ущемляли права и свободы казачества и украинского крестьянства. Число реестровых казаков определялось в 40 000; все не попавшие в реестры крестьяне возвращались в положение крепостных у прежних

[1] Б. Хмельницкий для этого не подходил, — там же, под Зборовом, он признал свою второстепенную роль как в походе, так и в крымско-казацком политическом союзе. Об этом он по собственной инициативе известил ещё *окружённого* татарами и казаками, почти пленного короля грамотой, в которой верноподданнически заявлял, «что не замышлял мятежа против него, что не из гордости, но вынужденный безмерными бедствиями, угнетённый, лишённый всего имущества отцовского, прибегнул он к ногам великого хана крымского, чтоб при его содействии возвратить милость и благосклонность королевскую; изъявлял готовность уступить свою власть новому гетману, которого незадолго перед этим назначил король, объявив Хмельницкого лишённым булавы за мятеж» (*Соловьёв*, 1988. Кн. V. С. 529–530).

помещиков-поляков. Новые права даровались лишь Киевскому, Брацлавскому и Черниговскому воеводствам, откуда удалялись польские войска, а все должности предоставлялись лишь православным (Дипл. словарь. Т. 1. С. 540–541).

Итак, поляки на всё согласились, а когда требуемые 400 000 полновесных талеров были получены, то хан не только отвёл свои войска к востоку, но и не допустил окончательного разгрома Речи Посполитой казаками (старая стратегия баланса!). Для этого он, собственно, и заключал с поляками сепаратный мир. Сам же Ислам-Гирей получил по этому трактату (по сути, оборонительно-наступательному) возможность рассчитывать на поддержку поляков в случае очередной агрессии на юг русских. Нужно отметить, что польско-украинский договор был заключён Яном Казимиром II в форме пожалования казакам, что подтвердил и Б. Хмельницкий, встретившись с королём 10 августа и представившись последнему, стоя на одном колене и уверяя в своих верноподданнических чувствах (*Соловьёв,* 1988. Кн. V. С. 530).

Заметим, что Зборовский мир не был выгоден ни полякам, ни казачеству, и обе стороны практически сразу же приступили к пересмотру его положений. Так, Речь Посполитая, стремившаяся в своих целях возродить союз с казачеством, пыталась лишить Гетманщину крымскотатарской поддержки, вообще рассорить её с крымцами, якобы испокон века слепо ненавидевшими поляков. Правда, гетман заявил, что его союз с Крымом — «дружеская помощь соседям, которые не имеют намерения в будущем беспокоить королевские земли». С другой стороны, он считал себя вправе требовать от Москвы жёсткого запрещения донским казакам разорять Крым (*Крип'якевич*, 1990. С. 80, 271). Что, кстати, и привело к соответствующему гетманскому «Наказу донским казакам не порушивати миру с Крымом», который был подписан 21 марта 1654 г. и тут же отправлен на Дон (указ. соч. С. 305).

Другими словами, Б. Хмельницкий по-прежнему отстаивал своё право на неформальный искренний и добросовестный союз с нехристианской державой. Другое дело — поиски логичных объяснений этому направлению его политики. И здесь напрашивается вывод о том, что для гетмана Крым стал его единственным в ту пору союзником, столь же искренне готовым поддержать украинское казачество всеми имеющимися средствами (последнее, кстати, подтверждалось делом). Для Крымского ханства союз 1648 г. означал, конечно же, фактический разрыв с Портой. Ничего нового в этом, кстати, не было: в 1620-х гг. такие союзы успешно заключали братья Мехмед-Гирей III и Шагин-Гирей.

Однако, в отличие от них, Ислам-Гирей III опирался в своей политике альянсов на собственное *дворянство*. А это уже означало качественное усиление его союзной политики в отношении Гетманщины, в чём остро нуждался Крым. Столь же насущной была необходимость взаимодействия с татарами и для Б. Хмельницкого. Не имея безопасного тыла на юге, более того, не пользуясь военной поддержкой крымцев, гетман не мог бы проводить те важные политические решения, к которым его понуждала складывавшаяся международная обстановка[1]. В первую очередь сказанное относится к войнам.

[1] Официально цель союза была изложена, естественно, иначе. Однако следует обратить внимание на то, что гетман оправдывал своё сближение с мусульманами задачей

В этом отношении характерны события 1649 г. Во время совместного крымско-украинского похода на поляков донские казаки, явно с поощрения Москвы, подошли к крымским берегам с моря, напали на селения вблизи Балаклавы и разграбили их, захватили один купеческий корабль и так далее. Ислам-Гирей, до того славший в Москву исключительно вежливые, в высшей степени дипломатичные грамоты (так, он ставил в них имя «Божьей милостью царя» перед своим), отозвался гневным посланием: «Что это за мерзость и безобразие?! Не угодно ли тебе быть готовым: решено идти на вас всем народом чингизидским». Но показателен здесь не тот факт, что в Крыму тут же начались военные приготовления, а то, что хана решительно поддержал гетман. Он писал царю: «Царского величества подданные Донские казаки учинили мне беду и досаду великую: как началась у меня с ляхами война, то я к Донским казакам писал, чтобы они... на Крымские улусы войной не ходили; но Донские казаки моего письма не послушали, на Крымские улусы приходили: так я Крымскому царю хочу помочь, чтобы Донских казаков впредь не было... а если царское величество будет за Донских казаков стоять, то я вместе с Крымским царём буду наступать на московские украйны» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. V. С. 532).

Несколько опережая события, скажем, что «донская проблема», вставшая перед Крымом в первой пол. XVII в., в дальнейшем только обострялась. Причём показательно, что если запорожские или украинские казаки в целом искали в крымских набегах только добычу или полон, то донцы в XVII–XIX вв. (т. е. и после аннексии, участвуя в нескольких карательных акциях империи) отличались стремлением вырезать как можно больше крымцев, без различия пола и возраста. И лишь во вторую очередь их интересовал живой товар, да и то лишь самый дорогой — молодые парни и девушки. Вот сообщение московского толмача 1657 г. о типичном походе такого рода: «между Кафы и Керчи донские казаки разоряют и животину емлют, и деревни жгут, и татар, и жон их и детей всех рубят, и животов ничево не емлют, только емлют к себе в струги полон» (цит. по: *Новосельский*, 1994. С. 33).

Но и донскую проблему, в эти годы ставшую необычайно острой, Ислам-Гирею удалось временно решить с помощью Б. Хмельницкого. Гетман заявил донским казакам, что при первом же их разбойном нападении на ханство он выступит против них совместно с крымскими татарами. Этого серьёзного предупреждения оказалось вполне достаточно — лихие донцы тут же присмирели (Османская империя, 1998. С. 203).

После подписания Зборовских договоров Москва стала опасаться новых военных конфликтов, а именно совместного крымско-казачьего противодействия её продвижению на юг. Эта проблема отразилась на ходе состоявшихся в Чигирине переговоров московских посланцев с Б. Хмельницким. Однако гетман заверил русских, что при его тёплых взаимоотношениях с ханом он сумеет на него подействовать и отговорит от выступления против новых московских городков. Впрочем, давая такие обещанияния, использовал момент и предложил Москве

защиты украинского православия: «Тільки ж зараз... настав такий час держати з басурманами братство і єднання. Вони, православни християни, держать з ними (татарами. — *В.В.*) братство для того, щоб святі божі церкви і православну християнску віру від польских та від еретичних рук визволити» (цит. по: *Крип'якевич*,1990. С. 148).

сделать какой-то встречный шаг и, чтобы убедить крымцев в своей незаинтересованности в новых конфликтах, хотя бы запретить донским казакам дальнейшие морские походы на Крым с целью разорения прибрежных селений.

Трудно сказать, было ли известно московским посланцам в Чигирине об уже существовавших у Ислам-Гирея и Б. Хмельницкого планах совместного похода на Дон, но гетман не скрывал от них, что бурная деятельность донских казаков в Причерноморье становится нетерпимой и для украинского казачества (*Заборовский*, 1998. С. 203). Таким образом, гетман в ту пору практически не отделял свои внешнеполитические интересы от крымских, отстаивая их перед лицом Москвы.

Уже в те годы некоторые современники договора 1648 г. (в основном политики, враждебные как Крыму, так и Украине) объявляли этот союз крайне неравноправным, если не кабальным для гетмана по отношению к ханской власти. О том, что и поляков этот трактат не совсем устраивал, умалчивалось. Политическая подоплёка этого измышления вполне ясна. Для раскрытия её сути достаточно обратиться к официальным документам, которые, как известно, гораздо лучше, чем пропагандистские прокламации, свидетельствуют о подлинном уровне крымско-казацких отношений (вспомним, сколько споров шло обычно из-за *единственного* упущенного слова в титуловании высоких переговаривавшихся персон).

Ислам-Гирей между тем обращался к Богдану Хмельницкому как к равному: «Милостивий пане Хмелницкий, мой милостивий пане и приятелю». С другой стороны, в том же примерно году, разговаривая с венецианским послом на Украине, гетман отзывался об Ислам-Гирее как о своём брате и союзнике (*Крип'якевич*, 1990. С. 149). И это действительно были не пустые слова. Так, в 1653 г. Богдан Хмельницкий дал хану своё согласие на постройку стратегически важного опорного пункта — Ислам-Кермена, крепости на Днепре близ современной Каховки. Очевидно, излишне говорить о стратегической важности этого опорного пункта, как и о доверительных отношениях между казаками и крымскими татарами той поры. Ведь отныне гарнизон новой крепости при желании мог перекрыть казацким «чайкам» выход в Чёрное море! Отмечены и имевшие в ту эпоху большое значение символические события — вроде того, что Б. Хмельницкий стал побратимом уже прославленного (пока только в крымском фольклоре) Тогай-бея Ширина.

Таким образом, в оценке перспектив дальнейшего развития событий эти два сильных политика, хан и гетман, стоили друг друга. Тем не менее некоторые инициативы Ислам-Гирея всё же кажутся исследователям более дальновидными и перспективными. Такой была, к примеру, идея Ислам-Гирея III о назревшей необходимости для украинского гетмана заручиться на будущее покровительством Стамбула. Для этого годился формальный союз гетмана с султаном. Планировавшийся альянс не повлёк бы за собой никакого оскорбления христианской вере или суверенитету казаков, в то время как выгода от него была бы огромна. Ведь Ислам-Гирей имел в виду не просто тройственный союз, но новое *федеративное государство*. Смысл его создания хан видел в том, что при сохранении автономии Крыма и Левобережной Украины на них, ставших членами новой союзной державы, не осмелились бы посягать ни поляки, ни русские.

Это был план настолько реальный, что Б. Хмельницкий его одобрил сразу же по ознакомлении. И гетман сделал даже некоторые шаги к его осуществлению, нам,

к сожалению, пока не известные. Но о них говорит следующий факт: в 1650 г. стамбульское правительство прислало ему от имени султана подарки, сопровождавшие обычно принятие под османское покровительство. А именно: саблю, знамя с изображением полумесяца, знак власти (в данном случае — гетманскую булаву) и грамоту, в которой признавалась верховная власть гетмана над Украиной.

Здесь нужно заметить в скобках, что эти знаки отличия и доверия с мусульманской символикой носили личный характер и не означали никакого посягательства на православную веру украинцев. Гетмана они могли оскорбить тем меньше, что он не особенно скрывал свою приверженность исламу. Известно, что Б. Хмельницкий участвовал в совместных намазах с Ислам-Гиреем и даже читал по-арабски Коран, что доступно далеко не всякому природному мусульманину (*Смирнов*, 1887. С. 546–547). Другое дело, что союзно-подданнические переговоры не привели к желанной цели[1], но своей роли они не могли не сыграть, причём прежде всего в крымско-украинских отношениях.

Шесть лет длился союз Ислам-Гирея с Хмельницким, шесть лет крымские татары и украинцы вместе и порознь ходили на Польшу и громили шляхетские владения на Правобережной Украине. Здесь я не упомянул ещё о мае 1648 г., когда казацко-татарское войско одержало знаменитую победу под Жёлтыми Водами. Верный договору, гетман отдал после битвы огромный полон крымцам, а лично хану — племянника коронного гетмана Стефана Потоцкого. Ещё большая добыча ушла в Крым по вышеупомянутому Зборовскому мирному договору, затем гетман согласился с ханом относительно крымскотатарского похода на Молдавию и т. д. И не только богатая добыча от этих походов показала пользу не вражды, а сотрудничества с казаками, но и ослабление, благодаря тому же союзу, одного из двух старинных врагов Крыма и Украины.

Нужно признать, что для Б. Хмельницкого в эти годы поддержка с юга была важна ещё и потому, что Москва никогда не соглашалась оказать ему столь же действенную помощь. Другое дело, что хан тонко чувствовал пределы такого сотрудничества, и, когда в результате союза усиление казаков стало, по его мнению, чрезмерным, он мог оказывать поддержку и Польше. Отсюда сделан правильный вывод о «собственном татарском расчёте», основанном на «политическом равновесии» (*Смирнов*, 1887. С. 555).

Итак, в годы правления Ислам-Гирея III во внешней политике ханства развились две тенденции, которым в будущем было суждено стать решающими в судьбе Крыма.

Во-первых, хан на протяжении длительного (около 10 лет) срока не только уклонялся от указов Стамбула, но и делал это демонстративно, доходя до угроз

[1] Некоторые турецкие историки, впрочем, доказывают, что такое подданство всё же имело место в реальности. Весной 1653 г. послы Б. Хмельницкого прибыли в Стамбул и, сообщив, что казачество уходит в новый поход с ханом, просили у султана барабан и знамя, а также дальнейшего покровительства. Просимое было им пожаловано с официальной грамотой о предоставлении Гетманщине турецких территорий в Молдавии на правах эялета. Кроме того, послы получили, в числе подарков, почётные халаты. Сведения об этом историческом факте имеются и у украинских историков; кроме того, сохранился текст соответствующей султанской грамоты, позднее изданный в Вене (*Смирнов*, 1887. С. 549–550).

Порте, и даже нападал на её провинции — Молдавию, например. Причём здесь можно сделать вывод не об отдельных случаях неповиновения хана Порте. Это было оживление постоянной тенденции, отмеченной и ранее. Малозаметная до правления Гази-Гирея I, она развивается при Мехмед-Гирее и его калге Шагине, и в дальнейшем, как мы видим, не исчезает. Она уподобилась тлеющей искре, пламя от которой вспыхивало не только в XVII, но ещё чаще в XVIII в. Причём тем ярче, чем слабее становилась клонившаяся к закату империя османов[1].

Во-вторых, что важнее, Москва в эти годы полностью прекращает свои агрессивные военные или политические акции и впервые после двухвекового перерыва начинает проявлять явный интерес к мирным и даже союзным отношениям с Крымом. Естественно, эта перемена в южной политике русских объяснялась не какой-то внезапно вспыхнувшей симпатией к мусульманскому соседу или желанием прекратить, наконец, старую и недёшево обходившуюся вражду. Дело было, скорее, в близившейся большой войне с Польшей, для успешности которой Кремлю была просто необходима гарантия безопасности со стороны Крыма.

В этом смысле показательным был тот факт, что при подготовке очередного посольства к хану в Москве было решено: если Гирей такой союз отклонит, то ударить по Крыму русским Астраханским войском, усиленным донским казачеством. То есть третьего было не дано. Москва собиралась воевать или совместно с ханом, или против хана (*Санин*, 1984. С. 47). Золотой середины (более или менее длительного мира с крымскими татарами) русские попросту не могли планировать, явно рассчитывая рано или поздно раздавить ханство всей своей агрессивной мощью. Об этих планах говорили и реальные действия России.

О них будет сказано чуть ниже, а здесь подчеркнём, что предоставление Гетманщиной и Запорожской Сечью «роздыху» Москве в течение периода правления Ислам-Гирея и первых лет после его смерти было проявлением поразительного политического благодушия казаков по отношению к северному соседу. За что вскоре последовала страшная расплата — это история известная. Но совершенно по-иному вели себя крымские татары.

У Ислам-Гирея в эти годы имелся план большой войны с Россией — по старой стратегии помощи слабейшему из двух северных славянских государств. Таким слабейшим всё более явственно становилась Речь Посполитая в результате заметного сближения Москвы и Украинского гетманства в начале 1650-х гг. После того как Ислам-Гирею не удалось помешать этому угрожающему процессу дипломатическим путём, ему не оставалось ничего иного, как искать поддержки в Варшаве (*Санин*, 2001. С. 29–30). Война на сей раз не состоялась по причине смерти хана (2 июля 1654), но для характеристики политики Ислам-Гирея важна сама история активной дипломатической подготовки новой кампании. Хан при-

[1] С крымско-казацким союзом связано ещё одно явление. В годы правления Ислам-Гирея III, да и позже, наукой не выявлено сколько-нибудь значительных набегов на русские пределы ни татар, ни казаков. Причин этому факту, по меньшей мере, две. Во-первых, это чрезвычайная увлечённость хана впервые столь стабильно успешными крымскотатарско-казацкими совместными походами и набегами на Польшу, Молдавию и т. п. Очевидно, именно эти военные действия, а не какие-то особые политические соображения, не позволили хану уделять достаточно внимания московским проблемам. Во-вторых, это временное прекращение московской экспансии.

Крымский посол в Швецию Хаджи-Мустафа
Гравюра из: *Schleder, 1663*

влекал к участию в походе на север не только украинских казаков или поляков, что понятно, но и Швецию[1].

Теперь, летом 1650 г., хан отправил на север, к королеве Кристине, посольство под руководством члена бахчисарайского дивана Хаджи-Мустафы. Посол должен был предложить Швеции союз с Крымом, Украиной и Польшей против Москвы[2]. Для ускорения переговоров Хаджи-Мустафа предложил направить в Бахчисарай посла с полномочием заключать межгосударственные договоры любой важности. Королева склонялась к предложениям крымского владыки, однако всесильный её канцлер Аксель Оксеншерна счёл такое сотрудничество малореальным, хотя и дал крымскотатарским послам отказ в максимально мягкой, уклончивой форме (*Schleder*, 1663. S. 88).

Затем в 1651 г. королева сама взяла на себя инициативу в переговорах с крымским ханом и отправила в Бахчисарай чиновника Государственной канцелярии Иоханнеса Майера с предложением совместного выступления против Москвы. После чего И. Майер развернул в Бахчисарае довольно активную деятельность, но в том же году кому-то в Стокгольме пришла в голову мысль о более перспективном направлении внешней политики, а именно о развитии торговых и иных от-

[1] Опыт общения с этой северной державой имелся. Не касаясь совсем уж древних времён, напомню, что в 1630 г. прибывший в Стокгольм глава крымскотатарской делегации Камбер-ага предложил шведам вспомогательное войско в 40 000 сабель для совместного похода на Польшу и Германию; в том же году эти переговоры продолжил в Бахчисарае швед Бенджамин Барон. Через два года его сопровождало на пути домой ещё одно крымское посольство, пробывшее в Швеции до 1633 г. Следующее посольство из Бахчисарая было принято в Стокгольме в 1637 г.: хан Бахадыр-Гирей I предлагал королеве Кристине помощь «против любых врагов» (*Zettersteen*, 1945. S. 5), хотя не нужно было обладать особым политическим талантом, чтобы догадаться, какой именно общий враг мог быть у крымских татар со шведами.

[2] Копии писем Исмаил-Гирея к Кристине и великого бея Кази-аги к канцлеру А. Оксеншерне имеются в АСПбИИ (Фонд Ш. Опись V–1. №105).

Второй и третий послы хана в Швеции.
Гравюра. *Из: Schleder, 1663*

ношений с Персией, что, по понятной причине, не могло быть осуществлено без благосклонного отношения Москвы[1]. Таким образом, эта инициатива провалилась по вине Швеции. За что ей, между прочим, и пришлось расплачиваться уже через полвека, когда в 1700 г. окрепший (с попустительства северных монархов) царь обрушился без объявления войны на своего благодушного скандинавского соседа.

Это замечание — не образец «лестничного остроумия», проявляющегося, как известно, задним числом. С самого начала 1650-х гг. и на протяжении нескольких ближайших лет буквально всей Европе было ясней ясного, что именно в Бахчисарае, а не в Москве, Варшаве, Стамбуле или Стокгольме, решается судьба всей восточной части континента, «да и более широкой политической жизни» той эпохи (*Заборовский, Захарьина*, 1992. С. 166). Как этот очевидный *для всех* факт просмотрели в Стокгольме — одна из неразгаданных до настоящего времени исторических загадок.

Что же касается Ислам-Гирея, то отказ шведов в поддержке похода на Москву его не обескуражил. Хан стал тогда же активно готовить восстания единоверцев на территории аннексированных Россией Казанского и Хаджи-Тарханского ханств, а также ногайцев Северного Кавказа. Другое дело, что эти планы осуществить не удалось, среди прочего оттого, что не только шведы, но и Б. Хмельницкий не изъявил в этот момент желания ввязываться в войну с Москвой. Поэтому проект хана, поистине сделавшего всё, что он мог, провалился (подр. см.: *Zettersteen*, 1945. S. 84–89; *Возгрин*, 1978. С. 324–325).

[1] *Nyström*, 1937. S. 253–255. Подробные сведения о посольстве И. Майера в Крым имеются в: АСПбИИ. Фонд Ш. Опись V–1. № 35.

Ближайшие годы после этого внешнеполитически крайне напряжённого периода также не принесли ханам заметных успехов. Объективности ради стоит заметить, что положение Крыма было поистине головоломным. Оно требовало от лиц, разрабатывавших в Бахчисарае политические акции, не только огромного напряжения, но и владения аналитическим материалом, попросту информацией о международном положении европейских стран, которой катастрофически не хватало. Ведь по ряду объективных причин Крым не мог иметь своих постоянных представителей ни при европейских дворах, ни в России. Нередко, спасая положение на одном крыле политического фронта, крымские политики обнаруживали, что тем самым они ухудшали положение на другом, и тут ничего нельзя было поделать. Приведу пример из истории войн середины 1650-х гг.

Пришедший после смерти Ислам-Гирея к власти Мехмед IV, какое-то время считавший залогом безопасности от Москвы тесный союз с поляками, пытался помочь Речи Посполитой. В 1655 г. эта держава буквально гибла в одновременной войне со Швецией и Московией: в первый (но не в последний) раз сложилась ситуация, реально способная привести к полному исчезновению этого государства с политической карты мира. Это грозило Крыму лишением последней реальной поддержки с запада, и хан нанёс русским серьёзный удар в ноябре этого года. А затем он отправил посольство в Вену (лето 1656 г.), чтобы помешать воевавшему с Москвой Бранденбургу (будущей Пруссии) заключить с нею мир, к которому немцы уже были готовы.

Второй задачей посольства было склонить Вену к союзу с изнемогавшей Польшей. Одновременно хан вёл переговоры с Данией, предлагая ей все выгоды удара в спину Швеции, чтобы отвлечь эту мощную северную державу от войны на польском театре. Этот план в значительной своей части увенчался успехом. Однако ослабление военно-политической позиции шведов естественно отразилось на её отношениях с Москвой. Русские теперь могли не опасаться своего скандинавского соседа и... отправили войска с северной границы на юг, против тех же крымских татар, которые фактически сделали этот поход возможным!

Под прикрытием упомянутых полков тут же возобновилось масштабное военно-стратегическое строительство на южных окраинах Московии. К северу от Белгородской черты на всём её протяжении снова проводилось интенсивное заселение пустошей, закладывались многочисленные сёла и городки, куда завозили служилых людей, мобилизованных для переселения крестьян, посадских людей. Москва дошла до того, что запрещала своим дворянам-владельцам возвращать осевших там беглых крепостных! Когда же новые земли осваивались экономически, то правительство военизировало их. Масса крестьян обращалась в драгун, которые служили по месту жительства, имея при себе не только личное оружие, но и артиллерию и т. д.

Но государственной, то есть запланированной экспансией дело не ограничивалось. Шёл естественный процесс стихийного, ползучего продвижения русских на юг. Городки и крепостцы обрастали, естественно, сёлами, потом, когда земля истощалась, то русский крестьянин осваивал всё новые пространства в южном направлении, выжигая леса и оставляя за собой истощённые пустоши: «Безусловно, очень скоро поселения перешагнули пределы оборонительных черт» (*Санин*, 1994. С. 152). А за такими появлявшимися всё дальше к югу сёлами шли солдатские

команды и нанятые военной администрацией посадские люди с топорами и пилами: в 1680-х гг. появилась ещё одна новая, Сызранская черта, а к концу XVII в., уже далеко к югу — Камышинская, Петровская крепости и так далее.

Против кого конкретно были обращены новые войсковые приграничные скопления, явствовало даже при взгляде на карту: если до 1654 г. русские границы были настолько удалены от Перекопа, что непосредственной угрозы северной агрессии почти не было, то в результате Переяславской рады[1] рубежи централизованной, экспансивной, значительно превосходящей Крым военной мощью и явно враждебной ему державы придвинулись к северным землям ханства вплотную. Так что и Белогородская черта оказалась за спиной у русских, занявших своими многочисленными, до зубов вооружёнными гарнизонами вначале Киев, а позже Белую Церковь, Умань, Брацлав, Корсунь.

Эта «оборонительная», по определению российских историков, линия стала одним из средств, с помощью которых в середине — второй половине XVII в. активизируется наступательная стратегия борьбы с крымскими татарами. Казалось, Москва всё более полно занимала для Крыма былое место Варшавы, но это лишь на первый взгляд. Польские отряды, охранявшие шляхетские местности и города на Украине, имели чисто заградительную, действительно оборонную функцию. Теперь же, повторяю, на южном направлении начинается экспансия широкого, поистине великодержавного масштаба, невиданного ранее ни по массовости, ни по материальному обеспечению, ни по упорству и длительности.

Как признают российские историки, именно в 1654 г. агрессия Москвы приняла законченные очертания. В этом судьбоносном году «...к северным границам Крыма вплотную придвинулись владения державы, гораздо более жизнеспособной и грозной, нежели властвовавшая прежде на этих землях Речь Посполитая. Сложившаяся ситуация являлась своеобразной подготовкой активного наступления России, завершившегося в XVIII в. ликвидацией Крымского ханства» (*Санин*, 2001. С. 47).

План первого массированного наступления на Крымское ханство был в Москве готов уже в марте 1655 г. Очевидно, к новому походу было решено привлечь и казаков Б. Хмельницкого. Во всяком случае, гетман активно участвовал в его подготовке. Так, в апреле он уже писал в Москву, что калмыки и донские казаки примирились и готовы совместно выступить на Крым, ожидая лишь царского указа. Тогда же князья Ф.Н. Одоевский и В.Б. Волконский были откомандированы в Астрахань, чтобы собрать донских казаков, калмыцкую орду и ратников из южнороссийских городов для нападения на ханские земли. С той же целью Б. Хмельницкий выделял два казацких полка. Утверждают, что и сама идея похо-

[1] Переяславская рада — состоявшееся 8 января 1654 г. в г. Переяславе собрание избранной Б. Хмельницким старшины (историки СССР называли их «представителями украинского народа», хотя такого научного понятия, «украинский народ», в ту пору ещё, кажется, не существовало), принявшее решение о «воссоединении» Левобережной Украины с Московским государством. Именно так трактовала это решение советская историография. Впрочем, она имела предшественников в виде государственной школы царской империи: «В 1654 году козацкий гетман Богдан Хмельницкий, подчиняясь воле украинского народа, угнетаемого поляками, отдался под покровительство единоверного царя Московского Алексея Михайловича» (*Андриевский*, 1892. С. 16).

да на ханство принадлежала гетману, а царь лишь одобрил и принял её, стремясь достичь ранее небывалого — выхода к Чёрному морю (*Санин*, 2001. С. 37)[1].

Итак, Крыму готовилась участь Казани и Хаджи-Тархана. Это было начало неприкрытой агрессии, активное наступление на никогда не принадлежавшие России крымские земли, начавшееся в 1650-х гг. и завершившееся ликвидацией ханства как суверенного государства крымских татар в XVIII в. Начинали сбываться пророческие слова турецкого историка и дипломата Эвлии Челеби о том, что, если русские «на 5–10 лет избавятся от набегов татар, если они, пользуясь благополучием, задумают заняться делами по устройству государства, ни одна держава не сможет противостоять им, и они займут земли всех казаков и поляков» (*Челеби,* 1961. С. 218–219).

Действительно, что касается Малороссии, то в дальнейшем у казачества, да и украинцев в целом, было время одуматься и горько пожалеть о шаге Б. Хмельницкого, положившего начало тотальному лишению населения Украины старых политических и экономических свобод, окончившемуся расширением и полным воцарением здесь крепостного права. На смену редким, а главное, и без постороннего вмешательства подходившим к своему историческому концу набегам крымских татар пришла неволя. Внешняя и внутренняя политика края стала всё более определяться Москвой. А те украинские жители, что не могли забыть старых вольностей и примириться с новой кабалой, зашагали в кандалах: кто на сыск в Москву, кто на сибирские рудники, а кто и сразу на плаху.

Зададим себе вопрос: в чем же была вина или упущение украинских лидеров, почти добровольно поставивших свою страну на этот путь, отказавшись от плодотворного союза с крымскими татарами? Когда-то историки верно учитывали сложное положение Б. Хмельницкого, вынужденного вступить в союз и с ханом, и с царём. Союзы эти не мешали друг другу потому, что находились «в разных плоскостях», утверждал историк М.Н. Покровский, и он был прав, так как альянс гетмана с Москвой был общеполитическим, а с Крымом — чисто военным.

Но именно в этом, в неверной оценке политической опасности Москвы, многократно превосходившей военную угрозу со стороны Крыма, и заключается, по нашему мнению, историческая ошибка Б. Хмельницкого. Гетман явно утратил свой дар перспективного политического видения в отличие от того же Эвлии Челеби и некоторых бахчисарайских современников гетмана, а также и украинских, и донских казаков, добровольно уходивших в эмиграцию по мере того, как казачество лишалось своих исконных свобод и суверенности[2].

---

[1] Этот поход, для которого были собраны столь значительные силы, не состоялся лишь по причине, весьма далёкой от стратегических замыслов врагов Крыма. Юг был летом 1655 г. поражён эпидемией чумы, что сделало задуманное выступление против ханства совершенно невозможным.

[2] В «Расспросных речах атамана М. Лукьянова», записанных в Посольском приказе в декабре 1657 г., этот современник, хорошо знакомый с нравами и обычаями запорожцев, рассказывал, что последние «как увидят неприятельский приход, и они многие изменяют и передаются из Запорожья в Очаков, а с Дону в Азов, и в Азове де черкас умножено и учинен де у них в Азове атаман Бернченок, а из Азова де выходит тот Бернченок по речкам и под государевыми городами, под Волуйскою, и под Новым Осколом, и под Торцом государевым людям чинят многие шкоты...» (Донские дела, 1917. С. 254).

Как известно, конец многолетнему крымско-украинскому культурному, экономическому и политическому сотрудничеству положила упомянутая выше Переяславская рада. Она состоялась 8 января 1654 г., но окончательные условия «воссоединения» Левобережья с Московией можно датировать 31 марта того же года, когда после объезда ряда украинских городов московским посольством была издана царская грамота, известная как «Статьи Богдана Хмельницкого». Согласно этим «Статьям» Левобережью предоставлялась известная автономия. Важнейшим из оставлявшихся гетману полномочий было право внешних сношений. Но были и другие «привилеи»: пока сохранялись некоторые из прежних прав и вольностей казачества, в том числе право вольного избрания гетмана, за гетманом оставлялось чигиринское староство и т. д. (ПСЗ. Т. I. № 118).

Но роковые результаты этого соглашения легко было предугадать ещё в октябре предыдущего года, когда московский Земской собор принял решение о «присоединении» Украины с её народом к Московскому государству. Пресловутая эта акция завершилась весной 1654 г., когда гетман уже через два месяца после рады, прибыв в Москву, поименовал себя и всё население Гетманщины подданными царя. Более того, он «сам просил у него *пожалований*» из старых гетманских (по сути, ему и без того причитавшихся) и бывших польских имений (*Мякотин*, 2006. С. 114).

Теперь, получив все многочисленные формальные атрибуты власти — булаву и прочие *клейноды,* которые ему, скрывая в бородах усмешку, преподнесли кремлёвские бояре, он оказался в весьма недвусмысленном положении. Теперь условия договорённостей диктовала Москва, и *вчерашнему*, по сути, гетману было отказано в том, что было обещано *вчера*. А именно: в нерушимости казацких вольностей, в традиционных (то есть законных) сословных привилегиях, в праве на самостоятельную внешнюю политику и так далее[1]. Собственно, московские обычаи и примеры были одинаково обязательны для всех, кто попадал в политическую воронку Кремля. Позволительно задать вопрос: а чего иного мог ждать от Москвы многоопытный политик Б. Хмельницкий?

После этого эпохального для народа Малороссии сдвига положение Крыма немыслимо усложнялось. Переговоры 1653 г. в Москве с посланцами гетмана велись втайне от хана, войско которого и в этом году помогало Б. Хмельницкому отбиваться от войск польского короля Яна Казимира II, в марте месяце поведшего войска на Украину. Кстати, гетману, обратившемуся в такой беде к ближайшим соседям, отказали все, кроме Гирея. В том числе и православная Москва, способная лишь на чисто формальное предложение Варшаве, чтобы «король и паны рады

[1] Переяславская система, предполагавшая практически автономный статус Левобережной Украины (нечто вроде доминиона), просуществовала лишь 4 года. После смерти Б. Хмельницкого, уже при гетмане И. Выговском, московское правительство в одностороннем порядке окончательно разрушило эту конструкцию. По царским указам от 3 и 4 апреля 1658 г. в украинских городах были учреждены посты русских воевод, командовавших присланными Москвой полками «ратных людей» (Подр. см. в: ПСЗ. Т. I. № 118). А ещё через несколько лет русская православная церковь поглотила издревле автономную Киевскую митрополию. Согласно Второму Переяславскому договору 1654 года отныне полагалось «...Митрополиту Киевскому, также и иным духовным Малые Росии быть под благословением святейшаго Патриарха Московскаго и всеа Росии...» (Приписка 1659 г., там же).

Польский король Ян Казимир II.
Гравюра из Schleder, 1663

(т. е. члены Сейма. — *В.В.*)... междоусобицу [на Украине] успокоили и учинили б мир по Зборовскому договору» (цит. по: *Мякотин*, 2006. С. 106). Да и то, как указывает тот же автор, новая инициатива Кремля была вызвана единственно опасением, что Б. Хмельницкий вполне «созрел» для окончательного ухода под защиту Османской империи (там же).

Итак, помочь гетману соглашался лишь хан. Впрочем, Ислам-Гирей был далеко не легковерен, чувствуя, как меняется политический климат в чигиринской резиденции гетмана. Крымскотатарские послы (эту сложную миссию Бахчисарай традиционно возлагал на поколения дипломатов из бейского рода Сулешей), почти постоянно находившиеся в Москве, исправно сообщали Гирею о том, что готовится за его спиной на протяжении всего 1653 г. Хан, в свою очередь, слал Б. Хмельницкому свои дружеские предупреждения, а потом и протесты против политики гетмана, которая была двусмысленна и к тому же вела в тупик. Он понимал слабость положения Гетманщины, угроза которой со стороны Польши (да и Москвы тоже) снова становилась жёсткой реальностью. Поэтому Ислам-Гирей предлагал всё, что было в его распоряжении, например, укрытие для казаков на своих заперекопских просторах на любой срок, — пока минет московско-польская угроза.

А когда наступил роковой для обоих южных соседей Москвы 1654 г., то хан ещё раз, уже после Переяславского сговора, уже в свой смертный год, предложил казакам порвать с Москвой. Судя по всему, он так и не поверил в окончательность совершенно безумного Переяславля, надеясь на здравый смысл гетмана, способного разорвать явно вынужденный договор с царём, уже двинувшим

Мохаббат-наме (послание) Мехмед-Гирея IV царю Алексею Михайловичу (1654)

в приднепровские городки свои гарнизонные (по сути — оккупационные) стрелецкие контингенты[1].

Это была не лично ханская политика. Весь диван, где далеко не все были единомышленниками Ислам-Гирея, пришел в 1654 г. к выводу, что Крым вряд ли

[1] Корреспонденция хана с гетманом, как видим, и после Переяславской рады носила, по большей части, спокойно-деловой характер. На этом фоне некоторым диссонансом звучит утверждение современного историка о том, что «Известие о воссоединении вызвало в Крымском ханстве бешеную ярость, поскольку опасались, что выскользнет из рук Украина, которую хан надеялся если и не поставить под свой контроль (?), то превратить в постоянный источник обогащения» (*Кривошеев*, 2006. С. 290). К сожалению, автор не указывает, каким образом хан рассчитывал получать доход, да ещё и постоянный, от страны казаков и пока ещё вольного населения из неказачьих сословий. Что же касается какого-то «контроля», то крымцы никогда к нему не стремились, хотя в отдельные периоды имели более реальные, чем во времена Б. Хмельницкого, возможности к этому. Наконец, как можно опасаться, что «из рук выскользнет» вещь, которой в этих руках нет и никогда не было?

сможет помешать в дальнейшем северной угрозе. Конкретно же «усиление России в связи с воссоединением, нарушая выгодное для Крыма *равновесие сил* (курсив мой. — *В.В.*) в Восточной Европе, толкало его к сближению с Речью Посполитой» (*Заборовский,* 1979. С. 268). Переговоры 1654 г. (начавшиеся в Жванце и законченные в Чигирине) крымских татар с поляками, также опасавшимися явного усиления России, завершились пактом о дружбе, ненападении и взаимопомощи Крыма и Польши. В связи со смертью Ислама (10 июля) договор подписал его преемник Мехмед-Гирей IV, ставший ханом вторично (1641–1644; 1654–1666).

3. Мехмед-Гирей IV и И. Выговский

Договор 1654 г. с Речью Посполитой был выгоден крымским татарам, получившим союзника, но ещё более — ослабевшей по ряду причин Польше. Притом немалую надежду на успех сулили и начавшиеся конфликты между украинскими казаками и Москвой, к которым был причастен и сам Б. Хмельницкий (*Соловьёв,* 1988. Кн. V. С. 610). Этот договор был *закономерен.* Началась естественная реакция на резкую перемену равновесия польских и московских сил. Теперь русским пришлось отменить уже готовые планы массированного вторжения в Малую Польшу и Литву в том и в последующих годах (*Мальцев,* 1974. С. 45–48, 56).

И царь, амбициям которого был нанесён столь чувствительный удар, ужесточает свою крымскую политику. Мирные отношения с ханством было решено сменить новой агрессией. Автором этого плана, бесспорно, стал всё тот же вездесущий и многоликий Б. Хмельницкий (См., среди прочего: АЮЗР. Т. XIV. С. 566). После ряда заседаний с русскими посольскими дьяками в марте 1655 г. гетман был принят и понят московскими боярами. Как упоминалось выше, сразу после этого в Астрахань были отправлены князья В. Волконский и Ф. Одоевский. Они должны были собрать из местных калмыков, донских казаков, русских солдат, конных стрельцов, а также служилых людей боеспособные отряды, с которыми и выйти на Крым. Одновременно два полка слал гетман Б. Хмельницкий (*Грушевський,* 1931. Т. IX. С. 1077).

Об этих планах быстро стало известно в Бахчисарае. Мехмед-Гирей, который до этого пытался продолжить дружественную Гетманщине политику своего предшественника[1], правильно оценив её приготовления как реальную угрозу всему

[1] Смысл переговоров нового хана с лидерами украинского казачества понятен из одной лишь строчки, взятой наугад из писем, которые шли из Бахчисарая на Украину (она сохранилась в переводе на украинский): «Відкинте Москву від себе, а з нами у приязні будте» (цит. по: *Крип'якевич,* 1900. С. 316). Этот призыв имел под собой среди прочего и внешнеполитическое обоснование. Именно в 1654 г. Речь Посполитая, проявившая, надо признать, больше здравого смысла, чем чигиринские политики, взялась за создание союза из пяти участников, направленного против московской агрессии, в который должны были войти, кроме Польши, Крым, Турция, Трансильванское и Дунайское княжества. В качестве политического центра создававшейся Лиги реалистично мыслящие поляки прочили, естественно, Крымское ханство, его лидера (*Заборовский, Захарьина,* 1992. С. 169–170). Вообще, о возросшем за последнее десятилетие политическом

ханству, не только стянул к Перекопу воинов из ногайских орд, но и привлёк к делу обороны отряды своих черкесских и кабардинских подданных. В устье Днепра началось спешное возведение двух крепостей, предназначенных главным образом для того, чтобы не выпускать в море запорожские чайки. Соответственно запереть устье Дона готовился и турецкий гарнизон Азова, к тому времени увеличенный до 4 000 чел. Но вторжения не последовало из-за чумы, поразившей, как упоминалось, Астрахань и Украину, но к счастью, минувшей Крымское ханство.

Тем не менее в начале июля 1655 г. несколько десятков чаек и стругов с более чем 2000 запорожских и донских казаков на борту прорвалось в Азовское, затем Чёрное море, после чего началась очередная резня мирного населения и ограбление деревень на азовском и черноморском побережьях полуострова. Ханская армия не могла покинуть Перекоп, опасаясь главного вторжения оттуда, а посылаемые Мехмедом на побережье мелкие отряды не могли надёжно защитить десятки сёл, растянувшихся вдоль моря на несколько сотен километров. Кефе и Керчь выдержали казацкую осаду, но пали Тамань и Судак — с понятными последствиями для горожан. Этим страшным летом прибрежные деревни опустели: люди уходили в горы, угоняли скот, не дожидаясь появления казацких чаек. Но оставленные крымскотатарские селения разорялись и выжигались до сентября включительно, когда осенние штормы прекратили это всенародное бедствие (*Санин*, 1987. С. 159–160).

Наиболее удобным местом, где хан мог взять какой-то реванш за разорения, насилия и убийства того лета, был бы, прежде всего, удар по русско-украинской армии, блокировавшей Львов: она неминуемо оказалась бы между двух огней. Неожиданно появившееся в октябре того же года со стороны Аккермана и Дрогобыча крымское войско яростно ударило осаждавшим в спину, после чего воспрянули духом и поляки. Другие крымские отряды пошли на Киев, Ингул, Белую Церковь, Каменку. Всего в эту кампанию действовало около 100 000 крымских и ногайских воинов. За летние пожары и разорение Крыма ханское войско расплачивалось крупной монетой. Не было пощады даже тем московским и казацким отрядам, что спешно, стараясь избегать столкновений с крымцами, стали возвращаться домой после снятия блокады Львова (*Грушевський*, 1931. Т. IX. С. 1140).

Для увеличения подвижности войска, которому, как оказалось, противостоит столь грозный противник, гетман и его московские коллеги решили отправить соединённый московско-украинский обоз в тыл действующей армии. Но под Заложицами эти телеги были отбиты крымскотатарским войском. При этом в плен попал и отряд Ивана Бутурлина. После чего захваченный обоз под надёжной охраной медленно двинулся к Перекопу, а хан с основным войском, не дав противнику опомниться от такой обидной утраты, настиг его у одной из переправ на пути к г. Тарнополю, близ деревни Озерной.

весе Крымского ханства было известно не только в Восточной, но и в Северной Европе, где бывали дипломаты Мехмед-Гирея. Не случайно Фредерик III Датский поздравлял (хоть и с понятным опозданием) далёкого крымского хана с его восхождением на престол (*Фаизов*, 2003. С. 68).

Здесь 10 ноября 1655 г., воспользовавшись тем, что войско противника находится по разные стороны водной преграды, крымскотатарская конница ударила одновременно с нескольких сторон. Бой длился чуть ли не сутки, в нём был смертельно ранен русский главнокомандующий В. Бутурлин. После этого хан получил предложение о кратком перемирии и согласился отвести своих конников, разменявшись пленными (к тому времени у хана набрался полон, ставший по своему количеству обременительным). Бой под Озёрной, хоть и не приведший к крупным потерям в украинско-московском войске, решил судьбу кампании: захваченный крымцами обоз более никто не преследовал, а Гирей с войском мог спокойно уйти в Молдавию и Очаков, не опасаясь удара в спину.

На следующий год, отчасти надеясь на хотя бы краткое соблюдение противником условий перемирия, Мехмед-Гирей IV своего войска за Перекоп не посылал. Вместо этого он предпринял некоторые дипломатические шаги. В мае 1656 г. хан направил своего посланника Мехмеда Али-мирзу в Кёнигсберг, к курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму с целью привлечь его на сторону Польши. Попытка эта была тщетной, но удалась вторая, осуществление которой хан поручил другому своему посланнику, Мейдану Гази-аге[1], отправленному в Австрию. Он был принят ранней весной 1655 г. в Вене, где передал императору предложение своего повелителя выступить посредником на стороне Польши. Нужно сказать, что поддержка Польши была и в интересах Фридриха III[2], что значительно облегчало задачу Мейдана Гази-аги.

Однако выступили донские казаки, кажется, даже без санкции Москвы, на этот раз на Азов. Крепость была в июне 1656 г. блокирована с суши и моря, казаки несколько раз бросались на штурм, но безрезультатно. Понеся огромные, как бывает в таких ситуациях, потери, они должны были осаду снять. Показательно, что впоследствии, оправдываясь перед Москвой за своевольство, незадачливые донцы уверяли бояр, что это была их «служба царскому величеству», что нужно было нанести упреждающий удар по крымцам, якобы уже получившим

[1] Ханский дипломат был знаком с обычаями и ведущими политиками двора Священной Римской империи германской нации: он был здесь не в первый и не в последний раз. Ранее он посетил Вену в том же ранге в начале весны 1655 г., затем прибыл сюда в июне того же года и впоследствии, на исходе первой Северной войны (1655–1660 гг.), в мае 1660 г. (*Ivanics*, 2008. S. 122. Anm. 6).

[2] Первым из таких факторов стало казацкое восстание; вторым — то, что с 1654 г. Карл X Густав Шведский готовил войну с Польшей, а в 1655 г. ее начал. Это было неизбежно в его борьбе за господство на Балтийском море. На стороне шведов выступила Москва (см. ниже), а также курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм, находившийся в ленном подчинении польскому королю и стремившийся от этого положения избавиться. В 1655 г. шведские войска захватили большую часть Польши и Литвы, включая Варшаву и Краков. Основная часть польских дворян «не стала сопротивляться шведам, считая их менее страшными врагами, чем московиты и казаки» (История Швеции, 1974. С. 202). Что, заметим, было вполне естественным, так как ни один из западноевропейских захватчиков не был сравним с восточными. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать хотя бы одну из заключительных глав «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя о насилиях казаков над мирными жителями Польши. О военных преступлениях российских солдат и наёмников азиатских и иных иррегулярных войск вообще умолчу.

от азовского коменданта Шабан-бея некий план, по которому хан «к нынешней зиме готов был с крымской ратью, и шёл бы на Дон... по первому осеннему льду, когда Дон станет» (Донские дела, 1917. С. 154–155). Как бы то ни было, но в ответ на это нападение небольшое крымскотатарское войско поднялось до Царёва-Борисова и Тамбова, кое-что там было разрушено, но больше никаких особенных мер, способных ослабить или предупредить возможную в будущем экспансию, предпринято в этом году не было.

Между тем крымскотатарские дипломаты невозмутимо продолжали свою деятельность в Европе, где слава ханского войска обновилась именно в этом году[1]. И их усилия увенчались успехом в конце 1656 г. , когда был заключён польско-крымско-австрийский союз. Согласно его условиям, в политическую игру предполагалось включить и Швецию, которая, в свою очередь, пыталась привлечь к себе новых союзников ввиду того, что Россия вышла из совместной войны с Польшей. Более того, царь Алексей Михайлович заключил союз с польским королём Яном Казимиром II, а затем начал ничем не спровоцированный захват шведских владений в Прибалтике[2]. Таким сторонником новосозданного союза (члены которого, кстати, никак не могли поладить друг с другом) стал трансильванский князь Георг (Дьердь) II Ракоци. А к нему тут же присоединились украинские казаки, недовольные Москвой, уже вовсю урезавшей их автономные права. В апреле 1657 г. войска Швеции, самой активной из членов союза, взяли Краков, куда вошли и трансильванцы. Заметим, что это были не крымские татары, которые были этой весной куда больше озабочены внутренним своим положением.

Для Крыма этот год начался неудачно. Не удалось предотвратить массовый падёж лошадей и другого скота: зима на полуострове была необычно суровой и снежной, да и неурожай предыдущего года сказался на жестокой бескормице. Затем, ещё до первых весенних дней, из-за Перекопа поползли какие-то слухи о готовящемся разгроме всего ханства «московами», слухи неясные, но такого грозно-убедительного свойства, что в них как-то сразу все поверили. И, по словам русских дипломатов в Бахчисарае, даже ханские подданные на Кубани стали прорицать страшные вещи: «что им (т. е. крымским татарам. — *В.В.*) быть в своей вере и владеть Крымом немного, лет семь или восемь, а то будет всё православ-

---

[1] В ходе первой Северной войны крымскотатарские конники были посланы в Польшу, где сражались под командованием полковника В. Гонсевского. Забегая несколько вперёд, скажем, что в 1656 г. это соединённое польско-татарское войско овладело южной частью Бранденбурга и разорило его. Впоследствии, уже в 1657 г., те же конники смешанного состава захватили датскую землю Шлезвиг-Голштейн, а в 1658 г., когда бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм выступил против Швеции, он пригласил на свою службу и крымских воинов, которыми к тому времени командовал фельдмаршал польской армии Стефан Чарнецкий. Затем, уже в сентябре 1659 г., эти испытанные в европейских войнах кавалеристы влились в элитные драгунские полки упомянутого Фридриха Вильгельма (*Opitz E.* Österreich und Brandenburg im Schwedisch-Polnisvhen Krieg 1655–1660 // Militärgeschichtliche Studien. Bd. 10. Boppard-am-Rhein, 1969. S. 127–128. См. также: *Ivanics*, 2008. S. 124).

[2] В июле 1656 г. был взят приморский торговый город Дюнебург, где русские «вырубили всех людей» и, по старому обычаю, дали ему православное имя Борисоглебск (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 633). Затем был осаждён крупнейший в балтийском регионе город Рига. Взять её не удалось, а вот Дерпт (Тарту) сдался на милость победителей.

ная вера». И далее: «Сказывали волхвы их, абызы, что де идёт крымскому юрту кончина, и немного де быть им на крымском юрте» (Цит. по: *Санин*, 1984. С. 189, 193). Подтверждаться упомянутые слухи начали также ещё до наступления весны: по последнему зимнему пути на заперекопских ногайцев пришли казаки, разорили многие улусы, увели множество скота и полону.

Тем временем из Стамбула, где с прошлого 1656 г. пост великого визиря уже занял талантливый политик Ахмед Кёпрюлю, был прислан фирман: идти всем ханским войском на выручку Польше. Эта страна подверглась тройному удару: украинских казаков полковника Ждановича, шведов а также молдаван, венгров и волохов. К тому же ленник султана, князь Трансильванский Дьердь II Ракоци, стремившийся освободиться от султанской власти, делал всё, что было в его силах, чтобы получить польскую корону. В мае крымскотатарское войско уже стояло у Днепровских переправ, туда же подошли турки. Но перейти на правый берег не удавалось, этому мешало загодя приведённое туда казацкое войско. Начались бои. Форсировавший реку 10-тысячный отряд Ширин-бея Кель-Мамета оказался в окружении, его нужно было выручать, но в этот момент Порта отозвала все свои полки домой. Из Крыма же пришло известие о казацком вторжении в приморские земли полуострова.

Мехмед-Гирей IV какое-то время колебался, не вернуться ли домой, где под началом оставшегося за наместника Муртаза-аги оставалось всего 20 000 пожилых либо бесконных воинов. Просили султана Мехмеда IV о помощи, но пока гонцы скакали в Стамбул и обратно, отряд Ширин-бея был наголову разбит и почти полностью уничтожен — силы за Днепром были слишком неравны. Всё же основное войско (около 60 000 сабель) за реку переправилось и в битве полностьб уничтожило войско Ракоци. Но к тому времени в междуречье Днепра и Днестра скопилось столько казаков, что могла повториться трагедия с отрядом ширинского бея Кель-Мемета. Дошло до того, что хан просил помощи из Крыма, откуда Муртаза-ага писал, что ко всем угрозам добавилась новая: собранный в прошлом году и ещё нераспроданный полон из нескольких десятков тысяч человек грозит восстанием.

В конце июня 1657 г. на Крым с моря напали донские казаки под водительством атамана Корнея Черкеса. Они пришли к побережью между Керчью и Кефе на 33 вместительных стругах, числом более 2 000 чел. и разграбили приморские деревни. Затем, не встречая серьёзного сопротивления, высадились на юго-западном берегу, поднялись вглубь полуострова по Альме и Булганаку, сожгли там несколько десятков деревень, убивая при этом попадавшихся в их руки крестьян, их жён и детей. Было совершено нападение и на Инкерман, также было сожжено 10 деревень под Гёзлёвом, а сам город осаждён, хоть и безуспешно. Нападавшим удалось, кроме того, почти полностью разрушить Балаклаву, а когда струги наконец ушли в море (начало августа), то они увозили не только награбленное добро, но и около 600 человек пленных крымских татар (Донские дела, 1917. С. 245–246).

С другой стороны запорожцы приступили к самому Перекопу, оберегаемому калгой Кази-Гиреем, и осадили Ор-Капы, стремясь прорваться в Крым с севера. Мехмед-Гирей IV, чьё основное войско тем временем подошло к Очакову, был вынужден отправить половину людей к Перекопу: ещё в конце июля Кази-Гирей

Алексей Михайлович.
Гравюра XVII в.

сообщал оттуда, что к бродившим в приперекопской степи трём сотням запорожцев идёт ещё 8 000 казаков (возможно, это было преувеличенным слухом, но здесь рисковать уже было нельзя). Оставшаяся часть войска нанесла решительное поражение венграм под Межибожем, и к 26 августа 1657 г. также вернулась домой. В результате казаки не осмелились на штурм Ор-Капы, и Крым на тот год от угрозы разорения был вроде бы избавлен.

Но вот уже на исходе 1657 г., в то время как в Бахчисарае послы Москвы вели переговоры о новом титуловании царя Алексея Михайловича и продлении мирных отношений, к Перекопу снова стали подходить украинские казаки, так что сам хан с небольшим войском должен был выезжать в степи для укрепления обороны полуострова. Когда же начались русско-польские военные действия (в том же году, но уже после смерти Б. Хмельницкого), и на помощь Речи Посполитой выступили крымские татары, то им пришлось далеко огибать земли казацких полков, чтобы не подвергнуться нападению.

Тогда же казаками был избран новый гетман, И.Е. Выговский (1657–1659). Он сразу и открыто обозначил свою последовательно независимую от Москвы политику. По его заявлению, сделанному вполне публично, «московский государь посылает в черкасские города воевод, а он, гетман, под началом у [русских] воевод быть не хочет» (*Соловьёв*, 1988. Кн. VI. С. 14). Позже он и в самом деле железной рукой подавил поддерживаемую русскими мятежную промосковскую оппозицию (её возглавляли полковник Полтавского полка М. Пушкарь и кошевой Я. Барабаш, мечтавшие стать московскими воеводами в украинских городах). При этом гетман заручился поддержкой султана, а хана просил направить для подавления мятежа сильное крымское войско. Позже, когда послы гетмана заявили в Крыму, что «новый гетман откладывается от царя московского, то хан не знал, верить или не верить такой радости...» Затем гетман предложил союз, по условиям которого Гирей шёл бы «вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалованье и наущает их на него» (там же).

Гетман И.Е. Выговский.
Къасевет, 2010, № 37

На следующий, 1658 г. Мехмед-Гирей прислал в помощь гетману около 40 000 конников, которые совместно с казаками ходили на мятежников-казаков, поддавшихся московской пропаганде, а также на пограничные русские крепости[1]. Казаки и крымцы подавили антигетманский мятеж (битва в июне 1668 г. близ Полтавы) и нанесли значительные повреждения российским крепостям. В ответ Москва ввела в украинские степи огромную армию, предназначенную для разгрома не столько крымскотатарского войска, сколько казаков-самостийников И. Выговского. Началась русско-украинская война 1658–1659 гг.

Подавление казацкой силы оказалось не такой уж лёгкой задачей: Малороссия велика, к тому же часть казаков, опасаясь московских репрессий, попросила убежища в ханстве, найдя его, в частности, за крепостными стенами Азова. Оттуда они отправлялись совместно с крымцами на север, чтобы разорять новые русские укреплённые городки и беспокоить сёла и хутора «государевых» переселенцев, кормивших эти города-крепости (Донские дела, 1917. С. 254). В том же 1658 г. казаки («черкасы, не признававшие власти Алексея Михайловича»), крымские татары и ногайцы совершили набег на русские земли, достигнув г. Ельца, откуда увели, правда, всего лишь 17 человек полону (*Ляпин*, 2007. С. 38–39).

[1] В то же время хан в дипломатической корреспонденции с Москвой считал своим долгом умерять потуги Алексея Михайловича к искусственному завышению своей политической значимости хотя бы в официальном титуловании. В грамоте (*мохаббат-наме*) от 23 мая 1658 г. Мехмед-Гирей спрашивал царя, неожиданно ставшего «восточной и западной и северной страны отчич и дедич, наследником и облаадателем», не учинился ли он «выше своих предков»? А в другой грамоте логично замечал по этому поводу: «Где Москва, где восток и где запад? Между востоку и западу мало ли великих государей и государств?» (цит по: *Фаизов*, 2003. С. 75–76). Вообще на протяжении 1650-х гг. этот хан считал нужным выдерживать свои мохаббат-наме к царю «в директивном тоне» и «подчёркнуто жёсткой стилистике», касалось ли это требований увеличить дань Крыму или упомянутых призывов держать царскую титулатуру в пристойных рамках (указ. соч. С. 75–79).

Ещё через год И.Е. Выговский, убедившись в том, что царь готовит карательный поход на Украину, направил в Крым делегацию с предложением заключить, ввиду новой опасности, грозившей с севера, военный союз. После того как посланцы гетмана прибыли в Бахчисарай, где имели длительную беседу с ханом, Гирей направил Алексею Михайловичу, так сказать, последнее предупреждение перед большой войной, датированное 1068 г. месяца рамазана в полнолуние (23 мая 1658 г.). Это была, по сути, развёрнутая политическая программа, в которой хан декларировал и свою внешнюю позицию. Поэтому имеет смысл привести здесь бóльшую часть, изложенного в этом документе. В нём, среди прочего, говорилось:

«7. Отцы и деды Ваши до последних Времён жили в согласии с Крымским Царством, предки Ваши как достойно себя вели и не допускали таких неподобающих действий.

8. Вы что же, выше предков своих себя ставите. Разве не знаем мы, что отцы Ваши, довольствуясь Московским Царством, писали послания пребывающим в соседстве падишахам, сообразуясь с этим.

9. А Вы притязаете быть выше их, пишете себя не только падишахом Запада и Востока,

10. но и днепровским казакам написали в письме: «Если не послушаете моего слова, не признаете себя в холопстве, то виновны будете, и кто... станет далее польским королём, узнаете...»

11. С письмом Мы ознакомлены.

12. Те днепровские казаки есть отдельное государство. Отказались оставаться в подданстве у польского короля... как тысячу лет было.

13. Хотя казаки они, никому себя не доверяют, имеют стремление самим своё государство держать.

14. О казаках Вы так и пишите, а Польское государство, как и Ваше, давнее и великое царство есть.

15. Вы Московское царство считаете недостаточным для себя, хотите подчинить Польское государство.

16. Когда говорите: «Разживусь Польской землёй», — это вне всякого приличия.

17. Вы наш давний друг и брат и Мы написали Вам в силу того, что Вы известили Нас о таких неприличных делах.

18. Таким неприличным делам не будет одобрения ни от дома Османова, ни от кого-либо из королей Вашего вероисповедания, и Мы не согласны.

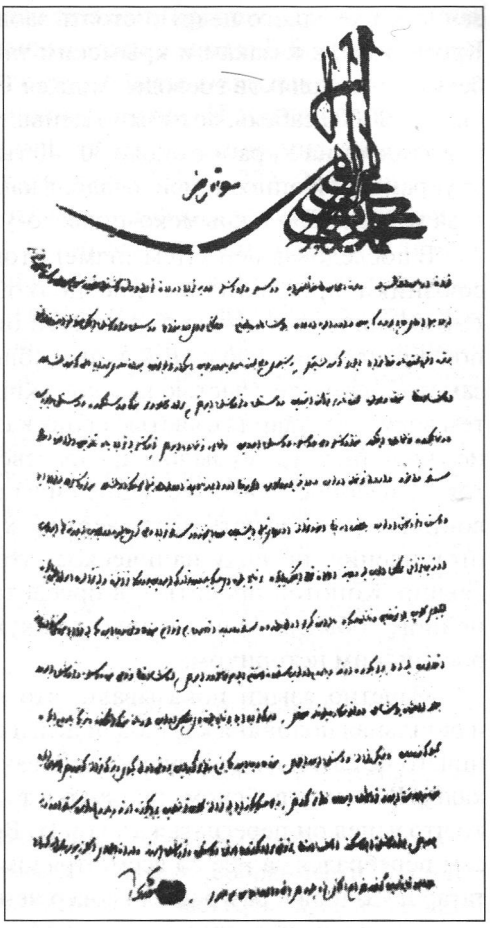
19. Если, не довольствуясь Московией, возжелали Вы также Польского царства, то не убедили в своей правде мусульманских падишахов и всех христианских королей, против себя...

20. Удовлетворитесь своим государством.

21. Не удовлетворяясь таким великим царством, как Московское, которым удовлетворялись Ваши отцы и деды...

22. Тот выбор, который к миру не ведёт, может стать причиной разрушения взаимного мира, существовавшего с незапамятных времён до сих пор в Наших отношениях.

23. Это решительное письмо Наше является увещеванием. Выслушайте как следует и отставьте такие неприличные дела.



Письмо Мехмет-Гирея IV королю Дании Фредерику III

24. Ежели же не отставите, будете в заблуждении упорствовать, у всего мира вызовете вражду против Вас...» (цит по: *Фаизов*, 2003. С.142).

Это вежливое, обоснованное предупреждение не оказало на Москву никакого воздействия. Там уже полным ходом шла подготовка выступления в южном направлении войска под командованием боярина А.Н. Трубецкого. Когда известие об этом дошло до Бахчисарая, сомнений в необходимости заключения очередного союза с казацким гетманом не оставалось, и он был подписан. При этом, как будет видно из дальнейшего материала, хан оставил за собой в новом альянсе главенствующее положение. Впрочем, через два дня после подписания грамоты в Москву хан отправил ещё одно послание, в Копенгаген, надеясь получить поддержку короля Фредерика III.

В начале лета 1659 г. на помощь гетману подошло уже 60 000 (по другим сведениям — 30 000) крымскотатарского войска, причём во главе с самим Мехмед-Гиреем. После соединения гетманских и ханских отрядов И.Е. Выговский присягнул хану, как некогда Б. Хмельницкий, в том, чтобы «...ему со всеми черкасы (т. е. украинскими казаками. — *В.В.*) быть у него в подданстве и в соединении

вечно и на всякого недруга стоять заодно» (Цит. по: *Новосельский,* 1994. С. 65). Кроме того, к казакам и крымским татарам присоединился крупный (3 800 сабель) отряд поляков воеводы Анджея Потоцкого. Союзное войско насчитывало около 100 000 сабель, возможно меньше (около 60 000), а русских к тому времени накопилось на Украине около 30–40 тысяч человек. Эта рать, наскучив гоняться за украинской оппозицией, осадила какую-то часть её в Конотопе. В конце июня туда же подошло и крымско-польско-украинское войско.

В последовавшей затем знаменитой Конотопской битве 27–28 июня 1659 г. союзники проявили немалое полководческое искусство. Войско Мехмед-Гирея, пришедшее к месту будущей битвы 27 июня вместе с И.Е. Выговским, подобралось на следующий день к обширному лагерю русских совершенно незаметно и вместе с частью казаков укрылось за р. Сосновкой, а И.Е. Выговский тем временем ударил с частью своих казаков на «москалей». Удар был настолько неожиданным (дело было в предрассветной темноте), что гетман сумел, несмотря на несопоставимо меньшие силы его отряда, перебить множество русских воинов и даже угнать часть верховых лошадей. Затем И.Е. Выговский начал отступление, по виду паническое, что соблазнило значительную часть осаждавших Конотоп броситься в преследование, чтобы хоть коней отбить. Дальнейшие события 29 июня ярко и документально точно изложены знаменитым российским историком:

«Тщетно языки показывали, что впереди много неприятельского войска, и остальная половина казаков, и целая орда с ханом и калгою: передовой воевода ничего не слушал и шёл вперёд. „Давайте мне ханишку! — кричал он. — Давайте калгу! Всех их с войском, таких-то и таких-то... вырубим и выпленим!“ Но только что успел он перегнать казаков И. Выговского за болотную речку Сосновку и сам перебрался за неё со всем отрядом, как выступили многочисленные толпы татар и казаков и разгромили совершенно Москву... Цвет московской конницы, совершившей счастливые походы 54 и 55 годов, сгиб в один день, пленных досталось победителям тысяч пять...» (*Соловьёв*, 1988. Кн. VI. С. 49–50).

По украинским источникам, при этом только убитыми пало более 3 000 человек московского войска, множество скончалось позже от ран, в полон попало, как и по русским данным, 5 000 (*Костомаров*, 1903. С. 384). Согласно же казацкому источнику, «Летописи Самовидца», русские потеряли в битве, а затем паническом бегстве к Путивлю, уже после разгрома, до 30 000 человек.

Конотопская битва стала одним из крупнейших военных поражений Москвы с начала XVII в. Более того, «никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения, и ужас напал на Москву... царствующий град затрепетал за собственную безопасность: в августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы по укреплению Москвы; окрестные жители с пожитками наполняли Москву...» (*Соловьёв*, 1988. Там же).

Между тем Мехмед-Гирей вернулся к Конотопу, но застал там лишь лагерь, брошенный бежавшими в панике из-под городских стен русскими. Хан развил достигнутый успех, продолжив разорение московских приграничных крепостей и выжигание пригородных деревень. А через год, 4 октября 1660 г., соединённое

польско-крымскотатарское войско[1] одержало ещё одну блестящую победу — под Чудновом, на сей раз над войском под командованием боярина В.Б. Шереметева.

Вначале союзники отрезали русских от окружающего мира, так чтобы они не могли получить более никакой поддержки или известий. И это вполне удалось: шедший к ним с севера для усиления корпус был разбит Адиль-мирзой с ногайской конницей ещё на дальних подступах (*Челеби*, 1961. С. 222–223). Во время атаки на лагерь В.Б. Шереметева по обозу и самому русскому войску было выпущено огромное количество горящих стрел, которые не только поджигали телеги и курени, но и вонзались в лошадей. Кони стали носиться по лагерю и передавили немало солдат (ук соч. С. 224). Только в этой битве пало 3 000 убитыми, что вместе с жертвами полевых стычек составило почти 5 000 лишь русских, а предводитель их В.Б. Шереметьев был взят в плен и отправлен в Крым, и с ним ещё масса полоняников (*Соловьёв*. Указ. соч. С. 84–86, 88; *Новосельский*, 1994. С. 71).

После этого Ю.Б. Хмельницкий (украинский гетман, поставленный незадолго до этого царём вместо лишённого булавы «изменника» И.В. Выговского), отложился от Москвы, присягнув королю Польши. Когда эти вести достигли столицы русских, реакция была соответствующей. Если годом раньше в такой же ситуации здесь ждали осады ханской, то теперь царь со своим двором готовились бежать в Нижний Новгород: опасность бунта, вызванного такими результатами политики Кремля, единственно виновного в повторявшихся народных трагедиях, стала реальной. Действительно, было от чего ожесточиться. Мало того, что кремлёвская бездарность вызвала столь массовые жертвы, но они оказались напрасными: на Украине более не существовало русского войска.

Таковы были последствия Конотопской и Чудновской битв, в которых едва ли не главную роль сыграли конники Мехмед-Гирея.

Но военные походы конца 1650-х (не путать их с набегами) были последними, совершёнными столь крупными силами, едва ли не всеми, собранными на полуострове. Хотя периодически казакам оказывалась поддержка Крыма, да и полякам хан помогал в их войнах с Москвой. Теперь все силы ханства были отданы единственно обороне Крыма, и даже зная, что в некоторых русских городках томятся крымские пленные, освобождать их татары не торопились (*Ляпин*, 2007. С. 40).

Очевидно, произошел и некий перелом в этнопсихологии крымцев. Безусловно, они оставались людьми воинственными — этого требовала окружавшая ханство среда. Но, как отмечает современный исследователь, «это [была] уже и не воинственность в первородном своём виде, ибо [отныне] она исключает стремление захватывать, завоёвывать, вторгаться, нападать ради подчинения и т. п. В основе „оборонной воинственности“ — миролюбие и справедливость» (*Серебрянников*, 2002. С. 26). Этот переворот в сознании жителей Крыма не остался незамеченным соседями, в том числе и русскими. Неоднократно упоминавшийся историк XVII в. А.И. Лызлов отметил несколько позже: «...татары ныне уже

[1] Эвлия Челеби, бывший непосредственным свидетелем эти событий, преувеличивает число этого войска (200 000 чел. и 800 000–900 000 лошадей), что для него не редкость. Однако его описание этой воинской силы, безусловно, интересно: огромное скопление людей и коней «волновалось, подобно бушевавшему Индийскому океану. И когда люди сели в сёдла, море людей перекатывалось волнами и было подобно глубокой бездне, а пыль вздымалась к трём небесным сферам» (*Челеби*, 1961. С. 215).

немало сих грубых обычаев оставляющи, человечнейши обретаются, к трудам и нуждам неизреченно терпеливы суть» (*Лызлов*, 1990. С. 126.). В истории Крыма отошёл в прошлое один из самых своеобразных её периодов.

Отныне ханы ограничивались почти исключительно дипломатическими протестами против явной экспансии русской стороны (что, конечно, не исключало вооружённых пограничных инцидентов или мелких набегов, по большей части ответных). Справедливо замечено русским учёным, что былую воинственность сменила мирная «политика сохранения международного равновесия, принятая Ислам-Гиреем [III, которая] продолжалась теперь и его преемником» (*Смирнов,* 1887. С. 566). Чем дальше, тем менее склонен был Мехмед-Гирей к набегам, пытаясь решать спорные вопросы с соседними странами, будь то Москва или Польша, посредством переговоров. Причины этих перемен в духовном складе и политических настроениях хана определить нелегко, не исключено, что они объяснялись возросшей религиозностью Мехмеда, его увлечением суфизмом (на склоне жизненного пути его называли Сафу (то есть Суфий) Мехмед Гирей), а также поэзией.

Всё больше времени у хана занимало храмовое и общественное строительство, а также стихосложение. Как поэт он был известен читающей публике под псевдонимом *Кямиль*. А из построенных им зданий известны бахчисарайское текие ордена мевлеви, а также городская баня, отнесённая им в состав вакуфной недвижимости: на доходы, которая она приносила, следовало устраивать молебны по душам ханов, оставивших этот мир. Возможно, именно эта склонность к мирным занятиям повлекла за собой некоторое охлаждение между крымскими татарами и казаками, по-прежнему настроенными непримиримо по отношению к полякам (подробнее об этом можно прочесть в специальной работе: *Галактионов*, 1979. С. 383).

Не вдохновляли крымцев на новые подвиги и отношения с Портой. В то время как Мехмед-Гирей бил русских под Чудновом, очаковский паша Юсуф по приказу из Стамбула не только выставил крымских татар из Аккермана и прилегавшей области, но и угнал множество овечьих отар и стада крупного рогатого скота местных жителей-крымцев[1].

Для того, чтобы влить живую кровь в этот сухой рассказ о событиях тех драматических лет, стоит, может быть, обратиться к одной человеческой судьбе. Это судьба иностранца, тесно сплетённая с историей Крымского ханства, хотя и не на долгий срок. Упомянутый выше захват Кракова шведами бросил мирного литовского столяра Павла (фамилия его осталась неизвестной, но он, судя по имени, не был литовским татарином) в гущу военных и политических событий. Он стал наёмным солдатом шведской армии, затем дезертировал из неё, оказался среди запорожцев и после многих злосчастий повстречался с крымскими татарами, отдельные отряды которых принимали участие в военных действиях на землях Восточной Европы.

---

[1] Между прочим, когда весть об этом вероломном поступке дошла до хана, тот не утаил справедливой обиды перед своим турецким другом, бывшим в то время его гостем: «О, мой Эвлия! Видел ты, какое насилие учинили над нами эти подлые османы! [И это] в то время, как мы... рубили мечами кяфиров... чтобы падишах и все живые существа в Стамбуле и на берегах Чёрного моря были свободны!» (*Челеби*, 1961. С. 237).

Небогатый человек, Павел согласился за определённое вознаграждение стать их шпионом в Османской империи, оказавшись, таким образом, одним из агентов разведывательной службы ханства. В те годы ею руководил некий германский полковник на ханской службе, известный нам не по фамилии, а лишь по кличке — *Лысый*. В его распоряжении было 700 хорошо вооружённых немецких панцирников-кирасир, также входивших в ханскую армию. В преддверии грядущих военных событий, к которым готовилась Порта, этот полковник создал настоящую разведывательную сеть в османской империи и других странах, в которую был включён и Павел, или *Казак*, как его именовали в Крыму. Нужно сказать, что Павел был закалённым солдатом, а языковые различия в странах, где ему пришлось побывать, для него не составляли проблемы. Он говорил не только на родном литовском, но и на польском, немецком и, по некоторым сведениям, на крымскотатарском и турецком языках (*Ivanics*, 2008. S. 123–124).

Это было в 1663 г., когда после краткого мира султан Мехмед IV готовился к новой войне против Австрии, к которой планировал привлечь и крымского хана. За полгода до этого упомянутый полковник Лысый заслал из Крыма в Моравию, Силезию, Богемию и Вену нескольких разведчиков, среди которых был и Павел Казак. Задача их была достаточно сложной — добыть сведения о системе крепостных укреплений района будущих военных действий, выяснить, каким образом они удобнее могут быть взяты, каким количеством солдат располагают эти крепости, а также доставить точную информацию о водных преградах тех мест и наилучших местах их форсирования.

Павел получил своё первое разведывательное задание в начале 1662 г. и вернулся к татарам более чем через год, в начале лета. Всё это время он употребил на сбор всесторонней информации на территории, куда готовился будущий поход хана, в Моравии. На немалые расходы этой командировки ему было выдано всего 8 талеров, а ещё 30 обещано — при удачном возвращении и удовлетворительных её результатах. Плюс к тому ещё 300 талеров в случае удачи в крымском походе на Моравию по намеченным благодаря его информации маршевым направлениям.

Через несколько недель Павел снова был отправлен в Моравию. В чёрном наряде пилигрима и имея соответствующие письма (в качестве паспорта), он проехал или прошёл пешком как уже знакомые ему по предыдущему заданию места, так и иные города и посёлки. При этом он составил поразительно точный отчёт о всём виденном и слышанном. В конце августовских дней — начале сентября 1663 г. крымские татары с пользой употребили данные, полученные от Павла в очередном походе на моравское владение австрийского императора (*Ivanics*, 2008. S. 123–124).

Очевидно, Павел получал от своих крымских нанимателей задания и стратегического характера. Он мог, к примеру, оповещать их о том, что имперские города располагают многочисленными гарнизонами, зато сельская местность практически беззащитна. Но наряду с этим он докладывал, что австрийский император отправил большинство своих солдат в Нидерланды, где в эти годы проходил один из фронтов войны испанского короля Филиппа IV (члена того же имперского дома Габсбургов) за сохранение этой провинции во владении Испании. Понятно, что такого рода информация имела огромное значение

для Мехмед-Гирея, разрабатывавшего стратегические планы своих походов. Возникает вопрос о причинах столь успешной деятельности крымского агента в Европе.

Венгерская исследовательница, тщательно изучившая историю ханского разведывательного аппарата, считает, что Павел не мог действовать за рубежом, не имея там опорных пунктов (явок) и круга определённых лиц, от которых он ожидал разнообразной поддержки и которым он мог передавать добытые сведения, не возвращаясь для этого в Крым. Эту помощь, без которой ему не удалось бы даже свободно перемещаться на территории противника, считает она, оказывала ему агентурная сеть, возможно, созданная немецким полковником ещё до того, как Павел оказался на ханской службе. В своих записках последний упоминает многих лиц, поставлявших ему информацию: он неоднократно посещал каких-то людей, внедрённых Лысым в разнообразные зарубежные структуры. Павел, в частности, передавал им письма, предназначенные полковнику, получая от них же всё новые инструкции, в случае необходимости он мог у них скрываться и т. д. (*Ivanics*, 2008. S. 125–126).

Как упоминалось выше, по заданию хана Павел добывал сведения и о турках. Его третья командировка имела конечной целью турецкий военный лагерь близ австрийской крепости Нойхойзель (*совр.* Нове Замки), где он должен был разузнать, какие планы имеют османы на участие в осаде крепости и крымских татар. Согласно письму Павла, великий визирь не собирался привлекать к этой операции ханское войско (вообще малопригодное к длительным осадам), что привело хана, рассчитывавшего на богатую добычу в этом походе, в гнев. И он приказал собирать войско в поход без приглашения Порты. По свидетельству современника, к осаждённой крепости отправилось сравнительно небольшое количество крымских конников и иных, примкнувших к ним по призыву хана воинов: 10 000 татар, 6 000 валахов, 4 000 молдаван и 250 казаков (*Ortelius*, 1665. S. 270).

В этом походе 1663 г. по малознакомым местам руководивший им ханский сын Ахмед-Гирей пользовался указаниями того же Павла, что содействовало успешным военным действиям. Это, кстати, само по себе свидетельствует, что агент получал крымские деньги не даром, если даже не учитывать тот факт, что он сражался в упомянутом походе бок о бок со своим шефом, полковником Лысым, и собственноручно зарубил не менее 14 католиков. В конечном счёте крепость Нойхойзель пала, как и Рабенсбург, Никольсбург, Гёдинг, Страниц, Брюнн, Острау и другие, что принесло татарским участникам похода богатую добычу (*Ivanics*, 2008. S. 127).

Это было последнее дело Павла Казака. Осенью того же года, во время очередной командировки, он был опознан близ Гласхюттена уцелевшими жертвами крымского похода, арестован австрийскими властями, допрошен, жестоко пытан и четвертован. Его вклад в военную политику Крыма — бесценен.

Всё это были дела внешние, но не меньшую тревогу у Мехмед-Гирея IV вызывали внутренние политические неурядицы. Сильный и многочисленный род Мансуров боролся за влияние с великим беем хана, Сефер-Гази-агой. Последний был популярен в массе простого народа, и когда хан был вынужден для предотвращения новых гражданских столкновений казнить его, начались по-

Саркофаг Мехмед-Гирея IV на кладбище Хан-сарая. *Фото автора*

всеместные волнения, в результате которых в 1666–1667 гг. Мехмед был смещён с престола. После этого он некоторое время жил в Дагестане, где имел родственников, а в 1675 г. умер вдали от родины глубоким стариком. Впрочем, его сын Джанибек-Гирей перевез ханские останки в Крым и похоронил их в Бахчисарае, близ Большой мечети Хан-сарая.

А через год после смещения Мехмед-Гирея русским дипломатам во главе с А.Л. Ординым-Нащокиным удалось, используя новое ослабление Польши (из-за войны со шведами), заключить с ней договор о перемирии, известный под именем *Андрусовского* (30 января 1667 г.). Согласно его пунктам Польша признавала присоединение польской Левобережной Украины к Московскому государству. В той части трактата, что касалась «южной» политики обеих договорившихся сторон, смысл его сводился к широкой совместной русско-польской агрессии: Польша должна была напасть на задунайские турецкие владения, а Россия — на Крым (ПСЗ, Т. I. № 398).

Договору, заключённому в Андрусове, сопутствовала антимусульманская пропаганда России, впервые развернувшаяся в международном масштабе. На её содержании стоит остановиться, так как эта кампания имела не только длительное, но и весьма важное продолжение в идеологической и политической областях взаимоотношений России и Крыма.

В известном памятнике «Синопсис», издававшемся в Московском государстве до 1523 г. (подр. о нём см.: *Паламарчук*, 1991. С. 23), в нескольких его разделах развивалась так называемая идея *Мосох-Москва*. Содержание её вкратце таково: Мосох (точнее, *Мешех*, см.: Библия, Быт., 10, 2), шестой сын библейского Иафета, объявлялся ни более ни менее, как «патриархом всех славян». Москва, соответственно, становилась по сей причине его прародиной. Отсюда следовал вывод: её священный долг состоит в собирании всех славян воедино.

Авторов этой ранней панславистской теории нимало не смущал тот факт, что в Библии не только об этой миссии, но и вообще о славянах не говорится ни слова, а о Мосохе сообщается лишь, что он был работорговцем («обменивал товары на души человеческие» — Иез., 27, 13) и убийцей («распространял ужас на земле живых» — Иез., 32, 26). Странный праотец для всех русских, но сама древность этого «москвича» несла вполне чёткую политическую нагрузку: она оправдывала продвижение России к библейским областям, по сути любую агрессию в южном направлении (подробнее об этом см.: *Чистякова*, 1979. С. 293).

Более чем через полтора века после составления «Синопсиса», в 1692 г., выступает со своей «Скифской историей» московский стольник, даровитый историк и переводчик А.И. Лызлов. В своей главной книге он развивает основную идею «Синопсиса», прямо призывая русских возглавить многонациональный поход на неверных, предварительно «...собрав многочисленные полки христианского воинства и имеюще согласие со окрестными христианскими государствы, изыти подщитися на оных несытых псов бусурманских...» (*Лызлов*, 1990. Л. 302 об.).

С аналогичной программой обращается к России, Польше и другим славянским христианским державам один из исторически первых балканских подстрекателей России, известный ренегат Юрий Крижанич. В своё время он обрёл пристанище в Московском государстве, где его славянофильские идеи нашли слушателей и даже сторонников в самых различных кругах общества. Его идеи с подкупающей откровенностью были изложены в трактате «Политика», специально рассчитанном на провоцирование русских государей к вторжению на Балканы, где русских «освободителей» якобы ждут не дождутся угнетённые османами братья-славяне[1].

Не забывал балканский авантюрист и о Крыме. Более того, в его сочинении ханство выступает как первоочередная и даже главная цель российской агрессии на юге. Он указывает, что после его захвата Московией полуостров превратится в плацдарм для дальнейших завоеваний, будучи способен снабжать и армию, и новопоселенцев хлебом, маслом, вином и боевыми конями. Им же была разработана стратегия аннексии и славянизации населения ханства: для этого предлагалось пригласить к его освоению поляков и иных восточных и южных славян (*Крижанич*, 1965. Passim.; См. также: *Бережков*, 1891. С. 483).

К программе Крижанича мы вернёмся на следующей странице, а здесь подчеркнём, что о возросшей опасности с севера говорили и теоретические выкладки, и практические шаги русских и части украинцев. О том, что в дальнейшем угроза эта не уменьшится, а лишь обострится, возвещали глашатаи политических теорий антимусульманского толка и московского происхождения, всё шире расходящиеся в славянском мире. Причем их нельзя уже было считать лишь пуб-

[1] Этот хорват выдавал желаемое за действительное. По сравнению с закрепощённой европейской (к востоку от Эльбы) деревней, не говоря уже о русском селе, балканские крестьяне чувствовали себя вольными людьми, да и благосостояние у них «под турками» было повыше, чем в остальном славянском мире. В целом же, «по утверждению современников, крестьяне балканских провинций Османской империи в XVI в. жили значительно, а в XVII — несколько лучше, чем крестьяне сопредельных стран Запада» (*Кульпин Э.С.* Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства. М., 2007. С. 40).

лицистическим сотрясением воздуха. О том, что они приняты на вооружение государственными деятелями Севера, имелось немало свидетельств. Известный политик, начальник Посольского приказа А.Л. Ордин-Нащокин считал, что крестовый поход «против бусурман не только тем великим государствам (т. е. России и Польше. — *В.В.*) иметь достойно, но и всем великим государям христианским то дело потребно» (цит. по: *Галактионов*, 1979. С. 385). О том, как эти теоретические разработки осуществлялись их сторонниками, можно видеть из нижеследующего материала.

4. Крым и Московское государство на исходе XVII в.

В последней четверти XVII в. обостряются отношения между Турцией и Крымом, с одной стороны, и Москвой, с другой. Обострение это имело причины как местного, восточноевропейского масштаба, так и более общего характера. В Европе назревала по меньшей мере одна, по тем временам глобальная война. Французский король Людовик XIV намеревался присоединить к своей короне Испанию и её грандиозные американские владения, что сделало бы Францию бесспорно гегемоном на континенте. Но на наследство бездетного испанского короля Карла II претендовала и Австрия: он был из австрийского (цесарского) рода Габсбургов. Австрийского цесаря поддерживали Англия, Нидерланды и Пруссия, более всего опасавшиеся резкого усиления Франции.

Людовик XIV стремился в преддверии неизбежной войны за испанское наследство наладить мирные отношения между Польшей и Турцией, чтобы опираться на них в политической борьбе с Австрией и Пруссией. Но были у «короля-солнца» и более далекие планы. Есть сведения о том, что в случае победы над антифранцузской коалицией он будто бы рассчитывал соблазнить шведов (обещанием северорусских земель) перспективой совместного похода на Москву. Затем предполагалось двинуться на Турцию и, освободив страдавших под её владычеством православных, обратить их в католичество и тем привести под покровительство Франции (*Соловьёв*, 1994. Кн. VII. С. 210–211; *Возгрин*, 1986. С. 31, 36, 39–40, 43, 51–52).

План, как мы видим, совершенно фантастический, но Москва в реальность его поверила. Поэтому здесь уже в 1670-х гг. зрели проекты заблаговременного выступления на Турцию и Крым. Планировалось распространить своё влияние на южных христиан, а может быть, и включить их в число подданных царя. При этом считалось, что украинцы, сербы и молдаване с радостью поддержат как военные, так и послевоенные политические акции России. В этом царя и его окружение уверял среди прочих упоминавшийся выше Юрий Крижанич — фигура весьма колоритная, как и предлагавшийся им проект. Здесь необходим экскурс, посвященный программе Ю. Крижанича, поскольку она имела самое непосредственное отношение к истории Крыма не только в рассматриваемую здесь эпоху.

Хорват по национальности, Ю. Крижанич прибыл в Москву в 1661 г. За свою острую критику российских пороков: пьянства, весьма распространённой содомии (гомосексуализма) и всеобщей бестолковщины, он был сослан царём Алексеем

Михайловичем в Сибирь. Там он подготовил несколько незаурядных трактатов, в том числе и политических. До своего отъезда из Московии в 1676 г. он передал часть их, в том числе и касающийся оптимальных направлений внешней политики державы, государю. Последний, судя по всему, внимательно с ними ознакомился, и в дальнейшем они остались в личной царской библиотеке.

Смысл внешнеполитического проекта учёного хорвата сводился к тому, чтобы царям прекратить экспансию во всех направлениях, исключая южное. Конечно, тут же напрашивается вывод о том, что Ю. Крижанич был заинтересован в скорейшем продвижении московских войск к областям, примыкающим к Адриатическому морю с целью освобождения своих земляков от турецкого владычества. Но об этом в его сочинениях говорится крайне мало. Зато пристальное внимание уделено агрессии в направлении Крыма с целью полного покорения ханства.

Причин тому, чтобы «рубежи ширить к Югу, а не к Северу, не к Востоку и не к Западу» выдвигалось при этом несколько. Одна из них — лёгкость такой экспансии: «у Крымцев острожных твёрдностей (т. е. крепостей. — *В.В.*) есть мало, да стрельбы огненной, да оборонного оружия мало же или вовсе нет. Лишь рукопашная полевая битва с Крымцами есть страхотная, как с коим ни будь иным народом, и оттого треба её избегать сколько можно...» Далее автор проекта называет веские причины такого предпочтения в направлении главного удара: «Северные страны студёны, болотны, неплодовиты и многи вещей лишены, ...а Крымская и Ногайская державы суть всякого Божьего дара наполнены» (*Крижанич*, 1895. Разд. 51. С. 117). Здесь им совершенно не скрываются грабительские причины такой перспективной разработки внешней политики Москвы.

Затем эти резоны получают дальнейшее развитие: «Крымская держава есть многими Божьими дарами укреплена и богата. Молчу об хлебу, вину, маслу, мёду и иных земных овощех, коих многа множина оттоль к Царьграду привозится. Токмо вспоминаю, что там плодятся кони, к военному делу наилучше годные, и коих есть на Руси великая скудость. Там же родится мраморная руда и иное камение и древие, пригодно к созиданию королевских палат и городов... Невозможно ни описать, ни рассказать, с коль многими причинами Перекопская держава есть стречнее (т. е. «благоприятнее». — *В.В.*) и блаженнее Руси и как пригодна стать кралевской (т. е. царской. — *В.В.*) столицей, аще есть от Бога сужено Русскому народу когда обладать оную державу: не без годных причин могел бы ты, православный царю... или кий из твоих наступников, туда перейти и свою королевскую столицу там поставить... Милостивый царю, настой ты всякими способами мир вечный сохранить с Северным, Западным и Восточным народами... и своего воинства около них никако не занимай, но все свои силы обрати на добывание Перекопской державы... И аще бы Бог тебе, Господарю, не дал сего дела совершить, сынам своим пречеститым сие оставь в заповедях на свершение» (там же).

В качестве приложения к теоретической части проекта Ю. Крижанич даёт ряд практических советов, касающихся стратегии и тактики будущих походов на Крым. «Если Перекопцы вовне кажутся неодолимыми, да дома они несильны и победимы, ибо не имеют городов ни в достаточном количестве, ни добро укреплённых. Ни чужих не могут там добро побивать, ни своих оборонять.

Способы, коими их мы можем с Бѣгом одолеть, суть следующие:

1-ое. Не нужно на них нападать, пока к нам они не пришли, тогда мы можем в пребывалище их вторгнуться и жён их и детей расхватать, чтобы не плодились.

2-ое. Наши пешие пусть имеют щиты великие против их стрел...

7-ое. Ежели хто придёт охотою воевать на Прекоп, хочет ему царь господарь дать поместие по старому хвалному Римлянскому закону...»

В 8-м пункте автор напоминает, что по отношению к другим противникам, даже при захвате их территории целиком, не принято прибегать ни к геноциду, ни к депортации мирного населения: «всех выгубить, либо прогнать не ведётся». Другое дело — крымские татары: «Але с Перекопом ина есть причина. Они бо суть завзяли чужую Христианскую землю и из нея прогнали Христову веру. За то по достойну могут все вон прогнани, яко есть учинил Испанский король Маврам и Жидам. Аще бы Бог дал Прекоп обладать, треба бы Татар в подданство приемать не инако, неже токмо обещуючь им живот (обещая им только жизнь. — *В.В.*). А обладавши землю совершенно, всем возвестить: кои хотят крестится, те останутся, а кои не хотят, пусть все идут вон из державы...» (*Крижанич*, 1895. Разд. 52. С. 128–129). То есть здесь предлагается депортация коренного народа из Крыма со всеми сопутствующими репрессиями, ведь хорват прекрасно знал, что мусульмане скорее пойдут на смерть, чем предадут свою веру.

Завершается проект планом местной, внутрикрымской депортации татар, даже принявших православие, из военно-оборонительных пунктов, портовых городов, вообще с прибрежной полосы крымской земли внутрь полуострова: «А обладавши землю, аще хочем совершенную и достойную победу имать, нужно бы только Русским и Ляхам и Словенцам всем дать свободу жить в приморских и крепостных городах. А иным народам по городкам и уездам» (*Крижанич*, 1895. Разд. 52. С. 131).

При анализе как личности Ю. Крижанича, так и текстов его сочинений с точки зрения современной антропологии и этнопсихологии, перед нами предстаёт фигура типичного психологического маргинала (три примера самых известных личностей такого склада — Пётр I, Гитлер и Сталин). Специалисты утверждают, что для маргиналов этого типа характерны «неуверенность в своём происхождении, фрустрация вследствие постоянных внутренних конфликтов (у Крижанича они дополнялись не менее острыми конфликтами с внешним миром. — *В.В.*) и рождённая этими переживаниями сильная этнозащитная мотивация» (*Налчаджян*, 2000. С. 326).

По рождению, как упоминалось, хорват, Крижанич в этническом смысле идентифицировал себя со всем славянским миром, считая русских родными братьями, а своим жизненным долгом — защиту *всей* славянской суперэтнической культуры и её всемерное возвышение, возвеличение. Это чудесное превращение виделось ему в форме политической (территориальной) экспансии сильнейшего из славянских государств за счёт общей (военно-политической, культурной и т. д.) редукции северно-тюркских, мусульманских регионов на основе радикального сокращения их территорий и населения.

Другими словами, рассматривая геополитическую позицию двух соседних народов, великорусского и крымскотатарского, Крижанич полагал, что в этнозащите остро нуждаются первые. Он не мог не знать, что в течение последних веков государственная граница Московии буквально на глазах, ломая

любое сопротивление, двигалась к югу, а не наоборот. То есть если кто и нуждался в защите, то ханство, а не мощный, агрессивный его сосед. Но маргинальная психология, острым эгоизмом, органично переходящим в этноцентризм, стоит на защите не морали, истины, справедливости, а единственно собственных (действительных или порождённых больной фантазией) интересов психопата. Об этом говорят все три составные части проекта Крижанича. В их порядке последовательного применения к Крыму они таковы:

1) подготовка славян к экспансии посредством ***проективной атрибуции*** противника. Другими словами искусственной дегуманизации турок и крымских татар, наделения их чертами недочеловеков, позволяющими славянам истреблять или изгонять мусульман без малейшего зазрения совести, как вредных животных;

2) ***агрессия,*** которая, во-первых, является необходимым условием для радикального решения проблемы, поставленной в первой части проекта, а во-вторых, столь же нужна для объединения и возвышения славянского мира за счёт соседей;

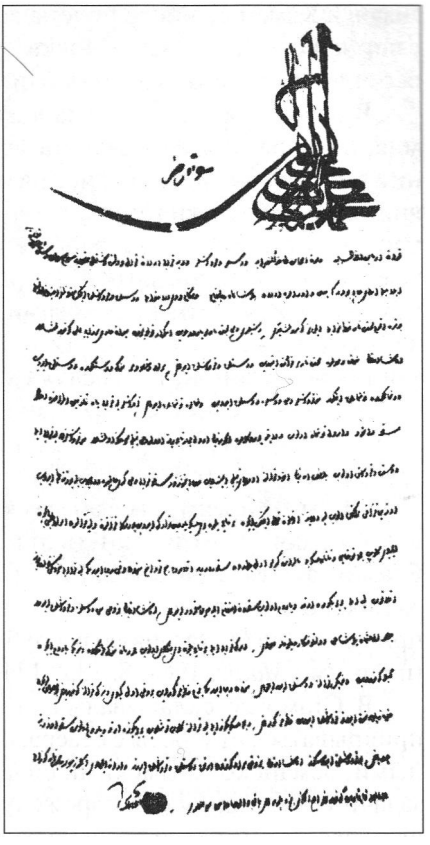
3) *вытеснение* иноверных аборигенов или их физическая ликвидация как крайне нежелательного элемента, способного затруднить или сделать невозможным осуществление основной части проекта.

Все три упомянутых (здесь выделенных мною. — *В.В.*) механизма характерны именно для психомаргиналов (*Налчаджян*, 2000. С. 327). С другой стороны, этот геополитический проект не содержит ничего излишнего, способного такую прозрачную (даже с медицинской точки зрения) картину замутить.

Заметим, что план психопата Крижанича в целом явно пришёлся по душе не только Алексею Михайловичу, но и его преемникам по власти в Кремле. Об этом можно говорить с почти полной уверенностью хотя бы потому, что *все пункты наказа* были рано или поздно выполнены, начиная с серии ударов по внутренним областям Крыма (первая треть XVIII в.), его военного захвата (вторая половине XVIII в.), удаления коренного населения из приморских регионов полуострова в степную и горную его части (середина XIX в.) и заканчивая полной депортацией мусульман Крыма (середина XX в.).

Очевидно, не без влияния этого плана уже в начале 1670-х гг. Москвой была выработана новая внешнеполитическая концепция. Согласно её основным положениям главной целью будущих наступательных походов избирался Крым, так как, по словам думного дворянина В.М. Тяпкина, «все факции неприятельские этим помрачены будут и погаснут, а если не пойдут царские ратные люди... на Крым, великое бесславие, поношение и оскорбление государству Московскому причинится» (цит. по: *Соловьёв,* 1988. Кн. VII. С. 211). Русским вторил король Польши Ян Собесский: «...ничем царское величество так не устрашит турчина, как если пошлет казаков в Крым и на Чёрное море» (цит. по: указ. соч. С. 214). Упоминание о казаках было не случайным.

Москва всё ещё не могла в одиночку «Крым воевать», даже поход к Перекопу был крупной проблемой, ведь на пути лежало огромное Дикое поле, безводное и незасёленное, а для перехода через него требовалась не одна неделя. Донские казаки поняли Москву сразу, и в 1672 г. послали туда своего представителя, атамана Фрола Минаева (Миняева). Он пробыл в русской столице достаточное время, чтобы изложить все трудности войны на азовском направлении и дать ценные советы бывалого воина (*Смирнов*, 1946. Т. II. С. 128). Столь же привычны были



Известительная грамота Адиль-Гирея датскому королю Фредерику III о своём восхождении на престол. *По: Matuz, 1976*

и к степи, и к схваткам со степняками украинские казаки. Впрочем, и к сотрудничеству с ними, что делало помощь казачества русским куда более проблематичной.

Был тогда среди малороссийских казаков один предводитель, признанный лидер, пользовавшийся большим авторитетом на кругах как крупный полководец и опытный политик, причём последовательно отстаивавший казацкие вольности — гетман Правобережья П.И. Дорошенко (1665–1676), тот самый, о котором до сих пор на Украине поют песни. Давно уже предвидя, чем должно окончиться продвижение на юг московских границ, зная о русских аппетитах на новые земли не понаслышке, а также будучи достаточно хорошо знакомым с политикой и планами Польши, чтобы не рассчитывать на её поддержку, он не нашел иного решения грядущих проблем, кроме ухода под покровительство Турции.

Турция и Крым казались гетману менее агрессивными и деспотичными, более терпимыми к иноплеменникам, чем соседние христианские державы, и, как мы видели, не без оснований. Поэтому ещё в 1666 г. Пётр Дорошенко добился договоренности с Мехмед-Гиреем IV, согласно которой казаки могли переходить в Крым на постоянное жительство. Затем, заручившись покровительством султана Мехмеда IV, собрав воедино многие тысячи казаков, а также татар, которыми командовал нуреддин хана, гетман нанес мощный удар по одному из врагов украинского казачества — Польше. Союзные войска взяли Нежин, Люблин,

Львов и Каменец, число полона достигло 100 тысяч. Но пока союзники действовали на польской земле, Москва, вопреки Андрусовскому миру, совершила набеги на турецкие укрепления близ Азова.

В ответ через два года на южнорусские крепости двинулась османская армия, поддержанная крымскотатарским войском. Или, как выразился современник этих событий, «русские, находясь в мире с Высокой Портой, не обращая внимания на условия мира, по врождённой им злобе, стали в некоторых местах наносить Турции вред и вообще поступать противно заключённым договорам, вследствие чего повелитель [Турции]... нашёлся вынужденным объявить этим злодеям, называемым московами, священную брань и предпринять против них войну» (*Неджати*, 1894. С. 124). Но если московская политика трёх союзников могла быть единой, преследуя схожие интересы, то с Польшей ситуация была сложнее — особенно с приходом к власти Адиль-Гирея (1666–1667, 1668–1671).

Этот правитель Крыма, единственный из ханов, не относившийся, строго говоря, к ветвям генеалогического древа Гиреев (он принадлежал к так называемым Чобан-Гиреям)[1], всё более склонялся к тесному сотрудничеству с Польшей. И это не могло не оттолкнуть от него казаков, а также шло вразрез с концепцией Стамбула. Султан Мехмед IV, а точнее, его великий визирь Фазыл Ахмед-паша Кёпрюлю постоянно оказывал существенную поддержку Петру Дорошенко, что привело в 1668 г. казацкую республику под покровительство Турции, а не Крыма (подр. см.: *Matuz*, 1964. S. 133–134).

В Стамбуле складывалась, таким образом, новая политическая практика: прикрываться от угрозы с севера, ослабляя Москву и Польшу не только собственными, османско-крымскими силами, но и широко используя для решения этой задачи Гетманщину и Запорожскую Сечь. Тем самым достигались ещё две цели, не первостепенные, но весьма важные. Во-первых, сводилась к нулю опасность казацких набегов на Порту в будущем. Во-вторых же, окончательная переориентация гетмана на Стамбул оставляла хана в политическом вакууме, что не могло не сделать его более покорным по отношению к султану (*Matuz*, 1964. Ibid.).

Ощутив этот острый дискомфорт в полной мере, Адиль-Гирей стал лихорадочно искать выход. В 1669 г. им был даже отправлен посол Мехмед-ага в далёкую

[1] Адиль-Гирей был сыном некоего Мустафы, чья мать-полячка была наложницей Фетх-Гирея I, впоследствии отпущенной им на родину. Её сопровождал ханский порученец Хаджи Ахмед, причём в течение времени, достаточного, чтобы его подопечная забеременела. Когда хану донесли об этом, он приказал казнить обоих. Они скрылись, затем женщина умерла при родах, а Хаджи Ахмед вырастил сына, назвав его Мустафой. Мальчик, с детства пасший овец, очевидно, обладал способностями, необычными для чабана, так как в зрелом возрасте был назначен нуреддином Мехмед-Гирея III (1710): в этом году в Крыму не оказалось ни одного принца крови, так как они временно нашли убежище в Турции. Тогда же Мустафу переименовали в Девлет-Гирея: кое-кто утверждал, что он сын Фетх-Гирея I и оттого имеет право на родовое имя (*Халим Гирай*, 2008. С. 69). У него родилось два сына, которых он назвал Фетх-Гиреем и Адиль-Гиреем — уже вполне законно. Однако впоследствии представителей этой родовой линии неофициально и полупрезрительно стали звать *Чобан-Гирейлар*, то есть «Гиреи-пастухи». Кроме хана Адиль-Гирея эта родовая ветвь дала правящему дому двух калг и одного нуреддина. Правда, некоторые из Чобан-Гиреев, хоть впоследствии и женились на ханских дочерях, высоких государственных постов достичь не смогли.

Хан Адиль-Гирей.
Гравюра из колл. музея Ларишес

Данию (в Копенгагенском архиве осталось интересное описание Бахчисарайского двора, сделанное для датчан спутниками посла, и слишком мало сведений о цели самого посольства). Но выход нашёлся несколько ближе. Адиль-Гирею, как и ряду его предшественников, пришла в голову идея освобождения Крыма от турецкого суверенитета с помощью полной переориентировки внешней политики ханства на Польшу.

Момент был избран удобный: Речь Посполитая нуждалась в помощи, так как пламя антипольского восстания, усердно раздуваемое Петром Дорошенко, охватило Украину. Но не всю, в Умани, например, местный полковник Михаил Ханенко сохранял преданность польской короне. Он готов был идти во главе поляков на своего политического врага-гетмана вместе с крымскими татарами, против которых уже выступал П. Дорошенко (видимо, не без согласия или даже подстрекательства султана). Помощь хану был готов предоставить и Пётр Суховей, весьма необычный (точнее, не вполне законный) гетман запорожских казаков[1]. Выгода здесь была взаимной: хан гарантировал Суховею помощь в освобождении Запорожья от московского и польского господства, а гетман обещал содействовать Адиль-Гирею в освобождении от турецкой зависимости. Впрочем, опасная эта игра длилась недолго. Донельзя раздражённый поползновениями хана, султан сместил его в апреле 1671 г. и отправил в Румелию, в г. Карын-Абад, ставший его последним пристанищем (казнён в 1673 г.).

[1] Ещё будучи молодым, но весьма учёным писарем, П. Суховей бывал в Крыму на переговорах. Там он добился такого уважения, что Адиль-Гирей провозгласил его гетманом Запорожья в качестве противовеса Петру Дорошенко. При этом из 6 000 запорожских казаков половина тут же признала нового гетмана, который то находился в своей ставке, то разъезжал по степи во главе крымских отрядов, демонстрируя реальность союза казачества и Крыма.

На бахчисарайский престол вместо него был возведён весьма учёный, талантливый и популярный в Крыму, но, главное, более лояльный к Стамбулу хан Селим-Гирей I (1671–1678, 1684–1691, 1692–1699, 1702–1704).

Он был сыном и внуком довольно малозначительных ханов Бахадыр-Гирея I и Селамет-Гирея I, но правнуком мудрого Девлет-Гирея I. Селим-Гирей впервые увидел Крым в довольно зрелом возрасте. Как и некоторые другие ханы, он родился в имении своих предков, некогда сосланных султаном. В данном случае это было имение его отца Бахадыра I, находившееся в селе Казикой близ Ямбола, на территории нынешней Болгарии (*Миятев,* 1958. С. 292). На протяжении своей долгой жизни (Селим пережил султанов Мехмеда IV, Сулеймана III, Ахмеда II, Мустафу II и Ахмеда III) он неоднократно лишался Портой бахчисарайского престола, каждый раз возвращаясь в это родовое имение. Не исключено, что именно «турецкое» происхождение сыграло свою роль в достаточно удачно сложившейся судьбе хана, так как он обладал нужными знакомствами в Стамбуле, делавшими его во всех жизненных перипетиях поистине «непотопляемым».

Через год властвования он отправился с крымскотатарским войском в составе османской армии под Каменец-Подольский. Рядом с ним скакал П. Дорошенко, правда, во главе далеко не столь многочисленного казацкого отряда. Военные действия протекали успешно, так как украинские города в большинстве случаев добровольно открывали свои ворота: украинские полковники один за другим вновь признавали П. Дорошенко гетманом, среди прочего оттого, что видели рядом с ним могучего хана (Османская империя, 2001. С. 109). Поход этот окончился для мусульманско-казацкого воинства вполне благоприятно. В начале сентября, когда был взят Каменец-Подольский, польское войско оказалось деморализованным и побежало ко Львову, преследуемое отрядами Селим-Гирея I, П. Дорошенко и турок.

Для польского же противника эта летняя кампания стала решающим доводом в пользу заключения мира, особенно когда огромное соединённое войско окружило Львов, готовясь взорвать его стену при помощи подкопов. Переговоры с османской стороны вёл главным образом Селим-Гирей, хоть в них и участвовали турецкие чиновники. Смысл трактата, подписанного в галицийском городе Бучаче 16 октября 1672 г., заключался в восстановлении и подтверждении старых обязательств Речи Посполитой по отношению к ханству (выплата ежегодно 22 000 золотых). Собственно, эти польские обязательства никто не отменял, но после правления Ислам-Гирея III они постоянно нарушались и мало-помалу сошли на нет. Кроме того, Турция обрела г. Каменец-Подольский и ряд соседних территорий (*Kolodziejczyk D.* Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century). Leiden-Boston-Köln. 2000. P. 496–514). Утверждают, что султан был настолько доволен этим дипломатическим успехом хана, что выслал ему и его сыновьям 60 почётных халатов (*Халил Герай*, 2008. С. 90).

Были удовлетворены и казаки: по трактату они получали назад правобережные города, в том числе Белую Церковь. Дальнейшее развитие событий выглядело весьма перспективным. Такой мирный договор делал реальным создание новой политической системы. Казаки П. Дорошенко и крымские татары могли теперь не только пользоваться покровительством освободившего себе руки султана Мехмеда IV, но и, вполне возможно, сотрудничать с воинственным королем

Яном Собеским (переговоры об этом уже шли и на Украине, и в Бахчисарае). Тогда же, на рубеже 1660-х и 1670-х гг., происходит сближение Дона и Крыма. «Впервые в своей истории стороны заговорили о сотрудничестве на уровне войсковой верхушки и правящих крымских ханов» (*Сень*, 2010. С. 281). Москве было остро необходимо любой ценой помешать такой перемене ситуации на юге, иначе она оказалась бы перед лицом троекратно усилившегося противника, прекрасно помнившего об обидах в прошлом и угрозе — в будущем.

И Алексей Михайлович стал проводить весьма знаменательные акции — прежде всего на Украине. Уверившись в решимости Петра Дорошенко активно поддерживать султана в его вооружённых столкновениях с Москвой, русские стали срочно искать гетману замену. Нужен был человек менее строптивый, то есть готовый безропотно исполнять царскую волю. Такой был найден: генеральный войсковой судья И.С. Самойлович. Для гарантии его успешного выбора к Конотопу, где собиралась казачья Рада, были посланы с войском князь Г.Г. Ромодановский и думный дворянин И.И. Ржевский. Московские посланцы объявили кругу торжественное царское обещание в случае избрания Ивана Самойловича сохранить за казачеством все прежние права и привилегии без изъятия. Собственно, иначе и быть вроде не могло, и казаки обещанию поверили.

Новый гетман (1672–1687) принял булаву, и сразу же после этого на Украину были переведены дополнительные стрелецкие полки. Этой перемене мало кто был рад: русские вели себя нагло, украинцев «...били, за хохлы драли и всякими сквернымі словами бесчестили; у бедных людей дворы и огороды разорили, сена все потравили, крали и силою отнимали, — жаловался казацкий полковник Солонина и вопрошал, — неужели это христиане к христианам пришли на защиту? Но и татары то же бы сделали!», очевидно, имея в виду ситуацию былых набегов, а не альтернативу, избранную П. Дорошенко, и с тех пор жившего со своими казаками под мусульманской защитой безбедно (*Соловьёв*. Кн. VI. С. 438–439).

В январе–феврале 1673 г. под Киевом (переданном в 1672 г. по Бучачскому трактату Петру Дорошенко) появились русские войска под командой князя Ю.П. Трубецкого. Москва открыто вела воинские приготовления и на левом фланге своего южного политического фронта (*Фаизов,* 1993. С. 102–103). В июне–августе 1673 г. царские войска вторглись на территорию ханства севернее Азова[1]. Этого было достаточно, чтобы Сечь заволновалась, а кошевой атаман Запорожья И.Д. Серко стал открыто выказывать неповиновение московской власти и возобновил прерванные было сношения с «изменником» П. Дорошенко, турками и крымскими татарами.

---

[1] Собственно, первое в эти годы нападение на заперекопских подданных хана имело место годом раньше. В 1672 г. упоминавшийся выше донской атаман Ф. Минаев повел казаков в приазовские степи. Многих ногайцев они уничтожили и увели с собой в полон женщин и подростков. Тогда же атаман заключил договор с калмыцким ханом Аюкой, по которому в 1673 г. орда в 40 000 человек должна была напасть на Крымское ханство совместно с казаками (*Смирнов*, 1946. Т. II. С. 128). Но кампании по ряду причин не воспоследовало. Тем не менее, уже пришедшие под Азов русские рати под руководством думного И.С. Хитрово и стольника, полковника Г.И. Касогова, остались здесь ждать будущего года. Численность их составляла 6 100 чел., все они были вооружены мушкетами и привезли с собой около 70 пушек (указ. соч. С. 129).

Султан Мехмед IV.
Гравюра из: Schleder, 1663

Тогда, снова вопреки Андрусовскому миру 1667 г., царские воеводы вывели войска к Днепру, начали ставить в низовых городах свои гарнизоны и т. д. Следует отметить, что такая политика, если не оккупационная, то имевшая целью колонизацию вольных украинских земель, уже не могла быть оправдана, как в 1672 г., опасностью антимосковского сговора поляков с крымскими татарами и турками. Заключенный в Бучаче договор, крайне невыгодный Речи Посполитой, не был ратифицирован польским сеймом, и в 1673 г. вновь вспыхнула война.

Готовились к войне и русские, но — с Крымом. Весной этого года план похода на хана обсуждался в палатах Алексея Михайловича со всей серьёзностью (*Максимов*, 1993. С. 78–79). Собрав на юге военную силу, царь потребовал от Селим-Гирея выхода из войны на украинской территории, угрожая в случае отказа прямым вторжением на полуостров (Османская империя, 2001. С. 110). Но хан пренебрёг как этой угрозой, так и первыми сигналами о назревавшем переломе в отношениях Бахчисарая и Стамбула[1]. Получив от Мехмеда IV традиционные 15 000 золотых «на дорогу», он двинул своё войско к польским границам для поддержки османской армии.

Одновременно с продвижением на Правобережье московские воеводы слали к П. Дорошенко льстивые письма, в которых предлагали старику признать

[1] С первых месяцев 1673 г. султан слал Селим-Гирею указания: хан должен готовить земли для новых подданных — ногайцев многочисленной Белгородской орды. Дело было в том, что получив по Бучачскому миру новые территории, Мехмед IV решил депортировать местных татар на земли ханства, а плодородную Белгородщину заселить чистокровными османами (Османская империя, 2001. С. 113). Хан же сразу понял, что такое насильственное изменение ситуации в ханстве является ничем иным, как начавшейся очередной попыткой ущемления крымской автономии. Однако он счёл нужным воздержаться от возражений. Иначе поступил П. Дорошенко. После того как турки по той же причине османского переселения не дали ему ничего из отвоёванных земель (кроме г. Могилева в пожизненное держание), он отказался от участия в их очередном походе и даже вступил в переговоры с Москвой.

«верховым» гетманом И. Самойловича, а над собой — беспредельную («на всей воле») царскую власть. Самойлович же добивался признания его гетманом обеих сторон Днепра и требовал вывода русских войск из Киева. После того как новым киевским воеводой был назначен московский князь М.А. Голицын, привёдший с собой внушительное войско, зимой 1674 г. на Правобережье начались настоящие военные действия. Так, русскими были взяты Черкасы и Канев, а в мае князь Г.Г. Ромодановский и И. Самойлович вновь отправились за Днепр, разбили крупный отряд П. Дорошенко и небольшой — крымских татар. Тогда, забыв про обиду, гетман послал Селим-Гирею письмо с просьбой как можно быстрее выступить на Украину (АЮЗР. Т. XI. Стлб. 497–499).

Хан тут же вышел в поле и двинулся на помощь казакам. Вскоре туда же подоспели турки под командой великого визиря Фазыла Ахмед-паши Кёпрюлю. Попутно взяв Умань и Ладыжин (казаки добровольно отворили им ворота), союзники к концу июля подходили к гетманской столице. Но когда 10 августа они достигли её окрестностей, оказалось, что ещё за полмесяца до подхода ханских всадников Чигирин осадили русские, причём блокада продолжалась. Одни бомбардировали этот второй по значению (после Киева) украинский город, другие жгли окрестные сёла, отчего погибло множество жителей.

Прискакавшие к Чигирину крымские татары, не останавливаясь, с ходу развернулись для фронтальной атаки на противника, и русские бежали, практически не приняв боя. Стрелецкие и солдатские полки быстрым маршем уходили к Черкасску, подбирая по пути мелкие отряды. Но и там их достигли войска хана и П. Дорошенко, по-прежнему действовавшие совместно. После неудачного боя князь М.А. Голицын с И. Самойловичем сожгли старинный город дотла и отступили за Днепр (*Соловьёв*, 1988. Кн. VI. С. 461). Ханские войска у реки остановились: начиналась осень, и времени для длительного рейда по городам Левобережья не оставалось.

Имелась ещё одна причина необычно раннего завершения кампании. Крымские отряды были не столь многочисленны, как двумя годами ранее. Основная часть войска была занята польской войной, многим пришлось вернуться для защиты ногайских подданных хана. Дело было в том, что всю первую половину 1674 г. степняки-крымцы страдали наравне с украинцами от грабежей и убийств, свершавшихся калмыками хана Аюки, нагрянувшими на Причерноморье по сговору с донскими казаками (*Новосельский*, 1994. С. 106–107). Перед тем как отправиться в обратный путь, крымские татары остановились на отдых в гостеприимных казацких селах, дружески общаясь с мирным населением. Они вместе с дорошенковцами оказали кой-какую помощь измученным оккупацией и сражениями украинцам (так, личный врач Селим-Гирея лечил пострадавшего во время осады Чигирина местного митрополита). В октябре двинулись в обратный путь. При этом хан, естественно, не ощутил никаких беспокойств от запорожских казаков, земли которых пересекало его войско (позднее их за это привлекли к ответу московские каратели).

На следующую зиму со всей основательностью стала готовиться новая агрессия Москвы на Крымское ханство. Штурмовать Перекоп русские полководцы не решались, против этого со всей определённостью высказывался и И. Самойлович, панически боявшийся попасть в клещи между ханским войском и казаками

П. Дорошенко, всегда готовыми помочь крымским соратникам (*Максимов*, 1993. С. 82–85). Без поддержки казаков идти через Дикую степь, а потом атаковать мощные стены Ор-капу русские не решились. В такой ситуации им оставалось одно: ударить на крымцев со стороны Дона. К стоявшим там войскам И. Хитрово были направлены рати под командованием боярина П.И. Хованского и думного дворянина Я.Т. Хитрово, а несколько позже подошло ещё одно войско — под началом князя И.М. Кольцова-Масальского. Всего московских ратников (то есть не считая казаков и готовых прийти на помощь калмыков) собралось 20 365 человек. В Азове же гарнизон вместе с прибывшим полевым войском составил лишь 9 000 сабель (*Смирнов*, 1946. Т. II. С. 132–133).

Но, как и ранее, команды начинать осаду крепости не последовало. Очевидно, московское правительство ожидало каких-то благоприятных перемен на западном фронте. Там завершалась 2,5-летняя польско-турецкая война, но не было видно конца политическим схваткам, в которых принимали участие и посланцы Бахчисарая. В эти весенние месяцы наступило перемирие, воспользовавшись которым Ян Собеский вступил в переговоры с противником.

Заручившись поддержкой Селим-Гирея, он склонял турок к тройственному антимосковскому союзу. Но султан Мехмед IV, оскорблённый нарушением договоренности в Бучаче, отказывался вести переговоры, пока её условия не будут выполнены. Поляки никак на это не шли, и, чтобы принудить их к уступке, Селим-Гирей вместе с турецким военачальником Ибрагимом Шишманом возобновил военные действия. Кампания 1675 г. шла для союзников удачно: они взяли Подолию и часть Волыни, но на подходе ко Львову приняли роковое решение разделиться. Этим ослаблением крымско-османского кулака воспользовался блестящий полководец Ян Собеский и разбил наступавших поодиночке.

Причина кампании 1676 г. была очевидной. Военно-политическое положение Османской империи и Крымского ханства значительно укрепилось и было способно добиться реванша у Речи Посполитой. Османская армия, согласно совместному воинскому плану, должна была выступить лишь в конце кампании, ближе к осени. Но всю весну и лето летучие крымскотатарские отряды совершали молниеносные беспокоящие набеги против гарнизонов восточных польских городков Речи, практически не встречая серьёзного сопротивления.

Нужно сказать, что в результате предыдущих кампаний Польша вообще ослабла. Этим не преминули воспользоваться её восточные соседи; напомним, что в XVII в., да и позже раздел земель, ныне принадлежащих Украине, далеко не был завершён, и Москва имела на этот счёт свои соображения. Потому в Кремле было принято решение, не останавливаясь на достигнутом, разместить в Малороссии добавочные полки. Естественно, множество рядовых казаков и их атаманов были против этой обузы. Поэтому, когда стольник Г. Касогов и остававшийся верным царю бунчужный Л. Полуботок с четырьмя полками подошли к Чигирину и начался бой с местными казаками, хранившими верность гетману П. Дорошенко, то вскоре к осаждённым подошла подмога. Тем не менее осенью 1676 г., не дождавшись помощи от Селим-Гирея и султана, П. Дорошенко решил сдаться на милость осаждавших. 19 сентября 1676 г. русские войска вошли в город.

Крымско-турецкие войска, оставшиеся без казацкой поддержки, были между тем заняты совсем иными задачами, выступив поздним летом против поляков. Те, хоть и ожидали удара, не смогли выстроить действенную оборону: бесплодные попытки обеспечить безопасность восточных границ лишали короля возможности спокойно подготовить армию к встрече с главными силами союзников, шедшими с юго-востока. Поэтому, когда в августе армия турок и войско Селим-Гирея вторглись в Польшу, Ян Собеский потерпел поражение.

Тем самым была достигнута основная политическая цель похода: 17 октября 1676 г. Селим-Гирей и султанский военачальник Ибрагим-паша заключили мир на условиях, почти аналогичных подписанному ровно четырьмя годами ранее и не реализованному Бучачскому трактату. Теперь были отменены обязательства поляков платить дань, а Белая Церковь оставалась за Польшей. Эти невыгодные для Крыма условия отчасти объяснялись тем, что в те же октябрьские дни умер великий визирь Фазыл Ахмед-паша Кёпрюлю, незаурядный политик, занимавший свой пост более всех иных визирей в истории Турции (15 лет). В его отсутствие турецкие дипломаты выступили на переговорах не лучшим образом и фактически проиграли их. Смерть Ахмед-паши Кёпрюлю, как будет видно позднее, сказалась роковым образом и на судьбе Селим-Гирея. Хан утратил своего верного друга и защитника перед лицом Блистательной Порты.

В 1677 г. Селим-Гирей решил временно оставить украинские проблемы по полной их безнадёжности. В результате усталости от гражданской войны, благодаря ловкой политике московских воевод, подкупами склонявших отдельных полковников Правобережья на свою сторону, власть и авторитет П. Дорошенко резко уменьшились. Мирное население, казацкие семьи массами бежали от ужасов бесконечной войны на Левобережье. П. Дорошенко посылал пикеты для их поимки, а пойманных отправлял в Крым на продажу (АЮЗР. Т. XII. Стлб. 236). В такой обстановке Селим-Гирей решил переключить свое внимание на русских, представлявших основную угрозу для ханства, и в очередной раз отказался идти с турками на Польшу.

Неизвестно, насколько этот отказ повлиял на политику султана, но в этом году и османская армия вместо Польши пошла в мае–июне в направлении Киева. Командовать ею вновь был назначен лучший османский полководец и паша Силистрии Ибрагим-паша (янычары уважительно звали его «Шайтан-паша»). Крымскотатарское войско вел лично хан Селим-Гирей. Турок было около 50 000, крымских татар — 40 000 (*Богданов*, 2005. С. 176). В августе оба войска остановились для осады Чигирина. Были проведены объёмные земляные работы (траншейные и подкопные). Однако мощная крепость выдерживала и взрывы мин, и штурмовые атаки, стоившие жизни одному из ханских сыновей и нескольким крымским мурзам; простых воинов, татарских и турецких, пало около 20 000 (указ. соч. С. 177). Когда время подошло к осени, Селим-Гирей высказал на военном совете мнение о бессмысленности дальнейшей блокады, которую можно было бы возобновить в будущую кампанию, придя на Украину пораньше и со свежими силами. Ибрагим-паша последовал этому совету, и оба войска пошли по домам. Этот несвоевременный уход дорого обошелся

обоим предводителям: Ибрагим-паша лишился вскоре своего высокого поста, а Селим-Гирей — бахчисарайского престола[1].

Как указывалось выше, эта отставка стала возможной лишь после смерти покровителя хана, великого визиря Кёпрюлю. Назначенный вместо него Кара Мустафа-паша уступал своему предшественнику и в силе характера, и в твёрдости проведения политической линии державы. Селим-Гирей был отправлен на Родос, оттуда же был отозван содержавшийся в почётной несвободе двоюродный брат бывшего хана и поставлен в январе 1678 г. на бахчисарайский престол.

В 1678 г. новый хан Мурад-Гирей I (1678–1683) послал своё войско (около 30 000 чел) к Чигирину, который был вновь осаждён турецкими и крымскими силами 8 июля. Татары блокировали броды через р. Тясьмин, чем отрезали для русских возможность поддержки крепости свежими войсками и продовольствием. Осада, которой руководил новый турецкий визирь Кара-Мустафа-паша, завершилась удачно. Уже 11 августа крепость пала: по случаю воскресенья местные казаки перепились и, как только начался штурм, удрали через задние ворота (*Богданов*, 2005. С. 179). Говорили также, что многие из них не желали воевать с мусульманами, видя в них сторонников борьбы с Москвой. Эта кампания стоила русским 30 000 павших и 4 000 попавших в плен. Перед тем как уйти в свои пределы, турки и татары срыли крепость до основания (Укоз. соч. С. 181).

Это событие не могло не отразиться и на украинском населении. Московские каратели жестоко расправились с чигиринскими и иными казаками, замеченными в поддержке опального гетмана и его мусульманских покровителей. А через некоторое время начались переговоры с руководителями всё ещё достаточно мощной оппозиции, находившейся вне досягаемости полевых розысков. Московская сторона настаивала на «добровольном» отправлении П. Дорошенко в Москву (где уже давно держали в цепях, в качестве заложника, его брата Григория). Прибывшего к царскому двору гетмана задержали, одновременно запретив его семье следовать за ним в Россию с Украины.

Узнав об участи П. Дорошенко, султан согласился на выборы новым гетманом Юрия Хмельницкого, эмигранта, жившего в Турции в полусвободном состоянии, но попрежнему популярного среди антимосковских кругов казачества. Участник кампании 1677 г., получившей собственное название «Чигиринский поход», он выступил с гораздо более значительными силами в 1678 г., став ценным союзником турок, и в особенности крымских татар. Этот поход был для сторонников Ю. Хмельницкого и его мусульманских союзников более удачным. Они даже смогли безбоязненно оставить гетмана, возвращаясь по окончании

[1] Старый турецкий историк М. Фундуклулу посвятил этим событиям отдельный трактат с названием столь же красноречивым, сколь и явно субъективным: «Изложение того, как казацкий гетман Дорошенко, учинив мятеж против Двери Счастия и покорившись царю московскому, передал ему крепость Чигирин; как шайтан Ибрагим-паша, став главнокомандующим, отправился с Крымским ханом Селим-Гераем, и воротились они, не завоевав той крепости, за что и были оба отставлены, вытребованы к Порогу, арестованы и сосланы, а приказ о назначении главнокомандующим был послан Абазе Кёр Хусейн-паше; как его величество падишах двинулся в поход против крепости Чигирина, а старший брат отставного хана, Мюрад-Герай-султан, сделавшись ханом, был послан в Крым» (цит. по: *Смирнов*, 1887. С. 589).

Юрий Хмельницкий.
Гравюра неизвестного художника

сражений, в одной из его резиденций на Украине (г. Немиров). Впрочем, для Крымского ханства эта удача большого значения не имела. Люди, столь долгое время оторванные от привычных трудовых занятий, устали от походов, и хан хорошо понимал это. Большинство казаков также было против этой войны двух чуждых им держав, от которой страдала прежде всего Украина, уже который год бывшая театром больших и малых сражений.

Фактически военные действия окончились в 1678 г. На следующий год гетман И. Самойлович, сохранявший пока лояльность царю, начал сепаратные переговоры с турками, избрав в посредники хана Мурад-Гирея I. Между тем султан весьма скоро разочаровался в своём протеже в Крыму. На бахчисарайском престоле снова оказался властитель, ведший собственную политику, нацеленную на достижение нормальных, даже дружественных отношений с соседями. Уже поэтому хан отмежевался от более агрессивной на тот момент внешнеполитической линии Турции. Да и во всех иных отношениях у него ни в чем не проглядывало «ни малейшего стремления служить интересам Верховной Порты или стесняться вассальной зависимостью от неё в своих международных отношениях к соседям» (*Смирнов*, 1887. С. 596).

Упомянутые переговоры, уже шедшие к благополучному исходу, заставили поторопиться и русскую, и турецкую стороны, равно не заинтересованные в самостоятельном сближении своих вассалов, и в 1681 г. в Бахчисарае был подписан мирный договор, по своей сути тройственный и во многом определённый взятием Чигирина в 1678 г. Согласно Бахчисарайскому трактату, перемирие устанавливалось на 20 лет; рубежи соседей определялись по Днепру, но казаки имели право выхода к традиционным морским путям и рыбным ловлям у берегов ханства. Русские настояли и на том, чтобы крымцы «не переманивали» к себе казаков — очевидно, это вредило престижу «покровителя» Гетманщины царя. Московские дани сохранялись, как и обязанность выплаты накопившихся недоимок по ним.

Бахчисарайский договор 1681 г. имел немалое значение и для русско-турецких отношений. Поскольку он нуждался в султанской ратификации, то в Керчи собралась представительная делегация, которая должна была доставить акт в Стамбул.

Боярин В.В. Голицын.
Холст, масло

Кроме представителей хана и думного дьяка П.Б. Возницына, на борт корабля взошли султанский чауш Ахмет-ага и ещё один Ахмет, азовский пристав. Разноязычная делегация была встречена в Кадикое (порт у входа в Босфор) и с почётом доставлена в Стамбул. Ратификация договора не встретила никаких затруднений, и 9 сентября Возницын доставил в Москву договор, означавший и формальное окончание Русско-турецкой войны 1672–1681 гг. (*Ходырева Г.В.* Российско-турецкие переговоры 1681–1682 гг. о ратификации Бахчисарайского мирного договора // ОИ, 2003. №2. С. 155, 160).

В.Д. Смирнов высоко оценивал значение этого договора, называя его «полюбовным» (*Смирнов,* 1887. С. 295), т. е. обоюдовыгодным Москве и Крыму. Его приветствовало крымское население («множество христиан и бусурман, заслышав о заключении мира, толпились у шатра и провожали посланников радостными восклицаниями») и жители Украины: на обратном пути во всех городах послам устраивались «торжественные встречи», в которых участвовали «духовенство со свечами и св. водою, полковники, сотники и есаулы с конным войском, с знаменами, трубами и литаврами» (там же). Всеобщее удовлетворение было вполне понятным: как упоминалось, от войн устали и крымчане, и украинцы. Вряд ли будет ошибкой оценить этот договор 1681 г. как первый устраивавший обе стороны, причём до такой степени, что каждая считала его выгодным прежде всего для неё самой. К сожалению, этому миру был суждён недолгий век — и не по вине Крыма.

В 1683 г. в Восточной Европе подходили к своему завершению многосторонние переговоры о новом антитурецком союзе христианских государств, куда вскоре была приглашена и Москва. В ходе дипломатических встреч уточнилась её будущая союзническая задача: опять идти на Крым. Это соглашение 1686 г.

получило название «Вечного мира» (имелись в виду отношения Московии с Польско-Литовским государством).

Тем самым Москва фактически вступила в Священную лигу, к тому времени уже созданную Австрией, Речью Посполитой и Венецией с единственной целью агрессии в направлении Османской империи и Крыма (*Кривошеев*, 2006. С. 292). При этом Московское государство обязалось разорвать Бахчисарайский договор и «немедленно вступить на крымские переправы для защиты Польши от татарских нападений», а на будущий год «послать войска свои на Крым» (*Соловьёв*, 1988. Кн. VII. С. 371–373). От имени московской правительницы Софьи договор подписал её фаворит боярин В.В. Голицын.

Когда известие о новой угрозе достигло Бахчисарая, где снова правил хан Селим-Гирей I (1684–1691)[1], оно довольно быстро распространилось и сразу стало причиной новой тревоги. Селим был человеком весьма осторожным, он постоянно стремился к миру. Поэтому, с одной стороны, понимая значение последних событий, связанных со Священной лигой, он как мог сдерживал понятное нетерпение своих эмиров, настроенных на нанесение упреждающего удара. С другой стороны, хан укреплял оборону ханства. При этом он даже не останавливался перед ссорой с султаном, которому прямо отказал помочь войском в походе на венгров. Впрочем, он мог себе позволить такую позицию, поскольку политическое положение Порты именно в эти годы было весьма шатким. Помимо внутреннего разброда (голодные бунты черни, мятежи в армии) и военных поражений вовне, империя стояла перед неизбежной войной с Московским государством и была как никогда заинтересована в любой поддержке. Потому Селим и мог занять непримиримую позицию по отношению к беям — сторонникам военного решения проблемы: он был уверен в любой необходимой ему поддержке Порты.

Собственно, теперь уже и до турецких политиков дошла простая истина, многократно повторенная столь различными ханами, лучше знакомыми с агрессивными потенциями Москвы. Но лишь теперь, на заре трагического и для Порты и Крыма XVIII века, османы впервые признали очевидное и впервые сами произнесли роковые слова: «Русские стремятся в Стамбул!» Столь же ясным для них к тому времени стало, что дорогу к Босфору Москва будет мостить через Крым (*Смирнов*, 1887. С. 613). Всеобщая тревога в предвидении новой войны, охватившая Крым, эхом отозвалась и по ту сторону Перекопа, на Украине.

С.М. Соловьёв приводит любопытный диалог между гетманом И. Самойловичем и думным дьяком Е. Украинцевым, дипломатом, неоднократно бывавшим на Украине. Гетман указывал, что войну начинать «не из-за чего», договор с татарами выгоден, от нарушения мира «прибыли и государствам расширения никакого не будет, до Дуная владеть нечем — все пусто, а за Дунай далеко», Крыма же «никакими мерами не завоюешь и не удержишь». Московский дьяк в ответ мог повторять лишь одно: что «турки и татары — вечные христианам неприятели, теперь все государи против них вооружаются, а если мы в этом

[1] Это было уже второе правление этого хана. Первое, продлившееся с 1671 по 1678 гг., осталось для истории малопримечательным, если не считать личного участия Селим-Гирея I в походе турецкой армии в 1672 г. на Польшу: в ставку османского главнокомандующего хан явился тогда стремя в стремя с гетманом П. Дорошенко.

союзе не будем, то будет стыд и ненависть от всех христиан, и все будут думать, что мы ближе к бусурманам, чем к христианам». И. Самойлович же полагал, что добрый мир с Крымом полезнее войны уже потому, что если поляки «встанут на нас, то можно против них татар приговорить... я непременно сделаю, что татары всегда будут при нас». В ответ Е. Украинцев, прекрасно помнивший о татарско-украинских походах на Польшу, заявил, что православные «не пожелают... бусурман нанимать и наговаривать их на разлитие крови христианской», на что гетман возразил вполне реалистично и политически куда грамотнее: «Татары подобны мечу острому или городу крепкому; христиане носят же при себе меч для победы над неприятелем или для обороны. Кто ни есть, только б мне друг и в нужде помощник».

Логика гетмана сделала бы, как видим, честь и политикам XXI в. Поэтому дьяк, не удержавшись на таком уровне дискуссии, выложил последнюю карту: стал соблазнять казака возможностью пограбить крымчан, но тщетно. И. Самойлович отказался «менять золотой мир на железную войну» (*Соловьёв*, 1988. Кн. VII. С. 379–382). К тому же выводу пришел в переговорах с Москвой и искушённый политик, казалось бы, всецело заинтересованный в русском продвижении на юг, — константинопольский патриарх Дионисий.

Находясь на стыке восточной и европейской дипломатий, этот видный иерарх и политик полагал, что нападение на Крым принесет больше вреда, чем пользы, так как даст козырь в руки антирусской «партии» в Стамбуле, поддерживавшейся французами. Другими словами, сторонники войны, широковещательно заявившие, что думают о благе всех православных, явно действовали в чисто эгоистических интересах. Их не остановило и то, что христиане, «томившиеся» под крымским или турецким игом, вовсе не желали менять его на московское.

Возможно, решающее значение в решении этой проблемы имел заключённый между поляками и Москвой договор о вечном мире, вечном оборонительном и наступательном союзе от 26 апреля 1686 г. Согласно этому трактату Москва брала на себя обязательство уже с будущего года не только содействовать польской обороне от крымских набегов, но и самостоятельно, не дожидаясь каких-либо поводов со стороны южного противника, атаковать ханство «многими силами» (цит. по: *Артамонов*, 2001. С. 300). Вскоре этот договор, вполне осуществимый по причине невозможности для Порты оказать поддержку Крыму (она сама находилась во внешнеполитическом кризисе), стал реализовываться.

Весной 1687 г. В.В. Голицын выступил со стотысячным войском на Крым: «Правительнице» Софье нужна была громкая победа для укрепления странного статуса её любовника. Но поход окончился бесславно. Как говорит современный исследователь, специализирующийся на военной истории России, «...при подготовке похода на Крым были допущены серьёзные просчёты. Перед маршем 1687 г. не было составлено оперативного плана, не намечено промежуточных баз, не проведено боевых учений» (*Артамонов*, 2001. С. 303). Как выяснилось слишком поздно, не была даже налажена система обеспечения армии самым необходимым.

Огромное московское войско едва добрело сожжённой степью до Конских Вод и, обессиленное, повернуло назад. Оно не осмелилось выйти на крымские крепости Ислам-Керман, Гази-Керман, Мубарек-Керман или Мустрид-Керман, обходя их стороной. На штурм их В.В. Голицын «не имел ни желания, ни воли»

(*Артамонов*, 2001. С. 303). При этом дело было не только в отсутствии свежей травы для лошадей. Из рук вон плохо организованный поход стоил жизни примерно половине противников Крымского ханства по причине элементарного голода в их рядах, болезней, с которыми никто не умел бороться (*Кривошеев*, 2006. С. 293). То есть русские загубили сами себя; согласно российской историографии, они вроде бы *ни разу* не встретились с главными силами противника, отбиваясь, по мере сил, лишь от молниеносных набегов небольших летучих отрядов крымской конницы. Впрочем, другие историки приводят сведения о настоящем разгроме, которому московская рать подверглась в том же походе[1].

Причём, как утверждали современники, степь подожгли сами казаки, призванные в царское войско, — так велико было их неприятие войны с крымскими соседями. Кроме того, согласно рукописи сенатора-историка Ф.И. Соймонова, в Москву пришёл донос о том, что И. Самойлович переписывался с Селим-Гиреем, «чтоб им обоим, гетману с малороссийскими казаками от российской державы, а хану крымскому со всеми крымскими татарами от турецкого подданства отстать и будто бы им довольно друг другу помогать» (ОР РНБ, F. IV. 736/1–5. Л. 35 об.). Именно за эти и иные (прежде всего, с Польшей) крамольные контакты, как доказывают некоторые современники и участники тех событий, Москва сместила в 1687 г. И. Самойловича и назначила на его место И.С. Мазепу (*Gordon.*, 1851. Bd. III. S. 177, 184–188).

В феврале 1689 г., начался второй Крымский поход, в который В.В. Голицын вывел ещё больше войска, 112 000 чел. Но если в первом князю мешала жара, то на сей раз походу чинилось «замедление за великою стужей и за снегами» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VII, С. 396). Тем не менее к середине мая русские подошли к Перекопу, рассчитывая найти приют и воду в обширных открытых селениях близ крепостных стен. Однако все посады были сожжены самими жителями, поспешившими укрыться в Ор-Капы, предварительно засыпав наружные колодцы. Вскоре начались неприятности иного рода. Ещё на подходе к перешейку на русское войско ударил ханский нуреддин, а уже под стенами крепости пришельцам стала угрожать куда худшая беда: из Бессарабии подошел Селим-Гирей с калгой Девлетом и 50 000 войска.

---

[1] В двух старинных трудах («Умдет-уль-ахбар» и «Эссеб-ус-сейяр») подробно изложен ход битвы, состоявшейся 17 июля у местности Кара-Йылга. Хан разделил свою армию на три части: одной командовал он сам, двумя другими его калга Девлет-Гирей и нуреддин Азамат-Гирей. Русские, численно намного превосходившие крымцев, потерпели поражение на второй день боёв. При этом татары захватили 30 пушек и около 1 000 пленных. Тем не менее, В.В. Голицын не спешил с отступлением, приказав строить укрепление у селения Куяш, недалеко от Ора. Но силы пришельцев были на исходе, так как не было ни воды, ни корма для лошадей, и они должны были бежать. Знавший об их положении хан приказал перекрыть им путь к отступлению, стремясь к последнему, окончательному разгрому огромного войска противника. Но московиты, усыпив бдительность хана предложением о переговорах, ночью ускользнули. Причём основной их массе удалось спастись, хоть они и были настигнуты у Донузлы-Оба и снова «понесли значительные потери и убытки» (цит. по: *Халим Гирай*. 2008. С. 93–94). Отчего об этом поражении московского войска не упоминается (хотя бы в виде версии) ни в одном труде по истории России, можно только догадываться...

Но армия В.В. Голицына, ещё не осадившая Ор-Капы, вдвое превосходила крымскотатарское войско, отчего хан остановился в отдалении и вместо открытой битвы завёл переговоры. Смысл их был в возможности удовлетворить московские условия мира, которые стали гораздо скромнее. Русские требовали уже не Крыма, а лишь прекращения ежегодной дани хану. Селим-Гирей мудро затягивал переговоры до последней возможности. То есть до тех пор, пока князь, наконец, не догадался, что его попросту водят за нос в ожидании наступления летнего зноя и, соответственно, новых лишений для русского воинства (*Бантыш-Каменский*, 1822. Ч. III. С. 13–14).

Была и ещё одна причина бессмысленного стояния огромного русского войска у стен небольшой крымской крепости. В.В. Голицына осаждали воеводы, крайне опасавшиеся марша по безводному Северному Крыму в ситуации, когда и на сочных травах южноукраинской степи начался необъяснимый падёж лошадей. Люди просто испугались, что не на чем будет вернуться назад (*Gordon,* 1851, B. III, S. 235–238). Кроме того, главнокомандующий встретил сопротивление воевод, вообще передумавших пересекать Перекоп, «боясь попасть в ловушку в случае перекрытия перешейка» (*Кривошеев,* 2006. С. 293). Поэтому после длительных ожесточённых споров на военных советах в русском лагере, когда уже и людей, и животных начала мучить летняя жара, великое московское воинство стало разворачиваться для марша в обратном направлении. Ханские войска, прекрасно себя ощущавшие и в сухой степи, преследовали и били отставших вплоть до р. Самары (*Бантыш-Каменский*, 1822, Ч. III, С. 15).

Впрочем, не успели голицынские рати вернуться восвояси, как их командующий получил грамоту с высокой оценкой его бесславного похода[1], что в общем-то соответствовало российской военно-пропагандистской традиции, сохранившейся и в XX в. и позже...

Подводя итоги обоим Крымским походам Москвы, нельзя не задать себе естественный вопрос: а были ли испробованы русскими иные, мирные средства к изменению переставших удовлетворять Софью условий мира? Оказывается, такие попытки делались. Перед началом войны московское правительство потребовало от Турции за отказ от войны «ни много ни мало, как уступить России Крым и обе крепости, запиравшие выходы в Азовское и Черное моря... далее — всех татар из Крыма выселить в Анатолию и уплатить контрибуцию в 2 млн червонных» (*Богословский*, 1940. Т. I. С. 207). Но тут же возникает второй вопрос: а могла ли Москва рассчитывать на положительный ответ султана? Ответ дает крупнейший советский историк петровской эпохи академик М.М. Богословский: Турции предъявили «требования, *совершенно неприемлемые* (выделено мной. — *В.В.*) для последней» (там же).

---

[1] Софья и оба царя-соправителя писали князю в возвращавшееся войско, благодаря его за «победу», в результате которой крымские татары «...никогда не слыхано от наших царских ратей побеждены и прогнаны, и объявились они сами своим жилищам разорителями, отложа свою обычную свирепую дерзость, пришед в отчаяние и ужас... из Перекопи с своими поганскими ордами тебе не показались и возвращающимся вам не явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами возвратились в целости» (цит по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VII. С. 397). Затем, уже по возвращении, на «героев» посыпались награды, справедливо возмутившие старых московских воевод.

Гетман И.С. Мазепа.
Неизвестный художник,
Стокгольмский национальный музей

Другими словами, это был, очевидно, чисто дипломатический демарш, заранее рассчитанный на отказ, что давало некое оправдание разрыву Бахчисарайского мира. Но дипломатическая акция России представляет научный интерес и в ином плане. Это, по сути; программа южной её политики, впервые заявленная открыто. Программа, *первую часть* которой (захват Крыма) удалось, по словам М.М. Богословского, осуществить «ровно на сто лет позже императрице Екатерине II» (там же). Академик не дожил всего 15 лет до осуществления и *второй её части*, (депортации крымских татар в Азию), которую осуществил «отец народов» Сталин.

При всей неприкрытой враждебности Крыму ультиматум, направленный Кремлём в Стамбул, имел практическую ценность и для татар. Отныне они знали, на что могут рассчитывать в случае победы России на Юге. Вернее, что им будет не на что рассчитывать. Было положено начало затянувшейся на столетия, но неуклонно осуществлявшейся Россией акции, редчайшей в истории Европы. Во всяком случае, в применении к самой России аналогов не сыщешь в планах *ни одного* её неприятеля ни до XVII в., ни после. Самые далеко идущие прожекты такого рода предполагали смену правительств или государственного строя, порабощение народа и т. п., но никто и никогда не ставил себе целью, захватив Россию, полностью, до последнего человека, «очистить» её *от всех русских*.

У читателя могут возникнуть сомнения в правомерности сравнения судеб великой державы с историей среднего по размерам, к тому же полувассального ханства. Но ведь речь здесь идет о конце XVII в., когда Россия ещё не сделала тех шагов (в основном, в плане экспансии), что ввели её в сонм великих держав. Пока же у неё не хватало сил даже на то, чтобы избавиться от обязанности платить Крыму унизительные дани и «поминки». Другими словами, речь идет о двух соседних государствах, обладавших сравнимыми военными и экономическими потенциалами.

Несравнимым было иное — потенциал агрессивности. Идеология экспансии поднялась у России уже тогда на уровень, Крыму совершенно несвойственный.

Поэтому именно Россия — держава, во главе которой стояли «христианнейшие» государи, ещё в XVII в. заявила без малейшего смущения о своей готовности захватить соседнее государство и стереть даже память о народе, некогда его населявшем. Без каких-либо полумер. Вот та жестокая реальность, с которой должны были отныне считаться все правители Крыма, разрабатывая свою внешнеполитическую концепцию.

Впрочем, соседи-казаки тоже. После бесславного окончания походов В.В. Голицына гетман И.С. Мазепа первым делом попытался наладить нормальные отношения с крымскими татарами. Хан с готовностью откликнулся на эту инициативу. Но когда его гонец прибыл в Малороссию с предложением восстановить мирные связи на обоюдовыгодных условиях Бахчисарайского трактата, то не гетман, а русские, всё грубее вмешивавшиеся в украинскую внешнюю политику, откровенно выступили против такого решения «южного вопроса» (*Соловьёв,*1988. Кн. VII. С. 494). Затем на Украине разгорелась очередная смута, и переговоры вообще прекратились. Но, как увидим, ненадолго.

Через два года после первого Крымского похода, в начале 1689 г., Селим-Гирей был приглашён султаном Сулейманом II в Турцию. Как отметили крымскотатарские историки, многие «короткоумные» люди советовали хану не отвечать на приглашение, подозревая обычное окончание такого гостевания (в лучшем случае — ссылку на Родос или Хиос), «но хан, будучи человеком самостоятельного ума и проницательным, не обратил внимания на их кривые толки, выбрал из крымских аянов 5–10 человек дельных, опытных и красноречивых и, *не питая никакого страха,* в январе 1689 года отправился...» (*Смирнов*, 1887. С. 617–618).

Селим-Гирей действительно показал себя человеком проницательным. Незадолго перед этим он, командуя крымским и отчасти турецким войсками, одержал ряд блестящих побед над немцами, австрийцами и венграми. Что выглядело ещё контрастней на фоне почти постоянных военных поражений турок и внутренних смут в Порте на протяжении последних лет, вызванных бездарностью военачальников и чиновничьей коррупцией. То есть согласие хана на опасную поездку было вызвано не только его чувством собственного достоинства[1]. Сама Турция, её правительство были не в том положении, чтобы позволять себе даже малейшую бестактность по отношению к крымскому владыке: ему было оказано не просто внимание, но и чрезвычайное уважение, которое он, если быть объективным, безусловно заслуживал. Турецкий историк М. Фундуклулу говорит по

[1] Впрочем, Селим-Гирей имел на него право. Утверждают, что он не раз спасал турецкую армию, когда та была охвачена паникой, а султанские паши позорно бросали войско на поле битвы (*Milner,* 1855. P. 166). И ещё одно тонкое замечание нашего предшественника: «Этот хан, восхвалявшийся современниками, был не столько храбр, сколько велик, он был опорой [османской] империи (was the prop of the Empire) в совместной борьбе с Австрией, Польшей и Россией. В одной из кампаний, где он командовал объединённой (т. е. турецко-крымской. — *В.В.*) армией, он вызволил знамя Пророка, попавшее в руки врагов, и так увлёк янычар своим рыцарским поведением, что те приняли совместное между собою решение посадить его на трон в Стамбуле. Но Селим не любил ни власть, ни государственные почести, не раз от них добровольно отказываясь» (*Milner*, 1855. P. 166–167).

этому поводу, что хан вообще «был почтён больше всех своих предшественников», с тех самых пор как Крым попал в зависимость от османов.

Продолжение истории этого визита на высшем уровне было не хуже начала. Прибыв в Турцию, получив приглашение на совет, где присутствовали главные сановники империи, Селим-Гирей не был принужён к выслушиванию каких-то указаний или рекомендаций, как несчётное число раз случалось с его предшественниками. Напротив, всё собрание обратилось к нему с *просьбой, чтобы он говорил*. И тогда хан с жаром и нескрываемым гневом обрушил свою критику на военные и иные действия Порты в последнее время. Затем он перешёл к политическим мерам, которые абсолютно необходимы в ближайшем будущем, чтобы исправить ситуацию, чтобы прекратить дальнейшее усиление врагов обеих стран. Свою речь Гирей закончил безусловно оскорбительным для султана заявлением: «Если эти мероприятия не будут сделаны, то нечего тогда мне было вмешиваться в ваши дела в качестве вашего сторонника, нечего мне было поднимать ваш меч и состоять в вашей службе!» (цит по: *Смирнов*, 1887. С. 618–619). После этого хан неоднократно был приглашён на аудиенции к султану, на которых ему оказывалось всяческое уважение, а Сулейман II (1687–1691) даже *собственноручно* передал ему фирман, подтверждающий единовластие Селим-Гирея на всей огромной территории Крымского ханства.

После таких неслыханных знаков внимания естественным было ждать обратной реакции, в особенности от тех, чьи друзья или родственники жестоко пострадали от собственных клеветнических наветов на хана (достаточно сказать, что турецкий главнокомандующий Эген Осман-паша именно по этой причине был казнён). Поэтому, когда весной 1689 г., в ситуации нового «крымского похода» Москвы хан предпочёл защищать родину, вместо того чтобы вновь отправляться с турками в Европу, то на него при султанском дворе снова вылился буквально поток грязной клеветы. И даже обычные (обусловленные традицией) подарки, которые получал Гирей, теперь сопровождались, бывало, попрёками. Так, в адрианопольских покоях султана стали нормой бранчливые нарекания на то, что дружба с «лошадником-татарином» обходится Турции слишком дорого.

Тем позорней был провал этих интриг, когда ханом были одержаны ещё две блестящие победы. Вначале пришло известие из Крыма о том, что 300-тысячное войско «злодея-гяура Калисина» (В.В. Голицына) частью прогнано Селим-Гиреем и азовским отрядом Шегбаз-Гирея, частью ушло само из-за безводья и бесхлебья, причём крымским татарам досталась огромная добыча, брошенная бежавшими русскими. Затем крымское войско совершило молниеносный переход в направлении Бессарабии и наголову разбило многочисленный австрийский корпус в битве при Качанаке[1]. Благодарность султана была безмерной, он буквально осыпал хана

[1] Между прочим, именно эта победа крымского стратега стала причиной новых инициатив в австрийской внешней политике. В том же году из Вены в Москву отправился имперский интернунций Курц, который начал всячески склонять русский двор к ещё одному походу на Крым, упирая на опасное для русских усиление ханства. И продолжались эти переговоры до тех пор, пока союзники не добились такого согласия, правда, уже не от правительницы Софьи, а от Петра I (*Gordon*, 1851. B. III. S. 280). Таким образом, можно сделать неожиданный, но не парадоксальный вывод: своими воинскими успехами Селим косвенно повлиял на Москву в принятии ею решения насчёт новой агрессии против Крыма.

и его приближённых подарками и пенсиями, предоставил Гирею лучшие дворцы Стамбула на полном обеспечении от казны, но взамен крымское войско должно было продолжать свой многовековой поход ради пользы империи. Впрочем, время для отдыха после изгнания московитов крымцам всё же было предоставлено.

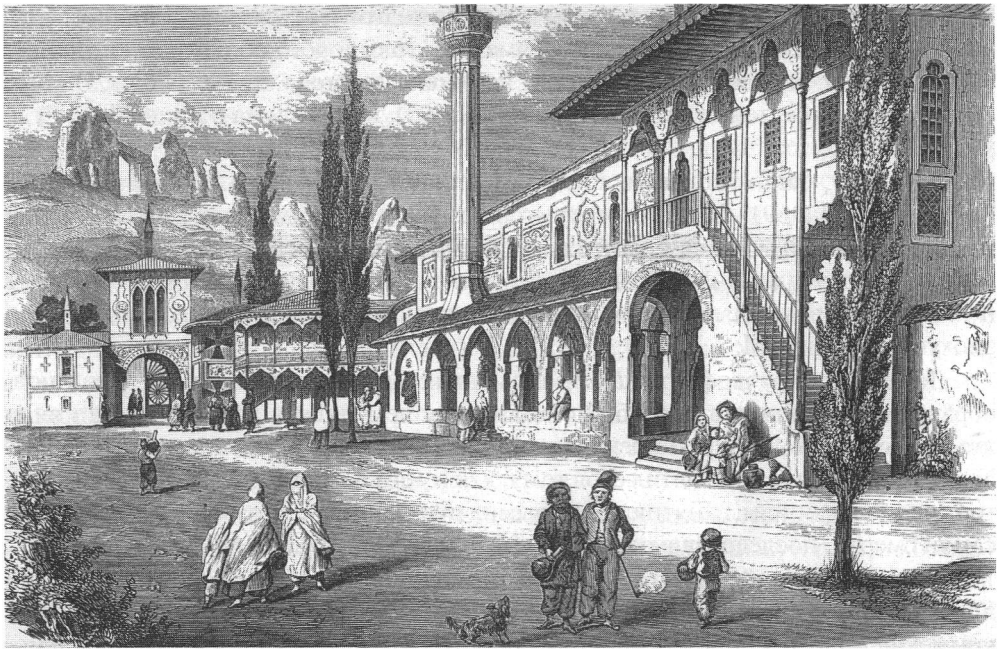
Но не прошло и двух лет, как крымские конники были посланы далеко за Дунай, в Трансильванию (ныне Северная Румыния). Зимой 1691 г. они попали там в ужасные условия. Люди были вынуждены жить в полевых лагерях в жестокие морозы, причём при полной бескормице и голоде. Им пришлось перерезать лошадей, конники превратились таким образом в пехоту. Войско роптало на турок, но и на своего хана тоже. Селим-Гирей, судя по всему, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он понимал, что должен возвращаться с войском в Крым, оставшийся незащищённым при всё возраставшей московской угрозе (к тому времени была достигнута очередная польско-московская договорённость о совместном походе на Крым). С другой, хан был человеком чести и не мог не исполнять своего долга перед султаном, оказывавшим ему, его полководцам и правительству столь бесспорные знаки уважения и внимания. И хан избрал выход, редкий не только для Гиреев, но и других монархов: он отказался от престола.

Услышав о самоотставке Селим-Гирея, стамбульские сановники пришли в ужас, умоляли его отменить своё решение, а поняв, что хан непреклонен, стали просить хотя бы самому назвать себе достойного преемника и предложили при этом, к примеру, его старшего сына, калгу Девлет-Гирея. Но Селим, признав достоинства сына, назвал вместо него находившегося в отставке Саадет-Гирея, бывшего нуреддина (при хане Мурад-Гирее), мирно коротавшего свои дни в Турции. Султан во всём послушался Селима, и в Крым, не торопясь, окольным сухопутным путём поехал новый хан (*Hammer-Purgstall*, 1856. S. 167–170).

А Селим-Гирей I отправился в хаджж, приступив к исполнению мечты всей жизни. Его горячая религиозность (он являлся на протяжении многих лет активным членом суфийского братства мефлеви, был хафизом) находила выражение и в его выдающемся таланте исполнителя религиозной поэмы *Месневи* великого поэта-суфия Джалаладдина Руми.

Был он известен и как глубоко оригинальный, талантливый поэт, его имя (псевдоним *Ремзи*) встречалось и в зарубежных, в частности, турецких поэтических антологиях. Понятно, что хаджж был интересен для него не только с чисто религиозной стороны, так как он с юности питал великий интерес к путешествиям (*Челеби*, 1999. С. 56). Своей учёностью Селим-Гирей славился с юных лет, когда он ещё был одним из трех султанов-сыновей Бахадыр-Гирея I: «Селим Герай-султан овладел всеми необычайными и удивительными науками, стал *хафизом* всего Корана, изучил персидский язык и стал мудрым падишахом, читающим „Месневи“, тысячеискусником весёлого нрава и милостивого характера... В науке чтения Корана он сведущ и изучил 7 стилей чтения, а в науке произношения звуков ему нет равных» (*Челеби*, 1999. Там же).

В не дошедших до нас источниках хан Селим предстаёт выдающимся покровителем народного просвещения, основавшим немало учебных заведений, усердным собирателем книг. При нём возросла роль шариата как морального компаса для всех мусульман, невзирая на их социальное положение. В то же время это был выдающийся политик и прирождённый воин: «всегда на коне, отдых



Двор Хан-сарая, старинная гравюра.
Из коллекции Одун-базар-капусы

для него и его войска, казалось, был противоестественным». В эпоху его правления давно уже ставшие оседлыми крымские татары считали особым шиком вести полукочевой образ жизни, на несколько месяцев исчезая в степи и ведя быт, «более приличный заперекопским ногайцам» (*Castelnau*, 1820. Vol. I. P. 338, 348). Эти качества хана позволили ему «завоевать прочные симпатии знати и народа. В его правление Крым был свободен от внутренних кризисов», — приходит к выводу крупный современный учёный (*Гайворонский*, 2003. С. 55).

Что же касается сменившего его Саадет-Гирея III, то этот хан пробыл у власти недолго, с марта по декабрь 1691 г. Он был человеком крайне крутого нрава, не желавшим слушать никого, в том числе даже султана. Его племянник, известный историк Мехмед-Гирей, так описывает его: «Это был человек среднего роста, одноглазый, русобородый, наполовину седой; огненного нрава, видом Марс, ничьего мнения, кроме своего собственного не одобрявший, гордый и немилосердый; но он был популярен среди народа своим богатырством» (цит по: *Смирнов,* 1887. С. 632). Основная заслуга Саадет-Гирея III, на наш взгляд, в том, что он спас крымское войско от нового похода по приказу Порты (на Австрию), по сути, отказавшись исполнить приказ султана.

Внешне же дело выглядело так, что он слишком долгое время собирал армию из дунайских ногайцев, которые ещё менее, чем коренные крымцы, стремились к этому походу. Поэтому ханское войско, всё ещё не пришедшее в себя после страшной зимовки в Трансильвании, явилось на театр войны с опозданием. Османская армия, лишённая столь важной поддержки, потерпела поражение, но крымское

войско вернулось домой невредимым и смогло подготовиться к предстоящим битвам на рубежах *своей* родины. Это упрямство, столь дорого обошедшееся Османской империи, стоило Саадет-Гирею II не только престола, но и свободы. Он был смещён новым султаном, Ахмедом II (1691–1695), и заточён на острове Родос, где умер в 1705 г.

В Крыму, таким образом, снова сменился хан. На место Саадета пришёл Сафа-Гирей II (1691–1692). Он открыто обогащался, занимаясь вымогательством и даже торговлей, чего за крымскими ханами не водилось ни до, ни после этого бесславного правления. Понятно, что такой хан утратил уважение и авторитет не только среди знати, но и остальных подданных, ещё помнивших блистательную эпоху Селим-Гирея I.

Дошло до того, что беи отказывались идти с Сафой в поход и, в конце концов, обратились к султану с просьбой о его замене кем-нибудь другим. Султан внял этому прошению, и Сафа-Гирей был отозван в Турцию, где его поселили на о. Родос. Там он целиком посвятил себя тому, к чему его, кажется, влекло всю жизнь — торговым операциям, занятию, для крымца презренному. Этом он и занимался до самой смерти, последовавшей в 1703 г. (*Гайворонский*, 2003. С. 63).

А освободившийся бахчисарайский престол был в 1692 г. снова предложен Хаджи-Селим-Гирею I — в третий раз. Хотя на его возведении настаивали сами крымские татары, и новый султан Ахмед II (1691–1695) относился к нему с неменьшим уважением, чем покойный Сулейман II, этот весьма пожилой по тем временам человек (ему пошёл седьмой десяток) согласился вернуться в Хан-сарай с явной неохотой и после долгих уговоров. Не прошло и трёх лет после его возвращения на родину, как повторилась старая история: его пригласили в новый поход (Османская империя должна была воевать одновременно с Россией, Польшей и Австрией). Причём, как показало будущее, Гирея с войском призывали на поля сражений не столько из-за военной силы Крыма (хотя она была ценна тоже), сколько по причине богатого опыта и безусловных полководческих дарований престарелого хана. Он фактически председательствовал на турецких военных советах.

Между тем его присутствие требовалось в Крыму по причине новых возможностей, открывшихся на Украине. Там вспыхнули массовые волнения, имевшие весьма перспективную для ханства направленность.

5. Селим-Гирей I и гетман Петрик

Замышляя великолепное, следует не столько пытаться подстраивать оказии, сколько пользоваться подвёртывающимися.

Умберто Эко. Остров накануне

Одним из инициаторов упомянутых волнений был Петр Иваненко, писарь Войска Запорожского, родственник генерального писаря В.Л. Кочубея (того самого, из пушкинской *Полтавы*), более известный среди современников под именем

Петрик. Участники этого движения украинских низов стремились «искоренить арендаторов, панов и всех богачей», которые в последнее время экономически совершенно подавили крестьян и даже казаков. С другой стороны, к новой смуте примыкали и зажиточные украинские владельцы наследственных хуторов, тоже казаки, не желавшие забывать былую волю, свободу от московских царей (а в то время русский престол занимали будущий император Пётр с братом Иваном), то есть характер движения был далеко не только социальный.

Кошевой И. Гусак точно обозначил причину мятежей: распространение на Украине русских крепостнических порядков («бедным людям хуже, чем при ляхах», новые господа принуждают украинцев, чтобы они «сено или дрова возили, печи топили или конюшни чистили»). И даже сторонники Москвы признавали, что «москали, которые в городах живут, людей бьют, крадут, насильством отнимают, детей малых крадут и увозят в Москву» (цит. по: *Соловьев*, 1988. Кн. VII. С. 482). Другими словами, протест носил как социальный, так и ещё более чисто *национальный*, прямо антирусский характер.

Начало волнений относится к 1691 г., когда московского стольника А. Чубарова, привезшего весной этого года на Украину оскорбительно низкую плату «козакам за службу царёвым величествам» (500 червонцев и пару десятков соболей — это на всех!), встретил взрыв негодования. Запорожцы бросали наземь московскую казну и кричали: «Если так, то надо старших москалей побить или в Чертомлык посажать, остальных же отдать в городки!» (цит. по: указ. соч. С. 480). По некоторым сведениям, В.Л. Кочубей в то же самое время раз или два писал в Бахчисарай, прося хана о помощи для оттеснения Москвы на старые рубежи, то есть для восстановления исторических границ Украины. Об этом свидетельствовал кази-керменский дефтердар Шабан (там же). Судя по дальнейшим действиям Петрика, он был не только в курсе разгоравшихся на Украине событий (об этом знали все), но и представлял себе позицию своего дяди, высокопоставленного и авторитетного среди казачества.

В мае 1692 г. Петр Иваненко бежал в Крым. На полпути из Кази-Кермена он направил казакам открытое письмо, где объявлял о своих намерениях. Он писал, что, поскольку «благодаря ненавистным владетелям» московским Украина дошла до полного упадка, а спасать её большинство казаков отказывается, остерегаясь царских войск, то остался один выход: объединиться с другой областью, также опасающейся московского насилия, с Крымским государством: «когда предки наши жили с этим государством в союзе, то никто над нами не смеялся, и теперь все вы, добры молодцы, будете довольны договором, который я заключу с Крымом». После прочтения письма казаки разделились: старшина, издавна всячески поддерживаемая Москвой, заявила об отказе от такого сотрудничества, в то время как преобладающее число войсковых казаков закричало: «А мы с крымцами и Петриком войною на украйные города пойдём!» (цит. по: укач. соч. С. 481). После чего, собственно, и началось открытое вооружённое восстание против московско-гетманской власти.

В том же месяце, 26 мая 1692 г. украинско-крымскотатарский трактат о вечной дружбе был подписан (летом этот договор признало и всё казачество). Согласно его пунктам, хан Селим-Гирей и его преемники должны были Украину «от поляков и от Москвы и от всех неприятелей оборонять всегда». Более того, Крым обязывался помогать Украине «для отобрания от московской власти Малороссийской Украины» (арт. III), а казачество должно было отворить «муравские

шляхи татарам», то есть уничтожит московские засеки (арт. VII). Кроме того, стороны обязывались в предоставлении друг другу наибольшего экономического благоприятствования, прав беспошлинной торговли и рыбной ловли, взаимно гарантировали полную безопасность купцов на дружественной территории. Восстанавливалась и государственность Украины: хан признавал её как суверенное от Москвы и иных держав «Княжество Киевское и Черниговское со всем Великим Запорожьем и народом Украинским». Стороны основывали друг у друга дипломатические представительства и постоянную почтовую связь со станциями в Кази-Кермене и Переволочной (*Оглоблин*, 1930. С. 53–54).

В июле Петра Иваненко уже избирают гетманом, и это гетманство признаётся крымскими татарами и частью казачества, ему симпатизируют такие видные украинские лидеры, как генеральный писарь В.Л. Кочубей и некоторые кошевые. Но И.С. Мазепа и большая часть казацкой старшины, уже задаренные Москвой деньгами, имениями и землями (украинскими же!), настроены решительно промосковски. Поэтому и началась напряжённая четырёхлетняя борьба за сочувствие и поддержку основной казацкой массы.

Многие казаки, проникшиеся идеями Петрика, покидали Сечь и уходили в Крым, в основном по Днепру в лодках. В отдельные периоды это политическое разделение казачества доходило до вооружённых столкновений. Они, конечно, были крайне болезненны не только для украинского населения, но и для Москвы и даже для Европы: там уже шли серьёзные разговоры о том, что антитурецкой лиге надо бы, не теряя времени, открывать новый крестовый поход на неверных и примкнувших к ним казаков.

Петрик, находясь в Крыму и встречаясь с Селим-Гиреем, был хорошо информирован о позиции хана и его приближённых. Он слал на родину длинные письма, которые читались на казачьих кругах. В этих текстах мы находим не только трезвую, взвешенную и объективную оценку истории украинско-московских отношений, но и также спасительной для казачества роли Крымского ханства в этом противостоянии. Мы встречаем в них и удивительные прозрения будущего, предвиденья дальнейшей экспансии России на юг и трагической судьбы, ожидающей народы Северного Причерноморья, если они не окажут этой агрессии совместного сопротивления:

«Хан крымский за то на нас враждует, что мы ему на поле и на воде чиним беду. Но удивительно, что московские цари, которые не через меч нами завладели, перевели наш край Чигиринский на заднепровскую сторону, обсадились нашими людьми со всех сторон, и, откуда бы ни пришёл неприятель, наши города и сёла горят, наших людей в неволю ведут, а Москва за нами как за стеной цела и, всем этим не довольствуясь, старается всех нас сделать своими холопями и невольниками. Для этого первых наших гетманов, Многогрешного и Поповича, которые за нас стояли, забрали совсем в неволю, а потом и нас всех хотели взять в вечное подданство, но Бог им не помог: не могли разорить Крым и осадить своими людьми казикерменские города, а потом прогнать нас из Сечи и учинить по городам воевод... Если бы король польский или цари московские с крымским ханом помирились, то к кому бы нам было приклониться, кто бы нам в такой беде подал помощь? Когда Богдан Хмельницкий с Войском Запорожским и ордами из-под ляхского подданства выбился, то не добро ли нашей Украине делалось?» и т. д. (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VII. С. 483–484).

К этому времени Селим-Гирей обязался помогать восставшим в борьбе с русскими правительственными войсками и частью казачества, оставшейся верной московскому правительству и ставленнику его И.С. Мазепе. И уже летом 1692 г. Петрик во главе нескольких тысяч казаков, одновременно с прискакавшим из Крыма калгой Девлетом, пытался овладеть Каменным Затоном. К нему присоединялись всё новые казацкие сотни во главе с куренными атаманами. Прибыл в его лагерь и бывший гетман, популярный в народе Григорий Сагайдачный. Эти казаки присягали в верности хану, «в приязни к Крыму». Всего в лагере у Каменного Затона казаков собралось три тысячи или больше, но основную силу в собиравшемся войске представляли собой, конечно, крымские татары. Так что когда И.С. Мазепа попытался с ходу опрокинуть союзников, то у него ничего не вышло. Пришлось слать гонцов за московской помощью.

Волновались казаки и на следующий, 1693 г., и московские каратели ничего не могли с ними поделать, так как хан снова прислал Петрику 40-тысячное войско. Впрочем, значительных успехов не добились и восставшие. Общему делу весьма вредил раскол в их рядах, взаимные дрязги, умело раздуваемые московскими посланцами и местным православным священством. С другой, противоположной, стороны, некоторые из мятежных украинцев ставили превыше всех выгод старинные вольности и общеукраинскую независимость, высоко ценя крымскую помощь в этом трудном деле (*За кем хан, тот и пан!* — это была расхожая пословица той эпохи).

Но другим украинцам важнее была православная вера, отчего даже московские насильники оказывались для них ближе крымских союзников. Неслучайно московский посланец, дьяк А. Виниус писал в Кремль о преданности украинцев не России (что доброго видели они от Москвы?), а вере: «По городам, сёлам и деревням видел я в народе совершенную твёрдость православной церкви, большую набожность...» — и этого было вполне достаточно (цит. по: *Соловьёв*, указ. соч. С. 499). Немалую роль играли для части казачьего войска и московские подачки. Когда в феврале 1693 г. выборный С.Ф. Гурко (Палий) с лубенским полковником ходил под Кази-Кермен, где сжег предместье крепости и «умертвил многих тамошних жителей», то казаки получили от Москвы за этот подвиг тысячу полновесных талеров (*Бантыш-Каменский*, 1822. Ч. III. С. 22). Именно этот раскол казацкой массы в конечном счёте стал причиной провала дружественной Крыму политики Петрика и части казачьего войска[1].

Петрику удавалось несколько раз ходить походами с крымскотатарскими и казацкими войсками, забираясь далеко на север от Перекопа. Но каждый

[1] И всё же старая и устойчивая идея крымско-украинского союза, направленного против беспокойных северных соседей, с политическим крахом Петрика не исчезла. Через несколько лет она была подхвачена и развита другим политическим лидером казачества, генеральным писарем Пилипом (Филиппом) Орликом. В арт. III его знаменитой Конституции 1710 г. встречается такая мысль: «нам всегда приязнь суседская Панства Крымского есть потребна... на которую бы окрестные панства заглядываючися, не дерзали порабощения себе Украины желати и оную в чём колвек (т. е. «когда бы то ни было». — *В.В.*) насильствовати» — «тегды... мает ясновельможный гетман... стараться об объявлении давнего с Панством Крымским братерства, коллегации военной и подтверждения вечной приязни» (цит. по: ЧОИДР, 1859. Кн. I. С. 246–247; полный текст Конституции см. в: *Бодянский*, 1847. С. 1–17).

раз возникали недоразумения внутри союзного лагеря: то казаки выскажут неприятие «бусурманского» товарищества, то крымцы уйдут нежданно и необъяснимо домой; в отличие от казаков они были людьми хозяйственными и не могли надолго забрасывать поля и сады. Понятно, что вслед за ними был вынужден возвращаться в Крым и их украинский друг. Такой поход имел место, к примеру, в 1695 г. Когда крымские конники повернули назад, Петрик ещё некоторое время разъезжал по волновавшейся Полтавщине, рассылая свои универсалы-манифесты, в которых призывал не якшаться с Москвой, а поддерживать отряды, выбивающие солдатские гарнизоны из городков и местечек.

И ещё раз, в феврале 1696 г. Петрик вместе с ханом Селим-Гиреем и заперекопскими ногайцами ворвались в Малороссию, прошлись по территории Миргородского и Полтавского полков[1], ударили сильно на российские гарнизоны, но основная масса казаков не поддержала народного гетмана (*Бантыш-Каменский*, 1822. Т. III. С. 28). На этот раз И.С. Мазепа решил раскошелиться и торжественно пообещал тысячу полновесных серебряных рублей тому, кто возьмется убить казацкого предводителя. Такой охотник нашелся. Некий Вечирченко (или Вечорка) подстерег Петрика и нанес ему смертельную рану копьем в спину. Но новый Иуда не сумел попользоваться своим серебром. Согласно традиционным московским рецептам, ненайденные убийцы почти сразу же прикончили и этого киллера, чтобы дело осталось в тайне, а деньги — в мазепиной казне (*Гетьмани*, 1991. С. 119).

6. Южная политика Петра I

Ситуация колебаний и неясности на Украине начинает меняться с приходом в Москве к единовластию Петра I.

Нужно отметить, что этот царь, действуя, в целом, в русле традиционной московской политики «приращения земель», существенно её модернизировал. Причём его страсть к европейским нововведениям была вызвана именно стремлением поднять старую экспансионистскую политику на качественно новый уровень. Поэтому можно сказать, что все «европейские» реформы той эпохи, начиная с самой первой, были вызваны не европейскими, а старорусскими страстями молодого человека. Что, кстати, было вполне понятно его современникам, не говоря уже о более поздних историках — в основном европейских. Российские же исследователи эпохи слишком часто принимали петровские реформы за искреннее желание фундаментально обновить саму Московию — и ошибались.

---

[1] Полками в то время обозначались не только воинские части, но и административно-территориальные единицы. Украина была разделена на 16 полков или областей. Полковые города управлялись по принципам Магдебургского права. Оно было весьма демократичным: действовало общественное самоуправление, выборные и гласные суды, ремесленники и купцы обладали широкой цеховой и гильдийной автономией. Эта правовая система имела весьма мало общего с российским «городовым управлением», будучи вполне европейской. После окончательного овладения украинской территорией полковая система была Россией ликвидирована, как и упомянутое городское право европейского типа.

Пётр I.
Бюст Карла Растрелли.
Эрмитаж

Чего стоит лишь одна из них — ужесточение крепостной системы, отбросившее Россию далеко назад, в Средневековье. А всякого рода «модернизаторы» встречались в истории Московского государства и до Петра.

Иван Грозный, далёкий предшественник Петра I на московском троне, с помощью муштры также укреплял административную власть, и даже поощрял развитие некоторых областей национальной культуры с той же целью: чтобы внушать страх соседям. Эта агрессивность, страсть к увеличению власти и внешним захватам — яркие черты варварства. На службу ей привлекается всё, включая даже совершенно не варварскую, а вполне современную культуру тех времён. Что впоследствии обращается во вред самим носителям этой культуры — в данном случае европейским, щедро делившимся своим духовным и научным достоянием с любознательным Петром, жадно впитывавшим всё, что могло усилить роль государства в национальной политике и его личную власть.

Заметной стала и ещё одна, также качественная перемена: экспансия, с давних пор направленная на территории Дикого Поля, имела некое самодовлеющее значение. Ибо она была лишена какой-то чёткой конечной цели. Этот процесс был мало похож на полноценную экономическую колонизацию новых земель. В отличие от времён Ивана Грозного, который получал огромные доходы от новозавоёванных зауральских земель (пушной промысел, а позже — полезные ископаемые), это было какое-то почти первобытное, и уж конечно, бесприбыльное (часто убыточное для казны) «расселение по обширной дикой стране... [которое] надолго парализовало развитие русского общества» (*Любавский М.К.* Историческая география России. М., 1908. С. 8–9).

Швейцарский историк и культуролог XIX века Якоб Бурхардт заметил както: «В царизме проявлялось постоянное искушение к такому поведению, и мир увидел ярчайшее и окончательное выражение этого в образе Петра. Данная особенность издавна была присуща всем варварам: их могущественные повелители всегда были завоевателями. С тех пор трагическая участь Европы заключалась в том, что западные народы, изнутри подверженные беспрестанным превращениям и революциям, одновременно подвергались извне (то есть с востока. — *В.В.*)

натиску почти полностью механической силы, которая не имеет, можно сказать, никакого отношения к их радостям и страданиям, к их духу и их высшим целям» (*Бурхардт Я.* Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 451–452).

Отмечу, что петровская «механическая сила» и не могла иметь ничего общего с европейским типом развития по указанной выше причине: она целиком находилась внутри рамок архаичного типа государственного существования, лишь внешне уподобляясь Европе, да и то на весьма жалком уровне.

Глубокое объяснение природы этой силы, этого натиска дал в одной из своих исторических работ Карл Маркс. Классик справедливо охарактеризовал не только русских, но и всех славян в целом, как «расу» изначально сугубо сухопутную. Действительно, их экспансия была постоянно направлена на территории, удалённые от моря. И даже когда русские по инерции выходили к побережьям, например, к устью Невы в XIII–XIV вв. (а поляки — к протяжённому балтийскому побережью), то ни те, ни другие никак новые возможности не использовали, в отличие от соседних немцев, основывавших в схожей ситуации один торговый город-порт за другим. Напомню, даже старый русский порт Архангельск был исключительно «принимающим»; своих кораблей, способных добраться до Европы, у тамошних жителей не было. Поляки и в XVIII в. оставались сухопутной нацией у моря; в России же эта ситуация коренным образом меняется с приходом к власти Петра.

«Пётр Великий с самого начала порвал со всеми традициями славянской расы. России нужна вода. Эти слова, с которыми он с упрёком обратился к князю Кантемиру, стали девизом всей его жизни! Завоевание Азовского моря было целью его первой войны с Турцией, завоевание Балтики — целью его войны со Швецией, завоевание Чёрного моря — целью его второй войны против Порты и завоевание Каспийского моря — целью его вероломного вторжения в Персию. Для системы местных захватов достаточно было суши, для системы мировой агрессии стала необходима вода. Только в результате превращения Московии из полностью континентальной страны в империю с морскими границами московская политика могла выйти из своих традиционных пределов и найти своё воплощение в том смелом синтезе, который, сочетая захватнические методы монгольского раба и всемирно-завоевательские тенденции монгола-властелина, составляют жизненный источник современной (XIX в. — *В.В.*) русской дипломатии» (*Маркс*, 1989. № IV. С. 11).

Перед молодым царём, стремившимся пробиться уже ко второму (после Архангельска) выходу в океан, стоял выбор: Балтику добывать или Чёрное море. В пользу первого варианта его склонял близкий друг и советник, швейцарец Ф. Лефорт. В пользу второго — И.С. Мазепа, заинтересованный в воинском присутствии русских на слишком уж вольной, по его мнению, Украине. При этом гетман гарантировал царю лёгкую победу при помощи многочисленного, хорошо вооруженного и опытного в борьбе с турками и крымскими татарами казацкого войска.

Царь, как известно, весьма доверявший гетману и ценивший богатый политический опыт старика, склонился к его мнению и выступил в 1695 г. на Азов. Этот поход, получивший название Первого азовского, больших результатов не имел, чему турецкий гарнизон крепости во многом был обязан крымскота-

Крымский татарин, 1700 г.
Коллекция музея Ларишес

тарскому войску (см. ниже). Но через год, когда молодым царём были собраны гораздо большие силы, а также увеличено число боевых кораблей и транспортных судов, поход к устью Дона повторился с куда большим успехом.

а) Захват Азова

К началу Первого азовского похода войско Селим-Гирея во главе с самим ханом оказалось на месте, у Перекопа и Азова. Наступление русских уже шло полным ходом, когда хана практически силой лишили возможности руководить обороной Крыма ради очередного похода, предпринятого новым султаном Мустафой II (1695–1703 гг.). Селим-Гирей подчинился, но во время его отсутствия пали Эски-Таван, Арслан-Кермен и Кыз-Кермен, был сожжён Шах-Кермен. Сотни мирных жителей были при этом подвергнуты пыткам, казнены, уведены русскими солдатами для продажи в рабство (*Лехно*, 1882. С. 12)[1]. Чонгарский перешеек удалось удержать только отчаянной храбростью

[1] При этом многие остались в худшем из рабств — российском. Их использовали на севере в качестве рабочей силы при постройке каналов и крепостей ещё многие годы, затем они сгинули в безвестности. Единственный след их дальнейшей судьбы случайно уцелел в архивных материалах: из Пскова в 1703 г. до петровской администрации донеслась весть о 300 крымских и турецких пленниках, которые помирают от голода. Поэтому они, говорилось далее в докладной записке, работать более не могут, что и обеспокоило местное начальство (РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1703. Д. 5. Л. 10).

эмиров из рода Ширинов, сам великий муфтий Хасан-эфенди сражался среди них как простой воин.

Крым, оттянувший на себя от Азова значительную часть экспедиционного войска Москвы, был тем не менее спасён мужеством своих защитников. Остальных же стрелецких и солдатских полков, ушедших на Азов, оказалось недостаточно для того, чтобы взять эту крепость. При этом следует отдать должное украинским и русским беглым раскольникам, спасавшимся у крымцев от жестоких преследований «схизматика» Петра, они сыграли немалую роль, отчаянно сражаясь в крепости и на ближних подступах к ней бок о бок с мусульманами. Натиск с севера удалось в очередной раз отбить, но Селим-Гирей думал уже о будущей кампании. Находясь вдали от Крыма, не имея никакой возможности вернуться в свой горящий дом, он писал новому султану: «...цель злоумышлений этого неприятеля (т. е. царя Петра. — *В.В.*) не один Азов. Он велел выстроить сто кораблей, вмещающих в себе по пятидесяти человек стрелков, и готовится к нападению с моря. Если великий Господь не откажет Азову в своей милости и благоволении и защитит его от врагов, то ладно; а если — от чего Боже сохрани! — постигнет его беда, то, располагая во время надобности приготовленными для морской стороны снаряжениями, враг распустит знамя над берегами Чёрного моря, и тогда прощай спокойствие и безопасность анатолийского и румелийского прибрежий и стамбульского пролива! ...Мы столько времени служили, жертвуя жизнью и головой, под сенью падишаха исламского за правую веру! В такие времена мы надеемся на милосердие и помощь Высокой Державы... а между тем на те вещи, о которых мы просили через своих представителей, для того чтобы было способнее нести службу, нет соизволения; крепости наши разрушены, боевые посты без воинов — разве прилично вере нашей уйти во время нападения неприятеля, побросавши жён и семьи наши явно в пасти вражеской?!» (цит. по: *Смирнов*, 1887. С. 654–655).

При внимательном рассмотрении этого необычного документа в нём легко наметить два главных мотива. Первый — это продолжение бесстрашного обличения политики Порты, беспечно оставляющей Крым на произвол судьбы, думающей только о своих сиюминутных выгодах и не понимающей до конца самой грозной опасности, а именно московской, для всей империи. Второй мотив связан с внутренней невозможностью для хана покинуть турецкий походный лагерь без позволения султана: Гирей после последних событий, едва не стоивших ханству утраты суверенитета, явно не надеется, что Крым в состоянии в одиночку устоять перед сотнями тысяч русских, многократно превосходящих крымских татар не только численно, но и по количеству артиллерии и личного огнестрельного оружия[1]. Но как только Мустафа II дал такое позволение в сентябре 1695 г., Селим-Гирей I вернулся в Крым.

---

[1] В составе московского войска находилась, наряду со стрельцами, 31 000 регулярного войска *нового строя*, то есть по-европейски обученного и вооружённого. В том, что на будущий год московская агрессия возобновится, были уверены и крымцы и турки: сняв осаду Азова, русские не удалились восвояси совершенно, а оставили свой гарнизон в двух захваченных башнях-каланчах близ самой крепости и в прилежащем татарском селении, укрепив его и даже дав ему *русское* название Новогеоргиевска (*Gordon*, 1851. B.II. S. 618–

Едва прибыв в Бахчисарай, хан отправил приднепровским казакам грамоту, в которой им делалось предложение совместных действий в будущей схватке против русских. По разного рода техническим причинам (вплоть до необъяснимого отсутствия у казаков в тот момент толмача, знавшего арабскую графику) начало прямых переговоров затягивались. Порта тоже никак не реагировала на письма Селим-Гирея о скоплении русских войск близ Азова и явной подготовке нового нападения с севера. Такое общее невнимание объективно выглядело как политический бойкот, что привело старика-хана к нервному срыву, он серьёзно заболел. Лишь по этой причине был отменён новый вызов хана Портой — теперь уже в поход на венгров (*Смирнов,* 1887. С. 659, 663).

Бои под Азовом в следующем 1696 г. шли с переменным успехом. Ситуацию ухудшило то обстоятельство, что украинские казаки не только не оказали помощи Селим-Гирею, но, воспользовавшись занятостью крымского войска на северном направлении, нередко грабили беззащитные побережья полуострова. Что же касается донских казаков, то они под руководством атамана Ф. Минаева совершили нападение на турецкую эскадру, шедшую для поддержки крымского войска под Азовом. Несмотря на то что она насчитывала 13 кораблей и 24 мелких судна, согласно упоминавшейся рукописи Ф.И. Соймонова, казакам удалось потопить 2 корабля, не считая небольших (очевидно, транспортных) судов (ОР РНБ, F. IV. 736/1. Л. 45 об.–46).

Для азовской кампании это сыграло роковую роль. С одной стороны, молодой русский флот (в основном галерный), построенный за зиму в Воронеже, с его неопытными, по сути крестьянскими экипажами, не был в состоянии тягаться с многопушечными кораблями Порты. Но и турки оказались не на высоте, после столкновения с казаками даже не приблизившись к Азову. Они позорно «*не решились* атаковать русский флот» (*Брикнер*, 1882. С. 144). А если быть точнее, там не было никакого русского флота — лишь флотилия из мелких гребных судов, практически неспособная нести корабельную артиллерию.

Не исключено и иное объяснение тактического решения, принятого капудан-пашой. Дело в том, что морские и речные глубины на подступах к Азову невелики, поэтому подход к крепостным стенам доступен лишь гребным судам, но отнюдь не низко сидящим морским парусным кораблям. Впрочем, попытаться доставить на азовский берег порох, бомбы и вооружение турецкому флагманскому командиру помешали казаки, вышедшие в залив из-за Каноярского острова. Что же касается десанта, вполне возможного, если учесть многочисленность корабельных экипажей, то высадить его на прилегавшем к Азову побережью турки даже не попытались. А затем крепость оказалась наглухо блокированной. Гарнизон остался без подвоза боеприпасов, воды и провизии (подр. см.: *Тушин*, 1978. С. 155–156).

Именно кольцевая блокада этой мощной крепости и подорвала боевой дух довольно многочисленного турецкого гарнизона, ранее беспрепятственно снабжавшегося с моря, Дона и суши. Комендант Азова, договорившись с посланными из Стамбула для его поддержки пашами, по собственной инициативе, ещё до начала решающего штурма, вступил с русскими в переговоры о капитуляции.

621). Здесь можно отметить, что замена крымскотатарской топонимики на русскую началась задолго до депортации 1944 г., и даже до аннексии ханства, ещё в XVII в.

И 18–19 июля 1796 г. эта старинная крымскотатарская, а затем османская твердыня была сдана неприятелю.

Так Москва впервые в её своеобразной истории получила выход в ещё одно море, являвшееся, по сути, заливом великого Средиземноморского бассейна. Это было серьёзной угрозой странам региона: теперь стало очевидным, что русские закрепляются на берегах Чёрного моря, имея далеко идущие планы. Мустафа II приказал казнить командированных в Азов пашей, а опозорившемуся флоту велено было остаться на зимнюю стоянку не в стамбульском Золотом Роге, а в Кефе или Керчи. Но вскоре к султану вернулась его обычная беспечность. Он простил командование эскадры, и ей было разрешено вернуться на зиму домой.

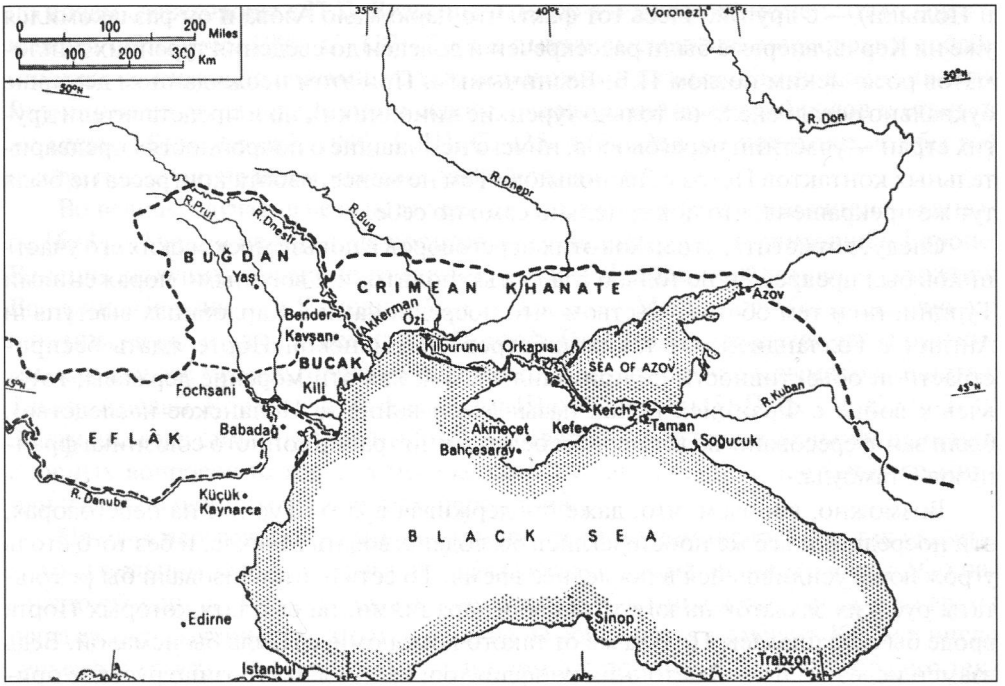
В противоположность осману, царь Пётр беспечным не был. И ещё труднее было бы обвинить его в бездеятельности. Едва добившись первых успехов на берегах Азово-Черноморского бассейна, он принялся буквально врастать в новые, пока весьма ограниченные участки прибрежной суши. Так, им было весьма оперативно «произведено укрепление устья Дона, проведены мероприятия по заселению города Азова, усилены крепостные сооружения Казыкермана и других приднепровских городков. Царь совершил плаванье по Азовскому морю для выбора гавани, удобной для будущего флота. Такое место было найдено у мыса Таганрог. Энергично начал создаваться флот» (*Орешкова,* 1971. С. 27). Однако эти приготовления делались в расчёте на более или менее дальнюю перспективу, поскольку в марте следующего 1697 г. Пётр выехал в составе Великого посольства на Запад, имея в планах подготовку широкомасштабной экспансии совсем в ином, балтийском направлении.

Но незадолго до начала этой более чем двухлетней поездки царь обезопасил себя с юга, заключив в Вене антитурецкий наступательный союз с Австрией и Венецией, тогда находившимися в состоянии войны с Османской империей. Согласно Венскому трактату союзники не имели права вступать с турками в сепаратный мир, а в военных действиях должны были согласовывать свои оперативные планы с Россией (ПБП, Т. I С. 124–128) — в дальнейшем этот пункт имел большое значение не только для Порты, но и для Крыма. Однако уже через год стало известно, что Вена ведёт со Стамбулом сепаратные переговоры о мире. В июле того же года Пётр прибыл в Австрию, где на встрече с цесарем Леопольдом I узнал, что готовящийся мир предусматривает возврат воюющих сторон на старые позиции без выигрышей и потерь. В данном случае имелся в виду мирный договор на основе классического принципа *uti possidetis ante bellum* или взаимного признания прав по положению, существовавшему до войны.

Но это никак не устраивало царя, только-только начавшего разворачиваться на юге. И он стал готовить новую, уже дипломатическую агрессию, направленную даже не против Турции, но однозначно против Крымского ханства.

б) Карловицкий конгресс

То, что Пётр I был категорически против *любого* мира с турками, было ясно ещё на его первой встрече с австрийским императором (цесарем) Леопольдом I. Тогда он вообще высказался против каких бы то ни было мирных переговоров с черноморскими мусульманами. Он понимал, что захвачено ещё слишком мало,



Карта Крымского ханства в 1700 г.
Турецкий источник

чтобы торговаться о каких-то политических уступках со стороны противника на условиях возврата ему его же бывших крепостей и территорий (тогда, да и позже эта практика была обычной основой переговоров такого рода).

Первым объектом захвата логично становилась Керчь, без овладения которой Азов мало что значил. Ведь крепость находилась в устье Дона, а Петру требовалось запереть Керченский пролив и остаться единоличным властителем Азовского моря — маленького, но впервые собственного, московского. Царь этого и не скрывал от австрийцев. Его посланцы утверждали на переговорах, что «не усмиря татар и не имев в их землях крепости не возможно к миру приступить и со стороны Его Царского Величества тем довольство восприять» (ПБП. Т. I. С. 259).

Затем, уже на стадии обмена проектами текста нового договора, московская сторона уточнила, что мирные переговоры с Турцией совершенно невозможны без уступки ими Керчи. В противном случае «Его Царскому Величеству и при получении мира никакая будет польза и непременно противу тех (татарских. — *В.В.*) набегов надобно иметь войска» (ПБП. Т. I. С. 262). То есть было принято вполне определённое решение «ногою твёрдой стать при море». Вернее, даже двумя: второй опорой должен был стать собственно Крымский полуостров, хотя там до сих пор эта самая «твёрдая нога» русских царей ещё ни разу не ступала.

Наступила осень 1698 г., и переговоры были продолжены в небольшом городке Карловицах (Славония), в резиденции сербского православного митрополита. Переговоры шли между Портой с одной стороны, и «Священной лигой» (антитурецкая коалиция, с 1686 г. состоявшая из России, Австрии, Венеции

и Польши) — с другой. Здесь тот факт, что царю мало Азова и он разлакомился уже на Керчь, впервые были рассекречен и доведён до сведения турецких дипломатов российским послом П.Б. Возницыным. При этом неожиданном демарше буквально остолбенели не только турецкие чиновники[1], но и представители других стран — участниц переговоров, ничего не знавшие о подробностях предварительных контактов Петра с Леопольдом. Тем не менее, работа конгресса не была тут же прекращена, что показательно само по себе.

Следует отметить, что исход этих переговоров в пользу московских его участников был предрешён не только слабостью политики и военными поражениями Турции, но и тем обстоятельством, что посредниками в Карловицах выступали Англия с Голландией. От таких арбитров Оттоманской Порте ждать беспристрастной объективности не приходилось, так как эти морские державы, готовясь к войне с Францией (к так называемой войне за Испанское наследство), были заинтересованы во всемерном ослаблении традиционного союзника французов Стамбула.

Возможно, впрочем, что, даже поддерживая врагов Турции на переговорах, эти посредники всё же поостереглись бы содействовать Москве, и без того столь угрожающе усилившейся в последнее время. То есть нейтрализовали бы результаты русских захватов на юге хотя бы репарациями, на выплату которых Порта вроде бы соглашалась. Польза же от такого компромисса была бы немалой. Ведь взамен исчез бы новый источник конфликтов, каким явно грозило русское присутствие в Причерноморье. А в этом были заинтересованы, пожалуй, все участники конгресса, кроме русских, понятно. Но эту проблему решили не здравые рассуждения, а соображения совсем иного рода.

Дело в том, что русский уполномоченный на Карловицком конгрессе, думный советник П.Б. Возницын, явился на переговоры с огромной «собольей казной», что на современном языке означало бы несколько десятков драгоценных шуб из баргузинского соболя, предназначенных для подкупа. Иностранные участники переговоров, среди которых были весьма благородные особы (в том числе два герцога), принимали московские одеяния, не слишком ломаясь, что было в ту эпоху также в порядке вещей. Не совсем обычным было другое: на подкуп пошёл и *посланец самой Порты*, А.Маврокордато, которого сердобольный П.Б. Возницын наделил шубой «ради студёной погоды». Это — пример невероятной коррумпированности султанских чиновников, отчего он и попал даже в общие справочные пособия (см., например: Дипл. словарь. Т. II. С. 30).

Тем не менее современный историк, не найдя доводов в пользу столь беспардонной торговли интересами своей страны, усомнился в самом факте получения подкупа турецким послом, указав, что это преувеличение или даже прямая ошибка современников. Якобы на самом деле Маврокордато, хотя и вёл тайно,

[1] П.Б. Возницын весьма живо описывает искреннее изумление турок таким неслыханным по дерзости, попросту несбыточным требованием: «И когда турские послы то услышали, в великое изумление пришли и вдруг во образе своём переменилися... И, немалое время молчав и с собою шептав, говорили, что они того не чаяли... И как тот Керчь отдать? Он стоит на устье Чёрного моря против Тамани, и царскому величеству отнюдь не пристоен, и держит врата всего Чёрного моря и Крымского острова, и град тот великой. И не обмолвился ли он в имени или в ином чём?» (Памятники. Т. IX. Стлб. 253–261).

по ночам, переговоры с П.Б. Возницыным, но в последний момент от мехов отказался (*Павленко*, 1990. С. 117). Турки пытались смягчить московских послов столь же ценными подарками, то есть непохожими на знак обычной вежливости: Возницын получил прекрасного серого аргамака, пятерых верблюдов и столько же мулов (*Богословский*, 1940. Т. III. С. 435–437). Однако непохоже, чтобы это как-то повлияло на позицию московской стороны.

Во всяком случае, в результате *таких* переговоров (они завершились в январе 1699 г.) Турция не могла не проиграть. Её лишили ряда территорий в Европе: Венеция получила турецкие земли в Греции и Далмации, Австрия — в южной Венгрии, Польша — в Подолии. Что же касается Москвы, то было решено заключить на два года её перемирие с Портой. При этом Азов оставался за русскими, как и более мелкие городки на Днепре и в других местах Крымского ханства: Таван, Арслан-Кермен, Кыз-Кермен и Шах-Кермен (ПБП. Т. I. С. 271–273). За эти два года стороны должны были договориться об окончательном решении спорных вопросов (о городах прежде всего) с заключением постоянного мира или же с дальнейшим продлением перемирия.

На этих переговорах Крымское ханство если и упоминалось, то, так сказать, в страдательном залоге: указывались *обязанности* Крыма, но не его *права*. Что нетрудно объяснить: Гирей не был введён в число участников конгресса, а во время переговоров выяснилось, что они вообще не собираются включать Крым в число субъектов трактата. Бахчисарайские дипломаты понимали, что если под его текстом не будет подписи Гирея, то он в будущем не сможет апеллировать к гарантам договора в случае любого нарушения своих прав в качестве крымского государя. То есть что такой договор предоставит столь же нестеснённую волю для русских на крымских территориях, сколь свяжет руки крымским татарам. Поэтому дипломаты Гирея в течение пяти месяцев карловицких встреч неоднократно, но тщетно настаивали на его включении в число участников переговоров.

Затем та же работа продолжалась на протяжении года с лишним, понадобившегося для подготовки другого международного мирного договора (Константинопольского, 13 июля 1700), призванного закрепить и гарантировать соглашения, достигнутые в Карловицах. Но и здесь она прошла впустую, и по столь же понятной причине. И на эти переговоры, решавшие судьбу ханства, крымские представители также приглашены не были. И вообще на протяжении ближайших пяти–шести лет дипломатической истории Турции Крым играл в ней не слишком заметную роль.

Другое дело — военная защита северных территорий империи. Здесь, как будет видно ниже, хан по-прежнему был нужен Порте.

Правда, им был уже другой крымский государь, Девлет-Гирей II (Хаджи Селим-Гирей был в очередной раз смещён 2 марта 1699 г.).

VIII. КРЫМ В ЭПОХУ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ II

1. Константинопольский мирный договор

Первым из основных вопросов на упомянутой встрече, начавшейся в ноябре 1699 г. в Стамбуле, стала проблема обладания захваченными Москвой крымскотатарскими городками у Днепра. Русские не желали их уступать, хотя турки, пользуясь отсутствием посланцев Бахчисарая, предлагали (вместо возврата этих небольших крепостей хозяину) передать их во владение Порте (*Павленко*, 1990. С. 122). Причина, по которой глава русской делегации думный дьяк Е. Украинцев наотрез отказывался даже обсуждать этот вопрос, предельно ясна. Эти городки, не представлявшие собой никакой ценности как гавани или экономические центры, давно служили опорными пунктами, необходимыми для обороны ханства против любой, в том числе московской агрессии. При первой её угрозе обычно не только из Ора, но и изо всей цепи небольших прибрежных селений выходили крымские отряды, делавшие невозможным продвижение противника далее к Крыму на всём огромном пространстве Дикой степи:

«Столица царя московов на два месяца пути от Крыма, а потому, когда они пойдут, бывало, на Крым, то мы, выйдя на 15–20 станций (т. е. конных переходов. — *В.В.*) им навстречу, выжжем травы и разорим деревни, изморим их и лошадей их голодом и принудим их со стыдом вернуться назад. Теперь же все окрестности Крыма забрали гяуры». Такие доводы приводили прибывшие в Стамбул без приглашения к султану выборные эмиры Крыма. И добавляли, что ключ от османской столицы — это Крым, и его городки — отнюдь не османские крепости (*Смирнов*, 1889. С. 692). Наконец, на переговорах с русской стороной было достигнуто компромиссное соглашение насчёт передачи Турции этих небольших посёлков после предварительного их разорения. Что же касается живших там крымских татар, то они могли идти, куда глаза глядят.

Таким образом, 13 июля 1700 г. после дополнительных уточнений и был подписан этот договор, получивший имя Константинопольского (далее его содержание по публикации: ПСЗ. Т. IV. № 1804). По статье 2, «...у Днепра реки поселенные Тавань и Кизыкермень и Нустрет Кермень и Сагин Кермень городки да раззорятся с тем уговором, дабы везде на тех местах городкам и никакому поселению не быть, а реченные места со своими землями... во владение Оттоманского государства... да возвратятся». В то же время России передавались *неразорённый*

Азов и все прилежавшие к крепости городки, которые русские успели выстроить после её захвата, а также земли, находившиеся между этими городками (Ст. 4).

Чрезвычайно важным для дальнейших событий было учреждение демилитаризованной нейтральной полосы, на территории которой запрещалось возведение не то что крепостей, но и любых селений (причина ясна: они с лёгкостью превращались, в случае необходимости, в опорные базы агрессии): «от Перекопского замка начинающейся заливы, перекопской 12 часов расстоянием простирающейся земли, от края даже до нового города Азовского... среди лежащие земли пустые и порожние и всяких жильцов лишённыя да пребудут; также во странах реки Днепра от Сечи, города Запорожского... даже до Очакова... по обоей стороне Днепра, равным образом пустые и безо всякого жилища порожние да пребудут» (Ст. 5).

Со своей стороны султан обязывался удерживать крымских татар от набегов. Кроме этого ущемления собственной внешней политики, Крым терял традиционную дань (к тому времени она достигала 90 000 курушей[1]), ежегодно получаемую им от Москвы. Впрочем, и с севера запрещалась не только прямая агрессия «Москвичей и Казаков». Московский государь, кажется, впервые обязался перед лицом Европы, что не позволит казакам «с чайками и с суды водяными... выходить на Чёрное море...» (Ст. 8).

При этом права Крыма снова, как и в Карловицах, никак не оговаривались. Даже взаимное московско-турецкое ненападение было гарантировано не для Крыма, а для Порты и остальных участников мирного договора.

Итак, царь обязывался не строить новых крепостей вблизи границ Крыма (имелась в виду некая разделительная нейтральная полоса к северу от ханства), а также морских военных кораблей в бассейне Азовского и Чёрного морей. Но обязывался он опять-таки не перед Крымом, который не мог, таким образом, защищать в будущем и это своё жизненное (в буквальном смысле слова) право на безопасность границ ханства.

Уже после подписания Константинопольского договора Девлет-Гирей II с горечью заметил в письме султану: «Нас не включили в мир. Сколько мы ни просили, нашей просьбе не вняли и выказали к нам полное презрение». Конечно, такое развитие событий могло лишь усилить чувство одиночества и политической незащищённости, появившееся у лидеров ханства ещё на Карловицких встречах. Именно с той зимы, вспоминает бахчисарайский летописец Сейид-Мехмед-Риза, «обитатели Крыма стали поглядывать на события времени через двери страха и ожиданий» (цит. по: *Смирнов*, 1889, 693; 677–678).

2. Хан Девлет-Гирей II

Ещё до подписания Константинопольского договора, сразу после Карловиц, хан Селим-Гирей I стал снова, уже во второй раз, домогаться у Высокого Порога

[1] Куруш — общее название европейских монет различных по названию, но не эквиваленту, имевших хождение в Османской империи и некоторых других государствах Ближнего Востока. Равнялся одному западноевропейскому серебряному талеру.

собственной отставки. Для принятия этого решения ему было вполне достаточно новых внешнеполитических событий. Но нетрудно догадаться, что имелись и чисто личные причины. В последние годы этот Гирей, бесспорно уважаемый как друзьями, так и врагами, перенёс слишком много, а будущее если и сулило перемены, то в худшую сторону. И, наконец, его в последнее время стали слишком уж часто оскорблять, прежде всего султанские чиновные лица. И никакие внешние милости то одного, то другого султана не могли эти глубокие травмы излечить (даже если забыть о том, что за многими султанскими указаниями Гирею они лично и стояли, эти высшие чиновники Порты).

В качестве преемника Селим-Гирей теперь рекомендовал своего сына Девлета, того самого, которого ранее не советовал назначать на столь ответственный пост из-за молодости лет. С тех пор Девлет-Гирей показал себя достойным престола, неоднократно оставаясь на правлении ханством во время частых и долгих отлучек отца; он и сам в отправлялся походы в качестве предводителя крымских войск. Теперь султан Мустафа II официально назначил его на крымский престол. Это произошло 2 марта 1699 г., причём калгой хан избрал своего брата Шагин-Гирея. Всего Девлет-Гирей II правил два срока с пятилетним перерывом (1699–1703, 1708–1713 гг.) — это если не считать кратковременного, всего на несколько месяцев, возврата на отцовский престол в 1716 г.

В дальнейшем наше повествование будет неоднократно возвращаться к этому талантливому политическому лидеру крымскотатарского народа и незаурядному полководцу. Поэтому имеет смысл привести его словесный портрет, составленный в послеполтавский период современниками, встречавшимися с ним.

Иезуит о. Дюбан, побывавший в Бахчисарае, записывал, что хану «около 40 лет[1], он очень хорошо сложён, имеет благообразный вид, проницательный взгляд, очень правильные черты лица... Меня более всего обворожила доброта, с которой он принял меня. Он предложил мне множество вопросов относительно короля и войн Франции, которыми он, казалось, сильно интересовался. Он говорил мне также о нашем посланнике с выражением глубокого уважения и дружбы. Я воспользовался этим мгновением, чтобы просить позволения помогать рабам и другим христианам в его владениях. Он дал мне его тотчас же с такой благосклонностью, с какою я мог только желать...» (цит. по: *Кондараки*, 1883. Т. II. С. 115).

Несколько позже другой священник, протестантский пастор Агрелл, также лично знавший хана, отметил в дневнике, что это был старик лет шестидесяти, невысокий, быстрый и весёлый. Турки уважали его за то, продолжает англичанин, что он пользовался любовью своего народа, свободу которого этот Гирей неоднократно отстаивал с саблей в руке (*Tengberg*, 1953. S. 17).

Шведский король Карл XII писал своей сестре Ульрике Элеоноре в 1710 г.: «Хан — невысокий старик с лёгкой проседью в бороде, но весёлый, разговорчивый и сведущий буквально во всём, что отличает его от большинства турок, мало знающих о чём-либо, не имеющем отношения к их державе» (цит. по: *Carlson*, 1893. S. 101–102).

---

[1] На самом деле Девлет-Гирею в 1713 г. было 65 лет. Ошибка иезуита говорит о том, что хан выглядел значительно моложе своих лет.

А вот французский путешественник А. Ламотрэ высоко оценил «живой интеллект, доброжелательность и доступность (контактность) хана» (*La Motraye*, 1727. P. 29). Наконец, английский посол Роберт Саттон, проживший в Стамбуле много лет и там неоднократно встречавшийся с ханом, вспоминал Девлет-Гирея как человека необычного, «весьма предприимчивого, смелого и обладавшего неугомонным темпераментом» (цит. по: *Tengberg*, 1953. S. 18). Согласимся, что весьма различные из современников хана сходятся в своих исключительно положительных впечатлениях от встреч с этим необычным человеком.

Через некоторое время после начала правления нового хана вспыхнуло обширное восстание ногайцев, поднятых его братом, будущим ханом Гази-Гиреем III (1704–1707). Тот явил себя противником исполнения мирных положений Карловицкого и Константинопольского договоров («Девлет запрещает набеги, он хочет разорить нас, заставив жить, подобно скотам, подножным кормом», — подстрекал он кочевников). Мятеж был подавлен крымским войском, но событие это неожиданно отозвалось на судьбе бывшего хана Селим-Гирея.

Султан Мустафа II, в панике ожидавший появления сотен тысяч мятежных ногайцев в самой Османской империи, решил, что Гази поднял кочевников с согласия своего отца Селима и приказал сослать бывшего хана на Родос. Однако, поскольку верховный визирь, который должен был составить соответствующий фирман, был старым приятелем Селим-Гирея, то местом ссылки в документе вместо «Родоса» был указан «Серес», якобы в результате простой описки. Что похоже на истину, ведь исполненные арабским шрифтом (скорее всего, разными почерками), эти два топонима можно было спутать, тем более при желании. Туда, в крымский Ай-Серез под Судаком, и отправился бывший хан — вероятно, не без облегчения.

Но его судьба в дальнейшем оставалась тесно связанной с участью другого сына, старшего. Девлет-Гирей II постоянно с беспокойством всматривался во всё, происходившее севернее его владений. Точнее, в перемены, происходившие на упоминавшейся выше демилитаризованной, по идее, полосы вдоль границы ханства. Русские в который раз возобновили там создание базы для дальнейшей агрессии в пределы Крыма, так что беспокойство Гирея здесь было вполне естественным. А при желании можно было понять и чисто психологическое его возмущение таким нарушением Константинопольского договора, который сам-то он соблюдал. Причём не будучи его участником, а лишь испытывая органичное стремление к миру (каким, кстати, обладал и его отец, вынужденно провоевавший всю свою долгую жизнь). И вот, на фоне упомянутых репрессий против своих же подданных хан видит, что здание драгоценного мира разрушается совсем с другой стороны. То есть совсем иными, преследующими лишь собственные интересы людьми, по сравнению с которыми он — жалкий идеалист, верящий в действенность международного договора, гарантированного как-никак великими державами...

Выше упоминалось о том, что Девлет не имел права не только самостоятельно принимать меры против русских нарушителей Константинопольского мира, но и апеллировать к гарантам этого договора. В то же время что-то нужно было делать, ведь возраставшая опасность с севера не была плодом больной подозрительности Гирея. О том же говорили не только его бахчисарайские советники,

но и мурзы на местах. Да и не только мурзы, но и весьма чтимые за свою безупречную честность крымские имамы.

Как сообщает уже упоминавшийся турецкий хронист Фундуклулу, все они как-то «собрались и пошли к Крымскому хану Девлет-Гирею, согласившись (то есть договорившись. — *В.В.*) заставить его силою последовать им: пойти на московцев, рассеять их, вторгнуться в разные места пределов их и сжечь построенные ими крепости и корабли. Но крымские улемы не позволяли сзывать людей в поход, говоря, что это — противное миру дело, что об этих обстоятельствах надо дать знать в Высокую Порту, испросить её разрешения и сообразно с этим уже действовать» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 692).

Конечно, хан посылал такие грамоты султану, но они если и оказывали воздействие на ситуацию, то в противоположном направлении. Приведём самый «результативный» пример такого рода. «В ту пору московцы на расстоянии пятнадцати часов пути от Ферах-Кермана (т. е. крепости Ор на Перекопе. — *В.В.*) воздвигли большую крепость, да ещё подальше выстроили несколько крепостей. Когда же об этом было дано знать Порте, то для расследования был послан один предатель из [турецких] чиновников. Он взял с московов взятку чем-то вроде соболевой или горностаевой шубы да, по возвращении своём, представил слова хана» как в целом лживые: крепость-то в самом деле была большая, а ему показалась размером не более одной или двух собачьих шкур. Он донёс падишаху (т. е. султану. — *В.В.*), что это «не более, как рыбачий кош».

Этот рассказ взят из трактата уже упоминавшегося анонимного турецкого историка XVIII в. (ЗООИД. Т. I. 1844. С. 379–399). Объективность информации учёного анонима подтверждает нижеследующий отрывок из труда крымскотатарского историка Мехмед-Гирея, современника описываемых событий и, что называется, «своего человека» в близком султанском окружении. Этот видный вельможа прямо говорит, что турецкие чиновники и некоторые придворные сознательно оболгали, извратили содержание упомянутой грамоты хана, так как «у них в виду было не срытие крепости, а получение от московских гяуров собольих и горностаевых шуб, да золотой казны... Говорили ещё, что у них была цель нарушить договор и уничтожить мирный трактат» (цит. по: *Смирнов*, 1887. С. 689–690). Для такого рода задачи, кстати, Крым подходил лучше всего, так как при этом и последняя цель достигалась, и неизбежные санкции гарантов мира автоматически переводились с Порты на ханство.

Самая подробная и, судя по некоторым деталям, наиболее достоверная версия этой истории, имевшей столь важные последствия для судеб Крыма, изложена в неопубликованном доныне источнике, хранящемся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Это — письмо хана в Стамбул (точнее, его пересказ на русском языке), связанное с новой инициативой Девлет-Гирея. Его изложение стоит привести полностью, как объективно характеризующее всю тогдашнюю ситуацию. Историк Ф.И. Соймонов, современник Мехмед-Гирея, сообщает в своей рукописи, опираясь на собственные наблюдения и источники турецкого происхождения:

«Понеже никто так недоволен [не] был заключенным в Карловиче двухлетним перемирием, как крымский хан (которому кроме потеряния Азова и выход из Крыму пресечен был, притом не мог позабыть жестоких оных поражений

и несказанного вреда, которой был учинен ему от России), того ради старался он как сам собою, так и через своих приятелей, чтоб Порту склонить к разорванию мира и к продолжению войны. В декабре 1699 г. представил он великому султану письменно, будто российский царь переменил древние обычаи и порядки своего народа, так же и закон [Божий] и намерен всё учинить по примеру немцев... притом уверял, что ежели токмо в продолжении войны с надлежащей ревностию поступлено будет, то он для учиненной в законе перемены от всех оставлен будет» (ОР РНБ, F. IV. 736/1. Л. 68–68 об.).

Как видим, хан, неплохо осведомленный о довольно зыбком положении Петра в эпоху стрелецких и казацких мятежей, а также широкого старообрядческого движения, предлагает султану воспользоваться ситуацией и, не упуская времени, дополнить внутренние шатания в России мощным ударом извне. Далее он обосновывает совершенную необходимость такого удара, доказывая, что новая русская армия не в пример техничнее и многочисленнее старого стрелецкого воинства, что царь, «...несмотря на заключенный в Карловиче двулетний мир, строит с великим прилежанием флот, также и новые городы и крепости на Днепре и на других реках. Всё сие довольно свидетельствует, что он не имеет никакой склонности к содержанию мира, и для того должен султан, окончивши войну с цесарем, весьма того наблюдать, чтобы новый [царь] не привел Оттоманские порты в крайнее опасение, ибо российскому войску тогда уже нетрудно будет в одну кампанию всем Крымом прежде завладеть, нежели Порта на помощь прийти сможет. И так требует крайняя нужда, чтоб или постоянный мир заключить или, не допуская приращения неприятельских сил, начать наискорейше войну. А буде султан сомневается, что подлинно всё так, как он объявляет, то просит, чтоб послан был один из верных и надёжных султанских служителей в Крым, который бы российские приуготовления мог своими глазами видеть и подать султану о всём точную ведомость» (ОР РНБ, F. IV. 736/1. Л. 68 об.).

Дальнейшее развитие этого эпизода в политической истории крымско-турецких отношений рисует картину не только дворцово-дипломатической практики турецкого партнёра Бахчисарая, но и действительной угрозы Крыму, обострившейся именно в этот период: «Султан Мустафа, который не всё чрез своих министров делал, но сам имел великую прозорливость, призвал к себе Киблелия оглы, которого он к сей тайной посылке за наиспособнейшего почитал. Он племянник тогдашнего верховного везира Амуджи оглы Гуссейна-паши, который его весьма любил и, несмотря на молодые его лета, у султана в такую милость привел, что пожаловал его буюк гомрагором или обер сталмейстером. Султан, поруча ему сие дело без ведома верховного везиря, приказал, чтобы он никому о том не сказывал, а уведомшись обо всем, пришол прямо к нему. Киблели оглы отправился тот час в путь, однако ж прежде отъезду зашол тайно к дяде своему, верховному везирю и открыл ему всё.

Верховный везирь, опасаясь новаго смятения, которое от неосторожности в сем деле могло произойти, велел ему по возвратном ево приезде опят тайно к себе зайти. Чтоб наставить его в том, что он должен пред султаном говорить. Гиблели последовал его совету и, возвратившись из Крыму, переменил своё платье и пошол к верховному везирю, которому он объявил, что Россия учредила, как в Азове, так и в Воронеже силной флот и умножает оной почти ежедневно

новыми кораблями, что Таган Рог укреплён удивительным образом, и что работают там болше 20 000 человек, что на Днепре отделана уже крепость Каменной Затон, также прочищаются и пороги, чтоб судам чрез оные способно проходить можно было, что у татар за Перекопом ничего болше не осталось, и что казаки почти ежедневно на них нападают.

Всё сие и ещё многие другие обстоятелства, о которых он в Крыму слышал. [Киблели оглы] объявил верховному везирю. Сей, видя наперёд, что оттого такая ж жестокая война, как и прежняя произойти может, уговорил его, чтоб он о том немного упоминал, но уверил бы султана, что крымский хан по большей части доносил ложно, что татары доволно ведают, в каком малом почтении они при Порте, когда войны нет. А к тому ж к грабежу уже так привыкли, что по их мнению без онаго жить не могут, что Россия хотя и заложила несколько крепостей. однако ж их ныне не отстраивает, а при том ничего так не желает, как мира и свободнаго отправления купечества с подданными Оттоманския Порты.

Гиблели оглы прибыл на другой день, будто прямо с дороги, к султану и объявил ему всё по намерению дяди своего, верховного везиря. Султан, которой не чаял такова обману, на хана осердился и приказал ему за то выговор написать. Но хан представил против того, что Гиблели оглы поступил неправедно в сем деле, что он, хан, никогда не дерзал султану ложныя известии подавать, и что Гиблели оглы или от неприятелей его к тому подкуплен, чтоб не сказать о подлинном состоянии Крыма, или, может быть, то по злобе учинил за то, что он, хан, ево подарками не удоволствовал. В протчем всё то, о чем он в прежнем своём писме объявил так основательно, что ежели бы Киблелия оглы строже допросить, тоб он принужден был во всём признаться. Сей ответ дошёл до султана такою дорогою. что верховной везирь ничего о том не знал. Потом оглы повинился, за что казнён, а везирь в ссылку послан» (ОР РНБ, F. IV. 736/1. Л. 68 об.–69 об.).

Итак, истина восторжествовала, но её выяснение заняло слишком много времени. И, что хуже, были приняты некоторые важные решения, от которых поздно было отказываться: в промежутке между командировкой турецкого чиновника на Украину и его же казнью хан был едва не смещён. Так оказалась упущенной едва ли не последняя возможность помешать России начать Северную войну со Швецией, результаты которой непомерно усилили этого наследственного врага ханства, и, в конечном счёте, предопределили оккупацию части Крыма в 1736 и 1737 гг., принесшую неисчислимый вред крымскотатарскому народу. А если смотреть в далёкую перспективу, то это упущение стало провозвестником и аннексии ханства в 1783 г. Лишь прочный мир с Турцией позволил Петру, более не опасавшемуся южных соседей, бросить все силы державы на агрессию в направлении Балтики, чтобы потом с новой энергией и возросшими возможностями обрушиться на турок и крымских татар.

А пока к новому походу на юг Петра призывали, в частности, некоторые турецкие христиане, наиболее активным и авторитетным из которых был иерусалимский патриарх Досифей, чья резиденция постоянно находилась в Стамбуле. Так, он писал 1 сентября 1701 г. московскому государю (перевод, современный тогдашним событиям):

«Еще же, если святый Бог благоволит в сердце величайшего твоего царства произвести какое-либо движение в здешние страны, то мы советуем с полней-

шей уверенностью, три вещи. Одна — это то, что первым действием должно быть уничтожение Тавриониса (Крымского ханства. — *В.В.*) и Буджака, и вообще татар. И причина очевидна для величайшего твоего царства, однако назовём её и мы, что если их не будет посредине, то на помощь твоему царству придут богданы, влахи, сербы, болгары и прочие, со своим имуществом, и жизнью, и душой, но если татары останутся на своём месте и со своей силой, то ни один из тех не может двинуться со своего места и противостоять язычникам хотя бы взглядом. С другой стороны Тавронис имеет различные гавани, и есть также и Озу (Очаков. — *В.В.*), и у кораблей величайшего твоего царства будут крепости безопасные, надёжные и многочисленные...»

Далее патриарх упоминал, что через Чёрное море ходят сотни судов, перевозящие из Северного Причерноморья и Крыма продовольствие, столь необходимое Стамбулу. Каковой торговый путь также легко можно пресечь, даже не имея корабельного флота, а используя мелкие гребные и парусные суда-каики или шлюпки с галерами, отчего турецкая столица ослабнет: «хлеб для Константинополя идёт с Чёрного моря, и каики могут воспрепятствовать его подвозу и в Константинополе от голода будут есть друг друга, и если даже тамошним христианам придётся худо, всё же дети их останутся христианами» (цит по: *Ялмас Д.А.* Иерусалимский патриарх Досифей и Россия 1700–1706 гг. // Россия и христианский Восток. Вып. II–III. М., 2004. С. 483–485).

Пётр воспользовался этим советом Досифея лишь частично и гораздо позже, решив в 1711 г. направить войско к «влахам» напрямую, через Днестр и Прут, что без поддержки с моря окончилось катастрофой Прутского поражения, речь о котором впереди. Однако позже, уже при императрице Анне Иоанновне, мысль о практичности в борьбе с крымскими татарами и турками именно мелких судов была осуществлена, причём не без успеха. Пока же, не ограничиваясь письменными подстрекательствами царя, Досифей, как мог, вредил хану в Стамбуле — и не без успеха.

В результате его интриг Мустафа II сместил как Девлет-Гирея, так и его сторонника в Высокой Порте, великого визиря Мустафу-пашу Далтабана (январь 1703 г.), постоянно предупреждавшего султана о московской опасности. Новый визирь Мехмед-паша Рами, получивший эту должность по настоянию шейх-уль-ислама Фейзуллаха-эфенди, занял позицию, дружественную России. И уже через несколько дней после своего назначения он уверил посла П.А. Толстого в том, что русско-турецкий мир останется нерушимым, а крымские татары будут приведены в полное послушание Порте. Замечу, что фактическое всевластие шейх-уль-ислама, которому во всём подчинялся мягкий по натуре султан (он был воспитанником Фейзуллаха), продлилось недолго. Уже в июле 1703 г. оно вызвало взрыв народного восстания, в результате которого султаном стал Ахмед III (1703–1730), тут же сместивший Рами Мехмеда и казнивший Фейзуллаха (*Орешкова*, 2001. С. 236–244; см. также: *Орешкова*, 2003. С. 138–139).

Итак, через 2 года после заключения Константинопольского мира, в 1114 г. хиджры (точнее, 26 февраля 1702 г.) Хаджи-Селим-Гирей в четвёртый раз стал ханом. Он сменил на престоле собственного сына, хотя этого старика от «халвы властительства» давно уже воротило, чтобы не сказать хуже. На вопрос, почему так случилось, есть один ответ: помимо интриг Досифея, это были действительно

имевшие место почти непрерывные ногайские волнения и мятежи, с которыми Девлет-Гирей II не то что не мог справиться на протяжении почти двух лет, но которые и возникали-то не без его вины.

Дело в том, что уже тогда, в годы первого своего правления, Девлет-Гирей не считал нужным скрывать своего раздражения султанским двором. Причин тому было за последнюю четверть уходившего XVII века предостаточно, но если Селим-Гирей покорно склонялся перед волей Порты, то его сын был всё же из другого теста. По-настоящему непокорным султану он станет лет через десять, но уже в 1702 г. он (как признаёт крымский историк Сейид Мухаммед Риза, писавший по свежим следам тех событий) ни перед кем в Крыму не скрывал своего мнения относительно того, что администрация Турции оказывает прямую «помощь врагам веры», а к народу крымскотатарскому не испытывает ничего, кроме «ненависти и презрения». Что якобы и подняло на восстания и мятежи и без того беспокойных ханских подданных. Об этом донёс осенью 1702 г., по возвращению из Крыма в Стамбул, и очаковский паша Юсуф-ага, очередной эмиссар султана, посылавшийся для расследований крымских волнений (*Смирнов*, 1887. С. 695–697).

Конечно, такого рода вывод был явным наветом Юсуф-аги, поскольку вся политика Девлет-Гирея направлялась на мирное, по возможности, сосуществование с соседями. Именно с этой целью он и пытался, между прочим, протестовать против любого нарушения условий Константинопольского договора. Зато когда все его усилия пошли прахом, когда его лишили власти, то есть возможности добиваться гарантий безопасности Крыма, бывший хан пошёл туда, куда его толкнул султанский двор. А именно — к преследовавшимся им ранее ногайцам заперекопской степи, чтобы добиваться упомянутых гарантий единственно оставленным ему средством, поднимая их против «московских злодейств», а если Порта вмешается, то и против стамбульского «падишаха» (выражения Фундуклулу). Но вскоре мятеж отставного хана захлебнулся, и он был вынужден скрыться у своих черкесских друзей. Когда же туда для поимки его было послано целое войско с калгой Гази-Гиреем во главе, то Девлет, не желая пролития ни татарской, ни черкесской крови, добровольно вернулся в Крым. Оттуда он был переправлен отцом в Стамбул, после чего водворён на Родос — до поры до времени.

Любопытно, что с лишением Девлет-Гирея престола крымцы отнюдь не успокоились. Напротив, недовольство отставкой популярного хана стало причиной нового мятежа, хотя восставшие преследовали и основную свою политическую цель — уничтожение новых русских опорных пунктов на северной границе ханства. Как сообщал 11 января 1703 г. царскому правительству посол в Турции П.А. Толстой, «татары, желая своего хана, забунтовали... и на турецкие городы, на Измаил и Кили калга-султан пришёл войною великою, и Бабадагсский сераскир[1]

[1] Сераскир (сераскер, сердар) Османской империи — титул командующего полевой армией державы. Однако в мирное время турецкие сераскиры могли представлять и административную власть султана в месте своего постоянного нахождения (с армией или без), исполняя обязанности, схожие с губернаторскими. Если же резиденция сераскира находилась в приграничном городе, то он иногда являлся и дипломатическим представителем Порты. С начала XIX в. носителями титула сераскира стали военные министры империи. Напомню, что в Крымском ханстве высокородные носители титула «сераскер» исполняли совсем иные функции.

Черкес Юсуф-паша о том Порте писал, что уже он сидит от татар в осаде, и чтоб ему прислали на помочь ратей, и ныне зело многочисленные рати в те страны (то есть в том направлении — *В.В.*) посылают... говорят, что для усмирения татар, обаче опасно, чтоб не учинили какова урона незапно... народная же молва, что бутто хотят с нами разорвать мир» (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1703. Д. 2. Л. 5–10).

Инцидент этот был исчерпан довольно быстро. К Дунаю подтянулось несколько десятков тысяч турецких войск, после чего крымские татары вернулись домой. Но поток ханских грамот о московских нарушениях мира отнюдь не иссяк. Просто теперь их стал писать Хаджи-Селим-Гирей, этот благонравнейший из подданных султана, и в более молодые годы старавшийся не причинять Порогу Счастья лишних беспокойств. И он добился того, чего не удалось его беспокойному сыну. Как бы в противовес всё более укреплявшемуся Петром Азову турки начали строить севернее Керчи, невдалеке от известных нефтяных источников, новую крепость (её так и назвали *Ени-Кале*). Правда, строительство было закончено уже при другом султане, Ахмеде III (1703–1730 гг.), да и хан к тому времени сменился: 22 декабря 1704 г. семидесятитрёхлетний Хаджи-Селим-Гирей, «подобрав полы своей жизни, устремился в рай горнего Эдема».

Он был похоронен в Бахчисарае, на Ханском кладбище, заслужив от соотечественников такую эпитафию на своей могильной плите: «Кем был Хаджи Селим? Самым блестящим из ханов Крыма, героем, возвышенным божественной силой Аллаха. Да воздаст Всемогущий, в Его высшей милости, должное Хаджи Селим-Гирею, начавшему воздвижение прекрасного храма...» (цит. по: *Milner*, 1855. P. 167). Если сравнить деяния почившего старца с результатами правления других ханов, то эта оценка, возможно, покажется несколько преувеличенной. Но она явно отразила искреннее восхищение автора намогильного текста на редкость необычной и переменчивой судьбой Селим-Гирея.

Пожалуй, основание Ени-Кале и стало последним из земных дел этого хана, оставившего по себе добрую память не только в народе, но (что куда труднее!) и у историков крымских и иностранных. Правда, в последний период своего правления Хаджи-Селим, видимо, утратил былую активность — да и кто бы не устал на месте этого старика? Так, он ни разу не был замечен в новых попытках политического сотрудничества даже с соседями — украинскими казаками, хотя поводов к этому было вполне достаточно.

Особенно большой соблазн вмешаться в украинские дела наверняка возникал у хана с каждым новым казацким мятежом, а их в эти годы было немало. Цепь русских военных городков и крепостей, все дальше спускавшаяся к югу, беспокоила украинских казаков не меньше, чем татар. Особенно их раздражал Каменный Затон, воздвигнутый у самой Сечи. Что же касается общей обстановки у границ ханства, то гетман И.С. Мазепа, бывший тогда ярым врагом Запорожья и послушным проводником украинской политики Петра I, писал в 1703 г. в Москву: «Не так страшны они, запорожцы... и пересылки с ними хана крымского, как то дело рассудить надобно, что чуть не вся Украина запорожским духом дышит» (цит. по: *Львов*, 1896. С. 21).

И в самом деле, отношение украинского народа ко всему, что несла с собой московская власть, весьма сложное в год Переяславской рады, со времён Б. Хмельницкого стало вполне определённым. И такие признанные лидеры

народного восстания, как кошевые атаманы К. Гордиенко и П. Сорочинский, опирались в основном на голытьбу, по которой больнее всего ударили новые порядки, находя в этой беспокойной массе всегдашнюю поддержку. В антифеодальной и национально-освободительной (антирусской) этой борьбе чётко прослеживаются две традиционные черты.

Во-первых, это её общенародность. Как в своё время Пётр Дорошенко был связан со Степаном Разиным, так и теперь от запорожцев протянулись нити ко всему населению Право- и Левобережной Украины, а позднее — также к булавинцам на Дон (подр. см.: *Возгрин*, 1986. С. 223). И они встречали *массовую* поддержку, причиной которой стали последние акции российской империи, жестоко оскорбившие национальные чувства украинцев.

Напомню, что ранее Гетманщина, чисто формально относясь к Московскому государству, сохраняла свою автономность — вплоть до того, что гетманы вели самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Но в 1707 г. царь провёл ряд «малороссийских» реформ, по сути, означавших аннексию вольной Гетманщины Россией. Так, все её города были подчинены управлению петровского Разряда, то есть выведены из административного и экономического подчинения гетману и переданы во власть российского генерал-губернатора. Это было фактической ликвидацией старинного института гетманства как национальной, украинской формы самоуправления, что не могло не возмутить как казачью старшину, так и всю массу украинского населения.

И, во-вторых, видное место в этом национальном движении, направленном против Москвы, по-прежнему отводилось Крымскому ханству. Особенно усилилась последняя тенденция после того, как стало известно, что царь, будучи не в силах самостоятельно подавить украинское восстание, зовет помощь из-за рубежа; с запорожцами теперь должны были воевать их старинные недруги — поляки. За это Пётр обязался оставить за Польшей все Правобережье вместе с Белой Церковью[1]. После этого состоялась рада, на которой казаки решили войти в союз с ханом, а К. Гордиенко сообщил в Бахчисарай, что Сечь согласна вместе с татарами «Москву воевать» (*Шутой*, 1959. С. 124).

Это решение рады позже подтвердил и казачий выборный посланец П. Сорочинский, прибывший в Бахчисарай для конкретных переговоров. Более того, запорожцы, как бывало и раньше, обратились к хану с просьбой принять их в подданство, и дело остановилось лишь в ожидании разрешения Стамбула (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е.х. 2. Л. 126 об.). Заметим, что все эти события произошли до «измены» И.С. Мазепы и вопреки его внешне промосковской до низкопоклонства политике. А также вразрез с собственными устремлениями этого гетмана к политической независимости.

Наиболее глубокие из исследователей времён Российской империи делали вывод о том, что на рубеже XVII и XVIII вв. Украина и Крым, эти сравнительно скромные по размерам государственные образования, разработали общие линии политики в противовес России, Польше и Турции, стремившимся их полити-

[1] Казачьим кругам стало известно, что царь «по прошению примасову (то есть архиепископа Польши. — *В.В.*)... ту часть Украины им паки возвратить обещал, и Белую Церковь отдать объявил» (АСПбИИ. Ф. 83. О. 1. К. 8. № 7. Л. 2).

чески подавить, причём схожие интересы усиливали крымско-украинское взаимопритяжение (*Львов*, 1895. С. 13–14). Этот процесс шёл вопреки грозным указам Москвы, все более привыкавшей смотреть на Украину как на свою вотчину, а во многом и благодаря им.

Появляется плеяда талантливых лидеров казачества, предвидевших скорую гибель независимой Гетманщины, если отношения с царями и далее будут развиваться в прежнем направлении. Эти кошевые атаманы (выше были названы лишь немногие из них) использовали каждый год мирной передышки перед близившейся войной и временное уменьшение числа царских войск на Украине (много солдат потребовал шведский фронт) для установления всё новых связей с соседями — «басурманами». Их поддерживало всё население. В ту пору утихшие от звона сабель и ружейных выстрелов степи покрылись сотнями чумацких возов с солью и телег с хлебом, гуртами скота, тянувшимися в Крым и из Крыма.

Нельзя сказать, что Москва, Варшава и Стамбул пассивно наблюдали за таким развитием украинско-крымскотатарских отношений. Турки и поляки пытались расстроить крепнувшие мирные связи исподволь: первые — через своих людей при ханском дворе, членов дивана, подбивавших Гирея на новые походы против украинцев, вторые — используя прямые контакты с царем и И.С. Мазепой. Впрочем, гетман и сам осознавал гибельность для своей власти на Украине её абсолютизации, необходимым условием преодоления которой становилось политическое и экономическое сближение украинцев с крымскими татарами, достигшее своего апогея на закате истории Войска Запорожского.

Но ради достижения своих потаённых целей И.С. Мазепа всячески подчёркивал перед царём свою преданность петровской идее овладения ханством, демонстрируя готовность пожертвовать не только военным и политическим, но и экономическим укреплением Украины, которое нёс с собой мир. Так, он писал в предполтавские годы: «А миру запорожцам с Крымом никогда не иметь, и остерегать того накрепко, чтоб из малороссийских городов в Крым с торгами, запасами и всякой живностью не ездили и лошадей в Крым не продавали» (цит. по: *Величко*, 1851. Т. III. С. 38). Не менее истеричны и царские указы того периода: для Петра оживившиеся контакты между крымскими и украинскими соседями были как нож острый, и он всячески стремился их пресечь.

Может возникнуть предположение, что подобная политика царя, И.С. Мазепы и поляков, одинаково враждебная крымцам и вольному казачеству, была вызвана исключительно опасением больших крымских набегов. Но мы видели, что в конце XVII в. они уже стали, по сути, достоянием истории. Дело здесь было в другом: Москва боялась объединения двух неподконтрольных ей сил. Поэтому и царь, и И.С. Мазепа предлагали казакам уже упоминавшуюся выше жёсткую альтернативу: борьба казачества с Крымом или железный занавес между ними, третьего было не дано. А ниже мы увидим, с какой последовательностью эта линия проводилась в жизнь; особенно чётко она проявляется в свете крымско-шведских дипломатических связей и политических отношений.

Перед тем как перейти к этой важной теме, придётся сделать одно замечание. Дело в том, что в российской историографии советского и постсоветского периодов установилась примечательная своей ненаучностью традиция. В отличие от дореволюционных историков, исследовавших политику Крыма со всей

научной серьёзностью, их наследники, не умея скрыть факты успешной дипломатии и продуманной политики большинства ханов[1], «исправляют положение» нелепыми и необоснованно низкими оценками этой сферы этнокультуры крымских татар. Из тонких политиков и вышколенных дипломатов Бахчисарая эти учёные делают каких-то живых окаменелостей, и в XVII в. живших законами и традициями давно позабытого, ещё юртово-кочевого прошлого.

В это трудно поверить, поэтому приведу пример. Оказывается, Сефер-Гази, блестящий руководитель кабинета и правая рука нескольких ханов (в том числе и Исмаил-Гирея III, известного своей новаторской «шведской» политикой), якобы никак не мог подняться над «золотоордынским пониманием союзного договора». Более того, «любое обращение к хану по дипломатическим каналам, любой договорный акт трактовался в Крымском ханстве как признание вассальной зависимости того или иного народа и государства» (*Санин*, 1987. С. 107, 96). В то же время с Бахчисараем вели дипломатические переговоры самые различные иностранные державы. Но Г. Санин и его единомышленники не сообщают, как при этом ухитрялись не замечать своей «вассальности» кабинеты министров Швеции, Речи Посполитой, Пруссии или Франции.

Посмотрим же, как обстояло дело в действительности.

3. Крым и Швеция

Первое упоминание о связях двух столь далеких друг от друга народов, как крымские татары и шведы, мы находим под годом 1556-м. Тогда речь шла о совместном выступлении против усилившегося русского соседа, проявившего невиданную ранее агрессивность, равно опасную для Швеции и Крыма. С аналогичной целью посещало Стокгольм посольство Мехмеда-Гирея II Семиза и в 1579 г., но обе эти дипломатические акции оказались безрезультатными. С другой стороны, военно-политический союз с Крымом пытались заключить и шведские короли Юхан III (1568–1592), Сигизмунд III (1592–1594) и Густав II Адольф (1611–1632).

Уже для раннего этапа истории шведско-крымских отношений характерно стремление ханов вести эту политику *самостоятельно*, изолированно от турецкой, да иногда и в ущерб последней. Так, Джанибек-Гирей II (1610–1623, 1628–1635), собрав по требованию султана 30-тысячную армию для персидского похода, решил отправить её на помощь шведам. С другой стороны, Ислам-Гирей III (1644–1654) призывал королеву Кристину направить шведские войска на юг, присоединившись к Крыму, Украине и Польше для совместной борьбы с Москвой (*Возгрин*, 1978. С. 320–323).

Нам неизвестен момент самого раннего контакта Девлет-Гирея II со шведским королём Карлом XII в эпоху Северной войны, но уже через два года воен-

[1] Вот более или менее объективная оценка такого бесспорного мастерства крымскотатарских дипломатов: они всегда умели «вытягивать у русских посланников обильные „почести“ и обещать, и вести свою линию, и *разоблачать подлинные* цели (курсив мой. — *В.В.*) русского правительства» (*Новосельский*, 1994. С. 38).

ных действий между Россией и Швецией, то есть в 1702 г., хан мог предъявить султану Мустафе II свою дипломатическую переписку со шведами и запорожцами относительно антирусского союза с ними (*Возгрин*, 1985. С. 70). Тем не менее, турок, уже имевший выгодный ему мирный договор с Петром I, ответил на план хана сражаться против русских на Украине совместно со шведами категорическим запретом.

Ободрённые безнаказанностью, русские возобновляют строительство крепостей на границе с Крымом и даже на заперекопской территории ханства. Так, в 1703 г. была заложена, а в 1704 г. полностью возведена крепость Самара в устье одноимённой речки (татары называли городок Ени-Кале, т. е. Новая крепость), затем ещё одна, Каменный Затон (Каменец), на расстоянии 120 км от Перекопа, с явно наступательной целью. Причём на линии между обоими крепостями было создано ещё несколько укреплённых пунктов (*Kurat,* 1939. S. 98–99). Значение Каменного Затона как базы и даже форпоста в ходе уже начавшейся экспансии было понятно, в частности, польским современникам этих событий: «А для того, чтобы город этот мог им служить защитой и прибежищем в военное время, они переступили границы Крыма и наполнили город людьми, оружием и пушками в изобилии» (*Лехно*, 1882. С. 24).

Одновременно русские создали на территориях турецких провинций широко разветвлённую военно-разведывательную сеть. В Молдавии и Валахии, Сербии и Черногории велась активная антитурецкая пропаганда с прозрачной целью: там готовилось одновременное восстание православного населения, как только между Османской империей и Россией вспыхнет новая война. А казаки и калмыки совершали тогда же по наущению Москвы разорительные набеги на крымскотатарские заперекопские земли (*Kurat*, 1939. S. 98–99). Напомним: как крепостное строительство, так и другие акции, направленные против Турции или непосредственно Крыма (выше упомянуты лишь некоторые из них), велись в явное нарушение Константинопольского мирного договора 1700 г.

Девлет-Гирей писал в эти месяцы султану: «Все народы знают и всем известно, что они (т. е. русские. — *В.В.*) ищут предлога и способа, как бы отнять у нас землю нашу и властвовать на Чёрном море полными хозяевами». Но новый султан Ахмед III (1703–1730) не только не придал значения предостережению хана, но и публично обозвал крымскотатарских политиков «изобретателями и лжецами». Видя это, Девлет-Гирей прибег к последнему средству и отправил к султану группу московских пленников. «Те рассказали последнему, что они в самом деле намереваются завоевать всю землю Крымскую...» (*Лехно*, 1882. С. 24–25). Порта игнорировала и этот аргумент.

Тогда Гирей решился на отчаянный шаг. Считая, что враждебное Крыму кольцо далее может лишь сужаться, он выступил против силы, мешавшей ему это кольцо разорвать, — против Турции. Хан собрал огромную рать из собственно крымских и ногайских татар, ему обещала помочь в походе на Османскую империю и Запорожская Сечь (*Львов,* 1896. С. 19–20, 23), но туркам удалось опередить выступление союзного войска: как мы помним, в 1703 г. Девлет-Гирей был низложен. Вышедшие было за Перекоп крымскотатарские конники вынуждены были тогда разойтись по домам.

В очередной раз воссевший на бахчисарайский престол Селим-Гирей I (1703–1704) также вступил в политический контакт с противниками России. Весной 1704 г. польский полководец Х. Любомирский и воевода в Бельцах генерал А. Синявский, уже полгода ведшие переговоры с ханом, могли сообщить своему союзнику, шведскому королю Карлу XII, что хан согласен в нужный момент ударить по войскам Петра I с юга. При этом Селим-Гирей предлагал шведскому королю свой союз и военную помощь (*Herlitz*, 1916. S. 263). В июле Любомирский представил шведам письмо Селим-Гирея от 23 июня 1704 г., в котором соответствующие планы были изложены более конкретно. Более того, хан сообщал, что он уже начал подготовку к их осуществлению, направив своего посланника к султану за разрешением активных действий против России (*Nilsson*, 1953. S. 17–119). Однако вплоть до самой смерти этого хана (22 декабря 1704 г.) таких действий не было предпринято, возможно, из-за нежелания Турции нарушать мир с Россией.

Весной 1705 г. новый хан, Гази-Гирей III (1704–1707), сообщил польскому воеводе Киева Юзефу Потоцкому о своём согласии поддержать шведов в борьбе с царём Петром (*Backman*, 1940. S. 136). Однако в послании крымских татар по-прежнему подчёркивалось, что для участия в войне против России на стороне шведов и поляков хану необходимо согласие султана Турции, чего пока не имелось[1].

Этой проблемой начинает заниматься весьма неординарный политик, облечённый достаточным доверием султана, оттоманский сераскир Бендер, Юсуф-паша, сама должность которого предполагала осведомлённость о высокой политике Порты. Находясь в одной из самых угрожаемых областей империи, на перекрёстке политических амбиций Польши, Империи и России, он должен был обладать незаурядным дипломатическим дарованием — отчасти для того, чтобы принимать мгновенные решения, способные предотвратить войну или немедленно ответить ударом на удар агрессора. Как говорил о нём один из чиновников Порты, посланный к Карлу XII, «наш паша обладает властью осуществить более того, что Ты желал бы от Высокой империи» (цит. по: *Nilsson*, 1954. S. 86). Следует учесть и гораздо более оперативную и точную информацию о том, что происходит на Украине и в буджацких степях, которой обладал сераскир благодаря пограничному расположению своей резиденции.

Но когда Юсуф-паша сообщал своему повелителю, что русские раз за разом нарушают границы Османской империи, он получал в ответ отписки вроде следующей (её приводит султанский историограф Мехмед-ага Рашид): «Поскольку при всей ненадёжности и двусмысленности нынешнего поведения московитов

[1] Несмотря на явное нежелание Стамбула прислушаться к доводам ханов, Гиреи не прекращали попыток добиться от Турции согласия на совместное выступление против петровской России. Последнюю такую попытку сделал накануне похода Карла XII на восток хан Гази-Гирей. В марте 1707 г. к султану прибыл крымский посланец, неплохо разбиравшийся в политической обстановке на берегах Босфора. Он сразу же вступил в близкий контакт с французским послом, и только заручившись поддержкой последнего, «промышлял с великим прилежанием привести Порту с Российским государством в ссору», — писал посол П.А. Толстой (РГАДА. Ф. 96. Оп. 1707. Д. 2. Л. 31). Эта инициатива, как и более ранние, оказалась не просто бесплодной, но и привела, по словам того же российского посла, к очередной смене хана в Крыму (РГАДА. Указ. дело. Л. 60).

Шведский король Карл XII.
Картина Ю.Х. Видекинда

пока нет резона утверждать, что имеются доказательства, достаточные для немедленного разрыва и объявления им войны, то и речи быть не может о том, чтобы Высокая империя непременно предприняла бы поход на них. Напротив, воистину достойной похвалы была бы следующая политика: мудро вызнавать, не приведут ли к нарушению Константинопольского договора попытки Высокой империи облегчить давление московитов» (цит. по: *Nilsson*, 1954. S. 84–85).

Как сообщает тот же источник, Карл XII уже тогда, задолго до вторжения в Россию (он лишь вывел свои войска из Саксонии и остановился близ польской крепости Торуни), принял турецкого посланника Юргали-эфенди. Тот передал королю письмо Юсуф-паши, в котором тот предлагал стать посредником в переговорах о дружбе Швеции и Высокой империи. Карл выразил удивление этим предложением, которому не предшествовали даже письменные контакты между обоими монархами. Неясной ему показалась и политическая цель предлагаемой «дружбы». Но в ходе переговоров (сопровождавшихся активной перепиской турецкого посланника с сераскиром) король получил твёрдое обещание турецкой стороны заключить упомянутый договор о дружбе. Однако на прямой разрыв с Россией султан не решался, предложив взамен послать вспомогательные войска шведскому союзнику, королю Польши Станиславу Лещинскому, если русские вторгнутся в Польшу для свержения последнего (Bref, 1913. S. 14–15).

Впрочем, пока Пётр ограничивался военными операциями лишь в Лифляндии и Саксонии. Скорее всего, именно поэтому шведский король не придал большого значения вышеупомянутой крымской инициативе, целиком передав эту внешнеполитическую линию полякам, то есть своему союзнику Станиславу Лещинскому. Именно тогда возобновились и крымско-польские контакты, получившие довольно значительные последствия ещё до Полтавской битвы.

В августе 1707 г. начался решающий поход Карла XII на Россию. Уже в октябре – ноябре крымские татары, чьим ханом весной стал Каплан-Гирей I (1707–1708, 1713–1716, 1730–1736), заявляют о своём желании поддержать шведов, присоединившись к ним с военной силой не менее 40 000–50 000 всадников. И весной 1708 г. король шлёт в Бахчисарай своего постоянного представителя — явно для координации будущих совместных действий (*Nilsson*, 1953. S.135). Зимой 1708–1709 гг. о своей готовности поддержать Карла сообщают запорожские казаки. Причина этой инициативы была всё той же: казаки никак не могли примириться с «русским игом». Как упоминалось, Украина и до Северной войны немало претерпела от России, методично нарушавшей московско-украинские договорённости, достигнутые в XVII в. в процессе известного «воссоединения». Но марш главной группировки русских войск на юг в 1708–1709 гг., сопровождавшийся репрессиями местного населения, вызвал новые, куда более широкие и организованные волнения украинского населения.

Преследовавшие войско Петра шведы должны были, перед тем как форсировать Днепр, пересечь установленную Андрусовским миром «ничью» полосу. Они застали там сплошь разрушенные или сожжённые селения, та же картина встретила их и за Днепром: на своём пути русское войско уничтожало всё, что могло бы послужить пристанищем шведам. Поскольку дорога на юг в то время была всего одна, то Петр выжег полосу шириной в 40 вёрст почти на всём её протяжении. При этом были уничтожены не только крестьянские жилища, но и запасы сена и зерна, другие припасы, невосстановимые накануне близившейся зимы, что грозило десяткам тысяч украинцев голодной смертью.

Как отметил участник похода Карла XII, «русские совершенно разорили эту и без того небогатую страну, так что мы не нашли там ничего, кроме голых пустынь и лесных пространств, в которых погибло великое множество людей и бессчётное количество лошадей и другого скота.... Мы находились в опустошённой стране...» (*Гассман*, 1971. С. 28). Имели место и «многие обиды, поношения, унижения, досады, коней разграбления и смертные побои казакам от Великороссийских начальных и подначальных», украинские хозяйства опустошались постоями русских войск, а Пётр к тому же намеревался часть казацких полков «в драгуны устроить», то есть призвать в состав регулярных российских войск (*Орлик*, 1994. С. 159, 160, 164–166).

О том же писал Ф.И. Соймонов, один из известных помощников Петра: царь «...принял путь свой к Днепру по разослании казаков, калмыков и волохов, которых было у него доволное число, для выпустошения всего места... дабы не обыскали шведы себе в приступлении своем туда никакого пропитания, и таким образом, иного ничего не видно было, кроме толко дыму везде и огня» (ОР РНБ, F. IV. 736/1. Л. 159). О судьбах украинских крестьян и казаков, в ту невероятно морозную зиму оставшихся без крова, царь думал менее всего[1]. Но и шве-

[1] Правда, было одно исключение: когда в сентябре 1708 г. плане создания полосы «выжженной земли» был приведён в действие, то «Печерскому сотнику, старшине и жителям Стародубского полка дали приказ „о переходе их из своих жилищ в малороссийские и великороссийские городы по причине шведского на их край наступления“» (*Таирова-Яковлева*, 2008. С. 42). Но понятно, что все жители этого района без государственного пособия никак не могли в столь краткий срок переселиться с детьми, стариками и скотом

дам приходилось туго: уже в октябре 1708 г. пленные показывали на допросе, что «ныне в войске провианту нет ничего, помирают з голоду, многие от голоду бегут и мрут и болных многое число» (АСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. Е. х. 2558. Л. 1). Правда, дезертиров среди природных шведов не встречалось, эти солдаты были достойны своего короля. Бежали, как следовало из доклада А.С. Меншикову бригадира А.И. Волконского, чужестранные наёмники в каролинском войске, в основном валашского происхождения (АСПбИИ. Ф. 83. Оп. 1. Е. х. 2557. Л. 1).

Упоминавшиеся выше украинские волнения, вызванные петровскими репрессиями, содействовали новому сближению казачества с крымскими татарами. В начале 1708 г. такое взаимодействие неожиданно получило одобрение и Стамбула, ранее ему всячески препятствовавшего. При этом, как стало известно в Крыму, турки не только не возражали против выступления хана в помощь украинским казакам, но и поощряли его планы (*Nordberg*, 1745. B. I. S. 902).

Для шведов же союз с Бахчисараем приобрел актуальность несколько позже, лишь весной 1708 г., когда становилась реальностью их русская кампания. Как упоминалось выше, Карл XII послал в Крым своего представителя, которого принял уже не Каплан, а Девлет-Гирей II, вновь ставший ханом (на период с 9 декабря 1708 по 29 марта 1713). Он тепло принял шведского посланника и немедленно начал готовиться к походу, обеспечив себе поддержку запорожских казаков. Более того, хан через своих стамбульских друзей склонял к совместному выступлению султана, а также продолжал укреплять собственные связи с польским королем Станиславом и гетманом И.С. Мазепой (между прочим, представитель Карла XII в Бахчисарае был поляком). Возможно, хан уже узнал от своего приятеля, бендерского сераскира Юсуф-паши, что новый великий визирь Чорлулу Али-паша прислал тому даже не разрешение, а указание при малейшей возможности заключить по собственной инициативе союз о дружбе и взаимопомощи с Карлом.

А на пороге весны 1709 г., когда солдаты Карла XII уже не первый месяц страшно голодали и мёрзли на зимних так называемых «квартирах» в украинских лесах и степи, визирь, согласовав своё новое послание к хану с несколькими доверенными лицами из султанского окружения, приказал Девлет-Гирею «идти шведам на помощь со всей крымской армией к великой битве с московитами, которые ожидаются там к весне. И он послал сообщение упомянутому королю об этом деле», сообщает турецкий историограф Мехмед-ага Рашид (цит. по: *Nilsson*, 1954. S. 88).

Поэтому к началу 1709 г. Крым мог уверенно обещать Швеции помощь собственным войском, к которому должны были примкнуть и нашедшие в Крыму приют после разгрома К. Булавина 8 000 казаков под руководством Игната Некрасова (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е.х. 2. Л. 369 об.). При этом 2 000 некрасовцев изъявляли желание выступать против петровских войск, недавно разоривших Дон, немедленно и на любых условиях (Булавинское восстание, 1935. С. 327)[1].

в неподготовленные к их прибытию «городы». Население же других местностей на полутысячевёрстном пути отступления петровских поджигателей не получило и такого предупреждения.

[1] Казаки И.Ф. Некрасова неоднократно подтверждали эту готовность делом, принимая участие в крымскотатарских походах на север. За эту непримиримую ненависть к царю Петру, разорившему староверческий Дон, татары уважительно называли Игната «Инатом», то есть «Упрямцем» (*Халим Гирай*, 2008. С. 115).

Но вскоре эта подготовка совместного выступления против петровских войск встретилась с серьёзными трудностями, истоком которых стала перемена позиции султана по отношению к российско-украинской проблеме. Если ранее он приветствовал упоминавшуюся инициативу великого визиря, то впоследствии на него оказали сильное влияние доводы сторонника мира с Россией, силяхдара (и зятя султана) Али-паши, а также его влиятельного круга при дворе Ахмеда III. В самом деле, говорили они султану, ведь между Москвой и Портой был заключён мирный договор, с которым политика Чорлулу несовместима и чревата международными осложнениями. Поэтому визирь, хоть и сохранил пока свой пост, но впал в немилость, а хану было срочно послано указание воздержаться от любых предприятий, угрожающих сохранению мира между Оттоманской империей и Россией (*Nilsson*, 1954. S. 88).

Кроме того, и между крымско-шведскими союзниками оставались кое-какие недоговорённости, которые грозили затянуть дело совместного выступления против русских. Бахчисарай, в случае успеха, должен был получить гарантии такого мира, в котором не было бы порочности Константинопольского договора, где Крыму, по сути, не нашлось места. Поэтому с целью проведения соответствующих переговоров 16 мая 1709 г. к И.С. Мазепе прибывают два крымскотатарских «полковника» (так они обозначены в документальных материалах). Гетман, к тому времени открыто перешедший на сторону шведов[1], сопроводил их к Карлу XII, где начались трёхсторонние дипломатические встречи. Их задачей стала выработка официального обязательства шведского и казацкого руководства перед ханом. А именно, они должны были обещать не заключать мира с Россией, пока в нём не будут учтены все крымские требования, аналогичные тем, что от шведов уже получили запорожцы. Однако кроме предварительных соглашений, никакого результата это посольство не добилось, и переговоры были прерваны до прибытия на Украину полномочных представителей хана (*Nilsson*, 1953. S. 141–142).

Опираясь на поддержку казаков, хан, таким образом, вновь декларировал открытое неповиновение Турции и даже противодействие политике Стамбула (к тому времени непостоянный султан уже занял целиком нейтральную позицию по отноению к шведской войне). Между тем, напомню, весь 1708 г. Девлет-Гирей никак не мог двинуться с места, и всё из-за того же категорического запрета турецкого султана, который никак не находил в себе духовной силы для столь решительного шага. Но возможно, причиной такому промедлению был и раз-

[1] Это произошло 25 октября 1708 г. В советской и части современной историографии указывается, что к И.С. Мазепе при этом примкнула лишь «незначительная часть запорожских казаков во главе с К. Гордиенко» (История Северной войны, 1987. С. 81). Действительно, запорожцы не очень ладили с мазепинцами, но и не отрекались от участия в общем деле. Что касается казаков Украинского гетманства, то и там не было единодушной поддержки их гетмана. Впрочем, это не перечёркивает факта и их активного участия в антирусском движении. Как видно из современных исследований, основанных на архивных материалах, не только тысячи рядовых казаков, но и «вся генеральная старшина осталась с Мазепой до конца: генеральный писарь Ф. Орлик, генеральный обозный И. Ломиковский, генеральный судья В. Чуйкевич, генеральные есаулы А. Гамалия и Д. Максимович, равно как и большинство полковников (со значительной частью украинских полков, естественно. — *В.В.*)» (*Таирова-Яковлева*, 2008. С. 42).

бродв стане казаков, прежде всего Гетманщины (о позиции Сечи см. ниже). Как писал в те месяцы П. Орлик, одни из них «благоволять в Протекции Московской, другие склонны суть до протекции Турецкой, третьи смакуют себе побратимство татарское, чинячи тое з врожоной к полякам антипатии», отчего перед решительными действиями «надобно первше старатца войско и целый народ до единомыслия припровадить по обеим сторонам Днепра в Украине» (*Орлик*, 1994. С. 172–173). Однако до «единомыслия» было ещё далеко.

Весной 1709 г. шведы сообщают Девлет-Гирею, что Сечь с ними заодно, и спрашивают о видах и сроках помощи из Крыма (*Nordberg* 1745. B. II. S. 130). В целом же они были в такой помощи уверены: «Мы стоим на пути, по которому татары обычно ходили на Москву. Теперь они пойдут туда с нами» (Bref, 1913. S. 165) — такие письма шли в Стокгольм из шведской армии на Украине весной 1709 г. Уверенность шведов в помощи крымских татар вскоре стала ещё больше: султан теперь согласился смотреть на выступление Девлет-Гирея сквозь пальцы, а в начале мая и в самом Стамбуле началась погрузка пушек и боеприпасов на корабли — Турция отправляла их на всякий случай поближе к Украине (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е. х. 2. Л. 138).

Казалось, ничто не могло помешать осуществлению плана двойного удара по войску Петра I, задуманного шведским королем и крымским ханом заодно с казаками Сечи и Дона.

Тем не менее план этот был сорван.

Той же весной царь отправился в Азов, где стал демонстративно вооружать уже стоявший там флот. А на воронежских и иных верфях тем временем строились всё новые военные корабли, явно предназначенные к походу в направлении Босфора. Турки, естественно, были возмущены такой подготовкой и слишком уж явным нарушением Константинопольского договора. Султан начал переговоры с Петром, направив в Азов, где тогда находился царь, своего кападжи-пашу, чиновника, представлявшего при бахчисарайском дворе персону самого султана. В ходе этих встреч Пётр не только *сжег на глазах у турка свой Азовский флот* (что, кстати, не было такой уж большой жертвой с его стороны[1]), но и передал ему крупную сумму золотом и отпустил с ним совершенно *безвозмездно* большую группу пленных янычар (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е. х. 2. Л. 110; см. также: *Шутой*, 1959. С. 137).

В чем был смысл этого малообъяснимого, казалось бы, поступка царя?

Дело в том, что Петр не мог обезвредить силой ни Девлет-Гирея, ни Карла XII, ни султана. Поэтому он решил подкупить одного из противников, чтобы разорвать это враждебное России кольцо. До того он уже пытался передать деньги хану, но недооценил целеустремленность и патриотизм Девлет-Гирея — тот с презрением отклонил такое предложение (*Adlerfeldt*, 1919. S. 402). Позже царь направил в Бахчисарай дворянина В. Блеклого, снова с деньгами и с письмами

[1] Знаменитый в российской истории Азовский флот по причине спешки строился из сырого дерева и уже через два года стоял наполовину погружённым в воду и гнилым из-за течей; его и до 1709 г. разбирали на дрова. А в этом году, при окончательной ликвидации флота, в память о нём была сохранена лишь «Крепость», корабль, на котором российский посол Е.И. Украинцев отправлялся с первым визитом в Стамбул (*Веселаго*, 1875. С. 135). Впрочем, основная часть южного флота вообще находилась не в Азове, а далеко выше по течению Дона, в Воронеже и на других стоянках и верфях.

от канцлера Г.И. Головкина и посла в Турции П.А.Толстого, в которых предлагалось выдать некрасовцев на расправу. Но хан и это предложение отверг, хотя по Константинопольскому договору должен был поступать прямо противоположным образом (РГАДА, Ф. 123. Оп. 1709. Е. х. 2. Л. 5–11).

Но если крымский татарин отказался торговать интересами своей родины, то в совершенно ином качестве проявили себя турки. В Азове, как указывалось выше, был куплен кападжи-паша, а в Стамбуле с такой же легкостью П.А. Толстой подкупил великого визиря Чорлулу Али-пашу и других придворных[1]. И султан тут же направил в Бахчисарай категорический запрет выступления крымцев против России. Второй важный пункт султанской грамоты запрещал хану принимать запорожцев в крымское подданство (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е. х. 2. Л. 138).

Однако само это ходатайство запорожцев стало последней каплей, переполнившей чашу терпения грозного царя. Вскоре из-за предательства одного из сечевых полковников, Г.И. Галагана, уведшего свой полк в расположение российской армии, войско казаков несколько ослабело. И, главное, в нем наметился внутренний раскол. Царь воспользовался этим и нанес решающий удар; казаки потерпели поражение. Торжествующие победители сожгли ряд городов, в том числе Чигирин и Сечь. Были взорваны или сожжены даже небольшие казацкие крепости и селения, ограблены не только частные дома, но и *церкви* — дело для московских христиан привычное (*Эварницкий,* 1892. Т. III. С. 442–443).

О знаменитой кровавой вакханалии, устроенной петровскими солдатами в области Войска Запорожского и в других украинских землях, написано немало. Поэтому мы не будем здесь приводить данные о числе зверски убитых женщин и детей, о количестве казаков, с которых заживо сдирали кожу или сажали на кол в Батурине — городе, практически стёртом с лица земли петровскими солдатами, *все жители* которого (включая грудных детей) были преданы мучительным казням. Ознакомимся лишь с одним свидетельством современника, человека XVIII в., которого жестокостью было трудно удивить. Он признал, что того, что устроили на Украине русские, «и в поганстве (т. е. в языческие, дикие времена. — *В.В.*) за древних мучителей не водилось» (цит. по: *Эварницкий*, там же).

После этого три полка полковника П. Яковлева направились в Сечь. По пути первой была выжжена Келеберда, затем русские после упорного боя взяли Переволочную. Все жители обоих местечек были казнены (в живых осталось 12 человек). Штурм Сечи продолжался 4 дня, 19 мая 1709 г. её взяли, и Запорожье как таковое перестало существовать. При этом попавших в плен «казаков и старшин вешали, им рубили головы, оскверняли могилы старых запорожцев» (*Таирова-Яковлева*, 2007. С.230)[2]. Та же судьба постигла и другие городки, сёла и деревни.

---

[1] Всего в Стамбул было отправлено 5 500 рублей золотом и на 10 000 рублей собольих шкурок (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1709. Е.х. 2. Л. 62). Но в Стамбуле имелись и совершенно бескорыстные противники вмешательства Турции и Крыма в события на Украине, — как упоминалось выше, самым активным из них был силяхдар Али-паша, имевший большое влияние на султана (*Nilsson*, 1954. S. 88).

[2] После того как Запорожская Сечь была ликвидирована, часть уцелевших казаков продолжала сопротивление петровской власти частично на Украине, а частью, уйдя вместе с Карлом в Турцию. Забегая несколько вперёд, отметим, что в 1734 г. возникла так называемая Новая Сечь, уже полностью подчинявшаяся Петербургу. Но и она была рас-

Только один царский полковник Кемпель «уничтожил городки Маячку и Нехворощу со всеми их жителями. Сожжены были Царичанка... Старый и Новый Кодак и множество небольших сёл» (*Куликова*, 2009. С. 170).

Узнав об украинской резне, султан, очевидно, утратил веру в возможность победы над московским войском и снова подтвердил свой запрет хану вмешиваться в северные дела. Иным было настроение у Девлета: он пускает в ход интригу, прося помочь ему Исмаила-пашу, сераскира Бендер. Этот турок был его политическим единомышленником, а главное, он обладал большим весом при султанском дворе. Исмаил-паша вошёл в контакт со Стамбулом, и вскоре великий визирь сообщил ему, что султан одобрит выступление Крыма, но лишь в том случае, если Турции будет гарантирована выгода от будущей победы шведско-татарского войска над русскими. Что означало следующее: если Карл XII и Гирей *предварительно* заключат с Турцией договор, согласно которому мир с царём они не подпишут, пока в трактат не войдёт пункт об ограничении дальнейшего продвижения русских на юг. Согласно турецким и шведским источникам, Турция более всего опасалась сепаратного шведско-русского мира, при котором она осталась бы с Россией один на один (*Nordberg*, 1745. B. II. S. 7–8).

В те же мартовские дни к хану прибыли гонцы из Украины. Они доставили в Крым письма Мазепы, призывавшего Девлета соединиться с ним для выступления, совместного со шведской армией. Вместе с тем они привезли ещё одно послание, от Т. Пипера, канцлера шведского короля, содержание которого подтверждало смысл ситуации, изложенной казаками. А именно, швед призывал хана «воспользоваться моментом и сложившимся положением для того, чтобы выступить против общего врага» (*Nordberg*, 1745. B. I. S. 902).

Весть об ответе султана сераскиру пришла к хану, когда он вопреки предыдущему приказу *уже вывел* свою конницу к Днепру, разбив по пути несколько русских городков (*Lagerberg*, 1896. S. 22). Здесь Девлет остановился, во-первых, ожидая решения султана, во-вторых, обескураженный распущенными Петром слухами о русско-шведском мире, якобы заключённом под Полтавой, о том, что царь отдаёт уже свою сестру за Карла и пр. (*Villius*, 1951. S. 48–51, 145–150; *Куликова*, 2009. С. 109). Именно по причине этого непонятного промедления Карл, как утверждают шведские историки, и вёл себя столь пассивно всю весну 1709 г., ожидая подхода сильного крымского войска. Между тем, как сообщает в письме один из офицеров его войска, 29 мая было получено сообщение, что крымцы уже форсировали Днепр и находятся всего в 8 днях пути от шведского расположения (*Nilsson*, 1953. S. 142).

Упомянутый выше фальшивый слух был развеян лишь 22 июня, когда в ставку Карла прибыли два ханских посланца, которые объявили о готовности хана продолжить марш (*Stille*, 1908. S. 168–171). Тут же крымское войско разделилось надвое, причём часть его перешла р. Ворсклу и остановилась в Кобыляках (50 км прямого пути до Полтавы), а часть выдвинулась к р. Самаре — об этом российскому командованию донесли два перебежчика из шведско-запорожского

пущена в 1775 г., теперь уже окончательно (подр. см. в: *Шумов С., Андреев А.* История Запорожской Сечи. Киев–М., 2003. С.2).

лагеря[1]. Установивший с ними связь Мазепа сообщил Девлет-Гирею, что он в дальнейшем надеется на покровительство и защиту хана, обещая доставить в Крым какое-то «богатое вознаграждение» за это (*Nilsson*, 1953. S. 153). В то же время крымско-шведско-турецкие союзные переговоры были в целом успешно завершены, оставалось только оформить их результаты.

Казалось, победа была близка, слишком неравным было соотношение сил: против 60 000 русских должны были сражаться около 75 000 противника: 25 000 шведов, 3 000–4 000 запорожцев, 8 000 некрасовцев и, главное, 40 000 свежих, не измотанных (как русские и шведы) зимними маршами крымских войск. Но пока турки вели эту мелочную торговлю, Пётр воспользовался в отсутствие татар своим почти двойным численным превосходством: грянула Полтавская битва и разом всё переменила...

Собственно, в отсутствие крымцев иначе быть и не могло.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что победа, одержанная русском войском под Полтавой, была предрешена задолго до сражения. Пётр переиграл противника стратегически, лишив его возможности получить помощь из Крыма или Турции и подавив мятежное казацкое движение, также связанное с русским походом Карла. Шведский король оказался 27 июня один на один с противником, превосходившим шведскую армию в два с лишним раза и располагавшим приблизительно 300 пушками, которых у шведов вообще не было. Тяжёлым было положение и с боеприпасами: перед Полтавой у шведского солдата в подсумке оставалось всего по нескольку зарядов (*Findeisen J-P.* Karl XII von Schweden. Ein König, der zum Mütos wurde. Berlin, 1992. S. 113). Наконец, Карл не мог противопоставить царю свой признанный полководческий талант, так как во время битвы неоднократно терял сознание из-за тяжёлого ранения, полученного накануне.

Таким образом, если мы учтём, что свежей русской армии противостояли малочисленные, плохо вооружённые, измождённые голодом, обмороженные и фактически оставшиеся без командира шведы, то неизбежен вывод: 27 июня 1709 г. имело место не битва под Полтавой, не Полтавское сражение, (излюбленно российской историографией, поэзией и т. д. определение), а куда менее славное *Полтавское избиение*.

Царь веселился в своём шатре, поднимая «заздравный кубок» (А.С. Пушкин) за пленных шведских военачальников, чьих запорожских соратников тут же, неподалёку, на глазах у шведских солдат «колесовали и сажали на кол» (*Таирова-Яковлева*, 2007. С. 232). Что касается крымскотатарской рати, то она вернулась за Ворсклу и Самару, где остановилась лагерем. Она не сдвинулась с места до августа, принимая к себе отдельных уцелевших от разгрома шведов (SRA OWK. S. 1 rev.), но неизвестно чего ожидая. Скорее всего, хану попросту не верилось,

[1] Это были некие Сидор Гришенко и Михайло Судников. Первый из них донёс, что пришли войска крымских татар и белогородских ногайцев, причём часть последних уже перебирается через Днепр. Второй перебежчик рассказал, что некий «полковник волоской (т. е. волошский. — *В.В.*) был послан в орды» и вернулся оттуда со сведениями, что крымские татары стоят в Самаре и что «орды сорок тысяч» (Документы, 1909. Т. III. С. 206; 207–208). Шведы располагали теми же сведениями (в том числе о взятии татарами Кобыляк), они сохранились в полевом журнале армии (*Adlerfelt*, 1919. S. 402).

что полтавская катастрофа необратима. Возможно, он надеялся, что всё ещё можно исправить, что Карл XII и И.С. Мазепа ещё вернутся, ведя за собой уцелевших казаков, шведов, а может быть и десятки тысяч янычар — как знать?

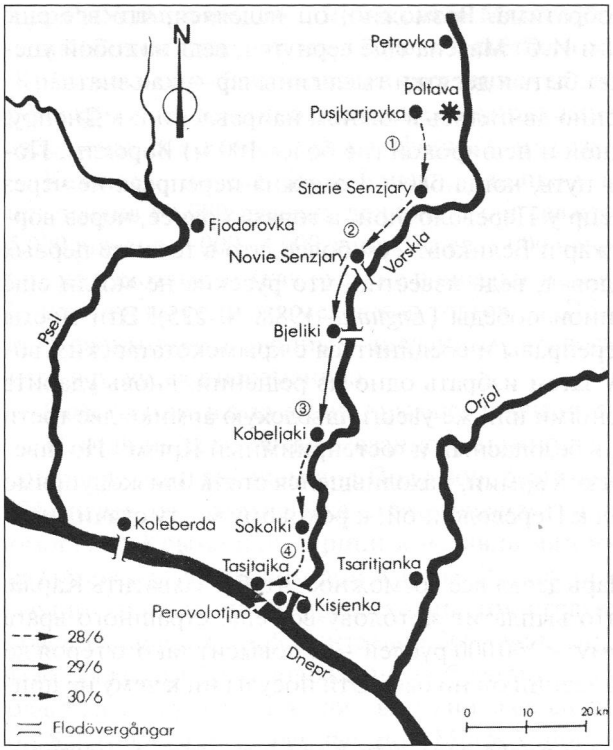
В то же время шведы медленно двигались в южном направлении, к Днепру, вдоль правого берега мелководной и неширокой (не более 100 м) Ворсклы. Почему они избрали именно этот путь, когда была возможна переправа не через глубоководный и широкий Днепр у Переволочной, а гораздо ранее, через ворсклинские мосты у Новых Сенжар и Беликов? Тем более, что в течение первых полусуток их никто не преследовал, ведь известно, что русские не могли ещё прийти в себя после неожиданной победы (*Englund*, 1988. S. 225)! Эти мосты было легко разрушить после переправы и соединиться с крымскотатарским войском, стоявшим восточнее. А затем избрать одно из решений: вновь ударить по русским соединёнными усилиями или же увести шведскую армию, две трети которой уцелели при разгроме, в безопасный и гостеприимный Крым[1]. Но шведы, прекрасно знавшие о крымской армии, находившейся столь близко, упрямо продолжали свой роковой марш к Переволочной, к роковому месту сдачи великой армии в плен.

А пока шведы шли к югу, царь делал всё возможное, чтобы захватить Карла. Он объявил своим солдатам, что выплатит за голову всё ещё страшного врага огромную по тем временам сумму — 100 000 рублей — и повысит такого героя до генеральского чина, в каком бы звании он ни был. Эти посулы ни к чему не привели и не могли привести.

Забегая вперёд, скажем, что и после того, как Карл оказался за Днепром, на турецкой территории, царь никак не мог расстаться с этой мечтой: завладеть головой главного своего врага (а также И.С. Мазепы) если не оружием, то золотом. По его поручению за дело взялся самый изворотливый и беспринципный из его приближенных, граф П.А. Толстой. Он начал переговоры по этому поводу с мухафизом Бендер, Черкезом Юсуф-пашой, имевшим огромное влияние и власть над всей Румелией. Когда предложенная сумма не возымела ожидаемого действия, Толстой стал предлагать её чиновнику рангом пониже — мухафизу Очакова, Сари Абдурахман-паше — и с тем же результатом (*Ciobanu*, 1984. P. 92, 114).

Нужно сказать, что несколько ранее, сразу после победы у Полтавы, Пётр через гонца предложил Карлу почётный мир, по условиям которого тот должен

[1] На этот вопрос в научной литературе существует лишь приблизительный ответ — точнее, предположение. Так, два историка — турецкий Рефик и немецкий Хаммер-Пургшталь — утверждают, что Карл после того, как Девлет-Гирей не привёл обещанное войско к шведскому лагерю под Полтавой, счёл хана «предателем», нарушившим своё слово. Именно поэтому он якобы и опасался доверить ему судьбу своего войска и свою собственную (*Refik,* 1919. S. 101; *Hammer-Purgstall*, 1831. S.139). Между тем, подойдя к Переволочной, буквально через два дня, шведский король решает отправить всю свою армию в Крым под командой Левенгаупта, оставив себе лишь небольшой эскорт, дабы не ослаблять её перед новой битвой. При этом Карл послал секретаря своей походной канцелярии О.В. Клинковштрёма в походную ставку хана с письмом, в котором просил Гирея оказать шведским офицерам и солдатам достойный приём (*Carlson*, 1910. S. 278–279).



Отступление шведской армии от Полтавы к Переволочной. *Илл. из Englund, 1988*

был уступить царю ряд старых шведских территорий в Прибалтике. Король, хоть и находился в тяжелейшем положении, отказался от переговоров на столь оскорбительных для него условиях. Теперь же он разрабатывал новые планы, а именно создания шведско-турецко-крымской военной коалиции, направленной против России. Об этом шведские дипломаты говорили во всех кабинетах европейских держав (*Fabrice*, 1760. P. 26). Впрочем, согласно некоторым документам турецких архивов, Карл полагал включить в этот союз и Польшу в лице короля Станислава Лещинского (*Kurat*, 1939. S. 26).

Примечательно, что уже из Очакова, первой турецкой крепости, где Карл остановился после полтавского разгрома (позднее его резиденцией станет г. Бендеры), он шлет своего постоянного представителя Отто Клинковштрёма в Бахчисарай. Король не без оснований полагал, что хан первым пойдёт навстречу его планам: ведь Девлет-Гирей был единственным в Европе правителем, интересы которого в отношении России полностью совпадали со шведскими и который никогда не торговался с королем, а предлагал свою помощь на любых условиях. Карл не ошибся: хан остался на тех же позициях и после Полтавы (в противоположность Стамбулу, предоставившему королю без армии приют, но всячески затягивавшему деловые переговоры). В августе 1709 г. Девлет-Гирей предлагал (снова в обход Турции!) всё своё войско, чтобы помочь Карлу пробиться в Померанию, где стояла крупная группа шведских войск (SRA OWK. *O. Klinkowström* — H. Müllern, 17. 08. 1709).

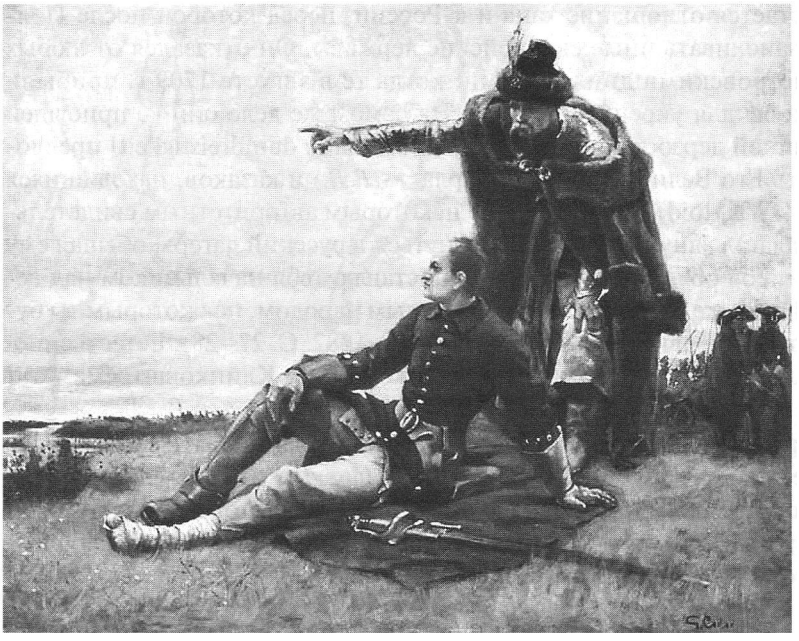
Прежним остаётся отношение хана и к России, перед которой после Полтавы начинают заискивать иные европейские державы. Он отказался от любых переговоров с петровскими дипломатами, когда те в августе 1709 г. прибыли в Бахчисарай якобы для укрепления мира. На самом же деле они «с присущей этой нации дурацкой дерзостью [mit der nation ordinaire dumdreistigkeit] предложили хану выдать Его Величество (т. е. Карла. — *В.В.*) и казаков, находящихся в Крыму»; (SRA OWK. Ibid). Более того, по некоторым авторитетным свидетельствам, Пётр предлагал хану вообще переметнуться в русский лагерь, обещая ему золотые горы: «я тебя облагодетельствую, я поставлю тебя начальником над великой Тартарией в земле Казани, многочисленным народом, над которым ты будешь полновластным правителем» (цит. по: *Лехно*, 1882. С. 27–28). Естественно, петровским посланцам в Бахчисарае, по выражению О. Клинковштрёма, «тут же заткнули рот и отослали назад» (SRA OWK. Ibid.).

В 1710 г. в Крыму ведет переговоры новый посол Швеции Свен Лагерберг — снова о заключении союза и снова с участием уцелевших от побоища казаков, которых осталось немало и на Украине, и в Крыму[1]. В помощь С. Лагербергу для лучшей координации действий был послан лейтенант К. Скадер: последний почти постоянно находился при нуреддине хана, на Кубани (SRA ORW. *O. Wrangel* — H. Müllern, 04. 12. 1711). Одним из первых предложений, которые Лагерберг услышал от Девлет-Гирея, была инициатива о союзном крымско-шведском договоре, естественно, в обход стамбульского двора. Узнав об этом, Карл XII выразил живейшую заинтересованность, изъявив лишь пожелание привлечь к будущему союзу и казаков П. Орлика, который, по словам шведского короля, «как полководец обладает чрезвычайно высоким авторитетом во всей Европе» (SRA ORW. *H. Müllern* — S. Lagerberg 18. 02. 1711). Одновременно обсуждалась и проблема возвращения Карла XII из Турции в шведскую армию, в те месяцы стоявшую в крепостях Шведской Померании. Хан снова предлагал 40 000 войска в качестве «эскорта» королю, который должен был пробиться сквозь неспокойные или прямо враждебные ему восточноевропейские земли. При этом Гирея не страшила ни польская, ни даже австрийская армия (*Lagerberg*, 1896. S. 23)[2].

---

[1] «Сечевикам, — убеждал их посол, — теперь уж ничего не остаётся, как сотрудничать со шведами и татарами, если же они не воспользуются этой Богом посланной им возможностью, то, судя по всему, вот-вот станут крепостными или рабами (Bönder eller Träller) русских или турок, так как по договорённости с поляками царю уже отходит Литва, Волынь, Подолия и так далее» (*Lagerberg*, 1896. S. 15–16).

[2] Турецкий историк передаёт речь, которую Девлет-Гирей держал перед султанским двором в ноябре 1710 г. Она примечательна тем, что содержит, кажется, первое предостережение насчёт новых планов российской империи в отношении Крыма, Босфора и даже Балкан, впоследствии, как известно, подтвердившееся. Хан, в ответ на упрёки стамбульского двора насчёт чрезмерной враждебности по отношению к русским (с которыми у Порты был мирный договор), холодно заметил: «этот гяур (т. е. Пётр. — *В.В.*) — коварный и хитрый гяур. Если, ещё полагаясь на его мир, не будет обращаемо внимания на донесения и рапорты, то результат будет очень печальный. Ведь Крымские владения отныне надо считать уже потерянными; да и Румелия-то того и гляди что выйдет из вашей власти. А у этого гяура цель составляет Стамбул. Что он в эти страны идёт, в этом и не сомневайтесь: он заодно с вашею райёю» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 17).



Карл XII и И. Мазепа у Переволочной.
Карт. Г. Сёдерстрёма

Такого рода помощь, предложенная ханом своему шведскому союзнику, выявляет взгляд Гирея на перспективы дальнейшей политики противников Петра. Хан, безусловно, придерживался всеобщего (и в целом верного) мнения о короле шведов — гениальном полководце, но слабом, если не бездарном, политике. Девлет-Гирей считал, что место Карла — в главной армии Швеции, от которой его отделяла добрая тысяча миль, и не в Османской империи, где и более квалифицированные бахчисарайские политики не могли добиться хотя бы позволения принять участие в боях шведов на Украине. Король должен был стать во главе своего главного войска, до Полтавы не знавшего поражений даже от превосходящих сил своих противников и проявить во всём блеске сильную сторону своей незаурядной личности, ведя шведов от победы к победе, а не тупить перо в бесплодной переписке с султаном. Эта мысль Гирея, при всей её несложности, была пока недоступна Карлу.

А то, что Девлет-Гирей предлагал в качестве эскорта ни много ни мало 40 000 крымских всадников — это было, мягко выражаясь, многовато для сопровождения монарха в любой, самой опасной ситуации. Хан явно рассчитывал поучаствовать в первом же ударе на восток шведской армии, обретшей своего славного короля-героя. И этот план был совершенно прозрачен для всех — как сторонников, так и противников Гирея.

Проведав через П. Толстого о таких замыслах крымского владыки, встревожился уже царь Пётр. Не возражая против турецкого эскорта, он послал в Стамбул протест против *крымского* сопровождения, понимая, чем грозит ему появление нескольких десятков тысяч татар в Польше или Северной Германии. Султан,

согласившийся было на план Гирея, протест царя отклонил, но тот выставил ультиматум: если король не будет удалён из Турции, то русские войска тут же пойдут с Украины к турецким границам, вдоль которых возведут свои крепости. Султан счел себя оскорблённым подобным вмешательством в его внутренние дела, а хан, раздувая этот гнев, склонял его к объявлению России войны. Это была трудная задача, так как окружение султана постоянно получало от русских дипломатов крупные суммы денег с тем, чтобы Порта не нарушала мира с Россией[1].

Тем не менее хан не оставлял надежды на успех своего предприятия. Видя, что по наущению великого визиря со своих постов снимаются дружественные Крыму чиновники (в том числе бендерский сераскир Юсуф-паша), Девлет прибыл 10 декабря в Стамбул, где был встречен «с великими церемониями и неописуемой радостью народа», а московский посол был посажен в Семибашенный замок — чтобы не вмешивался в развивающиеся события (Relation, 1710. S. 4). Длительная беседа с султаном закончилась, очевидно, согласием о начале военных действий, так как вскоре хан отбыл домой, чтобы готовиться к зимнему походу на русских (op. cit., S. 4 rev.). Такие же приготовления были сделаны в Турции: адмиралом был назначен Али Мехмет-паша, ставший во главе значительных сил: 60 больших кораблей, 160 галер, 240 фрегатов и вспомогательных судов, на которых мог разместиться десант численностью в 37 000 чел. (Diarium, 1710. S. 3).

И тут же она действительно началась, известная Русско-турецкая война 1710–1711 гг. Причём, как было видно, целиком по инициативе Девлет-Гирея, о чём знала вся Европа, проникавшаяся всё большим уважением к незаурядному политическому дару этого государя (подр. см.: *Возгрин*, 1985. С. 74). Он же и открыл военные действия, вступив на Украину вместе с находившимися в Крыму шведами, украинцами, донскими и кубанскими казаками — только донцов было несколько тысяч, а черкесов — до 30 000 (Nyaste Berättelser, 1711. S. 3).

В конце декабря 1710 г. Девлет-Гирей во главе основной группы своего войска (40 000 сабель) за 22 дня достиг р. Самары, с ходу взял Новосергиевскую крепость, а затем, воспользовавшись растерянностью русских, и крепость Водолагу. Этот молниеносный успех был бы вряд ли возможен, если бы крымским татарам не оказывало помощи украинское население, доведённое конфискациями, пытками, казнями и другими репрессиями московских оккупантов до шокового состояния и видевшее освободителя в любом противнике петровских карателей. Заметим, что крымским татарам было «от хана и сына его жестоко приказано, дабы черкасам (украинцам. — *В.В.*) разорения и грабежу не чинить, и в полон их не имать, и не рубить, а брать только один провиант, живность и фуража, а людей не брать» (*Мышлаевский*, 1898. С. 222).

Имело значение и то, что к хану присоединилось около 3 000 казаков (указ. соч. С. 222–223). С другой стороны, сопротивление российских войск было ослаблено необходимостью биться на двух южных фронтах (т. е. не считая польско-шведского). Пока хан выбивал русские гарнизоны на Левобережной Украине,

[1] Как сообщали в декабре 1710 г. уже из Турции шведы из свиты Карла XII, великий визирь Али-паша получил таким образом несколько бочонков золота, «отчего он был так счастлив, что не только продлил перемирие [с Россией], но и снова начал продвигать идею эскорта» для отправления короля на север (Relation, 1710. S. 2).

его калга с почти таким же количественно войском вошёл в пределы Правобережья, создав угрозу западному флангу русской армии на Украине.

Подойдя к Харькову, Девлет-Гирей несколько задержался в ожидании подкрепления со стороны своих кубанских подданных-ногайцев. Однако Петру удалось натравить на ногайские кочевья орду союзного ему калмыцкого хана Аюки, после чего кубанским татарам стало не до походов: нужно было своих спасать (ПБП. Т. XI. Вып.1. С. 401).

В то же время калга-султан продвигался всё дальше на север Правобережной Украины. Там его почти 40-тысячное войско было усилено 5 000 польских противников царя и почти 1000 шведов. Кроме того, не менее важную политическую роль играло участие в походе запорожского генерального писаря П. Орлика[1]. Дело было не только в том, что под командой последнего находилось 8 000 казаков. Огромное значение имела и популярность ближайшего сподвижника бывшего гетмана среди украинского населения в целом. И этот выдающийся политик сумел найти нужные слова, обращаясь к соотечественникам с призывом бороться, не щадя сил, против «моcковской неволи, сломания прав и вольностей войсковых, несказанных тягостей, налогов и мучительства» (цит. по: *Мышлаевский*, 1898. С. 228).

Между тем в конце 1710 г. Пётр принял окончательное решение о новом направлении вооружённого вторжения на турецкие территории. Будущая война планировалась им с невиданным размахом. На второй план отошли даже приоритетные ранее созидание новой столицы и её укрепление. Так, были вдвое уменьшены нормы рабочей силы, отсылавшейся на строительство Петербурга и других городов и крепостей в Прибалтике. Царь планировал вести широкое наступление на Турцию сразу на трёх направлениях — балканском, кавказском и крымском.

Это была первая (и, к сожалению, не последняя) попытка «освобождения христианских братьев» — сербов, греков, болгар, молдаван и так далее, которая должна была прикрыть истинную цель большой войны. Этой целью, как и в последующие времена, было овладение Проливами, без чего становилась невозможной дальнейшая политическая и экономическая экспансия России в южном направлении. И в этой войне царю должны были помочь сами «освобождаемые» славяне и греки: теперь, «в отличие от XVII в., кругозор русского правительства охватывал все антиосманские силы от Италии и Балкан до Кавказа» (*Артамонов*, 1990. С. 80).

Для этого были широко распространены манифесты, призывавшие христиан на всей огромной территории османской империи к мятежам и всяческой помощи идущим с севера избавителям от турецкого ига. Эти листки печатал и царь, и обещавшие ему помощь господари Валахии и Молдавии (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 151–153, 338–339; Manifestul de unire cu Rusia al lui Dumitru Cantemir, domnul Moldavei // Documente privitore la istoria Romanilor, XIII, Bucuresci, 1886.

[1] Именно на встрече с П. Орликом в Бендерах Девлет-Гирей и Карл XII разрабатывали план войны на Украине. П. Орлик должен был активно содействовать всеукраинскому восстанию против оккупировавших страну русских (*Крупницький Р.* Орлик (1672–1742). Огляд його політичної діяльності. Варшава, 1938. С. 333). Хан же брал на себя, в качестве конечной цели будущего похода, ликвидацию воронежских военно-морских верфей и освобождение томящихся там 5 000 пленных шведов (*Lagerberg*, 1896. S. 5; 33).

Suppl. I:I, № 594 и др.). Следует заметить, что стратегическая цель, поставленная на этот раз царём, была абсолютно невыполнима: слишком неравным было соотношение сил. Её можно было бы назвать фантастической, если бы не одна деталь. Уже не первое десятилетие, начиная с происков Ю. Крижанича, и даже ранее того, зарубежные единомышленники великорусских лидеров упорно убеждали их в том, что стоит московитам появиться на Балканах, как под ногами мусульман буквально вспыхнет земля.

Заметную роль в этом идеологическом давлении на правящую верхушку Московского государства играли Иерусалимские патриархи. Являясь оберегателями христианской первосвятыни, они жили практически постоянно в Стамбуле, что понятно, так как Иерусалим в ту пору находился на территории Османской империи. Петровская эпоха «захватила» двух Иерусалимских владык — Досифея и Хрисанфа, из которых несравненно более значительную роль в её истории сыграл первый, Досифей Нотару (1641–1707, избрание 1669), о котором уже говорилось выше.

Он был, безусловно, яркой личностью. В 1690-х гг. этот патриарх ужесточил борьбу за монопольное положение православной церкви среди нетюркского населения Османской империи, направленную, что характерно, не против «врагов веры христианской», а против христиан же — правда, католического исповедания (в том числе и против армянских подданных султана). Он не был первооткрывателем этой необычной политики. Так обстояло дело уже в первой половине XVII в., когда мощь московского государства, а с ним и единокровной русской православной церкви неизмеримо возросли. А когда «русская дочь стала богаче своей греческой матери, последняя могла ожидать от неё такой поддержки на старости лет. Тем более что и у русских были веские основания ненавидеть католический Запад. Они были ещё большими ортодоксами, чем греки, с порога яростно отвергая любые поползновения к союзу с остальным христианским обществом — он неизбежно внёс бы в сердце русской церкви яд схизмы» (*Runciman*, 1970. S. 229).

Но патриархи Иерусалимские, понимая, что получаемые ими иногда московские подаяния и унизительны, и не гарантированы, стали сами добровольно и активно оказывать посильную помощь русским единоверцам, надеясь на заслуженную таким образом благодарность. И не без оснований, поскольку их положение давало уникальную возможность существенно помочь Москве в её давних счётах с «погаными», действуя в их же метрополии. Помощь эта ограничивалась всего двумя, но весьма важными направлениями: военно-политической разведкой и раздуванием внутренних конфликтов в Турции. Ещё до Досифея эту линию ловко и неуловимо повёл патриарх Дионисий. После его смерти всё пришло в упадок: новый патриарх Паисий оказался крайне далек от мирских забот. Однако его воспитанник и преемник Досифей возродил и расширил дело Дионисия.

Но он не ограничился постоянным снабжением Москвы нужной ей информацией да раздуванием среди своей паствы ненависти к соседям-католикам. Досифей, известный в православном мире как чрезвычайно образованный учёный, талантливый богослов и эрудированный историк церкви, был ещё и смелым политиком. Используя своё положение в церковной иерархии и личный авторитет,

он брался *направлять* московских царей, причём в делах, весьма далёких от духовной жизни.

И Алексей Михайлович прислушивался к учительному голосу из далекого Константинополя, а после его смерти, в период двоецарствия в Московии, это влияние ещё более возросло. Чтобы оценить его, достаточно ознакомиться с властно-наставническим обращением патриарха к юным братьям-царям, относящемся к сентябрю 1691 г.: «Если вы, божественные самодержцы, оставите Святую Церковь, то какая вам похвала будет... Так если хотите предлагать о Иерусалиме, то в случае отказа уже не заключайте мира, а начинайте войну. Теперь время очень удобное; возьмите прежде Украину, потом требуйте Молдавию и Валахию, также Иерусалим возьмите — и тогда заключайте мир. Нам лучше жить с турками, чем с французами, но [ведь это же] вам не полезно» (цит. по: *Гражуль*, 1997. С. 11)[1].

То, что Петр довольно рано понял, чем Досифей привлекал покойного отца, показывает его инструкция отъезжающему в Турцию графу П.А. Толстому: посол должен был во всех важных делах советоваться с патриархом. Последнему же царь писал, что его полномочный представитель будет слушать святого отца, «как и прежние наши послы, будучи там, учинили». А в середине 1704 г. царю приходит письменный отзыв патриарха о его пожилом ученике, который «поступал зело хорошо, зане чего не разумел, нас вопрошал и познавал, и что мы ему возвещали, слушал» (цит. по: *Каптерев*, 1891. С. 49).

На последние годы жизни патриарха приходится самый яркий период его деятельности. Он создаёт обширную сеть агентов из завербованных им греков-фанариотов[2]. Через этих своих помощников Досифей также распространял антитурецкие и антикрымские подрывные материалы собственного сочинения. Некоторые исследователи вообще считают его самым влиятельным политическим агентом Петра I в Османской империи, включая Крымское ханство (*Кинросс*, 1999. С. 393). Не оставляя своими заботами русского посла, он по-братски поделился с ним своими агентами и в дальнейшем оказывал столь же неоцени-

[1] Досифей и позже не оставлял Петра без ценных советов. Так, он поучал молодого царя, как обращаться с казаками, чтобы в них прибавилось преданности Москве, а позже излагал свой план реорганизации российского войска и службы в южных крепостях. Он сообщал конкретные сроки и способы нанесения военного и экономического ущерба крымским татарам и туркам, призывал умножать южный флот и всячески укреплять новозавоеванный Азов, от которого и до Стамбула «рукой подать». (*Каптерев*, 1891. С. 57).

[2] Это была настоящая закрытая каста греков — жителей Фанара (столичного квартала, расположенного у Стамбульского маяка), экономически и политически крайне активная группа богатых купцов, ювелиров и ремесленников. Турки издавна пользовались образованностью фанариотов, вербуя в их среде драгоманов (главных переводчиков-секретарей), дипломатических агентов, шпионов международного класса, епископов, митрополитов и патриархов православной церкви Османской империи. Немало фанариотов являлись и обладателями высших чиновничьих, военных и иных рангов в системе султанской администрации, логофетов (управляющих канцеляриями), настоятелей великого собора Святой Софии и так далее. Эта греческая аристократия пера и кинжала обладала значительным влиянием на остальную массу христиан Османской империи, в том числе и Крыма, постоянно поддерживая связи со всеми потенциальными мятежниками среди подданных султана и крымского хана (подр. см.: *Jorga*, 1911. S. 368).

мые услуги в разноплановой деятельности П.А. Толстого. Поэтому своими успехами (действительно феноменальными) граф во многом был обязан патриарху (*Zinkeisen*, 1856. B. V. S. 304–306; *Шевченко*, 2001. С. 223. См. также переписку Досифея с Петром, опубликованную в: ПБП. Т. I. С. 470–472, 472–473).

Патриарх брал на себя даже смелость поучать царя, когда, как он полагал, его вмешательство в петровскую политику необходимо или когда его мнение об отдельных акциях могло служить для пользы общего дела. Так, его возмущала ставшая привычной для русских торговля шведскими пленными на юге — с крымскими татарами, и особенно с турками. Он писал Петру, что «шведы, хотя и еретики, но как емлют их к Москве, бывают православными и скоро и помалу (находясь в Москве, рано или поздно принимают православие. — *В.В.*)... Но имеют поволность некия [царские подданные] вывезти их в землю турскую... Не грех ли перед Богом, но и на свете великое безчестие, понеже не из которого христианскаго государства не привозят сюды продавать христиан, а из святых стран (Москвы. — *В.В.*), [что и] признать непристойно. Надобно там, аще изволите повелеть, чтобы не вывозили христиан болше, [а в наказание] предложить ослушникам не ино, но смерть не отложную и будет великая честь и великая слава твоему царскому величеству» (цит. по: *Каптерев*, 1891. С. 59)[1].

Неоднократно упоминавшийся выше Ф.И. Соймонов глухо упоминает несколько раз о том, насколько тесно были связаны между собой Прутский поход Петра I, конфликты между Крымом и Османской империей, а также молдово-валашские воинственные антитурецкие настроения. Но он не упускает случая и подчеркнуть, насколько безрассудной была сама надежда царя на поддержку столь далёких России и её народу властителей южных княжеств. И русский историк был прав: валашский господарь К. Бранкован давно был на подозрении у Порты как слишком уж богатый и самостоятельный вассал. И уже в 1703 г. визирь Рами-Мухаммед совместно с А. Маврокордато[2] искали способ сместить

---

[1] В целом, значение Досифея в истории Крыма и России пока недооценено. Если не считать публикатора писем этого патриарха, Н.Ф. Каптерева, то лишь один исследователь отдал ей должное. Это был не историк, а профессиональный разведчик, подготовивший для служебного пользования пособие по истории русской разведки, высоко оцененное академиком Е.В. Тарле, изданное в открытой печати лишь через 60 лет после написания, да и то под неуместно игривым названием «Тайны галантного века» (*Гражуль*, 1997). Кроме анализа деятельности Досифея, именно этот автор первым назвал истоки российской агрессии в южном направлении, возобновившейся в конце XVII в. и имевшей столь обширные последствия. Ими стали два идеологических фактора: *православие* и *панславизм*, которые уже в ту эпоху «начинают самодовлеюще влиять на русско-турецкие отношения» (ук соч. С. 11). Самым ярким представителем этих идейно-политических течений и стал, почти одновременно с Ю. Крижаничем, но независимо от него, патриарх Досифей Нотару.

[2] Александр Маврокордато, потомственный фанариот, сделал стремительную духовную карьеру в греческом обществе. Занимая при дворе султана должность переводчика, он фактически стал одним из первых лиц в посольско-дипломатических кругах и службах империи. На протяжении 40-летней службы Порте неоднократно выполнял ответственные миссии за рубежом, связанные с государственными тайнами. Русские послы с 1699 г. называли Маврокордато «Салтанова величества тайный секретарь» (*Уляницкий*, 1883. С. 23), считая его статус выше визирского. Активно проводил политику удержания слабевшей империей её политического положения. Одновременно преследовал собственную

его, хоть и безуспешно — слишком уж непомерной стала его власть в Валахии, его влияние в православном мире османской райи (*Кочубинский*, 1872. С. 18)[1]. Он пользовался её поддержкой и в московской своей игре. Есть множество свидетельств тому, как братья-христиане, пока ничем не рисковавшие, безбожно занижали военную мощь турок, любой ценой пытаясь привлечь на свою сторону, на сторону своего господаря, могучую единоверную Россию (*Артамонов*, 1990. С. 81–82, 171). А ведь известно, что нет ничего более опасного, чем недооценка противника, и нет ничего, более вредоносного, когда искусственно распускаемые слухи о его слабости принимаются на веру.

В пользу принятого Петром решения о новой войне с Турцией говорил и некоторый разлад в лагере его будущих противников, наступивший в начале 1711 г. Прежде всего, был сорван намеченный на это время совместный крымско-казацкий поход на север. Когда хан в январе разбил походные лагеря в нижнем течении Днепра и у Кази-Кермена, то запорожцы П. Орлика, нарушив договорённость, туда не явились. После чего Гирею не оставалось ничего иного, как вместо совместного удара в направлении мощной группировки русских, оборонявшей Воронеж, удовлетвориться захватами мелких крепостей (всего в этом походе было разорено несколько городов и 200 мелких деревень русских новопоселенцев), да отправкой в Крым пленных, которых к концу марта набралось 10 000 человек (*Fabrice*, 1760. P. № 12). А затем домой вернулось и само ханское войско.

Через месяц, 23 февраля 1711 г., Пётр подписал «объявление» (манифест) насчёт начинаемой им войны с Турцией (ПБП. Т. XI. Вып.1. С. 85–86). Одновременно царь сделал попытку переманить на свою сторону беев, мурз и вообще весь народ собственно Крыма, а также заперекопские орды, предложив им предать родину и своего государя. При этом он соблазнял этих ханских подданных какими-то «свободами» и другими благами, которых и природные-то русские никогда не имели, в противном случае грозя татарам страшными репрессиями[2]. Понятно, что крымские татары, народ, свободный в принципе, на царские обещания не поддались, не нашлось и отдельных, единичных выродков-предателей.

Основные русские силы двинулись на юг ещё в феврале 1711 г. (донские казаки несколько раньше), после того, как петровские солдаты устроили в турецком городке Исакчи «великую резню, так что только некоторые остатки от меча бежали» (*Лехно*, 1884. С. 33). Тогда из Стамбула на север отправилось подкрепление приграничным гарнизонам и полевой армии — 18 000 янычар с 500 пуш-

---

цель — создание суверенного молдаво-валашского государства под собственным управлением (*Jorga*, 1911. S. 283–285; *Kurat*, 1943. S. 38–42).

[1] Райа (райя) — первоначально всё податное население Османской империи; позднее к райе стали относить лишь немусульманских подданных султана или крымского хана.

[2] «Ежели вы, усмотря нашу правость, с нашими войсками битися не будете, но похочете под оборону нашу поддатися и пришлете для того немедленно к нам, ради договору, от себя знатных людей, и будете обще с нами против турок и протчих подданных Турских битися, то мы примем вас как приятелей, во оборону свою и не велим войскам нашим вас разорять... но больше вам вольности и свободы позволим, нежели вы имели под Турскою областью». В противном случае «...повелим вас огнем и мечом разорять» (ПБП. Т. XI. Вып.1. С. 95–97).

ками. Что же касается Девлет-Гирея, то он с 21 января находился в разорённом Кази-Кермене, поджидая казаков, с которыми уже была договорённость о совместных действиях. Но те внезапно заупрямились: генеральный писарь П. Орлик требовал вначале от хана клятвенного обещания вооружённой силой освободить (после окончания кампании) всю Украину от русских и поляков, чтобы избранному гетману можно было спокойно управлять всей страной (*Lagerberg*. Op. cit. S. 46–47). Понятно, Гирей такого обещания дать не мог, отчего создание действенной обороны северных районов Османской империи затягивалось.

Между тем приближалась весна и в Стамбуле было принято решение смягчить удар с севера, направив в районы Буджака и Правобережья войско крымского хана (им командовал калга Мехмед-Гирей) и армию нового (сменившего Маврокордато) молдавского господаря Д. Кантемира. Нахождение в этом обширном регионе упомянутых войск имело ещё одно важное значение: здесь, под их прикрытием, находилась походная ставка польского воеводы гетмана Йозефа Потоцкого, к которой стекались отовсюду антирусски настроенные поляки («станиславчики», по имени их короля). Но этот плодотворный процесс был через месяц-другой сорван, так как основная часть войска калги внезапно пошла восвояси, наскучив столь затянувшимся бездельем.

В результате поляки перестали переходить на сторону Й. Потоцкого, да и собравшиеся было шляхтичи пошли на попятную, решив, что без крымскотатарского войска игра с московитами становится слишком опасной. Когда Карл XII, обеспокоенный таким развитием событий, направил хану 22 апреля 1711 г. грамоту, где выражал свою обеспокоенность создавшейся ситуацией, тот тут же послал к калге и Д. Кантемиру гонца с жёстким указанием вернуть ушедших было воинов назад, в походные лагеря, обменять пленников и тем «исправить принесённое зло, которое идёт против Бога, людей и моих приказов» (цит. по: *Lagerberg*, 1896. S. 143).

Возвращение крымских и молдавских войск было более чем необходимым Стамбулу, который не мог выделить достаточное количество своих вооружённых сил, поскольку одновременно с военными действиями на Правобережье Порта подготавливает наступление в районе Азовского побережья с целью возврата Азова и захвата Таганрога. Русские узнали об этом плане и вовремя укрепили обе крепости. Причём весьма основательно, хотя им и мешали крымские татары. Так, в конце апреля Ор-бей с 16 000 конников вновь совершил рейд вдоль всей цепи русских военных поселений. До мая 1711 г. татарами были взяты не только русские городки, но и 150 небольших военных кораблей, стоявших у крепости Самара, предназначенных для переброски на Днепр пехоты и полевой артиллерии. При этом городки утратили своё значение в смысле поддержки русской армии, так как из них была выведена в Крым основная часть населения — около 12 000 чел., не считая 5 000 погибших при обороне (Nyaste Berättelser, 1711. S. 4).

Далее на север татарская конница не пошла по причине глубокого снега, вернувшись 24 марта 1711 г. к Перекопу. Но когда потеплело, состоялся новый поход, в результате которого была взята Белая Церковь (кроме цитадели) и немало мелких городков. Весенние походы крымских татар заставили надолго задержаться уже выступивший было в направлении Азова вспомогательный русский корпус. Когда же в июне 1711 г. Азов был блокирован турецкой армией,

то Девлет-Гирей не только послал турецкому командующему экспедиционным отрядом Измаил-паше 200 000 дукатов, но и 7 000 мешков хлеба в Сечь, чтобы казаки могли оперативно выступить на помощь турецким их союзникам. Готовились к походу в Крым, а оттуда далее, под Азов, и мазепинцы, находившиеся в Турции — об этом Карл XII писал С. Лагербергу из Бендер 25 июня 1711 г. (*Lagerberg*, 1896. S. 178, 180).

Начав поход на Турцию, российская армия, практически не встречая османского сопротивления, углублялась в её придунайские княжества, хотя и находилась в тяжёлом положении из-за нехватки обеспечения всем необходимым. Такая обстановка сложилась прежде всего оттого, что уже в первые дни похода «хан отрезал русским пути доставки зерна и снаряжения, и это, несмотря на многочисленность русской армии, вызвало у противника уныние» (*Халим Гирай*, 2008. С. 116). Проблема снабжения, в первую очередь провиантом и фуражом, вообще оставалась важнейшей практически на всем протяжении Прутского похода. Она же, по сути, сыграла главную роль в его провале. Складов, расположенных вблизи театра военных действий, создано не было. Русские надеялись на поддержку волошского и молдавского князей — и напрасно.

Но были ещё три причины тяжёлого положения, в котором очутилась петровская армия. Коротко их можно сформулировать так: во-первых, ещё в начале похода от поставок в российскую армию наотрез отказывались украинцы, так что было разрешено применять к ним насилие (*Орешкова*, 1971. С. 108). Во-вторых, точно так же вело себя молдавско-волошское население после пересечения армией границы. Наконец, с великим трудом доставленное на бреславльские склады продовольствие из России и Украины, а также средства на его закупку, безбожно расхищались армейскими чиновниками службы снабжения (*Артамонов,* 1990. С. 172). От них не отставали «собственные наши люди и солдаты, частью деньщики и извозчики [которые] пограбили много повозок» (*Юль*, 1910. С. 364).

Это был какой-то рок, преследовавший Россию во всех южных походах, поскольку воровство у самих себя оказалось неискоренимым[1]. Нехватка продовольствия, заметная ещё во время марша армии петровского фельдмаршала Б.П. Шереметьева по территории Молдавии, в условиях ограниченной мобильности в приречных долинах, теперь стала куда более острой, почти катастрофической. Неурожай поразил в том году весь молдаво-валашский регион, и местный господарь при всей его симпатии к единоверным захватчикам беспомощно признавался русскому командующему: «Провиантом, наипаче хлебом, вся наша земля вельми скудна и гладна, ибо сего года не родилось...» (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 539). А когда у царя Петра возник план подкормить армию у буджакцев (насильственно, понятное дело), то время оказалось упущенным. Тучные стада были отогнаны этими

[1] К слову, родовая, традиционная порочность русского интенданта оставалась незаметной, глубоко скрытой, но пагубной для военных действий ещё полтора столетия после окончания Прутского похода. То есть до всемирного позора Крымской войны включительно, когда именно по этой причине огромная имперская армия, к тому же воевавшая *оборонительно* и на *своей* территории, потерпела поражение. Причём от союзных армий, для которых не только каждый патрон, но и каждую иголку приходилось доставлять в Крым буквально из-за трех морей. И у которых, тем не менее, царил безукоризненный, налаженный порядок службы и быта, что, главным образом, и решило исход войны.

кочевниками к морю, а путь к ним закрыло войско подоспевшего весьма кстати крымского калги: «совсем татара вывезлись к Дунаю и к морю, от нас будет миль с 30; салтан (т. е. калга. — *В.В.*) со всеми татары от нас в 5 милях», растерянно сообщал своему государю Б.П. Шереметев (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 550).

Позиция местных господарей вполне чётко обрисована в рукописи Ф.И. Соймонова. Эти князьки, стремившиеся к самодержавной личной власти, рассчитывали добиться её с помощью петровских войск. Однако подданные султана, даже православные, не были готовы проливать ради этой цели свою кровь. И ситуацию не могли спасти указы господаря К. Бранкована, грозившего, что мирные валашские крестьяне будут в таком случае «яко отметники веры, прокляты соборне, и за изменников объявлены, и огнем, и мечем погублены» (ОР РНБ, F. IV. 739/3. Л. 265 об.). Возможно, здесь перевешивали упрямые факты: пока «огонь и меч» против местного населения обнажали именно северные пришельцы. Перейдя границу, они действовали привычными методами, обирая и терроризируя мирных жителей: об Исакчинской резне уже говорилось, но жертвы были и в иных местах, хоть и не такие массовые.

Положение армии, которой, несмотря на открытый переход молдавского князя на сторону царя[1], по-прежнему упорно отказывало в поддержке местное население, между тем всё более ухудшалось. И Ф.И. Соймонов в своей рукописи снова с совершенным беспристрастием указывает, что во многом вина здесь была самого царя. На военном совете в Яссах, состоявшемся 28 июня 1711 г., было решено, что основная часть российской армии переправится через р. Прут и пройдет к югу, вдоль правого берега до Фальчи — урочища и одноименного селения на правом берегу р. Прут (примерно в 100 км к югу от г. Ясс). Против этого плана выступали наиболее дальновидные из петровских генералов. Они согласно рекомендовали создать в этом цветущем городе запас провианта и снаряжения, необходимых для дальнейшего наступления («Совет сей поистине был благоразумной» отмечает Ф.И. Соймонов).

Однако царь не послушал их — возможно, причиной этому была вторая годовщина Полтавы, 27 июня, которую русские двое суток широко отмечали в обильных вином Яссах (*Юль*, 1910. С. 361). А потом, явно не со здоровой головы, Пётр решился на роковое «действо другое, а именно, чтоб итить им к Днестру реке» (ОР РНБ, F. IV. 739/3. Л. 267). То есть послушавшись совета К. Бранкована (кстати, в конечном счете предавшего в то лето и Петра), который рекомендовал переправиться для дальнейшего марша за Прут.

Царь объяснял свой выбор тем, что безопасность его войска от противника, ожидавшегося с юга, обеспечивало обширное, непроходимое болото, на северной окраине которого находилась Фальча. Однако отряды крымских татар эту преграду одолели и успели занять Фальчу 8 июля. Затем они, практически не останавливаясь в селении, пошли на север, навстречу русским, которые к этому времени успели добраться только до села Станилешти (около 13 вёрст севернее г. Фальчи).

---

[1] Они встретились на одной из ясских площадей, где Пётр «обнял Кантемира и целовал его лицо, глаза, как отец своего сына», сообщает молдавский боярин хронист Ион Никулче, что подтверждает и его коллега Николае Костин (цит. по: *Ермуратский*, 1983. С. 20).

Одновременно Девлет-Гирей молниеносным броском своей конницы форсировал Прут и отрезал русское войско от ясских складов и иной тыловой поддержки. А собранные местными князьями и прибывшие вскоре в Яссы 3 000 возов с запасом провианта для армии так там и остались — без какой-либо пользы для полевой армии, где как-то очень быстро начался голод (*Кочубинский*, 1872. С. 61). Помимо того, крымские татары практически лишили русское войско воды, точно предугадав маршрут его продвижения и приведя на нём в негодность все источники и колодцы. Самое поразительное здесь то, что Пётр об этом знал по донесениям собственной разведки (*Юль*, 1910. С. 361) и тем не менее решился двинуться в путь по практически обезвоженной местности.

Затем войско Девлет-Гирея и подоспевшие турки атаковали передовые части российской армии и оттеснили ее на 15 вёрст в северном направлении, к урочищу Новые Станилешти, к месту будущего сражения 9–10 июля (*Головацкий*, 1884. С. 332; СВЭ. Т. 6. С. 615–616). Теперь проблема состояла в том, кто первым придёт к Дунаю, русские или же турки с крымскими татарами. Пётр планировал соединиться на берегах реки с молдавским и валашским господарями, после чего, полагал он, турки со страху рассеются. Однако огромная (4 дивизии) русская армия с её не менее громоздким обозом были медлительны и неповоротливы; переправы даже через малые речки отнимали массу времени.

Поэтому османы успели не только подойти к Дунаю раньше царского войска, но и переправиться на северный берег. Русские войска, подтянувшись 5–9 июля к Пруту, дальше идти не осмелились, так как их обозы и основной корпус постоянно тревожили конники Девлет-Гирея. И, что ещё важнее, — крымцы не только вели неусыпное наблюдение за всеми манёврами русской армии, немедленно сообщая о них турецкому командующему, но именно они полностью отрезали русских от тылового обеспечения, одновременно лишив их возможности и самоснабжения за счёт местных жителей (*Kurat*, 1939. S. 113). Петровские фуражиры из страха перед летучими отрядами крымскотатарской конницы не осмеливались удаляться ни на шаг от маршевых колонн, поэтому перешедшая турецкую границу армия вскоре стала страдать не только от бесхлебицы, но и от жажды (лето 1711 г. было на редкость жарким и сухим).

Это было начало конца. Попытка русских форсировать Прут, чтобы продолжить движение к Дунаю, не увенчалась успехом, прежде всего оттого, что неприятель (главным образом 50-тысячный сводный корпус крымского калги) , как признавался сам Пётр, «жестоко нам в марше мешал» (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 565). Последнее нападение такого рода произошло, когда русская армия была уже у Прута, в первых числах июля. Тогда хан и его бей Осман-ага «нанёс неприятелю сильное поражение, взял многих в плен, привёз множество добычи, так что [оба они] приобрели великую славу на этой войне...» (*Лехно*, 1882. С. 37).

Понятно, что именно эта битва с крымцами помешала русским переправиться через Прут. Кроме того, 9 июля 1711 г. турки также успели форсировать эту реку выше по течению и обошли русскую армию с севера. Правда, в тот же день ближе к вечеру великий визирь Мехмед Балтаджи-паша приказал своим отрядам вернуться обратно, что те, за исключением нескольких тысяч янычар, и сделали.

Но 50 000 крымско-запорожского войска[1] остались на позициях, несмотря на опасность прорыва почти 40-тысячной армии русских которым грозили участь окруженцев и голодная блокада: «Крымские Татары, которые за несколько дней до этого появились... отрезали ему (т. е. Петру. — *В.В.*) возможность [отступления] и все пути сообщения, так что Турки успели с войском в три раза сильнейшим» (*Перри*, 1871. С. 31). О том же говорит другой современник этих событий: «Девлет-Гирай-хан со всеми крымскими войсками окружили войска Мошкова (т. е. „московитов". — *В.В.*) с двух сторон и заперли ему все выходы и дороги к отступлению» (*Лехно*, 1882. С. 38). На военном совете петровские генералы советовали царю бросить обозы и в ночное время прорваться сквозь кольцо противника. Однако царь на такую вылазку не осмелился, хотя она могла стать спасением для его армии.

Впрочем, к утру 10 июля он передумал, выстроил своё войско в каре и, бросив обоз, пошёл медленным маршем, ведя непрерывный огонь из ручного оружия, на расположение крымского войска, по-прежнему надеясь прорваться на север. Однако конные и пешие татары, поддержанные относительно немногочисленной янычарской кавалерией, сдерживали русское войско, пока оно само не выдохлось и за час до заката солнца не отступило практически на старые позиции.

Далее последовало известное событие. Русская армия, подойдя к береговой деревушке Новые Станилешти, была в ней полностью блокирована и утратила мобильность. Она угодила в окружение, мастерски завершённое, вопреки отсутствию у противника единого командования, а также удивительной пестроте, разносоставности его рядов. Ведь Петру здесь противостояли крымскотатарские, турецкие, боснийские, албанские, шведские и казацкие отряды, а также более мелкие группы смешанного состава.

Драму этого дня дополняют шведские источники. Согласно записям очевидца, 10 июля «царь не прошел и одной мили, так что он осел почти на том же месте, спиной к Пруту, в виде треугольника с кавалерией и артиллерией вдоль фронтальной стороны его. Когда янычары, которые в тот день маршировали 6 часов кряду, к вечеру прибыли (фактически в расположение крымскотатарского войска. — *В.В.*), то произвели салюты — первый настильно, второй — в воздух... и наступила ночь. Но работа не прекращалась и ночью, и к утру лагерь Петра был окружён кольцом траншей» (*Lagerberg*, 1896. S. 214). Ловушка захлопнулась.

Как видно из всего вышеизложенного, в преследовании русских маршевых колонн, в окружении и блокаде петровского войска (а именно в действиях, обусловивших блестящую победу у Прута 1711 г.), главную роль сыграли крымскотатарские воины под командованием калги Мехмед-Гирея, полководца, не только одарённого стратегическим мышлением, но и отважного. По словам того же современника-шведа, это признавали, хоть и с неохотой, сами турки (*Lagerberg*, 1896. S. 213). О том, насколько скудными оказались плоды этой блестяще задуманной и проведённой операции для её фактического руководителя, крымского хана, будет сказано ниже.

---

[1] Участник похода к Пруту крымский историк Абдул-Гафар ал-Къырыми указывает, что большинство (40 000 сабель) в этом смешанном войске составляли крымские татары (*Келлнер-Хайнкеле*, 2002. С. 382).

Итак, забредшие вглубь одной из излучин Прута, русские оказались в окружении. В эти дни шведский посол писал Карлу XII: «С сердечной радостью сообщаю, что царь с его армией... у Прута траншеями и пушками так окружён, что, если Бог особо не захочет наказать нас, то по человеческому разумению оттуда уже никто не выйдет» (*Lagerberg*, 1896. S. 188).

Положение окруженцев действительно было безвыходным. Количественное соотношение сил противостоящих сторон было следующим. Число турок равнялось 100000–120000 человек, крымских татар — 35000–40000 человек и 8 000 насчитывали запорожцы. То есть в целом блокаду царского войска держало около 150000 человек пеших и конных, поддержанных артиллерийским парком в 407 стволов[1]. Количество русских окруженцев известно более точно — 38236 человек и 122 пушки (на начало блокады). Другими словами, соотношение сил было приблизительно 1 к 4 или 1 к 5. Естественно, не в пользу нападавшей стороны, теперь превратившейся в обороняющуюся и остро нуждающуюся в боеприпасах.

Из котла, созданного таким образом у Прута, выхода не было. Петровские солдаты были лишены провианта и воды, а конница — фуража. Кони были предельно истощены: нехватка кормов длилась не первую неделю, так как на всем пути, начиная от Белой Церкви, «саранча дочиста съела хлеб вместе с соломою и полевыми травами...» (*Юль*, 1910. С. 355). Шедший же к главной группировке фуражирский обоз, как и охранявший его тысячный корпус были разбиты и захвачены ещё ранее ханским сыном, калгой Мехмет-Гиреем (*Tengberg*, 1953. S. 128–129). В походе русская армия теряла только умершими от голода ежедневно по 300–400 человек. Теперь смертность стала ещё выше, а кони от жажды уже лизали землю. Ситуация стала такой, что царь не стал гадать, как будут развиваться события в дальнейшем, и в тот же день, 10 июля, стал склоняться к капитуляции.

По словам Ф.И. Соймонова, мысль о неизбежности переговоров с турками впервые пришла в голову отнюдь не царю[2], а его пока ещё неформальной супруге Екатерине, которая и убедила Петра срочно собрать военный совет для поиска выхода. В пользу правдивости этого сообщения историка, между прочим, говорят и дальнейшие поступки будущей императрицы, относящиеся к исторически достоверным: они были зафиксированы в стопроцентно надёжной источниковой базе иного происхождения.

К упомянутым действиям относится, в частности, совместное с вице-канцлером П.П. Шафировым выступление Екатерины на военном совете, состоявшемся

---

[1] По российским сведениям, всего вражеского войска насчитывалось ещё больше: 189 665 человек, поддержанных 444 пушками и 25 мортирами (ОР РНБ, F. IV. 736/3. Л. 271 об. – 272).

[2] Судя по некоторым источникам, Пётр в эту минуту, действительно отчаянную, мягко говоря, растерялся. Как записывал датский посланник в России Юст Юль, непосредственно наблюдавший всё происходившее в лагере, «царь, будучи окружён турецкой армией, пришёл в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и вперёд по лагерю, бил себя в грудь и не мог вымолвить ни слова. Большинство [окружавших его] думало, что с ним удар» (*Юль*, 1910. С. 371). Используя последние возможности связаться с внешним миром, царь передавал на волю — петербургскому правительству — письма совершенно панического содержания: «...без особливой Божьей помощи ничего иного предвидеть не могу кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен» (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 315).

поздним вечером 10 июля. Они считали план прорыва силой сквозь окружение самоубийственным. После того как с Екатериной и вице-канцлером согласились остальные участники того исторического совещания, она выдвинула замечательную инициативу. Это было предложение подкупа турок как единственного выхода из создавшегося положения. Не только Ф.И. Соймонов, но и другие современники Петра, близко знакомые с событиями Прутского похода, указывают, что предложенный Екатериной туркам выкуп за освобождение армии и царя со свитой в обмен за выпуск всей русской армии из окружения, первоначально (в первой половине дня 10 июля) не был принят (См. *Павленко*, 1990. С. 342; *Орешкова*, 1971. С. 126–127).

Для дальнейшего изложения истории жизни и деятельности Девлет-Гирея имеет уникальную ценность не раз упоминавшаяся выше рукопись Ф.И. Соймонова — автора, никем не цензурированного, чей труд буквально дышит эпохой. Во всех разделах рукописи, посвящённых 1711–1714 гг., обнаруживается поразительная осведомлённость автора в самых различных областях общественной, политической, духовной жизни тогдашнего Крыма и его отношений с Османской империей. Сам он никогда не бывал ни в Крыму, ни на берегах Босфора, и эта информированность была бы непостижимой, если бы не сохранилась частная переписка этого историка-сенатора с его современниками, имевшими самое непосредственное отношение к восточной дипломатии. Кроме того, известно, что он неоднократно встречался и подолгу общался с такими первоклассными знатоками крымской и турецкой действительности (более того, непосредственными участниками описываемых событий), как бывшие послы при дворе султана П.А. Толстой и П.П. Шафиров.

КРоме того, Ф.И. Соймонов беседовал с солдатами-ветеранами Прутского похода, с посольскими служителями и т. д. в период создания своей «Истории Петра Великого» в рукописном виде. То же самое можно сказать и о длительности контактов автора с «каролинцами», то есть бывшими офицерами и солдатами армии Карла, попавшими в русский плен. Их было множество, буквально тысячи, они долгие годы жили и зарабатывали себе кусок хлеба на территории всей России. Но более всего в Сибири, где Ф.И. Соймонов прожил достаточно долго, дополняя основной труд своей жизни всё новыми подробностями и уточнениями.

Но вернёмся на берег Прута первой половины июля 1711 г. Какое-то время турки тянули с согласием вступить в мирные переговоры. Обладая многократным превосходством и не испытывая ни в чём недостатка, они резонно полагали, что противник чем дальше, тем будет покладистей. Тем более, что в этой редчайшей ситуации когда речь шла о жизни и свободе российского царя с супругой, османы и их союзники предполагали назначить необычно высокую цену. Первым её назвал Девлет-Гирей. Как только царь с войском был блокирован, хан выступил яростным противником каких бы то ни было переговоров, справедливо считая, что выпущенное из окружения войско, и прежде всего сам Пётр, в будущем вновь станут постоянной угрозой для Крыма, да и Турции тоже.

Поэтому он предлагал взять царя в плен, — так были бы решены все назревшие проблемы (*Kurat*, 1951. C. I. S. 496–504. См. также: *Халим Гирай*, 2008. С. 117). Более того, ещё накануне, при обсуждении проблемы переговоров, когда великий визирь Балтаджи стал склоняться хотя бы к ознакомлению с русскими

предложениями, хан буквально вышел из себя. Невзирая на могущество первого чиновника Порты, он не только бешено спорил с ним на советах в лагере, но и отправлял в Стамбул письмо за письмом, обвиняя визиря в непоследовательности и чуть ли не предательстве общих интересов (*Kurat*, 1951. C. I. S. 645).

С огромным трудом его удалось склонить к согласию на участие в переговорах. И хан тут же составил пункты требования, которые в данном случае были уместны. По мнению Гирея, русские должны были отдать всё завоёванное ими с начала войны, в том числе крепость Азов и недавно построенный на ханской земле порт Таганрог, а также все остальные недавно возведённые крепости. Кроме того, Пётр должен был гарантировать своё невмешательство во внутренние и внешние дела Польши и Запорожской Сечи. Стоит отметить, что позже именно эти разработки хана и легли в основу Прутского мирного договора 1711 г.

Но это было не всё. Гирей считал, что царь должен возвратить Швеции все захваченные у неё провинции, исполнение чего должно было быть гарантировано рядом европейских государств.

Другими словами, Девлет представил на переговоры готовый проект создания многосторонней политической системы, гарантированной международным трактатом, способной предотвратить более чем возможную агрессию России на черноморском и балтийском направлениях в будущем. Тем не менее, как мы увидим, именно эта, основная часть программы Девлет-Гирея, была Портой отвергнута без каких-либо объяснений или обоснований, а интересы Швеции и Крыма игнорировались полностью[1].

Готовясь к мирным переговорам, османы рассчитывали вернуть себе (и только себе) всё утраченное по Карловицкому миру. Казаки же, которых представлял П. Орлик, к тому времени возвышенный шведским королём до статуса гетмана (*Бодянский,* 1847. С. III), неуклонно настаивали на том, чтобы великий визирь включил в условия будущего трактата жёсткое разделение украинских и русских земель государственной границей, а также требование, чтобы Пётр возвратил на родину всех украинских казаков и крестьян, насильно угнанных на жительство или «в работы» в московские земли. Что же касается участвовавшего в этих обсуждениях Карла XII, то он настаивал на своём: потребовать от царя прекратить агрессию на Балтике и вернуть исконно шведские Ингерманландию, Эстляндию, Лифляндию и финские земли (*Lagerberg*, 1896. S. 202–204).

И, судя по всему, царь уже соглашался подписать все эти условия: он был готов буквально на всё, на что угодно, лишь бы спасти свою особу, лишь бы его его выпустили из смертельной ловушки. Он собирался вернуть всё по требова-

[1] Результаты такого недомыслия (если не хуже) турок сказались ровно через неделю после подписания условий Прутского мира: «24 июля русские из Каменца обстреливали запорожцев; те спросили их, известно ли им о мире. Солдаты ответили, что известно, но мир заключён с турками, а с татарами и с вами мира нет. После чего русские напали на Сечь, сожгли дома, всё разграбили и увели 60–70 человек, рыбачивших на реке. Кошевые отступили вместе с татарами на азовскую сторону, к Таганрогу» (*Lagerberg*, 1896. S. 218–219). Здесь неясно лишь, о какой Сечи идёт речь: о разрушенной старой или же о какой-то новой, — ведь *сечь* не только имя собственное, но и нарицательное: им обозначали любое очищенное от леса (*посеченное*) место для селенья. После Запорожской возникает Каменская, Алешковская Сечь и т. д.

ниям султана, хана и шведского короля, кроме узкого выхода на Балтику в устье Невы. То есть *был готов* расстаться с огромными территориями, завоёванными в Азовских походах и Северной войне, сохранив за собой единственно Санкт-Петербург (*Павленко*, 1990. С. 344).

Итак, начались попытки поиска компромисса с турками, чему должны были содействовать, по не только московскому обычаю, взятки. П.П. Шафиров пообещал визирю огромную мзду, если тот пойдёт на мировую. Обещание это вначале не подействовало. И тогда не царь, а снова Екатерина предложила созвать ещё один военный совет для поиска выхода. К этому сюжету, похожему на народное предание, можно относиться как к легендарному, апокрифическому. Но, скорее всего, события разворачивались именно в том порядке, как они изложены современниками Прута, прежде всего Ф.И. Соймоновым. В пользу последнего предположения, между прочим, говорят дальнейшие поступки будущей императрицы, относящиеся к исторически бесспорным: повторяю, они были зафиксированы не только упомянутым офицером и историком.

Первая проблема, с которой встретились окруженцы, состояла в том, чтобы добиться аудиенции у великого визиря, а это было не так просто. Вначале Балтаджи вообще отказывался принять парламентёра, затем принял, но именно так, как нередко поступают с поверженным врагом. В рукописи Ф.И. Соймонова присутствует характерная и немаловажная для анализа ситуации деталь, не встречающаяся *ни в одном* из источников петровской эпохи: «Везирь принял посланного с великой свирепостию и выгнал того ж часа из шатра» (ОР РНБ, F. IV. 736/3. Л. 269).

После чего к Балтаджи было отправлено письмо за подписью Б.П. Шереметева, оставшееся без ответа, затем второе. Наконец, визирем были приняты П.П. Шафиров и ещё двое парламентеров. Они были снабжены инструкцией, основанной на решениях последнего совета: вице-канцлеру разрешалось в крайнем случае жертвовать всем мыслимым и немыслимым, вплоть до освобождения Россией всех завоёванных в годы Северной войны территорий. Причём не только в Причерноморье, но и в Прибалтике. Тому имеется неоспоримое свидетельство: сохранился текст памятной записки, которую царь передал П.П. Шафирову, уполномочивая его на переговоры:

«Мой господин. Я из присланных слов выразумел, что турки, хотя и склонны, но медлянны являются к миру, того ради всё чини по своему рассуждению, как тебя бог наставит, и, ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на всё, чево похотят, кроме шклавства (рабства или плена царя. — *В.В.*). И дай нам знать конечно сегодня, дабы [мы] свой дисператной (отчаянный. — *В.В.*) путь могли, с помощию божиею, начать. Буде же подлинно с[к]лонность явится к миру, а сегодня не смогут скончать договора, то хотя б то сегодня сделать, чтоб косить за их транжементом [сено для коней]...» (цит. по: *Голиков*, 1837. Т. XII. С. 355).

Однако все попытки смягчить Мехмед-пашу Балтаджи были тщетны. Он знал, что через день-другой все русское добро и так перейдет в его распоряжение. Но вот наступает 11 июля, и великий визирь, *не услышав ничего нового* по сравнению с прежними предложениями, неожиданно соглашается принять некие обещанные русскими дары и предоставить блокадникам полную свободу. Причём на гораздо *более выгодных* для Петра условиях, чем те, о которых речь

Посланцы Петра просят приёма у Балтаджи.
Гравюра. РГАДА

шла выше Например, Балтаджи уже не настаивает на территориальных уступках, были и иные «послабления». Так, если раньше турки требовали непременно выдать им перебежавшего к русским молдавского госпдаря Д. Кантемира (причем были в этом «весьма упрямы»), то теперь они об этом требовании забывают, едва русские заявили, явно для всех лживо, что князь якобы бежал из окружённого лагеря (Выписка из журнала Александра Андреяновича Яковлева, находившегося при Императоре Петре Великом во время сражения под Прутом в 1711 году // ОЗС, 1824. № 51. Июль. С. 21).

Ф.И. Соймонов не раскрывает тайны этой внезапной перемены в настроении и планах могущественного турка, как молчат и остальные авторы воспоминаний или исследований этого странного эпизода в российской истории. Впрочем, в рукописи Ф.И. Соймонова приводится объяснение, которое своей неубедительностью как бы призвано пробудить мысль читателя к самостоятельным поискам истины. Он пишет, что чиновник-кехая (т. е. кяхья. — *В.В.*), подчинённый визирю, якобы «...действо у везиря произвел такое, что принял он потом посланного договор...» (ОР РНБ, F. IV. 736/3. Л. 269). После чего и начались столь желанные русскими переговоры и уточнения текста мирного трактата.

Более того, не только упомянутый кяхья Осман-ага и сам Балтаджи меняют гнев на милость. Их примеру следует весь огромный вражеский лагерь, окруживший русских. Начались взаимные посещения, чуть ли не братание, воцарилась праздничная, буквально *ярмарочная* атмосфера: «приходили сами турки в лагерь российской для продажи запасов своих, так что военной лагерь переменился тот час в веселый ярмонг...» (там же. Л. 269–269 об.). Не скрывавший своего весёлого настроения Балтаджи лично от себя и совершенно бесплатно отослал царю и царице для раздачи по их усмотрению множество мешков с рисом, сахаром,

хлебом, крупами и даже кофе (*Kurat*, 1939. S. 147). А потом неудачливых завоевателей и в самом деле отпустили с миром. И те ушли, сохраняя, по возможности, порядок, под сенью покрытых славою, распущенных знамён, под барабанный бой, сохранив не только личное оружие, но и пушки[1].

Современный исследователь может только гадать о причинах всего этого поразительного события: практически пленённое полевое войско России во главе с царской четой (туркам было не до официального статуса Екатерины) отпустили на свободу. Нет сомнения, эти причины были известны его русским участникам, по какому-то соображению согласно скрывшим истину: очевидно, она в самом деле не подлежала широкому разглашению в России. И всё-таки она просочилась в народ, хотя бы в виде слухов. Тем не менее, в специальной работе, посвящённой «легендам Прутского похода», именно это объяснение легенды (о нём — ниже) не упоминается и не разоблачается, как полдюжины других слухов. В том числе и такой «нелепый», что визиря якобы подкупили (см. *Водарский*, 2004. С. 14–17). Молчат шведские и крымскотатарские источники; но, возможно, по иной причине: от Девлет-Гирея II и спутников Карла XII было скрыто нечто, известное только русским и туркам. Однако в самой Турции остались какие-то письменные источники, также поразительно долгое время нераскрытые: следы их использования обнаруживаются только в XX в.

Один из наиболее известных крымских политиков начала XX в., Джафер Сейдамет, ставший после эмиграции крупным историком и даже создавший в Турции первую научную школу крымоведения, пристально интересовался предысторией аннексии независимого ханства, в том числе и Прутским походом. Опираясь на стамбульские архивные материалы эпохи Ахмеда III, он предложил нетрадиционный ответ на заданный русско-турецким мирным актом 1711 г. вопрос. Его смысл — в гораздо большей, чем принято считать, роли Екатерины в истории чудесного спасения российской армии, угодившей в Прутский котёл.

Как утверждает Дж. Сейдамет, после отказа великого визиря принять в виде выкупа драгоценности Екатерины Алексеевны и других дам, сопровождавших петровское войско, она предложила *лично* вручить их Балтаджи. Без сомнения понимая, *что* именно за этим предложением кроется, её венценосный сожитель Пётр был вынужден на него, скрепя сердце, согласиться (*Sejdamet*, 1994. S. 104–105). Не нашёл в себе силы удержаться от инициативы Екатерины и Мехмет-паша. 11 июля, после вечерних часов, проведенных в своём шатре с Екатериной,

[1] Впрочем, по-настоящему стройных рядов у отступавших не получилось. Люди едва волочили ноги, многие пушки пришлось тащить вручную, так как лошадей почти не осталось. И далее, в бесславном этом отступлении, русское войско представляло, увы, столь же унылую картину. Оно почти ежедневно подвергалось нападениям крымского войска, отчего этим несчастным солдатам и офицерам, полумёртвым от усталости и пережитых страданий, приходилось каждый день из последних сил окапываться и ставить рогатки. Это физическое напряжение было причиной ещё более высокой смертности в остатках былой армии. Теперь в ней ежедневно умирало до 400–500 чел. Понятно, что такой скорбный марш побеждённых не мог продолжаться более 2 часов в сутки (*Hurmuzaki*, 1878. P. 88).

он должен был, как честный человек, принять выкуп и согласиться с порядком выпуска русской армии из окружения.

Подчёркиваю, это — лишь одна из гипотез, из всех попыток раскрыть тайну Прутского мира. Некоторые историки её принимают (*Öztum*, 1967. S. 13). Другие в своем отрицании доходят до той самой крайности, что сама по себе убеждает в противоположном. Так, Р. Масси и Я.Е. Водарский считают, что Екатерина вообще никак не участвовала в русско-турецких переговорах на Пруте и её роль в этих событиях ничтожно мала, если она вообще играла в них какую-то роль (*Масси*, 1996. Т. II. С. 417–424; *Водарский*, 2004. С. 4–15).

Но бесспорные факты говорят об ином: Екатерина *совершила* у Прута некое беспримерное деяние. И именно поэтому было решено учредить второй в русской истории (после ордена Андрея Первозванного), но первый женский орден Святой великомученицы Екатерины, статут которого был утверждён в 1713 г. Первой кавалерственной дамой ордена как раз и стала Екатерина Алексеевна. Несколько позже, 24 ноября 1714 г., он был возложен на неё в столичной церкви Св. Исаакия собственноручно Петром как на «освободительницу его и всей армии российской» — это было вполне официальное определение её подвига у Прута.

Ещё более откровенно выразился другой, английский участник похода и непосредственный свидетель Прутской драмы: «В подготовке примирения с турками [именно] Екатерина оказалась весьма действенным средством» (в буквальном звучании не средством, а *инструментом* — was very instrumental in bringing about the Peace with Turcs) (*Gordon*, 1755. Vol. II. S. 356). Правда, эту двусмысленную оценку автор сделал достоянием европейской публики не ранее смерти сурового супруга Екатерины, да и её самой уже не было в живых.

Принесла ли себя Екатерина в жертву ради спасения многих — и поныне трудно сказать. А вот Мехмед-паша Балтаджи, согласившись на прямое предательство интересов своего государства, принёс, уж точно, куда большую жертву (это чисто субъективное мнение автора). Он, не будучи ничем и никем принуждаем, поставил на кон свою собственную жизнь из не совсем понятных нам побуждений. И, в конечном счёте, именно по причине Прутского соглашения безвременно её утратил, о чём речь пойдёт в дальнейшем.

А пока великий визирь, получив сокровища, в число которых входили и все личные драгоценности Екатерины (об этом см., напр.: *Новичев*, 1963. С. 195), принял единоличное решение отпустить русских. Сохранилось свидетельство польского дипломата Понятовского, собственными глазами видевшего, как в ночь с 11 на 12 июля из русского лагеря к ставке визиря проследовало 7 тяжелогруженных возов (*Kurat*, 1939. S. 146). Это и была плата (часть платы?) за освобождение побеждённого противника. Причём вместе с артиллерией, личным оружием, полковыми кассами, знамёнами, амуницией и прочим, не считая уже утраченной возможности обменять на этих окруженцев всех пленных, на тот момент находящихся у русских — турок, шведов и крымских татар.

Прутский мир 12 (23) июля 1711 г. был подписан там же, в русском береговом лагере, ещё не очищенном от зловонных следов блокады. Содержание трактата отражает безволие и слабость подписавшего его Мехмед-паши Балтаджи. В то время как Пётр разрешил ведшему переговоры П.П. Шафирову соглашаться на уступку Россией всех завоеваний во время Северной войны на севере и на юге,

включая Азов и Таганрог, великий визирь пошёл на неслыханные для победившей стороны уступки. Правда, Россия возвращала туркам Азов, обязалась срыть построенные несколько ранее на ханской земле военно-морскую базу Таганрог, крепости Каменный Затон и Новобогородицкую.

Но на этом уступки практически и закончились!

Остальные условия трактата носили чисто политический характер, лишая Россию права на агрессию в Восточной Европе. Так, статья 2 воспрещала царю вмешиваться во внутренние дела Польши и вводить туда войска, а также не требовать более у Девлет-Гирея выдачи его друзей-некрасовцев. Но взамен турки обязывались добиться выезда Карла XII с территории Османской империи.

Таким образом, упоминавшийся выше протест Девлет-Гирея против любых соглашений с Петром, а также его программа на случай компромисса остались гласом вопиющего в пустыне. Как резонно указывает турецкий историк, в тот период «...для османов было обычным делом рассматривать другие народы — также и мусульманские, и прежде всего крымских татар — как неполноценные. И знатные господа из Стамбула теперь не скрывали своего отношения к хану как к пятому колесу в телеге походной ставки» Мехмет-паши Балтаджи (*Kurat,* 1939. S.-139–140).

В такой обстановке мнение Девлет-Гирея, ранее при дворе столь веское и значимое, теперь всячески игнорировалось (*Орешкова*, 1971. С. 128). Очевидно, именно поэтому на переговорах не было уделено никакого внимания Крыму, интересам крымских татар, собственно и добывших Прутскую победу. Более того, дабы уменьшить в условиях замирения крымскотатарское влияние до минимума, визирь приказал калге (без ведома и согласия хана!) накануне подписания договора отправляться с войском домой. В турецком диване, заседавшем в эти часы, открыто говорилось: «Если русские отдадут нам наши крепости, зачем тогда продолжать лить кровь? Зарубив 40 000 окруженцев, всех московитов всё равно не уничтожишь» (*Kurat*, 1939. S. 140).

Итак, в конечном счёте всё победила несравненная османская жадность: визирь и его чиновники, положив русские деньги и золотые побрякушки в свои бездонные карманы, стали хлопотать о подписании мира (ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 572). И уже 12 июля 1711 г. первый вариант Прутского договора, этот памятник человеческой слабости, был подписан визирем. При этом Балтаджи был настолько счастлив, заполучив царские сокровища, что, как упоминалось выше, по собственной инициативе распорядился отослать в русский лагерь дополнительно (сверх договорных условий) мешки с рисом, кофе, сахаром, хлебом и крупами (*Kurat*, 1939. S. 147).

Затем прутское перемирие было подтверждено безвольным и вялым правителем огромной империи Ахметом III (текст договора см.: ПБП. Т. XI. Вып. 1. С. 323–324; уточнённый, окончательный вариант трактата был подписан 5 апреля 1712 г., его текст см.: ПСЗ. Т. IV. № 2515). И всё же Девлет-Гирей не терял надежды на ликвидацию договора. Известно, что 24 июля в Стамбул прибыл его посланник-мирза, привезший обстоятельные доводы хана, протестовавшего против такого оборота событий. И султан уже склонялся к мнению Гирея, но на сторону Балтаджи стали главный евнух Кизяр-ага и фаворит Ахмета III Али-паша, а также высшие чины янычарского войска, уставшего от затянувшихся

военных действий. В такой ситуации султан уступил своим советникам (*Sutton*, 1953. P. 58, 67).

Но теперь снова, уже задним числом, султан стал упрекать Мехмет-пашу Балтаджи, почему, дескать, тот не поторговался ещё хоть пару дней, можно было бы ослабить русских, заставив их отдать Карлу всё, захваченное Петром в Прибалтике и т. д. (*Lagerberg*, 1896. S. 199, 217). В конечном счёте получение русского золота у Прута стоило этому лукавому царедворцу жизни. В чём, кажется, основную роль также сыграл крымский хан, не сумевший его простить.

Ганноверский исследователь, работавший с турецкими документами, описывает этот драматический инцидент в следующих чертах. Когда Девлет-Гирей после подписания договора, покидал, дворец султана, Ахмет III вышел его проводить — жест, кстати, вполне обычный в отношениях двух монархов. Неожиданно хан, уже садившийся на коня, вынул ногу из стремени. На вежливый вопрос о причине медления он ответил, что не покинет Порог Счастья, не получив головы великого визиря Балтаджи. Султан, и без того крайне недовольный Мехмет-пашой, не стал спорить из-за такого пустяка. Через несколько минут голова визиря была предъявлена Девлет-Гирею. После этого хан, вполне удовлетворённый, с достоинством поднялся в седло и двинулся в обратный путь (*Haxthausen*, 1847. S. 417).

Стоит упомянуть и о низложении ещё одного крупного администратора Порты, также свершившемуся по настоянию крымского хана. Упоминавшийся ранее сераскир Бендер Юсуф-паша (между прочим, родственник Балтаджи-паши) был заподозрен Девлет-Гиреем в двойной игре во время переговоров у Прута. Поэтому он заявил султану: «доколе тот [находится у должности] в Бендерах, я не в состоянии удовлетворительно выполнять те важные поручения, которые Вашему Величеству будет угодно возложить на меня». После этого «султан волей-неволей был вынужден его (т. е. Юсуф-пашу. — *В.В.*) сместить и заточить в крепость Кильбурун» — так объясняет смысл этого события его свидетель, придворный историограф султана Мехмед-ага Рашид (цит. по: *Nilsson*, 1954. S. 70–71). Но вернёмся к Прутскому договору для более общей оценки этого акта.

Для ханства этот трактат был вроде бы выгодным: русские отдавали Азов, а также внекрымские крепости и территории ханства. Но так могло показаться только на первый взгляд. Девлет-Гирей понимал, что содержащееся в договоре запрещение дальнейшего продвижения русских на юг — лишь временная отсрочка наступления России. Оно могло бы быть остановлено не российско-турецким мирным договором, а единственно трактатом, гарантом которого выступило бы какое-нибудь из сильных европейских государств, связанное союзами с великими державами, Швеция, например. И поэтому Гирей неоднократно пытался разжечь огонь войны Турции и Крыма с Россией, пока не было поздно исправить положение: лишь пользуясь тем, что Россия ведёт тяжёлую Северную войну, и можно было заключить более надёжный турецко-русско-шведский мир, желательно гарантированный одной-двумя великими европейскими державами.

Однако влияние хана в эти месяцы заметно снизилось: Порта в нём на данный момент не нуждалась. К тому же в Крыму обострялась внутренняя обстановка. Вновь против Гирея выступают его ногайские эмиры. Правда, какое-то время он находит поддержку у стоявшего в Крыму со своими казаками Игната Некрасова — обильная информация об этом сохранилась в шведском Государствен-

ном архиве (SRA ORW, *O. Wrangel* — H. Müllern, 30.10.1711). Но над Крымом всё тяжелее нависает турецкое давление: в Керчь и другие города перебрасываются крупные янычарские отряды, якобы необходимые для гарантии выполнения условий Прутского договора (SRA ORW, *O. Wrangel* — H. Müllern, 20.11.1711).

Петровский посол в Стамбуле П.А. Толстой, беспрерывно выплачивавший крупные суммы новому великому визирю, а также муфтию, капудан-паше, матери султана и многим другим, сумел добиться от Ахмета III фирмана, предписывавшего хану выслать из Крыма Свена Лагерберга. Видимо, петровскому вельможе было необходимо прервать крымско-шведские политические связи. Ведь этот швед был последним уцелевшим звеном в контактах между Гиреем и Карлом XII, с которым в Бахчисарае по-прежнему связывали надежды на сотрудничество в борьбе с Россией. Тем не менее, указанию из Стамбула пришлось подчиниться, и Лагерберга проводили с почестями до границы.

Очевидно, какие-то проекты того же смысла по-прежнему разрабатывались и в ставке шведского короля. Прошло совсем мало времени после того, как С. Лагерберг со своими помощниками покинул Крым, как в Бахчисарай прибыл новый посол Карла, Г. Люттеман. Хан с радостью встретил его, начались весьма перспективные переговоры, естественно, в глубокой тайне от османского двора[1]. Однако через какое-то время их пришлось прервать. В дальнейшем они стали невозможны, причём сразу по трём причинам. Во-первых, туркам удалось что-то пронюхать насчёт сепаратных шведско-крымских переговоров и стратегических замыслов, и султан прислал исполненную открытых угроз грамоту с требованием немедленно выслать и этого шведа. Но ещё более серьёзной причиной провала миссии Г. Люттемана стали новые неудачи политики хана в Молдавии и Валахии, связанные с предательством Д. Кантемира (подр. см. ниже).

И, в-третьих, всё более отчётливо проступало общее недовольство турецких политиков пребыванием короля Швеции в Османской империи, которое, в конечном счёте, вылилось в акцию вооружённого насилия, получившее имя *Калабалык*[2]. Это историческое событие ярко высветило, сделало предельно очевидными не только личные свойства её непосредственных участников (то есть качества, которые в более спокойной обстановке могли так и уйти в небытие

[1] В этом тяжёлом для шведов положении Девлет-Гирей был чуть ли не единственным из былых союзников шведского короля, сохранившим верность старым договорённостям. Более того, как пишет один из весьма осведомлённых соратников Карла XII, именно в эти судьбоносные для Турции, Швеции и Крыма дни и месяцы «...лучшим другом короля стал татарский хан, государь с выдающимся военным гением, обладавший таким же воинственным духом» (*Гассман*, 1971. С. 36).

[2] В мировой историографии принято давать отдельным, особо замечательным событиям (явлениям, катастрофам и пр.) имена собственные. К таким можно отнести, к примеру, Варфоломеевскую ночь, Стокгольмскую кровавую баню, Бостонское чаепитие и другие. *Калабалык* же (*тур.* бунт, заваруха, стычка, «буза»), то есть сражение трёх сотен шведов с многими тысячами крымских татар и турок, гораздо скромнее упомянутых событий по числу убитых (шведов погибло человек 20–30, крымских татар и турок — около 150), отчего и термин этот не столь известен, как упомянутые. Впрочем, сказанное не относится к странам Юго-Восточной Европы и Скандинавии, где смысл исторической реалии *Калабалык* и ныне понятен без каких-либо пояснений каждому турецкому или шведскому выпускнику средней школы.

совершенно нереализованными, затушёванными рутинным бытием). В сюжете Калабалыка отразилась куда более объёмная реальность: вся эпоха, с её обычаями и традициями, молниеносными переменами в политике и устойчивой воинской практикой, человеческой жестокостью и человеческим же высоким состраданием и чувством чести. Наконец, без этого сюжета осталась бы зияющая лакуна во всей истории Крымского ханства, даже учитывая тот факт, что её разработке уже почти три века уделяют внимание и бесспорно выдающиеся учёные.

4. Калабалык в Варнице

Значение личной политики Девлет-Гирея в истории *Калабалыка* прояснится в дальнейшем изложении материала, а здесь приведём мнение о нём, господствующее в науке. Увы, оно не соответствует истине, хоть его и высказывает, среди прочих, один из самых объективных и эрудированных специалистов по данной теме. Доктор исторических наук С.Ф. Орешкова говорит о Калабалыке как о завершившем долгий политический диалог сражении, произошедшем «между шведским королём и его окружением [с одной стороны], и турецкими войсками [с другой]» (*Орешкова,* 1971. С. 182). О том же о вооружённом конфликте «короля с турками в Бендерах в 1713 году» говорят и шведские историки (*Карлссон О.* Карл XII. Стокольм, 2002. С. 48). Как мы видим, здесь совершенно игнорируется роль главных героев этого важного события — хана Девлет-Гирея и его соотечественников, находившихся в те месяцы в Бендерах и Варнице.

Нижеследующий эпизод из истории рассматриваемой эпохи заслуживает внимания не только как пока практически неисследованный сюжет, имеющий самостоятельную фактографическую ценность, но и в качестве характерного примера принижения исследователями роли крымских татар в критические моменты истории всего черноморского региона. В результате это яркое событие, бесспорное достояние национальной истории Турции и Швеции, не стало таковым для истории крымских татар, хотя именно они и сыграли в нём самую активную, более того — основную роль.

Политическая катастрофа 1711 г. — а иначе хан не мог оценивать Прутский договор — заметно сказалась и на крымско-шведских отношениях. Девлет-Гирей ясно видел то, чего так и не мог постичь Карл XII, сохранивший известную идеалистичность до последних дней своей недолгой жизни. В очередной раз эти два лидера встретились в обстановке строгой конфиденциальности ровно через 10 дней после заключения мира для того, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия. Судя по записям присутствовавшего на этой знаменательной встрече С. Лагерберга, она напоминала не столько переговоры двух правителей, сколько беседу много повидавшего, умудрённого нелёгким жизненным опытом старца с довольно самонадеянным и упрямым молодым человеком.

Карл XII, как и в 1709 г., полагал, что он в состоянии довести до успешного окончания свою политическую акцию при османском дворе. А именно склонить султана к совместному выступлению против России, предварительно заключив шведско-крымско-турецкий договор. В него должна была, среди прочего, входить

статья о неподписании с русскими сепаратного мира ни одним из участников до тех пор, пока Пётр не примет условия всех трёх потенциальных союзников.

Хан же, прекрасно видя, насколько недалёк его собеседник как политик, насколько не обеспечен он поддержкой других европейских господарей и, что ещё важнее, насколько трудно вести дело с османскими двором, муфтиатом, султаном, янычарскими и иными начальниками, всем этим клубком амбициозных, глубоко эгоистичных и нечестных, насквозь коррумпированных личностей и группировок, был, очевидно, на 99% уверен в неизбежности провала политических проектов шведского короля. Короче, Девлет-Гирею была предельно ясна совершенная утопичность поставленной Карлом XII задачи.

В то же время король по-прежнему мог быть полезен для общего дела, в актуальности которого ни у кого, даже у султана, не возникало сомнений, а именно для обуздания лидера тогдашней России. Вопрос был, таким образом, не в направлении деятельности Карла, а в области конкретного применения его кипучей энергии, патриотического энтузиазма и блестящих полководческих способностей. Но проявить эти качества он мог отнюдь не в душных покоях Адрианопольского дворца или в бюрократическом центре Порты — имперском Топкапы-Сарае, но на полях больших и малых сражений, где равных шведскому королю-рыцарю в те десятилетия просто не было[1].

Другими словами, Девлет-Гирей лучше самого короля знал, где именно деятельность Карла будет наиболее эффективна, где он более всего нужен (в том числе и в интересах разоряемого русскими войсками Шведского королевства). И в этом не было никакого парадокса: нередко ситуация, в которой оказывается даже незаурядная личность, гораздо отчётливее просматривается не ею самой, изнутри, а со стороны. Именно поэтому в ходе беседы хан недвусмысленно обращал внимание короля на тот факт, что султан на протяжении всей Прутской эпопеи ни разу не вспомнил ни о взаимных обязательствах (пусть документально и не оформленных, но неоднократно выражавшихся и Ахмедом III, и Карлом XII, и Девлет-Гиреем), ни о чьих-либо интересах, кроме своих личных, включая и долговременные политические перспективы слабевшей Османской империи. Гирей говорил, что в султанском дворце давно забыли о Боге, который наказует нарушивших клятвы в дружбе, — Свен Лагерберг дословно записал и этот аргумент крымского хана.

Поэтому, продолжал Девлет, обращаясь к своему собеседнику, если из Стамбула в самом ближайшем будущем не последует никаких новых предложений для короля, то Карлу необходимо возвращаться к своим войскам, и чем скорей, тем лучше. Сам же хан не ждёт для себя здесь никакой благодарности за содеянное,

---

[1] Множество источников говорит о том, что Карла с его болезненно-прямолинейным и честным характером, часто невыносимым и для европейцев, ещё хуже понимали на Востоке. И только крымский хан оказался достаточно мудрым, чтобы пренебречь различиями не только в вере (для крымскотатарского адата эти различия вообще были малозначимы), но и в характере. Недаром именно хану (а не великому визирю Балтаджи, как полагалось по османскому протоколу) было поручено успокоить шведского короля и сопроводить его из шумных Бендер в расположенную неподалёку деревню Варницу: Карл после позорного соглашения турок с Петром находился в состоянии почти невменяемом (*Ciobanu*, 1984. P. 95).

но лишь смещения и ссылки ещё до возвращения в Крым, поскольку турки уже установили денную и нощную слежку за ним и его приближёнными (*Lagerberg*, 1896. S. 191–192). Со всеми этими эти точными наблюдениями, логичными выводами и разумными рекомендациями могли согласиться многие, но не Карл, одной из характерных черт которого было невероятное упрямство. Слова старика он фактически игнорировал, доказав это и в ходе беседы, и дальнейшими своими безрассудными поступками.

На самом деле в дальнейшем ситуация могла лишь обостряться. Царь, обязавшийся по статье II Прутского трактата вывести войска из Польши, отказывался выполнять своё слово, ссылаясь на то, что турки вопреки тому же договору держат близ польских пределов злейшего врага «порядка» в Польше — Карла. По той же причине Пётр отказывался оставить захваченные им причерноморские крепости. Кроме того, среди турок и крымских татар разошёлся в те недели слух (не исключено, искусно пущенный османскими царедворцами), что Карл бросил свою державу на произвол судьбы, шведы отказались от своего короля, а сама «бесхозная» и частично оккупированная Швеция уже до исхода года войдёт в состав России. При этом, естественно, освободятся основные вооружённые силы царя, занятые на европейском театре, и объединённая русско-шведская армия с удвоенной силой ударит по Турции и Крыму. Слух не был лишён правдоподобия: Карл, действительно, совершенно бесплодно проводил в Турции месяц за месяцем, в то время, как его балтийские владения планомерно превращались русскими в зону выжженной земли, а национальная армия столь же регулярно истреблялась. Слухи эти привели, наконец, к тому, что удаления короля из Порты стали требовать вначале янычары, потом остальная армия, а затем и неспокойные городские массы Стамбула.

Такие настроения ослабляли и Турцию, и, опосредованно, Крым. Причём настолько явно, что в августе 1711 г. Девлет-Гирей не выдержал и заявил Карлу XII совершенно ультимативно, что если тот не уберётся домой добром, то хан «станет к нему в афронт, и непременным следствием сего будут великие беды» (*Lagerberg*, 1896. S. 235). Король пожал плечами, но не сдвинулся ни со своей малопонятной политической позиции, ни с места пребывания. Весной 1712 г., после подписания окончательного варианта Прутского договора[1], напряжение в отношениях хана и короля несколько ослабло. Возможно, этому содействовало возрастание общей опасности: русские снова стали готовиться к агрессии на юг, нарушая основные условия Прутского трактата, в частности, приступив к строительству новой мощной крепости на р. Самаре в качестве опорного пункта.

В фонде «Походная канцелярия Меншикова» Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН сохранились письма к светлейшему князю и реляции царю от вице-канцлера империи П.П. Шафирова, находившиегося в ту пору в Стамбуле вместе с П.А. Толстым, точнее, посланного ему в помощь. И в ука-

[1] Он был заключён 5/16 апреля 1712 г. В нём Пётр обязывался вывести свои войска из Польши не позже, чем через месяц, а также беспрепятственно пропустить Карла через свои земли (Ст. 2). Эта статья лучше всех остальных характеризовала формальность, недееспособность договора. Как мог шведский король положиться на слова человека, неоднократно их нарушавшего? Ведь и сама Великая Северная война началась, как мы помним, по причине нарушения Петром клятвы о вечной дружбе с северным соседом.

занных документах имеется на этот счёт интересная информация. Так, в апреле 1712 г. посол сообщает, что Карл «неусыпно с приятелми своими ханом и французским послом» ведёт переговоры о способах склонить Порту к новой войне с Россией. Возможно, считал хан, для возбуждения нового конфликта достаточно будет ввести крымский корпус на территорию Польши, частично занятой русскими (АСПбИИ. Ф. 83. К. 18. Д. 158. Л. 22 об.).

Причем Девлет, целиком увлеченный новой возможностью ударить на русских с запада и тем отвлечь их от Крыма, был склонен дать шведскому королю не жалкие семьсот янычарских сабель (их выделял султан для сопровождения Карла на родину), а несколько десятков тысяч крымскотатарских всадников. Для этого Карл должен был возглавить свою армию, отправившись к ней не через Россию, естественно, а другим ближайшим путём, то есть через Польшу. Это было реальное решение проблемы. Но помехой его осуществлению стали отнюдь не турки, а Р. Саттон и Я. Кольер, послы морских держав (соответственно Великобритании и Нидерландов), постоянно противостоявшие росту французского влияния в Турции. В этот решающий момент они сумели войти в контакт с польской оппозицией Станиславу. И именно под их влиянием поляки-диссиденты заявили султану, что «никогда на то не позволят, чтобы король швецкой яко их неприятел с великим числом войск, а особливо татарских яко хищников, через их землю ехал» (АСПбИИ. Указ. дело. Л. 27–27 об.).

С другой стороны, напоминал Петру П.П. Шафиров, король шведов вполне резонно отказывался пересекать польскую границу без надёжной охраны, пока там, вопреки Прутскому договору, властвуют русские. Наконец, к тому же месяцу апрелю 1712 г. относится приводимая Ф.И. Соймоновым грамота султана, предписывающая Карлу XII всё же готовиться к выезду с «честным конвоем», численность которого теперь вообще замалчивается (ОР РНБ. F. IV. 739/4. Л. 21–21об.). А уж это не просто подозрительно: ясно, как Божий день, что король должен готовиться к депортации на фактически вражескую территорию вообще без какой-либо защиты.

И Карл заявил в очередной раз, что он отказывается пересекать польскую границу, пока оттуда не будут выведены русские войска. Король резонно опасался захвата в плен или даже покушения на его жизнь (РГАДА. Ф. 89. Оп. 1711. Д. 6. Л. 328 об.), что не требует разъяснений: Пётр на такие дела был, как известно, мастер.

Итак, выяснялось, что король не мог покинуть Порту по вполне объективным причинам. В то же время Карл, как следует из его внутренней переписки, искренне желал этого, сообщая своим сподвижникам, находившимся в Бендерах, что решил вернуться в свою армию в начале зимы 1712–1713 гг. (*Fabrice*, 1760. № 43). Но теперь поляки-дисссиденты заявили туркам, что пропустят короля со свитой и охраной лишь в том случае, если его будут сопровождать турки, но отнюдь не крымский конвой. Да и само предложение о свободном проходе шведов через территорию Польши должно поступить из Стамбула. То есть ни в коем случае «не от Хана, о котором они ведают, что он им неприятел, а швецкому королю друг». Примерно то же самое великому визирю по наущению П.П. Шафирова говорили английский и голландский послы Р. Саттон и Я. Кольер (АСПбИИ. Указ. дело. Л. 26 об.–27 об.).

А о том, что русские по-прежнему не то что не уходят из Польши, но и всё более там усиливаются, на протяжении лета 1712 г. в Стамбул исправно сообщали крымские агенты на территории Речи Посполитой. И когда хан в сентябре подал султану очередную такую сводку, то терпение турок стало подходить к концу. И даже недруги Карла и хана в один голос заговорили о том, что если русские в ближайшие недели не покинут Польшу, то, как утверждал в очередном донесении П.П. Шафиров, «быть войне непременно» (АСПбИИ. Ф. 83. К. 20. Д. 9. Л. 1–1 об.).

Так и вышло. На заседании 31 октября 1712 г. великий диван принял решение об объявлении России войны «за многие ею несодержания последнего мирного договору». Впрочем, уже тогда высказывалось чётко обоснованное мнение, что за объявлением войны стоял не кто иной как Девлет-Гирей, имевший в правительственных кругах Турции не только врагов, но и единомышленников: «Причина нарушения мира не учинилась от инаго, токмо от Хана крымского, как разглашают сами турки», — сообщал царю его безымянный тайный агент в Турции (АСПбИИ. Ф. 83. К. 20. Д. 276 «а». Л. 1).

О том же писал в своем сочинении *Рации*[1] П.П. Шафиров. Он объяснял такой успех крымского властителя не воинской силой или финансовыми возможностями, но единственно талантом, умом и политической несгибаемостью Гирея: «Хотя эти варвары (турки. — *В.В.*) и безумны, и непорядочны, однако сильны, многолюдны и безмерно многоденежны и ныне имеют благовременство, ибо имеют таких учителей, которые все интересы и силу не только Российского государства, но и всей Европы знают и им непрестанно внушают... Король шведский хотя и не умён, но при нём есть несколько министров и генералов умных; Орлик и прочие изменники... сведущи о всём внутреннем состоянии государства Его Величества, а им всем промотор[2] и ходатай хан нынешний крымский, человек преострый...» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. VIII. С. 395).

Но объявление войны не означало ведения военных операций, их и не было отмечено на протяжении всей зимы. Причиной тому были как необычные холода, так и крайняя непопулярность новой войны во всех слоях турецкого населения — от простых людей до высшей администрации, включая и армейскую. Более того, возникла опасность вызванного военным положением мятежа: как писал домой посол А. Артамонов, «...противу султана великая бунта вщиняется» (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д. 45. Л. 1). По совокупности этих и иных причин султан стал склоняться к возобновлению мира с царём, не доводя дело до кровопролития. В ту же зиму Девлет-Гирей активизирует свои контакты с украинским казачеством, между ними возобновляется постоянная переписка[3], а Карл, получивший

---

[1] Рация, рацея (от *лат.* ratio) — наставление, поучение.

[2] Промотор (от *лат.* promoveo) — буквально «продвигать вперёд», «развивать».

[3] Писем того периода сохранилось крайне мало. В одном из них, отправленном из Каушан 27. 01. 1713 г., где хан именует себя «ласковым патроном (т. е. покровителем. — *В.В.*)» своего адресата-кошевого «со всем войском запорожским», содержится прямое указание на то, что Гирей планировал использовать сопровождение шведского короля на родину как средство добраться до района боевых действий на театре Северной войны, где можно было бы принести реальную пользу участникам антироссийской коалиции, совершив новый поход на восток: «пребывая в готовности до похода вольного, ждали мы осо-

значительную сумму от своих французских союзников, жертвует по 500 талеров на курень, шлёт табуны коней и т. д., также явно рассчитывая на политическую и военную поддержку казаков в будущей кампании (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д. 6 «б». Л. 1 об.). Именно в эти месяцы королём был заключён союзный договор с запорожцами, которых представляла часть их, вытесненная Петром с Украины. Любопытно, что, подписывая этот составленный на латыни трактат, Карл всё ещё титуловался властителем прибалтийских земель, по большей части давно уже захваченных и разграбленных петровскими войсками: Dux Estoniae, Livoniae, Careliae, Dominus Ingriae и т. д. (цит. по: *Бодянский* 1847. С. 17).

Короче, взаимопонимание хана и короля было полным, подготовка к выезду короля шла своим чередом, и никто в её реальности не сомневался. Но такое решение проблемы явно не устраивало союзника Петра, Августа II, которого при мысли о новом появлении могучего врага в Польше не могли не охватить самые тяжёлые предчувствия. И он начинает по собственной инициативе переговоры с ханом, склоняя того к предательству. Как указывает в своей рукописи Ф.И. Соймонов, в Бахчисарай отправляется некий Ломарь, польский полковник, с предложением Девлет-Гирею настоять на сопровождении шведского короля, а в Польше скрутить его и выдать головой то ли Августу, то ли его покровителю Петру (ОР РНБ. F. IV. 736/4. Л. 23 об.–24). Понятно, что для Гирея такой поступок был немыслим сразу по двум причинам, равно веским: во-первых, хан был человеком слова, а Карла считал своим другом; во-вторых же, такая акция чудовищно усилила бы основного врага Крыма — царя Петра, так что решиться на неё мог бы только слабоумный.

Ломарь был ханом прогнан, через месяц вернулся, его опять с позором выдворили за Перекоп. Но нашлись люди, которые сообщили Карлу, что хан замыслил сдать его на милость врагов, как только эскорт пересечет северную границу Турции (Warhaffte Relation, 1713. S. 2). Голштинский посланник в Стамбуле сообщает в своих мемуарах, что услышав эту клевету в январе 1713 г., Карл сразу в неё поверил (*Fabrice,* 1760. № 59), после чего отказался пускаться в путь, потребовав от султана гарантий своей безопасности и, вероятно, стал менять своё отношение к хану[1]. Затем, как следует из личной переписки короля, он некоторое

бливо выхода короля швецкого через Польшу». И ещё одна информация, содержащаяся в этом источнике: поскольку Карл медлил с возвращением, в Сечь из Крыма был послан (незадолго до отправления письма) некий Мегметша-бей, которому было поручено «отобрать от вас (т. е. казаков. — *В.В.*) из всего войска совершенную рать для будущих походов, а куда точию то можно решить, собрав между собою [крымско-украинскую] Генералную Раду» или совет (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д. 19. Л. 1–1 об.).

[1] Шведский король не мог не знать об общеизвестно тесных политических отношениях Речи Посполитой и Крыма. Ещё в 1707 г. Гази-Гирей требовал от султана разрешения на военную помощь Станиславу. Параллельно, не дожидаясь одобрения Стамбула, этот хан вёл в Бахчисарае переговоры с прибывшим туда посланцем Станислава летичевским ловчим Рушковским. Девлет II, сменивший Гази-Гирея, возобновил эти переговоры, уже с коронным кухмистером Станиславом Тарло (апрель 1708 г.), а через год к хану прибыл коронный стражник Стефан Потоцкий, просивший для Станислава 40 000 войска. Гирей был согласен, прося единственно уладить этот вопрос с султаном. Отправка крымских конников не состоялась лишь по причине нежелания турок ссориться с Петром, что было бы неизбежно при вмешательстве его вассала в польскую проблему, к которой

время пытался объясниться с Девлет-Гиреем[1], но тот, жестоко оскорблённый самой возможностью такого предположения, вряд ли отвечал своему варницкому корреспонденту с присущей ему вежливостью и выдержанностью. Другими словами, старая дружба стала разрушаться на глазах: мнительный король вообще прервал все контакты с ханом.

Только Ф.И. Соймонов даёт в своей рукописи объяснение такому легковерию шведского короля. Оказывается, его подданные перехватили некоего «курьера», у которого нашли шифрованное письмо. При отсутствии «цифирной азбуки» (ключа-дешифранта) оно было подозрительно легко прочитано. Оказалось, что это было послание саксонского министра Я.Х. Флеминга к Девлет-Гирею. И в нём о предательском сговоре Августа II с ханом упоминалось как о деле вполне уже решённом (ОР РНБ. Указ. дело. Л. 24)[2]. Естественно, это известие привело Карла в ярость, и он окончательно прервал все связи с крымским владыкой. Искренне недоумевавший хан пытался объясниться с королём, но тот был настолько оскорблён «предательством», что в беседе с бывшим другом уже «порывался до шпаги», по удовлетворённому замечанию П.П. Шафирова (АСПбИИ. Ф. 83. Қ. 21. Д. 20 «б», Л. 2–2 об.). Гирей не мог поверить, что его блестящий план рушится по столь глупой причине; 5 февраля он в последний раз предложил Карлу свой сорокатысячный эскорт — тот снова отказался в оскорбительных выражениях, и хан отступился.

При этом он даже согласился 11 февраля (31 января ст. шведского стиля) принять от Ахмеда III *хат-и-шериф,* полномочие поступать по своему усмотрению с вновь отказавшимся ехать, и таким образом выступившим против воли султана королём (*Polak.* S. 363). Оно предусматривало, что если Карл будет «... им, хану и сераскиру (бендерскому, Исмаил-аге. — *В.В.*) вооруженной рукой противиться, чтобы его тех подданных (шведскую свиту и лейб-гвардейцев. — *В.В.*) и его самого без всякого изъятья до смерти побить» (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д 50. Л. 1 об.). В тот же первый роковой день Калабалыка к Карлу приезжал голштинский по-

---

царь относился крайне трепетно. Однако такие же тесные отношения между Бахчисараем и Варшавой отнюдь не прерывались и позже, вплоть до упоминаемых событий (*Feldman J.* Polska a sprawa wschodnia 1709–1714. Kraków, 1926. S. 24).

[1] Карл писал Девлет-Гирею в декабре 1712 г.: «Чем упорнее пытаются меня отсюда вытолкнуть силой, тем более явными становятся Ваши хитроумные замыслы. И тем очевиднее становится, что, несмотря на все Ваши уверения, нас собираются заманить и выдать в руки врагов. Поэтому все мы будем оставаться здесь, на старом месте, пока полностью не убедимся в безопасности пути для нашего возвращения на родину» (цит. по: Karl XII, 1894. № 276. См. также в: *Nordberg*, 1745. B. II. S. 299–300).

[2] Сомнения в подлинности этого странного письма тогда же высказали канцлер Карла XII Мюллерн, его казначей Гротгаузен и голштинский посланник при шведской ставке Фабрис (ОР РНБ. Указ. дело. Л. 24 об.; 31). Да и сам Ф.И. Соймонов указывает, что те письма содержали совершенно двусмысленную информацию, то есть поддающуюся двоякому толкованию: «в таких двояких игор в генеральных (предельно общих. — *В.В.*) изображениях составлены были, что трудно было выразуметь, такое ли было толко короля Августа намерение, чтоб турков от шведской стороны отвлещи, или того желалось, чтоб хан при провождении Каролуса в Полшу саксонцам его выдал» (ОР РНБ. Указ. дело. Л. 24). По мнению же шведских историков, за всей интригой с письмом стояли новый великий визирь Абаза-Сулейман и новый же бендерский сераскир, сменивший Юсуфа (*Stille*, 1918. S. 385).

сланник Фабрис, уговаривая его смириться и принять предложение султана — всё было напрасно, и во второй половине дня хан со своим войском выступил из Бендер к Варнице (*Polak*. S. 363).

П.П. Шафиров сообщает, что хан «осердился и осадил короля татарами и приказал, чтоб никакого харчю ему не давали и не возили», так же как и самое необходимое — питьевую воду. Оставшийся окружённым в доме-крепости собственной постройки, Карл заявил в ответ, что будет до тех пор «бороться, пока мочь будет, а ежели невозможно будет ему боронится, то восмь бочек пороху, которые при себе имеет, хочет король зажечь и дымом к небу ити» (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д. 20 «б». Л. 2–3).

Здесь, очевидно, тот самый случай, что требует сравнения источников: невольно возникает вопрос, как мог хан отказать шведам в еде и питье, которыми их уже не первый месяц снабжал не он, а новый бендерский сераскир? И уж если кто и мог запретить дальнейшее снабжение шведов, то высший в те дни начальник из находящихся в Бендерах османских чиновников, а именно представитель султана Ахмед-паша. Рассказ Ф.И. Соймонова следует целиком в русле этой логики. В рукописи говорится, что именно паша Ахмед «того ж дня отрешил он даванные королю провизи», приказав покинуть лагерь в Варнице всем туркам, полякам и казакам, которые повиновались, уйдя в Бендеры. То есть два источника дают взаимоисключающую информацию, и здесь был бы полезен третий, способный склонить весы адекватности в ту или иную сторону.

Такой источник имеется. Спустя какое-то время после Калабалыка в русском плену оказался один из его участников, некий янычар Али Абдулла. Фельдмаршал Б.П. Шереметев, прознав об этом, верно оценил важность такого свидетеля бендерских событий и отослал турка к Петру. Там Али Абдуллу допросили и отправили назад. Но ещё через какое-то время бывшего янычара опять повезли на север: видимо, снова понадобились какие-то уточнения по Калабалыку (*Артамонов*, 1990. С. 183). Не исключено, что именно те, которые интересуют нас: ведь турок утверждал, что в Бендерах властью обладал именно Девлет-Гирей, а не кто-либо иной.

Как выяснилось, янычарская стража вокруг блокированного шведского городка в Варнице по какой-то причине взбунтовалась, и хан снял её своей властью, приказав отправляться в Бендеры (*Polak*. S. 363), а казаков, также стоявших в Варнице, отправил в другое молдавское село. Польским же дворянам-эмигрантам, находившимся при ставке Карла XII, он предложил перейти от Й.И. Потоцкого к дружественному шведам Я. Сапеге (он также был прислан Станиславом в Бендеры)[1]. При этом Гирей вручил им письменную гарантию безопасности пребывания в Турции и обещал добиться от Августа II решения об их помиловании.

[1] Свидетель этих событий Ф.В. Миклушенко говорит о них в совершенно верной последовательности: хан, «выслушав от посланных своих... королевские трикратные ответы, приказал прежде татарам крымским буджацким [и] белогороцким обложение учинить и стеречь, чтоб никто [из шведов] не успел [уйти], а король, видя, что быть хочет ему неполезное, выговаривал, что ежели кто из обретающихся при нем людей хочет с ним умирать, то б с ним умирали и с турки бились, а ежели кто не хочет, даёт [разрешение] на волю их, а неволи в том никому нет и поляков выслал из своего двора в Бендер, по которым его королевским словам стали тотчас збиратца...» (АСПбИИ. Ф. 83. Оп. 3. К. 7. Л. 86 об.).

Наконец, именно он вручил Карлу ультиматум о немедленном выезде за пределы империи.

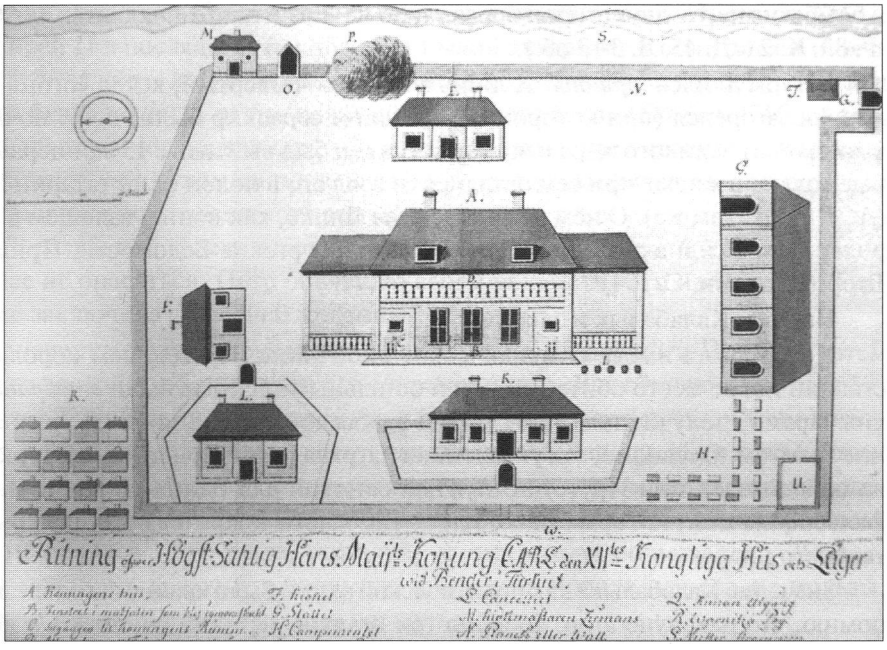
Как видно из приведённых материалов, хан Крыма играл в Бендерах куда более видную роль, чем тот же Ахмед-паша, не говоря уже о местном сераскире. Собственно, здесь не было ничего удивительного, так как оба последних были всего лишь чиновниками, слугами султана, а Девлет-Гирей — великим ханом, который, напоминаю, своим падишахским достоинством далеко превосходил не только пашу, но и вообще любого османа[1]. И эта власть опиралась на реальную военную силу: в небольших Бендерах скопилось к тому времени почти 10 000 крымских воинов, каждый из которых, как известно, стоил нескольких турецких солдат. Наконец, как сообщает Али Абдулла, позднее именно хан, а не паша, отдал своим крымцам и добровольцам-туркам приказ к началу штурма, а турецким артиллеристам — к обстрелу дома-крепости (*Артамонов*, 1990. С. 135).

Вообще, известную роль играло и то обстоятельство, что султан в эти дни находился даже не в Стамбуле, а в ещё более далёком Адрианополе (*Polak*. S. 365), что также способствовало известной автономности действий Гирея. Если Карл постоянно имел при султанском дворе своего министра (им был назначен Томас Функ), то у хана такого представителя при Порте не было, и в случае необходимости связаться с крымцами приходилось снаряжать капыджи-пашу со свитой, путь которого в Бендеры длился несколько дней.

Таким образом, скорее всего прав П.П. Шафиров, причем Ф.И. Соймонов сам невольно подтверждает информацию последнего. Упоминая об уходе из Варницы янычар, он говорит, что *татары остались*. Они ни в чём не зависели от турок, у них было в изобилии и питья, и провианта. В ожидании штурма они даже устроили настоящее пиршество, использовав мясо шведских лошадей, перебитых по приказу Карла, а последнее случилось опять-таки из-за хана, приказавшего прекратить отпуск фуража для шведской кавалерии (ОР РНБ. F. IV. 739/4. Л. 30). О том, что в будущем штурме пришлось участвовать именно татарам, говорит и французский посол в Турции, и некий «избранный» (abgeordneten), то есть высокопоставленный турецкий ага (Palais, 1713. S. 2).

В результате сопоставления всех приведенных выше сведений исследователь не может не прийти к весьма неожиданному выводу: судя по всему, в ходе Калабалыка (по крайней мере, в его первый, с военно-политической точки зрения наиболее важный день) шведы дрались вовсе не с янычарами, а исключительно с крымскими татарами. Не противоречит этой гипотезе и письмо П.П. Шафирова, в котором говорится, что янычары в основной своей массе отказались участвовать в убийстве венценосной особы, особенно после беседы с одним из приближённых Карла, Гротгаузеном, успешно их увещевавшим. А когда по рас-

[1] За несколько лет до того Мустафа-ага, посол Адиль-Гирея к королю Дании Кристиану V, сообщал чиновникам датского иностранного ведомства, что Гирей пользуется в Стамбуле особым почтением и оказывает большое влияние на внутреннюю жизнь Турции. Например, султан мог назначать его «штатгальтером» какой-либо области империи на весь срок пребывания высокого крымского гостя в Порте. Из этого делался логичный вывод о том, что хан «пользовался большим весом (ein höheres Ansehen genieß), чем любой бейлербей, даже находящийся в ранге визиря» (*Matuz*, 1964. S. 136).



Королевский дом в Варнице, построенный солдатами Карла XII.
Государственный архив Швеции

поряжению паши они вернулись из Бендер в Варницу, то дело уже близилось к завершению. Что же касается предложенного Ф.И. Соймоновым определения наступавших как «турки и татары» (ОР РНБ. F. IV. 739/4. Л. 29 об.), то это, скорее всего, обычный штамп, психологически вполне объяснимый привычкой пишущего именно к такому словосочетанию[1].

Наконец, после 18 суток блокады резиденции Карла XII в Варнице в час дня 12 февраля 1713 г. ханские войска, усиленные янычарским отрядом, направили стволы полевой артиллерии на группу построек, где укрывались шведы. Девлет-Гирей, ещё раз обратившись к Карлу с увещевательными словами, не имевшими успеха, приказал дать два орудийных залпа и идти на приступ (Warhaffte Relation, 1713. S. 3). А когда основной янычарский контингент по команде сверху, от своего командующего, вернулся из Бендер, дело уже подходило к завершению.

Шведы дрались с превосходящими силами противника (за которым стояла фактически вся мощь Османской империи!) отчаянно. В день штурма погибли «многие татары и турки, не только рядовые, но и началные»: их пало свыше полутора сотен, в том числе «4 аги и мурзы». Но на второй день и шведов «многих порубили и 300 человек... в полон взяли. А сам король свейской с некоторыми знатнейшими офицерами заперся в своём дворе, хотя по тому двору стреляли

[1] Впрочем, всё сказанное по поводу этого исторического сюжета — не более чем гипотеза, при всей своей вероятности нуждающаяся в дополнительной проверке прежде всего по другим, черновым записям Ф.И. Соймонова, а также турецким и крымскотатарским источникам.

и бомбы на него с двух сторон бросали, но не могли онаго ... добыть...» (АСПбИИ. Ф. 83. К. 21. Д. 45. Л. 3–3 об.).

Штурм длился *три дня*. И лишь в ночь на четвёртый, когда «огонь на дворе короля загорелся (при котором случае хан и сераскир были) в час ночи король свейской от великого жара и чаду принужден был выйтить с 15 офицерами, которые только в живых при сем остались, и взял его в полон один татарин Липка...» (АСПбИИ. Там же). О нём же, о татарине Липке, как воине, взявшем в плен короля, писалось и в российской газете (Петербургские Ведомости. Приложения, Второй выпуск. С. 154)[1].

На этом Калабалык и закончился.

История эта имела символическое окончание. Прежде чем королю предоставили новое место обитания[2], он и остальные пленные были *отобраны* у татар янычарами, получившими от султана за каждого шведа законное вознаграждение золотом. Очевидно, эта украденная награда (как и присвоенная турками слава победителей при Пруте) послужила основой для одной из многочисленных фальсификаций, которых накопилось так много в долгой истории крымскотатарского народа.

Значение Калабалыка как политической акции было крайне своеобразным. Напомню, что накануне этого события три великие державы очутились в политическом тупике. Пётр не мог вывести, в соответствии с Прутским трактатом, войска из Польши, пока Карл подстрекал турок к войне с Россией, демонстративно отказываясь покинуть Порту. Карл оставался в Турции, резонно опасаясь пересекать территорию Польши, пока там рыщут русские отряды. А Ахмед III не мог насильственно выслать шведского короля (согласно священной шариатской традиции гость — неприкосновенен); с другой стороны, Турция была буквально принуждена русскими, открыто нарушавшими Прутский договор (в том числе своим пребыванием в Польше), к объявлению царю войны, в которой была абсолютно не заинтересована и даже объявив которую, не начинала военные действия месяц за месяцем.

Такой порочный круг напоминал ситуацию из нашей современности, нередкую на узких улицах, когда несколько автомобилей не в состоянии разъехаться, мешая друг другу, отчего водителям приходится растаскивать технику чуть ли не вручную. Но в указанной «пробке» начала XVIII в. водители трёх держав оказались намертво блокированными и самостоятельно разрубить этот гордиев узел не могли.

---

[1] Если только это имя не нарицательное (*липками* называли потомков крымскотатарских воинов, некогда ушедших в Литву и там остающихся до сих пор), а собственное, то упоминаемый Липка не был обычным конником, каких в отрядах Гирея насчитывались многие тысячи. В движении сопротивления на Украине 1710–1711 гг., в пёстрых, многоплеменных (украинско-польско-татарских) отрядах К. Гордиенко и И. Самуся также пользовался известностью некий крымский татарин Липка, судя по всему, человек незаурядный (*Мышлаевский,* 1898. С. 70, 239). Ранее, в 1705 г. гетман И.С. Мазепа пишет об известном ему Липке как о чиновнике для особых поручений силистрийского сераскира Юсуф-паши (*Мазепа*, 2007. С.142). Таким образом, не исключено, что во всех трёх случаях речь идет об одном и том же историческом лице.

[2] Карла XII, получившего во время штурма два серьёзных ранения, перевезли в Демотику, замок в сельской местности под Адрианополем. Он около года болел и лишь осенью 1714 г. согласился вернуться в свою главную армию, стоявшую в Северной Германии.

Помощь пришла из Крыма, причём отнюдь не неожиданно. Именно в 1713 г. Девлет-Гирей II в последний раз обретает былой авторитет и политический вес. Как писал незадолго до развязки голштинский секретарь Карла XII, «...исход всего дела будет зависеть от пропозиций крымского хана» (*Fabrice*, 1760. № 64). Конечно, швед не мог предвидеть, что «пропозиции» Гирея сведутся к кровавому Калабалыку, но в целом он попал в точку. Именно хан вывел все три державы из затянувшегося политического клинча, нарушив мёртвое равновесие порочного круга. В результате телега истории покатила дальше: недужного Карла можно было более не опасаться, Пётр объявил о своём решении уйти из Польши, Турция тут же заключила с Россией желанный мир и т. д.

Это значение похода крымскотатарского хана к далёкому Пруту, а затем к Бендерам достойно оценили уже его современники: «Во всём этом многие обязаны Девлет-Гирай-хану, заботящемуся о благе своего народа, так как он доставил все эти счастливые победы и славу, как турецкому народу, так и крымскому» (*Лехно*, 1882. С. 41).Остаётся сказать, что вопреки мнению более поздних исследователей, Калабалык не был задуман как сугубо *антишведская* акция и отнюдь таковой не являлся[1]. Это была, пожалуй, единственная оставшаяся у Девлет-Гирея возможность вразумить упрямого шведского короля для его же пользы, и крымский хан этой возможностью воспользовался.

5. Девлет-Гирей II и Д. Кантемир

В начале XVIII в. новое, возросшее значение для политики ханов получили дунайские владения Турции — Валахия и Молдавия. В отечественной историографии тема эта мало разработана, и даже в самых серьёзных трудах встречаются неясности и лакуны. Так, например, когда речь идет о Молдавии, то рассматривается некая идеальная единая политика, отражающая настроения пёстрого населения этого пашалыка[2]. И остается неясным, какая именно часть молдавских подданных султана такую внешнюю политику местного паши определяла — христианское село, не столь многочисленное, но экономически мощное смешанное (мусульмано-христианское) среднее сословие или же политические лидеры, в подавляющем своём большинстве мусульманского исповедания?

Наиболее актуальна эта научная проблема в применении к 1710-м гг. Хан Девлет-Гирей, высоко ценя политический вес ставленника султана в Молдавии, граничившей с крымскими и украинскими (уже русскими) землями, настаивал на передаче этого важного поста верному ему человеку. За взятку ему удалось

[1] Уже после Калабалыка, в апреле 1713 г., крымский калга Мехмет-Гирей с одобрения хана возобновил набеги на русские города, где томились пленённые под Полтавой шведы. После каждого такого похода Карл безвозмездно получал десятки спасённых солдат и офицеров (SRA GL. S. 8).

[2] «Молдавское княжество предпочитало искать освобождение от турецкого ига с помощью вхождения в русское подданство» (*Советов*,1979. С. 315). Это мнение настолько распространено, что, при всей своей спорности, граничит с банальностью.

склонить турок в пользу бея Кючук-Хан-Темир-оглу (в русской традиции — Дмитрия Кантемира), отпрыска старинного крымскотатарского рода, шедшего по прямой линии от «железного старца» — Тамерлана (*Kantemir*, 1745. S. 528–530). В своё время этот Кантемир, попав под влияние христиан Османской империи, перешёл в православную веру, хотя постоянно жил в Турции, имея в Стамбуле свой дворец и занимая крупные посты при султанском дворе. Но он оставался и доверенным лицом хана, и даже его приятелем, до поры до времени разделяя с ним не только личные пристрастия, но и традиционную политическую концепцию Крыма (подр. см.: *Возгрин*, 1985. С. 75).

Тем не менее настало время, когда втайне от султана и своего бахчисарайского друга Д. Кантемир вступил в переговоры с русскими. Целью этой вполне личной политики было отколоть Молдавию от Турции и превратить административную власть над молдаванами в наследственную, монархического типа (*Брикнер*, 1882. С. 480). Естественно, у этой политики были противники: молдавские бояре, например, склонялись к переходу под опеку Польши, с проведением одновременно республиканской реформы в своей стране (*Советов*, 1979. С. 316–319). Но Д. Кантемир надеялся подавить оппозицию с помощью московских методов, ставших общеизвестными не только на Украине. Впрочем, договора с Петром этот осторожный османский вельможа не заключал, пока царь не обязался приютить и обеспечить его в случае провала интриги в Молдавии. При этом ренегату были обещаны вполне ощутимые материальные блага: два дома в Москве, поместья с крестьянами, солидное денежное содержание его семьи, свиты и тому подобное (*Беер*, 1783. С. 284; *Брикнер*, 1882. С. 480).

Об авантюре Д. Кантемира никто, кроме узкого круга доверенных лиц Петра не подозревал: господарь по-прежнему участвовал в походах Девлет-Гирея. Но когда он перешёл на сторону царя открыто, то отвечать за своего протеже пришлось хану. Гирей, и без того уже давно вызывавший раздражение Порты своей независимостью, был обречён. Но турки опасались, что Девлет II, в отличие от большинства ханов, добровольно в изгнание не удалится и окажет вооружённое сопротивление. Поэтому Стамбул терпеливо ждал случая, который мог бы окончательно скомпрометировать бахчисарайского властителя, а пока широко оповестил крымских мусульман об измене Кантемира и о роли, которую сыграл в этой истории их хан. Цель такой акции весьма прозрачна: нужно было лишить хана его главного козыря, а именно высокого авторитета не только среди крымскотатарских подданных, но и турок.

Случай, которого ждали в Стамбуле, вскоре представился. После Калабалыка турки стали распространять в Турции и среди крымских татар ещё и слухи о «предательском» поведении хана по отношению к его бывшему другу, шведскому королю, о том, что хан — первый из Гиреев, взявший на себя фактически роль палача десятков шведов, бывших гостями Турции и т. д. Эти семена упали на хорошо удобренную почву: как упоминалось, для турок и ещё более для крымских татар нет более презренного порока, чем несоблюдение обычаев гостеприимства.

Естественно, никто и не подозревал при этом, что именно султан был инициатором кровавой расправы со шведами, что в своём хат-и-шерифе Девлет-Гирею он прямо писал о необходимости убийства Карла в случае вооружённого сопротивле-

ния, чего хан, кстати, не исполнил. Поэтому волну возмущения поступком крымского владыки долго ничто не могло успокоить. Именно на это султан и рассчитывал. Теперь он мог громогласно объявить о двойной политике своего крымского вассала в истории с Кантемиром, о несоблюдении им шариатских правил, о его, по меньшей мере, строптивости. Хану легко было бы оправдаться, но для таких метаний он был слишком горд. Вместо этого Девлет-Гирей стал ждать решения своей судьбы с истинно крымскотатарским спокойным фатализмом.

Ожидание это продлилось недолго. Как только султанские известительные письма достигли Крыма, хана смѣстили, уже не опасаясь народного возмущения такой опалой бывшего героя. Причём сместили на сей раз навсегда — к вящему удовлетворению и России, и Турции. Очевидно, не без влияния этого события начались и российско-шведские переговоры, приведшие к известному мирному конгрессу 1718 г. на Аландских островах. Гораздо более уверенно можно говорить о начале продлившейся несколько лет практики взаимного оперативного оповещения Стамбула и Петербурга насчёт внешнеполитических перемен, хотя до координации совместных действий дело всё же не дошло[1].

Понятно, впрочем, что со смещением Девлета ещё далеко не наступил конец славной плеяде Гиреев — сторонников независимости Крыма. Ханы и в дальнейшем были не склонны ждать, кто именно из могучих соседей первым протянет руку к этой бесценной жемчужине — Турция, Россия или Польша.

Но если в самом начале XVIII в. подобный вопрос мог быть решён в нескольких вариантах, то каждое последующее десятилетие этого века, рокового для крымских татар, приносило все более шансов крепнувшей России.

---

[1] Вот один из примеров такой практики. Осенью 1717 г. мятежные приволжские татары стали собираться в конные отряды вблизи Казани и других городов и сёл с целью подготовки большого похода на русскую столицу. Когда об этом движении стало известно правительству, то оно ни на йоту не усомнилось в том, что казанцы сами на такой шаг не решились бы и что их подстрекает к мятежу кто-то со стороны, скорее всего, турки. Была для Петербурга ясна и цель такой акции Стамбула. Как вспоминал Ф.И. Соймонов, все в столице были убеждены, что это делалось «для принятия причины (то есть для создания повода. — *В.В.*) к нарушению заключённого с ними напоследи мирного договора» (ОР РНБ, F. IV. 739/5. Л. 24). Однако, как выяснилось, мнение это было ошибочным. «Ибо, как известился турецкой салтан о том подозрении, то отправил к Великому Петру посланника со объявлением, что не токмо не имел он никакого участия в набегах тех изменников, но еще и разослал имянные указы дабы отнюдь их не укрывать, ежели они по возвращении из набегов вступили бы во владения турецкого государства. Как услышал Великий Петр от посланника такие слова, то остался доволным, признав оное за самое истинное» (ОР РНБ. Там же).

IX. АГРЕССИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. И КРЫМ-ГИРЕЙ

Карты в истории передают не один раз, но довольно редко, и козыри имеют обыкновение липнуть к одним и тем же рукам.
Фернан Бродель, французский историк

1. Крым накануне вторжения

Перемены к худшему в отношениях Московского государства с Турцией и Крымом в первой половине 1730-х гг. имели свою политическую предысторию. Смысл её заключался, в частности, в переориентировке экспансии России с западного на южное направление. Это стало очевидным гораздо раньше, ещё в 1720-е гг. (Персидский поход Петра), и даже в 1711 г. (Прутский поход). Однако и упомянутые походы являлись сравнительно поздним выражением глубоких, по сути чисто экономических перемен в отношении этой части христианского и исламского миров, произошедших на протяжении гораздо более ранних и длительных исторических периодов.

Так, если в IX–XIII вв. древнерусские купцы везли в Крым и Турцию меха, кожи, зерно, воск, мёд, то позднее эта торговля стала угасать. Внешняя причина этому — расцвет ремесленной и сельскохозяйственной активности Крымского ханства, начавшего производить и поставлять на турецкий рынок те же (кроме сибирского меха) товары, что раннее поставляли русские княжества, причём дешевле и лучшего качества (*Гейд В.* История торговли Востока в средние века (колонии на северном побережье Черного моря) // ИТУАК. №52. 1915. С. 91).

С другой стороны, крымских купцов, ранее поддерживавших активные торговые связи с Москвой и Львовом, в XVI в. всё более привлекает Молдавия, куда сдвинулся торговый путь из Малой Азии и ряда областей на побережье Средиземного моря в Восточную и Центральную Европу (*Berindei, Veinstein*, 1979. P. 389–465). Поэтому, если Россия и нуждалась в возрождении южной торговли (а в этом уверяют нас все отечественные учебники истории Нового времени), то без полного подавления крымского конкурента обойтись ей было просто немыслимо. Способ же такого подавления был традиционный — военная экспансия.

Такого рода устремления российской стороны естественно вылились в обострение политических отношений с Крымом и Турцией, ранее преобладающе мирных, за исключением практически неизбежных между соседями конфликтных периодов. Соответственно иная судьба ждала и жертвы новой агрессии. Имевшая место после правления Ивана Грозного гибкая политика в отношениях с мусульманами (собственными и соседними) перестала удовлетворять монархическую верхушку. Точнее, такая политика и раньше была вынужденной, но лишь после Петра Россия ощутила в себе силы, достаточные для перехода к форсированному подавлению и интеграции миллионов приверженцев ислама. «Движущей силой этой политики были уже не́ Церковь и христианство, а новая, воспринятая из Западной Европы идеология, направленная на превращение России в систематизирующее и нивелирующее государство, которое не оставляло пространства для традиционных прав нерусских народов. „Регулированное" абсолютистское государство должно было быть однородным и по вере» (*Каппелер*, 2003. С. 131).

Эта растянувшаяся на века геополитическая метаморфоза не могла не сказаться и на экономических связях. Торговля все более угасает: в XVI–XVII вв. из Московии в страны Чёрного моря поступают лишь меха да ловчие птицы. В обратном направлении шли шёлк, пряности, ювелирные изделия. (*Санин*, 1999. С. 41). Но и тот, и другой товарные потоки утрачивали значение для национальных экономик как предназначавшиеся для весьма ограниченного круга потребителей. Падало их значение и в качестве весомых экономических факторов, ранее исключавших (или, по крайней мере, тормозивших) рост напряжённости на этом внешнеполитическом поле.

Параллельно со сворачиванием разносторонних связей и контактов между Севером и Югом, по мере того как рвались нити, ранее их поддерживавшие и стабилизировавшие, войны в Северном Причерноморье становились неизбежными. Во второй пол. XVII в. целью устремлений Москвы становится Крым и весь северо-восточный «угол» Черного моря. Россией предпринимается ряд походов, последний из которых (второй Азовский, 1696 г.) оказался успешным: держава Петра получила выход в Азовское море.

Это был первый, но не последний успех российской южной политики. Отныне как при Петре, так и при его преемниках наступательный характер военно-политической активности на юге приобретает стабильный, долговременный характер. Это касалось как Крымского ханства, так и Турции. «Русская политика в отношении Османской империи на протяжении всего периода 1700–1917 гг. характеризовалась как „превентивная, направленная на аннексию"». Османы же, напротив, стремились проводить «плотную пограничную политику», то есть исключительно оборонительную, нацеленную на сохранение создавшегося положения (*Зеленева*, 2005. С.102).

С воцарением Анны Иоанновны (1730), хронологически совпавшим с новой вспышкой активизации южной политики России, начало очередной наступательной войны на юге стало лишь вопросом времени. К ней готовились обе стороны, по возможности привлекая на свою сторону союзников из числа держав, которых можно было заинтересовать политическим сотрудничеством в грядущем конфликте. Для России такими союзниками могли стать Персия и Австрия; для Турции — Франция и Польша. Именно по этой причине в Петербурге созрело

решение установить нормальные и даже дружеские отношения с естественным врагом Османской империи — Персией, которая как нельзя лучше подходила для достижения стратегической цели — ослабления турецкого срединного пространства.

Ещё в 1711–1712 гг., когда после катастрофы на Пруте шли переговоры о новом русско-турецком мирном трактате (действие Прутского договора оказалось недолгим, он был аннулирован турками), крымский хан Девлет-Гирей II всячески этот диалог тормозил. Тем не менее в 1712 г. был подписан трактат, согласно которому в течение 25 лет (срок действия договора) Азов по-прежнему оставался во владении турок в прежнем качестве центра самостоятельного эялета; Каменный Затон и другие российские крепости у татарских границ восстанавливать после разрушения запрещалось. Вопрос о возобновлении московской дани поднимался, но изменившееся соотношение сил России и Крыма, стремление Бахчисарая если не гарантировать себе полную безопасность, то хотя бы отодвинуть конфликт с Санкт-Петербургом, подвигли ханство на путь компромисса. В дальнейшем этот вопрос никогда на переговорах не ставился.

В 1712–1714 гг. Турцией были заключены иные договоры, отразившие совершенно изменившуюся её ориентацию, теперь направленную на мирное сосуществование с Россией и Польшей. Вообще во втором-третьем десятилетиях XVIII в. в истории Турции начался новый период. «Он характеризовался не только как период остановки агрессии в Европе, но и значительными изменениями во внутренней жизни страны... появились новые люди и новые надежды», связанные с мирным развитием культуры и искусства (*Орешкова*, 2003. С. 117). Однако теперь с новой силой началась экспансия европейских стран (прежде всего Австрии и Венеции) на балканские территории слабевшей Османской империи. Сказалась эта перемена и на внешней политике Крыма.

За десятилетие с 1710 по 1720 гг. не отмечено ни одного большого похода крымских татар на север (мы не принимаем во внимание несколько мелких набегов в 1717–1718 гг., совершённых одним из ханских сыновей Бахты-Гиреем с небольшой шайкой удальцов, вопреки воле отца, за что он и был прозван *Дели-султаном,* то есть *Сумасшедшим ханычом*). И дело здесь было не только в запретах Турции. Набеги больше не могли решать основную задачу крымских татар, а именно ослабление южных территорий России с целью предотвращения агрессии против Крыма. Экономическая и военная мощь царской империи, накопленная именно в расчёте на экспансию в сторону пограничных земель, стала, кроме того, несопоставимой с потенциалом ханской армии и человеческими ресурсами Крыма[1].

Все перечисленные и ряд иных, менее важных факторов, говорят об одном: к первой половине XVIII в. длительное время существовавшее равновесие

[1] Речь идёт о воинской силе, которой обладали и первая, и вторая державы, а не об абсолютной численности крымскотатарского войска. Как раз по *количеству* воинов сравнивать русскую и крымскую армии ещё можно было. Так, в 1717 г., то есть уже при Саадет-Гирее III, для участия Порты в войне с немцами ханство смогло послать корпус (далеко не всю армию, а какую-то её часть) численностью около 70 000 сабель. При необходимости же хан мог выставить в поле и сто тысяч. Но русская армия превосходила крымскотатарскую в смысле *современного* вооружения и обусловленной им *модернизированной* тактики и даже стратегии кампаний.

в крымско-российских отношениях было нарушено. Увеличивавшееся превосходство России могло бы, в общем, остаться и без внешнеполитических последствий, чему в истории есть масса примеров. Но в данном конкретном случае ни этнопсихологические задатки великороссов, ни агрессивность их наиболее ярких представителей — российских царей — не позволяли надеяться на мирный исход в сложившейся ситуации. Более многочисленный, мощный и «динамичный» народ не устоял перед искушением агрессии в сторону соседа. Именно поэтому, а не из-за каких-то объективно непреодолимых причин или субъективной «царской воли» история Причерноморья на протяжении XVIII в. всё более заметно окрашивается в кровавые тона.

Были и другие факторы, делавшие продолжение старой, но действенной оборонительной политики ханов невозможным. За полвека, прошедшие с эпохи больших набегов совместно с Б. Хмельницким и другими казацкими лидерами, в Крыму многое изменилось. Полностью исчезли остатки кочевого скотоводства, среди крымцев едва ли не преобладающим стал удельный вес земледельцев, ремесленников, рыбаков, а именно слоёв, и ранее не помышлявших о неверной и опасной прибыли от продажи угнанного «полона». Впрочем, как говорит московский историк, эта перемена свершилась ещё в XVII в. Тогда, в противоположность нескольким очагам агрессии региона (турецкому, австрийскому, польскому, шведскому, затем московскому), «...бахчисарайский занял оборонительное положение» (*Артамонов В.А.* Очаги агрессии в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XVII–XVIII вв. // Славяне и кочевой мир. Средние века — раннее Новое время. М., 1998. С. 80). С тех пор в Крыму уже были безвозвратно утрачены сложные навыки многодневных конных походов. Абсолютное большинство крымцев свыклось с мирным трудом, а заперекопские ногайские орды, главная опора ханов в набегах, практически вышли из подчинения Бахчисараю.

Социально-экономическая по своей сути, эта эволюция неуклонно меняла и внешнюю политику ханства. Ни один из Гиреев, сменивших Девлета II, не помышлял более о том, чтобы вести диалог с Санкт-Петербургом на равных. Да и опасными были новые конфликты, так что хан ни разу более не идет в поход даже на Украину, не заручившись поддержкой Польши, придунайских ногайцев и т. д. И в Петербурге 1720-х гг. Крым рассматривают уже не как постоянную угрозу, но как обычное соседнее государство, представляющее не субъект, а, скорее, объект агрессии[1]. И чем более грозной становилась мощь России для её северных и западных соседей, чем обеспеченнее её граница с Австрией, Польшей, Литвой и Скандинавией, тем чаще взоры Петербурга останавливались на бескрайних просторах цветущего Юга.

---

[1] Здесь рассматривается лишь чисто военная сторона политики Крыма. Что же касается дипломатии, то ханы и в первой четверти XVIII в. делали всё от них зависящее, чтобы ослабить продвижение России на юг. Так, в 1722 г., когда началась российская агрессия вдоль западного берега Каспия в направлении Персии, то Саадет-Гирей IV выступил на стороне Дауд-бека, лидера подвергшихся разорению лезгин. Хан буквально «оказал давление на султана» (*Bagger*, 1974. S. 52), отчего тот и выступил на стороне жертв петровского похода. Этот шаг, сделанный под влиянием крымской дипломатии, оказался первым в близившемся очередном русско-турецком вооружённом конфликте.

Намерение России продолжать наступление по направлению к Крыму не было секретом ни для Запада, ни тем более для бахчисарайских политиков. «Готовясь к предстоящей войне, Россия в 1731–1733 гг. возводит южнее Изюмской Украинскую линию» (*Санин*, 1994, 155). То есть возобновились работы стратегической важности: совершенствовалась уникальная, насчитывавшая уже не одно столетие наступательно-фортификационная система. Эта цепь крепостей и засек, созданная как опора для продвижения полевой армии на юг, протянулась теперь от устья р. Орели вдоль по её течению до притока р. Берестовой и далее по р. Береке (приток Сев. Донца) до самого её устья. Кстати, это огромное сооружение, протянувшееся на 1 000 вёрст, стоившее огромного труда и денег, объявленное в качестве оборонительного, именно защитную задачу и не могло решить. Как мы увидим, во времена грядущих войн крымские татары прорывали её когда хотели и где хотели (*Китченко Ф.* Украинская линия. Чернигов, 1850. С. 7, 16).

В качестве второй причины малопригодности засечных черт в решении оборонительных задач можно назвать человеческий фактор. Сидящие в засечных городках и крепостцах воеводы несли службу не лучше, чем до Петра, то есть из рук вон плохо. Гарнизонный сонный быт разлагал и командиров, и солдат. Наказания именно за «оспалость и нерадение» сыпались из Москвы одно за другим, но помогали мало. Как поляки с запорожцами, приходившие к засекам с запада, так и крымские татары относились к пограничной «москве» как к единообразно-аморфной массе, «оплошливой и неосторожной», то есть не умевшей хоть какое-то время быть настороже (цит. по: *Артамонов*, 1990. С. 71). Указанный автор отыскал даже крымскотатарскую пословицу, отразившую ситуацию той эпохи: «Ты спишь, Иван, а я должен трудиться, вязать тебя» (там же).

Возможно, именно по обеим вышеприведённым причинам российские стратеги 1730-х гг. искали способ нейтрализовать этот порок российской военной инфраструктуры на юге. И нашли его в привлечении к военным действиям против крымских татар третьей силы — *калмыцкой орды*.

2. Кубанские татары и калмыки

Для лучшего понимания калмыцкого фактора во время российских нашествий на Крым в 1735–1738 гг. необходимо ознакомиться с ситуацией, сложившейся в первые десятилетия XVIII в. на восточных территориях ханства — местах кочевий кубанских ногайцев, а также с этническими и психологическими особенностями кубанских подданных Гиреев и их калмыцких противников.

О роли калмыков в истории этого периода известно немного — лишь то, что было зафиксировано в немногочисленных опубликованных письменных источниках. Из них следует, что ведущую роль в отношениях калмыков с Россией и Крымским ханством (включая его кубанскую часть) играл тогдашний верховный хан калмыцких орд, кочевавших в междуречье Волги и Дона, по имени Дондук Омбо (ум. 1741). Для понимания же внутренних движущих сил калмыцко-ногайских отношений необходимо, в свою очередь, ознакомление с историей возвышения этого хана. Она представляет собой и дополнительный интерес, будучи тесно спле-

тённой с южной политикой России в годы, непосредственно предшествовавшие Турецкой войне 1735–1739 гг., а также в период военных действий.

Дед Дондука Омбо, знаменитый в российской истории Аюка-хан (1646–1724), властвуя над многими калмыцкими племенами, переместившимися к Волге из Джунгарии, поначалу сохранял формальное подчинение Китаю. Это длилось, по крайней мере, до 1673 г., когда он перешел в подданство к Московскому государю (*Дашкович*, 1998. С. 37). В те годы калмыки ещё кочевали в междуречьях Яика, Волги и Дона, позже большинство их переберётся в донские степи и далее — к р. Молочные Воды. Кочевой быт калмыков не позволял требовать от них постоянной «государевой службы» Алексею Михайловичу. Но уже Пётр I формально приравнял их к казакам, поставив каждому отцу семейства жалованье размером в 500 руб. в год. Иногда вознаграждение за «казацкую» службу калмыков увеличивалось. Часто в виде дозволения беспрепятственно грабить сёла и города противника. Тогда калмыцкий хан соглашался посылать свои многотысячные отряды на царских врагов — «немирных» башкир, мятежных казаков и т. д.[1]

Именно в эти годы Россия стоит на пороге нового этапа в своей восточной политике, окончательную форму получившей при Анне Иоанновне, к чему мы позже вернёмся. Но уже Пётр I шлёт в июле 1720 г. астраханскому губернатору А.П. Волынскому примечательную инструкцию, обозначившую желательную для России политику калмыцкого хана по отношению к соседним народам и, прежде всего, к тюркам. В ней губернатору предписывалось «...с калмыками иметь доброе и ласковое обхождение... особливо отводить их от дружбы с турки, персианы, с крымцы и кубанцы (а особливо чтобы не имели дружбы и сообщения) и с Бахты-Гиреем Дали-Солтаном и его единомышленники, и не делали им никакой помощи...» (ПСЗ. Т.VI. № 3622).

Естественно, в краткой *Инструкции*, нацеленной на пресечение нормальных соседских отношений между народами Причерноморья, ничего не говорилось о конкретных действиях губернатора, направленных на возбуждение калмыцко-крымских или калмыцко-ногайских конфликтов, явно необходимых царю. Но об этом нетрудно догадаться, — здесь имеет место ситуация, когда один-единственный источник вполне достаточен для раскрытия сюжета и не требует дублирования дополнительными документами.

---

[1] В 1705 г. Аюка со своими конниками присоединяется к корпусу Б.П. Шереметева и идёт на Астрахань, восставшую против беспредельного издевательства над местным населением петровских воевод. Здесь он вместе с русскими «предаёт огню и мечу все мятежные слободы» (*Чонов*, 2006. С. 19). Через четыре года калмыцкий хан помогает царю в карательных акциях против восставших булавинцев и казацкого атамана И.Ф. Некрасова. А в 1711 г., когда начинается многолетняя агрессия России в кавказском и крымском направлении, ордынцы Аюки вливаются в войско графа П.М. Апраксина. Им даётся особое задание, направленное против кубанских подданных крымского хана. Это было ничем не спровоцированное нападение на мирных жителей, которые, однако, могли оказать помощь своему хану в его походе к Пруту. Граф дал калмыкам «волю идти на кубанцев, которые сколько их на обеих сторонах Кубани найти могли, всех перерубили, а жен и детей в плен забрали»,— доносил в Петербург Апраксин. В этой акции кубанских татар в бою пало 11 460 человек, в р. Кубани утонуло 5 000 татар, а в плен было взято мужчин 7 000, женщин и детей 21 000 (указ. соч. С. 20–21).

Так, по причинам внутренним (религиозные различия между калмыцкими буддистами и татарами-мусульманами) и внешним (подстрекательство российского правительства) сложились враждебные отношения между соседними народами. Причём практически сразу по прибытии калмыков на равнины близ Дона и Кубани: «Уже в 1648 году калмыцкие войска вместе с казаками участвовали в походе против Крыма, после чего подписали договор [с Россией] о совместной борьбе и дружественных отношениях» (*Маслаковец Н.А.* Статистическое описание кочевых донских калмыков. Ч. 2. Новочеркасск, 1874. С. 10). В благодарность за помощь в набегах на крымских татар донские казаки позволяли калмыкам пасти скот на правобережных землях. В результате столь душевного сотрудничества главным направлением военных действий калмыков (как и казаков) стала почти постоянная «война с Крымским ханством или его блокада». Неудивительно, что на протяжении десятков лет «крымские татары вплоть до падения ханства считали калмыков своими самыми жестокими врагами» (*Дашкович*, 1998. С. 38).

В феврале 1724 г. хан Аюка умер. Пётр пытался поставить на его место калмыцкого владельца Доржу-Назара. Однако жена покойного хана Дарма-Балу со своим внуком Дондуком Омбо заставила все улусы присягнуть себе. Тем не менее конечную победу одержала не она, а другой её сын (и отец Дондука Омбо), Церен Дондук. Новый хан сохранил подчинённое по отношению к России положение своей орды, но он проявлял некоторую строптивость, что не устраивало Петербург.

Этим взаимным охлаждением решил воспользоваться Дондук Омбо. Дождавшись очередной смены российского правительства в 1730 г., он попытался свергнуть отца, но неудачно. Опасаясь расплаты за предательство, калмык бежал на Кубань под покровительство ханского нуреддина и сераскира кубанских ногайцев Бахт-Гирей-султана. А в 1731 г. Дондук Омбо вернулся, сверг отца, принудил его бежать в Саратов и стал властителем над ордой в 15 000 кибиток. Но затем, опасаясь санкций губернатора, снова ушел в крымскую сторону. Власть Церен Дондука была восстановлена.

Через год Дондук Омбо окончательно отложился от России, а затем отдался под покровительство хана Каплан-Гирея I, перебравшись при этом с Кубани в Крым. Россия требовала его выдачи, но тщетно, так как в пункте 9 последнего мирного русско-турецкого договора калмыки признавались людьми вольными. Поэтому насильственного выселения беглого хана не последовало. Не помог и фирман турецкого султана с указанием хану выслать Дондука из Крыма. И весной 1733 г., когда Порта снова настойчиво потребовала от Каплан-Гирея выдачи Дондука, то крымский хан «отвечал, что по старому обычаю они не могут высылать от себя насильно людей, прибегших под их защиту, если же Дундук захочет возвратиться добровольно, то они запрещать ему не будут» (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 275, 368–369).

Однако, ещё находясь в Крыму, калмык завел переговоры с российской императрицей, заверяя её, что может оказать ей больше послушания, чем его слишком уж гордый отец. И Анна Иоанновна сделала свой выбор, пообещав Дондуку простить его вины и пригласив занять место Церена. В ноябре 1735 г. Дондук Омбо присягнул новому губернатору Астрахани И.П. Измайлову (в данном случае представлявшему императрицу) и был официально объявлен «главным кал-

мыцкого народа управителем» (*Митиров А.Г.* Ойраты-калмыки: века и поколения. Элиста, 1998. С. 166).

Добившись своего, Дондук Омбо распустил влиятельные калмыцкие советы старейшин и установил в степи некую форму абсолютного единодержавия. Для подавления излишне самостоятельных улусных тайшей он применял систему настоящего террора. Позднее один из его преемников вспоминал в письме к дипломату кн. М.И. Воронцову: «Не взирая ни на владельцев, ни на знатных [людей], ни на подлых, ни на духовных, ни на всякий мужской пол и женский, [хан] иных умерщвлял, других арестовывал, а иных и вовсе [с семьей] искоренял, а потом писал о них, что якобы они какую-либо провинность учинили русскому правительству» (цит. по: *Пальмов*, 1926. С. 1). Не вынеся такого деспотического самоуправства, летом 1738 г. ряд улусных тайшей восстал против Дондука Омбо. Хан тут же попросил у русских послать ему войско в помощь. А потом равнодушно наблюдал за тем, как прибывшие по приказу Петербурга донские казаки расправляются с его соплеменниками (указ. соч. С. 2).

Впрочем, это случилось позже. Что же касается возвышения Дондука Омбо в 1735 г., то оно было непосредственно связано с началом упомянутой войны с Турцией и Крымом в 1735–1739 гг. Российский кабинет-министр граф А.И. Остерман, в те годы фактически программировавший внешнюю политику державы, пришел к мысли о действенности использования во время южных походов национального фактора. То есть искусственной активизации тлеющего религиозно-национального конфликта между частями пёстрого населения Северного Причерноморья, которое можно было использовать в борьбе против будущего противника. Конкретно, граф задался целью лишить крымского хана поддержки со стороны его ногайских подданных, использовавшейся Бахчисараем в предыдущих столкновениях с Россией. И прежде всего помощи тех ногайцев, что осели на треугольной территории, ограниченной нижним течением р. Кубани, Кавказом и Чёрным морем.

К калмыкам же петербургские власти начали проявлять особую заботливость. Так, возникшая зимой 1736–1737 гг. опасность нападения на них кайсацкой орды была ликвидирована энергичными действиями российских войск. Причина этого вмешательства во взаимоотношения степняков была раскрыта в указе Кабинета министров от 9 февраля 1737: «Нам калмыки против [крымских] татар (в том числе и кубанских ногайцев. — *В.В.*) потребны, а Дондук Омбо такими нападениями и опасностью от тех кайсаков отговариваться может...» (БКМАИ. Т. 4. С. 82).

Но для лучшего понимания дальнейших событий в Северном Причерноморье необходима небольшая справка и относительно противников Дондука Омбо — кубанских ногайцев, или *кубанских татар,* как обычно называли их в России и на Западе. Эта часть ногайских племен некогда входила в состав племен Большой Ногайской орды, основанной знаменитым эмиром Эдигеем (1352–1419), позднее завладевшим Золотой ордой, ставшим и её правителем (с 1399 г.) и много воевавшим с Русью. Позднее, как упоминалось в очерке VI этого тома, под ударами кайсаков-казахов в 1519 г. ногайцы перебрались на западный берег Волги. С тех пор они кочевали в степях нижнего Поволжья, где после захвата русскими Казани и Хаджи-Тархана жили с новыми соседями почти без конфликтов, если судить по сохранившимся сведениям.

Граф А.И. Остерман
Гравюра из Politikens. Bd. II

Однако со смертью одного из ногайских предводителей, бея Исмаила (1563), эти отношения испортились настолько основательно, что началось массовое переселение улусов самостоятельной Малой Ногайской орды в причерноморские степи. Видимо, они тяготели к Крымскому ханству, защитой и покровительством которого уже пользовались другие ногайские орды — Буджакская, Едисанская, Джамбойлукская и др. Прибыв в Приазовье, ногайцы Малой орды заключили союз с ханом Девлет-Гиреем I. Однако впоследствии по ряду причин (беззащитность перед нападениями с севера, конфликты с Бахчисараем и пр.) в 1574 г. эти ногайцы снова поднялись с места и откочевали за Дон, а потом, преследуемые донскими казаками, — ещё дальше, за Кубань (*Кочекаев*, 1988. С. 109).

Здесь они заняли территорию, издавна принадлежавшую Крымскому ханству, расположенную между нижним течением реки и землями горских племен Северного Кавказа (которые также являлись вассалами Гиреев). Существует мнение, что ногайцы вступили в права владения этими пастбищами на законном основании, как издавна принадлежавшими ногайцам же (правда, иных орд). И, что совершенно бесспорно, столицей их стал бывший старинный ногайский город Капу (*ногайск.* «ворота»), расположенный на острове, образованном главным течением Кубани и ее притоком Кара-Кубань. Этот остров, между прочим, также носил с давних пор ногайское имя Ада (собств., «остров»), сохранившееся со времен Эдигея, который якобы и заложил крепость Капу, или Копыл, как гораздо позднее стали произносить этот топоним пришлые русские (*Капаев И.С.* Бессмертная смерть. Ставрополь, 2004. С. 407–408).

С годами численность кубанских ногайцев возросла: в 1635–1636 гг. туда же дополнительно прибыли улусы со старых кочевий Большой орды. Теперь они «объединились с Крымским ханством территориально» (*Кочекаев*, 1988. С. 115). Таким образом они были признаны Бахчисараем (а значит, и всем тюркским миром) законным населением Закубанья, как упоминалось ранее, принадлежав-

шего крымским ханам. Но это вовсе не означало, что ногайцы обрели, наконец, спокойную жизнь на старой/новой родине.

Здесь их начали донимать донские казаки, каждый набег которых обходился народу недешёво, а порой ставил его на грань исчезновения, когда донцы угоняли едва ли не целиком скот, дававший практически все продукты питания этому животноводческому населению. Поэтому именно перед казаками царским правительством и была поставлена задача «до конца разорити и искоренити» этих тюрков, в особенности на обоих берегах Дона, где «под опекой Крыма они мечтали найти спокойное, безопасное существование» (*Новосельский*, 1948. С. 159). В том же столетии, особенно в 1660-х гг., у ногайских племён до предела обостряются отношения и с калмыками, которые приходили из-за Дона с той же целью ограбления как Крыма, так и заперекопских ногайцев. Эти массовые набеги, до поры до времени стихийные, снаряжались чуть ли не каждый год. При этом калмыки уводили огромные стада скота и овечьи отары: последних до 20 000 голов за раз, а то и вообще без счёту (*Новосельский А.А.* Исследования по истории эпохи феодализма. М., 1994. С. 92–95 и др.).

На рубеже XVII и XVIII вв., когда Кубанская ногайская орда окончательно осела в своём территориальном «треугольнике», российское правительство, не прекращая преследование её, стало «возлагать большие надежды на калмыков, издавна враждовавших с кубанцами и поддерживавших дружбу с Россией» (*Кочекаев*, 1988. С. 132). То есть калмыцкие набеги и в южном направлении должны были утратить свою стихийность и отныне снаряжаться в соответствии со стратегическими планами Петербурга (о них говорилось выше).

Здесь нужно заметить, что к 1730-м гг. кубанские ногайцы несколько изменили свой культурно-хозяйственный облик по сравнению с типично кочевым, характерным для большеордынского периода их истории. Ограниченные с двух сторон весьма немирными соседями (горцами Кавказа и донскими казаками), а с третьей — берегом Чёрного моря, они перешли от кочевого к отгонному типу животноводства, и отчасти земледелию (просо, ячмень). Ведение хозяйства такого типа значительно сужало возможности участия кубанских ногайцев в ближних и особенно дальних походах крымских ханов, совершавшихся по указаниям Турции. Что же касается набегов как вида добывания средств к существованию, характерному для «чистых» кочевников, для кубанцев они также уходили в прошлое. А если такие походы и имели место, то лишь после массовых угонов скота калмыками или казаками, когда угроза голодной смерти заставляла ногайцев пытаться отбить хотя бы часть утраченного. Как доказывает современный автор, ещё в 1570 гг., а тем более позднее, такие походы ногайцев «были реакцией Крыма (то есть и кубанской его части. — *В.В.*) на казацкие походы» (*Атаманенко*, 2010. С. 20).

Претерпело это ногайское племя и иные метаморфозы. За многие десятилетия оседлой жизни за Кубанью не могли не измениться самосознание и общая этническая культура этой части ногайских племен. Орда, поселившаяся на землях, издавна принадлежавших Крымскому ханству, пользовалась статусом подданных династии Гиреев. И вчерашние кочевники постепенно превратились в органическую часть пёстрого в этническом отношении крымскотатарского народа, пользуясь такими же правами и обязанностями, как коренные жители Крыма. А кое

в чем и имея преимущества по сравнению с последними. Так, почётными телохранителями бахчисарайских владык традиционно служили эмиры (мурзы) именно ногайских орд, осевших на Кубани, и других: 16 чел. от Эдисанской орды, 10 — от Джамбойлукской, 11 — от Едичкульской и т. д. (*Фарфоровский С.В.* Ногайцы Ставропольской губернии. Историко-этнографический очерк. Тифлис, 1909. С. 4).

Наблюдались и иные сближения между тюркским населением Кубани и Крымского полуострова. Находясь под управлением сыновей или братьев крымских ханов, ведя оживленную торговлю с Керчью, Кефе и Судаком, вступая в иные отношения с жителями полуостровной части ханства (в том числе и брачные), бывшие кочевники Кубани не могли не заимствовать отдельные черты многовековой, богатой культуры Крыма. Такие культурно-этнические перемены были неизбежны, как и развитие самосознания — это общий закон взаимопроникновения человеческих культур (аккультурации): «Лишь видя пример чуждых жизненных форм, человек стал сознавать свою собственную, и одновременно с этим к системе отношений внутри круга кровных родственников добавилось всё богатство внешних отношений родов друг с другом, так что впредь эти отношения безраздельно господствуют...» в быту, культурной жизни и в образе мысли (*Шпенглер*, 2003. С. 36).

Если же перейти от культурных и социальных процессов, имевших значение только для кубанцев, к внешним факторам, отразившимся на едином ногайском самосознании, то нельзя не отметить, что в 1730-х гг. здесь произошли глубокие перемены. Продвижение русских войск на юго-востоке в кавказском направлении, на юге — к Крымскому полуострову, а на юго-западе — к устьям Днепра и Днестра положило конец свободному передвижению части ногайского этноса, сохранившей кочевой образ жизни. Российское вторжение рассекло Северное Причерноморье на три части, изолировав Едисанскую (приднепровских или очаковских ногайцев) и Буджакскую (днестровских или ак-керманских ногайцев) орды от заперекопских и кубанских орд[1].

Притом именно «военные действия, направленные против Крыма, особенно тяготили отрезанных от своих соплеменников на Северном Кавказе ногайцев Буджакской и Аккерманской орды» (*Щеглов И.П.* Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии. Т. I, Ставрополь, 1910. С. 79). Они были вынуждены переселяться за относительно спокойную Кубань. Там они смешивались со своими единоверцами, осевшими гораздо ранее, и под влиянием Крыма успевшими значительно вырасти в культурном, экономическом и духовном отношениях по сравнению со своим кочевым прошлым.

Что же касается соответствующих направлений развития калмыков, то они всё ещё принадлежали к кочевому культурно-экономическому и социальному типу. Калмыки, как вообще большинство кочевников, находились в ту эпоху вне истории, вне политики. По весьма точному замечанию историка Новороссийского

[1] Собственно, это было точным исполнением военно-стратегического плана польского короля Яна Собеского, который ещё в 1686 г. предложил Москве «вместо удара в сердце Крыма, где русских на безводье как в мышеловке могут захлопнуть западные ногайцы, ...предварительно рассечь территорию ханства двумя клиньями — вдоль нижнего Днепра и на линии Дона у Азова» (цит. по: *Артамонов*, 2001. С. 302). Но этот план был отклонен правительницей Софьей, после чего последовали позорно провалившиеся Крымские походы 1687 и 1689 гг. под руководством князя В.В. Голицына.

края А.А. Скальковского, их бытие в XV–XVIII вв. (то есть после окончания великих походов Степи на запад, оставивших след в истории) утратило даже признаки осмысленной целеустремленности. В то время, как их крымские соседи поощряют развитие наук и искусства, ведут активную торгово-экономическую и внешнюю политику, энергично вмешиваясь в дела польские, венгерские, кавказские и даже шведские, у кочевых степняков Задонья «всякий год и день — одно и то же зрелище, а история одного года есть история всех трех столетий» (*Скальковский*, 1843. С. 113).

В сравнении с крымскими татарами, оставившими яркий след во всемирной истории, и, что важнее, обладавшими *собственной*, этнической историей (то есть являвшимися вполне исторической нацией), калмыков того периода можно назвать не более чем «пранародом»: «Через что проходят пранароды и феллахские народы, так это те... зоологические приливы и отливы, происшествия, лишённые плана, без цели и без определённой длительности, когда случается очень многое, и в то же время в каком-то значительном смысле не происходит ничего. Лишь исторические народы, существование которых есть всемирная история, являются нациями» (*Шпенглер*, 2003. С. 174).

После того как калмыки избрали местом своих кочевий междуречье Волги и Дона, они систематически совершали набеги на кубанских ногайцев с целью увода скота и пленных на продажу. Поэтому упомянутая выше задача А.И. Остермана облегчалась остро конфликтными отношениями между этими народами. И граф выработал систему поощрения калмыков, которых предполагалось натравливать на кубанских ногайцев перед началом каждой из грядущих крымских кампаний, чтобы кубанцы не были в состоянии помогать своему бахчисарайскому государю и покровителю.

Что же А.И. Остерман сделал для этого?

Во-первых, в 1736 г. граф в шесть раз повысил казённую годовую выплату Дондуку Омбо по сравнению с тем, что получал его предшественник Церен Дондук — теперь она поднялась до 3 000 рублей, а натуральные поставки (зерно) увеличились вдвое. (ПСЗ Т. IX. №№ 7027, 7103). Полагались дотации и тайшам — подданным Дондука, но меньшего размера, по 2 000 руб. годовых. Во-вторых, Дондук Омбо рассчитывал, и не без оснований, на разовые награды после каждого из его набегов на кубанских ногайцев. И он охотно подчинился распоряжению Петербурга об участии калмыцких отрядов в готовившемся походе Б.Х. Миниха на Крым (Высочайшая резолюция от 5 августа 1736 // БКМАИ. Т. V. С. 372).

Не только А.И. Остерман, но и фельдмаршал Б.Х. Миних не оставлял своим вниманием кубанских подданных Каплан-Гирея. Он предложил императрице «для совершенного искоренения кубанцев, при нерегулярных употребить несколько из регулярных [войск] и артиллерии...», а также «частию калмык отправить к здешней экспедиции, коими здешний народ утеснять и искоренять, а паче скот получить будет способнее, о чем я буду сношение иметь с ген. фельдм. Лассием» (цит. по: *Миних*, 1897. С. 98). Но, поскольку регулярные части были в эту кампанию нужнее в Крыму, то в Петербурге и решили «искоренять» кубанских ногайцев силами лишь калмыков и казаков.

Поэтому в ноябре–декабре 1736 г. 20 000 калмыков и 8 000 вышедших с ними, по указанию Петербурга, в совместный поход донских казаков разорили множество селений кубанских ногайцев и их главный город Капу (*Khodarkovsky*, 1992. P. 206).

Далее, как только Миних в том же году осадил Азов, Дондук Омбо с 40 000 всадников прошел в мае месяце за Кубань и в верховьях р. Урупа напал на ногайцев, значительно уступавших ему в численности.

Разгром аулов окончился расправой над захваченными жителями. «Хан распорядился пленными по своему калмыцкому обычаю: все мужчины, в числе 6 тысяч, были вырезаны, а 20 тысяч жен и детей отправлены на р. Егорлык», тогда как «остальные города, становища, аулы были истреблены, и вся страна превращена в пустыню, спалена огнем, покрыта развалинами, пеплом и трупами» (*Потто*, 1885. С. 51, 50). Лишь несколько отрядов ногайцев из Едичкульской орды, спустившись из предгорья на равнину, пытались защитить пастушеские семьи и стада, но против них был послан сын калмыцкого хана, Голдан Норма и немногочисленные едичкульцы были также уничтожены (*Ябулганов А.А.* Очерки военной истории ногайцев. М., 1998. С. 78).

Однако, видимо, у калмыцкого хана был ещё один приказ из Петербурга, вызванный необходимостью изменить политическую ситуацию на Северном Кавказе (где было немало князей, стремившихся сохранить свою независимость от русской царицы) чисто демографическим образом. То есть депортировав туда тюрков, перешедших в российское подданство. Поэтому Дондук Омбо, окружив 10 тысяч кибиток ногайского рода Султан-аул, у реки Зеленчук, вопреки обыкновению, не торопился их уничтожать или брать в плен. Он «обложил их станом», и держал 37 дней, пока дети и самые слабые старики не стали умирать с голоду на глазах своих близких. Лишь после этого окруженцы попросили у соседних казаков передать их желание перейти в подданство императрицы, которое всё же было предпочтительней неизбежной голодной смерти или калмыцкого рабства. Донской атаман принял их просьбу. Теперь полумёртвых ногайцев, уже как русских подданных, вырезать было невозможно. Всех оставшихся в живых кубанцев было решено переселить на Куму и Терек, где, как указывалось выше, требовалось «разбавить» свободных горцев несвободным элементом.

Но такая «благополучная» участь выпадала кубанским ногайцам нечасто. Остальных продолжали истреблять и в годы упоминавшейся войны с Турцией. Английский резидент в России К. Рондо, дипломат весьма осведомлённый, писал в Лондон своему шефу лорду Э. Гаррингтону в самом начале нового 1737 г.: «Во время этой экспедиции... калмыки умерщвляли в неприятельской земле всех способных носить оружие». Что же касается добычи в виде десятков тысяч голов скота и награбленных пожитков кубанских татар, то, продолжает английский дипломат, «старожилы и не запомнят подобной добычи на Кубани» (цит. по: Донесения и другие бумаги английских послов, посланников и резидентов при русском дворе с Августа 1736 г. по Декабря 1739 года // СРИО. Т. 80. 1892. С. 91).

В марте 1737 г., для того чтобы в очередной раз отправить Дондука Омбо в поход против кубанских ногайцев, ему через астраханского губернатора было выплачено 7 730 руб., а ещё 70 120 руб. он получил для раздачи своим тайшам и кабардинским князьям для предотвращения их помощи жертвам набега (БКМАИ. Т. IV. С. 176). И в апреле этого года Дондук Омбо с 20 000 всадников снова вступил в кубанскую землю и разорил селения кубанских татар.

Этот поход ознаменовался новыми акциями геноцида. Перед тем как вступить в сражение с калмыцкой ордой, ногайские воины отправили стариков, жен-

щин и детей в тыл, ближе к горам. Но сын Дондука, Голдан Норма, обнаружил это становище и напал на него с несколькими тысячами всадников. Российский офицер, современник этих событий, вспоминал позже: «Резня была страшная, всех мужчин (стариков и подростков. — *В.В.*) перерезали; пощадили только жён и детей числом до 10 000. На месте осталось двадцать четыре мурзы и 6 000 татар» (*Манштейн*, 1875. С. 94–95).

В ноябре 1737 г. состоялся новый набег калмыков на ногайцев, в котором приняли участие и казаки, составившие крупную, хорошо вооруженную силу: 9 500 конных и 1 500 пеших казаков, 8 пушек и 10 шестифунтовых мортир (*Василевский В.М.* Русь и Войско Донское. Казаки в Российской империи. Ч. 2. Воскресенск, 2004. С. 80). Как сообщали Санкт-Петербургские Ведомости, калмыки и терские казаки переправились на кубанский остров Мунтан, где находились лучшие кочевья, а также жилища и заливные пастбищные луга ногайцев — подданных крымского хана. Там участники набега «несколько тысяч кибиток (по сути, семей. — *В.В.*) побили, а сверх того множество оных от страха бегая, в озерах и заливах в воде потонуло, и потом Казаки и Калмыки на том же острову г. Темрюк окружили...» и после недолгой осады взяли.

Анонимный автор газетной статьи продолжает: «В той акции побрано в плен многие тысячи Кубанских людей мужеска и женска полу; также и лошадей, скота рогатого, верблюдов и баранов великое множество взято и прочего в добычю немало же получено. После того... Казаки и Калмыки на оном острову... и в других местах везде, где ково из Татар нашли побили и жилища их разорили и искоренили, а прочие Кубанские татары, называемые Эдишкулы, с сераскиром Бахты-Гиреевым сыном Салим-Гиреем Салтаном, получа наперед о походе Российских Войск на Кубань известие, убрались и ушли в крепкие места в горы» (Санкт-Петербургские Ведомости. 05.01.1738)[1].

Подготовка к набегам следующего 1738 г. велась всё лето и к осени была закончена. Затем «Дондук-Омбо и казацкие старшины Ефремов и Краснощеков соединились, узнав, что Едичкульская орда (20 000 воинов, то есть не менее 100 000 человек, учитывая и их семьи. — *В.В.*) с гор сошла и весь свой скот по сю сторону Кубани (ибо они в горах зело злую нужду претерпевали) для паствы пригнали. Их лагерь атаковали... И когда сия партия назад возвратилась, то Казаки и Калмыки из разных партий... всю обширность по реке Кубани от урочища Елан-Кечу до самого моря, которые места самыя лучшия и более жилые по сю сторону

[1] Примерно в таком же спокойно-эпическом тоне российские газетчики рассказывали и о всех прочих походах, направлявшихся из Петербурга на татар, о страшных жестокостях и многотысячных жертвах среди тюркского населения Крыма и Северного Кавказа. Напрасно мы выискивали бы в столичных газетных статьях хотя бы след сожаления о муках мирного населения, не говоря уже об осуждении свирепых исполнителей императорской воли. Схожую реакцию можно было отметить и у читателей этих статей, вообще в народных массах. Несколько позже этих событий и по иному поводу французский путешественник заметил: «С точки зрения правоверных русских, эти зверства достойны величайшей похвалы; сам Святой Дух нисходит на самодержца и возносит его душу превыше человеческих чувств, а Господь благословляет исполнителей его высших предначертаний; по этой логике, чем больше варварства в поступках судей и палачей, тем больше в них святости» (*Кюстин*, 2008. С. 77).

Кубани, суть объездя, все запустошили и помянутую Эстискульскую орду весьма разбили... При таком поиске от 26 ноября до 3 декабря продолжавшемся на неприятелской стороне весь оружие носящий мужской полон отчасти побит, отчасти же (а именно те, которыя бегством спастись и через реку Кубань переправиться хотели) во оной реке перетонули, ибо оная разлилась и по берегам лед был... При чем жен и детей до 10 000 в полон взято, а ещё более того в реке Кубани оных потонуло. Дондук-Омбовы Калмыки одни на свою долю 20 000 лошадей, скота же и баранов бесчисленное множество в добычь получили, ибо почитай весь скот со всей Кубани в те места согнан был. Також и с другими вещами такое изобилство и богатую добычь достали, что они такого из давних времен не помнят. Сию добычу он Дондук Омбо тотчас в свои улусы или жилища послал, а сам с войском своим у реки Кубани остался, дабы... и достальных по другую сторону обретающихся Кубанских татар равным образом посетить и сократить» (Санкт-Петербургские Ведомости. 28. 12. 1738 г.).

Выводы к этому трагическому сюжету из истории ногайской части Крымского ханства давно были сделаны отечественным историком: «Калмыцкий хан, человек полудикий, лучше наших фельдмаршалов понимал, с кем он имеет дело, и потому-то без артиллерии и рогаток, без обоза и провианта, с одною только конницею, в два-три живых и быстрых набега, он сделал более, нежели сделали в Крыму целые регулярные армии» (*Потто*, 1885. С. 52).

В российской историографии это мнение, окрашенное жутковатым юмором висельника (чего стоят одни лишь *«живые»* набеги с целью массового убийства ногайцев!), критике не подвергалось. Ни в год его опубликования, ни позже — вплоть до наших дней. Собственно, и сейчас многолетнюю резню кубанских подданных Гиреев, осуществлявшуюся калмыками, наш современник бесстрастно характеризует как обычное «привлечение калмыцкой конницы в Русско-турецкой войне 1735–1739 гг.» (*Цюрюмов А.В.* Калмыцкое ханство в 1724–1741 гг. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Волгоград, 1997. С.15). Современный ему английский автор работы на схожую тему делает общее заключение: «Нацеленные на блокирование кубанцев в их местах обитания, калмыки не смогли парализовать их активность, и не добились полного разорения (utter distruction) кубанского региона» (*Khodarkovsky*, 1992. P. 209).

Это — пример другого подхода, который рискнём обозначить как «государственно-оптимистический», оправдывающий любые акции против малых народов, если они служат пользе великих держав. И тогда кровавая резня под пером известного историка, вполне владеющего материалом, принимает безобидную форму «блокирования». А читателю предлагается утешительный псевдофакт: «полного разорения» ногайского народа калмыки с казаками всё же не добились.

Если же оценивать изложенные события не с точки зрения бесстрастной истории войн, а попытавшись понять их в контексте той давней эпохи и отголосков в будущем, то и выводы будут иными.

Ногайцы Кубани и всего Северного Причерноморья, шедшие по пути культурного развития наравне с братским крымскотатарским народом, оказались на пути российской агрессии в южном направлении, возобновившейся при Анне Иоанновне. В результате походов российских армий они оказались разделёнными на отдельные, изолированные группы степного населения. При этом были

совершены акты геноцида по отношению к подданным крымского хана, селившимся между р. Кубанью и Кавказом.

Позднее великорусская экспансия в том же направлении, вылившаяся в серию Кавказских войн, получила длительное продолжение — ему нет конца, как и оправдания. Но и в ту пору практически все кубанские ногайцы (в отличие от калмыков) отказались не только поддержать имперскую экспансию, но даже принять российское подданство, что им неоднократно предлагалось. Уже поэтому они были обречены на утрату своего практически суверенного статуса и на изгнание. Что и произошло полвека спустя, в эпоху аннексии Крымского ханства, когда «кубанские татары» разделили горькую судьбу ногайцев всего Северного Причерноморья.

Вернувшись же в эпоху, которой посвящён этот очерк, мы не можем не прийти к заключению, что трагедия ногайского народа разворачивалась на фоне ещё одной, столь же значительной по масштабу катастрофы, в которую были ввергнуты крымскотатарская, российская и османская нации в военные 1735–1739 гг.

3. 1735 г.

Удобный для возобновления российской экспансии момент наступил ещё в начале 1720-х гг. Турки потерпели ряд поражений в войне с Австрией и Венгрией, и Пётр воспользовался этим, чтобы усилить свое влияние в соседних с Турцией закавказских землях. В результате краткой войны с Персией к России в 1723 г. отошли Баку и Дербент с прилегающими территориями. Будучи уверенным в том, что та же судьба ожидает и другие закавказские регионы и стремясь предупредить в этом Россию, Турция вторглась в Грузию, захватив Тбилиси. А ещё через год в Стамбуле был подписан договор о разделе кавказских территорий. России при этом достались наиболее ценные прикаспийские области: Ширван, Ереван, Карабах, часть Азербайджана и Грузии. Таким образом, Турция оказалась в проигрыше, отразившем слабость её международной позиции, а российская армия в то же время освободилась для дальнейших действий на Юге.

Между тем, в Крыму этих лет царил полный хаос, источником которого стало очередное обострение отношений между ханским и бейскими родами. Дошло до смещения нескольких Гиреев, по полуострову прокатилась волна свирепых казней (подр. см.: *Смирнов*, 1889. С. 28–39). Именно поэтому ханы не могли (или не захотели) воспользоваться упомянутым ослаблением турок в собственных, крымских целях.

И когда к власти пришел Менгли-Гирей II (1724–1730, 1737–1740 гг.), он вновь присягнул на верность султану Ахмеду III, будучи занят совсем иными, домашними делами: нужно было заново налаживать всё пришедшее в запустение, всё разрушенное или чудовищно запущенное его ближайшими предшественниками — Каплан-Гиреем I, Девлет-Гиреем III и Саадет-Гиреем IV[1]. Хан обязался

[1] Менгли-Гирей II полностью подчинил своей воле Ширинских беев и эмиров, а также примыкавшую к ним оппозицию из заперекопских ногайцев. Из внутренних реформ этого хана назовём отмену так называемого овечьего налога (он был равен цене одного

Императрица Анна Иоанновна.
Гравюра Мекона

идти со своим войском по призыву Порты, куда ей потребуется. В свете тогдашних событий имелось в виду — за Кубань и далее, в горы, на персидский театр военных действий. Год за годом тянулись эти чуждые интересам Крыма, губительные для его народа войны, а хан опасался ослушаться султана: то тут, то там вспыхивали искры едва погасших бейских мятежей, в которые всегда могли вмешаться турки. И когда в 1724 г. в Бахчисарай с Украины прибыли казацкие атаманы, чтобы в очередной раз просить о переходе в крымское подданство, хан отказался их даже выслушать.

Новая вспышка антитурецкой активности России снова совпала с очередным ухудшением положения в Османской империи. Когда в 1730 г. там вспыхнуло восстание янычар, среди правительственных кругов Петербурга уже ощущалось явное стремление, воспользовавшись тяжёлой ситуацией соседа, отрезать от его огромной территории наименее защищённые части (*Костомаров*, 1913. С. 299–300). Естественно, эта истинная причина будущей экспансии держалась в тайне, а декларировались совсем иные намерения, вроде попытки «освободиться от пут, наложенных Адрианопольским и Константинопольским договорами, вызванными неудачей Прутского похода, и получить выход к Чёрному морю» (*Новичев*, 1963. Т. I. С. 206).

Победа казалась легко достижимой — об этом русские дипломаты в Стамбуле И.И. Неплюев[1] и его помощник А.А. Вешняков писали Анне Иоанновне, уверяя

барана в год и традиционно предназначался для нужд ханского двора). Менгли привёл в порядок почтовые станции ханства, назначил казённое денежное содержание крымскотатарским улемам и мудеррисам. Главное же, он удалил под страхом казни лидеров оппозиции, в том числе Ширин-бея и привёл к покорности буджакских и черкесских мятежников. После этих и иных мер внутренние раздоры в ханстве совершенно прекратились, наступил долгожданный покой, снискавший хану симпатии и поддержку основной части населения ханства (*Zinkeisen*, 1856. S. 624–625). Сохранилась ли при этом былая свобода личности — немецкий автор не упоминает.

[1] Государственный деятель и дипломат, И.И. Неплюев (1693–1773) был первым российским резидентом в Стамбуле (1721–1736). В основном вёл переговоры с великим

недавно взошедшую на трон императрицу, что в противном случае военная опасность будет грозить уже России: «При таком благоприятном случае от Вашего Величества зависит смирить турецкую гордость, ибо они при вступлении хотя малого русского корпуса в их землю принуждены будут у Вашего Величества мира просить и постановить выгодные условия с переменою договора, если на конечную гибель свою не ослепнут... Если такого неприятеля при полезном случае не укротить и дать ему время поправиться, тогда надобно ожидать от него больших бедствий; неоднократно показали они, что при всяком, хотя мало полезном для них случае змеиный яд свой изблевать готовы» (цит. по: *Соловьев*, 1988. Кн. X. С. 382–383).

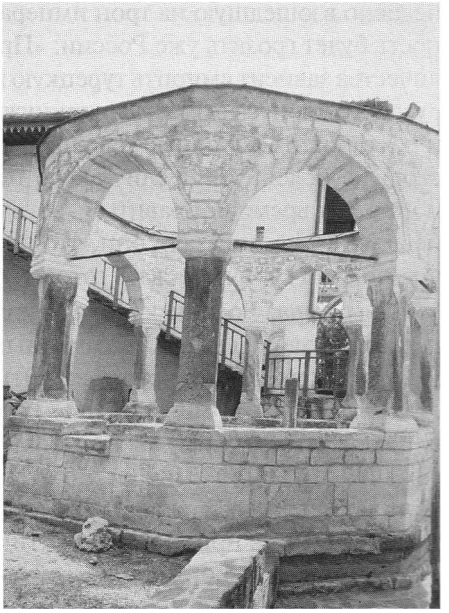
На сей раз Россия решила привлечь к войне Персию, заплатив за такую поддержку возвращением захваченных ещё Петром Дербента, Баку, устья Куры и других городов и территорий. Эти прикаспийские и закавказские земли были отданы согласно Рештскому (1732) и Гянджинскому (1735) договорам, но от нового поворота в своей южной политике Россия мало что потеряла. Дело было в том, что эти земли были ей, по сути, не нужны, так как империя тратила на оборону захваченных в начале 1720-х гг. у Персии территорий непомерные средства, а дохода они не приносили практически никакого. Впоследствии, когда их вернули старому хозяину, то, по выражению фельдмаршала В.В. Долгорукого, быстро ставшему крылатым, «российская держава персицкой хомут с шеи сняла».

Для персов же искушение вернуть свои закавказские земли было слишком велико. И ещё на предварительных переговорах с российскими представителями на эту тему тогдашний персидский правитель Тахмасп Кулы-хан (будущий Надир-шах) в уплату за Южное Закавказье согласился напасть на султана Махмуда I. Затем это обещание отразилось в русско-персидском трактате10 марта 1735 г., где Кули-хан давал обещание российского «неприятеля за [собственного] неприятеля иметь» (ПСЗ. Т. IX. № 6707). Для Петербурга же предлогом для разрыва мирных отношений со Стамбулом и начала новой войны послужило «нарушение нейтралитета России». Причем даже не турками, а крымскими татарами, дважды пересекшими новые российские владения по пути к Каспию и обратно (подр. см.: *Костомаров*, 1913. С. 300). Поэтому выглядело вполне логичным, что основной удар в начавшейся кампании будет нанесён не по собственно Турции, а по крымской провинции Османской империи.

К тому времени Менгли-Гирей II был смещён, хоть он, как упоминалось, на самом деле старался жить мирно со Стамбулом[1]. Новый крымский властитель Каплан-Гирей I (1730–1736 гг., это было третье и последнее его правление) обладал, напротив, некоторой степенью самостоятельности от Порты. Об этом говорят первые же его действия по прибытии в Бахчисарай. Получив от султана указ о походе

визирем Ибрагимом-пашой Невшехирли относительно размежевания земель, захваченных у Персии русскими и турками. Переговоры завершились подписанием нового Константинопольского договора 1724 г. В качестве имперского уполномоченного принимал участие в работе Немировского конгресса 1737 г. (см. ниже).

[1] В смещении этого хана главную роль сыграло упомянутое восстание янычар 1730 года в Турции, стоившее престола Ахмеду III, чьим протеже в Крыму считался Менгли-Гирей. После переворота противники хана при султанском дворе вскоре добились от своего нового султана Махмуда I (1730–1754) удаления крымского хана с престола (*Zinkeisen*, 1856. S. 626–627).



Могила Менгли-Гирея II и ротонда вокруг неё.
Фото автора

на Персию, он не подчинился безоговорочно, а собрал диван, где поставил вопрос о желательности отказа от такого выступления: ведь надо было «иметь в виду союз московов с персами: война против одних необходимо вызовет войну с другими, надо быть готовыми иметь дело с обеими сторонами» (цит. по: Смирнов, 1889. С. 53).

Впрочем, возможно, это была попытка разделить свою вину с беями и другими членами совета на случай провала будущего похода. В конце концов, было решено всё же войско готовить: реальная угроза турецких репрессий страшила хана и его совет больше, чем гипотетическая со стороны России. Но ситуация осложнялась тем, что конница под началом сыновей хана не могла идти иным путём, кроме обычного, традиционного. Она должна была проследовать через Кубань и Кабарду, т. е. территории, которые к тому времени русские уже считали почему-то своими. И в качестве обоснования новой крымской кампании российским правительством было выдвинуто «нарушение российской границы» в Кабарде крымским войском, шедшим в 1735 г. по указанию из Стамбула в Закавказье, к турецко-персидскому фронту. Именно этот повод к началу военных действий против Крыма (а фактически — против Оттоманской империи) выдвигался российской стороной — в качестве обычного для той эпохи объяснениях причин нарушения мира, предназначенного для европейского общества. В дальнейшем эта дипломатическая гипотеза неоднократно использовалась (и используется) отечественными историками в качестве объяснения действительных причин нарушения длительного мира и стабильных отношений между Россией и Турцией[1]. Очевидно, здесь необходимо совершить небольшой исторический

[1] Здесь не учитываются иные, ещё менее обоснованные гипотезы, оправдывающие российскую агрессию. Согласно одной из них, «хан Каплан-Гирей, искавший случая напасть на Кабарду и Дагестан» (то есть, по мысли автора приведённой строки, на частично

экскурс в историю принадлежности Кабарды (о Кубани речь шла выше), без этого останутся неясными если не причины, то повод к четырехлетней войне, самой тяжёлой для Крыма за всю его предшествующую историю.

Прежде всего, необходимо разобраться с вопросом государственной принадлежности территорий, через которые проследовало крымское войско. Здесь речь пойдет об обширных землях, находящихся к северу от Дагестана, которые в ту эпоху назывались Большой и Малой Кабардой. Впервые дискуссия по этому поводу разгорелась осенью 1731 г. в Стамбуле, где в ней участвовал российский резидент при султанском дворе И.И. Неплюев. Дискуссию начали турки по причине явного для всех стремления России разжечь новую войну с Турцией, пока та была связана боевыми действиями на персидской границе. Это признавали и российские историки: «Россия постоянно имела в виду войну с Турцией: война последней с Персией давала возможность выгодного вмешательства для уничтожения тяжких условий договора 1711 года» (Российские представители в Царьграде 1496–1891. Исторический очерк В. Теплова. СПб., 1891. С. 20). Напомню, речь идёт о результатах Прутского похода, начатого Петром по собственной инициативе.

Упомянутый диалог в целом был связан как с русско-персидскими и турецко-персидскими отношениями в Закавказье, так и вообще с разграничениями кавказских территорий между Россией и Турцией (точнее, Крымом, её формальным вассалом). Согласно позиции Стамбула, обе Кабарды издавна принадлежали крымским ханам[1]. Напротив, И.И. Неплюев представил Порте *копию* с некоего неназванного документа, где было зафиксировано добровольное присоединение всей Кабарды к Московскому государству ещё в середине XVI в.

Речь, по-видимому, шла о результатах визита в Москву посольства от двух кабардинских князей — Темрюка Идара и Тазрюта, имевшего место в 1557 г. При русском дворе гости объявили себя уполномоченными всех остальных кабардинских князей, а также и не имевшего к Кабарде никакого отношения грузинского князя — владельца «всей Иверской земли» (История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века / Отв. ред. *Б.Б.Пиотровский*. М., 1988. С. 332). Это голословное заявление представляло собой явную нелепость, но официальная Москва сделала вид, что поверила кавказским посланцам. После чего оказала им почести, приличные столь высокому их статусу. А когда те попросили московского подданства, то получили его на тех же условиях, какими пользовались русские служилые князья. Согласно акту 1558 г. оба кабардинца

ханские же земли!), именно с этой целью двинул свои войска через упомянутые области к персидскому фронту Османской империи (*Саламова*, 2007. С. 11).

[1] О том, что кабардинцы (черкесы, адыги) издавна, то есть ещё «до появления русских на Кавказе» служили крымским ханам, свидетельствуют и современные кабардинские историки (*Мальбахов,* 2002. С. 213). При этом некоторые из черкесских князей успешно продвигались по служебной лестнице Бахчисарая и даже играли заметную роль в политической жизни ханства и Османской империи (*Дзамихов*, 2001. С. 257). Ханы нередко женились на черкешенках, поэтому «...в жилах многих крымских ханов текла черкесская кровь, они знали обычаи и язык адыгов, усвоенные в годы аталычества» (*Мальбахов*, 2002. С. 215). Кроме того, Крым нередко оказывал черкесским князьям помощь: «всякий, кому не хватало собственных подданных, обращался за помощью к дружественному владельцу», т. е. крымскому хану (Там же).

становились как бы удельными князьями, сохраняя автономную власть над своими подданными.

В дальнейшем Темрюк Идар, на чьей дочери Кученей (или Гошеней, в православии Марии) женился Иван Грозный, повёл начиная с 1561 г., «большую политику», стремясь подчинить себе с помощью Москвы всех адыгов, а также турок и крымских татар. Причём отряды Темрюка, соединённые с русскими дружинами, даже высадились в этом году у Кефе и Азака, но были обращены в бегство (*Мальбахов*, 2002. С. 27).

После этого поражения против него выступили остальные кабардинские князья, поддержанные народом, не желавшим терять свои вольности. Для поддержки зятя царь послал в дальний поход войско воеводы Плещеева (1562–1563), затем Дашкова и Ржевского (1565–1566). Те воздвигли на кабардинской земле крепости, причем прямо на старинном Великом Шёлковом пути. Это обострило отношения между сторонниками и противниками «русской» политики Темрюка Идара, и крымский хан Девлет-Гирей I был вынужден отправиться в Кабарду для того, чтобы навести порядок среди своих вассалов. Он казнил неверного Темрюка и как верховный властитель тех земель предложил Москве снести её новые крепости (Кабардинско-русские отношения. Т. 1. С. 14).

Москва подчинилась этому требованию, и одна или две крепости на Тереке были ликвидированы[1]. Тем не менее в московских официальных документах XVII в. в числе «прибылых государств» стали с той поры упоминаться «Черкесская земля и Абазы», другими словами Кабарда. Возможно, основываясь на этом факте выдачи желаемого за действительное, уже и Пётр I стал именовать себя царем «кабардинской земли, черкасских и горских царей».

На деле же, если кто из горских народов и питал надежды на помощь России в вечных кавказских усобицах, то это лишь западные черкесы, да кое-кто из абазинцев (Кабардинско-русские отношения. Т. 2. С. 335, 340). Об этом, в частности, говорит тот факт, что в июле 1732 г. российское подданство получили 8 мелких кабардинских князьков (ПСЗ. Т. VIII. № 6123), в то время как остальные сохранили прежнюю независимость. По этой причине позже, когда кабардинский вопрос приобрёл актуальность в связи с персидской и турецкой войнами, оказалось, что он не имеет однозначного решения. И Неплюеву с его «документом»-копией было нелегко доказывать принадлежность Кабарды России: объективно это был факт из недоказуемых, точнее, никогда не имевших места. Много позднее весьма известные специалисты в вопросах восточной политики царей считали, что в эти годы у России были лишь «претензии» на Кабарду, но не бесспорные права на обладание ею (*Жигарев*, 1896. С. 125).

В том же 1732 г. Порта, отметая «кабардинские» претензии России, вновь призвала крымского хана к участию в персидской кампании будущего года, уверенная в праве крымцев следовать через кабардинские перевалы. Именно поэтому турки поставили в известность о маршруте крымского войска И.И.Неплюева,

[1] Переговоры об этом велись в Стамбуле с российским посланником И.П. Новосильцевым (1570). Это было первое российско-османское территориальное разграничение в Северо-Кавказском регионе. Взамен утраченного Москва возвела крепость в устье Терека, названную Терки.

желая избежать недоразумений, связанных с тем, что будущий марш крымского войска должен был пройти в относительной близости от русских аванпостов на Кавказе. Российский резидент не увидел в этой передислокации никакого нарушения интересов России. Ему была известна как грамота Петра к султану 1722 г., где Кабарда объявлялась «вольною», то есть независимой, так и содержание указа Анны Иоанновны 1731 года, это положение подтверждавшего (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 274; текст этого указа в Полном собрании законов Российской империи странным образом отсутствует).

И лишь позже, когда И.И. Неплюев совершенно согласился в этом с турками (не признававшими русского владычества ни в Кабарде, ни в Дагестане), до него дошли известия о том, что ситуация неожиданно меняется: некоторые кабардинские князьки, как упоминалось выше, приняли российское подданство.

Российский резидент оказался в довольно щекотливом положении, но, будучи настоящим дипломатом, он от своих прежних слов тут же отрёкся (благо, они не были отражены ни в каком официальном документе) и в октябре 1732 г. объявил султану, что Кабарда — земля русская, и что при первом движении крымских татар в сторону Кабарды императорская армия выступит на её защиту. Понятно, что ему было трудно говорить с турками, имевшими на руках мирный договор с Россией 1722 г., где в п. 9 было прямо сказано, что все Черкесы (Большая и Малая Кабарда) принадлежат Крымскому хану. Однако в дальнейшем российский резидент неуклонно стоял на своём.

В апреле 1733 г. турки заявили И.И. Неплюеву, что Россия странным образом называет обе Кабарды своими, тогда как Порта с этим согласиться не может, ибо «хан крымский представляет, что они всегда в его владении были». Русский резидент на это не мог возразить ничего, кроме того, что «Хан под предлогом войны с Персией хочет провести свои войска через Кавказ, то есть через русские владения, но я не ручаюсь за последствия, если татары не переменят этой дороги и коснутся земель Е. В-ва» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 369). Между тем позиция Крыма в Кабарде настолько усилилась, что Каплан-Гирей счёл возможным перевести оттуда около тысячи ногайских семей обратно на Кубань, где опасность калмыцких набегов временно снизилась (*Кочекаев*, 1988. С. 137).

В дальнейших переговорах с Крымом Порта требовала от хана, чтобы он этим походом не подал ни малейшей причины к ссоре с Россиею. Гирей отвечал, что Порта может быть спокойна: он русских владений не коснется, потому что Кабарда принадлежит ему, а кумыки и дагестанцы — люди вольные. В апреле И.И. Неплюев подарил турецкому переводчику два лисьих меха и тот донес ему: «Порта думает, что татары пройдут в Персию пустыми местами без ссоры и уверена, что Россия также ссоры не ищет, поэтому надобно относительно Кабарды найти какое-нибудь дружеское средство». Резидент, не видевший смысла в мирном разрешении конфликта, велел ему объявить в диване, что татар через Кабарду не пропустят. «Кажется, что Порта хочет объявит Кабарду нейтральною, — писал в эти дни И.И. Неплюев императрице, — но нам нельзя на это согласиться...» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 368).

С другой стороны, резиденту всё трудней становилось удерживаться на этой позиции, особенно после того, как 10 мая 1733 г. тот же переводчик Порты предъявил ему оригинал грамоты Петра I к султану, где говорилось, что государь

«отказался принимать в покровительство кабардинских князей и не велел подданным своим мешаться в их дела». К тому же переводчик Порты для подтверждения бесспорной правоты своего владыки носил оба документа (грамоту Петра и более поздний трактат с Анной Иоанновной) показывать всем иностранным послам в Стамбуле. При этом И.И. Неплюев был в страшном затруднении, не зная, что противопоставить непреложному факту, зафиксированному в обоих документах. «В них явственное изображение в пользу турецкую, — писал он в Петербург, — но по лучшей из них, [относящейся к] 1722 году, постороннему и беспристрастному человеку иначе нельзя почесть Кабарды как нейтральною». (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 369).

Наконец, произошло давно ожидаемое: в 1733 г. крымцы под водительством калги Фетх-Девлет-Гирея отправились к турецко-персидскому фронту и по дороге вступили в Кабарду. Навстречу им двинулись русские, потребовавшие прекращения марша. В ответ Фетх-Девлет «объявил генерал-майору Еропкину, начальствовавшему отрядом при гребенских городках, что похода своего остановить не может, потому что он предпринят по указу Порты и от петербургского двора дано позволение пройти ему через русские владения; ежели же Еропкин будет ему препятствовать, то он примет свои меры. Меры состояли в том, что он не пошел к гребенским городкам, чтоб не встретиться с стоявшим там русским войском, а переправил через Терек войска и пошел горами...» (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 370).

Другими словами, хан, всячески избегавший вооруженного конфликта с русскими, поднялся к р. Сунже, в урочище близ современного г. Грозного. Но далее двигаться он не мог, так как войсковые колонны генерала Д.Ф. Еропкина, князя М.Н. Волконского и принца Людвига Гессен-Гомбургского перекрыли все основные дороги. Крымцы, которых было не более 25 000 чел., не могли пробиться силой сквозь хорошо оборудованную преграду и остановились в чеченских аулах (История Дагестана. Т. 1. М., 1967. С. 355). А чуть позже, воспользовавшись тем, что основная часть русских войск, которым надоело стоять в безлюдной местности, отошли в крепость Св. Креста, крымские татары, теперь уже в сопровождении 5 000 местных горцев, вновь вышли на основную дорогу и с лёгкостью преодолели заслон. Затем они прошли в Шемаху и далее к расположению турецкой армии.

Этот марш, нужно подчеркнуть, был совершён с помощью местных властителей, симпатизировавших крымским татарам. Помощь одного из них, Сурхай-хана, была особенно значительной (*Саламова*, 2007. С. 13). Генерал Еропкин, спешно выступил из крепости, но опоздал. Ему ничего теперь не оставалось, кроме как совершить карательный рейд в Башлы, крупнейший из аулов, поддержавших крымского хана. Он сжёг его дотла и казнил старейшин, но ничего этим не добился, «ворота в Дагестан по-прежнему были открыты» (*Потто*, 1885. Т. I. С. 46–48).

Крымские татары и в дальнейшем беспрепятственно проходили сквозь них в обоих направлениях, в том числе и под личным руководством своего хана. Эта свобода передвижения крымцев на севере Кавказа объяснялась просто: в Кабарде лишь часть князей признавала верховенство России, большинство же (члены сильно разветвленного рода Джембулат под предводительством Росланбека Кайтукина) оставалась верными крымскому хану. Это подтвердил и совместный крымско-кабардинский поход на крепость Баксан, чьи жители

объявили о своей приверженности России. Крепость пала с приходом под её стены корпуса Фетх-Гирея, после чего крымцы двинулись к Кумыкскому плоскогорью и вскоре вошли в Дагестан.

В том же 1733 г. Бамат Кургоний, самый владетельный из кабардинских князей, ранее считавшийся российским подданным, изъявил желание вернуться вместе со своими вассалами под покровительство Каплан-Гирея. «Хан принял их как своих подвластных и приказал отправить кабардинскую конницу к Дербенту, куда намеревался пройти через чеченскую землю», что и выполнил, воспользовавшись дорогой через старинный аул Ханкалу (*Потто*, 1912. С. 39).

В Дагестане обстановка для русских была не лучшей, чем в Кабарде. Прибывший туда осенью 1733 г. главнокомандующий российскими войсками генерал-лейтенант В.Я. Левашов лично убедился в том, «что мы фактически владеем в Дагестане только городами Баку и Дербентом, да крепостью Св. Креста. Кругом кипело народное возмущение. Приходилось начинать войну сызнова...» (цит по: *Потто*, 1912. С. 40). Другими словами, «война» эта была нечем иным, как серией карательных походов против жителей окрестных гор, в том числе и мирных, не желавших становиться частью Российской империи. Особенно жестоко Левашов расправился с князьями, чьи земли находились в долине р. Сулак и на близлежащих горных склонах. Вся их вина заключалась в том, что они, как и раньше, хранили верность крымскому хану (*Саламова*, 2007. С. 13).

Когда же в следующем 1734 г. персидская армия под руководством Тахмаспа-Кулы разгромила турок, а в 1735 г. он заключил с Россией Гянджинский трактат, то оговорил в нем новое своё требование: русские должны полностью очистить весь Дагестан. Императрица Анна Иоанновна, знавшая о враждебной для России обстановке в этой части южных земель, сочла разумным согласиться. В результате граница с Россией была смещена ещё далее к северу, до р. Койсу, а Низовой корпус также перешел в крепость Св.Креста на правом берегу р. Сулака. Впрочем, и это укрепление русская сторона обязалась разрушить не позднее октября 1735 г. После чего перевести людей в новую крепость, уже на Тереке, в урочище Кизляр. Что и было свершено в указанный срок.

Несколько опережая события, укажем, что по Белградскому мирному договору 1739 г. России пришлось все же в очередной раз подтвердить свободу и суверенные права как Большой, так и Малой Кабарды. Это признание имело важное значение для народов Кавказа, отстаивавших свою независимость. Поскольку границы кабардинских владений были лишь приблизительными, то в дальнейшем многие племена пользовались новой ситуацией, относя свои земли к кабардинским. И российские власти порой бывали вынуждены отступать, что создавало на Кавказе прецеденты, в конечном счете «затормозившие свободную (т. е. безвозбранную. — *В.В.*) колонизацию края русским элементом» (*Щеглов И.П.* Трухмены и Ногайцы Ставропольской губернии. Т. I. Ставрополь, 1910. С. 79).

После бурных событий 1733 г. открытые вооруженные столкновения крымских отрядов с российской армией на Кавказе сменились ситуацией тлеющего конфликта. Такими русско-крымские отношения оставались года полтора, до очередного политического осложнения у южных границ России. Оно произошло сразу после заключения упоминавшегося русско-персидского Гянджинского трактата 1735 г.,

когда турецкий султан решился силой захватить оставленные Россией персидские провинции в Южном Прикаспии. Планируя проведение этой операции с участием войск крымского хана, Махмуд I отослал в Бахчисарай соответствующий фирман о новом походе на Кавказ. Каплан-Гирей стал готовить войско к дальнему переходу, о чём почти сразу же стало известно русским.

В Петербурге план Махмуда I вообще вызвал сильнейшее раздражение. В случае его реализации Турция стратегически усилилась бы, и все результаты персидской политики России последних лет оказались бы перечёркнутыми. Воспрепятствовать такому развитию событий путем объявления войны Оттоманской империи было невозможно, так как Турция не нарушала границ России. В сложившейся ситуации это сделало бы Россию агрессором, и она не могла бы рассчитывать на помощь той же Австрии: согласно договору 1726 г. союзники должны были помогать друг другу только в случае *нападения* на одного из них (лишь в 1737 г. это положение удалось изменить — см. ниже). Кроме того, как указывалось ранее, лучшая часть российских войск (корпус П.П. Ласси) находилась в тот момент далеко на Рейне.

Поэтому-то Петербург и принял решение развязать вооруженный конфликт не с Турцией, а с Крымом: А именно, дождаться, когда ханское войско в очередной раз уйдет в кавказском направлении и после этого «учинить внезапное нападение на Крым и Перекоп и, ежели возможно, овладеть полуостровом, а дело это поручить Запорожцам и Украинским казакам с несколькими Ландмилицкими и полевыми полками под руководством гр. Вейсбаха. Между тем, потребныя к прямой войне все надлежащия приуготовления учинить. Решено было, таким образом, осенью 1735 г. начать первое после Прутского похода неприязненное действо против турок или, собственно говоря, против татар, подвластных им» (*Баиов*, 1909. С. 43).

Поэтому, когда передовой крымскотатарский отряд ушёл в 1735 г. на восток, а затем к Дербенту двинулся и сам Каплан-Гирей с 80-тысячной армией, на Крым напали русские под командованием генерал-лейтенанта, киевского губернатора М.И. Леонтьева[1]. Это случилось в начале октября. Конкретным предлогом для этого удара теперь уже было не столько «нарушение границы» на Кубани и в Кабарде, а как будто бы возмездие (за небольшой набег *заперекопских* ногайцев на *украинские* городки). Это был именно предлог, о чём предусмотрительно писал И.И. Неплюев: «хотя бы паче чаяния и татары зачем [на Кавказ] не пошли, можно законные причины найти к ним привязаться» (цит. по: *Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 383).

Действительной же целью этого похода стало, вполне очевидно, не «усмирение» крымских татар и не месть им, а осуществление куда более значительной программы: захват Крыма должен был сыграть роль запала в надвигавшейся большой войне с Турцией. Он мог (в случае захвата полуострова) и обеспечить тылы во время наступления в дунайском направлении, и психологически нейтрализовать «прутский синдром», то есть развеять миф о непобедимости крымско-

[1] Корпус М.И. Леонтьева был относительно невелик — очевидно имела место известная недооценка противника. Он состоял из 6650 солдат и 11500 кавалеристов. Но корпус был усилен летучими сотными донских, слободских и гетманских казаков общей численностью в 20 000 сабель (*Масловский*, 1891. С.186).

турецкой армии. Само же овладение Крымом казалось задачей вполне достижимой: командующий Украинским корпусом генерал И.Б. Вейсбах (считалось, что он и был автором идеи «крымского удара») уверял Петербург, что такой поход займёт не более 10 суток (*Петрухинцев*, 1998. С. 63).

Как предлог к нападению на Крым, так и общая цель его отразились в записках К.Г. Манштейна, современника и участника этих событий: императрица Анна Иоанновна «из желания отомстить [за Прутское поражение] начала войну, стоившую больших денег и множества людей; без всякой существенной пользы». М.И. Леонтьеву было приказано «не мешкая, вступить в Крым, предать край огню и мечу, [а также] ...истребить совершенно ногайских татар, кочующих в степи между Украиной и Крымом» (*Манштейн*, 1875. С. 64, 66). А главное, как выразился исследователь того же XVIII столетия, «вступить в середину полуострова и тамошние места опустошить» (*Нарушевич*, 1783. С. 158. О том же см.: *Milner*, 1855. P. 199).

Эти сведения полностью подтверждаются официальными документами. Действительно, задолго до начала похода, ещё 16 июня 1735 г., российский Кабинет министров принял решение «...учинить незапное нападение на Крым и Перекоп и, ежели возможно, овладеть полуостровом» (цит. по: *Кочубинский*, 1899. С. 110). Неназванная задача вторжения была министрам ясна: с совершенно аналогичной целью (физического истребления народа) далеко неслучайно, почти одновременно с крымским, были совершены два кровавых похода на башкир. Это даёт, между прочим, веское основание современному специалисту охарактеризовать национальную политику России той эпохи как прямой *этноцид* тюркских народов (*Каппелер*, 1999. С. 117).

Что же касается не демографических, а стратегических замыслов российской военно-политической элиты в отношении Крымского ханства (также пока никем не исследованных), то полнее всего они были изложены в записке, направленной в Петербург осенью 1736 г. генералом графом Б.-Х. Минихом. В ней будущий фельдмаршал и первый министр излагал свою программу таким образом, что даже при неудаче похода М. Леонтьева, уже в будущем 1736 г. к России отойдут Азов, Дон, Донец, Перекоп, а также ногайцы, кочующие в междуречье Дона и Донца. В 1737 г. царице подчинится весь Крым, Кубань, будет «приобретена» Кабарда. Ещё через год России «подчинятся без особого риска Белгородская и Буджакская орды по ту сторону Днестра, Молдавия и Валахия... спасаются и греки под крылья русского орла». Затем, уже в 1739 г. «знамена и штандарты Ея Величества водружаются в Константинополе; в знаменитой Святой Софии Ее Величество [венчается короной] как греческая императрица и дает мир народам без числа». После этого Анна Иоанновна, по мысли генерала, станет единственной носительницей императорского титула, а император Священной римской империи германской нации отойдёт куда-то на задворки Европы, ибо не будет более самого вопроса, кому по праву приличествует императорский венец: «тому ли, кто венчан и миропомазан во Франкфурте или той, что в Стамбуле» (цит. по: Архив *Воронцова*, 1871. С. 509–510).

Эта перспективная программа была, судя по дальнейшему развитию акций России, принята как общее политическое руководство. К её осуществлению приступили в 1735 г., имея все надежды на удачный дебют.

Когда осенью этого года Крыма достигла весть о том, что с севера надвигается многочисленное войско, положение защитников ханства было крайне сложным. В отсутствие основного войска оставалась единственная надежда на всеобщее ополчение.

И тогда, как сообщает участник этих событий, крымский историк и ханский диван-эфенди Абдулгафар Кырыми, крымскотатарский эмир Адиль-мурза «разослал глашатаев по всем населённым пунктам, призвав всё население на защиту родины». «Страшная весть за короткое время дошла до всех уголков Крыма. Душераздирающие крики глашатаев отозвались эхом во всех ушах. Молодые, старые — всё население вышло за Перекоп. Даже Ваш покорный слуга, автор этих строк, вернувшийся из Хиджаза больным и будучи прикованным к постели — даже меня это горестное известие заставило забыть о болезни, и я тоже бросился за Перекоп на защиту родины. Но, увы, — все, кто собрались за Перекопом, состояли из слабых и немощных, как я, стариков, так как хан отправился в иранский поход, взяв с собой всех аскеров, способных к войне и битве. Как бы там ни было, дошли до местности Канглыджак. Все дрожали от страха, все в один голос просили помощи у Аллаха» (цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 126–27).

К счастью для этого слишком слабого ополчения, в русском войске возникли серьёзные проблемы, связанные с ошибочной стратегией и тактикой имперского командования. Вначале крымская кампания 1735 г. шла по плану, более приличному для походов конца XVII столетия, чем европейской стратегии первой трети века XVIII. Огромное российское войско медленно двигалось в форме неповоротливого каре (эта система сохранится и в других кампаниях Русско-турецкой войны 1735–1739 гг.). Провианта было взято по минимуму, так как лето 1735 г. выдалось на юге урожайным и командование рассчитывало прокормить войско за счёт крымских запасов.

На подходах к Перекопу русские летучие отряды нападали на разрозненные кочевья заперекопских ногайцев. Позже Б.Х. Миних вспоминал об этом походе: «наше войско с бодростию поступало и никому пощады не было» (цит. по: *Широкорад*, 2000. С. 87). Согласно другому источнику, из числа заперекопских ногайцев «более четырёх тысяч татар умерщвлены; малое число пощажено» было (цит. по: Архив *Воронцова*, 1871. С. 509–510). Сержант — участник похода говорит лишь о том, что видел: «И на Конских Водах вверх по реке разбили татарские аввулы (т. е. аулы. — *В.В.*), малое число взято в полон, более малых ребят, а больше побито, скота рогатого взято довольно» (цит. по: *Порхомов*, 1897. С. 9). По своим результатам эти акции, проводившиеся в основном казаками, можно отнести к типичному грабительскому набегу превосходящими силами: из Причерноморья было уведено «большое число скота, особенно баранов».

Однако затем, по причине неопытности в операциях на юге, начались великие трудности. Проливные дожди растопили степной чернозём до состояния едва ли не болота, в котором вязла артиллерия. Никто из пришельцев не умел отыскивать водные источники, которых в этой части Дикой степи было великое множество, причем почти на поверхности — всего-то раз-два копнуть лопатой (Рассказ [П.Э.] *Кемптера* о России (1732–1750 г.) // Санктпетербургские Ведомости. 21, 25 марта 1852). И даже дождевую воду солдаты не умели собирать и хранить. Потом ударили ранние в том году морозы, начался обильный снего-

пад[1], обессиливших солдат заносили бураны — и всё это в обстановке постоянной опасности от наездов татарских ополченцев, великолепно чувствовавших себя в привычной среде и ободрённых очевидной слабостью солдат противника.

В конечном результате разрозненные, деморализованные, обмороженные русские солдаты и офицеры едва убрались из Дикой Степи. При этом М. Леонтьев потерял куда больше, чем приобрёл. В походе своём он оставил только убитыми и умершими от холода и болезней 9 000–10 000 человек и столько же голов лошадей, не считая брошенных пушек, телег и другого воинского имущества (*Milner*, 1855. P. 199). Это был полный провал как стратегии Б.Х. Миниха, так и тактических решений в ходе её осуществления. При этом стоит отметить, что крымским татарам удалось дать отпор превосходящим силам противника без турецкой помощи. Собственно, они на неё не очень и надеялись, пока место великого визиря султана занимал враждебный Каплан-Гирею силяхдар Сеид Мехмет-паша (то есть до августа 1737 г.).

Как позднее стало известно, эта пассивность Стамбула в ситуации, когда огромной опасности подверглась одна из ценнейших земель Османской империи, объяснялась тем, что визирь именно в эпоху российской агрессии на юг весьма небескорыстно подружился с русским посланником И.И. Неплюевым. Султан же слишком доверялся советам визиря, а также действовавшего согласно с последним своего ближайшего советника по внешнеполитическим делам кяхья-бея Османа Халисе-эфенди (*Мейер М.С.* Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. М., 1991. С. 189–190). Тем не менее, как считали современники, за провал «крымского удара» Россия могла винить прежде всего саму себя. Не имевшая никакого опыта ведения войн на юге, она начала эту кампанию, «стоившую больших денег и множества людей», не подготовив продуманный план, бездарно провела ее и окончила, как было сказано, «без всякой существенной пользы» (*Манштейн*, 1875. С. 64, 66).

4. Катастрофа 1736 г.

Там в колыбелях песни матерей
Пугают русским именем детей.
М.Ю. Лермонтов

На следующий, 1736 г., Россия все же объявила войну Турции, ещё до этого осадив Азов. Вице-канцлер А.И. Остерман, очевидно, отчаялся придумывать благовидный предлог к такому нарушению мира. Поэтому в своём послании великому визирю Сеиду Мехмет-паше (оно и было официальным объявлением войны) он, мельком упомянув о каких-то пограничных конфликтах, перешёл к основной части документа, где парадоксальным образом указывалась не *причина,* а *цель*

[1] Упоминавшийся выше участник обороны Абдулгафар Кырыми записал: «Когда русские дошли до Карачокрака, случился великий снегопад — снег дошёл до животов лошадей» (цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 127.

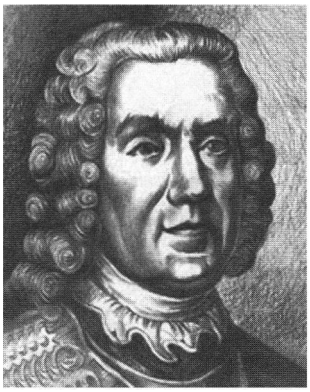
вторжения, которая заключалась в том, чтобы «найти удовлетворение соответственно таким оскорблениям и уронам и восстановить мир на условиях, могущих гарантировать более прочным образом безопасность государства и подданных» (цит по: *Кочубинский*, 1899. С. 147–148). Таким образом, нарушение мирных договоров оправдывалось стремлением России к более прочному миру. Согласно обычной практике, объявление войны и её цель были доведены до сведения российского народа: послание А.И. Остермана было отпечатано массовым тиражом и пущено в розничную продажу в виде тощей брошюры по 20 коп. за штуку.

Турки, крайне не заинтересованные в войне с Россией, пока не была улажена персидская проблема, всемерно стремились погасить конфликт, не доводя его до кровопролития. Сеид Мехмет-паша, отвечая А.И. Остерману, резонно заметил, что мир нарушили не турки, а русские, беспричинно осадив старинную турецкую крепость Азов, и что он не видит иных причин конфликта, ликвидировать который Россия может легко и просто, сняв осаду. Российский же резидент в Стамбуле И.И. Неплюев сообщал на родину, что визирь не ведёт никакой двойной игры, турки действительно не на словах, а на деле стремятся к миру: «Порта все свои прежние варварские обыкности отменила и старается, дабы ни малые не подать причины к огорчению дел» (цит. по: *Кочубинский*, 1899. С. 150). Мнение резидента подтверждалось всеми политическими акциями Махмуда I тех месяцев. Султан писал европейским монархам (в частности, Георгу II Английскому), предлагая им выступить посредниками в начинающейся войне на Востоке, чтобы не дать ей разгореться. Попытки эти были тщетными: Анну Иоанновну манил Константинополь.

Стратегический план кампании 1736 г., подготовленный в Петербурге, состоял из двух частей: взятия Азова и захвата Крыма. Соответственно были созданы две армии («экспедиции», как их тогда называли) — Донская и Днепровская. Первая, во главе которой в апреле был поставлен генерал-фельдмаршал П.П. Ласси, насчитывала по штату 45 000 человек, в том числе 8 000 иррегулярных. Второй, насчитывавшей по штату 85 000, из которых 30 000 было иррегулярных, командовал генерал-фельдмаршал Б.Х. Миних. Донская экспедиция располагала флотилией контр-адмирала П.П. Бредаля, Днепровская же была плавсредств лишена, её усилили флотилией вице-адмирала Н.А. Сенявина позже, лишь в 1737 г. (*Золотарёв В.А., Козлов И.А.* Три столетия российского флота. XVIII век. СПб., 2003. С. 315)[1].

И на этот раз войско, во главе которого был поставлен Б.Х. Миних (к тому времени ставший фельдмаршалом) двинулось не за Днепр и Дунай, по направлению к вожделенной Святой Софии, а снова на Крым. Это вторжение не могло не казаться более лёгкой задачей, чем столкновение с огромной османской

[1] Использование маломерных судов при осаде Азова было предусмотрено для того, чтобы лишить крепость возможностей усиления гарнизона и подвоза провианта и военных материалов морем. Всё это обычно доставлялось небольшими судами из Крыма (Еникале) прямо в крепость. Исключение составляли грузы, транспортировавшиеся из Турции. В таких случаях крупные корабли разгружались у выстроенного несколько южнее Азова более глубоководного причала Ахче Кумлар, откуда уже сушей перевозились в крепость (*Весела*, 1969. С. 125). Приблизительно ту же задачу должна была решить Днепровская флотилия при осаде следующей турецкой крепости, Очакова.



Граф П.П. Ласси.
Гравюра неизвестного художника

армией — да ещё и на её территории. Цель в самом Крыму при этом оставалась практически прежней: «не давать вздохнуть этим разбойникам и разорить их край, если не удастся утвердиться в нём более прочным образом». Не только по задачам, но и по формальным признакам вторжение также более напоминало акцию геноцида, чем поход регулярного войска. Вот лишь одна военно-техническая подробность: накануне похода Миних настоял на снабжении его войска пиками, давно снятыми с вооружения русской армии, но ещё пылившимися в цейхгаузах (*Milner*, 1855. P. 200).

Этот устаревший вид холодного оружия, представлявший собой шестиметровые древки со стальным шкворнем на конце, стал (в уже наступившую эпоху личного огнестрельного оружия) малодейственным в условиях полевого боя. Однако пика отлично подходила для карательных акций против беззащитного населения. Это довольно зверского вида орудие убийства позволяло экономить порох при массовых расправах с мирными жителями — с женщинами, детьми и стариками, — к чему фельдмаршал загодя и готовил своих солдат[1].

Ещё одна черта похода, позволяющая отнести его к разбойным: провианта с собой было взято, как и в 1735 г., всего на несколько недель. Согласно выводам одного старинного исследователя, Миних поступил таким образом, «надеясь на прославленное плодородие Крыма» (*Галем*, 1806. С. 94). Это — весьма прозрачное иносказание: явно существовал заранее составленный план ограбления мирных жителей захваченной территории. Впрочем, у другого автора, участника похода Миниха, есть на этот счёт и прямое указание: «армия, находясь на неприятельской земле, должна [была] стараться к продовольствованию за счёт татар» (*Манштейн*, 1875. С. 79). Наконец, за войском тянулся чудовищный по размерам обоз из 80 000 *пустых* телег (*Галем*, 1806. С. 94). Для чего именно они были предназначены — догадаться нетрудно.

Вернувшееся к тому времени домой, крымскотатарское войско числом около 60 000 значительно уступало русским в снаряжении: как писал один из

[1] В мае 1736 г., ещё на подступах к Перекопу, Б.Х. Миних доносил Анне Иоанновне, что он готов согласно ее повелению «всех крымских подданных (т. е. отнюдь не только воинов. — *В.В.*), которые войску Вашего Величества противиться станут, до конца разорить и без остатку искоренить без пощады и милосердия» (*Миних*, 1897. С. 96).

адъютантов Б. Миниха, оно было вооружено луками. Мог, конечно, победить боевой дух крымских ополченцев, вера в справедливость своего дела, ведь предстояла не просто защита своих городов и сёл, а борьба за существование всего народа и его страны. Но татарское войско устало от тяжёлого Персидского похода, оно было измотано не только физически, но и психологически. Именно поэтому, а не по несоразмерности военной мощи, хану, его беям и всему войску не удалось оказать серьёзного сопротивления европейски обученным, вооруженным личным огнестрельным оружием и полевой артиллерией солдатам.

Играл свою роль и чисто психологический момент. В апреле Б.Х. Миниху удалось перехватить гонцов из Стамбула, которые везли грамоту Махмуда II к хану. В ней Каплан-Гирей предупреждался относительно того, что Османская империя оказать ему помощь в наступающую кампанию не сможет. Теперь ободрённые русские могли делать с Крымом что хотели. Фельдмаршал даже послал после этого письмо Каплан-Гирею, в котором предлагал ему отдаться «под покровительство» императрицы. При этом первым делом он должен был позволить занять Перекоп русскому гарнизону на неопределённый срок. Понятно, что это означало *навечно.* Причём ханство лишилось бы единственной крепости при входе на полуостров. Тем самым оно, по сути, было бы рассечено на две части, а полуостров полностью изолирован от материка. Однако взамен русские обещали прекратить войну.

Ответ Каплан-Гирея был проникнут спокойным достоинством. Прежде всего, хан не признавал законность необъявленной *Крыму* войны. Его удивляло «это нападение в собственном его государстве», тем более, что «крымские татары не вторгались насильственным образом в Россию; вероятно то были ногайцы, народ, хотя и пользующийся покровительством крымских татар, но до того необузданный, что с ним и справиться никогда не могли; Россия могла бы ограничиться взысканием с них и наказать по своему усмотрению всех, кого только удалось бы захватить, как это и было сделано в прошлом году». Что касается до Перекопа, продолжал хан, то он не волен над ним, потому что гарнизон, состоящий из турецкого войска, не согласится на сдачу. Впрочем, хан просил прекратить военные действия, предлагая вступить в переговоры; а заключил объявлением, что если на него нападут, то он будет защищаться всеми силами Б.Х. Миних отпустил к хану гонца с ответом, где говорилось, что «после отказа его от *милости* императрицы и от предлагаемых мер *кротости,* (выделено мной. — *В.В.*) он увидит опустошение страны и пылающие города...» (цит. по: *Манштейн*, 1875. С. 75–77).

После этого Каплан-Гирей объявил всеобщую мобилизацию: против регулярной армии огромной империи одного лишь ханского войска было явно мало. К Перекопу потянулись 16-летние юнцы и старики до 70-летнего возраста. Более того, копья и сабли взяли в руки многие крымскотатарские женщины и отправились в поход вместе со своими мужьями, хотя, узнав об этом от перебежчиков-христиан, Б.Х. Миних со смехом воскликнул: «Какие уж из них амазонки!» (цит. по: *Vischer*, 1938. S. 390).

Верно, эти женщины не обладали никакими военными навыками. Но чего у них нельзя было отнять, так это дар безошибочного предвидения, основанный на рассудительности и опыте — былых столетий и более современном. Очевидно, они живо представляли себе грядущие события, понимая, что их родине грозит не обычное военное нападение, а небывалое бедствие, катастрофа, что

Фельдмаршал Б.Х. Миних
Холст, масло

от русских пощады может не ждать ни старый, ни малый. Поэтому крымские татарки сделали что могли, попытавшись защитить дома и детей своими слабыми женскими руками.

Была ещё одна возможность укрепить оборону Крыма: получив помощь лично от капудан-паши турецкого флота, прибывшего тем временем к Гёзлёву. Хан отправил туда своего диван-эфенди, известного историка Абдулгафара Кырыми, с предложением капудан-паше помочь турецкому же гарнизону крепости. И турецкий флагман «послал несколько морских флотилий для укрепления Перекопского гарнизона», но хан якобы передумал и от этой помощи отказался (*Келлнер-Хайнкеле*, 2002. С. 384), оправдывался позднее турок.

Подойдя к Перекопу, русские предложили турецкому гарнизону крепости Ор-Капы уйти со знамёнами, оружием и барабанами по берегу, в сторону Кинбурна. Однако, когда эту мощную крепость 2 июня оставили все 2 554 янычара, то офицерское слово было Б.Х. Минихом позорно нарушено и все, ему доверившиеся, были захвачены и уведены в плен. Крепость и валы после этого оборонять оказавшиеся в тех краях немногочисленные воины Каплан-Гирея, но тщетно. Лёгкость, с которой русские смогли взять Ор-Капы, объясняется и чисто технической причиной: глубокий и широкий Перекопский ров[1] оказался совершенно сухим — по вине беспечного турецкого гарнизона, *забывшего* своевременно открыть глиняный затвор у Сиваша (*Vischer*, 1938, S. 394). Воспользовавшись этим,

[1] После ряда технических усовершенствований и объёмных земляных работ, проведённых на протяжении предыдущего полувека, ров достиг средней глубины 15, а ширины — более 25 м. С южной стороны вдоль него тянулся вал; при этом высота от подошвы рва до гребня вала составляла почти 22 м. Оборона была усилена 6 каменными башнями с артиллерией. Однако, в случае, если во рву не было воды, его форсирование чрезвычайно облегчалось: наступавшие легко добирались до основания вала, где могли беспрепятственно устанавливать лестницы. Именно так и была эта оборонительная линия взята в 1736 г.; при этом русских пало всего то ли 7, то ли 10 человек (*Костомаров*, 1913. С. 301).

солдаты, очутившиеся в мертвой зоне, вырезали штыками ступеньки в стене рва, ставили лестницы и могли даже тащить за собой легкие пушки. Затем были штурмованы две ближайшие башни Турецкого вала (османский гарнизон одной из них тут же сдался).

В результате обследования захваченной крепости выяснился её воинский потенциал. Там «было найдено 84 мелкия пушки и в достаточном количестве жизненныя и военныя запасы. ...рвы линии на всем её протяжении, по недостаточному выступу башен и дурному расположению в них боевых отверстий для орудий, были лишены фланковой обороны; этот последний недостаток мог бы быть отчасти устранен скатыванием бревен или бросанием камней с вершины вала в продолжение приступа, но оборонявшиеся об этом вовсе не позаботились. Впрочем, при оказавшейся с его (то есть противника. — *В.В.*) стороны беспомощности, все эти оборонительные меры не принесли бы никакой пользы... Наконец, находившиеся на атакованном крыле линии неприятельские войска, вместо того чтобы обратиться к атаковавшей части, предпочли отступить внутрь полуострова» (*Манштейн*, 1875. С. 349–350).

Понятно, что с такой невероятной лёгкостью произошедшее взятие ранее действительно неприступной крепости не могло не деморализовать хотя бы часть ханского войска. Под впечатлением от этой утраты, а также при виде действительно огромной армии, впервые за множество лет оказавшейся на крымской земле, татары после вступления русских на полуостров стали терпеть одно поражение за другим. Вопросом о более основательных причинах побед наступавшего неприятеля, приведших к небывалой в истории ханства оккупации большой части полуострова, задавались и современники, и более поздние историки.

Но для участника похода русского войска эти причины были вполне явны. Прежде всего, это предательство турками своих крымских союзников: «Русскому двору удалось подкупить нескольких секретарей или переводчиков, служивших при Порте и при господаре молдавском; они всегда извещали Миниха о каждом, даже незначительном предприятии неприятеля...» (*Манштейн*, 1875. С. 103). Роль, которую играет такого рода информация после начала военных действий, объяснять излишне: она способна менять и ход кампаний и результаты всей войны.

Но были и иные, не менее веские объяснения сокрушительного поражения ханского войска. Их приводит уже упоминавшийся историк Сейид-Мухаммед Риза эль Кырыми в своём главном труде «Семь планет в известиях о государях татарских». Во-первых, хан действительно отверг предложение помощи от османского капудан-паши, чья эскадра стояла близ Гёзлёва, а когда согласился — уже было поздно. Во-вторых, лёгкие ханские пушки не были доставлены в полевое войско. В-третьих, командование главного корпуса ханского войска, да и сам хан проявляли нерешительность, когда русская армия ещё не закрепилась на полуострове и якобы даже проявляли готовность к сдаче. В-четвёртых, колодцы на пути вторжения русских не были засыпаны. Наконец, после захвата Гёзлёва часть мурз-командиров бежала: кто в Турцию, кто в ногайские степи (*Смирнов*, 1889. С. 57).

Турецкий же историк Субхи не склонен к такой односторонней, субъективной оценке оборонявшихся от сильного врага крымцев. Прежде всего он говорит

о неравенстве сил, называя ханское войско каплей в море по сравнению с русским и высоко оценивая воинскую доблесть крымскотатарских военачальников и рядовых конников. Причина поражения, говорит Субхи, в другом: «В ту пору бывший ханом в Крыму Каплан-Гирей-хан не в состоянии был жить в ладах с населением страны той: показывал ко всем презрение и через то отвратил от себя султанов и мурз и озлобил их. Во время битв и сражений он, против их правил, относился [к ним] с грубой бесцеремонностью и оскорблял всех и каждого противным обычаю холодным обращением. Вследствие этого большинство их вышло из повиновения и послушания, и всякий из них стал склонен к высокомерию и бунту. Порядок и устройство упомянутого владения находились в состоянии разрезанных ножницами неповиновения и смуты. Когда появился [неприятель], ...то все аяны и вельможи растерялись мыслями, и между ними не было единства и согласия. Кроме того, хан, будучи стар и страдая параличом, не мог ездить верхом, а с этим было сопряжено дурное его распоряжение, вследствие чего пола государства и народа была выпачкана грязью вражеского пребывания» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 58–59).

Но тот же Сейид-Мухаммед Риза не подвергает даже сомнению личную доблесть крымских аскеров и их военачальников, в особенности калги Фетх-Девлет-Гирея (вскоре ставшего ханом). Другой турецкий автор напоминает своим читателям, что Кефе не была взята русскими, несмотря на многократный численный перевес нападавшей стороны. Это, продолжает он, объяснялось исключительно грамотным расположением кефинских артиллерийских батарей на пригородных высотах, а также огневой силой тяжёлых турецких орудий, установленных на этих батареях ранее, ещё до подхода к Восточному Крыму русских войск (*Неджати*, 1894. С. 196).

Наконец, причина крымской трагедии, выведенная ещё одним автором XVIII в., польским политиком и епископом, совпадает с версией К.Г. Манштейна, возлагая значительную часть вины на османов, не желавших помочь Крыму: «Турки, видя неминуемую войну, искали помощи в продолжении (то есть «в затягивании». — *В.В.*) времени, показывая вид, что не хотят нарушить мир и в сем намерении, пользуясь советами Европейских Министров, в Стамбуле бывших, обещая татар Крымских наказать, с награждением убытков, ими причинённых, предпринимали тем временем действительные средства к [собственной] обороне» (цит. по: *Нарушевич*, 1783. С. 159).

Как бы то ни было, противник вошёл в собственно крымскую часть ханства. Вместе с отступающим крымскотатарским ополчением бежали и мирные жители: им быстро стала известна жестокость, с которой солдаты расправлялись с населением взятых селений; при этом «обыватели постарались скрыть своё имущество, иное закопав в землю, другое спустив в колодцы; однако солдаты и казаки сумели добраться до всего» (*Манштейн*, 1875. С. 82).

Действительно, даже в таком крупном торговом центре, как Гёзлёв, куда русские вступили через несколько дней, они увидели совершенно пустые улицы: город был брошен. Тут же началась оргия разнузданного грабежа: «казаки из близлежащих деревень нахватали до 10 000 баранов; получено было также много медной посуды, жемчугу, парчей и прочего добра» (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 398). Гёзлёвцы полагали, что могут доверить свои пожитки земле, действительно закапывая их, по обычаю той эпохи, на пустырях и за городом. Эти наивные люди не знали,

с кем имеют дело! Русские солдаты и казаки ночей не спали, бродя по улицам и дворам пустого города, коля штыками почву, ища, где она мягче; в результате было найдено практически всё (*Галем*, 1806. С. 106). Бывший сержант миниховского воинства оставил запись о тех днях: «И пришли к городу Козлову, то уже путь оставили, близ которого стояли три дни и в нём разоряли и жгли; хлеба, мёду, платья и прочаго в добоч (то есть «в добычу». — *В.В.*) получили, пшеницы же кто сколько хотел, столько брал» (цит. по: *Порхомов*, 1897. С. 10).

Это относилось и к зерновым ямам, весьма тщательно замаскированным. В результате в российском войске «рису и пшеницы было такое изобилие, что этих запасов стало бы на армию, более многочисленную, чем была русская. Б.Х. Миних приказал раздать всей армии провизии на 34 дня...» (*Манштейн*, 1875. С. 82). Затем большая часть города была сожжена.

Покинув разорённый и загаженный Гёзлёв (после ухода армии местные жители около полугода приводили город в порядок), Б.Х. Миних столкнулся с несколькими крымскотатарскими отрядами, объединёнными в корпус, поджидавшими его в узости между лиманом и морем, двумя милями западнее Кара-Тобе (совр. Прибрежное). Командовавший ими калга пытался отбить у русских захваченную добычу и, главное, скот, чтобы голодом принудить Миниха покинуть полуостров. Однако в схватке регулярное войско снова показало своё превосходство, и ханская кавалерия была отогнана (*Canale*, 1855. Vol. II. P. 222).

Затем русское войско двинулось на восток, в центральную часть полуострова. По пути оно, согласно воспоминаниям свидетелей, « пожигало города и деревни, коих нещастные жители удалялися в горы. Сам хан оставил своё пребывание ... столицу полуострова, которая претерпела не менее столичного города Козлова (Гёзлёве почитался «столичным», так как до прихода турок был ханским городом и имел крупнейшую в Крыму мечеть Хан-джами. — *В.В.*)» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 346). О том же сообщает К.Г. Манштейн: «По отступлении неприятеля Миних отправил четвёртую часть армии в город [Бахчисарай] для разграбления, а прочие оставались под ружьём» (*Манштейн*, 1875. С. 84).

Впрочем, вскоре наступило отрезвление: российскую армию, находившуюся в сердце богатейшей области на берегах Чёрного моря, неожиданно настиг голод. Современник походов русской армии в 1730-х гг. на Крым и даже невольный участник войны, датчанин П. Хавен записал, что при подходе к Бахчисараю в войске уже было есть нечего; огромные отары, взятые под Гёзлёвом, были за несколько дней как-то бестолково расточены, множество овец неопытные солдаты попросту поморили голодом.

В ханской столице положение исправить удалось лишь отчасти: «она найдена была им брошенной всеми почти жителями, с выведенной и вывезенной ценнейшей движимостью (de rigeste Mobilier)», к которой относились съестные продукты и весь скот (*Haven*, 1743. S. 82). Вторая причина голода более обычна в истории знаменитой интендантской службы России. Провиант Б.Х. Миниху отправляли из центрального региона России, но он шел не далее Самары, где чудесным образом исчезал, как выяснил Кабинет министров, по вине генерал-провиантмейстера Ф. Полибина (БКМАИ. Т. V. С. 387).

Бахчисарай всегда был, по выражению российского историка, «открытым городом» (*Бартольд*, 1965. С.368). Он не имел крепостных стен, валов и башен,

поэтому, видимо, его защита и была сочтена бессмысленной. Город к тому времени действительно опустел, врагу никто не оказывал сопротивления, здесь «сверх некоторых старых людей никого другого не было» (*Миних*, 1891. С. 54). То есть русские поджигатели, очевидно, раздражённые тем, что большая часть трофеев ускользнула, действовали, не боясь наказания за разрушения и мародёрство. Была ли дана команда разорять прекрасный город армейским начальством, или это была инициатива рядовых с офицерами — сказать трудно. Лучше иных информированный исследователь, заинтересовавшийся таким специфическим вопросом, указывает, что это преступление было свершено по имевшемуся у Б.Х. Миниха «ужасному плану опустощения», согласно которому и было полностью уничтожено огнём 2 000 домов (*Галем*, 1806. С. 107). При этом православных поджигателей не остановило то, что каждое третье из этих обречённых строений служило жилищем для христианской (в основном — греческой) семьи (*Костомаров*, 1913. С., 304); жгли всех подряд...

Немецкий историк, ольденбургский земляк фельдмаршала, указывает, между прочим, что «ужасный план разрушения города (schreckliche Zerstörungsplan)», был составлен заранее (*Halem*, 1803. S. 65). Его коллега, тоже историк, но ещё и путешественник, побывавший в Крыму, уточняет, что план этот был навязан фельдмаршалу то ли высшим командованием, то ли двором Анны Иоанновны, так как сам полководец якобы выступал за, по возможности, человечное обращение с крымскими татарами. Тому были две причины: во-первых, фельдмаршал желал, чтобы Россия выиграла в глазах будущих (крымских) подданных императрицы хотя бы по сравнениию с Турцией. Во-вторых, он понимал, что разрешая бесчинства солдат и казаков, он отдаёт им в жертву и довольно многочисленных крымских христиан, греков и армян, что непоправимо погубит его репутацию, по крайней мере, в Европе (*Vischer*, 1938. S. 381).

С этим выводом согласуется мнение близко знавшего Б.Х. Миниха датчанина, отзывавшегося о нём как о человеке весьма культурном, слывшем прекрасным математиком, который окружал себя литераторами, являлся меценатом для многих из них (*Haven*, 1743. S. 235). Так что, вполне возможно, что *лично* командующий проявил не варварство, а обычное попустительство по отношению к подчинённым ему мародёрам в мундирах[1]. Но крымскотатарским культурным и историческим памятникам, не говоря уже о людях, от этого легче не было.

Так или иначе, но древний Бахчисарай был варварски сожжен. Причём, подчёркиваю, не во время боя, не для облегчения прорыва в него, а уже после

[1] Можно задать себе другой вопрос: а зачем это было нужно основной массе исполнителей расправы над древним наследием ханского Крыма? Почему они так охотно издевались над культурой чужого народа? Ответ даёт уже не немецкий, а российский историк, говоря о глубоком неприятии этой массой вообще какой-либо книжной (письменной) культуры. Такой уж сложилась ситуация во всей тогдашней России: «Разсмотрев сословия, мы видим, что понятия у них были тупы и неразвиты, образование шатко, нравственность слаба. Дворяне бежали от учения (крестьяне от нищеты и тяжести налогов), духовенство проводило жизнь небезупречную, а простой народ пребывал в лености, праздности, татьбе (воровстве. — *В.В.*), разбоях и смертных убивствах, как сказано об этом в указах» (Законодательство Анны Иоанновны. Опыт систематического изложения. Соч. А.С. Парамонова. СПб., 1904. С. 113).

вступления в город, то есть с совершенно иными целями. Русские не пощадили дворцово-парковый комплекс Хан-сарая, эту несравненную жемчужину Востока, более в прежней её прелести и блеске так никогда и не восстановленную (позднейшие реставраторы оказались здесь специалистами несостоятельными). Были уничтожены дворцовые парки, в том числе знаменитый Верхний сад. Сырое дерево никак не загоралось, поэтому солдатам пришлось потратить немало труда, пока все кипарисы, дубы и тополя этого райского уголка не были срублены — уцелели единственно виноградные шпалеры вдоль каменной лестницы (она существует и сейчас), ведущей на место бывшего парка (*Ливанов*, 1875. С. 46).

От величественного комплекса Хан-сарая, по словам Б.Х. Миниха, остались только ханское кладбище и баня. Его сын, Э. Миних, записал: «какие ни обретались в домах пожитки или приборы, отданы солдатам в добычу, и все строения выжжены. Дворец хана равномерно в целости не оставлен... Все сие толь великолепное здание в несколько часов разграблено и в пепел обращено. Любопытнейшие и позолоченные украшения с кровлею отосланы... в Санктпетербург. Ах-мечеть... подобной участи был подвержен» (цит. по: *Миних*, 1891. С. 54; см также: *Лашков*, 1890 «а». С. 45).

Действительно, лично не удостоив «Ах-мечеть» (древний Акмесджит) посещением, фельдмаршал направил туда отряд своих факельщиков под командованием генерал-поручика Михаила Измайлова и генерал-майора Магнуса Бирона, приказав им сжечь город, а также «Султан-Сарай, место пребывания Калги-Султана и знатнейших мурз» (*Галем*, 1806. С. 108). К тому времени здесь, как и в Бахчисарае, уже 2 дня как не было почти ни одного жителя, татарское войско ушло в Кефе, город калги был практически пуст и не представлял для русских никакой угрозы[1]. Тем не менее, М. Измайлов и М. Бирон отдали своим отрядам соответствующий приказ, после чего «русские ограбили всё, что могли найти и сожгли весь город, имевший тогда тысячу восемьсот деревянных домов» (*Костомаров*, 1913. С. 304). И, добавлю, другие города, а также множество больших и малых деревень.

Автор-соотечественник Б.Х. Миниха пытается оправдать его, уверяя, что фельдмаршал отдавал такие приказы то ли «чрез силу, неохотно», то ли в состоянии раздражения от приступов «крымской лихорадки», но тут же проговаривается: этот протестант в русском мундире «не питал никакого сочувствия к тюркам и монголам (?), считая их наследными врагами христианства» (*Vischer*, 1938, S. 397).

Таким образом речь идёт о чисто христианском фанатизме, под влиянием которого Б.Х. Миних, среди прочего, отдавал приказы и о планомерном уничтожении парков, садов и виноградников Крыма: «Бессмысленность этого человека, именуемого фельдмаршалом, дошла до того, что даже сады и виноградные лозы были вырублены по его приказанию» (*Чеглок*, 1910. Т. II. С. 37). А, может быть, и в самом деле, Б.Х. Минихом руководило естественное едва ли не для

[1] Одним из немногих оставшихся местных жителей был знаменитый в своё время целитель Салгир-Баба, происходивший из рода известных шейхов. К старости он стал суфием, поселился на святом месте, у источника близ города, где предавался размышлениям и лечил людей с помощью снадобий и молитв. Деньги, которые приносили ему исцелённые, он раздавал бедным. Согласно устному преданию, «когда гяуры напали на Ак-Мечеть, Салгир-Баба, не двигаясь с места, молился Богу, в то время один из разбойников лишил его жизни» (цит. по: *Абдулаева*, 2005. С. 6).

каждого христианина неприятие исламской культуры? И его чувство прекрасного заслонила слепая ненависть к «нечестивым» мусульманам?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит прибегнуть к проверенному методу сравнения. Обратимся к гораздо более ранней, а значит, и более фанатичной эпохе истории христианства. Королева Изабелла Испанская (1451–1540), отличавшаяся даже в свой жестокий век безумной ненавистью к иноверцам, кровавыми репрессиями изгнавшая из своего королевства самую образованную и культурную часть своих подданных — сотни тысяч мусульман, всё же обладала чувством прекрасного. Она, при всех её необычных качествах, была европейской женщиной — и указала сохранить шедевры исламского зодчества, в том числе великолепный дворец-замок Альгамбру (XIII–XIV вв.). Более того, эта христианнейшая королева завещала похоронить её в сердце этого шедевра мусульманской духовности и культуры.

Поэтому следует признать, что образованный и куда более современный (по отношению не к ней, а к нам) Б.Х. Миних выглядит в сравнении с Изабеллой просто неевропейцем. Или некультурным европейцем. Впрочем, его можно если не простить, то понять. Он прожил слишком долго в России, в стране, где не только иноземные, но и собственные старые шедевры никогда не ценились. В отличие от Европы, их попросту в грош не ставили (да и сейчас не ставят). Но вернёмся к нашей теме.

Кроме огромного количества архитектурных и ландшафтных памятников, впервые в истории Крыма подвергшихся тотальному истреблению, столь же целенаправленно было уничтожено духовное и культурное наследие народа. Это была трагедия не только национального масштаба. Был нанесён невосполнимый урон всей мусульманской цивилизации. Именно тогда была сожжена основная часть Ханского архива, который в Крыму выполнял функции и государственного архивохранилища. От него уцелело лишь 119 кадиаскерских книг (*дефтеров*), много позднее обнаруженных проф. В.Д. Смирновым в симферопольском губернском архиве (*Бартольд*, 1973. С. 356). Эта утрата также стала катастрофой не только национально-культурного плана: навсегда лишилась части основных источников историческая наука в целом.

Дымом ушли в раскалённое крымское небо оригиналы старинных и современных ханских *шертнаме* (государственных договоров), *мохаббатнаме* (официальных посланий) и *фирманов* (жалованных грамот). С тех пор учёные вынуждены отыскивать дубликаты крымскотатарских внешнеполитических документов только в зарубежных архивах. Ну, а шертнаме искать просто негде. Эти внутрикрымские грамоты, дававшие основную информацию, среди прочего, о мурзинском и бейском землевладении, об экономике города и села в целом, об авторстве и истории создания архитектурных и иных шедевров на протяжении всего ханского периода истории Крыма, за рубеж не отсылались, да и копий с них не осталось...

Особая речь — о книжных сокровищах. После падения Золотой Орды книжная культура сохранилась в Крымском, Казанском, Астраханском ханствах и Ногайской орде. Мало того, современные учёные говорят об оживлённом книгообмене между этими культурными центрами, об их «контактах со Средней Азией и Османской империей». Поэтому «постзолотоордынские государства представляли собой единое культурное пространство, связанное общностью традиций,

языка, науки, литературы и образованности. Но не только джучидские государства были источниками, из которых рукописные книги попадали в Крым. Естественно, что поток рукописей из старых культурных центров исламского Средневековья — Ирана, Египта и Сирии также не миновал Крымского ханства» (*Зайцев*, 2009. С. 33). Сколько их осело в собраниях образованных крымцев, тянувшихся к науке и культуре,– мы никогда не узнаем, так как в 1736 г. огромное большинство литературы было обречено на ликвидацию.

Погибли практически все большие и малые книгохранилища, в том числе Ханская библиотека[1], в которой хранились не только современные книги, но и литература, некогда принадлежавшая ещё ханам Золотой Орды (*Зайцев*, 2006а. С. 87). В огне, охватившем бахчисарайскую соборную мечеть, погибла личная библиотека, некогда любовно собранная Селим-Гиреем I, имевшая огромное культурно-историческое значение (*Крымский*, 1930 «а». С. 6). Чудом уцелевшие 124 тетради из библиотечного архива, обнаруженные В.Д. Смирновым в XIX в., — вот и всё, что осталось от знаменитого книгохранилища Гиреев (*Музафаров*, 1991. Т. I. С. 97).

Далее, погибла одна из крупнейших частных библиотек, собранная Мехмедом-эфенди, кади-эскером и одним из выдающихся учёных и признанным эстетом XVIII в., а также его сыном Эбу-с-Саидом, продолжавшим дело отца (*Зайцев* «а», 2006. С. 89). Тогда же были сожжены или ликвидированы иным способом библиотеки, принадлежавшие столичным и провинциальным медресе, а также частные собрания. Утверждают, что из всего библиотечного богатства Крыма чудом удалось спасти лишь упомянутые 124 переплетённые тетради, которые были переданы в Императорскую Публичную библиотеку в Петербурге (*Бартольд*, 1965. С. 369). Академик В. Бартольд не знал, что уцелело ещё около 350 томов Ханской библиотеки, но и они не достались народу Крыма: в конце XX в. они оказались там же, в Ленинграде (подр. см.: *Возгрин В.Е.* Мародёрство // ГК, 07.08.1995).

Без остатка сгинули не только мусульманские, но и *христианские* книгохранилища крымской столицы. Известен лишь один, случайно отмеченный в исторической литературе факт такого рода (остальные, боюсь, никогда не отразятся в зеркале истории). Так, не стало расположенной в столичном городе «замечательной библиотеки, принадлежащей тамошней иезуитской миссии, [которая] была или сожжена или затоплена вином, так как иезуиты, которые при нашем (то есть русского воинства. — *В.В.*) приближении обратились в бегство, предварительно спрятав часть книг и рукописей в погребе, в котором вошедшие туда казаки, напившись пьяными, вылили вино» (*Брун*, 1867. С. 20).

Европейская наука ещё долго не могла примириться с гибелью этого великолепного, по-видимому, самого богатого в странах Чёрного моря собрания европейской литературы, в котором, как пишет итальянский историк, имелось

[1] «Миних сжёг город Бахчисарай, где у хана было многочисленное собрание рукописей и печатных книг на татарском и других восточных языках» (*Ромм*, 1941. С. 56). «Здесь было множество совершенно великолепных (splendid) азиатских рукописей» (*Lyall*, 1825. P. 350). Эти горькие замечания говорят о том, что катастрофа, постигшая одну из восточных национальных культур, не оставила равнодушными и европейцев. Впрочем, и русских поджигателей не назовёшь равнодушными к книгам и рукописям, иначе они просто не обратили бы внимания на эти многочисленные библиотеки.

немало «редчайших рукописей (rarissimi manoskritti) старых авторов», собранных отцами-иезуитами в том же, пока ещё обильном на памятники классической и эллинской книжности, регионе (*Canale*, 1855. Vol. II. P. 222). Что понятно. Начиная с IV в. до н. э. и вплоть до V века н. э. греки, потом римляне, а затем и венецианцы, надолго отправляясь на край света, брали с собой единственное, что как-то могло заменить общество и друзей: книги. Сколько сотен и тысяч этих раритетов осело в Крыму — неизвестно. Даже если судить по бахчисарайскому католическому собранию — очень много.

Теперь, когда они погибли, кому-то из казаков пришло в голову послать в дар императрице кое-что из случайно уцелевшего. Набросав пару коробов книг, их отправили на перекладных в Петербург. Там оказалось, что это — собрание разрозненных, случайных и оттого малоценных томов. Тем не менее Анна Иоанновна, женщина, ненамного грамотнее составлявших эту «коллекцию» казаков, старинные книги приняла и с удовольствием украсила ими полки своей не слишком богатой личной библиотеки (*Canale*, 1855. Item).

Как сообщали современники этого всесожжения, куда бы русское «войско ни проникало, везде оставило груды пепла» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. С. 346). То есть в течение тех нескольких дней яростного разрушения единственного научного и культурного центра, каким для всего Северного Причерноморья являлся Бахчисарай, был нанесён трудно представимый ныне урон как для общеевропейской культуры, так и для народа — носителя этой культуры. Впрочем, попытаюсь дать оценку этой катастрофе, опираясь на мнение великого подвижника культуры, равно уважаемого как в Крыму, так и в России.

Академик Дмитрий Лихачёв: «Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме библиотек, у мира и человечества будет возможность возродиться» (цит. по: Санкт-Петербургский университет. № 12 (3798). 2009. С. 7). И, осмелюсь добавить, наоборот. Если народу не оставили его центров образования и культуры, его библиотек, то не являлось ли это подсознательной (а, может быть, и сознательной) попыткой лишить его способности к самовозрождению после действительно «разрушительной катастрофы», которую с таким размахом готовили ханству в русской столице[1]?

Впрочем, соображения дилетанта книжного (библиотечного) дела пора сменить размышлениями испанского исследователя, профессионала, специально занимавшегося проблемой уничтожения книг, извинившись за чрезмерно обширную цитату.

«Когда книга сгорает, когда книга уничтожается, когда книга умирает, что-то в нас самих безвозвратно калечится, усекается, и на этом месте возникает чёрная пустота, пятно тени, питающее ночь, которой человек вот уже много веков старается не дать подступить. Когда сгорает книга, погибают все жизни, сделавшие

[1] Эту катастрофу можно сравнить разве что с тем, что произошло в Центральной Америке вскоре после открытия её европейцами. Католический епископ Диего де Ланда, прибывший в Новый Свет вслед за конкистадорами, сжёг всю индейскую литературу, считая, что это облегчит его миссию — обращение коренного населения в христианство. При этом практически полностью была уничтожена история одной из великих цивилизаций нашей планеты, и утрата эта невосполнима.

возможным её существование, все жизни, содержащиеся в ней, и все жизни, которые в будущем эта книга могла бы одарить теплом и знанием, умом, наслаждением и надеждой. Уничтожить книгу — то же самое, что убить душу человека. А это иногда — ещё хуже, ещё подлее, чем убить его тело.

Бывают убийства сознательные, совершаемые вполне осознанно, с ведома воли. Преступления, которые, возможно, оказались бы объяснимыми или хотя бы спорными, будь они совершены в порыве страсти, гнева, патриотизма, ненависти, ревности, под влиянием утопических идей или по неведению. Но убийству книги, разрушению библиотеки почти никогда не бывает объяснения или смягчающих обстоятельств. Напротив, речь идёт о волевом акте, сознательном и жестоком, символическом и злодейском. Ни одно убийство книг не бывает случайным. Ни одно убийство книг не совершается по наивности». (Книгоубийцы // *Перес-Реверте А.* Корсарский патент. М., 2005. С.44–45).

О человеческих жертвах 1736 года вообще страшно говорить. Крым обезлюдел: «уцелела лишь та часть населения, что успела бежать в горы» (*Вольфсон*, 1941. С. 61). Груды трупов на улицах и дорогах лежали неделями, их было некому погребать. Они разлагались, появилось множество очагов заболеваний. В результате все эти зверства русской армии обратились против неё же самой. Если в боях пало ничтожное количество солдат, то эпидемия унесла 27 500 из 30 000 вступивших в центральный Крым (*Куропаткин*, 1910. С. 439; *Костомаров*, 1913. С. 305). Крымцев же, которые успели бежать, спас чистый горный воздух, а в ханском войске их за всё время русского нашествия пало не более 2 000 человек.

После полного разорения Акмесджида и частичного — Карасубазара Б.Х. Миних планировал поход на Кефе и Керчь. Но, согласно источникам, которыми располагал его первый авторитетный биограф, ещё на склоне лета, задолго до того, как командованием русского войска будет принято решение оставить Крым, «с каждым днем множилось недовольство в армии. Треть людей была от жары больна, а остальные еле ползли, от пекла многие прямо на ходу падали мертвыми» (*Halem*, 1803. S. 66).

Согласно информации, циркулировавшей среди иностранных дипломатов в Петербурге, уже тогда стало известно, что Б.Х. Миних потерял, в целом, гораздо больше солдат, чем он сообщил в своём официальном докладе о результатах похода. Английский представитель в Петербурге К. Рондо писал в Лондон: «по количеству рекрут, собираемых в этом году (после окончания кампании, так как К. Рондо пишет это письмо в сентябре 1736 г. — *В.В.)*, можно заключить или что Государыня готовится на многолетнюю распрю, или что потери русской армии значительнее показанного. Уже подписан указ о сборе шестидесяти тысяч рекрут... [которые] предназначаются для пополнения армии, так как о сформировании новых полков не слыхать. Сделано также распоряжение о закупке для армии сорока тысяч лошадей» (*Рондо*, 1892. С. 31–32).

После разорения Карасубазара, одновременно с голодом, всё ещё терзавшим российскую армию, начались и распри среди высшего командования. Генерал-лейтенант российской армии, принц Людвиг Гессен-Гомбургский протестовал против распоряжений Б.Х. Миниха, собиравшегося далее идти в Восточный Крым. И дело, кажется, было не в болезнях и нехватке провианта, которые делали новый поход невозможным. Некоторые авторы утверждают, что конфликт

начался ещё в Бахчисарае, когда провиант ещё не подошёл к концу (*Schmidt-Phiseldek*,1784. S. 168). Это была попросту неприязнь члена штаба к бездарному командующему. Принц «осуждал все распоряжения фельдмаршала, и о нём самом отзывался дурно при офицерах и даже в присутствии солдат; жалел последних, когда им приходилось что-либо вытерпеть». Наконец, он отправил Э.И. Бирону (тогда уже всесильному обер-камергеру) письмо, в котором доказывал, что во всех неудачах армии виновен единственный человек — её командующий.

Но письмо это было переслано Э.И. Бироном обратно в Крым самому Б.Х. Миниху, после чего взаимная ненависть генерала и фельдмаршала стала смертельной, ведь в письме речь шла о том, что все походные бедствия и высокая смертность личного состава — «от непредусмотрительности начальника армии, который хотел заморить людей голодом и трудами». Кроме того, принц сделал предложение офицерам-соратникам, если фельдмаршал велит идти дальше (на Керчь?), то не слушаться его приказаний, «а если он возьмется употреблять власть, то арестовать его и передать начальство ему, принцу, как самому старшему генералу армии». Б.Х. Миниха должны были всё же судить, и он отделался легко лишь благодаря тому, что уже не было в живых одного из самых опасных его врагов, графа Р.Г. Левенвольде, умершего в конце 1735 г. (*Манштейн*, 1875. С. 97).

Через год эта распря достигла настолько высокого накала, что могла быть отнесена к числу государственных проблем. Во всяком случае, неуживчивостью двух военачальников была вынуждена заниматься императрица, после поданного ей весной 1738 г. А.И. Остерманом (как видно из текста — не в первый раз) его особого мнения *О несогласиях при армии*. В нём кабинет-министр докладывал: «Бесспорно истинно то, что несогласие между предводителями армии и генералитетом производят следствия зело вредныя интересу Вашего Императорскаго Величества и всеконечно сожалительно крайне, что мы из приватных, иногда непомерных и вовсе безответных пристрастий наших дерзаем толь великодушной, милосердой и великой монархине подавать повод и случай к побуждению ея на праведное прогневание». И далее: «По причине произошедшаго между обоими генерал-фельдмаршалами несогласия требуется необходимо отделить их некоторым образом друг от друга. А сие можно совершить с великою удобностию когда операции для будущего похода назначены будут...» (АСПбИИ. Ф. 36 (*Воронцовых*). Д. 136/36. № 5 (№ 36) 1738 года. Л. 15–15 об., 16).

В 1736 г. Б.Х. Миних мог удовлетвориться уже достигнутыми «успехами». Жестокий урон понесла не только русская армия. Сельское хозяйство большей части Крыма было практически уничтожено, а гибель множества его жителей не позволяла рассчитывать на скорое восстановление экономики. Это положение натолкнуло Б.Х. Миниха на простую, в общем-то, мысль: если пресечь контакт собственно крымской части ханства с окружающим миром, лишить его возможности получить помощь извне, то население полуострова может полностью вымереть само по себе. То есть с минимальным вооружённым вмешательством, для чего фельдмаршал полагал достаточным «держать татар в Крыму, чрез что они сами себя принуждены будут разорить» (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 399).

Более подробно об этом плане писал один из спутников Б.Х. Миниха (адъютант генерал-майора Магнуса Бирона): «Если года два таким образом против

Крымцов подействовать и крепко там (в Перекопе. — *В.В.*) засевши... их самих в их полуострове запереть, то я думаю, что они бы Российскому скипетру скоро покорились и о принятии их под защищение Российское сами просить будут...» (Записка, о том, сколько я памятую о крымских и турецких походах. Одесса, 1836. С. 17).

Таким образом, именно царскому фельдмаршалу принадлежит идея голодной блокады предварительно опустошённого полуострова. Её было легко установить, оседлав Перекопский перешеек и полностью перекрыв вход и выход для гибнущего населения. Помимо того, что страна была разорена, а значительная часть населения выбита, запланированный голод должен был усугубиться ещё по одной причине. Русское войско, покидая Крым, уводило с собой в рабство десятки тысяч крымских татар — самых молодых и крепких, работоспособных мужчин и женщин, которые, оставшись, могли бы как-то противостоять реальной угрозе всеобщей голодной смерти (*Schlechta-Wssehrd*, 1863. S. 38).

В тот раз осуществить людоедскую идею Б.Х. Миниха не пришлось (что удастся только российским большевикам, которые в 1922 г. изолируют полуостров с той же целью — и добьются голодного мора среди крымцев). Но этому помешало отнюдь не отсутствие твёрдости в намерении сгубить целый народ: «в армии стала обнаруживаться заметная убыль; третья доля её подверглась болезням, а прочие состояли из людей до того слабых, что они едва передвигали ноги» (*Манштейн*, 1875. С. 84). Голод был такой, что Б.Х. Миних слал гонцов за провиантом к своему подчинённому П.П. Ласси, воевавшему на Кавказском побережье, впрочем, тщетно: у того ситуация была ненамного лучшей (*Haven*, 1743. S. 82)...

Лишь в Перекопе, точнее, в причерноморских степях за ним удалось снова разжиться скотом — уже ногайским. Но и его хватило ненадолго, так как подтянувшиеся с полуострова ханские отряды, а также собравшиеся к Перекопу ногайские конники препятствовали снабжению русского войска провиантом и водой[1]. Отчего вновь начался голод и люди гибли, даже укрывшись за крепостными стенами Перекопа, среди прочего оттого, что «в крепости Перекопской регулярному гарнизону за недостатком хорошего воздуха и воды и за несвободным сообщением быть трудно». Поэтому остатки русского войска вскоре ушли из этой последней на земле Крыма твердыни, успев перед этим «крепость и каланчи (обе старинные сторожевые башни Ора. — *В.В.*) до подошвы разорить и подорвать, а пушки и амуницию с собой взять» (*Соловьёв*, 1988. Там же). О том же пишет Абдулгафар Кырыми: «Наконец, уходя, при помощи мин они подняли в воздух крепость Ор и на девяносто четвёртый день вторжения в Крым убрались вон...» (цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 129).

---

[1] После первого взятия Ор-Капы город был полуразрушен, очевидно тогда же русскими были непредусмотрительно засыпаны имевшиеся в нём артезианские колодези с пресной водой (*Шевелев*, 1844. С. 602). Теперь ближайшие источники воды находились примерно в 8 км от крепости, что ещё до подхода крымцев доставляло известные трудности для не лучшим образом организованной армии (*King*, 1788. S. 220). Участник похода записал в те дни: «а провианта при армии был недостаток и привести было не можно [потому] что татары не допускали и [мы] стояли две недели и разорили Перекоп» (*Порхомов*, 1897. С. 11).

Очевидно, это всё же преувеличение, так как на самом деле на полное разрушение крепости у миниховского войска не хватило ни сил, ни технических возможностей. А 16 августа, сразу после выхода войск из Ор-Капы, были взорваны лишь «стены и часть домов этого города» (Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны. Сочинение Александра *Вейдемейера*. СПб., 1848. С. 27). Судя по всему, крепость подлежала восстановлению, к чему крымские татары приступили в том же году.

5. Первый поход П.П. Ласси

О том, что поход необходимо повторить в ближайшем будущем, у российских стратегов сомнений не было, судя хотя бы по уже упоминавшемуся четырёхлетнему стратегическому плану Б.Х. Миниха. Пока в главных своих чертах этот план соблюдался; другое дело, что результаты его осуществления были скорее плачевными, чем победоносными.

Тем не менее, используя всё своё влияние при петербуржском дворе (а оно было немалым) фельдмаршал продолжал настаивать на новом, окончательном завоевании ханства, правда, отводя себе роль главнокомандующего не крымской, а почему-то дунайской армией (*Nolde*, 1952. Vol. II. P. 341). Возможно, его насторожила активность татар, отнюдь не подавленных катастрофой 1736 г. Бахчисарайские политики, правильно оценив последовательность стратегических планов Петербурга, решили не ждать очередного вторжения, а упредить его, лишив русскую армию украинской продовольственной базы. Заодно решалась и вторая, ещё более насущная задача: нужно было как-то возобновить поголовье крымского скота, почти дочиста уничтоженного солдатами Б.Х. Миниха в 1736 г.

С этой целью крымскотатарское войско вышло ещё в начале февраля 1737 г. за Перекоп по направлению к Переволочне. Здесь, на границе двух империй оно развернулось фронтом к северу и пошло вдоль Днепра, забирая как неводом всё шире пограничные городки и сёла с гарнизонами. Это был классический набег — краткий (собственно, он продлился всего четыре дня, 12–16 февраля) и сокрушительный. Русские южные войска оказались не в силах ему противостоять, командовавший ими генерал Ю.Ф. Лесли пытался организовать отступление «в порядке», но и сам пал на днепровском льду. Набег завершился удачно: в Крым было отогнано более 100 000 голов скота (*Петрухинцев*, 1998. С. 64). Это стадо могло, конечно, возместить для крымских татар утраты прошлого года, но далеко не полностью. Голод, не прекращавшийся с осени 1736 г., был побеждён, но восстановление разрушенных и сожжённых городов и деревень было делом долгим.

Впрочем, к весне татары кое-как отстроили свои пепелища и вновь засеяли поля с надеждой на милость Аллаха, избавившего их от прошлого нашествия. Но едва появились первые всходы, как вновь за Перекопом показались русские

полки[1]. На этот раз их вел не Б.Х. Миних, а другой российский военачальник, фельдмаршал П.П. Ласси. Находившийся в те месяцы в Азове П. Хавен указывает, что в армии П.П. Ласси было 20 пехотных и 13 драгунских полков, а также 11 000 казаков и калмыков. Общая численность этой, по большей части регулярной, хорошо вооружённой и обученной армии, составила около 40 000 чел, поскольку основная часть войска, около 160 000 человек, пошла с Б.Х. Минихом к Очакову (*Haven*, 1743, S. 88). Но этот автор не учитывает ещё иррегулярные отряды, вместе с которыми численность войска превысила 100 000 человек (Обзор войн, 1898. Кн. 1. С. 85). Это было чуть ли не втрое больше, чем в 1736 г., так что даже у петербургских пессимистов появилась какая-то надежда на лучшие результаты нового похода.

Такие расчёты основывались ещё и на том, что свою роль должна была сыграть смена хана в Бахчисарае[2]: едва успевший взять с свои руки бразды правления Фетх-Гирей II (24. 07. 1736–25. 07. 1737) вряд ли успел освоиться с новым своим положением. Действительно, приняв у предшественника полностью расстроенное и разобщённое войско, новый хан при всём желании не смог воспрепятствовать разгрому 1737 г. (*Гайворонский*, 2003. С. 75).

Прежде чем перейти к конкретному изложению народной трагедии, связанной с именем П.П. Ласси, следует ознакомиться с особенностями тактики, излюбленной этим полководцем. Она применялась в XVIII в. крайне редко, то есть была не вполне обычна, как и её название: *тактика выжженной земли*. Это означало, что от больших и малых населённых пунктов, входящих в зону армейских рейдов, не должно было оставаться ничего. Строения, сады, поля, леса, мосты и так далее предавались огню, а люди подлежали тотальной ликвидации, или, в лучшем случае, угону в рабство. В России этот метод геноцида был известен довольно давно, его использовали, главным образом, для подавления сопротивления на путях московской агрессии.

В последний раз, лет за 10 с лишним перед походами 1730-х гг., тактика выжженной земли широко применялась царём Петром. Это был редчайший для Европы геноцид мирного населения, а именно прибалтийских подданных Карла XII Шведского. Вспомним, их предполагалось истребить, чтобы, во-первых, в тылу русской армии, шедшей на Запад, не оставалось чуждого элемента, а

---

[1] Как сообщали иностранные дипломаты из Петербурга, согласно первоначальному плану кампании 1737 г., фельдмаршал П.П. Ласси должен был высадить крупный десант в районе Тамани. Этот поход с использованием флотилии маломерных судов вице-адмирала П.П. Бредаля планировался с двоякой целью: «частью чтобы перерезать (abzuschneiden) коммуникации между обеими частями нации (т. е. крымскими и кубанскими подданными хана. — *В.В.*), частью чтобы оттуда вторгнуться в Крым. Этот план был сорван вошедшей в Азовское море турецкой эскадрой, после чего было решено направить российскую армию в район Сиваша, где в прошлом году генерал Шпигель открыл проход к полуострову, что избавляло [русских] от необходимости штурма Перекопа» (NEF, Th.30. 1738. S. 458).

[2] Каплан-Гирей к тому времени достиг преклонного возраста; кроме того, как уже упоминалось, он был частично парализован и не мог ездить верхом. На Востоке это является признаком не только физической, но и полководческой немощи. Отставленный хан был отправлен на Хиос, где через два года умер.

во-вторых, чтобы шведы, если они и вернутся на свои прибалтийские земли для ответного удара на восток, не могли найти здесь былой поддержки в виде продовольствия, фуража и квартир. Петровский военачальник Б.П. Шереметев уничтожал мирное население Эстляндии и Лифляндии, не щадя ни женщин, ни детей и сжигая деревни, уезд за уездом, полностью.

Но это было в начале Северной войны, а к её окончанию геноцидом занялся уже шереметевский ученик П.П. Ласси, которого употребляли не для сражений, а более в карательных акциях. Вот бесстрастное повествование русского историка о рейдах такого рода, предпринятых против исключительно мирного населения:

«Генерал-маиор Ласси направился к Стокгольму, пристал у местечка Грина, и окрестная страна запылала: 135 деревень, 40 мельниц, 16 магазинов, два города... 9 железных заводов были выжжены; огромное количество железа, людских и конских кормов, чего ратные люди не могли взять с собою, было брошено в море». Через некоторое время он же, Ласси, был избран, чтобы «...высадиться на шведские берега и опустошить их, сжечь три городка, 19 приходов, 79 мыз, 506 деревень с 4 159 крестьянскими дворами» (*Соловьёв* 1988. Кн. IX. С. 210, 288). О том, сколько тысяч крестьян, не успевших скрыться в лесах, при этом было казнено или уведено для продажи в рабство, история умалчивает, но на пепелищах не оставалось никого.

Теперь этот испытанный каратель шёл на Крым.

Итак, Петербург решил в этом году нанести ханству решающий удар. Поэтому ни мирная политика Стамбула, ни предложения доброжелательного к России двора Австрии (сделанные сразу по окончании кампании 1736 г.) уладить проблемы мирным путем, не могли заставить Петербург отказаться от осуществления намеченного стратегического плана. Корреспонденция уже упоминавшегося английского дипломата К. Рондо прямо свидетельствует об этом. Так, в начале августа 1736 г. он писал из Санкт-Петербурга своему шефу Г. Вальполю, что Анна Иоанновна недовольна предложением цесаря выступить посредником в мире с Турцией, что она отказалась вступать с Портой в переговоры, несмотря на ясно выраженное желание турок кончить дело миром и т. д. (*Рондо*, 1892. С. 5, 13–19). Кампания 1737 г. началась в намеченные сроки.

Поскольку крымские татары всё же успели кое-как восстановить оборонительную линию Перекопа, то П.П. Ласси не рискнул на открытый приступ к крепости. Его армия двинулась от Азова на запад и, не доходя до Ор-Капы, вторглась на полуостровную часть ханства близ брошенной крымскотатарской деревни Генчи (или Дженишке, соврем. Геническ). Здесь в местности, именовавшейся Татлыбулак, им было возведено укрепление, предназначенное для защиты от возможного нападения во время форсирования Сиваша (*Халим Гирай*, 2008. С. 147). Затем началась переправа, при этом Сиваш был преодолён с помощью моста, наведённого по рекомендации генерала К.Л. Шпигеля в обнаруженном им годом раньше узком месте залива. Эта узость достигала 3 верст, причем половина её, по причине сухой погоды, оказалась доступной для пешего марша. Ещё 1 500 метров водной поверхности можно было форсировать вброд, и лишь на протяжении самых глубоких 200 м был наведён упомянутый наплавной мост. Однако его пропускная способность оказалась недостаточной для многотысячной армии и огромного обоза, отчего части солдат пришлось перебираться на сушу вплавь или вброд.

После переправы через Сиваш П.П. Ласси планировал почти стовёрстный марш в южном направлении по Арабатской стрелке. Параллельным курсом вдоль этой протяжённой песчаной косы двигалась флотилия вице-адмирала российского флота П.П. Бредаля. Она насчитывала более 200 больших шлюпок, на которых находилось как несколько полков солдат, так и небольшие орудия, а также боезапас для российской армии.

После того как флотилия прошла около 12 верст от Генчи, на неё был доставлен ордер П.П. Ласси, согласно которому вице-адмирал должен был «со всеми 217-ю лодками следовать мимо крымского города Арабат, прошед оный к косе именуемой Казальтап...» (*Бредаль*, 1737. С. 174). То есть флотилии предписывалось пройти всю Арабатскую стрелку до самой узкой части Керченского полуострова, а затем, резко изменив курс к востоку, идти к мысу Казантип. Такому приказу может быть единственное объяснение: П.П. Ласси с основной армией планировал также следовать к крепости Арабат и штурмовав ее (иначе покинуть стрелку было невозможно) двинуться по направлению к Кефе. Или же, что более вероятно, к Керчи, которую в прошлую кампанию планировал штурмовать Б.Х. Миних, но по ряду вышеупомянутых причин не смог этого осуществить.

В этот день флотилия прошла около 50 верст от Генчи, выйдя на траверз небольшой деревушки Сальси-Дениз, тогда как отряд П.П. Ласси обогнал бредалевские шлюпки вёрст на 6, и разбил лагерь для ночёвки. В это время с восточной части горизонта показался турецкий флот, состоявший из 3 кораблей, 15 галер и полугалер, группы кончебасов и других мелких судов. Приблизившись к берегу, турецкие корабли открыли огонь по лагерю П.П. Ласси, впрочем, безрезультатный в условиях быстро наступавшей темноты.

Ранним утром 28 июня П. Бредаль и П. Ласси «с прочими генералитеты» подойдя в шлюпке на безопасное расстояние к турецкой эскадре, осмотрели её. Оказалось, что противник обладает многократным огневым превосходством: флагманский корабль капудан-паши имел 64 пушки, второй корабль — 60, и фрегат — 30 пушек крупного калибра. Галеры также были вооружены 36-фунтовыми пушками. По окончании рекогносцировки стало ясно, что « на море в бой вступить нам и прииску над ними сыскать было не можно...» (*Бредаль*, 1737. С. 175). Очевидно, тогда же было принято решение отменить план дальнейшего продвижения на юг для штурма крепости Арабат[1].

На следующий день, 29 июня, на крымский берег были высажены казаки, а к вечеру поднялся северный ветер, в полночь достигший штормовой силы и развёдший высокую волну. В результате непогоды к утру 170 шлюпок было раз-

[1] Стало известно, что хан с войском, ожидавший русских у Перекопа, «видя себя обойденным, поспешил перейти на... оконечность Арабатской косы, на самом ея крае, прикрыв ея непрерывными окопами...» (*Ласковский*, 1865. Ч. 3. С. 356). То есть Фетх-Гирей занял крепость Арабат и её фланги, полностью перекрыв узкий перешеек между Сивашом и Азовским морем. В то же время у войска П.П. Ласси не было осадных орудий, да и блокировать крепость в условиях враждебного окружения было бы рискованно. Кроме того, сама крепость представляла собой довольно мощное фортификационное укрепление: трёхметровой толщины стены с многорядными бойницами и снабженные многоугольными фортами, были обведены рвом и валом, остатки которого и ныне достигают 7–8 м, то есть высоты двухэтажного дома (*Шутов Ю.И.* Арабатская стрелка. Симферополь, 1983. С. 13).

бито прибоем, а 47 оставшихся дали сильную течь. П.П. Бредалю удалось спасти шлюпочную мелкую артиллерию, которую установили на берегу, устроив из песка нечто вроде батареи. И уже 30 июня не пострадавшие от шторма турки решились на высадку. Как вспоминал П.П. Бредаль, они, спустив на воду «множество лодок гребли к нам с великой дерзостью... и к нам подгребли... и начали мы изо всех поставленных на берегу с лодок из пушек по них палить с ядрами, и увидели мы, что в то время от нашей пальбы неприятельские их галеры, полугалеры, скампавеи и прочие суда, не узнав даже порядочно следствия, пришли в великое замешательство и начали от нас грести далее, которым куда было способнее, за корабли» (*Бредаль*, 1737. С. 176). При этом у русских никто не был даже ранен.

После этого турки по совершенно необъяснимой причине удалились в восточном направлении, а в русском лагере стали поджидать остальное войско. Сразу по его прибытии «к Сангару[1] и по переправе его через сделанный там на лодках мост...», продолжает П.П. Бредаль, он получил от П.П. Ласси «ордер, дабы мне со всеми имеющимся при Геничи ботами и 40 лодками следовать к Азову» (*Бредаль*, 1737. С. 178–179).

Итак, в начале июля 1737 г. П.П. Ласси переправился по наплавному мосту через Сиваш на полуостров. О дальнейших действиях его воинства, и прежде всего казаков и калмыков беспристрастно рассказывают Санктпетербургские Ведомости от 14 июля 1737 г. В них сообщалось, что бывший с П.П. Ласси «Атаман Ефремов, которой с легкою партиею Казаков и Калмыков против урочища Сангуру в Крым переправился ...в тех околичностях Сангуру далее в Крыму более 20 жилых городков и деревень разорил, получа знатное число лошадей и скота в добыч. И, таким образом, сия Крымская экспедиция с божиею помощью с добрым успехом начата». Затем донцы «и далее внутрь Крыма [продвинулись, где] во круг около пятидесяти вёрст, а наипаче по реке Карасук, до сорока деревень выжгли и раззорили... и взяли в плен сорок семь человек, а протчих побили и покололи, и отогнали верблюдов и рогатого скота и овец более двадцати тысяч».

В дальнейшем эта информация расширялась и уточнялась: «Пещеры и каменные горы не могли укрыть от смелых Казаков и Калмыков обратившегося в бегство неприятеля, а сии победители в один день взяли больше 1000 пленников и притом многую добычу состоящую в их имении, в товарах и в скоте...» (Примечания на Ведомости. Ч. 3 и 4. 9 января 1738. С. 10–12).

О том же говорят более поздние историки, а именно, что солдаты с казаками, едва высадившись, тут же принялось жечь поднявшиеся было из руин бедные жилища прибрежных татар. Затем планомерно были выжжены городки и сёла в среднем течении Кара-су, Салгира и в густозаселённых долинах других рек. А потом нерегулярная часть российского воинства «рассеялась во все стороны разорять и жечь; в этом деле особенно отличались калмыки, которые в один день привели в лагерь

[1] Гидроним «Сáнгар» (или следы его существования) в Крыму топонимистами не обнаружены (см. *Суперанская*, *Исаева*, *Исхакова*, 1995). Это, конечно же, Салгир — река, устье которой находится в самом узком месте Сиваша, между береговой полосой собственно полуострова и Арабатской косой. Однако современник этих событий Абдулгафар Кырыми упоминает ещё одно название этого места — Беккерман (*крымскотат.* «Караульная крепость»), очевидно, по имени какого-то татарского укрепления в устье реки (цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 147).

Степной чабан.
Музей Ларишес

одну тысячу пленных и много другой добычи» (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 418). Современник же утверждает, что ещё до взятия Карасубазара солдатами, казаками и калмыками было сожжено около 300 деревень (*Lerche*, 1791. S. 107).

Армия медленно продвигалась к Карасубазару, одому из крупнейших городов Крыма, где тогда насчитывалось более 6 000 домов и 36 мечетей. Русская армия стала лагерем в 28 верстах он него, а 14 июля город уже был взят отрядом генерал-поручика Г.О. Дугласа, причём *без сопротивления*. Тем не менее русская солдатня обрушилась на мирных жителей с особой, непонятно чем вызванной свирепостью. «Люди ожидали великодушных поступков от военных, но те ужасы, которые творились здесь, затмили жестокостями даже нашествия монголов на Русь. Над мирными жителями, и особенно женщинами творились такие безобразия, что большая часть жителей разбежалась по лесам и многие стали нищими, а город представлял груды развалин. Грабили, убивали, насиловали всех, кто подвернётся, не разбирая...» (*Чеглок*, 1910. Т. II. С. 35–36).

Современный калмыцкий историк с удовлетворением подчёркивает, что главную роль в разорении города и в оргии насилий над его гражданами сыграли именно калмыки (*Чонов*, 2006. С. 27). Этому можно найти подтверждение в рукописи «Умдет аль-ахбар», главного труда Абдулгафара Кырыми: «Город был охвачен огнём от края до края, женщины, дети, старики метались на фоне полыхающего пламени пожаров, их вопли и крики о помощи доходили до небес. Калмыки... самым безжалостным образом нападали на безоружных людей и разъединяли жён от мужей, детей от родителей, вопли несчастных никак не действовали на этих хищников с каменными сердцами» (цит. по: *Халим Гирай*, 2008. С. 147).

В конечном счёте старинный город, украшение ханства, был «...разграблен и обращён в пепел», затем «казакам и калмыкам было повелено идти в горы сколько можно далее и жечь все жилища татар» (*Манштейн*, 1875. С. 126). Именно таким образом были стёрты с лица земли некоторые другие города и около тысячи деревень, основная часть тех, «кои уцелели в предшедшем году точию оттого, что находились не на проходе (в стороне от маршрута. — *В.В.*) войск» (*Сестренцевич-Богуш*. Указ. соч. С. 348. См. также: *Вольфсон*, 1941. С. 61).

А 16 августа началось отступление. В тот день на берегу Карасу войско Г.О. Дугласа было атаковано конными крымцами, от которых еле удалось отбиться. После боя калмыки исчезли, но спустя два дня вернулись, ведя с собой ещё около 1 000 пленных татар, в основном женщин и детей, захваченных ими в деревнях и сёлах, расположенных южнее Карасубазара. Тут же, на полуострове, начались торги: калмыки и казаки стали предлагать офицерам и вообще всем желающим «...множество скота и татарских детей на продажу», отмечает современник, бывший свидетелем кампании 1737 г. (*Lerche*, 1791. S. 107).

«После этого они (то есть соединённые силы под командованием П.П. Ласси. — *В.В.*) предприняли обратный путь на север, к месту выхода из полуострова, где уже построен был через узкий пролив Гнилого моря, у Шунгара (Чонгара. — *В.В.*), мост, защищенный со стороны Крыма сильною линией укреплений. Здесь же, с другой стороны моста, расположен был сомкнутый окоп, обеспечивающий, вместе с мостовым укреплением у Гениче, дальнейшее отступление войск с полуострова». (*Ласковский*, 1865. С. 357). Фетх-Гирей с 40 000 воинов вышел за Перекоп, продвинулся к Генчи, но там несколько дней бездеятельно простоял, по-видимому не решаясь приблизиться к русскому лагерю. За что, как утверждают, и был вскоре смещён Стамбулом с престола (*Lerche*, 1791. S.107; *Широкорад*, 2000. С. 114).

Согласно более красочному рассказу крымскотатарского историка Сейид-Мухаммеда Ризы, «проклятые московы опять подобно злым духам вошли в чистое тело Крыма и вдругорядь дерзнули предать разрушению и опустошению город Кара-Су. Хотя по мере возможности и старались оказать им сопротивление, но ни хан, ни жители не в силах были устоять против многочисленности огненного крещения проклятников; все от мала до велика повергнуты были в смущение и потеряли голову» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 62). Ещё короче заключение анонимного исследователя из Императорской академии наук: пришедшие с Ласси «русские напомнили поход Миниха. Опустошение было страшное: вся восточная часть Тавриды покрылась пеплом и трупами» (цит. по: Таврида, 1855. С. 24).

При этом Крым был ограблен так, как его, кажется, не грабили ни разу в истории. Сопровождавший армию Ласси австрийский капитан В. Парадиз был поражён тем, что за войском обычно тянулся огромный (на глаз около ста тысяч!) обоз пустых телег. Причём они предназначались не для «имперских», казённых трофеев. В них складывали лично награбленное имущество своих жертв мародёры и поджигатели (солдатами их назвать трудно) России[1]. Телеги эти

[1] В качестве сравнения приведём данные о военном походе 50 000 конников Девлет-Гирея II к Пруту в 1711 г.: всё имущество хана умещалось на трёх арбах, а войсковой обоз состоял из сорока семи телег (*Lagerberg*, 1896. S. 49). Но то был именно *военный*, а не предпринятый с совсем иной целью поход.

отбирались большей частью у заперекопских ногайцев, ещё на подходе к Крыму, а число их зависело от чина и звания: у генералов по нескольку сотен упряжек, у майоров — по 30, у сержантов — по 16 и так далее (*Соловьёв*, 1988. Кн. X. С. 432). Неудивительно, что только в северной, степной части полуострова, уже подтягиваясь к Перекопу, солдаты и казаки «...привели в лагерь 30 000 волов и свыше 100 000 баранов» (*Манштейн*, 1875. С. 127). Что касается мирных жителей, превращённых в товар, то более всего пострадали Карасубазар и окрестные селения, откуда «большое количество рабов (great number of slaves)» было навсегда уведено на собственные невольничьи рынки России (*Willis*, 1787. P. 34). Затем пришельцы вновь пересекли Чонгар и отправились на зимние квартиры к Бахмуту.

Известный российский историк и писатель подводит общий итог деятельности П.П. Ласси на юге, говоря, что фельдмаршал «занялся опустошением степей и разрушением городов... с той же немецкой отчётливостью, что и его предшественник, предав огню тысячу деревень, уцелевших от рук Миниха по той только причине, что они были в стороне от его пути. Удачная охота разлакомила фельдмаршала, и на следующий год он опять отправился в поход на Крым. Но поход оказался невозможным по той простой причине, что в Крыму (то есть в степной и предгорной частях. — *В.В.*) никого не осталось после походов 1737 и 1738 гг. и войско не находило себе средств к прокормлению» (*Марков*, 1902. С. 300). То есть набег повторился и на третий год оттого, что какое-то имущество ещё на полуострове оставалось. К этому бесхитростному и объективному повествованию русского писателя трудно что-либо добавить в наши дни, хотя потребность эта есть.

Она вызвана понятной причиной: нам неизвестно, что ощущали и как поступали жертвы этой трёхлетней трагедии крымскотатарского народа, трагедии всего Крыма, ведь пока никаких записей современников из числа крымских татар не найдено, и неизвестно, существуют ли они вообще. У нас есть только то, что есть: лишь приведённые выше документальные свидетельства «подвигов» русского воинства под водительством П.П. Ласси. Зато мы можем прибегнуть к толстовскому описанию действий той же российской армии, хоть и несколько позже, когда ею стал командовать М.С. Воронцов. Использование этого описания — не прегрешение против исторической истины, так как русское воинство своих повадок не меняло столетиями (и не меняет, могут добавить те, кто пережил Афганскую и Чеченские войны).

Да и не это здесь главное, а гениальное раскрытие великим мастером внутреннего мира жертв российского геноцида, который он наблюдал изнутри. Ведь Л.Н. Толстым были непосредственно восприняты и переданы всеобщей истории мысли и чувства гибнущего коренного народа, таких же мусульман, что и крымские татары, попавших в такую же ситуацию тесного соприкосновения с чужими солдатами, нежданно пришедшими на землю ислама.

Итак, вслушаемся в бессмертные фразы участника почти аналогичного «замирения», хоть географически имевшего место восточней Крыма, а исторически — чуть позднее.

«Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мёртвым к мечети на покрытой бур-

кой лошади. Он был проткнут штыком в спину... Садо с киркой и лопатой ушёл с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалённой сакли и, строгая палочку, тупо глядел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишнёвые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчёлами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены ещё два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал её.

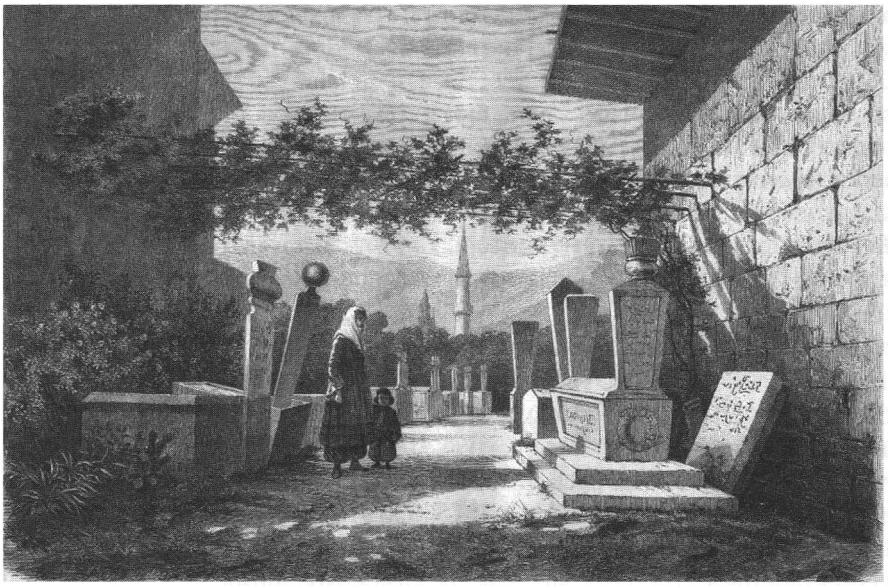
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями всё с такими трудами заведённое и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им» (*Толстой*, 1983. Т. XIV. С. 98–99).

Ровно через пятьдесят лет после похода П.П. Ласси, в 1787 г., Крым посетил редкий гость, уроженец далёкой Венесуэлы, креол Франсиско де Миранда. Гостеприимные хозяева-русские привезли путешественника в Карасубазар, город ещё раз опустошенный, уже В. Долгоруким, в ходе аннексии. Они показали образованному латиноамериканцу руины огромного, судя по остаткам фундамента, здания и объяснили, что здесь раньше была библиотека древнего города, но её сожгли полвека тому назад люди Петра Ласси. Этот привычный для Крыма факт потряс венесуэльца, по сути, человека абсолютно иной, чем крымскотатарская, культуры. Причём потряс настолько, что этот аристократ на миг забыл, что его окружают духовные наследники тех самых завоевателей и весьма невоспитанно воскликнул: «Какое варварство!» (*Миранда*, 2001. С. 65).

А ведь так оно, в действительности, и случилось. В 1730-х Крым пережил — после длительного перерыва — набег новых варваров. Причём они отнюдь не стыдились своих злодеяний на крымской земле, но, напротив, хвастались успехами в уничтожении памятников древней культуры и истории полуострова. Приведём перевод торжественной оды на немецком языке, сочинённой просвещёнными членами Петербургской академии наук к новому 1738 г.:

Гремят Российские Громы, разбивают Российские Перуны;
Страшат оныя, поражают сии Татарские полки,
Уже и самыя внутренние отверсты пути,
Которыми челюсти свои Крым заключает.
Бегут вспять Татары, идут к Крымскому сердцу Россияне,



Могилы Ханского кладбища. *Музей Ларишес*

Везде дымится внутрь (т. е. «нутро». — *В.В.*) сих земель,
Которыя от Орлих («орлиных». — *В.В.*) Перунов зажжены.
Укрывалища хищных сих неприятелей раззорены,
Иссушен уже оный источник и завален,
Который наводнял столь многия земли.
Села и города в пепел обращены.
Ни высочайшия и трудныя горы, ни самые уския дороги
Не могут ни на мало удержать Орлов.
Нападают на самые гнезда слетающихся гнусных птиц,
И всеконечно опровергают Карас-базар.
(Примечания на Санктпетербургские Ведомости 1738 г. С. 20).

Ода, конечно, фальшивая: в горы русские солдаты в 1737 г. не поднимались, калмыки — другое дело. Но кое-что в ней верно: в результате походов Миниха и Ласси русским грабить в Крыму больше было нечего (если не считать нетронутого города-порта Кефе). Как не было возможности оставаться здесь в качестве оккупантов, по той же причине полного и абсолютно бесцельного[1] опустошения полуострова; да и армии, свободной для исполнения такой задачи на протяже-

[1] Не могло же быть целью войны обогащение мародёров — а другой «пользы» походы не принесли. Мысли о бесполезности понесённых жертв мучил современников войны не одно десятилетие; некоторые из них доверили свои сомнения бумаге: «Сия война, продолжавшаяся три года, стоила России нескольких миллионов и ста тысяч человек, без всякой пользы, кроме разорения соседственной страны...» Её единственный результат: «Нещастный Крым... сделался из обильнейшей земли самою невозделанною» (*Сестренцевич-Богуш*, указ. соч. С. 35–351).

нии десятилетий, найти не удавалось. Не исключено, что именно эта тупиковая ситуация ускорила австро-русско-турецкие мирные переговоры, которые велись в украинском городке Немирове[1] с августа по ноябрь 1737 г. при участии некоторых иностранных представителей.

6. Немировский конгресс

Немировский мирный конгресс предложила созвать Порта, что было поддержано Австрией. После провала похода на Крым в 1737 г. Петербург обратился к Австрии за военной помощью против турок. Основанием для её оказания, доказывали российские дипломаты, должен стать русско-австрийский союзный договор, заключенный летом 1726 г. Действительно, в договоре предусматривалась такая помощь в случае чьего-либо нападения на Россию (*Bagger*, 1974. S. 227–232). Но в данном случае военные действия в одностороннем порядке и без объявления войны начала именно российская армия, что было известно и в Европе. Это явное искажение реальной ситуации вызвало в Вене недоверие к союзникам, и австрийский император, не торопясь объявлять войну Турции, предложил направить, с целью прекращения военных действий, своих посредников в Петербург и Стамбул (*Redlich O.* Das Werden einer Grossmacht. Österreich von 1700 bis 1740. Brünn–Münich–Wien, 1942. S. 300).

Однако позднее Австрия, несмотря на значительное ослабление своей армии в европейских кампаниях, согласилась обратить оружие против Турции. Основой этому решению послужила Венская конвенция, заключенная между Россией и Австрией 9 января 1737 г. На этой встрече дипломаты совместными усилиями нашли выход из вышеупомянутого препятствия вступлению Австрии в войну с Турцией. В п. 4 Конвенции было записано: «...когда Оттоманская Порта от диверсии со стороны Его Римского императорского Величества быть имеющей, возпримет повод со всею своею силою на одного высокоупомянутого Государя обратиться, тогда Ея Величество Всероссийская с немалым войском с тылу на оных нападать... хочет». То есть были задуманы крупные провокации («диверсия») Австрии, чтобы выставить будущий конфликт в виде турецкой агрессии, отчего и возникал повод для помощи России цесарю. И наоборот, точно такой же предлог для помощи австрийских войск России (уже два года нарушавшей мирный договор с турками) был предусмотрен следующим, 5-м пунктом Конвенции. А пункт 9 прямо запрещал союзникам заключать сепаратный мир с общим противником (*Жигарев*, 1896. С. 125–126).

Опираясь на эти решения, цесарь и вступил в июне 1737 г. в войну, мобилизовав для этого 30 000 войска. Однако толку от столь небольшой армии было немного. И даже взятие австрийцами турецкого г. Ниш (Сербия) оказалось случайным успехом, который отнюдь не демонстрировал военную мощь армии

[1] Немиров — городок в Подолии, на р. Буге, вблизи границы с Валахией, принадлежавший великому гетману Польши, графу Юзефу Потоцкому. Был избран для проведения конгресса как находившийся на нейтральной польской территории.

Австрии, где после смерти Евгения Савойского (1736) практически не осталось талантливых полководцев. Император Карл VI был физически и духовно немощен, а турецкая армия, напротив, значительно окрепла после того, как при помощи французских офицеров была реформирована и отчасти модернизирована. Всё это вызывало на продолжавшихся тем временем переговорах несогласованность в действиях российской и австрийской сторон[1].

Кроме того, во время встречи в Немирове австрийцев поддерживал Э.И. Бирон, который опасался политического соперничества Б.Х. Миниха, ведь фельдмаршал, несмотря на слишком уж дорогой ценой обходившиеся военные победы, завоевывал авторитет среди петербургской правительственной элиты. Такой разлад среди высших чиновников осложнял позицию возглавлявшего в Немирове российскую сторону П.П. Шафирова, что было небезызвестно турецким представителям. Российской делегацией были поставлены явно завышенные, объективно неприемлемые для Порты условия. Она предложила туркам предоставить России права черноморского судоходства, передать ей Буджакскую степь до Дуная, принадлежавшее Крыму Закубанье, а также даровать Молдавии и Валахии независимость под покровительством России. Кроме того, П.П. Шафиров требовал передать России Крым (*Уляницкий*, 1883. Приложение 2. С. V).

Последнее требование обосновывалось весьма оригинально: разорённый полуостров нужен был России «не ради какой-либо для неё выгоды, а только для спокойствия государства, тем более что Порта не имеет от этих диких народов никакой пользы» (цит. по: *Мачанов*, 1929. С. 44).

Естественно, турецкие дипломаты ответили посланцам Петербурга отказом, причем обоснованным. Талантливый османский политик Рагыб Мехмед-паша подчеркнул, что требования России были несоразмерны «пирровым» победам её войск (будущий великий визирь имел в виду огромные потери российской армии в Крыму и под Очаковом, осада которого не прерывалась и во время работы конгресса). И отказ этот был поддержан Австрией, которая и сама предъявляла претензии на Молдавию до р. Прут и Валахию до Браилова, не считая Боснии, Албании и Сербии (*Жигарев*, 1896. С. 128; *Витол А.* Коджа Рагыб-паша — османский государственный деятель XVIII в. // Восток: история и культура. СПб., 2000. С. 23–29).

Уникальный случай — австрийцы оказались на стороне своих наследственных врагов-турок. Но, как бы то ни было, позиция посланцев султана на переговорах неожиданно укрепилась, тем более, что пришло известие о бесславном отступлении армии П.П. Ласси из Крыма (об этом см. следующий раздел). Турки тут же заявили, что требование о ликвидации столь славной династии, как крымские Гиреи, много веков являвшиеся законными государями на огромной

[1] В Немировском конгрессе принимали участие Россия (П.П. Шафиров, И.И. Неплюев и А.П. Волынский), Австрия (посол в Петербурге Л.В. Ошттейн, барон И.М. Тальман и граф Вельзек) и Турция (реис-эфенди Мустафа-паша и кяхья Рагыб Мехмед-паша — оба в чине визирей). Австрия пошла на уступки, отказавшись от претензий на Молдавию и Валахию. Но турки ещё до закрытия конгресса начали успешное наступление против австрийцев. По этой причине Австрия отозвала с конгресса своих представителей. Впоследствии австрийский цесарь, отказавшись от совместных с Россией переговоров, подписал с Портой сепаратный мирный трактат. После чего и Россия заключила отдельный Русско-турецкий (*Белградский*, 1739 года) мирный договор. (*Кочубинский*, 1889. С. 207–225).

Очаков, немецкая гравюра XVIII в.
Колл. музея Ларишес

территории с многочисленными подданными, — вещь, в истории просто неслыханная. Да и вообще таких уступок можно требовать лишь после полного разгрома султанской и крымской армий — а до этого ещё было далеко.

Русские представители и сами поняли, что требования предъявили непомерные и снизили их до передачи лишь Азова, Очакова и крымскотатарского Кинбурна, но было поздно: турки не могли не прийти к выводу, что переговоры на таких условиях — сплошная фикция, затеянная, чтобы тянуть время. Доказательством тому являются посольские бумаги центральных архивов России. В них сами участники переговоров признавали, что турецкая сторона предлагала конструктивный диалог, на что посланцы Петербурга не шли: «турецкие послы домогались, чтоб что-нибудь точное от российских послов изъяснено было, но оныя того разными многоплодными разговорами убегали...», не желая рассматривать проблему постоянных набегов казаков и калмыков на турецкие и крымские земли. Когда же турецкая сторона предложила новые, действенные средства для обуздания ногайских набегов на Украину, то эти меры «были отвергнуты» без объяснения причин (цит. по: *Уляницкий*, 1883. Приложение 2. С. IV–V).

На четвертом, последнем заседании конгресса турки заявили, что «так как Россия требует Тамани, Темрюка и других мест, где русская нога не бывала, то из этого видно, что Россия лишь ищет свободнаго прохода в Чёрное море» (*Уляницкий*, 1883. С. 50–51). И они отказались продолжать переговоры, которые, по сути, русская сторона сделала невозможными. Турецкая армия тут же возобновила военные действия против Австрии, освобождая свои земли. И в том же 1737 г. бейлербей Боснии Али-бей Хаким-оглу повёл свою армию в успешное наступление в районе Видина (История Османского государства. Т. I. С. 48). По этой и иным причинам 10 октября посланцы султана вообще покинули Немиров, не имея,

как они выразились, права вести переговоры на подобных условиях. Затем из Немирова уехали и австрийцы.

Любопытно, что Немиров, кажется, создал у западных, и прежде всего турецких дипломатов некий синдром: к российским предложениям перестали относиться всерьёз. Очевидно, некий психологический перелом произошел и у российской стороны. И если на переговорах 1737 г. посланцы Петербурга подняли планку своих требований слишком высоко, то на следующих мирных переговорах, уже в Белграде, учтя опыт сорванной ими встречи в Немирове, согласились опустить её слишком низко.

Второй результат немировской позиции России — реанимация былой настороженности Запада, почувствовавшего нешуточную угрозу конкуренции российских товаров на средиземноморских рынках. Становился возможным подрыв массой дешёвой российской продукцией вообще всей европейской торговли с Левантом, к чему недвусмысленно вели захват Азова и требование свободы судоходства русских судов по Чёрному морю.

О том же говорило упорное нежелание России видеть на Немировском конгрессе западных посредников-миротворцев. Напротив, турки пригласили на конгресс всех представителей великих и иных европейских держав. Англия и Голландия даже назначила своими посланцами чрезвычайных и полномочных послов Фолкнера и Калькуна. Об этом ещё в 1736 г. был извещен А.И. Остерман, но российская сторона решительно воспротивилась приглашению в Немиров лишних свидетелей, к тому же явно настроенных на действительно быстрое и конструктивное прекращение Русско-турецкой войны, в то время как далеко не все российские политики были в этом заинтересованы. Кроме того, как указывали российские послы, мирные инициативы западных участников «только утвердили Порту в ея гордости и насильствах» (цит. по: *Уляницкий*, 1883. С. 38, 49).

Далее, во время Немировского конгресса Турция воочию увидела и осознала новую, куда более серьёзную, чем за всю историю соседства с Россией, угрозу, для ликвидации которой военной силы оказалось мало. Лишь успешная борьба с союзницей России, Австрией и помощь французской дипломатии (посол Л.С. де Вильнёв) позволили Порте устоять на Немировском конгрессе 1737 г. А через два года, у стен осажденного турками Белграда, на переговорах, покончивших с войной 1735–1739 гг., посланцы Стамбула смогли свести к минимуму потери минувших лет.

7. Второй поход П.П. Ласси, Белградский мир и крымско-шведские переговоры 1740–1741 гг.

По словам российского военного историка, «начало наших действий против Крыма в кампанию 1738 г. ознаменовано было удачным вступлением через обмелевшую часть Сиваша, во внутренность полуострова. Этим движением фельдмаршал Ласси снова обошёл перекопскую линию, где находился крымский хан с сорокатысячной армией». Место перехода обозначено в официальных донесе-

ниях того времени следующими данными: «армия с 19 по 25 июля (ст. ст.) переправилась через залив, называемый Азис в Крым», то есть в 6 верстах от ближайшего к нему окончания Перекопской линии (*Ласковский*, 1865. С. 363–364).

Более подробно об этой акции сообщает реляция П.П. Ласси, опубликованная через год в Регенсбурге. При подходе к Перекопу, говорится в ней, было захвачено несколько пленных, которые сообщили, что на оборонительной линии есть две крепости, большая, Ор-Капы, и малая — Ozuvarchkule (очевидно, Сиваш-Кале). Причём общее количество оборонявших Перекоп турок и татар, как пеших, так и конных, достигало 40 000 человек (*Lascy,* 1739. S. 2). Стояла жара, и Сиваш практически пересох. Поэтому утром 26 июня П. Ласси, оставив обоз на материке, пересёк залив с большей частью армии, а также с полевой и штурмовой артиллерией. В Сиваш-Кале было всего 100 человек турецкого гарнизона, которые бежали, как только показались русские полки. Калга, находившийся со своим войском вблизи этой крепости, также отступил, не приняв боя. Так и была занята эта малая крепость, без кровопролития. После чего, ещё до наступления темноты, российские войска продвинулись вглубь Крыма примерно на 7 вёрст.

На другой день крепость Ор-Капы была окружена, и П.П. Ласси послал крепостному паше письменное предложение о сдаче. В ответ крепостная артиллерия открыла огонь. 28 июня началось ответное непрерывное, на протяжение всего дня, бомбардирование крепости из мортир и пушек. Ещё через день русским удалось занять предместья Ор-Капы и начать разрушение пушечной пальбой стен и башен крепости. В это время её обороной командовал турецкий трёхбунчужный паша Абубекир, прибывший туда двумя днями раньше из Кефе с несколькими сотнями янычар. Он-то и прислал в российский лагерь письмо с согласием на капитуляцию и сдачу в плен (*Lascy*, 1739. S. 3). После чего крепостные ворота открылись, и в 9 час. вечера вошедший туда первым генерал-квартирмейстер Де Бриньи принял от турок пороховые и иные склады. Затем в крепость проследовали десять гренадерских рот под командованием полковника Ласси и взяли в плен 2 000 человек гарнизона, а потом ещё некоторое количество турок, попрятавшихся по подвалам и другим местам (Ibid.).

Историк Ф.Ф. Ласковский, собравший материал не только из этого, но и других источников, приводит дополнительные сведения об этом важном событии: «для развлечения сил и внимания неприятеля предписано было генералу Левашову идти со вверенным ему отрядом к Перекопу и у переправы через небольшой залив Шунгара (Чонгар. — *В.В.*) навести мост. Крымский хан, узнав о переправе русских через Сиваш, отступил от перекопской линии, причем оставил для защиты крепостцы Ор-Капы две тысячи человек и небольшой отряд в форте Чиваскула (Сиваш-Кале. — *В.В.*). Турки при восстановлении перекопской линии, разрушенной русскими в предшествующую кампанию, во многом усилили ея против прежняго, так, например, они обнесли Ор-Капи новою двойною каменною оградою, провели от оконечности линии, примыкавшей к берегу Гнилого моря, двойной ретраншемент с целью воспрепятствовать обходу линии с этой стороны, и на оконечности одного из этих ретраншементов воздвигли форт у Чиваскула. С наружной стороны перекопской линии, у самой крепостцы Ор-Капи снова образовалось предместье, которое

кроме собственного своего вала окружено было бастионной оградой, прикрывавшей лагерь русских в кампанию 1737 г.

По вступлении в Крым русские немедленно овладели фортом Чиваскула и 27 (июня 1738. — *В.В.*) приступили к осаде крепостцы Ор-Капи, которая 29-го сдалась на капитуляцию; в ней было найдено более 100 орудий[1]. Овладев крепостью, русские двинулись к крепости Кафе, считавшейся в то время наиболее сильным укреплением... на полуострове; фельдмаршал имел при том в виду, по достижении Арабата, произвести нападение на расположенный там укреплённый лагерь. Но встреченное им на пути своего наступления упорное сопротивление татар, а также сказавшийся недостаток в съестных припасах и невозможность заменить их местными средствами, побудили фельдмаршала предпринять обратный путь к Перекопу. Здесь войска расположились лагерем, где и простояли до конца августа; при своём же отступлении к границе взорвали снова линию» (*Ласковский*, 1865. С. 364–365).

В то же время донские казаки снова «посетили» Карасубазар, достигнув одной из целей похода теперь уже окончательным «истреблением одного из лучших городов полуострова, опустошением селений, отгоном скота и взятием в плен нескольких тысяч человек» (*Висковатов*, 1830. С. 40–41).

Российский историк не упоминает весьма важные события этого похода, которые подробно описаны в мемуарах его участника, главного медика российской армии И.Я. Лерха. Оказывается, основная часть корпуса П.П. Ласси, ставшая лагерем в 8 верстах южнее Ор-Капы, вступила 8 июня в сражение с ханским войском. С российской стороны в нём участвовало четыре драгунских полка (пятый, а также пехота, оставались в резерве). Крымская конница, которой руководил Менгли-Гирей III, в результате яростной атаки прорвала русский фронт в центре, рассеяла драгун, был захвачен находившийся в тылу лагеря обоз и часть артиллерии. Затем ханское войско обратилось против казаков, стоявших в конном строю на флангах регулярной части российского фронта и также обратившихся в бегство. При этом крымцы легко настигали их и беспощадно рубили. В ходе этих действий, как пишет очевидец, «не было сделано и 10 выстрелов», татары действовали лишь саблями и копьями. Началось общее беспорядочное отступление, ханские воины преследовали русских ещё два дня — 9 и 10 июня (*Lerche*, 1791. S. 133–134).

Всего в результате этой битвы и последующих стычек было убито 135 драгун и 6 офицеров, украинские казаки потеряли около 400 рядовых и 24 старшин и атаманов; донцы — соответственно 300 простых казаков и одного полковника. Примерно вдвое больше было раненых, из которых многие не выжили. Сколько их было, низвестно — весьма точный в своей информации военный доктор упоминает об этом лишь в общих словах (*Lerche*, 1791. S. 134–135). Зато он называет две, с его точки зрения, основные причины поражения: в войске П.П. Ласси

[1] Один из участников похода сообщает, что за два года, прошедшие с первого похода Миниха, разрушившего крепостные укрепления Ор-Капы, они были полностью восстановлены турками. Исключение составляли бывшие 7 башен вдоль Турецкого вала. На их месте турецкие инженеры оборудовали высокие площадки для крепостной артиллерии (*Lerche*, 1791. S. 130).

было много необстрелянных новобранцев, а драгунские и казацкие кони сильно уступали татарским как в скорости, так и выездке (ibid.). Итак, разгром российского войска ханской конницей был полный.

Собственно, это вторжение было заранее обречено на неудачу, поскольку Менгли-Гирей применил тактику, против которой русские даже с превосходящими силами оказались бессильны. Он сознательно лишил средств существования царское войско, которое по идее Миниха имело минимальный запас провианта и фуража в надежде на местные ресурсы. И восполнить эту нехватку было нечем, так как и флотилия со снабжением, посланная из Азова к крымским берегам, также своей цели не достигла. Как пишет другой участник похода, генерал-фельдмаршал «повсюду нашел край в таком разорении, что армии почти нечем было пропитаться... Кроме того, шедший из Азова флот с провизиею, под командованием вице-адмирала Бредаля был встречен на пути такою сильною бурею, что одна половина судов разбилась, а другая рассеялась. Итак, сделав ещё несколько переходов, гр. Ласси привел армию обратно к Перекопу, где приказал подорвать все укрепления и срыть линии на значительное расстояние» (*Манштейн*, 1875. С. 153).

Таким образом, четвёртый поход российской армии на Крым окончился провалом: П.П. Ласси не справился с возложенным на него заданием, ведь предполагалось «овладеть Кафою, самым укрепленным пунктом в Крыму и морскою гаванью, в которой турки часто содержат свой флот» (там же).

Но уже на следующий, 1739 г., в июне, попытка захвата полуострова повторилась, и снова под руководством П.П. Ласси. Часть русских войск двинулась к Перекопу, вторая — к Генчи, надеясь снова форсировать Сиваш. Однако последнее предприятие отменили, во-первых, из-за высокой воды в Сиваше, а во-вторых, оттого, что на траверзе Генчи крейсировала турецкая эскадра из 6 кораблей, 10 галер и множества более мелких судов, что делало переправу вброд невозможной. Поэтому командовавший этим отрядом Д.Ф. Еропкин ограничился лишь недолгой артиллерийской дуэлью с турецкими кораблями, совершенно бесплодной для обеих сторон.

Главные же силы русских испытывали немалые трудности, оказавшись, как и в прошлом году, без воды и фуража, поскольку крымцы подожгли заперекопскую степь. А когда войско подошло к перешейку, то П.П. Ласси получил известие, что в северном Крыму степь также сожжена. Выхода не было, и генерал-фельдмаршал отдал приказ отступать к р. Молочной (*Lerche*, 1791. S. 158–159).

Впрочем, в августе 1739 г. русские вернулись, беспрепятственно миновав перешеек. Не встретили они сопротивления и на подходе к Ор-Капы: как оказалось, крепость была брошена. Более того, за время, прошедшее после похода 1738 г., ни турки, ни татары не предприняли никаких попыток к восстановлению разрушений. Так что опасавшиеся внезапного удара с юга русские сами принялись чинить крепостные ворота и стены. Бывшие при войске казаки совершили несколько набегов вглубь полуострова, но вернулись ни с чем: все ближайшие деревни были жителями брошены. И тогда П.П. Ласси, учитывая близившуюся осень и полное отсутствие кормов в действительно сожжённой крымской степи, принял единственно верное решение: возвращаться. Так

бесславно закончилось и это, самое «мирное» в истории Крыма вторжение неприятеля на его землю: ни татары, ни русские не потеряли ни одного человека (*Lerche*, 1791. S. 163–164).

Этот вывод подтверждается не только военно-стратегическим, но и политическим анализом событий Русско-турецкой войны 1735–1739 гг. (см. ниже). Между тем, российские историки за редчайшими исключениями утверждают обратное, говоря о победоносном исходе войны, якобы имевшей большое значение для дальнейшей экспансии России в южном направлении и конечном захвате ею Крыма. Это относится и к новейшим (2006 г.) исследованиям этой темы. Так, в качестве важного доказательства доминирующего положения России в Северном Причерноморье уже во время первого похода Миниха приводится вывод, что «русская армия, захватив столицу Крымского ханства — Бахчисарай, некоторое время контролировала полуостров» (*Шапошник В.В.* Русь и степное Поволжье // РСМА. С.191).

Последнее утверждение лишено смысла, поскольку, как мы видели, фельдмаршал, совершив в 1736 г. с боями переход Перекоп — Гёзлёве — Бахчисарай, спешно ретировался, гонимый голодом и эпидемией, из Крыма. При этом вся территория полуострова вне этой узкой маршевой полосы осталась не затронутой военными бедствиями. Мы не говорим уже о каком-то политическом «доминировании» России, ибо власть хана в его государстве оставалась во время кампании 1736 г. абсолютно незыблемой, а в 1737–1739 гг. русское войско к Бахчисараю и близко подойти не смогло.

Подводя итоги действиям российской армии в течение четырех крымских кампаний 1735–1738 гг., нельзя не прийти к выводу о совершенно недостаточной материальной обеспеченности отдельных корпусов и флотилий, а также о слабости командования. Так, австрийский представитель при действующей русской армии во время войны полковник Беренклау писал в Немиров послу Ошгейну о взятии Очакова: «правда, что никогда войско не атаковало города с большим мужеством, но что касается до генералов, то сколько их ни есть, все они способны быть только гренадерскими капитанами» (цит. по: *Манштейн*, 1875. С. 139).

Такой вывод находит подтверждение и в аналитическом обзоре, сделанном современным военным историком: «Русская стратегия в общем [была] плачевна. В четырех крымских походах 1735, 1736, 1737 и 1738 гг. в каждый последующий повторяются ошибки предыдущего, а все вместе повторяют ошибки допетровских времен, „хождений“ Голицына к Перекопу. Основная ошибка — это слишком большая, громоздкая армия, которую трудно довольствовать. Легкий летучий корпус, „корволант“, из драгун с конной артиллерией вполне мог бы ее заменить. Походы Миниха 1737 г. к Очакову и обратно, в 1738 году — к Днестру и обратно — особенно напоминают допетровское полкохождение. Армия движется единой сплошной массой... самый центр этой войны — безлюдная степь, так называемые „Дикие Поля“ — способствовали неудаче этих двух походов, где мы лишились не более 8 000 людей в боях, а свыше 60 000 погибшими от болезней и лишений» (*Керсновский* А.А. История русской армии в 4 т. М., 1992–1994. Том первый. От Нарвы до Парижа. С. 83). Напомню, что по другим выкладкам (учитывая и кампанию 1739 г.) Россия потеряла общим

счётом 100 000 человек[1], и потеряла их фактически попусту, так как Турция отнюдь не чувствовала себя побеждённой.

Этому способствовали и военные действия 1738 г. на втором фронте, близ Днестра. Во-первых, России пришлось вновь, всего через несколько месяцев после захвата, уступить Оттоманской империи мощную крепость Очаков: её просто невозможно было удержать на территории, которую полностью контролировали турки и аккерманские татары.

Во-вторых, Б.Х. Миних проиграл в этом регионе ещё одну кампанию. Весной 1738 г. у него был готов план похода через Днестр и Буг в Молдавию, являвшийся дальнейшим развитием плана кампании 1737 г., подготовленного А.И. Остерманом, хотя и исполненного не до конца (Очаков был взят, но прилегавшие к Бугу и Днестру территории оставались в руках ногайцев и турок). Поэтому фельдмаршал наметил в1783 г. форсировать обе упомянутые реки, затем идти через Молдавию к Бендерам и дальше, рассчитывая, среди прочего, на помощь молдавских бояр (в случае удачи новым властителем в статусе «удельного князя» должен был стать российский ставленник А.Д. Кантемир)[2]. Кроме того, решение этой задачи существенно облегчило бы одновременное с российским выступление австрийской армии по направлению к Видину и другим турецким крепостям.

С моря действия российской армии должна была поддержать Днепровская флотилия, которой предписывалось в случае необходимости преградить турецкой эскадре подходы к днестровскому лиману и Очакову. В начале июня 1738 г. огромная российская армия (108 000 человек только личного состава, не считая десятков тысяч обозных погонщиков) выступила к Бугу и Днестру. Однако оказалось, что на подступах к этим рекам русских поджидают крымские татары и турки. Поэтому, после того как армия Б.Х. Миниха начала переправу через Буг и свернула к р. Кодыме (впадающей в Буг), она тут же подверглась ударам крымскотатарской конницы под руководством сераскира Али-Гирея. Через пять часов боя крымцев удалось оттеснить, и Кодыму форсировать.

После вступления авангарда армии в турецкий эялет Подолию вдали уже показался Днестр. Но удары крымских отрядов становились все ожесточённее. В то же время к Днестру подходили свежие турецкие силы, снятые с австрийского

---

[1] Основная часть этих потерь объясняется отвратительным состоянием российской военной медицины. Согласно данным руководителя военно-санитарного дела Кондоиди, от болезней только в 1738 г. потери в русской армии составили 30 000 человек (*Урланис*, 1994. С. 266). Одной из причин высокой заболеваемости рядового состава была устаревшая система питания солдат. Они получали сырые продукты и были вынуждены самостоятельно готовить из них пищу, что в походных условиях не всегда удавалось. В этом смысле крымцы и турки находились в более выгодном положении — по причине иного «меню». Им не нужно было часами варить щи или кулеш. Достаточно было нагреть котёл воды и залить кипятком толокно или иную муку — и обед был готов.

[2] Это был сын Дмитрия Кантемира, который после Прута переехал в Россию с 4 000 подданных. Здесь он получил обещанные имения и титул князя Российской империи. Умер Д. Кантемир (1723) сенатором Российской империи, в чине статского советника и был погребён в одном из московских монастырей. Но в 1935 г. по просьбе правительства Румынии его прах был перевезен в Яссы и в этой столице бывшего Молдавского княжества заново захоронен (*Ермуратский*, 1983. С. 23, 25).

фронта. Вообще положение Турции явно улучшалось: ей удалось обезопасить себя, отбросив австрийцев почти к Белграду и захватив стратегически важную сербскую крепость Ягодину. При этом турок радостно встречали местные славяне, измученные австрийскими налогами — вместе с сербами и румынами Баната и Алмаша. Под власть султана добровольно переходили десятками деревни и села, вплоть до самой Хорватии (*Кочубинский*, 1899. С. 398–399).

Усиление Османской империи сказалось и на ходе днестровской кампании. Армию Б.Х. Миниха удалось остановить. Но лишь в 20-х числах июля фельдмаршал впервые признал в своём донесении, что не в состоянии форсировать Днестр по причине скопления крупных сил противника прямо по фронту и, главное, непрекращающихся ударов крымских татар с фланга (от р. Саврань). Поэтому русские развернулись в северо-западном направлении и двинулись от Саврани в область притоков Днестра: рек Молокиши, Билочи и Каменки, поскольку в условиях жаркого лета 1738 г. главной задачей стало обеспечение людей и тяглового скота водой.

Фельдмаршал вывел в июле армию к реке, но почему-то в наиболее неудачном месте. Из-за огромной высоты обрывистого берега спуск к Днестру оказался невозможным. Вообще Б.Х. Миних в своих донесениях объяснял такие тяжкие промахи действиями крымских татар. Он оправдывался перед Петербургом, что из-за них не может даже разобраться с местностью: татары умышленно «разгоняют обывателей и потому нельзя узнать подлинно, где взять фуражу и миновать трудные дефилеи» (цит. по: История лейб-гвардии Преображенскаго полка 1683–1883 г. Том II. 1725–1801 гг. / Составил гвардии капитан *А. Чичерин*. СПб., 1883. С.50). Эти признания раскрывают ещё одну сторону слабого руководства российской армии, неспособной передвигаться по незнакомой местности без сбора сведений у местных жителей[1].

Выступив вверх по течению близ берега Днестра, армия Миниха продолжала испытывать сильнейший недостаток в воде: к реке её по-прежнему не подпускали крымские татары. Подойдя к р. Билочи в месте, снова неудачно избранном Б.Х. Минихом, войско переправиться через нее не смогло. Став лагерем между речками Молокишью и Билочью, русские постоянно подвергались с востока атакам крымцев, а с запада — турок, переправившихся тем временем через Днестр на лодках. Опасаясь попасть в турецко-крымский котёл, Б.Х. Миних спешно вернулся к Днестру, после чего началось форсированное отступление по безводью и страшной жаре к р. Каменке. Крымские конники, пользуясь тяжёлым физическим состоянием солдат, на последнем участке пути (у Поповой Гребли), на скаку выхватывали их, как малых детей, прямо из походных колонн.

На протяжении всего отступления делались попытки фуражирования, но почти все они также оканчивались захватом солдат в плен (всего за время этого марша в плен попало 10000 человек; столько же пало от походных лишений и в результа-

[1] Невероятно, но факт: ни у Б.Х. Миниха, ни у П.П. Ласси не было ландкарт (и это в конце первой трети XVIII века!). Последний лично вычертил план Крыма лишь на четвертый год войны с ханством. Кстати, не лучше обстояло дело и с морскими картами, даже такому профессионалу, каким был П. Бредаль, приходилось двигаться со своей флотилией наобум. Это приводило к нелепым ошибкам: так в 1737 г., подходя к берегам Крыма, вице-адмирал принял Сиваш за устье какой-то речки (*Висковатов*, 1830. С. 11).

те атак противника). Кроме того, туркам и крымцам достался весь армейский обоз и почти вся тяжёлая артиллерия армии. Лишь 6 августа поредевшие колонны русских подошли к Каменке. Здесь впервые оказавшиеся в безопасности остатки войска наконец-то добыли воды и сена для лошадей и волов. Реку Буг на пути отступления удалось форсировать лишь у Тростянца. Далее войско двинулось, теряя людей и скот, закапывая пушки, ядра и порох от шедшего по пятам противника, к Киеву.

Фельдмаршал оправдывал катастрофический провал этого похода не собственным неумением или недостатками армейской разведки, а массовым дезертирством. Отчасти и это было правдой: от голода солдаты уже не первую кампанию бежали не только к польской границе, но и к туркам с татарами (*Кочубинский*, 1889. С. 404–412).

Эти события не могли не оказать сильнейшего влияния на ход мирных переговоров России с Турцией в Белграде на конгрессе, который должен был положить конец войне 1735–1739 гг. Инициатором этой встречи стала, как и накануне Немирова, Австрия. Она предложила возобновить сорванные в 1737 г. переговоры, теперь уже при посредничестве Франции, которую в Стамбуле представлял маркиз Вильнёв. Между тем союзники по войне с Турцией находились в неравном положении. Если Австрия потерпела, начиная с 1737 г., ряд тяжёлых поражений, а в 1739 г. увидела турок у стен своей крепости Белград, то русские в этом году нанесли османам сокрушительное поражение при Ставучанах. Затем *мухафиз* (комендант) мощной турецкой крепости Хотина, Ильяс Колчак-паша, без боя сдал её, а вскоре пала ещё одна, слабее укреплённая, но стратегически важная крепость Яссы.

Поэтому политики Петербурга, которые, несмотря на неудачи в Крымских походах 1735–1738 гг., надеялись развить успех на землях Западного Причерноморья, рассматривали предложение австрийского союзника без энтузиазма. Однако в начале сентября Австрия подписала у стен Белграда упоминавшийся сепаратный мирный договор с Портой, что делало для России продолжение войны на юге малоперспективным. Поэтому российский уполномоченный (и в этой роли выступал маркиз Вильнёв) прибыл в том же месяце в Белград, где уже 18 сентября был подписан мирный договор с турками.

По его условиям, Порта признавала право России на владение Азовом, но лишь после того как крепость будет демилитаризована (вплоть до ликвидации фортификационных сооружений). Взамен российская сторона получала право выстроить новую крепость на донском острове Черкасе, а Турция — в устье Кубани. России запрещалось держать корабли на Чёрном и Азовском морях, то есть даже торговля с Турцией могла осуществляться перевозками товаров на исключительно турецких кораблях. Наконец, была вновь подтверждена независимость от России Большой и Малой Кабарды (Текст Белградского мирного договора см.: ПСЗ. Т. X. № 7900).

Условия Белградского мирного договора, среди прочего, со всей очевидностью показали уже известное. А именно, что тяжёлая война, которую Россия вела с 1735 по 1739 гг., оказалась совершенно безрезультатной, а огромные человеческие жертвы, понесенные в четырех кампаниях, были принесены без какой-либо выгоды в политическом, военно-стратегическом или экономическом положении державы (Подробнее см.: *Белов Е.* Турецкий поход 1739 г. и Белградский мир // Древняя и новая Россия. 1878. № 4. С. 336–338). В дальнейшем Петербург

пытался исправить сложившуюся в Северном Причерноморье ситуацию, однако первых успехов России удалось добиться лишь через 35 лет, когда в придунайской деревне Кючук-Кайнарджа был в 1774 г. заключен новый, более для неё выгодный русско-турецкий договор.

Следует отметить, что в Немирове и Белграде твёрдая позиция послов Порты была поддержана Европой, снова ощутившей реальную русскую опасность как по отношению к соседним западным странам, так и в смысле захвата Россией Босфора[1]. Шведские послы в Стамбуле Хепкен и Карлсон уже тогда начали работать над союзом своей державы с турками; их всячески поддерживал французский дипломат Вильнёв. Но когда шведско-турецкий союз был практически готов, против его ратификации активно выступило русское правительство (*Zinkeisen,* 1856. S. 814).

Из-за вновь обострившейся персидской угрозы турки не решались противиться нотам Петербурга, ратификация договора со шведами затянулась. И вот, в сложившейся неясной, ежеминутно меняющейся обстановке начинаются новые, уже шведско-крымские переговоры. В этом диалоге не менее бахчисарайских политиков были заинтересованы шведы. Они понимали, что именно согласие хана выступить против русских могло нарушить неустойчивое равновесие, в котором оказалась политика Порты из-за борьбы двух партий в султанском диване (подр. см.: *Возгрин*, 1978. С. 330).

Переговоры со шведами шли в 1741–1742 гг. в Бахчисарае. Сюда, ко двору Селамет-Гирея II (1740–1743), прибыл из Стамбула консул Вентуре де Парадиз, представлявший одновременно королей Франции и Швеции. В инструкции консулу мало что говорилось о Турции, выполнение изложенных в ней задач целиком основывалось на традициях «дружбы Швеции и Крыма» и на общих интересах по отношению к России. Исходя из этого, крымскому хану следовало бы немедленно объявить, наконец, войну русским, без апробации этого решения Турцией, но полагаясь на шведскую поддержку. Иначе, гласил IV пункт инструкции, рано или поздно Крым будет захвачен Россией.

Но даже начавшиеся уже военные действия России на шведской границе не могли придать Селамету решимости. На этот раз он опасался не столько турок, сколько персов. И, заверив Вентуре де Парадиза в добрых чувствах к своему «шведскому брату» Фредрику I, хан начинает длительные консультации со Стамбулом. Турки, естественно, никакого положительного ответа не давали. А вскоре появилось ещё два фактора, окончательно похоронивших надежду на

---

[1] Эти опасения прямо вытекали из логики последних событий или, точнее, из повторявшихся попыток России захватывать всё новые территории Турции и Крымского ханства. В том, что такие попытки будут продолжены, не было сомнений ни в Европе, ни в самом Петербурге. Об этом говорит красноречивая поздравительная ода на немецком языке, поднесённая Петербургской Императорской академией Анне Иоанновне после заключения Белградского мира (перевод 1740 г.): «Что ещё недостаёт к наибольшей вашей славе? Путь в Константинополь вам отворен. Исполняйте желание всех христианских народов; сокрушайте оныя Седьм башен (т. е. древний замок Едикуле в Стамбуле. — *В.В.*); следуйте за бегущими от вас при Дунае; распускайте свои победные знамена. Скоро можно будет на Филистинских холмах видеть кресты вместо полумесяцов» (Примечания на Санкт-Петербургские Ведомости 1740 г. С. 140).

шведско-крымский альянс. Персы сконцентрировали огромное войско на Кавказе, а в России взошла на престол Елизавета Петровна, дружественно настроенная к Швеции и тут же прекратившая военный конфликт на севере.

История последних в истории шведско-крымскотатарских переговоров стала прелюдией к выше уже упоминавшейся, наступившей в 1740–1750-х гг. полосе турецкой политики, направленной на поддержание мирных отношений с Россией и Польшей. Не первое десятилетие терявшая позицию за позицией на европейском континенте, неумолимо слабевшая империя османов всё последовательнее переходит от былой активной политики к концепции глухой и бесперспективной самозащиты. И если султаны ранее смещали крымских ханов за недостаточную военную активность в пользу мусульманского мира, то теперь Гиреев стали поощрять за искусство хранить мир со славянами.

И в этом отношении весьма показательна история обоих периодов правления Арслан-Гирея (1748–1756; 14 марта — июнь 1767). Хан этот отличался завидной энергией, прежде всего во внутренних делах Крыма. Он сумел в краткий срок сделать то, чего не удалось его предшественникам: уничтожить все следы пребывания русских на крымской земле. Строители пришли на брошенные десяток лет до того руины городов и сёл. Были реставрированы и отстроены заново мечети, медресе, дворец ханов, загородные поместья, разрушенные крепости и укреплённые пункты Ор-Капы, Арабат, Уч-Оба, Джеваш, Чонгар. Перекопские рвы были очищены, углублены и наполнены морской водой, появились и новые рвы. Старинные медресе расширялись за счёт многочисленных пристроек, необходимых для преподавания и проживания сохт, поднялось множество новых общественных зданий и т. д.

Глубоко озабоченный наступившей раздробленностью ханского рода и даже переходом ряда членов его на сторону оппозиции, Арслан-Гирей сумел вновь собрать их воедино. Это касалось и тех султанов, которые покинули Крым, время от времени становясь во главе восстаний кубанских и буджакских ногайцев, черкесов и т. д. Хан избрал для примирения с ними проверенный способ: он объявил им о прощении за прошлые грехи и стал наделять их высокими постами, важными привилегиями, почётным оружием и другими дарами. В результате большинство этих принцев крови из противников ханской власти стали её сторонниками (*Гайворонский*, 2003. С. 80–81).

Но благодарность от султана хан получил, прежде всего, не за свою беспримерную восстановительную деятельность, длившуюся много лет. Теперь Порта, как упоминалось выше, прежде всего опасалась за сохранность собственных владений и Гирея благодарила единственно за соблюдение «условий дружбы и приязни с Российскою державою и Польскою республикою», а также за то, что он не только расширил и укрепил крепости Ор-Капы и Арабат, но и заселил их пришлыми ногайцами, сумев уговорить степняков сменить кочевой быт на городскую жизнь (*Смирнов*, 1889. С. 77). Впрочем, восстановить свою державу в столь краткий срок и, главное, целиком и полностью, этот Гирей вряд ли смог бы без братской помощи из-за моря. Имеются сведения, что в этот период из Турции в Крым прибыли архитекторы, инженеры, множество строительных рабочих, морем завозились даже стройматериалы, что было в ту эпоху и вовсе необычным (*Schlechta-Wssehrd*, 1863. S. 38).

8. Катастрофа 1735–1738 гг. в зеркале крымской истории

Ощущение полной беззащитности против военного вторжения, естественно овладевшее крымскими татарами после нашествия, имело реальную основу в политической ситуации нескольких первых мирных лет. Ханство не только осталось без союзников, но теперь сошло на нет и внимание к нему султана Османской империи. Не случайно именно в этот момент ставит последнюю точку в своей книге крымский государственный деятель и талантливый историк Ибраим-эфенди Кефеви.

Это солидное исследование в области политической истории не имело какого-то фиксированного в титуле названия, а, как в ту эпоху нередко случалось, именовалось описательно[1]. Сам автор во вступлении отмечал, что это — трактат «о государствах татарских, о народах черкесском, ногайском, московском, казацком и дагестанском, о состоянии державы Оттоманской и державы Крымской, о том, каким образом воюют они с Россией и в чём истоки их вражды к России» (*Kefevi*, 1934. S. 68). Что касается автора, то он рекомендует себя таким образом: «Ибраим-эфенди, сын Али-эфенди из Кефе, генеральный секретарь хана татарского» (то есть Фетх-Гирея II). Далее автор указывает, что трактат был написан им «по высокому повелению хана», отчего его можно датировать приблизительно концом 1730-х гг. Рукопись книги была отыскана адвокатом Омером Фуат-беем, по происхождению крымским татарином, в период между двумя мировыми войнами проживавшим в Стамбуле. Затем она была издана в Турции крымским политическим эмигрантом, известным политиком и историком Джафером Сейдаметом. Позднее труд переиздал в Польше профессор-востоковед Абдулла Зинни; именно эта научная публикация в данном случае используется.

Ибраим Кефеви начал работу над своим исследованием ещё в 1720-х гг., но лишь через десяток лет, когда Леонтьев, Миних и Ласси окончательно расставили в российской внешнеполитической доктрине все точки над i, бахчисарайский аналитик смог завершить важнейшую, резюмирующую часть своего многолетнего труда (композиционно он придал ей форму вступления).

Чисто методологически исследование И. Кефеви заслуживает самой высокой оценки, исходя даже из современных научных требований к работам такого рода. Автор ищет корни крымской трагедии не в злой воле российской царицы — всего лишь женщины, занявшей имперский престол вполне случайно и вряд ли надолго. Напротив, он видит в Анне Иоанновне не более чем инструмент, послушный воле петербургского её окружения и, шире, имперской нации. Именно об этом, о странностях великорусской психологии И. Кефеви считает нужным остановиться уже на первой странице своего трактата.

«Народ московский — коварен и лицемерен, на его слово полагаться невозможно, поскольку он говорит одно, а делает другое, и эта его особенность уже вошла в пословицы народов христианских». В дальнейшем автор переходит к конкретным действиям конкретных политиков, что должно подкрепить уже

[1] Крымский историк и общественный деятель Джафер Сейдамет условно назвал эту книгу «История государств Татарского ханства, Дагестана и Дешт-и-кипчака» (*Сейдамет*, 2009. № 1. С. 14).

изложенные предварительные его выводы о природе и особенностях корня зла, об истоках несчастья, постигшего его родину: «Хотя было известно, что нарушение [мирного] договора произошло по их вине, но московиты, дабы не принимать на себя ответственность, доказывают, что учинила это прехитрым образом держава Оттоманская. Оправдание же они себе создали в виде ноты министра Остермана от 12 апреля 1736 г., который публично выдвинул измышление насчет того, что трактат-де разорвала Оттоманская держава. Но вся история наша показывает... что Крым никогда не был русским или турецким украшением. И, к нашему счастью, никогда им не будет. Он был и остаётся крымским. Да, в своё время он шёл, под русским давлением, к своему закату — я сам тому был свидетелем. Но, к счастью, вернулись [из похода] татары, и он вернулся на свой исторический путь. Эта книга — скромный верстовой камень на обочине дороги, по которой идут мои дорогие соотечественники» (*Kefevi*, 1934. S. 68).

Далее историк вновь уходит от конкретных событий, какими бы кровавыми и драматичными они ни были, в просторное поле научных обобщений и глубоких выводов. Возвращаясь к приводившейся выше предвоенной ноте А.И. Остермана, он доказывает, что этот наглый, ничем не спровоцированный разрыв мирных отношений, приведший к сожжению Крыма, — лишь очередное внешнее проявление глубоких закономерностей внешнеполитической традиции и практики русских соседей:

«Известно, что держава и престол Дешт-и-Кыпчак с полным составом прилежащих ему титулов и достоинств принадлежали ханам крымским, потомкам Джучи-хана, старшего сына великого Чингис-хана. Но московское государство путём различных комбинаций вырвало из рук мирз, беев и иных властителей значительные территории этой державы... Впрочем, многие не принимали подданства Российского без согласия хана Крыма. И тогда русские цари, используя хитрость и обман, забрали столько татарских земель, что было бы только удивительно, если бы и этот договор нарушили не они, а Оттоманская держава...

В качестве оправдания же свалили они всю вину на Оттоманское государство, но весь мир знает, что это они разорвали трактат. И разве не известно, что Екатерина I, нацелясь на польские свободы, воспрепятствовала выбору Станислава на королевский престол? И разве вскоре после заключения мира с Оттоманским государством её войска не перешли польскую границу и не оставались на польских землях целую зиму, всячески угнетая население? И тогда польские магнаты обратились ко всему миру с жалобой на то, что русские разорили весь польский край, грабят его уже на протяжении четырёх лет, отбирая всё, что только можно отобрать. Вот каковы они, их мир, их честная дружба. Да какой же христианский народ способен на такое? Всё это присуще исключительно московитам, известным среди честных людей своими мерзкими и подлыми поступками. Оттого-то уже давно ни одна из европейских держав не даёт веры ничему, что исходит из Петербурга...» (*Kefevi*, 1934. S. 69).

В дальнейшем автор не оставляет своим вниманием позицию, которую избрала для себя Турция. Краткий анализ крымской политики Стамбула на протяжении последних двух столетий позволил ему сделать три основных вывода.

Первый: султаны не просто проявляли инертность в отношении основного врага Крыма и самой Османской империи, то есть Московского государства.

Хуже было то, что когда им предлагали перспективные или элементарно выгодные политические ходы, то эти внешние инициативы пропадали втуне. Таких примеров было немало, начиная с предложений о сотрудничестве, которые присылали Степан Разин и Запорожье, и кончая попытками Девлет-Гирея II извлечь максимум пользы из провала Прутской авантюры *Петара Дели* («Петра Безумного») в 1711 г. (*Kefevi*, 1934. S. 69, 77–78).

Второй вывод логически исходит из первого. И. Кефеви указывает, что для султанского правительства традиционно характерны близорукость в политических отношениях с Россией, неумение выделить главное в государственной идее московских царей и всероссийских императоров: безграничную жажду захвата всё новых и новых территорий с конечной целью превращения России в сверхдержаву (тогда это ещё называлось «в великую державу». — *В.В.*). Так вот, если внешняя политика султана с его окружением кардинально не изменится, то уже в самом ближайшем будущем Россия станет безусловно опасной не только для Крыма, но и для Турции, и для всего тюркского мира (*Kefevi*, 1934. S. 79).

Третий вывод касался будущего крымского народа. В нём автор «с прозорливостью, граничащей с чудом, предсказал величайшую катастрофу истории тюрков [в том числе и прежде всего крымских. — *В.В.*] в XVIII–XIX веках» (*Сейдамет*, 2009. С. 14). Как будет видно из последующего материала, он и в этом, к сожалению, не ошибся.

Книга интересна ещё и политически-философскими выводами автора, который был известен в тюрко-арабском учёном мире как критик философски-поведенческих принципов *Приспособления к ситуации* (ıdarei maslahat) и *Просвещённого эгоизма* (mukaddes hodbinlık). Причём И. Кефеви рассматривал эти категории в сугубо прагматичном их использовании в государственно-правовой и политической практике. Так, он предупреждал не только султана, но и своего хана Фетх-Девлет-Гирея II о великой опасности, которую несут с собой намерения России по отношении к Турции, вообще южным соседям, настаивая на *превентивной совместной войне* против северного агрессора, пока не поздно. Проект бахчисарайского государственного деятеля был разработан в результате всестороннего анализа общей ситуации; как доказали исследователи жизни и творчества Ибраима Али-огълу Кефеви, он был на него способен, владея не только несколькими языками, но будучи хорошо знаком с новой и новейшей историей, основными принципами геополитики и так далее (*Sejdamet*, 1994. S. 105).

О судьбе замечательного трактата И. Кефеви мы можем судить, к сожалению, лишь в общих чертах. Известно, что хан внимательно ознакомился с трудом и приказал отправить его в Стамбул, султану. Тот, как и следовало ожидать, не обратил должного внимания на крымское пророчество, и история в дальнейшем развивалась целиком и полностью так, как это было предсказано Ибраимом-эфенди. А принцип *Приспособления к ситуации*, столь яростно критиковавшийся крымскотатарским мыслителем, к сожалению, ещё несколько поколений в истории крымскотатарского народа оставался ведущим принципом для немалого числа его правителей, что затрудняло борьбу ханства (и, кстати, его соседей) за независимость от России, за надёжный мир и общую безопасность.

В более практическом же плане пророческие рассуждения И. Кефеви могли только усугубить мрачные предчувствия мыслящих членов крымскотатарского

общества относительно будущности страны, к рубежам которой столь угрожающе и неотступно надвинулся российский имперский монстр. И уже тогда, почти *за полвека до аннексии,* из Крыма потянулся на юг ручеёк эмигрантов (*Абдульваапов*, 1999. С. 74). Он ещё не был полноводным, но со временем, по мере того как над родиной собирались тучи, пришедшие с севера, ему было суждено становиться всё более мощным, превращаясь в неудержимый поток.

Нам неизвестно, сколько крымских татар получили возможность ознакомиться с трудом И. Кефеви, прежде чем рукопись была отправлена в Стамбул. Наверняка этот круг был крайне узок, а большинство крымцев даже не слышало о книге. Однако на родине её автора со временем стали появляться личности, которые во многом были поразительно на него·похожи как широтой политического мышления, так и способностью выбирать из многих путей культурного и политического развития страны и нации наиболее благоприятные. Об одной из таких личностей пойдёт речь в следующем разделе этого очерка.

9. Дипломатия и внутренняя политика Крым-Гирея

Упоминавшееся выше ослабление Турции в конце XVII в. и, как следствие, почти полный отказ Стамбула от традиции решать политические проблемы силовыми методами подействовали умиротворяюще далеко не на всех крымских ханов. Совершенно иные выводы из этого исторического факта сделал для себя Крым-Гирей, правивший страной с 1758 по 1764 гг. Очевидно, жизненный путь этого государя стоит рассмотреть несколько подробней, чем судьбы иных его современников, хотя бы потому, что далеко не всех из них можно отнести, как Крым-Гирея, к великим людям XVIII в.

Он родился в 1718 г. вдали от Крыма, в небольшом городке Визе, затерявшемся на окраине Оттоманской империи, в семье сосланного крымского татарина, бывшего хана Девлет-Гирея II. Отец умер, когда сыну было 7 лет. Возраст небольшой, вряд ли мальчик мог осмыслить идеи, пронесённые отцом через всю жизнь, а именно идеи о необходимости неустанно бороться с опасностью, грозившей крымскотатарскому народу с севера. Однако старший брат мальчика, Арслан-Гирей, наверняка передал будущему хану главную из отцовских мыслей — о том, что Петербургу нельзя доверять никогда и ни в чём.

Об этом можно судить, среди прочего, и по юношеской клятве Крым-Гирея, которую он дал своему окружению, маленькой крымскотатарской диаспоре, заброшенной на турецкую чужбину: «Я обещаю приложить все силы, чтобы навсегда сломать зубы исконным врагам моей родины. И я твёрдо верю, что тот Бог, которому я поклоняюсь, раньше или позже передаст в мои руки это праведное дело мести». Юноша явно имел в виду не только месть за недавнее разорение его далёкой родины, когда в Крым «вторглось свирепое русское войско во главе с маршалом Минихом для войны против наших городов и деревень, для того, чтобы уничтожить огнём наш прекрасный полуостров и залить его кровью наших мужчин и женщин» (цит. по: *Мундт*, 1909. С. 32). Легко заметить, что в словах будущего хана уже в ранний период его недолгой жизни сквозит мысль о том,

что мир в Крыму и процветание ханства напрямую связаны с ослаблением России вооружённым путем.

Прошло некоторое время, и в 1748 г. султан послал на крымский престол старшего сына Девлет-Гирея, Арслана (правил до 1755 г.). А тот вскоре назначил своего младшего брата, уже успевшего проявить необычные способности повелевать, сераскиром Буджакской орды. Это был трудный пост, поскольку чем далее продвигались русские на юг, тем больше волновались ногайцы, тем большую самостоятельность проявляли все заперекопские орды. Одновременно Крым-Гирей стал нуреддином, что также налагало на него многотрудные обязанности. Ему приходилось много времени проводить в поездках по своим обширным владениям, не забывая о необходимости регулярной работы в ханском диване.

Не особо препятствуя страсти буджаков к мелким набегам на поляков и других соседей, новый сераскир целиком отдался основной цели своей жизни — созданию для Крыма системы безопасности от внешнего врага. Пока он видел её в том, чтобы отодвинуть от границ ханства совсем уж вплотную придвинувшуюся цепь русских крепостей, военных поселений и засек, которые служили единой цели быть опорными пунктами в повторении кровавых рейдов русской армии по крымским просторам. Тратя немало средств, которые безропотно присылал ему брат из Бахчисарая, он ликвидирует Елизаветинскую и иные крепости по обе стороны Дона. Причём неоднократно, так как русские столь же упорно восстанавливали разрушенное.

Тогда же политика сераскира буджаков приобретает международные масштабы. Понимая, что с опасным врагом в одиночку не справиться, а на Турцию здесь надежда слабая (за годы жизни в имперской провинции он основательно ознакомился с продажностью турецких чиновников), Крым-Гирей направляет в 1750 г. собственное посольство к королю Пруссии Фридриху II Великому. То, что сераскир проявил такую инициативу, само по себе было необычным. Ханы неоднократно по собственной воле завязывали отношения с европейскими монархами, но не сераскиры. Это вообще редкий, едва ли не единственный случай во всей истории Крымского ханства.

Конкретная цель посольства была немаловажной: завязать крымско-прусские отношения с перспективой на будущую взаимную поддержку против сильных соседей. Этот никем не санкционированный шаг имел и ещё одну примечательную особенность. Он означал новый отход крымской политики от турецкой доминанты в сторону самостоятельности. Как указывалось выше, от принуждения к осуществлению международных сношений ханства только через турецкий двор некогда гордо отказался отец Крым-Гирея.

Теперь же, в 1740—1750 гг., Крым под властью Арслан-Гирея не только окончательно оправился от набегов России, но и значительно усилился. Тем не менее, власть бахчисарайских государей над их ногайскими подданными оставалась несколько зыбкой и сильно зависела от внешнеполитической ситуации. Отчасти это обстоятельство, а именно невозможность вести самостоятельную политику, буквально разрываясь на несколько фронтов, заставила Крым-Гирея временно, до стабилизации общей обстановки, отойти от активного участия в руководстве ханства. Он добровольно сложил с себя должности сераскира и нуреддина и уда-

Степные татары, конец XVIII в.
Гравюра Х. Гейслера. Музей Ларишес

лился в собственное именье Пынарбаш, располагавшееся в окрестностях болгарского Бургаса (*Халим Гирай*, 2008. С. 154).

В любом случае, это был хорошо продуманный ход, так как вскоре Турция дошла в своём стремлении всячески задабривать Россию до того, что заставила новых сераскиров[1] буджакской орды возмещать русским комендантам убытки, наносимые ногайцами в случае военных конфликтов. При попытке переложить эти суммы на самих буджаков те взбунтовались не только против сераскира, но и самого хана (им после отставки Арслан-Гирея в 1755 г. ненадолго, до 1758 г., стал более послушный Порте Халим-Гирей). Мятеж ширился, ему оказали поддержку бендерские янычары, давние товарищи ногайцев по совместным набегам на поляков и русских. Тогда же во главе движения неожиданно стал Крым-Гирей. У ордынцев остались самые добрые воспоминания о своём бывшем сераскире, к нему потянулись недовольные политикой правящего хана, и мятеж разгорелся, как степной пожар. Осенью 1758 г. под бунчук сына великого Девлет-Гирея II стеклись огромные массы не только ногайцев. К нему пришли румелийские турки, которых также тревожило продвижение русских вдоль дунайского берега

[1] Этими сераскирами были сделаны сыновья хана Халим-Гирея (см. ниже), причём назначения совершились в обход имевшихся традиций и законов: были попраны права более старших ханских сыновей. Одного этого было бы достаточно для волнений, но кроме всего прочего, названные сераскиры установили в своих ордах атмосферу необузданного произвола и насилия. Эти подробности, как и сведения о внутридворцовых интригах в Хан-сарае, сообщает находившийся в Крыму именно в те годы французский консул и известный автор-мемуарист Ш. Пейсонель (*Peyssonel*, 1787. Vol. II. P. 330–347).

Чёрного моря, — ведь султан не оказывал этой ползучей угрозе никакого действенного сопротивления.

В начавшейся гражданской войне Турция приняла, естественно, сторону своего ставленника — крымского хана, и тогда мятежники во главе с Крым-Гиреем двинулись в сторону Стамбула. Совсем недавно занявший престол султан Мустафа III пытался организовать оборону на своих северных рубежах, но он не смог собрать войско, хотя бы численно достаточное для противодействия бывшему сераскиру. Очевидно, на это и рассчитывал Крым-Гирей: в безвыходном для султана положении им был смещён хан Халим. А 21 сентября 1758 г. в Бахчисарай прибыл гонец из Порты, привёзший знаки нового достоинства Крым-Гирея (*Peyssonel*, 1787. Vol. II. P. 362). Мустафе III пришлось предоставить престол в Бахчисарае предводителю, который и без того властвовал над значительной частью крымских татар.

Известие об этой важной политической перемене быстро достигло других государей Европы. Особенно она заинтересовала короля Пруссии, державы, находившейся в состоянии войны с Россией[1] и уже потерпевшей от неё поражение при Гросс-Егерсдорфе (1757), а затем и при Кунерсдорфе (1759). Король Фридрих II, обладавший цепкой памятью и не забывавший энергичного сераскира, направил к новому хану (естественно, снова в обход Порты) своего дипломата короля Боскампа. В ответ в полевой ставке короля при Штрельне в октябре 1761 г. опять появилось посланцы Крым-Гирея. Во главе их стоял близкий к хану эмир Мустафа-ага. В его посольском багаже имелось официальное предложение королю союза и воинской помощи силами 16-тысячного конного корпуса для боевых действий Пруссии на восточном фронте. При этом хану было известно, что против этого союза был практически весь султанский диван, находившийся под влиянием великого визиря Коджи Рагыба, категорически настроенного против какого бы то ни было соглашения с европейскими монархами (*Югош*, 2007).

Условия союза, предложенного ханом, были для Пруссии весьма выгодными, но нуждались в дополнительной разработке. И в Бахчисарай тут же поскакал с соответствующими полномочиями адъютант Фридриха II, барон А. Гольц, профессиональный прусский дипломат, везя с собой драгоценные подарки хану, а также шифровальный ключ для дальнейшей личной переписки двух государей.

Однако в дальнейшем перспективы такого союза значительно сузились по причине, которой никто не мог предвидеть. Умерла Елизавета Петровна и на престол Российской империи взошёл Пётр Фёдорович (1761). Новый царь (бывший герцог Пётр Ульрих Голштейн-Готторпский) настолько любил всё прусское (точнее, обожал *пруссачество*), что тут же пошёл на уступки своему кумиру Фридриху[2]. Это сделало для Пруссии нецелесообразными её антирусские союзы, в том числе и с Крымом, ведь у Петра III можно было и мирным путём добиться чего угодно.

---

[1] Речь идёт о Семилетней войне 1756–1763 гг., где против Пруссии (с союзницей Англией) выступали, кроме России, Австрия, Франция, Швеция, Саксония и бóльшая часть членов Священной римской империи германской нации.

[2] Новый император первым делом прервал удачно для России складывавшиеся военные действия на германском фронте. Он отозвал оттуда корпус З.Г. Чернышёва, поспешно заключил с Пруссией мир, и тут же установил дружеские отношения с её королём.

Соответствующе изменилась и позиция А. Гольца в Бахчисарае. Несмотря на то, что 60 тысяч крымских татар уже шли на соединение с королевской армией, теперь посол предлагает вместо задуманного совместного похода на Россию нечто иное. По его плану крымское войско, пройдя через Польшу и избегая при этом «всяких неприязненных действий против русских», должно было вторгнуться совместно с прусской армией в Венгрию. Это был план совершенно иной войны, абсолютно чуждой интересам Крыма, которым угрожала прежде всего Россия. Поэтому хан, пытавшийся вернуть переговоры в старое русло, увидев бесполезность своих усилий, прервал их, но поручил А. Гольцу передать своему королю, «что русским никогда не следует доверять, хотя бы они высказывали самые приятные и надёжные обещания» и что его народ и страна ещё пожалеют, что теперь», когда Крым собрался «ударить на своего исконного врага, его останавливают» (цит. по: *Мундт*, 1909. С. 45).

Убедившись в твёрдой позиции хана, Фридрих II пытался подействовать на него, предложив за участие в войне против Венгрии огромную сумму (350 000 пиастров), но Крым-Гирей был непоколебим и отозвал свои 60 000 воинов, тем временем уже успевших дойти до Бендер. Вместо Пруссии нужно было искать какого-то иного союзника, и хан остановил свой выбор на Польше.

В Варшаве тех лет царил полный разлад, королевская власть, не без деятельного участия России, шаталась, происходили ожесточённые схватки отдельных групп шляхты, каждая из которых продвигала на престол своего претендента, и так далее. К тому, чтобы заручиться гарантированной поддержкой этой вольной и ненадёжной республики, вёл один путь: нужно было иметь на её троне «своего» человека (в Польше это было вполне реально).

И Крым-Гирей стал подбирать такого претендента, препятствуя избранию на польский трон российского ставленника Станислава Понятовского, одновременно усилив свою дипломатическую активность в Стамбуле. Там он склонял Мустафу III к новым походам на север в случае, если в Польше дела пойдут как намечено. Хан позволял себе снова и снова обращать внимание слишком беспечного, по его мнению, султана на русские поползновения на кавказском фланге турецкой империи, а также в Польше (*Смирнов*, 1881. С. 90–91, 94–97). Вообще активность и влиятельность крымского хана достигла в политических кругах Османской империи небывалого уровня. Даже русские послы всё чаще стали получать из Петербурга инструкции, где им предлагалось, прежде чем входить с той или иной дипломатической инициативой к султану, предварительно заручаться согласием хана. Смысл здесь был даже не в поисках поддержки, а хотя бы в обещании не противодействовать, иначе дела можно было и не начинать.

Не сразу, с трудом, но в Петербурге осознали и ещё одну новую реальность, а именно то, что Крым-Гирей принадлежит к числу таких государей, с которыми считаются, независимо от реальной мощи (или немощь) их военной силы. После чего царское правительство приняло решение об учреждении в Бахчисарае постоянного дипломатического представительства. При известии об этом хан остался верен себе. Неофициально, до обмена верительными грамотами, он обещал дать согласие на такое представительство, с одним условием: чтобы даже известительная грамота об этом была отправлена напрямик в Крым, а не через Стамбул, как это бывало в сношениях Петербурга и Бахчисарая ранее. Впрочем, это был проект тупиковый:

никакое консульство или посольство в Крыму не могло скрыть постоянную готовность России наброситься на Крым при первой удобной возможности. Хан это знал и, не питая иллюзий в смысле дальнейших отношений с северным соседом, использовал каждый мирный год для укрепления своей страны.

О том, как он вёл свою внутреннюю политику, к сожалению, осталось не слишком много собственно крымских источников. Но деятельность хана была столь необычной, а её результаты столь впечатляющими, что это не могло не возбуждать любопытства в зарубежных государствах. Именно там и отложилась драгоценная информация о домашних делах и личности Крым-Гирея. В этом смысле особого внимания историка заслуживает вышеупомянутое посольство А. Гольца. Дело в том, что мемуары этого 22-летнего, но весьма зрелого, старательного и способного чиновника отличаются от других памятников тех лет и месяцев (например, от записок Тотта, которыми следует пользоваться с осторожностью, как и мемуарами слишком уж восторженного бытописателя бахчисарайского владыки, француза Пейсонеля). Напротив, А. Гольц излагал свои впечатления и наблюдения с величайшей точностью и подробностью в деталях, сообщая нам поистине уникальные сведения о жизни Крыма и его хана в 1760-х гг.

Так, посла Пруссии не могли не поразить величавые инженерные сооружения, после падения Рима ставшие редкостью в Европе, но не в Крыму. «Акведуки[1], чрезвычайно смело задуманные и искусно выполненные, вызвали удивление», пишет он в путевом дневнике. Естественно, многие из этих и иных сооружений, с которыми не справились команды поджигателей Миниха и Ласси, были весьма почтенного возраста, «являли собой неоспоримое свидетельство чрезвычайно древней культуры», — замечает посол. Вскоре он узнал, что для возрождения крымской экономики и культуры в целом, как и вполне очевидного благосостояния своих подданных, много успел сделать сам хан, несмотря на сравнительно недолгое ещё своё правление.

Действительно, при Крым-Гирее в ханстве стали твориться удивительные вещи. Товарный хлеб, как мы видели, производился на полуострове с глубокой древности, но теперь землепашцами становятся и заперекопские ногайцы. Для сбыта зерна, выращенного на территории нынешнего юга Украины, планируется строительство современного порта в Кази-Кермене, чтобы не везти товар в Гёзлёв или на Дунай сухим путём. Подлинного расцвета достигают садоводство, виноградарство и животноводство. В крымских горах ведутся геологические исследования: хан хочет избавить свою экономику от необходимости импортировать полезные ископаемые и другое сырьё (*Смирнов*, 1881. С. 89–90).

---

[1] К сожалению, А. Гольц не указал точно, в каких местах были выстроены эти воздушные каналы на ажурных арках и высоких колоннах. Об одном из них, близ Керчи, есть данные у другого автора, посетившего Крым уже после разрушений, сопутствовавших аннексии: «мы видели остатки акведука в 16 арок, из которых теперь уцелело только 11. Он сложен из камня, и в верхней его части видны и сейчас остатки глиняных труб» (*Ромм*, 1941. С. 53). Ещё один современник приводит описание, снабжённое зарисовкой акведука у Ахтиара (см. ниже). Очевидно, большинство из этих сооружений перебрасывали воду через глубокие ущелья или старые торговые пути, прежде всего на Южном берегу, где были развиты садоводство, виноградарство и табаководство, но не везде хватало мелких источников на местах интенсивного полива.

Города, особенно столичный Бахчисарай, сверкают чистотой: сточные воды и отходы удаляются через клоачную систему (для сравнения: после аннексии в новой столице края, Симферополе, такой системы не было ни в XIX в., ни даже в 1940-х гг.). Бесперебойно работала почта, причём содержание её чиновников почти полностью оплачивала казна. То есть теперь обмен корреспонденцией стал доступен всем, так как не только подданным хана, но и заезжему путешественнику почтовое отправление из Крыма стоило «только то, что он хотел дать» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С., 387). Большое внимание уделял хан крепостям, особенно на границе с северными соседями. Так, он очистил ров с внешней стороны Ор-Капы, а стены степной твердыни укрепил и надстроил, так что они вновь стали равной высоты по всему периметру крепости. Впрочем, ему не удалось вернуть этому важному стратегическому пункту его былой экономический базис, абсолютно необходимый при ведении военных действий.

Кроме того, посад Ор-Капы, ранее охватывавший крепость полукольцом с южной стороны, населённый в основном греками и армянами, пришёл в окончательное запустение. И Крым-Гирей ничего не мог с этим поделать: христианские ремесленники и торговцы, которые в страшные годы походов Миниха и Ласси были вынуждены переселиться пятью вёрстами южнее, возвращаться решительно отказывались. Они предпочли остаться в голой степи (где стали строить саманные домики; позднее это местечко назовут Армянский Базар), чем возвращаться в свой обжитый посад, не без основания считая Ор-Капы пороховой бочкой, которая рано или поздно взорвётся (*Шевелев*, 1844. С. 602).

Крым-Гирея вообще отличала страсть к зодчеству. В Каушанах (эта ханская резиденция находилась в 30 верстах от Бендер, с противоположной стороны Днестра) им был выстроен дворец, которого не строил ни один крымский хан. Выкрашенный в два цвета, белый и синий, он был более всего похож на загородный коттедж, «какие бывают в Немецкой земле», хотя огромный дворцовый участок и был «окружён весьма высокой стеной». При более близком ознакомлении дворец оказывался «нарочито велик, и внутри покои великолепны» (*Клеман*, 1783. С. 56–57). И в своём имении Пынарбаши «он построил достойный внимания высокий дворец, а во дворе дворца имелся красивый сад» (*Халим Гирай*, 2008. С. 157). Но, конечно, более всего этот хан-зодчий строил в самом Крыму.

Здесь при нём было отреставрировано и выстроено заново множество мечетей и медресе, пострадавших от русских поджигателей 1730-х гг. К заслугам Крым-Гирея следует отнести и строительство нового бахчисарайского водопровода, обеспечившего свежей водой весь город (*Халим Гирай*, 2008. С. 156–157). Но настоящую славу хана-строителя принёсло ему возведение новой, уже крымской резиденции.

Неподалеку от Салачика, у подошвы скалы, на которой расположен Чуфут-Кале, ханом был выстроен прелестный загородный дворец, названный именем этой долины — Ашлама[1]. Побывавший в нём несколько позже иностранный

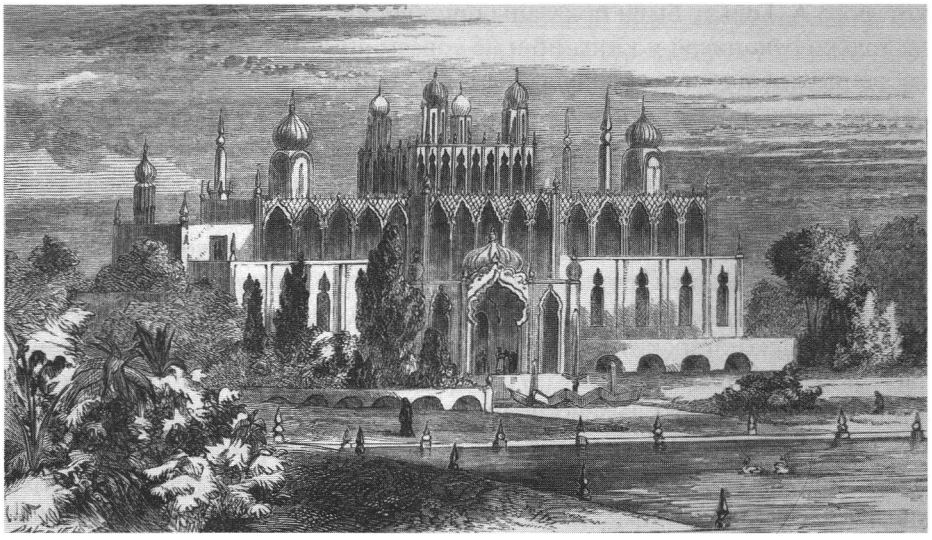
[1] Это был не первый дворец в верховьях речушки Ашлама (в Бахчисарае её чистая вода загрязнялась, отчего и имя менялось на Чурюк-су). Ранее здесь были выстроены резиденции Бахадыр-Гирея (1636–1641), Софу Мухаммед-Гирея (1441–1644) и Мехмед-Гирея IV (1654–1667), в этот комплекс входили и другие, частично летние «здания различных архитектурных стилей» (*Челеби*, 1999. С. 41).

Старинная мечеть
в Армянском Базаре

путешественник записал, что дворец этот стоял в окружении из нескольких деревянных корпусов посреди обширного сада. «Комнаты, где прежде жили ханы, обширны, убраны на турецкий манер, окна в них с цветными стёклами; стены покрыты искусною штукатурною работой, которая местами вызолочена; диваны помещены так, что с них можно любоваться прекрасными видами». В саду ашламинского гарема имелся обширный пруд или бассейн, «...по которому хан сам катал в небольших лодках своих жён и очень забавлялся, когда лодка опрокидывалась и жёны, одетые в самые лёгкие наряды, падали в воду» (*Караман*, 1854. С. 1442). Посреди этого искусственного водоёма стояла беседка, где и «в летнюю жару было прохладно» (*Baert-Ducholant*, 1798, S. 47).

На единственном сохранившемся графическом изображении Ашламинского хан-сарая предстаёт изящное здание мавританской архитектуры с высокими стрельчатыми окнами, расположенное на берегу прямоугольного пруда, в котором плавают белые лебеди. Оно было украшено минаретами и восемью высокими башнями с луковичной формы куполами (*Spenger*, 1837. P. 13). Можно только представить себе, как великолепно рисовался этот вытянутый ввысь дворец на лазурном полотнище крымского неба! Во время аннексии Крыма Россией дворец пострадал лишь незначительно, так что ещё в 1780-х. он мог быть отремонтирован и сохранён для потомков[1]. Да и в 1790-х гг. по крайней мере здание гарема оставалось в целости, так что в нём останавливались иностранные путешественники. Кроме того, уцелели бассейн с беседкой, обширный луг, террасы с розовыми кустами — но это было всё, что осталось от прежнего великолепия (*Baert-Ducholant*, 1798, S. 47).

[1] Об этом свидетельствует ордер Г.А. Потёмкина от 12 октября 1783 г. барону Игелстрому: «Состоящий при Бахчисарае, и как я слышу приходящий в запустение Ханский дворец именуемый Ашлама, в[ашему] п[ревосходительству] рекомендую приказать привесть в то состояние в котором он был прежде, а испорченное всё исправить с таковым наблюдением чтобы сохранён был вкус в котором всё то настроено» (*Потёмкин*, 1881. С. 185). Судя по дальнейшей судьбе Ашлама-сарая, рекомендация князя исполнена не была, и дворец превратился в руины, затем исчезнувшие с лица земли.



Ашлама-сарай.
Гравюра неизвестного художника из: Spenger, 1837

Возможно, пожелтевший от времени лист, скопированный на этой странице, передаёт тогдашнюю реальность вполне точно. Но что мы можем знать о *духе*, царившем в этом дворце и окружающих усадьбах, если нам неведомы их тёмные контуры на фоне бархатно-звёздного крымского неба, или на утренней заре, или при свете обжигающих лучей полуденного солнца, или в облачную погоду, или под мелким холодным моросящим дождём, который так свойствен всем долинам близ Бахчисарая поздней осенью или зимой! Остаётся одно — дать волю собственному воображению и постараться хоть таким образом воскресить умолкнувшую сказку Ашлама-сарая и его обитателей...

Новым великолепием засверкал и Хан-сарай, приведший прусского посла в нескрываемое восхищение: он называет его «необъятным сказочным дворцом». Это становится понятным, лишь если учитывать, что до следующего разгрома, учинённого в 1771 г. солдатами В. Долгорукова, Бахчисарайский дворец занимал гораздо большую площадь, чем ныне. При Крым-Гирее он превратился в настоящий город в городе, «разъединённый обширными дворами и садами и составленный из неисчислимой массы построек»[1], в центральных зданиях

[1] Надпись на карнизе Золотой комнаты дворца если не по форме, то по смыслу весьма близка к исторической истине, известной и из других источников: «Смотри! Этот радующий душу дворец, созданный высоким умом хана, — источник моей хвалебной песни. Это здание, плод радушия хана, озарило весь Бахчисарай подобно сиянию Солнца. Наслаждаясь живописной панорамой Дворца, ты подумаешь: это обитель гурий и райские красавицы — причина его прелести и блеска. Ты подумаешь: это — ожерелье из жемчуга морского, это — невиданный алмаз. Смотри! Вот творение, достойное многого... Окрест Дворца — свежие лилии, розы, гиацинты. Сад, прекрасно спланированный, говорит тебе внятным языком: Новая мысль расцвела в цветнике души человеческой! Любовник розы, соловей, пал бы к подножию этого Сада, как только увидел его. И если уж мы поименовали Сад

которого А. Гольцу были показаны приобретённые ханом огромные коллекции не только рукописей и книг, но и не совсем обычное для мусульманского мира собрание живописи (в основном — горные и прибрежные пейзажи), а также коллекция европейской скульптуры.

И вообще среди этих богатств европейское искусство занимало особое место. Хан оказался не только прилежным собирателем его шедевров, но и страстным любителем музыки и театра. При дворе регулярно давались концерты и представления, имелась постоянная музыкальная капелла и труппа французских актёров. Что же касается театрального репертуара, то *переводить* комедии Мольера специально для крымского владыки (французские актёры играли, естественно, не по-крымскотатарски) король Людовик XV приказал своему личному секретарю и переводчику Руффину (*Мундт*, 1909. С. 65). После этого бахчисарайская публика могла следить за действием, имея в руках переводы мольеровских пьес.

Интересовался Крым-Гирей и точными науками, уделяя наибольшее внимание химии, физике и астрономии, которые он не просто изучал, но и стремился «к изысканию новых открытий», то есть вёл какую-то исследовательскую работу (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 370). Из более практических наук хан много времени уделял инженерному делу, географии и фортификации как дисциплинам, способным принести реальную пользу экономике его страны.

Для Крым-Гирея весьма характерен один любопытный поступок. В декабре 1768 г. немецкий купец Н.Э. Клеман привёз ему в подарок некоторые точные инструменты и физические приборы (среди них — камеру-обскуру и электрическую машину). Подарки были переданы через придворных до официального приёма, который должен был иметь место позже. Но Крым-Гирей не был бы самим собой, если бы вытерпел до назначенного срока. Он приказал вызвать Н.Э. Клемана в тот же вечер и, отбросив в сторону весь положенный этикет, провёл с ним несколько часов, пока не освоил все привезённые из Вены приборы и инструменты. А затем, когда пришло время приёма, милостиво, но не подавая виду, что знакомство уже состоялось, удостоил немецкого гостя аудиенцией по полному протоколу (*Клеман*, 1783. С. 84).

Личности крымского государя полностью соответствовал его двор. Возможно, это противоречит устоявшемуся мнению о высшем обществе Крымского ханства (как о сборище вчерашних овцеводов-кочевников, натянувших парчовые халаты, но сохранивших грубые вкусы и неразвитых), но ещё в 1570-х гг., то есть двумя веками раньше, европейский путешественник отмечал: «При дворе ханском знатнейшие татары довольно знакомы с утончённостью и хорошими манерами, не предаваясь, сколько требует [телесная природа человека] излишнему блеску или роскоши, но насколько это нужно и требуется приличием» (*Броневский*, 1867. С. 355).

Костюм придворных Крым-Гирея был вполне оригинален и изящен: «Платье их было из тонкого сукна, весьма чистое, и подбитая долгая епанча, опоясанная длинным шёлковым поясом. Сие одеяние, похожее более на платье польское, нравилось мне лучше турецкого, ибо оно придаёт приятность стану и сидит весь-

---

прелестным, то это — истина, и каждый взгляд, на него брошенный, погружает в море наслаждения!» (цит. по: *Борзенко, Негри, Домбровский,* 1850. С. 496).

ма хорошо» (*Клеман*, 1783. С. 57). Сказанное, кстати, лишний раз опровергает мнение о том, что в Бахчисарае слепо копировали всё турецкое. Тот же источник сообщает любопытные данные, свидетельствующие скорее о противоположных настроениях в крымскотатарской среде: «Они мало имеют сообщения с турками, и сии татарские дворяне иногда янычарам и туркам не уступают дороги, которые объявляют, что они перед ними должны иметь сие право, отчего и доходит у них до худого дела, и принуждены вынимать свои кинжалы и стрелять друг в друга из пистолетов, и я два раза свидетелем был таких поединков» (там же).

Таким образом, перед нами предстаёт двор правителя, отвечающего идеалам эпохи просвещённого абсолютизма, владыки «роскошного, весьма склонного к удовольствиям и обладавшего познаниями, обычно монархам несвойственными» (*Baert*, 1797. P. 33). А если вспомнить о том, что в Крыму полностью отсутствовало феодальное право, сильно вредившее соответствующей репутации многих европейских монархов, то образ Крым-Гирея как просвещённого государя станет почти безупречным. И это не просто умозрительное заключение: уже европейским своим современникам хан Крыма был хорошо известен именно в этом качестве. Дело было даже не в интересе, который Гирей проявлял к трудам Монтескьё и других теоретиков конституционного монархизма и ограничения роли религии нравственной сферой. Он и в практической своей деятельности менее всего напоминал восточного деспота или русского царя, — и об этом тоже хорошо знали в Европе (*Маркевич*, 1897. С. 28).

В одной из доверительных бесед с А. Гольцом Крым-Гирей привёл собственное, по-крымски красочное сравнение идеального государя с музыкантом, исполняющим в концерте ведущую партию. За этой партией следуют остальные инструменты оркестра, то есть подданные, которые делают это не по принуждению, но добровольно и с удовольствием, «исключительно потому, что они этого сами хотят и потому, что любят слушать его игру». Именно такому образу правления стремился следовать Крым-Гирей, и ему это удавалось настолько, что, согласно всеобщему мнению, «никогда никоторый из них (ханов. — *В.В.*) не был любим более Татарами и не заслуживал того более...» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 359).

Для этого было достаточно сохранять традиционное крымскотатарское открытое общество с его свободой занятий, конкуренции, независимости прав личности от происхождения или социального статуса. Но либеральный хан ещё более повысил роль шариата, отчего все жители Крыма, независимо от национальности и религиозной убеждённости стали пользоваться равными правами практически, а не формально. В общем-то, это было правилом и раньше, но теперь хан лично входил во все тонкости соблюдения классических канонов, отрывая для этих занятий время от других государственных обязанностей.

Если верна теория о прямой зависимости внешности человека от его внутреннего мира, то она как нельзя лучше доказывалась примером Крым-Гирея. Склад ума политика и философа эпохи Просвещения, постоянное общение с самыми различными представителями восточной и западной цивилизаций, глубокий природный ум и блестящие способности не могли не сказаться на облике хана. По мнению современника, он представлял собой законченный тип европейского интеллигента (*букв.* «умственной жизни европейца») в соединении с образом

сильного правителя. Далее А. Гольц даёт уникальное в своём роде описание внешности Крым-Гирея: хан «представлял собой величественного, сильного мужчину крепкого телосложения, в то же время не лишённого известной грации и приятности.... На лице его решительное и строгое выражение воина соединялось с жизнелюбием и иронией. Его большие, живые глаза метали странные пронзительные взгляды, — было видно, что в этом сильном сыне природы развился не только дух повелителя, но и необычно деятельный ум. В его глубоко сидящих глазах и на высоком челе прогладывало, вместе с тем, мягкое, ласковое выражение задумчивости, даже мечтательности... Во всех его манерах и движениях сказывалось столько лёгкости, достоинства и грации, что многие обладатели европейских тронов могли бы ему позавидовать». Другие свидетельства более сдержанны: «Природа наградила Крым-Гирея телесною силою, стройным станом и как приятным, так и величественным лицом, она не отказала ему ни в чём со стороны приятности и ума...» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 369).

Хану, как и большинству Гиреев, были весьма присущи рыцарственные поступки, в таком духе он воспитывал и своих сыновей. Рассказывают, что как-то, желая испытать твёрдость характера своего второго сына, тогда ещё весьма юного возраста, Крым-Гирей насмешливо заметил, что тот — плохой стрелок из лука и вообще трусу более прилична прялка, чем саадак со стрелами. «Трусу?», — переспросил мальчик. — Я не боюсь никого, как и ты, так ведь?» — и с этими словами выстрелил, целясь в отца. Стрела прошла подмышкой хана и на два пальца вонзилась в деревянную стену, у которой тот стоял. Этот проступок остался без каких-либо последствий, так как мальчик был, послушным сыном, да вдобавок ещё и любимцем отца (*Milner*, 1855. P. 178).

Быт и традиции двора этого хана, были основаны, естественно, на исламской культуре. Чисто внешне они не могли не отличаться от обычаев, принятых как в Европе, так и в современных Крым-Гирею мусульманских странах, скорее, напоминая времена первых халифов. Приближёнными хана были исключительно его старые, проверенные соратники. Многие из них были неблагородного происхождения и достигли своего высокого положения исключительно благодаря личным способностям и заслугам. Хан имел небольшой гарем. Однако ему, судя по некоторым материалам, был не чужд чисто западный взгляд на женщину, как на объект рыцарского преклонения, — возможно, здесь сказалось знакомство Гирея с классической европейской литературой[1].

Вынужденно согласившаяся на предоставление престола Крым-Гирею, Порта имела все причины не забывать, каким образом хан этого достиг. В дальнейшем политическая независимость Крым-Гирея, его своеобразный, сильно отличавшийся от турецкого образ жизни, всё более заметная экономическая и политическая самостоятельность ханства не могли не раздражать Мустафу III и его окружение. И даже всем очевидная преданность хану его народа, и тем бо-

[1] Такой избранницей хана стала Зейнеб, крымскотатарская красавица, дочь ханского переводчика. Их любовь была взаимной, Зейнеб следовала за ханом в его счастье и невзгодах. Опережая события, скажем, что она сопровождала его и в ссылку, и в последний из походов находилась при нём до последних минут его жизни. Видя, что смерть её любимого и господина неизбежна, Зейнеб впала в безумное отчаяние, потом в прострацию и скончалась, пережив Гирея на несколько часов.

лее популярность крымского владыки в Европе только усиливали это раздражение. Но османскому дивану была ясна и та простая истина, что в случае попытки сместить неугодного хана крымский народ последует за Крым-Гиреем даже на борьбу со стамбульским «престолом счастья», — восстание ногайцев доказало это. А в том, что подобная ситуация может в точности повториться, никто не сомневался. В том числе и сами турки, вынужденно признававшие, что хан был незаурядным полководцем, талантливым политиком, любимым своим народом, и просто человеком «огромной храбрости» (*Смирнов*, 1889. С. 92).

Поэтому султан долго выжидал и решился нанести давно задуманный удар лишь в 1764 г., когда Пруссия окончательно отошла от связей с Крымом, а поход крымцев на черкесов окончился неудачей. Вначале Турция лишила хана его законных средств на содержание войска (50 000 пиастров). Крым-Гирей не стал ждать дальнейших санкций и поднял своих татар. Народ последовал за ним с огромным энтузиазмом, но когда поход уже начался, хан изменил своё решение. Очевидно, ему стало окончательно ясно, что без чьей-либо поддержки война Крыма с Турцией будет стоить жизни десяткам тысяч его соотечественников и окончится бесплодно. Это — единственное объяснение, отчего он распустил войско и, явно решив пожертвовать собой, в одиночку отправился в Турцию. Точнее, в своё имение Каушаны.

Сюда 14 сентября 1764 г. прибыл, как об этом повествует русский резидент в Крыму А. Никифоров, «нарочный визирский чегодарь» (очевидно, дефтердар, т. е. секретарь. — *В.В.*) с фирманом султана, лишавшим Крым-Гирея ханского достоинства якобы «за учинённые им Порте многия противности и оскорбления» (цит. по: *Никифоров*, 1844. С. 377). После этого бывший хан «придворным капыджилер-ягасою с небольшим числом его служителей взят и за конвоем отправлен в Романию (Румелию. — *В.В.*)... Новоназначенный же хан Селим-Гирей (сын Фетх-Гирея) из Романии в местечко Каушаны прибыл того же сентября 29 дня» (там же). Одновременно стамбульским фирманом были назначены новые каймакан и великий бей, а калга Максуд-Гирей и нуреддин Каплан-Гирей были заменены братьями нового хана.

Этот источник интересен ещё одной подробностью в сложной интриге, закончившейся лишением великого хана престола. Изложенная в фирмане явно под диктовку недругов Крым-Гирея причина опалы объяснялась, в первую очередь, тем, что хан построил Ашлама-сарай, «а строение, как всякий лес, так дикое каменье, черепицу, известь и всякие материалы, подданные христиане и татары с наибольшей трудностию и тягостию возили безденежно, да и к тому ж строению, поколь оное продолжалось, по всяк день в работу от греков, армян и жидов употреблял по 270–300 человек, а зарабочих денег ни единой аспры не давал... а от Польской республики без всякой причины угрожением и другими вымогательствами многие тысячи получил...» (цит. по: *Никифоров*, 1844. С. 376–377). Великолепно: турецкие власти едва ли не впервые в истории озаботились уровнем «эксплуатации» крымских татар и к тому же встали на защиту польской королевской казны!

Необычна история и почти пятилетней ссылки опального Крым-Гирея. Вначале его поместили на материке (полуостров Галлиполи), а затем перевели на удалённые острова — Хиос, потом Митилену, Лемнос... По неизвестным до сих пор причинам Мустафа III, власти которого вполне хватило бы, чтобы казнить

Гирея в первый же день его появления в Стамбуле, не только не сделал этого, но и предоставлял своему пленнику на всех этих островах права управителя. Нисколько не утратив былой энергии, бывший хан и там наводил свои порядки, активно смещая продажных чиновников, борясь с неправым судом, насилием и другими беззакониями, не опасаясь при этом даже султанских фаворитов[1]. Словом, всё шло как в Крыму. В конце концов султану надоели жалобы на неуёмного крымского татарина и он отправил его в Бургас, к родичам, ждавшим изгнанника в старом его турецком имении.

Но и туда стали стекаться жертвы чиновничьей несправедливости чуть ли не со всех концов огромной империи — от египетских вождей до изгнанных арнаутских пашей, от боснийских капитанов, лишённых места, до бывших заключённых, едва волочивших ноги после страшных стамбульских темниц. В иное время этих несчастных набиралось в усадьбе до полутысячи, и хан пытался помочь каждому. Понятно, что эта страница жизни Крым-Гирея сильно похожа на рождественскую сказку, но истинность как этих, так и множества не упоминаемых здесь фактов подтверждаются документами и другими источниками, дошедшими до историка (*Смирнов*, 1889. С. 95). Скорее всего, султан и опасался, и уважал поседелого храбреца, а может быть и берёг его на всякий случай, — такие воины и бескорыстные борцы за справедливость в Турции под ногами не валялись. Эту догадку косвенно подтверждает тот факт, что Мустафа III редко когда отказывал в должности или иной помощи тем просителям, что являлись в его канцелярию с ходатайством от Крым-Гирея.

А затем участь бывшего хана снова круто изменилась.

В Польше после подтасованного «избрания» в 1764 г. на престол фаворита Екатерины II, графа Понятовского (под именем Станислава II Августа), началось восстание оскорблённой шляхты против нового короля, направленное в конечном счёте и против России. Страну тут же затопили волны русских оккупантов, но местные диссиденты обратились за помощью к султану. Граф Я.К. Браницкий, вождь восставших поляков, резонно указывал туркам, что окончательно подмяв под себя Польшу и ограбив её, царица с новыми силами возьмётся за Турцию с Крымом. Султан тянул с ответом до тех пор, пока польское пророчество не стало сбываться: русские нагло нарушили северные границы турецкой империи, сожгли крымскотатарский городок Балту и пошли вдоль западного берега Чёрного моря по направлению к Стамбулу.

И вот тогда, в минуту высшей опасности, опыт, воинский талант и бесспорный авторитет среди крымских татар и турок вновь подняли Крым-Гирея на

[1] Конечно, такие утверждения невольно заставляют читателя сомневаться, мягко говоря, в объективности автора, — уж слишком они, учитывая деспотические порядки Порты, неправдоподобны. Но послушаем одного из крупнейших русских историков Крыма, которого не то что трудно — попросту невозможно заподозрить в симпатиях к крымским ханам, от первого до последнего из них. В.Д. Смирнов говорит, как об известной (то есть не нуждающейся в подтверждениях) научной истине о том, что не только Крым-Гирей, но и иные крымскотатарские ханы-чингизиды, находясь в ссылке на турецких островах, располагали, как некие «джентльмены, своим исключительным, привилегированным положением для обуздания произвола и тирании местных турецких властей, как это, например, известно, о Крым-Гирее, когда он был в отставке» (*Смирнов*, 1889. С. 247).

вершину могущества. Действительно, во всей бескрайней империи невозможно было найти воина лучшего, чем этот ссыльный, ибо именно его предпочёл султан всем своим военачальникам, поставив Гирея во главе 200-тысячной армии. Само собой, его тут же восстановили на утраченном престоле, это-то было совсем несложно. Как бесхитростно повествует старый автор, хан был «возвращён по надобностям, которые Порта имела в его дарованиях» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 361). При известии об этих переменах в Стамбуле русское наступление замедлилось само собой, екатерининские командующие остановились без видимых причин, в какой-то задумчивости.

Тем временем у стамбульской и адрианопольской знати шли приёмы в честь крымского хана, неизбежно сопровождавшиеся бесчисленными подарками и новому *сердар-бею* (главнокомандующему) и его прибывшей из Бахчисарая свите. Торжества продлились всю осень 1768 г., но в январе следующего года Крым-Гирей уже находится в своей полевой ставке (каушанский дворец). Сюда маршируют турецкие пехота с кавалерией, сюда спешит крымскотатарское войско, опережаемое лихими сотнями казаков-некрасовцев, сыновей русских мятежников, некогда нашедших в Крыму, у Девлет-Гирея II, защиту от гнева царя Петра[1].

На какое-то время прекрасный бессарабский коттедж хана становится средоточием политической жизни доброй половины Европы. Сюда, с целью добиться если не поддержки, то благосклонности Гирея, стоящего во главе гигантского войска, съезжаются придворные, послы, должностные лица не только из близлежащих стран, но и из мест, весьма удалённых от театра будущих боевых действий. Например, из Франции, в те годы пытавшейся любыми средствами ослабить российское влияние в Европе, остановить московскую экспансию на Запад и Юг.

В том же январе месяце войско двинулось к Ингулу, и далее по направлению к Запорожью. В том году впервые после знаменитой зимы 1708–1709 гг. ударили страшные морозы, от которых в Европе гибли люди и даже кони. Но хан как будто и это предвидел: его войско оказалось укомплектованным какими-то невиданными в армиях той эпохи тёплыми («зимними») палатками, очевидно, из крымской или иной кошмы. Это было поразившее всех новшество в военном обеспечении, ведь решалась проблема всепогодных походов (обычно зимой войска бездействовали на зимних квартирах), стоило только обзавестись крым-гиреевскими палатками, «коих простое сложение заслуживает быть принято во всех войсках, поелику оно доставляет средство к перенесению больших трудов (разного рода затруднений. — *В.В.*)» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 364).

Немалую роль играл, конечно, и стиль управления армией и командования ею в боевой обстановке. Само продвижение огромного разноплемённого войска к театру боевых действий было образцовым. Соблюдались полный порядок и дисциплина. Сопровождавший Гирея французский дипломат объяснял это не только «железной волей Крым-Гирея», но и его «гуманностью», очевидно, имея в виду заботливость полководца о своих подчинённых (*Смирнов*, 1889. С. 110).

---

[1] За прошедшие десятилетия некрасовцы жили на территории ханства, не смешиваясь с коренным населением. В то же время они активно участвовали в военных походах ханов, в том числе и на земли ненавистной Москвы (*Лаврикова Т.И.* Татарский набег 1717 г. на юго-восток России // Вопросы краеведения. Волгоград. 1991. Вып. 1. С. 35–37).

Но хан был чрезвычайно строг к нарушителям воинских законов. В частности, виновных в грабежах казнили на месте. Нужно заметить, что в основном это были турки, вообще далеко уступавшие крымским татарам и даже казакам в походной выучке и дисциплине. Лишь один крымец был замечен в краже куска полотна — и также казнён (*Мундт*, 1909. С. 79).

Поход начался удачно: уже было взято 150 городов, сёл и деревень. Дойдя до Брацлава (правобережье Южного Буга), хан решил на несколько дней вернуться в тыл, чтобы лично проследить за отправкой по назначению обоза с трофеями. Они были огромны и отягощали дальнейшее продвижение — главным образом, это были пленные, скот, оружие и военное снаряжение, захваченное у противника.

В Каушанах старая болезнь хана (острый геморрой), которую он мужественно переносил в походе, обострилась. Был отыскан врач, некий Сиропуло, весьма подозрительный грек, исполнявший всевозможные, в том числе и политические поручения на службе у местного молдавского князя, некогда смещённого Крым-Гиреем и явно затаившего зло. Близкие люди всячески отговаривали Гирея доверять своё здоровье греку, но хан слишком торопился назад, к войску: нужно было заканчивать поход до наступления весенней распутицы. Короче, Сиропуло приготовил бокал микстуры, выпив который хан ощутил резкое ухудшение своего состояния.

Начались провалы в сознании, наступила общая слабость, от часа к часу усугублявшаяся. Гирей чувствовал, что приблизилась смерть. Тем не менее, до самого последнего часа он продолжал заниматься делами. Лишь почувствовав приближение конца, он отложил их и призвал к себе Зейнеб, а также нескольких ближайших друзей, чтобы сделать предсмертные распоряжения.

Затем, когда последние дела были улажены, в ханскую опочивальню вошли музыканты. Крымскотатарский оркестр должен был дать прощальный концерт, состоявший из произведений, названных самим умирающим. Современники вспоминают, что при этом на лице Гирея, как всегда при звуках любимых музыкальных сочинений, появилась по-детски счастливая улыбка. С этой улыбкой он и скончался, прервав концерт (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 369).

Вскрытие обнаружило явные признаки отравления. Согласно другой версии, впрочем, ничем не подтверждённой, причиной смерти был банальный плеврит (*Когонашвили*, 1995. С. 140). Более достоверен факт исчезновения Сиропуло сразу после смерти хана. Грека искали, но тщетно. Он бесследно скрылся, успев получить у турок дорожные документы ещё до того, как началось следствие. Тело Крым-Гирея, вопреки мусульманскому закону, не было предано земле ни в день смерти, ни позже. Сопровождаемое почётной охраной, состоявшей из крымскотатарских мурз, оно было доставлено в Бахчисарай.

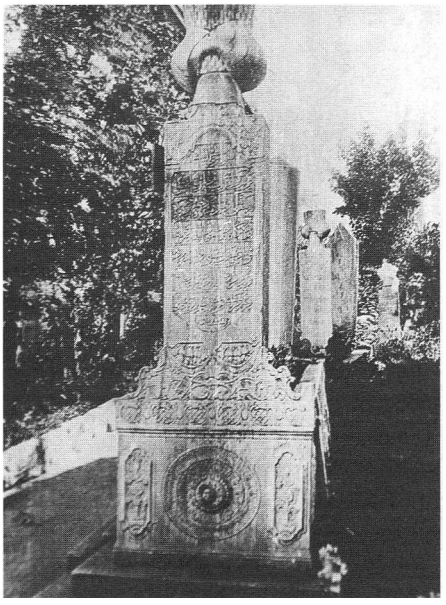
Могила хана сохранилась до наших дней — она расположена на дворцовом ханском кладбище, с правой стороны от входа, в густой тени от высокой каменной ограды. Здесь, на беломраморном надгробии и ныне отчётливо видны слова поэтической надписи: «Во имя Аллаха бессмертного, вечного! Войны были ремеслом знаменитого Крым-Гирей-хана, глаза голубого неба не видали ему равного. Поскольку он навсегда оставил эту суетную столицу, то да будет, по воле Всевышнего, ночлегом его приют вечности. Я, Эдиб (имя поэта, автора эпита-

Надгробие на могиле Крым-Гирея в Хан-сарае
Фото автора

фии. — *В.В.*), с молитвою написал при этом его хронограмму: Да царствуешь ты, Крым-Гирей, в вечности! Год 1183 (*Хиджры*; или 1768 по р. Х. — *В.В.*)» (цит. по: *Бузенко, Негри, Домбровский*, 1850. С. 501).

Крым-Гирей был государем необычным как по восточным, так и европейским меркам. Он, бесспорно, обладал талантом правителя и крупного лидера, одинаково успешно добивавшегося намеченных целей как во внутренней, так и во внешней политике[1]. Но это не все его достоинства. Он был, при всей своей жёсткости как правителя, человеком гуманным, неоднократно доказывавшим, «что справедливость и великодушие могут согласоваться с честолюбием; он поступал со всякой благосклонностию даже с теми, кто более всего полагал препятств». «Вообще хотя он был сердит и вспыльчив, однако его добрые качества много превышали его недостатки, потому что сии были умеряемы чрезвычайной любовию к справедливости». Будучи натурой одарённой и многосторонней, не чуждаясь

[1] Все его действия доказывали «великий ум, мужество и обильность в средствах, ибо он умел воспользоваться расположениями народа непокорного, улучить мгновение, которое не дало бы ему времени охладеть и проложить себе таким образом путь к престолу, проливая сколь возможно менее крови и не страшась никогда ни дурных успехов (поражений. — *В.В.*), ни приготовлений неприятеля...» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 359). Надо заметить, что выдерживать свою линию в личной политике, а тем более проводить какие-то нововведения в Крыму с его формой правления, весьма далёкой от абсолютной, было нелегко любому хану. Один из непосредственных предшественников Крым-Гирея, его брат Арслан-Гирей, в 1755 г. жаловался французскому консулу, что у него скованы руки, что его власть «всецело зависит» (depending entirely) от беев и мурз, не говоря уже о султане, что крымским правителям её совершенно недостаточно для проведения любой разумной инновации или реформы» (*Willis*, 1787. P. 28). Очевидно, многое всё-таки зависело от личности хана, так как подобных горестных сетований никто ни разу не слышал от Крым-Гирея, способного держать в узде и свою собственную аристократическую вольницу, да и с Портой умевшего при надобности говорить достаточно жёстко.



Надгробие Крым-Гирея.
Фото И.Ф. Барщевского, 1890-е гг.

обычных человеческих радостей и удовольствий, он чётко отделял их от дела, от своего долга, что, впрочем, свойственно действительно великим людям: «все увеселения имели право на него в часы отдохновения, но никогда не отвлекали его ни от должности, ни от дела, также не терпел он не столько по вере, сколько по любви к благонравию, горячих (алкогольных. — *В.В.*) напитков, и все нарушившие сию статью закона находили его неупросимым» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 359, 371).

Кстати, что касается «закона», то если бы даже он не выстроил ни одной мечети, всё равно осталось бы множество свидетельств его горячей веры. Это была вера истинного мусульманина былых времён, украшенная страстной жаждой познания, к которому, согласно хадисам, неустанно призывал Пророк. Обладая философским, аналитическим складом ума, Крым-Гирей добивался ответа на вопросы, казавшиеся ему важными, не ограничивая круг своих собеседников только улемами или муфтиями. Так, он искал не поверхностные причины, а глубинные истоки человеческих поступков. То есть занимался тем, что является предметом самых современных направлений психологии и этнопсихиатрии (моделирование древних архетипов, неизменно влияющих на подсознание): «восходя более с иностранцами к началу или исследованию различных народных предрассудков, он видел в них некоторые старинные заблуждения и, сожалея о человечестве, любил оправдывать оное» (*Сестренцевич-Богуш*, 1806. Т. II. С. 369).

Конечно, эти особенные свойства крымского государя были очевидны не только для заезжих путешественников или таких же, как Крым-Гирей, европейских монархов. Для своего народа он, несмотря на частые перемены его судьбы, оставался — и остался даже после смерти — «кумиром всей нации» (*Peyssonel*, 1787. P. 367, 370). И через более полувека, прошедших после кончины, его земляки рассказывали иностранцам о великом хане, «последнем земном воплощении

гения и воинственного духа Чингис-хана. Это был самый просвещённый, справедливый, либеральный и великодушный из суверенов, когда-либо правивших Крымом. И хоть он оставался на престоле всего семь лет, его героические деяния и выдающиеся достоинства до сих пор служат излюбленной темой в поэзии бардов его родины» (*Spenger*, 1837. P. 122).

Вполне естественными для усердного читателя Монтескьё были также постоянные размышления и даже «исследования его о влиянии климата [на природу человеческой психики], о употреблении во зло свободы, о выгодах правил честности, о важности добрых начал относительно правления, о необходимости содержать законы в силе...» и так далее (ibid.). Нужно заметить, что Крым-Гирей при всех своих привлекательных качествах не мог, конечно, полностью соответствовать идеальному образу «философа на престоле» (да и существовали ли такие?). Были и у него недостатки. Мягкий в обращении с «малыми мира сего», он бывал невыносимо горд и высокомерен с равными себе. Человек, воспитанный в атмосфере интриг, насилия и войн, он овладел искусством жизни, мало отличавшейся от непрерывной, то тлеющей, то вспыхивающей войны всех против всех. И в этом искусстве он превосходил абсолютное большинство своих современников, ведь на самом деле он не знал поражений. И, конечно, это искусство не могло не наложить на его натуру своего отпечатка.

Но возникает логичный вопрос: было ли это жестокое искусство для него, человека с совсем иными духовными симпатиями и интересами, привлекательным? И не из отвращения ли к нему он при малейшей возможности и с куда большим удовольствием удалялся в бесхитростный круг учёных и людей искусства, запирался в кабинете или лаборатории, поднимался в обсерваторию или библиотеку? Возможно, на этот вопрос найдут ответ историки будущего, мы оставляем его открытым[1]...

Ещё труднее дать *общую* оценку этому хану как личности. Возможно, она никогда и не будет сделана, точно так же, как смертные люди не в состоянии вынести однозначное суждение о том или ином природном явлении. А личность Крым-Гирея как раз и достигала масштаба некой силы природы.

Крымской природы, во всём её богатстве, многообразии и неповторимости.

Более реальна попытка сделать заключение о значении Крым-Гирея для истории его народа. Этот хан был последним из блестящего созвездия талантливых полководцев, тонких дипломатов, глубоких мыслителей и прозорливых политиков, в разные эпохи украшавших престол Крымского ханства. Одновременно он стал первым ханом Нового времени. Его правление показало прекрасные возможности дальнейшего естественного исторического развития Крыма, избравшего свой собственный, особый путь мусульманского, но одновременно и европейского государства. До него ханство развивалось по типичному для восточных государств цикличному типу истории. При великих ханах оно поднималось на известную

[1] Здесь уместно вспомнить слова современного венгерского историка и писателя Лайоша Мештерхази об особенностях применения военных средств для сохранения мира: «Кому-то может показаться, будто война активна, мир — пассивен; чтобы развязать войну, нужно действовать, а чтобы царил мир, можно не делать ничего, решительно ничего. Оно бы и неплохо!» (*Мештерхази*, 1976. С.69). Этой черты характера, пассивности, Крым-Гирей был лишён начисто.

политическую, культурную и экономическую высоту с тем, чтобы в годы правления людей слабых или вялых снова очутиться на старом уровне, в нижней точке вечно повторявшегося цикла.

Крым-Гирей пытался вывести страну и её людей из этого замкнутого круга, причём успешно: было положено начало новому, поступательному (или линейному) типу развития исторической судьбы его родины, которая при нём уже пошла по восходящей. Он открыл не форточку в Европу, а распахнул *двери* на Запад, оставив после себя перспективу на небывалые раньше, альтернативные пути развития[1]. Трудно сказать, куда привёл бы этот путь страну и её людей в ближайшие два века. По мысли Крым-Гирея, крымские татары, сохранив свою особую культуру, должны были занять достойное место в семье других, европейских же народов. Во всяком случае, именно так можно истолковать его слова насчёт будущего молодой нации, о котором хан говорил с присущим ему мягким юмором:

«Мы ещё не настолько состарились, чтобы не суметь прилежно учиться. И если у вас, жителей Запада, хватит терпения подождать, то крымские татары когда-нибудь у вас-то выдержат экзамен».

Терпения не хватило отнюдь не европейцам. Они всегда с огромным вниманием и любопытством вглядывались в неясные очертания удивительной и прекрасной страны на самой окраине материка. Нетерпеливостью, а точнее нетерпимостью к крымцам издавна отличались северные соседи ханства. Только по их вине осуществление мечты Крым-Гирея о новых путях крымскотатарского народа отодвинулось в далёкое будущее: ведь через 12 лет после смерти последнего великого хана кованые сапоги долгоруковских солдат безжалостно растоптали его родину.

А ещё через полвека по тропе, ведущей из Бахчисарая в Чуфут-Кале, поднялся к Успенскому монастырю один иноземец. Но привело его сюда не столько христианское рвение, сколько любознательность старого путешественника. Он внимательно осмотрел окрестности и занёс в путевой дневник скупые заметки. Они довольно спорны, но, безусловно, интересны и для нас, не заставших даже следов деяний великого хана:

«Немного далее [монастыря] видны развалины нескольких зданий, окружённые одичавшим садом. Говорят, это Ашлама, загородный ханский дворец, воздвигнутый Крым-Гиреем. Благоухающие розы уже сплелись с сорняками, а скрученные плети ползучих лиан намертво приросли к обломкам стен... Судя по руинам, это изящное строение было слишком хрупким, и даже не будучи разгромленным, вряд ли долго устояло бы под сокрушающими ударами времени» (*Scott*, 1854. P. 309–310).

Академик П.С. Паллас, посетивший Чуфут-Кале в 1793 г., также видел с высот этой крепости руины дворца, которые произвели на него не менее грустное впечатление: «теперь как от дворца, так и от фруктового сада едва остались кой-какие следы» (*Паллас*, 1793, XII. С. 82).

---

[1] Это значение деяний великого хана было внятно для просвещённых крымцев совсем иной эпохи. В судьбоносный день открытия Первого курултая (ноябрь 1917 г.), по сути означавшего возрождение крым-гиреевского поступательного развития его народа, в Бахчисарае была поставлена сочинённая Османом Акчокраклы пьеса «Крым-Гирей». Лучший символ наступивших перемен в ту пору великих надежд трудно было придумать!

Задолго до революции одна из самых широких, хоть и недлинных улиц Симферополя получила название: Бульвар Крым-Гирея — в честь симферопольского общественного деятеля Н.А. Крым-Гирея. Однако со временем этот топоним стал ассоциироваться у населения исключительно с именем великого хана, что естественно. А потом наступили новые времена, в том числе и для бульвара. В 1924 г. он стал «Ноябрьским»: советская власть старалась стереть из памяти народа имя слишком уж славного хана. После Отечественной войны бульвар был переименован в третий раз, но имя Крым-Гирея ему, естественно, не вернули. Теперь это бульвар Ивана Франко.

Великий физик Л.Д. Ландау однажды тонко заметил, что *не за всяким* предтечей непременно следует великий пророк. Крым-Гирей был блестящим предтечей, вся жизнь его стала предвестьем нового подъёма нации. И крымские татары были вправе ждать скорого явления если не великого пророка, то какого-то нового вождя национального пробуждения. Пусть даже обречённого на распятие.

Не дождались.

Вместо него крымскому народу явилась российская царица, которая распяла сам Крым.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ... 3
Содержание ... 6
Композиция и стиль ... 11
Особенности использования материала ... 12
Система сносок, особенности справочного аппарата и орфографии ... 13

ПРОЛОГ

1. **Проблемы манихейства в исповедании великих религий (исторические корни геноцида)** ... 20
а) Иудаизм ... 22
б) Христианство (православное и западное) ... 23
в) Ислам ... 34
2. **Россия как государство общин** ... 37
3. **Выбросы общинного подсознания** ... 42
а) Террор государственный и общинный ... 42
б) Расизм ... 43
в) Церковь ... 49
г) Русская интеллигенция ... 52
д) Утопия и реальность русского села ... 56
4. **«Революция» 1917 г. и её перспективы** ... 61
а) Сущность бунта и крестьянской войны ... 61
б) Нерусское лицо русской революции ... 64
в) Проблема свободы и воли ... 73
г) Февраль ... 74
д) Октябрь ... 75
е) Последствия и перспективы «революций» 1917-го ... 77
ё) Смертная пелена над Россией и Крымом ... 78

Выводы из Пролога (и не только из него) ... 83

I. ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

1. **Средневековое заблуждение** ... 88
2. **Древние насельники Крыма** ... 95
3. **Киммерийцы** ... 103
4. **Тавры** ... 109
а) Происхождение тавров ... 109
б) Тавры глазами их современников ... 111
в) Тавры в свете археологии ... 115
г) Ранние тавры (X–VI вв. до н. э.) ... 117
д) «Средние» тавры ... 118
е) Поздние тавры ... 120
ж) Закат народа-аборигена ... 123

5. Скифы ... 126
а) Скифы у древних авторов и современных ученых ... 126
б) Скифы в Крыму ... 131
в) Общество и экономика ... 133
г) Культура скифского Крыма ... 134

II. ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1. Греки ... 142
а) Классический и эллинский периоды ... 142
б) Византийский период ... 150
в) Наследие Греции ... 153
2. Сарматы ... 160
3. Римляне ... 163
а) Первые легионы ... 163
б) Римский порядок ... 165
в) Великий перелом ... 168
г) Наследие римлян ... 169
4. Готы ... 173
а) Предыстория «готской проблемы» ... 173
б) Происхождение готов Крыма ... 177
в) Готское государство ... 181
г) Закат страны Дори ... 196
д) Последние готы ... 197

III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1. Гунны ... 205
2. Протоболгары, хазары, караиты ... 212
а) Болгары ... 212
б) Хазары ... 215
в) Караимы (караиты, карайлар) ... 218
3. Печенеги и кыпчаки ... 222
а) Печенеги ... 222
б) Кыпчаки ... 225
4. Турки ... 233
5. Русские ... 237
а) «Корсуньский крестник» ... 237
б) Тмутороканский камень ... 242
в) Крым и Киевская Русь ... 251
6. Венецианцы и генуэзцы ... 253
7. Крымские татары ... 263
а) Начало заселения Крыма ордынцами ... 263
б) Контакты тюрков с греками и итальянцами ... 268
в) Торжество ислама в Крыму ... 269

г) Расцвет крымских городов ... 283
д) Ордынцы в Крыму ... 296
е) Юрт становится ханством ... 298
ж) Первый Гирей ... 301
з) Менгли-Гирей I, его братья и беи ... 309
и) Турки в Крыму ... 313
к) Новый статус ханства ... 321

IV. ПРОТОРЕНЕССАНС В КРЫМУ

1. **Национальная ситуация** ... 336
2. **Крымская экономика XIII–XV вв.** ... 345
3. **Становление крымскотатарской этнокультуры** ... 351
4. **На заре Возрождения** ... 377
5. **Мусульманское право в Крыму** ... 384
6. **Выводы** ... 389

V. КРЫМСКИЙ НАРОД ПРИ ОСМАНАХ

1. **Татарская экономика в XV–XVI вв.** ... 393
а) Скотоводство ... 394
б) Земледелие, виноградарство и садоводство ... 398
в) Ремесло и торговля ... 404
г) Охота, рыбная ловля ... 413
2. **Быт ногайцев** ... 414
3. **Внешняя политика ханства** ... 418
а) Общие черты ... 418
б) Московское направление ... 419
4. **Проблемы работорговли Нового времени** ... 431
а) История крымской работорговли ... 431
б) Использовался ли в Крыму рабский труд? ... 432
в) Рынки сбыта и регионы использования рабов ... 437
г) Регионы-поставщики «живого товара» ... 440
д) Техника торговых операций в Крыму и за рубежом ... 442
5. **Масштабы и техника походов и набегов** ... 444
6. **Военное дело у крымских татар** ... 454
7. **Социальный и политический облик татарского населения Крыма** ... 467
а) Род, семья ... 467
б) Община ... 470
в) Общеэтническая интеграция ... 475
8. **Крымский «феодализм»** ... 479
9. **Религиозная жизнь и её значение для государственно-политической структуры** ... 492
а) Суфизм в Крыму ... 493

б) «Прогрессировал» ли в ханстве шариат? ...
в) Форма правления в Крымском ханстве ...
г) Феномен исламского порядка и власть ... 5
д) Исламское государство? ... 5

10. Государственная жизнь Крыма ... 51
а) Административное устройство ханства ... 51
б) Хан ... 518
в) Калга ... 525
г) Нуреддин ... 528
д) Муфтий ... 529
е) Ор-бек ... 531
ж) Великий бей ... 531
з) Ширин-беи и другие карачи ... 533
и) Ана-бийым и другие дамы двора ... 537
к) Диван ... 541
л) Сераскиры ... 543
м) Кадии, каймаканы, кадиаскеры, наибы ... 544
н) Другие административные лица центрального аппарата ... 546
о) Мурзы Крыма ... 547
п) Улемы и муллы ... 551
р) Тёрэ и шариат как нравственно-правовые источники ... 553
с) Проблема зависимости от Турции ... 557
т) Значение турецкого верховенства для крымской государственности ... 560
у) Дань и «поминки» ... 562

11. Заключение ... 564

VI. КРЫМ В XVI — СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА

1. Мехмед-Гирей I (1515–1523) ... 567
2. Саадет-Гирей I и новое ослабление Крыма ... 573
3. Сахиб-Гирей I ... 582
4. Политика Девлет-Гирея I и его преемников ... 590
5. Бора (Гази-Гирей II) ... 609
6. Духовный мир эпохи ... 627

VII. КРЫМ И ЗАПОРОЖЬЕ В XVII ВЕКА

1. Сходства и различия Сечи и ханства ... 631
2. Ислам-Гирей III и Богдан Хмельницкий ... 638
3. Мехмед-Гирей IV и И. Выговский ... 659
4. Крым и Московское государство на исходе XVII в. ... 675
5. Селим-Гирей I и гетман Петрик ... 700
6. Южная политика Петра I ... 704
а) Захват Азова ... 707
б) Карловицкий конгресс ... 710

VIII. КРЫМ В ЭПОХУ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ II

1. **Константинопольский мирный договор** 714
2. **Хан Девлет-Гирей II** 715
3. **Крым и Швеция** 726
4. **Калабалык в Варнице** 762
5. **Девлет-Гирей II и Д. Кантемир** 773

IX. АГРЕССИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. И КРЫМ-ГИРЕЙ

1. **Крым накануне вторжения** 776
2. **Кубанские татары и калмыки** 780
3. **1735 г.** 791
4. **Катастрофа 1736 г.** 803
5. **Первый поход П.П. Ласси** 819
6. **Немировский конгресс** 829
7. **Второй поход П.П. Ласси, Белградский мир и крымско-шведские переговоры 1740–1741 гг.** 832
8. **Катастрофа 1735–1738 гг. в зеркале крымской истории** 842
9. **Дипломатия и внутренняя политика Крым-Гирея** 845

Наукове видання

Возгрін Валерій Євгенович

ІСТОРІЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР

Нариси етничної історії корінного народу Криму
в чотирьох томах

Том I

3-е видання, стереотипне

Коректори: *Г.С. Якушева, О.В. Афанас'єва*
Оригінал-макет *Л.А. Філософова*
Дизайн обкладинки *Є.В. Кудіна*

Директор Е.Р. Муслімова
Художній редактор З.Ш. Акімова

Підписано до друку 16.09.2013 р. Формат 70x100 $^{1}/_{16}$. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура «Times New Roman». Умовн. друк. арк. 70,85. Обсяг 54,5 друк. арк.
Тираж 1000 прим. Зам. № 699.

Видавничий дім «Тезис»
м. Сімферополь
тел. 095 343 84 06
e-mail: tezis2006@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єкта видавничої справи
ДК №2739 від 10.01.2007 р.

Надруковано згідно з наданим оригінал-макетом у ТОВ «Видавництво «Вперед»
97534, АРК, Сімферопольський район, с. Строганівка, вул. Лікувальна, 1.
Тел: (0652) 51-08-93